Библиотека
всемирной литературы

Серия третья ***

Литература XX века

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
БИБЛИОТЕКИ
ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Абашидзе И. В.
Айтматов Ч.
Алексеев М. П.
Бажан М. П.
Благой Д. Д.
Брагинский И. С.
Бровка П. У.
Бурсов Б. И.
Бээкман В. Э.
Ванаг Ю. П.
Гамзатов Р.
Гафуров Б. Г.
Грабарь-Пассек М. Е.
Грибанов Б. Т.
Егоров А. Г.
Ибрагимов М.
Иванько С. С.
Косолапов В. А.
Лупан А. П.
Любимов Н. М.
Марков Г. М.
Межелайтис Э. Б.
Неупокоева И. Г.
Нечкина М. В.
Новиченко Л. И.
Нурпеисов А. К.
Пузиков А. И.
Рашидов Ш. Р.
Реизов Б. Г.
Сомов В. С.
Тихонов Н. С.
Турсун-заде М.
Федин К. А.
Федоренко Н. Т.
Федосеев П. Н.
Ханзадян С. Н.
Храпченко М. Б.
Черноуцан П. С.
Чхиквишвили И. И.
Шамота Н. З.

МАРИЯ ПУЙМАНОВА

ЛЮДИ НА ПЕРЕПУТЬЕ

●

ИГРА С ОГНЕМ

●

ЖИЗНЬ ПРОТИВ СМЕРТИ

ПЕРЕВОД С ЧЕШСКОГО

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА · 1976

Вступительная статья и примечания
И. Бернштейна

И(Чехосл)
П 88

Иллюстрации
П. Пинкисевича

© Издательство «Художественная литература», 1976 г.

П $\frac{70304\text{-}289}{028\ (01)\text{-}76}$ подписное

СВЕТЛЫЙ И МУЖЕСТВЕННЫЙ ТАЛАНТ

Когда смотришь на портрет Марии Пуймановой, представляешь себе ее облик, полный удивительно женственного обаяния,— с трудом верится, что перед тобой автор одной из самых мужественных книг XX века.

Ни ее изящные ранние рассказы, ни многочисленные критические эссе, ни психологические повести как будто не предвещали эпического размаха трилогии «Люди на перепутье» (1937), «Игра с огнем» (1948) и «Жизнь против смерти» (1952). А между тем трилогия — это, несомненно, своеобразный итог жизненного и творческого пути писательницы.

Первое произведение Пуймановой, сборник рассказов «Под крылышком» (1917),— книга о детстве. Часто к этой теме обращаются писатели, детство которых было тяжелым, но ранняя пора жизни Пуймановой прошла необыкновенно счастливо. Она родилась в 1893 году в Праге, в семье университетского профессора, и на всю жизнь сохранила самые светлые воспоминания о родительском доме, где она была окружена людьми, увлеченными литературой и искусством. Впрочем, в идиллическом мирке, изображенном в первой книге, может быть, не столько воссоздана реальная обстановка, окружавшая писательницу, сколько воплощена ее мечта о гармонической, ласковой человечности. Однако этот мирок очень скоро показался тесен писательнице, и она выбилась «из-под крылышка». Этому способствовали и обстоятельства ее личной жизни. Брак с сыном богатого промышленника, за которого она вышла в девятнадцать лет, оказался неудачным; Мария переезжает из Чешских Будейовиц, где она жила с первым мужем, в Прагу и вскоре выходит замуж за режиссера-драматурга Фердинанда Пуймана, уже в то время связанного с прогрессивными кругами, и начинает принимать активное участие в литературной жизни столицы. Между первой книгой Пуймановой и ее вторым сборником — «Рассказы из городского сада» (1920) — прошло не много времени, но произошли решающие исторические события. Сама писательница вспоминала: «Все так изменилось за годы войны. Мы очутились как будто на другом

берегу, война пролегла как естественная граница на карте души... Проблемы исключительных индивидуумов и всякие личные неурядицы были оттеснены страшными бедствиями масс...» [1] За этой границей у Пуймановой лежит область широких социальных интересов. Впрочем, она не сразу находит возможность художественно воплотить то, что ее теперь волнует. Попытка создать широкое полотно общественной жизни, которую она предпринимает в 20-е годы в задуманном и незавершенном «Романе школьного класса», не увенчалась успехом. Сама писательница объясняла это впоследствии тем, что у нее в то время не было еще «твердой почвы под ногами» и ясных общественных взглядов.

В многочисленных очерках, опубликованных в 20-е годы, Пуйманова как бы накапливает наблюдения, которые потом будут использованы в трилогии. Среди забавных и метких зарисовок уже в этих очерках прорываются важные для писательницы мысли, которые многое определяют в ее творческом и жизненном пути. Так, в фельетоне «Ожирение сердца» неожиданно звучит такое бескомпромиссное утверждение: «Достаточно попасть на дачный пляж летом и увидеть толпу раздетых буржуа: мужчин, женщин, целые семьи,— и вам сразу же откроется истина... этот класс обречен, он сам себя осудил» [2].

Первое крупное произведение — повесть «Пациентка доктора Гегла» (1931) — это своеобразный этюд психологического микроанализа, который впоследствии сослужил писательнице добрую службу при создании трилогии.

В 20-е годы Пуйманова регулярно выступает в прессе с рецензиями и статьями на литературные темы. В них чувствуется влияние талантливого чешского критика Ф. Шальды, с которым писательница была дружна. В работах Шальды идеалистические концепции сочетались с тонким литературным вкусом и живой симпатией ко всему подлинно прогрессивному в искусстве. И Пуйманова уже в эти годы формулирует многие положения, которые определят ее эстетические взгляды в период создания трилогии. Так, она критикует тех авторов, которые выступают «как хроникеры, а не историки своего времени», и замечает, что «хорошая книга — это отрывок из непроизвольно созданной истории современности» [3].

Тридцатые годы оказались переломными в жизни и творчестве писательницы. Пережив краткий период радостного опьянения после образования в 1918 году независимой Чехословакии, Пуйманова, как и многие прогрессивные чешские писатели, уже в 20-е годы начинает осознавать социальное неблагополучие в новой республике. Но именно в начале 30-х годов, в период острого экономического кризиса, когда обнажились скрытые до той поры социальные противоречия, Пуйманова сближается с ясно обозна-

[1] M. P u j m a n o v á. Božena Benešová. Praha, 1935, s. 18.
[2] M. P u j m a n o v á. Povídky z městského sadu a jiné prozy. Praha, 1956, s. 62.
[3] M. P u j m a n o v á. Vyznání a úvahy. Praha, 1959, s. 16.

чившимся революционным лагерем чешской литературы. В 1932 году она принимает участие в организованной Юлиусом Фучиком поездке писателей в угольный район, где бастовали горняки. В своих репортажах Пуйманова рассказывает о безработице, о стачечной борьбе горняков, о стрельбе жандармов по толпе бастующих. Эти впечатления нашли свое непосредственное отражение в трилогии. Тот же 1932 год оказался чрезвычайно знаменательным для писательницы и в другом отношении: она совершает поездку в СССР. По возвращении Пуйманова пишет книгу «Взгляд на новую землю», в которой заявляет о своей вере в «свет с востока». Многие из этих впечатлений писательницы также найдут свое место в «Людях на перепутье».

Антифашистская борьба в годы, предшествовавшие началу войны, еще более сближает Пуйманову с коммунистами, она регулярно печатается в центральном органе КПЧ газете «Руде право» и в руководимом Фучиком журнале «Творба». Эстетические взгляды писательницы, складывавшиеся в то время, ясно выражены в простой фразе: «Зачем мы пишем книги? — Чтобы жизнь стала лучше» [1]. Этим стремлением проникнут опубликованный в 1937 году роман «Люди на перепутье».

Сразу же по выходе книги чешская прогрессивная критика отметила значительность романа, выступавшую ясно даже на фоне общего подъема чешской прогрессивной литературы 30-х годов, когда создавались лучшие произведения Майеровой, Ольбрахта, Ванчуры, Чапека. Если буржуазные критики отнеслись с нескрываемой враждебностью к «причуде» талантливой писательницы, взявшейся изображать фабрику и рабочие демонстрации, то С. К. Нейман озаглавил свой отзыв о книге — «Самый важный роман», подчеркивая, что Пуйманова одержала победу на труднейшем для чешской литературы участке — изображения современности.

Между первым романом и его продолжением «Игра с огнем» прошло одиннадцать лет. Это были годы потрясающих событий в истории родины писательницы. Мюнхен и фашистская оккупация. Незабываемый май 1945 года — советские солдаты на улицах ликующей, освобожденной Праги. Напряженная политическая борьба между 1945 и 1948 годами и февральская победа народа в 1948 году.

В мрачные годы фашистской оккупации Чехословакии Пуйманова вынуждена была, как и другие чешские писатели, ограничиваться самой «невинной», по преимуществу камерной тематикой. Она пишет главным образом стихи. Большинство стихов Пуймановой было опубликовано только после освобождения. Это — исповедь человека, переживающего трагедию родины как большое личное горе, но не теряющего веры в будущее. В единственном вышедшем за эти годы прозаическом произведении — повести «Предчувствие» (1942) — писательница снова обращается к светлому миру детства.

---

[1] «Rudé právo», 6.XI.1937.

С первых же дней после освобождения она активно включается в борьбу за социалистическое преобразование страны. М. Пуйманова становится членом КПЧ. В центре ее творческого интереса в послевоенные годы — работа над второй и третьей частями трилогии.

* * *

В романе «Игра с огнем» есть сцена, когда Нелла Гамзова, подхваченная потоком людей, участвует в демонстрации против капитуляции правительства осенью 1938 года. Хрупкая, утонченно интеллигентная женщина, бледневшая при одном виде вооруженного человека, теперь, судорожно сжимая ручку маленького внука, с которым она вышла погулять, бежит вместе с толпой к Граду; она чувствует, что ее сердце бьется в унисон с тысячью обезумевших от боли и ярости людей, и с ее уст срывается тот же страстный крик: «Оружия!» В этой сцене, как в клеточке организма, отражается художественная структура трилогии. Для Пуймановой-романистки история не отделена непреодолимым барьером от частной жизни героев. Грани между «макромиром» и «микромиром» в ее романах условны. Именно такое понимание человека и действительности дало писательнице возможность с подлинной художественностью осуществить ее поистине грандиозный эпический замысел — осмыслить судьбы народа Чехословакии в важнейший переломный момент истории страны — с 1918 по 1945 год.

Трудно говорить об едином замысле трилогии уже в момент создания «Людей на перепутье». Первоначально писательница предполагала поставить в центре романа конфликт в семье фабриканта. Видимо, речь шла о семейном романе, каких немало появлялось в чешской литературе. Однако она тут же предостерегает себя и записывает: «Обратить внимание, чтобы не получился банальный роман поколений» [1].

С большим вниманием Пуйманова отнеслась к сбору материала. Ей пришлось преодолеть немалые трудности, чтобы проникнуть в «империю Бати»: обувной король не любил демонстрировать посторонним те утонченные методы эксплуатации рабочих, которые применялись на его производстве. Однако Пуйманова не ограничилась расширением рамок семейного романа за счет изображения производственной обстановки, как это делали натуралисты. Она уже в первой части будущей трилогии прорывается от среды к истории. В период написания романа «Люди на перепутье» писательница пришла к убеждению, что «эпоха, полная потрясений, общественной борьбы и политического драматизма, сделала немыслимой для художника даже ту относительную степень изоляции, которая была еще возможна перед первой мировой войной» [2]. В романе уже ощутимо живое движение истории: послевоенная Прага, догонявшая европейские столицы, «как выскочка и нувориш», экономическая конъюнктура и лихорадочная

[1] Дневники М. Пуймановой (Из публикации М. Благинки.— «Host do domu», 1960, № 3).

[2] M. P u j m a n o v á. Spisovatel a doba. Studentský časopis, 1938, XVII.

деятельность местных грюндеров, потом мрачная тень кризиса, нависшая над страной, забастовки, все обостряющаяся классовая борьба. В ходе работы над романом конфликт в семье фабриканта отошел на задний план, а в центре оказалась история семьи адвоката-коммуниста Гамзы и рабочей семьи Урбанов.

Опыт страшных военных лет заставил писательницу еще более расширить эпическую концепцию второй и третьей части трилогии, которая постепенно приобретала черты национально-героической эпопеи. В этих романах находят свое отображение значительные исторические события, на сцену выступают народные массы. Действие выводится и за пределы Чехословакии: в центре второй части — Лейпцигский процесс, в третьей части изображается жизнь Ондржея Урбана в Советском Союзе, боевые действия Чехословацкого корпуса, организованного на территории СССР, страдания узников фашистских лагерей смерти.

Можно сказать, что в трилогии, как и в произведениях других европейских писателей, отразились чрезвычайно важные процессы, ознаменовавшие развитие современного романа. В «Семье Тибо» Р. Мартен дю Гара, например, также можно с очевидностью проследить, как история и политика врываются в спокойный мир семейного романа, решительно расширяют границы изображаемого, определяют судьбы героев и изменяют самый характер жанра. В 30-е годы роман-эпопея в европейских литературах вообще оттесняет экспериментальные, лирические и аналитические формы романа 20-х годов. Достаточно назвать, кроме эпопеи Роже Мартен дю Гара, произведения Ромена Роллана, Генриха Манна, Фейхтвангера, А. Зегерс, В. Бределя, Л. Арагона. К эпическому осмыслению действительности звало само время, чреватое грозными историческими потрясениями. В чешской литературе развитие монументальной эпики связано прежде всего со становлением социалистического реализма, получившего в то же время теоретическое осмысление в трудах Б. Вацлавека, К. Конрада и других критиков-марксистов. К значительным достижениям этого направления принадлежат «Сирена» М. Майеровой, «Истоки» Я. Кратохвила, «Три реки» В. Ванчуры. Однако ни в одном из этих произведений авторы не пытаются воссоздать широкую картину жизни современного чешского общества. В чешской литературе в то время не существовало романа подобного эпического размаха, Пуйманова прокладывала новые пути, и она чрезвычайно ответственно подошла к своей задаче. Писательница понимала, что расширение «территории», охваченной романистом, может повести к тому, что «роман-река» превратится в «роман-океан» и материал начнет захлестывать автора. «Многоплановый роман с множеством тематических линий — это художественное целое, требующее такой же точной и сложной гармонии, как музыкальное оркестровое произведение» [1],— писала Пуйманова. Это не пустые

[1] M. P u j m a n o v á. Spisovatel a doba. Studentský časopis, 1938, XVII.

слова; действительно, художественный мир Пуймановой подчинен законам гармонии, а композиция каждой части трилогии предельно продумана.

На всем протяжении повествования звучат как бы повторяющиеся лейтмотивы, рождая своего рода монументальные символы. Именно в этом качестве выступает в первой части образ «Яфеты», огромных предприятий текстильного короля Казмара, воплощающих внешнее преуспеяние буржуазной республики и кричащие противоречия, которые таятся в ее недрах. С самого начала повествование перебивается крикливыми рекламами «достижений» текстильного короля. На казмаровских предприятиях проходит школу жизни Ондржей Урбан, а в дальнейшем образ «Яфеты» переплетается с судьбой многих героев. На бутафорском празднестве в Улах, когда молодой рабочий Францек Антенна «сверх программы» выступает с обличением мнимых благодетелей рабочих в казмаровской империи, терпят крах немало личных надежд и иллюзий героев. Теме «Яфеты» как бы противопоставлена также звучащая с самого начала лейтмотивом тема Советского Союза. В рассказах отца Ондржея, побывавшего в плену в России, встает образ «великой страны, огромной, как мир», и мальчик хвастается в школе «величием папиной России». С Советским Союзом связаны самые счастливые моменты в жизни семьи Гамзы: там начинает свою семейную жизнь дочь Гамзы Еленка, там рождается ее сын Митя, с образом которого как бы связана светлая вера в будущее. В самые трагические дни фашистской оккупации в воспоминаниях Мити встает образ красноармейца, охранявшего нефтехранилище в Горьком, где он жил с родителями. А это воспоминание перекликается с образом «сказочных героев со звездой во лбу» — на улицах освобожденной Праги в майское утро победы.

В «Игре с огнем» таким лейтмотивом, помогающим выразительной оркестровке патриотической, освободительной идеи романа, звучит лирически взволнованная тема Родины, которая тоже приобретает характер монументального символа. Вторая часть романа «Игра с огнем», посвященная предмюнхенским годам и мюнхенской трагедии, начинается с поэтического гимна родной стране, звучащего как стихи в прозе: «Россия — мать земли, Чехия — девушка. Черешни стояли в девичьей фате и смотрели из-за забора миллионами цветочков...» Образы исторического прошлого чешской земли, ее героев, ее легенд тоже предстают в особом поэтическом ореоле в главах, повествующих о национальном несчастии. Так выделяются сцены, когда герои слушают музыку Сметаны, «под которую мы идем, как божьи ратники Жижки», когда учительница Ева Казмарова вдохновенно рассказывает детям о великой Божене Немцовой. А в заключительной части трилогии внутренняя тема — борьба светлых сил жизни и созидания против темных сил смерти и разрушения — находит свое воплощение также и в поэтическом образе Праги, который тоже проходит как лейтмотив в повествовании о страшных годах фашистского протектората. Идея торжества жизни воплощена и в овеянных лиризмом пейзажах чешской земли, «упоенно торопящейся цвести, не оглядываясь на рогатый крест, под урод-

ливым знаком которого она очутилась». Кстати, глубоко содержательные символы вообще характерны для романа-эпопеи в творчестве социалистических писателей. Вспомним, например, символическое осмысление темы преемственности революционных традиций в романе Зегерс «Мертвые остаются молодыми» или образ русского леса у Л. Леонова.

В «Игре с огнем» и в «Жизни против смерти» во весь рост встает герой, вырисовывавшийся уже в первой части трилогии — народ Чехословакии, преданный и обезоруженный в мюнхенские дни, «распятый на кресте свастики», сопротивляющийся и наконец вставший во весь рост и торжествующий победу весной 1945 года. Особенно ярок монументальный образ народа в главах, повествующих о мюнхенской катастрофе, когда тысячи людей, движимые единым порывом, бросились к сердцу страны — к Граду — спасать республику. В страстное обсуждение событий в эти трагические дни включаются на страницах трилогии не только автор и его герои, но и некий обобщенный персонаж — народ, а также множество безымянных людей, и во взволнованную авторскую речь то и дело вклиниваются меткие замечания безымянных соотечественников Швейка на пражских улицах.

Как мы видим, общественная действительность находит в трилогии чрезвычайно широкое и многообразное воплощение.

Но не только стройная и художественно осмысленная композиция помогает Пуймановой избежать той экстенсивной описательности, которую Анна Зегерс охарактеризовала как «натужное стремление показать любую отдельно взятую деталь во всех ее социальных взаимосвязях»;[1] Пуйманова обладает редким умением естественно вводить героев в бурлящую действительность нашего века. Ее герои живут, работают, любят и ненавидят сначала в обстановке угарного просперити 20-х годов, потом, в предгрозовой атмосфере 30-х, они переживают трагедию преданной в мюнхенские дни родины, задыхаются в удушливой атмосфере оккупации, восторженно встречают на пражских улицах советских воинов-освободителей. Это не значит, конечно, что все герои трилогии живут исключительно на площадях и не сходят с трибун митингов. Пожалуй, немногие писатели обладают таким тонким, как Пуйманова, умением воссоздать «микромир» семьи во всей его уютной, бытовой интимности. Вспомним сцены рождественской елки и вообще все эпизоды в доме матери Неллы Гамзовой — в Нехлебах. Любовное изображение больших и малых событий повседневности создает ту теплоту и достоверность, которая вообще характерна для стиля Пуймановой. Так, юмористические подробности многолетней вражды между прабабушкой и служанкой Барборкой и мелочи быта семьи Гамзы образуют как бы островок живой жизни среди беспросветного мрака оккупации. А как эмоционально и драматично подробное перечисление давно забытых, завалявшихся предметов домашнего обихода, извлеченных из шкафов

[1] «Иностранная литература», 1970, № 11.

грубыми руками гестаповцев во время обыска в квартире Гамзы! Здесь вещи смешные и трогательные в своей допотопной неуклюжести говорят о долгой счастливой жизни семьи, в один день растоптанной оккупантами. Незадолго до смерти Пуйманова писала: «Даже в самые драматические периоды истории люди живут не только политикой, и среди самых потрясающих обстоятельств они переживают свои личные радости и печали, мечты и утраты, маленькие семейные стычки и свои увлечения»[1]. Сцена, когда Нелла узнает о гибели дочери, казненной фашистами, особенно волнует потому, что, несмотря на свое отчаяние, Нелла чувствует, что она не властна отвернуться от требований повседневной жизни: она зовет внука Митю ужинать и требует, чтобы он помыл руки. Герои Пуймановой так же естественно переходят из своего микромира в сферу героического действия, как садовница Франтишка Поланская, выбежавшая, даже не сняв кухонного фартука, на площадь, где толпа бастующих пыталась освободить ее арестованного мужа-коммуниста, прямо навстречу жандармским пулям.

Пуйманова обладает удивительной способностью улавливать и неповторимые особенности человеческой индивидуальности, она умеет подслушать и передать едва приметные душевные движения. Ее волнуют и так называемые вечные вопросы человеческой жизни, любовь, смерть, отношения родителей и детей, супругов и возлюбленных. Сколько психологических открытий, скажем, в изображении отношений супругов Гамзовых на склоне лет, когда прошла полоса ревности, измен и взаимного непонимания, особенно нежно и преданно привязавшихся друг к другу, или отчаянной юношеской любви Станислава Гамзы к известной актрисе зрелых лет, в которой яркая талантливость сочетается с суетностью, неумеренным тщеславием и расчетливостью. Пуйманова использует разнообразные приемы вживания во внутренний мир героев, которыми располагает современный роман, такие, как несобственно прямая речь или внутренний монолог, порой близкий по форме к потоку сознания. Тут Пуйманова идет путем, который характерен для многих мастеров романа-эпопеи XX века — для этого достаточно вспомнить Михаила Шолохова, Алексея Толстого или Роже Мартен дю Гара. В начале этого пути мы встретимся с великим именем Льва Толстого. «Война и мир» действительно мой самый любимый роман, начиная с юных лет, он сопровождает меня в течение всей моей жизни»[2],— писала Пуйманова. Писательница считала, что Толстой был ее учителем в «эпическом понимании материала». В мастерском сочетании эпической широты с филигранной «микропсихологией», в монументальном изображении народного героизма рядом с глубоким проникновением в «диалектику души» в трилогии Пуймановой, несомненно, чувствуется влияние великого русского писателя.

---

[1] M. P u j m a n o v á. Vyznání a úvahy, s. 101.

[2] Письмо в Союз советских писателей от 3.III. 1953. Цит. по кн.: Т. М о т ы л е в а. О мировом значении Л. Н. Толстого. М., 1957, с. 695.

Герои Пуймановой, как и персонажи Толстого, наделены живой достоверностью, делающей их такими нам близкими, как хорошо знакомые люди. Такие интимные отношения героев с читателем являются уделом лишь выдающихся произведений реализма. Это относится прежде всего к семейству Гамзы и к Урбанам.

Прототипом адвоката Гамзы в романе был известный деятель рабочего движения в Чехословакии, коммунист Иван Секанина. «Адвокат бедных» Гамза, как и Секанина, присутствует на Лейпцигском процессе, предлагает обвиняемым свою помощь в качестве защитника, выступает в прессе с обвинениями против истинных виновников поджога рейхстага — гитлеровцев. Нацисты не простили этого Секанине: в первый же день оккупации Чехословакии он был арестован и погиб в фашистском концлагере. Та же участь постигает в романе Петра Гамзу.

Пуйманова как бы исподволь приближается к этому яркому и поначалу мало ей знакомому характеру. Ей не доводилось еще изображать борца крупного масштаба, человека бескомпромиссных убеждений, незаурядного мужества и выдающегося ума. Да и вообще в чешской литературе того времени — Гамза один из первых художественно полноценных образов «положительного героя современности». Кажется, поначалу Пуйманова испытывает ту же робость, что и Нелла Гамзова, которую пугает непоколебимая идейная убежденность мужа и сила его ненависти. Сначала писательница смотрит на своего героя немного снизу вверх и в то же время жадно ищет какие-то черты обычности в этом незаурядном характере. Поэтому в первой части Гамза политический борец и Гамза-человек, представленный в атмосфере ночных кутежей, легких увлечений и семейных неурядиц, как бы отделены друг от друга. Лишь во второй и третьей частях писательница находит новые жизненные штрихи и показывает по-настоящему духовную красоту и богатство этого человека. Сколько трогательной человечности обнаруживается в безжалостном насмешнике Гамзе, когда он с мальчишеским смущением, стараясь не испугать жену, просит ее перед поездкой на Лейпцигский процесс на всякий случай сохранить его письмо-завещание в ЦК своей партии. Лейпцигский процесс показан через восприятие Гамзы, и тут ясно проявляется юношески страстная душа этого человека, беззаветно преданного идее коммунизма, без памяти «влюбившегося» в богатыря Димитрова. Глубоко лирична сцена, когда в ночь накануне вступления гитлеровцев в Прагу супруги сжигают документы в адвокатской конторе Гамзы и, захваченные воспоминаниями, снова переживают оставшееся где-то за десятилетиями обыденной жизни бурное начало их любви.

Если к образу Гамзы писательница приближается как бы постепенно, с некоторой опаской, то образ Неллы раскрылся перед ней сразу — так много в нем интимно пережитого и перечувствованного. Это тип особенно близкий писательнице. Хрупкая маленькая женщина обладает редкой душевной чистотой, страстно стремится ко всему красивому и гуманному, но мысль о борьбе вызывает у нее ужас, мешающий ей поначалу полностью

принять взгляды мужа, перед которым она преклоняется. Но ее «система наседки», как шутливо называет Гамза жизненную философию своей жены, терпит крах. Потеряв мужа и дочь, отдавших свою жизнь в борьбе с фашизмом, Нелла как бы распрямляется и по-своему участвует в борьбе жизни со смертью. То большое внимание, которое уделяется в трилогии возмужанию подростка и юноши и обретению им своего пути в жизни, вносит в трилогию элементы романа воспитания. Эта тема связана с представителями молодого поколения семьи Гамзы и Урбана. Жизненный путь Ондржея Урбана чрезвычайно важен для понимания трилогии в целом. Для Пуймановой, принадлежащей по рождению и воспитанию к миру пражской интеллигенции, было естественно поставить в центре романа семью адвоката Гамзы. Но существенно то, что в ряду главных героев мы находим рабочего паренька Ондржея, именно он, а не сын фабриканта, как предполагалось согласно первоначальным наброскам, становится подлинным антагонистом Казмара. Пуйманова писала: «Я изобразила рабочего Ондржея не в соответствии с тенденциозными рецептами, не как некоего, заранее заданного бунтаря, который вступает в бой со злым капиталистом и всегда прав, я изобразила его обычным живым человеком, у него свои горести и радости, своя любовь, его формируют не лозунги, а жизненный опыт» [1]. Жизнь, повседневный опыт, та школа, которую он проходит в Улах, приводит Ондржея к осознанию лживости казмаровской демагогии. Не случайно в третьей части трилогии мы встречаем Ондржея в Советском Союзе. На родину в рядах Чехословацкого корпуса возвращается уже сложившийся сознательный человек, обогащенный опытом советской жизни.

В образе дочери Гамзы Елены особенно ясно ощутимо, с какой естественностью и жизненной достоверностью развиваются характеры в трилогии, какая в них глубина психологического проникновения и как пластически художественно воплощена общественная закономерность. Уже в первых главах в храброй маленькой Еленке, с таким не детским присутствием духа выведшей мать из ночного заснеженного леса, видны черты, которые много позже приведут ее в ряды борцов Сопротивления. С раннего детства высоким примером для Елены был ее отец, она чуть ли не с детских лет восприняла его убеждения, которым осталась верна всю жизнь.

Так же как исторические события предстают у Пуймановой как бы по-домашнему, без всякой торжественности и официальности, так и ее герои начисто лишены помпезности и патетичности. Пуймановой лучше всего удается своего рода «будничный героизм». И в этом есть что-то глубоко национальное. Писательница не раз говорила о свойственной чехам нелюбви к громкой фразе, к красивому жесту, к внешнему пафосу, о том, что чехи стыдятся громких слов и даже подвиги совершают, не теряя юмора и трезвой деловитости. Читая последнюю часть трилогии, невольно вспоминаешь

---

[1] M. P u j m a n o v á. Spisovatel a doba. Studentský časopis, 1938, XVII.

слова Фучика: «Смерть проще, чем мы думаем, и у героизма нет лучезарного ореола...» Наиболее полно эти национальные свойства выразились в характере Елены, с ее неприязнью к сентиментальности, с ее искрящимся юмором и мужеством, особенно разительно проявившимся в главе «Выше голову!», где повествуется о казни Еленки и других бойцов-антифашистов.

Однако Пуйманова мастерски изображает человеческий характер не только в «пограничных ситуациях». Более всего она любит показывать человека в деянии. С одинаковым увлечением она рассказывает о труде-творчестве врача Елены, которая упорно борется за жизнь столетней старухи, актрисы Власты Тихой, стремящейся проникнуться духом новой роли, или ткача Ондржея, различающего по звуку работу любого станка в своем цехе. Пуйманова воссоздает рабочую атмосферу в ткацком цехе через восприятие Ондржея, зачарованного царством машин, и восторг подростка вносит смысл и поэзию в эту симфонию труда. Много лично пережитого вкладывает Пуйманова в творческие искания Станислава Гамзы. С подлинной глубиной она раскрывает психологию творческого процесса: превращение впечатления в образ, стремление художника отобрать, осмыслить, найти сущность. И чем глубже постигает Станя новую, всегда неожиданную действительность, тем более ему доступен становится «эпический» взгляд на мир и тем мельче кажется собственная любовная драма, которая еще недавно представлялась катастрофой. Процесс творчества у Пуймановой — всегда процесс духовного оздоровления.

У Пуймановой есть своя концепция человеческой активности. Прежде всего она осуждает индивидуалистическое самоутверждение любой ценой. В этом смысле очень важен образ Казмара. Буржуазная пропаганда на все лады рекламировала его прототип — обувного короля Батю — как хрестоматийный пример бедняка, благодаря своей энергии и таланту достигшего безграничного богатства и могущества; интеллигенция превозносила его как своеобразное воплощение идеала «сверхчеловека». Пуйманова не отказывает своему Казмару в известном обаянии, отмечает его незаурядную волю и талант организатора, но она безжалостно вскрывает и изнанку его активности. Казмар изображен чаще всего сквозь призму восприятия Ондржея, сначала буквально влюбленного в хозяина, но постепенно со все большей ясностью осознающего истинный смысл казмаровской системы и безграничную жестокость самого хозяина. В подлинно зловещем свете бешеная активность Казмара выступает в сцене его гибели. Казмар, как и реальный Томаш Батя, разбивается во время авиационной катастрофы. Но писательница вводит в роман детали, поднимающие это происшествие над обычной случайностью: улецкий король настоял на полете в нелетную погоду, боясь пропустить военные заказы в первый день мобилизации осенью 1938 года. Бесславный конец одного из «некоронованных королей республики» как бы символизирует крах ее показного благополучия. За этой главой тотчас следует проникнутый болью и горечью рассказ об исторических событиях 1938—1939 годов.

Своеобразной параллелью к образу Казмара является история «головокружительной» карьеры сестры Ондржея Ружены Урбановой. И она поднимается с самого низа социальной лестницы до самых ее верхних ступеней, проявляя немалую активность и ловкость. Типичны все метаморфозы Ружены, начавшей свою карьеру в качестве скромной маникюрши, умиравшей от желания попасть в «хорошее общество», купившей это «счастье» ценой брака с «отвратительным стариканом» Хойзлером и в конце концов нашедшей полное осуществление своих «честолюбивых» мечтаний в любовных связях с фашистскими офицерами.

Суетливой, напористой активности хищников противопоставлена иная деятельность — творческая и общественная. У Пуймановой нет сомнения, что человек может постичь направление общественного развития и его действия могут послужить осуществлению больших исторических целей. Но это не дано изолированной, одинокой личности, руководствующейся только индивидуалистическими стремлениями.

Вера в человека пронизывает самые трагические страницы трилогии. Ее герои — не одинокие существа, а частицы огромной силы народа. Эту связь вдруг почувствовал Ондржей, когда он решил заступиться перед грозным Казмаром за уволенную работницу. Та же невидимая связь придает мужество Нелле в самые страшные минуты ее жизни. И отчаявшийся, потерявший в жуткой атмосфере протектората вкус к жизни Станислав распрямляется и оживает, почувствовав протянутые руки, которые помогают ему не только ожить, но и начать бороться.

Вера Пуймановой в целесообразность и перспективность человеческой активности проявляется и в том, какой смысл она придает идее живой смены поколений.

Проблема поколений решается в европейском романе, как известно, по-разному. Так, Золя изображает вырождение биологическое, Горький в «Деле Артамоновых» — социальное, а Томас Манн в «Будденброках» — духовную деградацию семьи собственников. В центре внимания Пуймановой — преемственность прогрессивных идеалов (здесь она перекликается с романом А. Зегерс «Мертвые остаются молодыми»): Елена продолжает дело Гамзы; ее сын, маленький Митя, рвется принять участие в опасной подпольной борьбе родителей, а юный студент, вырвавшийся из лагеря, где погиб Гамза, приходит к Нелле и передает его завет.

Нередко говорят, что автор романа-эпопеи обычно выступает как всеведущий и безликий демиург, который незримо управляет созданным им миром. Этого никак не скажешь о трилогии Пуймановой. Личность автора постоянно присутствует в повествовании. Это мудрый, честный, любящий людей человек, искренне ищущий истину. Живой облик писательницы с ее чисто женской непосредственностью, добротой, неподражаемым лукавством, тонкой наблюдательностью дает себя чувствовать на протяжении всей трилогии: авторское «я» проявляется и в публицистическом комментарии (особенно во второй и третьей частях), и в эмоциональных отступлениях,

и в лирических пейзажах, и в особой окраске несобственно прямой речи. Вообще стихия лиризма объединяет стилевые элементы трилогии, придает повествованию ту поэтичность, которая позволяет чехословацким исследователям говорить о «поэтическом реализме» Пуймановой. Для нее характерно то, что она сама называет свежим, незамутненным видением мира,— умение посмотреть на каждую вещь как будто впервые, увидеть ее с какой-то новой стороны и в то же время сказать о ней нечто существенное. Отсюда же и сходство ее пейзажей с омытыми солнечным светом и чуть остраненными пейзажами импрессионистов, в которых действительность предстает в сиюминутной свежести и непосредственности.

В то же время стилю Пуймановой при всей его эмоциональности враждебна идеализация, риторичность или идиллическая сентиментальность. Надежная гарантия против всего этого — никогда не покидающее писательницу чувство юмора и меры, нечто такое, что можно было бы назвать здравым смыслом в повествовании. Иронический подтекст нередок и в авторском тексте, и в несобственно прямой речи. Сочувственная ирония сопровождает самых милых сердцу автора героев: Неллу, Еленку, Станислава, Ондржея, она аккомпанирует повествованию об их разочарованиях и заблуждениях. Порой именно ирония помогает раскрыть сложность и противоречивость человеческих чувств. Но ирония меняет свой характер, становится злой, когда Пуйманова рассказывает, например, о супругах Хойзлер, легко нашедших общий язык с оккупантами, или чуть грустной, когда речь заходит о печальной «улецкой принцессе» Еве Казмаровой, или грустном скептике Розенштаме, в которого безнадежно влюблена робкая и некрасивая наследница миллионов.

Кроме непосредственной авторской речи, элемент самовыражения проявляется, как мы уже говорили, и в обрисовке таких персонажей, как Нелла или Станя. Чешские исследователи установили, что в трилогии нашли себе место и другие глубоко личные впечатления и воспоминания писательницы. Так возникает та неповторимо пуймановская манера, которая составляет очарование и поэтичность трилогии.

Способы художественного воплощения самых широких пластов действительности в трилогии чрезвычайно гибки и разнообразны. Впрочем, иногда в последней части Пуйманова как будто перестает доверять испытанному методу, и тогда в некоторых главах «Жизни против смерти» абстрактная логика заменяет индивидуальную логику развития образа. Тут на смену драматическому изображению приходит порой статичное описательство (это относится к некоторым моментам изображения советской действительности, которая была недостаточно хорошо известна писательнице); лирическая авторская речь, полная тепла, юмора и лиризма, вдруг уступает место деловому пересказу, и на страницах романа появляются схематичные персонажи. В этом смысле трилогия Пуймановой отразила и большие успехи в развитии чешского романа, и те трудности, которые ему пришлось пережить. Сама Пуйманова признавалась, что при создании

«Жизни против смерти» историк, стремившийся благоговейно передать все, что хранится в народной памяти, иногда вступает в конфликт с художником. Пуйманова действительно становится жертвой той «жадности» к новому, необычайно привлекательному для художника историческому материалу, которая заставляет ее, как и многих других писателей, включать хотя бы в виде простого пересказа то, что не удается в пределах романа воспроизвести художественно.

Вообще же трилогия Пуймановой с убедительностью свидетельствует о том, какими многообразными способами для изображения исторической действительности располагает современный писатель, какие широкие возможности раскрыть диалектические связи между индивидуальными судьбами, внутренней жизнью личности и широким миром открыты перед романом-эпопеей, как тесно эпичность переплетается в этом жанре с лиризмом, с публицистичностью, с другими проявлениями активной авторской позиции, как современный роман чужд по существу всякой безликой описательности.

Мы уже говорили, что трилогия — вершина творчества Пуймановой и ни в одном своем произведении она не достигала такой художественной значительности. Но в то же время творчество писательницы удивительно цельно. Можно сказать, что тема борьбы светлых сил жизни против сил мрака и уничтожения преломляется в многоцветном аспекте ее произведений. С этой общей направленностью творчества писательницы связана и острая критика социального неблагополучия в буржуазной республике, и антифашистский протест, и вера в светлое будущее своей страны, пошедшей по пути социализма, которая пронизывает ее послевоенные произведения. Отсюда и живейший интерес Пуймановой к культуре самых разных народов, к их вкладу в дело борьбы за человеческий прогресс, в ее репортажах о славянских странах, о поездках в Индию и Китай. Гуманистические устремления писательницы, начиная с 30-х годов и до самой смерти, всегда обращены к Советскому Союзу. Образ «великой страны, где перевернута страница истории», находит поэтическое воплощение не только в трилогии, но и в стихах и публицистике.

Гуманистическое мировосприятие согрето у Пуймановой сердечным теплом. Может быть, поэтому оно так часто связывается с самым заветным женским чувством — материнством. Материнство — одна из важных тем Пуймановой, она поднята уже в ранней повести «Пациентка доктора Гегла», героиня которой решается на внебрачное материнство и находит в нем счастье. Эта же тема звучит в сборнике «Стихи материнские» и многих других поэтических произведениях — вплоть до трилогии. С этой темой связано и исключительное внимание писательницы к миру детских переживаний (кроме трилогии, также и в повестях и во многих рассказах), вызванное и ее этической требовательностью, возможностью через детское, особенно острое и чистое восприятие показать, что хорошо и что плохо. В характере писательницы до самой смерти оставалось что-то от юноше-

ской бескомпромиссности, поэтому она часто возвращается к изображению детства, хотя порой смотрит на своих юных героев с мудрой улыбкой человека, обогащенного большим жизненным опытом. Тема превращения ребенка в юношу и затем в зрелого человека связана в творчестве Пуймановой с более широкой проблемой становления характера, обретения человеком нового мировоззрения и своего места в общественной борьбе.

Пуймановой было свойственно в высокой мере чувство современности, она ясно понимала, что перед писателем XX века стоит задача включить в сферу искусства новые темы — технические и научные достижения современного человека. «Если бы я не посвятила свою жизнь писанию книг, я хотела бы быть естествоиспытателем или врачом» [1],— говорила она незадолго до смерти. Уже в первых поэтических сборниках Пуймановой мы встретимся с множеством технических терминов, в этом отношении она близка к Незвалу, чешскому поэту, также наделенному обостренным чувством современности. После войны Пуйманова обращается в ряде стихотворений, например, к таким «непоэтическим темам», как чудотворное действие пенициллина или лечение детей от коклюша. Высшим выражением интереса писательницы к вопросам науки явилась ее поэма «Госпожа Кюри» (1957). Горячее увлечение медициной сказалось и в последней повести Пуймановой — «Сестра Алена» (1959), проникнутой пафосом борьбы за человеческую жизнь. Недаром любимая героиня писательницы Елена Гамзова борется за жизнь против смерти и как врач и как участник антифашистского Сопротивления.

Умение увидеть поэзию в любой творческой деятельности человека — вообще знаменательное качество реалистической литературы XX века — вспомним изображение труда хирурга в «Семье Тибо», изображение биологических опытов в «Мартине Эрроусмите» Синклера Льюиса, если говорить о западной литературе, и множество примеров изображения вдохновенного труда в литературе советской. Преклонение перед наукой, как и ее вера в социализм, связано у Пуймановой со страстным стремлением облегчить страдания людей, открыть перед ними широкую дорогу к счастью.

* * *

Трилогия Пуймановой не только принадлежит к вершинным достижениям чешского романа, она прочно вошла в фонд социалистической классики.

Значительные потрясения в жизни человечества обычно вызывают в литературе потребность художественно осмыслить их, увидеть в больших масштабах истории. Естественно, что к таким всемирно-историческим событиям относится вторая мировая война, решительно изменившая общественно-политическую ситуацию на всем земном шаре. При той устойчивой

[1] «Život», 1958, № 10.

традиции романов-эпопей, которые появились в европейской литературе уже в 30-е годы, можно было бы ожидать и теперь создания монументальных фресок, воспроизводящих великие исторические сдвиги. Однако именно романы такого типа почти совершенно отсутствуют в послевоенной западноевропейской литературе, они воспринимаются порой как невозвратное прошлое. И это, конечно, не случайно, как не случайно и то, что широкие эпические повествования появились в первое послевоенное десятилетие почти во всех социалистических странах. Очевидно, условием создания романов-эпопей в наше время является именно сознательный историзм, представление о соотносимости человека и истории, о возможностях участия человека в историческом процессе, признание за самим этим процессом определенных и постижимых для человека закономерностей. На этой почве создан ряд выдающихся произведений, типологически сходных по своей структуре. Можно назвать роман А. Зегерс «Мертвые остаются молодыми», «Хвалу и славу» Я. Ивашкевича, «Табак» Д. Димова. Все эти произведения, в которых по-своему переосмыслен пример советских романов-эпопей, таких, как «Тихий Дон» М. Шолохова или «Хождение по мукам» А. Толстого, порождены общей потребностью оглянуться назад, осмыслить национальную историю в свете перспектив социалистического преобразования, в них прослеживаются судьбы наций от конца первой до конца второй мировой войны. Эти многоплановые романы или романные циклы, с их сложным переплетением множества человеческих судеб, с ясно проявляющимися традициями и воспитательного романа, и романа поколений, сходны не только в тематическом, но и в жанровом отношениях. Большинство из них начинаются как семейная хроника, но затем вихрь истории врывается в рамки семейного мирка, бесконечно раздвигая его, заставляя людей выбирать свое место в борьбе, в которой решаются национальные судьбы. Обращение к значительной этической и философской проблематике, мастерство раскрытия глубинной психологии, внимание к становлению личности — также общее свойство названных нами произведений. Бесспорно, к самым значительным достижениям подобного типа романа принадлежит трилогия Пуймановой. Произведения такого рода являются яркой и живой традицией даже и в тех социалистических литературах, в которых роман в последние годы пошел по другому пути и романисты нередко отказываются от широкой панорамности.

Мы употребляем слово «традиция» не как этикетку, украшающую почтенные, но устаревшие художественные издания. Трилогия Пуймановой входит в духовный кругозор сегодняшнего читателя, обогащая его тем ощущением красоты мира и человека, которое освещало и согревало творчество чешской писательницы.

И. БЕРНШТЕЙН

ПЕРЕВОД Т. АКСЕЛЬ И Ю. МОЛОЧКОВСКОГО

ЯЩИК

Отец Ондржея, слесарь Вацлав Урбан, умер, когда мальчику шел одиннадцатый год. Вацлава похоронили в родной Льготке на Маречковом кладбище. Анна, жена Урбана, была уроженкой Праги. После смерти мужа она записала за детьми их долю наследства и, поколебавшись, что было свойственно ее характеру, по совету родственников решила переехать к отцу, в Прагу. Говорили, что это делается ради детей. Пути взрослых неисповедимы; Ондржею разлука с родным краем показалась хуже смерти.

У семьи Урбана не было ни полоски земли, но Ондржей чувствовал себя хозяином всего края. Я не хочу приукрашивать моего героя. Сказать, что он любил природу, было бы все равно что уверять, будто мальчик любит свой палец. Только люди, испорченные городом, умиляются, глядя на цветущую лужайку, контур сосны на небосклоне или огни заката. Ондржей скатывался кубарем с косогора, бросал шишки в девчонок, бил из рогатки скворцов. Лук он смастерил из вербы, а рогатка у Ондржея была из бука, что рос в лесу у Черной скалы; Ондржей дважды срывался оттуда; впрочем, это не важно. Вместе с друзьями Франтой Суком и Тондой Штястных, которому взрывом патрона оторвало палец, Ондржей бродил по лесу, увязая по колени в прелых листьях. Однажды они поймали жука-рогача, великана среди жуков; по дороге домой жук прокусил Ондржею карман. Над головами мальчиков в таинственном лесном сумраке пронзительно кричала неведомая хищная птица. Может быть, орел. Мальчики невольно заговорили шепотом.

Ранней весной, как только начинали резвиться зайцы, мальчик взбирался на иву близ Маречкова кладбища, которое тогда еще не напоминало об отце. Дерево росло на косогоре у дороги. Ондржей

карабкался вверх; ветки трещали, но мальчик поднимался все выше, и вдруг наступал момент, когда ему казалось, что он уже не на дереве, а на маяке, возвышавшемся над другим склоном холма, и его глазам открывалась широкая панорама далей. Прошлогодние картофельные поля спускались вниз, к крышам около реки, к шпилю костела, к трубам лесопилки, а дальше вновь переходили в пашни; разбросанные заплатами по брюху земли, они тянулись до самого леса на горизонте, где, казалось, можно было рукой схватить небо. На мгновение мальчику почудилось, что он капитан на громадном корабле «Земля».

Крепко стиснув сук ногами, Ондржей срезал ветки с «сережками», больше похожими на гусеницы, чем на цветы. Он делал это торопливо — можно ведь и свалиться; кроме того, его смутно пугало ощущение близости к загадке мира. Потом он быстро спускался на землю и даже не собирал сброшенных «сережек». Это занятие для девчонок!

Вместе со сверстниками Ондржей бегал к речке. Ноги его то ступали по острым камешкам, то скользили по голышам; среди камней ослепительно сверкало зернышко слюды, мальчик щурился, холодная вода облизывала ему ноги. Балансируя, он становился на валун в мелком месте потока и, наклонившись, осторожно приподнимал небольшой соседний камень. Вода мутнела, Ондржей глядел, затаив дыхание; под водой, похожий на свое отражение, полз рак. Ондржей поднимал его за панцирь — так, чтобы рак не схватил его клешнями,— и бросал в шапку. Там уже копошились другие раки.

Ондржей выкуривал ос из гнезда, знал, где живет еж и у кого из соседей окотилась кошка, знал по именам всех деревенских коров и собак, таскал сливы во всех садах. На любом конце деревни он разводил костры, а когда земля освобождалась от снега, отыскивал их следы. Так повелось с незапамятных времен. Ну разве можно было изменить этот порядок?..

Господи, да Ондржей охотно работал бы все воскресенья, носил бы воду, подвязывал фасоль, только бы жив был отец! Как мало довелось им побыть вместе!

Уже вернулись с войны отцы многих льготских мальчиков, уже имена павших воинов были увековечены на памятнике, когда из России возвратился легионер Вацлав Урбан. Он долго ехал морем из Владивостока. Ондржей сперва стеснялся чужого пожилого солдата, который наполнил кухню табачным дымом и был так непохож на таращившего глаза молодого человека в черном сюртуке и высоком воротничке, чья фотография всегда висела над клеенчатым диваном. Ондржей чувствовал себя неловко с отцом и почти жалел, что тот приехал: лучше бы все оставалось по-прежнему.

Но еще удивительнее было, что и солдат, который не боялся даже немцев и вообще никого на свете, тоже как будто стеснялся сына. Когда он уходил на войну, сынишка даже не умел говорить. Они не знали друг друга.

Отец поел и лег спать. Он спал сутки и проспал сильную бурю с дождем и градом. Градины были величиной с яйцо, и мать нарочно взвесила одну из них — градина потянула полфунта. Когда отец проснулся, буря уже стихла, солнце клонилось к закату, весь мир был в каком-то беспорядке и казался обновленным, словно после потопа: бочка под водосточной трубой переполнена, на дороге застряли возы с хворостом, в канаве за домом бурлит вода. Отец велел Ондржею принести две дощечки, колышек, гвозди, но не сказал зачем. Он взял молоток, и они вместе вышли из дому. Через минуту в канаве уже стояла мельница, она вертелась и стучала под струей воды. Эта мельница принадлежала Ондржею, а смастерил ее отец, вернувшийся с войны.

Вацлав наводил порядок в мастерской, ворчал, что порастеряли инструмент и многое заржавело. Он попросил у почтальона велосипед, посадил сына на раму, и они поехали в Радиште покупать недостающий инструмент. Там Ондржею и был куплен знаменитый складной нож с намагниченным лезвием. Только теперь Ондржей понял, что значит мужчина. Мужчина возьмет тиски, зажмет в них ключ и выпилит в нем бородку. У него есть всевозможные клещи, разводные ключи и множество шурупов, гаек и проволоки. Он повелевает огнем и металлами, умеет открыть любой замок, вообще разбирается во всем. Когда мать ссорится с теткой, он только посвистывает. Брось ты, мол, сердиться, Аничка. Оставьте вы друг друга в покое, бабы.

Отец был явно главнее матери, которая вечно суетилась у плиты, нетерпеливая, усталая, хмурая. Во время войны она работала на чужих полях за меру картошки, за горсть крупы. Трудно было привыкнуть к этому ей, дочери пражского привратника, когда-то служившей в горничных; она никак не могла забыть своего прошлого. Но война приучила женщин ко всему. Когда льготского сапожника забрали в солдаты, Анна сама сшила детям сапожки. Но сапожки вышли неудачные: жали. У Анны был такой характер: она всем жертвовала ради детей, но потом попрекала их этим. Человек над собой не властен.

Отец рассказывал Ондржею о псе, помеси волка с собакой, который бежал за поездом, когда хозяин уезжал, о бронепоезде, о китайцах, о компасе капитана. Мать прерывала его вопросами о ценах на продукты в России. Россия — великая страна, она огромна, как мир, до Владивостока надо ехать поездом целый месяц. Ручьи в России такие, как у нас реки, а реки — как моря,

другого берега не видать. Над Сибирью и по ночам светит солнце, и дни там длиннее. А сколько зверья и рыб! Осетр для них все равно что для нас вьюнок, яйца русских кур такие, как у нас индюшачьи. Ондржей вспомнил картинку из Библии: четверо мужчин на палке несут гроздь винограда из земли обетованной. Так, наверное, все выглядит в России. Величие этой земли словно отражалось и на отце. Ондржей хвалился в школе папиной Россией.

Однажды на деревенском празднике гости из соседней деревни собрались уезжать домой. Возница запряг телегу, но отъезжающие что-то медлили, и он тоже зашел в дом на чарку вина. Кони стояли у ворот. Местные мальчуганы забрались на телегу; без Ондржея, конечно, не обошлось. Черт дернул Франту Сука хлестнуть по коням, они сорвались с места и понесли. Ребята взвизгнули от удовольствия, которое, однако, быстро сменилось испугом. Стоявший во весь рост Франта повалился в телегу. Сзади раздались женские крики. Кони мчались, как дикие, к крутому повороту дороги, где две недели тому назад перевернулась автомашина колбасника Понделичка. Полупустую телегу бросало из стороны в сторону. Ондржей оглянулся на деревню, ища помощи. Он видел, как несколько мужчин со всех ног бросились лошадям наперерез. Отец обогнал всех и на бегу жестами показывал детям, что надо делать. Но перепуганные мальчишки не понимали. Потом сердитое, напряженное от бега лицо отца показалось совсем близко. Ондржей слышал его надсадное дыхание. Урбан схватил коней под уздцы, кони дико рванулись в сторону, и телега ударила отца в бок. Он выругался, но не выпустил узды, все бежал рядом, повиснув на поводьях, которые резали ему руки. Все-таки он остановил коней еще до поворота. Да, жизнь Ондржея тогда висела на волоске!

А вот их защитник, воин, шесть лет сражавшийся на войне, солдат, которого не брали пули, человек, объехавший полмира и пришедший издалека в те дни, когда Ондржей начинал жить сознательной жизнью, вдруг превратился в чуждого миру мертвеца, которому уже не нужна была скорбь близких. Он умер, когда сын крепко привязался, а не только по-детски привык к нему. Говорили, что сдало сердце и сосуды. Солдаты мировой войны старились быстро.

— Лучше бы он совсем не возвращался,— причитала мать.— Мы уже привыкли без него. Приехал домой помирать!

Она и горе свое взвешивала на весах.

Яростная верность покойному отцу утверждала Ондржея в его сопротивлении женщинам — матери и тетке,— которые, говоря об отце, уже называли его не Вацлав, а *покойник;* это казалось маль-

чику оскорбительным. Женщины называли вещи своими именами и поспешным примирением с непоправимым словно предавали отца. Едва упала на гроб последняя горсть земли, они уже толковали о завещании, о нотариусе, об аренде дома и записи в земельных книгах, о том, куда деть перины, что делать вон с тем комодом, с этим буфетом и с той кастрюлькой.

— А как же Гарик? — испугался Ондржей.

— Небось приедешь еще повидаться с ним,— ответила тетка, втайне радуясь, что скоро будет полной хозяйкой в домике.

— В Праге у тебя будет дедушка,— утешала Ружена.

Ружене что — строит из себя взрослую, бахвалится, что у нее умер папа, что у них траур и они поедут в город. Ружена всегда была двуличной и, когда играли в прятки, выдавала места, где спрятались другие.

На что Ондржею дедушка? Он с ним незнаком. Другое дело Гарик, пес. Положишь ему на нос кусочек сахару, и он ждет, не спуская просящих глаз с хозяина, не шевельнется, хотя у него дрожат уши и мокрый нос, и только по знаку мальчика пес подбрасывает мордой сахар и с чавканьем ловит его.

Черная печаль траура постепенно превращалась в серые заботы будней. Мать напускалась на детей. Всюду мешаются! Никогда Ондржею не попадало так, как после смерти отца, когда мать была не в себе и сама не знала, чего хочет.

— В Праге скорее забудется горе,— твердили ей родичи.— Слезами делу не поможешь, мертвого не воскресишь.

Все изменили памяти отца. Все предавали его.

Ондржей вонзал в деревья свой магнитный нож, бегал с Гариком по сжатым полям, стараясь избавиться от мыслей о смерти, благодаря которой только и познает человек жизнь во всей ее полноте.

Хуже всего было — и в этом Ондржей не признался бы даже Тонде Штястных,— что покойный отец становился ему недругом. Ондржей видел отца во сне: он ходил и разговаривал, как живой; Ондржей и во сне понимал, что отец умер, но не подавал виду. Отец молча глядел на мальчика, угадывал эту хитрость и смеялся над его трусостью и над всеми живыми, которые суетятся и чего-то хотят, живут и забывают умерших, живут и предают тех, кого уже нет. Отчуждение горше скорби — отчуждение к ушедшему навсегда.

Все воспринималось по-иному. Смысл слова *никогда* воплотился в образе деревянного ящика: это был гроб, в котором покойника выносят из дому; это был сундучок рекрута или девушки-служанки. Это был черный, грубо сколоченный сундучок, в день отъезда

стоявший на кухне, возле ушастого узла с перинами, дверь в кухню была раскрыта настежь, чтобы могла выйти злая судьба. Из сеней слышались голоса: мать и тетка сдавали комнату барышне с почты, уговаривая ее так, будто заботились не о своей, а только о ее выгоде. Это уже не шутка. Они уезжают навсегда и увозят отцовскую фотографию, на которой он так напряженно уставился в аппарат.

Будни, повседневная жизнь, полная настолько знакомых вещей, что Ондржей не замечал их, теперь начинали казаться далеким миром невиданной красоты. Край был полон пережитого, Ондржей ходил и словно перечитывал все сызнова. Никто после него не прочтет этих страниц.

Мать и Ружена упаковывали вещи. Принес и Ондржей свое имущество: лук со стрелами и рогатку из бука, что растет на Черной скале. Мать выкинула этот хлам, едва мальчик вышел за дверь: не хватало места для необходимых вещей. К счастью, свой нож, знаменитый нож с магнитным лезвием, Ондржей сжимал в кармане, с ним он не расставался никогда. Провожаемый несколькими мальчиками, отдавшись во власть двух женщин, Ондржей отправился на станцию. Гарика пришлось запереть — так он неистовствовал.

Из-за долгих сборов и прощаний Анна с детьми опоздала к поезду, и они уехали только вечером.

Устроившись в вагоне и поужинав, вдова смахнула крошки хлеба с юбки, положила остаток каравая и яйца на полку, где лежал небогатый багаж других пассажиров, оправила юбку, сложила руки на коленях, вздохнула и покорилась дороге. После спешки и мучительных колебаний дорога была для Анны безмерным облегчением. Она разглядывала и оценивала попутчиков.

За окном вагона часто слышались веселые возгласы девчонок, таких, как Ружена. Но Ружена уже считала себя выше других: она ехала в город. Молодые начальники станций в красных фуражках приветствовали ее поезд; она в ярких красках видела свое настоящее и легко отбрасывала прошлое.

Случись какое-нибудь несчастье, Ондржей заметил бы его первым и сразу схватился бы за тормозной кран.

Как-то поезд остановился на перегоне. Ветер утих. Паровоз не пыхтел, не слышно было станционного гама. Тихий простор окружал пассажиров, в зеленых сумерках журчал ручеек. Ондржей был рад этой задержке, ему хотелось продлить ее. Они стояли среди лесов, дышавших силой земли, пахнувших свежими и гнилыми грибами, овеянных первым дыханием осени, наступление которой еще не заметно глазу. Но вот поезд тронулся, и сно-

ва пришла грусть. Поезд мчался, унося мальчика от отца и от Гарика.

По вагону прошел безмолвный кондуктор со старомодным фонариком на поясе, повернул выключатель, и панорама за окном скрылась; в деревянном ящике купе наступила желтая утомительная ночь.

В полночь Ондржей проснулся. Пассажиры полусидели, полулежали, похожие на манекены, готовые свалиться от первого толчка. Головы болтались из стороны в сторону, вытянутые мужские ноги загораживали проход. Во сне люди переставали владеть собой, и на лицах этих несчастных как бы проступали все удары, нанесенные жизнью. Люди не могли скрыть это, они спали. Казалось, смерть набросила на них свою тень и, словно взломщик с потайным фонариком, орудовала среди спящих, прокладывая себе путь по их лицам... Ондржей один сторожил весь вагон, кроме него, бодрствовали только машинист и кочегар, где-то там, в утробе паровоза. Поезд то вытягивался, то сжимался в суставах, глазастый паровоз оставлял за собой пучину покоренного мрака, поезд сверлил пространство и, преодолевая ночь, уносил Ондржея от дома. Затаив дыхание и боясь пошевелиться, Ондржей молча прислушивался. У одного пассажира в горле словно играла гармоника. Храпела старушка, и этот храп казался мальчику похожим на ворчание тигра. Глубоко дышал цыган, сопел солдат. Ружена тихонько жужжала во сне, как пчела, прокладывающая себе путь в цветах. Пятеро спящих ткали время на станке железной дороги. А мать вообще не дышала, ее замершее лицо с провалом рта было запрокинуто.

Мать не шевелилась. Ондржей с ужасом подумал, что, может быть, эта знакомая рука с короткими неровными ногтями уже холодна. Он робко потянул мать за юбку.

— Мамочка!

Мать вздохнула, неохотно открыла глаза, снова закрыла их и, не меняя позы, сказала сонно и жалобно:

— Ну, чего тебе?

— Пить хочу,— сказал Ондржей, и это была не ложь, но и не правда: не в этом было дело.

— Тихо! Сейчас ночь, надо спать. Гляди, Ружена спит. А то вон дяденька рассердится.

Она снова приткнулась в угол и шепнула, показав себе на плечо:

— Положи сюда головку.

Но мальчик взял мать за голову и повернул ее к себе, как поворачивают глобус.

— Не спи, мамочка!

Анна выпрямилась и поморщилась от боли: у нее болели шея и запрокинутый затылок; она оглядела всех покрасневшими глазами.

— Ночью и то не даете покоя,— проворчала она,— сердца нет у этих детей.

— Не хочу, чтобы ты спала! — твердил Ондржей.

Анна молча, со злостью вытолкала сына в безлюдный коридор и отшлепала его. Ондржей не плакал. Он упорствовал. Он перенес бы любые муки, но не сознался, почему ему стало страшно при виде спящей матери. Устыженный, он стоял в коридоре, прижав нос к оконному стеклу, пахнувшему холодным пеплом.

«КАЗМАР — «ЯФЕТА» — ГОТОВОЕ ПЛАТЬЕ»

В вагоне потемнело, кондуктора спустились на ступеньки, и поезд медленно въехал под железные ребристые своды вокзала. Мать, Ондржей и Ружена вслед за другими пассажирами проталкивались по коридору вагона к выходу. Рядом двигался еще один поезд. Рельсы разветвлялись и скрещивались на громадном крытом дебаркадере. Поезд дернулся и остановился, скрежеща тормозами. Послышались звуки отпираемых кондукторами дверей. «Прага!», «Носильщик!» — эти возгласы, словно факел, вспыхивали там и сям. Прага! Споткнувшись об узел, Ондржей спрыгнул с высокой вагонной ступеньки и очутился на пражской земле. Людской поток захватил и повлек его.

В открытом люке двигался багажный лифт, но мать не дала Ондржею остановиться и поглазеть на него. С толпой пассажиров они шли вдоль темно-зеленых вагонов. Шаги гулко отдавались под высокими сводами перрона. Затем помост платформы перешел в стеклянный, словно сложенный из бутылок пол, сквозь который внизу, под ногами пешеходов, смутно мелькали проходившие поезда. Железные ребра вокзала скреплялись вверху мощным хребтом, и мальчик чувствовал себя горошиной в чреве громадного кита. «Бум-м-м!» — звякали буфера, и этот звук отдавался многократным эхом под сводами вокзала. Предостерегающие возгласы железнодорожников раздавались то с одной, то с другой стороны и властно возносились над глухим шумом прибытия. Весь вокзал был громадным стальным храмом, полным звуков и вздохов. Шипел выпускаемый локомотивом пар.

Анна и дети спустились в подземелье, миновали кафельный туннель, похожий на грязную баню или белый ад — над головами у них прогремел поезд,— и они вышли на лестницу. По обе

стороны суетились встречавшие. Тот, кто узнавал своих в поднимавшейся по лестнице толпе, весь оживлялся, выходил вперед, подавая знак глазами или поднимая руку. «Приехали!» — эти крылатые вокзальные слова трепетали в воздухе. «Вон они!» Только Анну с детьми никто не встречал — дедушке надо было сторожить дом.

Когда Ружена вырастет и, попав куда-нибудь в чужие края, скажет: «Я из Праги»,— она при этом не вспомнит, как полагалось бы, Градчаны. В ее сознании возникнет фигура дамы в кирпичного цвета костюме французского покроя под руку с плечистым американистым мужчиной, перед которыми скромно шагает пара прелестных детишек в матросских костюмчиках. Счастливое семейство идет на прогулку, радуясь тому, как дешево и со вкусом они одеты. Этот плакат нельзя было не заметить, он буквально бросался в глаза каждому приезжающему в Прагу. Красивые лица были нарисованы так, что, как ни повернись, глаза всегда смотрели только на вас, и оба ребенка показывали пальчиками:

«Казмар — «Яфета» — Готовое платье»

Ондржей напряженно глядел на швейцара, который позванивал колокольчиком, словно поминая души давно умерших пражских мусорщиков, на пружинные двери в зале ожидания. Когда эти двери отворялись, в вокзал, вместе с порывом свежего воздуха, на несколько секунд врывалось шумное, беспокойное дыхание города, с асфальта доносились сухие, быстрые шорохи, и Ружене почему-то казалось, что в каждую такую секунду она упускает свое счастье. Потом дверь захлопывалась, улица погасала, и снова наступало нудное ожидание. Вокзальные аборигены, стоя у багажа, хриплыми голосами нехотя перекидывались какими-то фразами, отдававшимися гулким эхом под сводами.

Звенели монеты в кассах, щелкали рычаги у автоматов. Один из них был замечательный! Пока мать пыталась утаить от сборщика пошлины яблоки и творог в своей корзинке, Ондржей глядел на этот автомат, весь механизм которого был виден под стеклом как на ладони. Дяденька опустил монету, внутри автомата что-то шевельнулось, бумажная катушка повернулась, ножницы без помощи рук отхватили от нее билетик, и машина выбросила его. С этим билетом можно пройти обратно на перрон, где ходит лифт для багажа. Но кому охота возвращаться? А вот Ондржей хоть сейчас вернулся бы и поехал обратно в Льготку...

Голодные, увешанные узлами и корзинкой, Анна и дети вышли из вокзала, на башне которого какие-то аллегорические крылья словно собирались подняться и улететь к Вацлавской площади. Кругом туман, копоть, дым над тысячами домов. В сизом воз-

духе Праги купол Музея казался древним, удаленным во времена королей и корон.

Прибывшие вдохнули запах города — смесь запахов бензина, резины и ясеней в соседнем сквере. Красный вагон трамвая, звякнув детским звонком, тронулся, и глазам приезжих открылась группа вооруженных метлами дворников и белый киоск. Вдова увидела двуглавого орла и изображение лысого императора, окруженное лавровым веночком, как на монетах. На глазах у Анны выступили слезы. Поймите ее: во времена императора и желтых почтовых ящиков она получала с фронта розовые открытки полевой почты... Миновала слава теноров Немецкой оперы, в коляски которых вместо коней впрягались студенты в ярких шапочках. Около вокзала стоял последний извозчик. Конь, свесив тяжелую голову, ждал, когда смерть вспомнит о нем. Но пражская смерть вечно занята, она пересела теперь за руль автомашины, стараясь догнать своих подруг из других столиц мира.

Вдове страшновато было переходить улицу. Она крепко ухватила за руки своих больших детей. Пока Анна безмятежно жила в Льготке, какой прыжок вперед сделала Прага! И как состарилась, в какую деревенщину превратилась Анна к тому времени, когда жизнь снова забросила ее сюда!

Ружена не знала Праги и, разумеется, сразу направилась к красивым витринам, в сторону Немецкой оперы. Но мать повернула на восток. Им надо было обойти квартал вокзальных складов, где трудится Прага в поте лица и грохочут черный уголь, возы молочников и бочки керосина. В Льготке, когда двое людей хотят поговорить, они останавливаются посреди дороги и, разговаривая, машут руками. Здесь, в Праге, люди спешат и разговаривают на ходу. В общем шуме не слышно собственного голоса, видно только движение губ и мельканье ног. У мужчин из карманов торчат газеты. А сколько тут бензиновых колонок! Ондржей насчитал пять или шесть, прежде чем они дошли до угла.

Перед Жижковом Гибернская улица расширяется и пересекает другую улицу. Движение здесь, между двумя вокзалами, стекается с нескольких сторон — с проспекта Гуса, из-под виадука, со стороны Пршикопов и Поржичи. Выйдя на эту улицу, Анна удивилась:

— Что это там делается? Неужто в Праге все еще очереди?

— Там все даром раздают,— усмехнулся какой-то старичок,— вот и берут нарасхват.

Ружена воскликнула в восторге:

— Смотрите, мама, уже выставили зимние платья!

Универмаг, около которого толпились люди, был весь из стекла, сплошная витрина, вплоть до седьмого этажа под плоской

Люди на перепутье

крышей. Дом выглядел как недостроенный. Очередь перед входом тянулась до самой трамвайной линии. Двое полицейских поддерживали порядок.

Цены снижены вдвое.

«Казмар — «Яфета» — Готовое платье».

Зайдите убедиться!

Витрины многоэтажного фасада были заполнены манекенами с непомерно широкими плечами и перетянутой талией, демонстрировавшими новинки осенних мод «Яфеты» — мужские костюмы для работы, прогулки, спорта, бала и всех случаев жизни. В витрине нижнего этажа манекен даже сидел на мотоцикле. В одной из витрин было инсценировано трогательное зрелище глубокого траура: дама, задрапированная в черный креп, в траурной вуали до самого края юбки (юбки теперь носят короткие); рядом с дамой молодой человек с непокрытой головой и котелком в руке, в черных, облегающих руку перчатках изобразил на лице учтивое сочувствие. Видно, он размышляет о бренности всего земного. Этажом выше — свадьба. Невеста словно из сахара, дружки — из мороженого, теща фиолетового цвета, а жених похож не то на официанта, не то на ласточку. Всюду манекены: манекены сидят за пишущими машинками, идут в школу, угощают приятельниц чаем, стоят с партнером в дансинге. А за этими залитыми ярким светом куклами видны люди, живые люди, главным образом женщины, они толпятся во всех этажах внутри похожей на глетчер стеклянной громадины, которая видна со всех сторон. Наверху неоновым светом горят названия костюмов и цены. У пешеходов, стекающихся сюда с трех сторон и задержанных на перекрестке регулировщиком-полицейским, есть время почитать рекламу.

Анна была ошеломлена: «Какая дешевка! Просто даром!»

Полицейский в красно-белой будочке сделал жест, и движение остановилось. Моторы дрожали, разнося запах бензина. Анна ухватила за руки обоих детей и благополучно перебралась на другую сторону улицы. Тотчас она и Ружена поспешили к витринам «Яфеты». Ондржей увидел, как нарастало волнение на лице матери. Запыхавшись, она поставила корзинку на тротуар у стены и сказала быстро, как обычно говорила, когда бывала сердита:

— Подожди здесь с вещами, стереги их, слышишь, Ондржей? Никуда не уходи. Мы с Руженой зайдем в магазин, поглядим.

Она отошла и тотчас вернулась.

— Если будет звать кто, никуда не ходи. Мы скоро вернемся.

Мальчик хмуро кивнул, и она увидела, как, положив узелки между ног, он сел на корзинку. Ружена ушла вперед и ждала мать. Та догнала ее. Они вместе протолкались к входу в универмаг. В про-

винциалке Анне вдруг заговорила пражская кровь: настоящий пражанин, крестник Влтавы, неравнодушен ко всяким сборищам.

У лифта мальчуган в униформе, чуть постарше Ондржея, произносил нараспев:

— Первый этаж — дамское платье, второй этаж — мужское платье, третий этаж — детская одежда, четвертый этаж — одежда для спорта, пятый этаж — трикотажные изделия, шестой этаж — вечерние туалеты. Куда изволите?

Покупатели толпой привычно устремлялись к лифту.

— Мы только посмотреть,— ответила Ружена за мать.

Юный лифтер иронически оглядел двух провинциалок, задвинул решетку, и лифт пошел вверх. Лифтеру, наверное, не было и четырнадцати лет, но он уже разбирался в людях — сотни их прошли мимо него.

Анна и Ружена вошли и робко, как просительницы, стали у дверей. В толпе покупателей никто не обращал на них внимания. Торопливые продавщицы в халатиках с вышитым номером пробегали мимо, неся на вытянутой руке вешалки с платьями, похожие на призрак женщины. Встречаясь, они перебрасывались несколькими словами и бежали дальше, иные исчезали с клиенткой в примерочной. Большие залы были разделены рядами висящего на вешалках платья, которое отражалось и множилось в зеркалах. Ружена вдруг почувствовала себя городской барышней и обнаружила, что она плохо одета и грязна с дороги, но молода, высока ростом и хороша собой. Было жарко и душно, покупательницы, выбирая, волновались, пахло тканями и потом, продавщицы походили на сиделок у больных какой-то эпидемической болезнью. Анна Урбанова осторожно приблизилась к платьям, висевшим с краю, потрогала их, со знанием дела помяла материю.

Появился вылощенный человек с пробором:

— Вас уже обслуживают? Мадемуазель Даша!

— Я отправляю товар! — откликнулась, не оборачиваясь, торопливая продавщица. Вместо нее подошла другая.

— Чего изволите, сударыня?

Анна попыталась отделаться, сказав, что ей едва ли пойдет готовое платье.

— Ваш номер третий, а у барышни последний детский. Наши платья идут всем, вам их здесь же подгонят,— со снисходительной улыбкой ответила продавщица.

Анна сказала, что у них умер отец и они не могут носить ничего, кроме черного.

— У нас есть прелестные траурные накидки, потрудитесь пройти сюда.— Продавщица вежливо показала рукой.

Когда Анне не понравились накидки, продавщица крикнула:

— Вера, подайте тот бордовый гарнитур. Траурной повязки достаточно, сударыня.

У входа, с терпением деревенского жителя, ждал Ондржей, наблюдая увлекательное зрелище уличного движения. Он видел, как из центра на вокзал ехала целая вереница машин с пачками газет — открытые грузовики, в которых, свесив ноги и ухмыляясь, сидели молодые парни. От вокзала отъезжали почтовые автомашины. Под виадуком сплошным потоком проезжали автомобили, груженные мешками, бочками с бензином и машинным маслом, молочными бидонами, корзинами овощей, ящиками для яиц, похожими на клетки, железной арматурой. Грохот, духота и пыль как бы сливались в одно целое. Машины для уборки мусора везли его, чтобы выбросить на городской свалке, куда приходит рыться пражская беднота. Среди всего этого столпотворения какой-то человек спокойно вез на тележке столик и стул. Медленно проехала, подрагивая, крытая машина с декорациями, похожая на фургон бродячего цирка. Громадные грузовики с углем, подобно допотопным чудовищам, высились над юркими «малолитражками» и мотоциклами «давидсон» со смешными сигарообразными колясками. Иногда мелькала забрызганная грязью «татра», видимо прибывшая издалека, а однажды даже промчалось светлое, похожее на торпеду, гоночное авто, какого Ондржею никогда не доводилось видеть на Льготском шоссе. На мосту прогрохотал поезд, напомнив о доме. Но город оторвет тебя, Ондржей, от всего, чему ты был верен! Ты уже не станешь смотреть только в сторону тропинки, что ведет к Маречкову кладбищу, твой взгляд обратится на все четыре страны света. Ондржей был как в раю среди гула моторов, запах бензина кружил ему голову.

Продавщица неутомимо приносила все новые пальто взамен тех, на которых Анне не нравились то пуговицы, то складки. Мать с дочерью советовались шепотом, глядя на других покупательниц, и им казалось, что тем показывают что-то лучшее, более красивое. Анной владело недоверие, Руженой — жажда нарядов. В эти минуты они чувствовали полнейшее сродство душ. Казалось, обе они рождены не отцом с матерью, а только женщинами. Румянец загорелся на лице девочки, на щеках вдовы появились алые пятна. Только бы не прозевать, только бы нас не провели, только бы кто-нибудь не перехватил раньше меня хорошую вещь! Ах, какая дешевка! После стольких лет войны и послевоенной дороговизны, после стольких лет жизни в деревне! О, азарт дешевой распродажи! Тогда Казмар еще только вводил свои общедоступные цены, и никто не верил, что эта затея будет успешной.

Со времени своей свадьбы Анна не видела отца, который, словно домовой, никогда не покидал дома. Она вела себя сейчас,

как человек, эмигрировавший в Америку и после многолетнего отсутствия вернувшийся из-за океана в родную деревню: сначала он заходит в корчму, а потом домой. Жены негодуют и крестятся — кой черт несет мужей пропивать заработок? А мужчины до смерти не поймут женской страсти — покупать.

Хождение по магазинам — это необычайное событие в жизни, которая проходит между плитой и корытом, это — общение с внешним миром, поединок с торговцем, борьба с искушением, которому все равно поддаешься, азарт скряги, возможность уязвить соседку. Это детский восторг перед многообразием мира: боже, сколько там было чудесных костюмчиков! А платья «аэроплан», с крыльями вместо рукавов! Правда, уже дуют осенние ветры, и Ружене недолго пришлось бы носить их. Но ведь как дешево! А сколько блузок!

Преодолевая незнакомую жителям городов женскую стыдливость, колеблющаяся Анна и увлеченная нарядами Ружена давали усталой продавщице одевать и раздевать себя. Девушка, едва держась на ногах, твердила:

— Пальто сидит на барышне замечательно. Примерьте еще вот это, барышня. *Песочный цвет* вам к лицу. А на вашем месте, сударыня, я бы взяла вот это *бордовое* пальто. Оригинальный фасон!

Время бежало. Ондржей глядел на светофор. Сколько уже раз красный свет, который означает «Стоп!», сменялся зеленым — «Проезжай!» и желтым непонятного значения. Сколько раз уже полицейский, дирижируя у своего пульта, пропускал и останавливал потоки транспорта и пешеходов, а мать и Ружена все еще не появлялись. Ондржею хотелось есть, и ему казалось, что он мальчил-с-пальчик из сказки, которого завели в дремучий лес большого города и бросили на произвол судьбы.

Анна Урбанова стеснялась спрашивать о цене платьев, чтобы не догадались, что она из деревни. Среди массы покупательниц с плетеными сумками, в которых лежали сливы или каравай хлеба, только что купленный на рынке, Ружена заметила прекрасно одетую даму. Эта дама спокойно осведомлялась о ценах. Но она, очевидно, была богата и могла позволить себе то, чего нельзя беднякам.

Анна и Ружена подошли к кассе. Вдова дала дочери подержать маленький кожаный кошелек, набитый мелочью, которой она запаслась на дорогу. Анна экономила каждый грош. Они даже не поехали на трамвае. Отойдя в сторону, она вынула бумажник, доставшийся ей в наследство от мужа. Некоторые кредитки были склеены. (Неизвестно почему — страховые кассы выплачивают беднякам деньги всегда самыми истрепанными бумажками. Лучше бы и совсем не держать их в руках!)

Расход подавил Анну. Несколько человек, стоявших за ней в очереди к кассе, заплатили раньше, а она все пересчитывала

деньги: как бы не ошибиться, не просчитаться! Каждую десятку она дважды прощупывала большим и указательным пальцами — не слепились ли две бумажки. Очутившись перед кассой, она вдруг растерялась и попробовала торговаться, хотя и знала, что из этого ничего не выйдет. Это ей было нужно для очистки совести, чтобы соблюсти привычный обряд покупающей женщины.

Ружена закусила губы, ей стало стыдно за мать.

— Мы уже снизили цены на пятьдесят процентов,— с легкой улыбкой сказал кассир, взял деньги, повернул ручку кассы и выбил чек. «Обобрали меня»,— подумала Анна и вдруг вспомнила, что Ондржей ждет на улице. Сердце ее наполнилось любовью и жалостью. Слегка ошеломленные, как игроки в казино, они вышли на улицу.

Ондржея у стены не было. У матери екнуло сердце. К счастью, они скоро увидели мальчика на краю тротуара. Разинув рот, он с увлечением наблюдал, как вожатый и кондуктор старались поставить на место соскочивший с провода ролик трамвайного тролла. За остановившимся вагоном уже скопилась вереница других, рядом застряли автобусы. Шоферы, ругаясь, объезжали пробку.

Анна дотронулась до плеча сына:

— Ондржей, мы пришли. А где же корзинка?

— Там.— Мальчик сделал жест в сторону дома, не сводя глаз с трамвая. Кондуктор и вожатый дергали веревку, пытаясь направить ролик. Наконец ролик коснулся провода. Посыпались искры.

— Ондржей! — вдова повысила голос и теребила сына за плечо.— Где корзинка?

Мальчик обернулся и вытаращил глаза на то место, где стояла корзинка. Узор тротуара врезался ему в память: белые звезды на серо-синем поле. Нет, нет, ведь корзинка была здесь... Это невозможно! Исчезла, как волшебная шкатулка фокусника! Выражение лица матери изменилось, рот и нос у нее перекосились и затряслись. Она схватилась руками за голову.

— Украли, корзинку украли! — закричала она так громко, что перепуганный Ондржей отшатнулся, а прохожие остановились.— Жулики безбожные! Воры, грабители!

— Держи! — кричали пражане и сбегались к Анне, которая, ухватив за руки обоих детей, устремилась к полицейскому.

Ондржей бежал рядом с матерью и в отчаянии спрашивал:

— А не было там моего лука и рогатки?

— Я их давно выкинула в окно, паршивец ты этакий!

— Какая была у вас корзина? — спокойно осведомился полицейский.

— Господин главный полицейский! Это отличная корзинка, из самых лучших прутьев и с замком. Вот он, ключик! — Анна

воинственно помахала ключом. В толпе засмеялись.— Я ее купила за пять пятьдесят, когда еще служила в Платызе. Как сейчас помню! На масленицу тому будет пятнадцать лет. Я тогда как раз выходила замуж. Сама я из Праги, а муж был из Льготки. Я с ним познакомилась, когда была со своими хозяевами на даче. Тогда еще в моде были такие плетенки-баулы.

— Ладно,— сказал полицейский.— А что в ней было?

— Там было,— отвечала запыхавшаяся, смущенная и заплаканная Анна,— там было полтора десятка яиц, кусок масла, кусок сыра, лукошко яблок — красные, румяные яблочки с нашей яблони за домом, деверь мне их только вчера натряс, им бы еще дозреть немного,— да пара жареных голубей, я их везла для отца, он человек старый и больной. С меня и пошлину за все взяли. Потом было там полотно на три рубашки для моей девочки, вот она, а на самом дне новые полуботинки. Запишите, господин главный полицейский, что я их всего два раза обувала: первый раз на мужнины похороны и в другой — к нотариусу, когда писала договор на дом.

— Довольно,— прервал ее полицейский.— Вам сейчас лучше всего...

— А еще там был наперсток, я его пихнула туда перед самым отъездом, когда сыну пришивала пуговицу, она уже чуть держалась. Вот эту самую пуговицу, верно, Ружена? Мы опрятные люди, можете сами убедиться, посмотрите на моих детей. Наперсток был из альпака с уральским камешком наверху, мне его муж привез из России. В среду будет пять недель, как он помер.— Она поднесла руки к глазам и заплакала.— А еще там было три яйца вкрутую и ломоть хлеба, что у нас остались от ужина. Я не говорю уже о соли. Вот и все, господин главный полицейский, истинную правду вам говорю, всякий подтвердит, хоть кого спросите в Льготке.

— Вы, значит, зашли к «Яфете»? — спросил полицейский.

Анна испуганно подняла глаза и умолкла.

— Каждый день такая история из-за этой распродажи у «Яфеты»,— заметил полицейский, обращаясь главным образом к мужчинам.— На днях тут две бабы в очереди подрались. Одна укусила другую за ухо, дело будет разбираться в суде. А вчера, мамаша, здесь случилось кое-что похуже: потерялся ребенок.

— Ребенок-то найдется, а жареные голуби уже не прилетят,— сказал какой-то мужчина из толпы и потрепал Ондржея по плечу.— А тебя пока никто не украл?

— У этих деревенских подметки можно срезать на ходу!

— Этакие ротозеи, их всякий проведет!

— Кража под носом у стража! — засмеялись в задних рядах.

— Это еще пустяки,— добавила какая-то дама и стала рассказывать Анне, как у нее при переезде на другую квартиру жулики увезли обстановку двух комнат и даже ковры. Но такое утешение только раздражает.

Другая дама напустилась на Анну:

— Хорошая мать! Побежала за нарядами и бросила ребенка!

— Вдову каждый норовит обидеть,— мрачно отозвалась Анна.— Пойдемте домой, дети, дедушка сходит в полицию. Отец за меня вступится.

И, взяв свои вещи, сконфуженная Анна с детьми потащилась вдоль покрытых сажей решеток, стен и заборов в какие-то все более неказистые части города. Уродливая улица напоминала набережную, только внизу вместо воды виднелись ржавые вагонные оси, согнутые и скрученные, словно после крушения поезда, и разный железный лом. В центре города живут почтенные люди, а по его окраине сейчас идет Ружена и тащит тяжелые узлы. Здесь, над железнодорожным районом, небо из угля и олова, днем на небе стоит медное солнце, ночью висит жестяной месяц, каждый глоток воздуха пропитан угольной пылью черной Праги.

Анна Урбанова шла молча, упрямая и злая. Скорей бы дойти. Она знала все: как тесна и трудна жизнь и как в ней беспомощен человек. Вдова умела стирать, варить, стряпать, чинить одежду, убирать в комнате. Она добросовестно заботилась о детях. Но бедность — это не только голод и холод, как думают богатые. Голода семья Урбана пока не знала, даже во время войны Анна доставала в деревне все необходимое. Бедность — это еще и ощущение какой-то тесноты, подавленности. Жизнь трудна, вечно ты связан, во всем помехи, за все приходится расплачиваться, за каждое самое ничтожное отклонение от принятого уклада. Другие в таком отклонении находят удовольствие, ты — только тяготы. Никто не учил Анну, как нужно жить, а отроду она была недалекой. Она это и сама понимала, правда не так отчетливо, как мы с вами, потому что мы ведь только описываем все это словами, а она, как всякий человек, иной раз ощущала все бремя своей жизни.

Перед ними высился Жижковский холм с беседкой на вершине, куда вела, извиваясь, тропинка. Желтеющую листву садов покрывал легкий налет сажи. Улицы Жижкова доходят до самых склонов холма. Анна с детьми повернула за угол, и мимо бань, пройдя под железнодорожным мостом, все вышли на проспект Гуса, поднялись вверх и наконец подошли к дому. Ондржей и не думал, что это такой унылый дом.

Перед тем как войти, мать, впервые за всю дорогу, обратилась к детям:

— Ондржей и Ружена, смотрите не болтайте в доме, что у нас украли корзинку. Я сама скажу дедушке об этом, когда будет надо. Лучше помалкивать. Бедный человек должен стараться, чтобы о нем не болтали.

Через ворота они вошли во дворик, прилегавший к склону Жижковского холма. Ондржей несколько утешился, увидев во дворе гараж.

Мать остановилась у двери с окошечком. За окошечком старик читал газету «Народный страж» и следил за входившими и выходившими людьми. Дом трижды переходил к разным владельцам, а привратник все оставался на своем посту и держал жильцов в ежовых рукавицах, никому не давая спуску. Он был строг и любил свое дело.

Когда Анна взялась за ручку, за дверью звякнул звонок. Дедушка снял пенсне и встал. Это был маленький, худощавый человек, черный, как жижковский воробей и жижковская сажа, черный, как муха, как шрифт на казенных бумагах, которые он разносил, преисполненный почтения к властям и сознания важности своей миссии. Он был в грязном крахмальном воротничке и галстуке бабочкой и больше походил на отставного чиновника, чем на бывшего переплетчика.

— Так вы уже здесь? — сказал он.— Ну что ж, ничего не поделаешь...

И непонятно было, относится ли его замечание к смерти Вацлава или к их приезду.

Мимо окошечка размашистым шагом человека, привыкшего целые дни проводить на ногах, прошел рабочий в синей спецовке.

Дедушка приоткрыл дверь и высунул голову.

— Вам что? Здесь не требуется никакого ремонта. Вы к кому?

— К адвокату Гамзе,— ответил рабочий, махнул рукой и стал подниматься по лестнице.

— Так вот вечно ходят и ходят к адвокату,— сказал дедушка и сердито закрыл дверь.— Грязи нанесут, известки... им-то что. Все ручки дверные измажут. Ну и клиентов он себе выбрал!

ДЕЛА ИДУТ ВСЕ ХУЖЕ

В первый вечер в Праге Ондржей не мог уснуть. Рождались все новые и новые незнакомые звуки, нарастал и затихал шум уличного движения, заунывно выли и грохотали поезда на виадуке, слышался свист, гудели рожки. Ондржей томился во тьме, отворачивался к незнакомой стене, его одолевала тоска.

— Не плачь, привыкнешь,— сказала мать.

Едва мальчик заснул, его снова разбудил яркий свет, упавший на постель и стену. Свет проникал из окна, выходившего во двор. Там слышался шум мотора, громкие молодые голоса, кто-то звал детей, раздавались шаги. Дедушка запер ворота и вернулся. Снова заворчал мотор, и послышался шум автомобиля, въезжавшего в гараж, потом прогремела железная штора. Свет погас. Ондржей вспомнил, что в доме есть гараж, и успокоился, будто это вознаграждало его за Гарика. Потом мысли его спутались, и он заснул.

Нелла Гамзова, жена адвоката со второго этажа, приехала на стареньком форде с детьми Еленой и Станиславом от своей матери, из Нехлеб. Всегда они, бог весть почему, опаздывали и на этот раз приехали на три часа позже срока. В квартире было тихо, Гамза ушел, оставив жене записку: «Не дождался, приходи в половине одиннадцатого на «Франтиреров» в «Люцерну» (только один сеанс!) или в час в «Ред-бар», там будет Сакс, он вернулся из Москвы».

— Скучища в Праге! — объявил Станислав и, не раздеваясь, пошел к телефону позвонить своему приятелю Войтеховскому, который тоже должен был сегодня приехать с дачи к началу школьных занятий.

«Бедняжки, еще на год в школьную клетку»,— подумала мать.

Когда она вешала пальто и снимала шапочку, стоя у зеркала в передней, Еленка остановилась около нее и сказала с удивлением:

— А я уже выше тебя. Тебе завидно?

— Глупая,— улыбнулась мать.

Непосредственность детей очаровывала ее. Иногда она боялась поверить, что это ее дети, что она, Нелла Витова, действительно родила их после безрадостных лет девичества и неудачного замужества, от которого она бежала к Гамзе. Ей было тогда всего двадцать лет, это были времена австро-венгерской монархии. Отец Неллы, видный чиновник, законник, твердо веривший в нерасторжимость брака, был очень недоволен случившимся. До тех пор ее родители жили в полном согласии, и первым поводом для неладов был роман дочери.

Мать, добрейшая старая дама, умевшая любить от души и говорить напрямик, поддерживала дочь и отстаивала Неллу как могла. «Плевать мне,— говорила она отцу,— что скажет имперский советник имярек, лишь бы была счастлива моя девочка». Сейчас уже сама Нелла забывает, что в старой Австро-Венгрии от двух любящих друг друга людей требовалось немалое гражданское мужество для того, чтобы расторгнуть брак и вступить в новый.

И Гамза поплатился за свою женитьбу на разведенной: ему пришлось уйти со службы в земском комитете, где главенствовало католическое дворянство. Он занялся благородной, но малодоходной адвокатской практикой. Нелла выполняла при нем обязанности секретарши. Будь после войны лучшие времена, она не отказалась бы от третьего ребенка. Еленкой и Станиславом она гордилась, как слабое существо, давшее жизнь более стойким потомкам. Сама она была очень хрупкой, отличалась обманчивой моложавостью и нервной подвижностью горожанки, вечно торопящейся, чтобы не отстать от времени.

Нелла зажгла свет в комнатах и, думая о том, как они тесны и унылы по сравнению с веселой просторностью деревянного дома в Нехлебах, вслух хвалила служанку Барборку, жившую у них уже тринадцать лет. К их приезду Барборка убрала квартиру. Похвалы и чрезмерная приветливость Неллы были несколько искусственны: будто не она, а Барборка была хозяйкой.

В том же тоне Нелла говорила и с садовницей Поланской в Нехлебах. Она немного стеснялась за мужа и словно хотела сказать: он, правда, хоть и коммунист, но мы живем не как коммунисты. Мы живем, как все другие обыватели.

Они верили в одно, а делали другое. От этого Нелла вела себя как-то нерешительно с теми, кто прислуживает молча, не доверяет господам, думает о чем-то своем. Неллина мать, старая пани Витова, бывало, поднимала крик, топала ногой, и все вокруг бегали опрометью. О, она умела распоряжаться. Барборка больше уважала старую госпожу.

Станислав в негодовании вернулся от телефона.

— Это уже сверх всякой меры! Выругай завтра телефонную станцию: телефон не работает, опять повреждение!

— Повреждение! — повторила Еленка и улыбнулась матери одними глазами.

— Ты что? — спросил Станислав.

— Ничего! — ответила сестра. Опершись руками о спинку кровати и оттолкнувшись босыми ногами от пола, она прыгнула на кровать так, что загудели пружины. Елена прислушалась к этому звуку, привычно взглянула на стену, где раньше было пятно, контуром похожее на прыгающую собаку.

— А зачем мыли стены? — сказала она.— И смыли мою Скандинавию.

— Мама, здесь у меня их больше не будет? — тихо спросил Станислав. Мать поняла — это значило: «У меня не будет больше страшных снов?»

— А ты не читай детективных романов,— вставила Елена, повернулась на другой бок, поджала ноги и вскоре заснула.

— Не будет, не будет,— сказала мать Станиславу. Она посидела с ним, пока он не заснул.

Сын был здоровый мальчик, но мать немножко боялась за него: он очень походил на ее покойного брата Яромира, который восемнадцати лет застрелился из-за несчастной любви. Но Нелла не признавалась себе в этих опасениях и никогда не высказывала их из суеверного убеждения, что страх перед бедой накличет ее.

Телефон был выключен за неплатеж; а на стол Барборка положила кучу неприятных конвертов со счетами и напоминаниями. Лучше всего было бы разорвать их и выбросить в корзину.

Гамза поступал более философски: он просто не замечал счетов, не прикасался к ним, не вспоминал о них — их не существовало на свете. Нелла вполне понимала его. «Успеется и завтра,— подумала она и закурила папиросу.— Все равно, не побегу же я сейчас на почту с деньгами, если бы они даже у меня были».

Она поставила согреть чай и пошла принять душ. Холодный душ и крепкий чай отлично прогоняют усталость... усталость от чего? От отдыха у матери? И все же Нелла постоянно чувствовала легкую усталость.

Где бы она ни находилась: писала ли на машинке, загорала ли на солнце, была с детьми или танцевала и вела себя, как все другие люди,— она чувствовала усталость, неизменную, как легкая зыбь на воде, как тень, сопровождающая человека. К счастью, по виду Неллы никто этого не предполагал и никто не знал об этом, кроме нее. Только в первые годы жизни с Гамзой, когда родились оба ребенка и муж еще не ушел на войну, у нее этого чувства не было.

Сейчас Неллой овладело так хорошо знакомое ей в городе искусственное возбуждение. Она ни за что не осталась бы вечером дома. Когда она переоделась и привела себя в порядок, идти на просмотр фильма в «Люцерну» было уже поздно, а в бар еще рано. Оставался ничем не заполненный час. Ничего не поделаешь, пришлось сесть за счета. Бухгалтерия у Неллы была простая: она вскрывала конверты, просматривала напоминания и сортировала их на «грозные» и «вежливые». «Грозным» кредиторам надо было хоть что-нибудь уплатить, а «вежливые» могут подождать.

Нехватка денег, которая после войны из года в год преследовала супругов Гамза, была пока не опасной, а лишь неприятной. Было отрадно в обществе мужа, детей и добрых друзей забывать о темных сторонах жизни. В ней столько хорошего и достойного, что нельзя поддаваться унынию. Счетам надо уделить ровно столько времени, сколько они заслуживают. Большинство знакомых Нелле семей среднего достатка жили не по средствам, в долг.

Каждую минуту можно было ожидать прихода «какого-то человека, который хочет вас видеть», или девушки от портнихи со вторичным счетом: хозяйка, мол, больше не может ждать.

Когда Нелла не была занята в конторе мужа, она отсыпалась. В эти дни она всегда ждала, что ее разбудит судебный исполнитель. Старый привратник считал такие визиты позором для жильцов, Барборка была того же мнения. Но Нелле совсем не было стыдно. Она всей душой ненавидела этих людей с угреватыми физиономиями и хрипловатыми голосами, была с ними очень вежлива, сразу же приглашала в комнату, угощала папиросами и ликером. Лишь бы они не перепугали детей, особенно Станислава! До продажи с торгов дело никогда не доходило, но было мучительно трудно начинать разговор о деньгах с матерью, у которой она жила с детьми все годы, когда Гамза был на фронте, и которая каждый раз спасала Неллу от долгов, не преминув, однако, высказать при этом свое мнение. Наверное, поэтому Нелла откладывала обращения к матери дольше, чем это было целесообразно. В конечном счете старая пани Витова покрывала долги, но ее состояние, уже подорванное военным займом, на который покойный муж подписался под нажимом и себе в убыток, таяло, как снег вокруг дома в Нехлебах, последнего оплота былых владений. Известное дело: когда в семье берут перевес чувства, деньги идут на убыль.

Основательница родового богатства — прабабушка Неллы с материнской стороны, хозяйка мясной лавки Розалия Малохова,— была женщина крутого нрава. О ней существовало семейное предание, которое гласило, что однажды рассвирепевший бык бегал по косогору и никто из мужчин не отважился выйти против него, а Розалия его обуздала. Эта прабабушка ложилась спать с петухами, вставала на рассвете, муштровала мужа и прославилась словами: «Если за тобой не смотреть, старый, с тебя штаны снимут»; она убирала под замок старинную сахарницу (которую Нелла давно продала), сама стряпала для семьи и для прислуги, а свободные часы, кроме воскресений и времени, ушедшего на рождение девяти детей, проводила в лавке, за кассой. Эта скопидомка, на собственные сбережения купившая себе в Праге жемчужное ожерелье, серьги, брошь и кольца, в которых она красуется на фотографии в столовой пехлебского дома, ужаснулась бы при виде худенькой Неллы (вес 49 килограммов при 170 сантиметрах роста), бедняжки без гроша сбережений, да еще со странным отвращением к сырому мясу: проходя зимой мимо мясной лавки, Нелла буквально содрогалась от одного только вида витрины, у нее коченели руки и ноги, и она чуть ли не замирала на месте. Возможно, из-за этой же идиосинкразии у Неллы прямо-таки темнело в

глазах, когда она видела красных от мороза оборванных бродяг и замерзшие лица детей, просящих милостыню. Особенно беззащитна она была перед нищими зимой и подавала им не по средствам щедро, хорошо понимая, что это не доброта, а просто слабые нервы. Она слишком хорошо знала себя, и это омрачало даже самые счастливые ее минуты.

Однако вернемся к счетам. Неужели они жили так расточительно? В дешевой четырехкомнатной квартире, пользуясь стареньким фордом, которым они сами управляли, семейство Гамзы едва ли достигало пресловутого жизненного уровня квалифицированного американского рабочего тех лет. Быть может, если бы Гамза нажимал на своих клиентов-рабочих так же решительно, как нажимали на его жену поставщики, если бы он не издавал левого журнала, если бы оба они закрыли глаза, заткнули уши, отказались слышать что-либо о внешнем мире и улыбаться, установили бы себе строгий распорядок, пожертвовав иллюзорными радостями, которые дает по вечерам город, им бы, вероятно, удалось свести концы с концами и они превратились бы из людей, зарабатывающих, чтобы жить, в таких, которые живут для того, чтобы накапливать. Но ни он, ни она не хотели такой жизни. Старость и заботы не случайно связаны друг с другом, и возраст человека можно определять тем, как он относится к трудностям. Если судить так, то можно сказать, что кровеносные сосуды супругов Гамза еще не утратили гибкости, а в их сердцах сохранилось легкомыслие.

Нелла вскрыла предпоследний конверт, и, слава богу, в нем не оказалось счета. Она хотела смять и бросить какое-то написанное на машинке письмо, очевидно, рекламу фирмы, начинавшуюся обращением «мадам» и ссылкой на ее «вкус и незаурядные качества», когда заметила, что в тексте упоминается имя ее мужа. Анонимный благожелатель выразительно связывал его имя с именем студентки Новотной и, подчеркивая, что заботится только о чести семьи, обращал внимание Неллы на то, что встречи Гамзы с Новотной отнюдь не так невинны, как оба это изображают. Автору письма, правда, известно свободомыслие мадам Гамзовой — «ведь у вас, большевиков, не существует собственности даже на тело»,— однако, быть может, мадам все же не захочет стать предметом всеобщего сожаления.

Когда-то, в первый год замужества, Нелла получила такое же анонимное письмо и со смехом подала его мужу. Ее почти забавляла человеческая зависть. Приятно было чувствовать под ногами твердую почву. Что мне какая-то ядовитая муха!

Сейчас, читая это письмо, Нелла испугалась, как изобличенный преступник. Ни за что на свете она не показала бы его мужу!

Ей было стыдно, глубоко и бессмысленно стыдно, словно она сама писала эти подлые строчки. У Неллы никогда не было привычки запираться у себя в комнате, но сейчас, хотя к ней никто не мог войти, ибо дети и Барборка спали, а муж ждал ее вне дома, она заперлась на ключ и, нервно глотая табачный дым, два раза перечитала письмо, разорвала его на мелкие клочки и сожгла в камине. Но тут же пожалела об этом; ей хотелось снова *видеть* этот позор.

Что же, собственно, произошло? Почему бы ей не вести себя, как прежде? Ведь она знала об этом давно и никогда не верила этому, даже теперь. Мерзкое письмо не сказало ей ничего нового. И все же разница между невысказанным и высказанным громадна. Благородные «открыватели глаз» знают это. Со времени получения первого письма Нелла никогда больше не говорила *об этом* ни одной живой душе, всегда таила это в себе. Почему же ей не дают покоя? Кому она мешает?

«Кому я мешаю?» — думала она, чувствуя себя беззащитной перед всеми, кто мог написать такое письмо, кто мог действовать против нее. Когда-то дом был для нее прочной крепостью, она смеялась надо всеми. Сейчас слово какого-то неведомого негодяя разрушает карточный домик, который она с такой осторожностью, затаив дыхание, строила на песке. Сейчас на ослабевшую Неллу действует укус болотного комара. Ее бросает то в жар, то в холод. Не случилось ничего нового, ничто не изменилось, но тихая и унылая квартира, где муж не дождался ее, глухонемой телефон и долги нестерпимо угнетали Неллу. Ей уже не хотелось в «Ред-бар». Но еще больше она боялась одиночества. Нелла знала себя и, как типичная неврастеничка, для которой собственный страх страшнее грабителей, взяла ключ, надела пальто и сбежала от самой себя.

«РЕД-БАР»

В первые послевоенные годы небывалая жажда жизни охватила Прагу. Слишком много было кровопролитий на фронтах и лишений в тылу. Людей охватила горячка — скорее нагнать упущенное! И они ели, пили, покупали, танцевали и любили наперегонки. Человечеством овладела какая-то нездоровая подвижность, вроде пляски святого Витта у инвалидов войны: идет человек по улице, и у него не переставая трясутся голова и конечности. Люди тогда не могли спокойно постоять или присесть, с утра они были на ногах и плясали под барабан негра с бубенчиками даже на участке пола площадью в три квадратных метра. Для того чтобы спектакль захватывал зрителей, надо было его сделать очень дина-

мичным. Световые рекламы вспыхивали и гасли, на экране мелькали лица кинозвезд, демонстрировались ревю с голыми танцовщицами, с жонглерами и акробатами; в самых серьезных театрах введена была вращающаяся сцена. В автомобилях всех марок, типов и размеров, на лодках, лыжах, эскалаторах и роликах люди догоняли убегающее время, свою утраченную во время войны молодость. Только двигаясь, они верили, что живут, что еще не умерли. Люди не доверяли покою, боялись его, чувствовали к нему отвращение,— наверное, потому, что видели слишком много непогребенных мертвецов во всех концах Европы. Лихорадка наслаждения охватила все города. Прага после падения австро-венгерской монархии перегоняла всех, как выскочка и нувориш.

И в Праге во время войны голодали бедняки, дети умирали от чахотки, люди с малым достатком, подтягивая пояса, мерзли в очередях у пустых лавок, а более зажиточные реже ели мясо. И в Праге молодежь умирала от испанки, и в Праге были гонения. Но события и дела, решившие участь чешской столицы, свершились за границей. Когда пришло время, Прага стряхнула с себя императорского орла и украсилась трехцветными флагами. Республика словно свалилась ей с неба, и свобода бросилась пражанам в голову. Прага тех лет была похожа на вдову, счастливо похоронившую старого мужа и еще не успевшую решить, в чьи объятия ей броситься. Тот, кто знал во времена монархии этот живописный город, живший размеренной жизнью и погруженный в мечты о чешской государственности, город, где старшее поколение было любителями сказок и преданий, а младшее увлекалось проблемами Достоевского, тот не уставал удивляться тому, как быстро оживилась Прага. Она распоясалась, как гимназист после получения аттестата зрелости. У потомков чешских братьев и австрийских скопидомов раскрывались глаза, и они видели, что жизнь на этом свете весела и многокрасочна.

Сколько раз случалось Нелле ехать вечером на условленную встречу с мужем, и это ее никогда не смущало. Но сегодня у входа в «Ред-бар» Неллу вдруг охватила робость, словно от угрызений совести. Она спустилась по лестнице, покрытой коврами, раздвинула портьеру и вдохнула воздух, показавшийся ей тяжелым после недель, проведенных в деревне. Уже в гардеробной было слышно музыку. Гости переполняли «Ред-бар». Пары, тесно прижавшись, двигались в такт, нога к ноге; мужчина наступал, женщина отступала. И повадка была иная, чем при прежних танцах; в выражении лиц, во взглядах проступала какая-то наигранная, какая-то заимствованная эротичность. Нелле это показалось смешным, за лето она отвыкла от такой обстановки. Пахло обоями, пудрой и табачным дымом.

Обер-кельнер знал Неллу. Он жестом показал ей ложу, которую занимала компания ее мужа, и, обходя танцующих, повел Неллу вдоль столов. Нелла шла против течения. В общем потоке она была единственной, не двигающейся в такт, и поэтому чувствовала себя смешной и нелепой. Ей навстречу плыли намазанные и распаренные, молодые и пожилые, тощие и одутловатые лица танцующих. Она заметила актрису Власту Тихую, молодую жену адвоката Хойзлера, черноволосую, большеротую, меланхоличную особу, с партнером, который был на голову выше ее и наклонялся к актрисе, как к ребенку. А вон там танцует с девушкой из бара молодой красавец Выкоукал, поэт левого направления.

В другом конце зала Нелла заметила Гамзу со студенткой Новотной. Нелла, словно пойманная с поличным, остановилась, потом так же резко шагнула, но зацепилась юбкой за стул, на котором сидела незнакомая дама; пришлось остановиться и выпростать подол. Высокий Гамза заметил жену и оживленно закивал ей, продолжая танцевать. В воскресенье они виделись в Нехлебах. Нелла виновато улыбнулась ему и пошла в ложу, здороваясь с приятелями мужа. Она не видела их все лето — и вот сразу вновь попала в этот кружок людей с общими интересами, общей манерой острить и реагировать на окружающее. В застольной компании всегда бывает какой-то общий дух, завсегдатаи ли это трактира «У Ежишека» или левые из «Ред-бара». Дух компании Гамзы был такой: доказано и всем ясно, что существующий ныне экономический порядок нелеп и обречен на гибель; поэтому не следует волноваться и принимать что-либо всерьез в этом безрассудном и неустойчивом мире. Не только веселее, но и достойнее ничему не удивляться, ничего не пугаться. Надо всем надо шутить и усиленно интересоваться только нелепыми мелочами этого нелепого западного мира. *«Жизнь теперь смехотворная, а потому — да здравствует потеха!»* — написал теоретик этой группы Гартвих.

В «Ред-баре» собралось несколько левых поэтов и архитекторов, старый журналист Сакс, акробатическая танцовщица — красавица Далешова (как всегда, с братом), обозревательница мод и светской жизни одной из газет, муж актрисы Тихой — адвокат Хойзлер, и еще один незнакомый Нелле гость, лет пятидесяти, выделявшийся суровым видом и молчаливостью. От основной группы компании Гамзы можно было отличить случайный элемент — супругов Хойзлер и обозревательницу мод, лишь иногда появлявшихся здесь.

Когда Нелла, вошла, она прежде всего увидела Сакса, высокого толстого еврея, когда-то красивого, а теперь подурневшего от болезни почек. Он сидел, развалившись в кресле, словно король. Его массивная темная фигура возвышалась над всеми сидящими

за столом. Рядом с его резкими чертами ли́ца других поражали выражением детской доверчивости несложившегося характера. Лицо Сакса отражало больше, чем опыт одного поколения и одной личности. Казалось, что он равно способен к энтузиазму, набожности, скепсису и позерству. У него была печальная усмешка и иронический взгляд больного человека. Несмотря на недуг, этот неутомимый газетчик постоянно путешествовал. Сакс был уроженцем моравской Словакии, а сейчас ехал из Москвы в Берлин. В чехословацкой столице у него было множество знакомых, как и во всех европейских городах. Находясь в Праге, он ежедневно бывал в «Ред-баре», атмосфера которого ему нравилась, хотя он не танцевал и не пил.

— Ну, каково в России? — спросила его Нелла и, как школьница, вспомнила, что следовало сказать «в Союзе». Сакс приподнял левую бровь, услышав ее светский тон, и усмехнулся краем губ. (По правде говоря, Нелла в этот момент больше интересовалась Новотной, чем новостями о Советском Союзе.) Сакс написал о пролетарском государстве много статей, всюду выступал с лекциями, его вечно расспрашивали о Советах,— пора бы уже дать покой. Как виртуоз, которого в узком кругу не заставишь сесть за инструмент, он отозвался, с трудом вставая, чтобы пожать Нелле руку:

— «Ред-баров» там, знаете ли, нет...— Он задержал ее руку, заглянул в глаза и спросил со стариковской сердечностью: — Ну, когда мы опять поссоримся из-за Гамзы?

Гамза был (не только по мнению Неллы) отличный оратор; он верил в свое дело и, выступая на собраниях и митингах, умел зажечь людей. Сакс любил Гамзу, и Нелла знала об этом. Однако это не помешало Саксу, когда они после митинга сидели в кафе, развлекать компанию насмешливыми замечаниями о последней речи Гамзы. Жены теряют чувство юмора, если он обращен против их мужей, и Нелла всерьез обрушилась на Сакса с упреками, что он ради острого словца готов пожертвовать приятелем. Сейчас, под взглядом Сакса, она чувствовала себя как на рентгене. Словно он, заглянув ей в нутро, говорил: «Ну, ну, дамочка, состарились мы, дали нам отставку, послали на пенсию. Все там будем».

Рядом с Саксом сидел адвокат Хойзлер — розовый блондин лет сорока, с глазами навыкате, похожий на моллюска. На лице у него было такое выражение, будто он что-то выиграл, но никому не хочет признаться в этом. В этом году он женился на актрисе Власте Тихой из Большого театра, и теперь ее успехи стали его успехами, а ее друзья и действительные или мнимые враги — его друзьями и врагами. Он наслаждался своей причастностью

к искусству. В деловых кругах его считали влиятельным человеком, и он, будучи юрисконсультом фирмы «Казмар — «Яфета» — Готовое платье», зарабатывал, как говорят, большие деньги. В компании его терпели потому, что он платил по счетам. Его жена, актриса, сегодня была не в духе. Она, правда, тоже побывала на просмотре в «Люцерне», но считала крайне обидным для себя, что столько людей ломится на какую-то другую, а не на *ее* премьеру. Она перестала танцевать и вернулась к мужу. Выражение ее лица не предвещало ничего доброго. Заявив, что у нее болит голова, она потребовала пирамидону.

До того как Хойзлер представил Нелле своего гостя, плечистого мужчину с бритой головой, взгляд которого — если можно из всех качеств человека выбрать одно главное — выражал волю, Нелла склонна была принять его за немца из Германии. Но человек заговорил с моравским акцентом и оказался директором знаменитых фабрик Казмара в Улах («Казмар — «Яфета» — Готовое платье») и отцом молодого поэта Выкоукала, автора левой поэмы «Бей их!», воспринятой в узком кругу скорее как скандальная сенсация, чем как поэтическая новинка.

Архитектор Голый пригласил Неллу танцевать, но она отказалась, хотя всегда любила танцы. Та же робость, что овладела ею у входа в «Ред-бар», сейчас мешала ей войти в круг вслед за мужем и студенткой. Впрочем, сегодня всей компании не нравилось в «Ред-баре», и молодежь ворчала, недовольная публикой. Они «открыли» «Ред-бар», безвестный уголок с превосходным саксофонистом, а теперь сюда ходит вся Прага! Они сделали бар модным, а он утратил всю прелесть.

— Ты тоже виновата в этом наплыве,— упрекали они танцовщицу Далешову.— Ребята, завтра перебираемся в «Гамбит»!

— Я не боюсь, вы уже полгода перебираетесь,— сухо заметила Далешова. Она знала, что, пока они хвалят саксофониста, ничего не изменится.

Небывалая робость сковывала Неллу. Она испытывала неловкость, будто пришла с пятном на платье и все заметили это. После того как она прочла анонимное письмо, ее манеры стали принужденными. Съежившись, Нелла присела к столу, словно желая скрыть какой-то изъян своей фигуры, и на вопрос обозревательницы мод ответила, что только приехала с детьми из Нехлеб и очень хочет спать. Потом она, в свою очередь, осведомилась у собеседницы, как ее дела.

— Отлично! — с деланной веселостью ответила обозревательница (как раз сегодня она получила из газеты «Сигнал» уведомление, что редакция не нуждается более в ее услугах) и снова повернулась к старому Саксу, который вслух классифицировал

танцевавших девушек из бара, относя их к различным эротическим типам. Он был похож на врача, осматривающего рекрутов.

Обозревательнице стало неловко; к проституткам она относилась полупочтительно-полужалостливо.

— Бедняжки! — заметила она.

— Ничего подобного, девушкам отлично живется! — решительно объявил Сакс.— В городе осенняя ярмарка, съехалась масса провинциалов, идет сессия парламента, заработки у девушек отличные. Дай бог, чтобы нам жилось так же,— дерзко добавил он.

— Но чем все это кончается,— робко возразила обозревательница мод.

— Ничем не кончается,— сердито сказал Сакс.— Посмотрите вон на ту матрону за буфетом. Что, плохо она выглядит? Дурные у нее манеры? Разве она не умеет разбираться в людях? Она молодчина. Не трогайте проституток, со временем из них выйдут превосходные коммерсантки и хозяйки. Они прошли школу жизни.

Обозревательница слушала его испуганно и благоговейно. Ходить по злачным местам и ловить чужие мысли — это ее хлеб. Нынче не так-то просто писать модные обозрения, нельзя ограничиваться нарядами, надо сказать о духе эпохи. Например, танцовщицы из бара стали некоей «пролетарской модой». В моде также спортивный оптимизм, американское «keep smiling» [1]. На вопрос: «Как живете?» — уже не принято отвечать: «Живем помаленьку»,— как во времена наших предков, когда в моде были приниженность и скромность. Ныне наше мировоззрение — это нравственный душ, который бодрит. Обозревательница мод как раз собиралась написать отличную статейку о чешской непосредственности и английском педантизме, а тут это увольнение. На сердце у нее скребли кошки. Тысячи женщин читали ее статьи и руководствовались ими в своей духовной жизни. Обозревательнице мод перевалило за сорок, была она вдова с крохотной пенсией, мать сына-гимназиста. «Чем теперь заняться?» Она надеялась на содействие Сакса, хотя и подозревала, что он насмешливо относится к ней. У Сакса были связи, и он охотно помогал людям, которые находились под его влиянием. Беда только в том, что ему надо напоминать, он страшно забывчив, а напоминаний терпеть не может. Только бы он не уехал, ничего для нее не сделав.

Танцовщица Мария, дочь металлопромышленника барона Далеша, с неудовольствием слушала умышленно фривольные рассуждения Сакса. Великолепно сложенная, с правильным, но непривлекательным лицом, в простом платье, стоившем тысячи, она

---

[1] Всегда улыбайся *(англ.)*.

всегда была окружена молодыми людьми, которые признавали ее красоту и мастерство танца, но ни один из них не сходил по ней с ума. Сакс как-то сказал ей: «Сударыня, если вы даже станете танцевать в чем мать родила, все равно будет видно, что вы из хорошей семьи». Сегодня Далешова с приятелями пришла в «Редбар» немного раньше, до начала выступления, прямо после ночной премьеры авангардистского фильма в «Люцерне». Она вела размеренную жизнь, строго чередуя отдых и работу. В шесть часов утра она вместе с братом совершала верховую прогулку в Королевском заповеднике. Днем Далешова брала и давала уроки, тренировалась и изучала теорию танца. С мышцами и нервами она обращалась, как с ценным материалом, этому ее научил немец-маэстро в швейцарском хореографическом училище, которое правильнее было бы назвать хореографическим монастырем.

Директор Выкоукал с удивлением смотрел на эту стройную девушку со сдержанными манерами, размышляя о том, что́ ей нужно ночью в таком месте, и расспрашивая об отце, бароне Далеше, которого хорошо знал лично и с которым поддерживал деловые связи. Манера Выкоукала *разговаривать с дамой,* его энергичная угловатость и прямая осанка составляли разительный контраст с внешностью остальных мужчин, небрежно попивавших вино. Казалось, он сидел закованный в латы.

«Я здесь такая же чужая, как и этот пожилой человек! — думала Нелла.— Как только я терпела эту компанию в прошлом году! А ведь мне с ними нравилось». Улавливая одним ухом опротивевший мотив джаза, под который мимо ее столика, кружась, двигались пары, она слушала, как архитектор Голый рассказывал смешной случай о двух пьяных поэтах, разоруживших полицейского. «Все притворяются,— думала она,— все только делают вид, что им весело. К чему? А вот жена Хойзлера не дает себе труда притворяться, ей хватает игры на сцене»,— продолжала думать Нелла, видя, как актриса, вынув платочек, вытирает глаза.

Слезливость Власты была известна всей компании, и потому никто не обратил на нее внимания. Эта миниатюрная, просто крошечная женщина, совершенный Пук, была такой талантливой актрисой, что, когда она играла, зрителям становилось страшно за нее. Сейчас она расплакалась в кругу друзей, не пытаясь даже скрыть своих слез. Они текли ручьем, и Власта не могла остановить их, подобно тому как не могут перестать смеяться старцы, которых разобрал смех. Плача, она взяла у мужа носовой платок. Кто бы поверил, что тут шмыгала носом и прятала его в платок знаменитая исполнительница роли Гедды Габлер в Большом театре. На сцене она была совсем иной, чем в жизни. Трудно сказать, почему плакала Власта. То ли потому, что ей хотелось сыграть

леди Макбет, но эта роль никогда не достанется ей из-за противных нескольких сантиметров роста, которых ей не хватает. То ли потому, что на афише, объявлявшей о постановке «Маленького Эйольфа», фамилия актрисы Ковальской была напечатана тем же шрифтом, что и ее, Власты. То ли потому, что она знаменита у себя на родине, но Чехия — это еще не весь мир; пять лет назад, начиная карьеру, она была гораздо больше довольна собой, чем сейчас, когда ее дарование признает даже грозный критик Чап. Она плакала потому, что у нее нет отдыха, ее терзает жажда совершенства, а сегодня режиссер дважды заставлял ее повторять одно место (специально, чтобы унизить!), и никто за нее не заступился. Она плакала потому, что ей приходится работать больше, чем каменщику, который, как только пробьет шесть часов, складывает свой инструмент и отправляется восвояси. Она лечила себе горло, ей делали прижигания, впрыскивания, и все же нервы никуда не годились. Плакала она еще и для того, чтобы на нее обратили внимание; она захлебывалась жалостью к самой себе и мучительным озлоблением на все окружающее.

Гость Хойзлера, директор Выкоукал, случайный человек в компании, пил чай, сидя рядом с этой взрослой женщиной, плакавшей на глазах у всех, и, разумеется, делал вид, что не замечает ее слез, но на лице его отражалось осуждение, словно он говорил: своей жене я бы не позволил этого. Потом он извлек из кармана отличного серого костюма какой-то футуристически оформленный журнал и углубился в него. Осуждение на его лице выразилось отчетливее, и профиль обозначился еще прямее и резче.

— Она переутомлена и совсем разнервничалась,— нежно говорил муж актрисы.— Три премьеры в месяц — это не шутка.

— Пять! — воскликнула Власта, держа платочек у рта и уставясь в одну точку.— У тебя есть пирамидон?

Пирамидона у Хойзлера не было, и он вполголоса напомнил ей, что она недавно уже приняла один порошок. Потом позвал обер-кельнера, и через минуту тот подал пирамидон на серебряном подносе таким же незаметным движением, каким вручал счет. Обер-кельнер ничему не удивлялся. Вчера у них в отдельном кабинете стрелялся какой-то гость, проигравшийся на бирже, и обер-кельнер и девушка из бара тоже не удивились. Впрочем, компанию Власты обер-кельнер уважал, и отнюдь не за чаевые, как подумали бы грубоватые натуры... Спекулянты швыряли деньгами, но обер-кельнер не уважал их ни на йоту. А из этой компании кое-кто ему должен — и не какую-нибудь мелочь за чашку кофе. Но тут были люди театра и прессы, а для обер-кельнеров это много значит.

Джаз умолк, пары расходились к столикам, и зал без музыки опустел, как пруд, из которого выпущена вода. Потом переключили свет, и продолжалась эстрадная программа. Выступал эквилибрист. Архитектор Голый приставал к Нелле, упрекая ее за то, что она не пьет, хотя Нелла сказала ему, как ей казалось, не меньше ста раз, что не выносит привкуса рома даже в конфетах. Не слушая ее, архитектор встал и нагнулся над ней с бутылкой.

— Ни в коем случае! — полушутливо вмешался Гамза. Он как раз вернулся к столу вместе со студенткой Новотной, чернобровой девушкой, которая улыбалась и учащенно дышала. Через плечо жены Гамза протянул руку и прикрыл ее бокал.

— Ей нельзя пить, и она не будет,— заявил он.— Она не хочет.

— Не командуй! — весело сказала Новотная и, ухватив Гамзу за рукав, по-детски оттянула его руку.

— Это что еще за шутки! — повернулся Гамза к Голому и с сердитым видом потер пальцы. Тем временем у того чуть дрогнула рука, и бутылка, стукнув о край бокала, разбила его. Все вскочили с мест, чтобы не попасть под струю вина, растекавшегося по столу. Новотная вдруг пришла в восторг.

— Вот здорово! — воскликнула она.

Обер-кельнер молча, с почтительным и серьезным видом собрал осколки и движением подбородка указал официанту на скатерть. Тот быстро привел стол в порядок и поставил перед Неллой новый бокал.

— Нелла! — огорченно воскликнул Гамза, подняв брови и глядя на жену.— Что ты делаешь! Тебе же нельзя! — Он знал, что, если Нелла выпьет, у нее на следующий день будут сильно болеть глаза.

«Он прав,— подумала Нелла,— но тем хуже». И она залпом выпила бокал.

— Замечательно! — ответила она на вопрос архитектора, и ей показалось, что она говорит таким же деланно веселым тоном, как обозревательница мод, которую она терпеть не могла. «Есть ли здесь еще кто-нибудь, кто так ненавидит самое себя, как я?»

Новотная была эффектная девушка, стройная, крепкая, со свежим лицом, ненакрашенная. Все ей было в новинку, она радовалась, что она уже взрослая, и ей хотелось, чтобы все окружающие радовались этому вместе с ней. Старый Сакс оборвал свою речь на полуслове, когда она подошла, и с восхищением посмотрел на нее: «Сейчас она немножко шумна, но за год-два отшлифуется и будет совершенством».

Новотная упала в кресло, держась руками за пылающие щеки, и воскликнула в восторге:

— Эти новые танцы восхитительны! Почему все вы так мало танцуете? Гамзе не нравится, что сегодня здесь так людно и пришла публика с ярмарки, а по-моему, как раз хорошо, когда много народа, я хочу, чтобы все веселились. Безумно люблю бары! Вы все такие мрачные, в чем дело? — Она оглядела сидевших.— Боже, что с вами? — закричала она через стол Власте, увидев ее заплаканное лицо. Актриса вяло улыбнулась.

Новотная была навеселе и говорила без остановки, не переводя дыхания. Она знала, что ее непосредственность всем нравится, и всячески старалась подчеркнуть эту свою черту.

Нелла всем существом чувствовала присутствие Новотной, и самые дикие мысли проносились в ее голове. Она не отваживалась взглянуть на мужа, разговаривавшего с Саксом. И вдруг представила себе, что Новотная принимает в ее, Неллиной, квартире всех этих людей, с которыми они сейчас сидят. С Еленкой Новотная, наверное, была бы на «ты», как с сестрой, но Станислав возненавидел бы ее и сбежал в Нехлебы. Потом она представила себе Новотную голой, потом ей привиделся ребенок Гамзы и Новотной, потом похороны Новотной и ее, Неллы, душевное облегчение. Все это проходило как во сне, все это было вызвано алкоголем и анонимным письмом. «Людям от вина весело, только мне нехорошо, у меня похмелье жизни, и я такая нелепая, что не могу этого скрыть, все зря... Не место мне здесь. Нигде мне нет места. Ревнивая, смешная, всеми презираемая жена из водевилей и юмористических журналов!..»

Поэт Выкоукал, сын директора предприятий Казмара, красивый юноша, написавший мятежную поэму «Бей их!», возвращаясь к столику, встретил мужа актрисы, адвоката Хойзлера, который что-то усердно искал, оглядываясь по сторонам.

— Покорнейше вас благодарю за то, что вы привели моего старика в «Ред-бар»,— с сухой иронией заметил он адвокату.

Адвокат поглядел на него глазами навыкате, в которых таился какой-то триумф, и явно не слушал молодого человека.

— Простите, друг мой,— сказал он,— вы не видели накидку моей жены? Красная в черную крапинку. Становится холодно, а ее горло...— Он нашел Властину накидку, взял ее и, обняв молодого человека за плечи, вернулся с ним в ложу. Они услышали нервный голос Власты:

— ...«Создала незабываемый образ маленького Эйольфа». Пусть возьмет себе этот «незабываемый образ», идиот! Полстрочки, и все! Всякий дурак может так написать! А о вас, *обойщиках,*— она вызывающе засмеялась и показала на архитектора,— о вашей пачкотне напишут целую книгу, с предисловием и про-

должением. Нынче декорация стала важнее. А где же сам человек?

Хойзлер осторожно коснулся плеча жены, скорее для того, чтобы показать, что она принадлежит ему, чем побудить ее замолчать. Он знал, что ему это не удастся. Посетители за другими столиками узнали актрису Большого театра и смотрели в ее сторону. В конечном счете он ничего не имел против.

— Я так и сказала Иордану: устраивай театр без актеров, это будет самое лучшее, никаких неприятностей, заведите себе театр с кашпареками... Чему ты смеешься? — обратилась она к архитектору.— Нет, уверяю вас, в театре теперь такая обстановка... Я оттуда сбегу, вот увидите. Ну зачем мне все это? Завтра же пойду к директору...

Следует отметить, что угроза ухода актрисы со сцены была воспринята окружающими довольно хладнокровно,— они уже привыкли к этому.

На другом конце стола молодой Выкоукал разговаривал со студенткой Новотной, которая что-то рассказывала об экзаменах.

— Представляю тебя в роли учительницы! Вполне представляю!

— А что ты думаешь! Девчонки будут меня любить, а это ведь главное, правда? Но я бы охотнее учила мальчиков. Погоди, я за все возьмусь с другого конца: буду читать историю, начав с современности. Время, в которое мы родились, самое замечательное!..

Ах, как давно было Неллино замужество по любви, замужество наперекор всему, как давно! Между ее молодостью и молодостью этой девушки лежали пустые годы войны, когда Нелла не жила, а только существовала, считая дни от одного письма с фронта до другого, обитала с детьми в глуши, у матери, в захолустных Нехлебах. Потом внезапно, словно придя вместе с вернувшимися с фронта мужьями, появилась армия рослых, не задумывающихся ни над чем девушек с крепкими нервами и заняла все позиции. Как просто и легко живется человеку, пока он молод. Нелла это знала по себе. «Молодые всегда правы, во всем правы! — им принадлежит мир. Я сама виновата, что отцветаю, слабею, не могу удержать то, что принадлежит мне... сама!» — думала Нелла.

— Ты как начнешь о современности, так несешь ужасную чушь! — дразнил Новотную молодой Выкоукал.

— Мне сегодня вообще не следовало бы идти сюда,— призналась студентка.— Надо было зубрить. Учеба мне дается с трудом и идет медленно, а хочется сдать экзамены хорошо.

— Так зачем же ты пришла? — рассмеялись кругом.

— Ради Гамзы,— вырвалось у охмелевшей девушки.— Разве вы слепые, не видите? Ты мне сегодня страшно нравишься, Гамза. Посмотрите, у него львиная голова.

Она обняла его за шею и сказала:

— Нелла, можно? Или вам жалко? Ведь вы не пьяны.

Нелла нервно усмехнулась (понимай же шутки... это шутка, не порти ее!). Но охватившая ее мелкая дрожь выдала душевное состояние Неллы. Танцовщица Мария Далешова неприязненно посмотрела на эту сцену, тихонько встала и исчезла в гардеробной.

— Пусти! — воскликнул Гамза и, наклонив голову, снял руку девушки со своих плеч.— Это уж чересчур!

При этих словах Гамзы Нелла вдруг интуитивно почувствовала, что в анонимном письме была правда, и на душе у нее, как ни странно, стало легче.

Новотная не обиделась.

— Нелла,— приставала она и тянула ее за руку,— поедем в субботу на лодке? Все втроем, а? Ведь я люблю вас. Конечно, не так, как Гамзу, но по-настоящему.

— Я вас тоже,— нехотя ответила Нелла,— но мне с вами не по себе! — прибавила она, неудачно подражая непосредственности Новотной.

— Почему? — спросила студентка.— Это пройдет. Не правда ли, Гамза? — Она говорила с пражской напевностью, заглядывая ему в лицо.— Ведь я умница, а?

Мимо них прошла компания нуворишей с разряженными супругами.

— Посмотри,— сказал Сакс старшему Выкоукалу, с которым, как оказалось, он был на «ты» еще со студенческих лет,— как мы здесь, в Праге, догоняем Европу.

Выкоукал-старший сунул журнал в карман, поглядел на сидевшего напротив сына, выпрямился и мрачно и отчетливо произнес, обращаясь к сыну и отчасти к Саксу:

— Я в жизни не украл и булавки. Даже куртаж брать не имею привычки. Во время войны нам с Казмаром удалось избавить от армии сотни чешских рабочих. Мы даем работу тысячам чехов, которым раньше пришлось бы эмигрировать в Америку, потому что для них не находилось работы дома. И вот в Праге я узнаю, что я разбойник и убийца, и читаю призыв бить меня.

Его красивый, безупречно одетый сын снисходительно усмехнулся:

— Папа, ведь не о тебе речь, а обо всем классе.

— О третьем классе школы, вот о чем, младенчик! — улыбнулась ему Власта.— Благодари бога, что у тебя богатый папаша. Тебе легко делать революцию за столиком бара...

Вместо ответа молодой поэт поднялся, застегнул пиджак и склонился перед актрисой. Она встала, положила руку ему на плечо, и они смешались с танцующими. Это был короткий фокстрот перед очередным номером программы.

— Ничто у нас не держится прочно,— мрачно сказал Выкоукал.— Едва создадим что-нибудь — глядишь, все уже испортят. Только получили республику, а уже есть охотники ее большевизировать. Неусидчивы наши люди. Новое поколение все ломает. Но это не пройдет тебе даром, сынок.

Танцующие уселись по своим местам, освещение переменилось. Люди, теснившиеся за столиками и в ложах, послевоенные нувориши, ярмарочные оптовики, министерские чиновники со своими «голубками», как называли тогда секретарш пражские обыватели, правые и левые социалисты, незанятые девушки из бара и обер-кельнер — все глядели на ярко освещенный центр зала.

— Тоже пример дезертирства от своего класса,— проронил Сакс.

Мария Далешова выбежала в трико и легких туфлях на длинных ногах пловца и бегуньи. Шляпа и повязанный на шее платок пародировали модный тогда апашский костюм. В руке она держала апельсин. Ее партнер, белоэмигрант, красивый, женственный юноша, исполнял трафаретные па одного из тех *танго смерти,* от которых приходили в восторг коммивояжеры,— танго с кинжалом, под соло на скрипке, танго, хватавшее за душу, танго, говорившее о роковом единстве любви и смерти. В нем была изломанная любовь, от которой не уйти, в нем были голубая луна и кокаин...

Но все это вздор и чепуха, говорила девушка своим танцем, исполняя танго так пародийно, что движения ее партнера казались танцем марионетки. Увертываясь от него ловкими прыжками, молодая танцовщица как будто смеялась над любовником всем своим натренированным до полного совершенства телом. Наконец апаш настигает девушку, она изгибается в его объятиях, касаясь головой пола. Он вонзает кинжал ей в грудь. И вдруг девушка выхватывает нож и начинает чистить им апельсин, бросая корки в продолжающего танцевать партнера. Наконец большими прыжками она убегает под восторженные вопли поклонников и аплодисменты немного обескураженных зрителей — им понравилась великолепная фигура танцовщицы, но смущало ее несерьезное отношение к любовной страсти танца.

— Разве Далеши разорились? — вполголоса спросил директор Выкоукал.— Я об этом и представления не имел.

— Отнюдь нет,— отозвался Сакс.— Сейчас ведь у всех вас торговля идет полным ходом.

— Так зачем же она этим занимается? — с удивлением спросил Выкоукал.

Компания ответила ему взрывом хохота. Эти слова стали потом ходячей фразой. Встречая Марию Далешову, приятели говорили: «Так зачем ты этим занимаешься?»

— Спроси ее,— ответил наконец Сакс, задыхаясь от смеха.

Исполнив свой номер, Далешова уехала с братом домой. Она берегла здоровье и не хотела кутить. У нее были широкие планы. Пока что она довольствовалась «Ред-баром». Лучше «Ред-бар», чем ничего. Она не могла не танцевать.

Близилось утро, когда джаз на прощанье заиграл популярный уанстеп «Из-за этого не стреляются», которым тогда упивалась вся Прага. Все вскочили с мест и, напевая и насвистывая знакомый мотив, пустились в пляс.

Мелодия была до невозможности вульгарна, остра и навязчива. Если она овладеет вами, от нее не отвяжешься. Это была джаз-пародия на австрийский марш, под звуки которого в свое время хмельные рекруты маршировали к пахнущим карболкой вокзалам, садились в разукрашенные товарные вагоны и ехали на поле брани. Мелодия напоминала о ненавистных черных с желтым флагах, о первых раненых, о розовых открытках полевой почты, о сестрах милосердия, об индивидуальных перевязочных пакетах с крестом на обложке и бог знает еще о чем. Она напоминала это тем, кто, как Гамза, был на войне. Но такие люди о ней много не болтали. Обнимая свою партнершу, которую было удивительно легко вести, Гамза думал: что было, то прошло. «Довольно стреляли во время войны!» — кричал, звеня, свистя и неистовствуя, джаз. «Из-за любви не стреляются!» — кудахтал саксофон, как перепившийся новобранец. Павшие оплаканы, уцелевшие вернулись домой, на радость своим женам.

Молодые, красивые, упитанные женщины, нарожавшие к концу второго года республики Иржиков и Эвочек, плясали рядом с девушками из бара, стараясь перенять их манеры и делая вид, что не отстают от них в опытности. Здесь же танцевали секретарши министерских чиновников. Прага словно сорвалась с цепи, и все это шло впрок «Яфете». Ах, какие это были времена, они уже не вернутся! Обозревательница мод вытащила танцевать даже директора Выкоукала; почувствовав себя девушкой, она учила модному танцу этого неотесанного провинциала.

— Я привез два отличных полотна Дюраки,— сказал Нелле во время танца архитектор Голый (пурист Дюраки был входившим тогда в моду французским художником).— Не зайдете ли посмотреть? Скажем, завтра в четыре часа,— продолжал он как бы мимоходом,— или в любое другое время.

«Вот так надо поступать, так должны начинать связь *искушенные женщины,*— подумала Нелла.— Тогда забудется ревность».

Но нет, ей было бы смертельно стыдно этого чужого мужчины, который был хорошим человеком, добрым знакомым, но совершенно безразличным ей.

— Да ведь я ровно ничего не смыслю в живописи,— так же небрежно ответила она и с этой минуты была очень приветлива с архитектором. К ней возвращалось самообладание, ее движения и голос обрели частицу прежней непринужденности.

Актриса танцевала со своим коротеньким розовощеким мужем, который чересчур часто рядился в смокинг. Собственно говоря, он для нее только обуза, но это не важно: подлинное, честное и правдивое человек переживает только на сцене, там, где пистолеты генерала Габлера, где ружье старого Экдаля. «Из-за этого не стреляются. Из-за этого не стреляются!» Не беда, что совершались сделки — сбывали недоброкачественный бензин,— ведь даже не доказано, что из-за этого гибли летчики. Или, скажем, махинации с военными займами... Довольно стреляли во время войны. «Из-за этого не стреляются». Бис, бис! Танцующие хлопали и не уходили.

Танцевали правые социалисты с супругами своих коллег и секретаршами, словно говоря: нашему пролетариату живется отлично, посмотрите только на дворцы страховых касс! Танцевали левые социалисты, из всех лозунгов признававшие один: не за горами время, когда пролетарии всех стран будут так же пользоваться жизнью, как мы сейчас. Рабочие Большой Праги тем временем спокойно спали: ночью они веселились только один раз — под Новый год.

Кельнеры тушили цветные лампы и ставили стулья на столики. Незанятые девушки из бара танцевали друг с другом. Буфетчица заперла кассу и остановилась поболтать с Саксом. Двое старых ветеранов оживленно разговаривали. Белки глаз Сакса, когда-то синеватые и красивые, теперь приняли болезненный желтоватый оттенок. Этими выцветшими глазами он наблюдал скачкообразную жизнь молодой республики, видел, как группируются и смешиваются люди, как создаются новые пары. Он неохотно уйдет отсюда, из этого театра жизни, с ярмарки тщеславия, когда лишний процент сахара в организме решит его судьбу. Одним евреем станет меньше. «Из-за этого не стреляются...»

Выйдя на улицу, гуляки глубоко вдохнули влажный воздух. Тишина стояла почти как в поле.

— Боже, как хорошо! — воскликнула Новотная.— А мы торчим в этом прокуренном кабаке!

По мостовой проезжали первые тележки молочников. Брела торговка редисом. Актриса и Нелла, стуча зубами и переминаясь

с ноги на ногу, начали рыться в сумочках, чтобы подать ей милостыню и тем облегчить свою нечистую совесть.

— Бросьте,— сказал Выкоукал-младший.— Не надо. Этим дела не поправишь.

— Чем хуже, тем лучше, не правда ли? — сцепилась с ним актриса, уже стоя на подножке машины.— Знал бы ты, что такое нетопленная печь и лед в рукомойнике! Я это отведала в Восточной Чехии, когда учила роль Роутички. Бывало, зубами стучишь, чуть язык не откусишь... Потом меня пригласили на эту роль в Большой... Не могу я спокойно видеть этих теоретиков! — Последняя фраза была сказана мужу, сидевшему в машине.

Они ждали Выкоукала-старшего, но он поблагодарил и сказал, что пройдется с сыном, проветрится немного.

Над Прашной браной скупо занимался рассвет. Поэт Выкоукал, студент Высшего технического училища, стройный девятнадцатилетний юноша, приняв демонстративно безразличный вид, шагал рядом с отцом. Он ждал, когда старик разразится тирадой.

Выкоукал-старший шел без шляпы — в Улах так ходили до первых морозов, по примеру Казмара,— и, как только затихли голоса остальной компании, начал:

— Послушай, шалопай. Ты меня знаешь. Я привык говорить прямо и смотреть на вещи трезво.

— Это мне хорошо известно,— подтвердил сын.

— Не дерзи. Ты выкинул хулиганскую штуку с этим вот...— он похлопал по журналу,— с этим сочинением.

Юноша не мог подавить улыбки. Это была его первая напечатанная поэма, и ничто не могло омрачить ему эту радость.

— Учишься в Праге, я тебя содержу, ты ешь мой хлеб... да еще на мои деньги пьешь шампанское, милый! Я пил чай...

— Отец!

— Нечего там — «отец». В лучшем случае это беспринципно.

— Ну так не содержи меня больше,— сказал юноша.

— А на что ты будешь жить? Разве ты пробьешься сам? Тогда бы ты выдержал и в Улах, дружок!

— В доме молодых казмаровских солдат? Спасибо. Ни за что на свете!

— Вот, вот. А *твои* пролетарии должны там выдерживать... К счастью,— продолжал отец мрачно,— ты еще не так знаменит, чтобы о тебе говорили где-нибудь, кроме пражских баров. И вот что я тебе скажу,— широкоплечий Выкоукал остановился против сына.— Когда тебя снова посетит вдохновение, ничего больше не печатай под моим именем, понял? Моего имени для таких дел я не даю, заявляю тебе самым решительным образом.

— Да ведь это и мое имя,— возразил юноша.

— Но вы ведь мечтаете раствориться в коллективе, не правда ли?

Выкоукал-младший никак не предполагал, что его поэма вызовет столько откликов, и решил, что это хороший признак.

— Что произошло с тобой в Нехлебах? — спросил Гамза жену на обратном пути.

— В Нехлебах? Со мной? Откуда ты взял?

— Ты какая-то странная сегодня.

— Это тебе кажется, ничего не случилось.

Но что-то чувствовалось в ее словах, и лучше всего было не спрашивать об этом. Когда они вернулись домой, Нелла, не раздевшись, начала ходить по комнате и, вразрез со своими привычками, заговорила о деньгах, о невозможном образе жизни, который они ведут. На коктейли деньги есть, а на молоко нет. Покупаем бензин — и не можем заплатить за подметки. Живем шиворот-навыворот. Все заботы — на ее голову. А она уже не молода. Да, не молода.

— Вот видишь, я говорил, не пей вина,— равнодушно проронил Гамза и обнял ее за талию.— Забудь это и иди спать.

Нелла уклонилась от его объятий.

— Ты разговариваешь со мной, как с дурочкой.

Ссоры у них были редкостью, и поэтому Гамза, не привыкший к ним, остановился перед женой и сердито сказал:

— Немедленно объясни, в чем дело. Терпеть не могу недомолвок и околичностей.

— Я тоже,— тихо сказала Нелла.— Но если так трудно сказать...

СТРАШНЫЙ СОН

Ночью юный Станислав Гамза услышал, что грабители открывают отмычкой дверь. Схватив автоматический пистолет-маузер, он выскочил в коридор, торопясь опередить Поланского, чтобы прославиться одному. Но в передней никого не было. Мрак и тишина. Кто-то скребется снаружи, у лестницы, что ведет в сад. Прошелестели листья на заросшей плющом стене, хрустнули ветки. И все это происходит в Нехлебах. Во тьме медленно, без обычного скрипа, распахнулись двери. Долго было непонятно, кто сюда крадется. Каково же было удивление Станислава, когда вместо вооруженных мужчин, навстречу которым он был готов храбро кинуться, вошла *шпионка,* закутанная в дождевик из тонкого, местами помятого целлофана, светившегося зеленым светом. (Так

флуоресцирует свиной мозг, подумал Станислав.) Голова незнакомки была закрыта капюшоном, глаза спрятаны за автомобильными очками. Станислава осенило: *шпионка* пробралась ночью на телефонную станцию, чтобы по телефону усыплять людей на расстоянии. К усыпленным проникают заговорщики и выкрадывают *документы*. Приятель Станислава из Нехлеб, Кубеш, который вдруг неожиданно появился здесь, нахмурил брови и многозначительно прошептал, что речь идет о «Тайнах святого Вацлава»,— недаром, как уже заметил Станислав, у *шпионки* в петлице виднелась трехцветная ленточка. *Шпионка* оказалась, кроме того, учительницей Гавиржовой из четвертого класса.

— Руки вверх, вы разоблачены! — прорычал Станислав, опередив Кубеша. Он вытянул руку с тяжелым маузером, направив его на шпионку, задел рукой за стену, царапнул по ней и проснулся.

С минуту он лежал, не решаясь шевельнуться, ошеломленный страшным сном. Он никак не мог сообразить, где находится и что это за комната. Нащупав под подушкой любимый электрический фонарик, который он, по скаутской привычке, ночью всегда клал под голову, Станислав зажег его и обнаружил, что окно и дверь совсем не там, где он предполагал, и что он не в Нехлебах, а в пражской квартире. Он включил настольную лампочку и улыбнулся, вспоминая захватывающий сон. Хорошо бы разбудить Еленку и рассказать ей, пока сон еще свеж в памяти. Она бы задала ему! А который час? Наверное, скоро утро. Станислав посмотрел на часы, но часы не шли. Преодолев лень, мальчик слез с кровати и, сонный, тихими шагами вышел в коридор, чтобы посмотреть на кухне, который час. Он не зажигал света и освещал путь фонариком — так было романтичнее. Как здорово, однако, светит фонарик, настоящий прожектор! Куда фонарику Войтеховского против моего «Эвер-реди»!

Станислав вдруг остановился, и сердце его забилось сильнее: в столовой был слышен мамин голос. Неужели родители не спят? Станислав прикрыл рукой свой фонарик и увидел свет, пробивавшийся в щель под дверьми столовой. Потушив фонарик, мальчик стал подкрадываться. Надо сказать, он делал это мастерски. Он прижался в углу у самых дверей; каждая жилка в нем дрожала. Вот-вот мать войдет, и он испугает ее. Мать вздрогнет и вскрикнет. Она всегда непритворно пугалась. Станислав не боится *шпионки*, а мать взаправду пугается Станислава.

Там, за дверью, куда Станислав не разрешал себе войти, его воображение рисовало какую-то тайну: там кто-то был, слышались шаги и звук передвигаемого стула. Это ходил по комнате отец.

— ...тогда все это бессмысленно и ни к чему,— послышался голос матери.— Я не хочу так жить, Петр.

Мальчик прислушался, затаив дыхание. Шаги стихли, отец, наверное, остановился перед матерью.

— А кто тебя обижает?

«Сейчас мать расскажет, как она рассердилась на меня сегодня из-за радиатора»,— подумал Станислав.

— Я не упрекаю тебя,— ответила мать каким-то беспомощно слабым голосом, совсем не похожим на голос взрослых, которые распоряжаются детскими судьбами (и все же пари можно держать, что она упрекает!).— Ничего не сделаешь, мы давно женаты, ты не виноват...

Мальчик вздрогнул, словно получив тревожный сигнал. В таинственном царстве взрослых, там, за дверьми, творилось что-то неладное.

Отец коротко засмеялся.

— Странный ты человек,— сказал он.— Почему ты складываешь оружие? Зачем сама суешь голову в петлю?

Станислав проглотил набегавшую слюну. Что-то сжалось у него внутри. Острое желание узнать о беде, которую обсуждали родители, охватило его.

Мать ответила нетерпеливо:

— Вот это и есть недомолвки. По-моему, мы вполне спокойно можем объясниться, напрямик...— голос у нее дрогнул,— и решить, как нам быть.

Ее слова и шелест платья послышались у самых дверей, и мальчик, боясь, что мать откроет дверь и увидит его, уже готов был отпрянуть назад в темноту, когда вдруг раздались эти слова:

— Поверь, Петр,— сказала мать отцу, сказала ясно, и Станислав слышал это,— нам лучше всего разойтись.

Мальчик закрыл руками лицо, и взрослые услышали стон, словно кто-то получил сильный ожог. Станислав, как невменяемый, вбежал в столовую, остановился посредине, не зная к кому подойти, и, подпрыгивая на месте, как обычно делают дети от сильной боли, захлебнулся от рыданий. Родители бросились к нему.

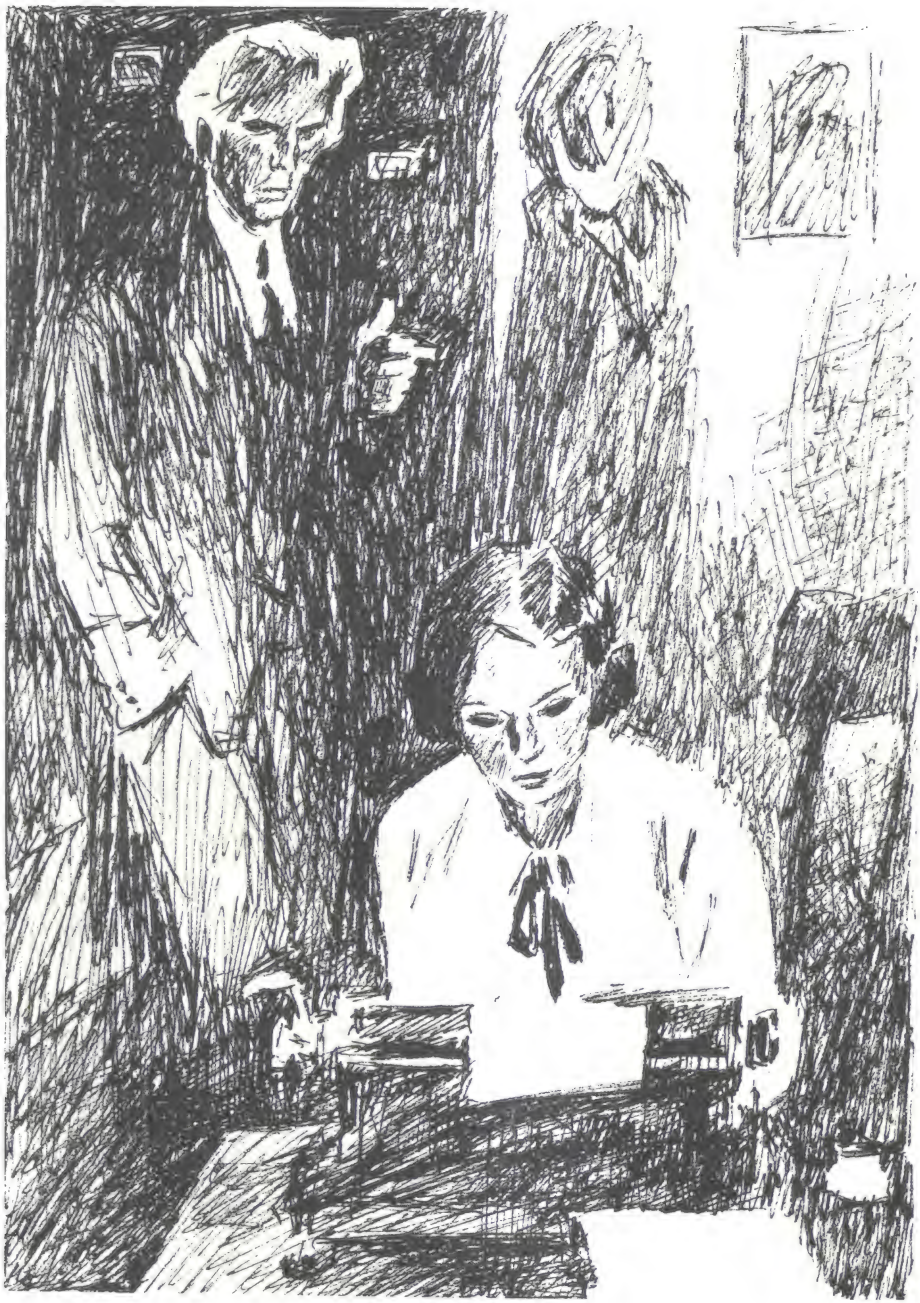
— Я этого не перенесу!.. Не перенесу!.. — срывающимся голосом кричал мальчик.

— Что с тобой? — испуганно спрашивали родители, предполагая ушиб или удушье.— Что с тобой? Говори!

Станислав исподлобья посмотрел по сторонам, избегая взгляда родителей, и воскликнул вне себя:

— Если вы разведетесь, я застрелюсь!

Он заметил испуганный взгляд матери и то, как отец, прикрыв глаза, сделал шаг назад. На минуту стыд охватил взрослых. Но



Люди на перепутье

вот мать уже держит мальчика за плечи, трясет его, словно стараясь разбудить.

— Что ты говоришь, Станя!

Он видел, как дрожали у нее губы и страдальчески расширились глаза; он слышал, как дрогнул ее голос, и почувствовал свою власть над взрослыми. Отец бросил на мать злой взгляд, какого Станя никогда не замечал прежде.

— Видишь, что ты наделала,— процедил Гамза,— бедняжка принял все это всерьез.

Нелла подняла голову, хотела возразить, но Гамза жестом остановил ее.

— Иди ложись спокойно спать,— уже другим, совсем ласковым тоном обратился он к сыну.— Мама пойдет с тобой. Она устала и сама не знает, что говорит.

Мать, стоявшая рядом со Станиславом, оглянулась на отца, ее лицо выражало протест, она хотела возразить. Мальчик не сводил с нее глаз. Но Нелла неожиданно сказала:

— Отец прав, иди спать!

Мальчик упорствовал.

— Не пойду, я хочу знать,— жалобно настаивал он.— Я не уйду отсюда, пока вы мне не пообещаете...

Он ухватил мать за руку, отца за палец и тянул друг к другу. Это было очень трудно, взрослые были тяжелы, как две баржи с песком, стоявшие на якоре у разных берегов. Руки не хотели соединяться.

— Что ты, братец,— шутливо сказал Гамза, отдергивая руку.— Больно! Ну и силища у тебя!

Мальчик нахмурился, словно услышав фальшивую ноту.

— Нет,— сказал он.

— Ну, вот что, Станислав, поговорим серьезно,— начал отец,— будь мужчиной, не делай из мухи слона. Ничего не случилось.

— Дай честное слово! — все еще волнуясь, воскликнул Станя. Голос его звенел, как натянутая тетива, казалось, мальчик вот-вот расплачется.

Мать ужаснулась. «Чем успокоить мальчика?» — раздумывала она, стоя перед ним пристыженная, беспомощная.

— Послушай, Станя,— начала она,— ты же знаешь, что мы тоже люди. Ну, немножко поссорились... Ведь и вы с Еленой ссоритесь.

— Ого, еще как! — ответил мальчик, выпрямившись и глядя в лицо матери доверчивыми детскими глазами.— Но это совсем другое дело. Ты мне не рассказывай!

Гамза отвернулся, чтобы скрыть улыбку. Мальчик заметил это. Он ловил каждый признак примирения.

— Так вы не разведе...

— Нет,— оборвал его отец.— Уж если я сказал, можешь на меня положиться.

— А вы это не просто так говорите, чтобы отвязаться? Мама, скажи!

— Нет, нет! — смущенно сказала мать за его спиной, подталкивая сына к двери. Но он остановился на пороге, оглядываясь на отца.

— Пойдем тоже!

— Я приду,— ответил отец.— Не приставай больше, Станислав.

Когда Станя вошел в детскую, уже рассвело, на фоне неба были видны провода, за окном чирикали замерзшие воробьи. Наверное, и они пели до того, как их выгнали из садов на мостовую... Боже, как холодна и пуста жизнь!..

Чего бы он не дал, чтобы родители заговорили друг с другом так же ласково, как говорили сейчас с ним, несмотря на то что он подслушивал. Но они ни слова не сказали друг другу. Так что же, дали они слово или нет? Вот так всегда: мать уверяет — не будет больше страшных снов. А Стане приснился страшный сон. Уговаривают тебя: не будут вырывать зуб, а через неделю — пожалуйте в зубоврачебное кресло. Попробуй — верь взрослым!

НОЖ И КАРМАННЫЙ ФОНАРИК

На склоне Жижковского холма сидели женщины и вязали. Мужчины лежали, опершись на локти или закинув руки за голову. Карлин, попирая север Праги своей пятой, простирался внизу, огромный, безобразный. Вблизи виднелся черно-белый храм. Дома окружали дворы с кадками и распряженными возами. Бежали, пересекаясь с другими, параллели улиц. Дома зияли дырами окон, перекрещенных рамами. На покосившихся балконах висело белье. Вдали улицы сбегались вместе, дома соприкасались, и возникала перспектива. И только башни голешовицкого храма да фабричные трубы выделялись на этом фоне. Два рукава Влтавы, поблескивая синей полосой воды, делили пейзаж на неровные участки. Либеньские мосты соединяли их на излучинах, красные трамваи, похожие на насекомых, медленно ползли по мостам и набережной. Бросались в глаза большое круглое здание цирка возле плеши учебного плаца и серебряный купол газохранилища. Город был виден далеко за Высочаны, до самой дяблицкой водокачки, и дальше на восток. Фабричный дым уже рассеялся, шел шестой час. В лучах заходящего солнца рельефно выделялся каждый дом,

каждый бочонок. Огромный, тяжелый, никуда не устремленный город с грузом людей, прекрасный в своей будничности. У пейзажа была своя симфония звуков, ветер доносил шипение пара, лязг металла и звуки автомобильных гудков.

Лежавшие мужчины молчали. Курносые женщины с резко очерченными губами даже во время болтовни не прекращали работу и приглядывали за детьми.

С футбольной площадки долетали торжествующие и насмешливые мальчишеские крики.

— Пусть порезвятся,— сказала одна из женщин.— Завтра им опять в школу.

От импровизированной команды юных жижковцев отделился один из игроков,— карлинский полузащитник подставил ему ножку, и он на виду у всех грохнулся оземь. Мальчик встал с сердитым видом, растрепавшиеся волосы упали ему на глаза. Прихрамывая, он ушел с поля.

— Грубая игра! — вопили жижковцы.

— Притворяется! — орали карлинцы.

— Судья! — кричали зрители, которых было всего трое.

Обе команды сбежались на середину поля и, размахивая руками, обменивались мнениями о случившемся. Раздавались язвительные замечания, что, мол, жижковцы проигрывают и, наверно, думают отыграться на штрафном ударе. Судья, младший брат одного из игроков, не принятый в игру по малолетству, воспользовался тем, что мяч свободен, и поддал его что было сил. Старший брат влепил братишке затрещину и отнял у него мяч. Судье остался свисток, с которым он беспомощно бегал около ссорящихся и оглушительно свистел.

Подбитый игрок стоял в стороне. Он поднял ногу и тер колено, морщась от боли. Трое зрителей внимательно наблюдали за ним.

— Пойдем играть, Станя, пошевеливайся! — подбадривали его товарищи по команде.

Мальчик опустил ногу, повернулся и молча пошел прочь.

— Станя, брось дурака валять,— раздались за ним огорченные голоса.

Мальчик в трусиках и майке был красив. Гнев отражался в его движениях, на лоб свисала упрямая прядь, губы были сжаты. Он отошел, чтобы овладеть собой и преодолеть желание заплакать; оглянувшись, он громко крикнул:

— С «сапожниками» не играю! — и пошел дальше.

— Я сыграю за него,— вызвался один из зрителей, но его предложение осталось без ответа. Жижковцы разжаловали судью, отняли у него свисток, и игра продолжалась.

На самом краю Жижковского холма, под ярко освещенным небом, уже на склоне дня, который уходил на ту сторону планеты, к неграм, сидел какой-то мальчик, одинокий, как рыболов. Станиславу казалось, что если бы сейчас этот мальчик упал, то он не скатился бы вниз по знакомому косогору, а вылетел бы прямо в пространство и превратился бы в вечного спутника земли, подобно жюльверновской собаке, выброшенной из ракеты в романе «Из пушки на луну». Такой это был момент.

— Давай! Пасуй! — раздавалось на футбольном поле.

Бывают такие дни! Такие дни, когда каждый норовит обидеть тебя, когда никто не боится тебя задеть, когда каждый ставит тебе подножку и ты сам чувствуешь себя легко уязвимым.

Мальчик, сидевший на косогоре, смотрел на юг. Перед ним раскинулся лабиринт крыш. Он не замечал ничего, кроме башенных часов, похожих на глаз филина, и голубей, которые, вылетая из башни, переворачивались в воздухе и, блеснув в лучах заходящего солнца, стремглав кидались вниз, потом снова взмывали и снова устремлялись к земле — бог весть зачем. То ли они играют, то ли их сносит ветром. Внизу грозно молчал необъятный каменный город. Мальчик глядел вниз, на громаду города, и ему слышался грохот камней. Как будто рассыпалась на мелкие камушки вся Прага.

Мальчик держал в руке нож. Он вынул из кармана горсть винтиков и железных опилок и, задумчиво склонив голову, ловил винтики и опилки намагниченным лезвием.

Вдруг перед ним, на склон холма, упала длинная тень. Кто-то остановился позади.

— Здорово берет,— сказала тень.

Винтик, висевший на лезвии, словно испугавшись голоса, сорвался с ножа. Оба мальчика издали возглас досады. Мальчик с ножом собрал с земли упавшие опилки. Пришедший вынул карманный фонарик и, хотя было совсем светло, посветил на чахлую траву.

— Попробуй,— сказал он и на мгновение, как заправский гангстер, направил луч в глаза собеседнику, потом протянул ему фонарик.— Хороший нож,— кивнул он.— Золингенская сталь?

— Ножик — ничего особенного,— с деланным равнодушием отозвался владелец ножа.— Вот только до сих пор виден след от взрыва.

Обладатель фонарика вопрошающе поднял взгляд на незнакомого мальчика.

— Это от пороха,— неторопливо сказал тот.— Патрон взорвался. На, понюхай, еще пахнет порохом.

— Патрон? — не без уважения повторил городской мальчик.

— На уроке один парень ковырял ножом в патроне. Он взорвался; ему тогда палец оторвало.

Подошедший мальчик бросил взгляд на руки собеседника.

— Но у тебя все пальцы целы,— сказал он разочарованно.

— Да, но ножик-то был мой. Меня как раз вызвали к доске, когда взорвался патрон. Палец чуть не до меня долетел. И кто бы мог подумать: этот парень, которому оторвало палец, схватил книжки и дал тягу, чтобы ему не попало от учителя,— соврал Ондржей, умолчав, что он сам тогда едва не потерял сознание от испуга.

— А как его звали? — с сомнением спросил Станислав.

— Тонда Штястных, мы с ним сидели на одной парте, спроси кого хочешь в Льготке. Об этом и в газете было.

— А тебя как зовут? Меня — Станислав Гамза. Пойдем играть.

Они сорвались с места, но рокот пропеллеров заставил их остановиться и посмотреть на небо. Люди на склоне холма тоже уставились в небо. Мальчики, игравшие в футбол, замерли, словно отдавая салют. Женщины, оторвавшись от вязания, вытянули худые шеи и, заслонив ладонями глаза от солнца, глядели на то, что делается над наполненной заботами землей. Мимо Жижковского холма проходил поезд, и пассажиры высовывались из окон. Самолеты тогда еще были новинкой.

Пять самолетов, похожие на стрекоз, летели строем диких гусей. Это были красивые машины. Ворчание пропеллеров то затихало, то нарастало в просторе неба, озаренного алыми лучами солнца. Мальчики стояли взволнованные. Потом они бросились бежать за самолетами и, ей-богу, какую-то секунду не отставали от них. На бипланах с продолговатым корпусом, похожих на тело чайки, мальчики увидели чехословацкие опознавательные знаки и номера на бортах. Станислав уверял, что видел пилота. Самолеты исчезли. Мальчики обсуждали, сколько груза поднимает такой самолет и сколько их надо, чтобы разбомбить Прагу.

— Твой папа тоже против войны? — спросил Станислав.

— У меня нет отца.

— Развелись? — сорвалось у младшего Гамзы. Мальчик из Льготки удивленно посмотрел на него.

— Мой отец умер в этом году на святую Анну,— сказал он.

Станислав смутился.

— Когда мы будем большие,— сказал он, чтобы развеселить Ондржея,— у каждого человека будет свой самолет. Как теперь велосипед.

— Держи карман шире! — скептически отозвался Ондржей, и в его голосе прозвучала интонация матери. Оптимизм мальчика с электрическим фонариком внушал ему недоверие. Надо быть

настороже: свет фар ослепляет зайца, и автомобиль давит его; нельзя доверяться людям.

Лишь после игры, когда жижковцы во втором тайме победили со счетом 4 : 3, а Станислав, натянув полосатую куртку дачника, взял мяч под мышку и снова подошел к Ондржею, тот сказал:

— Это ваш форд у нас в гараже? — И назвал номер дома.

Станислав Гамза удивился.

— Так ты уже меня знаешь? Что ж ты не сказал сразу? Почему ты говоришь об этом только сейчас?

Лицо Ондржея стало гордым, как всегда, когда он колебался или его мучила робость.

— А кто ж выкладывает все сразу, с первых слов? — сказал он твердо и добавил, прищурив правый глаз: — Сегодня днем ты вышел из дому с одним парнем, таким тощим. Да?

— Это Войтеховский, первоклассный хоккеист,— оживился Станислав и, прихрамывая на ушибленную ногу, сбежал вместе с Ондржеем с холма, расхваливая Войтеховского и приглашая Ондржея пойти посмотреть замечательную коллекцию марок этого мальчика. Ондржей сорвал по дороге прутик и на ходу обламывал его. Он был смущен и недоволен, когда при нем расхваливали кого-нибудь. Помолчав, он переломил прут пополам и, отбросив обе половинки, сказал:

— Меня другие мало интересуют.

— Удивляюсь тебе,— простодушно возразил Станислав,— а меня наоборот. Что за смысл торчать одному? Ведь это скучно.

— Как сказать...— загадочно ответил Ондржей.

Лишь после того как мальчики накрепко подружились, Станислав понял, что Ондржей любит говорить не то, что думает. Нельзя сказать, чтобы он лгал, но на все случаи жизни у него была в запасе какая-нибудь прибаутка, которой он ограждал себя от людей. Станиславу такая манера разговора очень нравилась, и ему хотелось перенять ее, но из этого ничего не получилось. В нужный момент он не находил подходящих слов и говорил, что думал.

Мальчики прошли мимо женщины с младенцем в коляске, мимо студента, читавшего на ходу. Им попадались старички, совершавшие моцион, и еще какие-то одинокие личности, бродившие в городском саду. У подножия холма мальчики встретили железнодорожников с чемоданчиками.

Станислав остановился перед трансформаторной будкой с намалеванной на ней молнией и черепом.

— У нас на лесопилке была такая же штука,— сказал Ондржей.

— Хочешь, я ее трону? — расхрабрился Станислав.— Тронуть? — И он протянул руку.

— Ну и что,— возразил Ондржей.— Тебе ничего не будет. Высокое напряжение внутри.

— Знаешь, Ондржей, сколько получилось бы электричества из одной молнии? Можно было бы освещать всю Прагу круглый год.

— А ты что, измерял, сколько в ней вольт, умник? — важно заметил Ондржей. Его отец понимал толк в электричестве: когда на лесопилке не ладилось с пилой, всегда посылали за Урбаном.

Выходя из парка, мальчики встретили смуглую барышню, которая, видимо, торопилась, как все горожане. Она была в шапочке и коротенькой юбке, шла быстрой походкой и, остановившись перед Станиславом, не поздоровалась, а только улыбнулась ему, а он ей.

— Ты куда? — спросил Станислав.

— За тобой. Уже поздно.

— Что это ты вдруг вспомнила обо мне? — недовольно произнес мальчик.— Вы с папой писали днем?

— Нечего было писать.

— А вечером ты дома будешь?

— Да, буду,— ответила барышня, которая была бы недурна собой, если бы не накрашенные губы, красные, как у людоеда. Она повернулась на каблуках и, видимо, намеревалась идти с ними. Но Станислав преградил ей дорогу.

— Извини,— сказал он.— Видишь ли... нам с Урбаном надо поговорить с глазу на глаз.

Барышня усмехнулась, словно говоря: «Ага, понимаю».

— Я на десять минут забегу кое-куда, но чтобы ты уже был дома, Станя. До свидания, Урбан! — Взглянув Ондржею в глаза, она пожала ему руку так, словно знала его давно.

Когда она ушла, Ондржей спросил шепотом:

— Кто это?

Станислав принужденно усмехнулся:

— Ну, моя мама.

«Придет же в голову этим матерям,— думал он.— Разве прилично взрослому мальчику идти по улице с мамой? Что я, младенец, что ли?»

Боль в ушибленной ноге вдруг дала о себе знать, а с ней воскресли воспоминания о прошедшей ночи и тайные опасения; подойдя к дому, Станислав уже хромал, ступал осторожно и, казалось, превратился из рослого мальчика в маленького озабоченного старика с наморщенным лбом. Куда только девалось его радужное настроение!

— Скучища в этой Праге,— сказал он Ондржею, когда они входили в ворота.— Хорошо хоть, что мы с тобой живем в одном

доме. Подожди, я сейчас вернусь.— И он побежал по ступенькам.— Только не смывайся, Урбан!

Ондржей взял у матери пол-литровую кружку, немного мелочи и ждал нового приятеля перед домом.

Станислав единым духом взбежал наверх и зазвонил изо всех сил.

— Папа дома? — запыхавшись, спросил он еще в дверях.

Барборка ответила, что папа уже давно ушел на собрание. Станя ворвался в детскую к Елене. Там были спущены шторы.

— Не зажигай свет! — закричала сестра.— Балбес, не может закрыть дверь!

И, подскочив к двери, заперла ее на ключ. Елена заряжала фотоаппарат. Станислав прислушался, дождался звука вставляемой кассеты, потом подошел к сестре. Для того вопроса, который он хотел задать, темнота была даже удобнее.

— Они еще не разговаривают друг с другом?

— Это пройдет,— ответила Елена.

— Хорошо бы!

— Наверняка,— спокойно сказала Елена, что-то закручивая в аппарате.— Все это оттого, что они не выспались... и нет денег.

— Нет денег? — испугался Станислав.

— Ах, боже, от голода мы, во всяком случае, не умрем, сам знаешь,— сказала Елена.— Куда ты опять летишь, чего с ума сходишь? — У нее было врожденное отвращение к суматохе, и она была слишком молода, чтобы быть снисходительной к младшему брату.

Станислав помчался вниз по лестнице, догнал Ондржея, и они вместе пошли в распивочную «На небе» за пивом.

Гамза-младший бывал и на море и в горах, но никогда в жизни еще не был в распивочной за углом и знал ее только по вывеске, на которой были нарисованы шары и кий. Мальчики вошли в прокуренное, пахнувшее пивом и табачным дымом подвальное помещение. Три человека сидели за столиком и приставали к прислуживающему мальчишке: «Ай да Тоник! Каждый месяц кладет на книжку четыре сотни». Тоник стоял в неопределенной позе всех кельнеров, у которых ноют ноги, смотрел на облепленную мухами полоску бумаги, свисавшую с лампы, и не отзывался. Станиславу, все еще подавленному ночной ссорой родителей, сырой, освещенный сверху подвал казался призрачным.

— Тонику едва стукнуло шестнадцать,— не унимались пьяные завсегдатаи,— а он уже завел себе постель, честь честью! Если придет гостья, есть куда положить... Тоник, подай кружку лимонаду! (Так в шутку называли пиво.) Не видишь разве, что у нас дырявые кружки и все уже вытекло?

Обрюзгший хозяин с мешками под глазами наливал Ондржею пиво, когда вошла странная женщина. На ней была шляпка с кружевами, из которых торчал проволочный каркас. Шляпка сидела на лимонно-желтых волосах, под наведенными бровями виднелись острые глаза. Старое лицо было покрыто белилами и румянами. Эта накрашенная увядшая старуха в коротеньком пальто улыбнулась безобразной заискивающей улыбкой и предложила сидящим за столом кокосовое печенье. Мужчины не купили печенья, один отхлебнул из кружки, другой зажег папиросу. Со сдержанной улыбкой, которая морщинками растеклась по ее набеленному лицу, старуха вышла из пивной. Казалось, она не умеет говорить, а может только двигаться, улыбаться и протягивать свой товар. Дверь за ней захлопнулась, и в пивной настала тишина.

— Страшилище! — сказал один из мужчин.

— Как из гроба встала,— отозвался другой.

После паузы трактирщик заметил:

— Хотите верьте, хотите нет, но это была первая красавица Праги, сам Виндишгрец принимал ее в своем дворце.

— Прах еси и в прах обратишься,— сказал один из сидящих за столом.

— Все там будем,— проронил другой.— Тоник, еще одну кружку!

Мальчики вышли из пивной, не глядя друг на друга. Станислав светил фонариком. Ондржей остановился на лестнице и предложил:

— Давай поменяемся: ты мне фонарик, а я тебе ножик — на время.

Но Станислав буркнул, что ему надо домой, и помчался вверх по ступенькам. Его вдруг охватил страх. А что, если дома случилась беда? Вдруг он прозевал, вдруг без него случилось такое, что он мог бы предотвратить?!

Мать встретила его словами:

— Ты где пропадаешь? *Мы с отцом* ищем тебя по всему дому.

Станислав заметил в передней шляпу отца и с облегчением вздохнул.

И снова все сидели за семейным столом, где бывает так скучно. Отец и Елена играли в шахматы, мать ела виноград на свой особый манер: сперва выплевывала кожицу и зернышки в руку, потом клала их на тарелку. В открытое окно проникал шум города и уныние начинающегося учебного года.

Отец и мать! Каждый чужой мальчик интереснее, чем они. Дотошные существа, которые вечно чего-то от тебя хотят: то чтобы ты сходил постричься, то чтобы не хлебал суп, а ел как

следует, то чтобы не стрелял в стену, чтобы сделал урок по арифметике. С ними скучно, и они такие обычные, что их и не замечаешь. Но если бы они расстались, мир обрушился бы на Станислава. Он ходил бы тогда среди людей под бременем не своей вины и для всех был бы уязвим. Каждый мальчик мог бы дать ему подножку. Правда, вот Войтеховский живет только с мамой, а его отец женат на другой, и все-таки Войтеховский отличный хоккеист; а какую коллекцию марок собрал! Но то у других, а у нас — *это у нас*. С незапамятных времен существует знакомая домашняя обстановка: отец, заложив руки за спину, быстро ходит по комнате и диктует своим густым басом, чуть картавя, а мать стучит на ундервуде, машинка стрекочет, мать, не отрывая от работы ни взгляда, ни рук, бросает сыну: «Подожди, сейчас».

Родители закурили сигареты. Сигареты мира. Радость охватила Станислава, вдохновляя его на новые добрые дела. Люди, избежавшие опасности, щедры.

— Куда ты опять помчался? — закричали в один голос родители.— Завтра в школу, спать пора.

— Я... я только на минутку. На минутку во двор, Нелла.

Мальчик бегом вернулся, быстро поцеловал мать в шею, прижался лицом к пиджаку отца и выскочил на лестницу.

За дверью с окошечком дремал в кресле старый привратник, перед ним на столе лежали спички и ключ. Станислав громко постучал.

— Пан Фиркушный, не сердитесь. Урбан еще не спит? Он мне очень нужен.

Ондржей вышел в подтяжках, хмурясь.

— Ондржей! — прошептал быстро Станя.— Вот он,— и сунул ему фонарик «Эвер-реди».

Ондржей тотчас зажег его. Мальчики зашептались под окном.

— На ночь даешь?

— Вообще.

— Насовсем?

— Он теперь твой. Серьезно.

Ондржей подумал.

— А дома тебе не влетит?

Но Станислав уже мчался вверх по лестнице.

ГАМЗЫ

Нелла продолжала секретарствовать у мужа. Он диктовал, она писала. Гамза разрабатывал коллективные договоры для левых профсоюзов, представлял интересы рабочих в исках по поводу не-

счастных случаев на производстве и в разрешении тарифных конфликтов. Он боролся против предпринимателей, пытавшихся путем скрытых сверхурочных работ выжать дополнительную прибыль из своих рабочих или с помощью умышленных неясностей в условиях оплаты обмануть рабочего при расчете. Так было, например, во время большой забастовки, когда углубляли реку Скоржепу: рабочим там пообещали платить сдельно, и они долбили камень, копали и отвозили землю в уверенности, что им заплатят сдельно, с воза. Можете представить себе, как они старались! А в субботу, получив расчет по скудной почасовой оплате, рабочие поняли, что их провели.

Эта несправедливость так возмутила рабочего Гайдоша, что он, схватив кирку, во главе других возчиков и землекопов побежал по территории земляных работ, призывая к стачке и на участках, не пострадавших от обмана. Когда мастер Гатера сдуру попытался образумить Гайдоша, тот стукнул его киркой по голове. Через сутки Гатера умер в больнице от потери крови. Обычная история: простой человек расправился с другим простым человеком, который получил небольшое повышение по работе и оторвался от товарищей. А крупные предприниматели, подлинные виновники несчастья, остаются недосягаемы, они подобно духу витают над предприятием.

Пишущая машинка Неллы трещала, она рассказывала о приводных ремнях, которые, захватив куртку рабочего, оторвали ему руку. И как назло — это работник временный, незастрахованный. Предприниматель и страховая касса начинают спихивать пострадавшего друг другу. И если даже в конечном счете Гамза выиграет это дело, еще неизвестно, не помрет ли тем временем пострадавший с голоду.

Пишущая машинка рассказывала множество таких историй. Гамза составлял апелляции, кассации, протесты против определений суда, ходатайства о пересмотре дел. Коммунист-рабочий Горейц был осужден за поджог и уже второй год сидел в тюрьме. Гамза как юрист голову готов был дать на отсечение, что Горейц осужден невинно. Приговор вынесли на основании весьма сомнительных, по мнению Гамзы, свидетельских показаний. Все свидетели были членами правого профсоюза, из которого обвиняемый вышел за месяц до события. Было также известно, что плохонькая фабрика солидно застрахована от огня. У Горейца туберкулез, он не выживет в тюрьме! Может быть, просить о помиловании, сказала Нелла, ведь это будет скорее? Нет, пусть даже так, Гамза и слушать не хотел о помиловании. Надо добиться пересмотра, реабилитировать человека или, в худшем случае, показать общественности, что у правосудия две меры — одна для правых, другая для

левых. Дело не только в человеке, дело в принципе, неужели Нелла этого не понимает?

Нелла знала мужа. Гамза бывал доволен, когда конкретные дела живых людей принимали принципиальный характер, подтверждали общие принципы, в которые он верил. Гамза был упорен. Еще до войны, начиная свою адвокатскую практику, он дал себе зарок вести только такие дела, в правоте которых был целиком уверен. И он не отступал от своего правила. Нелла восхищалась этим и поддерживала мужа. Среди адвокатов Гамза был белой вороной или, если хотите, паршивой овцой. Он настроил против себя всех родственников, отказавшись вести иск о наследстве своей кузины, вдовы врача, который завещал все состояние на научные цели. Эта кузина хотела поручить дело молодому, только что начавшему практику адвокату, чтобы помочь ему стать на ноги, и была очень обижена отказом. Другой адвокат, взявшийся за дело, сумел добыть доказательства невменяемости покойного и выиграл иск, получив громадный гонорар. Старшие братья Гамзы, торговец и банковский служащий, не без удовольствия обнаруживали, что Петр, когда-то баловень семьи и первый ученик, кое в чем сильно отстает от них: он хоть и поумней, а умения стяжать ему явно не хватало. Старуха Витова, мать Неллы, часто говаривала с опасением и нежностью: «Эти двое долго искали друг друга, пока не нашли. Сумасброды — один хуже другого».

Сказать по правде, Нелла отставала от мужа, ее мировоззрение было, как он говорил, не красным, а «розовым». Она боялась его веры в силу ненависти. Ей было не по себе в мире, где сострадание считают слабостью и скрывают его. А синеглазая молодость Гамзы закалилась в суровом пламени войны, сердце его ожесточилось: он три года провел на фронте. В послевоенные годы, когда люди определялись политически, Гамза после раскола рабочей партии пошел с коммунистами; для него мир был резко разделен на два лагеря — левых праведников и правых злодеев. Всякая буржуазная филантропия ему претила. Вычерпывать наперстком море крови, пота и слез он считал нелепым занятием, но в конечном счете именно это и делал своей адвокатской практикой. И когда ему удавалось выиграть иск бедняка, Гамза с горечью говорил, что все это чепуха и крохоборство. Чего стоит помощь отдельным людям, если дух закона неизменен! Наши суды приговаривают к смерти убийц, которые четыре года пробыли в высшей школе убийства — на войне. Мы караем матерей, которым подпольная акушерка вытравила плод, а не можем сделать так, чтобы не умирали живые дети; бережем неродившихся и не кормим живых. Пусть будут непосильным бременем для матерей! Как это выразилась та бабка-поденщица, что ездила в Австрию копать свеклу?.. К адво-

кату она пришла с детьми, потому что их не на кого было оставить. И говорила прямо при ребятишках: «Не везет нам: всюду дети мрут от испанки, родители убиваются. А у меня все живы, столько их, что на пальцах не перечесть, и ни одного господь бог не прибрал». Детишки с серьезными лицами слушали мать. А она рассуждала деловым тоном бедняка.

Жить в теплой квартире, иметь двух детей, воспитывать в них тонкие чувства — это нетрудно. Любовь к детям в уюте буржуазной квартиры и нелюбовь к ним батрачки со свекловичных полей коренятся, по мнению Гамзы, в одном: в желудке. Он прав, потому что он мужчина, потому что он побывал на войне, да и вообще мужской глаз лучше схватывает общую картину; а особенно он прав потому, что Нелла его крепко любит. Ее воображение не простиралось далеко, ведь она была женщина. Ей казалось, что лучше накормить одного голодного хлебом, чем всех надеждой. Адвокатская практика мужа была в ее глазах множеством отдельных случаев, подчас трогательных. Ей было жалко людей и хотелось помочь им. Она сама видела, что это все равно что бросать монеты в колодец,— занятие, пригодное только для того, чтобы измерить черную глубину.

Нелла видела, как водка губит семьи, подобно смертоносной болезни, видела, как чистые господа, коллеги ее мужа, с легким сердцем скупают продаваемое с молотка, пропитое имущество бедняков — жалкие лачуги и клочки земли — и не без выгоды перепродают его. Нелла узнала, как землевладельцы умеют, воспользовавшись невежеством людей или корявой подписью соседа, оттягать участок земли у простого человека. Такой документ, правда, не имел силы, когда дело касалось собственности государства или императора, но он исправно действовал против малограмотного бедняка. Запродал ты тело и душу дьяволу, значит, пиши пропало! Жизнь изобретательнее любой литературы, и в книгах не было ни таких злодеев, ни даже благородных хрестоматийных героев, которых не превзошли бы живые люди. Но Нелла видела не только неумолимую нужду; видела она и то, с какой хмурой решимостью помогают друг другу бедные люди. Жена Калала — рабочего шоколадной фабрики — родила четверых детей, а кормили они пятерых: как-то незнакомая женщина попросилась к ним переночевать; утром, оставив младенца, она пошла искать работу и не вернулась. Жена Калала покормила малыша с ложечки. Потом Калал сказал: «Варишь на четверых, сыт будет и пятый!» Так и оставили ребенка у себя.

Через несколько лет мать, которая тем временем вышла замуж, потребовала ребенка. Девочка не хотела к ней идти, да и жене Калала жалко было ее отдавать. И начались осложнения с

властями, потому что Калал хотя и воспитал девочку и считал своей, но не удочерил ее официально.

Подчас через Неллину машинку проходит необычный психологический материал. Гамза должен придать ему юридическую форму. Нелла замечала, как некоторые пришибленные жизнью люди стараются компенсировать себя выигрышем дел в судах. Она обратила внимание на то, как мало людей умеют рассказать правдиво и просто о событии, не поддаваясь трафаретным газетным формулировкам. Никто не говорит так искусственно, как рядовой горожанин. Нелла слышала широковещательные лозунги, наблюдала ограниченность партийных и профсоюзных чиновников, интриги лидеров. Но она узнала также о героизме стачек и веры, свойственной не верующим в бога единомышленникам. Она не осмелилась бы вслух говорить об этом, это обидело бы людей. Они не искали славы.

Сама Нелла была ни с кем. Нигде она не чувствовала себя так неопределенно и шатко, как на митингах. Масса увлекала и захватывала ее. Но все это были только эмоции, влияние обстановки. Нелла любила рабочих и стыдилась перед ними того, что ей легко живется. Она терпеть не могла профессиональных ораторов, ей становилось стыдно за них. Слушая, как они мечут громы и молнии из своих тренированных глоток, она отводила глаза в сторону и нервно ломала пальцы. (Гамза — другое дело: он горел подлинным огнем; эх, если бы вы когда-нибудь слышали!) В такие моменты она вспоминала о дурных священнослужителях и настоящем боге и добрых верующих. Вспоминались примеры церкви, которой она больше не принадлежала, и религии, которой у нее не было.

Стоит когда-нибудь описать неустойчивую психику людей, которые не настолько закоренели, чтобы идти с буржуазией (из ее рядов они вышли), но и не так ясны духом, чтобы взяться за революционный букварь. Это-то и есть «розовые». Их удел вымирать, как вымерли доисторические ящеры. Их не жалко, и они сами знают об этом. Они все о себе знают. Эти отщепенцы с того берега уже не сопротивляются, они сами кидаются в пучину. У них ослаблено чувство самосохранения, их грызет что-то вроде нечистой классовой совести.

Нелла Гамзова наклеивала гербовые марки, отправляла заявления и документы и, когда было нужно, ходила в учреждения по делам мужа. Старые юристы, там, где они еще сохранились, узнавали дочь бывшего коллеги, надворного советника Вита, и принимали ее с любезностью времен монархии — легкие улыбки и беглые комплименты. Правые социалисты захлопывали дверь перед женой Гамзы. Незнакомые чиновники обращались с ней игриво,

как с безыменной секретаршей. Общество как бы поворачивалось к ней разными сторонами.

Я бы сфальшивила, если бы стремилась представить дело так, что под впечатлением чужих бед Нелла забывала о страданиях собственного сердца. (Сердце? Скажи лучше, уязвленное тщеславие плоти!) После ночного появления Станислава, о котором Нелла не могла вспомнить без содрогания, она затихла и ушла в себя. Потрясение. Предостережение. Сигнал. О боже, какие убийственные слова! Держи язык за зубами, а себя — в руках. Зачем огорчать детей? На что бы она обрекла их? И все из-за анонимной писульки, шальной девчонки и уязвленного тщеславия. Какие еще были мотивы?

Однажды Нелла возвращалась из суда домой и, так как торопиться было некуда, пошла окольным путем, честно говоря — потому, что в тот день уже не хотелось больше работать до обеда. Случайно, через какие-то боковые ворота, она вошла в Ботанический сад, где еще никогда не бывала, считая, что туда не пускают посторонних. Калитка захлопнулась, и Нелла словно очутилась в каком-то волшебном саду. Пасмурного пражского неба как не бывало! Здесь среди виноградников светило солнце. Оно с неописуемой, несколько болезненной негой озаряло кроны благородных деревьев, уже тронутых красками осени. Сюда не доносились стук, звуки клаксонов и звонков шумной торговой Праги, тщетно догоняющей еще более шумные современные города. Здесь стояла чуткая тишина. Нелла вдыхала запахи орешника, вишни, целебных трав, сухой листвы. Она медленно шла по дорожкам (здесь все замедлялось), даже не глядя на увядающие редкие растения и не вспоминая о деловых бумагах в своем портфеле. Как здесь тихо,— наверное, слышно даже движение часовой стрелки.

Надвигаются новые, еще неведомые времена. Почва ускользает из-под ног семьи Гамзы, как из-под ног тысяч других семей. Кругом неистовствует «любовь одной ночи», беспокойное послевоенное поколение упивается восторгами мимолетных чувств, все так переменчиво, жизнь подобна резким контрастам света и мрака в луче вращающегося прожектора. Нелле кажется, что под самые ее окна взметаются радужные гребни ядовитых волн. Семья — очень чувствительный организм. Коготок увяз — всей птичке пропасть. О, тише, тише! Будь осторожен со светочем правды. С детьми надо быть бережным. Ты не хирург, ты нянька: качай колыбельку и пой. Не поддавайся власти бензинового века. В век авиации детям все равно нужна твердая почва под ногами. Они, как и дети минувших веков, впервые видят мир.

Вина? Чья вина? Разве Гамза виноват в том, что остался для нее желанным дольше, чем она для него? Разве она лучше оттого,

что ее кровь бледнее? Как судить, если не знаешь закона? А Нелла действительно не знала его. Не было бога, перед которым они давали бы обет. В глубине души Нелла не верила ни во что: ни в национальную идею, ни в добродетели капитала, ни в революцию, которая разделит между людьми все, что не купишь ни за какие деньги. Она верила только в самых близких, посланных ей судьбой существ, выделявшихся для нее из путаницы окружающего мира: Петр, Станислав, Елена. Обняться бы с ними на дрейфующем острове, держать их, чтобы не упали, и держаться за них — такова единственная мудрость всех Нелл.

Деревья с листвой медового и лунного цвета источали накопленный солнечный свет. Подчас с дерева слетал лист и легко, без шелеста, падал на землю. Стояла такая тишина, что, казалось, слышно было, как под стеклом движется пузырек ватерпаса.

Нелла осторожно прикрыла за собой калитку и вышла из сказочного сада, покинув призрачный век оранжерей и кабриолетов. Она отдохнула там душой. Немножко счастья, и она была очень довольна. «Кто из нас,— думала она, улыбаясь,— кто из нас не чувствует иной раз потребности удрать с урока в школе?»

Осень в этот год стояла чудесная, и Нелла несколько раз выезжала с детьми за город, захватив также и Ондржея, с которым Станислав сдружился крепче, чем с кем-либо из одноклассников. Елена разгоняла скуку этих поездок, бегая наперегонки с мальчиками и затевая потасовки с братом. Боролась она хорошо, иногда одолевала и Ондржея. Осторожность матери, которая пропускала вперед другие автомашины, ее тихая, чуть сентиментальная веселость и особенно свойственное нынешним родителям заблуждение, что они могут быть товарищами собственным детям,— все это порой смешило и раздражало полувзрослую Елену. Но эти чувства не прорывались в обидах и ссорах, какие бывают между матерью и подростком-дочерью. Елена относилась к матери чуть насмешливо. «Мама, не умиляйся природой, иначе мы въедем в канаву»,— говорила она, когда мать, правившая фордиком, поднимала руку от руля, чтобы указать на дерево или на закат. В тот год Нелла особенно, всем сердцем, тянулась к детям. Дети, правда, большое утешение, но ведь человек ищет утешения, когда он в горе.

Елена любила с иронией подмечать слабые стороны людей. Старая пани Витова говорила дочери, что та слабохарактерна с детьми (хотя сама баловала их), и упрекала Елену за недостаточную чуткость к матери, «которая только о вас и думает, на вас не надышится» и т. д. В общем, эти слова были так же приятны, как скрежет ножа о тарелку или звук рвущейся материи.

— Неправда, что она жертвует собой ради нас,— возражала

бабушке Елена.— Ей это нравится больше, чем нам. Я тоже хочу, чтобы у меня когда-нибудь были дети.

— Смотря какие удадутся,— отрезала бабушка, которая за словом в карман не лезла, и сказала внучке напрямик, что опасается, как бы Елена не выросла бессердечной девчонкой.

— Да нет, сердце у меня есть, послушай, как хорошо бьется,— не осталась в долгу Елена.

Она терпеть не могла сентиментальных, склонных к приукрашиванию людей, не смотревших в корень дела. Зачем воображать, что у меня тяжело на душе, если все дело в том, что я сегодня объелась за обедом? Зачем говорить, что у меня нефотогеничное лицо, когда надо просто прощупать свой уважаемый нос и убедиться, что он похож на грушу? К чему твердить о невезении или сваливать вину за единицу на учителя, если я сама перепутала уравнение? Впрочем, Елене легко было говорить так, математик в ней души не чаял: у нее было ясное мышление, порядок в голове и умение четко излагать мысли. Наружность Еленки отвечала ее натуре: в переходном возрасте, когда девочки душевно и физически формируются, когда они бывают длиннорукими и долговязыми, Еленка оставалась девочкой среднего роста, пропорциональной, без яркого румянца, с плавными движениями. Она была неторопliва, отличалась спокойствием морально здоровых, прямых людей и сохраняла присутствие духа, что часто не удавалось матери.

Сколько было Еленке лет, когда они с матерью заблудились на лыжной прогулке? Едва ли двенадцать. Дело было так. У Неллы ослабло крепление как раз перед спуском с холма. Еленка вернулась к ней, стала на колено, сняла варежку и подтянула крепление. Все остальные уже съехали. Гамза, Станислав и еще несколько лыжников быстро пронеслись вниз. Еленка еще не поднялась с колен, а Нелла стояла, наклонившись к своей лыже, как вдруг налетевшая метель едва не свалила ее с ног. От ветра, ворвавшегося в уши, у нее даже закружилась голова. Прижавшись к откосу, они переждали первый порыв, потом, среди вихря и метелицы спустившись вниз, начали аукать, приложив руки ко рту. Но никто не отзывался. Да разве услышишь при таком-то ветре! Немного погодя ветер утих и повалил густой снег, в двух шагах ничего не было видно. Нелла уже не могла определить, в какой стороне находится Гавелская сторожка, куда они должны были приехать. Они блуждали, споря о направлении, как это обычно бывает с заблудившимися путниками. Неллу охватили нетерпение и усталость. «Почему же они нас не подождали!» — ворчала она. На лыжи налипало все больше снега. «Как это только мы заблудились!»

«Не все ли равно как,— думала Еленка,— главное — выбраться отсюда». Она была уверена, что они идут не в ту сторону, но с матерью трудно спорить. Снег валил с унылым однообразием, небо и земля, казалось, сомкнулись. Быстро смеркалось.

Елена не была певуньей, но теперь она начала петь, сперва тихо и неуверенно (с непривычки, а не от страха), делая над собой усилие, потому что это было нелегко в голубовато-снежном безмолвии леса. Потом она осмелела, голос у нее выровнялся, они шли навстречу снегу и ветру, а она уже пела в такт своим движениям.

— Перестань, застудишь легкие,— твердила мать.

У близорукой Неллы в полумраке начала кружиться голова, перед ней неслись белые хлопья, она уже не чувствовала под собой ног, голова была легкой и чужой. Во всем теле словно развязался узел, который сдерживал его, и оно было готово рассыпаться среди этой белой пустоты.

— Я только минуточку отдохну,— попросила она робко.— Посижу пять минут вот так, обопрусь о дерево, а потом мы опять пойдем.

Как нарочно, у них не оказалось ни кусочка шоколада, ни спичек. Елена вспомнила рассказы о людях, которые, присев отдохнуть, замерзали. Она стояла над матерью, держа ее за локоть, как бы подчеркивая этим краткость привала. Даже лыжные палки она не выпустила из рук.

— Вставай, мамочка, мы все равно не дождемся здесь сенбернара с термосом и булками. Вот бы мы накинулись, а? Я голодна как волк.

Нелла слабо улыбнулась, ей очень не хотелось подниматься на ноги, и, встав, слегка пошатнулась. Елена видела, как изнурена и беспомощна мать. Что ж, значит, должна руководить она, Елена. Эта мысль ее сильно подбодрила.

— Не беспокойся ни о чем и положись на меня,— сказала она не по-детски серьезно.— Если ты сейчас встанешь и мы пойдем хорошим ходом, то через час-полтора уже будем в сторожке. А в крайнем случае переночуем в лесу. Найдем подходящее местечко, а я буду сторожить.

Она уговаривала мать таким же тоном, какой в детстве слышала от нее. Но теперь дочь была старшей, и это было замечательно. Они действительно вышли к сторожке, хотя и не через час, а к девяти часам вечера. Оттуда уже отправились на поиски пропавших. Нелла ожидала, что дочка победоносно войдет в сторожку с возгласом: «Я нашла дорогу! Я вывела маму к сторожке!» Но Еленка не проронила ни слова. С совершенно недетской деликатностью она и на следующий день молчала обо всем, а когда

мать всем рассказывала о ее присутствии духа и отец поддакивал, Еленка хмурилась, переполненная скрытой радостью, и говорила: «Ну, подумаешь, что тут особенного!»

«Слава богу, она не в меня»,— не раз думала Нелла. Сын был ей ближе, дочерью она гордилась.

Фордик семейства Гамзы привлекал Ондржея больше, чем кто-либо из членов семьи. Отец Ондржея еще мальчишкой любил торчать с приятелями около деревенского кузнеца, с интересом наблюдая, как тот кует лошадей. Мальчику хотелось поддерживать лошади ногу или хотя бы подавать кузнецу гвозди. Он путался под ногами у соседа, когда тот приводил в порядок сбрую и запрягал лошадь. Сколько было радости, когда во время езды по равнине дядя передавал ему вожжи и маленький Вацлав сам управлял лошадьми. А сейчас его сыну, Ондржею, не дает покоя автомобиль во дворе жижковского дома, и так как Ондржея не пускают к машине, он, прильнув к замочной скважине гаража, с наслаждением вдыхает запах бензина и резины. Все просторы мира, все приключения заключены для Ондржея в автомобильном моторе, где спал дух состязания и мужества. Ондржей осматривал и обнюхивал фордик со всех сторон. Это была потрепанная, но еще исправная машина. Когда Гамза купил ее, она уже наездила тридцать тысяч километров. Дети ухаживали за ней: Ондржей поливал из шланга, Станислав мыл громадной губкой, Елена протирала кожей. И машина держалась, машина не сдавала. Как она скрасила первые дни жизни Ондржея в Праге! Пани Гамзова позволяла ему за городом переключать скорости и тормозить ручным тормозом. Когда в машину наливали бензин, Ондржей стоял с серьезным видом, как страж, и придерживал бензиновый шланг. Он старался почаще прикасаться к машине и ко всем ее замечательным приспособлениям. Цветной столбик жидкости в насосе опадал, на циферблате в машине клонилась стрелка, в утробе форда что-то булькало, запах бензина был восхитителен, машина богатырски пила. Хватит, напоили лошадку, немало она набегалась! Если никто не смотрел, Ондржей украдкой гладил машину по крылу. Однажды из машины стало капать масло. Пани Гамзова уже хотела ехать в мастерскую. *Они* (Нелла и Станислав) всегда спешат, не хватает терпения — не могут хорошенько осмотреть машину. А всего-то пустяки: ослаб болт. Ондржей подтянул его — и все в порядке.

После случая с болтом Ондржей постепенно начал более благожелательно относиться к Нелле; он даже простил ей курение и то, что она похожа на подружку своих детей и так отличается от его матери. Вы помните, Ондржей всегда держал сторону отца, иногда сердился на мать, и они не раз ссорились. Но в оценке вне-

шнего мира мерилом для него была мать, и он не дал бы ее в обиду. Никто не обижал Анну Урбанову, но сын все же был начеку.

Семья Гамзы, мать и дети, относились к нему так хорошо, что он даже удивлялся: они ведь были людьми другого лагеря, это факт. Они были «дачники», и он не доверял им.

Мать Ондржея говорила о Нелле таинственными намеками.

— Каждый знает свою беду, у всякого свой крест,— изрекала она многозначительно и угрюмо и делала паузу.— Вот и у нее...

Анна глубоко вздыхала от жалости и превосходства. Несмотря на шумное сочувствие, причина которого была неизвестна Ондржею, он ясно понимал, что мать не любит Неллу Гамзову, и это было ему неприятно. В то время как мальчик постепенно забывал об отце, Анна все больше предавалась грусти. В погожие воскресные дни она ходила на Ольшанское кладбище, хотя ее муж лежал на Маречковом в Льготке, и часто бывала на чужих похоронах, плача навзрыд. На вопрос знакомых хозяев о том, как ей живется, она обычно отвечала: «Да что там говорить, какая у вдовы жизнь».— «А как старик?» — «Известное дело, у старого человека свои причуды».— «А детишки?» — «Ах, сами знаете: никогда от них нет покоя». Потом Анне вдруг пришло в голову, что сестра с мужем выжили ее из дома, и при мысли об этом ее охватывала злость: вот она, обиженная, живет здесь и, согнувшись на каменном полу, скребет грязь, принесенную клиентами Гамзы! Больше всего ее раздражала разносчица газеты «Красное пламя»; Анна чувствовала отвращение к таким людям: еще занесут сюда бог весть что. Анна недосыпала, у нее болели глаза, ей приходилось, накинув старую шинель покойного мужа, до полуночи ходить отпирать жильцам, все тело ломило, каждый сустав болел от вечной возни с мытьем полов или со стиркой. Нет, не могла она любить Неллу, перед которой на лестнице отодвигала ведро, на которую стирала.

— С жиру бесится! — говорила иногда Анна о Нелле и, понизив голос, перечисляла все долги Гамзы соседним лавочникам.

Залы, где выступал Гамза, переполняли рабочие и студенты, но здесь, на своей улице, адвокат не считался пророком.

— Чего хотела, то и получила,— выразительно добавила мать Ондржея, говоря о жене Гамзы. Ондржей поднял глаза от брошюры по электротехнике и снова опустил их. «Бабы! — подумал он сердито.— Бабы!»

В швейцарской время от времени вспоминали о первом муже Неллы — архитекторе Адаме, который как будто был *миллионером.* Это слово произносилось с благоговением и так, словно речь шла о чем-то легендарном. Когда скажут «капиталист», сразу ясно, что это нехороший человек. А при слове «миллионер» возникает образ

сказочного принца, который просится в фильм для взрослых детей. (В швейцарской читали не «Красное пламя», а газету «Народный страж».) Всякий уход жены от мужа сам по себе дело нешуточное, если учесть, что на свете столько вдов. А жена, ушедшая от мужа-*миллионера,* заслуживает всяческого осуждения. Первый муж Неллы был *добряк,* жена получала от него все, что только душе угодно, он готов был достать ей луну с неба. Что она нашла в этом Гамзе? Ни гроша за душой, худющий, бабник, мутит шахтеров в Кладно, и бабушка у него еврейка. В швейцарской Неллу считали поделом наказанной грешницей.

Боюсь, что именно эти толки о грехах Неллы сделали ее привлекательной для Ружены Урбановой. Ружена была ужасная сумасбродка. В Прагу она приехала с намерением влюбиться в какого-нибудь хорошего парня. Первое влияние на нее оказала пани Гамзова. Ах, какие манеры были у пани Гамзовой! Ружена не сводила с нее глаз, подражала ей в походке, в манере говорить; она так же, как Нелла, повязывала платочек на шею,— обезьянничала во всем. Люди, склонные к статистике, могли бы подсчитать, насколько быстрее осваивается в городе девушка, чем парень: Ондржей и на пятый год жизни в Праге не принимал городского уклада жизни, оставаясь в душе медлительным деревенским парнем. Ему не нравились перемены, он не доверял людям, особенно бойким и шумным, которых считал фальшивыми. Он был сдержан, боялся попасть впросак, спотыкался на ровном месте. А девушка, попавшая в город! Она ничего не упустит. Девичьи глаза, очарованные девичьи глаза, на что только они не насмотрятся за день! И все для того, чтобы суметь нарядиться не хуже других. Девушка в городе всеми фибрами своего существа стремится к городскому лоску. И все, что останавливает ее внимание, она утрирует: увидела на ком-то один бантик — нацепит себе три, услышала запах духов — надушится до одурения. Ружена идеализировала Неллу. Она любила ее и поэтому хотела быть такой, как Нелла.

Ружена поступила ученицей в дамскую парикмахерскую на Жижкове. Там у хозяина был патефон и пластинки с сентиментальными песенками. Мальчишка-кельнер из распивочной «На небе» ухаживал за юной парикмахершей. Она не отвергала его, хотя он был лопоухий; ведь девушке, которой идет пятнадцатый год, нельзя без поклонника. Но когда пел голос в патефоне, она вспоминала не Тоника, чей образ был затянут табачным дымом распивочной. В такие минуты Ружена грезила о Нелле, представляя ее в анфиладе неведомых, сияющих зал. Образ человека, каким он представляется со стороны другим людям, особенно неискушенным, всегда имеет некую инерцию прошлого: так и Нелла, которая уже начинала быть необщительной домоседкой, казалась

юной ученице образцом изящества и светскости. Но пройдет немного времени, и Ружена узнает от мужчин столицы, что есть более комфортабельные машины, чем старенький фордик семьи Гамзы, и начнет воротить нос, взглянув на юбку от «Яфеты», которую носит Нелла. Пока же Ружена горячо завидовала брату: он ездит в машине с Неллой, а она, Ружена, должна в это время, в ожидании клиенток, расчесывать старые парики в задней каморке парикмахерской. Кончив работу, Ружена, под предлогом разных мелких услуг, забегала в квартиру Неллы. Она охотно выполняла всякие поручения, бегала за сигаретами и с письмом на почту, делала все, о чем позабывала Барборка. И думала: только бы не повстречать самого Гамзу. Адвокат не сказал девушке ни одного плохого слова, но когда он сторонился на лестнице, давая ей пройти, и молча мерил ее проницательным взглядом широко расставленных глаз, Ружене казалось, что он уличает ее, и она тщетно старалась вспомнить, в чем она виновата. Кто бы подумал, что он заступник угнетенных, как о нем говорят?

Гамзе Ружена очень не нравилась. Этакая назойливая девчонка! В ее симпатиях к Нелле он видел истерическую восторженность. Его неприязнь к Ружене была как-то неуловимо связана с тем, что Гамза все еще не простил Нелле ночной сцены, хотя они с тех пор не вспоминали об этом.

Ружена была воплощением цветущей юности, ее ровные зубы сверкали в улыбке, глаза блестели, наверно, даже в темноте, волосы были жесткие и густые, их даже ветер не развевал, когда она, увидев во дворе Неллу, тотчас бежала к ней. Елену она терпеть не могла, ревнуя Неллу к этой похожей на мальчика надутой девчонке, которую пани Гамзова любит лишь потому, что надутая девчонка случайно приходится ей дочерью.

ГОСТЬ

Что нашел Станислав в этом самолюбивом, неповоротливом Ондржее, который до сих пор не отделался от деревенской привычки отмалчиваться, который самолюбив и вечно настороже — не собирается ли кто-нибудь оскорбить его? И как это случилось, что упрямый Ондржей так подружился с непоседой Станей? Вечно они вместе. Учатся в разных школах, но это не разлучает их. Вот, например, Станислав, опершись на локти, валяется на ковре и читает сногсшибательный детективный роман. Вдруг им овладевает какое-то беспокойство. Он вскакивает и бежит к Урбанам. Надо упросить мать Ондржея, чтобы она отпустила сына. Но Анна как раз задала сыну работу, иногда нужную, а иногда просто так, чтобы

закрепить свою власть. Анна Урбанова была щепетильна: никто не посмеет сказать, что ее дети навязываются к адвокатам. Наконец Станислав приводит приятеля наверх, снова ложится на ковер и читает роман с того места, где остановился. Ондржей сидит и молчит, мастерит что-нибудь, возится с болтами, проволочками, гайками, которыми у него всегда полны карманы. И им хорошо вместе. Боже упаси, чтобы они откровенничали,— что они, девчонки, что ли? Мальчики никогда не говорили о том, в какой трудный день для них обоих они познакомились — Ондржея томила тоска, а Станислав был огорчен из-за родителей — и как они молча утешали друг друга. Их дружба пережила каникулы и длится уже второй год.

Станислав охотно бывал у Урбанов. Ему нравилось сидеть в маленькой кухоньке возле плиты, куда Анна Урбанова подбрасывает лопаткой уголь: она всячески бережет тепло. В школе у Станислава занятия были до часу, а у Ондржея до двенадцати, поэтому, возвращаясь из школы, Станислав всегда заходил к Урбанам. Анне это льстило. «Бедный ребенок»,— говорила она вполголоса, намекая на родителей Стани. Станислав был так привязан к Ондржею, что уважал и его неразговорчивого, непроницаемого деда, привратника Фиркушного. Иногда он играл с Фиркушным в волки и овцы на доске, которую старый швейцар сам вырезал из картона и разграфил. На стене висели часы с кукушкой. А рядом, в проходной комнате, на полочке клеенчатого дивана стояли интереснейшие вещи: стеклянный шар с засушенным жуком внутри — его не вынешь, и как он туда попал? — оббитая корзиночка с цветами из Карловых Вар, покрытыми известковым налетом, стереоскопическая трубка, в которую, если заглянешь, видна красочная китайская пагода. В эту комнату мальчиков пускали только в чистых ботинках, и поэтому визит туда казался еще желаннее.

— Станя, иди скорей! — крикнула необычно оживленная Еленка, приоткрыв дверь швейцарской.— К нам пришла на обед негритянка.

Ружена вскочила и произнесла имя известной чернокожей танцовщицы из варьете. У них в парикмахерской знали обо всех сенсациях.

— Нет, совсем не такая веселая гостья,— холодно ответила Елена, не входя в швейцарскую: мол, поторапливайся, Станислав!

Да, да, Анна Урбанова тоже видела сегодня негритянку, когда та шла наверх с двумя мужчинами. Негритянка была в дорожном костюме и «до чего страшна лицом! Один господин был пожилой, а другой этакий щеголь. Верно, барышня?»

— Пойдем с нами,— предложил Станислав Ондржею.

— Лучше ему сегодня не ходить,— ответила Еленка,— еще подумают, что вы пришли поглазеть на нее.

— Ну так и я не пойду,— обиделся за Ондржея Станислав. Он уселся на лавку, вытянул ноги и на уговоры Елены и Анны Урбановой отвечал:

— Очень приятно слышать, но она меня не интересует.

Анна Урбанова смеялась до слез:

— Уж и скажет этот мальчик!

Елена, в душе послав их к черту, молча побежала наверх. «А впрочем,— подумала Еленка,— почему все должно выйти из привычной колеи?» Ведь она сама еще вчера не думала ни о чем подобном. Девочку удручала мысль, что все идет обыденным порядком и даже миссис Гарвей к этому пришлось привыкнуть: негритянка совсем не в таком смятении, как четырнадцатилетняя Еленка, а ведь беда случилась с ней.

Негритянка сидела за столом между Саксом и своим американским спутником, как раз напротив Елены, и девочка, несмотря на распиравшее ее любопытство, не отваживалась в упор взглянуть на миссис Гарвей. Жалок человек: было странно, что все обедали и вместе со всеми ела мать осужденных на смерть! Как и всяким человеком, ею овладевает голод, а ночью, наверное, усталость, и она спит. Человек не может бодрствовать целый год. Возможно даже, что и осужденные юноши, которых тюремный надзиратель уже водил посмотреть на электрический стул, чтобы потешиться над ними, тоже засыпают. И какие, наверное, видят сны! А быть может, осужденные спят целыми днями, как мертвые,— так, *словно все уже произошло.*

Миссис Гарвей сидела со всеми у стола так, словно была уже давней гостьей, и руки этой судомойки поражали тонкостью и благородством формы. Она не плакала и иногда даже улыбалась, рассказывая что-то. Это нужно, чтобы ее приход не выглядел траурным визитом, надо показать, что дело еще не проиграно, ведь осужденные живы; вот только то, что они пережили, этого уже не изменишь. Негритянка была спокойна и сдержанна. Она объехала половину Европы и всюду рассказывала историю своих сыновей. «А как бы поступила наша мама,— мелькнуло у Еленки,— если бы меня и Станю невинно осудили на смерть? Разве это не возможно? Несчастье может случиться с каждым. Когда миссис Гарвей пела колыбельные песни своим малышам — я однажды слышала негритянские песни,— она тоже не думала, что с ними произойдет все это...»

Еленка была достаточно взрослой, чтобы понимать, что мать и дети — это одна плоть и кровь. Но она уделяла этому больше внимания, чем взрослые, потому что ей было четырнадцать лет.

И, глядя на негритянку, чьи два сына — Энди и Рой — были невинно осуждены на смерть, она думала: «Вот эту рослую, серьезную, приветливую женщину, которой я передаю соль и которая сейчас живет обычной, как мы все, жизнью, ее открытую темную шею, ее большой рот, ее тело и теплые тела ее детей пронзит электрический ток, ее глаза, устремленные на меня, должны в агонии вылезти из орбит... И все это почему? Потому, что у людей на экваторе более темная кожа, чтобы ее не сжигало солнце! А у нас белые лица и веснушки. Какая бессмыслица!» Еленка не ходила на закон божий и не молилась. Сейчас, сжав коленями руки под столом и стиснув зубы, она, в каком-то экстазе отчаяния, безмолвно предлагает судьбе безрассудные зароки: «Не буду есть фруктов, пока не освободят братьев Гарвей, не буду ходить в кино... До смерти не буду смеяться, *если все это произойдет...*» В эту минуту негритянка Гарвей была ей дороже, чем родители, чем учитель математики Кашпар. Но она понимала, что одними чувствами не поможешь делу, и со страстным любопытством ждала, что же предпримут собравшиеся. Это были друзья Гамзы, небольшая группа журналистов, в том числе Сакс, вновь ненадолго приехавший в Прагу. На этот раз Сакс не острил. Звали и молодого Выкоукала, но он не пришел.

Нелла прошла мимо Еленки и спросила у нее, как бы невзначай, много ли уроков задано на завтра и не хочет ли Елена сейчас пойти поиграть в теннис. «Ну конечно, мама верна себе». Девочка нетерпеливо пожала плечами:

— Подожди, не гони меня.

— Можешь остаться, Елена,— сказал отец.— Но не мешай. Миссис Гарвей спешит, ей пора в другое место.

Негритянка начала свой рассказ. Она быстро говорила по-английски, и Елена не могла ничего понять, кроме отдельных названий городов. На фоне непонятной речи эти названия мелькали, как привычные путевые знаки на незнакомом пути. Сакс переводил на немецкий.

— «Двадцать пятого марта прошлого года два моих сына, Энди и Рой Гарвей, уроженцы штата Алабама, поехали искать работу в город Мемфис — они надеялись там наняться на речной пароход. Около станции Стивенсон сыновья вскочили на ходу в последний вагон товарного поезда. Так у нас ездят те, у кого нет денег на билет. В вагоне происходила драка: там поссорились и дрались белые с какими-то неграми, которые перед следующей станцией, Пойнт-Рок, где поезд шел медленно, соскочили на ходу и скрылись, потому что для негра очень опасно подраться с белым. Когда эти негры выскочили, в вагоне стало тихо. Белые и братья Гарвей спокойно ехали дальше. Энди и Рой никуда не убегали — к чему,

ведь они ни с кем не ссорились. Но как только поезд остановился на станции Пойнт-Рок, белые побежали к начальнику станции жаловаться, что их избили негры. Пришла полиция, оцепила поезд и обыскала все вагоны. Когда находили негра, его избивали и арестовывали. Вооруженные люди связали Энди, Роя и еще семерых негров и увезли в тюрьму в Скотсборро. Там они сидят сейчас в камере смертников. А им нет и двадцати».

Сложив руки на коленях, миссис Гарвей мягким и ровным голосом рассказывала эту историю, повторяя ее уже бог весть в какой раз. Ее спутник, секретарь Межрабпома, сидел молча, нахмурившись. Слушатели переводили взгляд с негритянки на Сакса, в зависимости от того, кто из них говорил. Иногда делали заметки в блокноте.

Гамза, скрестив руки, внимательно слушал и не записывал ничего.

В вагоне среди белых были две женщины. Елена была уже не маленькая и понимала, что такое насилие над женщиной. Но она никак не могла понять, почему судья вынудил перепуганных, плачущих женщин лжесвидетельствовать, лгать, обвинять негров, которые не причинили им никакого зла. Смертный приговор был оглашен на ежегодной ярмарке в Скотсборро, где продавали лошадей и мелкий скот. Лавочники и фермеры приехали сюда с женами и детьми, продавали, покупали, веселились. Под открытым небом играла музыка, развевались флажки... «А я стою здесь, в нашей комнате со знакомым узором обоев, в двух шагах от миссис Гарвей, она протягивает мне фотографию, а я ничем не могу помочь ей».

Вот этот высокий, что стоит, задумавшись, с кепкой в руках, это Рой. На нем спецовка, как у наших металлистов. Он действительно похож на миссис Гарвей и, видимо, постарше Еленки. Сколько ему лет? Пятнадцать — значит, на год старше. Когда мы были маленькие, мы плакали над дедушкиной книгой «Хижина дяди Тома». Бабушка тогда сказала: «Не плачь, теперь этого нет...»

Елена сперва не могла понять выражения лица негритянки, оно было словно маска. Иногда казалось, что миссис Гарвей улыбается — так ослепительно блестели белые зубы, когда она говорила. Миссис Гарвей рассказывала, что тюремщики били Роя; однажды его так сильно ударили в ухо, что он стал хуже слышать. При этих словах голос миссис Гарвей дрогнул, но когда она говорила о смертном приговоре, голос ее не дрожал.

Это была героическая мать, ездившая по всему миру ради своего дела. Всюду она рассказывала о нем людям. Всюду одно и то же. Как пластинка, как автомат. Как ротационка, как живая

машина. Азартный игрок спит и видит, что он играет в карты; а мать и во сне твердит свой рассказ. Она уже говорила так, будто осужденные не были больше Энди и Роем, ее мальчиками, которые на ее глазах учились ходить, которые лепетали около нее, которых она иногда шлепала, будто это был не Энди с родинкой на правой лопатке, а любой из его невинно осужденных товарищей, которых миссис Гарвей даже не знала. Она все время рассказывала одно и то же, но каждый раз в новом городе. Ее спутник сообщил, что они были в Антверпене, в Гааге, в Амстердаме, в Брюсселе, он перечислил много других немецких и французских городов, портов и промышленных центров, назвал залы и количество слушателей. Счастливые люди ездят за границу торговать и развлекаться — у каждого города есть свой аромат, в каждом крае иная природа. А у этой негритянки, когда она вернется домой, в памяти останутся только однообразные далекие пространства, выходящее во двор окно гостиничного номера, тесный вагон или автомобиль и залы с рядами лиц, как на плакате. Собираются незнакомые люди, слушают ее, и больше она никогда в жизни не увидит их. Но эти люди как бы принимают от нее эстафету. Чем все это кончится, чем? Может быть, горами исписанной бумаги, никому не нужной макулатуры? А может быть, таким гневом масс, что над ним задумается и Америка? Будь что будет, мать сделала все, что в ее силах. Надо бороться со злом.

Журналисты разошлись, и Гамза с Саксом повезли миссис Гарвей в шахтерский городок. Может быть, митинг там запретят, но надо сделать все возможное.

Одним махом перескочив через последние две ступеньки, Еленка побежала на почту с телеграммами протеста, счастливая, что ей поручили это дело. Она вдруг поймала себя на том, что на обратном пути бежала напевая. «Дура,— сказала она себе,— думаешь, этим все спасено?» И все же она шла и по-детски мечтала, как было бы хорошо, если бы в американском посольстве получили сразу миллион телеграмм, так что в Праге не хватило бы почтальонов, чтобы доставить их. Вагон телеграмм, тонны телеграмм,— и так во всей Европе, во всем мире... Ах нет, все это делается только для самоуспокоения, чтобы доказать самим себе — что-то, мол, делается. Или все-таки это поможет?

Когда Елена пришла домой, мать отвернулась, пошла в другую комнату и стала с чем-то возиться — спиной к дочери.

Елена заметила это и подошла к ней — она хорошо знала мать.

— Мама,— сказала она просительно, потянув мать за рукав,— этим ты им не поможешь. Мама!

Нелла обернулась, крепко обняла дочь за шею и снова заплакала.

— Мама,— сказала Елена,— ну образумься же!

Но с матерью трудно было иметь дело. Не нравилась Елене такая чувствительность.

ВРЕМЯ БЕЖИТ

В здоровой одежде здоровый дух!

Платье делает человека!

Сколько раз вы переодеваетесь, столько раз становитесь другим человеком.

За гроши вас оденет по сезону фирма «Казмар — «Яфета» — Готовое платье».

В Праге становилось все больше магазинов Казмара, со всех углов глядели на вас плакаты: американистые мужчины и французистые дамы. Даже с трамвайных вагонов реклама Казмара поучала и давала советы.

Вечером высоко над Вацлавской площадью, переливаясь неоновым светом, плыли вездесущие рекламы Казмара:

Молодой человек, вы ищете службу? Делайте это в костюме от «Яфеты».

Молодой человек, вы влюблены? Одевайтесь только у «Яфеты».

Заботьтесь о первом впечатлении, оно решает ваш успех. Костюм от «Яфеты» придаст вам уверенности в себе, не скромничайте, для каждого есть место в мире!

Любопытные читали, задрав головы. Реклама захватывала и увлекала даже безразличного. Пражане вдыхали «Яфету» вместе с копотью родной столицы. Не солнцевороты, не снег зимы и не сияние весны делали сезон, а «Яфета» и его витрины.

«Будьте красивы! Не сутультесь над шитьем!» — взывали к женщинам листовки Казмара. «Выпрямьте спину! Носите готовое платье от «Яфеты». «Яфета» думает за вас и доказывает это делом. В универмаге «Яфеты» вас оденут с головы до ног за десять минут. Вам сберегут ваше время, деньги и нервы, сохранят вашу стройность, продлят вашу молодость. Полжизни вы тратите, перелистывая журналы мод в поисках фасона, подбирая подходящую материю, убивая время на утомительных примерках. Женщина нашего века может провести это время на стадионах. Воздух и вода — наши лучшие друзья. Самые дешевые спортивные костюмы и трусики — у «Яфеты»!»

«Яфета» сопровождала граждан от колыбели до крематория. Без всякого преувеличения можно утверждать, что многие малень-

кие республиканцы обязаны своим появлением на свет «Яфете», ибо она придавала привлекательности женщинам, а энергичным мужчинам обеспечивала возможность найти выгодную службу.

«Секс эпил» — юбка от «Яфеты».

Счастливое супружество — пижамы от «Яфеты»!

Кормящие матери, носите блузки от «Яфеты»!

Дети — будущее нации. Родители, одевайте школьников в практичные костюмчики от «Яфеты». Никакие чернила им не страшны!

Мы, первоклассники, ходим только в штанишках от «Яфеты»!

Люди труда! На фабриках и заводах, в авторемонтных мастерских и в шахтах блестяще зарекомендовала себя спецовка «Яфеты»!

Не стесняйтесь веселиться! Кто трудится, пусть танцует. Наслаждайтесь жизнью. Масленица бывает только раз в году, человек живет только однажды. Масками всех времен и народов бесплатно снабжает клиентов под залог наша фирма; при возврате маски залог заменяется ордером в наш магазин готового платья. Записывайтесь в наших филиалах по месту вашего жительства!

И с небольшим физическим недостатком можно остаться полноценным членом общества. Каждый имеет право на место под солнцем. Посетите нас и убедитесь, что платье от «Яфеты» скроет ваши недостатки.

Да, у Казмара был тогда правильный расчет: помните пресловутую распродажу, когда Анна Урбанова приехала с детьми в Прагу и нежданно-негаданно, не успев дойти до дому, что-то купила и чего-то лишилась (украденная корзинка так и не нашлась, хотя дедушка не раз справлялся в полиции; он с охотой ходил в присутственные места). Улецкий фабрикант решил тогда на свой страх и риск и вопреки мнению всех других членов союза промышленников: лучше убыток, чем затоваривание. И он объявил дешевую распродажу, снизил оплату труда и сбыл все свои запасы. Это был ловкий маневр, фирма завоевала популярность, единовременный убыток позднее был покрыт с лихвой, и сейчас Казмар выпускает и продает столько товара, что разбегаются глаза.

Ах, этот Казмар! Он невидим и вездесущ, нигде не обходится без него. Конкуренты честят Казмара на чем свет стоит и боятся его, как черт ладана, обвиняя в нечестной конкуренции. Сотни разорившихся портных кляли Казмара, пока он не заманил их и не приковал к своему конвейеру. Левая печать клеймит его рабовладельцем и плантатором, а министр финансов не может им нахвалиться: Казмар исправный и крупнейший налогоплательщик в республике. Казмар становится легендарным промышленником края, который до сих пор славился только верой в правду и набожностью, а не торговой инициативой. Об Улах, созданных Казмаром на пустом месте, рассказывают просто сказки.

Улы лежат в гористом крае, где кончаются плодородные равнины и начинается камень. Земля здесь бесплодна — она не кормит людей. Кругом камни и горы, поросшие мелким сосняком, маложивописные и недостаточно высокие, чтобы привлекать туристов. Жители этого края выгоняли стада на горные пастбища, сажали картошку на маленьких участках по косогорам, ограждая их камнями от оползней, варили сливовицу и ткали. Дед и отец Казмара занимались ткачеством на дому и носили свой товар к перекупщику в Драхов, в двенадцати часах ходьбы от Ул. Уже весной улецкие деревни пустели, половина жителей уходила в Австрию работать на свекловичных полях, нанималась чернорабочими на стройки, батрачила на уборке. Был это край бедного народа, добытчиков жалкого заработка. Двое-трое более предприимчивых скупали в округе гусей и резную посуду, запрягали в телеги поджарых, но бойких лошадок, похожих на цыганские, и ездили торговать до венгерской границы. В улецкой округе жилось трудно, и многие мужчины уехали по вербовке за океан. Улы оставались краем резчиков деревянной посуды, поденщиков, бродяг и переселенцев, пока Казмар не выстроил вдоль берега реки Улечки, которую он запрудил и расширил, свою «Америку».

В Улах, этом недавнем медвежьем углу, где ночной сторож в непогоду лез на башню и звонил в колокол, чтобы разогнать тучи (старожилы до сих пор помнят этот обычай), в этих Улах теперь сияет огнями небоскреб казмаровской конторы, а в ней трещат электрические счетные машины. Улы превратились в промышленный центр, в настоящую «Казмарию», где властвует фабрикант, который сам дал себе прозвище «Хозяин». В Праге покупатель видит только конечный результат, только рекламный блеск товаров в витринах, к которым, как обезьяны, сбегаются любопытные. А в Улах — там все производство, от веретена до иглы, все, что нужно «Яфете», и работа всех цехов синхронизирована с точностью швейцарских часов. Все есть у Казмара: прядильные цехи, производство искусственного шелка, ткацкие, красильные, аппретурные цехи, механизированные пошивочные, трикотажное производство, химическое отделение, опытная лаборатория, машиностроительные и монтажные мастерские, бумажное и картонажное производство, типография для рекламных изданий, рабочий поселок из стандартных домов, кирпичный завод, лесопилка. А Казмар все еще приобретает, скупает весь край, рубит лес, строит. Он вытеснил перекупщиков и посредников — к черту этих отсталых торгашей, из-за них только дорожают товары. Он сам теперь производит и сам продает, сам транспортирует товары и сам получает прибыль; потому-то нашу крону и назвали «кача», что она должна побыст-

рей оборачиваться. Казмар был мастак в этом деле: чем больше годовой оборот капиталов, тем дешевле можно продавать товар.

Кто хочет сделать карьеру, поезжай в Улы, советуют одни. Там из рабочих делают директоров, а из директоров — миллионеров. Сколько уже у Казмара миллионеров-сателлитов! Взять, к примеру, директора Выкоукала, который, наверное, не знал бы, куда девать деньги — в Улах ведь особенно не потратишься,— если бы ему не помогал в этом деле сыночек в Праге.

Другие говорят: если хочешь поседеть в тридцать лет и одряхлеть в сорок, поезжай в Улы. Там человека высосут, выбросят на свалку, никто о нем и не вспомнит. Рабочие там участвуют в прибылях, с похвалой говорят одни. Эти «дивиденды», фактически заработок рабочего, не выдаются ему на руки, что позволяет Хозяину обходиться без банковского кредита,— выгода неслыханная в наши дни — возмущаются другие. Вот и решите, кто прав!

Деньги порождают деньги, и сейчас Казмар содержит целую армию рабочих, служащих и торгового персонала на родине и за границей. Как он добился этого, ломают головы чехи, ведь мы не страна американских дядюшек? Тридцать лет назад, когда Казмар начал свою карьеру на убогой текстильной фабричке, у него не было ничего, кроме долгов и жажды деятельности. Фабричка ткала дешевый товар: канифас, носовые платки, грошовые ткани для ярмарочных торговцев. Отец Казмара тут же держал красильню и работал вместе с сыном. «Ну и химия это была,— смеется сейчас Казмар,— вроде как в деревне красят яйца! А допотопное оборудование сушильни? Просто кошмар!»

Но Казмар был энергичен, в нем текла улецкая кровь. В поисках заказов он объездил Чехию и Моравию, побывал и в Будапеште, но там ему не повезло. Странное дело: удачу ему принес в конечном счете вельвет, с которым у него вначале совсем не ладилось. Дело было так. Пражская фирма готового платья заказала Казмару большую партию вельвета. Молодому фабриканту это принесло и радость и заботы. Но не успел он еще выполнить заказ, как глава пражской фирмы умер, банк в тот же день закрыл кредит его вдове и фирма лопнула. У Казмара на шее осталась громадная партия вельвета, долги за пряжу и за новую машину, которую он приобрел специально для выполнения этого крупного заказа. О задолженности перед рабочими и говорить нечего, они работали день и ночь, чтобы вовремя сдать выгодный заказ. И вот тут Казмар подумал: а что, если, вместо того чтобы ткань сдавать на комиссию, самому пошить жакеты из проклятого вельвета? Он добыл выкройки, принадлежавшие лопнувшей фирме, привлек к работе портних со всей округи. Они шили за гроши, о которых не стоило и говорить, а товар шел нарасхват. Женщины довоен-

ного поколения, наверное, и сейчас помнят, какой популярностью пользовались у них в те годы «казмарки». Они нравились и горожанкам, и сельским щеголихам, у которых появилась мода надевать поверх народного костюма эти теплые и прочные жакетки. Вообще под влиянием Казмара национальные костюмы все больше стали отходить в прошлое.

Тогда Казмар пристроил к своей ткацкой фабрике швейную мастерскую с примитивными, идиллическими машинами «зингер» (ныне хранящимися в улецком музее) и через некоторое время отправился познавать мир. Он проработал два года в Англии и Бельгии рабочим, изучил текстильные машины, побывал в Вене, там учился угадывать моды сезона и изучал местные вкусы,— в общем, как говорится, принюхивался к рынкам. Свои товары он вывозил в Боснию, на Балканы и на Восток, на австрийские рынки сбыта.

Грянула война. Пусть владелец пресловутого велосипеда расскажет за меня о состязании Казмара с венским экспрессом в день мобилизации не только солдат, но и промышленников. Экспресс ушел из-под носа Казмара с Драховского вокзала. Хозяин схватил первый попавшийся под руку велосипед — чужой — и помчался на ближайшую станцию. Там он бросил велосипед, перепрыгнул через закрытый шлагбаум, вскочил в уже тронувшийся экспресс и уехал на ступеньке. Так он успел в Вену вовремя, чтобы получить крупный военный заказ. Лихая гонка за поездом кончилась для Казмара воспалением легких, но контракт на поставки был уже у него в кармане. Его фабрика ткала солдатское сукно и к концу войны стала давать армии совершенную дрянь из крапивы и бумаги. Множество мужчин, подлежащих призыву в армию и работавших у него на военных заказах, были избавлены от отправки на фронт и сохранили таким образом жизнь и здоровье. Казмар вел себя, как сама природа: то кормил людей, то губил их.

Злые языки говорили, что Казмар сумел заработать и на рождении республики. Как только пришли первые вести о свободе, на фабрике Казмара начали готовить материю на флаги, а из обрезков мастерили трехцветные розетки. Помните трехцветные ленточки, которые все носили двадцать восьмого октября? Они были от «Яфеты». Казмар подготовился к событиям.

Текут воды Влтавы, дети в доме на Жижкове уже перестали носить детские башмаки, в Улах время бежит семимильными шагами, Казмар покупает себе уже третий транспортный самолет; об этом пишут все газеты.

Ондржей дома сделал электромоторчик, включил его в штепсель на кухне и привел им в движение пропеллер из твердого картона: получился вентилятор. Сидя в школе, он с радостью вспоминал о своем изобретении. Но вечером мать, убирая, поставила вклю-

ченный моторчик на жестянку — хлоп, и в квартире перегорели пробки. Вернувшись из школы, Ондржей хотел взяться за моторчик, но моторчика нигде не было: мать в наказание заперла игрушку. Втолковать ей, что она сама виновата в коротком замыкании, было невозможно. Попробуйте что-нибудь доказать женщинам! Они верят только тому, что видят своими глазами, а сообразить простых вещей не могут. Горе человеку, который поспорит с Ондржеем, если тот чувствует себя правым! Несправедливость обозлила мальчика, и он сказал матери несколько дерзких слов. В его уже ломавшемся голосе послышались слезы. Ондржей сорвал кепку с гвоздика и убежал, не пообедав. Напрасно мать окликала его, он даже не оглянулся.

Такие штуки Ондржей выкидывал уже не раз и являлся домой лишь вечером. Сердобольный Станислав всюду искал его. Ондржей не уступал матери. Выражение его лица становилось упрямым. Засунув руки в карманы, расставив ноги, как матрос, он отмалчивался на ее вопросы о том, где пропадал и почему не сидит дома. Однажды Анне показалось, что от Ондржея пахнет табаком, другой раз у него выпала из кармана картинка, срам сказать какая. Тут в дело вмешался сам дедушка, который обычно предпочитал, чтобы ему не мешали читать газету «Народный страж» и разбирать бланки прописки,— обычно в таких случаях он ворчал на семейство Гамзы, которое своевременно не заполняло этих бланков. Дедушка взял фотографию, поднес ее к самому носу, на котором сидело пенсне, потом, заложив руки с фотографией за спину, остановился перед внуком.

— И тебе не стыдно? — сказал он.— Послушай, мальчишка, я на своем веку видел побольше твоего. Я участвовал во взятии Боснии и Герцеговины. А спроси у меня, занимался ли я подобными пакостями. Нет, никогда.

Покрасневший Ондржей взглянул на дедушку, отвернулся, прыснул со смеху и выскочил из комнаты. Ах, уж эти мальчишки!

В дни ссор с матерью Ондржей убегал за город, он мчался по проспекту, мимо магазинов, где особенно много покупателей толпилось около витрин с низкосортной дешевкой, и мечтал о мести и о славе. Короткие кривые улочки шли в гору и упирались в Жижковский холм, как в стену. Он видел свои похороны: за гробом идет мать, она горько жалеет, что обижала его, но уже поздно. С ней подавленный Станислав и пани Гамзова с мокрым от слез платочком. Одновременно Казмар (энергичное лицо, прищуренные на солнце глаза; стоит около самолета; этот снимок обошел все газеты) покупает патент на прославленное изобретение Ондржея — *автоаэрогидроплан.* Он хорош тем, что поднимается с любого места без разбега. Мать и Ружена не надивятся гениаль-

пости Ондржея, которого они незаслуженно обижали, и только пани Гамзова говорит, что она всегда ожидала от Ондржея великих дел. Ондржей чинил в доме перегоревшие пробки, приводил в порядок звонки, сделал себе детекторный приемник. «Кто тебя научил этому?» — удивлялась пани Гамзова. «Никто, это же пустяки, каждый сообразит»,— скромничал Ондржей, умалчивая о прочитанных брошюрках. Гимназист Станислав был рядом с ним совершенный белоручка.

Уйдя далеко от дома, Ондржей замедлял шаг. За городом дышалось свободней. Из одного двора доносился запах разогретого металла и лака, у другого Ондржей останавливался посмотреть на автогенную сварку; работа жестянщиков напоминала ему мастерскую отца. Ондржей глазел по сторонам, читая замысловатые вывески итальянцев-трубочистов, вдыхал запах жженых костей. Ондржей отводил взгляд от красных туш в мясной лавке, где над входом висела конская голова; зазевавшись, он спотыкался о глиняную посуду. На ходу он похлопывал рукой по соломенным матрацам, делал вид, что хочет украсть выставленную для продажи детскую коляску. Продавцы выбегали из лавок и бранили мальчика. Старички в котелках и фиолетовых свитерах нянчили на порогах глупых, как рыбы, младенцев с оранжевыми сосками во рту. Здесь никто не проходил с пустыми руками. Женщины несли обед, старухи — ушаты, подмастерья — стремянки, мужчины — инструмент, дети — пол-литровые кружки с пивом. Ворона угольщика, как волшебник, поглядывала на оживленный перекресток из своей клетки, напоминавшей миниатюрную шахту. Ондржей заглядывал в ворота, которые вели не то в совершенно разорившиеся усадьбы, не то в какие-то убогие фабрички или последние уцелевшие извозные дворы. Там пахло сеном, солодом, аммиаком, лошадьми, а из склада пиломатериалов доносился запах льготского леса. Молодые рабочие в синих блузах несли к новостройкам бренчащие железные прутья. Была весна.

На самом краю города, за забором, невидимый пес гремел цепью, опрокидывал миску с едой, тащил за собой будку. Когда бы ни проходил Ондржей мимо жалких жилищ бедняков, пес всегда ярился и лаял, прыгал на ветхий забор так, что тряслись доски. Мальчик втайне побаивался, что пес набросится на него, и ускорял шаг. Иногда отворялась боковая калитка, и мимо развевавшегося на веревке тряпья брела из городка нищих накрашенная старуха в перчатках без пальцев — та самая, что приходила в пивную «На небе» продавать печенье.

Ондржей зашагал по грязи, миновал вагонное депо. Небо прояснилось.

Приближалась пасха, земля освободилась от снега, люди ко-

пали ее, сносили старые и возводили новые здания, жизнь стояла в строительных лесах. На фоне яркого весеннего неба высились краны, на широких плацах солдаты объезжали коней, поезда просились в путь. Это лето было незабвенным для Ондржея, хотя впоследствии, уже взрослым, вспоминая о нем, он тщетно задавался мыслью: что же такое тогда произошло? Событий никаких не было, но Ондржей словно прозревал. В тревожном свете знакомые вещи бросали укороченные, темно-синие тени. Когда-то, еще мальчиком, в Льготке, Ондржей ел яблоко и выплевывал горькие зернышки. Теперь таким же горьким было яблоко познания жизни.

Ничего особенного не произошло, кроме того, что у него открывались глаза и мир казался ему огромным и неодолимым. Ондржей шел на него один на один, как борец, засучив рукава. Вот и требуйте от него, чтобы он был мил! Апрель как бы погонял Ондржея, и мальчик бродил около стадионов и фабрик, у заводских оград с мятежными лозунгами и непристойными надписями. Гуляя в поле, он рвал башмаки и гадал о будущем: будет из него гений или ничтожество, ибо среднего пути не было. А также: следует ему быть абсолютно хорошим или абсолютно дурным, ибо среднего пути не было. Бесспорно: сильный — это дурной. Ондржей был горд, что бога нет, будто он сам сверг его первым из людей, и на небе было пусто. Но высоко над землей пел жаворонок, и вселенная жила.

Мальчик, закинув руки за голову, лежал на прошлогодней рыжей траве, уже согретой солнцем. Он воображал, как проносятся в пространстве фантастические картины из Подебрад и Страшнице, созданные с помощью электричества, как проносятся в эфире магнетические волны. Мысленно он объяснял все это пани Гамзовой. «Вы думаете, что существует только то, что мы видим? Вы — ребенок!» — говорил он с превосходством, представляя себе разговор с ней. Вдали от нее он был смел. Вы бы удивились, узнав, что приходило ему в голову, как он был красноречив, когда она не могла его слышать. «А что, если вот здесь, сейчас,— он хватает ее за руку,— летит мимо нас шифрованная телеграмма в Индию?.. Поет Америка, излучая в пространство электроны? Блуждает сигнал бедствия, посланный из самолета над океаном? О боже (которого нет), сколько чудес!» Запыхавшись, Ондржей сбивчиво объясняет пани Гамзовой, что прадедушкой антенны был громоотвод, рассказывает ей о первобытном племени электронов, которые кишат повсюду, хотя мы и не замечаем этого. Без них не было бы той замечательной энергии, которая распространяется со скоростью света,— можете вы вообще все это себе представить? Он ошеломляет пани Гамзову сведениями, вычитанными из популярных брошюрок по электричеству, и пани Гамзова дивится герою

Ондржею. Он учтив и обходителен с ней. «Вы правы, сударыня, я тоже не вижу электронов (вот они сейчас пролетают мимо нас, только лови их!). Мы с вами, дорогая моя, представляем собой крайне нечувствительные приемники магнитных колебаний...» Как тесно сердцу Ондржея в груди, оно как бабочка в тесном коконе; даже голова трещит от всего того, чем наполнилась она за этот последний год; но это прекрасно. Глаза начинают болеть от волшебной лампы-триода и наполняются слезами. «Нет, это ничего, это от солнца»,— говорит Ондржей пани Гамзовой. А пани Гамзова, которую он сделал зрителем своей жизни, спутница столь же верная, сколь и невидимая, слушала его с нежным восхищением и сияла в чудесном весеннем воздухе, принимая розовато-черный оттенок, когда мальчик зажмуривал глаза. Какой-то тонкий металлический свист, едва слышный и насмешливый, звучал у него за спиной. Ондржей не был уверен, что он действительно слышит его. Может быть, ветер звенел в телеграфных проводах? Звук был похож на отдаленное гудение трансформатора; может быть, мальчик слышал, как роятся электроны; может быть, гудел первый весенний комар; может быть, звучал камертон далей; может быть, Ондржей слышал, как светит солнце и как растет трава... Вдруг над ним раздались голоса, вблизи весело засмеялись люди — мужчины с грубыми голосами и писклявые девушки. Ондржей открыл глаза и увидел девичьи ноги, мелькавшие прямо у его лица, туго обтянутые чулками и в крепких туфельках, что делало их еще заманчивее, чем босые. А что, если протянуть руку и схватить одну из этих безразличных к нему ножек? То-то перепугались бы девушки, завизжали бы, может быть, даже упали. И эти ноги девушек, переходивших поле и судачивших о своих подружках, вдруг показались Ондржею нематериальными, словно бы и они были не из плоти, а состояли из электромагнитных колебаний. Но вот девушки скрылись.

Ондржей поднимался с травы, потягивался и, отряхнувшись, полный сил и лени, брел дальше. Он снова останавливался около всего, на что стоило посмотреть: на асфальтировку шоссе или на прокладку кабеля. «Лучше бы помог, чем глазеть»,— ворчали рабочие. Так работающие всегда говорят зевакам. Когда-нибудь и Ондржей будет говорить то же другим мальчикам.

Подойдя к фабрике, Ондржей прижимался лицом к окну. У каждой большой фабрики есть свои секреты. Постороннего туда не пустят и во двор: боятся разведчиков, у которых фотоаппараты бывают скрыты даже в часах. В Америке посетителя, осмотревшего фабрику, ведут в специальную кабину и просвечивают ультрафиолетовыми лучами, чтобы таким образом засветить пленку. Не раз, бывало, Ондржею из окна грозил рабочий, которо-

му он загораживал свет, и мальчик быстро отходил. Но там, в мире мужчин, было хорошо. Жаль, что у Ондржея нет ни отца, ни брата. Именно желание поскорей попасть в царство чудес техники побудило Ондржея годом позже поступить на предприятия Казмара. Но была и другая тайная причина: мальчика привлекала сильная личность предпринимателя. Мальчики без отцов особенно поддаются такому влиянию. Уж это бабье царство дома, уж эта женская болтовня!.. К вечеру, проголодавшись как волк, Ондржей возвращался к матери, в вечерний оживленный город.

И откуда только в ту весну взялось столько молодых девушек! У них упругие груди, они идут с насмешливым выражением во взгляде. Подшучивают ли они над Ондржеем или вправду не прочь познакомиться? Нет, лучше всего не обращать внимания, закурить сигаретку, надвинуть кепку на ухо и шагать насвистывая, как ни в чем не бывало. Ондржей не допускал мысли, что девушки проходят, не замечая незнакомого мальчишки.

Но все равно Ондржей уже почти взрослый парень, голос у него ломается, он ходит за деда отпирать парадную дверь, а в электрическом фонарике, подаренном Станей, уже переменил не одну батарейку. Станислав много бы дал за то, чтобы быть на месте Ондржея — поздно ложиться спать и охранять дом. Он восхищается приятелем, и тот позволяет ему это. Ведь он еще ребенок, этот бедняга Станислав.

Иногда к нему и Станиславу подсаживалась Нелла Гамзова. Она входила легкой походкой, появлялась, словно изображение на экране, и Ондржей сразу терял свою непринужденность. Ему казалось, что нос у него в саже, что говорит он несвязно, что руки и ноги у него нескладные. Однажды Ондржей уронил ложку и не заметил этого. Нелла, опередив Станислава, бесшумно наклонилась и подняла ее. Ондржей очень испугался, увидев женщину у своих ног, ее нежную согнутую шею. Он вскочил перепуганный и подавленный. Станислав удивился — в чем дело? В душе Ондржей был зол на Неллу.

В другой раз черт его дернул завить себе чуб щипцами сестры и в таком виде прийти к Станиславу. Еленка высмеяла его в присутствии Неллы. Ондржей был готов покончить с собой. Месяц он не показывался в квартире Гамзы, пока Станиславу не удалось уговорить его.

ГОЛОС ИЗДАЛЕКА

Был день святого Микулаша, сухой морозец стоял в Праге, приближалось полнолуние. На улицах, залитых алым отблеском вечерней зари, толпились женщины. Витрины магазинов сверка-

ли, как преисподняя и как дом радости. Разносчики спешили доставить закутанные от мороза цветы.

Дамский парикмахерский салон «Риц» находится в нижнем этаже отеля того же названия, расположенного на углу одной из улиц, выходящих на Вацлавскую площадь. Звуки музыки из кафе доносятся в парикмахерскую и приводят в мечтательное настроение девушек-парикмахерш. В холле отеля «Риц» можно видеть солидных иностранцев, приехавших по торговым делам, семьи дипломатов, для которых еще не приготовлена квартира, и даже международных аферистов. По наклонному асфальтированному проезду в гараж въезжают машины заграничных марок. Перед входом целый день торчит швейцар в светлой ливрее. Из всего этого вы можете заключить, что парикмахерская, где сейчас Ружена чистит тазик для мытья головы и бегает с флаконами,— первоклассное заведение.

Был шестой час, и мастерицы уже посматривали на часы, когда в парикмахерскую вошла дама в меховой шубке, маленькая, как девочка, с собачкой на руках. Серьезный хозяин салона, склонив голову с пробором, проводил даму в кабину, а Ружена отнесла на вешалку ее шубку из каракуля. Шубка была легонькая, благоухающая свежестью, женским теплом и легкими духами. «Это Власта Тихая из Большого театра»,— полушепотом бросила на ходу маникюрша. Да, Ружена знала актрису по фотографии.

С минуту она подержала шубку в руках. Шубка была на шелковой, переливающейся подкладке и напоминала о морозном дне после масленичной ночи, а букетик фиалок на шубке — о любви на южном побережье. Ах, голубой экспресс, ах, яхта на лазурных волнах, ах, Монте-Карло, неудачи в игре, удачи в любви — извечные сюжеты кино. Люди мечтают о том, чего у них нет, и юные ученицы из парикмахерской поэтизировали роскошь. Ружена прижалась лицом к шубке и зажмурила глаза, растроганная чем-то похожим на порыв влюбленности; потом повесила шубку и побежала за шампунем.

В кабине, которую заняла актриса, сидела ее непрерывно дрожавшая пучеглазая собачка. Не занятые работой девушки приходили погладить ее.

Тихая, закрыв глаза, запрокинула голову над тазиком; на ее поднятом лице резко выделялись развитые мышцы около рта и какая-то, типичная для актеров, чувственная черточка между бровями. Ружена смочила ей голову шампунем. Быстро вытирая волосы клиентки, она перебегала глазами с лица актрисы, напомнившего сейчас посмертную маску, на ее перчатки, лежавшие на столике. Образ первой любви Ружены — Неллы Гамзовой — блед-

нел и рассеивался. Шубка у Неллы была потертая, а Ружена уже стала не та, что прежде.

Актриса сидела под феном, волосы ее разлетались от струи теплого воздуха, она протянула маникюрше руку, а другой рукой вынула из громадной сумки горсть рождественских гостинцев. Она оделяла девушек конфетами и грызла китайские орешки, разламывая их пополам. Ногой она дразнила собачку. Ружена пожирала глазами каждое движение актрисы. Один орешек никак не разламывался. Тихая положила его на стол и ударила кулачком. Из скорлупы выскочили два ядрышка.

— Вот тебе, за красоту,— весело сказала актриса и подала на ладошке одно ядрышко Ружене, а другое съела сама.— Тебе повезет в жизни,— добавила она с доброжелательностью, свойственной актеру, пока ему не перечат.

Ружена покраснела, потупила взор и поправила бусы на шее. Когда она подняла глаза, ей показалось, что в небе над «Люцерной» уже сияет на рекламе ее имя.

Актриса, взяв сумочку и песика, вышла, а Ружена убрала скорлупки.

Девушки из парикмахерской собирались на вечеринку и с нетерпением ждали конца рабочего дня. И охота же вам! Те, которым идти было некуда, нервничали, вспоминали о матерях, о далеком родном доме и о проклятой жизни. Ружену гоняли каждую минуту. Все еще под впечатлением визита актрисы, Ружена летала туда и сюда, приносила флаконы, усердно чистила тазики и столики, терла их так, что они могли бы загореться, не будь они из стекла. Жалко, что нельзя петь за работой. Почему так спешила Ружена? Тонику из пивной «На небе» она давно дала отставку, никакой другой парень не ждал ее за углом, и все же она чувствовала, что влюблена. В кого? В себя, в пани Гамзову, в актрису, во всех и ни в кого. Во всех встречных мужчин, во всех женщин, которым она подражает, а их столько в жизни и на экране, что голова идет кругом. Ружена влюблена в каракуль, в перчатки актрисы, в огни большого города. С ума можно сойти оттого, что приходится часами стоять около мастериц, которые красят волосы старым дамам. Земля буквально горит под ногами: страшно, что жизнь проходит, надо спешить. Это зов города.

Наконец Ружена и Божка, надев свои серые пальтишки, шмыгнули мимо хозяйки, олицетворявшей за своей конторкой успешную карьеру ремесленницы, начавшей с самой низшей ступени. Она тоже когда-то бегала через улицу за кофе для мастериц, тоже прошла суровую школу подчинения, поэтому теперь она так строга к младшим. Мастера сняли свои почти докторские

халаты и, превратившись в отцов семейств, разъехались по домам.

Вечером Прагу охватывает лихорадка, и Золушка спешит на бал по звонкой от мороза мостовой. Будет ясная и морозная ночь, месяц появился из-за реклам, которые, казалось, сияли над Полярным кругом: в них была снежная синь и зеленый оттенок льда.

Засунув руки в карманы пальто, обе девушки, прижавшись друг к другу, шли по главным улицам. Дыхание белой струйкой вырывалось у них изо рта. Им навстречу, покуривая и поглядывая на прохожих, шли столичные мужчины. Красивые, нарядно одетые юноши, которые так бесподобно умеют носить шляпу, толпились в пассажах, не обращая внимания на еще не оперившихся учениц.

Город только тогда настоящий город, когда он сияет огнями. Здесь, в городе, становится понятным, для чего работает весь мир: для чего существуют нефтецистерны и похожие на виселицы буровые вышки, для чего взрывают динамитом камень и вбивают мостовые сваи, для чего нужны стрелки компасов и кочегарки пароходов, виноградники Шампани и лососи, перепрыгивающие лунной ночью через плотину, зачем отрастает шерсть у овец и серебрится шелковистый кокон, зачем черно-бурая лиса рожает маленьких лисят, зачем жемчужная устрица дает жемчуг, а люди ныряют за ним, для чего роют уголь, перемешивают бетон, варят асфальт, металл и стекло, для чего горят домны, поют пилы, шипит пар, гудят веретена, токарные станки, мечется пламя и скачет электрическая искра,— все это для города, для большого торгового города, который сверкает огнями, живет в непрерывном движении, прихорашивается и распутничает.

Только теперь Ружена видит, что все, что было и что окружает ее сейчас, никуда не годится: медлительность деревенской жизни, теснота швейцарской, уныние предместья. Все это только трамплин, этап на пути.

Автомобили проносились по опустевшей мостовой. Лунным морозным вечером их гудки казались прохожим глухими и далекими: так воспринимаются звуки после дозы кокаина. Но в феврале клаксоны уже звучат по-иному. Под сводами пассажа в рупоре громкоговорителя пело надтреснутое сопрано.

Озаряемые голубоватым светом дуговых ламп и цветными огнями неоновых реклам, девушки бродили и глазели на зеркальные сияющие витрины, девять десятых которых — призыв к женщине. Город был похож на подарок возлюбленного. Ружена не замечала добрых семьянинов, теснящихся в магазинах, чтобы купить детям конфетки, не видела старых дев, смущенно вползаю-

щих к ювелиру, чтобы продать обручальное кольцо покойной мамаши, хранившееся в коробочке из-под пилюль. Цветы в ярком блеске электрических ламп, ниточка брильянтов, чулок, натянутый на модель ноги, туфелька, белоснежная пена белья — вот на что смотрела ученица из модного салона. Глядя на живые образцы и на модные витрины, Ружена пожирала глазами стандарты городской красоты: длинные ноги, густые ресницы, губы сердечком (нос теперь не так важен), зубы как на рекламе хлородонта, улыбка кинозвезды... что ж, Ружена не уродливее других, она стройнее Божки, которая все жалуется на холод, вечно обижается на кого-нибудь, поссорилась со своим милым и всегда чем-нибудь недовольна.

Девушки колесили от витрины к витрине, и за ними неотступно следовал пожилой господин, только что вышедший из ресторана-автомата, где он выпил рюмочку коньяку. Вместе с девушками он останавливался около витрин, а когда девушки свернули в боковую улицу, подошел к Ружене и сказал, приподняв шляпу:

— Мадам, разрешите вас проводить?

— Позвольте... за кого вы нас принимаете? — отрезала Божка, смерив его взглядом. Девушки прижались друг к другу и, смеясь, побежали на Жижков.

В подъезде Ружена наткнулась на рассыльного из цветочного магазина. Он искал пани Гамзову.

— Давайте я отнесу.

Ружена ухватила корзинку и помчалась наверх. Сегодня такой день: ничего не случилось, а все-таки весело. Полная радостного оживления и таинственности, Ружена вбежала в квартиру адвоката. Шелковистая бумага шелестела, когда Ружена разворачивала в прихожей букетик. Явно от возлюбленного. Чары Нелл Гамзовой вновь возымели действие (хотя подношение было самое прозаическое: цветы в ответ на любезность). Ружена быстро постучала и вошла в комнату, румяная с мороза, с букетом в руке. Нелла отложила книгу и подняла взгляд, но в этот момент зазвонил телефон. Междугородный вызов, звонят всегда как на пожар. Нелла вздрогнула. Давно бы следовало привыкнуть к междугородным звонкам, а она каждый раз пугается.

Звонила мать из Нехлеб.

— Это Нелла? — послышался в телефонной трубке глухой голос. Нелла впервые в жизни заметила, что у матери уже голос старухи. Телефон как-то отсеивал знакомое и родное в голосе, а старческая интонация оставалась. Вдруг в трубке затрещало, засвистело, и их прервали. С минуту слышался какой-то гудящий звук, потом связь восстановилась.

— У вас никто не болен? — спросила мать.— Все у вас в порядке?

Нелла ответила утвердительно, а мать все допытывалась:

— Так приедете ко мне на рождество?

— Ну конечно, приедем,— ответила Нелла, удивившись этому вопросу. Какое же могло быть рождество без поездки в Нехлебы? Кроме своих, они думают захватить еще двух детей, если мама не возражает. Потом Нелла спросила, какие есть поручения, ибо знала, что мать экономила на мелочах и никогда не звонила без дела, считая междугородный разговор роскошью.

— Никаких,— ответила мать.— Я вдруг почему-то забеспокоилась о детях. Смотрите не болейте!

И она повесила трубку.

КОРАБЛЬ И ЕГО КАПИТАН

В канун сочельника, после обеда, Нелла усадила своих детей и Ондржея с Руженой в старенький фордик, крепкую машину, которая наездила больше ста тысяч километров и трясется, как арба, но не поддается невзгодам и пользуется любовью всей семьи, и поехала в Нехлебы. Нелла уже давно обещала Елене и Станиславу совместную рождественскую поездку, но каждый раз этому мешала то чья-нибудь простуда, то плохое состояние дорог. В этом году не было ни снега, ни гололедицы, дорога была отличная, но, как читатель, наверное, уже заметил, Нелла не отличалась особыми способностями к управлению автомобилем: едва отъехав, она вспомнила беспокойные вопросы матери по телефону, и ей пришла мысль, что в пути может произойти какое-нибудь несчастье и что они не доберутся до Нехлеб. Боясь, что машину занесет, она не превышала «головокружительной» скорости в пятьдесят километров, над чем сзади посмеивался Станислав. Он был в радужном настроении: Прага за спиной, Ондржей с ним в машине. Станислав приподнимался с места, показывая сидящему впереди Ондржею различные достопримечательности, заслонял окно. Еленка дергала его за рукав. Станислав падал, как мешок, между двумя девочками, и Ружена все время заливалась немного деланным смехом. Телеграфные столбы Подебрадского шоссе летели им навстречу. Впереди были каникулы.

Настоящий дом Станислава и Елены — это Нехлебы. Там они жили в годы войны.

Они ехали Полабским краем. Снега не было. Декабрь стряхнул покров с пейзажа: обнажились жилы дорог, хребты деревьев, осклабились дворы. Красные трубы вонзались в белое небо из

черной равнины и извергали бурый дым. На поля, усеянные кучами фосфата, слетались вороны. Яркие рекламы у дорог провозглашали славу автомобильному маслу или готовому платью «Яфеты». Кругом голая равнина и полное безмолвие. Нигде ни души. Была среда, третий час дня. Нелле казалось, что вся Чехия вымерла.

Тополя поглотили дым скорого поезда, фордик подскочил, пакеты выпали из сетки на колени путешественников, машина свернула на проселочную дорогу. Мелькали колодцы, охраняемые изображением святого Яна. Около колодцев хлюпала слякотная грязь, в полях земля подмерзла. Дул ветер. Ондржей, сидевший рядом с Неллой, перевел рычаг скоростей — начался подъем. С минуту казалось, что они направляются прямо к маковке храма за холмом. Но храм остался в стороне, и они въехали в лес. Стало темнее. Все приняло темно-зеленый оттенок.

— Вот мы и дома,— сказал Станислав.

Проехав лес, ты уже ближе к Нехлебам, чем к Праге. Разница не в длине проделанного пути, а в природе. Воздух тут свежее и крепче, местность становится холмистой, она здесь стиснута в небольшие долины, поросшие хвойным молодняком. Вы уже недалеко от богатой форелями реки; ее еще не видно, но она уже чувствуется.

Машина миновала заповедник, замок и лесопилку. Было зеленое рождество, еловый лес стоял сероватый, дикий и безмолвный.

В дороге Ружену заставили залезть в мешок, подшитый рыжим кроличьим мехом, унаследованный от дяди-охотника, который согревался в нем, поджидая серну. Кроличий мех линял, и волоски от него было трудно счищать щеткой. В зимнем арсенале фордика был еще допотопный разноцветный плед, который Нелла и Станислав прозвали «павлином», и еще один — клетчатый, окрещенный «шахматкой». Посторонним были неизвестны все эти интимные словечки и ассоциации. Ружена долго сопротивлялась, прежде чем позволила упрятать себя в мешок. Она считала, что хороший тон требует, чтобы человек терпел неудобства.

Уже давно трудно было разобрать, где чьи ноги и на кого перекатится баул, если кто-нибудь двинет коленом. Никому не хотелось встать и навести порядок в этой стране мехов, дети вросли в свои места, как улитки. Сзади сидели трое, Станислав локтями упирался в девочек, все вместе подскакивали на ухабах. Начались каникулы, хотелось лениво потянуться, если бы только было место. В лесу Станислав начал петь и едва не прикусил язык; он так шумел, что у Неллы голова шла кругом. Ей было не по себе, и Ондржей отчетливо видел, как дрожат пальцы руки, лежавшей на руле. Ему хотелось оттолкнуть ее и сказать грубо-

ватым голосом подростка: «Пустите, где уж вам!» Эх, жить бы в Америке, где, говорят, мальчикам его возраста дают править машиной! Он показал бы, что такое скоростная езда, этой мадам с накрашенными губами, которая сидит рядом с ним, в шубе, у нагретого, пахнущего бензином мотора и обвораживает Ондржея чем-то таким, что заставляет его сидеть зачарованным и молчать. «Ага, и она вздрагивает, так ей и надо»,— думал Ондржей и вздрагивал сам.

«Скорей бы Нехлебы,— думала Нелла.— Если невредимыми доберемся домой, у меня гора свалится с плеч». Они проехали вокзал и повернули на мост. Вы вздрогнете от веселья и стужи, вспомнив пса Гука, который сам, без приказа кидается в эту речку, где скоро появятся льдинки, и плывет.

Они были уже почти дома. Незамерзшая река блестела, как нож, в закатном сумраке, когда свет синеет, прежде чем угаснуть. Промелькнула ткацкая фабрика Латмана.

— Ружена, ты такая модница, а небось не знаешь, что здесь делают ткани для самых дорогих галстуков, которые продают в Бухарест и в Париж.

От города Нехлебы до Верхних Нехлеб меньше часа ходьбы. Машина проехала городскую площадь, долго тянулись домики, крытые толем, в освещенные окна было видно, что делается внутри: мужчина снимает пиджак, дети сидят за столом, хозяйка, нагнувшись, подкладывает дрова и возится с посудой у плиты, на стене висит картина.

Поведение незнакомых людей, казалось, имело какой-то сокровенный смысл. На подоконниках лежали яблоки, валик и коклюшки для кружев, стояла бутылка с черешневой настойкой. Но в век шелка кружевниц становится все меньше, они поступают ткачихами к Латману.

На перекрестке лежит большой валун, приезжий шофер тут обязательно собьется с пути: надо взять налево от святого образка. Фордик Неллы перегнал велосипедиста, осветив его фарами. Были видны ноги, нажимающие на педали, и казалось, что велосипедист не двигается с места. Станислав и Елена опустили стекло, окликнули велосипедиста и помахали ему рукой. Густой голос что-то произнес за окном машины, и велосипедист остался позади.

— Это наш Поланский едет с работы.

Прежде чем свернуть к дому, Нелла дала троекратный сигнал, и дом ответил светом в окнах над лестницей, выходившей в сад, залаял пес, судя по голосу — громадный. Было слышно, как с трудом отодвигают ржавый засов. Дрогнули распахнутые ворота, на террасе показалась старуха без пальто, ветер развевал ее волосы. Ветка над забором стегнула по окну машины: дорога

вдоль сада была очень узка. Нелла знала эту ветку; в июне она станет пышной, на ней появятся цветы шиповника и множество пчел. Бóльшая часть дороги, поворачивавшей к дому, была окутана тьмой, машина прорезала ее фарами, был слышен собачий лай. У раскрытых настежь ворот маленькая женщина удерживала за ошейник рвущегося пса. Он тащит ее за собой, задыхаясь и воя от желания кинуться на маленький движущийся домик. Песок зашуршал под колесами, машина затормозила, и путешествие окончилось.

— Гук! Ты уже не узнаешь нас?

— Как вы тут жили без нас, пани Поланская?

— Да все так же. Ну и зима в этом году — ни снежинки! Ты вырос, Станя! А Еленку и не узнать, совсем невеста.

Эти фразы повторялись при каждом приезде с регулярностью обряда. Поланская начала выносить вещи из машины. Она положила на левую руку все пальто и, наклонясь на правый бок, шла, как тень, по саду, держа в правой руке тяжелую сумку.

За неосвещенным окном нижнего этажа виднелось большое старческое лицо. Не меняя выражения, оно созерцало прибытие гостей, словно это было театральное представление или словно на обязанности этого человека лежала охрана дома. Ружена внезапно заметила это лицо, поднимаясь последней по лесенке из сада. Кто такой этот старик?

Мать выбежала в сад и обнялась с Неллой. Она была совсем легко одета и обдала Неллу теплом тела, запахом хлеба, печи, родного гнезда. Массивная, рослая дама вела дочь и внуков, обняв их всех разом, и по всему вдовьему дому раздавались радостные возгласы и ее распоряжения. Через минуту в ней уже начнут бороться любовь к детям и любовь к порядку в доме, где дети все перевернут вверх дном. Как обманчив был голос в телефоне! Да разве мать стара! Она до сих пор принимает холодный душ, ходит по горам, по долам с волкодавом и одним своим словом заставляет его присмиреть. От ее шагов дребезжат стекла в доме, который она выстроила и где властвует. Говорят, что души людей возвращаются в мир по нескольку раз; душа старой дамы наверняка жила впервые на этом свете.

Сейчас она рассматривает дочь, свою девочку, которую не видела с летних каникул. Глаз матери не был острым. Но в нем была та сила, что поднимает дочь на желанную для матери высоту. Мать не замечала в Нелле того, что видели мужчины,— увядающей женщины, которая уже теряет собранность, начинает сдавать и примиряться со всем. Мать не замечала, что Нелла отцветает. А вот Еленка выросла и похожа на сестру Неллы. Бабушка гордилась такой внучкой. Она не видела старого Росинан-

та — разболтанный фордик — и в нем упавшую духом Неллу. Перед ней была молодая женщина двадцатого века, хозяйка собственной судьбы, которая добилась того, чего желала. Мать идеализировала историю ее любви к Гамзе. Каждый из нас, кроме своего будничного повседневного облика, с бородавками, некрасивым ртом, простуженным носом, организмом, подверженным капризам климата и пищеварения, существует еще в ином виде, более совершенном и светлом. Спросите у матерей, они вам опишут его. Старая пани была безмерно счастлива тем, что у нее была именно такая дочь, как Нелла,— она лучше всех. И мать радовалась встрече. Но вслух она сказала:

— А устрицы привезла?

Нелла опешила.

— О я несчастная! — воскликнула она.

— Так я и думала! Уж я тебя знаю. Вам только поручи что-нибудь! Я сегодня с шести утра на ногах, прямо голова идет кругом. Сегодня ставили тесто.

И она скороговоркой назвала всех, для кого нужно напечь рождественских булочек, особенно неприязненно отозвавшись о прабабушке, а потом перечислила все, что готовится к рождественскому столу — от рыбных блюд с лавровым листом до пунша и южных фруктов.

— Все до последнего ореха я доставала сама. Всю ночь мне сегодня все это мерещилось,— добавила она.— Вам-то что, вы приезжаете на готовенькое. Для этого я вам и нужна.

Она говорила запыхавшись и с раздражением. Елена, на лице которой появилось выражение первой девической серьезности, смотрела на бабушку с удивлением, просьбой и грустным недовольством. Взяв ее за руку, она ощутила учащенный пульс.

— Зачем ты все это делаешь, бабушка? — спросила Еленка.— Ведь нам все равно, чем ты нас покормишь.

Это было полное непонимание характера старой пани и унаследованного ею еще с довоенных времен стремления к совершенству во всяком деле.

— Знаешь что, девочка,— недовольно сказала бабушка,— когда меня не будет на свете, ужинайте в сочельник хоть сосисками с хреном. Это на вас похоже. По крайней мере, рук не придется приложить. Но пока я еще тут хозяйка... Поланская! — повысила она голос.— Ваш муж дома? Позовите его сюда, пожалуйста.

Поланский был уже дома и вскоре пришел в комнату бабушки. Это был неразговорчивый мужчина с добрым и вдумчивым лицом. Свои взгляды он высказывал преимущественно на собраниях. Его жена, садовница Франтишка Поланская, очень горди-

лась им, она держала в чистоте и порядке его одежду,— сразу было видно, что у человека заботливая жена. Детей у них не было, и она до сих пор звала его Вацлав. Но любовь не мешала ей забрать у него деньги и копить их про черный день. Она была из семьи кустарей-кружевщиков и в жизни не работала на фабрике. Вацлав служил у Латмана и возглавлял там рабочий комитет. Франтишка считала, что заседания комитета могли бы происходить и пореже, что профсоюзная работа отвлекает мужа от дома и он подчас слишком смело вступается за интересы других людей. Но она гордилась тем, что Вацлав — вожак рабочих, что без него дело не идет и что его все любят и уважают. Поланский состоял в той же партии, что и Гамза.

— Поланский,— быстро заговорила старая пани, нисколько не заботясь о том, что он только что вернулся с работы.— Садитесь, пожалуйста, на велосипед и поезжайте в Усти, в лавку Чернушака. Который сейчас час? Наверное, у них еще открыто. Кланяйтесь ему от меня и скажите, что мне нужны устрицы, два кило. Если у Чернушака не будет, загляните к Гауеру. В прошлом году, когда у нас были гости, в его лавке нашлись артишоки. У него хороший выбор, повар из замка тоже покупает у него. А если не будет и у Гауера, придется завтра утром съездить в Градец к Новаку, у того наверняка есть. Но что мы будем делать,— забеспокоилась старая пани,— что мы будем делать, если не достанем их нигде?

Деревянный дом походил на корабль арктической экспедиции, и он на полных парах шел к мысу «Сочельник». В трюме гудело, жужжало и вздрагивало: это электромотор, гордость дома, стоявший в подвале и зимой окутанный мешковиной, гнал воду в бак на чердаке,— ведь сейчас понадобится много воды.

— Пойдем, Ондра, я покажу тебе бак!

И сорванец в сапогах из моржовой кожи, пахнувших рыбой, помчался вверх по деревянной лестнице, которая вздыхала и скрипела под его ногами.

Станислав шумел за двоих. Он тащил из кладовки санки и лыжи, хотя день был сырой и промозглый. Пес рвался с цепи, готовый накинуться на какого-то продавца и бабу с корзиночкой в руке, которые входили с заднего крыльца, тщательно обтирая ноги, чтобы на наследить. Пришла Каменячка с заказанной еще осенью индейкой, которую откармливали рисом, чтобы мясо было нежным. Пришел Подборовак, что живет на хуторке у леса, и принес лукошко яиц желтоватого цвета, с особым привкусом: его куры пасутся в лесу и клюют можжевельник. Подборовак — это прозвище, настоящая его фамилия Поланский, как у половины жителей Нехлебского края, но никто не зовет его иначе, как по про-

звищу. А Калоусека, что живет у реки, прозвали «Речник». Речник приносит форель, о которой Станиславу до сих пор говорят, что ее присылает двоюродная сестра из Усти, так как, если Станислав проболтается, у Речника могут быть неприятности, а о бабушке будут говорить, что она пользуется услугами браконьера.

Держа в левой руке узелок, а в правой палку, пришедший останавливался перед кухней, где шипела плита, пахло ромом и жареным. Служанка Амалия бегала от духовки к вьюшкам, то отворяла их пошире, то опять прикрывала, хлопая дверцей. Когда ставилось праздничное тесто, Амалия повязывала голову белым платком, засовывала полотенце за пояс, и все в доме, от елки, запах которой носился в темноте, до внешнего вида разгоряченной Амалии, говорило о рождестве. Бабушка, как капитан, отдавала приказания по телефону в «кочегарку», но иногда не выдерживала и сама бежала на кухню. Она критиковала приносимую провизию и выторговывала грош. Потом приглашала поставщика к кухонному столу и приказывала угостить его рыбой, кофе и рождественской булочкой.

Ружена пренебрежительно поглядывала на фартук старой пани: такой она могла видеть и дома, на своей маме. К шумливости Елены и Станислава, на которых были носки из козьей шерсти и намазанные салом башмаки, она относилась также скептически. Перегнувшись через перила, юные Гамзы кричали друг другу всякие глупости и хохотали на весь дом. Через открытые двери слышалось потрескивание натопленной печки и шум воды в ванной. Все это совсем не было похоже на благопристойную тишину отеля «Риц», его холл с пальмами, невидимый лифт, поднимающий гостей всех национальностей и профессий. Ружена однажды относила пряжку в номер супруги испанского дипломата. В пространство между двойными дверьми протянулась рука в шелковом оранжевом рукаве, взяла пряжку и исчезла. Снежное поэтическое рождество существует только на открытках, а утонченные люди там, где нет Ружены. Поланская, подавая чай, задерживается в столовой дольше, чем этого требует хороший тон, торчит у стола и болтает. И похоже, что она не проявляет к Ружене того внимания и услужливости, какие подобает оказывать гостье. Из мужчин здесь пока только дядя Франтишек, брат старой пани, толстяк в зеленом костюме, похожий на лесничего. Кто бы сказал, что он служит в министерстве! Он вернулся с прогулки уже после приезда Неллы с детьми и, когда она вошла в столовую с обеими девочками, спросил сестру, кивнув на Ружену:

— Кто эта красивая девица?

Старая пани в упор глянула на брата и сказала:

— Возможно ли? Ты не узнаешь нашу Еленку?

С этого момента она угощала Ружену с той беспокойной настойчивостью, какую обычно проявляла к несимпатичным ей людям.

Вся компания взялась украшать рождественскую елку. По правде говоря, старая пани наслаждалась этим обычаем больше молодых внуков. Спать легли довольно поздно. В половине второго ночи Нелла, долго читавшая в постели, заметила свет на материнской половине, встала, накинула халат и пошла к матери.

Мать сидела за большим письменным столом с зеленой лампой, напоминавшей о временах старой Австрии. Глядя на этот стол, Нелла вспоминала отца, умершего десять лет назад, и видела его в такие моменты более отчетливо, чем даже на портрете. Старая пани подняла от книги расходов голову, всклокоченную, но еще не поседевшую, и посмотрела в сторону дверей. Очков она не носила, но смотрела словно сквозь очки. Глаза на ее лице походили на лежащую восьмерку.

— Мамочка, что ты делаешь? Почему не спишь?

— Все равно мне не уснуть,— коротко отозвалась мать,— вот и подсчитываю расходы.

— Сейчас? От этого ты и вовсе не уснешь.

— Днем на такие дела нет времени,— сказала старая пани.— Ты не представляешь себе, сколько хлопот с этим рождеством. И вообще. Вы ведь ничего не знаете.

«А к чему все это?» — хотела сказать Нелла, как днем Еленка, но, зная мать, промолчала.

На длинном, наискосок стоявшем столе топорщился раскрытый сшиватель бумаг, лежало несколько зеленых и красных бухгалтерских книг, хорошо знакомых Нелле. Толстое вечное перо, память об отце, мать держала, как маленький револьвер. Она сидела за столом массивная, плотная, одинокая — словно камень посреди речного потока. Казалось, она забаррикадировалась заботами и хочет остановить время.

«Здесь не проехать»,— испуганно думает Нелла. Торопливо и безотчетно она дергает руль вправо, потом влево, колеса буксуют, и машину вдруг заносит. От судорожной хватки у Неллы еще болят руки... И вдруг она просыпается с ощущением человека, которому показалось, что он споткнулся во сне. Свежее белье благоухает, в комнате лежат солнечные блики, какие бывают только в Нехлебах. Возле спят обе девочки, через коридор слышно мерное дыхание спящей матери. По всему телу Неллы разливается блаженство и облегчение. Она снова крепко засыпает. Дом-корабль везет всех сквозь тьму в грядущее.

Поросята неблагодарные! Бабушка чуть не потеряла свою хрупкую, любимую, единственную Неллу, когда та рожала вас, она на вас не надышится, мы вместе нянчили вас с колыбели, но эти цыгане ничего не помнят. Зато как шумно радуются они приезду отца, прибывшего с самым поздним поездом, в последний момент, когда семья готова была сесть за ужин без него. Ловко ты, Петр, умеешь набить себе цену. Ну ладно, хорошо хоть, что приехал.

Настоящий мужчина не ведет себя шумно — шумны дети и женщины, существа импульсивные. Мужчина не спешит, но при нем спешка усиливается.

Слышно, как в кухне быстро мелют кофе, хотя время для этого самое неподходящее. Старая пани входит с чашкой дымящегося пунша для продрогшего гостя. Ружена одевается к ужину, и у нее не слушаются пальцы, не застегиваются крючки, горят уши. Встреча с Гамзой пугает ее, ей хочется произвести на него самое выгодное впечатление. По дому вьется табачный дым — признак мужчины, а из комнаты Гамзы доносится легкий запах кожи.

— Папа, у тебя браунинг с собой? Покажи. Он заряжен? Нет? Давай я тебе его почищу.

Что ни говорите, а праздники только тогда полноценны, когда мужчина входит в дом. Ондржей хмурился и казался себе отверженным, видя, как радуется Нелла. Ведь у него, Ондржея, не было отца.

Гамза приехал ненадолго. Деревянный дом сияет огнями, а за его пределами, в темных дебрях широкого мира, развиваются события, о которых здесь узнают только из газет и позабывают о них вместе с газетой, оставленной на дне корзинки для шитья. Гамза приходит из мрака, где что-то происходит, и он не говорит об этом, но на нем лежит печать этих событий. Старой пани хочется положить ему руку на плечо, удержать его в кресле, сказать: «Посиди с нами! Не исчезай прежде, чем мы успеем оглянуться!» Трудно определить, что владело ею сильнее — ревность к «страшному человеку», который, вернувшись с войны, вторично отнял у нее дочь, а теперь и внуков, или желание не отпугнуть его. Она ходила вокруг него на цыпочках и с пальцем на губах, а ведь он подрывал устои жизни людей из таких деревянных усадеб. Мысль о том, что, например, Поланский и его жена могут иметь равные с нею права, показалась бы старой пани дикой, если бы у нее вообще было время подумать об этом среди хлопот о кухне, саде и расходах. Она тщательно хранила в столе перевязанные

ленточкой газетные вырезки с заметками о всех выступлениях Гамзы и от души ненавидела его оппонентов, хотя крайне смутно представляла себе, о чем шел спор. Она считала своего мятежного зятя частью того целого, что составляли для нее дочь, внуки и деревянный дом, и поэтому встречала его с распростертыми объятиями.

Все стояли вокруг стола, взявшись за спинки стульев, готовые одновременно занять свои места. Если кто-нибудь опоздает, тому суждено умереть в течение года; старая пани, хотя и не очень верила этой примете и слегка стеснялась своей суеверности, все же считала, что лучше, из предосторожности, не искушать судьбу, и следовала этому старому обычаю, однако он не сберег ей мужа, по которому она до сих пор носит траур.

Счастливого и веселого рождества! А почему бы и нет, Гамза? Мало кто бывает пророком в своей семье.

Во главе стола, как полагается, посадили прабабушку. Когда она входила в столовую, Ружена с ужасом узнала в ней старика, чье лицо она видела в неосвещенном окне. Гигантская старуха двигалась, как тело без души. Не меняя сердитого выражения лица, она прошла среди ожидающих ее близких так, словно была здесь одна, безразличная к приветствиям и улыбкам. Не потому, что она не замечала их — старуха до сих пор видит без очков часы на храме и слышит любой шорох,— но сейчас она молчала, занятая процессом ходьбы: ковер от двери до ее кресла был путем, который нужно пройти без помех; старуха опасалась, что кто-нибудь подойдет к ней, заговорит и помешает. Она шла без палки и держалась прямо. Голова ее на широких плечах была словно каменная. Медлительность, с какой эта восьмидесятилетняя старуха реагировала на окружающее, поражала всех. Руки она немного растопырила, чтобы они не болтались при ходьбе. Она шла как каменное изваяние, шла туда, куда послал ее волшебник. Наконец она добралась до стола, осторожно, по-старчески уселась, взяла ложку и, не сказав ни слова, сосредоточенно стала есть все, что ей накладывала Неллина мать.

Старая Витова заботилась о прабабушке, своей свекрови, с подчеркнутым и враждебным усердием, она говорила не с ней, а о ней, будто о ком-то, кого не было в комнате. Она выбирала для нее лучшие куски и накладывала ей тарелку с верхом, твердо, до обиды уверенная в хорошем аппетите старухи, которой все это пойдет на пользу. И старуха действительно съедала все. Она ела часами, медленно поднося ко рту куски. Иногда казалось, что рука с ложкой остановится в воздухе и окаменеет. Далеко от тарелки до рта! О господи, как велики все расстояния для человека, когда он стар! Еще и сейчас заметно, что лицо прабабушки когда-

то было красивым, но несколько примитивным: душевный мир этой женщины составляли простейшие человеческие чувства.

Сейчас лицо прабабушки исказилось и приобрело сердитое выражение, ибо старуха плохо понимала окружающее, ей трудно было вести себя на людях так, как в старые времена.

Иногда она все же улыбалась правнукам, и чем старше они становились, тем это случалось реже, и не потому, что она старилась, а потому, что маленькие были ей ближе. По ее улыбке, робкой, беспомощной, было ясно, что старуха без любви доживает свой век в деревянном доме и в минуты душевного просветления страдает от этого. Ее как бы держали в вате, никто никогда не говорил ей худого слова, но враждебность, не выраженная словами, резче выявлялась в жестах и интонациях бабушки, когда она говорила о старухе. В чем же она провинилась, бедняжка? В том, что пережила своего сына, отца Неллы. Пани Витова не могла простить такого нарушения очередности.

— Скажи, почему именно ему суждено было умереть? — твердила она Нелле, сердито всхлипывая, хвалила покойного, его ясный ум и сердечность и горевала, вспоминая, что он умирал в полном сознании конца. Об этом она рассказывала часто и таким тоном, словно во всем была виновата прабабушка.

— А она... прогуливалась в саду, вокруг зонтика у нее обвился уж, и она принесла этого гада в комнату... я чуть с ума не сошла: змея в доме! Полапская убила змею... а она даже не знала, что он умер, и только удивленно улыбнулась. Ты ведь ее знаешь. Воистину, некоторые люди счастливы! Ты думаешь, что ее тронула папина смерть? В тот вечер она улеглась, как всегда, в семь часов и отлично спала. Да ведь ты помнишь, ты сама была здесь. Хоть из пушек пали — ее не разбудишь! Для нее всего важнее не волноваться и не повредить своему здоровью,— говорила бабушка Витова со злостью, которой не знала за ней Нелла. И каждый раз Нелла с тоской думала, что мать и сама не так уж молода, чтобы жалеть старуху.

В том, что Гамза мало зарабатывает, что приходится платить большие налоги, что в саду померзли розы — во всем этом, по мнению Неллиной матери, каким-то таинственным образом была виновата «она». Мать никогда не называла старуху иначе, как «она» или «та».

В прабабушке были воплощены все семейные беды, и бабушка терпеть ее не могла. Своей безмятежной невозмутимостью старуха выводила ее из себя.

Прабабушке всю жизнь приходилось уступать людям, и теперь она вознаграждала себя за все. Она росла сиротой у тети и дяди, которые ее муштровали, потом вышла замуж за вдовца, бед-

ного чиновника, отца трех взрослых дочерей, и те командовали ею. После смерти единственного сына она доживала свой век у невестки, окруженная недружелюбной заботой. За долгие годы, прожитые в деревянном доме, никто не помнил, чтобы она что-нибудь сказала о хозяйстве или хоть пошевелила пальцем. Ложку, бывало, за собой не уберет, пушинки не сметет с платья. Все знали, что она такая. «И как она может, как она может!» — твердила пани Витова, дрожа от негодования. Но прабабушка, прожившая трудную жизнь, наполненную свирепой экономией и погоней за каждой копейкой, отказывавшая себе в еде ради того, чтобы дать образование сыну, и работавшая столько, что Неллина мать, вечно занятая и всегда располагавшая прислугой, и представить себе не могла,— эта прабабушка теперь отдыхала. Если запаздывал обед, прабабушка, не говоря ни слова, начинала ходить по дому и скрипеть дверьми до тех пор, пока не подавали на стол. Вечером она не зажигала света, заявляя, что на нее не стоит расходовать электричество, и не поддавалась ни на какие уговоры. Днем, в перерывах между едой, она сидела, глядя в окно, наблюдая за погодой и за тем, кто входит в дом и кто выходит из него, что несет входящий, как он сюда попал, звонил ли, кого ему нужно, куда он пойдет потом и заперли ли за ним дверь. В каждом прохожем она видела вора. Все чужие, все, кто не составлял ее семьи, были у нее на подозрении. Выйдя из бедной семьи — ее сын лишь позднее стал состоятельным,— она уважала только богатых или в крайнем случае влиятельных людей; сама она сейчас получала скромную пенсию. Ей не нравилось, что с ними сегодня сидят какие-то чужие дети, Ондржей и Ружена. Она считала, что у детей Неллы с этими не может быть общего языка. Но она держала свое мнение при себе, как и большинство своих наблюдений, ибо была осторожна и скрытна, и, даже занятая едой, сторожко выжидала, скоро ли эти чужаки навредят *их* Еленке и *их* Станиславу.

Дети сидели на одном конце стола. Перед самым ужином они вернулись с прогулки, оживленные от мороза. Станислав сиял, он был еще весь в движении, болтал, перескакивая с одного на другое, ему хотелось, чтобы нигде не было обиженных и оскорбленных. Почему бабушка третирует прабабушку, будто она неживая, и почему прабабушка не хочет признавать его друга, который молча сидит возле Елены, ерзая на стуле? Лад и мир нужны были Станиславу, как воздух. Он страдал, когда между людьми не было согласия.

— Прабабушка! — воскликнул он через весь стол.— Знаешь, Ондржей дома сам сделал электромотор. Что ты скажешь об этом? Понимаешь, сам! Он очень способный электротехник!

— Замолчи, ради бога! — процедил Ондржей.

Прабабушка медленно обратила взор на Станислава.

— Так, так...— сказала она глухим голосом.— Ты хороший мальчик, Станичек.

И она снова принялась поедать устрицы, которые пани Витовой все же удалось раздобыть, соблюдя, таким образом, традицию и порядок.

— Вы извлекаете из ракушки эту гадость, слизняка, похожего на кусок вареной резины, и это как раз и есть деликатес,— поучал Ружену дядя Франтишек. У него уже покраснел нос и блестели глаза: приятно сидеть за столом с хорошенькой девушкой, неискушенность которой очаровательна. А Ружена готова была, как Золушкины сестры, отрубить себе пальцы ног или пятку ради того, чтобы быть в высшем обществе; подавив отвращение к слизняку, она проглотила его, запила вином и радовалась, как после успешно сданного экзамена.

Очевидно, из-за выпитого вина Ондржею казалось, что его собственный голос раздается издалека и что не его, а чья-то чужая рука держит забавную маленькую вилочку. Приборы на столе были для Ондржея неразрешимой и гнетущей загадкой. Пальцы тянулись выщипывать крошки из лежавшей на салфетке белой булочки, но куда девать эти крошки? Стоило пошевелить ногой, и рюмки на столе звенели. Накрытый стол был подобен ловушке, которую расставили женщины. Гамзы сидели как раз напротив Ондржея, и мальчик не знал, куда девать глаза: ему было стыдно за Неллу. Будничная Нелла принадлежала детям. Сегодня она явилась полуобнаженной и накрашенной, и совершенно чужой мужчина, Гамза, который обычно находился где-то вдали и был скорее понятием, чем реальным существом, сидит тут, подле ее обнаженных плеч и спины, а Станислав и Елена ведут себя так, словно в этом нет ничего особенного. Густой голос Гамзы, его волосатые руки вызывали у Ондржея злость на Неллу. Она вела себя за столом непринужденно, и Ондржей злился на мать за то, что она уговорила его поехать в Нехлебы. Что, если вскочить на стул и громко выругаться? Что бы они сделали?

Блюдо с рыбой уже обошло вокруг стола, и все отведали судака, мясо которого — послушайте только дядю Франтишка! — отличается благородной сухостью и вкусом напоминает молодые орехи, когда робкий Ондржей вдруг бросил вилку, выскочил из-за стола и как ошпаренный выбежал из столовой. Станислав стрелой кинулся за ним.

Ондржей подавился, кость застряла у него в горле, он задыхался. Слезы застилали ему глаза. Картину с охотником, висевшую в передней — еще дымящееся ружье, лиса убегает, оставляя

кровавый след,— он видел как в тумане. Глаза Ондржея налились кровью, на шее вздулись вены, вид у мальчика был ужасный. У Неллы подкашивались ноги при мысли о матери Ондржея. Все столпились около него. Кто-то с опозданием советовал заесть хлебом. Гамза призывал к спокойствию. Ондржей хрипел, извивался и задыхался, а перед глазами у него стоял образ ребенка из Льготки, подавившегося картофелиной. Умереть так смешно и жалко на глазах у любимой женщины! Уже не построю я автоаэрогидро... Прощай, мама!

Елена, не терпевшая суматохи, вышла в переднюю последней. Ей пришло в голову ударить Ондржея по спине. Кость продвинулась в горле, и мальчику полегчало. Еще удар — и кость выскочила. Ондржею даже не верилось, что он жив. Картина с охотником и лисицей снова приобрела ясные очертания. Все происшествие длилось несколько минут, но бедняга Ондржей и перепуганные зрители готовы были поклясться, что прошли часы.

— Ну и номер! — облегченно вздохнул Станислав, но его возбуждение еще не улеглось, и он вертелся около приятеля, который, повернувшись к зеркалу, ощупывал свое пострадавшее горло. Ондржею было немного неловко, что он не погиб.

— Чего не смотришь, что ешь? — напустилась на брата Ружена, стараясь, чтобы все ее слышали.— Смотри, как напугал мадам, вон как она побледнела. Не желаете ли стакан воды, *сударыня?* Я сбегаю.

Гамза взглядом смерил девушку с ног до головы и отвернулся, будто увидев что-то, о чем он уже давно знал, потом взял Ондржея за плечо и повел его в столовую. Ружена замерла на месте, зарделась и сжалась. Что она наделала? Ведь ей хотелось проявить благодарность.

Все вернулись в столовую. Она была похожа на комнату, из которой разбежались гости: пустой стол с остатками еды, беспорядочно сдвинутые стулья. За столом одиноко сидела прабабушка и доедала картофелину с маслом. Когда все выскочили, она по привычке выглянула через распахнутые двери в переднюю и, убедившись, что подавился не *их,* а чужой мальчик, осторожно закрыла дверь и безмятежно вернулась на место.

Нелла и Еленка наперебой заводили речь о машинах и других вещах, которыми увлекался Ондржей, Гамза разговаривал с ним, как со взрослым, но ничто не помогало. «Утешают меня потому, что я подавился»,— думал Ондржей. Он был не так глуп, чтобы не понять этого. Опасность миновала. Осталась только жалкая смехотворность случая, безнадежно оскандалившего и уронившего Ондржея в глазах этой накрашенной женщины, заманившей его сюда, чтобы посмеяться над ним.

Перед тем как раздавать рождественские подарки, Нелла взглядом отозвала мужа в сторону: «На минутку!» Гамза вышел за ней в библиотеку и, осторожно закрыв дверь, чтобы не прищемить Неллино длинное платье, усмехнулся. Они так хорошо понимали друг друга! Он сказал, прежде чем она успела раскрыть рот:

— Милая девочка, ни гроша! — и положил руку ей на плечо.— Только-только на дорогу до Праги.

Но Нелла была настойчива.

— Мне не хочется настаивать, но...

Гамза пошарил по карманам безупречно сшитого пиджака. Нашлась мелкая купюра.

— Устроит тебя это?

— Ладно,— сказала Нелла с облегчением,— остальное я займу у Елены, ей вчера прабабушка дала денег. Елена поймет, я, конечно, верну ей этот долг.

— Но когда?

— Неудачное рождество!

— Докатились!

Они рассмеялись, чтобы рассеять горечь момента, и вернулись в столовую.

Старая пани удовлетворенно созерцала собравшихся. Нелегко было собрать всех их, но вот они здесь, под ее крышей. Вместе со всеми она глядела на сверкающую елку, и в свете елочных огней ей виделись глаза, которые когда-то отражали эти огни, но уже давно закрылись.

Станислав, все существо которого протестовало против тихой элегии, зажег бенгальский огонь.

Бабушка позвала чету Поланских, чтобы, по установившемуся обычаю, вручить им рождественские подарки. Поланские вошли, не закрыв за собой дверь в коридор, давая этим понять, что, как всегда, считают себя прислугой. Несмотря на приглашение, они не подошли к зажженной елке, словно боялись переступить воображаемый шнур, отделяющий древние экспонаты в музеях. Ондржей стоял вместе с ними в стороне.

Гамза вышел в опустевшую столовую и ходил там, заложив руки за спину, хмурый. Он «отбывал» семейное торжество. Когда Поланские шли из библиотеки, где раздавали подарки, он остановил Поланского и заговорил с ним о делах рабочей организации на фабрике Латмана. Поланская тенью промелькнула мимо них.

Еленка отошла от Ружены и пересекла просторную столовую, где висели клубы табачного дыма. Она улыбнулась отцу, подошла к окну, стукнула по плохо поддавшемуся шпингалету, слегка при-

открыла раму. Гардина заколебалась от свежего воздуха, почти осязаемо проникавшего в комнату,— казалось, можно было нарисовать эту струю.

Елена остановилась около отца и Поланского.

— Ты что, девочка? — спросил Гамза и погладил ее по голове.

— Ничего,— ответила она, качаясь на каблуках, и потерлась лицом о его рукав, как делала, когда была совсем маленькая.

Гамза изредка повышал тон на Станислава, но на дочь никогда. У них была одна кровь, одно дыхание. Двое мужчин и Елена смотрели на картину, открывшуюся их глазам в прямоугольнике двери, как в раме, елка с рядами догорающих свечек, и фигурой младенца Христа наверху; старая бабушка уставилась на елку, в руках у нее мокрое полотенце — на случай, если дерево загорится; сияющий Станислав и хмурый Ондржей листают альбом почтовых марок; дядя Франтишек беседует с Руженой, она смеется и вертится на стуле; Нелла с выражением скуки поправляет какое-то украшение на елке, сзади в кресле прабабушка, как на троне, в руках у нее подарки — часы и вязаная жакетка, и старуха не знает, куда их деть.

— Вам тоже, наверное, кажется глупой эта рождественская комедия, а, пан Поланский? — спросила Елена.

Поланский медленно усмехнулся.

— Что ж,— сказал он тихо и долго после этого гасил свой окурок,— у старых людей свои привычки. Хотят дожить век по-своему.

— Гляди! — прервав Поланского, крикнула Елена отцу и, подбежав к окну, быстро закрыла его.— Откуда она у вас, пани Поланская?

Поланская, которая ходила припрятать от мужа полученные в подарок деньги, вошла, осторожно прикрыв одной согнутой ладонью другую. Она остановилась посреди столовой и подняла одну руку. На ладони у нее ярким треугольником неподвижно сидела прекрасная бабочка.

— Верно, попала в подвал с дровами... когда мы осенью возили дрова из Водсеховского заповедника... Вылупилась, бедняжка, зимой.

Бабочка пошевелила усиками, потихоньку разомкнула крылья, взмахнула ими и полетела по комнате — удивительная, неправдоподобная рождественская бабочка, словно появившаяся по воле фокусника. В нее не верилось. Из библиотеки прибежали посмотреть на бабочку. Она не летела к лампе, как ночные мотыльки, а кружила по комнате, будто в солнечном саду.

— Думает, что весна,— сказала Поланская.

Так повелось искони: сколько помнили себя дети Гамзы, все чудесное в деревянном доме приходило из подвала, где хозяйничала Поланская, там она закутывала в мешковину мотор — гордость дома, оттуда выносила дрова и уголь, дававшие тепло. Розы, живые розы, свежие, как снег, которые сегодня украшали стол, Поланская срезала в бутонах еще перед первыми заморозками и сохраняла их в погребе до рождества. Заметили вы веточку черешни в комнате девочек? Поланская срезала ее в день святой Варвары; сегодня эта веточка расцвела. У Поланской в подвале спит весна — там полно луковиц и клубней для сада; около зачарованной весны, у окна с решеткой сидит Поланская и вяжет кружева. Над головой у нее скачет чижик в клетке, у ног, свернувшись, спит Гук; если на дворе метель и вьюга, его впускают в дом. Над дверью черного хода свили себе гнездо ласточки, которые возвращаются сюда каждый год.

Бабушка велела подать фисташковый крем — просто объедение! — и другие сладости. Все ели много, ели уже просто от скуки. Но надо остерегаться, чтобы не переесть, а то завтра на вас от несварения желудка найдет черная меланхолия.

Нелла проводила прабабушку в ее комнату, ибо случалось, что старуха путала дверь. Прабабушка проявляла некоторое беспокойство — признак того, что она хочет что-то сказать.

— Слушай, пойди-ка сюда,— неприветливо начала старуха и закрыла за собой дверь, потом оглянулась и откашлялась.— Когда дети сегодня танцевали под граммофон,— молвила она глухим, неживым голосом,— эта чужая девчонка прижималась к Станичке. К чему это? Ты этого не позволяй. У нее уже такие формы... Я хорошо вижу вдаль. Я все вижу. Покойной ночи.

Когда все расходились спать, Ондржей подошел к старой пани и Нелле, принужденно поблагодарил их и объявил, что завтра уезжает. Станислав, которому Ондржей обещал пробыть в Нехлебах все каникулы, издал удивленное восклицание и, протестуя, вскочил с места.

— Тебе не нравится у нас? — спросила Нелла, взяв Ондржея за руку и укоризненно глядя ему в глаза.— Чем мы тебя обидели?

Ондржей покраснел и через обнаженное плечо Неллы упрямо уставился на картину с охотником и лисой в заснеженной Сибири.

— Не вы меня обидели,— сказал он, отнимая руку,— а я вас. Вам со мной одни неприятности. Мне у вас не место.

В нем говорила гордость, и он чувствовал себя так, будто снова проглотил кость.

— Вот чудак,— сказала Нелла таким тоном, каким обычно говорила с детьми.— Разве ты не видишь, что мы тебя любим?

Вот так они всегда. Всегда вас уговорят и вывернутся.

И Ондржей остался, но Станислав был неспокоен: Ондржей одной ногой был где-то в другом месте, Станя терял друга детских лет. А это был отличный, редкий товарищ, годом старше, замкнутый и независимый, не похожий *ни на кого из их класса и даже из всей гимназии.* И Станислав шумно выражал свои чувства, стараясь всех заглушить и перекричать.

— Твоя затея не удалась, девочка,— сказал Гамза Нелле, когда они остались наедине.— Зачем ты привезла сюда Урбанов? Это же не решение проблемы,— добавил он, нахмурясь.

— Да я ничего и не собираюсь решать,— защищалась Нелла.— Я просто думала, что это доставит им удовольствие.

— Это доставило удовольствие только нашим детям, а чужим здесь было не по себе. Ты ведь и сама это видишь. А кстати, Елене и мне эта девчонка неприятна. Подожди, она еще выкинет что-нибудь.

— Как ты думаешь,— ответила ему Нелла, казалось бы вне всякой связи с предыдущим,— буду я такой, как мама и бабушка, если доживу до их лет? Я хотела бы жить сто лет, но не так, не так... И наверное, так же думает каждый, а потом... Знаешь, мне совсем не хочется спать.

— Мне тоже,— отозвался Гамза.— Переоденься быстренько, и пойдем проветриться. Пойдем, Нелла!

— Как давно,— сказала Нелла, когда они шли вдвоем в тишине,— мы не гуляли вместе! Жизнь летит очень быстро...

— Страшно быстро. Но не говори об этом.

ПОДКОВА НА СЧАСТЬЕ

Старая пани отвязала волкодава, взяла плетку и палку и вышла из дому. Нелла крикнула ей из окна:

— Подожди, я пойду с тобой! Сейчас спущусь!

Старая пани посмеивалась в саду:

— Что с тобой, Нелла, здорова ли ты? Я тебя не узнаю: так рано? Ну конечно, мой свисток стащили мальчишки.

Те, у кого не было школьных каникул — Гамза, дядя Франтишек и Ружена,— уже уехали в город. Было раннее утро первого дня после рождества. Бабушка собиралась на свою обычную прогулку.

— А ты не устанешь? — не без иронии обратилась она к дочери.— Я пойду до самого монастыря. Я, голубушка, каждый день хожу три, а то и пять часов.

Едва они вышли из ворот, к дому повернул мотоциклист в кожаном костюме и крагах. Ого, он останавливается как раз около них! Поставив одну ногу на землю и перекинув другую через седло, он поднялся с машины, с бравым видом приложил руку к шлему и подошел к дамам. Это был архитектор Мразек из Усти, он приехал осмотреть дом, к которому весной предстояло пристроить веранду.

Вернуться с пути — плохая примета. Бабушка, если забывала взять что-нибудь, обычно кричала через забор Поланской, и та приносила ей забытую вещь. Но сегодня пришлось вернуться. Она вынула из сумочки ключ, отперла дверь и вернулась вместе со строителем, который выглядел очень лихо в своей куртке и крагах и не подозревал, что приехал невпопад. Бабушка очень любила всякие перестройки, и в доме постоянно что-нибудь строилось.

— Только смотрите уложитесь в смету,— зычно сказала она, снова появляясь на крыльце в своей дорожной юбке.— Весной возьмемся за дело.

И, крепко тряхнув строителю руку, она зашагала по хрустящему песку. Мразек повернул мотоцикл, мотор затрещал в морозном воздухе, и ездок, похожий на нарочного, пересек освещенную часть дороги и исчез. Прабабушка глядела на него из окна.

— Могла бы и *она* принять за меня этот визит,— не удержалась от замечания старая Витова.— Все равно ведь сидит дома. Но куда там, разве *она* сделает что-нибудь! Ей бы только свое удобство. Обо всем должна заботиться я!

Едва они вышли на дорогу, как им встретился мясник Гыкш на своей повозке, запряженной рыжим мерином Фрицеком. Оставив Неллу, бабушка преградила ему дорогу. Мясник в фиолетовых рукавицах остановил коня, подтянул вожжи и, наклонясь с козел, слушал, что заказывала ему старая пани, и кивал головой.

— Ты совсем как отец,— сказала мать, вернувшись к Нелле.— Вот не любил, когда я задерживалась. Уж ему, бедняге, приходилось ждать меня! Что поделаешь, вам с этим не управиться. Погоди-ка, я еще...

Она зашла в калитку к садовнику поместья, мимо которого они как раз проходили, и пропала там на четверть часа. Нет, ничего особенного, она хотела лишь узнать, не продаст ли он цветной капусты.

Потом они пошли дальше. Перед ними бежал пес. Бабушку и Неллу знала вся округа. Уже не первый год существует республика, и графиня из нехлебского замка уже не графиня, ее на-

зывают так только из вежливости. Уже не первый год существует республика, но я не могу умолчать о том, что старая пани Витова, проходя деревней Нехлебы, отвечала на приветствия своих поставщиков голубей, ягод и грибов с неповторимым радушием и несколько свысока, как будто своим подданным. В этот мирок, такой маленький, словно вы смотрите на него в перевернутый бинокль, мать Неллы, когда-то горожанка, навсегда укрылась после смерти мужа. Она приняла на себя ответственность даже за климат своего края и считала *своим* промахом, недостатком гостеприимства к внукам то, что в этом году, как назло, не было снега.

— Ручаюсь, что, как только вы уедете в Прагу, его навалит на полметра. Вот увидишь! Нашей семье всегда не везло. Почему ты смеешься? — спросила она как-то по-детски.

Когда они проходили мимо квартала небольших вилл, мать сжала руку Нелле:

— Поверни на мост. Нам навстречу идет капитанша. Надо с ней разминуться. Только бы пес к ней не подбежал.

Нелла удивилась. Мать всегда была в хороших отношениях с этой дамой.

— Вы что, поссорились?

— И не думали. Просто мне в последнее время так надоели люди, ты представить себе не можешь. Болтают такие пустяки, что голова идет кругом. Не хочу говорить ни о чем, кроме дела. Никто мне не нужен.

— И мы тоже?

— Только вы и нужны мне, обезьяна! Одних вас хватает по горло.

— Если ты не против, давай пойдем медленнее, я не могу так бежать в гору,— схитрила дочь.

— Тренировки нет! — гордо сказала старая пани таким тоном, как говорили ее внуки, и не без удовольствия остановилась.— Не спите по ночам, а когда светит солнышко, вы в кровати. Живете шиворот-навыворот.

Дочь не ответила. Обе слушали, как невдалеке, где-то в поле, ветер колебал жестяной образок девы Марии. Нелла и мать смотрели друг на друга, как смотрят два путника, остановившиеся перевести дыхание. Старуха улыбнулась усталой и счастливой улыбкой. Было холодно, и Нелла видела, как у матери дыхание вырывается паром изо рта.

— Красивое пальто у тебя, Нелла,— сказала мать и притронулась к одной из пуговиц. И в этих обычных словах как будто было заключено какое-то иное, глубокое содержание.

Прибежал пес с высунутым языком и, дыша как паровоз, остановился около старой пани. Она поправила гребнем свои растрепавшиеся волосы и снова двинулась в путь. Чем дальше они отходили от дома, тем больше забывала бабушка свои заботы и ей было легче идти, как путнику без ноши. Ее нервозность исчезла, свежий воздух словно обновил ей душу. Те, кто созерцает на экране торопливую жизнь нашего века, кто танцует под лай граммофона и негритянский барабан, те, кто все еще живет во власти страстей, те не знают, что единственное благо — это свежий воздух, к которому стремится сердце, бедное загнанное сердце, ибо ему возвращает равновесие этот воздух, насыщенный озоном.

Дорога к монастырю идет от богадельни, мимо кирпичного завода. Можно часами идти по просторным лугам, пересеченным оврагами и косогорами, постепенно переходящими в холмы, кое-где покрытые лесом. Сверху открывалась широкая даль. Там и сям стояли одинокие сосны, изогнутые, как молнии. Край под вами словно в вашей власти. Холмистый край без снега походил на юбку нищенки, всю в заплатах. Ряды узловатых верб тянулись по течению реки, которая прорезает котловину, поворачивая на запад. Две кривые линии аллей пересекали поля. Видна была шахматная клетка пашен, сходившаяся в перспективе, зеленоватая озимь посевов, простиравшаяся по холмам до самого леса. Холмистый пейзаж поднимался и опускался, как чередуются строфы в песне, как дышит человек. Белые деревеньки лепятся вокруг костелов. Солнце особенно ярко освещало светлые оштукатуренные здания под розовыми черепичными и серыми шиферными, словно нарисованными, крышами. Вот торчит труба ткацкой фабрики Латмана, вон там имение Кальна, где мы берем молоко, дальше Полом, где цыгане убили трактирщика, Лоречек, знаменитый своим знахарем,— говорят, он возвращает слепым зрение,— Вытонь, Захлуми и Скоп. А на самом горизонте, в дымке, главный город края. Старая пани, запыхавшись от подъема, называла места и показывала хлыстом. Она была из поколения романтических туристов и не переставала восхищаться своим краем. Молодость жаждет перемен. Нет, не надо их: только хорошо знакомое мы любим полной мерой. Пани Витова никогда не владела угодьями в этом краю и все же считала его своим. Если бы вы слышали, каким снисходительным холодным тоном она, вернувшись из поездок в другие края, говорила о тамошней природе, вы поняли бы ее пренебрежение и ревность ко всем остальным областям республики.

— Как здесь хорошо! — произнесла Нелла почти покаянным тоном.— У нас впереди еще целая неделя, я буду ходить с тобой каждый день, мамочка.

Обещания недорого стоят, мать знала свою дочь. Но ее и это порадовало.

— Когда-нибудь,— сказала она, как бы, в свою очередь, делая уступку любимой дочери,— я хочу еще попутешествовать. В молодости я недолго засиживалась на одном месте. А здесь сижу как прикованная. Кто знает,— продолжала она в веселом озорстве, которое находило на нее и в преклонном возрасте,— может быть, я продам домишко, покончу со всем хозяйством и поеду странствовать. Вот бы все удивились! А что бы *она* сказала! — добавила мать, намекая на бабушку.

— Таких слов я от тебя еще не слышала, мамочка. А чему ты смеешься?

— Когда я была девочкой,— ответила старая пани,— и твой дедушка уезжал в Хухле,— в те годы это была дальняя поездка! — я его спрашивала: «Куда ты собрался?» А он отвечал: «На кудыкину гору». Бог весть почему мне вспомнилась сейчас эта прибаутка.

Какой стоял замечательный день! Горы были невиданно синими, облака бежали, меняясь, как стая весенних ласточек.

Какие всюду свежие краски, как далеко видно вокруг, будто пелена спала с глаз! «Почему я никогда не замечала всего этого,— твердила себе Нелла,— почему?»

— Знаешь что,— задумчиво обратилась она к матери,— хорошо стареть!

— Ну, как сказать,— возразила мать.— Маленькие дети — малые заботы, большие дети — большие заботы. Выходят замуж, вводят в дом чужих людей, страшных людей. А потом внуки и...

— И какие замечательные внуки,— вставила Нелла.— Но я имела в виду не твою, а свою старость.

— Свою? — Старая пани даже остановилась посреди дороги.— Ты с ума сошла!

Мысль о том, что ее дочь стареет, впервые дошла до сознания матери и ошеломила ее. Для матерей, за юбки которых мы цеплялись, мы всегда молоды. Слова Неллы даже рассердили старую пани.

— Я не хотела бы снова стать молодой,— сказала немного погодя Нелла.— Сейчас я вполне счастлива.

— Как ты можешь говорить это! — воскликнула мать. Она нахмурилась и как-то погрузилась в себя.— Мне становится страшно за детей при мысли об этом,— укоризненно продолжала она.

В этот момент какой-то металлический предмет на дороге звякнул под ее палкой. Нелла нагнулась.

— Смотри! — весело проговорила она и показала находку.— Подкова на счастье.

— Не потеряй! — предупредила мать.

Нелла и мать вернулись поздно, и Ондржей, привыкший дома обедать рано, изнывал от голода, разумеется, не признаваясь в этом. Станислав и Елена шумно упрекали мать за опоздание.

— Уж вы молчите! — засмеялась бабушка, хмельная от воздуха и гордая своей выносливостью в дальней прогулке.— Кто из нас никогда не приходит вовремя, а, Станя? Кого приходится искать по всей деревне? Могу же и я один раз позволить себе прийти, когда мне вздумается?

На послеобеденное время была намечена поездка в город Нехлебы, на текстильную фабрику Латмана, где бабушка хотела купить «девочкам», как она называла Еленку и Неллу, ткани по фабричной цене. Разница с магазинной ценой едва покрывала издержки на бензин для поездки и вообще была пустяковой, если вспомнить о «Яфете», но бабушка была высокого мнения о товарах нехлебской фабрики. Она попросила Еленку разбудить ее в условленный час и поднялась к себе, чтобы, как обычно, отдохнуть после обеда.

Деревянный дом затих среди ясного зимнего дня. Корабль плыл с севера на запад, солнце светило в библиотеку, где в одиночестве сидела Нелла. Двери в столовую были открыты, и к Нелле проникали запахи ее девичьих лет: пахло нагретым деревом, слегка плесенью и пылью, отцовскими книгами, хвоей, ванилью. О, эта опрятность, скука и пустота девичьих дней! Неопределенность ожидания! Молодость похожа на блуждание в зеркальном лабиринте, где никак не поймешь, какая фигура настоящая. Насколько лучше сейчас, насколько яснее!

Вон там стоит ушастая китайская ваза, Нелла боялась нарисованных на ней китайцев, когда была маленькой, и даже не входила в комнату, где стояла ваза. Часы в соседней комнате — они не слышны, когда в столовой говорят и ходят люди,— сейчас вышли из состояния немоты, и стук их напоминал походку старого чиновника, сухонького и деликатного; часики на руке Неллы весело тикали, словно они лежали на скрипке. Такая тишина среди бела дня! В этой прозрачной тишине, когда отчетливей проступает движение времени, вспоминается все, что было и что есть, и далекое и близкое. Нелла одновременно видела перед собой и умершего отца, и первого мужа, и студентку Новотную, оплаканного покойника и исчезнувшие призраки. В блаженном состоянии она стояла спиной к огню и смотрела в окно. В саду мальчики катались на велосипеде. В тенистом углу сада Еленка с фотоаппаратом подстерегала друзей и, заслонив видоискатель ладонью, готовилась снять их в движении. Нелла глядела на смуглое лицо строгой Елены, которую она немного побаивалась,

Люди на перепутье

и на розовое, цветущее лицо Станислава, за которого всегда немного беспокоилась. Сейчас на велосипеде едет чужой мальчик Урбан, это не интересует Неллу, она перевела взгляд на ковер. Под лучами солнца ожили его узоры, памятные Нелле еще с детства: большая ломаная дуга, похожая на ворота в святую землю, крестики, сходные с ножками насекомого, шестиугольники — Нелла называла их «кривые колечки» — с цветочком внутри и длинные, тонкие ветви древа жизни, причудливо изогнутые линии, целые заросли, из которых выглядывали таинственно подмигивающие существа. Ковер не был симметричен ни по форме, ни по рисунку, и он не кончался, а продолжался, как шествие или повествование о семьях, которые его ткали, о семьях, которые ходили по нему... Из глубины дома слышались стук посуды и протяжное пение Поланской; кочегары корабля были на местах. Обе пары часов тикали, словно стремились обогнать друг друга. Иногда из сада долетали высокие и звонкие молодые голоса и, как ласточка, натыкались на двойную раму. На велосипеде Станислав, он спускается вниз по дорожке. Вот он стал на седло и, удерживая равновесие, раскинул руки. Выпрямившись, мальчик ехал стоя. Нелла вздрогнула, остро ощутив, что рослый мальчик, который, подняв голову, едет там, в саду, когда-то был частью ее существа. Исполненная материнской гордости, она следила за рискованным трюком. Слава богу, наконец-то ты снова опустился в седло, озорник. Теперь можно подойти к окну, постучать в стекло и погрозить Станиславу пальцем. Мальчик едва оглянулся на мать, его плечи вздрагивали от смеха, и он неторопливо, с самым невинным видом колесил по изгибам дорожки. Завтра он опять выкинет за моей спиной то же самое. Дети, взрослые дети — какое это чудо! Уже не живые кусочки мяса, вся забота о которых ограничена пеленкой и кашкой, а взрослый сын, молодчина, силач, который играючи поднимает вас на руки. Как бледны были девичьи сны, и как животворна действительность! Жизнь цветет, но это не ваша заслуга... О каком разочаровании ныли старые книги молодых лет? Мы вместе, мы искали друг друга и нашли, почва ускользала у нас из-под ног, но мы удержались. Сияние зимнего дня! Нелла была довольна жизнью и ничего лучшего не желала.

В столовую вошла Елена. Нелла взглянула на часы и вспомнила, что пора ехать на фабрику.

В этот же момент прабабушка, как всегда сидевшая у окна в своей комнате первого этажа, увидела, что Поланская выбежала из ворот и — ах, нерадивая! — не заперла за собой калитку.

Елена не крикнула на ходу, зачем она пришла, как обычно делали дети Гамзы. Она шла быстро и молча, словно чем-то рас-

серженная. «Почему она такая красная? — подумала Нелла.— Уж не поссорилась ли опять со Станиславом?»

— Мама, иди наверх, бабушка умерла,— отчетливо сказала Еленка, подойдя близко, и тогда только лицо ее исказилось.

— Это неправда, это невозможно! — закричала Нелла. Она уже бежала по лестнице; споткнулась, упала, увидела бронзовую лестничную стойку, загнувшийся ковер, лестницу, подымающуюся вверх в каком-то новом, непривычном ракурсе. Поднявшись, она бросилась наверх, зная, что это правда, бессмысленно повторяя слова дочери, что она, «к счастью, послала за доктором», и думая, что «нельзя врываться туда так стремительно, это испугает маму, а испуг вредит сердцу».

Больное сердце бабушки! Об этом все знали уже десять лет. Из-за него она была оживленнее, чем другие, здоровые люди.

Нелла переступила порог. Мать, как обычно одетая, лежала на диване, глаза закрыты, на губах и на лице ни следа агонии. Лицо даже красивее обычного. Это-то и худо... Из руки у нее выпала газета. Зачем мертвецу газета! Вещи словно издевались над мертвой. На ноги наброшен «павлин» — плед, который Нелла привезла в своем фордике... рождественская поездка... Та самая, когда Нелла так боялась, чтобы машину не занесло. Насмешливая черточка около губ и легкая таинственность сомкнутых век, как всегда во сне. Ах, как Нелла знала это лицо, как знала! Она нагнулась над матерью. На левой щеке покойной синело пятнышко, словно сквозь закрытые двери и застекленные окна кто-то проник сюда в дом, полный людей и солнечного света, поставил свою печать и ушел. Пятнышко было похоже на ожог молнии.

Еще в половине третьего Поланская, которой принесли какую-то снедь, поднялась наверх, чтобы спросить бабушку, брать ли товар — без спросу покупать было нельзя,— но, услыхав, что старая пани спит, отошла от двери и не стала беспокоить хозяйку. А через полчаса Елена пришла будить бабушку и уже не застала ее в живых.

После бесконечных попыток вернуть тело к жизни, на которых Нелла настаивала со всей силой веры неверующих, врач, их старый знакомый, почтенный человек, надел пиджак и подал осиротевшей обе руки. Нелла остановилась у дверей, посмотрела в сторону дивана и сказала робко:

— Поглядите, ведь она дышит.

Врач опустил руки, соболезнующе посмотрел на Неллу, поклонился Елене и вышел.

Елена, плача, крепко обняла мать.

— Я знаю, мне тоже так показалось. Это оттого, что у тебя сильно бьется сердце.

— Оставьте, пожалуйста, меня с ней,— прошептала Нелла упрямо, подтолкнула Елену к двери и недружелюбно посмотрела дочери вслед.

Опустившись на колени около дивана, она взяла еще не остывшую руку, такую бесконечно знакомую, поправила волосы матери и прошептала ей на ухо:

— Дорогая моя, что ты с нами делаешь? Мамочка, это я!

Нелла была единственной дочерью.

Мать не откликнулась на ее зов.

В коридоре шепотом советовались дети.

— Что нам делать с мамой? — говорила Елена испуганным мальчикам.— Ты ведь знаешь, она не из сильных. Все еще думает, что можно ее воскресить, не хочет верить, что она умерла...

Станислав был бледен как смерть.

— Это неспроста,— сказал он, глубоко вздохнув.— За этим что-то кроется. Она была не так стара, чтобы умереть во сне. Это надо расследовать. Кто знает, что здесь...

— Умоляю тебя, не болтай вздора,— почти с ненавистью процедила Елена и подтолкнула брата к лестнице.— Я тоже очень любила ее,— продолжала она, всхлипывая.— Но сейчас надо позвонить в Прагу, а то в пять часов закроется почта.

— Когда отец приедет сюда, маме будет лучше,— сдерживая слезы, сказал Станислав. И он пошел к прабабушке, которую, как ему казалось, всегда отстраняли и забывали.

Старуха сидела у себя в комнате и ела; она слышала, что пес рвется с цепи и воет, и опасалась, не пришли ли цыгане. В окно она видела приход и уход доктора, но не узнала его, хотя он не раз бывал в доме. Заметив суматоху, прабабушка несколько раз высовывала голову в дверь, но люди пробегали мимо, и никто не обращал на нее внимания.

Убитый горем Станислав вошел и сразу объявил о случившемся. Старуха как раз поднесла чашку ко рту и сделала глоток. Струйка кофе перелилась через край чашки и чуть не стекла на пол. Старуха поддержала ее ложечкой, опустила ложечку в чашку, потом осторожно поставила чашку на блюдце.

— Да что ты! — сказала она и не тронулась с места. Она смотрела на мальчика, как ему казалось, в растерянности, словно ожидая, когда он уйдет. Но так только казалось.

— Побыть мне с тобой, прабабушка? — спросил Станислав, упорно стараясь передать старухе свое горе и ошеломленность. Он чувствовал, что это не удается.

— Садись, садись, Станичка,— дружелюбно произнесла прабабушка.— Посиди, а то унесешь мой сон.

Мальчик сел. Старуха молчала, погруженная в свою странную

растерянность, и смотрела на столик с едой. Потом, как по велению высшей силы, она протянула большую темную руку за хлебом с маслом, нарезанным мелкими кусочками, и начала медленно, старательно жевать. Окончив еду, она спросила ласково:

— А когда похороны?

Ондржей и Елена ждали телефонного разговора с Прагой. Смеркалось.

— Я хотел бы вам помочь, но только мешаю всюду,— сказал Ондржей.— Елена, ты прямой человек, скажи откровенно: будет лучше, если я соберусь и уеду прямо сегодня?

— Только не уезжай! — с неожиданной живостью ответила Елена, потянула его за руку и усадила обратно на стул.— Я верю, тебе кажется, что ты здесь лишний, но... останься, Ондра. Пусть нас тут будет побольше... Пора уже зажечь свет.

Ондржей встал и повернул выключатель.

К Елене вновь и вновь возвращалось неотвязное видение: она идет будить родное, милое сердцу живое существо, но оно недвижимо... Елена прислушалась. Ей показалось, что кто-то ходит наверху.

— Ну, что же они там, на почте,— нахмурившись, сказала она и завертела ручку телефона.

Поланская пришла наверх помочь Нелле, они обмыли и убрали покойницу. Причесывая мертвую мать, Нелла нашла в ее коротких упрямых волосах хвою и обломок сухой веточки — память о сегодняшней прогулке. На столике, под рукой, возле звонка, лежала подкова на счастье. «Уж никогда я не скажу этого»,— подумала Нелла, вспоминая детство и свои сегодняшние слова о подкове.

Детям подобает оплакивать родителей. Но поведение Неллы было каким-то странным, будто у нее помутился разум. Она думала вслух и один раз сказала: «Мне кажется, что я ее убила».

Я совсем не хочу сказать, что члены семьи Гамзы старались выделяться среди других людей или ставили себя выше их. Но все же выходцы из высших классов во всем остаются верны себе, и горе у них проявляется как-то преувеличенно.

Когда покойницу убрали, Поланская промолвила:

— Теперь оставим ее в покое. Такая легкая смерть. Пойдемте, сударыня.

С каждой минутой, с каждым ударом часов — они без устали тикали в деревянном доме — лицо мертвой становилось все дальше от жизни, все дальше от дочери и ближе к предкам... А быть может, к потомкам. Лицо покойницы опадало, подтягивалось, она спешила в иной мир.

«Красивое пальто у тебя, Нелла. Красивое пальто...»

Станислав и Елена во что бы то ни стало хотели вместе с матерью дождаться отца, но мать упросила их идти спать, твердя, что ей надо побыть одной. Она настаивала так нетерпеливо, что дети уступили и, против ожидания, быстро и крепко уснули, измученные слезами. Нелла не спала, ожидая мужа, который должен был приехать ночным поездом. С сухими глазами она сидела внизу, в просторной столовой, и снова вспоминала весь ход событий дня до последней солнечной и счастливой минуты, когда она наблюдала в окно за Станиславом, катавшимся на велосипеде. Такая счастливая, блаженная минута! Нелла вскочила, заходила по комнате, сжав виски руками при мысли, что в то время, как она была переполнена счастьем, этажом выше, у нее над головой, умирала мать. И она не знала об этом! Что, если еще можно было спасти умирающую? А она пальцем не пошевельнула. Все упустила! Как обманула ее подкравшаяся смерть! Когда началось все это?

Нет, обмана не было, смерть открыла свои карты. Когда по телефону раздался издалека старческий голос и их прервали, это мать звала ее к себе, чтобы дочь была рядом в час ее смерти. Что побуждает нас играть в прятки с самим собой? Положить голову на подушку и радоваться, что счастливо доехали и что фордик не занесло?

Нелле вспомнились все упущения и промахи, все, что она должна была сделать, но не сделала. Она видела себя и мужа, бродивших по свету, избегавших нехлебской идиллии; в Нехлебах они оставляли только детей. Беспокойная совесть, столь свойственная людям в первые минуты утрат, напомнила ей даже о пустяках, вроде забытых устриц... О боже, на что мы тратили время! Большая часть жизни ушла на устриц, «Яфету», простуды детей, денежные дела взрослых! А времени было так мало, так мало!

— Что случилось? — вскрикнула Нелла, ибо двери вдруг отворились, и ей показалось, что кто-то входит с новой страшной вестью о смерти. Нелла вскочила.

— Я испугал вас? Я не нарочно,— сказал, входя, Ондржей.— Не сердитесь, мне не спится. И я решил, что вас тоже не надо оставлять одну...— глухо произнес он.— Но я уйду.

Однако он подошел к ней.

— Ондржей,— тихо промолвила Нелла. Она впервые заговорила с ним после *того*. Она хотела что-то сказать, но не смогла и отвернулась.

И Ондржей увидел, как, закрыв лицо руками, заплакала, согнувшись от горя, та самая пани Гамзова, которая мазала губы, курила, плохо управляла машиной, носила узкие, тесные платья,

вела себя за столом с подавлявшей Ондржея непринужденностью, сидела рядом с Гамзой, у которого был густой голос и волосатые руки, ходила, куда ей вздумается, и решала судьбу своих детей. Плечи у нее дрожали, тело судорожно содрогалось, вся она была придавлена скорбью. Ондржей видел покорную шею там, где начинались волосы, и слышал рыдания и дыхание женщины. Ему захотелось прижаться губами к обнаженной шее и обнять эту женщину. Он ужаснулся своей испорченности. Так стоял он, беспомощный, около плачущей Неллы Гамзовой. Она села на ближайший стул, прижала платочек ко рту и тонкими пальцами другой руки водила по стене перед собой.

— Вот видишь,— монотонно говорила она.— Эта стена останется, дерево останется, весь этот нелепый дом останется как ни в чем не бывало.

«Побуду у нее до утра, чтобы с ней ничего не случилось»,— подумал Ондржей. Колени у него подкашивались.

— Не зря я боялся спящих людей,— произнес он хрипло и уселся на крайний стул, подальше от Неллы.

— Спящих?

— Не следовало бы вам этого рассказывать,— продолжал Ондржей и рассказал, как умер его отец, как они приехали в Прагу и он не давал матери спать, будил ее всю дорогу, боясь, не умерла ли она.

— Тогда я, конечно, был еще ребенком,— добавил он, словно извиняясь.

Нелла глядела прямо перед собой, и неясно было, слышит ли она Ондржея. Потом она вдруг сказала все тем же монотонным голосом:

— Чего бы человек не дал за то, чтобы жизнь была вечной.— И было странно, что она говорит так, думая о загробном мире.

— Я знаю, что это невозможно,— тихо отозвался мальчик.

Нелла впервые за все время поглядела на него и улыбнулась так, что у Ондржея сжалось сердце.

— Мой бедный мальчик! — проговорила она.— Мы сами не знаем, как мы жалки!

ПРОЩАЙ, ПРАГА!

Хозяин пивной «На небе» несколько раз справлялся у Анны Урбановой, куда она собирается пристроить сына после того, как тот кончит школу. Он, хозяин, мог бы взять мальчика в ученики. Тоника призвали на военную службу, с осени он уйдет в армию. Если Ондржей немного запоздает, не беда, хозяин пока справится один. Ондржей расторопен и нравится хозяину, а кроме того,

хозяин знает его семью. Это образцовая семья. Все женщины, приходившие в бакалейную лавку, рассказывали Анне Урбановой, как хозяин пивной хочет заполучить Ондржея. Анна была не прочь, дело было за мальчиком. В пивной работа не тяжелая, Ондржей будет сыт, до дому два шага, и сразу начнет получать чаевые. У хозяина пивной не было детей; кто знает, вдруг он полюбит мальчика и отпишет ему свое заведение. То-то было бы счастье! Ондржей, конечно, не останется до конца своих дней в этой дыре. Он женится на владелице хорошего трактира, а потом приобретет вокзальный ресторан. Анна приглядывала бы за персоналом, чтобы не воровал. Она уже представляла себе, как сидит за буфетом, одетая в вязаный жакет, рядом с ней сифоны, пирамиды из шоколадок-пралине, две большие стойки с апельсинами и букеты искусственных цветов. Зеркала отражают всеми любимую старую хозяйку, которая так энергична, несмотря на свои годы. Приборы звякают о фарфор, монеты падают на мрамор, Анна Урбанова перехватывает резиночкой и убирает в кассу связку зеленых кредиток, новых, красивых, словно выглаженных, проводит кончиками пальцев по их благородной, гладкой поверхности. Ключи она всегда бы носила с собой... Если человек всем пожертвовал ради детей, он заслуживает благодарности.

Но Ондржей засмеялся, когда мать заговорила о пивной.

— Ничего лучшего для меня не придумали? — сказал он.— Плохо вы меня знаете.

Школьный год близился к концу. На магазинах Казмара появились объявления:

Юноши!

Кто хочет стать на собственные ноги с четырнадцати лет?

Кто хочет не изнурительной работы, а труда, достойного человека двадцатого столетия?

Кто хочет получить образование и не увеличивать собой количество безработных пролетариев умственного труда?

Кто хочет управлять машинами?

Кто хочет познать мир?

Кто хочет научиться преуспевать?

Тот поступит в школу молодежи на предприятиях Казмара в Улах.

Там вы получите образование! Там вы себя обеспечите!

На фотографиях рядом было показано, как живет молодежь Казмара. Вот группа крепких парней играет в футбол, у каждого на груди эмблема СКУ [1]. На всех спортивные костюмы от «Яфе-

[1] Спортивный клуб Улы.

ты». На заднем плане громадное, почти сплошь стеклянное здание — копия универмага Казмара в Праге. В правом углу объявления — портрет Казмара, хорошо знакомый по газетам и почти превратившийся в торговую марку: энергичный мужчина с крупными чертами лица, маленькими глазами и рысьими бровями щурится от солнца. Мужественная личность, голова вождя, особенно притягательная для мальчика, который рос без отца. Казмар поднимет его, как магнит, поможет ему выйти в люди. Ондржей не намерен обрасти мохом в бабьем болоте.

Мальчик внимательно прочитал, какие документы требуются для того, чтобы быть принятым в Улы, сколько мест в интернате и чему учат молодежь Казмара. Оказалось, можно получить самую разнообразную квалификацию: прядильщика, ткача, чертежника, закройщика, портного, работника рекламного отдела, механика, электротехника.

В конце объявления говорилось:

Мы не требуем от вас ни гроша, только дисциплины и энергии. На себя вы заработаете с самого начала. Нам не нужны маменькины сынки. Нам нужны настоящие мужчины.

«Казмар — «Яфета» — Улы».

«Вот оно»,— сказал себе Ондржей и с обычной своей скрытностью начал собирать документы, необходимые для поступления к Казмару. Он не обмолвился об этом ни одной живой душе, пока все не было готово. Только бы все выпускники городских школ не вздумали ехать в Улы и не перебили ему дорогу! Но боязнь конкуренции со стороны пражан была напрасной: они не хотели ехать в провинцию, они руками и ногами держались за столицу, даже если жили в районе кладбищ и лачуг. Не забывайте, что тогда еще не наступило время мирового кризиса. На рабочую силу был спрос, и работалось легко.

Когда Ондржей объявил матери, что он уезжает из Праги в Улы и что это уже окончательно решено, Анна бессильно опустилась на стул и минуту сидела, не говоря ни слова. Потом она сказала низким и словно чужим голосом:

— К Казмару? А помнишь, как у тебя украли корзинку перед самым его магазином? Смотри, пожалеешь!

Ондржей, как взрослый, спросил, какое отношение имеет одно к другому, и больше не проронил ни слова. Он сложил в чемоданчик последние школьные учебники и щелкнул замком. У матери брызнули слезы. Вытирая их, она все плакала и говорила:

— Мужа у меня взяли на войну, так мы и не пожили вдоволь вместе, а домой вернулся — сразу помер. Осталась я с двумя

сиротами. Чего только не вытерпишь, бывало, во время войны, пока достанешь чем вас накормить, как я маялась, сапожки даже вам тачала. Поглядишь кругом — у всех кавалеры, все бабы гуляют с мужиками. А я отдала детям лучшие годы. А дети — не успеют вырасти, как скорей из дому. Так и глядят, как бы из дому убежать! Я ради тебя переехала в Прагу, а ты уезжаешь! Ну и езжай себе, беги, никто тебя не держит! — Она склонила голову на стол и горько заплакала.— Вот она, ваша благодарность за все...

— Не плачьте, мама. За что вы меня упрекаете, я же ничего плохого вам не сделал!

Мать подняла голову, схватила Ондржея за руку, как маленького, и сказала, всхлипывая:

— Да ведь без тебя будет пусто, и ты у меня вечно будешь перед глазами.

Ондржей спросил несмело и с любопытством:

— Так вы меня любите?

— Глупые, глупые дети!

Анна обняла сына за шею и крепко прижала его. Ондржей был удивлен и немного смущен. Он не знал, что мать может быть такой.

— А что, если...— начала робко Анна,— что, если узнать у электротехника, там за углом, нельзя ли поступить к нему? — Уж если Ондржея так тянет к электротехнике, она, мать, понимает это...

Ондржей нахмурился и покачал головой. Скрестив руки, он стоял в полутемной кухоньке, бледный, с выдающимся упрямым подбородком, похожий на борзую, уже юноша. Он шел к будущему, а женщина, думал Ондржей,— это бремя, берегись женщин!

А мать все горевала: мужчина хочет уйти, вечно хочет уйти. Наверное, она сильнее их самих, эта тяга в мир.

Ондржею было очень интересно, что скажет Нелла Гамзова о его отъезде. С той ночи в Нехлебах, когда они остались одни в большой комнате и Ондржей видел Неллу надломленной и подавленной горем, ему казалось, что он подсмотрел то, чего не должен был видеть. В этом было нечто интимное, словно он увидел, как она раздевалась, словно она стала для него женщиной без имени и он получил какие-то права на нее, и эта интимность стала нерушимой. Но Нелла Гамзова, одетая в траур, ходила по своей пражской квартире, говорила с детьми обычным тоном, как будто ничего не помнила. И Ондржею хотелось отомстить ей за это. Он мечтал как-нибудь уязвить пани Гамзову. Что она скажет, узнав, что он уезжает? Задрожат ли ее ресницы,

побледнеет ли она, дрогнут ли ее руки, как тогда, во время рождественской поездки в Нехлебы? Кто знает, не волновала ли ее тогда близость Ондржея? Ондржей тешил себя выдумкой, в которую сам не верил, и снова и снова представлял себе печальную Неллу в своих объятиях.

Но весть об отъезде Ондржея и прощание с пани Гамзовой прошли незаметно, буднично — не так, как ожидал Ондржей. Так бывает с событиями, которым мы в душе придали особое значение, приготовились к ним, выделили их из повседневной череды фактов, а они проходят буднично и бесцветно в детской семейства Гамзы.

— Итак, ты уже большой и выходишь в мир,— просто сказала Нелла и дружески поглядела в глаза Ондржея.— Как летит время! Когда ты к нам пришел в первый раз, ты был еще вот такой.— Она показала рукой. (Нелла явно ошибалась, он был тогда выше.) — Постой-ка, знаешь, что мне пришло в голову? У меня в Улах есть знакомый — директор Выкоукал. Если хочешь, я охотно могу тебе...

— Я не за этим к вам пришел,— обиделся Ондржей.

— Это мы знаем, дурачок,— сказала Нелла.— Мы знаем, какой ты гордый. Ну, как хочешь, извини, я предложила это от чистого сердца. Желаю тебе успеха, Ондржей. А когда поедешь на праздники домой, не забудь, что Нехлебы лежат на пути из Ул в Прагу, и заезжай к нам. Мы будем рады; верно, Станя? Мы тебя любим, правда?

Она слишком открыто говорила о своих теплых чувствах к Ондржею, вот что было плохо. Она обращалась с ним, как с ребенком. Неуязвим образ любимой! Он как поверхность ртути: удар по ней — и она снова смыкается, легко и непостижимо, и даже капли живого сказочного серебра не осталось у тебя на руке. Теперь она для него вся в прошлом, и пора отвернуться от этого прошлого.

— Кто знает,— сказал Станислав, стараясь обмануть свою грусть,— кто знает, не появлюсь ли я в один прекрасный день в школе молодежи Казмара?

Елена подняла его на смех:

— Ты, недотепа? Представляю себе! Ты — у станка!

— В Улах,— добавил Ондржей, строго глядя на товарища, хотя эта строгость относилась к матери Станислава,— в Улах не требуются гимназисты.

В дверях мальчики столкнулись с Гамзой.

— Счастливого пути, приятель! — воскликнул он вслед Ондржею.— Не позволяй закабалить себя у Казмара. Там умеют

согнуть человеку спину, погоди — сам увидишь! Смотри не превращайся в казмаровского выродка!

Мрачное напутствие Гамзы испортило настроение Ондржею. Ей-богу, адвокат никогда не нравился мальчику. Оставайтесь со своим Гамзой, который вами так мало интересуется, пани Гамзова. Обойдусь и без вас. Вот погодите, я вернусь из Ул знаменитым изобретателем, а не таким человеком, как ваш директор Выкоукал! Тогда будет поздно, я не захочу даже смотреть на вас.

Как бы там ни было, верх одерживает тот, кто уходит в новую жизнь, а не тот, кто погряз в старой. Прощай, Прага.

ОГНИ ГОРОДА УЛЫ

Яркий свет проник в окно вагона. Ондржей открыл глаза. У самого вагона он увидел широкие фабричные окна и большой цех, в котором виднелись контуры громадных машин. Чья-то тень мелькала за огромными окнами, человек нагибался, выпрямлялся и снова склонялся, словно осматривал что-то. Вокруг было темно, и все это походило на видение. Ондржей вскочил на ноги, испугавшись, что проедет Улы, схватил чемоданчик. Какая-то женщина в платке, повязанном по-монашески, певучим, убаюкивающим говором успокоила его: пусть, мол, сидит, надо подождать еще минутку, к тому же поезд идет только до Ул. «К Казмару? — допытывалась она.— Очень вы молоденький».

Ондржей выехал из Праги накануне вечером. Сейчас было раннее утро, еще темно. Пока он клевал носом, пассажиров прибыло, множество людей село в вагон на последних станциях; молодежь, женщины — все ехали на работу к Казмару.

Ондржей в полной готовности стоял у дверей, чуть вздрагивая от утренней стужи и нервного ожидания, и смотрел вперед. Поезд медленно двигался, и сверкающий куб здания был виден, казалось, сразу с фасада и с боков. Внутри лампионы, словно мишени, отмечали этажи; для путешественника, смотревшего из окна поезда, эти огни смещались и как бы поворачивались, а когда Ондржей зевнул, вереницы огней подпрыгнули у него в глазах и превратились в дрожащие спирали, похожие на отражение в воде.

Поезд проехал мимо каких-то складов и медленно двигался от заводской ветки к вокзалу. Линия железной дороги, проложенная еще до того, как Казмар построил свои фабрики, снова стала удаляться от города. Внезапно из-за поворота выскочили коробки фабричных зданий, похожие на огромные игральные кости.

Фабрики и небоскреб мелькнули в темноте, как освещенный негатив. Это было очень красиво — Улы на фоне гор выглядели как-то неправдоподобно, как неоновая реклама или макет с выставки.

Мы живем в двадцатом веке, и поезда ежедневно по расписанию приходят в Улы, и все же кому не знакома эта легкая дрожь, смутное изумление, сохранившееся в нашей душе еще с детских лет или унаследованное от дедушки! Оно появляется всякий раз, когда мы подъезжаем к месту своего назначения: итак, это действительность, а не сон, мы в самом деле доехали. Да, Ондржей! Ты путешествуешь один, ты уже взрослый.

Ондржей дышал полной грудью, он с гордостью думал о великолепных перспективах. Будто он сам создал этот город электрических огней, эту «Америку». «Так вон они, Улы! Что вы на это скажете?» — мысленно обращался Ондржей к Нелле Гамзовой и, сжимая в руке дешевый чемоданчик, думал о своем блестящем будущем, которое виднелось за окном вагона. Поезд замедлил ход, так что на длинных заборах можно было прочитать громадную надпись:

За гроши гардероб на целый сезон.

Платье делает человека.

Здоровый дух...

Нам не терпелось вместе с Ондржеем поскорей доехать до Ул; и вот, когда он уже на месте, ему почти больно оттого, что ритм поезда замедляется и становится прерывистым, юноша со вздохом вспоминает свой давний приезд в Прагу, и сиротливое чувство, знакомое всякому приезжающему, охватывает его.

Поезд остановился.

— Черт побери, ну и холод, братцы!

Ондржей вдохнул студеный воздух гор с примесью бензиновых паров и запаха новых тканей — так пахнут только что купленные, еще не стиранные носовые платки — и, спрыгнув на перрон, стряхнул с себя дорожное настроение: конец песням, что пел поезд,— и смешался с толпой.

В каждом новом месте воздух сохраняет для пришельца особый вкус. Позднее привыкаешь, и это ощущение теряется. Рабочий поезд прибыл на вокзалишко, который не соответствует масштабам Казмара и, откровенно говоря, даже не приличествует его городу. Погодите, Хозяин перестроит вокзал, когда купит местную железнодорожную ветку, об этом уже идут переговоры с государством.

Вместе со всеми Ондржей пошел к фабричным корпусам. Никаких других имен, кроме Казмара, в Улах нет, и все дороги ведут

к его фабричным воротам. Рабочий не болтлив, а сельский житель и подавно. Все шли на работу молча. Было темно, а шли тысячи людей. Они приезжали не только поездом, многие выходили из автобусов, слезали с дребезжащих колымаг, съехавшихся из деревень на асфальтированную площадь перед казмаровским кооперативным магазином, где шоферы согреваются, попивая — увы! — только цветочный чай, ибо Хозяин не разрешает алкогольных напитков, а в Улах все принадлежит Хозяину. Множество велосипедистов, мигавших рубиновым стоп-сигналом, пешеходы из улецких пригородов — все, сливаясь в один поток с приезжими, устремлялись к главным воротам. Там поток разделялся на несколько рукавов, турникеты считали людей, как слепой пастырь овец, и девять контрольных часов звякали, словно вокзальные автоматы для перронных билетов. Рабочие один за другим на ходу отбивали свои листки. Ондржею это особенно понравилось, этакий привычный жест, каждый делает его машинально.

Ондржей поднял воротник, как все, и ему страшно захотелось быть одним из этих людей... Но сейчас ему не оставалось ничего, кроме как подождать, пока схлынет толпа и освободится привратник, у которого можно спросить, куда обратиться. Люди шли без конца, лица, сонные и покрасневшие от холода, исчезали за воротами, уходили в тень, и взамен приходили другие такие же. Под мышками они держали потертые портфели из искусственной кожи, купленные в казмаровском кооперативе. Все были в коротких пальто и шарфах от «Яфеты», в кепках с козырьком — эта одежда походила на обмундирование армии труда; у каждого был свой контрольный листок, своя жизнь, и в этом была тайна. Незнакомые люди, и каждый словно лист за семью печатями. Так они шли. Женщины держались вместе, образуя островки в мужском потоке. Иногда слышались женские голоса, певучий говор девушек — улецкая речь создана для женщин. Шли деревенские девчата в платочках и широких юбках, шли барышни в беретах, шли пожилые женщины — девы Марии и святые Людмилы — все к Казмару.

А там, на востоке, где еще не занималась заря, низко, над самыми гребнями гор, висела утренняя звезда, будто перезревшее яблоко, и светилась ярким светом, напоминая о домашнем очаге, овинах, петухах, хуторах, пашнях... И было черно от толпы. Казалось, что людей шло гораздо больше, чем на самом деле, что с ними и те, кого они оставили дома: молодые жены в еще теплых кроватях, спящие дети, свернувшиеся калачиком, и старухи, и дровосеки, и родственники, живущие где-нибудь за океаном в Америке, и еще бог весть кто. В предрассветной темноте образы всех этих отсутствующих людей как бы сплетались с мыслями и мечтами идущих.

Ондржей вздрогнул и чуть не уронил чемоданчик: гудок заревел прямо у него над ухом. Два подростка рассмеялись, глядя на Ондржея, что-то насмешливо крикнули — это было видно, но не слышно — и прибавили шагу вместе со всей толпой. Ондржею сделалось стыдно. Дурень, с луны ты свалился, что ли? Не слышал разве никогда заводских гудков за Прагой или с фабрики Латмана в Нехлебах? Но казмаровский гудок горластый, черт! Он хрипло кричал, словно от боли, осыпая проклятьями препоны и людей, сковавших его силу, крик будто вырывался из горла, покрытого страшными язвами, гремел над горами и долинами, рвал темноту. Тревога, тревога! Грозит беда! Так звучит для вас гудок, пока вы не привыкли. Чудовище бушевало, плакало, предостерегало, угрожало и в припадке нового неистовства упало наземь и замолкло.

По застекленным лестницам, как по сцене, взбегали таинственные тени. Этажи были полны людьми. В освещенной клетке лифта поднимались люди, похожие на скульптурную группу на постаменте. Цехи проглотили последние группы людей. Рассветало. Площадь опустела, подобно спущенному пруду. В воротах стоял привратник, надутый, как сыч.

— Ты куда без пропуска, хулиган?! — прикрикнул он на Ондржея, прежде чем тот успел подойти к нему и открыть рот. Мальчик снял шапку и вежливо спросил, где записываются в школу казмаровской молодежи.

— Не здесь, и это не мое дело. Иди в справочное,— отрезал привратник и погрузился в газету. Трудно себе представить, что этот человек когда-то тоже был подвижным пятнадцатилетним озорником и что его муштровали, чтобы из него вышел толк. И посмотрите — вполне вышел: сидит мужчина мощнейшего телосложения у ворот с сознанием своей полной ответственности, словно он важнее самого Хозяина. Кому захочется нарушать покой такого сторожа? И все же Ондржею не оставалось ничего другого, как вторично побеспокоить его, вежливо спросив, как пройти к справочному бюро.

Привратник поднял глаза от газеты и уставился на Ондржея. Взгляд его был полон укоризны. Затем он молча постучал себе пальцем по лбу, видимо, давая этим понять, что у Ондржея не все дома, ткнул пальцем налево и движением руки показал за угол. Ондржей поблагодарил, привратник не ответил, и Ондржей отправился, куда было указано.

Перед окошечком справочного бюро стояла старуха в большой деревенской шали и сапогах и доверчиво говорила таким тоном, как будто все уже давно знают в подробностях ее дело, интересуются им и всячески идут ей навстречу.

Она пришла «за этими процентами» для сына. Обещали через месяц, прошло три, а Штепка все еще не получил их. «Он у меня очень хворый»,— добавила она спокойно и дружелюбно.

— Успеет еще ваш Штепка потратить свои деньги,— ответил ей сотрудник в окошечке и, не слушая ее, накинулся на одетого по-городскому человека, который, наклонившись к окошечку, тихо, но настойчиво требовал какое-то выходное пособие.

— Опять вы здесь! Нечего меня уговаривать. Не болтайте! Проваливайте!

Человек в шляпе, бормоча угрозы, протолкался мимо Ондржея и вышел.

Ондржей делал вид, что не видит и не слышит всего происходящего. Его подавляла грубость, с которой здесь обращаются с людьми, и он чувствовал себя в чем-то виноватым. Словно и он был таким же надоедливым, какими этот крикун в окошечке считал всех людей, быть может добивавшихся того, что принадлежит им по праву. В Ондржее заговорила робость, унаследованная от матери. Он боялся, что человек в окошечке рассердится, если заметит хотя бы по одному движению Ондржея, что тот прислушивается к разговору, да еще и не одобряет его. Под конец человек в окошечке дал ему ясно понять сердитым взглядом и сварливым тоном, что, если вы не заказчик и не коммерсант, а всего-навсего будущий рабочий, обращаться с вопросами в справочное бюро по меньшей мере наглость. «Идите в отдел личного состава».

Отдел личного состава был еще закрыт. До открытия оставался час. Ондржей сел на скамейку в садике напротив. Он чувствовал себя как попрошайка, у которого перед носом захлопнули дверь, а через минуту ему снова надо идти побираться. Вынув скудный завтрак и свой старый ножик, он принялся за еду. При этом Ондржей мрачно думал, что со вчерашнего дня он превратился из Ондржея Урбана, члена своей семьи, любимого товарища Станислава, подростка, известного в доме своей сноровкой, в *какого-то мальчишку,* в *того человека.* Но ведь и дедушка бывал грубоват с *людьми,* что уж говорить о такой твердыне, как Улы. Наверное, меня не примут, посмеются надо мной, выгонят за то, что я слишком молод...

Огни электрических лампочек, желтевшие в синеватом рассвете, неподвижный сквер с дорожками, выкроенными так аккуратно в стриженой траве, что просятся обратно на лист чертежной бумаги, кирпичные стены, возвышающиеся среди застекленных зданий, фабричная подвесная дорога с еще мертвыми вагонетками в разных концах, дымящиеся в тумане горы — все это было похоже на далекое воспоминание, а собственная поездка казалась Ондржею фантастической. Ондржей начал размышлять о казма-

ровских объявлениях, которые он читал в Праге. В самом деле, читал он их или ему все это померещилось? Может быть, он ошибся, перепутал дату? Где же все подростки, жаждущие поступить к Казмару? Не могут же все они быть так легкомысленны, чтобы явиться в последний день? У Ондржея вдруг упало сердце, он вскочил и принялся шарить по карманам, а не забыл ли он свой аттестат? Не выронил ли он аттестат в поезде? Нет, слава богу, и аттестат и деньги при нем, все в порядке. Ондржей вздохнул с облегчением и, чтобы согреться и прогнать сонливость, начал расхаживать по садику. Ага, вот и здесь висит объявление о приеме в школу казмаровской молодежи!

Через садик прошел человек американского вида и равнодушно поглядел на Ондржея.

На дверях отдела личного состава висели дощечки с разными надписями, которые в Улах, видно, были в большом ходу:

Говорите кратко. В минуту можно произнести 73 слова!

Прием изобретателей в техническом отделе каждое третье воскресенье месяца только с 9 до 12. Страховых агентов не принимаем, так как не намерены погореть!

За дверьми был слышен женский голос. Ондржей постучал, голос ответил «войдите!» и продолжал разговор. Войдя, Ондржей с удивлением отметил, что голос принадлежит мужчине. Тщедушный человек в сером костюме, развалившись в кресле за столом, тихо говорил в телефонную трубку, которую он небрежно держал далеко ото рта. Ондржею этот жест показался шикарным. Человек ровным голосом диктовал стенографистке какое-то письмо на иностранном языке. Он со смаком произносил слова, прижимая язык к зубам, отчего его произношение было неестественным и смешным, он словно шепелявил; наверное, говорил по-английски. Так же небрежно, как он держал трубку, человек вытянул ногу в желтом полуботинке, над которым виднелся фиолетовый носок. Одет мужчина был очень тщательно. На его правильном, немного плоском, каком-то недоразвитом лице отражались самовлюбленность и снисходительность. Он словно бы говорил: я всегда такой, что в этом особенного?

Ондржей переминался с ноги на ногу, стоя на покрытом линолеумом полу, с чемоданчиком в одной руке и документами в другой, и ждал, оглядывая комнату, уже ярко освещенную утренним светом; он старался не встречаться взглядом с небрежно диктующим человеком. Комната напоминала и зубоврачебный кабинет и школу. На стене висела карта полушарий, представительства фирмы были обозначены на ней красным. На одной стене виднелся

портрет президента республики, на другой — портрет Казмара в раме такой же величины. Вдоль стен тянулись ящики с картотекой, на окне штора. Все вместе с огромным письменным столом придавало комнате солидный, внушающий уважение и робость вид.

Человек положил трубку, которая слегка звякнула, и, подняв брови, посмотрел на Ондржея. Мальчик порывисто поклонился и, ожидая вопроса, молчал. Человек молчал тоже. Наконец он сел к счетной машине с разноцветными клавишами и с наигранной небрежностью начал четко и быстро отстукивать. Было похоже, что все это делается нарочно, и у Ондржея возникло неприятное воспоминание детских лет: в наказание за проступки мать иногда не разговаривала с ним. Стоит, бывало, у плиты, подкладывает дрова, наливает кофе, все как обычно, но, боже мой, Ондржей чувствует себя как побитый пес. Робость — это болезнь; кто не болел ею, не знает, что это такое. И вот Ондржей, слегка покашливая, все не решается кинуться в холодную воду — как бы не помешать человеку! — и со сдержанным интересом рассматривает веточку хлопчатника с плодом, похожим на лопнувший каштан, из которого торчит вата. Все это находилось на стене, в застекленном ящичке, какие делают для коллекций бабочек.

Без стука вошел человек в форменной одежде и фуражке набекрень, видимо, посыльный, и, стуча каблуками, подошел прямо к сидевшему за столом, положил перед ним какие-то бумаги и бодро сказал:

— Вот они, господин Колушек.

Тщедушный человек неразборчиво расписался на каждом листе и поставил печать, после чего рассыльный снова унес их. Немного осмелевший Ондржей подошел к столу и протянул свои документы:

— Будьте так добры... Я... записаться... в школу казмаровской молодежи.

Узкогрудый Колушек, сделав непроницаемое лицо, взглянул на аттестат, потом на подростка, откинулся в кресле, и в глазах у него мелькнула насмешка.

— Вы очень богаты, молодой человек?

Ондржей сделал шаг вперед и вытаращил глаза.

— Вы явились на день раньше. А время — деньги, приятель! — язвительно сказал Колушек своим бабьим голосом.— Уж эти пражане, всего у них избыток!

У Колушека было серьезное лицо, но он, видимо, забавлялся смущением Ондржея.

— Я хотел сперва осмотреться,— пробормотал тот, оправдываясь.

— Дело ваше,— пожал плечами Колушек.— Все равно ваши расходы в Улах пойдут в пользу нашей фирмы,— добавил он с легкой усмешкой. Потом, повысив голос и изменив тон, произнес отчетливо: — Второго октября, в семь часов утра, явитесь вместе с другими кандидатами в больницу на рентген по адресу: Южный проспект, шесть. Если вас не забракуют на медицинском осмотре, то в два часа дня вы должны быть на психотехническом испытании в доме казмаровской молодежи, вон там на холме.

— Скажите, пожалуйста... извините за беспокойство... нельзя ли мне уже сегодня...

— ...Там переночевать, а? Ишь какой хитрый! Вы что же думаете? В Улах сейчас вообще трудно найти ночлег. Даже при наших строительных темпах не хватает жилищ. Где ночевать — это ваша забота, молодой человек. Хозяин в ваши годы ночевал на вокзалах.

Ондржей вежливо поблагодарил тщедушного человека.

— Не за что,— ответил тот, не обращая внимания на отца с двумя мальчиками, которые тем временем вошли и, видимо, были такие же «богачи».

Ондржей вышел на улицу. Солнце уже стояло над горами, начинался день, и мальчик ожил, как всякое живое существо. Ничего, понемногу своего добьемся, а если приходится подчас наталкиваться на препятствия и получать пинки (последнее хуже), то без этого нельзя, и нечего из-за этого огорчаться,— ведь дома не узнают о его унижениях.

Если бы мать и дед послали Ондржея в Улы, он, наверное, проклинал бы их. Но это было его собственное желание, значит, надо пробиваться, стиснув зубы. Преследуемый навязчивой мыслью об украденной у него когда-то корзинке, Ондржей потащил свой чемоданчик на вокзал и сдал его в камеру хранения. Теперь у него были свободные руки и ничем не занятое время. Воздух благоухал, словно после грозы, пахло новыми тканями и чужим краем, и при мысли, что до завтрашнего утра не придется иметь ничего общего с немилыми ему казмаровцами, Ондржей чуть не запрыгал от радости.

Что правда, то правда, Казмар построил хороший город, легко обозримый, как расписание поездов. Сейчас этот город был весь виден в солнечном свете. Фабричные здания еще не известного Ондржею назначения соединял асфальт улиц и разделяла зелень газонов. Все вместе составляло красочную картину, вызывавшую у Ондржея охоту к труду. Чистые и хорошо упитанные люди с маловыразительными лицами энергичной походкой спешили по бетонированным тротуарам. Все еще ничем не занятый,

Ондржей некоторое время наблюдал, как между зданиями фабричного управления ходят люди с непокрытой головой, с вечным пером и блокнотом в нагрудном кармане, и гадал, увидит ли он Казмара. Ему очень хотелось этого. Не дождавшись, он пошел ознакомиться с городом, чтобы лучше ориентироваться завтра. Все здесь было на один лад. Если бы даже Казмар не рекламировал себя, украшая свои здания поучительными надписями, все равно их можно было различить, будь то школа, кино, больница или спортивный клуб. Таков был стиль всех его построек — предельно простой и конструктивный, абсолютно непретенциозный, неумолимо практичный, равного которому — простите меня! — не было и в самой Праге, если не считать универмагов «Яфеты».

Ондржей даже засмеялся, увидев здесь, в Улах, копию пражского универмага с манекенами во всех этажах. Молодой и изящный японец в очках и со щеткой в руке преградил дорогу Ондржею, чтобы смахнуть пыль с его платья. Ондржей покраснел и уклонился — он не хотел тратиться на ненужные ему услуги. Но желтолицый юноша, учтиво улыбнувшись, сообщил ему по-чешски, что это *далом и леклама.* Не подумайте, что этот японец был какой-нибудь наемный бедняк, это был аристократ и ученый-экономист, приехавший изучать торговую систему Казмара. Но и ему не было сделано никакой поблажки: Хозяин упрям, и японцу пришлось начинать с самых азов. Не знаю, однако, не пошло ли в данном случае своенравие Казмара во вред ему самому и правильно ли он поступил, приняв японца и пустив тем самым козла в огород: через несколько лет в Японии был создан текстильный комбинат казмаровского типа и открыты магазины европейского платья. Это причинило много хлопот Казмару, часть рабочих была уволена, что послужило поводом для бурного выступления Францека Антенны в день Первого мая. Но об этом речь еще впереди.

Ондржей купил себе такой же шарф, какой он видел утром на рабочих, повязал его на шею и вернулся к фабрике. Теперь уже встречные могли принять его за ученика из школы казмаровской молодежи. Около фабрики до него опять донесся запах масла, новых носовых платков и асфальта. Ондржей глазел на то, что делалось за оградой.

Фабрика работала, она дышала и шумела. Слышалось щелканье и стук машин, дрожание электромоторов, эти звуки радостно волновали и возбуждали Ондржея. Хотелось спешить,— не опоздай! Иногда в равномерный шум фабрики врывалось шипение выпускаемого пара, и паровоз осторожно продвигался за ограду, к складу. Время от времени проезжал внутризаводской автокар, и энергичного вида парни стоя мчались от корпуса

к корпусу, чтобы не тратить времени на ходьбу. Ондржей восхищался молчаливыми рабочими фабрики, которые управляли еще неведомыми ему машинами. Скорее бы попасть туда и узнать всю эту механику. Ондржей слышал шутку о фабриках Казмара: говорили, что с одного конца цеха там вносят тюк хлопка, а с другого выносят уже готовые брюки.

Рядом с Ондржеем ротозейничал пожилой человек с осунувшимся, болезненным лицом. Вытянув жилистую шею с большим кадыком, он простодушно и внимательно наблюдал, как над фабричным двором медленно плывет по канату клетка с громадными катушками, каких Ондржей еще не видывал: словно взяли катушку с маминой машины и увеличили ее в тысячу раз.

— Эге, контрольная не приняла! — не без злорадства заметил бледный человек, указывая на крышу противоположного корпуса, на краю которой тоже виднелись похожие на «чижа» катушки с ярко-зеленой пряжей.— Что же им такое не понравилось? Если вы, ребята, ванну запороли, это сильно хлопнет вас по карману.

Из этих слов Ондржей заключил, что незнакомец хорошо знает производство. Ондржей тоже глядел на катушки, но ему они были так же непонятны, как шрифт газет, в которые были завернуты гостинцы, привезенные отцом из России.

В фабричный шум вклинилось какое-то своеобразное, немного смешное механическое мычание, оно раздавалось, чередуясь с короткими паузами. Ондржей вспоминал игрушечную собаку натуральной величины, которую Станислав разыскал на чердаке в Нехлебах. Собака была на колесиках, и, если потянуть за колечко у нее на животе, она издавала такой же звук, какой сейчас слышался на фабрике. Бледный незнакомец выпрямился.

— Ищут Хозяина,— сказал он.— Наверное, он в химическом. Теперь он там часто бывает.

Мычание не прекращалось, и Ондржей вопросительно оглянулся на разговорчивого соседа.

— Автоматический сигнал,— заметил тот,— раздается во всех цехах, понимаешь? Пока наконец не найдется тот, кого ищут. У нас это дело заведено во всех корпусах,— прибавил он не без гордости, отождествляя себя с предприятием.— У директора Выкоукала сигнал звучит иначе, чем у других. У каждого из главных на свой лад.

— Вы здесь работаете? — поддержал разговор Ондржей.

— Вроде работаю, а вроде и нет. Сейчас болею.

Ондржей в свои пятнадцать лет тотчас предположил венерическую болезнь и из деликатности промолчал.

Потом он спросил, где здесь аэродром, и, узнав, что в двух часах езды поездом, в Боздеховицах, был разочарован.

— А для чего эти широкие трубы по стенам, от земли до самой крыши?

— Это пылесосы,— охотно объяснил человек.— Понятно? Чтобы мы не дышали пылью. А Хозяин за год собирает таким путем не одну тонну сырья для картонажной фабрики. У нас, братец, очень заботятся о гигиене,— произнес он хвастливо и с насмешкой.— «Яфета» — отличный пылесос человеческой пыли,— внезапно добавил он и странно улыбнулся. Ондржей продолжал смотреть на него.

— Ты, видать, нездешний, а? Я сразу так и подумал.

Ондржей рассказал, как и что.

— Казмаровский ученик, да,— повторил человек и с деланной бодростью похлопал Ондржея по плечу.— Ты, видать, крепкий паренек. Ну, пареньком ты будешь недолго. У нас быстро стареют. Сколько, например, ты мне дашь лет?

Ондржей посмотрел в лицо собеседнику и сказал с детской прямотой и склонностью к преувеличению:

— Сорок пять.

— Двадцать семь, ты, голова! Четыре года назад кончил службу в армии... Что поделаешь...

— Бедняку приходится думать только о том, как бы прокормиться,— рассудительно сказал Ондржей, не замечая, что говорит словами своей матери.

Бледный рабочий оглянулся и внезапно покраснел, как девушка.

— Мои слова,— решительно сказал он.— Хорошо. Правильно.

Мимо них уверенным шагом человека, знающего себе цену, шагом жителя Ул, прошел тщедушный Колушек, вежливо ответил на приветствие Ондржея и его нового знакомца и направился к главным воротам.

— Я ни на что не сетую, ни на что,— сказал тощий человек, проводив глазами Колушека.— Обещали мне место старшего рабочего по двору. Я был на осмотре в больнице. Там тоже гигиена что надо. Рентген и водные процедуры, все берут щипчиками и в резиновых перчатках. Доктор Розенштам меня осмотрел. Легкие, говорит, как мехи, сердце как у быка. В общем, все в лучшем виде. Вот только изнурение... Придешь с работы, и ничего не радует: есть не хочется, не спится, вертишься на постели, от мыслей нет покоя. Жена у меня была молодая, красивая, не тянуло меня к ней ночью...

— А какая у вас была работа? — смущенно прервал его Ондржей.

— Клейщик. На конвейере. Я наклеивал на мужских макинтошах левый верхний сегмент. Что ты уставился? Теперь в английских моделях идет все больше клееный товар.

— И держится?

— Как припаянный! Может, ты думаешь, что я мажу кисточкой и клею? Ничего подобного. Оно само прилипает под давлением. Все разделено на мелкие операции. Сегменты к нам приходят из закройной, там их режут по особым шаблонам, бригадир накладывает их на ленту, и работа бежит к тебе сама. Под рукой у тебя все время ползет конвейер, понятно?

— Вам, наверно, приходилось торопиться?

— Торопиться? Нет, этого я бы не сказал. Но ни на секунду нельзя было остановиться и все время надо было работать равномерно, как часы. Нажмешь рычаг пресса, отпустишь, деталь продвинется на следующую операцию, а к тебе уже лезет новая. Не работа, а игра. Но когда она длится по девять часов ежедневно, то заедает человека. А потом я сделал открытие...— таинственно и чуть гордо сказал человек и, помолчав, подвинулся ближе к Ондржею.— Я не со всяким так откровенен, потому что меня оговаривают, вот как тогда доктор, но тебе скажу: ты надежный парень, по глазам вижу. Знаешь...— человек многозначительно и хитро прищурил один глаз,— я его раскусил, этого ползучего гада, конвейер: он только притворяется, что шьет одежду, а главное для него — убивать людей.

— Опасная работа? — осведомился Ондржей.

— Да нет, не в том дело! — Человек нетерпеливо прищелкнул пальцами и скривил лицо, недовольный, что его опять неправильно поняли.— Дело в том, что конвейер, этот гад, отнимал у меня жизнь минуту за минутой, подталкивал все ближе к могиле. При каждом толчке он надо мной смеялся: вот видишь, ты еще ближе к смерти.

Человек отступил на шаг, чтобы посмотреть, какое впечатление произвели его слова на юного слушателя.

Ондржей был смущен.

— Ну конечно,— сказал он неуверенно.— Если так рассуждать... то все на свете... Тогда можно вон и про них сказать,— он указал на мальчиков, игравших в футбол,— что они с каждым ударом по мячу приближаются к смерти.

— Так и есть, ты, младенец! Я пишу об этом сочинение. Понятно? Ты, кажется, говорил, что тебе негде ночевать. Приходи ко мне, поговорим. У меня одна кровать свободна. Я не

скрываю, жена уехала от меня к матери. Захотела повидаться,— сказал он, и на его унылом лице появилась улыбка. Взяв Ондржея под руку, он повел его в сторону от фабрики. Гудел гудок на обед, рабочие выходили из ворот, и человек, видимо, не хотел с ними встречаться. Написав на бумажке свой адрес, он дал его Ондржею, объяснил, как надо пройти, и посмотрел на мальчика так добродушно, что Ондржею, бог весть почему, стало его жалко.

— Уважай Колушека,— сказал на прощанье клейщик, фамилия которого была Мишкержик.— Он что пообещает, исполнит, хотя и не скоро. Надо иметь терпение. У него много дел. Он бывший ткач. Хозяин его повысил и вышколил для отдела рекламы. Потом он назначил его в отдел личного состава, а Колушек назначит меня рабочим по двору. Обязательно. Будь здоров, до вечера,— вдруг быстро сказал он и торопливо отошел, даже не взглянув на Ондржея.

Во второй половине дня Ондржей согласно уговору отправился в загородный поселок Заторжанку к приветливому рабочему Мишкержику. Но попробуй-ка найти человека в загородном местечке: улицы без названий, только перенумерованы. Домики похожи один на другой как две капли воды,— опять эти кубообразные домики, вроде как бы детеныши тех, больших! Словно кубики из игрушечного строительного ящика, они были расставлены по косогорам. Заборов в Заторжанке не было, только тротуары; весь поселок представлял собой цветущий сад, и люди здесь жили счастливо, словно на картинке «Четыре времени года». Ондржей шел, глядя на номера, над головой у него потрескивали ветки. Он не увидел, а скорее догадался по этим звукам, что на деревьях находятся люди и собирают сливы. На траве стояли корзины, на дороге во многих местах попадались сломанные ветки. Ондржею захотелось, как в Льготке, стащить сливу. Его ладонь щекотало холодком, он уже ощущал во рту вяжущий, кисловатый сок надкушенной сливы. От этого сока стягивает нёбо, и он брызжет прямо на Тонду Штястных, того самого, у которого взрывом оторвало палец... Но где там, здесь не наворуешь слив, здесь у деревьев есть глаза! Стояла ясная осень. Дети играли в лунки, в обманчивом солнечном свете Заторжанка показалась Ондржею похожей на Льготку в пасхальное воскресенье. Ондржей присел на корточки и со знанием дела стал наблюдать, как играют мальчишки,— в этой игре он знал толк. «Эх, дети, что вы понимаете!» — как взрослый, подумал Ондржей и зашагал дальше. Он был горд своими заботами.

Булочник из казмаровской пекарни привез свежий хлеб и звонил на перекрестках, как во время крестного хода. Из доми-

ков выходили женщины, раздавались их спокойные голоса, слышались разговоры, полные уменьшительных слов. Хозяйки платили белому балагуру-булочнику новенькими монетками и уносили блестящие караваи. Люди здесь были счастливы, и еще счастливее казались они бездомному Ондржею, который шел из конца в конец образцового поселка и не чаял, когда же ему доведется присесть. Он заглядывал во все домики, так что самому становилось неловко, и наконец остановился перед нужным номером.

— Мишкержик? — прокричал со стремянки синеглазый старик, поворачиваясь лицом к Ондржею и ухватившись рукой за ствол дерева. Он снимал сливы.— Это тот, что спятил из-за машин? Жил тут когда-то.

Простоволосая женщина, подбиравшая сливы с земли, подняла покрасневшее лицо.

— При чем тут машины! — возразила она пренебрежительно, откинула волосы с лица и высыпала сливы из передника в корзинку.— Жена от него сбежала, вот он и спятил.

К ним присоединилась соседка, она послушала, поглядела на бумажку с адресом, потом на Ондржея и на краснолицую женщину, кивнула головой и сказала певучим говором:

— Он тихий дурачок, Мишкержик-то. Безвредный.

— А не знаете, где он живет теперь?

— Вот уж не знаю,— громко сказала краснолицая женщина.— Это нас не касается, да мы и не интересуемся. Квартиры он лишился, потерял права. Жилищное управление его выселило. Теперь тут живем мы, и ни для кого больше места нет.

Сказав это, она взяла корзинку, вошла в дом и захлопнула за собою дверь.

Так Ондржей и ушел ни с чем. Первый, кто был с ним приветлив в Улах, оказался сумасшедшим. Ондржей устал, ноги у него болели, голова едва не лопалась от множества новых, еще не освоенных впечатлений. Ему было ясно: в Улах его никто не ждет и здесь отлично обойдутся без Ондржея Урбана. «А что это будет за психотехническое испытание?» — терзался он на обратном пути, и это слово как-то ассоциировалось с образом бледного клейщика, которого Ондржею было жаль, хотя он и злился на него. «Если меня завтра не примут, ни за что не вернусь с позором в Прагу. Ни за что! Пойду бродить по свету, мало ли таких людей». Ондржей чувствовал себя ничтожнейшей песчинкой. Но песчинке хотелось есть и спать. Стемнело, и Улы засияли огнями.

Ондржей вошел в казмаровский кооператив, где пахло колбасами и кофе, где можно согреться, где было полно людей; здесь Ондржей сытно и дешево поел; здесь он мог оставаться сколько

угодно; здесь было светло и играло радио; здесь было на что посмотреть, и подмастерья грезили наяву; здесь ходили красивые девушки; здесь продавали розовые открытки, душистое мыло, крохотные флакончики духов, велосипедные звонки, спортивные значки, полосатые мячи; здесь было как в Америке. Всюду слышались обрывки фраз на чужих языках, интимные разговоры, парни и девушки условливались о свиданиях, газетчики продавали издания Казмара, мужчины беседовали о торговых делах. Сотни рабочих толпились у прилавков, бабушки привозили сюда детей в колясках, женщины приходили за покупками после работы. Разменивая в кассах кредитки и получая звонкие, весело катящиеся мелкие монеты, потребители возвращали Хозяину заработанные у него деньги в обмен на иллюзии в целлофановой упаковке и консервные банки с такими красивыми экзотическими пейзажами на этикетках, будто в этих банках находились консервированные мечты. Все это было замечательно, и — ничего не поделаешь — Ондржей был покорен «Яфетой».

Что-то сейчас делает этот бедняга, который так надул Ондржея? Ужинал ли он? Жизнь сломила его. Но Ондржей не виноват в этом. Не может весь мир равняться по неполноценным.

Ондржей замотал потуже шарф от «Яфеты» и пошел спать на вокзал. До полуночи его там не тронут, а после полуночи найдется место на скамейке в городском сквере. Ондржей шел быстро, чтобы согреться, и мысленно разговаривал с Казмаром, рассказывая ему, как он, Ондржей, не уступил матери и отказался работать в пивной «На небе», где можно сгнить заживо. Потом он сказал в глаза Хозяину правду о том, что у ворот его фабрики, в окошечках его контор грубо обращаются с людьми, а он, Хозяин, безусловно, не знает об этом. Потом Ондржей замолвил словечко за бедного клейщика. Казмар (совершенно такой, как на портретах) очень серьезно и с интересом слушал Ондржея, и они советовались, что предпринять.

И в самом деле: что остается человеку в негостеприимном чужом мире, как не помечтать?

МОЛОДЕЖЬ КАЗМАРА

Молодежь Казмара жила по-спартански. Ребята спали при открытых окнах, в которые врывался студеный горный ветер, вставали в шесть часов, стуча зубами бежали под душ, убирали койки, похожие на корабельные, устроенные в два этажа (каждый старался получить верхнюю койку, там было интереснее; тех, кто спал внизу, звали «половиками»). Потом — по обычаю всех подоб-

ных заведений — юношей выстраивали в шеренги и с песнями, будившими улецких жителей, вели на фабрику.

— Весело встречай новый день! — скроив рожу, сказал Францек Антенна, зевнул во весь рот, потянулся и бросил на весы первую кипу хлопка, от которой пахнуло непроветренными перинами, джутом корабельных канатов, запахом дегтя и йода.

Ондржей стоял сбоку у мешков, перекусывал клещами обручи и вспарывал упаковку. Груда порожних мешков высилась за ним, как верблюжьи горбы. Мастер, заложив карандаш за ухо, ходил среди тюков распакованного хлопка, переступая через предметы, попадавшиеся ему на пути. В руке у него была накладная, на одежде, в волосах и даже на ресницах — волокна хлопка. Он помечал цветным карандашом каждый спрессованный тюк, чтобы их не перепутали на следующих операциях. Пряжа, друзья мои, составляется по рецепту, у каждого сорта волокна есть своя родословная, и для прядильщика она так же важна, как для коневода или собаковода. Прядильное дело — это старая английская наука, и мастер Тира был знатоком хлопка, умел определить на глаз любой сорт пряжи.

— У бедняги Тиры много работы: надо следить за температурой, чтобы у нас росли фикусы для барышни Казмаровой,— смеялся Францек, по прозвищу Антенна. Действительно, в цехе у стены стояли в кадках тропические растения и отлично росли в этой парниковой атмосфере. На стену рабочие наклеили вырезанные из журналов фотографии боксеров и кинозвезд. Рабочие любят картинки. А этот Францек Антенна был остер на язык, Ондржей его сторонился, чтобы не впутаться в какую-нибудь неприятность. Ондржей вообще был замкнутым, и ребята прозвали его «святошей», что Ондржею очень не нравилось, но он не подавал виду.

Мастер Тира остановился, сделал недовольную мину, привычным жестом вытянул клочок хлопка, проверил длину волокна и положил его на обшлаг левого рукава.

— Уж эта их «Мобиле»,— сказал он с презрением,— лохматится и не тянется — заячья шерсть, да и только. Интересно знать, скоро ли нам прикажут прясть хлопчатобумажную взрывчатку? — И он сердито сдул шарик с рукава.— А ткацкий требует от нас чудес, да? У них рвется уток, а виноват тринадцатый цех, во всем виноват тринадцатый цех... Снимай, черт подери, что же ты не снимаешь, уже полный вес! — прикрикнул он на Францека.

— Стоп! — сказал Францек.— Ты нам тут не нужна.— И он, выбросив из тюка что-то темное, загрузил кипу в трепальную машину, где, словно снег в метель, метался и трепетал хлопок. Ондржей нагнулся и поднял то, что выбросил Францек. Батюшки, это была кукла, ей-богу, тряпичная кукла, чернолицая, с кофейными

руками и ногами, в розовой юбке, какие носят негритянки. Она потерялась в хлопке, а по ту сторону океана, где-нибудь в Алабаме, чернокожий ребенок тщетно ищет свою игрушку. Франтек взял ее из рук Ондржея.

— Впустили тебя без паспорта? — сказал он и подал ее мастеру.— Нате вам безбилетного пассажира.

Рабочие, с клещами в руках, обсыпанные волокнами хлопка, обступили их.

— Приехала из самой Америки!

— Зайцем!

— За океаном дети тоже любят игрушки,— сказал кто-то.

— А может, это божок?

— Скажешь тоже, дурья голова!

— Наверно, мать брала малыша с собой на работу.

— Да нет, он сам там работает, малыш-то. Ведь на плантациях работают стар и млад. Заставляют.

— Ну и потом негры рано становятся взрослыми. В десять лет негритянку уже выдают замуж.

— Дайте мне эту куклу, возьму ее своей дочке,— попросил какой-то папаша.

— Мы сдадим ее в музей,— решил мастер.— Хозяин собирает всякие находки. Они часто попадаются. Когда у меня была своя фабрика, мы нашли в хлопке три доллара — видимо, рабочий зашил свою получку. Хлопок был из Луизианы.

— А помните, ребята,— сказал Франтек Антенна,— когда был процесс братьев Гарвей, мы нашли в хлопке письмо от рабочих. Еще его Розенштам переводил: «Товарищи, боритесь против судебного произвола...»

— Работать, работать, разойдись! За дело, ребята!

— Тира, конечно, нас перекрыл,— не унимался Франтек, уже взявшись за новый тюк.— Он барахлом не занимался, пряжа у него была высший сорт — сплошь «Луизиана». У нас тряпичная кукла, а у него доллары!

— А ты бы тоже был рад доллары найти!

Мастер Тира был унылым человеком, он знал лучшие времена в своей жизни. Тира сам когда-то владел отличной прядильной фабрикой на четыре тысячи веретен, пока Казмар не разорил его, как и многих других. Тира не мог забыть былую независимость. В Улах сохранились остатки оборудования с его фабрики. В тринадцатом цеху стоял его мюль, занимавший чуть не полцеха; это была заслуженная машина с двойными салазками, которые ездили навстречу друг другу, сельфактор, который прядет на четыре фазы, превращая супрядок в пряжу, и навивает ее на дико вращающиеся веретена,— хорошая машина с подшипниками из сам-

шита. Хозяин принял ее в залог, когда назначил Тиру управлять цехом. Былой владелец стал подневольным человеком. Жизнь унизительна, и Тира презирал эпоху, которая его разорила. На его фабрике пряли лишь высокосортную, качественную пряжу, никакой дряни. Достаточно сказать, что Тира поставлял пряжу нехлебскому Латману, а тот был разборчив. А нынче? Кого нынче интересует добротный товар? Покупатель требует дешевки, тряпок, которые прослужат один сезон, имитации. Куда идет человечество, забывшее, что такое хорошая ткань? Что за век! Век подделок и заменителей. Тира ненавидел искусственный шелк, как злейшего врага. Он презрительно фыркал, когда речь заходила об этих волокнах, которые не прядут, не чешут, а тянут, словно лапшу. Война научила людей химическим мошенничествам, и при республике все заважничали. Нынче, подумайте, любая барышня из канцелярии — да что из канцелярии, каждая работница! — хочет носить блестящие чулки и обманывает окружающих: фальшивый шелк, фальшивые драгоценности, все общедоступно, все одна видимость и обман.

А какова нынешняя молодежь, из которой Тира готовит рабочих для своего благодетеля и мучителя Казмара! Тира знает эту молодежь как свои пять пальцев: все они считают устарелым и глупым, получать деньги любят, а работать нет, увлекаются спортом да политикой, а к хлопку нет никакого интереса. Если бы они могли, то занимались бы только авиацией. Сплошь покорители воздуха, рекордсмены — на словах. Нет, господа, кто хочет летать, пусть сперва твердо станет обеими ногами на земле и поглядит, так ли это просто, как кажется. В наше время споткнешься и на ровном месте да сломишь себе шею. Нынче земля колеблется под ногами, вы это еще почувствуете, молодые люди. Старый честный Тира мог бы вам на этот счет кое-что порассказать.

Тира был вечно подавлен ответственностью, которая его угнетала и подстегивала. У Казмара всегда спешка, надо быть ловким как черт, цех цеху ставит подпожки, каждую минуту тебя вызывают к начальству.

В вечерней школе казмаровской молодежи Тира отдыхал душой. Он с удовольствием слушал самого себя, гордился своим положением учителя и горько наслаждался своими знаниями, как человек, потерпевший крушение в жизни. А подростки на партах удивленно таращили на него глаза, стараясь не клевать носами. Только когда сядешь за парту, чувствуешь в ногах девятичасовой рабочий день на фабрике. Мастер произносил со сдержанным благоговением наименования лучших сортов хлопка на ливерпульской бирже, словно называл имена выдающихся дипломатов, которых он имел честь лично знать. В пиджаке из ткани, прозванной «ры-

бий хребет», Тира подбегал к доске и с увлечением выписывал названия сортов американского хлопка, так нажимая мелом, что сыпались крошки,— Ондржею при этом вспоминался Буффало Билл в сомбреро и с лассо,— смешные наименования африканских сортов, издававшие, казалось, пряный запах: макомако, митафифи! В Индии был святой Ганди со своей прялкой, факиры и змеи. Тира с гордостью сообщил ученикам, что знаменитую Гражданскую войну в США Север начал против Юга не ради устранения рабства, как верят простаки. Куда там! Уже тогда шла борьба США с Мексикой за хлопковые поля. В голосе мастера слышалась гордость за то значение, которое испокон веков имел хлопок.

Классная доска блестела в электрическом свете, похожая на большую черную лужу, на океан, за которым живут родственники многих казмаровских учеников. В Америке! Паренек, поставив локти на парту, подпирал руками голову. *Трещит у меня черепушка,* приятель... Ему вдруг виделись поля в белом парике хлопка, потом хлопкоочистительная машина, похожая на паровой каток на улецком шоссе, затем пароход, скользящий по синим с белыми гребнями волнам, каким его рисуют на объявлениях о вербовке рабочих в Америку, потом жирафьи шеи подъемных кранов, ряды станков и вереницы коричневых, желтых и белых рук... ах, еще бы минутку подремать, сил нет, как одолевает сон, тогда сразу прояснилось бы в голове. Ученик ударяется лбом о парту и без чувств сваливается на пол. Что поделаешь, растут, и голос у них меняется... В этом возрасте ребята часто теряют сознание. Сбрызнуть холодной водой, и все пройдет. Не каждый так вынослив, как Ондржей Урбан. Вон уже глаза открыл.

Фабричный врач и руководитель биохимической лаборатории Розенштам уговаривал Казмара перенести часы занятий в фабричной школе на послеобеденное время и не заставлять хотя бы первый класс работать на фабрике полный рабочий день. У подростков нехороший пульс, анализы лаборатории часто показывают высокую утомляемость учеников, это не подобает образцовому заведению, которое Хозяин создал с таким незаурядным пониманием интересов молодежи.

Казмару понравился рассказ об исследованиях лаборатории, он с почти детским интересом просмотрел записи и диаграммы и внимательно выслушал Розенштама до конца, ни разу его не прерывая. Потом остановился перед доктором и сказал:

— Ну а я мог?

«Увы»,— подумал Розенштам, знавший, что когда Хозяин говорит «а я?» — значит, пиши пропало.

— В их годы я работал по двенадцати часов в день,— продолжал магнат.— Отец со мной не нянчился, как мы с рабочими.

Грамматику, английский, счетоводство — все это я учил по ночам. Да и когда же еще? День ведь для работы. И учился я сам, самоучкой, да.— Казмар вдруг улыбнулся какому-то воспоминанию.— Когда я писал свои первые деловые письма, я потел, помню, не меньше, чем сейчас рабочие у нас в сушилке. А наша молодежь получает знания из щедрых рук, им слишком легко живется, вот в чем беда.

Да, Казмара не зря за глаза называли «незмар» — двужильный.

— Но нельзя же требовать от среднего человека того, на что способен ваш стальной организм,— пытался возразить Розенштам, подавив в себе возмущение.

— Пускай закаляются! — прервал его Казмар.

— Ваш мощный организм — это элемент вашей гениальности, Хозяин.

— Черт с ней, с гениальностью,— отвечал Казмар, пыжась от тщеславия (что поделаешь, ведь и он человек).— Но твердый характер они должны иметь и не сдаваться!

И он не разрешил никаких послаблений. Пусть отсеиваются слабые, пусть трусы убегают из первого класса, как когда-то сын директора Выкоукала,— это пойдет лишь на пользу предприятию и тем, кто сумеет выдержать до конца. Каждый — кузнец своего счастья. Терпи, казак, атаманом будешь!

Ондржей быстро перестал радоваться тому, что он принят в школу Казмара, достиг своей цели и не оскандалился перед матерью и семейством Гамзы. Пражские наблюдатели его жизни, ради которых он предпринял все это, были далеко и казались нереальными, словно он глядел на них в перевернутый бинокль. А может, они и не существовали вовсе? Сколько уже времени живет Ондржей в Улах — месяц, год? С каким волнением слушал он симфонию фабрики тогда, в первый день, перед фабричной оградой! Сейчас он делал у Казмара все, что ему велели, подавленный ничтожностью выполняемой работы. Ему казалось, что за него работает кто-то другой, а он лишь следит, чтобы тот, другой, не заблудился в джунглях цеха, чтобы, оглушенный грохотом машин, напоминавшим о столкновении поездов, тот не сделал какого-нибудь промаха, чтобы побыстрее бросал утки на транспортер, ибо ткацкая не ждет, чтобы не перепутал цвета этикеток. Для этого другого Ондржей держит ногу на предохранительной педали, ибо прожорливая машина, что съедает стог хлопка в день, может оторвать человеку руку; так случилось недавно с одним рабочим, и об этом все еще рассказывают в цехе. Это, однако, не мешает Францеку Антенне озорничать в обеденный перерыв: включил мотор компрессора и струей воздуха сбил шапки со всех ребят. Что

ж, Франтек уже давно в Улах, он хорошо ориентируется и чувствует себя здесь на коне. Ондржей же еще не тверд в седле. Он взбадривал себя душами, которых раньше терпеть не мог, пил перед занятиями крепкий черный кофе, противный, как деготь. «Не подмажешь,—не поедешь»,— говорит старый Горынек. Напряжение не покидало Ондржея даже во время воскресных забав, когда молодежь Казмара развлекалась по указке на казмаровском стадионе или в казмаровском кино. За эти удовольствия бухгалтерия вписывала удержания в розовые расчетные листки.

Ребята изрядно зарабатывали, если судить по этим листкам, но все еще оставались должны Хозяину за еду, жилье, обучение и развлечения. Нельзя не признать, что все это было очень хорошо организовано, но человек, включенный в такую систему, постоянно словно озирался, ища вчерашний день и потеряв в толчее самого себя.

Правда, тот, настоящий Ондржей в глубине души сознает, что все это не настоящее, что все это временно, как транзитная станция в чужой стране, где кругом множество поездов и загадочные стрелки, где надо глядеть во все глаза, чтобы тебя не задавили, надо глядеть сразу во все стороны: на машины и на людей, на начальство и на товарищей, молчать, терпеть и выдержать до тех пор, *пока... «Пока* — что?! Чего я, собственно, хочу добиться?» Почему ты ходишь, как неживой, Урбан? Ну вот, пора спать, гасим свет. Циклопический глаз вращающегося прожектора, который светит с небоскреба всю ночь и бережет Улы от пожара, воров и злоумышленников, через минуту заглядывает в комнату, но даже и этот проклятый свет не мешает Новаку, спящему над Ондржеем в подвесной койке. Новак дышит, как загнанный зверь, но он преодолел усталость. Мы только люди, и такая жизнь становится противной. Ондржей ложится, мечтая о том, что где-то есть остров спокойной тишины, надо только предаться воспоминаниям о прошлом... Но он уже засыпает и спит как убитый тяжелым сном, пока утренний звонок не заставит его вскочить на ноги, и танец начинается сначала. Живет за него кто-то другой, а на долю Ондржея остается только напряженное внимание и предельная усталость.

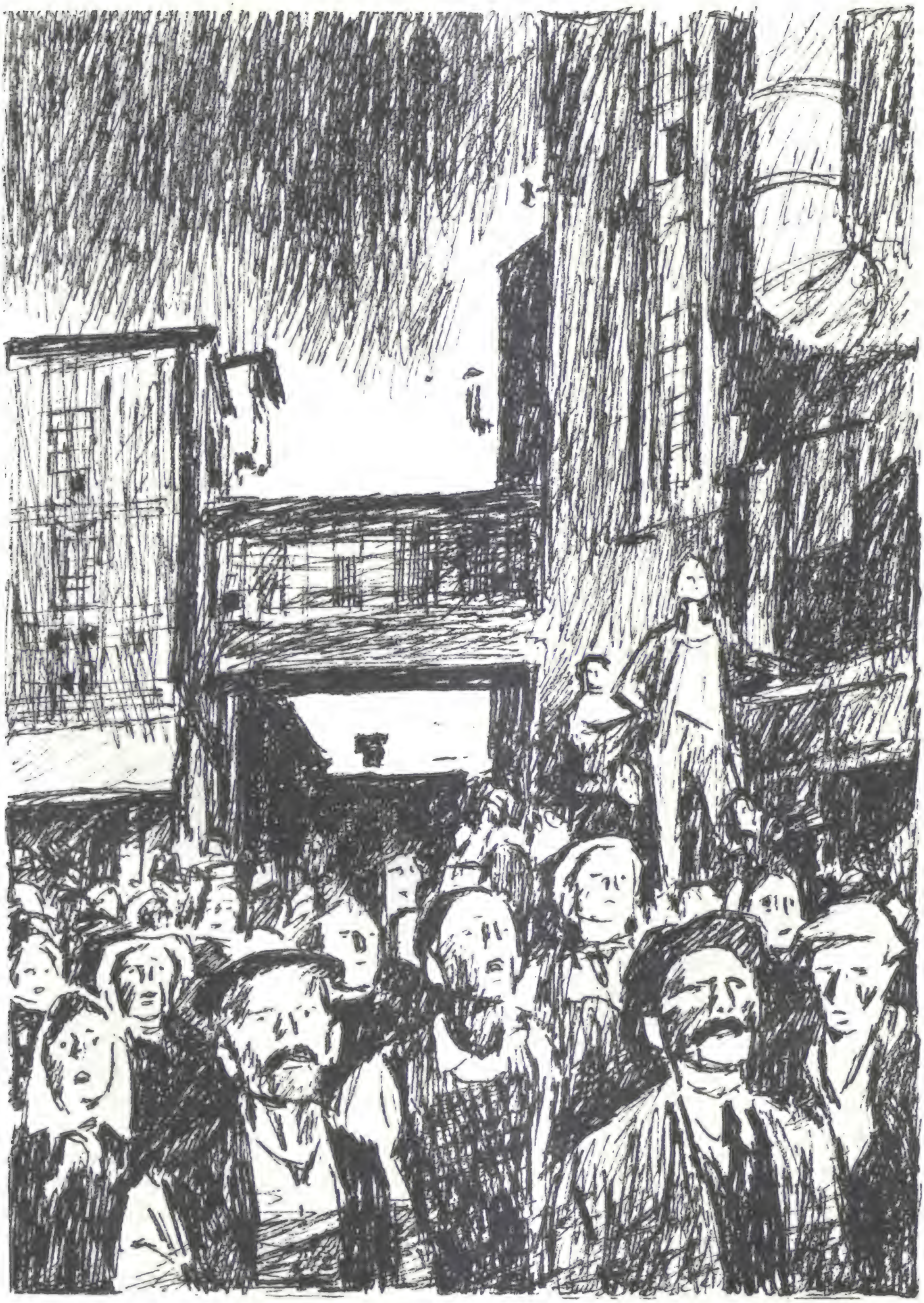
Ондржей был старательный новичок, мастер Тира скоро заметил это. Через месяц у Ондржея уже были лучшие отметки во всей смене, и ребята дразнили его: жестами показывали, что он выскочка и стремится выкарабкаться наверх. Насмешек Ондржей боялся больше, чем опасных машин, но отвечать на насмешку он умел скорее кулаком, чем шуткой. Трудно иметь дело с живыми людьми: сегодня они такие, завтра иные, все зависит от того, как они выспались и чего от тебя хотят. Люди непостижимы! Машина, когда ее освоишь как следует, ясна, у машины прямой характер,

на нее можно положиться. Ондржей хотел учиться на электромеханика, а его пихнули в прядильню. Терпение, все придет в свое время. Кроме того, человек ко всему привыкает. Прядильня — тоже неплохое дело.

Ондржей любил глядеть на работу машин, он гордился ими, словно сам их изобрел. Вот когтистый барабан трепальной машины треплет, разминает и чистит хлопок. Вот из-под скачущего гребня взвивается хлопковая пыль; рабочие называют ее «вуалью». Вот воздушная тяга гонит белые хлопья, словно письма пневматической почты. Вот из укрощенной стихии сырья начинает возникать полуфабрикат: волокна превращаются в супрядок и, глядишь, уже сплетаются в пышные белые блестящие пряди; работницы выбирают их из-под машины такими движениями, словно доят ее, и, смотав роликами, укладывают в тазы. Веретена бешено вращаются, валы и цилиндры, как бы одержимые гордыней, мчатся наперегонки сами с собой, их движение так стремительно, что они кажутся неподвижными. Гонимые электрическим током, вертятся шеренги веретен, вытягивая и скручивая пряжу. На катушки наматываются километры расплетенной паутины. В казмаровской вечерней школе подсчитали, что в тринадцатом цехе за одну минуту сплетают нить такой длины, что ее можно было бы протянуть от Ул до самой Алабамы, к тем ребятишкам, что играют там с цветными тряпичными куклами и собирают хлопок на далеких экзотических плантациях...

Укрощенное движение металось в машинах, дрожало и трепетало с грохотом катастрофы: казалось, паровоз перевернулся на полном ходу и продолжает вращать колесами и шатунами, лежа «на спине». Пахло горячим металлом, маслом и хлопковой пылью. У Ондржея слегка кружилась голова он чувствовал робость и вместе с тем торжество: вот на что способен человек — он приводит в движение столько механизмов, от вала турбогенератора до маленькой шпульки. Уж таков дух промышленного Вавилона: машины ошеломляют и покоряют тебя, приходится им подчиниться.

Когда Ондржей впервые вошел в прядильню, он удивился, как там пусто. Где же люди? Цех работал сам, как машинное отделение трансатлантического теплохода, он напоминал приснившийся ад. Несколько женщин, безучастных к окружающему, скорее наблюдали, чем работали, были начеку и, когда нужно, закладывали сырье или меняли шпульку. Они были незаметны среди аллей веретен. Только когда гудок возвещал обед, фабрика останавливалась (внутри у Ондржея еще дрожал ее ритм) и рабочие и работницы прядильных цехов проходили улицами машин, Ондржей увидел, что их немало.



Люди на перепутье

Люди спускались во двор и сплошным потоком шли в ворота. Рабочие тринадцатого цеха тонули в этом потоке швей, ткачей, красильщиков, бумажников и печатников. Все одинокие или жившие за городом рабочие обедали в фабричной столовой. Семейные вскакивали в автобусы, превращались из рабочих в соседей, торопились домой, чтобы побыть с детьми, проглотить обед и вовремя вернуться на фабрику.

Хвала Хозяину и его ферме, которая снабжает электрифицированную столовую: кормили там хорошо. Несмотря на напряженный труд, Ондржей окреп, лицо у него округлилось и огрубело, глаза сузились, и он сам не заметил, как его лицо приобрело типичное для казмаровского рабочего сытое, туповато-рассудительное выражение, которое так не понравилось ему на лицах казмаровцев в первый день его приезда в Улы.

Много тысяч рабочих успевало пообедать в фабричной столовой за время между двумя гудками. Ели с такой же быстротой, как работали в цехах, каждый обслуживал сам себя. У входа вереница обедающих шла с дымящимися тарелками в руках, в другом конце зала насытившиеся бросали свои приборы в движущуюся механическую судомойку, грохотавшую, как цепная передача. Выйдя из столовой заметно более румяными и бодрыми, молодые рабочие останавливались у ворот, закуривали папиросы, шутили с девушками. Девушки держались вместе, парни тоже, как в деревенской церкви. Франтек Антенна начинал балагурить:

— Чем мы обидели вон ту барышню, чего она так дуется на нас?

Подруги подталкивают девушку, с которой «заигрывает» Франтек. Словно она не замечает этого сама! Подругам можно оглядываться и пересмеиваться, но эта девушка должна делать вид, что ничего не замечает. Таков закон игры. Парни расступились, курят и спокойно рассматривают девушек, которые сбились в кучу и вполголоса усердно беседуют о чем-то своем. Мужчинам нечего соваться в эти дела.

— Такая красивая барышня и даже не взглянет на нас!

Глаза у девушки как черешни, низкий лоб, свежий рот с жесткой складкой, присущей крестьянкам, пышная грудь, узкие круглые бедра, темные волосы, румяные щеки. Она поправляет шарфик на подруге.

Ондржей решительно осуждал поведение Франтека, главным образом потому, что тот превзошел Ондржея. Франтек вел себя так, как хотел бы вести себя Ондржей, если бы осмелился.

Франтек шагнул вперед, притопнул каблуком и, выставив носок, громко обратился к рыжей и веснушчатой девушке, стоявшей с краю, так сказать, на фланге женских оборонительных позиций.

— Барышня, скажите вон той барышне, которая не хочет на меня взглянуть, чтобы приходила в пять часов в универмаг, к граммофону.

Это было место, где завязывались улецкие знакомства. Потом, когда парень и девушка становились парочкой, они ходили гулять по набережной реки Улечки и дальше, к ольшанику.

Рыженькая девушка с решительностью дурнушки вышла навстречу парням:

— Господа, мы не барышни, а девушки!

Франек размашистым жестом снял кепку и отпарировал:

— Прошу извинения, мы не господа, мы казмаровы тягачи.

Смех взвился из девичьего кружка, сливаясь с хохотом парней.

Хорошенькая девушка, не выдержав роли, вдруг сделала неподражаемо лукавую и дружескую мину и подмигнула Францеку. Показав наверх, она выразительно посмотрела на парня, давая знать: тихо, попридержи язык! И парни и девушки вдруг как-то сжались и умолкли. Франек глянул в указанном направлении.

— Вот он, «незмар»,— сказал он.— Куда это он прется?

— Где, где, покажи! — с детским любопытством вытянул шею Ондржей.

— Ну, ну, только не обделайся от почтения,— спокойно сказал Франек своим молодым баском.— У него такой же нос и два глаза, как и у тебя.

Ондржей ни разу не видел Хозяина, который ездил за своей дочкой, а затем совершал деловое турне по Англии и северным странам. Сейчас он заметил, как по висячему мостику, соединяющему главный корпус с отделом технического контроля, шли три человека без шляп. У первого Ондржей ничего не успел рассмотреть, кроме широкой и прямой спины и мощного затылка. За ним шел директор Выкоукал, пресловутый цепной пес Казмара, известный увольнениями рабочих. У Выкоукала была осанка немецкого генерала, резко очерченный профиль, подчеркнутая выправка. Ондржей узнал и шедшего за ним узкоплечего Колушека, о котором в Улах говорили, что он казмаровский шпик и наушничает Хозяину. Колушек двигался немного бочком. Рядом с рослыми и важными спутниками выглядел он довольно жалко. У дверей человек, шедший первым, обернулся, сощурился против света и заговорил с Выкоукалом. Ондржея даже бросило в жар,— он узнал Казмара.

Казмар и его спутники вошли в здание. У Ондржея все еще учащенно билось сердце. Выросший без отца подросток глядел на этого человека с таким чувством, с каким взирают на прославленного полководца молодые солдаты в дни войны.

Францек тем временем показывал хорошенькой девушке на Ондржея (девушки и парни уже смешались в одну группу) и говорил ей:

— Барышня, вон там мой товарищ, я вас познакомлю. У него великое будущее, он составит ваше счастье.

Ондржей готов был убить Францека.

— Он хоть не пристает к девушкам, как один шут гороховый,— отозвалась девушка.

Девушки взвизгнули, парни одобрительно засмеялись. Знакомство состоялось. Девушку звали Лидка Горынкова, она была родом из Ул, недавно начала работать швеей у «Яфеты», а отец ее, как выяснилось, был смазчиком в цехе, где работали Францек и Ондржей.

Увидев, что мастер Тира входит в ворота, Ондржей спохватился: пора в цех; преодолев неловкость, он поспешил к своему рабочему месту.

— Еще не было гудка! — кричали ему, но он не оглянулся. Францек махнул рукой: «Пропащий для общества человек!»

— Не приставай к нему — новичок. Это у него пройдет.

— Пройдет, когда обожжется как следует.

Лидка посмотрела вслед мастеру и Ондржею.

— У Тиры, слыхать, неприятности с заказом для Румынии,— сказала она тихо и многозначительно.— Мне говорила одна ткачиха, что они хотят на него жаловаться: дает плохую пряжу, рвутся утки, а ткачи — плати штрафы. А в общем, люди чего только не наболтают!

— Обрывы могут быть и из-за краски.

— У нас никогда не узнаешь...

— ...когда вылетишь за ворота, да? — сказал Францек.— Мы здесь как птички, каждую минуту можем полететь.

Когда Ондржей вместе с Тирой вошли в цех, машины еще не работали, в цехе было тихо и будто светлее, как всегда бывает в тишине. В ясной полуденной тиши послышался спокойный голос:

— Для тебя, машина, возьмем веретенное жидкое, а в мотор запустим цилиндровое. У меня для вас есть все масла и тавоты, все лекарства и капли, сразу вылечу ваши суставы.

Это смазчик, старый Горынек, говорил с машинами. Во время обеда он оставался в цехах, ходил там в войлочных туфлях, бесшумно, как дух, и освежал машины из своей масленки. Утром, когда ребята еще отбивали в проходной контрольные листки, Горынек уже был в цехе, и наверняка именно его силуэт видел в освещенном корпусе Ондржей, впервые подъезжая к Улам. Никто не знал, когда Горынек уходил вечером, и можно было подумать, что он

тут ночует, не выходит из цеха и по воскресеньям и вообще живет на фабрике. Старик был слегка глуховат и поэтому отличался некоторой невосприимчивостью,— отнюдь не тупой, а возвышенной,— к спешке и суматохе. Если в цехе что-нибудь не ладилось — заедало какой-нибудь рычаг или не шла как следует машина, первым звали Горынека. Он приходил со своей масленкой и оптимистически, тоном старого домашнего врача говорил: «Маленько маслица в подшипники, и пойдет на лад».

С огорчением признаюсь, что машины далеко не всегда слушались этого доктора с мазями, и приходилось звать другого, более квалифицированного специалиста, хирурга-механика. Но как бы там ни было, Горынек всегда вносил с собой приятное спокойствие и задумчивую веселость — это был как бы его инструмент — и вполне подходил для своего дела; измениться, казалось, он был не в состоянии.

В этот полдень Горынек отложил масленку и тряпки и стал чистить наждаком вал. Неожиданно в цех вошел Хозяин. Наклонившись над валом, Горынек не слышал, как Казмар прошел между машинами и остановился возле мастера Тиры. Сортировавший трубки Ондржей даже испугался: перед ним внезапно возникла ожившая статуя. Казмар, лишенный волшебства, стоял так близко, что при ярком свете видны были даже поры на коже его лица. Ондржей удивился: улецкий властитель носил поношенный костюм, в котором он выглядел совсем не величественно. В мальчике все еще жили представления раннего детства, когда ему показывали на картинках королей в горностаевых мантиях, со скипетром и державой. Казмар был похож на американца времен «Хижины дяди Тома» и, несмотря на свои широкие плечи,— немного на пастора. Что произойдет между мной и им? Ондржей волновался и с трудом заставлял себя сортировать красные и зеленые трубки. Он был в таком возрасте, когда от каждой новой встречи ждут чего-то необычного.

Мастер Тира изменился в лице и вытянулся в струнку. Он был очень взволнован и преодолевал это волнение. Казмар пожал его дрогнувшую руку. Но было бы ошибочным думать, что Тиру заставила побледнеть боязнь потерять место. Нет, это был гнев, который ему приходилось подавлять. Тиру каждый раз ошеломляла дерзость, с которой кто-то приходит распоряжаться в *его* прядильню. Он все еще чувствовал себя хозяином, и ему от этого трудно было отвыкнуть.

Казмар заговорил о заказе для Румынии, абсолютно не заботясь о том, что его слышат Ондржей и Горынек. Без околичностей он громко сказал самолюбивому Тире:

— Рвутся утки, это никуда не годится. Ткацкая обвиняет вас,

а вы — красильню. Это понятно. Я начинаю от Адама и потому пришел прежде всего к вам.

Тира поклонился, показав, что польщен. Посылая в душе Казмара ко всем чертям, он пригласил его в контору. Но Хозяин вместо ответа вытащил из кармана шпульку, из другого кармана кусочек ткани, а из бокового кармана лупу, которую всегда носил там вместе с блокнотом и вечным пером, и подошел к окну. Тира за ним.

— Сегодня в пять часов в отделе контроля Выкоукал назначил для всех совещание,— проронил Казмар.— Вы уже знаете об этом. А пока мы выясним кое-что на месте.

Тира позвал Ондржея Урбана и через плечо, сердитым и страдальческим голосом приказал ему принести образцы каждого номера хлопка.

— Я уже прихватил их по дороге,— засмеялся Казмар и показал комки хлопка. Наклонившись над лупой, он и мастер говорили у окна. Ондржей тщетно напрягал слух. Потом Хозяин вдруг прервал разговор, вернулся в цех и сказал:

— Ну, а цилиндры? — и шагнул к машинам.

— В порядке, Хозяин,— ответил Тира, имея в виду, что суконвальные цилиндры установлены правильно. Он не удержался, чтобы не добавить с горькой укоризной: — За кого вы нас принимаете, Хозяин?

Тира с ненавистью смотрел, как умелые, ловкие пальцы орудуют в *его* машинах. Ему хотелось дать Хозяину по рукам. Перепутать цилиндры! Это все равно что надеть правый ботинок на левую ногу,— был бы сплошной брак. Не могло быть и речи, чтобы Тира не заметил такого грубого промаха, и когда Казмар для проверки отвинтил парные цилиндры, они, разумеется, оказались в порядке и соответствовали стрелкам, указывающим направление вращения.

Но фабрикант испытующе погладил цилиндр ладонью, понюхал кожу, провел ею по щеке и сказал:

— Вы работали низкие номера, сейчас работаете высокие. Цилиндры загрубели, надо их разгладить. В шорную!

Правый и левый цилиндры были на своих местах, это верно. Но не только в этом дело. Цилиндры, которые растягивают и смягчают пряжу, обтянуты первосортной телячьей кожей, и от нее зависит многое, она должна быть абсолютно гладкой. Хлопок не терпит ни одной неровности на цилиндрах, пряжа — неженка.

Хуже всего, что Хозяин оказался прав, Тире пришлось скрепя сердце признать это.

— Я уже думал об этом,— сказал он нетвердым голосом,— и как раз сегодня...

— Думал! — вспыхнул Казмар.— Все цилиндры в шорную, сию же минуту! Где у вас запасные?

Тяжело дыша от сдерживаемого гнева, Казмар отвинчивал цилиндры. Горынек молча стал рядом и помогал ему. «А потом потребуют от нас работу в срок, потом нагоняй темпы!» — с отчаянием думал Тира.

— А вы, Урбан,— окликнул Ондржея Хозяин, и юноша удивился, что Казмар запомнил его фамилию,— бегите с ними в шорную, пускай там разгладят, да как следует!

В шорной, отделенной от цеха перегородкой, было прохладно и тихо, как в маленькой кустарной мастерской. Пахло свежей кожей и хромовым лаком. Здесь в запертом шкафике Горынек держал свои масленки и склянки. Здесь же он варил всякие мази для приводных ремней. Кстати говоря, приводных ремней на фабрике Казмара становилось все меньше и меньше, поэтому шорная была невелика, Горынек шутливо называл ее «аптечкой». Казмар из цеха направился туда и спросил шорника, который уже был занят цилиндрами:

— Какого качества телячья кожа, которую вы получили из Гренобля? К вашему сведению, мне она не нравится.

— Да она и не телячья,— отозвался шорник, неопределенно улыбнувшись, словно желая сказать: очень жаль, но я здесь ни при чем.— Они прислали баранью,— продолжал он.— Я уже докладывал об этом господину управляющему.

Хозяин оживился и вытащил блокнот.

— А на что у нас своя ферма в Широком? Давно надо было подумать об этом. Разве мы сами не можем обеспечить себя телячьей кожей?

И он записал в свой знаменитый блокнот заказ для фермы на столько-то телячьих кож и название сыромятни, которую порекомендовал шорник.

Подмастерье Урбан не спускал глаз с Казмара, и Хозяин заметил это.

— Когда со временем у вас, Урбан, будет своя прядильня,— сказал он веселым тоном, остро глядя на юношу щелками глаз,— помните, что за цилиндрами надо тщательно следить. Это окупится с лихвой.

И верно: когда кожу разгладили, работа пошла как по маслу. Ткачи были довольны, а этим все сказано!

— А подал он тебе руку при уходе? — бесцеремонно спросил Ондржея Францек Антенна, когда зашел разговор о визите Казмара.

— Подал,— пробурчал Ондржей, глядя в сторону. Он почув-

ствовал в этом насмешку и с запозданием сообразил, что лучше было бы промолчать.

— Наверное, эти рукопожатия стоят ему больших денег за год, а? — серьезным тоном съязвил Франтек и по-актерски поднял брови.— А не посоветовал он тебе, когда станешь миллионером, всегда поступать, как он?

Ондржей отвернулся и не ответил.

WEEK-END[1]

Опустив загнутые ресницы, Ружена внимательно подпиливала ногти мужской руки. Клиент, развалившись в алюминиевом кресле, держал в свободной руке газету и читал ее с непроницаемым видом. Маникюрша наклоняла голову, и ожерелье, холодившее кожу, скользило по ее крепкой шее, опускаясь до выреза белоснежного халата, где чуть виднеется первая тайна девичьего тела. Ружена осторожно обмакивала костяную палочку в различные кремы (которые маникюрша покупает за свой счет), и от этих легких, частых движений на ее округлой руке звякал браслет из двенадцати разноцветных камешков в металлической оправе.

Длинная и самоуверенная рука читающего клиента излучала сухое тепло, пальцы, один за другим, машинально поддавались маникюрше. Рука была тонкая и загорелая, с большими суставами, как подобает мужчине, и, сказать по правде, Ружене было с ней немного работы. Овальные ногти, твердые и крепкие, с лунками у корней, не были покрыты лаком. Этот клиент, видимо, следит за собой, но он не женствен, в нем чувствуется *порода*, сразу видно человека *высшего круга*. Ружена полагалась на свою наблюдательность. Как бы ни были щедры на чаевые лавочники и мясоторговцы, стоило Ружене взглянуть на руку клиента, и она без труда могла определить, что он собой представляет. Полгода такой торгаш грызет ногти, а когда выберется в Прагу покутить — трехнет мошной и наведет блеск на ногтях. Умрешь со смеху! Сделайте-ка маникюр на такой руке! Толстые красные приказчичьи лапы, а на них розовый японский лак. К этим лапам он идет как корове седло. Разумеется, и с такими клиентами Ружена разговаривала высоким и немного ненатуральным голосом, как со всеми другими. Но не подумайте, что она хоть раз приняла от кого-нибудь из этих старикашек приглашение поужинать. Плохо знали бы вы Ружену, если бы решили так. Этакому провинциальному папаше — на пух-

---

[1] Свободное от работы время, с середины субботы до понедельника *(англ.)*.

лом пальце у него еще и сейчас виден след обручального кольца, спрятанного в карман просторного дорогого костюма,— жена не велела долго оставаться в Праге, вот он и хочет за сутки покорить всю столицу. Нет, Ружена, во-первых, не так глупа, а во-вторых, она порядочная девушка. Да и вообще она *романтическая натура*, и красноречие мясоторговцы, ухаживающие слишком напористо, совершенно ее не привлекают.

В мужской маникюрный салон приходили также вылощенные коммивояжеры, в гетрах, некоторые с браслеткой на левой руке и сигаретой в янтарном мундштуке. У этих, наоборот, ногти были разукрашены так, как не подобает мужчине. Не ногти, а фонари. Они их вечно чистят и полируют от нечего делать в поездах. Чаевые они дают пустяковые, но бывают милы, знают свет, научили Ружену непринужденной болтовне, иностранным словечкам и бульварно-философским афоризмам. Почему бы не пошутить с остроумным мужчиной? Но не больше! Как-то Ружена пошла в кино с таким клиентом, одна, без подруги Божены,— та до сих пор торчит в дамском салоне, куда ей, она такая мямля. Клиент был венгр, говорил на ломаном чешском языке и после кино пригласил ее в кафе потанцевать. С последним трамваем Ружена, несмотря на отчаянные уговоры венгра, поехала прямо домой. Все-таки ей крепко попало от матери. Анна Урбанова хоть и была на голову ниже дочери, влепила ей такую оплеуху, от которой у красивой девушки помутилось в глазах: мать напомнила дочери, что у бедной девушки нет ничего, кроме чести. Ружена с малых лет была любимицей, и теперь, когда ушел Ондржей, на нее только и надежда. Детям вдова отдавала последний кусок, из-за них она не вышла второй раз замуж,— не думайте, предложения были, и не одно! — ради них она пожертвовала всем, и вот вам благодарность. Мамаша любит преувеличивать. Как будто Ружена нерассудительна и не научилась разбираться в людях за время своей работы в мужском салоне. Она отлично знала руки людей сомнительных профессий, людей, которые не любят солнца, торгуют кокаином и посылают своих любовниц в два часа ночи на панель. (Такие клиенты предпочитают «остроносый» фасон ногтя.) Служа в парикмахерской, можно узнать многое, особенно по понедельникам, в самый незагруженный день, когда маникюрши собираются в задней комнатке, вяжут джемперы или снимают выкройки. (В этой парикмахерской, слава богу, не заставляли делать парики, как, бывало, на Жижкове.) Среди маникюрш до сих пор ходит легенда о красавице Иде, которая стала танцовщицей в «Рики-тики». Однажды она пришла показаться девушкам в шубке из шиншиллы (не настоящей!) и лезла ко всем целоваться, уверяя в дружбе. Девушки таращили глаза, но никто не поцеловал ее — брезговали. А на днях,

говорят, один из мастеров мужского салона видел ее в дверях самого дешевого заведения Душной улицы, страшно похудевшую и подурневшую, просто не узнать.

Ружена внимательно слушала, соглашалась с комментариями девушек, говоривших вполголоса (ведь они не где-нибудь, а в салоне «Риц», да и новости такие важные!), и была горда, что видит *трясину столицы.* Что касается ее, можете не беспокоиться, она не сорвется, у нее трезвая голова и упорная жажда карьеры, свойственная молодому поколению Урбанов. Когда-то актриса Тихая предсказала удачу Ружене, тогда еще расторопной ученице дамского салона. Переход Ружены в мужской салон бесспорно был первым этапом этого успеха, и он, разумеется, обязывал.

Кто видит этих американизированных девушек в белых халатах, их безупречно подбритые шеи, грациозно склоненные над вздорной работой маникюрши, от которой портятся глаза, особенно если в них еще пущена капля атропина, названного одним французским парфюмером «цветком любви»; кто видит их длинные ресницы под сбритыми и снова наведенными тончайшей кисточкой удлиненными бровями в монгольском стиле — так велит Голливуд! — их румянец на щеках и рот сердечком; кто видит этих девушек, таких вылощенных, будто они только что соскочили с репродукции на меловой бумаге, таких стройных, словно они вышли из удлиняющих зеркал, которыми снабжены универмаги «Яфеты», для того чтобы заказчицы нравились себе и больше покупали; кто видит этих красавиц центра Праги, когда в полдень, выпорхнув из торговых домов, они оживляют главную улицу звонким смехом, отливающими металлом прическами, хорошенькими ножками, этих девушек с бутоньеркой на отвороте костюма, таких светских и более французистых, чем сами парижанки, девушек, устремляющихся к своей счастливой звезде,— кто видит их, тот и не вспомнит, из каких бедных каморок выходят они по утрам, какие у них старозаветные и строгие мамаши и как им приходится изворачиваться и экономить.

Не будь этих мамаш, девушки, наверное, вообще бы не ели, чтобы сберечь деньги на наряды. Ведь чулки из искусственного шелка просто горят на ногах, туфельки с тонкой подошвой расползаются, не успеешь оглянуться, перчатки после стирки лохматятся, а ведь все эти вещи подобраны одна к другой. Вот хоть бы сумочка с инициалами Р. У.— такая уж мода! — потом несколько шарфиков, пряжка на пояс и коралловое ожерелье — нельзя же ходить монашкой! — да немного косметики на лицо и капелька духов, которых в салоне хоть пруд пруди, но платить за них все равно приходится, как всем клиентам (шеф в субботу удерживает из получки),— и вот на такие пустяки, придающие изящество, уходит вся

получка — *плакали денежки.* Еще счастье, что у Ружены ловкие руки и большинство своих нарядов она шьет сама. Что «Яфета»? Тряпки от «Яфеты» я и носить не стану, их все носят. Дома сшить куда выгоднее, можно сэкономить пару крон. Иногда Ружене и Божке удавалось улучить время и забежать в обеденный перерыв в Котце, там всегда есть в продаже очень милый материальчик на комбинацию из остатков. Ажур Ружена делала сама, а *экрю филе* пришивала от старой блузки. Надо уметь кудесничать! Стоило Ружене взглянуть на фасон, и он уже был у нее в голове, ей сразу было ясно, в чем изюминка. Она, как рысь, высматривала иностранок, выходивших в полдень из отеля «Риц», и пражских модниц, приходивших туда на вечерний чай потанцевать. Пани Гамзова уже давно перестала быть образцом для Ружены. Как-то живется бедняжке Нелле, противной насмешнице Елене и этому неприятному Гамзе? С тех пор как они переехали в загородный район, о них ни слуху ни духу. Горят ли у них уши, когда Ружена их вспоминает? Странно: Ружена не сказала бы, что этот темноволосый молодой красавец (типа Валентино), на которого она сейчас метнула взгляд в зеркало и тотчас опустила глаза к его руке, продолжая подпиливать ногти с обычной сноровкой, похож на Гамзу. Гамза, собственно говоря, был некрасив. И все же этот пренебрегающий ею молодой человек напоминал ей Гамзу и те минуты, когда она, еще девчонкой, старалась не встретить адвоката на лестнице. Вспомнилась ей и смятенная торопливость, с которой она застегивала крючки перед рождественским ужином в Нехлебах.

Невозмутимое лицо клиента приводило Ружену в такое же замешательство. Ей хотелось суетиться, извиняться... Зачем? В чем? Она не могла совладать с собой, такая уж у нее была натура: больше всего она уважала людей, которые ее *третировали.*

Владелец салона господин Сирун прошел мимо с очень серьезным и важным видом и, отраженный зеркалами, молча поклонился клиенту. Ружена отложила пилку так, что она звякнула о стекло, и взяла ножнички. Вот, например, тенор Гатера, знаменитость, получает две тысячи за вечер, а как общителен, не задается, всегда шутит с маникюршами. Еще ни разу не случалось, чтобы клиент в течение всей работы, когда Ружена опиливала ему ногти, даже не взглянул на нее. Это ее очень раздражало.

— Циля, а где шампунь?! — резко бросила она ученице.— Ты что, у нас сегодня первый день? Разве не знаешь? Когда я делаю третий палец, шампунь должен быть уже здесь. Живей неси сюда! *Бегом!* Клиенту некогда,— добавила она с легчайшим нажимом.

Циля была единственное создание, которым Ружена могла командовать, и эту возможность она использовала полностью, го-

няя ученицу совершенно так, как два года назад другие мастерицы гоняли ее.

— Как лед! — недовольно сказала она, пренебрежительным жестом попробовав воду в мисочке, принесенную испуганной ученицей.—Никогда из тебя не будет толку! Добавь теплой! Да не пропадай опять на два часа... Прошу вас.

Последние два слова были сказаны совершенно другим тоном и с другим выражением лица. Словно один рубильник выключили и включили другой.

Ружена подсунула клиенту подставку с мисочкой. Молодой человек лишился газеты и тем самым был разоружен. Опустив пальцы правой руки в мыльную воду и предоставив левую руку хорошенькой маникюрше, он хмуро созерцал в зеркале свои безупречные черты и думал о том, какая скучища будет на завтрашнем рауте, который устраивает пражский союз промышленников по случаю пятидесятилетия Казмара. Не пойти нельзя никак, если вы Карел Выкоукал и имеете несчастье быть сыном улецкого директора. Глупо, что приглашают молодежь, но это, очевидно, ради Евы Казмаровой, которая на днях вернулась из Англии и вместе с мачехой находится в Праге. Насколько он помнил Еву, она была уродлива как смертный грех и носила очки. Кроме того, Карел не без оснований полагал, что некрасивых ног не исправит даже пребывание в Англии. «Ну ладно, посмотрю на нее, доставлю удовольствие своему старику, показ — не беда». На раут придется пойти в порядке семейных обязанностей. Это вроде первомайских празднеств в Улах, на них непременно надо бывать, если хочешь поддерживать полезные связи. Улецкие правители страшно любят первомайские поздравления. «Незмар», правда, относится к сыну своего старого сотрудника и друга прохладнее, чем принято среди воспитанных людей, но что требовать от этого чудака: Карел уронил себя в его глазах еще мальчиком. Нет, нет, не безвестной книжонкой колючих стихов «Бей их!», изданных несколько лет назад; о ней Казмар наверняка даже и не знает.

У инженера Карела Выкоукала хватало чувства юмора, чтобы признать, что эта поэма и все тогдашнее стихоплетство были лишь данью возрасту; он совсем не огорчался, что не рожден поэтом. С него достаточно и того, что он виртуоз лыжного спорта, чемпион по прыжкам с трамплина и светский молодой человек. Он переболел корью «левизны», которая свирепствовала тогда среди студенчества, и выздоровел одновременно с концом «Ред-бара». На старичков, энтузиастов левых идей типа Гамзы, которые, с тех пор как вышел закон об охране республики, вечно рискуют угодить в кутузку, молодой Выкоукал взирал с иронической снисходительностью, вспоминая свою юность. Сейчас он зрелый мужчина и

трезво смотрит на жизнь. За время неторопливой учебы в веселой Праге он помирился с богатым (но, увы, скупым) отцом, с которым раньше был на ножах. Директор Выкоукал старался сейчас уговорить Казмара, чтобы тот назначил Карела главным инженером улецкой красильни. Против этого Карел не возражал бы. «Незмар», правда, имеет на него зуб за то, что Карел еще подростком сбежал из общежития казмаровской молодежи, куда папаша упек нерадивого гимназиста. Но старый фабрикант и упрямец в конце концов забудет об этом случае; ведь Карел не кто-нибудь, а сын Выкоукала. И потом: разве не помогла улецкая исправилка? Начал же Карел после этого учиться как следует. Правда, он не проявлял особого энтузиазма в ученье, но все же окончил не спеша химический факультет и уже прошел годичную стажировку в Германии — работал в лаборатории над индантреновыми красителями; это могло бы заинтересовать «Яфету».

Если с Улами дело не выйдет, тоже не беда, молодой Выкоукал найдет себе место. Казмаровскому духу свирепости и упорного труда он противопоставлял свою молодую, овеянную ветрами и опаленную солнцем самоуверенность спортсмена. Он не отличался особыми дарованиями, но его наружность производила отличное впечатление: этакое сухощавое, смуглое лицо хорошо владеющего собой человека, крупный нос, твердый рот с оттенком благородной суровости — все, что нравится женщинам.

«Какая гордая и красивая голова! О чем только он сейчас думает? Совершенный киногерой! Господи боже мой, чем же я его обидела, что не существую для него?» Прежде Ружене не приходило в голову, что сидеть размалеванной на низенькой скамеечке и возиться с мужскими руками — довольно глупое, ненужное и унизительное занятие. Но сегодня она казалась себе рабыней. Она волновалась, спешила, руки ее не слушались. Она порезала клиента!! Проклятая холодная вода! На мизинце у молодого человека показалась капелька крови. Ружена ахнула от огорчения, пробормотала извинение, встала, звякнув браслетом, и убежала за квасцами.

— Циля! Какая негодяйка взяла мой кристалл?

Она вернулась, стройная и легконогая, у нее была ладная фигура — хотя мордашка совсем заурядная,— Ружена была привлекательна в смущении, причину которого Карел сразу разгадал, словно видел ее насквозь. Прибежав, она стала водить по его пальцу скользкой поверхностью кристалла.

Молодой человек чувствовал себя немного глупо в роли ребенка, которому дуют на царапину. Он прикоснулся к позвякивающему браслету маникюрши, похвалил его и спросил слегка ирони-

ческим тоном, каким мужчины обычно говорят о женских нарядах, почему все камешки браслета разных цветов.

Она подняла к нему лицо с яркими губами. «Наконец-то! Я не нарочно порезала твой палец, этого мы в «Рице» себе не позволяем, но поделом тебе!» Она глядела на него скорее ртом, чем глазами. Над верхней губой у нее была родинка.

Браслет, объяснила она самым нежным, утонченным голосом для клиентов,— это талисман, и она его никогда не снимает.

— Даже на ночь?

Она посмотрела на него укоризненно.

Двенадцать камней означают двенадцать знаков зодиака, для каждого месяца свой камень, и у каждого камня своя магическая сила: опал завоевывает симпатию, аквамарин сохраняет стройность, кошачий глаз дает рассудительность, янтарь помогает против ревности, бирюза приносит счастье, рубин удерживает любовь.

— А откуда он у вас?

Ружена перестала работать.

— Несколько нескромный вопрос,— произнесла она услышанную в нусельском театре фразу. Но что в этом было смешного, почему молодой человек рассмеялся?

— Я не то имел в виду. Где они продаются?

— В «Шик паризьен», на Национальном проспекте,— сказала Ружена, купившая браслет на Жижкове, и поспешила переменить тему.— А вот у вас белое пятнышко на ногте. Как раз на безымянном. Это к счастью.

Разговор — болтовня в обычном стиле маникюрного салона — продолжался. Ружена не уронила своей репутации самой преуспевающей мастерицы салона. Маникюрша Габи, придиравшаяся к Ружене, когда та была еще ученицей, и до сих пор, вопреки обычаям парикмахерской «Риц», не предложившая ей перейти на «ты», прошлась по залу и злобно посмотрела в сторону Ружены. Взяв ненужный ей бриллиантин, она вышла, покачивая бедрами. «Толстеет, так ей и надо»,— подумала Ружена.

Молодой человек продолжал разговор в том же игривом тоне. Коснулись темы о причинах личного вкуса. Ружена рассуждала с крайней серьезностью, молодой человек поощрял ее иронической улыбкой.

— У меня особая натура,— говорила Ружена.— Мои подруги всегда удивляются. Блондин — герой *не моего* романа. Для меня блондины просто *не существуют*.

— А кто же ваш герой?

Ружена взяла овальную коробочку с перфорированной крышкой, высыпала немного розового порошка и принялась полировать ногти клиента с таким рвением, что у нее тряслась голова.

— В конечном счете важен не столько цвет волос, сколько *характер*,— уклонилась она.— Если я когда-нибудь влюблюсь, что, впрочем, маловероятно,— этот мужчина будет мне импонировать.

Карел развлекался. Девушка явно глупа как пробка. Но до чего ж хороша собой! Перед тем как встать с алюминиевого кресла и позволить Ружене почистить щеткой пиджак, он сказал ей вполголоса:

— Знаете что, барышня? Поедем в субботу за город. Буду ждать вас в четыре часа здесь за углом. Идет?

Ружене кровь ударила в голову. Ею владели две мысли: «он потешается надо мной» и «такая удача не повторится». У нее даже заболела голова, как когда-то после материнской пощечины. И она ответила величественно, как маркиза:

— Сожалею, но эта суббота у меня уже занята.

Она сама ужаснулась этой лжи, как непоправимому бедствию. А молодой человек, видимо, легко примирился с отказом.

— Не повезло! — сказал он весело.— Ничего не поделаешь.— И спросил с лукавой усмешкой: — Не знаете ли, барышня, куда делась моя шляпа?

Ружена пришла в ужас от того, что она сказала. Незнакомец скроется в *вихре столичной жизни*, и она больше никогда его не увидит.

Господин Сируп (пятки вместе, носки врозь) с важным видом учтиво подождал, пока клиент вышел, и поспешил в заднюю комнату к прерванному обеду.

Ружена больше не колебалась. Как была, в белом халатике, она вышла из парикмахерской, сделала несколько шагов по залитой весенним солнцем улице и дотронулась сзади до рукава серого костюма из великолепной английской шерсти. Какие там церемонии, когда на карту поставлено счастье ее жизни. Ах, как упивалась она его *небрежной элегантностью!* Молодой человек оглянулся, и по его лицу было видно, что он думает о чем-то совсем другом.

— Утром в воскресенье...— прошептала Ружена, близко подойдя к нему и глядя на него губами.— В воскресенье утром я бы могла.

Удовлетворение и недовольство одновременно мелькнули на лице Выкоукала. Что за манера — приставать среди бела дня на улице?

— В субботу нам приходится быть до семи на работе...— кающимся голосом торопливо объяснила Ружена.— А зачастую и позже.

Она говорила уже с интонацией и оборотами пражской улицы, которых избегала в салоне, и этим как бы сбрасывала с себя белый халатик маникюрши, который хоть и был хорошо сшит, но недостаточно подчеркивал все прелести Ружены.

Великолепная фигура была у этой девушки.

— Хорошо, тогда в субботу в восемь,— твердо сказал молодой человек.— Честь имею.

Он поклонился, приподняв шляпу, и отошел, высоко держа голову Родольфо Валентино на широких плечах.

Ружена вернулась в салон чуть живая от волнения, и до субботы у нее все валилось из рук.

Она твердила себе, что девушка не должна показывать своей заинтересованности, что надо заставить мужчину подождать, и все же, даже сделав крюк, явилась на свидание с последним ударом часов, одетая в свой лучший *бежевый костюмчик*, благоухая духами. Молодой человек приехал в маленькой спортивной машине, опоздав на четверть часа, и не счел нужным извиниться. Нечего ее баловать. Он открыл дверцу и сказал приветливо:

— Очень мило с вашей стороны. Садитесь.

В отложном воротничке и шерстяном галстуке он выглядел очень юным. Усадив ее возле себя на подушки, обтянутые скрипучей вишневой кожей, такой, из которой делают шикарные громадные сумки, он пустил машину. За городом он попросил ее снять перчатку — замша ручной работы, недельный заработок — и поцеловал ей руку около артерии, там, где самая нежная кожа...

Это была любовь, о боже, какая любовь! Такая бывает только в кино, и так ее переживают лишь девушки.

Мужчина сперва носит *пренебрежительную* маску, потом он становится *обходительным*, потом нежным, потом страстным, а потом, лежа, курит сигарету в загадочном мужском молчании. Мужчина — это нечто совсем не обычное, об этом никогда не следует забывать. Он благороден и слегка жесток. Нет, какая там жестокость, ведь это милый, озорной мальчишка, когда он играет с вами в волейбол на площадке за отелем. О, неотразимые иностранные слова, которые, подобно целлофановой обертке, берегут вещи от серой обыденности. А как вы благодарны, и горды, и тронуты, и рады, и счастливы, когда обнаруживаете, что ваш милый совершенно таков, как все другие люди, что его не надо бояться, хотя он такой выдающийся человек, с непостижимыми интересами, с лабораторией, клубами, светскими обязанностями. Если бы Ружена в один прекрасный день прочла в газете пана Сирупа, что Карел назначен главой какого-нибудь высокого государственного учреждения, она бы совсем не удивилась,— ведь она знала, какой он одаренный.

Она так гордилась своим *знакомством* и заносилась перед девушками в парикмахерской, что надоела всем, даже Божене. Плевать! Ей никто больше не нужен. С матерью она давно была не в ладах. Вспоминая иногда, как она раньше беспрекословно повино-

валась матери, Ружена не могла удержаться от улыбки. Разве она не кормит себя сама? Разве у нее нет права на *личную жизнь?* Разве она не может *располагать* собой? Кому какое дело, где она проводит вечера! Мать только дивилась словам этой девчонки и не узнавала ее. Никогда дочь не была так смела, так элегантна, никогда не говорила так убедительно и не имела такого влияния на мать, как той весной. Было ясно, что у нее солидный поклонник. Анна Урбанова не успевала стирать и гладить для дочери, которая теперь вечно была в бегах, проводила все время в развлечениях. Мать не упускала случая упрекнуть ее и не переставала вздыхать о тяготах и заботах. Но понемногу она заняла позицию всех матерей, которые не могли совладать со своими дочерьми: девчонка молода, пусть пользуется жизнью. Ружена запугала ее, и Анна начала уважать дочь — такой уж был у нее характер. Она даже молча восхищалась Руженой, хотя и не без горечи: вот каковы эти нынешние девушки, умеют устроить себе привольную жизнь.

Счастье Ружены было бы полным, если бы Карел появлялся с ней *на людях.* «Мало тебе здесь людей?» — смеялся он, показывая на берег Влтавы, переполненный загоравшими людьми, куда они вместе ходили купаться, пока Карел не уехал в отпуск к родителям в Улы. В кино и в *дансингах* (чарующее слово — дансинг!), когда ей удавалось вытащить его туда, они тоже были окружены людьми. Но охотнее всего Карел принимал ее у себя, потому что был безумно влюблен в нее. *Правда, увеселительные заведения, куда водил ее партнер, были не в центре города, но тоже очень шикарные.* Ружена одновременно была благодарна Карелу и злилась на него. Все это было не то, не то! Он очень хорошо понимал, чего она хочет, но делал вид, что не понимает. Таковы мужчины. Ни разу он не пришел встретить ее к парикмахерской, как это делали кавалеры других маникюрш. Вон у Божены хромоногий приказчик, зато приходит к ней. А Карел словно не существовал. У него было множество знакомых, однако всегда получалось так, что они никогда никого не встречали. Ружена чувствовала себя, как перед обнесенным стеной островом, к которому не было мостика: она никак не могла избавиться от давнего ощущения, что все еще стоит в стороне от *светского общества.* Она знала, что Карел никогда не женится на ней, ибо она не из *такой* семьи, а его отец почти наместник в Улах. (Эти Улы, очевидно, были великолепны, судя по тому, что писал брат, которому не хотелось домой; она не видела его уже два года.) А впрочем, Карел вообще ни на ком не женится, он часто шутя намекал на это, а о миллионерше Еве Казмаровой отзывался насмешливо — это утешало Ружену. Она, мол, близорука, как крот, меланхолична, а такие девушки всегда раздражают его.

Нет, лучше Карела не было никого. Он утонченная натура, он заботлив, с ним можно ничего не бояться... Подумать только: Божку вчера увезли в клинику, температура сорок, избавилась от последствий, заражение крови, кто знает, выживет ли, и уж, во всяком случае, належится в больнице! Какой мерзавец этот ее парень! Божке всегда не везло, надо будет завтра ее навестить. А тем временем Сируп уже принял на ее место другую,— что поделаешь, работа не ждет.

К осени Карел продал свое маленькое спортивное авто, с которым у Ружены были связаны самые приятные воспоминания, но не купил другого, *самой последней марки.* К чему машина осенью? Несмотря на то что у Карела был очень богатый отец, денег у молодого человека не хватало,— папаша оказался скрягой. От поездок за город пришлось отказаться, теперь они проводили вечера у Карела дома. Ружена варила чай марки «сухонг» и накрывала чайник куклой в желтом с голубым кринолине, украшенном крошечными розочками. Эту куклу она сшила сама на проволочном каркасе от «Короля мод» и принесла ее Карелу. Но он, видимо, не разделял ее симпатий к рококо.

Ружена знала все спортивные призы, находившиеся в комнате Карела — бронзовую статуэтку рыцаря на книжном шкафу, серебряный лавровый венок и переходящий кубок, медали, дипломы и вымпелы,— и гордилась ими, хотя первое время путала эмблемы разных спортивных клубов. Она любила трогать вещи в квартире Карела — холодную мраморную пепельницу, вечное перо, теннисную ракетку, на которой можно взять аккорд (Карел уже кричит: «Не трогай!»), белые фетровые мячи, пахнущие бензином, когда они новы, полированное дерево платяного шкафа из мореного дуба, за дверцами которого она раздевалась вначале, когда была еще глупа. Ко всему, что принадлежало Карелу, Ружена чувствовала какое-то физическое тяготение.

Иногда Карел уезжал на лыжные вылазки, обычно на несколько дней. Лыжи у него были настоящие, норвежские из самого благородного дерева — гикоры. В коридоре всегда пахло лыжной мазью, когда Карел возвращался домой, прекрасно загоревший под горным солнцем. Ружена, разумеется, не могла ездить с ним в горы, на это у нее не было времени; Карел заботился о том, чтобы она не опаздывала на работу в парикмахерскую, и это было очень мило с его стороны, он не был эгоистом, не хотел портить ей жизнь.

С какой стороны ни возьми, он был *джентльмен до мозга костей.* Как человек нашего века, он не мучил ее ревностью, никогда не допытывался, что она делала, пока его не было в Праге, не изводил ее, как некоторые ребята, поджидающие своих девушек около

парикмахерской после шести часов вечера. Да и что она могла делать без Карела?

В свободные воскресенья Ружена сидела дома и шила. Ей вечно нечего было надеть, и всегда она была как картинка.

Ее интересовало все, что имело отношение к Карелу, она со жгучим любопытством и завистью расспрашивала его о том, каков был снег и кто был на Шумаве. Он охотно и весело называл ей незнакомые имена. Было там несколько славных парней, в последний раз были жена и дочь одного хорошего знакомого — Гамзы. Ружена заинтересовалась.

— Что поделывает пани Гамзова? По-прежнему выглядит как барышня? Знаешь, Карел, это была моя первая любовь. А как Елена, все еще такая же надутая девчонка? Она в папашу, тот строит из себя большевика.

Карел сделал серьезное лицо и ответил, что мамаша его, разумеется, не интересовала, что же касается этой медички, ее дочери, то она вполне прилично ходит на лыжах, больше ничего примечательного он в ней не заметил, тем более что Гамзы уехали в воскресенье вечером.

— Ты знаешь их как клиенток Сирупа или встречалась с ними на собраниях? — спросил он снисходительно, словно исключая какую-либо другую возможность и тем самым отказывая Ружене в праве иметь с ним общих знакомых. Ружену это обидело, и когда он попытался обнять ее, она заявила, что не в настроении, хотя тотчас же сама обняла его.

— Слушай, Карел,— сказала она,— знаешь, что мне в тебе всегда не нравится?

— Ну? — отозвался Карел, начиная одеваться.

— То, что ты никогда не говоришь со мной серьезно. О том, чем ты занят, о своей химии, об этих красителях, обо всем. Ты не думай, это тоже может меня интересовать. У меня тоже есть *духовная жизнь.*

Карел повалился на диван, раскинул руки и долго хохотал так, что тряслись спортивные дипломы на стене. А что в этом было смешного? С Карелом не раз случалось так: вдруг ни с того ни с сего его разбирал молодой безудержный смех.

Хорошая девушка была Ружена, отличная девушка!

ЗА РАБОТОЙ

Галачиха сидела перед рамой, подобной пяльцам, на которой висели листы с эскизом, и набирала основу. Наверху лежал навой с основой; новичку Ондржею когда-то такие навои показались

в тысячу раз увеличенной катушкой с маминой швейной машины. Как далеки эти времена! Сейчас он стоял рядом с Галачихой и подавал ей по порядку нужные нити. Эскиз был у них перед глазами, новый, только что полученный из конторы,— фабрика переходила на летние ткани.

Галачиха иногда поглядывала на бумажку с вычерченным узором, словно справляясь с картой.

— Можно? — спросила, подойдя, Ева Казмарова, барышня в очках, и стала сзади работницы.— Я вам не помешаю? — продолжала она с детским дружелюбием человека, который никуда не спешит.

Галачиха кивнула головой и продолжала работу.

— С какой невероятной быстротой она делает это! — обратилась барышня к сопровождавшему ее директору Выкоукалу. Несмотря на ее просьбу не беспокоиться, он пошел провожать ее, показывая ей новые корпуса и оборудование, установленное за время ее отсутствия.

Директор был к ней вдвойне внимателен: как к дочери Хозяина и как к богатой невесте, на которой он охотно женил бы сына. Позволив девушке только заглянуть в красильню, где в ядовитых испарениях работали полуобнаженные мужчины и где лужицы едких жидкостей могли испортить ее туфельки, он не долго задержался и в горячей шлихтовальне, надеясь, что дочери Хозяина понравятся ткацкие цехи. Стремительный бег челноков и тканный серебром сложный узор наверняка получат достойную оценку даже такого профана, как наследная принцесса.

Но барышня не спешила к машинам. Она смотрела на руки Галачихи, быстро бегавшие с крючком по пестрым нитям, и откровенно вздыхала с беспомощным выражением человека, никогда не державшего в руках ничего, кроме пера: «Ни за что в жизни я бы этого не сумела».

«Какая некрасивая,— подумал Ондржей, глядя на девушку в очках.— Совсем не похожа на Хозяина».

— В ее интересах работать быстро,— не понижая голоса, сказал при Галачихе директор Выкоукал, добавив: — У наших работниц это дело спорится лучше, чем у мужчин.

Только он произнес эти слова, как Галачиха, словно нарочно, сбилась и начала снова. Ей хотелось швырнуть в них иглой; она терпеть не могла, чтобы кто-нибудь глядел ей на руки и говорил о ней, когда она наводила бердо. Есть люди, которые любят показывать, как они работают; но есть и другие, которых это раздражает. Галачиха принадлежала к последним и ничего не могла с собой поделать. Когда кто-нибудь смотрел на нее, она сбивалась и теряла сноровку.

— Стареет, стареет! — проронил директор Выкоукал, выходя вместе с Евой Казмаровой из цеха.— Это уже заметно. А какая ловкая была работница! Ничего не поделаешь, ей уже лет сорок. Я предпочитаю молодежь не старше двадцати пяти.

Барышня Казмарова остановилась.

— Но ведь вы не уволите ее после стольких лет работы у вас? — сказала она, глядя на Выкоукала, о котором уже кое-что слышала.

Директор улыбнулся неискушенности наследной принцессы и тотчас сделался серьезным.

— Конечно, нет,— заверил он ее солидным басом, и они вошли в ткацкую.

Бабушка Евы Казмаровой пряла шерсть горных овец, как и все другие жители деревни, ела терновую ягоду, чтобы во рту было больше слюны, и ее прялку с клочком грязной шерсти, а также веретено и сновальную раму ученики школы Казмара видели однажды в витрине улецкого музея. Там же стоял деревянный ткацкий станок семьи Казмара, приводившийся в движение педалью. Зимой бабушка, чередуясь с дедушкой, ткала суконце, а потом дедушка взваливал товар на спину и нес его на ярмарку в Драхов, до которого полдня ходьбы от дому.

Казмар, когда на него находит блажь, еще и теперь становится к станку и ткет, чтобы показать, что не забыл дедовское ремесло. Такие демонстрации, правда, задерживают работу цеха, но зато показывают интерес Хозяина к производству. Ева Казмарова уже из другого теста. Она изучала латынь, не может отличить сновальной машины от мотальной и вообще даже не понимает, что делают рабочие. Право, не знаю, следует ли мне ее выдавать, но когда она вошла с Выкоукалом в ткацкую (последний раз она была здесь еще при жизни деда, школьницей) и увидела башенку Жаккарда, с которой свисали вниз какие-то грубые нити, то подумала про себя: «Вот здорово, уже ткут вертикально!» Бедняжка приняла подъемные шнуры за вторую основу! Хорошо еще, что она не произнесла этого вслух. А впрочем, если бы и сказала, не беда: никто не услыхал бы в грохоте станков.

Рабочие удивленно и с неохотой здоровались с хозяйской дочерью. Что ей здесь нужно? Эти визиты только тормозят работу. И рабочие вновь погружались в свое дело. Не подумайте, что они встречали Еву революционной ненавистью, сжимая кулаки, как это иногда изображают в газетах. Нет, боже упаси! На нее просто не обращали внимания. Когда умрет Казмар, вся эта масса машин будет принадлежать вот этой маленькой девушке в очках, что ходит сейчас по цехам как потерянная. Все Улы будут ее собственностью,

но она здесь более чужая, чем беспаспортный бродяга, ибо все ей кажется незнакомым.

Ева отлично понимала, насколько лишняя она здесь, и стеснялась рабочих.

— Пойдемте же отсюда, мы мешаем,— попросила она Выкоукала. Но к ним подошел мастер Лехора и, чрезвычайно польщенный, стал что-то показывать и объяснять, хотя из его объяснений не было слышно ни слова. Еве казалось, что он все время говорит одно и то же. На машины, которых значительно прибавилось в Улах, пока Ева росла, она глядела глазами человека, занимающегося гуманитарными науками. Машины, этот конек ее отца, то нагоняли на нее скуку своей загадочностью, то вызывали детское удивление чудесными результатами своей работы. Они внушали ей почтительный страх и были противны.

Мысль, что она сама могла бы всю жизнь, из года в год, изо дня в день, быть прикованной к машинам, приводила ее в отчаяние. Ей казалось, что заработок рабочих — это хитро придуманный выкупной платеж, с помощью которого ее семья покупает себе свободу, и она не могла прямо смотреть в глаза рабочим. Но эти хмурые люди, видимо, гордились своими станками, как шофер гордится автомашиной. Что-то от изобретательской гордости передавалось рабочему, который обслуживал этот станок, директору Выкоукалу, заказавшему этот станок для фабрики, и мастеру, отвечающему за станок, и как-то связывало хозяев и рабочих — этих классовых врагов. Машины — это мужское дело, как математика и война, ими движет вечный дух состязания, мужской дух.

И когда барышня Казмарова со своими провожатыми подходила к ткацкому станку, лицо ткача — даже того хмурого, одноглазого — прояснялось не столько из учтивости к дочери Хозяина, сколько из гордости *своей* Машиной и тем, что *он и его станки вместе* умеют сделать. Моторы вращались, счетчики отсчитывали обороты, основы текли, челноки летали из стороны в сторону так, что рябило в глазах.

Изменчивый узор возникал на глазах у барышни Казмаровой. И вдруг сзади кто-то грубо схватил ее за руку и дернул вниз. Что-то стремительно веселое и злое просвистело у нее над головой. Ева зажмурилась. А когда открыла глаза, удивилась, где же Выкоукал, ведь он стоял рядом. И только потом близорукими глазами она разглядела, что директор поднимается с полу; он пригнулся, чтобы уберечься от сорвавшегося челнока. Мастер испуганно поглядел на нее и Выкоукала, выругался и бросился налево от них к станку, который уже автоматически остановился. Еву, собственно говоря, больше всего испугало ругательство.

— Ах, сволочь, челнок! — сказал рабочий, который оттащил Еву.— На волосок ближе, и быть бы несчастью.

— Пролетел, как снаряд! — подтвердил другой.

Ткач из третьего ряда принес металлический, похожий на лодочку челнок, который сорвался, но, слава богу, ни в кого не попал. Рабочий, поднявший челнок, не хотел выпускать его из рук и показывал всем. Присутствующие оживились, послышались догадки, почему сорвался челнок, вспоминали случаи, когда вот так же челнок убил человека.

— У меня тоже от него памятка,— сказал одноглазый ткач, показав на свое запавшее веко, и слегка усмехнулся.

Барышня Казмарова, подавленная и смущенная, торопливо благодарила спасшего ее рабочего, а он вдруг разговорился, внезапно подобрев, как человек, почувствовавший свое превосходство над другим, которому он только что оказал серьезную услугу.

— Вот неудача,— сказал он.— В кои-то веки к нам пришли, и такой случай... Вам бы даже страхкасса пособие не заплатила,— пошутил он.

Мастер был очень огорчен и все время извинялся: еще, мол, ни разу, как он здесь, ничего подобного не случалось. Директор Выкоукал нахмурился и отрывисто сказал, что пришлет инженера осмотреть предохранительные сетки, и, выпрямившись более обычного, поспешил вместе с барышней выйти из цеха. «Теперь мы его здесь не скоро увидим!» — смеялись рабочие.

Прогуливаясь по плотине, где в рабочее время обычно не бывает ни души, барышня Казмарова нервно морщилась, вспоминая о сорвавшемся челноке. «Значит, эти челноки каждую минуту могут сорваться и ударить рабочего,— думала она и прибавляла шагу.— И угораздило же меня попасть туда именно в такой момент. Куда я ни прихожу, всюду приношу только несчастье».

— Слышали, слышали! На наследную принцессу совершено покушение! — дразнил за обедом Еву доктор Розенштам. Он говорил тем шутливым тоном, каким много и напряженно работающие мужчины любят говорить в короткую минуту отдыха.

— Одной бабой было бы меньше! — в тон Розенштаму ответила Ева. Но с ее обликом не вязался этот тон.

— А что бы делали Далеш, Выкоукал и все претенденты на руку и трон? — насмешливо продолжал Розенштам.— Что бы делал без вас я? А Хозяин?

— Он и не заметил бы, что меня нет,— со смехом возразила Ева.— Он слишком занят.— И она не удержалась, чтобы не добавить: — Вот если бы я была сыном...— И в голосе ее послышалось сожаление не о себе, а об отце.

— Ах, деточка, деточка! — печалясь за нее, сказал Розен-

штам, который, как все евреи, был и насмешлив и чувствителен. Наклонившись над столом, он сочувственно заглянул ей в глаза.

— Нервы? — спросил он с невольной нежностью и по праву друга, который старше ее почти на четверть века — о чем он не раз напоминал,— успокаивающим жестом положил свою руку на ее. Девичья рука дрогнула от этого прикосновения и затрепетала до кончиков пальцев. Розенштам видел, как порозовело и просветлело серьезное, юное некрасивое лицо; Казмарова опустила глаза, на которых сейчас не было очков — Ева снимала их, приходя в клуб служащих в часы, когда там обедал Розенштам. Если отца не было в Улах, она всегда охотнее обедала в клубе, чем дома с мачехой.

— Вам рассказывали в детстве,— спросил Розенштам, медленно отнимая руку по какому-то наитию, в основе которого была мужская осторожность,— сказку о печальной принцессе, не умевшей смеяться? Да будет вам известно: принцесса эта — вы. Как развеселить вас? Хотите, я сделаю стойку и пройдусь на руках? Или свистну в три пальца? Не думайте, я умею. Знаете что? Быстренько возьмите пальто, и пойдем на солнышко. Я свистну так, что будет слышно на всю округу.

Барышня Казмарова безропотно повиновалась и, несмело улыбаясь, вышла вместе с Розенштамом, который через несколько минут уже удрал к себе в лабораторию.

Мастер шестнадцатого ткацкого цеха Лехора верил, как и все другие мастера, что если в цехе случилась одна неприятность, жди следующую. И за ней дело не стало. Сразу же после казуса с челноком, сорвавшимся как раз когда в цехе были высокие гости, произошел скандал с Шестаком. Этого еще Лехоре не хватало!

До поступления к Казмару ткач Шестак работал очень добросовестно. Здесь же все делалось наспех. Швейные цехи хватали материал из аппретурной чуть ли не мокрым. (Сейчас это кажется невероятным.) Когда Шестак освоился и сообразил что к чему, он тоже научился работать по-здешнему: побыстрее и кое-как. А вскоре, присмотревшись, он решил обвести мастера вокруг пальца и стащил у него ключик от счетчика утков. Мастер недоумевал: «Куда я дел ключ?» А Шестак, выждав удобный момент, открыл механизм, подтянул там цепочку, а потом пожалуйте — дал такую выработку, что весь цех ахнул и дивился на него как на рекордсмена. Однако ж всякое излишество вредит. Шестак зарвался, очень ему понравилось творить чудеса, не стал следить за счетчиком, и тот ему отомстил: накрутил такие астрономические цифры, что обман стал очевиден и младенцу. Дело все равно

раскрылось бы со временем, но цифры выработки Шестака были настолько невероятны, что его моментально выгнали с фабрики.

Мастер обвел глазами цех, остановился на Ондржее и движением головы указал ему на освободившуюся машину.

— Слушай-ка, ты разбираешься в этом? Стань попробуй. Может быть, справишься.

В школе уже проходили ткацкое дело, и Ондржей ответил:

— А почему бы и нет? Попробую.

Ондржей взял шпульку, закрепил и вдел нить, включил мотор, подтолкнул машину руками, как — он видел — делают старые ткачи, и челнок побежал своим обычным путем. Ондржей покраснел до ушей и, хотя и раньше молчал, весь как-то затих в грохоте цеха. С тревогой утки, впервые пустившей утят на воду, он следил, как бегает челнок. Стан работал, челнок летал от «коробочки» к «коробочке», тянул за собой нить, ткал,— да, да, взаправду ткал! Когда вы что-нибудь делаете впервые и дело идет на лад, радость и неуверенность борются в вас. Если бы Ондржей не стеснялся, он закричал бы от радости... Вдруг станок остановился. Кончился уток? Нет, порвался ход. Соседний ткач пришел на помощь Ондржею.

Ондржей снял со станка кусок сотканной им ткани, еще неровный, еще неказистый, как все новорожденное. Только когда материя пройдет через каландр, она будет по-настоящему готова. Это был первый кусок, который Ондржей соткал сам. Какое счастье! Вот она, эта ткань, ее можно пощупать, помять пальцами, прикинуть на вес, рассмотреть узор. Ткани не было, и вот она появилась, отличный оксфорд, нечто ощутимое, что существует и пойдет в мир. Эта материя не принадлежит Ондржею, он не будет ее носить, он даже не продаст ее, и все же это *его* кусок. В школе Ондржей обязан был надписывать каждую свою тетрадь с глупейшими задачками. А здесь никто не узнает, что штуку № 3769-бис впервые в жизни соткал, исполненный опасений и чувства ответственности, некто Ондржей Урбан, один из сотен тысяч неизвестных. На его счастье, никто не узнает и о том, кто сделал на этой штуке брак — «лесенку». Брак огорчил Ондржея больше, чем мастера и приемщика, изъян на ткани мучил его, как язва на собственном теле, даже ночью ему мерещилась «лесенка». Отныне с него будут удерживать за брак. Но ему самому хотелось работать безупречно. Товарищам он, разумеется, с небрежным видом упомянул, что его уже поставили к станку, и, чтобы его не высмеяли, сделал вид, что больше интересуется футболом, чем работой.

Конверт с первой получкой! Он взволновал Ондржея, как первое любовное письмо. Как это вам объяснить? Больше, чем сами деньги, его радовало признание, которое они означали. До сих

пор он получал каждую субботу только расчетную ленточку, в которой было обозначено, какую долю его содержания покрыла его работа. Читать эту ленточку было так же неинтересно, как прошлогоднее расписание поездов. А тут настоящая кредитка в знакомом конвертике с улецкой картонажной фабрики! Да еще монеты, которые сбились в угол или перекатываются в конверте! Можно даже пощупать свой успех, воплощенный в деньгах, подержать в руке первую получку. От радости Ондржею захотелось прыгать.

Получив деньги, Ондржей сразу же побежал на почту и послал матери всю свою первую получку. Не буду изображать Ондржея иным, чем он был, и поэтому не скажу лицемерно, что он сделал это из любви к матери. Ему хотелось похвалиться перед домашними. В интернате его за это пожурили, хотя и по другим мотивам: «Ваша мамаша, Урбан, как нам известно из анкеты, которую вы заполнили, живет в тепле и не голодает. А вы, молодой человек, совсем выросли из костюма, воротнички у вас поистрепались, галстук такой, что просто срам. Магазин «Яфеты» рядом, через дорогу, там вы оденетесь за гроши. Копите деньги на одежду! Для наших работников — особо льготные условия».

Франтек Антенна был прав, когда говорил, что в Улах фирма Казмара буквально лезет вам в карман, и это действительно было противно.

Товарищи давно заметили усердие Урбана, его стремление выдвинуться, обогнать других и не доверяли ему. Как только он появлялся в комнате и подходил к кружку разговаривающих, все замолкали. Ондржей заметил это и страдал от несправедливости. Доносчик он, что ли? За кого они его принимают? Разве он наушник, как какой-нибудь Колушек? Ну и ладно, никто ему не нужен. Одиночество — удел людей успеха — окружало Ондржея. Он не был общителен и за время, которое прожил в Улах, не говорил почти ни с кем, кроме Франтека и Лиды Горынковой. Влечение обоих юношей к этой девушке сближало их.

Франтек уже жил в рабочем общежитии и работал в красильне, где химические процессы протекают медленно и весь цех похож на царство водяного. В жарком сумраке красильного цеха люди работали полуголыми, там была атмосфера тропического болота, с рабочих лил пот, а ноги зябли на мокром каменном полу. Они вынимали из ванн пропитанные индиго ткани и снова погружали их в ванны, травили их серными испарениями в отбельной камере. Однажды в вентиляционную отдушину влетела ласточка и тотчас упала замертво. «Эх, куда же ты без противогаза!» — пошутил Франтек. Старых красильщиков мучил ревматизм, который в Улах рекомендовали лечить так: пойди в лес, разденься по пояс и ляг на муравейник. Муравьи тебя искусают, кожа будет гореть, но

зато муравьиная кислота замечательно действует против ревматизма. Только смотри в оба, чтобы это не были ядовитые муравьи — те, что с крылышками. Одного сукновальщика они покусали так, что он скинул с себя даже белье и бегал голым по лесу. Об этом рассказывал Францек, у него всегда были наготове разные анекдотические случаи, и Лидка смеялась до упаду.

Из красильни Францек выскакивал мокрый как мышь: «Ох и пить хочу, ребята! Как крокодил!» — открывал водопроводный кран и, проклиная улецкий «сухой закон», выпивал бог знает сколько кружек воды. Еще бы, такой великан! Рослый Ондржей рядом с ним казался хрупкой девушкой. Резко очерченный рот выделялся на смуглом и сухом лице Францека, он встряхивал головой, отбрасывая прядь волос с глаз, воспаленных от хлористых испарений. Когда из красильни выпускают в реку отработанные химикаты, вода в Улечке краснеет, словно при египетской резне. Горная форель давно подохла, в реке не осталось даже плотвы. Казалось, часть этих едких соков из волшебных котлов красильни перешла в кровь Францеку: он остро мыслил и был язвителен в разговоре. Один из прядильщиков, живший за городом, тайком привозил ему «Красное пламя»: в Улах эту газету не позволяют продавать, приобрести ее можно только за пределами «Казмарии». В Улах Казмар — царь и бог, он запретил рабочим заниматься политикой. Не спорю, он хочет, чтобы его рабочие жили лучше, но пусть они за все будут благодарны только ему, Хозяину. Францек называл Улы «Казмаровский заповедник ослов с шорами на глазах». Когда Ондржей получил первую получку и тщетно старался скрыть радость, Францек сухо сказал: «Хитер Казмар, пользуется трудом несовершеннолетних, делает из них батраков».

Лидке Горынковой не нравились эти разговоры.

— Да не слушай ты его! — дружески и рассудительно посоветовала она Ондржею, когда Францек не пришел на свидание и Ондржей с Лидкой, оказавшись вдвоем, как всегда, заговорили о нем.— Вечно придирается. Не люблю таких беспокойных. Наш папаша всегда говорит...

Старый Горынек, смазчик в прядильне, помнил первые шаги Хозяина и был привязан к фабрике. Вся его семья работала у Казмара. Две дочери шили у «Яфеты», третья была надвязчица, сын работал плотником на стройке, но больше всего Горынек гордился вторым сыном — Штепаном. Штепану двадцать восемь лет, а он уже директор универмага в Каире, у него на книжке деньги, о которых Лидка говорила с почтением простолюдинки, напоминавшим Ондржею разговоры матери о деньгах. Младший братишка Лидки — того ей довелось понянчить! — тоже, как вырастет, пойдет к Казмару. Куда ж ему еще деться! Все они работали у Казмара,

ели его хлеб, и на выборах за него голосовал весь край. «Пусть радуется, что сыт»,— решительно сказала Лидка о Францеке. Но недоверчивый Ондржей подозревал, что девушка поносит товарища, чтобы скрыть свое недовольство Францеком за то, что тот не пришел на свидание. А у Францека были другие встречи и другие интересы. Его часто можно было видеть оживленно разговаривающим среди рабочих. Не прочь был он и с девушками поболтать. Ондржея все время мучило сомнение, наконец он не выдержал и как-то под вечер, когда они с Францеком шли с футбола в кино, где их ждала Лидка, спросил товарища деланно непринужденным тоном:

— Слушай, гуляешь ты с Горынковой или не гуляешь?

Францек с высоты своего роста улыбнулся этому вопросу, заданному с такой детской прямотой, и сказал:

— А зачем тебе знать?

Ондржей запнулся.

— Так... Чтобы не мешать,— ответил он на ходу, глядя в сторону.

Францек остановился и посмотрел на него в сумраке насмешливыми проницательными глазами. Ондржею казалось, что Францек играет им, как мячиком, перекидывая с руки на руку.

— Не гуляю, только шутки шучу,— добродушно пробасил он и зашагал дальше. Добродушие сказывалось в его манере разговаривать и размашисто шагать.— Поболтать не грех. А ты сейчас все всерьез.

Францек внушал Ондржею тревогу. Дело было не только в Лидке. Францек всюду вносил дух сомнения, во всем находил темные стороны. Все в Ондржее восставало против смелой непринужденности Францека. Ондржею казалось, что он вечно спорит с Францеком и доказывает свою правоту, но не ему, а самому себе. И поэтому его тянуло к Францеку. Врожденная осторожность говорила Ондржею, что не следует водиться с таким человеком, он осуждал Францека, но хотел быть таким, как он: никогда не колебаться, ни перед чем не останавливаться, ничего не воспринимать трагически. Францек же, пока не встречался с Ондржеем, не вспоминал о нем, а при встречах думал, что Ондржей хороший парень, но недалекий, надо над ним поработать, и поддразнивал Ондржея, предваряя свои колкие замечания о Казмаре словами: «Извини, я не щажу твоих привязанностей»; или, подняв брови, как актер, говорил: «С тобой, конечно, другое дело. Тот, кто хочет выслужиться...»

— Какое там выслужиться, что ты твердишь все одно и то же! — обозлился Ондржей и в бешенстве схватил приятеля за руки. Францек не рассердился, как не сердятся на котенка.— По-

чему вы все меня оскорбляете? — кричал Ондржей.— Почему вы вечно изображаете меня рабом, подлизой и ябедой? На кого я донес? Вы думаете, я забочусь о *его* выгодах, о *его* славе? Ничего подобного! — Он отпустил руки товарища и сказал смущенно: — Как тебе это объяснить? Не могу вот я...

— Что не можешь?

— Работать без души,— сказал Ондржей и густо покраснел. Человек, которого мучит жажда совершенства, стесняется ее, почти как влюбленности. Он должен был наконец сказать это, он боролся с собой и не в силах был молчать. Горя от стыда, словно виноватый, он воскликнул:

— Я люблю работу!

И весь сжался, ожидая, что Францек разразится хохотом. Но тот вопреки ожиданию даже не улыбнулся, а лишь слегка скривил губы и проронил:

— Эх, братец, и я бы ее любил, кабы все это было наше.

— Ты не прав,— возразил Ондржей. Все внушенные ему понятия о справедливости вдруг заговорили в нем, и он обрел равновесие.— Ты пораскинь мозгами, Францек. Кто оборудовал фабрику? Кто начал строить ее голыми руками на пустом месте и сам на все заработал? Кто вложил в это дело деньги? Да что деньги, главное — замысел, находчивость, идеи! Для такого дела нужна голова!

— Ну ладно,— ответил Францек.— Но хотел бы я знать, почему я должен зарабатывать здесь ревматизм ради того, чтобы казмаровская дочка могла путешествовать вокруг света? Она-то здесь при чем? Сейчас я тут вдыхаю хлор и серу, потом меня призовут в армию, а когда вернусь, Казмар наплюет на меня. Это мы знаем. Такова система. Не случайно на предприятиях Казмара — самые молодые рабочие во всей республике.

— Например, мой отец! — иронически вставила Лидка, и Ондржей рассмеялся вместе с ней.— И чего ты нас все пугаешь,— добавила девушка и погладила Францека по рукаву.

Что касается Ондржея, то он не ломал себе головы над тем, что будет через год, и старался получше овладеть своими машинами. У фабричного ткача должен быть верный глаз, но еще более верное ухо. Чуть какие перебои в машине, сразу надо сообразить, где неполадка. К примеру, станок «захлопал», значит — ослабла основа, или плохо раздается зев, или ограничитель не в порядке и станок никак не запустишь, потому что челнок не на месте. Когда Ондржей впервые очутился в «тарахтелке» (ткацкой), где, как и в прядильне, рабочие из-за шума моторов и грохота машин не слышат собственных слов, он никогда бы не поверил, что со временем натренирует свой слух так, что среди общего шума будет

слышать только «свои машины». Вскоре мастер доверил ему два нортропа, этих «грабителей труда», как называют их последние могикане — ручные ткачи. Они должны были работать очень четко, в ритме слов «будет все, будет все», как подобает узкому стану и торопливым Улам. У каждого стана свой говорок, разве вы не знаете этого? «Не сегодня, а завтра, не сегодня, а завтра»,— твердит тяжелый стан, вырабатывающий парусину, а старый, тот, что ткет полотно, шепчет: «На сахар, на кофе, на сахар, на кофе».

Ондржей даже не вспоминал о своих прошлогодних мечтах, об автоаэрогидроплане и пани Гамзовой. Какое мальчишество! У него не было времени ни бродить, ни мечтать, и потому жизнь стала как-то устойчивее. Хорошее дело — навык, он дает душе человека ритм, помогает шагать нужным темпом, как в марше, который вы насвистываете на ходу, даже если у вас совсем нет слуха. Ондржей преодолел усталость, изматывавшую его в первое время, и жил в ладах с работой: она уже не подгоняла его, как раньше, они были ровня. Галачиха, у которой он когда-то был подручным, а теперь сам принимал от нее основы, не раз говаривала, что такой рассудительный паренек, как Ондржей, если бы задумал жениться через час, и то не сделал бы плохого выбора. В женских устах это была похвала. Детей у Галачихи не было, и к Ондржею она относилась по-матерински.

Теперь речь улечан уже не казалась Ондржею такой убаюкивающей, так как он сам перенял от Лидки эти интонации. Он не замечал более запахов города, притупилась острота первых впечатлений, и Ондржею трудно было представить себе то время, когда все окружающее оставалось для него еще не разгаданным: утки казались бабками для игры, а валы основы напоминали в тысячу раз увеличенную шпульку с маминой швейной машины. Так выучившемуся грамоте человеку «S» уже не кажется похожим на извивающуюся змейку, «С» — на серп, а единица — на кнутик. Производственный процесс стал понятен Ондржею, с работой он вполне справлялся, с мастером Лехорой ладил. К Ондржею начальство вообще относилось лучше, чем товарищи, в нем было что-то положительное, устойчивое, внушавшее доверие старшим. Ондржей перешел в ткацкую из-за неладов с мастером Тирой: с тех пор как Казмар отчитал его при Ондржее, тот стал придираться к юноше, вечно был им недоволен. Таков уж был характер у мастера: ему всегда казалось, что к нему не проявляют должного уважения. С Лехорой работалось легче. Рассердившись на что-нибудь, Лехора кричал, пока не выкричится, потом успокаивался. Он всегда шутил, зачастую грубо. Утки он называл мужиками, а основы — бабами. Мол, мужики и бабы только вместе производят на свет что-то новое, порознь им — грош цена. И бабе при этом

приходится труднее, рожает-то ведь она, *ее тело* мучится. Стало быть, надо ей подкрепиться, надо сварить для нее крепкий «бульон». Лехора умел безошибочно определить шлихту для каждой основы, такой же нюх был у него на людей: он всегда знал, куда кого поставить. Из рабочих он старался извлечь максимум, а себя не обидеть и сорвать побольше; вместе с тем Лехора умел входить в положение людей. Старый практик, он верен Хозяину, выдвинувшему его из рабочих; он наловчился обходить хозяйские запреты и ездил выпивать за пределы «Казмарии», в лесной кабачок, где сходились улецкие гуляки. Так же как Хозяина, он обманывал и жену, изменяя ей со смазливыми девушками. Насчет еды, шашней и развлечений губа у него была не дура; он был грубоват, но его цех жил вместе с ним полнокровной жизнью, и работалось там легко.

Ондржей уже приобрел квалификацию и стал знающим ткачом, когда произошло событие, ненадолго вновь связавшее его с тринадцатым цехом неудачника Тиры.

ТРЕВОГА

Близилось лето, дни стояли ветреные, и однажды сильный ураган повредил телефонную связь между Улами, казмаровской лесопилкой и лесничеством в Пасеках. Поэтому Ондржея послали в Пасеки с письмом, в котором фабричное управление заказывало лесоматериалы для первомайских торжеств. Этот день всегда с большой помпой празднуют в Улах, куда съезжается много окрестных жителей и гостей из Праги. На мачты для флагов, на постройку трибун, танцевальных площадок уходит много леса.

На первомайский обед в цехе каждый рабочий Казмара имел право привести с собой гостя. Ондржей пригласил мать, ему хотелось доставить ей удовольствие и заодно похвалиться. Он поспешил написать матери об этом за месяц до праздника. Анна ответила, что охотно приехала бы, но не может обещать ничего определенного. Дедушка стареет и уже не ходит открывать двери, и если она уедет, дом останется без присмотра как раз в такой день, когда бывают демонстрации и на улицах толчется много сомнительных людей. Это могло бы стоить ей места. Возможно, она пошлет вместо себя Ружену, которая очень интересуется Улами. Пусть немного рассеется в этой поездке.

Анна заодно жаловалась сыну на нелады с Руженой, писала, что не знает, как с ней быть, и не понимает ее. Девчонка приходит домой поздно ночью, не слушает никаких увещаний. А по воскресеньям сидит дома, молчит, слова от нее не добьешься, выглядит

как великомученица, матери не слушается, в этом сын и дочь один другого стоят, она, мать, уже к этому привыкла. Так писала Анна с обычной горечью. Может, Ондржей, как брат, поговорит с Руженой, окажет на нее влияние. Ружене, полагала мать, на пользу пошло бы замужество. Но кто нынче возьмет в жены бедную девушку? Каждый хочет только поразвлечься. Мать кончала письмо жалобой на то, что она, Анна Урбанова, никогда не была счастлива в жизни.

Ну, до Первого мая еще есть время, там видно будет.

Итак, в день, о котором идет речь, Ондржей положил письмо фабричного управления в портфель из искусственной кожи, купленный в казмаровском универмаге, сел в автобус, ходивший из Пасек с остановками «где кому нужно», и вдохнул запах прогретой солнцем кожи, бензина и кур, обычный в сельских автобусах. Усевшись возле крестьянки, возвращавшейся с рынка с полупустой корзиной, которую она, прикрыв платком, поставила под сиденье, Ондржей со сдержанным нетерпением жителя Ул, уже знающего цену времени, ждал, когда закончатся добрососедские разговоры водителя и пассажиров. Пассажиры созывали друг друга, вспоминали, кого еще надо подождать и кто сегодня не поедет, весело покрикивали из окна на опаздывающих. Наконец, не без самодовольства думая о том, как будет огорчена Лидушка, когда не найдет его сегодня в рабочей столовой, Ондржей выехал в трясском автобусе к месту своего назначения. Машина мчалась, словно стремясь наверстать упущенное. Пейзаж будил у Ондржея воспоминание о Льготке и жажду приключений, которую обычно вызывает езда. Но вот уже остановка, фабричный поселок Заторжанка, образцовое местечко. Здесь вышли первые пассажиры, рабочие, и разошлись по домикам с полисадниками, где болталось на веревках белье и пахло рекой и солнцем. Что-то сталось с бедным клейщиком Мишкержиком, к которому в поисках ночлега Ондржей приходил сюда, еще будучи зеленым новичком? Бедняга исчез. Лидушка вроде говорила, что он в сумасшедшем доме в Драхове.

Автобус проехал мимо монтера, стоявшего на крючковатых железных лапах на телеграфном столбе. Руками в резиновых перчатках монтер приподнимал оборванный провод и подтягивал его к ролику. Дорога пошла в гору, монтер скрылся из виду. На третьем повороте на минуту показались Улы в розово-коричневой дымке солнца, которое светило в южные окна домов. Какая, однако, ветреная погода: жидкий дым из фабричной трубы стелется по земле, и Ондржею казалось, что в прядильне пекут картошку. Вот и говори, что в Улах нет дыма, что там чистый воздух, подумал Ондржей. Позднее ему вспомнятся эти размышления. Водитель круто повернул, и Улы исчезли. Какая-то толстая тетка, стоявшая

возле Ондржея, от толчка плюхнулась ему на колени. Раздались смех и шутки,— знаете ведь, как весело бывает в таком автобусе. Но вдруг все пассажиры, радовавшиеся минутке отдыха и предстоящему обеду, шумные и ко всему привычные люди, замолкли и насторожились. Раскрыв рты, они слушали, слушали всем своим существом. Фабричный гудок, подав свой голос, заревел на всю округу, жители которой едят хлеб Казмара. Рев гудка рвал воздух. Пассажиры переглянулись и, как по команде, вынули часы. Четверть первого — это не гудок на работу. Тревога! Тревога! На помощь! Звук заводского гудка в неурочное время страшен. Даже наиболее хладнокровные и спокойные пассажиры побледнели, а те, кому от волнения кровь бросилась в голову, побагровели, но, в общем, встревожились все. Ондржей вздрогнул, как в то утро в Улах, когда он впервые услышал гудок. Шофер прибавил газу, словно хотел уехать от беды. Что он делает? Несколько кулаков застучало ему по спине:

— Остановите! Стой, черт возьми! Да что он — глухой? Поворачивай, едем обратно.

Шофер затормозил, но не решался повернуть. Не снимая рук с руля, он обернулся к пассажирам и доказывал, что должен соблюдать расписание и продолжать рейс, иначе будет еще больше беспорядка. В автобусе, кроме рабочих Казмара, были и другие пассажиры. Шофер опасался, что они потребуют деньги обратно. Крестьянка с корзинкой объявила, что ее ждут дома маленькие дети. Какой-то деревенский парень заорал:

— Будет болтать. Мы проголодались. Езжай, Тонда!

Ему ответил взволнованный голос:

— Постыдитесь! Там катастрофа, а вы...

Ондржей не стал ждать конца споров. Машина еще не успела остановиться, как он соскочил и побежал вниз, к Улам. Несколько казмаровских рабочих ринулись вслед за ним. Кто бы мог сказать, что допотопный автобус успеет так далеко отъехать за несколько минут.

Ондржей бежал во весь дух, он был взволнован, и ему хотелось, чтобы это событие оказалось серьезным и грозным, а не каким-нибудь пустяком, чтобы он поспел вовремя, чтобы был первым из всех пассажиров, бежавших теперь за ним. Его переполняла жажда действия. Быть может, и вам знакомо это острое и нездоровое любопытство, которое живет в человеке наряду с охотой помочь попавшему в беду; и то и другое срывается с цепи при сигнале бедствия.

На повороте Ондржей, все еще бежавший впереди других, махнул рукой в сторону Ул, оглянулся, замедлив бег, и что-то крикнул. Ветер отнес в сторону его слова, но жест не оставлял со-

мнений. Ондржей исчез за поворотом дороги. В Заторжанке у дверей уже стояли женщины с младенцами на руках и, сердито прикрикивая на старших детей, смотрели в сторону Ул, показывая на небо. Люди переговаривались на ходу, спеша к Улам; проехал автомобиль с какими-то американского вида пассажирами; свистели велосипедисты; на дорогу выбежала женщина и, заломив руки, убивалась, что теперь все останутся без хлеба. Казмаровцев, суеверных людей гор, чьи отцы видели, как огонь превращал в пепел целые деревни, охватил первобытный страх. Как это случилось, как только могло случиться!

Еще на пути к фабрике Ондржей, как и все, узнал, в чем дело. Это была месть. Страховые компании давно злились на заносчивую надпись у дверей отдела личного состава, а на прошлой неделе Хозяин опять выгнал какого-то страхового агента. Компания, которую представлял этот агент, подкупила кого-то из местных жителей, и он поджег улецкую фабрику с четырех концов.

Шепотом называли имя Мишкержика, одна женщина якобы видела его тут вечером. Его, мол, выпустили из больницы, он безработный, загубил на фабрике свое здоровье, места рабочего по двору не получил — такой человек легко может стать орудием в чужих руках, а если его поймают — пожалуйста, он душевнобольной.

Да что вы говорите, ведь он такой добряк, мухи не обидит! Просто произошло замыкание, и загорелась прядильня. Соседние здания уже поливают водой, и через несколько минут пожар будет потушен. Пожарники Казмара орудуют вовсю. Вот только проклятый ветер, западный ветер! Лишь бы пламя не перекинулось на другие корпуса! Искусственный шелк и хлопок — все вспыхнуло бы, как порох, тут у нас настоящая пороховая бочка.

Казалось, никто не одобрял тех немногих улечан, которые старались приуменьшить масштабы пожара. В толпе, устремившейся спасать фабрику, дававшую им хлеб, ревниво твердили, что бедствие огромно. Запах гари напомнил Ондржею костры с печеной картошкой времен его детства в Льготке, и ему показалось, что в воздухе потеплело.

Очутившись в Улах, Ондржей завернул за последний угол и увидел площадь, полную народу, и темно-коричневый дым над крышей прядильни. Сквозь дым виднелся яркий свет, противоестественный и страшный в полдень, взлетали снопы искр, как из паровоза ночью. Почти сразу Ондржей заметил изогнутую дугой струю воды, направленную на здание универмага, так похожего на пражский. Вода лилась уже за стеклами витрин и стекала на манекены, придавая им жалкий вид. Ондржею вдруг пришла нелепая мысль, что на этих стеклах останутся потеки. Общая картина бедствия, виденная им издалека, когда он был за Улами — огнен-

ная туча над Улами, подобная вулкану на картинке,— превратилась сейчас в близкую и живую суматоху. Огонь жег, чадил, шипел, обдавал жаром, как из печки, в толпе было тесно. Вдруг все стоявшие пригнулись и отступили: удар, треск и какой-то беззаботный звон, похожий на смех... и опять те же звуки. В передних рядах указывали на горящее здание. Нет, это не взрыв, это всего лишь оконные стекла лопнули от жара, и осколки полетели вниз, а дым повалил, словно радуясь, что выбрался из заточения.

«Ничего»,— говорил себе Ондржей, чувствуя, как у него пересохло и першит в горле. Он все подвигался вперед, и ему уже совсем не хотелось, чтобы бедствие было грандиозным. Волнующая романтика дистанции окончилась. Ондржей двигался в толпе осторожно, чтобы не усиливать смятения, и ясно представлял себе, хотя давно не бывал в прядильне, место, где у стены стоит азотный огнетушитель. Это та боковая стена, на которую рабочие прикалывали вырезанные из журналов картинки. И никто не вспомнит об этом! Все потеряли голову. Но он-то, Ондржей, доберется туда!

— Где Хозяин? — как по уговору, спрашивали в толпе.

Взобравшись на табуретку привратника, Колушек выкрикивал своим пронзительным бабьим голосом:

— Каждый к своему цеху — таков приказ Хозяина! Сохраняйте спокойствие! Каждый к своему цеху! Берегите другие здания от огня. Только так удастся остановить пожар. Каждый к своему цеху!..

Ондржей машинально заметил торчащий хохолок на голове Колушека, обычно тщательно прилизанный.

В первом дворе Ондржей встретил двух рабочих с покрасневшими глазами, они волокли тюк хлопка. Какая-то женщина тащила в переднике охапку картонных шпулек, никому не нужных. Знакомая ткачиха, запыхавшись, бежала с тазом за водой. В такие тазы в обычное время работницы собирали из-под трепальных машин пряжу, прекрасное серебряное руно. Как давно это было! Горный западный ветер задувал во двор, выбивая из окна прядильни, сейчас больше похожего на жерло печи, веселое, красивое, страшное пламя.

Казалось, огонь много лет тлел украдкой и ждал своего часа, старый огонь земли. А может быть, всему виной была спичка, брошенная ребенком, или электрическая искра, которой играет двадцатый век. Огонь все-таки дождался своего часа. Произошло ли короткое замыкание или кто-то закурил, несмотря на запрет? Или это была все-таки месть? Огонь смеется над жертвами пожаров, его пламя обгоняет наш рассказ.

Брандспойты атаковали огненное гнездо, и маленькие языки пламени скорчивались, изгибались, шипели, опадали под залпом воды. Они взмахивали крыльями и перелетали в другое место, сами создавая ветер, который кормит их, не сдавались и снова росли, как драконово семя.

Тяжелая и мягкая, словно без костей, рука опустилась на плечо Ондржею, и в розовых отблесках огня, неприятных и неестественных днем, он увидел странного, осунувшегося человека, которого даже не сразу узнал. Человек нелепо раскрыл рот, и было непонятно, то ли он хотел засмеяться, то ли заплакать. Несколько шагов человек шел рядом с Ондржеем, который хотел пробраться в подсобное помещение к азотному огнетушителю. Теперь Ондржей уже сомневался в спасительной силе огнетушителя — ибо все выходит иначе, чем мы предполагаем, но все же мысль о нем владела юношей.

— И это,— сказал человек патетически, указывая на пожар, в шуме которого было что-то от работающей фабрики,— и это меня не миновало...

Что-то давнее и знакомое мелькнуло в его усмешке, когда он заговорил, и Ондржей узнал — мастер Тира!

— А склад не горит? — крикнул Ондржей звонким от волнения, срывающимся голосом.— Где Казмар? Не видели вы Горынека? Где все?

Тира, видимо, не слышал его из-за шума пожара или потому, что совсем ошалел от отчаяния. Грива огня развевалась на ветру; дикие вспышки чередовались с минутами ослабления, возникал своего рода ритм.

— Оставьте, ничего не выйдет, это судьба,— твердил мастер Ондржею, но тот не стал его ждать. Встреча с этим трусом, как часто бывает, лишь утвердила юношу в его намерении. Тира, бессильно махнув рукой, отвернулся от зрелища, которое разрывало ему сердце, и, что-то бормоча под нос, побрел по двору, пошатываясь, как пьяница, возвращающийся домой.

Погоди, я тебе покажу, как надо действовать! Исполненный презрения Ондржей пустился вдоль колеи к складу хлопка, примыкающему к подсобному помещению цеха, где, как он помнил, стоял азотный огнетушитель. Навстречу ему двигался вагон, куда второпях было свалено все, что попалось под руку. Ондржей едва успел отскочить, чтобы не попасть под колеса, он никак не думал, что сейчас, на пожаре, встретит движущийся вагон. Навстречу шли работницы с охапками хлопка — было похоже, что они переезжают куда-то и несут свои перины. Мужчины тащили мешки и ящики. Их одежда курилась. Они останавливались, задыхаясь, кашляли, снова хватали ношу и спешили дальше. Напряженные лица

с покрасневшими глазами уходили от пылающего огня, а Ондржей приближался к нему.

— Берегись, парень, пожалей мать! — крикнула ему Галачиха, тащившая полную охапку пряжи. Она тоже не могла бездеятельно стоять у своего цеха, который пока что, слава богу, был невредим; мастер Лехора велел там все полить водой, но так, чтобы не наделать убытков; у цеха стояло настороже много рабочих. Ондржей ничего не ответил и исчез из виду. Галачиха потом ругала себя, что не уговорила его вернуться.

На дворик перед помостом рабочие вытащили тлеющие тюки хлопка и топтали их. Ондржей бросился к ним и яростно начал тушить хлопок, схватил мокрую тряпку и гасил руками, стараясь спасти хозяйское добро, движимый инстинктом, унаследованным от предков, которые спасали зерно в горящем амбаре,— ведь сам-то Ондржей был безземельным.

Все выходит иначе, чем мы предполагаем; человек должен действовать, исходя из реальности: этому Ондржей учился с первых дней в Улах. И он топтал огонь, мял и тушил хлопок, как мог, глаза его слезились, он задыхался и кашлял, как и другие рабочие. Что еще оставалось делать? На огнетушителе пришлось поставить крест — в пылающее подсобное помещение, откуда валил дым, уже не попадешь. Пожар превратил знакомые места в лабиринты. Скачущее пламя исказило очертания, здание то полыхало пламенем, то заволакивалось дымом. Ондржею показалось, что в прядильне огонь свирепствует больше всего, но горит ли в подсобном помещении, было неясно. Ветер дул прямо во двор и в сторону универмага. Но огонь — коварная штука! Между двориком, откуда можно в любой момент убежать, и помостом под крышей трепетала в воздухе невидимая завеса жары. Переступить этот рубеж — значило бы рисковать жизнью. Ондржей и рабочие чуяли это так ясно, как собака — покойника. Проклятый дым! Но с хлопком во дворе они справятся!

На дворик, в измазанной рубашке с засученными рукавами, вошел Казмар и подошел к ним, как показалось Ондржею, с веселым видом.

— Где у вас, ребята, крюк от железного занавеса? — спросил он негромко, не стараясь перекричать шум огня, как другие.— Крыша прочна, и в подсобном не горит. Опустим занавес.

Противопожарный занавес! Как только о нем не подумали раньше? Асбестированная штора, отделяющая склад и подсобное помещение от прядильни, ее спускали каждый вечер. Сколько раз Ондржею доводилось делать это! Но простые и удобные средства забываются в суматохе именно потому, что они просты. Ну конечно, в цехе были только Тира и женщины, кому же вспомнить!

А теперь уже поздно, рабочие не дураки, своя жизнь дороже, чем служба Хозяину.

— А может, там кто-нибудь есть? Как же он тогда выйдет? — мрачно возразил один из рабочих, не двигаясь с места.

— Разве что пожарные. Но они влезают в окна,— процедил Казмар, усмехнувшись, и нетерпеливо сделал шаг вперед.

«Молодец, молодец, я так и знал»,— не дыша, думал Ондржей, и кровь в нем кипела.

— На вашем месте я бы не пошел туда, Хозяин! — предостерег Казмара другой рабочий.

Но юный Ондржей встал рядом с настоящим Казмаром, словно сошедшим с картинки, покраснел и выпалил:

— Я знаю, где крюк, я спущу штору.

Казмар бросил на юношу взгляд из-под рысьих бровей.

— Ладно,— сказал он одобрительно и взял Ондржея за руку.

Казмар — герой, хорошо подчиниться его воле, заразиться его отвагой!

— Мы тотчас вернемся,— ободряюще сказал Хозяин, и рабочие на дворике увидели, как великан и мальчик вошли в дым. Мальчик на секунду заколебался, но великан подтолкнул его, и они исчезли.

И вот на Ондржея дохнуло *оно*. Жар раскаленной печи, полыхание огня, черно-багровый ад. Да, все это, но, кроме того, еще нечто. Когда вы впервые в жизни попадаете на безбрежные просторы моря, и исчезает последняя полоска суши на горизонте, и вас со всех сторон окружает стихия, вы чувствуете — это *оно*. Когда вы, спускаясь с горной кручи, задели башмаком камешек, а он покатился в тишине и увлек за собой лавину, грохот которой донесся к вам снизу,— здесь было *оно*.

Настал момент, и Ондржей почувствовал, что переступил границу, за которую нельзя проникать живому существу. Он попытался освободить руку, которую держал Казмар, но тот не выпускал его и шел, не обращая внимания на юношу, будто был один. Ондржея охватил страх, он готов был отказаться от всего.

— Пустите меня, Хозяин,— начал он, то ли из гордости, то ли из хитрости.— Я пойду сам...— Но он не договорил, ибо и без предостерегающего жеста Казмара, приложившего палец к губам, понял, что надо молчать, иначе тотчас задохнешься от дыма.

С малых лет человека предостерегают: берегись огня, обожжешься. А о дыме ни слова. А ведь именно он, дым, и есть коварный враг. Кто не попадал в густой дым, не поверит, как болит от него горло, как трудно глотать, словно в горле у вас что-то набухло, застряло, и вам никак не проглотить этого. А как слепит, проклятый! В двух шагах Ондржей ничего не видел. На счастье,

он знал подсобное помещение как свои пять пальцев. (Здесь он когда-то разрезал обручи, вспарывал мешки и подметал после работы.) Сейчас он шел по памяти и споткнулся о весы, Казмар их обошел. Здоров как бык, ему и дым нипочем. Но весы — это хорошо, они совсем близко от входа. Сейчас надо глядеть, чтобы не упасть в люк. Становилось все жарче. Бетонный пол — как горячая плита. Но подошвы не горят, и даже одежда еще не начала дымиться. Ондржей осторожно ощупал себя левой рукой. А если одежда и начнет тлеть, не страшно, можно загасить, главное не бежать, чтобы она не вспыхнула. Казмар сильный, он знает, что делает. Хорошо, что они вместе, один Ондржей никогда бы... Голова кружится... Ну ничего, пройдет...

...Отец, правда, умер... и напрасно я брал его за руку... но я — это другое дело... ведь это я... И потом я уже два года не видел матери... И с Лидушкой мы еще не натешились любовью... Невозможно, чтобы это был конец.

Стали видны шипящие языки пламени, и Ондржей со странным и диким интересом заметил, как горит самшитовое дерево на *мюле* и все шпульки раскалились докрасна. Кто сказал, что пламя только светит и жжет? А голос его забыли? Оно гудит, как лес у Черной скалы, и звенит... Ну да, огонь нужен, чтобы лить колокола, поэтому и в пламени слышен звон.

Слава богу! Ондржей по памяти протянул руку и нащупал железную палку с крюком на обычном месте, у стены, в правом углу. Как хорошо, что крюк не поставили в другое место! Теперь скоро конец. Но палка, с которой Ондржей обычно управлялся играючи, задрожала в его ослабевших руках, и он едва не ударил ею Казмара. Хозяин взял крюк и, щурясь от яркого света, попытался зацепить железную петлю наверху. Два раза он промахнулся, в третий зацепил и потянул. Чертова штора! Наверное, раздалась от жары: заело и не идет. Ондржей вместе с Казмаром повис на палке, оба тянули, молчали, сопели, тяжело дыша, снова тянули... еще одно усилие — бац! Занавес подался, упал, захлопнулся. Ондржей, словно увидев что-то запретное, вытаращил глаза, взмахнул руками, глубоко вздохнул, и голова его упала на плечо Казмара. Теперь он больше не нужен... Ноги у него подкосились.

Ондржея привел в чувство острый запах нашатыря. Он увидел на стене веточку хлопчатника, похожую на лопнувший каштан, из которого торчит вата, и портрет человека с резкими чертами лица и щелочками глаз, сощуренных от света. Не следовало бы на стены вешать портреты: на них мучительно смотреть. Лучше закрыть глаза. Ондржею было нехорошо,— казалось, он проглотил дымя-

щий паровоз и никогда ему уже не избавиться от ощущения гари во рту.

В комнате были Розенштам и Галачиха. Ондржей не удивился их присутствию. Впрочем, Розенштам уже уходил. Галачиха сказала доктору сиплым шепотом, видимо полагая, что Ондржей не слышит:

— Тоже мог бы понимать, ведь почти ребенок...

Розенштам пропустил замечание мимо ушей, а вслух велел ей подождать здесь: он сейчас же пришлет санитаров. И вышел.

Ондржей догадался, кого она имела в виду, но не стал думать и даже отвел взгляд от портрета. Он смотрел на темные руки Галачихи, оказавшиеся в поле его зрения. Он знал эти руки на работе, когда они держали иглу или нож. Теперь, в бездействии, они выглядели грубыми и неловкими; Галачиха стояла, слегка растопырив их, не зная, куда деть. Ондржей узнал помещение отдела личного состава, где стояла счетная машинка с цветными клавишами. Как он попал сюда, Ондржей не помнил. Он помнил, что произошло раньше, но теперь все это было ему безразлично.

— Как вы думаете, это настоящая кожа или имитация? — спросил он Галачиху, проведя рукой по спинке кресла.— Где я оставил портфель? — продолжал он и нахмурился.

— Лежи тихонько, сейчас за тобой приедут,— ответила ему Галачиха тоном, каким утешают маленьких детей.

Ондржея успокоила мысль о том, что сейчас приедут, что для него все уже кончено, об остальном позаботятся другие, и он отдыхал как-то тупо и безразлично. У него ничего не болело, он не радовался, что остался жив, не интересовался, удалось ли спасти подсобку от огня, кончился ли пожар. Ему было все равно, его только преследовал запах и вкус гари, он сам себе был в тягость. Сколько прошло времени — он не знал. Наверное, он задремал, потому что его вдруг разбудил шум в комнате, топот и шарканье ног, мимо него, видимо, пронесли еще одного пострадавшего на носилках. Рядом шла девушка. Ондржей махнул рукой:

— Лидка!

Но Лида Горынкова, которая всегда издалека улыбалась Ондржею, на этот раз даже не заметила его. Повернувшись спиной, она опустилась к носилкам и робко начала разувать пострадавшего. Стоявший рядом Розенштам заслонял его лицо. Человек застонал еще до того, как чуткие пальцы швеи прикоснулись к нему. Длинные тощие мужские ноги тряслись странно, крупной дрожью, словно для того, чтобы за них нельзя было взяться.

— Ножницы! Или нож! — сказал Розенштам, и от дверей отделилась Ева Казмарова. Ондржей не заметил ее раньше. Губы

у нее дрожали. Она что-то вынула из сумочки, подала Розенштаму и снова отступила в тень. Ондржей смотрел, как доктор противным дамским ножичком режет бумажную материю брюк в тех местах, где она не была прожжена. Он распарывал ее не по нитке, и инстинкт ткача бессознательно протестовал в Ондржее против такого обращения с тканью. Но он ужаснулся, увидев, что открылось под нею, и поспешно отвел глаза. С того дня, когда Тонде Штястных оторвало палец, Ондржей не мог видеть крови. Галачиха отошла в сторону, и Ондржей увидел лихорадочный, остановившийся взгляд Горынека. Конечно, это был Горынек, отец Лидки, смазчик из прядильни; и как Ондржей ни старался не думать об этом, он уже все понял в тот момент, когда Лидка вошла и не обратила на Ондржея внимания.

Воспаленные глаза старика были открыты, но едва ли он узнавал присутствующих. Он уставился в одну точку над головой Ондржея (Ондржею была знакома эта ошеломленность людей, которые увидели то, что не следовало) и монотонно стонал нежным, не своим голосом, так, словно был занят чем-то непонятным для других. «Такой весельчак!» — с ужасом подумал Ондржей, не в силах смотреть на трясущиеся, как бы осквернение жилистые мужские ноги с кровавыми ранами во всю длину голени. Кожа полопалась, как кора старой ели, и виднелось живое мясо!..

Барышня Казмарова, стоявшая в стороне, словно она вошла сюда не по праву и не решалась уйти, хотела сказать что-то, превозмогая робость. Она тихо и с трудом подошла к носилкам, стала около Розенштама, наклонившегося над обожженным, и, выждав удобный момент, робко спросила доктора:

— Нельзя ли мне взять его к себе? Я бы охотно взяла... Я бы от него не отходила.

Дочь Горынека смерила барышню Казмарову суровым взглядом и не сказала ни слова.

— К чему! — нетерпеливо возразил Розенштам.— В больнице ему лучше будет. Пожалуйста, поглядите, пришла ли машина.

Старик забеспокоился. Он попытался приподняться, заохал, но Лида осторожно подхватила его крепкими, ловкими руками и уложила обратно.

— Что ты хочешь, папочка? — спросила она успокаивающим тоном няньки.

Обожженные ноги задрожали сильнее, будто сопротивляясь всякой помощи. Горынек открыл рот и выговорил с усилием:

— Хочу домой!

Лида увещевала его:

— Все равно, папа, где умереть, в больнице или дома.

Она сказала это просто, ибо хорошо знала суровую жизнь. Но

дочери Казмара показалось, что эта фраза клеймит ее, и она проговорила сквозь слезы, закрыв лицо руками:

— Отец не знал, что там кто-то есть! Он не закрыл бы, он не виноват.

В Ондржее шевельнулось что-то чрезмерно тяжелое, как камень, который нужно отвалить и посмотреть, какая тварь вылезет из-под него наружу. Никто не знает, что выскочит из-под камня — ящерица или крот, а может быть, камень просто отдавит тебе ногу. Нет, у Ондржея не хватало сил. Все это было как-то слишком близко и слишком далеко. Никто не вправе требовать от него, чтобы он снова разматывал бинты с кровоточащих ног Горынека. И словно для того, чтобы избавиться от этого, Ондржей потерял сознание.

Ночью Ондржей бредил: ему казалось, что он едет в Америку и ткет себе дорогу из клетчатой шелковой ткани; в Америке ведь любят клетчатое. Очень трудно было следить за основой, потому что основа была географической картой и моря на ней волновались, как настоящие. Одновременно Ондржей сознавал, что все это вздор и что он лежит на больничной койке. Через застекленную вверху дверь из коридора проникал свет электрической лампочки, от него болели глаза. Ондржей все ткал и ткал себе дорогу, а где-то в отдаленном уголке его сознания сидела боязнь, что с пароходом не все ладно, совершен какой-то промах — то ли ошиблась наводчица, то ли была неточность в эскизе, то ли сам Ондржей в чем-то сплоховал. Клетчатая дорога в Америку морщилась и перекашивалась, Ондржей сбивался с пути. Он понимал это, но скрывал от пассажиров, чтобы не было паники, и делал вид, будто все в порядке. Все это мучило и утомляло его... Наконец лампочка в коридоре погасла, за окном кто-то воздушный и светлый вступил на вахту и принял на себя всю ответственность. Теперь Ондржею работалось легко и без запинки. И удивительное дело: узор, который он ткал, пел! Честное слово! Играл тоненькими голосами песенку; Ондржей ее слышал и радовался, как дитя. Он попробовал снова, чтобы убедиться, что не ошибся, и на этот раз вложил полосу в станок Вердоля. И узор заиграл, ей-богу, как валик в пианоле! Выходит, я великий изобретатель!

В больничном саду распелся дрозд, было слышно, как в подвале работает каток для белья, из кухни доносилось звяканье посуды, развозили завтрак, приходили посетители. Гудел рентген, перед которым когда-то стоял обнаженный по пояс Ондржей Урбан, выпускник городской школы на Жижкове в Праге. Тогда в насыщенной электричеством темноте Розенштам в свинцовом переднике, похлопав Ондржея по спине, сказал: «Побольше бы таких лег-

ких! Одевайтесь!» По коридору проезжали на резиновых шинах коляски с больными, вот уже понесли второй завтрак, а больной № 129 — «отравление дымом и нервный шок»,— не обращая внимания ни на градусники, ни на своих соседей по палате, вел себя отлично: не беспокоил сиделок и спал, спал, спал.

Проснулся он в сумерках, ощущая на себе чей-то взгляд. Он лениво открыл глаза: перед ним стояла пани Гамзова.

— Боже,— воскликнул он, растроганный,— вы приехали из Праги? Или из Нехлеб, это ведь по дороге? Кто вам сказал, что я болен? Я так рад, до самой смерти этого не забуду.

— Почему ты говоришь мне вы? Не узнаешь? — нараспев произнес в сумраке женский голос.— Я была в хирургическом у отца и зашла к тебе. Галачиха тебе кланяется. Она тоже хотела прийти, да не вышло. Лехора не пустил: сегодня кончают заказ, вчера-то, сам знаешь, не успели.

Ондржей подал руку девушке и смущенно сказал упавшим голосом:

— Не сердись, Лидушка, мне показалось. У меня еще мутится в глазах.

И тотчас, овладев собой, спросил о Горынеке.

Лида присела на краешек кровати, стараясь занимать поменьше места, и своим певучим ровным голосом вернула Ондржея к действительности. Горынек лежит в хирургическом отделении,— рассказывала Лида,— ноги у него в масле, боль сильная, но доктор говорит, что можно надеяться. Ну, конечно, если человек стар, исход никогда не известен. Смотря по тому, как будут заживать раны. Лишь бы не загноились, сказал доктор. Но сегодня папаша уже разговаривал, обо всем расспросил. Он так жалеет, что в обеденный перерыв остался в цехе один, как раз когда начался пожар. Уже приходили из полиции его допрашивать. Он им все объяснил. При чем тут он! Горынек был в шорной, вдруг слышит: пахнуло гарью. Прошел по цехам — нигде ничего. Потом видит, что дым идет из пылеотвода. Там-то и занялось, видно, еще во время работы. Выбегает на двор, сталкивается с рабочим по двору, тот тоже заметил и поднял тревогу. А потом Горынек вернулся в здание — ему пришло в голову пустить душ, который устроен для увлажнения волокна. Это и стало для него роковым.

— Ну да, все его видели на дворе, и никто не подумал, что он вернется в цех,— подхватил Ондржей, ловивший каждое ее слово.— До того ли было в такой суматохе. Ну, а...

Ну а когда Горынек, почувствовав опасность, хотел бежать, он оказался в ловушке. Противопожарный занавес был спущен и от жары так заклинился, что его вряд ли подняли бы и домкратом. Тогда Горынек попытался выйти запасным выходом — Ондржей

его знает,— но и там уже горело. Пожарные вытащили старика через окно в самый последний момент, с ожогами ног, в бессознательном состоянии.

Ондржей и другие больные с глубоким участием слушали рассказ Лиды, который она сегодня повторяла, очевидно, уже не первый раз. Было ясно, что Горынек стал жертвой несчастного стечения обстоятельств. В этом никто не виноват, и Ондржею не в чем упрекнуть себя. Впервые после пожара он спокойно мог вспомнить о Казмаре. А что слышно о Хозяине? Он не пострадал? Здоров? Как переживает беду?

— Он уже в Швейцарии,— ответила Лидка.— Вылетел сегодня утром, как было намечено, и вернется, говорят, только к Первому мая. Еще ночью он созвал директоров и инженеров на совещание о судьбе прядильни. Там все попорчено, машины вышли из строя: чего не погубил огонь, довершила вода.

— А склад? А подсобка? Хлопок цел? — допытывался Ондржей. Из-за хлопка он чуть не отправился на тот свет, не удивительно, что это его интересовало.

— Хлопок вы с Хозяином спасли,— скупо ответила Лидка и замолчала.

Ондржей, наморщив лоб, посмотрел на нее грустно и вопросительно. Но она сейчас же улыбнулась ему.

— Значит, тебе лучше,— начала она.— А вчера во всех Улах только и разговора было, что ты помер. Я вчера тебя даже и не заметила, так испугалась за отца. Потом уж мне рассказала Галачиха.

— Ты на меня не сердишься, Лидушка? — спросил Ондржей, задерживая ее руку, когда она встала и собралась уходить.— *Совсем* не сердишься?

— Глупо было бы сердиться. Разве ты это нарочно сделал? Помогал, как мог. Жалко было хлопок-то, столько тюков,— деловито добавила девушка, и в ее тоне прозвучало безыскусное сожаление простого человека о материальной ценности, хотя бы и не ему принадлежащей. Встав, она сказала Ондржею, что по всему городу расклеено обращение Хозяина — хорошее обращение, очень трогательное. Хозяин благодарит всех, кто проявил мужество и самоотверженность при тушении пожара, и обещает позаботиться о том, чтобы страна узнала их имена.

— Ты еще прочтешь об этом в «Улецком вестнике»,— прибавила Лида.

Ондржей вытянул губы, словно хотел свистнуть, и сделал вид, что это его мало интересует и даже смешно, но слушал внимательно, и признание его заслуг ему льстило. Лидка знала Ондржея лучше, чем он думал.

Несколько дней, которые он провел в больнице, оставили у него в общем приятное воспоминание. Там он как следует отдохнул впервые за все время своей жизни в Улах. Женщины его баловали. Когда не могла прийти Лида, приходила Галачиха, иногда они приходили вместе. Женщины тоже хотят иногда покомандовать, и, когда сляжет этакий крепкий паренек, они берут над ним верх и начинают распоряжаться.

— Не читай столько, тебе вредно, вон ты опять позеленел, как трава,— настаивала Лидка.

— И съешь этот бульон из мозговой кости, он и мертвого воскресит,— приставала Галачиха.

Дело, конечно, не в бульоне, а в заботе. Дома такая заботливость, возможно, была бы даже в тягость, но здесь, среди чужих людей, она трогала. Ондржей гордился перед соседями по палате тем, что его все время посещают. В больнице это честь. К кому никто не ходит, того меньше уважают.

Галачиха была не замужем и жила в Заторжанке у брата-швейника, отца шестерых ребят. Приходя с фабрики, она стирала пеленки и возилась с детьми, потому что невестка не справлялась с хозяйством, а Галачиха не могла сидеть сложа руки. В воскресенье она отпускала брата с женой погулять — пусть уж пройдутся парочкой, а сама собирала детей и, толкая впереди коляску с самым младшим, шла с ними в лес или кататься на санках. Жила она чужим счастьем, была в доме даровой нянькой и в простоте душевной часто не без гордости думала, что она сама себе хозяйка, могла бы жить отдельно, но брат ее ни за что не отпустит, уж очень ее любят. Вот и сейчас он недоволен, что она ходит в больницу навещать Ондржея, заботится о чужом парне. В минуту откровенности Галачиха рассказала Ондржею, что у нее был внебрачный сын. Умер еще грудным; да оно и лучше,— что у него была бы за жизнь?

— Теперь бы с тебя вырос,— сказала Галачиха.— Когда вот на тебя смотрю, думаю: а не лучше ли все-таки растить своего, чем возиться с племянниками и вечно быть только теткой?

Галачиха любила читать, уважала, как она выражалась, сознательных людей и сказала Ондржею, что, если бы была из богатой семьи, она выучилась бы на учительницу.

— А вы думаете,— улыбнулся Ондржей,— что богачки идут в учительницы?

— Может, идут и бедные, да только не такая голытьба, как мы. Когда мне девчонкой нужны были какие-то гроши на букварь, мать дала мне клок кудели из отходов: «Ну-ка, говорит, пряди себе букварь». Я сплела веревку, продала и купила букварь.

Францек тоже однажды забежал в больницу навестить товарища. Он не нянчился с Ондржеем, как женщины.

— Значит, так,— сказал он.— Дурацкий хлопок спасли, а живого человека поджарили. Скорее поправляйся да исправляйся!

Рассказывая о пожаре, он упомянул о волнении среди прядильщиков. Ремонт в прядильне идет улецкими темпами, скоро цех снова вступит в строй, но никто из прядильщиков ничего не знает о своей судьбе. *Мюль* пойдет на слом, будет поставлено другое, высокопроизводительное оборудование, оно вытянет жилы из людей. Сорок работниц сегодня уже уволено. Казмар — демократ, Казмар — друг рабочих, но он улетел за границу, а Выкоукал увольняет людей. Известная тактика!

Лидка беспокойно оглядывалась, слушая рассказ Францека. Как он неразумно ведет себя здесь, в казмаровской больнице. Еще скомпрометирует Горынека!

— Как у тебя язык не устает! — вырвалось у нее сгоряча.— Тебе-то хорошо живется, чего ж ты суешься не в свои дела? Такой занятой...— язвительно добавила она, когда Францек, не подождав ее, повернулся и ушел.— Вечно на собраниях, только этим и занят.

Ондржей в такие минуты подозревал, что Лидка любит Францека, и тянулся к ней больше, чем когда они были наедине.

— А мне,— объявила Галачиха,— как раз в нем нравится, что он заботится о других. И еще вот что я скажу: с нами, женщинами, мужчины подлецы, это ты сама когда-нибудь узнаешь, но когда коснется борьбы за идею, тут мужчины будут почище нас, женщин. Так что мы квиты.

ЛЮДИ НА ПЕРЕПУТЬЕ

— Знаете что, мадемуазель Казмарова,— сказал Розенштам в одну из суббот вскоре после пожара.— Возьмите вашу маленькую машину, съездим в Драхов. Там сегодня выступает Гамза. У вас ведь нет политических предубеждений? А это будет интересно.

Супруга Казмара редко видела, чтобы ее скучающая падчерица так резво сбегала вниз по ступенькам, как после обеда в этот апрельский день. Она окликнула ее со снисходительным добродушием, но девушки и след простыл. Пани Казмарова любила Еву за то, что та оттеняла ее красоту. Все говорили о том, насколько мачеха привлекательней падчерицы. Для полного триумфа улецкой госпоже не хватало только сына, но тщетны были все ухищрения медицины, они не помогали этой королеве, как и многим другим.

— Если бы отец знал, что я на митинге левых! — заговорщически шепнула Ева Розенштаму, усаживаясь рядом с ним в низкой двухместной машине.— Он бы меня убил!

— К счастью, он за горами,— заметил Розенштам и пустил машину.

— «Яфета» видит все! — насмешливо ответила Ева словами какой-то отцовской рекламы.— Вы себе представить не можете, как я ненавижу Улы. Все здесь гнетет меня, особенно после этого пожара.

— Я знаю,— сказал Розенштам, вспомнив истерическую выходку Евы во время перевязки Горынека.— Зачем же вы живете здесь? — спросил он просто.— Почему опять не поедете путешествовать?

— Спасибо за совет,— иронически отозвалась Ева, и Розенштам, хоть он и не видел ее лица, ибо уделял все внимание поворотам шоссе, почувствовал, что его попутчица как-то увяла. Несмотря на университетский диплом, путешествия и богатство, она была до того беспомощна, что становилось жалко ее.

— Послушайте,— начал он с невольной сердечностью, и тут же снизил тон,— я ваш старый друг, вы мне в дочери годитесь...

— Для этого вам надо было довольно рано жениться,— как-то странно усмехнувшись, сказала Ева, но от ее смеха не сделалось веселее.

— Погодите шутить. Вы одна из очень немногих настоящих людей среди «первой сотни» в Улах, и мне было бы очень жаль, если кто-нибудь обидел вас,— продолжал Розенштам, замечая, что говорит не о том, во что собирался внести ясность во время этой поездки. Он переключил скорость и начал с другого конца:

— Послушайте. Я не люблю все бесформенное и запутанное. Не кажется ли вам, что вы еще не определились в жизни? — Он спросил это с такой же заботливой осторожностью, с какой касался ран Горынека.— Все у вас в тумане. От всего вы готовы отказаться, словно вам сто лет, а не двадцать с лишним. К чему все это? Почему вы не выйдете замуж?

Барышня Казмарова открыла сумочку и неверными пальцами нащупала очки. Сейчас они были нужны ей не только для того, чтобы лучше видеть. Иногда они служили ей, как в прежние времена графиням вуаль.

— Вы можете выйти замуж хоть завтра,— неумолимо настаивал Розенштам.

— Но ведь всякий женился бы на мне ради денег! — воскликнула барышня Казмарова.

— Это все рассуждения институтки,— строго проговорил Розенштам.— Смотрите трезвее на вещи.

— Вот именно, я смотрю очень трезво и знаю свою внешность. Будь я мужчиной, я ни за что не взяла бы такую уродливую жену, даже со всей «Яфетой» в придачу.

— Что за ипохондрия! Как можно так говорить? — с нежным сочувствием и не совсем уверенно произнес Розенштам.— Поселились бы вы в большом городе, были бы у вас дети...

— Такие же недоноски, как я,— выпалила барышня Казмарова.— Нет уж, не надо. Отец женился на матери из-за денег, и вот какая я родилась. Нет, нет, детей должны иметь только красивые и любимые женщины.

— Откуда у вас, скажите пожалуйста, эти ложные теории, эти нездоровые взгляды? Я знал, что с вами дело неладно. Но до такой степени!.. Кто лишил вас уверенности в себе, вас, человека с университетским дипломом?

День клонился к вечеру, машина шла в низких лучах весеннего солнца мимо полей, на которые с гор спускался синий, холодный туман. В Улах сейчас, наверное, уже мороз.

— У нас на факультете училась одна девушка по фамилии Новотная,— разговорилась барышня Казмарова.— На несколько семестров старше меня. Вот была любительница развлечений! Знаете, то первое поколение республики, что пользовалось жизнью до полного одурения. Целые ночи она танцевала в барах. С кем только у нее не было связей! Женатый, холостой — ей все было трын-трава, она сама говорила. Шла на все с первой же встречи, а в разговорах была так распущенна, что, когда я ее слушала, у меня уши горели от стыда. Но какие красивые у нее были ноги и вся фигура! Лицо как картинка. Этакая цветущая шальная девчонка. Я делала вид, что просто не замечаю ее, у меня тогда был период высоких устремлений... А сама завидовала ей до слез, скажу вам откровенно, я ведь вам все говорю. Ах, Розенштам, как уверенно должна чувствовать себя в жизни красивая и желанная девушка, которую хотят ради нее самой, она может не думать на каждом шагу: вот это ради «Яфеты», это ради отца, это ради денег.

— Перестаньте! Самоунижение — это тоже гордыня! Слышите, принцесса?

Но Ева не унималась:

— Последняя работница «Яфеты» счастливее меня, если она недурна собой и не очень строгих правил...

— А если строгих? — по-ребячьи спросил Розенштам, и они рассмеялись.

Подъезжая к городу, они увидели на окраинах красные плакаты с именем Гамзы. Знает ли Ева, что митинг протеста против увольнений у Казмара был первоначально назначен в Улах, но Выкоукалу удалось добиться запрещения? В конце концов его по-

зиция как директора понятна: он опасался скандала. К Еве приходили сегодня с просьбой уволенные работницы? Это он, Розенштам, послал их.

— Приходили,— подтвердила барышня Казмарова.— И я тоже...— Она запнулась, потом продолжала, нахмурясь: — Мне было очень стыдно. Я жалею людей, но не это им нужно, не это. Я не умею с ними разговаривать и была противна самой себе. Не думаете же вы всерьез, Розенштам, что на отца подействует призыв к гуманности и мое заступничество? Не такой же вы ребенок! Если бы сам господь бог спустился с неба и захотел вмешаться в планы отца, его постигла бы неудача. Отец не отступит. Вы его плохо знаете, если думаете иначе.

— Я имею удовольствие знать Хозяина достаточно близко; это самый выдающийся человек, какого я когда-либо встречал, но действительно нельзя сказать, чтобы он отличался особой чувствительностью. Будь он чувствителен, не создать бы ему такого гигантского предприятия... Но я не его имел в виду,— продолжал Розенштам, сделав хитрое лицо.— Выкоукал хотел бы женить на вас своего сына, это ясно, и пристроить его в Улах, пока на должность химика. Первого мая мы еще поговорим об этом. Но независимо от того, выйдете ли вы за молодого Выкоукала замуж или нет, почему бы вам не попытаться сейчас повлиять на его отца в пользу этих прядильщиц?

— Если вы думаете, что из этого будет толк, я попытаюсь,— грустно ответила барышня Казмарова.— Но Выкоукал и отец — это, в сущности, одно и то же. Отец решает, а Выкоукал выполняет, все это только проформа... А знаете,— добавила она, с любопытством школьницы взглянув на Розенштама,— собственно говоря, вы — страшный человек.

— Почему? — осведомился тот, тщетно стараясь подавить улыбку. Несмотря на благие намерения наставить Еву Казмарову на правильный путь, в нем все-таки говорил мужчина.

— Потому что у вас для каждого находится понимание: и для отца, и для уволенных прядильщиц, и для Выкоукала, и для организаторов сегодняшнего митинга, и для тех, кто его старается сорвать...

— Вы правы. Я, вероятно, погибну оттого, что всех полностью понимаю, но ни к кому не присоединяюсь больше чем наполовину. Я совершенно бесхребетен, и хуже всего, что это даже не приносит мне никаких выгод,— засмеялся он и остановил машину у Городского клуба. Здесь сегодня должен был состояться митинг.

У входа, где обычно в дни масленицы стоял швейцар и указывал гостям, со всех сторон съезжавшимся на сокольский бал, куда

ставить машины, теперь топталась женщина в беретике, продававшая газету «Красное пламя». Розенштам купил газету, вручил ее Еве, и они вошли.

В слабо освещенном зале, наполнявшемся мужчинами с поднятыми воротниками и женщинами в беретах, натянутых на уши, гулко раздавались шаги. Было холодно, как в погребе. Ева с трудом узнавала зал, где ей приходилось бывать с отцом и махечой на различных местных торжествах. Чехол на люстре, голые окна, занавешенный балкон, стулья, собранные бог весть откуда, затхлый воздух, запах известки и скудное освещение — все это было здесь как бы в наказание за то, что зал используется не для развлечений. Люди, теснясь, рассаживались, гремя стульями, они пришли прямо с работы, ели на ходу, прямо с бумажки, колбасу — обычай, который давно уже вывелся в Улах, где рабочие пользовались американизированной столовой Казмара. Продавщицы ходили по рядам, предлагая брошюрки с изображением Ленина на обложке. Ленин был нарисован раскосым, с бородкой, его окружали внимательно слушавшие европеец, монгол, индиец, негр и еврей. Рабочие читали брошюрку, поднося ее к глазам, так как свету было мало,— читали обстоятельно, с самого начала, с простонародным уважением к печатному слову.

Барышне Казмаровой обстановка митинга была такой же непривычной, как для его участников атмосфера роскошного отеля из кинофильма. Ева с симпатией наблюдала незнакомый ей мир, но плохо понимала его, относясь ко всему, как к приключению. Она глядела на окружающее глазами туриста, который, увидев много мелочей, делает поспешные выводы. Присутствие Розенштама освещало для нее все, и сердце ее переполнялось любовью к собравшимся.

Ева хотела сесть в партер среди рабочих, но Розенштам счел это неразумным, ибо уже заметил, как высокий темноволосый парень с сухощавым лицом и прядью волос, падавшей на лоб (он стоял у дверей, скрестив руки, Розенштам его знал), бросил исподлобья подозрительный взгляд на наследную принцессу. (Это был Францек Антенна.) Розенштам повел Еву на балкон. Она послушно следовала за ним, удивляясь, как он всюду ориентируется, ни у кого не справляясь, хотя, по-видимому, впервые в этом клубе. Захватив снизу два стула, он провел ее запасным ходом наверх и нашел удобное боковое местечко, где они, скрытые колонной, видели все, что происходит в зале.

— Хозяин порадовался бы на такое множество покупателей,— насмешливо заметил Розенштам, рассматривая ряды мужчин и женщин в пальто.— Сплошь экипировка от «Яфеты». Боюсь, что единственный человек здесь, который не одет в изделия на-

ших фабрик, это вы. У вас очень красивая шубка. Здесь, безусловно, собралось больше потребителей товаров Казмара, чем его рабочих. Казмаровские рабочие осторожны, и не удивительно. Да и далеко это от Ул.

— Вон там одна наша работница, она невероятно быстро работает таким крючком. Я ее помню еще с прошлого года, когда Выкоукал водил меня по фабрике,— сказала Ева, увидев Галачиху. Потом она указала в задних рядах на двух прядильщиц, которые сегодня приходили к ней от имени уволенных.

— Вы правы,— повернулась она к Розенштаму.— Хорошо, что нас не видят. Мне было бы очень тяжело, если бы меня приняли за соглядатая...

— Этим вместо вас займется вон тот господин,— сухо ответил Розенштам, показав ей на Колушека, который втерся в зал вместе с кучкой каких-то студентов. Он был безупречно одет, учтив, с ровным пробором, как всегда. Люди все прибывали, и вскоре Ева и Розенштам потеряли Колушека из виду.

— Боже мой, он донесет на меня отцу, когда тот вернется. Будет мне нагоняй! — полушутя заметила барышня Казмарова и спрятала голову за колонну. Но тотчас ей пришла смелая мысль: — А не должны ли мы *их* предупредить?

И, вопрошающе взглянув на Розенштама, она взялась рукой за спинку стула, собираясь встать. Розенштам удержал ее на стуле.

На подмостках появились красивый молодой человек в форменной одежде — чиновник городской администрации, и девушка, тонкая, как ласка,— секретарь партийной организации. Девушка, по словам Розенштама, была известна своей ловкостью в стычках с полицией: она умела незаметно уронить портфель с компрометирующими бумагами так, чтобы кто-то, якобы не участвующий в столкновении, подхватил его и исчез. Чиновник и девушка непринужденно разговаривали на виду у собравшихся, обмениваясь дипломатическими любезностями, обычными перед открытием митинга. Девушка искоса посматривала в зал — достаточно ли собралось народу. Собрание, как положено, начиналось с опозданием. В ожидании Ева развернула «Красное пламя». На первой странице ей бросилась в глаза собственная фамилия. Автор статьи клеймил Казмара за увольнение прядильщиц. Не успела она дочитать статью, как услышала свое имя из уст оратора. Человек с мутным взглядом и шевелюрой честолюбца, опершись руками о стол и наклонившись вперед, тоном, наперед уничтожающим всех несогласных, говорил об обстановке на предприятиях Казмара, по сравнению с которой даже жизнь туземцев Центральной Африки сущий рай.

— Но ведь это не Гамза? — почти умоляюще прошептала Ева своему спутнику. Он покачал головой, показал на часы и пробормотал что-то о поезде из Праги.

Оратор прежде всего заявил, что хочет обратить внимание собравшихся на несколько интересных фактов. Ни у одной группы рабочих Казмара нет коллективного договора. Увольнение с предупреждением за две недели существует лишь на бумаге; в действительности — это известно каждому ребенку — у Казмара увольняют немедленно и без объяснения причин. На рабочих оказывают политический, экономический и моральный нажим, цель которого — изолировать их от остальных масс трудящихся. Это есть не что иное, как духовная коррупция, моральное порабощение. Оратор заявляет об этом во всеуслышание, нравится это господам из Ул или нет! Никому из работающих у Казмара не разрешают покупать провизию и одежду на стороне. Только у «Яфеты»! И, конечно, не требуется особой проницательности, чтобы понять, кому рабочие Казмара были вынуждены отдать свои голоса на выборах городского самоуправления в Улах, главой которого является господин фабрикант Казмар. Господа капиталисты не глупы и сумели организовать избирательную кампанию так, как им хочется. Вообще, для того чтобы прибрать к рукам улецкое самоуправление и извлекать миллиардные прибыли из пота и крови рабочих, господа капиталисты и их приспешники хорошо организовались, в этом им надо отдать должное. Зато всякую попытку рабочих организоваться, что на других предприятиях считают вполне законным, Казмар подавляет в корне, не брезгуя при этом никакими средствами. Как известно, улецкий магнат — реакционнейший и ожесточеннейший враг профсоюзов и политических партий пролетариата. Мы не забыли и не забудем позорного заявления Казмара во время стачки на строительстве плотины, когда он цинично заявил, что нанимает рабочих, а не обладателей партийных билетов, и если кому не нравится в Улах, тот может получить расчет и отправляться на все четыре стороны. К услугам этого капиталистического вампира всегда достаточно безработных в нашем нищем крае, где в изобилии родятся разве только дети. А что такое, кстати говоря, вся школа казмаровской молодежи, как не неисчерпаемые кадры стяжателей и штрейкбрехеров?!

Барышня Казмарова сидела выпрямившись, слушала с бьющимся сердцем и, как ни принуждала себя к объективности, от всей души ненавидела оратора. Гораздо легче было осуждать отца самой или в присутствии Розенштама, чем слышать, как его здесь поносят публично. Ева не предполагала, что речь так взволнует ее. Она смотрела на большой и некрасивый рот оратора, слушала его язвительные выпады и была до глубины души убеждена, что

оратору важнее очернить Казмара и показать себя, чем помочь уволенным прядильщицам. Но хуже всего было то, что доводы против Казмара, которые оратор преподносил в форме избитых и крикливых фраз, по существу были основательны. Ева и раньше знала, правда немного и лишь в общих чертах, обо всех махинациях Казмара. Но теперь, когда все это суммировали перед ней с трибуны, под ораторские фанфары и барабанный бой, она ужаснулась тому, что услышала,— ведь все это направлено и против нее.

— Не надо было мне сюда приходить,— сказала она Розенштаму.— Я кажусь себе иудой вдвойне.

— Очень полезно, девочка, взглянуть на всякое дело с разных точек зрения,— ответил доктор.— Но если хотите, поедем домой,— добавил он и приподнялся с места, зная, что Ева не пойдет.

— Нет, нет, куда же? Теперь я должна выслушать все до конца, иначе не видать мне покоя.

Перейдя к увольнениям прядильщиц, оратор упомянул о пожаре и колко заметил, что ловкому предпринимателю везет и в беде: на всей территории фабрики сгорела именно прядильня, где, как нам известно, было устарелое оборудование, которое как раз пора было заменить более совершенным...

Тут оратора прервал высокий, пронзительный голос из публики: «Что этим хочет сказать господин оратор?» И Колушек возмущенно потребовал слова от имени администрации предприятий «Яфеты». Все взгляды обратились на тщательно одетого узкоплечего человека с пробором,— о нем иронически говорили, что Казмар держит его в роли мальчика для битья.

— В интересах истины,— кричал Колушек, не обращая внимания на шум и председательский звонок,— и в интересах самого оратора, которого полиция безусловно привлечет к ответственности за грубое оскорбление личности, администрация улецких предприятий самым решительным образом отвергает эти постыдные инсинуации.— Колушек старательно и звучно выговорил иностранное слово и торжествующе заявил, что Казмар не был застрахован от огня, о чем, кстати говоря, известно широкой публике из газет. Этот неотразимый аргумент, разумеется, достаточен, чтобы раз навсегда заставить замолчать злые языки. Поэтому Колушек даже не собирается упоминать о том, с каким бесстрашием вел себя Хозяин во время пожара, когда, рискуя собственной жизнью...

— И жизнью своих рабочих! — крикнул голос.

— О рабочих вы забыли! — поддержал его другой.— А разве рабочие не люди? Двое до сих пор лежат с ожогами в больнице.

— Дирекция уже объявила благодарность и отметила самоотверженность наших рабочих,— ввернул Колушек.

— И за это их увольняет! — сухо добавил оратор.

В зале послышался озлобленный смех.

— Кроме того, скажу я вам, одпого из этих пострадавших,— Колушек повысил голос, готовясь козырнуть выигрышным фактом,— Хозяин сам вынес на руках из огня и спас ему жизнь.

— А сперва сам заманил его туда, черт бы тебя побрал! — бормотала Галачиха, вспомнив Ондржея, и недоуменно смотрела на Колушека.— Вот ведь как умеет все переиначить.

Когда оратор намекнул на то, что виновником пожара является сам Казмар, Еве стало легче. Наконец-то хоть одно обвинение против отца ложно и вздорно. Она усмехнулась. Кто знает отца, тот поймет, что Казмар не ходит окольными путями, он действует, не считаясь ни с кем. Улы он любит так, как мужик свое поле, и ведет себя там как заправский хозяин: гоняет людей, не жалея и себя. Ева не помнила отца незанятым; утром он вместе со всеми шел на фабрику и даже отбивал свой контрольный листок. Но это уже ненужное мальчишество! Поздно вечером, после работы, когда уходили даже те, кто оставался сверхурочно,— а сверхурочной работой в Улах сильно злоупотребляли,— когда уже было темно и в бухгалтерии и в лабораториях, в здании заводоуправления все еще светилось его окно. Это окно видно из виллы, где мачеха, недовольная мужем, ворча, одна ложится спать. А его телефонные авралы во втором часу ночи, когда ему вдруг приходила какая-нибудь новая техническая или организационная идея и он собирал на совещание весь руководящий персонал фабрики! Выкоукал, инженеры, управляющие, бухгалтеры никогда не были спокойны. Казмар мог вырвать их даже из объятий любовниц, они должны были быть всегда наготове. «Когда ты дашь себе покой?» — по-супружески пилила его мачеха. Отец смеялся: «В могиле отдохнем. Там належимся, даже надоест!» Когда удавалось ненадолго удержать его дома, он был внешне весел, но мыслями витал где-то далеко — домашние явно его не интересовали. Изобретательский зуд не оставлял Казмара в покое. Его поездки в поисках новых рынков сбыта отнюдь не были увеселительными прогулками. Он носил дешевые костюмы, ел простую пищу, не пил пива, не проводил время с друзьями. И не только из скупости или плохого характера,— просто его не тянуло к этому.

Личной жизни у него не было. Улы он поставил выше себя. Когда Ева еще училась в школе и с гордостью приносила ему свои отметки, он говорил своим глуховатым, сдавленным голосом, странным для такого гиганта: «Умница! Жаль, что ты не мальчишка!» Это было единственной и наивысшей похвалой. Позднее

она разочаровала отца, поступив на философский факультет, он хотел, чтобы она стала экономистом или инженером. «Принуждать тебя не буду, делай как знаешь,— сказал он ей наконец.— Но у нас на руках производство, и я считаю, что ты дезертируешь».

Нечистая совесть напомнила Еве эти слова сейчас, когда она сидела под опекой Розенштама и наблюдала, как тщедушный Колушек сражается с тщеславным оратором, как каждый из них поднимает своего, плакатного Казмара.

Левый оратор кричал о капиталистическом вампире, который сосет кровь из рабочих, а живой Казмар построил для рабочих образцовые озелененные поселки на американский лад, стадион, больницу, душевую, столовую, универмаг, наполненный музыкой и ароматами, Колушек превозносил благородного благодетеля, а живой Казмар изгонял людей из рая, который он сам для них создал. А она, Ева Казмарова, сидит тут, в укромном уголке, с выхоленными руками, в шубке, полученной от отца и оплаченной трудом рабочих, у входа ее ждет машина, купленная на те же средства, она даже не знает имен рабочих и смотрит здесь, как в театре, на стычку двух карликов, борющихся «за» и «против» Казмара-великана. Дезертир, мелькнуло у нее в голове слово отца, дезертир с обоих фронтов, твердила она себе.

По залу пронесся шепот, на трибуне возникло движение. Группа юношей в спортивных костюмах и несколько одетых в свитеры девушек независимого вида устремились к трибуне и стали там у стены, за спиной сидящих за столом и полицейского комиссара, что не разрешалось полицейскими правилами. Тоненькая секретарша встала с места и, подойдя к молодежи, уговаривала ее сойти в зал, чтобы из-за такого пустяка не закрыли митинг. Юноши, нахмурившись, возражали, потом неохотно покинули трибуну, оглядываясь на заднюю дверь и приветственно хлопая в ладоши. Не переставая рукоплескать, они сгрудились внизу, у трибуны.

— Вон там Гамза,— сказал Розенштам, и барышня Казмарова увидела, как на трибуну поднялся совсем обычный человек, с хорошей осанкой, свежим худощавым лицом и широко расставленными глазами. Он стал перед столиком и заговорил ровным голосом, негромко и очень отчетливо. Его слова казались зрительно ощутимыми.

— Прежде всего,— начал свою речь Гамза,— приветствую тех улецких рабочих, у которых хватило мужества прийти на этот митинг. (Франтек Антенна просиял.) Мы знаем, что в Улах это не пустяки, что это связано с риском потерять работу. Улам создана репутация некоего острова счастливых: рабочие там живут в лучших условиях, чем в других местах, больше зарабатывают,

занимают хорошие квартиры, покупают по более дешевым ценам. (Колушек внимательно слушал, нахмурив брови.) Глупо было бы опровергать все это и подтасовывать факты. Подтасовкой фактов ничего не добьешься. Лучше давайте разберемся во всем от начала до конца.

Две недели назад в прядильне был пожар. Сейчас там идет ремонт, и цех не работает. Часть прядильщиков, особенно мужчин, работает где придется, на ремонте, получая поденную плату. Казмар пообещал, что возьмет их на работу, когда переоборудованная прядильня снова вступит в строй. Но между тем сорок работниц уволено. Метать здесь громы и молнии против Казмара и взывать к его совести и чувству долга нет никакого смысла. Это было бы напрасной тратой времени. Он предприниматель, и у него свой расчет. Но у нас, товарищи, тоже должен быть свой расчет. А у нас его нет, и в этом наша ошибка, за которую поплатимся мы сами. Мне известно, товарищи, что большинство рабочих Казмара примирилось с этим увольнением, эти рабочие не заботятся об уволенных, не заступаются за товарищей, боясь повредить себе. Я не буду говорить громких фраз о том, что это предательство и позор. Скажу только — и вы передайте это им,— что при всей своей мнимой осторожности они преступно неосторожны. Уж если они не беспокоятся о товарищах, пусть вспомнят о самих себе. Каждого из них может завтра постигнуть та же участь. А что тогда? Кто вступится за них? Никто о них и не вспомнит.

Еще мальчиками, в школе, мы слышали предание о прутьях Сватоплука. Все вы его знаете. Эта мудрая аллегория актуальна и сейчас. И нам, товарищи, следовало бы призадуматься над ней. Помните вы, как княжичи, играючи, ломали отдельные прутья и как эти юные витязи, сколько ни силились, не могли сломать связку прутьев — коллектив? Хотел бы я знать,— воскликнул Гамза звенящим голосом,— что сделал бы Казмар, если бы десять тысяч его рабочих и учеников сегодня бросили работу в знак протеста против увольнения сорока человек! Пришлось бы ему призадуматься! Не так-то просто сразу найти десять тысяч рабочих или даже половину. Не так-то просто, поверьте мне! «Яфета» — коммерческое, активное предприятие, оно не держит товаров на складе, у него магазины, оно не может не расширяться, не может бездействовать, особенно сейчас, при выгодной конъюнктуре! Нет, вы сами не понимаете, как вы сильны!

— Господин комиссар, это подстрекательство! — пронзительным бабьим голосом крикнул Колушек.

— Вон! — раздалось несколько гневных голосов, и юноши в спортивных костюмах угрожающе двинулись на Колушека. Сек-

ретарша, спасая положение, бросилась к ним и ухватила заднего за рукав. Все взгляды были обращены на Колушека.

— Не надо, ребята,— с сожалением воскликнул Гамза.— Я хочу, чтобы мы поговорили по душам... Оставьте его в покое, пусть слушает, набирается ума.

Раздался смех. Колушек, оскорбленный и мрачный, остался сидеть неподвижно.

— Жалкое зрелище, товарищи, представляет собой маленький человек — бедняк и стяжатель,— продолжал Гамза,— жмется он со своей глиняной копилкой около золотого тельца и, присев на корточки, ждет, когда этот золотой телец его лягнет.

Крупный капиталист знает законы игры, он видит взаимосвязь явлений. Потребность в новых рынках сбыта или в дешевых источниках сырья он умеет замаскировать патриотическими фразами, ему известно, как связаны между собой биржа и война, акции военных концернов и судьба солдата. Он знает, каков реальный мир, и не обольщается сказками. Сказки существуют для взрослых детей, которые слушают их, раскрыв рот. Да, маленький, бедный, зависимый человек, накопивший несколько тысяч на книжке, как дитя, взирает с благоговением на богатство, которое он отождествляет с добродетелью. Он верный дворняга и сторож крупного капитала, пес своего хозяина. Он посажен на цепь, он выдрессирован, ему привита классовая психология хозяина, он лает на пролетария. И все-таки не будем возводить напраслину на пса: вымуштрованный пойнтер делает стойку и приносит охотнику дичь, однако он не мечтает надеть охотничью шляпу и перекинуть ружье через плечо, подражая хозяину. (Францек по-мальчишески рассмеялся, представив себе пса в таком наряде и одновременно Колушека.) Страшно, товарищи, видеть этих людей с чужими мозгами, эти жалкие карикатуры в одежде с барского плеча, этот лакейский идеал — стать хозяином и отплатить кельнерам за подзатыльники, которые он получал от них, будучи мальчишкой. Мелкий буржуа — опора старого мира. Он страж строя частной собственности, время которого на исходе.

Мы, товарищи, живем в переходную и одновременно в подготовительную эпоху, вы все знаете это по собственному опыту. Все мы — люди на перепутье. Одна война кончилась, другую все ждут. Это вооруженный мир. На Западе смеркается, на Востоке рассветает, нигде нет ясного дня. В Советской России победила в боях и сейчас побеждает в труде рабочая революция, на Западе эта революция зреет в умах.

— Ею сыт не будешь! — вставил Колушек.

— Не трогайте его! — крикнул Гамза участникам митинга, которые засвистели и затопали ногами на Колушека.— Говорят,

что только дети и юродивые могут сказать правду. Но мы с вами — взрослые люди и, я надеюсь, видим дальше своего носа. Дело обстоит так: или рабочие будут по-прежнему крохоборствовать, не станут смотреть вперед и заботиться о товарищах, будут гоняться за заработком, пока длится благоприятная конъюнктура, и позволят выкинуть себя на улицу, когда эта конъюнктура кончится,— а что она не вечна, вам скажет любой экономист,— и тогда они все равно придут в наш лагерь, но уже как надломленные и потерпевшие крушение люди; или они, стоя на перепутье, где мы все сейчас очутились, вовремя решат, куда идти.

Зачем ждать, когда вместо тех сорока уволенных, ради которых мы здесь сегодня собрались, несчастными и голодными станут миллионы? Зачем оставлять наше дело на произвол судьбы? Зачем бездействовать до тех пор, пока отчаяние не толкнет к действию?!

На нашей прекрасной земле хватит благ для всех: хлеба, вина, гидроэнергии, железа, хлопка, нефти — всего, чем жив человек, из чего делаются машины, чем они приводятся в действие. Хватит для всех народов мира. Не подумайте, что это моя фантазия,— об этом говорят точные статистические данные, и было бы полезно, чтобы все вы узнали об этом и рассказали товарищам. Мы не унылая армия неудачников и отщепенцев, как нас любят изображать мещане. Мы любим земную жизнь и не верим в загробную, мы хотим равных прав под солнцем для всех трудящихся мира. Кто молод летами или сердцем, у кого в жилах течет кровь, а не вода, у кого ясная голова и крепкие руки — идите к нам!

Ева Казмарова чувствовала себя наэлектризованной. Она перестала быть созерцающей туристкой, защищать в душе отца, разбирать его спор с рабочими, заниматься самоанализом, обвинять себя, стыдиться... Она слушала так, словно то, о чем говорил собравшимся теплый мужской голос, уже было воздвигнуто, словно не существовало ни уволенных прядильщиц, ни обожженного Горынека, ни соглядатая Колушека, словно она сама была прекрасной и смелой женщиной, которую любит Розенштам. Она учащенно дышала и ощущала странную гордость, будто это она говорила собравшимся и будто она стояла вместе со всеми, взявшись за руки, через которые проходит ток. И когда Гамза умолк, она бешено захлопала, вкладывая в эти аплодисменты все накопившиеся в ней силы, испытывая тот же восторг, что испытывал Францек Антенна.

— Вот это сказал! — сам не замечая, вслух твердил Францек и хлопал так, что у него горели ладони.— Молодец!

Галачиха, думая о том, что брат рассердится на нее за опоздание, торопилась на поезд. Она была ошеломлена и говорила женщинам:

— Мы этого не понимаем, наша забота — было бы чем жить. А отстаивать идею — на это нужно образование.

— Хорошо говорил,— заметил насмешник Розенштам.— Немного общо, но красиво. Жаль только, что улецкие текстильщики, к которым он обращался, его не слышали, а собравшиеся здесь драховские металлисты и без того сознательны.

Уже по дороге домой Ева, боясь, что пройдет этот чудесный момент, когда она не стыдится и не смотрит на себя со стороны, сказала срывающимся голосом, словно задыхаясь от бега:

— Розенштам... вы удивлялись, что я сижу в Улах и никуда не еду. Вы ведь отлично знаете, ради кого я так поступаю.

Розенштам помолчал немного.

— Знаю,— ответил он с неожиданной для Евы прямотой.— Я вас очень люблю как человека. От души хотел бы, чтобы вы были счастливы.

Барышня Казмарова минуту сидела неподвижно, затаив дыхание. Слышался лишь шум мотора и шуршанье гравия под колесами автомашины. Потом она сказала:

— Но вы на меня не сердитесь? — сняла очки и горько расплакалась.

ПЕРВОЕ МАЯ

Накануне Первого мая в Улах кончали работу в четыре часа. Машины останавливались, и в цехах звучали голоса, шаги, шум уборки, молотки плотников.

Заступничество барышни Казмаровой за уволенных работниц, разумеется, не помогло. Выкоукал был очень польщен ее визитом. Прекрасное, доброе женское сердце! Да, да, доброе сердце украшает женщину, как настоящая драгоценность. Выкоукал полностью понимает мадемуазель Казмарову — он поцеловал ей руки — и уважает ее благородные побуждения. Но, к сожалению, мы не вправе так поступать... Пусть барышня спросит хотя бы у папаши, когда он вернется! Мы сейчас теряем наши дунайские рынки сбыта, итальянские фирмы производят как одержимые, они вытесняют нас из Румынии, Венгрии и Югославии. Ох, уж эта наша пагубная таможенная политика! Выкоукал разгорячился и начал метать громы против аграрной партии. А о том, что японцы, переняв все *наши* методы, создали в Осаке фирму по производству и продаже европейской одежды, мадемуазель уже слышала?.. Не слышала? Эти желтокожие, при их уровне зарплаты и

применении детского труда, моментально вытеснят с мирового рынка английский текстиль, а о нашем и говорить нечего.

Обезоруженная и уличенная в наивности, барышня Казмарова умолкла. Ее заступничество помогло прядильщицам не больше, чем подпольная агитация Францека Антенны в казмаровской твердыне, где никто не хотел ввязываться в безнадежное дело. И прядильщицы, помалкивая, взялись за то, что им пока предложили у Казмара: мыть и убирать к Первому мая, подметать опилки и т. д.

На фабрике рабочие таскали по лестницам длинные прогибавшиеся доски и сбивали в цехах грубые столы для праздничного обеда, которым фабричное управление угостит рабочих и их гостей. Хозяин придает большое значение солидарности в этот день и покажет себя. Его ферма в Широком уже прислала фабрике вагон поросят, подводу муки, цистерну молока, ящик яиц, кадку капусты, мешок маку. Поварихи из рабочей столовой всю ночь не сомкнули глаз. Плотники спешили соорудить ораторские трибуны, сиденья для почетных гостей, танцевальные площадки под открытым небом, «раковину» для оркестра, киоски для продажи лимонада и бог весть что еще. На пустыре между школами и фабрикой разбили свои палатки мелкие торговцы, которые ежегодно появляются здесь в этот день. Цирк раскинул свои шатры. Уже прибыл ярко размалеванный музыкальный фургон, из которого загремит музыка для всех каруселей, качелей и катальных горок. И в этом деле была введена рационализация. Бесплатное казмаровское кино будет работать с утра до вечера.

Когда была готова трибуна, Колушек взобрался на нее и изо всех сил стал топать ногами, пробуя крепость настила.

— А выдержит она нас?

— Что ж, вы нам не доверяете? — смеялись плотники.

Колушек, заведовавший отделом рекламы и везде поспевавший, незаменимый работник, приготовил программу первомайских празднеств; дел у него было по горло. Ему велели быть осторожным, не отпугивать рабочих и, как говорится, создать бодрое настроение. Пусть организует массовое празднование Первого мая, но такое, чтобы оно не походило на социалистический Первомай, а было прославлением Хозяина. Короче говоря, чтобы и волки были сыты, и овцы целы. Попробуйте-ка сами исполнить этот танец на проволоке! Не позавидовали бы мы Колушеку! Когда молодые рабочие избрали своим оратором Францека Антенну, Колушек забеспокоился. Внешне, однако, он сохранил «английскую» невозмутимость, и его пробор оставался безупречным.

— Вы хотите выступить у нас на митинге? — подняв брови, сказал он своим писклявым голосом, в упор глядя на Францека.—

Я вас знаю и помню, где мы встретились в последний раз,— продолжал Колушек, намекая на митинг в Драхове, и потребовал, чтобы молодой оратор не позже определенного срока представил ему написанный текст речи. А там посмотрим. Речь можно будет выбросить в корзину и найти оратора поблагонадежнее.

Но Францек Антенна удивил Колушека: он принес такую красивую и разумную речь, в которой превозносил труд в духе идей Хозяина, что она сделала бы честь самому Колушеку. «Грешно не разрешить такую речь — яркое доказательство того, как Улы перевоспитывают людей»,— решил Колушек. Комиссия, которой он представил речь Францека, тоже одобрила ее полностью, не обнаружив в ней ни одного неуместного слова. Речь включили в программу, и Лидке с Ондржеем уже не терпелось услышать, как будет ораторствовать Францек. Мачты для флагов, срубленные только вчера, еще роняли смолу и пахли лесом. Всюду была разбросана хвоя, и в Улах пахло, как на лесопилке. Ондржей глубоко вдыхал этот крепкий запах. Побездельничав в больнице, Ондржей чувствовал себя отлично. Горынек с незажившей ногой пока еще оставался там, но и он уже ездил в механической коляске, и врач сулил ему полное выздоровление. Таким образом, все складывалось хорошо, Ондржей ждал славного дня, когда... Но об этом вы еще узнаете.

Древко флага поскрипывало под крышей казмаровского молодежного общежития, с фасада которого свешивались трехцветные полотнища. Все в общежитии еще спали, а Ондржей уже подошел к окну посмотреть, какая будет погода. Рассветало, по чисто выметенному тротуару вдоль свежевыкрашенного забора шел подросток с парой новых ботинок под мышкой. На горах лежал туман, ветер гнал по небу облака.

Ондржей пошел встретить сестру к утреннему пражскому поезду и разминулся бы с ней в толкотне, если бы она не окликнула его. Ружену было не узнать. Когда она поцеловала его, он покраснел, как будто это была незнакомая девушка.

Он стал расспрашивать ее о матери, а она все время твердила:

— Ну, что ты делаешь, как тебе живется? — И, не давая ему сказать ни слова, сама болтала обо всем, что приходило ей в голову. Они давно не виделись и стеснялись друг друга.

Неужели это та самая Руженка, помнившая, как и он, героя-отца, и Гарика, и Тонду Штястных, которому оторвало палец? Босоногая девчонка с косичкой! Сколько раз тузил он ее за то, что она при игре в прятки выдавала его убежище! Старшая сестра, которая зовет обедать и портит всю игру... да что говорить — девчонка! Сейчас он взял из ее рук чемоданчик и шел слева. Оба

смеялись, возбужденные первыми минутами встречи. Чего не сделает время! Это же Ружена, с которой они ездили на рождество в Нехлебы! А почему она излучает заразительное беспокойство? Вот она приехала, приехала из тех краев, что для Ондржея уже ушли на дно морское, и ему вновь вспоминается период его жизни, отмеченный образом пани Гамзовой. Но почему Ружена так суетлива, почему она уверяет, что ей живется отлично, и словно играет какую-то роль? Пока они с сестрой росли в одном гнезде, она была привычной, как воздух, Ондржей даже не замечал ее. Был ли он тогда слеп, или она так расцвела теперь?

Ему казалась незнакомой эта молодая женщина, его сестра, которую он сейчас с некоторой опаской вел по улецкому асфальту. Радуясь тому, что Улы так велики и замечательны, он с нарочитой небрежностью показывал ей стандартные коробки домов, и небоскреб, и всю эту «Америку». У Ружены были греховные глаза, бархатный голос и уверенные движения. Она была красива утонченной красотой городских женщин, и, наверное, кое-что притупилось в ее душе, прежде чем она усвоила этот стандартный облик модной, изящной девушки двадцатого века. Ондржей гордился сестрой, но его смущала мысль, как она себя будет чувствовать на обеде в цехе, рядом с Лидушкой и Галачихой, на которых Ружена так непохожа. Итак, эта новая замечательная Ружена, красавица с серебристыми волосами, увидит и услышит то, что произойдет с Ондржеем сегодня, и расскажет об этом дома. Ружена показывала себя. Ондржей показывал ей Улы. Оба кое-чего добились за это время.

Взошло солнце, и Улы хвастливо засияли. На всем пути от площади и вокзала к фабрикам, как триумфальная арка, тянулись полотнища с кричащими казмаровскими лозунгами. Флаги развевались на ветру и хлопали, как паруса. Целая флотилия флагов! Да здравствуют Улы! Славен был город возлюбленного Ружены, но сердце ее болело, ибо Карела не было с ней.

Когда Ружена объявила, что она поедет на Первое мая в Улы, Карел Выкоукал, придав серьезное выражение своему красивому лицу, стал отговаривать ее от этой поездки. Во-первых, она устанет. Ночь на дорогу туда да ночь на дорогу обратно, а утром на работу в парикмахерскую. «Девочка, праздник того не стоит!» Ну к чему ей Улы? Пусть только не уверяет, что ее интересуют фабрики! Кстати, в праздник они не работают. Она себе и не представляет, какая скучища этакие празднества: речи, толкотня, опять речи. Стоишь несколько часов на ногах, да еще, чего доброго, дождь пойдет, ох уж эти казмаровские торжества, верь искушенному человеку!

«Но мне так хочется посмотреть Улы, с которыми у тебя связано столько воспоминаний. Я их знаю лучше, чем ты сам. Мне хотелось бы увидеть улецкий стадион, где ты победил в соревнованиях по бегу и получил приз бронзового рыцаря, что стоит вон там, на книжном шкафу... помнишь, однажды он чуть не упал на нас в минуты любовных утех? Я увидела бы школу, куда ты ходил без шапки и так красиво остриженный... как английский принц с журнальной картинки! Почему ты мне до сих пор не дал той фотографии, где снят мальчиком? Я прошла бы мимо ограды виллы, где вы живете, и посмотрела бы в окна,— очень интересно хоть издалека увидеть твоих отца и мать. Не бойся, я бы к ним не зашла, я знаю свое место...» Так думала Ружена. Но вслух она сказала только:

— У меня там брат. Он меня пригласил. Думаешь, мне не стоит ехать?

— Что касается меня,— заключил Карел Выкоукал ровным голосом, хотя внутри у него все кипело,— я не поехал бы в Улы, даже если бы мне не нужно было, как я уже тебе говорил, ехать на эти дни в Берлин.

Настала неприятная пауза. Ружена склонила голову — ей привычен стал теперь этот жест — и прекратила разговор об Улах. Больше она ему ничего не говорила, поехала сюда одна и вышла из вокзала со смутным сознанием того, что вступает в запретную зону.

Такова власть мужчины даже на расстоянии!

Ондржей условился с Руженой, где они встретятся после демонстрации, и девушка, тоскуя по возлюбленному, исчезла в толпе.

Сколько здесь было народа! Из всех деревень, и со стороны Драхова и от Заторжанки, в Улы тянулись участники праздника, собираясь на бетонированном казмаровском шоссе. Издалека было видно, как люди идут от горных хуторов, по тропинкам спускаются вниз. Словно капельки ртути сбегаются, образуя широкую цельную гладь. Демонстранты стекались со всех сторон. Знакомые, расселившись по поселкам, давно уже потеряли друг друга из виду, но они встречаются Первого мая, всплескивают руками, удивляются, как выросли дети — их просто не узнать,— рассказывают об общих знакомых, о свадьбах, похоронах и крестинах, о покупке земли, о теще в больнице и удивляются, как быстро летит время.

За два часа до начала шествия гости занимают места, чтобы видеть, как пойдут их Евичка и Штепан, их дочери, зятья, племянники,— как много окрестных селений связано с фабриками Казмара! Долгонько пришлось гостям постоять в толчее. Особенно нетерпеливо толкались старухи, у которых в шествии нет

никого из своих: они не слушали вещаний и грозили прорвать ряды. Иначе оно и не бывает.

А сколько было автомобилей! Хотела бы я получить столько денег, сколько потрачено в этот день на бензин. Улецкие автобусы ездили по самой середине шоссе и не успевали перевозить людей, хотя каждый раз прибывали, облепленные пассажирами. На крыше украшенных флажками автобусов сидели мальчишки, держась за вентилятор. «Проклятье, осторожно, здесь дети... Бабуся, вам сходить... передайте-ка сюда ее зонтик. Еще два шага — и вы на месте... Не стоит, не стоит! И мы когда-нибудь состаримся...»

Машина разворачивается и едет обратно, в новый рейс. Грузовые машины, которые в будни возят мешки и бочки, сейчас выгружали солдат и девушек. Мотоциклы с колясками, круто поворачивая, въезжают на стоянку. Мотоциклист в кожаном костюме запирает руль своей машины, а его спутница оправляет помятое платье. А вот семейное авто, этакое гнездо на колесах, привезло целый выводок детей! Приезжали машины, сохранившиеся с тех времен, когда на автомобиль сбегались смотреть зеваки. Это были древности вроде саней Наполеона. Тормоза скрипят, машина чуть не переворачивается, когда из нее выходит солидная мамаша, слегка ошеломленная ездой,— но это ничего: главное, благополучно доехали. Слышен напевный улецкий говорок, в нем есть что-то убаюкивающее, простодушное. Светит солнышко, и настроение приподнятое.

Ровно в восемь на трибуну поднялся Хозяин с супругой, на которую обратились взоры всех женщин, и невзрачная барышня Казмарова, совершенно померкшая рядом с мачехой; шествие замыкал штаб Казмара. Хозяин выглядел, как всегда, словно он явился по вызову автоматического сигнала и только перешел по мостику из одного корпуса в другой: без шляпы, в бумажном костюме из магазина «Яфета», гигант, пастор, «американец» и пионер из «Хижины дяди Тома». Те, кто еще никогда не видел Хозяина, узнавали его по фотографиям. Он уже при жизни был окутан ореолом славы. Казмар стоял на трибуне, а вокруг господа казмаровской складки. Многих из них мы еще не знаем; так, мы не имели удовольствия познакомиться с техническим директором паном Ярковаским, налоговым консультантом доктором всяческих прав Фихтом, выдающимся инженером-химиком Ежем и главным врачом улецкой больницы Рыбой. Я упомянула лишь несколько имен. Мы не говорили с ними, но уже видим, что все они скроены на казмаровский лад, у всех казмаровски самоуверенный вид, и Хозяина они копируют вплоть до блокнота и вечного пера в нагрудном кармане. Но ограничимся лишь старыми знакомыми, иначе наше повествование зайдет бог весть куда. Колушек — нужный

человек в течение всего года — в день Первого мая просто незаменим. Выпятив грудь, он ходит такой важный, что становится жалко его за малый рост. Он пыжится, копируя выражение лица Хозяина, но получается ненатуральное преувеличение, вроде как в зеркальце для бритья; на плоской физиономии Колушека бодрое спокойствие Казмара отражалось примерно так, как сверкающий клинок отражается в луже. Как ни старайся, мартышка, не получится из тебя мужчины!

Директор Выкоукал генеральским оком оглядывает свою армию, он сегодня не в духе: что-то испортило ему настроение, видимо, чисто личные дела — директора огорчает сын, но до этого никому нет дела.

Только зябкий, как все южане, Розенштам просто неприлично выпадает из общей картины: ему холодно; он надел пальто, закутал подбородок в шарф, его подвижное смуглое лицо выражает доброжелательство и скепсис по отношению ко всем, он мягко улыбается тонкими хитрыми губами и морщит лоб.

Общество стоит на помосте и, весело щурясь от солнца, рассматривает толпу. Ветер шевелит волосы мужчин. Барышня Казмарова разговаривает с гостями из Праги. Мы уже знаем кое-кого из них. Вот этой красивой девушке, одетой с простотой, которая стоит тысячи, мы когда-то аплодировали в давно закрывшемся «Ред-баре». Она высмеивала модные тогда апашские танцы, пародируя танго с кинжалом. Сегодня она со своим ансамблем исполнит на заторжанской лужайке «танец труда»; директора Выкоукала уже давно не удивляют хореографические увлечения дочерей металлозаводчиков. Время, время!

Семь лет не коснулись акробатической танцовщицы, она так же красива и так же холодна, как и раньше, в ней ничто не изменилось, кроме фамилии: Мария Далешова вышла замуж. Но хоть убейте, я не могу среди двух ее спутников отличить мужа от брата; оба они, долговязые молодые люди в обуви ручной работы, из тех, кто с бесподобной непринужденностью держится на приемах в иностранных посольствах и знает, что после спаржи нужно обмакнуть кончики пальцев в миску с теплой водой. Они поддерживают наше реноме в международных светских кругах, и сознание этой миссии заметно в каждом их движении. По-чешски они говорят немного медленнее, чем остальные смертные, и слегка в нос, смакуя свое произношение. Они ходят на спортивные соревнования, обедают в Автоклубе, посещают закрытые ночные кинопремьеры и появляются в «Кафе художников». Они на дружеской ноге с кабацкими завсегдатаями из числа бывших аристократов и на «ты» с молодыми опереточными актерами. Злые языки говорят, что их чувства к этим актерам заходят дальше, чем позволяет

закон. Но не бойтесь за них: это не врожденная склонность, это лишь сезонное явление; сократовская любовь была в то время модна в Западной Европе.

Пражские гости приехали еще вчера, и молодой Далеш, брат танцовщицы, не отходит от барышни Казмаровой, развлекая ее с очаровательностью, прямо пропорциональной его долгам. Маленькая девушка в очках, этот нахохлившийся меланхолик, отвечает ему рассеянно, как отъезжающий на перроне. Она чудачка. Эта невеста с миллионами послала вчера в министерство просвещения ходатайство о предоставлении ей места учительницы. А в ящике письменного стола у нее уже лежит билет на заокеанское путешествие, в котором она пробудет до тех пор, пока решится вопрос в министерстве. Мыслями она уже далеко, земля Ул жжет ей подошвы. Ручаюсь, что сегодня она надела темные очки не столько от солнца, сколько для того, чтобы укрыться от назойливых взглядов.

Кинооператоры поворачивают свои аппараты, как пулеметчики пулеметы, и снимают Колушека, который, поджав губы, провожает к почетному месту турецкого консула. В процессии понесут и флаг с полумесяцем: Анкара — крупный покупатель «Яфеты». Первомайские празднества у Казмара носят международный характер. Обозревательница мод, знакомая нам еще по «Ред-бару», ныне прибывшая сюда от газеты «Народный страж», отмечает в блокноте, что среди гостей немало дипломатов, в том числе из скандинавских стран и Южной Америки.

Нет, Ружена уже не жалела, что поехала в Улы, несмотря на то, что ей в толкотне оттоптали новые туфли. Она во все глаза смотрела, как сходятся и приветствуют друг друга именитые гости. Что интересного в шествии? Ничего! Одни работницы в платочках, на них она насмотрелась еще девчонкой. Вот на трибуне — это настоящее общество. Бывалые люди называли имена и звания приходивших гостей, Ружена их хорошо видела, не надо было даже подниматься на цыпочки. Она рослая девушка и смотрит через головы плебеев, в толпу которых она попала только по недоразумению. Если есть справедливость на свете, Ружена, с ее красивыми бедрами и рельефным бюстом, перейдет дорогу и поднимется по нескольким ступенькам, отделяющим ее от старого Выкоукала. У него такой грозный вид! Но она бы пересилила робость. А почему бы и нет? Все фильмы, на которых она бывала с Карелом, все любовные истории на экране кончались свадьбами. Бедная девушка переносит много невзгод, но наконец все выясняется, любовь побеждает, красивый сын миллионера и продавщица фиалок сочетаются браком, конец венчает дело.

Вон ту даму, маленькую, как девочка,— одни глаза,— Ружена где-то видела. Дама пришла с пожилым надутым толстяком, к ним подсела жена Казмара и очень любезно разговаривает с маленькой дамой. Да ведь это актриса Тихая из Большого театра, ей-богу, это она! Она вчера тут выступала, у вокзала еще висит афиша. Как она похудела, половина осталась. И постарела. Уж не седеет ли? У нее были пышные волосы, полные электричества: всегда в гребенке трещали искры. Это была клиентка Ружены, дама любила ее и приносила парикмахершам конфеты, а однажды, под рождество, предсказала ученице удачу. Великолепная актриса! Неужели этот невзрачный старикан ее муж? Ну и влипла, бедняжка! Хорош любящий супруг, который даже не подарил ей чернобурку к весеннему костюму! Вид у нее как у учительницы, а не как у дамы со сцены. И не важничает, все такая же милая, сразу видно. И где у тебя были глаза, зачем вышла замуж за такого противного урода!

Началось шествие.

Впереди, по традиции,— дети, четырехлетние девчушки с голыми плечиками; когда смотришь на них, даже становится холодно, матери согревают их взглядами. Затем идут школы, учитель в черном костюме шагает сбоку и ровняет ряды. Скауты с видом метателей лассо времен молодого Фербенкса. Музыканты в народных костюмах. Это марширует и трубит само первомайское солнце. В серебристом воздухе плещутся флаги. По ним издалека видно извивающуюся змею шествия. Мальчики идут и идут, один за другим, все выше и выше ростом, живая диаграмма поколений. Как хорошо они выглядят!

— Да здравствует молодежь Казмара! — выкрикивает Колушек. Хозяин и Выкоукал машут руками.

Девочкам не идет форма казмаровской молодежи, каждая из них по-своему хороша, каждая кругла на свой манер, и все существо их протестует против ранжира. Каждая найдет себе мужа, родит ребенка, устроит свой очаг. Тщетно в школе им вбивают в голову казмаровский дух. Только и слышно: то одна, то другая сбегает из общежития. Нет, из девушек не выйдет армии.

Теперь повалили рабочие. Живой поток из двадцати пяти корпусов льется по руслу улицы, как полноводная река. Армия труда, которая каждое утро проходит в фабричные ворота, становится к машинам и шьет для нескольких миллионов человек на земном шаре. Цех шел за цехом, по порядку, начиная с колонны энергетиков и котельной. Их немного, но они важны.

— Ура черным пекарям! — кричит Колушек.— Не затопишь, не поедешь!

Хозяин и его свита машут проходящим.

— Крутись, турбина!

— Гуди, динамо!

— Сияй, электростанция!

Прядильщики везут на повозке громадную, как цеппелин, шпульку, ткачи едут в бутафорском челноке.

Но не все было бутафорское: ребята из шестнадцатого цеха сняли с машин два навоя и несли их на плечах, попарно. Вот это было здорово!

Шествие на минуту прервалось, и незаметная прежде парочка воспользовалась этим, чтобы перейти на другую сторону, к трибуне. Какой-то остряк из колонны обернулся, взглянул на них и воскликнул: «Держи их за хвост!»

Распорядитель бегает вдоль процессии, как овчарка вокруг стада.

Идут сучильщики и протяжчицы, чесальщики и прядильщицы, наладчики и подносчики, чертежники и девушки из модельной, картонажники, аппретурщики и гладильщики. Идут рабочие по разборке хлопка и отходов, мастера искусственного шелка, подсобная рабочая сила,— все, кто может идти, идут, а Горынека, который еще не стоит на ногах, везет в колясочке его жена.

Галачиха чуть было не осталась дома, ее обидел мастер Лехора. У них была стычка из-за митинга в Драхове. Мастер вызвал ее для объяснений. Мне, говорит, известно, где вы были вечером в субботу: у большевиков. Есть у вас голова на плечах? Чтобы этого больше не было, такие дела могут плохо кончиться. Я не намерен из-за вас сломать себе шею, я отвечаю за цех. Знаете ведь, какие у нас порядки, вот к ним и приноравливайтесь. Вы уже не маленькая, пора иметь голову на плечах.

— И не девчонка, чтобы меня поучать! — отрезала Галачиха.— Работаю честно, а до остального никому нет дела.

— Да я для вашего же блага,— говорит мастер.

— Я здесь работаю подольше вас,— отвечает ему Галачиха,— и если потребуется, дойду до самого Хозяина и все ему выложу.

Мастер только засмеялся.

— Бегите, попробуйте, если вам охота нажить неприятности.

Галачиха дома поплакала — характер у нее был чувствительнее, чем она признавалась,— и решила не идти на демонстрацию с цехом, который поведет Лехора. Уговоров брата она и слушать не хотела, только Ондржей ее урезонил. Но на обед в цех она ни за что не пойдет, не станет унижаться из-за жратвы.

— Привет труженикам стана! — кричит ткачам Колушек; Хозяин и его свита машут.— Да здравствует синяя кровь! — Это

относится к красильщикам. Францек ухмыльнулся Колушеку из рядов. Через несколько минут он выступит на трибуне с речью.

Колушек неистощим в шутливых приветствиях и прибаутках.

— Печатники, печатайте шаг! — вопит он.— Тряпичникам ура! (Это бумажникам.) Да здравствует шелк без гусениц! Ребята, тяните лапшу, да здравствует вискоза!

А где же мастер Тира, бедняга Тира из тринадцатого цеха, который ненавидит искусственный шелк и у которого в цехе сгорели старые машины? Он помешался, и его свезли в сумасшедший дом, вслед за несчастным Мишкержиком, которого несправедливо подозревали в поджоге. Так Тира никогда и не вышел оттуда.

А люди идут, идут и идут, шествию не видно конца.

Вот повозка швейников, на ней манекен без головы, расчерченный мелками закройщиков. Машина вся обвешана ножами и шаблонами. По этим шаблонам закройщики вырезают части костюма, как хозяйки печенье из теста.

Швеи везли громадный наперсток и ножницы, похожие на взмахнувшую ногой балерину.

— Слава портным, ура! Платье делает человека! Да здравствуют красавицы швеи! Беги, конвейер! Да здравствует «Яфета»! Ура, ура, ура!

Шли горцы и жители долин, кое-где мелькали красивые смуглые лица цыган. Шли девушки в платочках и барышни в беретах, шли пожилые женщины в монашеских платках — девы Марии и святые Людмилы. Все от Казмара, все от «Яфеты». С экспортным отделом появились чужеземные лица, и Колушек прямо-таки исходил восторгом.

— Ура, словаки! — орал он.— Живили, хорваты! [1] «Шумит Марица!» [2] Vive la France! [3] Многая лета! Skol! [4]

Возможно, я переоцениваю Колушека, но мне кажется, он кричал даже по-турецки и уже совершенно охрип.

Ондржей шел с рабочими своего ткацкого шестнадцатого цеха. Это была честь, так как по возрасту ему полагалось идти с молодежью Казмара.

Они шли по мостовой, десять человек в ряд, вытеснив автомобили, от которых ты, пешеход, в другое время шарахаешься. Дома, которые с середины улицы, через головы идущих, видны только наполовину, превратились в какой-то нереальный, узкий и длинный ряд косых окон. Из одного окна, подперев головы руками, смотрели молодожены в неглиже, из другого выглядывала горнич-

[1] Да здравствуют хорваты! *(сербскохорв.)*
[2] «Шумит Марица!» — старый болгарский гимн.
[3] Да здравствует Франция! *(франц.)*
[4] Ваше здоровье! *(норв.)*

ная с метелочкой из разноцветных перьев в руках, а в третьем виднелась старушка с ребенком, стоявшим на подоконнике около клетки с канарейкой. По сравнению с рабочей демонстрацией эти люди казались неживыми и неестественными, как манекены. Здесь были два мира — те, что смотрели, и те, что шли.

Ондржей шел по руслу улицы, прикрытый, окруженный, уносимый массой, под разноцветными отблесками флагов; он был весь захвачен этим движением. Ноги идут, ноги идут, ноги несут тебя сами. Мы — это мы, мы — это мы, и никому нас не одолеть, когда нас столько. Мы правы, когда мы вместе. Дух коллектива физически ощутим, как музыка, он входит в кровь. Под звуки марша нельзя идти не в ногу. Общий поток захватывает тебя и увлекает помимо твоей воли. А ведь это был всего-навсего майский парад фабрик, послушных Казмару! Ондржей был неискушен, как девушка, и не заглядывал в будущее. Мы — это мы. Мы — это мы. Мы — это «Яфета». Мы все за одного и один за всех. Телом и душой Ондржей был казмаровец.

Цех за цехом подходил к трибуне. От каждого из них отделялись заранее назначенные рабочий и работница и, став рядом перед трибуной, с минутку переминались с ноги на ногу. Фабричное управление выбрало рослых парней и самых красивых девушек для поздравления Хозяина с праздником. Их одели в платье от «Яфеты» последнего фасона, так что вся эта процедура была одновременно чем-то вроде весенней выставки мод. Парочка подходила к трибуне. Колушек подталкивал их на ступеньку перед Казмаром, как сват, который ведет к алтарю жениха и невесту. Парень стаскивал шапку, девушка клапялась. Казмар пожимал рабочим руки и принимал от девушек дары: моток пряжи или кусок ткани, предмет одежды или вязаный из сипельки платок. Он не ленился бог весть в какой раз вынимать из футляра очки в проволочной оправе, какие носят пасторы. Подарок он осматривал сверху и снизу, выворачивал его, мял материю, проводил ногтем по шву и в заключение отдавал Колушеку, кивнув в знак благодарности представителям цеха. Колушек клал подарок на покрытый флагом помост и поторапливал парочку, выполнившую свою задачу, поскорей освободить трибуну. Обряд подношений Хозяину повторялся по мере того, как цех проходил за цехом; операторы накручивали вовсю.

Ондржея и Лидку назначили поздравлять Хозяина от имени шестнадцатого цеха. Они остановились на нижней ступеньке трибуны, и когда Казмар стоял над ними у столика, заглядывая в список, было похоже, что он венчает парочку. Подруги потом дразнили Лидку, что это похоже было на свадьбу, а Лидка только смеялась. Ну и слава богу, если так!

Ружена с насмешливым интересом смотрела, как ведет себя Ондржей на глазах у всех. Подавленный важностью своей миссии, он запнулся о ступеньку и выглядел, бедняга, несколько нескладно в своем праздничном наглаженном костюме; маникюрши из мужского салона разбираются в этом, уж будьте покойны!

Тем временем по боковой лесенке на трибуну вошла юная пара. Наверное, молодые люди проспали. Их было отовсюду хорошо видно: гибкая девушка и молодой человек, оба веселые, легкие, с какой-то заговорщической повадкой. Невозмутимый директор Выкоукал, увидев их, сердито пошевелился. Прежде чем сесть, они остановились и огляделись. Ружене кровь бросилась в голову. Героиня старых времен наверняка упала бы в обморок. Но девушки двадцатого века покрепче, чем благородные сиротки-бесприданницы былых времен, и Ружена уже давно приучила себя не подавать виду, когда у нее на работе кружилась голова. Она стояла в толпе, как бравый солдат, не зашаталась и не побледнела под румянами, видя, как Карел Выкоукал садится рядом с девушкой. (Так вот причина того, что он отговаривал Ружену ехать в Улы,— Елена Гамзова!)

И хотя Ружена не видела Елену с тех пор, как семья Гамзы переехала с Жижкова в пригород, она сразу же узнала ее. И тотчас поняла, почему она всегда терпеть не могла Елену. Ее неторопливая походка и манера держаться, спокойная осанка здорового и уверенного в себе человека, ее веселая рассудительность и презрение к панике — все это с детских лет унижало Ружену. Еще когда Ружена, как глупая девчонка, бегала за Неллой Гамзовой, Елена мешала ей просто тем, что существовала. А сейчас она сидела тут с возлюбленным Ружены, и его лицо было веселым и влюбленным.

Ружене захотелось убежать. Выбраться из толпы, подняв руки, как актриса на сцене, остановиться на дороге, разделявшей ее и трибуну, дико закричать, чтобы все увидели, грохнуться оземь и ничего больше не слышать.

Но этого не случилось. Красотка, с личиком идола, густыми ресницами и зрачками, увеличенными каплями «Цветок любви», сохраняла очаровательную «американскую» улыбку, какой учат девушек владельцы магазинов и светские обозревательницы, и твердо стояла в колыхавшейся толпе.

Есть грубые, язвительные и позорные слова: «брошенная девушка». «Брошенная девушка»!.. Толпа окружала Ружену, как полая вода, и волны качали ее, как утопленницу.

На пространстве перед трибуной все зашевелилось и зашумело, люди смешались, заговорили. В толпе вспыхивали возгласы и смех. Шествие кончилось. Рабочие собирались на митинг. Продав-

щицы казмаровских газет проталкивались в давке. Сосисочник, традиционная фигура всех народных сборищ, поднял нос от своих сосисок и навострил уши. Остановился старый коробейник, который с корзиной на лямке тоже является на все праздники. На шляпе у него был букетик, на животе — корзина, в которой на стеклянных бусах играло солнце. Стоявшие сзади, заметив, что лица передних обращены к трибуне, поняли, что начался митинг, и замолкли.

В свежем воздухе над головами толпы разносился назойливый лай, словно в соседней деревне брехал пес. Но это был судорожно повышенный человеческий голос. Скоро оратор нашел более правильную интонацию, без взвизгиваний и высоких нот, подобных скрипу мела по доске. Теперь слова, усиленные громкоговорителем, стали вполне отчетливы: Колушек читал сообщение администрации о работе за прошлый год. Он с похвалой называл рекордные показатели передовых цехов и упоминал о достопримечательных событиях, отмеченных за это время в Улах. И вот настал долгожданный момент. Имеющий уши да слышит: Урбан Ондржей, воспитанник пансионата молодежи, уже образцово работающий на двух ткацких станках в цехе номер шестнадцать, проявил незаурядное мужество во время пожара прядильни, помог спасти склад, за что управление предприятий Казмара публично выражает ему благодарность. Здесь сейчас больше ста тысяч человек, и все слышали! На трибуне около оратора поставлен волшебный кружок — микрофон, и имя Ондржея разнеслось по всему миру.

Ондржей стоял навытяжку рядом с Лидкой и хмурился. Из ложной скромности, а отчасти и подлинного смущения он избегал смотреть на товарищей и глядел куда-то в пространство. Перед его глазами распахнулся солнечный купол небосвода, рядом колыхалось море голов. Ондржей прислушивался к голосу из репродуктора, который действовал на него охмеляюще, как вино или любовь. Когда прозвучало его имя, он, бедняжка, почувствовал себя на седьмом небе. Улы смотрят на тебя, Ондржей!

Но момент высшего напряжения прошел. Колушек уже произносил другие имена, и Ондржей снова смог глядеть на приятелей и на простых смертных. Галачиха, его фабричная мама, стояла с женщинами. Она не держала ни ножа, ни иглы, на руках у нее не было даже кого-нибудь из племянников, и поэтому она чувствовала себя как-то неуверенно. Лицо ее, будто вырезанное из дерева, поразило Ондржея какой-то, даже издали заметной, отрешенностью. Промелькнул Францек, он сверкнул зубами, засмеялся, поглядев на Ондржея, и что-то сказал соседу, явно подшутив над Ондржеем.

— А вон мой отец,— сказала Лидка.

Ондржею не надо было показывать, он давно заметил Горынека. Рычаги коляски сверкали на солнце, старый смазчик полусидел, полулежал, ноги его были прикрыты, рядом с ним стояла жена, Лидкина мать. Она привезла старика на праздник. Коляска выглядела нелепо в массе стоявших людей, образуя в ней провал, который был виден издалека.

— Это не повредит ему? — спросил неприятно задетый Ондржей, стараясь не глядеть на коляску.— В больничном саду ему было бы лучше.

— Ты что, не знаешь разве нашего папку? — отозвалась Лидка.— Он обязательно должен быть на всех праздниках, без него не обойдется. Он ведь еще помнит первые шаги Хозяина,— добавила она.

Живой Казмар, такой же, как на картинках, с веселыми и резкими чертами лица, великан и американизированный делец, подошел к краю трибуны, чтобы начать речь. Наискосок за ним Ондржей неожиданно увидел среди гостей Елену. Он никак не ожидал увидеть ее здесь и даже испугался сходства дочери с матерью, которого раньше не замечал. Это сходство возросло с годами, с тех пор как он не видел Неллу Гамзову. Ондржей взял под руку хорошенькую Лидку. Пусть, мол, Елена увидит и расскажет в Праге, что ему отлично живется в Улах, что ему везет во всем!

Синее небо, облака и светлые краски праздника! Душевное спокойствие царило над Улами. Взлетали детские воздушные шары и поднимались высоко, высоко, превращаясь в чуть заметную точечку, а дитя, упустившее шар, разражалось слезами.

Гордо подняв голову, пятидесятилетний Казмар привычным взглядом окидывал толпу и непринужденно обращался к рабочим, окрыленный своими успехами. Куда ни глянь, все принадлежит ему — до лесистых горных хребтов, где, как рот со сломанными зубами, зияет каменоломня, где по подвесной дороге ползут бревна с гор к его лесопилке. Он проложил асфальтированное шоссе, углубил реку, скоро купит железную дорогу,— пусть только государство пойдет на уступки... От рекламного аэростата до самолетов — все принадлежало ему. Только солнце на небе не его, да вот нет у него сына.

— Как тебе здесь нравится? — спросил Карел у Елены, и в голосе звучали счастье прошедшей ночи и радость наступившего дня.

— Спасибо, чудесные дожинки,— просто ответила Елена, и на ее узком личике мелькнуло веселое лукавство. Они переговаривались вполголоса и были союзниками.

— Как ты думаешь,— допытывался Карел,— могла бы ты жить здесь? Не скучно тебе было бы здесь со мной?

— А кто тебе сказал,— отрезала Елена тоном, каким говаривала ее бабушка,— что я вообще собираюсь где-нибудь с тобой жить?

— Елена, я серьезно!..— взмолился Карел, и Ружена, затерявшаяся внизу, не узнала бы своего сурового киногероя в этом неуверенном, скромном юноше.

Елена усмехнулась.

— Сейчас мы на прогулке, не порти ее. Знал бы ты, каких трудов мне стоило выбраться с тобой сюда. На наше счастье, тут Хойзлеры. Это, друг мой, нелегкое дело, дома я все еще хожу в маленьких.

— Директор или рабочий — нам все равно,— говорил Казмар своим глуховатым, сдавленным голосом, странным у такого гиганта.— Для нас существуют только способные работники, будь он управляющий или простой смазчик. Я всех уважаю одинаково. Все мы единое содружество, спаянное общим трудом. У нашего народа врожденная сметка, он не поддается демагогии. Наши рабочие знают, что выступить против «Яфеты» — это все равно что повернуть острие ножа против себя. Да, у нас в Улах есть рабы: это машины! Ими мы командуем, им приказываем, с их помощью мы создали себе обеспеченную жизнь, построили Улы, нашу «Америку», и, бог даст, еще расширим ее...

— Ох-хо-хо! — прошептала Елена.— По-моему, лучше твердокаменный капиталист, чем этакий «друг народа». Отец прав: в борьбе с обычными угольными магнатами рабочие хоть знают свое место, а улецкий Хозяин сперва помолится вместе с ними: «Хлеб наш насущный даждь нам днесь»,— а потом сожрет их с потрохами.

— У нас нет времени на политику,— ораторствовал Казмар.— Мы не болтаем, мы производим товары, снижаем цены, повышаем жизненный уровень своих покупателей, платим налоги, помогаем государству и гордимся всем этим. Гордимся участием в общем деле и обязанностями, которые оно на нас возлагает. Рабочие «Яфеты», друзья! Миллионы темнокожих людей на земном шаре все еще ходят полуголыми. Перед нами великая задача: мы оденем все человечество!

— Потом Казмар придет к нам,— хозяйским тоном объяснил Ондржей Ружене, которую он с Лидушкой нашел в толпе,— сядет в кино вместе с рабочими, поговорит с ними...

— А про себя подумает: все вы у меня в кулаке,— со смехом вставил сзади беспокойный Франтек, проталкиваясь к трибуне. Лидка шлепнула его сзади по руке.

— У нас уже руки чешутся, Франтек, похлопать тебе. Рукоплескания будут такие — оглохнешь!

Франек рассеянно оглянулся.

— Хорошо бы! — сказал он и, сразу посерьезнев, протолкался вперед и исчез.

Колушек читал приветственные телеграммы. Раздавались названия далеких заокеанских городов, вызывавшие у слушателей почтение: Алжир, Сантос, Вальпарайзо, Рио-де-Жанейро. Что в сравнении с ними Бухарест, Белград и Осло! Дипломатические гости слушали с вежливым интересом. Жена Казмара искренне прослезилась. Обозревательница мод мысленно уже писала статью: «Пять частей света салютуют чешскому самородку. Люди в живописных национальных костюмах, в спортивных свитерах, в безупречной одежде джентльменов — все слушают с одинаковым вниманием. Если бы не этот чисто демократический дух, когда все Улы — одна большая семья, а фабрикант Казмар — их отец, то это зрелище можно было бы сравнить с присягой на верность королю...»

Колушек кончил и пригласил «юного друга Франтишека Черного» — так значился по документам Франек Антенна — взять слово от имени молодых рабочих. Когда Франек поднялся на трибуну, Колушек спросил его шепотом: «А текст у вас есть?» — «Я помню наизусть»,— ответил Антенна.

И вот сухощавое лицо молодого красильщика показалось на трибуне, он откинул волосы со лба, тряхнул головой, будто молодая лошадка, и начал:

— Товарищи! Сегодня Первое мая, наш государственный праздник, его празднуют рабочие во всем мире. Фабрикант Казмар был так любезен, что присоединился к нам.

Это было сказано не очень-то вежливо, но Казмар — человек простого нрава, и он с улыбкой обернулся к молодому оратору. Колушек беспокойно переступил с ноги на ногу. Франек тоже повернулся лицом к Казмару.

— ...А уж если вы, Хозяин, как демократ, здесь празднуете вместе с нами Первое мая, вы, наверное, не будете против, если я в этот день скажу несколько дружеских слов молодым рабочим. Товарищи! Вы только что слышали, какие широкие международные связи у нашего предприятия. Но не дайте сбить себя с толку, ребята: это связи капитала, а не рабочих!.. (В этот момент Колушек быстрым обезьяньим движением выключил микрофон, чтобы хоть радио не разносило этого срама, и, весь в поту, понял, как провел его этот хулиган: одну речь написал, а другую произносит!) «Яфета» — международная фирма, это факт,— продолжал Франек,— но своих рабочих она считает простаками. Не верьте, ребята, всем этим торжествам, это хозяйская издевка над нами!

Директор Выкоукал дернулся, как лев, готовый к прыжку,

но Казмар успокоительно коснулся рукой его плеча и сказал своим глуховатым, сдавленным голосом:

— Колушек, музыку!

— ...Каких только курсов и школ нет в Улах, каких только лозунгов! Но политически мы младенцы. «Яфете» плевать на права рабочих. Я об этом говорю, ребята, потому, что мы сейчас вместе, а в другое время мы здесь, в нашей «Америке», собираться не смеем, это всем хорошо известно. Здесь ставят новые машины и лишают людей работы, здесь выкинули сорок работниц на улицу, здесь нам не дают организовать ни профсоюза, ни партии. Запрещают наши газеты и собрания. Мы изолированы... и пусть об этом наконец узнает общественность...

Франтек орал что было сил, но уже не слышал собственных слов. Грянула музыка и ревела, как оркестр чертей в пекле. Тысячи людей видели на трибуне рослого, смелого парня, который открывал рот, вскидывал голову и потрясал руками в вынужденной пантомиме. Наконец он опустил руки, насмешливо кивнул головой в сторону музыкантов, слегка поклонился и сошел с трибуны при ледяном молчании сидевших на ней гостей и под бешеные хлопки и топот части казмаровской молодежи. Другая часть осторожно молчала. Все они были беспомощны и не подготовлены к такому выступлению, ибо Франтек никому не сказал о нем, опасаясь предательства. Раздалось даже шиканье, неясно кому — оратору или оркестру, который сорвал выступление.

Лидка Горынкова и Ондржей стояли как громом пораженные. Речь Франтека потрясла Ондржея так, словно он произнес ее назло Ондржею, чтобы испортить ему счастливый день. Что за дьявол этот Франтек, во всем видит изнанку, не выносит радости, ему бы только мутить людей и разрушать все. А что, если сейчас он подойдет к Ондржею и заговорит как ни в чем не бывало? Это на него похоже! Трусоватая натура матери заговорила в Ондржее. Он давно чуял, что не следует сближаться с этим человеком. Из-за товарищества, чего доброго, лишишься куска хлеба. С такими вещами в Улах не шутят!

Пока Франтек говорил, у барышни Казмаровой лицо покрылось красными пятнами, она горела, как заклейменная. Похоже было, что она, а не отец, получает пощечины. Сидя рядом со смазливым Далешем — он был *выше всего этого,*— Ева чувствовала себя как на иголках: открывала и закрывала сумочку, вертелась на месте, беспокойно оглядывалась. Когда грянула музыка и заглушила речь Франтека, барышня Казмарова больше не могла сдерживаться. Тихо и с трудом она поднялась, прошла сзади по трибуне, мимо отца и его свиты, и хотя на Еве были темные очки, а внимание публики отвлекала оглушительная музыка, трибуна

показалась ей бесконечной. Потом она, пробравшись амфитеатром, где на низких скамейках сидели гости, и наталкиваясь на чьи-то колени — люди вопросительно смотрели на нее, некоторые вставали, бормоча извинения,— добралась до Елены Гамзовой и Карела Выкоукала, опоздавших на празднество и потому сидевших с самого края. Девушка в очках схватила удивленную Елену за руку.

— Мадемуазель Гамзова, я хотела бы... можно вас на минутку? — произнесла она прерывающимся голосом, словно запыхавшись от быстрого бега, и взгляпула на молодого Выкоукала, на лице которого отражалось вежливо подавляемое удивление. Ей очень мешал этот чужой молодой человек, с которым ее когда-то связывали планы старого Выкоукала и намеки Розенштама.

Елена, учтивая и отчужденная, села с ней в стороне. Они познакомились только вчера и обменялись всего лишь парой незначительных фраз. Что ей от меня нужно? Почему она так спешила?

— Не думайте,— заговорила барышня Казмарова под влиянием такого же внезапного порыва, свидетелями которого мы были, когда обожженного Горынека принесли в отдел личного состава.— Пожалуйста, не думайте, мадемуазель Гамзова, что я солидарна с «Яфетой»... со всем, что здесь творится. Я... я уезжаю отсюда, послезавтра уезжаю, а с осени буду работать учительницей, не важно где. В Улы я уже не вернусь...

Бывают такие просители: непрошеные, они вытаскивают из карманов потертого пиджачка свидетельство об образовании, послужной список, документы. И хотя вам неловко, хотя вы не имеете к этому никакого отношения, они пристают к вам, чтобы вы прочли все бумаги и сами убедились, что их владелец — честный человек, не заслуживающий несправедливого отношения. Как это ни казалось диким, наследница миллионов, барышня Казмарова, напомнила Елене именно такого просителя. «Зачем она говорит мне все это? — думала Елена и в глубине души удивлялась: — Как это люди не замечают, что я еще совсем девчонка?»

Когда на робкого человека находит приступ откровенности, его не остановишь.

— Мой отец,— взволнованно продолжала барышня Казмарова,— верит, что творит добро, и он прав. Таково его поколение. Как ни странно, я скажу вам, мадемуазель Гамзова, что он абсолютно невинен, абсолютно слеп и такой цельный, как будто отлит из одного куска. А вот я... Ах, боже, меня эти противоречия смертельно гнетут, давят, как камень. У вас в семье этого нет...

— Нет,— просто сказала Еленка.— Мы всегда очень ладим с отцом. (А если бы и не ладили, думаешь, я бы тебе, блажная, это сразу и выложила?)

Елена внимательно и без тени сочувствия смотрела на барышню Казмарову. Ей были неприятны эти беспредметные излияния. К чему они? Слова, и ничего больше. Этот разговор все равно ни к чему не приведет. Всякая сентиментальность раздражала Елену.

— Я слушала вашего отца в Драхове,— волнуясь, говорила барышня Казмарова,— и даже выразить не могу, как меня потрясла его речь. Именно она... Я уже отвергла все здешнее, я душой с...

Елена не выдержала и прервала ее:

— Какой молодец этот парень, что сейчас выступал, а? У него нашлось мужество пойти против течения. Но только зря это: партизанщина, романтика ничего не дадут. Ваш отец, извините меня, его выгонит, а в Улах ничто не изменится. Чувства и благородство здесь не помогут. Я верю только в политическую организацию и дисциплину — знаете, как в армии. Все остальное ни к чему.

— Вы правы, вы совершенно правы,— упавшим голосом повторяла барышня Казмарова, и лицо ее стало серым, словно его покрыл пепел угасшей душевной вспышки. Она увидела, что отдала себя в руки безжалостной девушки и та пристыдила ее. Ева склонила голову. «Я лишняя,— промелькнуло в ее сознании.— Пятое колесо в телеге. Я пятое колесо в телеге, не сердитесь на меня за то, что я существую на свете».

Розенштам пришел за Евой и попытался вернуть ее к обществу. На трибуне тем временем мастер Лехора, председатель заводского комитета, обязательного по закону и потому терпимого Казмаром, сбивчиво читал свою верноподданническую речь. Розенштам, после того как ему стало ясно, что он избавлен от угрозы жениться на милой и достойной девушке, которой он желал всех благ, был вдвойне заботлив и нежен с нею.

— Еще сегодня потерпите,— уговаривал он ее,— а там уж отдохнете от нас. Вы бледны, устали, наверно? Хотите порошок?

— Нет, не нужно,— отказалась барышня Казмарова, проглотив слезы, и покорно поглядела на него.— Не нужно.— Она зарделась, как девчонка, и сказала скорей движением губ, чем голосом: — Розенштам, когда отца не станет, я знаю, что сделаю.

— К чему эти противные разговоры!

— Не подумайте, что я говорю о самоубийстве! — отозвалась она, и Розенштам впервые за все время знакомства с Евой услышал, как печальная принцесса искренне рассмеялась.

Празднество окончилось, и зрители, глаза которых нагляделись и ноги устали, с облегчением расходились. Все были голодны. Над двигающейся толпой громкоговоритель возглашал, что найдены одна сумочка и двое детей, по имени Алоизия и Людмила,— получить в справочном бюро. Сообщение было встречено

смехом. Всюду слышалась оживленная болтовня, дымили сигареты, парни догоняли девушек. Толпа под яркими лучами весеннего солнца устремилась к воротам. Хозяин, окруженный свитой плечистых, докрасна вымытых мужчин с непокрытыми головами, исчез с трибуны, как памятник с пьедестала. Дипломатические персоны, гости в мундирах, дамы в мехах спускались с трибуны словно под медленную музыку. Кинооператоры сложили штативы, съемочные аппараты превратились в чемоданчики, операторы взяли их, взглянули на часы и, надвинув шляпы, устремились на вокзал. Елена пошла перед Карелом, перепрыгнув сразу через две последние ступеньки.

— Ружена! Ты откуда взялась? В Праге тебя годами не видно.

Ондржей поспешил вперед и с улыбкой, в которой сочетались самодовольство и неуверенность, снял шляпу, подал Елене руку и осведомился о Станиславе. Вот это моя приятельница, Лида Горынкова. Лида улыбнулась черными, как черешни, глазами и, пока они разговаривали, стояла, слегка покачиваясь.

Карел Выкоукал отвернулся, закурил папиросу и уставился на сходивших с трибуны гостей.

Ружена остановилась. Ее высокая грудь поднималась и опускалась под жакетом мужского покроя с изящным платочком в кармане. На нежной шее напряженно билась жилка. Со всех сторон ее толкали прохожие. Казалось, что она изваяние без рук и потому ни с кем не может обменяться рукопожатием. Длинные ресницы оттеняли блестящие глаза, на щеках светился нежный румянец, губы, словно печать, отчетливо выделялись на овале ее лица. Внешность Ружены была безупречна и загадочна, как у манекена с серебряным лицом, и Еленка высказала мысль, которая сразу же приходила каждому.

— До чего ты хороша! Как живется?

Ружена раскрыла ярко накрашенные губы и, показав влажные белые зубы, сказала:

— Благодарю вас, мне живется неплохо, *пани Выкоукалова.*

Последние слова она произнесла подчеркнуто твердо. Елена улыбнулась.

— Я все еще Гамзова. Что ты дуришь, почему называешь меня на «вы»? Пройдемся немного, здесь нас толкают со всех сторон.

Карел Выкоукал стоял спиной к ним, беседуя с актрисой Тихой и ее надутым спутником, похожим на лягушачьего короля. Он так оживленно разговаривал с супругами, что даже оттеснил их обратно к трибуне. Актриса слушала его устало, лягушачий король — рассеянно. Толстяк заметил Ружену и глядел на ее губы

и грудь насмешливо и вопросительно. Как он ни таращил своих глаз и ни поднимался на цыпочки, ему не удалось в толпе увидеть ноги красотки. Ах, какая дамочка, какая роскошная дамочка! Все мужчины одинаковые стервецы.

Ружена подняла голову.

— Я плохая компания для девицы из хорошей семьи, мадемуазель Гамзова,— сказала она с мрачной заносчивостью.— Я работаю в мужской парикмахерской.

Это говорила та самая Ружена, с которой они вместе сидели в Нехлебах под рождественской елкой! «Что она — не в своем уме, бредит или прикидывается?» — мелькнуло у Елены. А Ружена сказала это от всего сердца, но получилось у нее так высокопарно, что она готова была сгореть от стыда.

— Передайте от меня привет инженеру Выкоукалу, он мой добрый знакомый,— добавила Ружена игривым тоном нусельской львицы. Свысока кивнув Елене, она бросила последний, сногсшибательный взгляд на лягушачьего короля, одетого в английское пальто реглан из самого дорогого ателье Праги «Бушек и Суда», взяла Ондржея под руку и, конвульсивно вцепившись в нее, увлекла брата прочь от Елены.

— Погоди, куда ты? — спрашивал ее ошеломленный Ондржей, но людской поток уже нес их прочь, и, видимо, это было к лучшему.

Мать писала правду: с Руженой творилось что-то неладное.

Что еще рассказать об этом неспокойном дне, который начался так многообещающе, а потом все пошло вверх тормашками? За столом в глазах у Ондржея все еще мелькали солнечные блики, флажки, воздушные шары, ярко-красная кофта какой-то женщины. Он нарочно удерживал все это в памяти, чтобы вытеснить образ Францека, который машет руками на трибуне, взывая к сознанию слушателей, и бац — удар барабана и тарелок, гром оркестра... Какое дело Ондржею до этого эпизода? Ондржей не хочет иметь ничего общего с ним. Ондржей Урбан — такой разумный парень, что его впору хоть сейчас женить. Ондржей Урбан заботится главным образом о себе, он квалифицированный рабочий, и его уважают. В будни мы работаем, в праздники хотим развлечься. Сейчас надо приниматься за обед, и баста. Кому охота портить себе аппетит размышлениями? Приятного аппетита! Суп такой, что воскресит и мертвого, а свинина с улецкой фермы нежна, как торт.

— Ешьте, ешьте, пользуйтесь жизнью! — угощает Ружену Лехора.

— Чем вы питаетесь, воздухом? — холодно недоумевает его супруга.

А пражская барышня Ружена, прижав к себе локти, клюет, как птичка. Говорите что хотите, но это не солидная девушка. Достаточно взглянуть на ее лакированные ногти; видно, никогда не моет полов и заставляет мать делать это, этакая молодая женщина, нет у нее совести. Да еще не стыдится соблазнять женатого человека.

А мастер Лехора просто исходил остроумием. Ружене всегда везло на старичков, счастье всегда ее миновало: видно, она в мамашу.

Итак, Францек уже не будет обедать со своими красильщиками. Францеку в Улах крышка. Никогда больше не ходить Ондржею с ним на футбол. Жаль, хороший был товарищ. Но всегда вредил сам себе. Ондржей в этом не виноват, какое ему дело до этой истории, думать о ней совершенно бесполезно...

Ондржей глотал, но куски застревали у него в горле, приходилось запивать. Ему вспомнился случай, который произошел еще в школьные дни в Льготке. Он и Тонда Штястных разоряли птичьи гнезда, а учитель узнал об этом. Войдя в класс, он сел на кафедру, оглядел класс и сказал: «Ну-ка, *птичники,* поднимите руки!» Потом он вывел Ондржея за ухо из-за парты, и оба мальчика весь день «стояли столбом» у стены. Но это еще полбеды, по крайней мере, к доске не вызывают; хуже было, когда учитель пригрозил *поговорить с отцом.* И Ондржей со страхом ждал. Сколько раз, бывало, за обедом, в этот опасный час, когда вся семья в сборе — в другое время Ондржей ни на минуту не оставался дома,— он ждал, напряженно прислушиваясь, что вот-вот отворится дверь, войдет тот, кого он боится, уставит палец на Ондржея и скажет обличающее слово. Мальчишеские страхи! Учитель не пришел, и — нечего бояться! — не придет и Францек, словно Козина из «Псоглавцев», как его показывают в театре. Что он — призрак, что ли, чтобы появиться на пиру?! Выкинул мальчишескую штуку и получил по заслугам. Не может же в самом деле Хозяин позволить публично срамить себя?

Все ели, пили, веселились, о Францеке никто не проронил ни слова. Мы в Улах, надо быть осторожным. Мы в шестнадцатом, у мастера Лехоры. Приятно поговорить с окружающими и в шуме отвлечься от дум. Довольно будней. Для неприятностей — будни, для мрачных дум — старость. Живем лишь однажды, напевает прекрасной Ружене мастер Лехора, несмотря на недовольство своей супруги, и шутливо раскрывает объятия:

— Девушка, отчего вы скучны, как кладбищенский пруд? Чего бы вам хотелось? Пойдемте станцуем танго!

Все встали из-за стола.

— Пойдем, Лидка, на качели?

И, вскочив в плетеные корзинки качелей, Ондржей и Лида закружились в воздухе, догоняя друг друга. Ондржей летел за Лидой, Лида ловко увертывалась от него.

За палаткой цирка паслась белая лошадь, и, взлетая вверх, Ондржей и Лидка каждый раз видели ее, ярко освещенную солнцем. Потом они, смеясь, соскочили на землю. Качели еще продолжали летать в обратную сторону. У Лидки закружилась голова, она чуть не упала. Ондржей подхватил ее, упругое девичье тело прильнуло к нему. Все гулянье жужжало свистульками, как жнивье сверчками, и гремело музыкой. Время в Улах, обычно сплетенное в кнут, которым погоняли людей, сейчас развевалось, как вымпел.

Танцевали на четырех площадках, и оркестры были на разные вкусы: плачущие о любви скрипки цыган, трескучие духовые инструменты, деревенская «музыка» и джаз.

— Что это за похоронную играют! — шутливо сказала одна женщина своей подруге, которую не видела годы. Перед ней на столе лежал целлулоидный воротничок с пришитой «бабочкой». Это был воротничок мужа, муж ушел играть в кегли. Тут же лежал парадный картуз сына, катающегося на карусели. Около подруги вертелась дочка, девочка с синим колечком, купленным здесь же на гулянье, и мечтательно сосала розовую конфетку. Голубоватое облако закрыло солнце, а в стакане газированной воды с привкусом резины сверкали серебряные пузырьки. Пахло хвоей, дождем, шоколадом и материей флагов — все это сливалось в один общий запах гулянья под открытым небом.

— Прошло наше привольное времечко,— сказала одна женщина другой и снова прыснула.—Погляди-ка вон на того, пузатого.— Она подтолкнула товарку локтем, показывая на танцующих.— Ишь как расплясался, старикашка! А какую себе выбрал молоденькую. Вовсе ему не ровня.

Это был муж актрисы, адвокат Хойзлер, с Руженой.

После выступления ансамбля Марии Далешовой («Какие-то барышни в исподнем озоровали на полянке»,— охарактеризовала «Танец труда» одна из подруг) Хойзлер проводил жену в виллу Выкоукала; там он разработал с Выкоукалом проект контракта с фирмой «Люцерна» и последовал примеру обозревательницы мод— пошел «общаться с массами» и, по мере возможности, выяснить, хороши ли ноги у той девушки, которая днем произвела на него такое сильное впечатление.

Со времен «Ред-бара», когда адвокат так подчеркнуто и немного смешно заботился о своей неуравновешенной молодой супруге, прошло семь лет, а за этот срок человек, как известно, меняет кожу. Прославленная актриса, переживая свои сценические судь-

бы, отдавая сцене свою молодость, в домашнем быту становилась все более заурядной,— видимо, утомленная столетиями условного сценического времени. А Хойзлер тем временем молодел, потрясающе молодел! Ему было под пятьдесят, и им владело беспокойство этого возраста. Забавно было смотреть, как этот сатир, одетый не хуже принца Уэльского, бродил среди продавцов сластей и среди детей, надувающих резиновых поросят, останавливался у катальной горки. Ондржей и Лидка едва не сбили его с ног,— все искал нимфу. Найдя наконец девушку, Хойзлер одобрил ее ноги, застегнул пиджак, вошел на танцевальную площадку, где продавцы от «Яфеты» танцевали танго с улецкими швеями, и перехватил Ружену у мастера Лехоры. Тот вернулся к столику, к своей жене, пившей кофе, отвратительную бурду, и стал подтрунивать над ней:

— Когда ты помрешь, я заведу себе такую девочку,— он показал на Ружену,— худенькую, туфельки «шимми», элегантную, современную. Пышные уже давно не в моде, уж я-то в этом разбираюсь!

Обозревательница мод мысленно писала статью для газеты «Народный страж»:

«В пестрой вереницe разнообразных фигур и лиц царит дух полной сердечности, столь характерной для Ул. Гости из Праги и ответственные сотрудники Казмара танцуют с местными красавицами в живописных национальных костюмах. Раздуваются передники, мелькают цветные повязки, и, честное слово, сапожки улецких девушек летают в танце так же легко, как парижские туфельки наших дам на паркете светских салонов. Сообщим нашим читательницам одну небезынтересную подробность: после бурного успеха «Танца труда» наша известная акробатическая танцовщица Мария Далешова сплясала с улецкими парнями. Ох, и лихие же это ребята! Они уверяли, что мадам «ходит, как нашенская»...»

Танцовщица тем временем играла у Выкоукала в бридж.

Танцуя, Ружена чувствовала животик лягушачьего короля. Хойзлер сопел. Если бы даже он захотел посмотреть на нее сверху вниз, ему бы это не удалось, так как Ружена была заметно выше своего партнера и вела его в танце. Сорочка у него была еще лучше, чем у Карела (Карел, Карел!..), галстук из «Рококо», ботинки ручной работы от Брандейса — все самое лучшее,— слегка надушен хорошими крепкими духами — не иначе как «Кингдом», сто двадцать крон за грамм,— ну, для него, видно, это гроши. Чистый он, как хорошо прокипяченный хирургический инструмент в роскошном санатории; волос на голове уже не осталось, и глаза совершенно лишены ресниц,— бедная жена! Смотри, смотри на меня

своими рачьими глазами, ты, чудище морское. Знай, старичок: кто однажды обжегся, тот поумнел. Я уже знаю, каков мир.

Вся мерзость разбитой жизни воплотилась для Ружены в этом лягушачьем короле. Но когда к ней подходил кто-нибудь из улецких рабочих, красивый парень в плохо сидящем готовом костюме, Ружена отрицательно качала головой — к чему ей? — и продолжала танцевать с польщенным Хойзлером. Он был из *высших кругов,* оттуда, с трибуны на площади, он был мостиком к Карелу. Может быть, она узнает от него что-нибудь о Кареле, может быть, он, восхищенный Руженой, упомянет Карелу о ней. И вот Карел начинает ревновать, Карел страдает, Карел безумно страдает, Карел снова любит ее. Карел, Карел, как ты мог так поступить со мной! Знаешь ли ты, что такое любовь? Так растоптать чувства девушки!

И Ружена танцевала со старикашкой, ведя мстительную игру против незримого и вездесущего Карела, приходя в ужас при мысли, что он может прийти сюда с Еленой, танцевала щекой к щеке... Но разве оставалась бы она в этом призрачном и бессмысленном мире, если бы не ждала, что придет Карел и *все уладится?*

— Забавно! — говорила Елена молодому Выкоукалу, когда они пошли прогуляться по тропинке к лесу.— Я боюсь скандалов и сцен, меня от них передергивает, как если бы кто-нибудь провел ножом по стеклу. И как нарочно, я, кажется, располагаю к таким сценам. Сначала Ева Казмарова... она, видимо, достойный человек, бедняжка, но что поделаешь, если я не склонна восторгаться избранными душами? А потом Ружена. Это неописуемо! А ведь мы были знакомы еще детьми...

Перешагивая через валуны, Елена с откровенностью первых дней любви, когда всякая весть кажется повой, рассказывала о семье Урбанов, о том, как Станислав дружил с Ондржеем, о рождестве в Нехлебах.

Молодой Выкоукал смотрел ей в лицо, разрумянившееся от ходьбы и разговора, и усиленно старался угадать, знает она или нет. Веселость Елены была непритворной. Что сказала ей Ружена? В Елене нет плебейской подозрительности, она пока еще чудесное дитя, а не опытная женщина. С божественным спокойствием Елена верит людям. Вот она идет перед ним, твердо ставя стройные, крепкие ноги. Иногда ее плащ, задевая за ветку, шелестел на ходу. Карела умиляло даже ее дыхание, чистое и тихое, как у молодых зверей. Все пленяло его в этой смуглой девушке.

— Какая она была странная сегодня,— продолжала Елена, имея в виду Руженку.— Знаешь, как покойник, когда он приснится живым. Кажется, что это все тот же человек, но он уже какой-то потусторонний, он уже что-то знает и злорадствует, глядя на

нас. Такой мне иногда представляется наша нехлебская бабушка. В лунные ночи я вижу ее во сне. Терпеть не могу луны!

Преградив путь, Карел обнял ее.

Кругом был лиственный лес с бородатыми лишайниками по северной стороне стволов, поросший мелким кривым ельником и ежевикой. Было тихо. Парило. Пахло смолой, землей, тленом, грибами, хотя их не было и следа, не пролившимся еще весенним дождем. Воздух был густ и волнующ, музыка из Ул доносилась сюда, словно из глубины вод. Набежала тучка, в тонких переплетеньях ветвей прошелестел весенний дождь, и небо над верхушками деревьев снова прояснилось, на листьях щавеля замелькали солнечные пятна. Птицы очнулись, запели зарянки и иволги, засвистели наперегонки с весенним лесным шумом после первого майского дождя.

— С тобой, Еленка, я становлюсь лучше,— сказал Карел тоном взрослого мужчины.

— Но не надо об этом говорить,— тихо отозвалась Елена.

— Почему?

— Так. К чему разговаривать?

Она улыбнулась какому-то воспоминанию и снова положила голову ему на грудь. Он взял ее голову двумя руками, повернул лицом к себе и задал вопрос, старый, как мир:

— Ты меня любишь?

Еленка высвободилась из его объятий.

— Не спрашивай! — смело сказала она и сама стала целовать его.

Как дорога была в этот момент Карелу смуглая девушка, этот веселый друг! Он взял ее под руку. Душу его переполняла радость *слияния* с любимой! Молодые, они шли просекой, вторгаясь в затаенную, настороженную жизнь молодого леса; и плащ шелестел в такт девичьей походке, легкой, быстрой и твердой.

— Елена! — начал Карел.— Ты все поймешь, ведь ты умница...

— А... да, да! — отозвалась Еленка.— Когда мне дома говорили: «Ведь ты умница!» — это значило, что к празднику не будет подарка, или что надо вырвать зуб, или что-нибудь в этом роде. Ну, что поделаешь, говори.

Она поглядела на него прямым, открытым взглядом, и решимость Карела исчезла бесследно. Он хотел рассказать ей о связи с Руженой Урбановой и тем самым предотвратить неприятности, которые могла доставить ему маникюрша. Несносное существо, и здесь нет от нее покоя. Вот уж не думал он, что Ружена поедет в Улы без него,— Ружена, которая апатично сидела дома, когда он не мог бывать с ней. («Если только она не врала, что сидит

дома»,— злобно подумал он.) С Руженой он познакомился, когда еще не знал Елены, и ничего Ружене не обещал. Все это теперь прочитанная книга. С Руженой кончено, и все будет в порядке... Так очень складно собирался Карел объяснить Елене. Но была тут еще одна загвоздка, и Карел вдруг неожиданно для самого себя повернул на сто восемьдесят градусов и с откровенностью, достойной лучшего применения, начал исповедоваться Елене о бедной барышне Казмаровой. Еленка, наверное, и не знает, почему было для него так важно, чтобы она поехала с ним в Улы...

— Чтобы провести ночь вместе,— просто сказала Елена.— Как ты думаешь, в отеле никто ничего не заметил?

— А также затем, чтобы положить конец этим нелепым домыслам насчет меня и Евы Казмаровой. (Елена не удержалась от смеха.) Мне хотелось,— объяснял Карел все более патетическим тоном,— чтобы его родители узнали девушку, которую он любит, и чтобы наконец отказались от глупых планов насильно женить его. Это же просто унизительно! Он не продает себя за место инженера в казмаровской красильне!

— Хорош дипломат! — поддразнила его Еленка.— Едет добиваться места у Казмара и берет с собой дочь Гамзы. Нас тут любят, как собака палку,— добавила она, вспомнив образное выражение нехлебской бабушки.— Особенно сегодня, после этой мятежной речи. Попал ты впросак, Карел. Твой папаша даже не пожелал поговорить со мной сегодня за обедом в клубе. Но ты не огорчайся. Твой профиль и твоя фигура от этого не станут хуже. Ты красивый, да, да, красивый.

— Вот и говори, что есть справедливость на свете! — пошутил слегка огорченный молодой человек.— Ты первая девушка, по отношению к которой у меня честные намерения, а ты меня этак высмеиваешь.

— Нет, я не высмеиваю. Ты для меня *чужак*.

— Как это — чужак?

— Да так. Как если бы в старые времена я была чешка, а ты немец, или я христианка, а ты турок.

— А разве она, эта чужая кровь, так уж плоха для любви? — произнес Карел, приблизив к ней свое лицо с отсветом жаркой страсти, лицо, с которым и впрямь нелегко расстаться девушке, будь это Ружена или Елена.

— Ну конечно, я не влюблюсь в нашего Станю! — засмеялась Еленка.— А ну, догони меня! — крикнула она и пустилась бежать.

Карела не раз раздражала склонность Ружены к трагизму, проявлявшаяся тем острее, чем реже они виделись, и ее привязанность, выраставшая пропорционально расстоянию между ними. На-

чинать с девушками легко, а вот попробуй избавиться от них! С Руженой это было изнурительно, как корчевание пней. Но Елена смотрела на эти вещи легко, она перепрыгивала через них, как теннисный мяч, падающий на другую сторону корта, и Карел терял уверенность в себе. Он догнал девушку, схватил ее за запястья так, что Елена даже сделала гримасу: «Пусти, больно!» Прося и приказывая, он говорил:

— Останься еще на одну ночь. Поедем утром. Устрой как-нибудь. Ты же можешь что-то придумать!

— Тише! — предостерегла его Еленка.

За соснами стояли Ондржей и Лидка. Он обнимал ее, и они целовались. Услышав шаги, Ондржей поднял голову и огляделся. Нет, это не был Францек. Карел и Елена уже исчезли из виду.

— Тоже парочка,— сказала довольная Еленка, когда они отошли, и с нежным смирением взяла юношу под руку. Но когда он начал снова уговаривать ее, ответила:

— И думать нечего! Мама сошла бы с ума. Ты еще меня не знаешь, я педант.

Уже давно жители горных селений, передав поклоны всем знакомцам, ушли к себе наверх по извилистым тропинкам. Уже давно дипломатические гости сидели в салон-вагоне, прицепленном в Драхове к будапештскому экспрессу. В Улах свертывали турецкий и все прочие флаги, мокрые от разразившегося дождя. Девушки торопливо надевали плащи, вскакивали в сигарообразные коляски мотоциклов, садились рядом с мужчинами, одетыми в кожу, и разъезжались во все стороны. Хойзлера, Тихую и Далешову с мужем паккард мчал в Прагу. Последние автобусы, увешанные людьми, отошли в фабричный поселок. Плотники разбирали трибуну. Первомайский праздник кончился. Впрочем, отзвуки его еще слышались в трактирах и распивочных за пределами «Казмарии», где не действовал сухой закон и начиналась веселая жизнь.

Над Улами вдруг стало просторно и тихо, светилось только третье от края окно во втором этаже административного корпуса, то самое освещенное окно, что злило супругу Казмара, сидевшую в своей вилле у леса. Даже в праздник не дает себе покоя!

Мамаши уже вынесли из стареньких автомобилей сонных детей и укладывали их в постель, уже на площадке для гулянья, с утра усыпанной пахучей хвоей, сейчас истоптанной и покрытой мокрыми бумажками, ларечники свертывали палатки, вытаскивали из земли колышки и снимали свой кочевой городок, а в фабричной столовой судомойки, бывшие прядильщицы, стучали посудой и ворчали, что они еще не обедали, а они ведь тоже люди, когда Колушек, закончив свой деловой день, поднялся по боковой

лестнице — лифт сегодня не работал,— прошел знакомым коридором с резиновым звукопоглощающим настилом, убедился, что над дверью Хозяина не горит красный сигнал и, значит, можно войти, взглянул на свои ботинки, проверил, в порядке ли пробор, набрал в легкие воздуху и постучал.

Казмар сидел за столом около модели и что-то на ней привинчивал. Когда Колушек вошел, он слегка обернулся и спросил:

— Сделано?

— Сделано, Хозяин,— ответил тот хриплым от праздничных забот голосом и продолжал стоять навытяжку.— Немедленное увольнение и билет третьего класса до Брно.

Он умолчал о том, что Францек разорвал билет пополам и бросил ему под ноги, сказав, что судом заставит вернуть ему принудительные отчисления из заработка и что еще увидится с Колушеком.

— Изъят из картотеки,— заключил Колушек и, подойдя, услужливо подал Хозяину учетную карточку Францека. Казмар взглянул на нее, даже не прикоснувшись.

— Ладно,— сказал он.— В макулатуру! — И, повернувшись, выразительно произнес своим слегка сдавленным голосом, в упор глядя в лицо Колушеку щелками глаз: — А теперь, Колушек, будьте любезны, выньте из картотеки еще и свою карточку. Сами понимаете, что после сегодняшнего провала вы у меня оставаться не можете. Завтра обратитесь в кассу.

И, повернувшись к модели, он снова начал орудовать отверткой.

У Колушека подкосились ноги.

СОПЕРНИЦА

Хотя в этот день были пущены дополнительные поезда, поезд № 18 подвергся настоящему штурму. Охваченные боязнью не попасть на поезд, люди с бою брали подножки, не слушая обычных в таких случаях женских выкриков: «Ребенка задавите!» Пассажиров было втрое больше, чем мест, за которые шла отчаянная борьба. Даже когда поезд тронулся, беспорядок в вагонах не прекращался, то и дело вспыхивали скандалы. Это был какой-то оглашенный состав с измученными пассажирами, спасавшимися от дождя. Горожане громко ругали железную дорогу. Просто срам, как у нас относятся к пассажирам! Чего ж удивляться, что так развивается автомобилизм? Не было бы ничего подобного, если бы Казмар взял эту ветку в свои руки! Но правительство ставит ему палки в колеса: сколько уже лет министерство держит его хода-

тайство под сукном. Вот он, бюрократизм! Вот они, наши порядочки!

Деревенские пассажиры пыхтели, теснились, молча продвигались вперед, пристраивались где только можно, расстегивались. Женщины сдвигали головные платки на затылок и устало улыбались. В вагонах было темно, пахло мокрой одеждой, орали младенцы, на улице снова шел дождь. Слышно было, как снаружи ломятся в вагон. Какие-то развязные юнцы, презрев классовые различия, уселись на плюшевых сиденьях и тренькали на банджо, а другие в глубине вагона даже завели патефон, звук которого на остановках разносился по всему вагону. Поезд часто останавливался на маленьких мокрых станциях: он вез груз послепраздничного похмелья. В вагонах пахло карболкой и уборной. Ружену придавили в коридорчике солдаты. Брошенную девушку всякий обидит. Что-то должно случиться, газеты разнесут весть о железнодорожной катастрофе, о разбитых в щепы вагонах. Смерть под обломками... Что ж, не жалко жизни! Старый и терпеливый, как овца, коробейник пробирался в битком набитом вагоне, тащил на ремне корзину. Не раздавив ни одной бусинки, не миновав ни одного купе, он напевным говором предлагал вешалки для платья и расписные стаканчики людям, сидевшим и стоявшим в такой тесноте, что трудно было достать билет из кармана.

— Вот видишь,— сказал Карел Елене,— таковы они, эти поезда.— Это означало: разве я не был прав, говоря, что лучше ехать завтра утром.

— Стоило ли оставаться из-за нескольких часов,— возразила Елена.

Карел вдруг резко встал и затряс неподдававшееся окно. Оно не опускалось. Карел сражался с ним, словно душил противника, и наконец с удовлетворением одолел ударом кулака.

— Чего он буйствует? — послышались голоса.

В вагон ворвался свежий, пахучий воздух. Пассажиры, в большинстве сельские жители, заропта ли. Карел вступил с ними в спор и, разумеется, проиграл: в поезде всегда правы те, кто боится свежего воздуха. Карел сел, нахмурившись. Елена кусала губы, чтобы не рассмеяться. Она вспомнила, как спокоен и полон достоинства был отец, когда полиция делала у них обыск, и как дома все боятся его, стараясь не попадаться ему на глаза, когда он ищет потерянную запонку. Мужчины в мелочах не герои, подумала она, но не сказала ни слова. Зачем раздражать человека, если он и так не в духе.

Ей хорошо смеяться, она не знает, к чему может привести упрямство, с которым она выбрала именно этот поезд! Карел сидел, проклиная Хойзлеров, которые тактично уехали, чтобы не

мешать влюбленным; кстати, Карел сам намекнул адвокату, что они остаются до утра. Стиснув зубы, он мысленно проклинал отца за то, что тот не дал ему машины. С каким мрачным удовлетворением отказал ему старик! Явно из-за Елены Гамзовой. Пусть, мол, большевики ездят с народом. Чертово казмаровское скряжничество! Скуповатый отец держит Карела в полной зависимости, как мальчишку. Если бы сегодня в Улах нашлось такси, у Карела не хватило бы денег заплатить за поездку до Праги. Ах, ехать бы в машине наедине и не быть в этой опасной зоне. Елене хорошо смеяться, а он разве может объяснить, почему бушует? Ведь он не отважился раньше рассказать ей все.

Рок не помиловал Карела. Так всегда бывает: едва, преодолев свои опасения, он разговорился с Еленой, как Ружена остановилась в дверях купе.

— Какая милая случайность! — сладко пропела она (Карел готов был убить ее).— Здравствуй, Карел! Так ты не поехал в Берлин, как уверял меня в четверг?

Она сияла от злости и третировала Елену, против которой и была направлена вся эта игра.

Елена увидела, как на одно мгновение изменилось лицо Карела. Бывает так: вы приглашены в гости и входите в дом. И вдруг какой-нибудь растяпа или непоседливый ребенок откроет перед вами не ту дверь. Вместо цветов на столе, комфорта и уюта вы видите беспорядок затхлой спальни. Скорее захлопнуть проклятую дверь! Так было и с лицом Карела: один миг, секунда жалкой растерянности, и серьезное лицо красавца снова непроницаемо замкнулось. Но Елена уже поняла все.

— Освободи Ружене место,— сказала она почти повелительно, словно они оба подчинялись ей — и Ружена и Карел. Карела не пришлось упрашивать, он поспешил к выходу из купе. Но Ружена преградила ему путь. Она посмотрела на него красивыми, пустыми, испуганными глазами, ресницы у нее задрожали, она взяла его за руку и сказала громко, при всех, ей уже было все равно:

— Ты не хочешь узнавать меня, Карел?

Пассажиры, особенно женщины, пробудились от сонной апатии и уставились на нее.

— Пойдем отсюда, эта дама нездорова,— сухо произнес Карел, обращаясь к Елене.

— Это неправда. Она просто расстроена! — вырвалось у Елены тоном школьницы, которая защищает подружку перед учителем. Ее слова прозвучали по-детски. Она сказала прямо, так, как были приучены дети Гамзы. Но она совершила ошибку. Елена тотчас поняла это, но было уже поздно.

— Ах, вот как! — воскликнула Ружена, подходя к ней.— Ишь *покровительница* нашлась! Ты будешь передо мной задаваться, ты! *Ты, такая...*— закричала она пронзительно и смерила Елену взглядом с ног до головы.— На твоем месте я бы провалилась сквозь землю!

Елена с опасливым любопытством смотрела на стоявшую перед ней рослую Ружену. Она как-то не могла осознать того, что Ружена обращается к ней, и ей только хотелось, чтобы все это поскорее кончилось.

— Знаем вас! — продолжала Ружена, все повышая голос и словно призывая в свидетели всех с любопытством слушавших пассажиров.— Знаем вас, маменькиных дочек, лыжниц, барышень из хороших домов! За каждым углом валяетесь с мужиками и все остаетесь *благородными,* делаетесь все *добродетельнее!..* Только посмей пожалеть меня, ты, благодетельница бродячих собак! Хотела бы я посмотреть!..

В дверях показался кондуктор, которого, вероятно, послал исчезнувший Карел или просто привлек шум.

— Позвольте-ка, мадам, это что за выходки? Разве можно так вести себя в вагоне? Прошу предъявить билет!

— Вы дрянь, вы подлый, надутый сброд, вы большевистские господа, *буржуи!* С утра до вечера валяетесь в навозе да еще прикидываетесь порядочными, а сами скоты, и больше ничего!

— Пройдите за мной, мадам,— сказал кондуктор и взял Ружену за плечо. Она повернулась и, насмешливо взглянув в лицо кондуктору, вдруг звонко, весело и торжествующе крикнула на все отделение:

— А теперь мне больше ничего не надо!

И ловким кошачьим движением она, согнувшись, проскочила под рукой у кондуктора. Пассажиры засмеялись; это было бы в самом деле смешно, если бы не было страшно. Елена вскочила.

Ружена бежала по коридорчику, пробираясь среди уступавших ей дорогу пассажиров. Елена догоняла ее, Ружена кинулась к входной двери.

— Посмей только тронуть меня! — кричала она, хотя Елена уже держала ее сзади за руки крепкой мальчишеской хваткой (сколько раз она, бывало, так одолевала Станю!). Кондуктор тем временем повернул в двери свой трехгранный ключ.

— Не трогай меня, или я тебя убью!

— Ну, ладно, ладно, только погоди до остановки,— говорила Елена, слегка стуча зубами.— Она уже утихомирилась, кондуктор. Это так только...

— Пусти, или я тебя стукну! Я здесь не останусь, я с собой что-нибудь сделаю...

— Хочешь его прославить? — шептала ей Елена.— Он того не стоит.

Ружена не слушала ее.

— Кондуктор, откройте! Откройте сейчас же! — Свободной рукой она колотила в дверь.— Хороша республика, человек не может даже...

— Беги себе,— спокойно сказал кондуктор и отпер дверь. Поезд как раз остановился на станции.— Беги, да прямиком в Катержинки! Кому охота возиться с тобой, полоумная!

Ружена секунду заколебалась, увидев, что льет дождь, но придержала шляпку и соскочила на платформу. Елена за ней. Дверь захлопнулась, поезд с Выкоукалом-младшим, который так и не показался больше, тронулся и ушел. Девушки остались на холоде, бог весть в какой дыре. На этой же остановке вышел ехавший в поезде коробейник. Подойдя к девушкам, он предложил им свой товар. Они не видели и не слышали его. Старик перебросил корзину через плечо, покрыл товар мешковиной и пошел в непогоду.

Ружена стояла, словно остолбенев. «Ну ладно, а как мы теперь попадем в Прагу?» — подумала Елена. В сумочке у нее, по гамзовскому обычаю, было лишь немного мелочи. На счастье, железнодорожные билеты у них сохранились. Позднее Елена сама не могла понять, как ей удалось заставить Ружену двигаться и довести ее до железнодорожника, который совмещал здесь все должности — от фонарщика до начальника станции; он отметил на их билетах перерыв в поездке. От него они узнали, что до следующего поезда еще пропасть времени и что от Драхова придется ехать не скорым, а почтово-пассажирским. Ружена молчала с видом жертвы: терзайте меня, мол, как хотите. Когда прокомпостированный билет уже лежал у нее в сумочке, она горько заметила:

— И как вы можете думать обо всем этом! Нет у вас сердца. И в детстве не было.

Она отвернулась от Елены и вдруг быстро пошла по проселочной дороге. Елена за ней.

Она видела, как попеременно утопают в грязи каблуки Ружены. Каждый узкий и глубокий след тотчас наполнялся водой. По дороге прыгало невероятное множество крохотных лягушек: живое болото в темноте. Впереди, видимо, были холмы, но их скрывал туман и мелкий косой майский дождь. («Послал нам боженька майский дождичек».) По обеим сторонам дороги стояли хаты. Пахло навозом. У мелкой разлившейся речки слышалось гоготанье гусей. Женщина, загонявшая гусей, стояла на берегу реки и долго смотрела на необычных гостей. Через эту деревню можно было, наверное, идти часами.

И Ружена торопливо шла, будто убегая от самой себя. Еленка едва поспевала за ней. Ноги у нее гудели. Она следовала за Руженой по пятам, как полицейский за арестантом. Она видела только спину Ружены, не обращая внимания на окружающую местность, которая уже погружалась в сумерки. Упорное молчание, наступившее после бурного объяснения, тревожило Елену. Что еще выкинет Ружена? Возможно, Ружена и сама не знала этого. Наконец, слава богу, она обернулась, топнула ногой так, что из-под каблука брызнула вода, и крикнула своей тени:

— Ну, чего идешь? Кто тебя просил? Уходи, ты мне не нужна!

Елена ответила, как девочка:

— Слушай, Ружена, не гони меня, мне одной будет страшно. (В этом была доля правды.)

Ружена пожала плечами — дескать, «а ну тебя!» — и стала снисходительнее: что, мол, с ней поделаешь, привязалась. Через несколько минут она сказала Елене:

— Ты небось голодна, я тебя знаю. Беги в трактир, я тебя не держу. Если только найдешь, где он. Тут черт ногу сломит.

Тут уж Елена поняла, что все будет в порядке. Только, конечно, ни за что не следует давать понять Ружене, что она, Елена, это понимает. Сперва, как мы уже сказали, Ружена молчала как убитая, потом опять разразилась горячей речью. Не переводя дыхания, она говорила, что все равно застрелится завтра на работе, она отлично знает, где у хозяина парикмахерской лежит браунинг, что она загубила в этой непогоде костюм и что теперь уже до смерти не взглянет ни на одного мужчину. Когда Елена, ободренная своим успехом, неосторожно усомнилась в последнем, Ружена страшно обиделась.

Однако Елена заметила, что теперь у нее появились кое-какие возможности воздействия на спутницу. Например, можно ругнуть Ружену. И когда та снова стала твердить, что не переживет этого, что все равно она должна умереть, Еленка, которой уже осточертело слушать, рассердилась:

— Дура ты, это из-за мужика-то? Да мне он нужен как прошлогодний снег.

Ружена смиренно проглотила это, позволила Елене идти с ней рядом, смягчилась и сказала, что она не плохая, а только несчастная, а потом вдруг заявила:

— Карел — единственный!

— Карелов хоть пруд пруди,— вставила Еленка.— Загляни только в телефонную книгу.

Ружена шагнула от нее:

— Не говорите об этом. Вы этого никогда не поймете.

И пошла налево к реке. Река была совсем мелкая, скорее ручей. Было мокро и почти темно.

Елена понимала, что с Руженой нельзя допустить только одного — разрядить мучительную тягость смехом. Ружена не признавала шуток, требовала абсолютно серьезного подхода к случившемуся и, надо отдать ей справедливость, добилась этого.

Девушки вошли в трактир, где хрипело радио и где в табачном дыму еще продолжалась праздничная гулянка. Окна были засижены мухами, перед трактиром виднелись лужицы навозной жижи, но радио в трактире играло, от него и в этой дыре не было спасения. Несколько мужчин, стоявших группой, искоса взглянули на промокших девушек и продолжали глазеть на коробейника, того самого, что сошел с поезда вместе с девушками. Он снял с плеч корзинку и разложил товар. Кто бы сказал, что в эту корзинку влезет столько добра! Старик раскладывал на двух столах: кувшинчики, вешалки для платья, стеклянные безделушки, стаканы с надписями, ожерелья, розовые зубные щетки, зеленые и красные дамские гребешки, игрушечные резиновые жучки, погремушки для детей, оранжевые пустышки, а также более солидный, мужской товар — шнурки, подтяжки и галстуки. Потом старик вынул еще терки, сита, ложки — целую карманную кухню. «Прямо универмаг «Яфеты»,— заметил один из мужчин и отошел к своему столику. Ружена от души вздохнула: «А приятно заводить свое хозяйство»,— и купила для матери шинковальный ножик, надо же привезти ей хоть что-нибудь из Ул. Девушки сели на скамейку, сушились и советовались.

— Знаешь что: ты веди себя так, будто он тебе совсем не нужен. Это на них действует.

— Тебе легко говорить. Если я ему о себе не дам знать, так он до смерти носа не покажет.

— Негодяи — эти мужчины,— с облегчением сказала Еленка и, как матрос, отхлебнула черного кофе с ромом.

Радио простуженно захрипело и, кашляя, запело: «Я ручки вам, мадам, целую». Выпив сливовицы, Ружена заметно подобрела. Глаза у нее увлажнились, она вынула пудреницу, обмахнула пуховкой покрасневший носик. Собравшиеся около коробейника мужчины насмешливо покосились на нее. Ружена ловко навела помадой губы с серьезным видом женщины, знающей свое дело. Глядя в зеркальце, сказала:

— Бедняжка Карел, где-то он сейчас? Верно, подъезжает уже к Нехлебам. Уж я-то знаю, что он сейчас очень беспокоится.

Елена воздержалась от комментариев, Ружена ее обезоружила. У Елены прошла охота бранить Ружену, и все стало безразличным. Теперь, когда Ружена была спасена и ни о ком не нужно

было заботиться, Еленой овладела усталость и сознание нелепости всей этой «прогулки». А что скажут дома? Она чувствовала себя девчонкой, ей было холодно и грустно. Пылкая любовь — и вдруг все лопается, как мыльный пузырь. И ведь она чувствовала с самого начала, что это мыльный пузырь, и в том, что она рискнула пойти на этот шаг, было что-то нечистое. А все-таки он еще не безразличен ей... Нет, хватит, уже безразличен... Иначе она презирала бы себя. Все в прошлом. Не ради Ружены, нет — ей, бедняжке, это все равно не поможет,— ради самой себя. Елене нужна твердая почва под ногами, а не гнилое болото.

Она сидела в углу на скамейке возле Ружены, для верности держала ее под руку и напряженно смотрела перед собой, как засыпающий ребенок. До поезда оставалась еще целая вечность. Радио раскашлялось так, что было похоже на перестрелку, и умолкло — сырость, помехи. Люди в трактире казались Елене далекими, словно она смотрела на них в бинокль, и все это имело еще какой-то сокровенный смысл.

Помните вы, как после той недоброй ночи, когда родители Станислава говорили о разводе, Станя и Ондржей заходили в пивную «На небе» и видели там размалеванную старуху, которая когда-то бывала у самого Виндишгреца? Станя едва ли рассказывал сестре об этих тягостных для него минутах. Но переживания повторяются... У каждого из нас был в жизни такой мрачный трактир...

Старик коробейник с серьгой в ухе обошел столы, на которых разложил товар, оглядел его и, подумав, начал собирать. Он взял сковородки, вложил меньшие в большие и убрал их в двустворчатую корзинку. Гости, стоявшие за ним, подшучивали:

— Дяденька, а ведь у вас все не войдет!

Старик, видно, уже привык к этим шуткам и ответил наставительно:

— Войдет, если уложить как следует. Но на все нужно время.

— У Казмара дали бы тебе время, держи карман,— заметил один из парней. Видимо, они работали у Казмара.

Но старик не смущался и терпеливо сматывал шнурки восьмерками, укладывая терки и мышеловки, заскорузлыми мужскими руками бережно убирал ожерелья, обтирал зеркальца и синие перстеньки — словом, наводил порядок в своей «бездонной» корзине.

Рабочие расспрашивали его, как идет торговля. Есть ли конкуренты?

— Хорошо, кабы нас было поменьше,— отвечал дед серьезно.— Мешаем мы один другому. Начнется война, будет легче.

— Что ты только говоришь!

— Ну да, убудет людей. Меньше станет хлопот, получим еду, будем воевать.

В Елене заговорила дочь Гамзы. Она громко крикнула из своего угла, как человек, очнувшийся от дремоты:

— А если вас убьют?

Коробейник отрицательно махнул рукой.

— Как бы не так,— сказал он, победоносно подняв голову.— Меня? Нет! Я четыре года воевал, и ничего.— Он согнул спину, втянул голову в плечи и сделал хитрое лицо.— Я умею схорониться,— странно выразился он.

Ему помогли взвалить на плечи корзину — увесистая штука! Он поправил лямку и пошел к выходу.

— Куда вы сейчас? — спросила Елена.— Ведь тьма кромешная.

— Куда господь бог поведет, туда и пойдем,— загадочно ответил коробейник и вышел.

Елена услышала, как далекий и мало похожий голос Ружены просит ее: «Пусти, у меня уже затекла рука»,— и почувствовала, что Ружена старается высвободить руку, но из каких-то ей самой неясных соображений продолжала держать эту живую, теплую руку. Пахнуло сыростью, в колодец падал какой-то огонек, ударяясь в темноте о гулкий камень... ах, как долго длится падение, тут глубоко, кто бы сказал, что это бездонный колодец... ага, уже зашипело и погасло, уже темно, но это пройдет... это только эхо... это было давно и с другой девушкой, что утопилась в колодце из-за несчастной любви, это все не так... Сколько здесь толпится людей, миллионы карнавальных масок несутся вереницей, как на первомайском празднике... Вот барышня Казмарова в очках... О боже, да это не она, а негритянка Гарвей, которая вместе со мной и мамой ездила на лыжах к Гавелской сторожке... Путь был далекий, а мать в лыжных брюках все никак не может подняться, сидит под облепленной снегом елью...

Когда Ружена начала расталкивать Елену — пора, мол, на поезд,— они уже остались одни в трактире. Елена, еще не совсем очнувшись от дремоты, стала торопливо благодарить ее:

— Я бы проспала, Ружена, ты меня выручила.

— Ты вся горишь,— сказала Ружена,— об тебя можно спички зажигать. А руки как лед. На, возьми мой шарф. Погоди, я повяжу. Не бойся, не задушу.

МРАЧНЫЕ ДНИ

В страстной четверг Ондржей Урбан сошел с поезда на станции Нехлебы и направился в город. Он был в отличном настроении человека, у которого только что начался отпуск. В руке Ондржей

держал новенький фибровый чемоданчик с подарками для матери и сестры. Ему было холодновато в новом светлом габардиновом пальто, купленном вчера в улецком универмаге. Но эта маленькая неприятность только повышала его жизненный тонус, и он вышел на грязное нехлебское шоссе твердой деловой походкой, какой казмаровцы ходят, даже когда ничем не заняты. И почему только не асфальтируют нехлебское шоссе! Хозяин прав: транспорт — наше слабое место.

Ондржей перешел через мост, по которому они когда-то ехали на фордике. Но тогда была зима, а сейчас река текла быстро, в ее мутной от весеннего паводка воде неслись сухие ветки и клочья прошлогодней травы. Сиял светлый мартовский день; весеннее солнце и студеный северный ветер словно спорили между собой. На другом берегу он узнал фабрику Латмана — двухэтажное закопченное здание со старомодным лепным фасадом. В его воспоминаниях она выглядела грандиознее. Там работает Поланский из деревянного дома, где Ондржей когда-то провел рождество. Немалый жизненный путь прошел с тех пор Ондржей Урбан. Тогда он вел себя как глупый мальчишка... Подавился рыбной костью... Кто бы подумал, что этакая глупость так надолго запомнится. Ладно, если пани Гамзова до сих пор придерживается обычая встречать праздники в Нехлебах, она уже не узнает смущенного мальчика в этом солидном молодом человеке, который завоевал себе прочное положение в жизни.

От станции Нехлебы до Верхних Нехлеб, где стоит деревянный дом семьи Гамзы, меньше часа ходьбы. Если он даже не застанет там никого (минутами Ондржею хотелось этого), ему полезно будет размяться в ожидании следующего поезда, пройтись, поговорить с Поланской. А к вечеру он уже приедет в Прагу. Ведь Нехлебы по дороге, а когда еще доведется ему попасть сюда!

Перейдя через мост, Ондржей зашел в трактир. Он не ел с утра и очень проголодался. На пороге Ондржей в нерешительности остановился. Холодное помещение было полно женщин в шерстяных платках. Они сидели друг возле друга на лавках и молчали. Рядом лежали сумки и судки с обедом. Жалкое зрелище по сравнению с американизированной рабочей столовой в Улах. Ни на одном столе не было стаканов. Ондржей заметил, что изо рта у сидящих шел пар: весна еще только начиналась, и было холодно.

Женщины сидели тихо, ни одна не произнесла ни слова. Это странное молчание стало особенно гнетущим, когда все взоры обратились на молодого человека в красивом, очень светлом летнем пальто, с фибровым чемоданчиком в руке и в ярких коричневых полуботинках, которые он заботливо обтер на пороге. Ондржей вошел, сопровождаемый насмешливыми, безмолвными, злыми

Люди на перепутье

взглядами. В глубине помещения открылась дверь, и трактирщик крикнул гостю: «Идите сюда, к нам, там замерзнете!» Он пропустил Ондржея вперед и закрыл за собой дверь.

В небольшой кухоньке за столом сидел приземистый мужчина с синими жилками на лице, крепко держа в руке ложку. Нагнувшись над тарелкой, он не торопясь ел суп. Хозяйка, черная, гладко причесанная быстроглазая женщина, поднялась из-за низкого столика, подошла к плите, взяла поварешку и налила Ондржею тарелку теплого, вкусно пахнущего супа. Затем она отрезала от каравая ломоть хлеба, прикрыла каравай салфеткой и поставила перед гостем дымящийся суп. Ондржей спросил, что происходит в помещении рядом.

— Там греются,— ответил трактирщик.

Ондржей слегка поднял брови и вопросительно улыбнулся краем рта этой плохой шутке.

— Фабрика сегодня не дает в квартиры пар,— пояснила хозяйка.— Не поладили. Будет стачка.

— Ты сейчас же — «стачка»! — вмешался трактирщик.— Ведь еще работают. Идут переговоры.

— Заставляют людей работать, выбиваясь из сил, как в старое время,— сказала хозяйка Ондржею.— Да только где там, нынче рабочий не стерпит этого.

Ондржей недоверчиво посмотрел на нее. Следуя правилам казмаровца, он предпочитал молчать и слушать. Казмаровцы — скрытный народ. Приземистый мужчина с синими жилками на лице положил ложку, вытер усы и отодвинул тарелку.

— Хотят, чтобы один рабочий работал за двоих...— начал он рассудительно.

— А для этого надо держать одну молодежь, быструю на глаз да легкую на руку,— быстро вставил трактирщик и убрал тарелку.

— Дело в том, что они хотят избавиться от неугодных,— вмешалась хозяйка.— Это все Гурих, я его знаю, пан Хлумецкий! Я ведь работала на фабрике. Говорю вам, он там самый вредный человек. Уволит людей и едет на курорт поправляться!

Ондржею стало неприятно, словно здесь посягали на Казмара.

— Не болтай зря, главный инженер здесь ни при чем,— поучал жену трактирщик, которому, видимо, не нравилось, что она болтает при чужом человеке.— Дело не в одном человеке. Это теперь происходит всюду, во всем мире. В этом машины виноваты.

— А зачем он накупил столько машин? — не уступала жена.— Пан Хлумецкий, вы видели новые крутильные машины? Одна такая, что в улице не поместится! Весит бог знает сколько тонн. Два года назад там все оборудование заменили. А почему? — Она

понизила голос.— Подмазали Гуриха в Градце на машиностроительном.— Она показала пальцами правой руки на ладонь левой, как Гурих брал взятку.— Пусть его Латман за это благодарит.

— Латман — это одно название,— сказал Хлумецкий.— Латман больше не владеет здесь ни одной катушкой.

Хозяйка кивнула.

— Хозяин всему пражский банк, а ему все равно.

— От этого и беда для всех,— заметил трактирщик.

— В Нехлебах раньше жилось отлично,— торжественно объявил Хлумецкий, оборачиваясь к Ондржею.— Ни в Захлуме, ни в Лоречке, ни в Скопе люди так не жили. Я, знаете ли, земледелец. Бывало, в субботу одних овощей продавал на несколько сотен.

— Люди хорошо зарабатывали, вот и покупали.

— А сегодня утром приходили ко мне хозяйки за молоком. Дайте, говорят, в долг, пан Хлумецкий, наши-то мужья уже не работают.

— Эх,— вздохнула хозяйка,— опять будет полно бедноты!

— Ну, дал им в долг, почему не дать. Нельзя же сразу отваживать людей.

— Завтра собирается рабочий комитет,— сказал трактирщик.

— Говорят, что сюда стягивают полицию,— прибавила хозяйка.— Готовятся к субботе, когда будет получка. Об этом толкуют все Нехлебы.

— Каждому интересно, чем все это кончится,— заключили все трое.

Ондржей поблагодарил, заплатил, попрощался и вышел.

В трактире одна из работниц подняла голову и сказала в общей тишине:

— Что же это? Время, а гудка нет.

Словно в ответ на ее слова, женщины встали, взяли сумки и судки, поправили платки и пошли к фабрике. Проходя Вокзальную улицу, они одна за другой поглядывали на церковные часы.

Фабричные ворота были заперты. Женщины попробовали открыть их, но тщетно.

— Закрыто, что же делать?

— А у меня там остался судок!

— Дуры мы были, что дали себя выманить. Надо было не уходить, как вчера. Черный правильно говорил: «После обеда останетесь с носом».

— Говорят, что еще возьмутся за тех, кто передавал судки с обедом через забор,— сказал кто-то.

— А что же, мы должны были оставить мужей голодными? — воскликнула пожилая работница.— И это республика!

Старый рабочий потянул ее сзади за рукав:

— Мамаша, образумься. Хочешь попасть в кутузку?

В группе рабочих молодой парень подтрунивал над женщинами:

— Ишь забастовщицы, революционерки, куда вам!

Другой положил ему руку на плечо:

— Именем закона, не болтайся под ногами!

Одна из женщин, лет пятидесяти, стараясь успокоить себя и других, советовала:

— Погодите, может, откроют через полчаса. Один раз так было.

Несколько работниц вошло в лавочку, где Ондржей покупал Лиде открытку с видом Нехлеб.

— На полкроны карамелек. Пососу от нечего делать,— язвительно сказала одна из женщин.

— Вы тоже будете за нас, пан Ружичка? — спросила лавочника другая.— Все Нехлебы на нашей стороне.

— Мне дайте сеточку для волос, хочу понравиться старшему мастеру,— крикнула на всю лавку толстая беззубая старуха.

Женщин охватила мрачная веселость, они начали покупать на всю свою никелевую мелочь. Так мужчины пьют с досады. «Заверните получше, мне далеко. Покупайте, девочки, покупайте, кто знает, когда мы еще увидим Нехлебы, ведь нашу фабрику заперли, и мы все живем за городом». Встревоженные ожиданием, не зная, откроют ли фабрику через полчаса, выбитые из привычной колеи, ошеломленные переменой, женщины оживились, словно от похоронной музыки.

Пять лет Ондржей не покидал Ул, а сейчас, только лишь высунув нос из «Казмарии», вздрогнул и отшатнулся: каким неприглядным показался ему окружающий мир! Может быть, по чистой случайности, но первое впечатление было тягостным. Толпа людей, униженных до положения стада, толкалась перед запертыми воротами — взволнованные женщины, хмурые, молчаливые мужчины. Они не поддавались возбуждению минуты и думали, что предпринять. Было еще по-весеннему холодно и неуютно. Серое небо, изможденные фигуры людей на грязной улице...

В неласковом свете пасмурного полудня отчетливо видна поношенная одежда, морщины, ввалившиеся щеки, узелки жил, мутные и горящие глаза, восковая кожа, бледные губы, лихорадочный румянец. Плохо здесь живется, много чахоточных! Со стесненным сердцем Ондржей зашагал вдоль фабрики, по дороге в Верхние Нехлебы.

Через старую кирпичную ограду он заглядывал в выбитые окна и заметил, что у Латмана до сих пор работают с трансмиссиями, нет отдельных моторов для каждого стана. Это удивило

Ондржея: ведь у Латмана такой специализированный ассортимент. Ткачи, сиротливо стоящие у ворот фабрики, произвели на него гнетущее впечатление. И в нем шевельнулась гордость казмаровца: у нас, голубчики, в Улах все иначе. Куда Латману до «Яфеты»!

«Латман и сыновья» — старая австрийская фирма, основанная еще в семидесятых годах. Мастер Тира в свое время хвастался, что в былые годы его фабрика поставляла пряжу Латману. Тогда это звучало как «поставщик двора». О Латмане Тира рассказывал совершенные сказки: художники там были французские и целый год только и делали, что придумывали новые рисунки для тканей. Латман поставлял галстучные ткани в Лондон, а оттуда они возвращались к нам под видом оригинального английского товара и находили сбыт в Вене, в Будапеште. То же самое происходило с тонкими китайскими крепами, которые Латман продавал во Францию. Он был аристократом текстиля. Его фабрика изготовляла модельные отрезы только для модников, снимающих модную вещь за год до того, как ее «начнут носить все». Да, Латман был фирмой с традициями, и Ондржей в свои первые дни в Улах немало слышал о его увядающей славе.

А что это была за история у «Яфеты» с Латманом? Говорили, что художник от Латмана тайком продал «Яфете» галстучные эскизы, а «Яфета» использовала их для поплиновых тканей. Как известно, галстучную ткань нельзя выпускать большим метражом, иначе к ней пропадет интерес и не будет спроса. В Праге, например, можно выпустить ее не больше трех раз по пяти метров. А «Яфета» со своими американскими темпами наткала по латманскому эскизу пропасть поплина, летние платья из него шли нарасхват, «Яфета» сбывала их сотнями. Латман подал на Казмара в суд за подделку, но адвокат Казмара Хойзлер сумел отбрехаться. В памяти Ондржея, бог весть из каких ее закоулков, вдруг вынырнул этот адвокат — пугало, что танцевало с Руженой на первомайском празднике в Улах.

Из нехлебской ратуши вышли два человека и зашагали через площадь наискосок, к Вокзальной улице, откуда шел Ондржей. Один, молодой, худощавый, без кепки, разговаривая на ходу, вскидывал голову, как молодой конь. Другой, ростом поменьше и покоренастее, видимо, уже пожилой, с серьезным видом поддакивал говорившему. В его движениях чувствовалась неторопливость деревенского жителя, хотя на голове у него была рабочая кепка. Обоих было издалека видно на площади с костелом, сберегательной кассой и памятником павшим на войне землякам. Жестикуляция долговязого вызвала мучительное воспоминание у Ондржея. Так иногда на водной глади, уже успокоившейся от брошенного в нее

камня, вдруг снова поднимается со дна давно осевшая муть. Ондржею было знакомо задумчивое, с правильными чертами лицо старшего пешехода: не Поланский ли это из деревянного дома? Нет, Ондржей поручиться не мог бы, ведь прошло столько лет. Но вот два спутника подошли поближе, и на сухощавом лице рослого парня блеснули зубы; Ондржей услышал знакомый молодой бас, взгляд глаз, воспаленных хлористыми испарениями, скользнул по Урбану. Первым побуждением Ондржея было обойти памятник с другой стороны и уклониться от встречи. Но почему, трус ты этакий? Ведь ты никогда ни у кого не украл и нитки, никогда не доносил на товарищей, чего же стыдиться? И в напускном спокойствии застенчивого человека, которое так похоже на высокомерие, Ондржей шел прямо навстречу обоим мужчинам. Итак, пропащий Франтек Антенна отыскался в Нехлебах! Он тогда, ни с кем не попрощавшись, исчез из Ул, не писал никому, как в воду канул.

Франтек тоже узнал Урбана, и они пожали друг другу руки.

— Ты все еще работаешь? — тотчас спросил Франтек, покосившись на чемоданчик. Ондржей перебросил его из одной руки в другую.

— Работаю. А что? — ответил он с деланной небрежностью и выдержал взгляд Франтека.

Франтек развел руками и свесил их вдоль длинного тела.

— Кризис! — коротко ответил он.

Тогда это было новое слово. Антенна произнес его с французским прононсом, выражая этим и констатацию факта, и отношение к нему.

— Ты в это тоже веришь? — проронил Ондржей чуточку спесивым тоном казмаровца.

— Послушай,— удивился Франтек,— ты что, с луны свалился?

— Я приехал из Ул.

Франтек переменил тему разговора, решив, видимо, не тратить больше слов зря.

— Ну, как поживает Лидушка Горынкова? — Он принял былой приятельский тон.— Все еще так же хороша?

— Спасибо, хорошо поживает,— многозначительно и чуточку по-хозяйски ответил Ондржей, сдерживая самодовольную улыбку.— А ты как?

Франтек по-актерски поднял брови.

— Работал тут у Латмана, в красильне. Только что вернули мне документ, еще теплый, можешь попробовать.

Ондржей стоял ошеломленный.

— Нас ждут, Франтек,— положив ему руку на плечо, сказал

человек с задумчивым лицом, который во время разговора стоял в стороне и молчал.

Но Франсек был такой же балагур, как и прежде.

— Да, друже, *куништюки,* как у вас на Первое мая, мне тут не разрешают. Здесь классовая дисциплина! Поланский,— он показал на своего спутника,— держит меня в ежовых рукавицах. Крепкий хозяин. Куда против него Казмару!

На суровом лице его спутника появилась улыбка.

— Так вы, значит, Поланский, из дома, где живут Гамзы? — воскликнул Ондржей и сообщил Поланскому, кто он и куда идет.— А я все на вас смотрю и не могу решить, вы это или нет.

— Поланских в нашем краю как собак нерезаных,— сказал рабочий.— Но я, верно, тот самый Поланский. Мне ваше лицо тоже показалось знакомым. Если вы идете к нам, скажите там, что нас обманули и закрыли фабрику, чтобы заставить нас уступить. Но это не поможет. Моя старуха пусть меня раньше вечера не ждет: в пять у нас переговоры с хозяевами, а потом сами будем совещаться, на это уйдет время.

Ондржей задал ему вопрос, в Нехлебах ли сейчас Гамзы. Поланский на ходу обернулся и ответил: да. Затем он и Франсек ушли к товарищам, в сторону фабрики.

Домики под толевыми крышами долго тянулись вдоль дороги. Белоголовые девочки нянчили братишек и глядели вслед прохожему грустными синими глазами. Куры рылись в рыжей прошлогодней траве. Остатки грязного снега виднелись на поросших густым лесом косогорах. Старухи с вязанками хвороста на спине выходили из лесу и шли к бедному городу. Рабочий в желтых очках бил молотком на дороге щебень. Воздух был холодный, земля еще не проснулась от зимней спячки.

Ондржей еще в поезде слышал жалобы на безработицу, тема эта заполняла газеты. Надвигалось большое бедствие, подобное войне, эпидемии, параличу. Нет, Ондржей не хотел ничего знать об этом, он квалифицированный рабочий, ему во всем везет, зачем задумываться?

У Лиды Горынковой вернулся из Америки дядя. Странный он был, этот американский дядюшка. Вошел к ним в дом вечером, чтобы не увидели соседи, этакий застенчивый пожилой человек со свертком в руке. Багаж, мол, придет позднее. В кармане у человека оставалось несколько центов и французских су. В улецком банке только посмеялись над этой мелочью, и «американец» подарил ее на память младшему брату Лидки. Мальчику больше всего понравилась монета в двадцать пять сантимов с дырочкой. Лидка выстирала дяде рубашки и воротнички, которые он привез завернутыми в английские газеты, и вместе со всеми родичами разгля-

дывала под лампой фотографию незнакомой американской тети и двух хорошеньких мальчиков. Кроме этой фотографии и никелированных часов, ничего не привез с собой застенчивый человек с голубыми глазами на загорелом лице. А багаж все не шел, багажа все не было. Вы ведь знаете старого Горынека, какой это добряк. Сердитый он бывает, только когда его мучает нога, которая обгорела у него во время пожара в тринадцатом цехе. Но на приехавшего младшего брата он косился: не совершил ли тот какого проступка в Америке; похоже, что его выслали оттуда по этапу. Горынек — «американец» — попытался объяснить ему, в чем дело. Он говорил с трудом и на каком-то странном языке: чешский он позабыл, а английского не выучил как следует. За океаном живется плохо, нет бизнеса, заработков никаких, образованные люди и разорившиеся богачи попали в ряды безработных, продают яблоки перед биржей, *джоба* [1] не найдешь, иностранцев увольняют и на *шипах* [2] отправляют на родину. Вот и ему пришлось вернуться в Европу в поисках работы, оставив в Чикаго жену и своих *бойз* [3]. И он нашел работу у Казмара. Правда, в Америке он был столяром на электрозаводе, был у него загородный домик и фордик, а сейчас работает землекопом на улецком шоссе. Но и это лучше, чем ничего.

Ондржей не верит в бога, он не интересуется Марксом, не знает Ленина. Но Казмар для него герой и апостол. Кризис, ребята,— это как болезнь испанка, часто говаривал Казмар: кто ее боялся, тот от нее и помер, а кто не робел, того она не тронула. Испокон веков неспособные люди ссылаются на трудности. Кризис — это отговорка для неудачливых предпринимателей, подушка под ленивые головы. А мы здоровы, мы не боимся и не уступим.

Антенна обошелся с Ондржеем, как с маленьким, что, мол, с ним разговаривать. Франце с Поланским спешат, им недосуг, у них свои заботы. Хлопот по горло.

Не с того конца взялся Франце, вот и испортил себе карьеру в Улах.

От образка на перекрестке надо свернуть налево, к Верхним Нехлебам. Перед Ондржеем маячил путник, обычно встречающийся на всех дорогах; в одной руке посох, в другой — котомка. Он шел среди яблонь, клонившихся к земле, словно под тяжестью плодов. И только светло-голубая дымка вокруг похожих на скелеты голых деревьев и над кладбищем говорила о весне. Какая тишина! Проскрипели колеса телеги, спускавшейся с верхнего по-

---

[1] Работы (от *англ.* job).
[2] Пароходах (от *англ.* ship).
[3] Мальчиков (от *англ.* boys).

ворота, и снова стало тихо. Казалось, слышно было, как роются в земле кроты, как тает темнеющий снег, как текут под ним ручейки. Быки, пятнистые, как географическая карта, медленно тащились в гору. В их выпуклых глазах отражался еще не расцветший край. Перед первой хатой люди красили ульи, похожие на свайные постройки. Над обрывом сидел паренек и плел из ремешков кнут.

О, утраченные радости Льготки! Пение циркулярной пилы напоминало Ондржею о более прозрачном горизонте, чем мертвенное небо, висевшее над Нехлебами. Где-то в деревне жгли пырей, и дым свивался в черное воспоминание о пожаре в тринадцатом цехе.

Гуси вытягивали шеи и шипели на пришельца. У них были такие тусклые и сизые глаза, словно их уже зарезали. Нехлебские собаки метались за заборами, исходя яростным лаем. Особенно их волновал чемоданчик Ондржея. Из домиков выходили женщины в платочках и выплескивали из ведер грязную воду таким резким движением, как будто хотели отогнать чужака.

Наконец, свернув с дороги, Ондржей, такой нарядный, одетый с иголочки, очутился у ворот деревянного дома, который показался ему до неузнаваемости ветхим и почерневшим. Этот дом, еще темный от сырости, вынырнувший словно из волшебной сказки, сидел на мели сада, похожего на пруд, из которого выпущена вода. Ондржей пришел показать, чего он добился в жизни, какой из него вышел дельный парень и независимый человек. Ему вдруг стало жарко, и он поставил чемоданчик на землю. Сердце у него стучало так, что даже отдавалось в голове, будто ему снова было пятнадцать лет. Он поднял руку к старенькому, позеленевшему звонку и нажал его. Сейчас должен послышаться хриплый собачий лай, который неизменно следовал за звонком.

Но было тихо, ничто не шевелилось. Ондржей позвонил еще раз — ни одна живая душа не появилась. Сквозь решетчатую ограду из сада Ондржей видел метелки кустарника, кусты роз в соломенных чехлах, бочку под водосточной трубой. Заметив пустой гараж, он почувствовал непонятное облегчение при мысли, что, может быть, Гамзы все-таки не приехали, что Поланский не понял вопроса и Ондржей будет избавлен от мучительной неловкости, которая охватит его, когда он окажется лицом к лицу с пани Гамзовой, ради которой он пришел сюда. Думая обо всем этом, он просунул руку сквозь решетку, как это делал Станислав, и взялся за ржавый засов. Засов заскрипел, подался, и Ондржей вошел, перешагнув через пустой шланг, валявшийся на дорожке. Он заметил, что на него смотрят. За немытым окном первого этажа виднелось большое лицо, старое, как зима, сердито смотревшее на

пришельца. Оно смотрело так же, как и в первый раз, когда они вечером подъехали к освещенному дому, как и всякий раз, когда они со Станиславом возвращались с прогулки, как и в последний раз, когда выносили Неллину мать, старую пани Витову — капитана этого корабля. Дом обветшал, опустел, стал нежилым и неуютным, но старуха не изменилась. Такие же у нее были каменные глаза и неприветливое мужское лицо. Казалось, что все эти пять лет прабабушка не отходила от окна, как преданный страж. Она не ответила на приветствие Ондржея, ничего не изменилось в ее лице, она лишь беспомощно и недоверчиво проводила глазами этого «вора», который шел по лесенке и через террасу.

Двери дома были полуоткрыты, коридор загорожен растрескавшимся столом для пинг-понга. На столе лежал потрепанный полосатый садовый зонт (Ондржей видел такой у Выкоукалов, женщины в пляжных костюмах завтракали под ним в саду) и стоял цветочный горшок — так близко к краю, что казалось, он тотчас же упадет на пол, как только где-нибудь от сквозняка хлопнет окно. Здесь пахло ушедшим летом, как в кегельбане, и засохшая глина крошилась и скрипела под ногами Ондржея, обутого в новые светло-желтые полуботинки.

Кто-то локтем отворил дверь напротив, что вела в кухню и в погреб, оттуда выбежал черный козленок и замер, словно стоя на цыпочках. У него была остренькая мордочка и косые глаза колдуна. За ним шла Поланская и несла в фартуке цветочные луковицы. Ондржей быстро пошел ей навстречу, назвал свое имя, напомнил о первом приезде, осведомился о Станиславе и спросил, как ей жилось в эти годы.

— Нынче не то, что при старой хозяйке. Уж никто не будет гонять нас, как она... Как же, как же, они приехали,— продолжала она, отвечая на вопрос Ондржея.— Идите наверх, Станя будет рад.— И, пытаясь вытереть ладонь, чтобы поздороваться с протянувшим ей руку Ондржеем, она выпустила край передника, и луковицы посыпались на пол.

Козленок потянул воздух носом, его глаза с узкими зрачками оживились, он обрадовался беспорядку и начал прыгать вокруг Поланской, которая опустилась на колени. Ондржею не оставалось ничего, как поставить чемоданчик и помочь собирать луковицы, что он считал немалой своей заслугой, ибо на нем было новое светлое пальто. Козленок, разбежавшись, боднул снизу стол и уронил цветочный горшок. Пани Поланская шлепнула козленка.

— Ах, безобразник! — воскликнула она, собирая черепки.— Нет от него покоя! — Она сердилась только для виду, как сердятся матери на озорных детей.— Золовка нам прислала его к праздникам,— продолжала она, залезая под стол, чтобы собрать закатив-

шиеся луковицы.— Ходит он за мной, как собачонка, а завтра его надо вести к мяснику. Мне и подумать страшно. Я этого мяса и кусочка в рот не возьму. Но что поделаешь, мужчинам нужно мясо,— заключила она, подняла последнюю луковку, встала и стряхнула с себя пыль.

Ондржей сообщил ей, что передавал Поланский: после обеда фабрика не работает, рабочих хотят вынудить к уступкам, но они стоят на своем. Поланская как-то встрепенулась.

— Ну, Вацлав знает, что делает,— отчужденно сказала она.— Спасибо вам. Проходите наверх, здесь, в столовой, не топят с тех пор, как умерла хозяйка.

Лисица все еще окрашивала кровью снег сибирского пейзажа, и из дула ружья охотника по-прежнему вился дымок. Картина эта, связанная в воспоминаниях Ондржея с минутой стыда, висела в передней на том же месте, маленькая и старомодная. Ондржей мысленно измерил то расстояние, которое он прошел в жизни за время, пока коробилась рама этой картины и тускнело зеркало на противоположной стене передней. Одетый, как манекен с витрины, Ондржей отразился в стоячей воде этого зеркала. Стараясь не споткнуться о свернутые ковры, он ступил на застонавшие ясеневые ступени. В передней и на лестнице пахло, как в старой беседке. Где-то беспокойно скрипело открытое окно. Сквозняк носился по дому, где все говорило о переменах. Ондржей с болью в душе вспомнил свое давнее мучительное расставание с Льготкой.

— Ах ты, чертенок! Иди, иди, проваливай! Ты что думаешь: тут все для тебя, жулик ты этакий! — раздался внизу голос Поланской, журившей козленка. Сверху послышался молодой тенор. Явно пародируя, он пел какую-то итальянскую арию. Певец, видимо, что-то делал и двигался по комнате. Ондржей пошел на голос.

В верхнем коридоре валялись мужские туристские ботинки, обросшие грязью, они лежали на том месте, где были брошены хозяином. Голос раздавался за дверью. Ондржей постучал, пение прекратилось, слышалось шипение огня. Ондржею крикнули: «Войдите!»

С дивана привстал, вопросительно и неприветливо глядя на дверь, немного поседевший Гамза; глаза у него остались все такие же дикие. Рослый молодой человек в рубашке и поношенных спортивных брюках шел от окна, держа в руке копировальную рамку (Ондржей вспомнил, что в доме Гамзы вечно фотографировали). Потолок казался слишком низким для этого стройного юноши, такого солнечно белокурого, что вспоминались фрукты, выросшие на южном склоне горы. В комнате царил беспорядок: пахло дымом, кожей, тминной водкой и книгами. О женщинах не было ни слуху ни духу.

Еще много лет назад, когда Ондржей впервые увидел Станислава, его поразило, каким светлым был весь облик мальчика. Новый, взрослый и все же неизменный Станислав, с тонким девичьим, чуть вздернутым носом, остановился и поглядел на вошедшего человека, похожего на коммивояжера. Всмотрелся еще раз, отложил рамку, подошел к Ондржею, взял чемоданчик у него из рук и проговорил незнакомым мужским голосом, сердечно и запросто, словно они вчера расстались:

— Снимай пальто, Ондржей. Садись, пожалуйста, вот сюда на стул.— Он снял со стула стопку отпечатанных на ротаторе лекций и положил ее на стол.— И будь как дома. Мы с отцом здесь одни хозяйничаем. Неплохой у нас туристский лагерь?

Станислав говорил преувеличенно бодро и весело. В нем жила прежняя потребность ладить с людьми, он старался заразить радушием и своего отца, но это как-то не удавалось.

— Урбан был для меня героем, папа. Я от него не отходил ни на шаг. Ондржей,— со смехом продолжал Станислав,— наверно, я изрядно надоедал тебе тогда, а?

— Наоборот,— сконфуженно ответил Ондржей. Ему было неудобно сидеть на краешке стула, в нем вновь воскресло недоверие к этим «дачникам»; лицо Ондржея стало напряженным.— Но в Улы ты вслед за мной все-таки не поехал! — добавил он, принужденно улыбнувшись.

— Нет, не поехал! — со смехом сказал Станислав своим новым, мужским голосом.— Я никчемный человек. Пока что сражаюсь тут со старославянским.

Гамза молча пожал Ондржею руку, посмотрел на него в упор — от этого взгляда даже казмаровцу стало не по себе — и так же молча протянул ему раскрытый портсигар.

— Спасибо, я не курю,— сдержанно поблагодарил Ондржей и понял, что Гамза считает его ханжой. Ондржей знал такого рода людей, у которых о нем создавалось неправильное представление. Он попал в львиное логово. В мечтах мы переделываем действительность на свой лад, и, мечтая о Нехлебах, Ондржей не вспоминал о Гамзе. Нет, не на такой состав обитателей деревянного дома рассчитывал Ондржей, отправляясь сюда. Он знал, что Гамза, появлявшийся здесь раз в год по обещанию, потом снова куда-то исчезал, словно уходил в неведомый мир; он был вечно отсутствующим, почти условным персонажем. А теперь вот он торчит тут, наполняя комнату беспокойством, живой и неотвратимый, в пестрой холщовой куртке и спортивных чулках. Гамза ходит взад и вперед, Ондржей видит его лицо и затылок. Гамза висит над тобой, как туча, а Станислав тем временем расспрашивает тебя об

Улах, на его лице внимание хорошо воспитанного человека, и больше ничего... Нет, раньше было не так, что ни говорите!

И действительно, Станя, мальчик, которого Ондржей держал когда-то в руках и мог в любой момент обидеть даже пустяком, вроде отказа от прогулки, теперь удивленно смотрел на степенного и чем-то раздраженного молодого человека, говорившего со старательным соблюдением правил грамматики. Станислав ощутил всю тягость свидания после долгой разлуки. Ондржей ощетинился, как еж, и его лаконичные ответы служили обороной от вопросов, которые казались ему обидными. Обоим было неловко, и это чувство усиливалось. Казалось, что они целую вечность торчат в этой комнате с разбросанными бумагами и пепельницами, полными окурков, а между тем Гамза даже не успел докурить папиросы и вода еще не закипела на спиртовке, стоявшей на столе рядом с фотованночкой, кульком сахара и вешалкой для костюма. Мучительное состояние усиливал шум электромотора, напомнивший о былых временах. Дом все еще казался кораблем, но его мужской экипаж со своими свитерами и бутылкой спиртного перебрался на верхнюю палубу, и это наводило на мысль, что корабль дал течь.

Что же такое случилось? Где женщины? Куда вы их спрятали, где пани Гамзова? Где женщины, которые умеют удивляться мелочам и делать так, что воздух, который вы вдыхаете вместе с ними, становится мягче, женщины со светлыми глазами, высоким голосом и обнадеживающими улыбками, женщины, которые с лестным для вас любопытством расспрашивают обо всем, чем вы хотели бы прихвастнуть, женщины, незаметно поднимающие вас на такую высоту, что вы сами будете дивиться тому, как слабы они и как широк горизонт и велики наши преимущества? Что же такое сделали вы с Неллой Гамзовой, почему ее нет здесь?

Ондржей заставлял себя вести беседу и все не решался спросить о Нелле. Еще в детстве ему трудно было произносить ее имя, а сегодня... бог весть что с ней сделалось, может быть, она уже не Гамзова и носит другую фамилию. Эта мысль испугала Ондржея. В нынешние неустойчивые времена все могло произойти. Эти двое небритых мужчин в туристских костюмах были какие-то странные, хозяйничали тут одни, и что-то, видимо, угнетало их.

Станислав встал, открыл жестяную коробку с изображением китаянок и всыпал ароматный чай в закипевший чайник. Ондржей выбрал этот момент для попытки окольным путем выяснить, где женщины, и произнес с тревожно бьющимся сердцем:

— Тебе сестренка не говорила, что мы виделись с ней в позапрошлом году на Первое мая в Улах? Как она поживает? Ее нет здесь, в Нехлебах?

Станислав, не поворачивая головы, метнул быстрый взгляд на отца, потушил спиртовку и сказал, как показалось Ондржею, небрежным тоном:

— Елена уже почти врач, сдала экзамены. Она переутомлена и поехала отдохнуть в Словакию. Елена...

Но Гамза подошел близко к Ондржею, остановился перед ним и постучал пальцем себе по груди.

— Туберкулез,— резко и недружелюбно сказал он.— Она в Татрах, в санатории.— Эти слова прозвучали сухо и отчетливо, будто Гамза кому-то мстил.— Жена с ней...

Он махнул рукой и отвернулся. Этот жест и выражение его лица говорили, что хлопоты, утешения и болтовня — все это ни к чему.

— Ну, значит, все в порядке! — вырвалось у Ондржея. Станислав удивленно взглянул на него. Наверно, он подумал, что Ондржей спятил. Камень свалился с сердца Ондржея, и он готов был обнимать адвоката. Не из сочувствия к беде с его дочерью, а потому, что Нелла Гамзова не ушла от этого неприятного, мешавшего Ондржею человека. Как нелогичны бывают люди!

С радостью спасенного, с таким усердием, словно это могло обрадовать Гамзу, Ондржей начал рассказывать обо всем, что видел, проходя по Нехлебам. Станислав тем временем вынул из фиксажа какие-то снимки и, показывая их отцу, говорил, что они недодержаны. На снимках была рабочая демонстрация около фабрики Латмана и какой-то расчетный листок. Ондржей понял, что эти фотографии нужны Гамзе для левого журнала. Тем же веселым тоном, совершенно неподходящим для такого известия, Ондржей сообщил адвокату, что фабрику только что закрыли, прихвастнул своим знакомством с Францеком Антенной и вообще вел себя, как любитель сенсаций.

Гамза выслушал его, не делая никаких замечаний, снял пеструю куртку, надел пальто, взял кепку, висевшую на оконной ручке, сказал Станиславу, что берет его велосипед, и вышел.

Ондржей счел это знаком того, что и ему пора уходить.

— Отец убит болезнью Елены,— сказал Станислав, как бы желая этим оправдать неприветливость Гамзы, и удержал Ондржея на стуле,— Елена была его любимицей... то есть что я говорю! Она и сейчас его любимица!

Он вскочил, глотнул крепкого горячего чаю и снова сел. Как только за Гамзой закрылась дверь, Станислав ожил, стал беспокойным, будто присутствие отца его сдерживало. В волнении Станислава было что-то женское, хотя он и употреблял грубые выражения, которых не позволял себе Ондржей, культурный рабочий, находившийся в чужом доме.

— Она выздоровеет, наверняка выздоровеет,— твердил Станислав, уверяя самого себя.— Но на это понадобится время. Пока что с ней дело плохо.

— Такая спортсменка! Когда я видел ее в последний раз в Улах, она выглядела отлично.

— Елена-то? По десять часов ходила на лыжах. Я уже еле шел, а она как ни в чем не бывало. В марте переплывала Влтаву и вообще выкидывала всякие такие ухарские штучки. В жизни с ней ничего не случалось. Но как раз когда она была с Хойзлером у вас в Улах, она там промокла или что-то вроде, черт его знает, а потом перенесла почти на ногах этакое скверное затяжное воспаление легких. Коварная штука — человеческий организм! Но что бы там ни говорили врачи, а подлые бактерии могут одолеть человека, только когда он пал духом. У Елены, мне кажется, было тогда нехорошо на душе,— нахмурившись, быстро сказал Станислав.

Ондржей снова поднялся.

— Посиди, у тебя еще много времени. Я потом проведу тебя кратчайшим путем. Что тебе делать так рано на вокзале? А если опоздаешь на один поезд, поедешь другим.

— Хорошо вам, студентам, у вас целый год праздники,— немного свысока пошутил Ондржей.— А наш брат рабочий...

Станислав, юноша с девичьим носом, посмотрел на Ондржея и улыбнулся одними глазами, как его мать:

— Я было решил вначале, что ты очень сильно изменился. А теперь вижу, что ничего подобного, ты тот же. Все так же заставляешь себя упрашивать и все такой же гордый,— сказал он.

На лице Ондржея появилась самодовольная улыбка, постепенно перешедшая в добродушную мальчишескую.

— Узнаешь? — спросил он, вынимая из кармана электрический фонарик старого образца, зажег его и снова потушил. Это был «Эвер-реди», который мальчик Станя когда-то подарил Ондржею в минуту радости, после примирения родителей. Ондржей никогда не узнает этой подоплеки.

— Ты его до сих пор хранишь? — весело воскликнул тронутый Станислав.— Ах ты барахольщик!

— Барахольщик? Что это?

— Так мы — я, Елена и мама — называем этаких исправных людей, которые очень берегут свои вещички.

Ондржей покраснел до корней волос. Он встал и положил фонарик на стол, как бы возвращая его хозяину.

— Вы правы,— холодно сказал он, и этот тон странно гармонировал с его запылавшим лицом.— Вы совершенно правы. Да, я берегу свои вещи. Для меня они дороги. Кто сызмальства все имел в достатке, тот никогда этого не поймет. Я берегу свои вещи, при-

ходится беречь. Скажу тебе, Станя, прямо: все, что сейчас надето на мне,— он дернул себя за пиджак,— и все, что со мной,— он толкнул ногой чемоданчик,— пусть здесь немного, я не говорю, что я богат, но все это мое собственное, на все это я зарабатываю сам. И на еду, и на жилье, и на поездку, и на книги, которые я читаю, и на развлечения,— Ондржей взволнованно повышал голос, не давая Станиславу возразить,— на все это от начала до конца я добыл себе сам, вот этими руками. Мне некого за это благодарить, только себя самого, больше никого...

— Я знаю, да, да,— твердил подавленный Станислав, не глядя на Ондржея, смущенный его преувеличенно резким ответом на шутку, которой он неумышленно обидел гостя.— Никто у тебя не отнимает этого, чудак.

Ондржей не слушал его:

— У меня не было отца, который послал бы меня учиться и ждал, пока я закончу ученье...

— И не получу работы,— вставил Станислав, уже начинавший сердиться.

— Я приехал в Улы без гроша. Кто этого не испытал, тот ничего не понимает. А некоторые интеллигенты разглагольствуют о рабочих правах, а сами живут в виллах...

— Которая, кстати, уже не наша,— быстро докончил Станислав:— А жаль, я люблю этот дом. Но дело сейчас не в этом. Вот что я тебе скажу: я аполитичный человек, общественная деятельность меня пугает, всякая партийность кажется мне шорами на глазах. Всякая. Но моего старика ты не обижай. Отец — честный человек, он всю жизнь не изменял своим убеждениям... А то, знаешь ли, чего доброго, можешь и по зубам получить.

— Попробуй,— недобро усмехнувшись, сказал Ондржей и, встав в позу боксера, сделал выпад против девичьего носа. Станислав отразил выпад, но получил удар в подбородок. Они топтались на месте, наскакивали один на другого и молча обменивались ударами. Персидский ковер старой пани Витовой, на котором хозяйка не терпела даже загнутого края, весь сбился под ногами хозяина и гостя, а внизу, в передней, где висела картина с охотником и лисой, дрожали подвески на лампе; Ондржею было приятно постоять за себя кулаками в доме, когда-то осрамившем его рыбьей костью. Ловкий Станислав тоже разозлился и вошел в раж. Их толкала друг на друга не только молодость и честь, но и весна, врывавшаяся в полуоткрытое окно прокуренной комнаты.

Прекратив потасовку, они разошлись и отвернулись друг от друга. Ондржей ощупывал ушибленный сустав, Станислав вытирал кровь с губ. Оба, еще тяжело дыша, оглядели комнату, и по их возбужденным лицам пробежала улыбка. Они стеснялись друг

друга и скрывали это. Ондржей нахмурился, поправил ногой ковер и взялся за пальто. Станислав заговорил первым.

— Вот видишь,— сказал он, уже глядя на инцидент со стороны, как это умеют интеллигенты,— женщины, встречаясь после долгой разлуки, лезут целоваться, а мы с тобой подрались. Поверь, Ондржей, я ничем не хотел тебя обидеть.

— И я вас тоже,— ответил Ондржей, и у него неожиданно стало легче на душе.— Ты, может быть, будешь смеяться, Станя, потому что вы ко всему относитесь легче. А у бедняка нет ничего, кроме чести. Это звучит по-книжному, я знаю. Но я с малых лет чувствую это, я вечно настороже.

— Верно,— подтвердил Станислав.— В этом сказывается то, что мы выросли в разных условиях, от нас не зависящих. Но для того мы и люди, чтобы договориться между собой, не правда ли?

И когда молодые люди шли молча по дороге к вокзалу, куда Станислав провожал Ондржея через буковый лес,— это уже было хорошее молчание. Его сразу отличишь. По ритму шагов они чувствовали, что молчат вместе, а не порознь. Они шли в ногу и проникались солидарностью попутчиков. Станислав неожиданно спросил Ондржея:

— У тебя есть девушка? — и добавил с прямотой детей Гамзы: — У меня нет.

— У меня есть одна знакомая у нас в Улах,— с сознанием своего преимущества ответил Ондржей. Ему было приятно сообщить эту новость именно сыну Неллы Гамзовой.— Хорошая девушка. Мы поженимся, когда я отслужу свой срок в армии.

Станислав остановился, приоткрыв рот.

— Ого! — сказал он.— Что ж, мы и впрямь взрослые? — И, опасаясь, чтобы Ондржей снова не обиделся, торопливо продолжал: — Вот видишь, опять эта разница: ты уже сложившийся человек, а я, если не считать кое-каких дурацких статей в журналах,— Станислав сказал это очень быстро и покраснел,— еще ничего не сделал.

Ондржей не поинтересовался «дурацкими статьями», на что втайне надеялся Станислав, но напыжился по-казмаровски и спросил немного свысока:

— Ты бы хотел быть на моем месте?

— Меня бы от вас в два счета выгнали, я бы там все перепутал. Нет, не хотел бы.

— А я бы не хотел быть на твоем.

— Ну вот и хорошо,— засмеялись оба и двинулись дальше.

Ондржей спросил, что представляют собой университетские товарищи Стани. Станислав задумался.

— Трудно сразу сказать,— ответил он, подталкивая ногой камушек.— Они такие, как вообще все сейчас: беспокойные и лишенные душевного равновесия люди. Никто из этих парней не знает, каково его будущее, где он устроится, будет ли он работать в той области, которую сейчас изучает. А это, само собой разумеется, не усиливает в них тяги к труду. Все так шатко, так неустойчиво, так тягостно,— и ребята недовольны жизнью. Живется трудно, многие голодают уже сейчас, другие лодырничают, ссылаясь на дух времени. Так бывает всегда. Но каждый со всех ног бежит от самого себя, бежит в спорт, в политику, в клуб, в партию, на митинги — к правым или левым,— все равно это бегство. Сегодняшний человек очень боится одиночества и самоуглубления. Говорят, что все это обусловлено экономикой,— оживился Станислав.— Не верь этому, человек боится той обезьяны, которую он увидел в зеркале своей души, когда перестал стремиться к образу и подобию божию.

Ондржей не верил своим ушам.

— Ты католик? — осторожно и не без удивления осведомился он.

— Неверующий. Беспартийный и неверующий. Но я верю, что естествознание не объясняет всего человека, что каждый человек неповторим и что этот потрясающий факт не объяснишь внутренней секрецией. Наука до скончания века не доберется до этого, и слава богу... О чем, бишь, я? Да, наши ребята, безусловно, порядочнее относятся к своей компании, чем к девушкам, и девушки им платят тем же. Обе стороны это подкрепляют научными доводами и ссылками на фрейдовские «комплексы». Хотел бы я знать, Ондржей, сколько из тех случайных пар, что, сидя в кафе, болтают о своих чувственных сновидениях и таскаются со своими «комплексами» по дешевым отелям, сколько из этих людей, все сваливающих на старика Фрейда, действительно читало его труды? Психоанализ — это наука, специальное руководство, а ловкачи превратили ее в бутерброды и угощают ими балбесов до тех пор, пока тем становится противно жить на свете.

— Ты моралист? — спросил Урбан, придавая большое значение этому слову и не без злорадства интересуясь реакцией приятеля на вопрос. Он сам испытал, как горько молодому человеку быть среди товарищей *порядочным.*

— Снобизм мне противен,— ответил Станислав, пожав плечами,— мне претит, когда люди гоняются за чем-то, в чем у них нет нужды, и лишь зря пачкают себя. Не спорю, существуют и прирожденные бабники, и прирожденные проститутки, и никто не спорит, что это своего рода проклятие. Какой глупец захотел бы мешать поэту писать стихи или начал бы проповедовать вегетари-

анство тигру? Только вот что я скажу тебе, Ондра,— Станислав усмехнулся,— рабов страстей можно перечесть по пальцам. В большинстве же случаев — это обычные девушки, сбитые с толку эротическими теориями. И вот они бесцельно грешат то с одним, то с другим, не получая от этого подлинной радости. Только так, ради программы, чтобы получить удар от одного и залечить его другим. Говорят, у меня нет темперамента, я уже несколько раз об этом слышал. Что поделаешь — значит, нет. Но мне все это противно.

— Значит, ты еще не встретил свою избранницу. Чего нет, то может быть,— шутливо предсказал Ондржей.

— Знаешь,— не слушая его, продолжал Станислав,— в старые времена бродячие комедианты вывертывали суставы украденным детям, чтобы сделать их тело гибким. Мне кажется, что именно так, конвульсивно и насильственно, нынешние люди хотят вывернуть суставы основных человеческих отношений, на которых зиждется жизнь. Это делается умышленно, как будто они хотят отвыкнуть и отказаться от нормальных человеческих чувств. Все это связано с тем самым бегством от самого себя,— продолжал развивать Станислав свою идею, которой явно гордился.— Заметил ты это? Нынче люди почти стыдятся, когда муж и жена верны друг другу, когда дети уважают родителей, когда семья живет дружно, когда человек привязан к краю, где он вырос...

— Скажи, пожалуйста,— прервал его Ондржей, чувствуя, что было бы тактичнее подавить свое любопытство, но был не в силах справиться с ним,— вы, значит, продали свой дом? И кому же?

— Доктор Хойзлер, наш знакомый, покупает его,— ответил Станислав с деланным равнодушием, но по его лицу было заметно, что этот знакомый не очень-то ему нравится.

— Адвокат Хойзлер, юрисконсульт Казмара, муж той актрисы?

— Да, адвокат, и, по-моему, он ведет дела Казмара.

— А он покупает дом для себя?

— Не знаю,— сдержанно сказал Станислав.— Мне кажется, что для кого-то другого. Но оформляет на свое имя.

«Мне кажется», «по-моему», «не знаю» — экая неделовитость и безучастность. А Хойзлер — это прожженный делец, который избавил Хозяина от скандала с подделкой латманских тканей! Он обведет вокруг пальца этих детей и непрактичного Гамзу.

— А вы хорошо обдумали это? — несмело поинтересовался Ондржей. Кто спрашивает его мнения? И все же в нем заговорил казмаровец.— Дом стоит денег,— рассудительно добавил он.— Небольшие затраты — и из него вышел бы отличный отель или небольшой санаторий.

— Из нашего деревянного дома? — с грустной усмешкой возразил Станислав.— Нет, мы не можем ждать, дела плохи, братец мой, болезнь Елены стоит денег. Но лишь бы эти деньги спасли ее. Ничего не поделаешь, мы доживаем здесь последние дни.

И он стал оживленно расспрашивать Ондржея, долго ли тот пробудет в Праге.

Расставаясь, они условились, что до возвращения Ондржея в Улы обязательно встретятся еще раз: или в Праге — Станислав наверняка приедет к другу на Жижков, где они жили мальчиками,— или в Нехлебах, если, вопреки ожиданию, Гамза с сыном задержатся там до обратной поездки Ондржея в Улы. И хотя Ондржей не очень-то верил этим обещаниям, прогулка с товарищем была для него отрадным событием пустого нехлебского дня.

В пражском поезде Ондржей аккуратно повесил на крючок свое габардиновое пальто, чтобы оно не помялось и чтобы на него не попала сажа. Что-то стукнуло, и Ондржей нащупал в кармане старый фонарик, который он положил на стол, возвращая его Станиславу, и тогда же забыл о нем. Бог весть когда Станислав умудрился подсунуть его Ондржею обратно.

HAPPY-END[1]

Анна Урбанова мыла посуду,— пока вода не остыла,— ставила чашки дном кверху, чтобы высохли, и слушала рассказ сына об удобствах американизированной столовой в Улах. Не то чтобы она одобряла такую кухню: в самом деле, зачем ей нужна электрическая месилка? Но она молча внимала сыну, стараясь не упустить ни одного слова, чтобы повторить все это соседкам, с которыми она встречается в овощной лавке, и тем увеличить славу Ондржея.

Иногда Анна останавливалась, держа в руке крышку от кастрюли, и смотрела, как ест ее взрослый сын.

— Что же вы не сядете со мной, мамаша? — спросил Ондржей.

— Да я уж так привыкла,— ответила мать, и Ондржей подумал о том, как редко мать садилась есть вместе с детьми. Разве что в сочельник. Обычно она кормила их, и сама ела прямо из кастрюльки, присев на скамеечке у стены (ведь это избавляло ее от мытья трехсот шестидесяти четырех тарелок в год!). На ужин Анна довольствовалась кофе. Просыпаясь утром, Ондржей видел, что мать уже возится, разжигая плиту. В полдень Ондржей и Ружена прибегали, съедали обед, оставляли матери грязную посуду и опять убегали. Согнувшись, Анна мыла пол парадного хода, затоптанный

[1] Счастливая развязка *(англ.)*.

жильцами и посетителями. Стоя в облаках пара на холодных кафельных плитках (как красильщик Францек Антенна), она стирала чужое белье. Потом возвращалась домой к огню и к воде, к плите и корыту — работа, для которой нет воскресений: ведь и в самый большой праздник дети хотят есть. Многое заметит взрослый сын, вернувшись домой после многолетней разлуки, многое из того, что раньше он не замечал, хотя в доме ничего не изменилось: на столе клеенка все с тем же узором, только еще больше вылинявшая, у дверей все так же тикают часы с кукушкой, и в комнате пахнет цикорием. Боже мой, и вот так прошла ее жизнь! А как выцвели ее голубые глаза, как заметны стали в них жилки! Ондржей увидел это, когда мать повернулась лицом к свету. Она становится совсем старухой. «А любила ли она кого-нибудь после отца?» — впервые подумал Ондржей, возлюбленный Лиды.

Взгляд Анны стал менее острым, из ее движений исчезла напористость обиженной вдовы, она стала как-то медлительнее и смирнее. Она постарела. Ондржей не видел ее со дня похорон дедушки, когда приезжал в Прагу наспех и все было похоже на тяжелый сон. С тех пор мать состарилась, и в ней появилось какое-то странное довольство. Что еще радовало ее в жизни?

— Дайте я, мамаша,— сказал он и хотел взять у нее из рук лохань, но она не дала.

— Куда там, это не для тебя! — сказала она, привычным движением выплеснула помои в сток и опустила крышку. Поставив лохань под вымытый стол, она бросила в плиту сметенный с полу сор, захлопнула дверцу — этот звук был таким знакомым и домашним! — повесила полотенце сушиться, окинула взглядом свое хозяйство, вытерла руки, сняла синий фартук и надела белый, налила себе чашку кофе и села на свое местечко, на скамеечке у стены.

— Ну а что ты скажешь? — начала она.— Наша Руженка выходит замуж.— Она помолчала, словно желая дать ему время освоиться с новостью.— Мы тебе не писали об этом, пока было еще не ясно.

В Ондржее шевельнулась ревность брата, атавистическое чувство тех времен, когда после смерти отца судьбу сестер решали братья.

— А за кого? — спросил он суше, чем ему самому хотелось.

— Э, милый мой,— таинственно сказала мать, встала со своего места у стены и подошла к сыну так осторожно, будто боялась испортить подготовленный сюрприз.— Скоро наша Руженка станет важной дамой. И могу тебе сказать, что она будет на своем месте,— заговорила она.— Ружена этого заслуживает, она всегда была хорошей дочерью.

Анна Урбанова оперлась натруженными руками о покрытый клеенкой стол и нагнулась к сыну.

— Слышал ты об известном адвокате Хойзлере? Густав Хойзлер, у него даже аристократы в клиентах...

Ондржей строго и укоризненно ответил, что, как известно, аристократов у нас в республике уже нет и что он видел в Улах какого-то Хойзлера, но это явно не тот, ибо он годится Ружене в отцы (Анна Урбанова беспокойно заморгала) и, кроме того, женат.

— Уже больше не женат! — воскликнула мать, как бы защищая девушку.— И знаешь ты, кого он оставил ради нашей Руженки?

Помолчав, она вызывающе посмотрела в упор на Ондржея. В жизни он не видел у матери такого смелого взгляда. Потом она произнесла имя Власты Тихой.

— Это та знаменитая артистка из Большого театра, что всегда играет главные роли,— прибавила она, оценивая Ружену ценой побежденной соперницы. Наклонившись к сыну, она, пришептывая, как молельщица, и боязливо озираясь, начала рассказывать Ондржею, как счастлива будет дочь. Это счастье Анна выражала цифрами, назвать которые громко ей мешало благоговейное почтение к таинственной силе денег.

Ондржей видел, как у матери при разговоре верхняя губа покрывала нижнюю, и это придавало ей выражение человека, обиженного жизнью, видел, как напрягались сухожилия и набегали вены на ее похудевшей, вытянутой шее, видел сузившиеся от жадности зрачки и выцветшие глаза старого ребенка, восхищенного сказками о вкладах и процентах со сберегательных книжек. Ондржей словно слышал, как шушукаются, как сватают и сводничают женщины, и ему стало противно.

— Погоди,— сказала Анна Урбанова, подошла к крану, вымыла руки, дрожавшие от радостного возбуждения, и вышла в соседнюю комнату. Ондржей слышал, как она возится там, и опасался, что мать хочет показать ему фотографию жениха.

Анна Урбанова вышла из прохладной, чистой комнаты, у порога которой дети всегда разувались, чтобы не наследить, и где она не любила открывать окно, чтобы туда не нанесло пыли со двора. Она бережно несла перед собой черную шубу, от которой на всю кухоньку разнесся запах нафталина. Шуба, надетая на плечики, словно человек, шла перед матерью и закрывала ее лицо. В другой руке Анна сжимала небольшой овальный футляр. Она оглянулась.

— Занавеска задернута?

Положив шубу на стул, который она перед этим тщательно вытерла фартуком, Анна подошла к двери, заперла ее на ключ.

— Пойди сюда!

Она нажала кнопку — крышка футляра отскочила. На желтой бархатной подкладке лежала громадная бриллиантовая капля на цепочке. Мать протянула руку к Ондржею.

— Его подарок. Руженке на рождение,— произнесла она, как купец на ярмарке, и снова свысока смерила сына взглядом, как при словах об отвергнутой жене Хойзлера.— Настоящий! — подчеркнула она, когда сын продолжал молчать, и вопрошающе поглядела на него.

— Хм, красиво,— сказал Ондржей и отвернулся.

Мать подошла к нему с открытым футляром.

— Это не стекляшка,— настаивала она,— посмотри на фирму!

Ондржей не оборачивался.

— Я нарочно ходила справляться к Киршбауму,— продолжала Анна, понизив голос, и тем же шипящим шепотом исповедницы назвала цену.— Но прошу тебя, Ондржичек,— и она виновато улыбнулась,— не говори Руженке, что я тебе показывала это. Знаешь ведь, какая она бывает чудная. Подумает, что мы хвастаемся. А шуба...— И она поспешила к шубе, но Ондржей резко прервал ее.

— Скажите, он действительно женится на ней или это только так?

Мать остановилась с шубой в руке, держа ее перед собой, как щит.

— Что ты говоришь! — ужаснулась она.— Что ты только говоришь! Он на Руженку смотрит, как на святую. Видел бы ты их вместе. Первым делом он устроил ее манекенщей к Хорсту, чтобы ей не служить в мужской парикмахерской. А как только будет готов развод, они поженятся, и Руженка переедет к нему на Бубенеч. У него там вилла, его собственная, все его собственное... *У нее,*— презрительно сказала Анна об актрисе,— ничего своего не было (сын чему-то сдержанно усмехнулся). Такой порядочный человек! — горячо продолжала Анна.— Руженку боготворит. Они передо мной не таятся. Он меня уважает как мать.

Ондржей поморщился, как будто у него заболел зуб.

— А это он, наверное, подарил вам? — спросил он, быстро показав на шубу, и отвернулся.— Я уже видел, можете убрать.

— Правильно! — подтвердила мать, просияв.— Ты догадался? Это кролик,— сказала она и нежно погладила мех.— Но какой! Электрический! От котика не отличишь.— Она подула на мех.— А какова подкладка! Шелковый сатин! Ты ведь в этом и сам раз-

бираешься. Это он мне подарил к праздникам,— говорила она прочувствованно, подходя к сыну с подарком.

Ондржей больше не мог сдерживаться.

— А не сказали вы ему за это «целую руку»? — выпалил он. Мать уставилась на него.— Разве мы хуже, чем этот... ваш жених? Чему вы так угодливо радуетесь? Как можно так унижаться? Нет у вас ни капельки гордости!

Мать покраснела, вид у нее стал невыразимо жалкий: углы рта скорбно опустились, казалось, она вот-вот расплачется. Сын уже пожалел, что не сдержался, не промолчал: все равно ни к чему все это. Анна, однако, сразу подобралась, и лицо ее приняло сердитое выражение. Ондржей опасался, что она произнесет одну из тех возвышенных речей, от которых он убегал еще в детстве (но из которых все же, сам того не сознавая, кое-что почерпнул). Вот сейчас мать перечислит все свои жертвы и скажет, что нынче от людей не дождешься благодарности. Но Анна Урбанова поджала губы, насупилась, молча и величественно взяла одной рукой шубу, другой — футляр и направилась в комнату. В дверях она обернулась.

— Честное слово,— бросила она через плечо,— поневоле подумаешь, что ты завидуешь Ружене.— И она захлопнула локтем дверь, закрыв этим путь к примирению.

Женские колкости настолько вздорны, что и сказать нечего, подумал Ондржей.

В ателье мод Хорста, расположенном в двух шагах от Пршикопов по улице Неказанке, шьют из лучших тканей и большей частью вручную. Хорст держал пять тщательно подобранных манекенш, из которых Ро Урбанова воплощала тип прелестной шалуньи и плутишки, еврейка Руфь — тип международных вамп из восточных экспрессов и казино, а безгрудая Геда демонстрировала туалеты для почтенных пожилых дам. Еще две манекенши, Мэри и Анна, подменяли любую из главных манекенш, когда те, проспав, опаздывали на работу; они же демонстрировали прошлогодние модели перед случайными заказчицами.

Манекенши приходят в десять, утренние визиты заказчиц начинаются без четверти одиннадцать. Ро откладывает вышивание или карты, бросает сигарету и за занавесом, где пахнет тканями, пудрой и всем, что присуще только женщинам, снимает собственное платье и надевает модельное, делая это с медлительностью, которая быстрее торопливости. Она знает наизусть каждую застежку. Она привыкла переодеваться пятьдесят раз в день и создавать себе настроение в тон платью.

Салон был длинный, тихий, как радиостудия, с вереницей зеркал, незаметно удлинявших фигуры, и меблировкой в стиле

какого-то Людовика. Ружена выбегала, как веселый мальчишка на мороз, когда на ней был спортивный костюм, выходила мелкими шагами в платье французского покроя, медленно выступала, привычно сощурив глаза, когда на ней было вечернее платье, спускавшееся со стройной, до пояса обнаженной и совершенной, гибко выгнутой спины. В обычном дневном платье Ружена двигалась просто, к этой простоте ее долго не могли приучить. Ружена прохаживалась в платье, словно показывая, как прекрасна станет жизнь той, которая будет носить его. Потом принимала перед заказчицей несколько заученных поз манекенши: вытягивалась, как солдат, поднимала руки, как кукла, поворачивалась сначала боком, показывая упругую грудь, затем — спиной, так что была видна округлость изящных высоких ягодиц, и, сделав еще один поворот, как манекен в витрине, заканчивала четвертой позой — «второй профиль». Заказчица смотрела на нее, сосредоточенно наморщив лобик, стараясь запомнить фасон для того, чтобы — кто знает! — поскорее побежать с ним к дешевой пригородной портнихе. Сама себя накажет этим! А Ро уже быстрым и обычным шагом, с отражением триумфа на лице, возвращалась в кабину, для того чтобы, переодевшись, демонстрировать новое чудо. Директриса провожала ее сдержанным взглядом, который ничего другого не говорил, кроме как: «Мы — это мы».

Первое время Ружена стеснялась заказчиц, чувствовала себя под их взглядами, как голая на улице. Но вскоре она обнаружила, что заказчицы боятся ее. Манекенша была законодательницей, у манекенши были правильные пропорции, манекенша диктовала. В прихотливом и призрачном мире нарядов, покупаемых в кредит (чем знатнее дама, тем больше она злоупотребляет кредитом), среди вереницы жадных модниц и влюбленных мужчин с чековыми книжками, в ателье мод Хорста, этой промежуточной станции между банком и курортом Сен-Морис, в маскараде модных сезонов цвело молодое тело Ружены. Его здесь одевали в изысканные туалеты, придававшие Ружене огромную самоуверенность, хотя в сердце девушки еще не зажила рана, нанесенная Карелом. Но это тело было совершенным и в ванной, когда Ружена сбрасывала с себя все наряды. Жены богачей, фабрикантов и помещиков созерцали Ружену с почтительной завистью. Когда эти дамы неудачно влюблялись в один из продемонстрированных ею туалетов и надевали его в примерочной кабине, они выглядели совершенно карикатурно. А Ро прохаживалась, как фламинго перед стаей уток, крякавших от восхищения. Эх вы, гусыни, курицы, индюшки, с грубыми голосами, бойтесь меня до смерти! То-то будет шуму в птичнике, когда я прорвусь туда. Ш-ш, ни звука! Ружена уже по-

умнела. Пока что она изображала прелестную озорницу и демонстрировала пляжные пижамы.

Бесспорно, существует ряд признаков, по которым можно классифицировать мужчин и каждого отнести к определенному типу. Мы не стали бы навешивать ярлык на тех, кого любим, но с Хойзлером можно спокойно сделать это. Итак, в отличие от прирожденных ревнивцев и Отелло, которые держат красивую жену под крепким замком, Хойзлер был из тех людей, которые любят бахвалиться женой. Такому нужно, чтобы на его жену оглядывались встречные. Если на нее не будут обращать внимания, муж начнет подозревать, что сделал неудачный выбор, и даст жене понять это.

Адвокату льстило, что его жена — актриса, он радовался, видя ее на сцене, сиял, сидя в ложе, и выслушивал за нее комплименты. Он ревниво оберегал не ее добродетель, а ее славу; к рецензиям в газетах он был еще чувствительнее, чем сама Власта. Да, в Праге, где бы ни появились супруги Хойзлер, их провожали взглядами и шепотом: «Это Тихая!»

Но Власте, как назло, никуда не хотелось ходить. Она давно поняла, чего стоят всякие званые чаи и «Ред-бары», и, когда ей не нужно было играть, предпочитала спокойную жизнь домоседки. Адвокат вечно боялся опоздать куда-то, упустить что-то, остаться в дураках. Он хотел быть всюду. Актриса улыбалась, наблюдая эту плебейскую ненасытность, как мы улыбаемся, глядя на детей, и запиралась, чтобы муж не будил ее, когда поздно приходил домой. Читатели бульварных романов, в которых актрисы изображаются авантюристками, купающимися в шампанском, нюхающими кокаин и устраивающими оргии, не поверят, что мадам Тихая ходила дома в блузке и в юбке с поясом, как учительница, и любила стряпать. Она накладывала зеленый горошек, веселую морковку, оливы и грибы в широкие стеклянные банки с маринадом, помешивала великолепное малиновое варенье, благоухающее, как смолистый лес, и, снимая пенку, шутила с прислугой. В обычной жизни, где картошка — это действительно картошка, актриса отдыхала, как солдат, который в отпуске наслаждается гражданским платьем, ей опротивело быть шикарной за пределами театра. Когда они бывали за границей, никто не обращал внимания на маленькую гувернантку в широкополой шляпе, сидевшую напротив Хойзлера и подчас даже не накрашенную. Да и в самом деле, что привлекательного было в ней для тех, кто не знал, что это Тихая из Большого театра? Глаза, руки и голос: маловато для мужчины, которому под пятьдесят и который вступил в опасный возраст. А как она умела скандалить! В нестерпимо томительный день между генеральной репетицией и премьерой, когда делать

уже нечего и актрису мучит только беспокойство, она топала ногами на мужа, кричала ему «кретин!»,— все должны были угождать ей. Она бывала горяча, как огонь, горда, как бес, ей было за тридцать, и она старела на целые столетия, которые переживала на сцене. Она вмешивалась в чужие дела, скандалила из-за ролей, победоносно добивалась своего, тридцать раз выходила кланяться и после спектакля еле держалась на ногах. Так бывает с фонтаном: то он взлетает к солнцу и играет радугой, то чуть брызжет из ржавой трубки. Такие скачки настроений бывали у Власты. А муж, когда он уже не влюблен, подчас начинает чувствовать себя санитаром в сумасшедшем доме. К тому же появились странные слухи: театр, мол, теперь уже не то, чем был когда-то, театр бледнеет и хиреет, театр уже не в моде. Настала особая, совсем новая эпоха, когда, пожалуй, более почетно быть актрисой ревю, чем трагедийной героиней Большого театра. Хойзлер сам удивлялся, как у него переменился вкус. Впрочем, разве несколько лет назад все мы не опешили, когда пришла мода на мягкие мужские воротнички вместо крахмальных?

Власта играла Минну, играла жалостную полуслепую Гедвигу и модную тогда «Стареющую женщину» Паскье; она не щадила сил, чтобы создать сценический образ, а Ро, в вечернем туалете от Хорста, который посылал своих манекенш в театр на премьеры, как парижские портные посылают их на бега, в антракте останавливалась с Хойзлером и, на голову возвышаясь над ним, грациозно придерживала свою меховую пелеринку. «Кто была эта красавица?» — осведомлялись у адвоката знакомые. Безмолвное красивое тело остается красноречивым во всех странах. Хойзлер заметил, что в Париже на божественные ноги Ро и на ее зовущий взгляд обращали не меньше внимания, чем в Праге. Ружена ездила в Париж с мадам Хорст накануне осеннего сезона, а адвокат заехал туда по таинственным торговым делам. У него были какие-то махинации с табаком, о которых мы лучше промолчим, чтобы у него не было неприятностей. Вечером он показывал красивой девушке ночной Париж. Как она была жадна до развлечений! Как умела смотреть, удивляться и хитро скрывать свое удивление! Трудно сказать, чем больше чаровала адвоката его цветущая спутница — юной жадностью или чисто женской приспособляемостью. Ах, какая это была девушка! Все свои силы она напрягала, чтобы нравиться и побеждать соперниц. Это была актриса в жизни. Ружена состязалась со знаменитой Тихой и со всем Парижем. Дерзкая девчонка, это мне льстит, ты заслуживаешь победы! Впервые Хойзлер попался в сети. Он как сейчас видит тот вечер с ней в Улах, когда они сговорились о первой встрече у Сирупа (Ружена

всегда была строгих правил). Во время танца ей вдруг вздумалось пойти стрелять в тир. Там она нацелилась в Хойзлера.

— Берегитесь, сударь, берегитесь! Вы меня еще не знаете, у меня опасный характер!

Хойзлер смеялся, но после этого ему стало не до смеха. В этой девушке его вторая молодость. Тут уже не до шуток, когда вам пятьдесят лет, а девушка упрямится.

Эта девушка, с которой он молодел, мучила его. Она была очень мила, разрешала сопровождать ее и дарить ей роскошнейшие подарки,— что он делал с удовольствием,— но ни на йоту не поступалась своей убежденной добродетелью. Хойзлер никогда бы не поверил, что такие случаи возможны в нашем просвещенном двадцатом столетии, когда на все смотрят иначе. И все же Ружена была именно такой. Не действовали ни насмешки над старомодными предрассудками, ни упреки в отсутствии у нее темперамента, ни намеки на любовь к кому-то другому. Не помогли ни хитрости, ни подарки — девушка была непреклонна, как Артемида (и сложена не хуже ее). «Сожалею, сударь, но если вы продолжаете настаивать, эта встреча будет последней. Я бедная девушка, но не продамся. Прокормлю себя сама...»

Хойзлер чуть не плакал. Что ж, неужели он совсем не мил ей? Она обожгла его загадочным взглядом. Наоборот, она его слишком любит, но, видимо, он никогда этого не поймет. И именно поэтому... Нет, оставим эту тему. Лучше нам не встречаться.

Хойзлер был не так глуп, как хотелось Ружене, и в минуты просветления угадывал в своей неприступной Ружене расчетливость даже более низменную, чем расчет проститутки, засовывающей кредитку в чулок. Адвокату становилось не по себе. Власта — не пустяк, что скажет Прага? Кроме того, к Власте он привык, сохранились и остатки чувства. Но, боже мой, что делать, если эта девушка вскружила ему голову? Он должен добиться ее. Ему пятьдесят лет, и это для него вопрос жизни и смерти.

«Или я потеряю старикашку и больше ничего, или я получу его и выиграю все». Расчет Ружены был прост. Она уже знала, каков мир, и не щадила себя. Какие там могут быть сантименты, если Карел бросил ее. Шальная Елена Гамзова помешала Ружене броситься под поезд, но все равно — Ружена внутри была уже мертва. Как только этого никто не замечает?! Она была мертва, живя только в зеркальных отражениях, в глазах и разговорах других людей: что на это скажут в парикмахерской «Риц» и в ателье Хорста? Честное слово, если бы можно было выбирать, Ружена охотнее выбрала бы Власту Тихую, чем ее мужа. Жаль, дети, что этого сделать нельзя, жаль. Такая актриса! Такая милая дама! Разве не сказала она, когда была у Хорста в последний раз (что-то

давно ее здесь не видно), что платья, которые демонстрирует вон та красивая девушка Ро, знакомая ей по парикмахерской отеля «Риц», всегда приносят успех? Бедная женщина! Все мужчины одинаковы. Что делать, таков мир. Сильнейший побеждает, даже коммивояжеры в гетрах охотно толковали с Руженой о Наполеоне. Что вы хотите, такова жизнь. Одна женщина лишается разбитого фордика, а другая выходит замуж за владельца паккарда. Одну промочит майский дождь, и она заболеет туберкулезом, а другую этот дождь закалит. Все зависит от характера. У меня нервы нынешние, из железобетона. Пусть я всю жизнь несчастна, но будет хеппи-энд. Слышишь, Карел, хеппи-энд будет!

Театральный курьер в форменной фуражке принес Тихой на Бубенеч новенькую тетрадку со знакомым штемпелем. Эта тетрадка с новой ролью была похожа на дружку в нарядном платье; потом актер изомнет и замусолит ее, загнет на ней углы, прожжет страницы сигаретой, испещрит их помарками, оторвет обложку и разберет роль по листочкам,— короче говоря, «обработает». Власта, как рысь, которая тащит добычу в логово, укрылась с ролью в *магорке* — так она называла свою любимую угловую комнату, где учила роли. Это название очень прижилось в доме, и прислуга, спрашивая Власту, подавать ли ей сегодня чай в «магорку», совсем не имела в виду повторять шутку хозяйки,— этого ей не разрешалось,— а лишь по-деловому обозначала место.

— Чай в «магорку», по телефону — меня нет дома, и никого ко мне не впускать! Под страхом смерти!

Теперь ты моя, роль Кристин Лавранс!

Актриса нарочно не торопилась взяться за тетрадь. Она повозилась с рычажком парового отопления, подошла к окну, выходившему в сад, распахнула его и опустила штору. Сегодня у нее нет спектакля, день простирается перед ней, как июньская лужайка, до самого горизонта.

И вот идет она босиком по этой лужайке, как когда-то девчонкой бегала по траве у бабушки, невидимые стебельки колют ноги, щавель холодит, как глина у родника, иногда хлестнет прижатая ногой ветка, из горьких белых цветов окопника сыплется пыльца и щекочет тебя. Змей нет. Солнце стоит высоко, и после того как оно зайдет, кузнечики на железнодорожной насыпи долго еще будут перекликаться в согретой траве. В распоряжении актрисы вся вторая половина дня и долгий, долгий вечер, можно вместе с Кристин путешествовать по свету, переживать вместе с ней жаркие греховные ночи у Брунгильды, поехать к сестрам на Рейн. Власта, закрыв глаза, неподвижно лежала на кушетке, свободно и прямо. Надо было создать около себя простор, чтобы Кристине было достаточно места. Надо было внушить себе, что вре-

мени масса, что роль вылежится и выносится, что вообще не к спеху и не на пожар. А между тем было именно к спеху и на пожар. В дорогом театре, где публика мало меняется и поэтому должен меняться репертуар, роли учили кое-как и спектакли готовили наспех. Зрителей подчас кормили непропеченным сезонным товаром.

Постоянные зрители — это просто беда: из-за них постоянная гонка в течение всего года! Перефразировав пословицу, можно сказать: «Много постоянных зрителей — актеру зарез». Только сыграешь роль, как пьесу снимают и — вперед, вперед, рожай снова! Что артист — кролик, что ли? Сколько ролей рождается из-за этого недоносками. Власта жила в вечной спешке. Она говорила себе: вот покончу с Джульеттой, разделаюсь с этой слезливой Ренатой и обязательно тотчас же схожу к глазнику, напишу маме, наведу порядок в шкафу, выброшу те старые перчатки, буду мила с Хойзлером, навещу Милоша, сделаю ремонт ванной, все приведу в порядок, всем напишу, всех позову и начну новую жизнь. И каждый раз это намерение бывало трогательно искренним.

Власта играла уже тринадцать лет и научилась обращаться с собой, умела внушить себе настроение, необходимое для успешной творческой работы. Это она называла «создать себе душу». Она знала, что если она вспомнит о нескольких несчастных сантиметрах роста, которых ей не хватает и из-за которых роль Кристин чуть было не вырвала Ковальская — эта бутафорская особа с пышными прелестями и звонким голосом (всегда невпопад!), короче говоря, безвкусная барменша для старых холостяков! — то она, Власта, начнет злиться и бушевать. Значит, такие мысли нельзя допускать. Вон там лежит новенькая, словно отглаженная тетрадь с ролью. Власта снова закрыла глаза и очень медленно прочла про себя «Отче наш» и «Богородицу», потом вскочила с резвостью ребенка, написала на бумажке несколько прописных букв — это была своего рода формула заклинания,— смяла ее, выбросила в окно и раскрыла тетрадку. Люди театра не боятся крепких выражений. Тихая охотно слушала неприличные анекдоты и сама их отлично рассказывала. В «Лисистрате» она выступала нагая и совсем не стыдилась. Но ни за что на свете она никому не созналась бы в своем колдовстве и в «создании души».

Теперь наступал следующий этап подготовки роли, который Власта называла «раскачкой». Когда Власта еще была девочкой с худеньким трепетным телом, она, бывало, ходила с детьми купаться на реку. Дети не сразу бросались в воду, сперва они бегали по берегу взад и вперед, и это называлось у них «раскачаться». Первое погружение в холодную реку бывает потрясением — прикосновение к чужой стихии, разница в температурах. Новые ощу-

щения всегда болезненны. Ах, как хорошо знала это Власта! Какую бы она ни получала роль, пусть даже самую желанную (ведь она сама подбила Арбеса инсценировать величественную эпопею Унсет), первое, что испытывала Власта, была враждебность этой роли, которая не хочет тебе поддаться, прикидывается мертвой, как жук на дороге, хочет по закону инерции остаться в первоначальном состоянии покоя.

Такова Кристин, дочь Лавранса,— это всего лишь напряженно прожитая жизнь женщины, и в этом главное. Сыграть ее будет трудно, но не в этом дело. Кристин — глубоко эротическая натура и вместе с тем строгая к себе женщина, человек закона, в ней сочетаются и сила воспитания, и сила традиции. Она нарушила обет, и это гнетет ее. Она живет как бы в предчувствии неизбежной катастрофы. Кристин — это человек, для которого невыносимо быть в моральном долгу. Лавранс и Симон — ее кредиторы, крепкие люди, живые крепости. Но я, Кристин, никогда ни у кого не прошу прощения, я только исправляю содеянное... Я несгибаема и страдаю от гордости... Паузы здесь будут труднее всего, это я сразу вижу... Ничего, и они пойдут на лад, когда я освою заключительные мизансцены. Итак, простота и легкость, игра — это не стихия Кристин. И именно поэтому она должна прельститься Эрлендом, в нем романтика, юг, он немного упадочен. А Кристин — благородная провинциалка, гордая, тяжелая на подъем, она с трудом прощает и никогда не забывает. Она никогда не забудет Эрленду того, что не в силах охладеть к нему. Для Кристин это закон свыше, а Эрленд разрушает его одним мановением руки. Боже, помоги, чтобы эта роль удалась мне.

Тихая начала пробовать походку Кристин: ступая твердо, на всю ногу, с открытым благородством, без всякого жеманства.

Характер Кристин больше всего выражен в посадке головы и в плечах. Давно я думаю о ней и все еще не знаю ее, но то, что она именно так ходила, за это я ручаюсь, и если режиссер Арбес потребует от меня готических линий (Тихая довольно смутно представляла себе, что такое готическая линия), так я ему скажу, что буду делать так, как хочет Кристин. А когда она станет матерью (безумная затея — за два вечера создать роль, охватывающую жизнь героини с шестнадцати до пятидесяти лет, но все же я сыграю ее!), надо найти жесты более динамичные, руки должны двигаться, как бы защищая детей Эрленда, и при всем этом Кристин остается аристократкой, материнство — это для нее прилив энергии. Только упаси боже сбиться на мадонну! (Правда, когда роль уже выношена, Арбес мне иногда помогает сделать образ более прозрачным, себе самой я могу признаться в этом, но если он попытается обкорнать мою Кристин, я его так отбрею...

Это моя роль!) Кристин умеет быть драматичной, хотя стать такой ее заставляют обстоятельства. Кристин и Эрленд — как электрические полюсы. В пьесе должно нагнетаться напряжение, и мне нужно беречь его, как в будке, где написано: «Берегись, не прикасаться. Опасно для жизни!» А потом два полюса любви сблизятся... короткое замыкание... и — разряд! Но и тут надо очень осторожно, всего пара вспышек, чтобы без мелодрамы. Я буду нагнетать, нагнетать...

Тихая счастливо улыбалась. Перелистывая роль, она заметила несколько обращений Кристин к герою: *«Эрленд!»*, *«Эрленд!»*, *«Эрленд!»*. (Напечатано знакомым шрифтом машинки «корона» в театральной дирекции.) Жизненный путь Кристин идет по спирали вверх, с каждого поворота она будет видеть дальше и шире, с каждым кругом спирали она становится опытнее, грустнее и мудрее. Все это должно быть отражено в этих обращениях «Эрленд!». Они служат как бы остановками на крестном пути. Власта начала тихо пробовать интонации. Так пианист пробует наигрывать мелодию одним пальцем.

«Вы не спали, господин Эрленд?» (Таким тоном скажет Кристин эти слова, когда она впервые, *юной*, свежей, как яблоко, увидит Эрленда в саду после праздника святой Маргариты.) Тихая нахмурилась. Не то, не то! Деланная наивность, а Кристин должна быть по-детски серьезной, хотя она уже понимает гораздо больше, чем ребенок. (Ведь меня почти обидел Бентен — в пьесе этого нет, но во мне это осталось, и я сожгла себе руку свечой над мертвым Арно.) «Вы не спали, господин Эрленд?» Нет, это слишком темпераментно. Она не Джульетта...

Кто-то постучал в дверь, и Власта сердито крикнула: «Ну, что там опять?» — хотя до сих пор ей никто не мешал и прислуга соблюдала все ее указания.

Вошел Хойзлер, одетый, как принц Уэльский, в руке он нес какую-то бумагу и вечное перо. В таком виде он действительно олицетворял собой главу дома. Тихая замахала на него руками.

— *Шпетер, шпетер!* [1] — воскликнула она, пародируя выговор какого-то их знакомого поляка, над которым они оба потешались, и сглаживая этой шуткой изгнание мужа.— Я зубрю!

Но на этот раз Хойзлер не повиновался. Он очень осторожно прикрыл дверь и остался в «магорке».

Тихая привыкла к мужу и не замечала его. Но сегодня он улыбался так странно, ненатурально и вымученно, лицо его было краснее обычного, во всей фигуре замечалась плохо скрываемая

[1] После, после! *(нем.)*

нерешительность, так что Власта не могла оставаться безразличной. Несмотря на раздражение, в ней шевельнулось беспокойство о муже, как во время гриппа, когда он со страхом вынимал из-под мышки термометр и ужасно, чисто по-мужски, боялся смерти. В такие дни она бывала добра с Хойзлером и заботилась о нем как хозяйка.

— Здоров ли ты? — спросила Власта, видя, что лист бумаги дрожит у него в руке. «Проклятые бумаги,— подумала она,— опять какой-нибудь налог! Еще, чего доброго, его хватит удар, ведь он уже не молод. Могли бы оставить в покое, пока я разделаюсь с Кристин».

Хойзлер взялся свободной рукой за спинку стула.

— Власточка,— начал он, набрав воздуху,— ты ведь все равно все знаешь...— Актриса вопросительно посмотрела на него. Она и представления не имела, о чем идет речь.— Взгляни сюда,— сказал он тоном уговаривающего врача,— подпиши это, и будешь спокойна. Насколько я тебя знаю, я думаю, что так для тебя будет всего приемлемее.

Актриса перевела взгляд с красного, как пион, мужа на документ, который он перед ней положил. Она терпеть не могла никаких деловых писем за их казенный язык, категорический тон, плохую бумагу и прозу жизни, которой они пропитаны, как старая трубка никотином. Документ Хойзлера был напечатан на хорошей бумаге и снабжен гербовой маркой. Это было совместное ходатайство супругов Хойзлер о разводе. Власта не поверила своим глазам. Она прочитала заголовок, чувствуя, что один из них сошел с ума, один из двух, уже девятый год живших рядом, занятых каждый своей хлопотливой жизнью, не мешающих один другому.

Никогда ни слова не было сказано об этом между ними, ни даже отдаленного намека. Это был гром среди ясного неба. Но на то она и актриса, чтобы сохранить хладнокровие. Если вы были на том представлении «Ренаты», когда на сцене от короткого замыкания загорелся занавес, то, конечно, помните, что Тихая предотвратила тогда панику среди начавшей вскакивать публики тем, что спокойно продолжала играть, словно пламя входило в программу спектакля, и зрители снова уселись на места.

— Изволь! — сказала она спокойно-вежливым тоном, каким раньше не говорила с мужем, и неторопливым движением руки, которая не дрожала, в отличие от руки Хойзлера, придвинула к себе лист и, опустив ресницы, начала читать.

Хойзлер боязливо и внимательно следил за движением ее глаз, и когда она дошла до стереотипной фразы о «непреодолимом отвращении», он тихо сказал извиняющимся голосом робкого

Люди на перепутье

автора: «Это чистая формальность». Она кивнула и продолжала читать.

Они жили мирно и не мешали друг другу. Конечно, она догадывалась, что у Густава есть девицы (из-за одной из них Власта даже отказалась от Хорста, заказчицей которого была много лет, сославшись на то, что ателье слишком дорого для нее). Но смутное подозрение тонуло в твердой уверенности своей власти над мужем, благодаря которой она может играючи смахнуть все препятствия на своем пути. Она это сделает в то благословенное время, когда, справившись со всеми премьерами, начнет наконец «новую жизнь». И Хойзлер, стоявший сейчас над ней с вечным пером, будто нападал из-за угла на беззащитного человека. И надо же, чтобы все это произошло именно сейчас, во время ее работы над ролью Кристин! Власта была так ошеломлена, что даже не рассердилась и только удивлялась неслыханной недостойности его поведения. Нет, *со мной* так не поступают! Она отвернулась от бумаги, которая казалась ей чудовищной ошибкой, относящейся к кому-то другому, и своими большими глазами уставилась на багрового, словно ошпаренного мужа.

— Ты в чем-нибудь обвиняешь меня?

— Ни в чем,— пробормотал Хойзлер.— Я...

— Ах, вот как! — зло воскликнула Власта.— Тогда пожалуйста!

Она оглянулась, ища вечное перо, но адвокат с услужливостью коммивояжера уже подавал ей свое. Власта схватила его и, не перечитывая больше этого гнуснейшего документа, стремясь поскорее покончить с мерзкой историей, начертала крупным размашистым почерком актрис, привыкших подписывать наискось фотографии: «Власта Тихая».

— Надо бы,— с безграничной осторожностью, как бы боясь разорвать паутинку, произнес над ней муж,— надо бы прибавить еще «Хойзлерова». Это чистая формальность, ты ведь знаешь.

— А вот этого-то я и не сделаю! — весело воскликнула Власта, будто пробудившись, и вскочила на ноги.— Фамилия у меня, слава богу, своя,— сказала она, направляясь мимо Хойзлера к шкафу,— а детей у нас, к счастью, нет.— Она бросила на кушетку легонький чемодан, крышка которого от толчка отскочила.— Так что развод пройдет без запинки.

На дно чемоданчика она, стараясь не проявлять нервозности, положила роль Кристин и демонстративно, не обращая внимания на Густава, привычными движениями актрисы, немало поездившей на гастроли, стала деловито и неторопливо складывать в чемодан свои вещи.

— Что ты делаешь, кто тебя гонит? — испугался Хойзлер,

беря у нее из рук пальто. И скажу вам, что в его испуге были равные доли притворства и искренности.— Зачем же сейчас...

— Пусти! — сказала Тихая, одеваясь.— Ну, чего ты тут стоишь как истукан? — прикрикнула она на него грубовато и засмеялась.— Получил, что хотел, и беги. Не бойся, я не пропаду без тебя. Пусти, говорю!

— Власта...— растерянно сказал Хойзлер, стараясь ухватить ее за руку,— ведь я не хотел... И... спасибо тебе... за все...

Маленькая гувернантка в пальто вырвала у него руку, обернулась и со смаком влепила ему пощечину. Хойзлер принял ее, не пикнув и даже выпрямившись. Он больше не сказал ни слова, открыл дверь и пропустил Власту вперед.

Февральский день, когда решилась судьба Ружены, был безветрен. Но Тихая шла, будто против ветра, шла походкой оскорбленной женщины, а кто-то внутри нее деловито прикидывал, в каком отеле сегодня снять номер, какой аванс попросить завтра в театре и где искать квартиру. Потерянный день, взвинченные нервы! Если бы люди знали, как со мной обошлись! Не мог он подождать премьеры Кристин! Ведь он знает меня!

Больше никогда ей не придется лежать рядом с маленьким сопящим мужем. И это хорошо. Но как можно, как можно предпочесть ей, Власте Тихой, кого-нибудь другого,— этого ей никогда в жизни не понять! А квартира у нее будет прекрасная, солнечная, две комнаты с окнами на юг, и чтобы напротив не торчало никакого здания, квартира с видом на парк или на реку, с большими окнами, как в вагоне-ресторане. Теперь много свободных квартир. Буду опять скромной, буду опять молодой, на сплетни наплюю. Праге скажу: «Цыц, здесь командую я!» А когда-нибудь, после рукоплесканий, которые обрушиваются с потолка, как свежий ливень, который мы пьем всеми фибрами своего существа,— ведь и мы труженики, не знающие покоя,— когда-нибудь, после премьеры, в каком-то другом, четвертом измерении, начнется новая жизнь. Со мной будут молодые, хорошие, простые, красивые люди, мы вместе станем лагерем среди благодатной природы, будем печь ворованную картошку и петь у костра, и я начну жить заново!

Власта села в такси, и с ней был волшебный рог изобилия, и с ней был карманный ковер-самолет, которые уже не раз спасали ее от жизненных катастроф для того, чтобы все трагедии и катастрофы она переживала только там, где нужно,— на сцене. И когда портье уже вручал ей ключ от номера, она вдруг, в вестибюле отеля, нашла нужную интонацию фразы: «Вы не спали, господин Эрленд?», над которой долго думала сегодня в «магорке». Конечно, она не попробовала ее вслух, тут же при лифтере. Но теперь интонация уже была найдена.

Ондржей был очень недоволен своим пребыванием в Праге. Корыстное обручение красавицы сестры с пожилым человеком возмущало его, а в унизительной радости матери он видел нечто похожее на сводничество. Близким прощать труднее, чем чужим. Выхоленная Ружена, такая неподходящая к пропахшей цикорием кухоньке, вела себя дома как гостья, которая не сегодня-завтра должна уехать. О Хойзлере она не говорила, а распоряжалась им: Густав устроит, Густав отвезет меня. Словно речь шла о шофере. Она держалась с превосходством женщины, знающей что делает и не нуждающейся ни в чьем совете. С братом она обращалась, как с примерным мальчиком, которому взрослые благоволят свысока, думая про себя: «Что ты понимаешь?» К Ондржею вернулось давнее ощущение детских лет: он во власти женщин.

Как-то Хойзлер пригласил Ондржея по-дружески поужинать с ним. Ружена передала приглашение брату. Первой мыслью Ондржея было избежать знакомства с адвокатом. Однако, пересилив себя, он пообещал прийти. Но в последний момент все же снова попытался уклониться.

— Послушай, а нельзя ли увидеться в другом месте? Зачем ему кормить меня? Давайте лучше встретимся завтра на солнышке в парке.

Ружена рассмеялась и сказала, что Густав не студент и не пенсионер. Приходи и не стесняйся. Ондржей удивился: «Я? А чего мне стесняться?»

«Может быть, он не так уж и плох, может быть, я не рассмотрел его тогда, Первого мая?»— думал Ондржей, но, увидев жениха, вздохнул. Паккард был хорош, это верно, но какой прок от паккарда, если из него вышел толстяк петрушка, которого Ондржей видел в улецком танцевальном павильоне. Толстяк снял шляпу, обнажил лысину и приветливо осклабился. Вблизи это был рыхлый маленький человек, с мешками под выпученными, рачьими глазами, заставлявший себя держаться прямо, чтобы скрыть брюшко, один из тех пожилых мужчин, которые курят сигары и не водят сами машину. В глазах жителей Ул, где юноши уже в пятнадцать лет сидят за рулем и гоняют как черти, это особенно подчеркивало слабость и старость владельца паккарда.

По желанию Ружены они поехали во французский ресторан Ванека, вход в который находился под землей. Как и салон Хорста, ресторан был меблирован в стиле какого-то Людовика. Там вы тотчас же погружались в невеселую атмосферу избранности и особого ритуала, свойственную всем первоклассным заведениям подобного рода. На каждом столике стояла отдельная лампа в цветном абажуре, напоминавшая о спальне, и в зале было очень торжественно и пусто. Кризис, кризис? Шеренга безмолвных

кельнеров была многочисленнее и элегантнее посетителей. Их строгий вид внушал Ондржею страх, будто это не были одетые во фраки парни с Жижкова и Нуслей, такие же, как он. Но Ондржей был под защитой Хойзлера, а тот держался здесь, как в собственной вотчине. Усталыми глазами навыкате он приветливо и серьезно посмотрел через стол на Ондржея и спросил гостя, есть ли у него особые желания или он позволит Хойзлеру заказать ужин. Ондржей очень живо представил себе, как он и Лидка, переминаясь с ноги на ногу, стоя едят сосиски в улецкой рабочей столовой, и мысленно со смехом рассказывал Лидке о сегодняшнем вечере!

— Да, да, заказывайте,— просто ответил он Хойзлеру, и в его голосе была интонация молодого рабочего, какая часто слышится на улицах, в казармах и на железной дороге.— Только, пожалуйста, не рыбу.

По лицу Ружены было заметно, что ей что-то не понравилось. Выхоленной рукой, украшенной перстнем, она коснулась рукава Хойзлера.

— Густав,— сказала она мягко, как бы желая что-то исправить,— для меня устрицы.

— Отлично,— оживился Хойзлер, и, повернувшись к непроницаемому кельнеру, стоявшему рядом, как изваяние, адвокат перечислил блюда и вина с такой обдуманной твердостью, с какой Хозяин руководит Улами. Было ясно, что с едой здесь не шутят, что еда — это важная обязанность в жизни, выполняя которую люди должны с уважением относиться к самим себе.

С интересом человека физического труда и любопытством мальчика, который отцовским ножом колол орехи, Ондржей смотрел, как ловко человек в белом фартуке острым ножом вскрывает крепко сжатые раковины устриц. Хойзлер серьезно наблюдал за этой работой. Сильны чертовы устрицы, держатся изнутри, как сжатый кулак! Человек в белом фартуке знал то место раковины, куда надо воткнуть нож и повернуть, чтобы раковина раскрылась. Каждую половину он брал щипчиками и клал ее на блюдо. Половинки раковин, в которых виднелась студенистая слизь, отливали перламутром и пахли морем. Человек в белом фартуке ушел, кельнер, стараясь не шуметь толченым льдом, вынул из ведерка бутыль, откупорил ее и, обернув салфеткой, отлил чуточку в отдельный, никому не предназначенный бокал, потом разлил вино в зеленые бокалы и отошел в сторону.

Пожилой человек и девушка ели. Пожилой человек смотрел на ее рот, на движения крепких, гибких, хорошо накрашенных губ, а она говорила любезным и высоким голосом — для клиентов — и улыбалась, показывая молодые влажные зубы. На столе

горела лампа под абажуром, напоминающая о спальне. Кельнер, каждую минуту готовый отозваться на вызов, стоял в стороне с таким тактично безучастным видом, словно его гости распутничали, а он как образцовый лакей не замечал этого.

Слизняки, которых Хойзлер и Ружена ели сырыми, возможно, были еще живы. Ондржей не отваживался даже смотреть на них, но Ружена (она еще в сочельник в Нехлебах храбро разжевала устрицу, поощряемая тогда другим пожилым мужчиной, дядей Франтишеком), выжав на устрицу лимон, проглотила этого противного слизняка. Потом она поднесла к губам бокал с вином, чтобы запить, но вдруг нахмурилась и как бы прислушалась.

— Больше я сюда не хожу,— сказала она, ставя бокал на стол.— Сегодня я у Ванека в последний раз.

— Что такое, дорогая?

— Шабли недостаточно охлаждено,— обиженно сказала Ружена.

— Ты думаешь? — без особой уверенности осведомился Хойзлер, но Ружена только молча посмотрела на него.

Хойзлер кивнул кельнеру, тот подошел, адвокат тихо пробормотал несколько слов, указывая на вино, кельнер убрал бокалы и принес другую бутылку в ведерке. Вслед за ним появился человек с серьезным лицом, щелкнул перед Хойзлером каблуками, принес извинения и просил передать их даме. Ружена слегка кивнула.

«Ах, черт тебя побери! — мысленно выругался Ондржей.— Если ты ломаешься перед этим петрушкой, то так ему и надо, он сам тебя к этому приучил. Но передо мной! Смотрите-ка, босоногая Руженка с косичкой ломается передо мной!»

— Надеюсь, ты не скучаешь, мальчик? — с деланной сердечностью спросила Ружена и погладила Ондржея по руке, как будто он не был ее братом. Дома у них не приняты были такие нежности. Ондржей убрал руку.— Что же ты не пьешь, глупышка? — продолжала она.— Какие еще есть радости на свете, кроме стаканчика вина? Вино божественно! Густав, skol! — Она подняла бокал.

Это прозвучало фальшиво, слова просто резали ухо. Неужели она сама не слышит этого?

Пожилой жених тоже поднял бокал, и они посмотрели друг на друга. Блестящие, как драгоценные камни, женские глаза, окаймленные длинными прямыми ресницами, встретились с безбровыми, рыбьими глазами завороженного самца. Так они посмотрели друг на друга, но не чокнулись. В высших кругах это не принято.

«Ты мне голову не заморочишь, милая,— думал Ондржей.— У тебя на душе неладно. Вся эта помолвка — гнусность. И скажу

вам, кельнеры Ванека, что в следующий раз вы меня здесь увидите не раньше тридцать второго апреля. Впрочем, этот кровавый бифштекс вкусная штука, ничего не скажешь».

Пока кельнер подогревал на маленьком столике закрытые металлические миски, доливал вино и окружал ужинающих таким вниманием и заботами, будто еда была крайне болезненным процессом, наша троица не без труда нащупывала общую тему разговора. Наконец ею избрали Казмара и семью Гамзы. К счастью, Хозяин — это неисчерпаемая тема. Ондржей рассказывал истории, свидетельствовавшие о проницательности и находчивости Казмара, который все замечает и не даст себя обвести вокруг пальца, о его демократизме (он, не колеблясь, встанет на сторону рабочего, если тот прав в споре с администрацией), о характерной черте Казмара — идти к цели кратчайшим путем и брать быка за рога там, где люди тщетно ломают голову над полумерами. Ондржей рассказывал, будто очевидец, хотя все это были анекдоты, как говорится, «с бородой», распространяемые в Улах, своего рода неписаная хрестоматия «Яфеты».

— Это замеча-а-а-тельно! — восклицала Ружена в манере завсегдатаев пражских клубов, а адвокат твердил:

— Это он! Никаких околичностей! Рубит гордиевы узлы... Весь тут, человек действия, рыцарь двадцатого века, деятель без предрассудков.

О собственных делах с Казмаром адвокат помалкивал.

Но, удивительное дело, Ондржею уже не доставляло удовольствия, как когда-то, хвастаться Казмаром и увеличивать его славу. Сегодня ему все было не по нутру, и он казался себе немного похожим на Колушека.

Ружене были скучны мужские разговоры, и она прервала брата, спросив Хойзлера, знает ли он, что Ондржей на этих днях был в Нехлебах. При этом она сделала чуточку хитрую мину и особенно подчеркнуто и отчетливо произнесла фамилию Гамзы. Потом повернулась к брату.

— А сказали они тебе, что продают виллу? — И когда Ондржей подтвердил, продолжала: — Угадай, для кого Густав покупает ее. Я-то знаю. Знаю, да не скажу. Не бойся, Густав, я умею молчать! О, знал бы ты, как я умею молчать! — многозначительно добавила она.

Разговор перешел на болезнь Елены Гамзовой.

— Бедняжка, подумать только! — говорила Ружена все тем же сладким и высоким голосом для клиентов, сочувственно кивая головой.— Мне ее, право, очень жаль. Этой семье не везет!

Ондржей спросил, действительно ли Елене так плохо. Ружена пожала плечами.

— Кто в этом разберется? Кто знает, чем, собственно, больна такая молодая девица? — В ее тоне была та неуловимая женская язвительность, в которой трудно уличить.

Хойзлер вытянул ногу, откинулся в кресле и небрежно наклонил голову.

— Гамзы,— произнес он немного пренебрежительно,— вполне приличные люди. Но слабые, нежизнеспособные.— Он нахмурился.— Нервы, нервы! У Неллы Гамзовой плохая наследственность. Ведь и ее брат, молодой Вит...

Ондржей вспыхнул.

— Что бы там ни было,— прервал он Хойзлера, вызывающе взглянув на него и теребя под столом салфетку,— Станислав мне друг, и я не дам их в обиду.

— Я ничего не имею против них, молодой человек,— иронически и со снисходительным превосходством успокоил его адвокат.— Коллега Гамза,— продолжал он с приторной вежливостью,— придерживается, правда, любопытных взглядов, которые обычно не совпадают с моими, но я, как известно, человек либеральный, и мы сохраняем наилучшие отношения.

Ружена сидела между мужчинами, медленно курила из длинного галалитового мундштука и смотрела перед собой большими зрачками, расширенными с помощью капель «Цветок любви». Потом, словно очнувшись, она вдруг воскликнула:

— До дна, Густав! — схватила бокал и, откинув голову так сильно назад, что поля шляпки коснулись ее спины, не отрываясь осушила его. Она пила довольно много для женщины, и это особенно бросалось в глаза казмаровцу Ондржею, соблюдавшему «сухой закон» «Яфеты».

Когда брат и сестра вернулись на Жижков, в кухоньку, где висели часы с кукушкой,— ибо Ружена упорно настаивала на том, что до свадьбы будет жить дома, и знала что делала,— Ондржей довольно бесцеремонно спросил сестру, которая даже не успела еще снять пальто и шляпку:

— Извини меня, а ты его любишь?

Ружена остановилась, уставилась на Ондржея и разразилась смехом. Она смеялась так, будто в его внешности было что-то смешное, о чем он не знал: вроде того, например, когда человек наденет шляпу с пришпиленным к ней номерком из гардеробной и ходит, не подозревая об этом. Ондржей машинально провел рукой по волосам и оглядел свой костюм.

— А почему ты смеешься? — начал он.— Это очень серьезно...

Ружена бессильно опустила руки и хохотала, не в силах овладеть собой.

— Ребеночек! — воскликнула наконец она, вытерла слезы и продолжала хохотать.— Ты просто трогателен! — говорила она между взрывами смеха.— Тебя расцеловать хочется!

— Оставь свои поцелуи для жениха,— тоном упрямого мальчишки сказал Ондржей и отошел к стене. Шумная, румяная, оживленная от вина сестра, видя, что Ондржей сердится, нарочно надвигалась на него, расставив руки. Когда-то в Льготке Ружена хотела насильно «накормить» младшего братишку майским жуком и вот так же прижала его к стене. Ондржей сжал ее руки, словно клещами, и сказал твердо:

— Знай, что мне совсем не нравится твоя затея с этим Хойзлером. Опомнись, Ружена! Откажись, еще не поздно, ведь ты молода. Испортишь себе жизнь с этим человеком... И не смейся все время, как падшая женщина!

Он, видимо, задел за живое. У девушки на минуту перехватило дыхание. Оба слышали, как рядом ворочается на кровати мать.

— Так,— сказала Ружена глубоким и тихим голосом, близко подойдя к нему. Ноздри у нее дрожали.— А теперь вот что: довольно! Четыре года ты торчал там, в Улах. Тебе было безразлично, как мы здесь живем, ты о нас не вспоминал. А теперь — едва вошел в дом и уже говоришь гадости. Чего ты лезешь судить? Кто тебя просил? Что ты обо мне знаешь? Ни черта! Вот что я тебе скажу,— в ее речи послышалась давнишняя деревенская интонация.— Больше чтобы никогда в жизни я не слышала разговора об этом. Иначе я тебе не сестра!

— Жалеть не буду,— сказал Ондржей, повернулся и пошел спать. С того вечера он не разговаривал с Руженой, и хотя ссора была ему неприятна, он не показывал этого.

Дома Ондржей чувствовал себя как пятое колесо в телеге. Целыми днями он один бродил по Праге, оставаясь наедине с собой, а это мало приятное общество, от него он отвык в Улах. В вечной спешке человеку там некогда заниматься собственной особой. «Какой я все-таки неуживчивый человек»,— думал Ондржей. Другие, конечно, не посмели бы сказать ему этого, но он-то знал себя и был недоволен собой. Его расположение и любовь к людям не простирались далеко, он вечно держался настороже: как бы не начать первым, как бы не унизиться, не отдать лишнего. Люди только тогда узнают, что он любит их, когда он с ними ссорится. Иначе у него не выходит...

Он был зол на себя, и в Праге все было ему не по душе. По улицам ходили такие же, как и он, хмурые пешеходы, кругом было грязно и так непохоже на улецкое единообразие. Каждый дом на свой лад, улицы узкие, местами кривые, проложенные сто

лет назад, когда никто не думал о нынешнем транспорте и не спрашивал Хозяина. А дороговизна! А пищенство! Оно, как червь, ползло через Прагу и прогрызало себе путь к самому центру города. Нередко среди нищих Ондржей с беспокойством замечал молодых, здоровых мужчин. Надо быть подальше от всего этого! Размышления не помогут, успокаивал он себя. Но несколькими домами дальше опять стоял человек со шляпой в руке, и Ондржей снова лез за мелочью таким жестом, каким отгоняют мух... Но муха улетает и садится в другом месте, от нее не избавишься.

Как-то Ондржей шел днем по Вацлавской площади — погода была уже хорошая — и вдруг услышал странную, мелодичную музыку, словно кто-то пел и плакал. Ондржей посмотрел и увидел человека, играющего на пиле. Остановившись, Ондржей слушал и наблюдал за музыкантом с таким же интересом, как смотрел на кельнера, открывавшего устрицы. Гибкая зубчатая стальная полоса тонко и жалобно пела под смычком — и получалась мелодия. В жизни Ондржей не слыхивал игры на пиле!

— Где вы научились этому? — спросил он, бросая деньги в шляпу музыканта. Тот поблагодарил движением головы, доиграл и ответил:

— Нужда научила. Я тоже был когда-то порядочным человеком, я ведь текстильщик из Находа.— И он вытащил документы.

Можете себе представить, что эта встреча была для Ондржея так же приятна, как если бы он столкнулся с мертвецом. С той поры он больше не вступал в разговоры с нищими.

Проходя мимо универмага «Яфеты» на Гибернской улице, где у него когда-то украли корзинку, Ондржей дружески посматривал на стеклянный дом с манекенами во всех окнах, вплоть до одиннадцатого этажа, точную копию улецкого универмага. «Ага, старый знакомый!» Угадайте-ка, люди, кто ткал светлый шевиот на костюм вон того манекена, что стоит с тросточкой и держит в руке перчатки. А вот этот зефир тоже мой, мы его делали вместе с Галачихой. Помню, у меня тогда в машине что-то не ладилось: на улице падал первый снег; дело шло к обеду. А в субботу, когда была сдана партия весеннего товара, мы с Лидкой вечером пошли в Городской клуб, и там я впервые услышал эту песенку. И Ондржей на ходу засвистел знакомый мотив.

Не то чтобы Ондржей горел желанием вернуться на работу, но он уже принадлежал Улам, а в Праге его не замечали. Если бы ему не было стыдно перед улецкими друзьями, он на третий день вернулся бы из Праги в Улы. Уезжая в отпуск, он прихвастнул своими пражскими перспективами, мастер Лехора его поддразнивал, говоря, что Ондржей там покутит вовсю, Галачиха пожелала ему счастливого пути, а Лидушка была грустна, и это льстило

Ондржею. Невредно, чтобы любимая девушка поскучала, ведь он и Лидка каждую субботу и воскресенье бывали вместе. Лидка — его девушка, для нее нет никого лучше, она признает превосходство Ондржея и верит в него именно так, как это нужно мужчине. Такого отношения ему не хватало больше, чем самой Лиды.

В пасхальные праздники Ондржей побывал на футболе, в кино и в кафе, но ему все было противно, ничто не радовало. Он уже знал, что Прага станет для него прекрасной только в Улах, когда он будет рассказывать о ней. Неведомая ему прежде тоска и беспокойство толкнули Ондржея Урбана к двум несвойственным ему поступкам. В кармане у него, рядом с фонариком Станислава, всегда лежала записная книжка, в которой он вел запись расходов и отмечал свою ежедневную выработку, чтобы его не обсчитали. Теперь, скучая в Праге, он впервые в жизни начал записывать туда свои мысли. Все они были пессимистическими:

«К чему жизнь? Она проходит или в изнурительном труде, или в унынии».

«Ожидание радости всегда лучше, чем сама радость».

«Я открыл, что настоящего не существует. Есть только надежда на будущее и воспоминания о прошлом. Поделиться со Станей».

«Что толку от любви? Хорошо, что Н. Г. не здесь, а в санатории».

«Станя в последний раз сказал, что чехи не умеют радоваться жизни. Я — чех, это факт».

«Почему я — это я? Голова идет кругом. Обсудить со Станей».

Станислав не появлялся на Жижкове, и Ондржей, преодолев обычную гордость — из чего видно, как тяжко пришлось ему в Праге,— вскоре после праздников поехал к другу в Стршешовице. Там он узнал, что отец и сын Гамзы еще не вернулись из Нехлеб. Ондржей выдержал в Праге еще один день, потом попрощался с матерью и, не сказав ни слова Ружене, покинул Прагу намного раньше, чем первоначально предполагал.

ФРАНТИШКА ПОЛАНСКАЯ

Уже повеяло весной, потеплело, земля просыпалась, на орешнике появились почки, березы покрылись сережками, благоухали лиственницы.

«Хорошо, что светит солнышко! — думала Поланская.— По крайней мере, наши там не замерзнут, патрулируя фабрику. В теплую погоду легче бастовать».

Поланская возилась в саду. Она не знала толком, для кого садит цветы. Когда расцветет душистый горошек, в доме уже будет

новый хозяин и настанут новые порядки. Семейство Гамзы уедет, но Поланские останутся, Гамза оговорил это в контракте. Франтишке было бы трудно расстаться с деревянным домом, куда она с мужем приехала сразу же после свадьбы, а еще трудней — с садом, ведь она помнит время, когда березы у забора были вот такие маленькие, ребенок мог бы их выдернуть. А нынче, как зазеленеют, двухэтажного дома с дороги за ними не видно. Вьющиеся розы так разрослись, что не пройдешь в беседку, а прорезать их приходится со стремянки. Когда розы расцветают, кусты прямо светятся и все кругом гудит от пчел. Цветы сперва становятся белыми, потом краснеют, как вино, и даже пахнут вином и корицей.

Франтишка знала здесь каждый кустик и каждый стебелек. В уголке сада, что граничит с участком Чапеков, ничего не принимается. Покойная хозяйка сажала там серебристую ель, пришлось ее выкопать, посадили дубок, зачах и он, привезли новой земли, все равно не помогло. И не то чтобы там слой земли был слишком тонок, но чего-то, видимо, в ней не хватало, да еще и от холма Капрадь сюда падает тень. Зато на восточной стороне, рядом с Баштецкими, отлично растут кустарники, японские вишни, айва, форзиции, а на южном участке, под верандой, персиковые деревья дают такой урожай, какого не собирает даже садовник из замка, у которого Франтишка когда-то выпросила черенок. А в обмен она ему дала свою алую герань. Муж поддразнивал Франтишку: мол, все торгуешь. А ведь приходилось!

В позапрошлом году, когда сильные морозы стояли до самого благовещенья и в доме полопались водопроводные трубы, почернел и погиб орех, что рос за беседкой, у Поланской померзли кусты чайных роз, хотя она еще в ноябре, как обычно, укрыла их хвоей. Конец розам. Супруги Гамза не пополняли убыль благородных растений, как покойница бабушка, не заказывали рассаду цветов в Молиторове и луковиц в Гиллегоме. Старая хозяйка ничего не жалела для сада, а молодая — она не из таких, да и денег у них нет, это всем известно. После смерти бабушки сад жил своей былой славой, старыми запасами и рвением садовницы. Кто бы там ни купил дом, а сад вскапывала, удобряла и ухаживала за ним Франтишка Поланская. Сад был ее. Вот сейчас, например, еще весна. Франтишка возится в саду, где только появились первые почки, солнышко греет ей затылок. Но стоит прикрыть глаза — и сад представляется ей цветущим, во всей своей красе.

Поланские были бездетны. И хорошо, что господь бог не послал им детей. Ну как бы жили эти дети? В нужде да в беде. Они вдвоем с мужем и то едва перебиваются. Так часто говаривала Поланская. Бездетная Франтишка тянулась ко всему живому.

Когда через неделю после смерти бабушки подох Гук, она всплакнула. Вот и говорите, что животное ничего не понимает! Посмотрели бы вы, сколько слеталось птиц в задний садик, где их кормили Поланские! Во время морозов этой зимой Вацлав пристроил на шесте кормушку, куда они сыпали семена разных трав, которые Франтишка берегла в мешочках: синицам — конопляное семя, щеглам — терновник, а снегирям — рябину. У каждой птицы свой вкус.

Бездетная Поланская никогда не называла своего мужа отец, старый или Поланский, как принято у здешних жен. Она все еще звала его Вацлав, как в первые дни замужества, когда она переехала из Горки в Нехлебы, привезя с собой пяльцы для кружев, которыми пренебрегают нынешние невесты, и все еще любовалась им, как в девичьи годы. Он нравился ей, когда в субботу, после работы, ловко колол перед гаражом дрова — запас на целую неделю; нравился, когда, спокойный и быстрый, возвышаясь над прохожими, утром ехал на велосипеде на фабрику. Ей, правда, казалось, что он слишком много времени уделяет заботе о других и действует иногда слишком смело, но она знала, что Вацлав прав, даже когда поступает в ущерб себе самому. Она гордилась тем, что он вожак рабочих и что они его любят. С того момента, как фабрику заняла полиция, Франтишка не находила себе места, тревожась за Вацлава.

То, что рабочие бастуют, совсем не удивительно: ведь управляющий выключил станки тех ткачей, которые, после того как уволили товарищей, а их милостиво допустили к работе, не пошли на уступку и снова начали работать только на одном станке. Они отказались обслуживать второй станок, заявив, что не хотят отнимать работу у товарищей. Вацлав тогда сказал, не возьмете на работу их — не станем работать и мы, и он прав. Цехи один за другим присоединялись к бастующим, и фабрика опять стала. Потом их обманули с углем,— не следовало это делать, рабочие очень обозлились. Полицейский комиссар дал слово Вацлаву, что вагон угля, прибывший для Латмана, не будет разгружен. И не одному Вацлаву, были и другие свидетели: адвокат Гамза — он правозаступник рабочих,— секретарь партийной организации, Францек Антенна и еще несколько делегатов. Вацлав поверил комиссару и уговорил рабочих, окруживших товарную станцию, разойтись и не затруднять дальнейшие переговоры. Рабочие послушались, они доверяют Вацлаву. А что выкинула администрация фабрики? Ночью они все-таки разгрузили уголь! Ночью, в темноте, как воры! Потом директор и полицейский комиссар делали вид, что они не поняли друг друга и что все произошло по недоразумению.

А интересно, кто именно в ту ночь выслал усиленный полицейский патруль? После этого случая рабочие стали недоверчивыми.

Потом в стачку вмешалась латманская прядильная фабрика в Усти, а уж известно, что где начинается штрейкбрехерство, там ничего хорошего не жди. Одним словом, дело обстояло так. У старого барона Латмана, что жил в Устецком замке, купленном у Аушперков, было два сына, Рудольф и Бедржих. Старшему он завещал замок и прядильную фабрику в Усти, а младшему — ткацкую фабрику в Нехлебах. Братья работали рука об руку: устецкая фабрика снабжала пряжей нехлебскую. Но братья привыкли жить не по средствам и были плохими хозяевами. Кроме того, они никак не могли примириться с республикой и большую часть года проводили за границей, а управляющий Гурих прижимал рабочих и обворовывал владельцев. Когда для текстильной промышленности пришли тяжелые времена, латманские фабрики были проданы с торгов, и братья переехали в Вену; им там сейчас живется неплохо, они кое-что припрятали на черный день. Прядильной и ткацкой фабриками распоряжается теперь банк, который раньше кредитовал их. Обе фабрики по существу составляют одно предприятие: если в Нехлебах бездействуют веретена — в Усти стоят челноки; если бы нехлебская фабрика не выпускала тканей — прядильной фабрике очень скоро не на что было бы покупать сырье. И вполне понятно, что господа из Усти поспешили на помощь господам в Нехлебах. Они нашли у себя трех мастеров, хорошо знающих ткацкое дело, и послали их на нехлебскую фабрику — знакомиться с машинами и вербовать штрейкбрехеров.

Да только на фабрику эти мастера не попали! Рабочий патруль задержал фабричный грузовик, что каждую пятницу привозил основы из Усти в Нехлебы, и повернул его обратно вместе с мастерами. Тогда какой-то устецкий ловкач придумал хитрость: запряг в деревенскую телегу волов, посадил в нее мастеров — и будьте здоровы, езжайте с богом, теперь вас ни одна живая душа не заметит. Как бы не так! Нехлебские рабочие после случая с углем были начеку и днем и ночью. Связные рабочего комитета, которые разъезжают на велосипедах и агитируют загородных рабочих, донесли: следите, ребята, за возом, запряженным волами, он проедет околицей у Красного омута.

Около Красного омута находится каменоломня. Там нехлебские ткачи и подстерегли устецких ловкачей. Они стащили штрейкбрехеров с телеги, в которой обычно возили навоз,— вот было смеху! — изругали штрейкбрехеров иудами и рабами, оплевали их, запустили в них палками и каменьями. Те удрали в ле-

сок. Когда потасовка кончилась, один из штрейкбрехеров побежал в город за полицейскими. Пришли полицейские, но на месте происшествия уже никого не было, составили протокол, окружили телегу, и под таким эскортом телега торжественно двинулась назад.

Но несколько молодых рабочих не удержались, чтобы не поглазеть на эту унылую процессию и не потешиться. А Францек Антенна даже подошел к самой телеге, засунул руки в карманы, остановился перед волами и с серьезным видом, покачав головой, сказал:

— Вот это почет: на двух волов восемь полицейских!

Полицейские сочли эту шутку оскорблением полиции и арестовали Францека, а когда он стал упираться, повели его силой. Дело, говорят, кончится судом... А Вацлав сейчас такой сердитый, даже не разговаривает. Их с Францеком водой не разольешь, всюду вместе. Он любит его, как сына. (Вацлаву все-таки досадно, что он бездетный.) От Лоречка до Усти люди повторяют шутку Францека, сочувствуют ему и смеются над полицейскими. Полицейские ходят злые, народ волнуется, вчера забастовщиков отогнали от фабрики, и бог весть как пойдут сегодня дела на решающих переговорах в ратуше. Откажется ли Латман от увольнения, или стачка будет продолжаться.

Франтишка копалась в саду, но работа ее не занимала. Руки садовницы были в земле, а глаза все время устремлялись через забор на оживленную дорогу.

Вдоль забора проехали из Нехлеб два незнакомых велосипедиста с портфелями на рулях. Она слышала, как один сказал другому: «Неважные дела...» Видимо, речь шла о стачке и беспорядках, ни о чем другом сейчас не говорят. Этот обрывок фразы испугал Поланскую. Что там неважно? Вацлава она не видела со вчерашнего вечера.

Из-за поворота появились двое полицейских. Они приближались и в свете ясного дня были похожи на картинки. Но это не был местный вахмистр Лоуда, синеглазая дочка которого всегда возится в песке перед караулкой. Ее знает вся команда. («Куда идешь, Оленька? Смотри не упади! Погладь, погладь котенка, он не царапается. Хочешь орешек?») Это не был и полицейский Бабак, что ходит играть в карты в трактир и волочится за дочкой лавочника Миной. Эти двое были незнакомы маленькой женщине, склонившейся у клумбы, и у нее так застучало сердце, что она даже рассердилась на себя. Франтишка слышала, как раздаются за забором ровные шаги, поскрипывают ремни, громко звучат бодрые голоса. Известно, что полицейские никогда не разговаривают о деле, которым сейчас заняты... Взглянув на деревянный дом, они

пошли дальше, в Нехлебы. У них был такой же независимый и неприступный вид, как и у всех полицейских в округе после инцидента с телегой. Франтишка Поланская проводила их косым взглядом, каким теперь люди смотрели на защитников штрейкбрехеров.

— Маржка! — крикнула она, увидав жену слесаря с фабрики, и поднялась над забором.— Разгоняют?

Маржка подошла к ней и рассказала, что от фабрики рабочих отогнали и, говорят, будет запрещен митинг на площади. Наверняка еще неизвестно. Жена слесаря спросила Поланскую, пойдет ли она на митинг. Франтишка ответила отрицательно.

— Я люблю покой,— сказала Поланская.— Если бы только этих не послали туда! — добавила она, кивнув в сторону полицейских.— Люди собрались бы, послушали речи и снова вернулись бы откуда пришли. А с ними заварится каша, помяни мое слово.

— Да, зря их посылают,— подтвердила Маржка и, несмотря на страх перед полицейскими, отправилась в город, куда шли сегодня все.

Проехали полицейские на мотоциклах, а за ними полная машина людей в военной форме. На дороге сегодня было оживленно, как на мосту в Праге. Для прабабушки Станислава это был сущий праздник. Она, не отрываясь, смотрела в окно, как дети смотрят на солдат, и радовалась, что на дворе такое оживление и что ей все видно. Все происходившее на улице для нее обычно бывало своего рода представлением: проедет почтмейстер с невестой, пройдет охотник с собакой, промаршируют на парад пожарные, пройдет похоронная процессия: впереди священник в облачении, за гробом— духовой оркестр. Приятно было смотреть и на полицейских, освещенных весенним солнцем, и сознавать, что бродячие музыканты и цыгане сегодня не посмеют появиться около дома.

Станислав Гамза, обещавший к определенному сроку написать статью о романе Марселя Пруста «В поисках утраченного времени», с усердием новичка старался быть точным и проклинал свою привычку браться за все в последний момент. Движение на дороге, под окном, отвлекло его, несмотря на то что он решил не обращать никакого внимания на местные события. Предоставим их тем, кто ими всегда занимается. Отец торчит в Нехлебах из-за забастовки на фабрике, это его дело. Станислав погрузился в чтение романа и уже одолел четырнадцать томов. Читая, он осуждал неврастенический самоанализ Пруста, но восхищался богатством смысловых оттенков французского языка. Станислава не тяготила ипохондрия классового самосознания, характерная для поколения

его родителей. «Стачечникам не поможет, если я плохо напишу свою статью о Марселе Прусте»,— думал он и с отвагой ученика, только что окончившего школу, готовился атаковать этого писателя. Творческий метод Пруста Станислав решил характеризовать как интеллектуальный импрессионизм и отметить неправильное ви́дение мира. Если поднести вещь слишком близко к глазу, ее изображение оказывается за сетчаткой и видно неотчетливо. То же у Пруста: он с чрезмерной тщательностью, с микроскопическими подробностями воспроизводит свои переживания, читателю становится скучно. Эту замедленную съемку Станислав считал излишней изощренностью в искусстве. Пруст так много дает читателю, что тому уже нечего додумывать и не о чем догадываться, и он остается равнодушным.

Статья уже была готова в голове Станислава, но никак не хотела переходить на бумагу. Молодой человек слонялся от стола к окну, выбитый из колеи весной и забастовкой, ему мешала какая-то безотчетная тревога, похожая на пульсацию крови в артерии, и он измерял время выкуренными сигаретами. Наконец он бросил перо и вышел в сад. Его светлые волосы мелькнули на террасе.

Тут к дому повернул мотоциклист. Мотор трещал, солнце светило, и ездок в крагах, которыми он гордился,— это был архитектор Мразек (тот самый, с кем покойная бабушка собиралась перестраивать дом, но не успела),— стараясь перекричать треск мотора, еще на ходу громко крикнул через забор:

— Госпожа Поланская! В чем провинился ваш Вацлав? Его ведут под конвоем! Я их как раз встретил: он и двое полицейских по бокам!

И, потрещав мотором, Мразек миновал освещенную сторону дороги, мелькнул на ней изломанной тенью и исчез. Она крикнула ему вслед: «Вацлав никогда не сделает ничего плохого»,— и, как была, в фартуке, с испачканными землей руками, выбежала из ворот. Пробившаяся сквозь забор ветка хлестнула ее, соседи закричали: «Ты куда?» — но Франтишка свернула с дороги на шоссе и побежала к городу. Станислав едва поспевал за ней. Он окликал ее, умоляя подождать, говорил, что идет с ней и что, может быть, все это неправда, но Франтишка даже не оглянулась. Женщины выходили на порог и смотрели ей вслед. Старый Чапек, стоявший на стремянке (он подстригал яблоню), крикнул: «Поланская, вернитесь, послушайтесь доброго совета. Ничего вы там не добьетесь». Но она не слушала и все спешила вперед. На перекрестке Станислав догнал ее.

— Франтишка, образумься,— сказал он.— Его выпустят. Пойдем к отцу.— Но она молчала, словно не узнавая Станислава, гля-

дела вперед и бежала, тяжело переводя дыхание. Никогда в жизни она не торопилась так!

Эти двое пустоголовых бросили ворота настежь, и прабабушка осталась в доме одна, а собаки-то у них теперь нет!

Ондржею сказали на станции: «Если хотите попасть в Нехлебы, поторопитесь, а то потом не пройдете. Там беспорядки».

По обеим сторонам моста стояли полицейские. Это напомнило Ондржею картинку в учебнике истории: «Вход в императорский замок». Мост стал важным пунктом, да и вообще Ондржей не узнавал Нехлебы. Несмотря на будний день, лавки были закрыты, и по Вокзальной улице гуляли люди. Их было очень много, и — странно! — они, казалось, веселились, что не подобало беднякам. Работницы покинули нетопленный трактир, ходили парами, прогуливались с мужчинами под липами, на которых уже набухали почки. Воздух был свежий, пахло морем,— это была весна. Ондржей не мог не удивиться тому, как изменились рабочие Латмана за это время. Они уже не топтались перед воротами фабрики беспомощной продрогшей толпой. Какое-то веселое напряжение заметно было в людях, оно сказывалось в походке, во взглядах, во вспышках смеха. Людей, которые обычно это время дня, когда сияет солнце, простаивали у станков, охватило хмельное весеннее настроение, они словно отведали вина весны. Рабочие ходили по улице, и даже мальчишки-ученики, которые в другое время бегают, шаркая локтем по стенам или стуча палочкой по забору, гордо шагали посреди улицы.

Около фабрики, недвижный, как изваяние, стоял полицейский, его было видно сквозь решетку ограды. Но рабочие даже не подходили к фабрике. К чему? Фабрику нашу вы заняли, нас от нее прогнали, а мы ничего. Мы только гуляем. Разве беднякам запрещено гулять? Свободного времени у нас хватает, а улица — для всех.

Все это было больше похоже на игру, и полицейские пока ничего не предпринимали, сидели в своих автобусах и в трактирах, выжидали. Забастовка была на том этапе, когда обе стороны тревожно ждут, что будет дальше, каждый чувствует холодок на спине, все довольны тем, что что-то готовится, и никто уже не боится.

Пробили часы, и толпа двинулась к площади. Ондржею было по пути с рабочими, и он шагал вместе с ними по улице, в душе желая им удачи. Но они не принимали его за своего. С кем бы рядом он ни шел, на него косились и замолкали. Как в Улах, так и здесь. Видно, он родился под несчастливой звездой.

Краем уха он уловил, что Поланский арестован за антиправительственные выступления во время разгона полицейскими тол-

пы. Ондржей услышал разговор о Францеке и понял, что Антенну тоже арестовали. Ему очень хотелось узнать, как было дело, но забастовщики уклонялись от его расспросов: «Пойдите спросите полицейских». Ондржей здесь был чужой, и ему не доверяли.

Шагая в толпе, Ондржей вспоминал первомайскую речь Францека, и в душе его боролись два чувства: было приятно сознавать, что он уже не встретится с Францеком, не услышит его насмешек, но наряду с этим Ондржей ломал голову и над тем, как бы помочь товарищу. Окруженный людьми, Ондржей чувствовал себя страшно одиноким. На площади перед ратушей все остановились.

«Вот там, за теми окнами, идут переговоры о нас. Мы хотим знать, что там решат, это наше право, и мы подождем результатов здесь». Все население местечка спешило к площади, в рабочих домиках у вокзала и около кладбища остались только старики и дети. На площади было черно от людей. В Усти прядильщики сегодня бросили работу в знак солидарности с нехлебскими ткачами и тоже пришли сюда. Перед ними ехали агитаторы на велосипедах, в спицы которых были вплетены красные ленты, за прядильщиками ехал полицейский автобус. От кирпичного завода до Нехлеб два шага; рабочие этого завода тоже были здесь. Рабочие из каменоломни у Красного омута, что рвут динамитом скалы, а по субботам после получки приходят в Нехлебы пьянствовать, драться и ухаживать за девушками, сегодня бросили свой инструмент и тронулись в город. Полиция хотела вернуть их, но они, разделившись на три группы, кружными путями все же прорвались, пришли к площади. Кроме того, пришло много безработных и людей, которым нечего терять. Матери привели детей, и дети выглядели как души умерших, а взрослые — как тени, а вся толпа — как сборище мучеников. Это был великий весенний праздник голода на нехлебской площади.

Ондржей вдруг увидел в толпе светлые волосы Станислава и начал проталкиваться к нему, удивленный тем, что видит здесь этого аполитичного человека. Потом он заметил, что Станислав держит под руку Поланскую, а она старается вырваться. Кругом тесной кучкой стояли мужчины и взволнованные работницы. Франтишка Поланская узнала, что арестованных привели во двор ратуши. Вацлав сейчас там, и она хочет пройти к нему. Станислав уговаривал ее подождать, пока кончатся переговоры и делегация рабочих выйдет вместе с Гамзой. Стоявшие рядом мужчины соглашались с ним и тоже уговаривали ее, но женщины шумно возражали:

— А почему бы ей не пойти?! Она права, он ей муж. Поланская, мы тоже идем с тобой!

— Идите, вас там всех и заберут,— рассудительно сказал кто-то.

— Пускай заберут! — кричал какой-то человек со странно неподвижным взглядом. Он все время прислушивался к разговорам, но явно не принадлежал к бастующим.— Пускай меня убьют! — Он с трудом выпрямился, выпятил грудь и зашатался.— Или я погибну за правду, или...— Он ухватился за Ондржея, чтобы не упасть. Никто на эти крики не обратил внимания, его здесь знали. Человек не отпускал Ондржея и, глядя на него восторженным взглядом и дыша винным перегаром, ругал «эту, как ее... рационализацию».

— Это все равно, как если бы одного мужика заставить спать с двумя бабами.

Стоявший сзади рабочий, усмехнувшись, сказал Ондржею:

— А сам в жизни не стоял у станка. Сколько я его знаю, никогда не работает.

— Я газеты читаю! — защищался человек.

— Какие?

— Разные... Сегодня одни, завтра другие. Я читаю газеты всех партий.

— У тебя читальня, что ли? — подтрунивали над ним.

Все ждали, чем кончатся переговоры в ратуше, и старались шутками скоротать время, не хныкать же в самом деле!

Посреди нехлебской площади стоит памятник павшим воинам. На этот памятник поднимались ораторы, чтобы их было хорошо видно и слышно. Из Праги три рабочие партии прислали сюда своих представителей: что, мол, у вас тут происходит, ребята? Дело чести — быть у нехлебских текстильщиков, которые бастуют, на которых глядит весь край. Выступающий сейчас оратор, краснолицый человек с крупным носом, видать, бывалый говорун: умеет с невинным видом Гурвинека задать вопрос и тотчас убедительно ответить на него. Он открывает рот, кривит лицо, кричит так, что чуть не разрывает себе глотку, машет кулаками и мечет слова, как пушечные ядра.

Франтишку Поланскую наконец уговорили набраться терпения. Она стояла, тихая и тревожная, глядя на оратора с такой набожностью, с какой ее мать и бабка, кружевницы из горного селения, смотрели на алтарь нехлебского храма, где Франтишка не бывала с тех пор, как они обвенчались с Вацлавом.

У ткача Цибулека шестеро детей, один из них калека. Из четырех уток, что он откармливал на продажу, трех задушила ласка, а четвертая сдохла. Цибулек страдает падучей, но припадки у него бывают редко, так что он может работать. Теперь его уволили с фабрики. Если бы такая участь постигла его одного, он

наверняка бы впал в отчаяние. Но на миру и смерть красна. То, что за тебя вступились все, вся фабрика, что об этом пишут в газетах, во всеуслышание говорит оратор из Праги,— это захватывает и придает силы.

Мужчины и женщины, пришедшие из дому на площадь, серьезно слушали, как оратор поднимает на необычайную высоту их маленькие будничные Нехлебы: из утомительных споров с фабричной администрацией, из вереницы домашних забот, из голодной рабочей нужды рождаются ведущие идеи века. И они слушали, эти мужчины с выступающими кадыками, и женщины с впалой грудью, и их дети, недоуменно поднимавшие взгляды к матерям при особенно громких возгласах оратора. Все эти живые люди олицетворяли собой ту правду, о которой так высокопарно говорил оратор.

Оратор еще не кончил, когда Ондржей заметил, что какой-то подросток проталкивается через толпу с таким видом, словно несет важную весть. Лица подростка не было видно, Ондржей заметил лишь направление его движения к другой стороне площади и след этого движения в постепенно смыкавшейся толпе. Подросток исчез из виду, а над площадью продолжал греметь оратор. Но какое-то беспокойство пронеслось по толпе, люди оглядывались, будто разыскивая кого-то. Казалось, пузырится густое горячее торфяное болото, на другой стороне площади люди тоже забеспокоились. Ондржей услышал, как сзади один рабочий сказал другому: «Их должны были бы провести здесь».— «Не забудь, что из ратуши есть выход на Кирпичную улицу»,— возразил тот.

Неизвестно, кто первый принес эту весть, может быть, тот подросток, а может, и кто другой. Ондржей невольно оглянулся на Поланскую, и она, поймав его взгляд, стала недоверчиво озираться. По толпе вдруг пробежало волнение, головы задвигались, все взоры обратились к ратуше. Оттуда вышли какие-то люди, наверное представители бастующих, толпа окружила их, заслонив от Ондржея. Поланская, не обращая ни на кого внимания, проталкивалась вперед, женщины устремились за ней, Станислав остался позади. Через толпу в сторону фабрики пробирался с озабоченным видом хмурый полицейский комиссар. Его фигура в форме резко выделялась в толпе. На постаменте памятника неожиданно очутился возбужденный Гамза. Казалось, он бежал куда-то и задержался здесь. Так иногда выглядят взволнованные люди.

— Товарищи! Администрация фабрики не хочет уступать. Не уступайте и вы! Держитесь до конца! Не забывайте о Поланском! Вы спрашивали, что с ним...— Гамза набрал воздуху и воскликнул, как показалось Ондржею, радостно: — Поланского и

Франтека Черного сейчас ведут на поезд, чтобы отвезти в Градец, в тюрьму.

Комиссар поднял руку, крича, что закроет митинг, и заслонил от Ондржея Гамзу. Неестественно высокий и какой-то одинокий женский голос закричал: «Не отдавайте Поланского! Не отдавайте его!» И маленькая женщина в фартуке бросилась вперед, подняв руки, словно прыгая в воду. Ондржей и не представлял, что тихая Франтишка Поланская могла так истошно кричать.

Головы и плечи задвигались, люди закричали: «Не отдадим! Не отдадим Поланского! Франтека не отдадим!» Многоголосый крик, ликующий и жалобный, разносился под широким небом. Послышался громкий топот, будто это была не пешая толпа, а всадники, которые, повернув копей, устремились к Вокзальной улице.

Ондржей и Станислав очутились в самой толчее, выбирать пути не приходилось. Их давили, на них нажимали, толкали на идущих впереди. Памятник — людская волна смыла с него Гамзу, и Станислав тщетно искал отца глазами — мешал движению, как камень в реке, о который разбивается поток. Наиболее ловкие перебегали через постамент, то же сделали и наши приятели. На минуту они увидели Поланскую в фартуке, застегнутом на спине, потом ее поглотила толпа. Какого-то старика толпа, словно прибой, швырнула на памятник. Человек споткнулся, взмахнул руками и упал лицом на каменную плиту. Помогли ли ему подняться, растоптали ли его, Ондржей уже не видел. Людской поток нес его так быстро и с такой силой, словно за него шли чужие ноги. Ондржей сознавал, что он и Станя вместе с другими идут на вокзал выручать Франтека и Поланского, и совсем не удивлялся этому. Вместе с толпой Ондржей кричал во все горло и заметил это только тогда, когда уже выбился из сил.

Там, где толпа вливалась с площади в Вокзальную улицу, движение захлебнулось. Так через узкое горлышко бутылки не может сразу вылиться все содержимое. Люди топтались на месте, пыхтели под напором задних, тяжело дышали на чужие спины и шеи и наконец вваливались в улицу.

Все вы, даже если никогда не бывали в Нехлебах, должны знать эту нескладную улицу, что ведет от площади к вокзалу. Она ни старая, ни новая, ни городская, ни деревенская, она тянется между двумя рядами казарменных домиков непрерывно и утомительно, как неделя без воскресенья; единственная зелень на ней — это ряд молодых лип, а единственной прелестью в тот день был весенний воздух. Таковы Вокзальные улицы всех чешских городков. На нехлебской Вокзальной улице живет половина всех рабочих латманской фабрики, но в тот день дома оставались

только старухи с внучатами. Старухи, держа малышей на руках (старшие дети давно разбежались), смотрели из окон на улицу. Толпа шумела, как весенний разлив. Несколькими минутами раньше, когда толпа еще ждала перед ратушей, полицейские вывели с Кирпичной улицы двух человек в наручниках.

На станции раздался удар колокола — сигнал к поезду на Градец. Знаком ли вам этот тревожный звон вокзального колокола, который и невозмутимого путника на шоссе заставляет прибавить шагу? Это был удар набата. В людей словно вселился бес. Не опоздать бы! Толпа кинулась бежать. Не отдадим Поланского! Не отдадим Антенну! Не отдадим их, даже если придется остановить поезд. На станцию, ура! Бежало около двух тысяч человек.

Городок Нехлебы и фабрика находятся на правом берегу реки, а узкоколейная железнодорожная ветка на Градец — на левом. Кому надо из Нехлеб на поезд, должен перейти мост. Но мост сегодня был закрыт — там стоял полицейский кордон. Блокированы были оба моста — пешеходный и железнодорожный. Недвижная, будто нарисованная шеренга людей в форме стояла против толпы, как стена. Какое-то мгновение они в упор смотрели друг на друга — женщины в фартуках, стоявшие в передних рядах, и малорослые деревенские мужчины с озябшими лицами, а против них вымуштрованные плечистые полицейские. И у тех и у других были матери, те и другие росли в бедности, те и другие любили, и те и другие когда-нибудь умрут, и все они говорили на одном языке — чешском. Но между ними была незримая черта ненависти. На мост входа нет! Так приказано! Никто не вступит на мост! Разойдись!

В ответ послышался глухой рев. Впереди была река, сзади — запруженная толпой улица, над крутым берегом направо и налево — домики, к которым вела узенькая, как ладонь, тропинка. Хотели или не хотели этого первые ряды, но напор сзади толкнул их на полицейских. Взметнулись дубинки, полетел первый камень, началась свалка. Бойкий мальчишка, один из тех, которые всюду влезут и всюду должны быть первыми (не он ли тогда прибежал на площадь с вестью?), быстро, как обезьяна, вскарабкался на высокие дугообразные перила моста и, торжествующе ухмыляясь, оказался над толпой. Ему была видна вся толпа на Вокзальной улице; лица повернулись к нему, словно приветствуя. Полицейский, чья голова была у ног мальчишки, взмахнул дубинкой, ударил ею мальчишку по икре, тот дернулся, потерял равновесие, удивленно вскрикнул «ой!», взмахнул руками и полетел вниз. Вода шумно брызнула, женщины ахнули от ужаса, толпа метнулась вперед. Несколько мужчин схватили ближайшего по-

лицейского за руки и за ноги и хотели бросить в реку, вслед за мальчишкой, но на них накинулись другие полицейские.

«Осторожно, это я!» — хотел крикнуть Ондржей, но на его плечо уже обрушилась дубинка полицейского. Такой удар долго будешь помнить! Однажды в Улах Ондржея ушиб спускавшийся лифт. Что-то сходное было в ударе дубинки, будто это был удар не человека, а двигавшейся машины. Все смешалось, и события уже не зависели от воли людей. Впереди фельдфебельским голосом выкрикивал распоряжения командир полицейского отряда, из задних рядов через головы толпы летели камни. Ондржей придерживал правой рукой ушибленную руку (она даже не болела, но стала тяжелой и нечувствительной) и тщетно старался пробраться к какому-нибудь домику. Станислава он давно потерял из виду. И вдруг какое-то почти незаметное движение: что-то мелькнуло в воздухе, а полицейские словно взяли на караул. Еще взмах, и на секунду воцарилась оглушительная тишина.

Потом люди впереди закричали чужими и новыми голосами, незнакомыми им самим, и этот крик будто вызвал из небытия снопы искр и хлопающие удары. Ужасаясь тому, что происходит, люди хватались за голову, поворачивались и бежали, бежали со всех ног. Почему они так кричат, ведь когда лопнет автомобильная шина, звук бывает гораздо громче... Но тут что-то маленькое, быстрое и веселое взвизгнуло над ушибленным плечом Ондржея, и вся жизнь *до этого* показалась ему такой неповторимо прекрасной! Это ведь как лотерея... в меня, может быть, и не попадут, ведь нас здесь так много... но все страшно мешают друг другу... Быстрей, быстрей вперед, Урбан, не то задние свалят тебя. Вон там какой-то неловкий споткнулся, кепка слезла у него на ухо, руки протянулись вперед, весь он как-то осел...

— Что вы делаете, полицейские! Ведь мы уже слушаемся! — кричал Ондржей, сам не слыша себя в отчаянии от этого недоразумения. Свидетель бог, люди действительно разбегались. Залп повторился. У полицейских автоматическое оружие, видно, потому они и должны выстрелить несколько раз.

Все это скорее было странно, чем страшно: ведь стрелять полагается охотнику с собакой в поле, а не людям в людей на обыкновенной улице. Звенели стекла в домиках, изнутри захлопывались, как перед бурей, ставни, где-то раздался высокий, похожий на смех, звон бьющегося стекла, напомнивший Ондржею о пожаре в тринадцатом цехе. Паника из-за стрельбы была страшнее самой стрельбы. «Господи боже, ребенка убили!» Это кричит женщина. Ондржею, конечно, и в голову не пришло, что разбитое окно имеет отношение к этому крику. Все кругом утратило всякую связь.

Раздался последний, запоздалый, как бы извиняющийся выстрел, и наступила тишина. Стало невероятно тихо, и только немного пахло порохом. За закрытыми ставнями ничто не шевелилось. Ондржей прижимался к запертым дверям какого-то домика и, глядя исподлобья, осторожно повернул голову. Он боялся пошевельнуться, как после жуткого сна. В нескольких шагах от себя Ондржей увидел женщину в фартуке и башмаках. Она шла по опустевшей прямой улице, обсаженной двумя рядами лип, и была видна на редкость отчетливо, как в стереоскопе. Ондржей долго не мог забыть этой картины. Он сперва не узнал Поланскую, она шла, пошатываясь и согнувшись.

— Обопритесь на меня,— сказал Ондржей,— это пройдет.

Он не видел крови, не знал, что она ранена. И все-таки в ней было что-то пугающее. Она отвернулась, будто не хотела никого затруднять, остановилась и, ссутулившись, осторожно, почти деловито кашлянула. Ондржей пытался отвести ее на тротуар, к стене. Стоя спиной к мосту, он чувствовал беспокойство: здесь мы ничем не прикрыты!

Поланская вдруг начала хватать воздух руками и вцепилась в больное плечо Ондржея с таким ожесточением, с каким утопающий цепляется за своего спасителя. Она висела на нем и хрипела. В груди ее слышалось клокотанье и шум,— казалось, она спешила умереть, но не могла, и в ней еще била крыльями испуганная, плененная душа. Ондржею ничего не оставалось, как держать ее. А помощи ниоткуда не было. Бог весть куда делась вся толпа, заполнявшая улицу. Яблоку негде было упасть, а сейчас пусто.

Франтишка Поланская качнула головой, взглянула на Ондржея, чужого человека с улицы, чтобы почерпнуть мужество из чьих-то живых глаз, хотела, видимо, что-то сказать, но вместо слов изо рта у нее хлынула кровь, и от этого Поланской как будто сразу стало легче. Ондржей подхватил ее. Она не упала, а потихоньку свалилась набок, голова у нее свесилась с такой же страшной беспомощностью, как у спящих пассажиров в поезде. Как тяжела была эта маленькая, слабая женщина! Ондржей боялся уронить ее. Он крикнул и застучал локтем в дверь домика, но оттуда не отзывались. Событие еще не остыло, и страх у людей не прошел.

В этот момент Ондржей увидел, что к нему по тротуару бежит Станислав, весь красный, с развевающимися светлыми волосами.

— Ты тут? — кричал он издалека.— Цел? Отец поехал на велосипеде в Градец, вслед за ними. А ты не видел, где По...— и

умолк, увидев ее. В тишине послышался шум уходившего поезда, не того, конечно, в котором повезли Поланского и Францека, тот давно ушел.

И только услышав этот звук, Ондржей осознал, из-за чего и как именно все произошло...

ОНДРЖЕЙ ПЬЕТ ВОДКУ

Друзья вернулись в деревянный дом, где Ондржей собирался переночевать. Прабабушка выглянула из дверей своей комнаты и приветствовала их словами:

— Вы почему не заперли за собой, когда уходили? Ну, ты-то, Станичек, еще маленький, ты мог и забыть. А вот Поланская хороша, убежит и ничего никому не скажет. Калитку оставила настежь. Нынче ни на кого полагаться нельзя...

За всю свою жизнь Станислав не слышал, чтобы прабабушка сказала так много за один раз. В последнее время она даже не отвечала на вопросы. Сейчас старуха говорила взволнованным глухим голосом, стоя в дверях, за которыми виднелась неприбранная постель. Прабабушка была в одной рубашке, с распущенными волосами. Она совсем не стеснялась чужого человека, Урбана,— возраст убил в ней стыдливость. Станислав осторожно попытался оттеснить ее в комнату, но старуха не пошевельнулась.

— Уже шесть,— сказала она угрожающе,— а я еще не ужинала. О чем думает Поланская?

Станислав пошел в погреб и разыскал там кое-что съестное. Когда он поднимался обратно, прабабушка снова высунула голову из дверей.

— А ты хорошо запер погреб?

По комнате второго этажа ветер, ворвавшийся сквозь открытое окно, разбросал пепел и бумаги. Станислав поднял с пола листок с заметками: «Старый импрессионизм — разложение. Импрессионизм Пруста — инфекция, он охватывает весь организм, как реакционная лихорадка». Боже мой, какой идиот писал это?.. А ведь это его, Станислава, почерк! Уже никогда не сможет он снова взяться за эти красивые белые французские томики. Для него они теперь полны ужаса этого дня.

Ондржей кружил по комнате и брал в руки то одну, то другую вещь.

— Что ты ищешь?

— Водку,— был ответ.— У вас всегда бывает водка, давай ее сюда. Черт возьми, сколько лет я не пил в Улах, сегодня хочу выпить... Дай, я открою, ты недотепа!

У Станислава тряслись руки, он не мог вытащить пробку. Ондржей отвел руку товарища со стаканом, запрокинул бутылку над головой и сделал несколько глотков. Водка обожгла его. «Хорошо!» — крякнул он.

— Ондра,— сказал Станислав, зажигая сигарету, это успокоительное средство людей умственного труда.— Как много в жизни загадочного! Почему, когда кому-нибудь в этом доме суждено умереть, приезжает Мразек на мотоцикле? Так было перед бабушкиной смертью... а сегодня он тоже был здесь.

Ондржей нахмурился.

— Перестань,— проговорил он.— Слава богу, я еще в своем уме. Где у тебя мыло?

Войдя в ванную, он отмыл буро-красные пятна на пиджаке. Они оба знали, откуда эти пятна. Станислав ходил за ним по пятам, куря сигарету, и возбужденно говорил о вражде рабочих и полицейских, о том, как возникла эта вражда, как она обострилась. Одновременно он вспоминал вслух покойную Поланскую, хвалил ее. Он явно из тех людей, которые склонны растравлять душевные раны, говорить о своих страданиях. Ондржей, наоборот, предпочитал прятать их в себе. Станислав вдруг страдальчески рассмеялся.

— Помнишь человека, который шел мимо и сказал: «Не трогайте ее, надо, чтобы все осталось как есть, пока не придет полиция».

— Я больше об этом слышать не хочу,— отрывисто бросил Ондржей.— Хватит с меня!

Он повесил пиджак на спинку стула, разделся, аккуратно сложил одежду, как его вышколили в общежитии казмаровской молодежи, и лег. Перед ним замелькали какие-то колючие искры, струился песок в песочных часах. Ондржей засыпал. Вдруг явственно послышались выстрелы из автоматов, в страхе он вскочил и увидел освещенную комнату и лицо Станислава. «Потуши наконец свет!» — грубовато крикнул Ондржей, скрывая испуг. Опустив тяжелую голову на подушку, он заснул, в счастливом сознании безопасности, как убитый.

К утру тревожная заноза в памяти Ондржея пробудилась раньше него. Не решаясь пошевелиться, он лежал как завороженный, лицом к окну, в котором виднелась утренняя звезда. Яркая и отчетливая, ощутимая словно яблоко, готовое упасть, она сияла на синем небе. «Что-то не в порядке, что-то не так, что-то нужно исправить или наладить»,— думал Ондржей. Он пошевелился, боль в плече дала себя знать, и с ней вернулось сознание всего случившегося. Вчерашний день — *это действительность, это правда!*

Занимался трепетный бледный рассвет. Ондржей не спал, им овладели воспоминания. В свете автомобильных фар маленькая женщина идет садом в рождественский вечер и тащит за ошейник упирающегося волкодава. Вот она набрала в одну руку несколько пальто, а другой взяла корзину и, наклонясь набок, как тень прошла по саду... Вот она стоит посреди рождественской столовой, прикрыв одну ладонь другой, потом осторожно поднимает руку, и с ладони взлетает прекрасная бабочка-адмирал и кружится по комнате, будто под солнцем... Поланская стояла перед Ондржеем как живая, она только не говорила: мертвые прежде всего теряют голос. Вот перед ней бежит черный козленок, которого ей жалко отнести к мяснику. Она входит в комнату, в переднике у нее цветочные луковицы. Подходит к Ондржею, протягивает ему руку, и луковицы падают... Ондржей содрогнулся. О боже, жила женщина, никому не делала зла — и нет ее, конец, убита, как зверь. Глаза у нее остекленели, и она умерла, та Поланская, которую он знал, маленькая женщина в фартуке. Из памяти Ондржея исчезла Нелла Гамзова, когда-то владевшая его сердцем, исчез Казмар, определявший жизненный путь Ондржея, забылись ссора с Руженой, Лидка и Францек, осталась только мертвая Поланская. Ондржей лежал лицом к окну, видел небо и обрывок проволоки, свисавшей с крыши над окном, разделяя пейзаж на две неравные части. Ночь на дворе понемногу отступала, по небу ползли рваные облака, в чужой комнате поскрипывала мебель. Слышно было, как во сне ворочается Станислав.

Ондржей приподнялся на локте здоровой руки.

Сколько весит пуля, которая убила Поланскую? В ткани ее платья, синего в белый горошек, была дырочка с опаленными краями, даже без следа крови. Чистая рана на спине, отверстие меньше гривенника. «Прострел легкого,— сказал доктор (Станислав немало побегал, пока нашел его),— и перебита главная артерия, а это значит — человеку конец». Через пять минут ее не стало. «Где же первопричина всего этого,— с ужасом думал Ондржей.— В увольнении нескольких десятков рабочих? Или в разгруженном вагоне с углем? В измазанной навозом телеге со штрейкбрехерами? В том, что главный инженер отхватил комиссионные за новые машины? Может быть, в мозгу изобретателя этих новых машин? Какая минута была решающей для случившегося? Та, когда Гамза воскликнул: «Поланского и Францека Черного сейчас ведут на поезд, чтобы отвезти в Градец, в тюрьму»? Или когда Поланский, возмущенный тем, что рабочих гонят с фабрики, выкрикнул что-то противозаконное? Или когда парламент принимал закон, который нарушен Поланским? Какая же минута решила эту бессмысленную, никому не нужную смерть?»

Ондржей сел на кровати, сжав руками трещавшую голову, и тотчас же, скривившись, опустил ушибленную руку.

«А кто, собственно, убийца? — с отчаянием думал он.— Полицейский, который стрелял? В Нехлебах уже распространился слух, что этот полицейский учился в школе вместе с Поланской и они с детских лет знали друг друга. Едва ли, ведь полицейских всегда посылают служить в другое место, не оставляют в крае, где они выросли, чтобы они не заигрывали с населением. *Мой* полицейский не убивал ее, но это не важно. *Мой* изрядно треснул меня, но надо признать, что он, как говорится, ничего не имел против меня лично. Утверждать, что Поланскую убил тот полицейский, чья пуля пробила ее легкие,— это все равно что считать убийцей станок на оружейном заводе, где сделана эта пуля. Машина не рассуждает, машина выполняет. Полицейскому капитан приказал: «Пли!» А капитана послал комиссар, а комиссара... Нет, так рассуждать не годится, должен же быть порядок. Ведь мы не дети. Они ведь давали присягу, их дело поддерживать порядок... Но я не стал бы служить в полиции... Постой, начнем все сначала, я же могу рассуждать здраво, это вчера мне мешала водка. Итак, чья она, собственно, эта фабрика Латмана? Кому пришла на помощь полиция? Латману? Нет, там ему не принадлежит ни одной шпульки. Фабрикой владеет банк, а ему все равно... Или нет, не все равно! Латман живет в Вене, банк находится в Праге, а Поланская убита в Нехлебах. Как же так? Что-то не вяжется, не хватает какого-то винтика. Банк... А что такое банк? Здание на главной улице, с барельефами, изображающими рабочих с молотами и жниц со снопами, они, мол, заслужили быть увековеченными на фасаде банка. И в самом деле, когда ни придешь в банк, там всегда ждут в очереди простые люди. Внутри, в зале, много окошечек, на доске выскакивают какие-то светящиеся цифры, и все это похоже на здание дирекции в Улах. Ну, ладно, мне в банке знаком только зал номер четырнадцать, где я сдавал сбереженные для матери сто крон; дальше этого зала наш брат не ходит. Кто его знает, что еще есть в этом здании. Я в жизни не бывал в подвалах банка и не заглядывал в несгораемый шкаф, я ведь не взломщик, у меня и инструмента такого нет. Кстати, в этих шкафах не хранят золота, не будьте так наивны, там только нумерованные ценные бумаги, их покупают и продают по телефону. Это нам и в Улах говорили. А невидимые господа за двойными, обитыми войлоком дверьми управляют всем на расстоянии с помощью телефона, телеграфа и радио. Мозг не увидишь, видны только движения, которыми он управляет (а плечо изрядно болит!), и убийца остается неизвестен. Где-то я читал об убийстве на расстоянии с помощью черной магии. Чернокнижник пронзает

булавкой восковую фигурку, а где-нибудь на другом конце света человек падает мертвым. Э, нет, это не то. Допустим, что удалось бы уговорить одного из этих невидимых властителей, скажем, председателя правления банка, приехать в Нехлебы и посмотреть, как идут дела на фабрике, которая теперь принадлежит банку; там бы ему дали в руки ружье, показали Поланскую и сказали: «Ну-ка, пристрели вон ту женщину в интересах общественного порядка и процветания чешской индустрии». Конечно, он не стал бы стрелять. Вблизи все это выглядит совсем иначе. Разделение функций, вот в чем фокус. Получается целая цепь, десятичная система, а потом попробуй найди убийцу! Как это говорится в той прибаутке, что мы знали еще в школе? «Где рыба? — Скрылась в воде.— А вода где? — Волы выпили.— А волы где? — Бары съели.— А бары где? — Померли и лежат на погосте». Вот и все. И спросить не с кого.

И почему только полицейские не стреляли в воздух?! Мы бы все равно разбежались, ведь мы были безоружны, а Поланская осталась бы жива и ходила бы сейчас по саду...»

За окном появилась светлая полоска, стала видна зелень деревьев, повеял ветер, засвистели птицы, приветствуя еще не вышедшее солнце. Станислав пробормотал что-то и отвернулся к стене.

«А Гамза доволен,— пришло в голову Ондржею.— Гамза отправился в Градец навестить раненых в больнице, добиться свидания с Францеком и Поланским, нажать повсюду, где можно, предпринять нужные шаги. Он очень занят, даже не вернулся ночевать, он делает все, что в его силах, я знаю, но только не говорите мне, что он огорчен. Он в своей стихии, он на коне, ибо эта кровь — вода на его мельницу. Расстрел толпы — лучшая пропаганда, куда лучше, чем листовки и речи, и Гамза знает это. И он прав,— с горечью подумал Ондржей.— Сколько общих фраз из их газеты «Красное пламя» обрело кровь и плоть над трупом одной Поланской! Этакая стрельба — если при ней уцелеть — заставит призадуматься и самую тупую голову. А где, кстати, был Гамза, когда началась стрельба? В последний момент я видел, как он стоял у подножья памятника и объявлял, что Поланского и Францека везут в тюрьму. Дальнейшее он предоставил Поланской... Францек сидит сейчас, бедняга, где-то в кутузке и не подозревает, что я ходил на вокзал освобождать его. Он всегда упрекал меня, что я на стороне хозяев. А я ни на чьей стороне, братец, потому-то мне и тяжко. Приходится самому ломать голову, никто мне не поможет. Как бесцельно, о господи, киснуть тут, рассуждая о том, кто виноват в смерти Поланской — банк, полицейские, Гамза или, может быть, изобретатель машин, которые отнимают или дают

людям работу. Поланская мертва, и рассуждениями ее не воскресить».

Заалели облака, зажглась утренняя заря, проголосили петухи, вышло солнце. Ондржей повернулся на другой бок и закрыл рукой глаза — утренний свет раздражал его. Отвернувшись к стене, он натянул одеяло на голову и свернулся калачиком, как в детстве. Эх, погрузиться бы в сон, ничего не знать, забыть то, что было! Ондржея уже клонило ко сну, как вдруг он увидел, что по комнате идет старый Горынек. Идет с палочкой, прихрамывая,— нога у него после пожара в тринадцатом цехе так и не зажила. Старик прошел по комнате нехлебского дома и посмотрел на Ондржея больными, воспаленными, как у угольщика, глазами. Видение исчезло, но Ондржей не успокоился. При чем тут Горынек? С Горынеком был несчастный случай. Кто мог знать, что он там, за огнеупорным занавесом?.. Нет, не надо было вчера пить водку!

Ондржей сбросил одеяло, вскочил, поежившись, и по привычке казмаровского воспитанника пошел принять душ. В ванной он попробовал, как действует ушибленная рука. Ничего, двигать можно. Удовольствие маленькое, но повреждений, видимо, нет. Только не раскисать!

Ондржей стряхнул с себя ночные настроения, душ освежил его. Когда он вернулся из полутемной ванной, комната уже была полна солнца. За окном виднелось голубое небо, по нему бежали белые облака, в привычном свете дня все, казалось, встало на свои места. Ондржей подошел к окну, распахнул его и вдохнул живительную прохладу.

Станислав вдруг резко повернулся и сел на кровати, моргая и словно не соображая, где он. Видимо, он еще не совсем проснулся. Уже одетый, Ондржей подошел к нему и спросил о каком-то пустяке — спичках или ключе. Станислав вытаращил на него глаза, забормотал что-то, лязгнул зубами и вдруг всей тяжестью повис на шее Ондржея.

— Ондра! — закричал он глуховатым голосом, точно во сне: — Какое несчастье! — И он прильнул к Ондржею, как будто хотел утешить его. Никогда они не обнимались, разве что когда еще мальчиками затевали борьбу; Ондржей почувствовал колючую щеку Станислава, тепло его тела, запах волос... ох, это тот запах, он напомнил о рождестве в Нехлебах, о склоненной женской шее плачущей Неллы... какая гадость!

— Ты что? — застеснялся Ондржей, снимая руки товарища со своих плеч.— Приснилось тебе что-нибудь?

Станислав протер глаза и уже осмысленно посмотрел на Ондржея.

— Бр-р-р-р, ну и сон мне приснился!

— О ком, обо мне? Почему ты так меня испугался?

— Да так, ужасный вздор,— уклонялся Станислав.

Ондржей настаивал — расскажи!

— Ну ладно,— сдался Станислав.— Мне снилось, будто я в Татрах, где сейчас лечится Елена, и с твоей матерью случилось... *то же,* что с Франтишкой Поланской. Я сам при этом не был, но знал об этом,— понимаешь, как бывает во сне. Теперь представь себе мой испуг, когда ты оказался тут, у моей кровати. Я был в ужасе,— ну как я скажу тебе об этом?

— Что привидится, то сон, кто поверит, тот дурен! — отозвался Ондржей одной из своих прибауток, которыми он отгораживался от людей в минуты внутреннего смятения.— Мне уж давно не снятся сны, еще со школьных времен,— добавил он и солгал.

— А мне спятся,— сознался Станислав.— Я вообще не сплю без сновидений. Это наследственность. Мама однажды...

«Скорее бы уехать отсюда,— думал Ондржей.— Все это не для меня. Лучше бы мне не ездить в Нехлебы! Это дом с призраками, и он всегда был таким».

ХОЗЯИН, ТАК НЕЛЬЗЯ

Лидка выходила из улецкого универмага, когда Ондржей входил туда, чтобы закусить с дороги, и они столкнулись в дверях.

— Батюшки, ты уже здесь! — воскликнула Лидка, зарделась от радости и торопливо поправила прическу. При неожиданной встрече она показалась Ондржею той самой застенчивой девушкой, которую Францек впервые «сватал» Ондржею. Тогда она пряталась от него в кружке девушек, и робкому новичку-казмаровцу казалось, что невозможно вытащить ее оттуда, теперь она не стеснялась быть с Ондржеем, они принадлежали друг другу. Лидка вместе с Ондржеем вернулась в кафетерий универмага. Она держалась уверенно: у нее есть свой парень, и все подруги давно знают об этом. Немного таинственно она сообщила Ондржею, что пока его не было, она ни разу не ходила обедать в рабочую столовую.

— Не люблю, когда люди пристают с расспросами. Девчата все время допытывались, где ты, и говорили, что ты не вернешься в Улы. Мне от этих разговоров и в цехе не было проходу.

В улецком универмаге все оставалось по-старому. Играло радио и пахло ясменником, который здесь добавляют в чай вместо рома, пирамиды консервных банок высились рядом с батареями

лимонадных бутылок, в витринах под электрическим светом блестела, как вода, целлофановая упаковка сладостей, люди толпились, расходились, покупали у прилавков, стояли с чашками в руках, разговаривали, продавщицы были начеку. Но галантерейный отдел был закрыт, отдел игрушек тоже. Впервые за все годы в Улах Ондржей заметил узор кафельного пола универмага. Похоже на то, что раньше здесь бывало оживленнее.

— Рад, что побывал дома? — расспрашивала Лидка (после разлуки ее речь звучала для Ондржея ласково и утешительно).— Что же ты не дал знать, что едешь? Я бы вышла тебя встретить. Как провел праздники у мамы под крылышком?

Ондржей рассеянно посмотрел на нее. Как далеко была Прага! Ему казалось, что он был там за много месяцев до событий в Нехлебах, до смерти Поланской. Гора событий выросла между ним и Лидкой, и он сказал откровенно:

— Мне кажется, что я не был здесь год.

— Я тоже очень скучала,— призналась Лида, по-своему поняв слова Ондржея. Она взяла его под руку — плечо Ондржея заныло,— и они вышли на людную площадь. Парни в кепках, с сигаретами в зубах улыбками и шутками приветствовали вернувшегося товарища. Женщины в платках, американистые господа, девушки в платочках и беретах, парочки, убаюкивающая напевная речь — все было по-старому в Улах; так же пахло текстилем и хлопком, красками и аппретурой — всем, что было хорошо знакомо Ондржею. А над Улами светилось третье с краю окно в здании дирекции — значит, Хозяин дома. В цехах повсюду было темно и тихо. Видны только контуры сплошь застекленных корпусов, похожие на остовы зданий или на громадные решетчатые ящики.

— Это что же? — спросил Ондржей, кивнув на фабрику.— Никаких сверхурочных? Уж не приехал ли одним поездом со мной государственный инспектор по охране труда? — продолжал он тоном посвященного человека.

Но Лидка только крепче сжимала ему руку — помалкивай, мол,— и у Ондржея опять заболело плечо. Лидка была осторожна — и правильно: в Улах всегда надо быть начеку.

Среди пешеходов толкался газетчик и, предлагая «Улецкий вестник», выкрикивал: «Новые подробности столкновения в Нехлебах! Трое убиты, четырнадцать раненых! Красные подстрекатели хотели остановить поезд!»

Ондржея бросило в холодный пот. Его первым желанием было схватить газету, уткнуться в нее и снова читать, снова видеть написанное черным по белому, что он уже читал в поезде: *«Франтишка Поланская, 37 лет, садовница, бездетная»,*— и ощущать ужас этих строк. Но осторожность, унаследованная от матери,

тотчас же заговорила в нем. Это был тот голос, который заботился о нем, который когда-то твердил Ондржею: не дружи с Францеком. Теперь он шептал ему: делай вид, что не видишь, не замечаешь и не слышишь, о чем мальчишка с газетами кричит на всю улицу. Боже упаси, если кто-нибудь в Улах узнает, что Ондржей Урбан, квалифицированный и уважаемый рабочий Казмара, шел на нехлебский вокзал освобождать Францека Антенну, сорвавшего первомайские торжества. Никому ни звука, такими вещами в Улах не шутят!

— Куда ты так спешишь? — спросила Лидка, едва поспевавшая за ним.

— Не дождусь, когда мы останемся наедине,— невыразительно ответил Ондржей.

Лидка украдкой взглянула на него и прильнула к нему; Ондржей сжал своими замерзшими пальцами ее теплую руку, и они пошли. Повернув вдоль забора, где намалеваны огромные казмаровские лозунги, которые видны с поезда, когда подъезжаешь к Улам, они спустились вниз, мимо складов, к плотине. Это был маршрут признанных улецких парочек. Лида рассказывала Ондржею новости о свадьбах, смертях, крестинах. Ровным певучим голосом она говорила о всех этих бабьих новостях, а когда кругом стало мало прохожих, оглянулась, как делают казмаровцы, прежде чем заговорить о своем. Колушека, правда, не было в Улах, но его агентура не вымрет на улецкой почве. Здесь и стены имеют уши.

Понизив голос, Лидка тем доверительным и рассудительным тоном, каким она обычно сообщала Ондржею новости из цеха, заговорила о фабричных делах.

— Новостей у нас не оберешься. Работаем, как на курьерских. Все по секундомеру. Слышал ты о системе баллов? В поезде слышал? Ну конечно, ни о чем другом у нас и не говорят. Погоди, сам отведаешь. Делается это так: за спиной у тебя стоит инженер с секундомером и следит. Моргнешь — один балл долой, чихнешь — трех баллов нету. А чтобы дать нам лучшие машины — об этом никто и не думает. Я работаю все на той же старой трещотке. В час надо дать шестьдесят баллов. Они выведены из лучшей выработки, а от нас ее требуют все восемь часов. А как только не поспеешь — штраф. После нескольких штрафов — за ворота.— И Лидка сделала выразительный жест.— Просто ищут предлог, чтобы увольнять. Вот, например, Якубка, ты знаешь ее, такая рыженькая...

— А ты поспеваешь? — прервал ее Ондржей.

Вместо ответа Лидка извлекла из сумочки флакон, вынула пробку и шутливым жестом поднесла флакон к носу Ондржея. Он услышал острый запах спирта.

— Протираем себе этим после обеда руки и массируем их, чтобы не сводила судорога от спешки. Поспеваю ли я? А что же мне делать? Приходится поспевать,— сказала Лидка; суровая складка, присущая деревенским женщинам, легла у ее рта, и глаза под упрямым лбом стали хмурыми.

— Значит, работы хоть отбавляй? — неуверенным голосом сказал Ондржей.

— Ничего подобного,— приблизив к нему лицо, зашептала Лидка.— Нас подгоняют только затем, чтобы снижать заработок и брать штрафы. За прошлый год я выработала втрое больше...— Заметив, что кто-то идет мимо склада, она сказала громко: — Хозяин, конечно, разъяснил нам, в чем дело: трудности с экспортом. Ну, мы справимся с трудностями.

Оба подождали, пока человек прошел.

— А что делает Казмар? — спросил Ондржей.

— Бахвалится, как всегда. Всюду, мол, плохо, только в Улах хорошо. Все ораторствует. Завтра опять выступает в Большом кино, все должны быть. Что ж, почему не пойти, времени у нас хватает, по пятницам и субботам теперь не работаем. Будем митинговать.

От удивления Ондржей даже сбился с ноги. И это говорит Лидка Горынкова, родом из коренной улецкой семьи, всегда преданной Казмару!

— По субботам уже давно не работают,— раздраженно произнес Ондржей, как бы защищая себя, и погрузился в хмурое молчание. Прогрохотал поезд, и снова стихло, слышался только шум реки.

— О чем ты думаешь? — спросила его Лидка.

Рассказать ей о текстильщике из Находа, что играл на пиле на Вацлавской площади?

— Рад, что опять с тобой,— ответил Ондржей. Но, по совести сказать, особой радости заметно не было. Он молчал и шел как в воду опущенный, словно был один, а не с девушкой.

Они вышли на плотину. Ветер трепал Лидкины волосы. Пахнуло сыростью и запахами химикатов. Внизу бежала темная вода. Ох, и ветер же тут был! Ондржей придерживал свою пражскую шляпу, выглядевшую немного смешно в Улах. Лидка прижала рукой юбку, и они пошли по бетонной стенке шлюза. Темнело, небо походило на колеблющуюся парусину, над горами, как драконы, громоздились тучи, в Улах было холодно и неуютно. На набережной жались одинокие парочки. Если бы не дул ветер и не шумела вода, было бы слышно, о чем шепчутся влюбленные. Ондржей хмуро шел рядом со своей девушкой. От шлюза они свернули в ольховую рощу.

— А как поживает твоя сестра? — спросила Лидка, и было видно, что она верит в прочность семейных уз.— Удивилась она нашей новости? Наверно, она догадалась, еще когда была здесь в позапрошлом году?

— Что? Чему удивилась? — очнулся Ондржей.

— Он еще спрашивает! Ничего сказать, хорош! Ну, тому, что мы с тобой любим друг друга и поженимся, когда ты отслужишь в армии,— с укором сказала Лида, беспокойно засмеялась и подтолкнула Ондржея локтем в бок, как подталкивают ребенка, забывшего поздороваться.

— Ну конечно, сестра порадовалась за меня и передает тебе привет,— ответил Ондржей первое, что пришло в голову. Зачем рассказывать о ссоре с Руженой, не стоит заводить об этом разговор.

Ондржей шел как потерянный. «Вправду ли я в Улах и иду в обнимку с Лидкой Горынковой, которую когда-то ревновал к Францеку Антенне? Она так же хороша, как и прежде»,— думал он.

Ветер с гор трепал одежду Ондржея, рвал его шляпу, подгонял в спину. И стоило только оглянуться, чтобы убедиться, что ты в Улах: на фоне вечернего неба и острых гребней гор высится труба над скопищем кубообразных зданий, вдалеке видны каменоломня и лесопилка, вот вращающийся прожектор на небоскребе дирекции. Его луч скользнул по Ондржею и Лидке, и они замерли, как ослепленные зайцы... Да, да, он в Улах, куда так стремился после страшной ночи в Нехлебах. Он в Улах, и все же ему не легче. Кто-то другой думал за него и будто подталкивал его куда-то, а в себе самом Ондржей ощущал лишь боль ушибленного плеча и ноющую занозу в сердце — не то недоброе предчувствие, не то нечистую совесть. Но ведь он ни в чем не провинился, почему же у него захватывает дыхание и что-то щемит внутри?

Подойдя к ольховой роще, они дальше пошли поврозь: тропинка была слишком узка для двоих. Лидка машинально остановилась и взглянула на Ондржея — потом ей было очень стыдно этого взгляда,— в этом месте начинается уединение, и за поворотом они обычно целовались. Но Ондржей отступил, как-то нелепо опустив руки.

— Ты словно мертвый какой-то,— вздрогнув, сказала Лидка, поправила воротник пальто и пошла по дорожке.

Была холодная горная весна, не располагавшая к любви. Ветер шумел, словно стараясь заглушить реку, и разносил торфяной запах, стоявший в ольшанике. Ондржей смотрел перед собой на кусты, Лидка шла, опустив глаза, словно считая камешки на тропинке. Каждый думал о своем.

Когда они вышли на лужайку, Лидка подняла голову, повернулась к Ондржею и взяла его за обе руки.

— А теперь скажи мне,— промолвила она убаюкивающим улецким говором,— кто тебя обидел в Праге? Ты чем-то расстроен, я по глазам вижу.— Она говорила ласково, как с Ондржеем никогда не говорила мать, но Ондржей был скрытен и все еще колебался. В «Казмарии» трудно довериться даже милой. В Улах люди не верят, даже когда им говоришь: «Будьте здоровы!»

— Расскажи мне все,— уговаривала Лидка.— Тебе станет легче.

Кроме всего прочего, ее одолевало любопытство. Наконец он сдался и заговорил:

— Лидушка, за это короткое время я видел много дурного. Я тебе расскажу, но ты никому ни слова.

И он рассказал все, что видел в Нехлебах. О мальчишке, который влез на перила и улыбался толпе, а полицейский ударил его по ноге, и мальчишка полетел в реку, о грудном младенце, убитом на руках матери пулей, залетевшей в окно; о Поланской, которую он знал, и о том, как она умерла. Поланская, такая заботливая и кроткая женщина, но и она не стерпела, когда ее мужа полицейские вели, как вора!

Ондржей разволновался, забыл об осторожности. Он повышал голос, чтобы перекричать шумную реку. Он изливал душу. Почему это человеку так отрадно выговориться до конца?

Лидка не сводила глаз с Ондржея и внимала ему, как герою. Он побывал там, где была стрельба, он участвовал в опасных событиях, и он озарен отблеском славы. Но Ондржею картина казалась все еще недостаточно яркой — ведь слова так бледны! — и он приукрашивал ее подробностями о «раненых, падавших у него перед глазами», и о «залитой кровью мостовой».

— А мне,— скромно закончил Ондржей,— пуля пробила шляпу.

Он даже не ожидал, что может так фантазировать. Ложь сама сорвалась у него с языка.

— Боже мой! — ахнула Лидка. Она схватила шляпу Ондржея и побежала к берегу, где было больше света. Надо же посмотреть дырочку от пули. И представьте себе, она рассматривала шляпу до тех пор, пока не нашла несуществовавшего отверстия! Чего только не делает вера!

— Вот она, дырочка, а вот другая. Шляпа у тебя прострелена в двух местах, ты ее больше не надевай. Купишь новую, а эту мы сохраним на память.

После шляпы Лидку больше всего интересовала судьба мальчишки, который упал в реку.

— Что же, он утонул?

— Нет, один рабочий кинулся за ним и вытащил на берег. Мокрые они были, как водяные! — расписывал Ондржей, будто сам видел все это.— Парнишка отделался испугом.

О Поланской Лидка сказала:

— Бедняжка! А дети у нее были? — И, услышав, что нет, добавила: — Ну, это еще хорошо.

Ондржей рассердился.

— По-твоему, стало быть, бездетную женщину не жалко?

— Конечно, жалко,— успокоила его Лидка и, взяв под руку, повернула домой. Он был очень взволнован.

— Не расстраивайся, хватит! — уговаривала она Ондржея.— Видишь, у нас в Улах лучше.

— Потому, что ты ни о ком не думаешь, кроме нас двоих,— огрызнулся Ондржей.— На других тебе наплевать.

— У каждого хватает своих забот,— возразила Лидка и пожалела об этом. Лучше уж с ним не спорить.

— А знаешь, кого я там встретил? Францека Антенну,— немного сердясь на Лидку, продолжал Ондржей и рассказал ей о встрече на нехлебской площади.— Он и о тебе справлялся.

— Мог не справляться,— сердито ответила Лидка.— Когда уезжал из Ул, даже не захотел с нами попрощаться, а теперь справляется.

— Лидка, тогда, Первого мая, ему было несладко,— с упреком отозвался Ондржей.— А сейчас еще хуже. Читала ты в газетах... Писали о Францеке в «Улецком вестнике»?

— А что о нем могли писать?

— Ты не знаешь, что Францек арестован?

— Ничуть не удивляюсь,— резко сказала Лидка, и Ондржей опять подумал о том, что ей, видно, очень нравился Францек. Ондржей охотно заступался за своего друга, радуясь его отсутствию. Сейчас он с особенным рвением защищал Францека и раскаивался в том, что сперва не упомянул о нем, представив дело так, словно он, Урбан, был единственным героем.

— ...Он молодчина парень,— закончил теперь Ондржей свой рассказ о приятеле.— Никогда не трусил!

— На язык смелый! — отрезала Лидка и добавила с женской рассудительностью: — Попасть в тюрьму всегда позорно. Радуйся, что ты не замешан в это дело.

Уже в городе Лидка сжала больную руку Ондржея и заговорщическим шепотом сказала ему на ухо:

— О том, что ты мне рассказал, ни одна живая душа не узнает, не бойся. Это могло бы повредить тебе на фабрике.

— Это я и без тебя знаю,— проговорил Ондржей тоном, каким непослушный ребенок отвечает няньке.

— Ну что мне с тобой делать? — огорчилась Лидка.— В Нехлебах тебя точно подменили.

Но в понедельник утром, когда Ондржей вошел в фабричные ворота, пересек двор, над которым на тросе повисли две вагонетки канатной дороги, и, повернув турникет, отбил свой контрольный листок, когда в раздевалке его окружили знакомые лица и послышались знакомые голоса, когда дородный мастер Лехора увесистее обычного хлопнул его по спине в знак особой приязни и спросил: «Ну, вертопрах, какие штучки знают пражские девочки?» — а Галачиха подошла к нему и, протянув руку, поздравила с приездом, когда Ондржей, вдохнув знакомый запах хлопка и шлихты, который не выветривается за воскресенье, как и запах машинного масла, который станет еще резче, когда станки заработают, проверил свои станки, чтобы убедиться, не запустил ли их заменявший его, когда он отчитал подносчика за то, что тот «копается сто лет», когда он наконец включил рубильник и машина дрогнула, звякнула и пошла с глухим шумом и грохотом, от которого не слышно было собственных мыслей — и все-таки можно было разобрать, что работают его, Ондржея, четыре машины! — когда он снова стал на свое привычное место, справа во втором проходе, и начал работать (а все остальное его не касается, пусть мастер и управляющий цехом решают за него) — у Ондржея отлегло от сердца. Слава богу, он снова дома, и все в порядке. Тем более что в обеденный перерыв никто в цехе ни слова не сказал о нехлебских событиях, чего немного опасался Ондржей. Но рабочие Казмара руководствовались принципом: «Не в свое дело не суйся».

О, целительное однообразие! Четыре машины Ондржея день за днем словно увозили его все дальше от Нехлеб. Вечера он проводил с Лидкой, которая молча простила ему временную «дурь». Скоро все вошло в свою колею. Кровь — не вода, и приятнее обниматься с девушкой, чем терзаться бесплодными размышлениями. И Ондржей бросался к Лидке, крепко обнимал ее, клал голову на ее высокую грудь, закрывал глаза, погружаясь в живую теплоту, в которой исчезали мучительные воспоминания и страх перед завтрашним днем. А она будто говорила своими объятиями: «Молчи! Я тебя никому не отдам!» Голова Ондржея склонялась на Лидкино плечо, и он замирал в какой-то блаженной беззаботности. От Лидки Ондржей возвращался с легким сердцем, ему казалось, что он может одним прыжком перемахнуть реку Улечку, что он справится со всем на свете и не отстанет от самого Казмара. В такие минуты Ондржей очень нравился самому себе.

Он не боялся инженера с секундомером, прозванного «Бедуином», и не отставал в работе. А что будет дальше? «Это не мое дело, и я в него не суюсь». Лицо Ондржея, обветренное от частых прогулок, приобрело туповато-рассудительное выражение казмаровца, и можно было подумать, что он уже *все забыл.*

В самом деле забыл? Нет, бывали горькие минуты. Иногда во время сверхурочной работы — у Казмара это делали, чтобы сэкономить уголь и на следующий день вообще не топить и не работать в цехах,— когда приближался одиннадцатый час, Ондржея одолевали воспоминания и начинала мучить заноза в сердце. Приходила такая минута: течет основа, как молнии носятся челноки, и вдруг все как бы останавливается, не слышно шума, и в страшной пустой тишине начинает ныть сердце, в котором сидит заноза недоброго предчувствия или нечистой совести. Дыхание спирает, становится тяжко. Что же такое произошло, что еще произойдет и что такое я упустил?

Ондржей быстро начинает заряжать челноки в барабан, хмурится от боли (ушибленное плечо дает себя знать). Как тяжела была та маленькая женщина, мертвая Поланская! Ондржей боялся, что уронит ее...

Но все это только мираж, усталость от сверхурочной работы. Все двоится в глазах, и надо заботиться не только о машинах, но и о самом себе — это час несчастных случаев на производстве. Недавно в соседнем цехе у одной работницы волосы втянуло в машину и сорвало вместе с кожей. Но Урбана Розенштам недаром отнес к числу «травмоустойчивых». Определение оказалось правильным. Секунда помрачения — и Ондржей овладевает собой. Никто не заметил. Выработка не снизилась, а это главное. Да и почему бы ей снизиться,— ведь Ондржей хладнокровен и знает машины как свои пять пальцев. Хорошо, все идет хорошо.

Так жил Ондржей, словно нося с собой какое-то письмо, на которое нужно было ответить, так играл он сам с собой в прятки, пока не наступила среда, двадцать второе апреля, простой, ничем не замечательный день, который не будет записан ни в какие летописи, но останется памятным Ондржею. Сейчас вы узнаете почему.

Уже не первый день в шестнадцатом цехе чувствовалась грозовая атмосфера: контрольный отдел возвращал работу, бухгалтерия списывала удержания за брак, из дирекции то и дело приходило начальство, управляющий ткацкими цехами молчал и ходил как туча, а его надсмотрщик мастер Лехора бушевал, усердствовал вовсю, жал на рабочих. Люди ворчали.

В такие дни и машины, казалось, чувствуют грозовое давление, то и дело отбиваются от рук — то порвется ремень, то порвется уток и возникнет брак на ткани. Внимание, внимание, нын-

че шутки плохи: не пройдет никакой брачок! Миновали времена, когда в шестнадцатом цехе ткали даже по субботам до позднего вечера, а пошивочные цехи выхватывали материал из рук, не глядя на мелкие пороки. Сейчас начальство свирепо как черт, не терпит никакого брака, ищет, к чему бы придраться! На днях уволили Стейскала (мастер на него имел зуб за подносчицу Здену) — всего-навсего из-за «лесенки» на ткани. Забракованную ткань дали ему на дорогу в счет заработка — и иди себе подобру-поздорову. А что же арбитражная комиссия? Какая там комиссия, одна видимость, каждый трясется за свой кусок хлеба. Говорят, что и сам Казмар чувствует себя нетвердо на ногах, только не хочет, упрямец, признать это. (И он прав, лучше молчать.)

В эти дни по цехам разнеслась весть, что предстоит очередной «обход». Такие «обходы» устраиваются, когда нужно избавиться от лишней рабочей силы и заставить напряженнее работать остальных. Придет Бедуин — инженер фирмы, у которой Казмар приобрел патент на шестидесятибалльную систему подхлестывания людей. На фабрике болтали и о том, что, мол, как только закончим партию зимних товаров, оборудование демонтируют, сложат в ящики, и «Яфета» переедет куда-то в Венгрию (кому охота слушать такие речи, у страха глаза велики!). Все содрогались перед загадочным бедствием, перед экономическим мором, название которого в Улах не велено произносить, все сваливали вину друг на друга, и хуже всех приходилось самому младшему, если только к нему не благоволил мастер. Галачиха уже несколько раз жаловалась товаркам, что Лехора на нее зол, вечно бранит и придирается. Все это с тех пор, как она была на митинге в Драхове. Ондржей потом вспомнил об этом.

В среду, о которой идет речь, Ондржей кончил ткать партию клетчатой фланели — заказ для Швеции,— остановил машины и пошел за Лехорой, чтобы тот записал выработку. В цехе мастера не было. Ондржей вышел в соседнее помещение, где наводили основы, и вздрогнул. Он уже не был мальчиком, как в те времена, когда впервые увидел Казмара, и все же каждый раз при виде Хозяина у него замирало сердце. Нет, Хозяин не витает над нашей фабрикой, как незримый дух банка над Латманами, он не посылает вместо себя полицейских, он сам заботится обо всем, сам приходит в цехи. Молодец Хозяин! Вот он стоит у них в цехе, великан в поношенном пиджаке. Справа от него элегантный верзила с секундомером в руке, такой красивый, словно герой дешевого кинофильма,— это Бедуин, жупел всей фабрики. Слева мастер Лехора. Он почтительно остановился на шаг позади Казмара, и вся его фигура выражает готовность устремиться вперед, схватить вещь или человека и вышвырнуть вон — как прикажет Хозяин.

Все трое стояли около Галачихи. Она сидела у окна, склонив голову над рамой, на которой висели листы и разделанная основа с узором, готовым разлететься, чуть дунешь на него. Ондржей вошел, и глаза его невольно обратились туда, куда внимательно смотрели еще три пары глаз — узкие щелки глаз Казмара, круглые, как конский навоз, глаза красавца Бедуина и выцветшие буркалы мастера Лехоры,— на руки Галачихи. Она торопливо работала иглой, руки у нее дрожали... и вот она сбилась. Ондржей знал, какая она нервная, ведь в бытность учеником он работал у нее подсобником.

— Ослепла, что ли? — рявкнул на мастерицу Лехора.— Не можешь повнимательней? Не так! Начни снова, да побыстрей!

Галачиха считалась опытной наводчицей, рекорды ставила, рука у нее всегда была легкая, работа шла как по маслу. Но она терпеть не могла, когда ей смотрели на руки, от этого она теряла темп и сбивалась. И тут вот этот обход, проверка с секундомером, которого Галачиха боялась как черта. Стрелка бежит по циферблату и гонит Галачиху, как колесо белку. Пальцы у нее одеревенели. А подносчица Здена, как назло, все подваливает работу. Бедуин делает заметки в своем проклятом блокноте, а Казмар зловеще молчит. Гонка, травля, охота, затравленный зверь, ловчие и обходчики!

— Расселась тут, как на даче! Такая работа нам не нужна! — гаркнул на работницу Лехора, стараясь выслужиться перед начальством.— Мы тебя тут не для красоты держим.

Галачиха вдруг швырнула иглу на пол так, что та зазвенела, вскочила на ноги и крикнула:

— Ну и что ж, мой убыток. У вас из получки не вычтут. А мне платят с выработки!

Пятидесятилетний Казмар нагнулся легко, как юноша, и поднял иглу прежде, чем это успели сделать стукнувшиеся лбами Лехора и Бедуин. И, как бы умерив этим свой гнев, Хозяин сказал медленно, вертя иглу в пальцах:

— Пани Галова, если у нас рабочий бросает работу, мы его не задерживаем. Незаменимых нет, и вы с субботы свободны. Обратитесь в кассу.

И пошел дальше. Галачиха стояла ошеломленная, слегка открыв рот и растопырив руки, не зная, куда их деть. Женщины в цехе подняли головы, посмотрели на нее и снова опустили глаза к работе. Каждый знал, что Галачиха пришла на фабрику еще девчонкой четырнадцати лет и четверть века отдала Казмару. А он даже не посмотрел на нее и пошел дальше.

— Здена, сядь на ее место! — крикнул Лехора и сам — старый черт, как ему не зазорно было браться за такую работу, уче-

ницы ее стеснялись — стал подносить Зденке материал, чтобы только угодить Казмару.

Галачиха не издала ни звука. Словно озябшая, она втянула голову в плечи и медленно, медленно, как старуха,— а ведь ей не было сорока,— поплелась в раздевалку. Весь цех глядел ей вслед. «Застрелили ее, как Поланскую»,— подумал Ондржей и преградил путь Казмару.

— Хозяин,— начал он,— так нельзя...

Казмар удивленно и с усмешкой взглянул на него из-под рысьих бровей, и Ондржей запнулся, но решимость его не исчезла. Робкому человеку всегда так трудно отважиться на что-нибудь, но когда он уже решился, то не отступится от своего замысла. И Ондржей стоял перед Казмаром.

— Хозяин, вы справедливый человек,— говорил он в смятении, и ему казалось, что решается какой-то другой, более важный для него, Ондржея, вопрос.— Я всегда верил в вас... Галачиха работает на вас двадцать пять лет, она не сделала вам ничего дурного. Не выбросите же вы ее на улицу, как какую-нибудь воровку... как мусор...

Казмар поглядел на него, но не в глаза, а куда-то на лоб.

— Рабочих я держу для работы,— коротко сказал он.— А порядки устанавливаю сам. Вам мои порядки не нравятся, возьмите свои документы и убирайтесь тоже.

У Ондржея на момент остановилось сердце. В его сознании, как у утопающего, промелькнули образы всех этих лет в Улах — юродивый Мишкержик с приветливой улыбкой, дрожащие ноги Горынека с живым мясом ран на потрескавшейся коже, Францек на трибуне вскидывает голову и кричит, заглушаемый музыкой, разноцветные воздушные шары, кружок микрофона и похвала Ондржею Урбану за храбрость.

«И ради этого человека я пошел в огонь!» Ондржей стоял перед Казмаром прямо, как солдат, и не отводил глаз. Что-то в этом упорном молодом взгляде раздражало Казмара.

— Идите, и чтоб я вас больше не видел,— добавил он своим глуховатым, сдавленным голосом, странным для такого гиганта, и отвернулся, сдерживая нарастающий гнев.

— Свет не сошелся клином на Улах, Хозяин,— ответил Ондржей, повернулся и отошел.

Когда в обеденный перерыв подруги рассказали Лидке о том, что произошло в шестнадцатом цехе, она набросила пальто и побежала к Ондржею. Он был дома и складывал вещи. Посреди комнаты стоял чемодан, шкаф был раскрыт настежь, на стульях лежали вещи. Девушка переступила порог и всплеснула руками.

— Что ты со мной сделал!

Она подошла к нему, села на кровать, опустила руки и расплакалась.

— Да разве я тебя обидел, Лидушка?

— И все из-за какой-то старой бабы, из-за Галачихи! — выпалила Лидка и вырвала у него руку.— Ну, ее жалко, да,— продолжала она, волнуясь.— Но кого нынче не жалко? Всех! Такое трудное время! Где была твоя голова? Не знаешь ты, что ли, порядки в Улах? Как маленький! Помог ты ей этим? Не помог. А себя погубил.

Ондржей усмехнулся, хотя ему было не до смеха. Он не перебивал Лиду, слушал ее слова, ее жалобный тон. Внимательно и отчужденно смотрел он на девушку... Пять лет казмаровской гонки... Километры ткани... *А для чего?*

— Несчастные мужчины! Всегда лезут не в свои дела! Будто каждому мало своих забот. Что ты теперь будешь делать, куда подашься?

«...Для чего? Чтобы когда-нибудь стать мастером и самому гонять людей? Чтобы поселиться с Лидкой в одном из новых стандартных домов, так похожих на кубообразные фабричные корпуса? Чтобы наплодить маленьких Ондржеев и Лидок, которые будут ходить в образцовую улецкую школу, украшенную портретами Казмара? А почему бы и нет, школа тут впрямь образцовая, а Лидка — красивая девушка. Разве я не знал всего этого раньше?»

— Такое хорошее место! И как тебя все любили!

— Прошу тебя, перестань! — бросил Ондржей, вздрогнув, словно притронулись к его обнаженному нерву.

«...Разве я не знал всего этого раньше: что Казмар не человек, а машина, что Лехора — скот, а Лидка — здоровая девушка, которой хочется замуж. Францек ли, Ондржей ли — все равно, лишь бы свить гнездо. Вот сейчас она висит у меня на шее и уговаривает не уезжать».

— Какая-нибудь работа найдется, погляди хоть на дядюшку из Америки, он чуть было не отчаялся, и все-таки мы нашли ему работу.

Ондржей только усмехнулся на эти уговоры.

— Меня бы все сторонились, как зачумленного,— сказал он.

Лидка не слушала его, ее заплаканное лицо выражало горячее стремление найти какой-нибудь выход.

— Жить ты мог бы пока у нас. Ева как раз с первого числа уезжает в Брно...

Мать ли, возлюбленная ли — женщины всегда с неохотой выпускают мужчину из-под своего крыла. Такая уж у них натура.

— Лидушка,— сказал Ондржей и погладил ее по руке,— ты всегда хорошо относилась ко мне. Спасибо тебе за все. Но в Улах

я не останусь. Не требуй этого от меня. Я должен уехать. Не настаивай на том, к чему у меня не лежит душа. Как-нибудь перебьюсь до призыва в армию, а когда отслужу, будет видно. Авось придут лучшие времена.

Перед отъездом Ондржей зашел попрощаться к Горынеку и впервые отважился сказать старику о том, что его давно мучило.

— Горынек,— начал он,— я все не перестаю упрекать себя за то, что тогда, на пожаре, помогал опускать занавес. Вы же знаете: я не думал, что вы окажетесь там.

— Охотно верю,— ответил старик.— Это была судьба.— И, показав на свою вытянутую ногу, которую прогревал на солнце, он добавил со слабой усмешкой: — Но вот нога не спрашивает, кто виноват. Ей все равно. Болит себе, подлая, и все.

И, чуть поморщившись, он приподнялся, чтобы протянуть Ондржею руку и пожелать ему счастливого пути.

Галачиха и Лидка провожали Ондржея на вокзал. Друзей у него не было. Какая там дружба среди казмаровцев! Десять тысяч рабочих живут, и каждый сам по себе. В иных местах в ответ на произвол и бесправие поднимается вся фабрика, рабочие бастуют, не сдаются, ведут борьбу, рискуют жизнью... Вот и дирекция латманской фабрики приняла уволенных ткачей — правительству все-таки пришлось вмешаться в это дело после расстрела в Нехлебах. (Ондржей узнал о развязке из газет, добытых тайком. «Улецкий вестник» обошел ее молчанием.) А в Улах каждый думает: «Моя хата с краю». И ждет, как ягненок, пока придет его черед.

— Все-таки и у меня нашелся заступник,— сказала на прощанье Галачиха, и глаза ее увлажнились.— Дорого тебе это обошлось... Я тебя всегда как своего любила.

Ондржей молча пожал ей руку и взял у нее бумаги: они сговорились, что в Праге он передаст Гамзе ее иск к Казмару.

— Прощай, Лидушка! Если я когда-нибудь дурил, если я обидел тебя, прости меня за все и не забывай.

Лида протянула ему руку в окно вагона, поезд уже тронулся, она прошла несколько шагов вслед за вагоном и остановилась, прижав к губам платочек, развевавшийся на ветру.

Как жалобно гудит поезд! Поезд — значит, разлука. Но вот рявкнул гудок казмаровской фабрики, заглушив паровозный, и Лидка побежала на работу, а Галачиха вернулась к своим племянникам.

Ондржей прижался в углу купе, вытянул длинные ноги, надвинул кепку на нос, закрыл глаза и не открывал их, пока не убедился по свисткам и гудкам, что Улы скрылись за поворотом. Он не хотел видеть их. Но куда спрячешься от Казмара? До са-

мой Праги слышны в вагоне разговоры о Хозяине: проклятия или хвала. Приедет ли Ондржей в Прагу или в Льготку, первое, что бросится ему в глаза, будет реклама:

«Казмар — «Яфета» — Готовое платье».

Но призрак убитой Франтишки Поланской уже не являлся Ондржею после среды двадцать второго апреля.

ПОСЛЕСЛОВИЕ И ПРОЛОГ

Абсолон Адам!
Бепарик Кирилл!
Брандани Энрико!
Буреш Ярослав!

Бритоголовый человек в рубашке неевропейского покроя, со значком на отвороте пиджака поднялся на багажную эстакаду и, стоя спиной к перрону и лицом к толпе, выкликал фамилии. В багажном зале было душно, как на чердаке. Из темного горячего полумрака выходили люди и получали свои паспорта. Вот подходит приземистый человек, у него синие глаза, бурое от солнца лицо, походка лесоруба. Он пристально смотрит вперед, на его лице долгое ожидание, кончиками пальцев он недоверчиво, словно с опаской, берет новенький паспорт. Подходит другой — молодой парень с высоко поднятыми бровями. У него подвижное насмешливое лицо с печатью лишений, он долго был без работы. За ним еврей — узкое лицо с тенями, глаза жаркие, как сегодняшний день,— они видели огни погромов, губы искривлены усмешкой. Он почти с женской осторожностью, никого не задевая, проходит среди ожидающих и уносит свой побывавший во многих странах, невероятно истрепанный паспорт.

Каждый раз, когда выкликают чью-то фамилию, груда багажа на тележке увеличивается на один чемодан, и владелец его со вздохом облегчения возвращается на свое место, на ходу перелистывая отмеченный паспорт, эту свою до предела лаконичную биографию. Там видит он гербовые марки, кружки печатей, прямоугольники штампов и от нечего делать рассматривает строгих на вид геральдических зверей с коронами и мечами, угадывая плохо оттиснутые иностранные слова печатей, обошедшихся ему в копеечку. Эмигрант ждет и глядит на фотографию в своем паспорте, не узнавая себя в благоденствующем гражданине тех времен, когда еды было вдоволь и в рабочих руках нуждалось почти каждое предприятие.

Сидевшие здесь люди собрались чуть не со всех концов света, они незнакомы и не похожи друг на друга. Резко выделяются

несколько женщин. Среди собравшихся нет ни одной парочки — предстоящее путешествие мало подходит для влюбленных. Каждый стоит тут одиноко со своим паспортом и своей тенью. Всеми владеет невеселое настроение, вызванное жарой и ожиданием. Стены вокзала увешаны рекламными плакатами бюро путешествий. Зубчатые стены замков и словно застывшие водопады на этих плакатах выглядят уныло; впрочем, уныние вселяют не столько сами плакаты, сколько жара и томительное ожидание поезда.

Чернинский Казимир!

Дьордьевич Злата!

Дорн Курт!

Дриселиус Христиан!

Человек на помосте продолжал выкликать фамилии, и люди подходили за паспортами, в которых значились их фамилии. Люди не выбирают фамилий, они унаследовали их от предков, которые давно превратились в прах; а природа дала этим предкам нескладные ноги и узловатые руки, торсы, похожие на лесные пни, тяжелый наклон головы, как у верблюда, тюлений рот и меланхолический нос, как у тапира. Никто из них не был красив, если сравнивать их с античными пропорциями мальчиков, вытаскивающих занозу, или с красотой кудрявых богов со змеей, которые стоят на подставках из черного мрамора в аптеках. Это были живые люди, а живое всегда противится ранжиру, живого человека не подведешь под мерку. Как ложны сложившиеся представления! Смотрите: вот сербка, но у нее светлые ресницы, вот немец, а документы у него не в порядке, вот швед, словно комочек смолы, готовый растаять в сегодняшней жаре, вот учитель, сам похожий на школьника, вот верзила и здоровяк портной, а рядом рыжий металлист с лицом священника!

Так они слонялись по вокзалу и подходили за паспортами, эти разные люди, съехавшиеся бог весть откуда; их свело здесь трудное время. Были они совсем не старые, но уже перемолотые жизнью. Настало тяжелое время, тридцатые годы, Европа зашла в тупик.

Потертый фибровый чемодан и старенькие рабочие портфелики, резиновые макинтоши — это одеяние Вечного жида двадцатого века,— желтый картон железнодорожных билетов, деревянные перила у кассы — цвета этих предметов поблекли и потемнели от грязи, словно слившись в один общий невнятный цвет, чем-то характерный для судьбы ожидающих здесь людей, жизнь которых в последние годы стала подобна бесконечному ожиданию в транзитном зале.

Эмигранты ждали. Деревенские сидели на своих сундучках в позах путников и новобранцев, сонно глядя в одну точку. С прирожденным терпением они ждали, словно отдыхая от труда це-

лых поколений, как отдыхали их деды и бабки на завалинке перед хатой, сложив руки на коленях, отмечая праздники молчанием.

Евреи стоя читали газеты. Рабочие курили разрезанные пополам сигареты, потягивались, скептически молчали и ждали. Один из них, простоволосый, в рубашке, уселся, свесив ноги, на эстакаде, около человека, выкликавшего фамилии, и оглядывал собравшихся. Его сухощавое лицо, казалось, говорило: «Меня не проведешь. Я всего отведал». Малорослые кустари боялись опоздать и ждали с шляпами на головах, перекинув пальто через руку и держа билет наготове. У них был такой вид, будто их фотографировали.

Какой-то тоненькой, подвижной даме не сиделось на месте. Она вышла из толпы ожидающих и нетерпеливо прохаживалась у входа, откуда видно было клонившееся к западу солнце и слышался шум города, иногда заглушаемый грохотом поезда. Лица ее не было видно, только тень мелькала в ярком солнечном свете. Экая нетерпеливая, наверно, никогда не служила в армии и не научилась ждать.

Эминеску Константин!

Фаршад Аман!

Габор Бела!

Гамзова Корнелия!

Гамзова Корнелия! Не отзывается? Следующий — Герман Рихард!..

— Погодите, так будет вернее,— сказал молодой человек с сухощавым лицом, что сидел на эстакаде. Он соскочил, взял паспорт и, протянув руку через несколько голов, подал паспорт рассеянной даме, что прослушала вызов. Дама скупо, но вежливо улыбнулась, поблагодарила, отошла, и ее лицо опять замкнулось. А молодой человек приблизился к ней, стал немного боком и не двигался.

— Так вы меня не узнаете? — спросил он с недоверчивой улыбкой и, сам того не замечая, шагнул вперед, притопнул каблуком и выставил носок, как делал Францек Антенна, когда «подъезжал» к девушкам. Так он стоял, наклонив голову и вопросительно улыбаясь. Дама смотрела на него.

— Извините меня,— произнесла она неуверенно,— но я, право...

— Я Ондржей Урбан,— сказал молодой человек.— Как поживает Станислав?

Нелла Гамзова встрепенулась:

— Боже мой, Ондржей!

Она схватила его за руку (руки у нее были холодные, несмотря на жару) и начала расспрашивать и вспоминать, иногда сбиваясь и перескакивая с предмета на предмет. Стоя с ней, Ондржей почувствовал освежающий холодок в этом душном зда-

нии. Нелла Гамзова стояла перед ним, как всегда чуточку неправдоподобная и немного постаревшая. Но улыбка ее не увяла. Кто бы сказал, что она такая маленькая: на голову ниже Ондржея! В его воспоминаниях она была красивее, а вспоминал он о ней частенько.

— А ты еще удивляешься, что я тебя не узнала,— говорила она, приветливо глядя ему в глаза, и этот взгляд напоминал Станислава.— Когда я видела тебя в последний раз, ты был еще ребенком.

— Я всегда казался вам моложе, чем был на самом деле,— недовольно ответил Ондржей и напомнил ей их последнюю встречу: перед его отъездом в Улы он приходил прощаться к ним, в сентябре этому будет восемь лет. Потом, во время своего отпуска, он был еще раз в Нехлебах, и позднее в том же году посетил по делу доктора Гамзу, но Неллы дома не было, и он ее ни разу не видел.— Вы словно прятались от меня,— сказал Ондржей.

Нелла уставилась в одну точку перед собой и вспоминала.

— Постой-ка, в это время я была в Татрах...

Ондржей внутренне вздрогнул, опасаясь, что коснулся больного места. Елена... а что с ней, не умерла ли она? Он ничего не знал и боялся спросить. Счастливые не мыкаются по свету, а сидят дома. Что делает Нелла Гамзова среди переселенцев, политэмигрантов и безработных, всех этих отчаявшихся людей.

Она перехватила его вопрос, спросив, не едет ли он в Москву.

— Немножко дальше,— с деланным равнодушием проронил Ондржей.— В Ташкент.

— Это уже в Азии, а? — воскликнула она с детским уважением, но он подозревал, что это было сказано для того, чтобы сделать ему приятное.— А что ты там будешь делать, Ондржей?

Ондржей стал серьезным. Широким и неопределенным жестом он показал на людей в багажном зале.

— Как все они, еду искать работу. Здесь мы не нужны. Год назад я демобилизовался из армии и нигде не мог устроиться.

Нелла смотрела на него широко раскрытыми сочувственными глазами, и это рассердило Ондржея. Что знает о жизни и труде эта барынька? Только из газет да из болтовни Гамзы. Очень нужно ему, Ондржею, ее сожаление!

— Работа мне уже обеспечена,— добавил он тем же небрежным тоном, хотя в душе очень тревожился, действительно ли это так.— Там работает один наш парень... Мы его звали Францек Антенна, доктор Гамза его знает. Францек был замешан в нехлебской стачке, и доктор Гамза выручал его из тюрьмы. Я побывал тогда у Францека... это целая история... Короче говоря, Францек пишет мне из Ташкента, что там большой спрос на квали-

фицированных текстильщиков, которые знают новейшее оборудование и могут научить других его осваивать. Ну а мы, чехи, кое-что умеем. О Казмаре мне и вспоминать не хочется, но то, чему мы у него научились, он у нас не отнимет... Я, наверно, мешаю тут вам.

— Сиди и радуйся, что занял место у окна,— сказала Нелла тоном, которым когда-то прикрикивала на детей. Она, видимо, хотела сгладить этим впечатление от своего сочувственного взгляда, заметив, как он подействовал на Ондржея. Ее глаза прояснились, и, сидя рядом с ней, Ондржей вновь почувствовал освежающий холодок, словно от родника. Непонятно, как она достигала этого, но ей, видимо, не было жарко.

Поезд мчался на восток, в окнах дрожали стекла, люди устраивались в вагоне. За окном мелькали балконы с развешанным на них цветным тряпьем, неподвижным в безветрии, виднелась изнанка улиц: оголенные дома, дворы с мусорными ямами, бочками, колонками, цветок на подоконнике. Повсюду на земле беднота богата детьми, и всюду на свете ребятишки машут проезжающим, всюду на свете путевые рабочие, опершись о кирки и лопаты, ждут, пока пройдет поезд... А поезд гудит так жалобно и мчится все вдаль, вдаль!..

— Угадай, к кому я еду? — таинственно спросила Нелла Гамзова.

Молчавший до сих пор Ондржей слегка нахмурился.

— К Гамзе? — спросил он с деланной учтивостью, в которой слышался оттенок былой ревности.

Нелла отрицательно покачала головой, и в ее глазах появилось хитрое выражение.

— Нет, нет, Гамзу не пустили наши, не дали ему паспорта. Но он уже бывал там, он знает Советский Союз,— говорила она медленно и рассеянно, наклонив голову и роясь в сумочке. Вот она вся, сидит напротив Ондржея, у нее тонкие щиколотки, он мог бы их охватить рукой.

Ход поезда стал равномерным.

Перерыв все в сумочке — Нелла никогда не отличалась аккуратностью,— она наконец нашла то, что искала, и подала Ондржею. Это была фотография.

Ондржей не знал, что сказать. Он держал снимок так, словно изображенный на нем младенец был живым и его сунули в руки Ондржею с просьбой понянчить. Противный младенец лежал на животике, повернув безволосую голову с отекшими глазами и бессмысленно раскрыв рыбий рот. Надо бы запретить фотографировать таких маленьких! Ондржею был неинтересен и противен этот снимок. Ах, Нелла Гамзова, внимательная к людям Нелла Гамзова, всегда такая тактичная к собеседнику, что даже стано-

вилось неловко! Волосы у нее не поседели и улыбка не увяла, но будто исчезли какие-то щупальца. Ондржею вдруг стало жаль ее.

— Хорош, а? — в ослеплении говорила Нелла.— Мои дети не были так хороши в колыбельке. Это сын Елены.

— Поздравляю! — воскликнул Ондржей и поскорее вернул ей фотографию.— А я-то все время... боялся спросить о ней.

Нелла рассказала, что Елена теперь здорова, горы ее спасли. С прошлого года она живет в Горьком, там ее муж, инженер из Америки, работает на автомобильном заводе. По договору он обязан пробыть в Советском Союзе еще несколько лет.

— Ну, мне было невтерпеж. Письма — это все равно что ничего. А я хочу снова повидаться с Еленой, да и внука еще не видала.

«Забавно! — думал Ондржей.— Целый город Ташкент с его текстильным комбинатом — всего лишь точка на громадном пространстве между двумя океанами. А эта женщина ради одного младенца, каких рождаются миллионы в год, и все похожи друг на друга как две капли воды, и все одинаково противны, едет в гигантскую страну, где перевернута страница истории, чтобы увидеть новорожденного. И ее, Неллу Гамзову, видимо, интересует только этот младенец».

— Вы еще не бывали там? — спросил Ондржей.

— Нет. И немножко боюсь,— сказала она с удивившей его откровенностью.

Ондржей наморщил лоб и недоумевающе усмехнулся.

— Вы? Жена Гамзы? Чего же вы боитесь?

В вагоне третьего класса было тесно и жарко. Пассажиры клевали носом, резали хлеб, ели колбасу с бумажки, читали газеты, завязывали разговоры, молчали, курили, глядели в окно. Но не в этом было главное. Важно было, что в этом тесном и душном вагоне третьего класса находился страшный груз надежд и грез.

Всегда человеку видится вдали заветная страна, где все уладится, где можно начать жизнь сызнова,— Палестина, Америка или обетованная земля. С библейских времен не перестанут люди идти вслед путеводной звезде. А что будет, когда они приблизятся к ней? Увидят ли они звезду, когда она станет у них над головой?

Нелла не сказала всего этого, об этом пел поезд. На вопрос Ондржея она ответила только:

— Боюсь узнать, а вдруг там не *так*.

Под этим подразумевалось: так, как говорит Гамза и как пишет газета «Красное пламя».

— Посмотрим,— засмеялся Ондржей.— Я испробую сам, а потом расскажу вам. А что пишет Елена?

— О себе, в общем, ничего,— сказала Нелла.— Пишет, что ей там оборудовали образцовый рентгеновский кабинет, но не

хватает йоду (она работает врачом в соцгородке), что портрет ее мужа вывешен в парке, так как он работает быстрее других, помогая строить новые заводы, хотя на этой стройке подчас недостает гвоздей. И так там во всем: совершаются великие дела, а с мелочами иногда затирает. Кто не понимает этого, тот глупец, упрекающий великого математика за кляксы; люди восхищаются пирамидами и древними храмами, а в Советском Союзе всего за несколько лет создано побольше; кто там не живет, тот не вправе судить об этом. Так пишет Елена. Она уже из другого теста,— продолжала Нелла с какой-то робкой гордостью и веселой грустью,— а мне пора на свалку. Больше всего я хочу, чтобы вы, молодые, оказались правы и чтобы вы победили,— закончила она торопливо. Ондржей подумал смущенно: ну, а сам-то он со старыми или с молодыми?

Потом Нелла по смутной, но ей самой понятной ассоциации вспомнила о Ружене и спросила, часто ли пани Хойзлерова ездит в Нехлебы. С год назад Нелла видела ее в ложе театра — какая красавица!

Ондржей недовольно посмотрел на Неллу, словно собирался уличить ее в фальши.

— А не обидно вам,— спросил он вместо ответа,— что в вашей вилле живут чужие люди?

— Я не была привязана к этому дому,— ответила Нелла, спокойно глядя на Ондржея.— После маминой смерти он стал мне чужим — ведь с ней умер и ее мирок, его не воскресишь. Да и к чему? Это было бы искусственно. Этот мир уже не настоящий. Но чтобы не прикрываться высокими побуждениями,— добавила она с прямотой, свойственной семье Гамзы,— скажу тебе, что нам нужны были деньги... Но, право, мне кажется, что такой блестящей даме, как Ружена, не к лицу захолустные Нехлебы и наша старенькая вилла.

— Да ведь она купила виллу только для того, чтобы уязвить вас,— сказал Ондржей тем же тоном.

Чуть заметная улыбка, как тень, промелькнула на лице Неллы, и Ондржею стал гораздо понятнее иронический нрав Елены.

— Ружена наверняка устроилась в Нехлебах по своему вкусу,— проговорила Нелла сдержанно,— и, я надеюсь, ей там нравится.

— Не знаю,— отозвался Ондржей.— Я у них там не был. Как-то в прошлом году пани Хойзлерова уговаривала меня не бездельничать: как не стыдно, мол,— молодые люди должны работать. В следующий раз я уклонился от встречи с ней, чтобы она, чего доброго, не подумала, будто я иду к ней клянчить.

— А что ты скажешь о гибели Франтишки Поланской? —

взволнованно прервала его Нелла, касаясь пальцами висков.— Какой ужас! Когда Станя рассказал мне все это, я...

— Хорошо, что вас там не было,— перебил ее Ондржей.— Это не для нервных людей.

Больше он не сказал об этом ни слова.

Слишком поздно Нелла Гамзова вспомнила о Поланской, и только потому, что заговорила о нехлебском доме. А ведь с этого имени надо было начать: оно связано с событиями в жизни Ондржея, которые так важны для него. Обо всем этом нельзя говорить так легко, пани Гамзова, хоть вы и сделали это с благим намерением — тем хуже! — замять разговор о том, что меня унизила моя сестра. Знаю я ваши маневры!

Домны озаряли небо огнями, похожими на закат. Поезд шел по земле углекопов. Странная тут была природа: за деревьями видны терриконы, за холмами — груды шлака. По этим грудам бродят женщины и собирают остатки кокса. Дымок клубами стелется по земле, как бы предостерегая, что земля здесь «живая», под ее поверхностью работают люди.

Поезд шел мимо небольших унылых, темных озер, мимо затопленных рудников, шел в краю стихий — огня, воды и газа, где неспокойная земля засыпает шахтеров, где в земле роются безземельные бедняки. Здесь перекресток трех народов, здесь говорят на трех языках, и все же рабочие со временем сумеют договориться в этом краю горняков. Контуры шахтных построек рисовались на фоне закатного неба, силуэты копров походили на эшафоты. Был тот час после захода солнца, когда пейзаж теряет свои привычные очертания и выглядит упрощенно, как пропагандистский плакат или как идиллическая картинка, смотря по тому, кто созерцает его.

Ондржей и Нелла молчали, каждый наблюдал и по-своему воспринимал этот пейзаж. Нелла была мыслями в нехлебском доме и разговаривала с покойной матерью. Ондржей видел себя таким, каким он был раньше — образцовым, хрестоматийным рабочим: верным, как пес, усердным, как конь. Он тянул свою лямку, повиновался, работал изо всех сил, ради Казмара лез в огонь, любил машины, не хотел ничего, кроме как быть сытым. А поезд твердил за него: чем я виноват, что для меня нет работы, чем я виноват, чем я виноват, чем я виноват, что меня оставили в дураках?!

«...А ты заказала луковицы из Гиллегома? — сердито спрашивает старая дама, и Нелла стоит перед ней, как провинившаяся школьница.— Так я и знала, что нет. Вот и поручи вам что-нибудь! Если я сама не сделаю... И веранду тоже не пристроили,— недовольно ворчит мать.— А ведь Мразек...»

Нелла в ответ говорит о Елене и о болезни, которая по тем

временам считалась неизлечимой, и осторожно объясняет, что произошло.

«...Значит, вы загнали дом? — бухает старая пани, пользуясь жаргоном своих внуков.— И правильно! Плевать мне на виллу, лишь бы девочка была здорова. Во сколько же тебе обошлось лечение?» — спрашивает она, взяв в руку толстое вечное перо, похожее на револьвер, и склонив взлохмаченную голову над полосатыми бухгалтерскими книгами.

...В армии Ондржей знал свое место, получал довольствие и жил без забот, хотя служба в Подкарпатской Руси была и нелегкой. Но когда он снял военную форму и надел гражданское платье, он оказался как нагой в терновнике. Это был год стыда и унижений. Дурень, чего стыдишься? Того, что в мире существует такой идиотский *порядок*? Разве таких, как ты, Ондржей, не миллионы на земном шаре? Но таков уж характер человека: больше всего ему стыдно того, в чем он не виноват. Когда Ондржей заехал в Льготку в поисках какой-нибудь сезонной или строительной работы, дядя с тетей спровадили его, как бродягу; он готов был сквозь землю провалиться. Свою долю наследства он уже проел и потратил на объявления, а скудное выходное пособие, которое ему высудил у Казмара Гамза, Ондржей прожил еще до призыва в армию.

И верно, что все дело в хлебе насущном, без хлеба не проживешь. Но все-таки даже тот, кто не верит в бога, жив не единым хлебом. Для безработного человека время точно сошло с рельсов. Нечем заняться. Его охватывает отчаяние от сознания своей ненужности на нашей прекрасной планете. Стоишь в хвосте на улице вместе с другими безработными, бережешь свою очередь, знаешь, что ничего не выйдет, зря ждешь, думаешь, ну а вдруг повезет, вдруг кончатся неудачи. Дождусь же и я когда-нибудь. И дожидаешься. Вот ты у окошечка. В окошечке — голова. Не успеешь вынуть документы, как она уже спроваживает тебя. «Забирай свои бумаги, братец, зря ходишь, только треплешь обувь!»

«...Удивительное дело,— говорит Нелла матери. (Разговор идет, конечно, о детях, о чем же еще?) — Ты ведь знаешь, я всегда опасалась за Станю. Насчет Елены у меня никогда и в мыслях ничего не было, она такая крепкая девушка... И вот, представь себе, именно Елена...»

«Чуть не отправилась за мной вслед? Посмела бы она! — сердито вставляет старая пани.— А я бы ее погнала обратно!»

И дочь робко допытывается (ведь мы, живые, слепы, а те, кто ушел в царство теней, они уже знают: «Как ты думаешь, мама, *болезнью Елены* это исчерпано? Могу я не тревожиться за Станислава?»

Но мертвые не ответят, они дали обет молчания.

А поезд твердит: приметы гадают, гадают, а иной раз в точку попадают. Подкова все предсказала, хоть и наоборот!..

...В Россию, в Россию, туда, где сражался отец,— стучат колеса. Все проходит, и все меняется, все кончается иначе, чем мы думаем. Так твердит поезд, мчась в сумерках по убегающей вдаль незнакомой земле.

Вот сидит против Ондржея давняя владычица его снов. В наступающих сумерках ее лицо кажется серебряным. У нее темные глаза, она такая тоненькая и занимает так мало места. Ее изгнали из деревянного дома, а он-то, Ондржей, хотел вернуться к ней знаменитостью и изобретателем.

Рядом дремлют какие-то пассажиры. Ветер треплет на окне занавеску. Концы ее развеваются за окном. Нелла протягивает руку и прижимает их. И опять длится зеленоватый пахучий вечер.

— Никогда не думал, что мы когда-нибудь будем ехать вот так, вместе,— чуть хрипло говорит Ондржей.— Я вам скажу что-то, над чем вы рассмеетесь: знаете, мальчиком я был очень влюблен в вас! Давно, еще во времена фордика... Но править им вы все-таки не умели, это уж как хотите!

— Не умела,— соглашается голос напротив.— Знаю, что не умела. Но вы, дети, всегда были очень строги ко мне,— весело добавляет Нелла.

По коридору прошел безмолвный кондуктор, повернул выключатель — сонные люди зашевелились. Ондржей поглядел на Неллу Гамзову. В желтом электрическом свете это была уже старая женщина.

— Добрый вечер! — сказала она и кивнула ему, словно подтверждая, что ему уже не будет беспокойно в ее присутствии. Нелла Гамзова улыбнулась Ондржею, как милый и близкий человек, с неописуемой, чуть лукавой приветливостью пожилых людей. И Ондржея вдруг охватила острая жалость к ней, такая же, как в тот момент, когда она подала ему фотографию. Он уже знал, что никогда больше ее образ не будет тревожить его.

«Мы доедем, мы доедем, мы доедем»,— твердил, обещая, поезд и рвался вперед, напевая извечную песню всех дорог. Сбылось ли это обещание, или и этот поезд принес разочарование Ондржею, как и тот, что привез его в Улы, об этом мы расскажем в другой книге. Здесь кончается повесть о юности Ондржея Урбана.

ПЕРЕВОД Н. АРОСЕВОЙ И В. ЧЕШИХИНОЙ

ПАНИ РО ХОЙЗЛЕРОВА

Когда Гамзы продали деревянный дом и выехали из Нехлеб, новые владельцы отремонтировали виллу. Устецкий строитель пан Мразек, чью кожаную куртку и красный мотоцикл знает вся округа, немало на них сетовал за то, что перестройку виллы доверили не ему, а архитектору из Праги. День, в который мотоцикл Мразека встречался с паккардом Хойзлера, был для устецкого строителя испорчен. Когда покойнице, старой пани Витовой, было что-нибудь нужно, она всегда приглашала Мразека; даже в замке ему доверяли ремонт; нехлебский же замок — старое дворянское гнездо, его хозяйка — урожденная Коловратова. А эти? Бывшая маникюрша! Да еще из мужского зала. И нехлебский отель Хойзлеры не посещали — он был для них недостаточно хорош; обедать ездили в «Гранд-отель» в Градец.

Пани Ро Хойзлерова *вся измаялась* из-за устройства виллы. Целыми днями висела на телефоне и подгоняла поставщиков. Ох, эти люди! Попробуйте-ка сварить кашу с нашим чешским народом! Ничего-то у них не готово вовремя. Всегда превышают смету. А чего стоят сюрпризы, когда они подают счет! Густава едва не хватил удар. За обедом только и разговоров что о счетах; это оскорбляло Ружену; не думала она, что Густав такой *сквалыга,* когда дело идет о том, чтобы доставить ей радость. С его-то практикой! Адвокат улецкого комбината! Ты забываешь, девочка, об одной мелочи: сейчас кризис. Ладно, пусть кризис; а этот архитектор, чем бога благодарить за работу, еще дерзит. Стычки с архитектором Голым больше всего *нервировали* новоиспеченную пани Хойзлерову. Густав знаком с ним еще по клубу художников — вот и выдумали на свою голову! С художниками вообще трудно. Всякий желает все делать по-своему. Этот

Голый взялся за устройство виллы с таким энтузиазмом, будто она — его собственность. А владелица — пустое место, что ли? Хорошенькое дело! В виллу, видите ли, будут приносить пыль, грязь, и Голый настоятельно рекомендует цветной линолеум для пола: протрете его влажной тряпкой, и пол опять совершенно чист. Пани Хойзлеровой не понравилось упоминание о половых тряпках. Не намекает ли он на то, что хозяйка когда-то скребла полы в кухне своей матери? Паркет гораздо элегантнее. В замке тоже паркет. Архитектор предложил для первой комнаты плетеную мебель, обитую кретоном. Но пани Ро желает что-нибудь *стильное,* она ведь уже говорила! Например, *гарнитур рококо* (какой был у Хорста, где она служила манекенщицей), знаете, небольшое *канапе* и кресла с гнутыми ножками, обитые атласом *мильфлер* и кое-где позолоченные,— *луикенз*[1] такой милый и уютный. Архитектор отшвырнул карандаш: конечно, он проектировал не салон в баре, а комнату семейной загородной виллы; если же мадам лучше в этом разбирается, то, без сомнения, справится со всем сама; он, как видно, здесь лишний. Свернул чертежи и хотел откланяться. Еще умасливай его! И счет потом тоже подал совершенно бессовестный. (А обеды и ужины в «Гранд-отеле», которые мы за тебя оплачивали, а сигары, которыми тебя угощал Густав, а поездки в паккарде — это ничего?)

Ах, если б только Нехлебы не были у черта на куличках! Добираться сюда — целая вечность. Не могла, что ли, старая Витова выбрать для своей лачуги место получше, поближе к Праге? И вообще, доберутся ли до нас гости? А то для кого же мы стараемся? Смешно! Для одной-то Ружены незачем поднимать блюда из кухни в столовую в специальном подъемнике. Комнаты огромные, даже жутко и холодно в них дождливыми вечерами в конце августа, когда не стоит еще пускать центральное отопление. Хорошо, хоть в кухне тепло! Вот там бы и устроиться; Ружа с малых лет привыкла к кухне. Сколько раз, когда Густав в Праге, ее охватывало желание сойти после ужина вниз, поболтать с кухаркой и горничной, сыграть с ними в дурачка. Но нельзя. *Абсолютно* нельзя. Тут надо быть крайне осторожной. Пани Хойзлерова знает, к чему обязывает ее положение. В Нехлебах никто не может сказать, что она когда-нибудь себя скомпрометировала. Много лет назад, когда Ружа была всего-навсего дочерью привратницы, пани Гамзова как-то привезла ее сюда с братом Ондржеем на своем допотопном фордике, и они провели в Нехлебах рождество вместе с хозяйскими детьми. И сегодня пани Хойзлерова без зазрения совести может сказать, что со стороны

[1] Стиль мебели — «Людовик Пятнадцатый» (от *франц.* Louis Quinze).

пани Гамзовой это был страшный *фопа*[1]. Если бы у Ружи были дети (по их не будет; они устроили бы кошмарный беспорядок в вилле!), она не потерпела бы подобных знакомств. Пани Ро не в силах с этим согласиться — надо понимать свое социальное положение, а то получится то же, что и с Гамзами,— вон до чего докатились!

Вилла, которую они так преступно запустили, стала теперь по-настоящему *модерн:* с холлом (карманное издание холла в отеле «Риц», в котором до сих пор находится парикмахерская Сирупа) и с террасой на плоской крыше — такую террасу Ружена видела на туристской станции, где она провела свою первую ночь с Карелом Выкоукалом,— ах, лучше и не вспоминать! Вилла смахивает на первоклассный отель. И если бы ду́хи деревянного дома — старая пани Витова и садовница Поланская — поднялись из могил, разве узнали бы они свое гнездо? Новая владелица велела выкорчевать березы, закрывавшие проезжую дорогу: они заслоняли повую альпийскую лужайку от солнца. Теперь в сад можно смотреть, как на сцену. Это не стесняет Ружену, наоборот! Каждый прохожий заметит красивую даму в пляжной пижаме, раскинувшуюся в шезлонге на солнышке: вот она под огромным полосатым тентом завтракает прозрачным джемом; вот она в дачном туалете стоит у розовых кустов и срезает бутоны — *очень декоративное занятие.* Всегда она безупречна, как на плакате: кадры из жизни дамы — прямо для фотообъектива. Вот бы случай забросил сюда Карела Выкоукала — разве Нехлебы не на пути из Праги в Улы? Что, если Густав ненароком привезет его сюда? А почему бы и нет? Он ведь так хорошо знаком с отцом Карела. Ах, какие гости! Входите, пожалуйста, пан инжепер. Пунтик, *даун!*[2] Рождественский подарок мужа, пан инженер. Да, песик с родословной, скромно подтвердит Ружа. Он прилетел из Шотландии па самолете, правда, Пунтик? Ах, как у нас колотилось сердечко, правда? И мы уже получили приз на выставке, пан инженер. Пунтик, да похвались же! Господи, как мы тогда жалобно скулили без хозяйки! Собака меня просто обожает. Они остановятся около рододендронов — Карел Выкоукал и женщина, которую когда-то звали Ружена Урбанова. Искусственный дождь орошает подстриженный газон, на котором нет ни стебелька сорной травы. Ро со *скочтерьером* на руках, Карел Выкоукал с трубочкой,— Ро помнит еще ее приятный запах. Он, конечно, будет в гольфах, они ему всегда шли, и этот *косокроеный* воротничок — ах, Карел, Карел! Садитесь, пожалуйста, пан инженер. Совесть

---

[1] Ложный шаг, оплошность (от *франц.* faux pas).
[2] Ложись! (от *англ.* down!)

Ро может быть спокойна: дверные ручки и паркет блестят, как зеркала, прислуга вышколена на славу. Теперь уж не то, что во времена пани Поланской, которая вечно торчала у обеденного стола и болтала. *Мадам* — настоящая мучительница, ей ничем не угодишь; то и дело поднимает крик: почему горничная подала блюдо справа, а не слева, почему садовник *не расчистил* тропинку к беседке. Ни садовник, ни горничная и понятия не имеют, ради какого невидимого гостя гоняет их *мадам*. Жизнь в вилле похожа на генеральную репетицию приема Карела Выкоукала. Разрешите предложить вам чашку чая? Сандвичи, крохотные, как конфеты,— такие подавали в немецком посольстве,— тминные палочки (сколько муки, столько же масла и сырого тертого картофеля, мужчинам больше нравится соленое), и запить все это крепким ликером. Карел увидит, какая Ро замечательная хозяйка. Карел еще пожалеет. Да что это ему пришло в голову? Домогаться ее после всего, что между ними произошло,— ах, бесстыдник! Извините, сударь, я замужем. Да, я люблю своего мужа. Муж ко мне *идеально* относится — как отец к дочери, но вы этого никогда не поймете, вы всегда были материалист... Ружа ежедневно с головы до пят натирается ароматной жидкостью марки «Герлен», в спальне для гостей в любую минуту будет постелено белье с ручной вышивкой *мадера,*— почему же не едет Карел? Старичок Густав каждый раз вылезает из паккарда один, сияя от предвкушения того удовольствия, которое он доставит своей молодой жене. И Ружена улыбалась ему уже с порога — жаль, что нельзя убивать улыбкой. *«Кип смайлинг»*[1], *девушка, держись, шофер смотрит.* Что ж вы хотите,— мы живем не для себя, а для людей. Никто не видит, что делается за спущенными жалюзи,— а при свете каждый может убедиться в том, какой счастливый брак заключила Ружа. Об этом говорили не только в магазине Хорста и парикмахерской Сирупа. Свадьба Ро наделала шуму по всей Праге. Неужели же не дошло до Ул, к Карелу! Теперь он, конечно, мучается. А что, интересно, сказала о свадьбе Елена Гамзова? Так-так, значит, у Елены с Карелом все-таки ничего не вышло, это приятно, ну и довольно об этом, а все-таки в Нехлебах очень мило, хоть это и не курорт всемирной известности. Конечно, теперь Ружена скучает по Густаву — каникулы в суде закончились, и он может приезжать только с субботы на воскресенье. Но надо уметь превозмогать себя, и Ружена сама уговаривает мужа быть умником и не забрасывать практику — ведь нет другого такого замечательного юриста, как Густав. А не хочет ли Ружена вернуться с ним в Прагу? Ах, нет! С нехлеб-

[1] Сохраняй улыбку *(англ.)*.

ской виллой еще столько возни! И потом пани Ро обожает природу. Эти восхитительные краски, эти *ландшафты*... Ружена в первый же год осталась в Нехлебах на сентябрь. Аристократы ведь тоже живут в деревне до глубокой осени.

А разве не мило было бы обмениваться визитами с графиней в эти томительно долгие вечера? Однажды супруги Хойзлер были приглашены в замок — лесная контора графини судилась с общиной из-за луга, и Густав защищал господ в этом процессе. Во время посещения Ружена кое-что намотала себе на ус. Она пригласила графиню с *ответным визитом;* но та, к величайшему своему сожалению, должна была в тот день уехать в Прагу и вместо себя послала компаньонку. От этого уважение Ружены к графине еще более возросло. Пани Ро ничего не могла с собой поделать, такова уж была ее натура: выше всего ценила она тех людей, которые ею пренебрегали.

НАШЛА КОСА НА КАМЕНЬ

Господи, вот было хлопот с прабабушкой, когда Нелле пришлось перевозить ее из Нехлеб в пражскую квартиру! Сговорившись со Станиславом, который особенно нежно относился к прабабке, Нелла сказала ей, что деревянный дом будут перестраивать и, как только все наладится, прабабушка вернется обратно. Ни в коем случае она не должна была узнать, что деревянный дом купила Ружа, дочь их привратницы. Это нанесло бы старухе смертельный удар. Мир до неузнаваемости изменялся вокруг прабабушки, но зрение ее слабело, слух притуплялся, и кое-что, к счастью, ускользнуло от ее внимания. Старушка забаррикадировалась за привезенными с собой перинами; к полудню она с трудом выбиралась из них, надевала очки, брала клюку и выползала из своей норы, куда никто не допускался, чтобы у нее ничего не пропало. Заперев дверь, трижды проверив, надежно ли, старуха, позванивая ключами, шаркала в туфлях по квартире и давала Барборке добрые советы. Барборка была зла как черт. Двадцать лет живет здесь, двадцать лет ведет хозяйство — и вдруг кто-то собирается ее учить!

Барборка и не подозревала, с кем имеет честь спорить. Тут, в Праге, никто даже не догадывается, что за персона была прабабушка в своем родном городке. В молодости ее иначе и не называли, как «госпожа министерша», ни одна сколько-нибудь приличная свадьба не обходилась без нее. Прабабушка славилась как искусная повариха: раз как-то о ней даже писали в газетах. Эта бумажка у нее спрятана: Станичка, перечти-ка это место!

Что ж удивительного, если она запирает свои сокровища! И внучка делает большую ошибку, что не следует ее примеру. Как, разве Нелла не держит сахар под замком? А вдруг Бара положит в кофе лишний кусок? Прабабушка только крестилась, глядя на такое возмутительное хозяйствование. Все за столом улыбались. Пусть кладет, сколько ей надо, ведь она много трудится, сказала однажды медичка Елена, человеческому организму нужен сахар. Видали — человеческий организм! Это же прислуга! Она и так целыми днями лодырничает. Глупые вы! Поэтому у вас никогда ничего не будет. Трудно было с прабабушкой, очень трудно. Ее родители помнили еще барщину, и это сказывалось до сих пор.

Много лет назад, когда прабабка сама была хозяйкой, она все с начала и до конца делала своими собственными руками, ей не нужно было никаких помощников. Но теперь ей не хотелось, чтобы Барборка догадалась об этом, и старушка разыгрывала барыню. Она ни о чем не просила, ни за что не благодарила, ничего не хвалила — только бранилась, отдавала приказания и всячески заносилась перед Барборкой. А той — хоть бы что! У нее-то больше прав на пражскую квартиру. Она знала одну только хозяйку — пани Гамзову — и не слушала приказов каких-то там приезжих. Она не послушалась, когда прабабушка велела ей просеивать сухарную крошку. Ах так, ну хорошо! Разговаривать с подобными людьми прабабушка, конечно, не станет, но наблюдать за Барборкой будет.

Прабабушка была скрытной и хитрой, она подвергала Барборку всевозможным испытаниям. Ради этого она не пожалела пятикроновой бумажки — это ведь деньги для *таких людей!* Она умышленно подкладывала ее то на буфет, то на подставку к безобразной скульптуре с расплющенным носом и толстыми губами (непонятно, что это Гамзы в ней нашли?) и ждала, что будет дальше. Если деньги исчезнут — ей будет жаль. Ей будет очень жаль, но она готова пойти на это ради своего триумфа. Она докажет доверчивой Нелле, что Барборка — воровка. А если они не исчезнут — тоже хорошо. В руках бабушки будет доказательство, что Барборка неряха и не стирает пыль.

Однако на следующий день за обедом бумажка как ни в чем не бывало оказалась около прабабушкиной тарелки. Чтобы Барборка да не поняла, откуда ветер дует! Она только усмехнулась, заметив захватанную бумажку. Да если бы вместо нее лежала тысячная банкнота — все равно, Барборка сроду копейки не взяла. Как раз наоборот. Знаешь ли ты, старуха, кто одолжил хозяйке деньги, когда настали для нас плохие времена и пришли описывать имущество? Но Барборка не станет об этом распространяться,— она не заикнулась об этом ни молочнице, ни торговцу,

когда те пытались из нее что-нибудь выудить. Да где старухе понять все это! Она знает только самое себя. Жила в тепле у старой пани Витовой, а теперь у нас как сыр в масле катается. И еще волком смотрит. А ведь старая пани Витова, скажу я вам, не слишком-то ее любила. Барборка все насквозь видит,— уж ей-то очки втереть не удастся. Старая пани Витова — вот была барыня! Это была настоящая барыня — идет, так земля дрожит, за всем следит строго, как жандарм. Зато была с понятием, умела разговаривать с людьми. И всегда «спасибо» да «пожалуйста», всегда пошутит... Молодая-то хозяйка, пани Гамзова, была бы хороша, да что поделаешь, не умеет она ничего в руках держать и позволяет себе на шею садиться. Что, если б не было Барборки! Она ревниво охраняет выгоды Неллы. Вы ровно блаженная, впушает Бара хозяйке, все лучшее подсовываете старухе. Чего вы от нее ждете?

Однако Нелла умеет пропускать мимо ушей то, чего не желает слышать, и только смотрит в окно. И Барборка — словно ее окатили холодной водой — снова замыкается в себе. Все же они не такие подруги, как обеим хотелось бы думать.

Уже столько времени Барборка с Неллой ведут совместную борьбу против пыли и грязи, против холода и голода, против детских выходок и против мужчин с их фокусами. То Гамза придет к обеду в три часа, то буди его в пять утра на поезд. То вдруг взбредет ему в голову привести с собой ночью приятеля, и они перепачкают целый воз посуды и надымят, как в кабаке. А дети! Те рады превратить квартиру в сарай, пуговицы с них так и летят, одежда так и горит. Каждый божий день мы разбираем весь тот ералаш, который вы устроили. Когда к обеду вы возвращаетесь с работы, квартира снова похожа на человеческое жилье. Дома тепло и чисто, обед стоит на столе — разве это пустяки? Думаете, это сделалось само собой: «Столик, накройся!» Приходят на готовенькое, и никто этого даже не замечает. Но чуть что не так — сразу увидят, и тогда — не приведи господь! Сколько раз ворчали мужчины за то, что после генеральной уборки ничего не найдешь! И всегда в самый *разгар* доктор вдруг спохватывается: пусть Барборка сбегает туда-то и туда-то и принесет то-то и то-то, и обязательно подождет ответа — и подобные глупости, а Нелла его еще поддерживает. Пани Гамзова — недостаточно надежный союзник: она охотно идет на переговоры, когда кто-либо из стана противника домогается ее протекции перед Барборкой. Хорошо вам говорить! У Барборки только две руки. Домашняя барщина вечна, ей нет конца, она постоянно начинается сначала. Хоть бы уж не отрывали! Барборка завела свой порядок, одно идет за другим, и больше всего ее раздражает все непредвиден-

ное. Прабабку, например, она никак не ждала. Молодая хозяйка тоже хороша! Привозит старуху, даже не спросив Барборку. Хотя бы посоветовалась! Барборка отговорила бы ее. А если бы и не отговорила — все равно, Барборке очень по сердцу, когда с ней советуются. Разве не живет она двадцать лет в этом доме? С какой стати будет она позволять старухе такое? Брошу все и сбегу!

Вот был крест с Барборкой! А с прабабушкой и того пуще. Она забывала, куда что положила, а то, что она не может найти, конечно, украла Бара. Бара утащила у прабабушки футляр от очков, забрала ее палку,— эта женщина способна на все. Это — прожженная воровка. Прабабка не в состоянии удержать нить рассуждений и что-то бормочет себе под нос: она плохо слышит и, совершая обходы вокруг кухни, разговаривает сама с собой. И зачем только вы ее слушаете, Барборка? Не обращайте внимания, разве вы не видите, какая она, бедняжка, старенькая? А вы вот лучше старуху вразумите, строптиво отвечает Барборка.

Господи, если бы это было возможно! Самой прабабке было бы, вероятно, легче, если бы кто-нибудь снял с нее бремя подозрений. Барборка даже знать не знает, какой черной властью она пользуется над прабабушкой. У старухи отекают ноги — виновата Бара, зачем проветривает. У старухи пропал аппетит — злодейка сыплет ей какой-нибудь порошок в молоко. Бабушка! Ну как ты можешь говорить такие вещи? Всегда вы ее защищаете, раздражается бабка, потом печально кивает головой:

— Значит, и ты, Неллинька, с ней сговорилась?

Еще год назад в Нехлебах прабабка не знала, где у нее сердце, а теперь? Что с ним творится! Как будто всхлипывает, сжимается — так, как только может сжиматься у людей в молодые годы от жалости. Этому уж не помогут даже Еленкины капли. А все Бара, мстительная женщина. Все наслала на меня эта колдунья. За столом все замолкают и смотрят в тарелки. Ни у кого не находится печальной смелости поднять глаза и предположить: «Бабушка, а не возраст ли это?»

Прабабка живет среди самых близких людей, но она одинока. Только она начнет говорить о своей распре с Барборкой, все потихоньку выходят, даже Станичек, хотя он самый преданный. Зато и прабабушка, обычно скупая, время от времени подсовывает ему деньги. Если б она только догадывалась, кому Станислав на эти деньги покупает цветы! Счастье, что она этого не знает. И куда это молодежь все спешит? Какой там театр, какая библиотека, клиника, контора — на дворе мороз, простудитесь! Сырым могильным холодом несет от окон — прабабка ощущает его во всех костях. И она затыкает старыми газетами какие-то

щели, считает Неллино приданое и никак не может досчитаться. Хорошенькие здесь творились бы дела, если бы не доглядывала прабабушка! Но никто ее не слушает, не снисходит до ответа — всем некогда. Ну и ладно.

Не добившись справедливости словами, прабабка обратилась к бумаге. В тетради для второго класса начальной школы, оставшейся у нее после покойного сына, сохранилось несколько чистых листов — вот видите, и сгодились, хорошо все-таки припрятывать добришко про черный день. Прабабушка взяла *карандаш,* забытый почтальоном, который ежемесячно вручает ей пенсию, надела очки и на одном из неровно оторванных, запыленных и пожелтевших листков с выцветшими линейками принялась записывать Неллино приданое и то, чего, по ее мнению, недоставало. В конце с новой строки она приписала: «И это все взяла Барборка». Для верности она изготовила несколько копий и разбросала эти листовки по квартире. Нелла не успела их уничтожить. Гамза поднял одну из них. Вообще он не вмешивался в женские дела, но тут, к удивлению прабабушки, рассердился.

— Брось ты эти штучки, бабушка,— припугнул он старуху.— Барборка подаст на тебя жалобу за клевету. Как ты докажешь это? Вот подожди, вызовут тебя в суд, тогда будешь знать.

— Ты сможешь меня защитить,— лукаво промолвила бабка.

— Я не стал бы защищать тебя, я стал бы защищать Барборку. В нашем доме никто не будет незаслуженно оскорблять людей. Слышишь, бабушка?

— Ну и пусть,— ответила бабка. Это — вроде заклинания. Скажет: «Ну и пусть»,— и дело с концом. В ней много самоуверенности избалованного ребенка: что бы она ни натворила, Неллинька за нее все уладит.

Иногда, чтобы вывести душу бабки из заколдованного круга домашних забот, Нелла подсаживалась к ней и расспрашивала о давно минувших событиях, которые старушка хорошо помнила. Из этих разговоров Нелла узнала, что однажды, когда бабушка маленькой девочкой играла днем в саду, неожиданно в деревню прибежал какой-то человек и во всю мочь закричал: «Спасайтесь, добрые люди, пруссаки идут!»

Но ревнивая Барборка вторгалась в комнату и под каким-нибудь неотложным предлогом уводила хозяйку. Куда опять подевались все наши тарелки? Скоро есть не на чем будет!

Прабабка обедала вместе со всеми (осуждая вслух каждое блюдо, приготовленное Барборкой), а ужин уносила к себе в комнату. Но к вечеру аппетит у нее пропадал, и она прятала все, что не в силах была съесть. Сохрани бог убрать спрятанную еду! Прабабушка ни за что не отдаст. Это ее еда. А вдруг она ночью

проголодается? Прабабушкина крепость хорошо снабжена продовольствием. Куда бы вы ни поглядели: на стол, на тумбочку, на подоконник, на комод — всюду тарелки с едой. Они множатся с лихорадочной быстротой. Хлеб черствеет и плесневеет, масло горкнет, ветчина покрывается металлически-зелеными пятнами, яблоки гниют, на все садятся мухи. Вы всегда что-нибудь выдумаете. Какие мухи? Прабабушка не видит никаких мух. Главное, здесь нет моли: одежда бабушки хорошо предохранена от порчи. Нафталинное облако висит над испарениями постели и тела старуха — воздух такой, что хоть топор вешай. Э, нет, нет,— не проветривайте! Зачем выпускать тепло на улицу! Прабабушка хорошо знает, почему она даже Нелле очень редко и неохотно доверяет ключ от своей комнаты. А Барборы и ноги там не будет. (Барборка и не напрашивается, пусть сами этот хлев убирают.) А то еще прислуга что-нибудь унесет. И так прабабка не может досчитаться своих перин: не спит ли под недостающей периной Барбора?

Как-то в воскресенье старуха проникла в комнатку прислуги и все там перевернула вверх дном. Нелле пришлось силой увести старуху. Долго еще после этого старуха разговаривала сама с собой; весь бесконечный воскресный вечер бормотала проклятья. Осужденная на бездеятельность слабеющим зрением и немеющими конечностями, она дни и ночи напролет ведет мысленный процесс с Барборой, с каждым днем возводя на прислугу все более тяжкие обвинения. Однажды старуха упала, усаживаясь в качалку: это Бара ее толкнула. Как ты можешь так говорить, бабушка? Ведь в это время Бара была на кухне! Пусть Нелла не заступается за эту негодницу. Только и знает, что выгораживает ее. Разве Нелле не известно, что Барбора бросила ножницами в бабушку? Хотела ей выколоть глаза!

— Это бред, мама,— сказала Еленка.— Склероз мозга. Надо бы определить ее в приют для престарелых.

Ни за что на свете! Прабабушка неотделима от нас, испокон веков она с нами. Может ли Еленка представить себе сочельник без нее? Станислав, например, не может. Даже если прабабушка будет только сидеть и молчать и даже если снова затеет скандал из-за того, что Бара, подав ей вместо ухи гороховый суп, не пожелала выслушать за это выговор. Ну и что же? Станислав не даст прабабушку в обиду.

Он видел ее ежедневно и привык к ее странностям. Но Еленка, вернувшись с Татр, пришла в ужас от домашних неурядиц. Хорошо Стане говорить! Уйдет в библиотеку или в театр, только его и видели, дома ему не о чем заботиться. Он не завяз по уши в этой войне мышей и лягушек, как мать, на него не давит кош-

мар прабабушкиной комнаты. И вообще Елена не понимает, чего ради они позволяют бестолковому человеку непрерывно обижать Барборку и портить ей жизнь?

Не успела Елена приехать из санатория, как принялась наводить порядок в семье, и отец живо ее поддержал. Он не хотел начинать первым, поскольку речь шла о родственнице его жены. Однако и ему претит это царство неразумия в доме. Муж и дочь правы, допускала Нелла, но жалость к бабке и страх перед Еленкой, в котором она сама себе не признавалась, разрывали ее душу. Человек, называющий вещи своими именами, даже если речь идет о его близких, кажется нам бессердечным. Разве это не безбожно — выжить старуху из дому?

— Да нет у нее никакого дома. Зачем ты себя обманываешь, мама? Она одинока здесь как перст. Ни с кем из нас она уже не находит общего языка. А там старички и старушки, им хорошо вместе. Кроме того, медицинское обслуживание там лучше. Вот увидишь, как ей понравится.

Пани Гамзова сомневалась в этом. Она и Станислав, эмоциональная и инертная половина семьи, колебались. Ну, как хотите. И Еленка по уши погрузилась в подготовку к выпускным экзаменам, проходила практику в клиниках, начала дружить с Тоником и выкинула домашние дела из головы. Все шло по-старому.

Однажды вечером — прабабушка уже удалилась в свою комнату и заперлась там — Нелла почувствовала запах паленой шерсти. Осмотрела квартиру — в кухне все было в порядке; пошла по запаху — он привел ее к запертым дверям старухи. Слышно было, как бабка ходит, покашливает. Нелла постучала — никакого ответа. Тогда она застучала сильнее, настойчивей. Старуха помедлила и потом, осторожно приоткрыв дверь, недоверчиво выглянула в коридор. Из дверей повалил дым. Нелла вошла. Вся комната, беспорядочная комната — с кучками объедков, валявшихся повсюду, это жилище человека с бедным больным мозгом — была полна дыма. И как это прабабка не заметила! Бедняжка могла задохнуться. На столе среди всякого хлама, среди кульков с конфетами и коробочек из-под пилюль, стояла спиртовка. Пускай Нелла сама убедится: заварив целебный чай, приготовление которого она никому не доверяла, бабушка хорошо прикрутила фитилек. Уж не думает ли Нелла, что бабушка впервые держит спиртовку в руках? Но куда же она бросила горящую спичку? Спичка, наверное, вылетела у бабушки из руки, и она забыла о ней. Из-под бабушкиного пледа, который соскользнул с ее плеч на пол, валил дым. Густой дым. По запаху паленой овчины можно было понять, что плед — хороший, из настоящей шерсти. В нем выгорела дыра размером с крупную монету —

это сердило прабабушку больше всего. Она даже не испугалась, что мог возникнуть пожар. Страх какой, подумаешь! Неллинька сейчас же затоптала огонь. Только не открывай окна! Не выпускай тепло. Все равно, это подожгла Бара, чтобы отомстить.

Через неделю после этого, выполнив необходимые формальности, Нелла с Еленкой отвезли прабабку в Крч.

ДВА МИРА

Еленка заканчивала практику в ортопедическом отделении, когда в ее палату положили молодого человека с переломом бедренной кости. Обычный fractura femoris[1] — вовсе не интересный случай. В клинике не уважают таких больных, стараются поскорее от них избавиться, но это не так-то скоро получается. Зато молодого человека интересовало все, что проделывали с его ногой; с деловитым любопытством он следил, как его ногу подняли и закрепили в аппарате, как в ходе лечения меняли груз. Больные с ногой «в люльке» бывают обычно угрюмы, но этот проявлял какое-то дружеское отношение к аппарату. Это был молодой мужчина со вдумчивым ребячьим лицом и веселыми глазами, и как только он несколько пришел в себя, попросил принести свой перочинный ножик и сразу начал что-то мастерить. Другие больные дремали, тоскливо мечтали, апатично предавались отдыху, в лучшем случае читали газеты. А этот без устали что-то ковырял своим ножичком. У одного больного остановились часы; молодой человек открыл крышку и до тех пор играл колесиками, тоненькими, как нервы, волосками, спиральками и пружинками, до тех пор наблюдал, трогал и слушал, пока часики снова не стали тикать. Он починил фонарик дежурной сестре, замок на сумочке — жене своего соседа, а его сыну, когда тот пришел в воскресенье навестить отца, смастерил карету из спичечного коробка; он не мог спокойно видеть ни спички, ни зубочистки; сейчас же этот материал превращался в игрушечное весло или в лапку игрушечной зверюшки. Если ему совсем нечего было делать, он довольствовался тем, что рисовал на полях газеты узоры, раз както свернул из бумажной салфеточки розу и в шутку преподнес сестре — в награду за хлопоты, которые он доставлял ей своим бритьем: каждый день она должна была подавать ему бритву и мыло. Видимо, ему так же необходимо было занимать руки работой, как другим курить или читать. Что стал бы он делать, если б у него была сломана рука, а не нога?

---

[1] Перелом *(лат.)*.

— Как это случилось? — спросила его Еленка.

— Да это я изображал карандаш.

Он говорил по-чешски со странным акцентом, и Еленка решила, что не поняла его.

— Карандаш?

— Живая реклама. Неудобный костюм, чувствуешь себя очень неуверенно — мало что видно через прорези для глаз. Мы должны были прохаживаться по обеим сторонам Национального проспекта. Когда я хотел перейти его возле театра, неожиданно появился фордик, и то ли я не слышал сигнала, то ли еще что — только я испугался машины, споткнулся во всем этом шутовском наряде и грохнулся со своих ходуль,— засмеялся больной.— И будто нарочно — фордик. Вот не повезло! Дело в том, что я служил у Форда.

— В Америке? (Так вот откуда у него этот смешной акцент!)

— Да, в Детройте. Но последнее время я работал на сборке машин в пражском филиале. К сожалению, у фордовских машин хорошие тормоза: меня даже не зацепило — компенсации не будет.

— Вы без работы?

— Да, но теперь-то мне уж будет хорошо,— поспешно проговорил он.— Я подал заявление, что хочу поехать в Советский Союз как специалист,— знаете, туда едут американские инженеры. Только все это не так скоро делается.

— Я тоже с удовольствием съездила бы туда.

Молодой человек поднял на нее веселые глаза.

— Поедемте вместе, доктор!

Еленка воображала, что у нее нет никаких предрассудков. Но все же она была внучкой надворного советника, и это, помимо ее сознания, временами сказывалось.

— Пока что я не доктор, а просто Гамзова,— ответила девушка холодно и отошла к соседней койке.

На другой день Еленка продолжала практику уже в родильном отделении и, что было дальше с «Карандашом», не знала.

Через некоторое время у дверей квартиры Гамзы позвонил невысокий плечистый молодой человек, этакий крепыш с детски серьезным лицом, выражающим живую заинтересованность. Он слегка хромал и опирался на палку.

— Что вам угодно? — спросила его Нелла.

Молодой человек глянул на нее веселыми глазами.

— Видеть вашу сестру,— ответил он,— ведь у вас есть сестра, медичка? Вы очень похожи друг на друга.

— Вы имеете в виду мою дочь? — догадалась Нелла и улыб-

нулась нечаянной лести.— Ее нет дома,— сказала она ласково.— Что ей передать?

— Я хотел бы на ней жениться,— спокойно произнес незнакомец,— и мне надо с ней об этом переговорить.

Этот эпизод вошел в семейную хронику. И когда Тоника давно уже перестали называть «Карандашом» и он превратился в хорошо известного всем просто Тоника, Нелла любила рассказывать этот случай; при этом она с юмором изображала, как ей тогда показалось, что у парня не хватает шариков в голове. Но сам Тоник никогда не находил тут чего-либо ненормального. Почему нельзя говорить с людьми прямо? Правда, здесь была одна загвоздка: Тоник тоже был не таким уж искренним, каким притворялся; но в тайну он посвятил одну только Еленку, взяв с нее обещание молчать. Еленка со смехом обещала. Ведь Тоник сразу сообразил, что перед ним была мать Еленки; однако, чтобы польстить ей, он сделал вид, будто считает их сестрами. Тоник тоже был не лыком шит! Он разбирался в людях, как все, кому с малых лет надо было пробиваться в жизни.

Ему приходилось то мыть окна на головокружительной высоте, то ползать по земле, смазывая машины; днем он работал простым рабочим у Форда, вечером учился в детройтском политехникуме. Антонин Скршиванек был одинок в этом мире. Отец у него погиб в результате несчастного случая на пивоваренном заводе, мать умерла, когда Тоник ходил еще в начальную школу. После того как он ее закончил, оба брата Скршиванеки переселились из моравской деревни в Соединенные Штаты. Но старший брат в первый же год жизни в Чикаго умер от менингита. Это был большой удар для Тоника. Конечно, были у него товарищи всех цветов и национальностей и, конечно, случайные женщины мелькали в его жизни — Тоник вовсе не был святым. Но все же брат — это брат, и Тоник остался один как перст. Его послали на работу в пражский филиал фордовских заводов, и он, возвращаясь на пароходе в старую Европу, выходил ночью на палубу и смотрел на звезды и на простирающийся вокруг него во тьме бескрайний океан; тогда ему приходила в голову мысль: если ты сейчас исчезнешь — никто по тебе не заплачет, вернешься в Чехию — никто тебе не обрадуется. На родине его снова поджидали тяжелые времена: во время кризиса филиал Форда в Праге закрылся, и молодой человек совершенно не знал, куда броситься и что делать. Однако он не отчаивался. Зубами и ногтями держался за жизнь.

— Я рад, что родился,— совсем по-детски заявил он однажды на своем исковерканном чешском языке.— Умри я — меня бы это здорово раздосадовало.

— Положим, это могло бы раздосадовать уже только одну меня,— смеялась ему в ответ Еленка.

Они заехали в Крч проститься с прабабушкой: завтра, после свадьбы, они отправляются в Советский Союз. Обоим пришлось порядком побегать по различным учреждениям. Но теперь у них, слава богу, уже все на месте — паспорта, визы, свидетельства, справки и как там еще называются все эти неизбежные бумаги, и деньги они уже обменяли, и потертый чемодан Тоника стоит в квартире Гамзы рядом с новеньким чемоданом Еленки,— и оба так и рвутся в путь, скорее в путь. Неделю назад Еленка получила диплом и сияет. Влюбленные всюду ходят вместе, и этот семейный визит имеет прелесть новизны. Они — воплощение смеха и при всем желании не в состоянии подумать о том, как грустно будет Нелле, когда они уедут.

Молодые люди застали прабабушку в саду: она беседовала со старушками. Старая дева из пятого номера, бывшая учительница, уверила прабабку, что лифт еще ни разу не обрывался, и теперь старушка уже не возражает, когда за ней заходит сестра, чтобы свезти вниз, на солнышко. Когда она жила у Гамзы, ей так трудно было подниматься по лестнице, что она предпочитала сидеть дома и, крутя от безделья пальцами, плести черную нить интриг против Барборки. Все это уже забыто, у прабабушки есть теперь развлечение получше. Через столько лет вернулись к ней былые времена. Снова, как прежде, когда она жила в местечке и была еще «госпожой министершей», старушка могла в любое время поболтать с соседками. А у Гамзы разве поговоришь? Что ни скажешь — в одно ухо у них входило, в другое выходило, отвечали еле-еле. И дом-то у них как проходной двор.

В солнечном приютском саду старушкам спешить некуда. Нацепив очки, они осторожно усаживаются на лавочки со своими клюками. Они важничают и величают друг друга, как во времена императора. Когда прабабушка открывает рот и начинает говорить, синклит старушек внимательно выслушивает ее и кивает головами в знак одобрения. Здесь слово прабабушки имеет вес. Иногда от группы стариков отделяется услужливый пан *официал*[1] в отставке, подходит к кружку старых дам и предлагает им газету «Народный страж». Чтение газеты утомительно для прабабушки, однако внимание старого пана ей приятно.

Сейчас она сидит в шезлонге — седая голова под черной шалью из синельки,— сзади нее зеленые кусты, напротив на лавочке три старушки. Одна сморщенная, как сушеное яблоко, другая расплылась сырым тестом в квашне, третья согнулась так, что

[1] Мелкий канцелярский чиновник (от *чешск.* oficial).

походит на слегка раздвинутый складной нож. Когда-то и они прямо несли свое тело, шаги их звенели желанием жизни, и молодые люди, вроде Тоника, с восторгом любовались ими. Прабабушка когда-то тоже была невестой, тогда ей было шестнадцать лет, но с тех пор прошло столько времени, что все это уже и не похоже на правду. Еленке впервые в жизни пришла в голову мысль, что в молодости прабабушка, вероятно, была красавицей. Никогда еще не любила она старуху так, как в этом тихом саду среди старых людей, накануне своего отъезда. «Я вижу ее сегодня в последний раз,— подумала вдруг Еленка.— Едва ли она будет жива, когда мы вернемся». Но Еленка не принадлежала к людям, которые сразу же раскисают. Она подавила волнение и весело воскликнула:

— Прабабушка, да ты поправилась! Это тебе идет!

Лесть не удивила старуху.

— Еще бы,— ответила она.— Все в палате удивляются тому, как молодо я выгляжу. Никто не дает мне больше семидесяти.

Влюбленные обменялись улыбкой.

— Это Тоник,— сообщила Еленка.

Старуха посмотрела на нее с вопросительным недоумением: она видела молодого человека, еще когда жила у Гамзы, но успела о нем забыть.

— Это мой жених,— перевела Еленка на язык прабабушки.

Влюбленным показалось забавным такое парадное слово. Но старушки на лавочке, услышав его, повернули прояснившиеся лица и заулыбались беззубыми ртами: неистребимый интерес к свадьбам, крестинам и похоронам оживил их, и они приветливо оглядели молодую пару.

Тоник сумел найти путь к сердцу прабабушки. Отроду он не целовал женщинам руки. Однако тут он сразу понял, что в присутствии других старух прабабушка ждет этого, и церемонно склонился к ее руке.

— Ах, оставьте,— сказала она, зарумянившись от удовольствия.

Помолвленные принесли ей сладостей, и старушка, которая дома, надо признаться, была скуповата, теперь так и таяла от щедрости. Она хотела показать себя и усиленно потчевала пани советницу, вдову податного инспектора и старую деву учительницу. Конечно, ей приятно было похвастаться перед старушками — вот, мол, как ухаживают за ней молодые люди. Старухи жеманились и заставляли себя просить — во времена императора это считалось признаком хорошего тона. Но в конце концов они уступили, чопорно взяли по пирожному, поблагодарили, заявив, что съедят его позднее, уложили сладости в свои ридикюли и по-

тихоньку удалились, чтобы дать возможность родственникам поговорить наедине.

— Когда будет свадьба? — выспрашивала прабабушка.— Много ли у тебя будет подружек, Еленка?

И когда старуха услышала, что подружек не будет совсем, что это будет скромное гражданское бракосочетание, ей стало грустно за правнучку.

— Ты же молодая, Еленка! Зачем прячешься от света? — И осведомилась, где состоится свадебный пир.

Но пира тоже не будет, и прабабка совсем опечалилась. Чем радует жизнь нынешних молодых людей?

— Послушай, подойди-ка сюда,— недовольно подозвала она девушку. Приблизив большое желтое лицо к жарко-румяной щеке Еленки и воображая, что говорит тихо, старуха спросила:

— А как, у него денег много? — и кивнула в сторону Тоника с не поддающимся описанию деревенским выражением.— Богатый?

Тоник, подавив улыбку, отвернулся и принялся рассматривать цветы на кустах.

— Его богатство вот где,— весело ответила Еленка, указав себе на лоб.

— Да он худой какой,— озабоченно проговорила прабабка.— Скажи ему, чтоб побольше ел.

— Тоничек,— повторила озорница,— ты должен много есть, слышишь? Чтобы был толстый!

— А какая у тебя будет кухня, Еленка? Белая, да?

Еленка созналась, что у нее нет даже солонки, не то что кухни. И вообще у нее пока ничего нет, потому что они с Тоником уезжают работать в Россию. Прабабушка перекрестилась.

— Господи! В Россию! Что за причуды? Вы же там замерзнете! Не смейся, девочка, там холодно. Возьми с собой бумазейную нижнюю юбку, чтобы не простудиться.

Шалунья совершенно серьезно пообещала ей это; потом, заметив, что прабабка забеспокоилась, все посматривает на пирожные и, видимо, стесняется брать их при Тонике, дала ему знак, и они встали.

— Да смотрите, чтобы большевики с вами чего не сделали,— вспомнила старуха.— Будьте осторожны!

Влюбленные рассмеялись. Они смеялись не над старухой, а просто так, оттого, что жизнь била в них через край. Еленка успокоила прабабку:

— Папа ведь тоже большевик!

— Ну? — удивилась прабабка.— А я и не знала. Никто мне ничего не говорит,— рассеянно добавила она. Пристально, будто

взор ее притягивала некая высшая сила, старуха смотрела на трубочку со взбитыми сливками, и как только помолвленные повернулись к ней спиной, она украдкой, как ребенок, делающий то, чего ему не велят, с быстротой, какой никто не мог подозревать у этой медлительной старухи, протянула большую темную руку к трубочке и с наслаждением принялась за еду.

— Бедняжка прабабушка,— говорили между собой влюбленные, выходя из ворот богадельни.— Не угодили мы ей.

Но прабабушка не позволила испортить себе радость. Она скрыла от старушек все, что ей не нравилось в жизни Гамзов, и хвасталась, что муж Еленки — богатый фабрикант. Уже бог весть какой по счету автомобиль собирал с механиками Тоник на нижегородском заводе, уж бог весть какого по счету татарчонка выстукивала в заводской поликлинике Еленка, а старушки в Крчи все еще слушали рассказы о богатом приданом правнучки — о настоящем полотне и серебре, о дорогой обстановке на четыре комнаты, о перинах для шести постелей из лучшего пуха — и одобрительно кивали головами.

ЗНАКОМСТВО

Станислав Гамза работал в каталоге периодики университетской библиотеки с двумя коллегами. Каждый раз, когда в «Утренней газете» печаталась его критическая статья о театре (уже пятая по счету), он от переполнявшего его внутреннего счастья бывал особенно ласков и внимателен к сослуживцам. Долгое время ему все еще не верилось, что он, Станя, которого Еленка называла «недотепой» и которому повязывали на шею унизительный турецкий платок, когда он болел ангиной, что этот Станя теперь действительно взрослый, что он, как и все другие настоящие рецензенты, ходит в театр на места, отведенные для журналистов, на первом балконе, что его печатают и принимают всерьез. Правда, сам он был уверен, что заслуживает этого. Разбирая спектакль, он, как говорится, танцевал от печки. Чтобы дать оценку пьесе, прежде всего следует указать те законы драмы, по которым вы ее судите; эти законы Станя излагал в двух-трех хорошо продуманных фразах, а все остальное место, отведенное для статьи, принадлежало актерам. Актеров он стремился изображать наглядно: в их движениях, мимике и речи, старался показать, как они живут — или просто торчат — на сцене. Театр возносится и гибнет с артистом. Недостаточно подарить артисту пустую фразу признания где-нибудь в конце литературной статьи, как это делают в большинстве случаев театральные рецен-

зенты. Критик — не учитель начальной школы, чтобы проставлять отметки. Он должен помогать артисту. Объяснять ему, в чем он ошибается, показывать, какими средствами он создает жизненно правдивый образ. Артист — это альфа и омега драматического искусства. И почему только вместо «омега» набрали «онега»! Ох, эти опечатки, с ума можно сойти! Так и хочется оправдаться при встрече со знакомыми: не такой уж я осел, чтобы писать подобную чепуху.

— Пан доктор Гамза, к телефону! — значительно пропел пан Гачек, душа Клементинума. Станислав оставил свой картотечный ящик с буквами «Л — Лб» и побежал к аппарату. Он был настолько юн, и все ему было так внове, что его развлекали даже телефонные разговоры.

Я не испорчу его образ, если замечу, что он задерживался у телефона дольше, чем это необходимо, чтобы назначить свидание, и что игривые диалоги он сопровождал мимикой и улыбками. Однако на этот раз разговор был непривычно короткий.

— Говорит Власта Тихая,— произнес черный, черный голос, и Станя испугался: нет, не может быть. Этот голос он слышал со сцены, аппарат преувеличивал его патетические глубины.

— Пан Гамза, я знаю вас по вашим критическим статьям,— сказала актриса с несколько угрожающей любезностью,— но мне хотелось бы познакомиться с вами лично. Будьте так добры, приезжайте сейчас ко мне! Мне с вами необходимо срочно поговорить.— Она назвала свой адрес на Смиховской набережной и повесила трубку.

Разве библиотека — голубятня, чтобы вылетать из нее без причин в рабочее время? Станя слишком поздно вспомнил, что за весь разговор он сумел лишь несколько раз вставить «пожалуйста». Актриса не давала ему слова сказать, а приказ ее звучал так категорически, что Стане ничего не оставалось, как попросить коллегу заменить его ненадолго — ему-де надо отлучиться по делам редакции — и убежать. Что ей от меня надо? Ясно, хочет поблагодарить за сегодняшнюю статью «Цецилия Барнет». Этот панегирик заслужен, она гениальная женщина. Но, видно, сумасбродная, как большинство артистов. Господи, могла поблагодарить просто по телефону, раз уж ей так приспичило. К чему эта горячка? Но Станя не сердился. С тех пор как он начал писать о театре, вокруг него совершались только очень интересные вещи.

Еле переводя дух, он позвонил у дверей актрисы. Долго никто не открывал. Потом раздалось ленивое шарканье; недоверчивый глаз смотрел на него через круглый глазок. Пожилая горничная приоткрыла дверь; она не хотела впустить его даже в прихожую и вела переговоры на пороге.

— Пойду посмотрю, дома ли пани Тихая,— недружелюбно сказала она.— Кажется, ушла.

— Она только что пригласила меня по телефону,— заявил Станя.

Горничная впустила его в прихожую, продолжая ту же игру:

— Не думаю, чтобы пани Тихая могла вас сейчас принять. У нее страшная невралгия.

Она очень хорошо выговорила трудное слово. Видно, привыкла к нему.

— Моя фамилия — Гамза, театральный рецензент из «Утренней газеты»,— произнес Станя с достоинством человека, который написал уже пять критических статей.— Вы только доложите обо мне.

Горничная ушла, потом вернулась и нехотя открыла перед ним дверь в комнату, выходящую окнами на реку.

— Присядьте, пожалуйста,— произнесла она тоном пифии.

Денег на такси по гамзовским традициям у Стани не было, тем более что близился конец месяца, а ждать трамвая — на это он не нашел в себе достаточно старческого терпения. Всю дорогу от Клементинума до Смиховской набережной он мчался во весь дух. После такого забега на длинную дистанцию ему приятно было собраться с мыслями и дать своему пульсу успокоиться в прохладном одиночестве этой комнаты. Приятные впечатления переплетались здесь с неприятными. Приятными были влтавский воздух, деревья на острове, заглядывающие в открытые окна комнаты, полной стекла и цветов. Пестрые ленты с золотыми надписями, выставленные в витрине, нравились Стане уже меньше. «Будто с собственных похорон,— подумал он с озорством.— И чего она их не сожжет, эти тряпки!» Да где уж там! Это трофеи, скальпы. Осеннее влтавское солнце поблескивало то на листке лаврового венка из альпака, то на застекленной лысине какого-нибудь драматурга. На стенке висела целая галерея этих голов — голых или в париках — с автографами, надписанными наискось: *«Единственной в своем роде Пампелюз»*, *«Принцессе Недотроге, которая воплотила мою мечту»*, *«Незабываемой Мэй»*, *«à Mme Vlasta Ticha — artiste géniale, avec l'expression de mon admiration profonde»* [1]. Последний автограф принадлежал мужчине с носатой романской физиономией — как видно, одному из тех иностранцев, что приезжали в Прагу на премьеры своих переведенных пьес; висел тут и пышный диплом, написанный кириллицей. Но ни одной фотографии самой актрисы. Что ж, это говорит

[1] «Мадам Власте Тихой, гениальной актрисе, с выражением моего глубокого восхищения» *(франц.)*.

в ее пользу. Только оригинал известной карикатуры, подчеркивающей несоответствие между тяжелым трагическим лицом актрисы и ее хрупкой фигурой. И как в пей уживается юмор с привязанностью к этим безвкусным безделушкам, купленным во время гастролей «на память»? Станя привык дома к простой обстановке, и все эти венецианские мозаики, истрийские раковины и дамасские ткани на стенах раздражали его. Ожидание затягивалось, и Стане все противнее становилась голенастая тряпичная кукла, усаженная на тахту, по которой были разбросаны подушки всевозможнейших цветов, форм и величины. Он терпеть не мог эти претенциозные игрушки, которые теперь часто покачиваются в окнах автомобилей и украшают дамские будуары. Единственно разумным предметом тут был домашний бар. Неплохо, если бы Тихая приготовила хороший коктейль. Но что она, собственно, думает? Позвала меня, чтобы шутки надо мной шутить? Меня ждут в библиотеке! Не умнее ли встать да уйти?

В эту минуту в комнату вошла артистка — в блузке и юбке, подпоясанной ремешком. Она была не так стара, как того опасался Станислав. Перед ним была Тихая почти такая, какою он видел ее на сцене, только погасшая и без грима.

— Извините,— бросила она, садясь,— нет ли у вас сигарет? Мои кончились. Не знаю, что только Марженка делает.

Будто в ответ послышался стук захлопнувшейся входной двери и топот Марженки, побежавшей за сигаретами.

Артистка сделала несколько порывистых затяжек, сбила пепел узенькой рукой, серьезно, грустно и нежно посмотрела на Станю и спросила голосом мученицы:

— Пан Гамза, за что вы хотите выжить меня из Большого театра?

Станя выпучил глаза.

— Я... вас... из Большого театра? Да если бы я даже захотел — но я не хочу, мне это и во сне не снилось,— все равно у меня нет такой власти...

— У вас есть полная власть,— возразила актриса, повышая голос и поднимая брови.— Мы — в руках критики. И с вашей стороны, пан Гамза, неблагородно так поступать со мной. Вы мужчина, а я женщина.

«Один из нас спятил,— подумал Станислав,— надеюсь, не я!» Все время, пока он бежал сюда и ждал ее, он всем своим существом готовился к тому скромному тону, с каким будет отвергать признательные слова артистки, и теперь был совершенно сбит с толку.

— Простите,— сказал он,— но что я вам сделал?

Артистка как-то мстительно заискрилась.

— Что вы мне сделали! И вы еще спрашиваете! Пишете обо мне, что я старая гвардия, ненужная ветошь, что мне пора на свалку...

— Я этого не писал! — ужаснулся Станя.

— Нет, но почти! Вспомните только! Я принесла бы вам, да порвала газету, так она меня разозлила. Я наизусть запомнила. Что моя способность перевоплощаться гениальна,— начала она иронически, и Станя показался себе последним дураком.— Что я так умею преображать свою душу... («существо»,— мысленно поправил ее Станя), что это формирует весь образ в целом...

— ...лепит,— не выдержал Станя.

— Все равно. Что зритель совершенно забывает о моем возрасте и вместе со мной верит, будто мне двадцать лет со всеми радостями и печалями юности...

— Я думал, в этом-то и есть заслуга,— буркнул Станя.

— Ну да, заслуга. Еще одна такая статья, и на меня навалят роли старух. Я избегаю их не из тщеславия, пан Гамза, у меня есть совесть художника. Боюсь, я не сыграю старуху...

— Вы сыграете все, что захотите! — воскликнул Станислав и сейчас же испугался нового промаха. Она сидела перед ним — такая сиротливая, хрупкая, драгоценная, брошенная на произвол судьбы... Что за жестокость — бить женщину!

— Запомните, у актера нет возраста. Я говорю это вам в ваших же интересах,— тон актрисы был материнским.— Вы молоды и одарены, очень одарены, к чему же вам с самого начала заводить врагов в театре?

— Ну, тут уж приходится рисковать,— сказал Станя.

— Я говорю не о себе,— отвечала на это артистка.— Я, как видите, спокойно принимаю такие вещи. Но не всякий так рассудителен, как я. Я говорю о моих коллегах.

«Ну, это уж, пожалуй, чересчур»,— подумал Станя.

— Пан Гамза, относитесь к ним хорошо,— попросила артистка и, поглаживая длинноногую куклу, которую притянула к себе на колени, подняла на него нежные южные очи Миньоны.— Будьте к ним снисходительны, им трудно живется. Хотя Ковальской иногда и не вредно дать по рукам — она ужасная пошлячка, но критика могла бы и ей помочь углубить ее творчество — что делать, страдание возвышает художника. У вас такое влияние...

— Ничего подобного,— упрямо боролся Станя.

— ...и вы им не злоупотребляете, я знаю,— договорила артистка.— Я хотела вас просить лишь об одном: прежде чем писать о нас, взвесьте хорошенько каждое слово! Что написано пером, не вырубишь топором! Любой может прочитать, и тогда стоишь перед всеми такой пристыженной, такой обнаженной, такой...

Какая-то чувствительная точка, присущая актерам, дрогнула у нее между бровями, и Станя испугался, что она расплачется.

— Знаю, знаю! Понимаю,— говорил он, хмурясь в мучительном замешательстве.— Вы показываете себя всю, а наш брат после спектакля прячется за своим столом и пишет все, что в голову взбредет...

— Ах, нет! — перебила его Тихая и строго подняла голову.— Не говорите так о себе, я этого не допущу. Может быть, другие и пишут, что им угодно, но вы — нет. Вы настоящий человек. Тем больнее мне. Но я счастлива, когда кто-нибудь указывает мне на ошибки.

«С нами бог! — с ужасом подумал Станя.— У нее есть ко мне еще один счетец, и если она начнет об этом...»

— Я хотела только обратить ваше внимание,— проговорила артистка ангельским голосом,— что я подлинная чешка. Из старинного рода. Южная чешка. Бабушка моя по матери была из Воднян...

«...и, без сомнения, делала ударения на предлогах,— жаль, что ты не унаследовала этой особенности»,— подумал Станя.

— Вот если бы вы о Ковальской написали, что она не умеет говорить по-чешски,— я бы не удивилась. Она русская, дочь эмигранта. Произношение отвратительное.— И Власта так удачно передразнила ее, что Станя рассмеялся. Но актриса не развеселилась и осталась хмурой.

— Пан Гамза,— проникновенно промолвила она и уставилась на него своими совиными глазами.— Я пробилась собственными силами! И не стыжусь этого. Я этим горжусь. Я играю с шестнадцати лет, и это — лучшая школа. Не верьте, что в театральном училище можно чему-нибудь научиться. Кому от природы не дано, тот не купит таланта в аптеке. Я не умею говорить неестественно.

«О господи!» — только и подумал Станислав.

Он сидел напротив актрисы, высокий, молодой, такой чистенький, со своим чуточку насмешливым лицом и девичьим носом,— сидел, поблескивая светлыми волосами, и молчал. И странно, артистка, как только ей перестали противоречить, будто начала терять почву под ногами.

— Мне так трудно,— загрустила она и вдруг превратилась в покинутую всеми сиротку.— Ах, эти ручки! Никто о нас не заботится, никто нам ничего не говорит, никто нас не учит,— жаловалась Власта Тихая, известная своими скандалами с режиссерами.— Пан Гамза, вы и не знаете, как я вам благодарна. Я считаюсь с мнением молодых. Они такие искренние! Вы недовольны моим произношением,— что же мне делать, посоветуйте! — Она не спускала с него невинных, просящих глаз.

Станя запылал, как румяное яблочко.

— Ну, это ведь дело театра,— неуверенно начал он.— Разве в Большом нет консультанта по орфоэпии? — спросил он, хотя хорошо знал, что такого нет.

Актриса, которая только догадывалась о значении иностранного слова, растерянно покачала головой.

— Пан Гамза, не согласитесь ли вы меня учить?

— Я? — всполошился Станя.— Для этого я слишком плохой специалист. Но я могу, если вы пожелаете, найти в университете какого-нибудь специалиста. Например, доцента Зика...

— Я это представляла себе так,— перебила Власта,— я бы учила роли, а потом приглашала бы вас к себе.

— Мне было бы интересно. Очень интересно,— откровенно признался Станя и весь засиял.

— Ну, вот видите. И вы говорили бы мне, что́ вам кажется хорошим, а что́ плохим. Но — никому больше! Только мне! («Не Ковальской»,— мысленно добавил Станислав.) Так я вам позвоню.

Станислав встал.

«Не позвонишь, ты только хотела умаслить критика,— подумал юноша — он тоже был не дурак.— Но это тебе не поможет». И все же ему льстило, что она придает такое значение его статьям.

— Ах, какая я ужасная женщина,— воскликнула артистка уже в дверях и рассмеялась.— Позвала вас, чтобы отругать. Вы на меня не сердитесь? — спрашивала она, как маленькая девочка.— Я была страшно несчастна, совершенно уничтожена. Мне сразу же пришли в голову мысли о самоубийстве. Но все-таки я вас не так уж сильно отчитала, не правда ли?

Оба засмеялись, и в этом смехе таяли стыд и неловкость первого знакомства. «Трагедийные артистки тоже люди»,— весело смеялись они, и смех этот как бы слегка отдавал бряцанием оружия: «кто кого» и «посмотрим»; несмотря на это, простились они лучшими друзьями.

Станя вернулся в библиотеку победителем. О своем визите он не заикнулся ни одной живой душе. Это, по его мнению, было бы подлостью по отношению к пани Тихой.

ПОСЛАНЕЦ

Говорите что хотите, но Стршешовице — самый красивый пражский район. Тут уж Нелла не отступится, хотя мужчины, муж и сын, с которыми ей сейчас так славно живется, слегка и подтрунивают над ней за этот местный патриотизм.

— Знавал я, Нелла, одну старую даму, и она вот так же была влюблена в клочок земли, к которому приросла всем сердцем, и не слушала никаких доводов. Знавал я и молодую женщину. Та все посмеивалась, что это, мол, нашла бедняжка мамочка в нехлебской идиллии? А теперь что? Там Нехлебы, тут Стршешовице — не наследственное ли это, Нелла?

Но ведь здесь так хорошо! Есть места, которые рождают добрые идеи, места, где происходят только приятные события, и наши Стршешовице именно такое место. Как славно здесь отдыхать после конторы на Жижкове! Каждый раз, когда Нелла возвращается из закопченной Праги и двадцатый номер трамвая въезжает в зелень, огибая шоссе, приветный ветер с холмов овевает ее лицо, в душу забирается чувство человека, живущего на границе, и кажется ей, что здесь, за трамвайным парком, совсем особая страна. Отсюда рукой подать до храма святого Вита, который пражане с набережной видят только на открытках, и до леса от нас один шаг. Нелла, опомнись! До жалкой велеславинской рощицы! А скверики вместо площадей, разве это не очаровательно? Ходишь за покупками в городской сад и возвращаешься в виллу с садом. Что из того, что мы не имеем права сорвать хотя бы листочек с деревьев, гнущихся под тяжестью спелых слив? Сын пани Гамзовой уже большой, и в голове у него, вероятно, совсем иное, а не хозяйские сливы. Сын большой, красивый, никогда он не был так красив, он сияет отражением неведомого света и возвращается домой поздними ночами. Без сомнения, он влюблен, но Нелла не выспрашивает, уже зная тщетность подобных материнских расследований. Когда Станя был маленький, Нелла, держа его на руках, показала ему как-то из окна полную луну в небе — ребенок загляделся на нее как зачарованный. «Месяц ясный, боюсь»,— прошептал мальчик и спрятал головку на плече у матери. Сегодня уже не спрячешь, сегодня не убережешь его, и Нелла в волнении молчит. Что ей остается, кроме как тщательно заботиться о белье и платье Стани? На этот счет сын теперь очень строг; он таскает ее одеколон и чуть ли не переселился в ванную. И подумайте только — Гамза, который никогда не бывал святошей, теперь сердится на мальчика за поздние возвращения! Больше всего ему хотелось бы, чтобы Станя сидел с ними вечерами на балконе и довольствовался терпким ароматом, который, когда утихнет ветер, доносится сюда откуда-то из самого садоводства Стрнада на Велеславине. Петр, Петр, разве мы с тобой не были молодыми? Бог знает, почему отцы так быстро об этом забывают!

Вот когда приедет Еленка с малышом, ого! За ним-то уж придется последить, чтобы он не вытоптал хозяйский газон; если с годами у внука разовьется и буйство, с каким он выкручивался из

пеленок, парень будет как огонь. Елена пишет, что сын растет, уже бегает и разговаривает. Прошлым летом, когда Нелла Гамзова ездила в Горький, она вдоволь натешилась внуком.

Но не думайте, что Стршешовице казались бы такими прекрасными, если бы на них не покоился отсвет лучших времен семьи Гамзы. Они переехали сюда давно, чтобы Елена, с ее больными легкими, могла дышать чистым воздухом. Правда, для выздоровления этого оказалось недостаточно, пришлось отправить ее в горы. Слава богу, санаторий в Татрах уже прочитанная глава; воспоминания о нем сохранились только в виде давно оплаченных счетов, положенных под соответствующей буквой в картотечный ящик старой пани Витовой. Бедняжка, сколько она пилила Неллу за ее богемную небрежность! Если бы сегодня она встала из могилы — не узнала бы дочери и удивилась бы тому, как по-нехлебски распоряжается Нелла в своем карманном стршешовицком мирке! Да, под солнцем действует закон сохранения энергии, и качества умерших путем таинственной индукции переходят на живых. И на эту женщину снизошла запоздалая страсть к порядку. «Ах, это все возраст»,— смеется Нелла. Тс-с-с! О возрасте у нас не говорят. Мужчины балуют Неллу, уверяя ее, что она выглядит, как старшая сестра Стани, и говорят ей прочие глупости, от которых приходит в хорошее настроение даже самая благоразумная женщина, а ведь Нелла никогда не была благоразумной. Где те времена, когда Гамзу будто черти носили, а Нелла не отставала от него, не желая быть сброшенной со счетов? Господи, как это было утомительно! На другой день бродишь, как привидение, и уж не решаешься заикнуться мужу о деньгах, выброшенных на ветер. Теперь седовласый Гамза возвращается по вечерам домой, закуривает с женой «сигарету мира», а Нелла в свои годы, когда сын с дочерью уже перестали нуждаться в ее поддержке, чувствует себя — я не лгу — более свежей, чем в тридцать пять лет. Она сохранила девичью талию и взбегает на второй этаж так же стремительно, как ее сын. Возраст сказывается только в том, что в молодости Нелла этого не замечала, а теперь гордится этим. Что там рассказывают друг другу эти мучительно важные женщины о головокружениях и всякого рода недомоганиях? Нелла их не слушает, не хочет слушать. Полная луна плывет по стршешовицкому небу, как в старые времена, когда семья Гамзы жила еще на Жижкове, а Нелла лишь чуть дальше от глаз держит газету (очками она ни за что не станет себя уродовать), полную тревожных сообщений о пожаре рейхстага в Берлине. Кто он, этот голландец, якобы коммунист, которого полиция схватила на месте преступления? Он действовал не нашими методами! Гамза был сильно взволнован. Коммунисты принципиально против таких террористических выходок. И зачем,

для чего немецким товарищам поджигать рейхстаг именно сейчас, когда осталось меньше недели до выборов, подготовленных с такой тщательностью? Теперь полиция Геринга рыщет по Берлину и хватает всех коммунистов. Гамзу это выводило из равновесия — как и Неллу, которая была отражением мужа, пока он рядом. Но сегодня утром, как и каждую субботу, Нелла свободна — в контору идти не надо,— и она выкинула все из головы. Она живет не в Берлине, а в своей светлой, аккуратной пражской квартире, и имя этого депутата, чей арест так взволновал Гамзу,— как его? Орглер? Борглер? — для нее пустой звук, заглушенный гудением пылесоса. Насвистывай, пылесос-люкс, свою песенку! Нелла с удовольствием послушает ее после недельного стука ундервуда, над которым она сидит, сгорбившись, со скрюченными пальцами, и записывает одни неутешительные события. Так приятно вытянуть руку, не думая ни о чем, и только перетаскивать гибкий шланг по квартире, по этому крохотному миру; Нелла Гамзова водит пылесосом с такой энергией, будто управляет судьбами семьи. С наслаждением видит она, как восстанавливается потускневший кармин и глубокое индиго ковра. Краски усиливаются, проступают яснее, вот они существуют уже будто сами по себе — не слишком ли они прекрасны, эти краски? Не растворился ли в них кристаллик ужаса? Окно открыто, пахнет морозцем, посвистывает пылесос-люкс. «У меня нет забот, нет желаний. Что это? Ведь я счастлива»,— несколько вызывающе поет люкс. Резкое движение: сорвался шланг. Нелла подбежала и выключила угрожающе гудящий пылесос. Тихо. За раскрытым окном бывает такая вот тишина стылых деревьев, миг тишины между двукратным воробьиным чириканьем — подземный путь тишины, тихий-тихий, настолько тихий, что можно откуда-то из дали времен услышать рокот мотоцикла пана Мразека... Нет, ничего. Только шаги под окном по дорожке. Нелла прикрепила шланг, повернула выключатель, и снова аппарат дребезжит и звенит, заглушая мысли. Нелла не слышала, как появилась Барборка, пока та не подошла вплотную. «Там какой-то человек чего-то хочет от вас»,— Барборка его не понимает.

Это был молодой парень, еврей, в одном костюме, хотя на дворе подмораживало. Не удивительно, что он дрожал всем телом; он, видимо, пытался, но не мог силой воли преодолеть дрожь. Это придавало ему вид странной торопливости. Жена доктора Гамзы? Он говорит только по-немецки. С той же неестественной поспешностью он открыл портфель, засунул в него трясущиеся пальцы, и Нелле почудилось, будто сейчас он передаст ей какое-то послание. Слава богу,— он вынул картинку. Ученически раскрашенный рисунок — танцующие чертики — безделка, какие продают в кафе. Он поднял голову, и в полутьме передней косые тени легли на его стремитель-

ное лицо. Его послала редакция «Красного пламени», сказал он и нахмурился, превозмогая дрожь.

Нелла пригласила его в комнату, взяла у него картинку, похвалила ее, потому что не умела быть невежливой, и спросила, сколько она стоит.

— Что дадите за такой шедевр,— произнес он иронически.— Я не художник. Я медик. Бежал из Берлина.

Будто застигнутая врасплох, Нелла устыдилась. И как это я могла забыть!

— Там очень плохо? — спросила она виновато, указывая гостю на стул.

Молодой человек посмотрел на Неллу тяжелым загадочным взглядом. Словно удивлялся — как еще можно об этом спрашивать.

— Эсэс производит облавы,— сказал он (Нелла не знала, что такое «эсэс», это звучало для нее как «дум-дум»).— Всю ночь они стаскивали с постелей наших товарищей и угоняли их в полицейские участки. Весь Берлин облеплен плакатами, угрожающими нашей партии, а на улицах орет Геринг,— он сказал это, поднимая руки к ушам,— орет из всех репродукторов...

— Да ведь, говорят, нацисты сами подожгли,— бросила Нелла.

Она не сказала ничего особенного. Повторила лишь то, о чем открыто говорили в Праге. И они ведь были в ее доме.

Молодой человек оглянулся — скорее глазами, не повернув головы. Движение это было почти незаметно, но многозначительно: оно предостерегало, предупреждало, упрекало за произнесенные вслух слова и создавало видимость, что он их не расслышал. Все это невыразимо удивило Неллу. У нас так никто не оглядывается! Она никогда не представляла себе, сколько настороженности может быть скрыто в одном движении глаз. Едва заметный поворот головы больше говорил о стране, из которой бежал чужестранец, чем если бы он стал описывать террор с красноречием Иоанна Златоуста. Нет, он ничего не сказал. Он отвык говорить. Саркастически поднял брови, пожал плечами и промолчал.

В натопленной комнате посетитель немного успокоился. Но его поспешность и дрожь передались Нелле, предрасположенной заражаться эмоциональным состоянием других. Мужское платье выскальзывало у нее из рук, срывалось с вешалок и громоздилось на дне шкафа, когда она подыскивала в гардеробе что-либо из поношенных вещей. Ведь парень бежал из Берлина в чем был. Об этом можно судить по его виду, заметил молодой человек, показывая на свой воротничок. Вот только найдет работу...

У нас — работу! Нелле вспомнилась колония безработных в бржевновской каменоломне, хмурые тени, которые бродили вокруг своих жилищ, будто ожидая, скоро ли осыплется песок и завалит отслуживший вагон, в котором они поселились, эти комедиантские фургоны, фантастические лачуги без окон! У нас — работу! Но вслух она этого, конечно, не сказала, чтобы не лишать парня мужества.

Она спросила, один ли он в Праге.

— Да. Мне повезло,— с горечью ответил он, глядя перед собой.— Мать с братом остались там...

Он сказал это со сдержанностью людей, которые пережили такое, чему нет слов. И человек, даже менее чуткий, чем Нелла, не решился бы продолжать расспросы.

Во время еды он держался как хорошо воспитанный человек, а когда встал и начал благодарить, Нелла поспешно перебила его, подавая ему на прощанье руку:

— Не стоит говорить об этом. Теперь такие странные времена,— это может случиться с каждым из нас.

Она сказала первую попавшуюся фразу, пришедшую ей в голову, сказала исключительно из замешательства, в которое нас повергают изъявления благодарности — пустую фразу, она и сама-то ей не верила. Молодой медик поклонился и вышел. Давно уже захлопнулась за ним входная дверь, и все же он не покидал прихожей. Этот человек, будто сошедший с газетных страниц, явился к Нелле в дом и принес ей картинку с танцующими чертиками. Он все стоял перед ней, она видела, как он открывает портфель и, будто передавая ей роковое послание, беспокойно при этом озирается.

УЧИТЕЛЬ И УЧЕНИЦА

— Что с вами, не больны ли вы? — спросила Станю его соседка по первому балкону, рецензентка газеты «Дамские новости», и предложила ему эвкалиптовые конфетки. Станя приходил от них в ужас.

— Вы очень любезны, сударыня, но я вполне здоров. Мне не на что жаловаться,— ответил он.

— Тихая сегодня потрясающая,— начала журналистка с другого конца.— В последнее время она растет. Вы не находите?

Станя и глазом не моргнул.

— Ну, я бы не сказал, рост ее никак не изменился.

И почему только эта дама набивается ему в друзья? Почему она вечно берет его под защиту? Ох-ох, Станя не любит пишущих дам...

— Вы, вероятно, слышали о Тихой от родителей. (Никогда в жизни!) Мы тогда вместе кутили. Я еще писала в «Сигнале» о модах. (Видно, поэтому твои театральные рецензии очень похожи на прежние; правда, я их отроду не читал, но живо себе представляю...) Ах да, с вашими милыми родителями и с пани Тихой, которая тогда была еще Хойзлерова, знаете, ее муж был тот доктор Хойзлер, что потом развелся с ней и женился на какой-то лавочнице. Ну, не жестоко ли с его стороны? Такая актриса!

Станя грозно поглядел на рецензентку. Чего ради она все это рассказывает?

— Но вы этого, должно быть, не помните,— добавила та с невинным видом,— вы слишком молоды.

На каждом шагу его теперь упрекали в молодости, и всегда в тщательно маскируемой связи с именем Власты Тихой. Станя переживал за актрису. Есть разве рецепт, который мешал бы двум людям различного возраста в совершенстве понимать друг друга? Черт побери сплетницу Прагу! Повернемся к ней спиной.

Когда Тихая разучивала роль Марии Кальдерон, она в самом деле позвала Станю. Он не ждал от нее такой последовательности. Артистка прочитала ему стихи с истинным трепетом.

— Так хорошо? — спрашивала она каждую минуту, и Станя очень извинялся, когда шипящие казались ему все же недостаточно чистыми.

— Ну, значит, у меня язык совсем не поворачивался,— крестилась актриса.— И почему мне этого не говорили те бездельники? А ведь у меня, слава богу, все зубы целы.

Станя ждал, что она вот-вот обидится; но, к его удивлению, Тихая, известная своими стычками с режиссерами, вела себя тише воды, ниже травы.

— *Iktus*, *iktus*...[1] Подождите, что это такое?.. Ах, вы такой ученый, а я просто неграмотная,— польстила она с чуть заметной иронией.— Ну, не важно, вам вот как хочется.— И Тихая читала стихи так, что любо-дорого слушать.

— А если Арбес захочет, чтобы я читала по-другому, брошу все и уйду,— заявила она.

Станя был так возвеличен, что ему стало не по себе. А вдруг она ему когда-нибудь бухнет, что он еще недавно был маленьким, что дома его звали «недотепой»? А вдруг она разглядит своими совиными глазами, что Станя еще не имел дела с женщинами, и намекнет об этом, как его коллеги по библиотеке? Но когда человек на службе, он становится благоразумным. Станя был очень строг к Тихой и ничего ей не прощал: ни безударных предлогов, ни рас-

[1] Такт, размер, ударение *(лат.)*.

тянутого «е». Она не сводила глаз с его губ, что очень его связывало, наматывала на ус все его замечания и сразу же с чисто женским талантом подражания претворяла их в жизнь. Это были примерные учитель и ученица. Всем известны свободные манеры в театральном мире, где актеры и актрисы не стесняются физических прикосновений. Но здесь — ничего подобного. Если, наливая Стане чай с таким нежным вниманием, будто юноша тяжко болен, Власта задевала его рукав, она тотчас же извинялась: «Простите». Станя весь сжимался. «Пардон»,— шептал он. Они очень следили за собой, что правда, то правда; очень боялись один другого и казались друг другу неуязвимыми. Были церемонны, как древние китайцы; даже чересчур.

После нескольких занятий Станя объявил, что произношение пани Тихой безупречно; он только убеждал ее каждый день упражняться хотя бы по десять минут — скрипач ведь тоже должен ежедневно упражняться — и распростился, подчеркивая, что больше не придет. Это излишне. Время пани Тихой дорого, а Станя ей уже не нужен.

— Как не нужен? — испугалась артистка.— Приходите обязательно на генеральную репетицию, я скажу, чтобы вас пригласили. А после премьеры поедем кутить.

— Ну, это будет уже не то,— возразил Станя.— Прямо беда с вами, вы такая знаменитая...

— Скажите лучше «старая»! — взорвалась Власта. И юноша страшно обрадовался.

— Вы никогда не должны так говорить,— в смятении перебил он ее.— Потому что... ни одна девушка...

Актриса смотрела на него.

— Ни одна девушка в мире,— запинался Станя и умоляюще схватил ее руку.— Вы это хорошо знаете...

Артистка освободила руку и погладила его волосы.

— Это вам кажется, это вам только кажется...

— Нет, не кажется! — упрямо возразил Станя, отбросил ее играющую руку, прижал к себе хрупкую женщину так, что чуть душу из нее не выдавил, и стал целовать ее как сумасшедший. Даже слепой увидел бы, что ни с одной женщиной он еще не был близок. Тут уж страшно обрадовалась Власта, но головы не потеряла.

— Нет, нет! Не сейчас,— испуганно зашептала она,— я должна быть пай-девочкой. У меня такая примета... Перед премьерой — нет. Иначе плохо сыграю.

Станя озирался как обезумевший и собирал разбегавшиеся мысли. Потом его охватила мальчишеская забота о прическе, и он пригладил волосы.

— Вы бесчеловечны,— хрипло произнес он, метнувшись к двери.

Артистка схватила за плечо убегающую молодость.

— Но после мы увидимся?

Станя обернул к ней молодое, серьезное лицо.

— Что же мне делать,— сказал он беспомощно, развел руками и вышел.

Наступило время, когда Станя сделался ужасно таинственным,— лучшему другу он ни за что на свете не поведал бы, почему ему не хочется идти вместе со всеми в кафе, и куда он исчезает после спектакля, и чьи ключи позвякивают у него в кармане. Одного он не умел: подавить трепет, когда Тихая появлялась на сцене. Он дышал за нее, замирал, когда она делала *«накладку»*, и сиял, как молодой бог, когда ей удавалась роль. Нет, он не умел погасить свое лицо, и вся Прага подмечала это. За столиками кафе считали годы актрисы, злые языки трещали, кумушки крестились, люди перемывали косточки любовникам, а те только пренебрежительно посмеивались. Что вы знаете! Любовь открыли мы!

— Власта, а ты с самого начала знала, что эти уроки так кончатся?

— Ничего подобного,— обиделась Власта.— Я думала по-честному. Я только хотела тебя *умаслить*, как критика.

— Ты ужасна,— сказал Станя.— Ужасна! Я никогда и не думал...

— И я не думала,— со вздохом произнесла Власта.

Ах, сколько горячих ласк родила любовь! Засыпали смертельно бледные, но утром румянец возвращался к ним, и они становились веселее детей. Они играли в «семейную жизнь», и артистка, как добрая хозяйка, всячески угождала Стане. У нее был столик на колесах, и, накрыв его, Власта передвигала его по комнате, останавливаясь каждый раз в новом месте — то перед тахтой, то в оконной нише, то у камина.

— Власта, не затевай ничего! — ходил за ней Станислав.— Посидим немного.

Где там! Власта вдруг замечала, что вон та картина висит криво, и тотчас вскакивала на стул. Станя снимал ее со стула, но, очутившись на полу, она выскальзывала из его рук и шла поливать цветы. Артистка двигалась со своей лейкой так грациозно, будто танцуя под музыку Моцарта; возможно, она это знала. Вечно она в движении, как эльф, как Пук, говаривал ей Станя. Все, что касалось ее, она выслушивала с жадностью. Зато «идеек» избегала, как черт ладана. Станя привык к дебатам со студентками, но такое развлечение было не для артистки. Она не нуждалась в рассуждениях, ей нужны были происшествия. Сама она сыпала ими, как из

рога изобилия. Поджаривая гренки на своей маленькой комнатной печке, она не без остроумия передавала театральные сплетни.

Вот Власта мелет кофе в тугой турецкой мельнице. При каждом обороте мельница поскрипывает, идет тяжело (зато как она мелет зерна!), и Станя отбирает ее, чтобы Власта не утомлялась; но при этом он так неловок, что получает по пальцам. Ему вообще не везет. Однажды он разбил какую-то дешевую тарелочку, и артистка расплакалась. Станя почувствовал себя просто убийцей.

— Не плачь,— утешал он ее,— не плачь. Посуда бьется к счастью. Успокойся, я куплю тебе другую. Получишь их целую дюжину.

— Да, но это все равно будет не та,— хныкала Власта.— В Софии, где я играла Нору, я купила эту тарелку у одного старика, а у него было семь носов, один краснее другого,— смеялась она.

Смех и слезы были у нее всегда рядом, как у детей. Хозяйничала она тоже с детской серьезностью. Станя восхищался. Ей-богу, Геда Габлер действительно верит, что она по-настоящему хозяйничает. Это его трогало. Сколько раз на сцене ее закалывали и душили! Сколько раз она кончала самоубийством! Наумиралась она за свою жизнь предостаточно! Теперь Власта идиллически отдыхает и с внимательностью алхимика готовит французский салат. Каплей масла, щепоткой соли, зернышком перца больше или меньше — все это очень важно. Зато это будет салат! Кудрявый, какого вы не увидите на обычном семейном столе, свежий, как апрель, в нем тысяча и один вкус. Блесточка масла, наперсток водки — все у Власты по-особому, отлично от других; у нее подают розовый сахар, который достал ей чиновник какого-то посольства. Но сама она не возьмет ни кусочка: как и все артистки, она смертельно боится потолстеть. Она питается апельсинами и грызет орешки. И чем ты только жива, голубушка! Ну и дисциплина! Ну и каторжная работа! Утром ее будит массажистка, потом — репетиции; после обеда — занятия и портнихи, вечером — спектакль. И это — не считая *гастролей*. Рабочий хоть в воскресенье свободен. А Власта когда?

В кои-то веки это, однако, случилось, Власта собрала свою волшебную сумку, в которую можно упрятать все хозяйство, побросала туда необходимые вещи — от купального костюма до неократина,— задернула «молнию», сунула Стане в руку патефон в чемоданчике («Ты выглядишь с ним как знатный путешественник»), они сели в *«малютку»* артистки и выехали за город.

Если бы Власта была девушкой из парикмахерской, выданной замуж за богатого, она, вероятно, воротила бы нос от такого пригорода, как Розтоки. Но артистка Большого театра не так аристократична, и, посасывая кокосовые конфетки, она пускается

в разговоры с любой бабкой, торгующей в пригородном киоске. Ведь у каждого человека свои особые песенки; такая бабка вам чудесно расскажет: с какой стороны налетает гроза, и чей это замок на том холме, и что за несчастье случилось тут много лет назад, в память чего у дороги стоит этот крест. Власта смотрит на проспительную позу жены шарманщика, на легкомысленных барышень, чопорных жен мелких буржуа в воскресных платьях, на женщин, битых пьяными мужьями, измученных заботами о куче чумазых детей, на матерей-мучениц; смотрит твердым и ясным взглядом, и что-то в ней, помимо ее сознания, фиксирует виденное — она никогда не выключается целиком. Ярмарка жизни обостряет в ней вкус к своей профессии, пробуждает неодолимое желание работать. Жаль, что жизнь так коротка. Сколько б ни было женщин на свете, всех бы сыграла.

— Да ты и так их играешь,— говорит на это Станя.— Ведь Шекспир — это полная коллекция женских типов.

Станя против жанровых сцен и против реализма фотографии, Власта уже знает это. Теория нисколько не интересует актрису, но то, что сказал Станя,— свято. Когда любишь мужчину,— его ум властвует над тобой. А потом, он такой красивый и ненасытный мальчик! Власта помолодела, и они наслаждались весной от полного сердца — как студент и швея.

Потом Власта вдруг спохватилась, оставила машину на берегу, и они погрузились на один из влтавских «океанских» кораблей.

Оба влюбились в смешной пароходик, который наклоняет трубу, проходя под мостом. Когда пароход встречался с другим, капитаны здоровались со своих мостиков, и это было чудесное зрелище. Капитан следит в бинокль за далеким горизонтом; рулевой не спускает глаз с компаса и с метеорологических приборов — не близится ли тайфун, и при первой же капле дождя вся команда облекается в непромокаемые костюмы. Мы плывем со скоростью сорока пяти узлов. Смотри, вон уже и подольская каменоломня, красивая каменоломня, куда ходили писать первые чешские кубисты. Отец с сыном, жители колонии безработных, ловят над каменоломнею голубей, прямо над обрывом — они свалятся, вот посмотришь, они свалятся! Власта закрывает глаза, у нее кружится голова: она не может видеть ни трубочиста, ни кошки на крыше, она изумляется кровельщикам. Что только ей пришлось испытать в подъемнике, когда она играла Ариэля! Но ради театра она пойдет на все.

Пароходик въехал в ворота шлюза, Власта затихла, как котенок. Не очень-то уютно наблюдать, как вода все прибывает, все прибывает, будто в кошмарном сне. Один из пассажиров сказал: «Господи, стоит стенке лопнуть, и всем нам каюк»,— и Власта схватила Станю за руку. Та самая Власта, которая объездила пол-

мира. Что она — действительно боится или ей нравится разыгрывать испуг? Не разберешь. Видно, и то и другое. Но она действительно тряслась всем телом.

— Граммофон, Станя,— шепнула она, закрывая глаза,— скорей граммофон, или я с ума сойду.

Станя поставил пластинку с джазом, и Власта ожила.

— Правильно,— успокоилась она,— при гибели «Титаника» должна играть музыка.

Станя немножко стыдился людей, все на нее смотрели, ее безусловно узнали. Он не любил привлекать внимание — ему казалось, что он греется в лучах чужой славы. Иногда ему становилось неловко на службе у Власты, переменчивой, как апрель; но как он мог раньше жить без нее? Такой пустоты он уже не в состоянии был себе представить.

В БЕРЛИНЕ

Кружился снежок в ту роковую ночь, когда пылал рейхстаг, когда люди в коричневом разъезжали по Берлину, колотили высокими сапогами в двери, стаскивали сонных с постелей, хватали всех, кто когда-либо нашивал красную гвоздику на майских демонстрациях; так они осуществляли «ночь длинных ножей», предсказанную в книгах приверженцев свастики. Тогда кружился снежок, теперь дозревают летние яблоки. Несчетное количество возлюбленных встретилось за это время, несчетное количество их разошлось; фирма «Яфета» сменила в своих витринах шубки на дождевые плащи, а дождевые плащи — на купальные костюмы; луга, пройдя три периода — желтый, розовый, белый,— были скошены и теперь издавали крепкий радужный аромат, доносившийся до самого города,— прежде чем берлинский советник Фогт с дружиной своих судей допросил пятерых подозреваемых в поджоге — голландца, немца и троих болгар; прежде чем он пригласил свидетелей, принял у них присягу, выслушал от них все, что ему было нужно, чтобы распутать клубок международного заговора; прежде чем велел запротоколировать показания и дать их допрошенным на подпись,— словом, прежде чем он закончил следствие и передал дело государственному прокурору. Обвинение в поджоге и государственной измене — преступления, за которые расплачиваются головой,— будет предъявлено этим пятерым. Они предстанут перед верховным судом в Лейпциге, в старинном городе юристов и книг. А пока они сидят в берлинской тюрьме Моабит и ждут начала процесса. Правительству Геринга что-то долго не хотелось начинать его. Но теперь слушание назначено на середину

сентября. Было бы куда проще дать делу забыться, а скованных политических заключенных потихоньку умертвить. Но столько наглых иностранных юристов вмешалось в это дело, столько выродков-интеллигентов — и среди них, конечно, еврей Эйнштейн и пораженец Барбюс! — поставили свои подписи под дурацкими протестами против этого чисто внутриимперского дела, столько зловредных языков в Париже, Лондоне и даже в Америке начали болтать о пожаре рейхстага, что остается только заткнуть злобные глотки и дать по рукам слишком нахальным людям, которые контрабандой доставляют в Третью империю запрещенную печать, полную сенсационной лжи.

В тот день, когда Гамза собирался выехать ночным экспрессом в Берлин, Станислав, как каждый вечер, готовился уйти из дому; зайдя в ванную, он наткнулся на отца и, к своему удивлению, увидел, как тот засовывает в свой ботинок сложенную бумажку.

— Что ты делаешь, папа? Ботинки велики?

Гамза поднял голову и засмеялся сыну прямо в глаза:

— Да.

Берлин сверкал, как заново наточенный клинок, когда Гамза приехал туда. Стоял конец августа. Главный город империи больше чем когда-либо подчеркивал свой мужской род. Париж — город женщин, Берлин — мужчин. Оба города соревновались, очаровывали друг друга. Нося военную форму с бóльшим изяществом, чем их любовницы — модные наряды, берлинцы наполняли улицы пульсирующей деятельностью, как это бывает после государственных переворотов, тем более здесь, где действие — это программа; берлинцы ходили, будто ими двигала сила сознания их новой миссии, скользили по безукоризненно вымытому асфальту в темно-синих или кремовых автомобилях обтекаемой формы, вознесенные над человеческими отношениями. Стекла витрин, сверкая хирургической чистотой, отражали движение столицы, и, как наплыв на экране, проходили тени по лицу Гитлера, который повсюду смотрел из рамок — в глубине разложенных книг, среди оптического товара, окруженный мужскими перчатками и ульстерами, и со стен оружейных заводов,— смотрел своим глубокомысленно-хмурым взглядом из-под почти наполеоновского клока волос на лбу. Берлин всегда чист, но теперь он был демонстративно идеален, без пятнышка. Будто каждую кляксу на его репутации тщательно стерли резинкой, каждое пятно вывели бензином: в вихрящемся воздухе города носился запах резины и бензина, мешаясь с первыми ароматами осени. Давно развеялся дым сгоревшего рейхстага. Не осталось и пепла от костра из книг, торжественно сожженных в мае этого года преподавателями и студентами университета.

Весенние политические бури улеглись, в Берлине — покой и образцовый порядок, в чем может убедиться любой иностранец, и Гамзе действительно не на что было пожаловаться. Поднявшись утром на оживленную улицу со станции подземки, он спросил дорогу у двух юношей в ловко пригнанных черных формах (подобный покрой можно встретить на лифтерах в модных отелях). Оба молодых человека с кинжалами на боку и черепами на петлицах, новенькие с головы до пят, не только охотно и точно объяснили иностранцу, куда ему свернуть, но и проводили его до угла, чтобы он ни в коем случае не спутал дороги; они распростились с Гамзой, широко улыбнувшись, как бы говоря: «Мы, молодежь Третьей империи, превосходим в вежливости даже французов».

Господин сенатор был, конечно, сдержаннее. Но даже тень досады или нетерпения не нарушила того спокойствия воспитанного человека и уверенности хозяина дома, присущей всем начальникам отделов, с какими он принял Гамзу и выслушал его предложение защищать на лейпцигском процессе четырех обвиняемых.

— Любопытно,— произнес сенатор с тонкой улыбкой, указывая Гамзе кресло перед письменным столом и садясь сам,— любопытно, какое внимание уделяет иностранная общественность нашему процессу, который даже еще не начался. Безусловно, нет нужды уверять господина коллегу в том, что, согласно славной традиции немецкой правовой науки, на этом процессе восторжествует справедливость.

Гамза поклонился.

Сенатору очень жаль, что в отношении болгар нельзя дать господину коллеге положительный ответ. Димитров, Танев и Попов жили в Германии нелегально, без прописки. У них нет гражданских документов, которые по имперским законам надо приложить к прошению о защитнике. Следовательно, этот вопрос отпадает *eo ipso* [1]. Что же касается Торглера, то пусть господин коллега не сочтет за труд обратиться к его адвокату, доктору Заку, и договориться с ним. Доктор Зак — прекрасный юрист, очень добросовестный человек, и он, несомненно, не упустит ничего, что может быть на пользу его клиенту.

Плавная речь сенатора, привыкшего ораторствовать, зазвучала при последних словах слащаво, с той слащавостью, к какой прибегает в трогательных местах своих выступлений молодой министр пропаганды доктор Геббельс.

Гамза слушал изысканную немецкую речь, видел узкую аристократическую руку, спокойно лежащую на темном сукне стола; он поднял глаза от этой руки к человеку, с которым, как он надеял-

[1] Сам собой *(лат.)*.

ся, ему придется столкнуться лицом к лицу на заседаниях верховного суда в Лейпциге.

— Могу я навестить Торглера и переговорить с ним об этом?

Взгляды их скрестились и высекли боевую искру. Сенатор загасил ее холодным тоном.

— Пусть господин коллега подаст письменное прошение имперскому суду,— безлично ответил он,— и он получит письменный же ответ как по вопросу о посещении заключенного, так и по вопросу его защиты.

Проговорив это, сенатор оперся обеими ладонями о монументальный письменный стол и приподнялся в своем кресле с достоинством представителя власти. Это был знак, что аудиенция закончена.

Гамза не сразу пошел к доктору Заку. Сначала он сел в пригородный автобус и отправился за черту Берлина, в район загородных домиков. Стояла жара, сады источали пряный аромат.

Школьница с головкой, похожей на луковицу, с лентой в косичке, поставила на землю корзину, в которую собирала фасоль, и подбежала с окрыленной легкостью девочки-подростка. Остановилась у калитки, вымытая до блеска, в фартучке цветочками — несомненно, это был баловень семьи. Пытливыми глазами девочка оглядела незнакомца. Он спросил, где ее мама. Девочка оставила Гамзу за оградой и побежала к матери с важным видом всех детей, несущих новости.

Мать, темноглазая женщина с туповатым лицом, на котором судьба уже поставила свою печать, подошла медленно и неохотно. Она спросила незнакомца через ограду, что ему угодно. Нельзя ли переговорить обо всем в доме? Он задержит ее всего лишь минут на десять. Женщина нехотя отперла калитку; она шагала впереди, как заведенная машина, и ввела Гамзу в очень аккуратную комнату, душную от застоявшегося воздуха и плюшевых кресел с ромбовидными вязаными салфеточками на спинках, над которыми висел увеличенный портрет жениха и невесты: она преданно глядела на своего суженого, застывшего в напряженной позе. Ладно. Пусть. Но, боже, почему же и здесь смотрит со стены фюрер с его пробором, с его щеточкой усов над горькими губами старой девы? Гамза покосился на цветную репродукцию.

Кровь бросилась в лицо хозяйке. Даже голая шея вспыхнула, хозяйка вся загорелась. За что ей стыдно? За портрет фюрера или за то, что ее муж арестован?

— Беги играть,— сказала она дочери.

У девочки разочарованно вытянулось лицо. Ясными глазами взглянула она на гостя, будто ожидая, что он вступится за нее. Не

дождавшись, девчурка недовольная вышла из комнаты со своим фартучком цветочками и с лентой в косичке.

Гамза представился хозяйке — так и так, приехал из Праги по делу вашего мужа. Вот удостоверение, которое не рекомендуется теперь показывать в Берлине; фрау Торглер, вероятно, уже не раз его видала. Оно подтверждает, что Гамза — член юридической секции Международной организации помощи жертвам гитлеровского фашизма. А здесь, товарищ, у меня к вам письмо от депутата Кенена.

Письмо было смято — Гамза перевез его вчера через границу в своем башмаке.

Женщина отшатнулась. Руками сделала движение, будто заклиная кого-то.

— Я не знаю этого человека,— хрипло произнесла она.

— Но ведь это Кенен, Кенен! Лучший друг товарища Торглера! Он был с ним в рейхстаге, а потом в ресторане Ашингера, в тот... злополучный вечер.

— А потом скрылся,— с горечью перебила жена Торглера.— И Эрнсту пришлось расплачиваться одному. Вот уж верно — везет некоторым людям...

— Он хорошо сделал, что скрылся,— возразил Гамза.— Теперь он прилагает все силы, чтобы помочь вашему мужу. Именно поэтому...

— Ему легко помогать, когда он в безопасности! Верю... Нет, нет! Оставьте это у себя.— И она упрямо спрятала обе руки под фартук.— Никогда в жизни я с этим господином не разговаривала, и мне не нужны его письма.

Так вот оно как в империи страха! Она приняла Гамзу за провокатора. Он высказал эту мысль и тем несколько успокоил ее. Пусть она хоть прочитает письмо, Гамза его тотчас снова заберет.

— Да уж, попрошу! — резко сказала Торглер.

Она быстро пробежала глазами по строчкам, так, как делают артистки на сцене, от волнения едва улавливая смысл, и тут же вернула письмо. Кенен рекомендовал Гамзу как надежного товарища и хорошего юриста. Но какой в этом прок, если она враждебно относится к Кенену? Гамза зашел с другого конца.

— Доктор Зак, адвокат вашего мужа,— национал-социалист, не так ли?

— Никто другой из берлинских адвокатов не хотел защищать моего мужа,— жестко ответила женщина.— Все до одного отказались. Они готовы защищать любого взломщика или убийцу, а тут отказались. Это был мой крестный путь! Доктора Зака мне рекомендовал верховный суд.

— Я не знаю доктора Зака лично,— подчеркнул Гамза,— я еще с ним не разговаривал. Но как национал-социалист он вряд ли будет в достаточной мере заинтересован в том, чтобы доказать, как промахнулось правительство Геринга, обвинив в поджоге людей, которые подожгли рейхстаг примерно так же, как вы или я.

— Да,— вырвалось у Торглер с горечью.— Да,— повторила она, устремив взор в одну точку, как делают все убитые горем люди.— Вот что получил Эрнст за все. За то, что он жертвовал собой ради других, за то, что никогда не думал о себе. Но я это знала. Я всегда говорила. Проклятая политика! Как мы могли быть счастливы... Мой Эрнст!..— Она разразилась плачем.— Он невинен, как ребенок,— говорила она в слезах.— Как только я себе все это представлю... Я до сих пор не понимаю...

— Зато мы, за границей, ясно видим все,— сказал Гамза.— Здесь, в империи, вам рассказывают сказки, как малым детям. Вам приходится делать вид, что вы им верите, я знаю. Фюрер смотрит со стены и следит внимательно...

Торглер обернулась одновременно с гостем и снова густо покраснела.

— Я была вынуждена купить этот портрет,— злобно произнесла она.— Этот человек мог меня выдать. Что ж вы, хотите, чтоб еще арестовали меня и ребенка? Сына мне удалось переправить *через границу,* а дочь...

Гамза принялся ее успокаивать. Он вовсе не хотел ее задеть. Он знает, как тяжело ей живется. А Торглеру — тем более. Не согласна ли фрау Торглер с тем, что ее мужа должен защищать человек, ни от кого не зависящий, такой, кому важно одно — доказать невиновность Торглера?

Женщина сразу насторожилась. Смерила Гамзу глазами, уже сухими.

— Вы хотите защищать моего мужа? — спросила она с нажимом, и в голосе ее прозвучала легкая угроза.

Гамза подтвердил. Конечно — для этого он и приехал к ней. Он хочет предложить ей свою помощь.

Торглер посмотрела на него сверху вниз.

— Нет, нет,— язвительно бросила она.— Из этого ничего не выйдет. У меня нет денег, *дорогой господин доктор.* Ни гроша. Я больше не буду такой дурой, какой была прежде.

«Из провокатора я уже стал мошенником»,— подумал Гамза.

— Что ж, верно, нашлись такие мерзавцы, которые отняли у вас даже способность доверять людям,— сказал он вслух.— Жаль. Я рад был бы помочь, как умею. К счастью, я не один. За дело вашего мужа и болгарских товарищей берутся более известные юристы, чем я: например, Моро-Джаффери, или Брэнтинг, или Притт...

Да что это я вам рассказываю, вы ведь и сами знаете. Видели вы Коричневую книгу?

Торглер побелела как полотно.

— Тише!

Ей показалось, будто кто-то остановился под окнами. Беспокойство охватило ее, она встала и пошла посмотреть. Она открыла даже дверь, выглянула в коридор и снова осторожно притворила ее.

— Сразу видно, вы не здесь живете,— проговорила она со слабой улыбкой облегчения, возвращаясь к плюшевому креслу.— Легко вам говорить! Легко вам говорить... Не знаю... чем больше людей будет вмешиваться в это дело, тем более это раздражит *их*. Я *их* знаю! Как бы это еще сильнее не повредило Эрнсту...— Она подняла на юриста уже кроткие глаза. Ее недоверие заметно таяло.

— Он должен знать, что мы его не отдадим! — горячо сказал Гамза.— Господи, должен же он иметь хоть какую-нибудь надежду! Вы имеете право навещать его?

— Один раз меня к нему пустили по поводу денег, оставшихся от дедушки. С этим они скорее всего считаются. Если бы вы его видели! Кости да кожа...

— Выдумайте опять какой-нибудь денежный предлог,— перебил ее Гамза и встал.— Вам что-нибудь да придет в голову. Вы такая умная женщина. Я знаю, вы мужественный человек. Третий Интернационал — большая сила, и он стоит за четырьмя обвиняемыми. На стороне вашего мужа вся мировая общественность, все справедливые люди, а это — не пустяк. Видите, как нацисты испугались этого. Уже то, что нам удалось добиться процесса,— успех.

— Я не знаю,— безнадежно ответила она.

— Постарайтесь к нему попасть. Как можно скорее. Для чего существует доктор Зак? Пусть добьется для вас свидания. И когда вы будете подавать вашему мужу руку — вам ведь разрешат,— передайте ему это.

Он пожал правую руку женщине в знак прощанья, и в ее ладони очутилась бумажка. Огонек любопытства промелькнул в ее глазах. Она быстро развернула записку.

Там было написано карандашом: «Когда иностранные юристы предложат свои услуги, дайте им все четверо полномочия. Настаивайте на том, чтобы они вас защищали. Дело в верных руках».

Торглер задумалась, колеблясь между врожденной склонностью женщин к секретам и страхом перед незаконным поступком.

— А это не будет опасно для Эрнста?

— Не будет, если вы сделаете это ловко. А это уж вы сумеете сделать, если вы его любите. А здесь вот — от Антифашистской помощи,— добавил он,— если будет необходимость где-нибудь подмазать...

Он оставил на столе банковый билет и, невыносимо стыдясь, вышел из комнаты через темные сени на яркий дневной свет.

Девочка в саду явно ждала, когда появится гость. (Гамза совершенно забыл о ней.) Но девчушка, увидев его, тотчас оставила свою фасоль, схватила скакалку и принялась прыгать с отчаянным усердием, делая вид, что полностью занята своим делом.

Мать с ключом вышла вслед за Гамзой.

— Соседским детям запрещают с ней играть,— с болью заметила она.

Девочка, покачивая головой и шевеля губами,— она, видно, считала свои прыжки,— подскакивала так, что ее косичка взлетала все быстрей и быстрей, подгоняемая смущением и желанием похвалиться. Фартучек ее развевался, крепкие загорелые ноги с непостижимой быстротой, как у балерины, мелькали над полукругом скакалки.

— Эрнст боится за нее,— таинственно шепнула женщина.— Говорит — следи за ней хорошенько. Понятно, он не мог сказать всего при надзирателях. Но я его поняла. Сколько уж было случаев, когда *они* похищали детей.

— Сто! — победно воскликнула девочка и остановилась.

— А ты здорово умеешь прыгать,— похвалил ее Гамза.

Она подбежала, щеки ее горели, жаркие губы улыбались счастливой усталостью, худенькая детская грудь поднималась и опускалась и снова поднималась, вдыхая свежий воздух. Каждый цветочек на фартуке этой дочери заключенного дышал радостью движения под просторным небом.

— Попрощайся же,— сказала ей мать.

Гамза взял вспотевшую детскую руку.

— Я ведь твой дядя, правда? — сказал он.

Она посмотрела на него с веселой смелостью:

— Да!

УЛЫБКА

У Неллы был пузатый кофейник, доставшийся ей по наследству от прабабки — жены мясника. Посудина напоминала дамочку в пышных юбках, с узкими плечами и розочкой на шляпе (за эту розочку открывают крышку). Да, кофейник как две капли воды походил на буржуазку тех времен, когда он был еще новым и украшал собой стол. Но, несмотря на все усилия, серебро темнеет, кое-

где на кофейнике впадины и неровные выпуклости — всесильная рука времени помяла его. Он стоит на трех ножках, прихрамывая на одну из них. Я согласна с Гамзой — это неуклюжая вещь, незачем ее ставить на стол. Гамза каждый раз проливает кофе и злится, что у кофейника слишком высоко приделан носик. Если б он умел с ним обращаться! Почему не подождет Неллу? Мужчины пьют много черного кофе, а прабабкин кофейник объемист. Потому-то и ставят на стол это яблоко раздора.

Но сегодня Гамза не злился. Сегодня он был примерным. Он сам встал, чтобы взять старую салфеточку, и, не говоря ни слова, принялся тщательно вытирать облитый поднос.

— Постой, это делается вот так,— сказала Нелла тоном всех жен, забрав из его рук салфетку. Одним движением она сделала то, над чем так старательно трудился муж.

Почему он сегодня такой хороший? Здесь что-то не чисто. Нелла не любит, когда кто-нибудь из ее мальчиков слишком уж хорошо себя ведет. Значит, он либо собирается выкинуть какую-то новую штуку, либо заболевает.

Вещи Гамзы, уезжающего в Лейпциг, уложены, но он хочет сказать несколько слов своему взрослому сыну. Нелла заглянула в комнату к Стане — юноша уже ушел. Он, верно, в редакции. Ах, знаем мы эти редакции! Может быть, Нелла передаст Стане слова отца? Гамза вкладывал сигареты в портсигар и не отвечал. Нелла стояла над ним.

— Когда ты думаешь вернуться?

— Да скоро,— весело бросил он и ласково поглядел на жену.— Раз уж Зак не дал мне взяться за дело, я буду там только платонически...

— Чудо, что вам позволили присутствовать. Я этого не ожидала.

— Да ведь был бы скандал на весь мир, если бы они не пустили туда никого из иностранцев. Они-то чуют, каково мировое общественное мнение. Еще бы, параллельный Лондонский процесс задал им жару!

Гамза положил руки на плечи жены.

— Нелла, ты будешь ходить в контору?

Она кивнула, удивленная ненужным вопросом. Ведь по утрам в конторе некому будет оставаться, Клацелу, помощнику Гамзы, одному придется теперь ходить по судам.

— Завтра у нас «казмаровский день», а тебя не будет. Этого, пожалуй, еще не случалось.

— Только раз, когда я застрял в Остраве,— засмеялся Гамза.— Клацел — хороший парень. Если тебе что-нибудь понадобится, скажи ему — он все устроит.

Такая речь чем-то не понравилась Нелле.

— А что мне может понадобиться, ведь ты скоро вернешься? — упрямо повторила она слова мужа, наблюдая за ним широко открытыми глазами.

— Ну, может, мне там придется задержаться для каких-нибудь выступлений. Никогда ведь заранее не знаешь.— Гамза сунул руку в карман.— Вот ключи от моего письменного стола.

Нелла мельком взглянула на них.

— От твоего письменного стола? — удивилась она.— Да оставь их у себя! На что они мне?

— Нелла, в третьем ящике справа все наши документы...

Нелла вздрогнула.

— Зачем ты мне это говоришь?

— ...и еще конверт с моей последней волей,— как-то невыносимо конфузясь, быстро договорил Гамза.— Нечто вроде наставления Стане и прочее. Не сердись, что я тебя этим затрудняю. Но раз нету Стани...

Нелла помертвела.

— Но они ничего не могут тебе сделать! — От испуга голос у Неллы пропал, и слова прозвучали очень тихо.— Они не посмеют! У тебя паспорт. Немецкая виза. Все на месте,— лихорадочно перечисляла она.— Я сама все это доставала. По какому праву...

— Нелла! Постой. Не волнуйся. Кто говорит, что что-нибудь случится? Это я только так, для порядка.

Нелла не спускала с него глаз.

— С каких это пор ты стал любителем порядка? — взорвалась она.

Гамза улыбнулся. Посмотрел на часы, захлопнул чемодан и подошел к жене.

Она страстно желала вырвать из его рук проклятый чемодан, швырнуть на пол, схватить за плечи одного из своих непутевых мальчиков и приказать ему, как это делают рассерженные матери: «Никуда ты не поедешь! Сиди дома. Я твоих фокусов не потерплю!»

Вместо этого она подала ему руку.

— Будь здоров, Петр, и возвращайся счастливо.

И улыбнулась ему.

Бог знает через какую щель старых времен она вытащила ее, эту улыбку. И улыбка вышла помятая, кривая. Нелла и сама уж не помнила, куда она тогда ее запрятала, забытую, ненужную, она была не нужна. И теперь, долгие годы спустя, Нелла нашла и по судороге вокруг губ безусловно узнала ее, ту самую улыбку, какой она провожала Гамзу на фронт, когда он уезжал в Сербию. Поезд тронулся, а женщина, идущая рядом с вагоном, улыбалась, улыбалась изо всех сил, пока муж мог видеть ее через окно. И кто бы

сказал, что ей придется еще раз откапывать ее, эту давно забытую улыбку!

Сейчас она снова пригодилась, и Нелла надевала ее, появляясь на людях, не снимала даже перед взрослым сыном. Тогда Станислав был маленьким червячком — сейчас парень высок, как ель. Зачем портить ему юность? Лицо его обращено в другую сторону, об отце и не вздохнет. Помощник Клацел, добрый товарищ Гамзы, что-то, верно, знал. Но даже и ему Нелла Гамзова не поверяла своей тревоги. Она не признавалась в своих опасениях и не высказывала их, зная, что страх притягивает несчастья.

Но вечерами, когда Барборка ложилась, а Станислава не было дома, Нелла Гамзова снимала улыбку, как в старые времена дамы распускали корсет, и мускулы вокруг ее губ расслаблялись. Нелла сидела с одинокой сигаретой — как не хватало ей второго огонька — и портила глаза готическим шрифтом газет, тех, что широко описывали Лейпцигский процесс, а через окно в комнату вместе с ароматом гвоздик, доносящимся откуда-то из велеславинского садоводства, проникал запах гари, древний чад тлеющих костров, на которых сжигали еретиков и ведьм.

Последний трамвай скрывался в депо; она была одна, и рассказы еврейских изгнанников и других беглецов из Третьей империи, которые целыми днями толпились в их конторе, возвращались теперь к ней по воздушному мосту вздохов. Далеко слышно в такую прекрасную сентябрьскую ночь. Повеял легкий ветерок, встрепенулись листья в соседнем саду, и тот, у кого слух напряжен до такой степени, что различает звуки за рубежами страны, улавливает далекие стоны пытаемых и сопение мучителей, словно при чудовищном соитии. Все тихо, лишь в Дейвицах маневрирует состав; все тихо, лишь часы отбивают время на храмах Лореты, в Страговском монастыре, на соборе святого Вита, на Ангальтском вокзале. В берлинских часах не хватает колесика, их стрелки взбесились и пошли крутиться в обратную сторону. Возможно, припадки бешенства случаются не только у несчастных с дурной наследственностью. Безумие охватывает иногда целые нации, и Германия, помешавшаяся на свастике, страдает манией величия, садизмом и пироманией. Она окончательно спятила. Где те времена, когда мы смотрели на танец смерти в имперских картинных галереях, а старичок сторож дремал при этом в холодке? Конь костлявой понес, его безносая госпожа сбежала из музея к живым людям и хозяйничает вовсю. Ландскнехты в роще забили насмерть ясновидца за то, что ему было видение — «большой дом в пламени»; политик, написавший мемуары о пожаре рейхстага, раскачивается на крюке; не спрашивай, чьими руками он задушен, ни о чем не спрашивай, сегодняшняя Германия полна баллад.

«И как я пустила туда Гамзу! Так вот почему он был такой ласковый! Вот почему он был такой ласковый, вот почему»,— твердит себе Нелла и видит мужа, как он старательно и неуклюже, будто застигнутый врасплох школьник, вытирает облитый подносик.

ГЕРОСТРАТ ИЗ ЛЕЙДЕНА

Суд — это драма, суд — спектакль. В старинном лейпцигском зале ждала публика, оцепленная полицией. Гамза сидел в группе иностранных юристов, напряженный, как никогда в жизни. Места судей были еще пусты. Кайзер Вильгельм, воинственно-красочный, как живые жандармы в первом ряду, выступил из рамы на стене и увел Гамзу, старого солдата мировой войны, ко временам конопиштских роз в парке наследника. Время в Германии идет вспять. Там до сих пор не подписали Версальский мирный договор. Фельдмаршал Гинденбург, танненбергский победитель,— президент империи. Недавно нацисты передали ему два королевских замка — почетный дар в память прославленной битвы. Немцы ведь не проиграли мировой войны. Так утверждает фюрер, а то, что говорит фюрер,— свято. Ломаные крючья свастики, сцепившиеся друг с другом, какой-то бредовый орнамент, бессмысленная квадратура круга, двойной крест, вписанный в круг, зловеще выделялся рядом с геральдически неумолимым имперским орлом.

А-а, вот входит доктор Зак, который так нелюбезно спровадил Гамзу. По бокам его — два защитника в черных мантиях; они садятся на трибуне слева. (Как завидует им Гамза! Завидует, как мальчишка. Мы изучили имперские законы, материал следственной комиссии знаем как свои пять пальцев, мы сгораем от желания защитить, выручить товарищей, а эти *ex officio*[1] делают вид, что скучают!) Доктор Зак, с двусмысленной улыбкой на своих тонких губах, насмешливым взглядом рассматривает сквозь пенсне публику, переговаривающуюся на нескольких языках мира. Но оружия нет ни у кого. Не бойтесь! Всех нас дважды обыскали.

Но, боже, кого это ведут? На ногах кандалы, согнутая спина, голова склонилась на грудь — он вваливается, скорее похожий на медведя, вставшего на задние лапы, на балаганного медведя, чем на человека. По фотографиям в газетах и в Коричневой книге Гамза, конечно, знал первого из обвиняемых, Маринуса ван дер Люббе, молодого голландца, схваченного на месте преступления. Уже

[1] В данном случае — назначенные адвокаты *(лат.)*.

тогда его поразили покатый лоб и тупое выражение лица, уже тогда приплюснутый нос и незакрывающийся рот обвиняемого произвели на Гамзу впечатление слабоумия, а глубоко сидящие раскосые глаза, казалось, поблескивали из-под низкого лба с коварной строптивостью, свойственной преступникам. Но что молодой человек уродлив до такой степени,— адвокат все же не думал! Голландец ужаснул его настолько, что в первый момент Гамза почти не заметил остальных, ничем не выделяющихся людей, которых стража подвела к скамье подсудимых.

Старший из них — ему могло быть около пятидесяти — держится молодцом. У него высоко поднята голова; горделивая осанка; в стиснутых челюстях чувствуется энергия. С нескрываемым пренебрежением смотрит он выпуклыми глазами прямо в публику. Это Димитров — защитник болгарского народа, сын страны, где люди доживают до ста лет, если не гибнут насильственной смертью. Не похоже на то, чтобы он ее боялся,— широкоплечий, с упрямым чубом, сидит он между двух своих земляков, исхудавших после полугода тюремной жизни. А тот тщедушный человек с гладко зачесанными волосами, тонкий, как мальчик, не по возрасту моложавый, как выглядят все сильно исхудавшие люди,— это Торглер. Он кажется своей собственной тенью. «Ах, как он изменился,— говорили вокруг Гамзы.— А какой был оратор!» Гамза лично не знал этого депутата от компартии, его до сих пор не допускали к Торглеру. Но теперь он видит, что прозрачный человек, с опущенными уголками губ, вяло уронивший слабые руки, смертельно испуган. Судя по тому, как испуганно он избегает взглядов, создается впечатление, что он воспринимает процесс как позор. Он страдал, когда его слепили юпитеры кинорепортеров, вздрагивал, когда пулеметами трещали киносъемочные аппараты. Вся эта постыдная комедия для него — пытка.

Но вот в пурпурных мантиях входят судьи. Задвигались стулья, зашаркали ноги — публика встала; будто вихрь пронесся по залу — все вскинули правую руку, и Гамза впервые в жизни увидел массовое арийское приветствие.

Председатель суда взял слово.

— За рубежом,— сказал он,— с недоверием следят за процессом поджигателей. Были даже высказаны опасения, что здесь могут несправедливо осудить обвиняемых. Но сторонники обвиняемых могут быть спокойны. Наш ответ на это недостойное подозрение ясен. Мы разрешили доступ иностранным юристам для того, чтобы эти господа сами проследили за ходом процесса. Объективность имперского суда, так же как и его авторитет,— вне дискуссий. Силу закона будет иметь только то решение, которое вынесем мы, здесь, в Германии, где преступление имело место и где оно

разбирается в судебном порядке, но ни в коем случае не то, которое, вероятно, уже вынесли за границей некомпетентные любители.

Верховный имперский суд открывает процесс тем, что оправдывается, будто его обвиняют! Вы слышите это, товарищи юристы? Еще бы, они все превратились в слух. По умному лицу Марселя Вийяра, похожему на мордочку ящерицы, легкой волной пробежала насмешка; блестят темные глаза болгарских адвокатов — Дечева и Григорова. Артур Гарфилд Хэйс, старый борец против всех судебных расправ, морщит свое чуть-чуть негритянское, чуть-чуть еврейское, доброе и мудрое человеческое лицо. Только не сдаваться! Не сдаваться! Сакко и Ванцетти, безвинных итальянцев, казнили в Америке, несмотря на его защиту, но Энди и Роя, этих негритянских юношей, он выцарапал. Только не падать духом! Будем надеяться, что недаром решился он на путешествие в старую Европу. Хороший фитиль мы вставили нацистам в зале Ваграм, куда сошлось на митинг около двадцати тысяч человек! Поддали мы им жару Лондонским процессом!

Пока Гамза слушал чтение обвинительного акта, предъявленного Маринусу ван дер Люббе, каменщику, двадцати четырех лет, Эрнсту Торглеру, бывшему депутату, сорока лет, Георгию Димитрову, литератору, пятидесяти одного года, Блаже Попову, студенту, тридцати одного года, и Константину Таневу, обувщику, тридцати шести лет, в поджоге имперского рейхстага, в заговоре против империи и в государственной измене; пока открывался Лейпцигский процесс, заседания в Лондоне закончились. Международная следственная комиссия пункт за пунктом уже обсудила то, о чем в Германии сейчас только начнут говорить. Правда, в Лондоне не было обвиняемых, зато там было достаточно свидетелей. И эти свидетели не боялись раскрыть рот и сказать правду.

— Обвиняемый ван дер Люббе, признаете вы себя виновным?

Маринус ван дер Люббе, упершись подбородком в грудь, раскрыв рот, глазеет в пустоту. В течение всего времени, пока читали обвинительный акт, он сидел вот так, с идиотским выражением лица, между напряженным до предела Торглером и хмурым Димитровым. Достаточно было одного взгляда, чтобы понять: эти люди не имеют между собой ничего общего.

— Маринус ван дер Люббе, признаете вы себя виновным?

Если бы конвойный не подтолкнул его, чтобы он встал, голландец и не заметил бы, что к нему обращаются. Он не видит одним глазом. Может быть, он и не слышал? По старинному залу гуляет эхо. Может быть, он не понимает по-немецки? Ведь он голландец.

Председатель суда, подавляя нетерпение, медленно и громко повторяет вопрос.

Обвиняемый забормотал, как спросонья. Это — «да» или «нет». Даже переводчик не разбирает его слов.

Тогда еще не применяли радионаушников. Голландца подвели к столу судей, чтобы суд и допрашиваемый могли договориться. Почему он отвечает так тихо? Почему он так безучастен, когда дело идет о его жизни? Он измучен и вял. Не пытали ли его в тюрьме? Перед самым процессом-то?! Не может быть, чтоб решились на такой позор! Или ему дали какой-нибудь наркотик? Из группы иностранных журналистов поползли слухи о загадочных инъекциях. Голландский адвокат, присланный семьей Люббе, утверждает, что Маринус объявил голодовку. Подсудимый передал своему земляку, что не хочет никакого защитника. Он страдает меланхолией.

— Обвиняемый, признаете ли вы, что вы подожгли рейхстаг?

Зал суда, набитый до отказа, затаил дыхание. Тихо. Так тихо, что Гамза слышит, как у него на руке тикают часы.

— Да,— слабым голосом ответил Люббе.

Люди в зале задвигались, сели поудобнее.

— Зачем вы это сделали?

Люббе стоит, по бокам — конвойные, голова его клонится, как подгнивший бутон. Он не отвечает. Молчит. Будто это его не касается. Стоит и молчит. Молчит, как бессловесное существо.

— Обвиняемый, вы поняли вопрос? Господин переводчик, прошу вас. Я спрашиваю, с какой целью вы подожгли рейхстаг? Какие были у вас к этому побуждения? Может быть, политические?

Все приготовились к новому томительному молчанию.

— Я хотел попасть в газеты,— неожиданно отвечает Люббе.

Это производит невыразимо тягостное впечатление — будто икнул человек, и ненароком выскочила правда.

— Во время следствия вы заявили, что хотели показать революционный пример,— напомнил ему председатель, заглядывая в дело.— Разговаривая с кучкой безработных в Нейкельне за два дня до пожара, вы высказались в том духе, что дальше так нельзя, что это дело надо поломать. Вы коммунист? — спросил он с утвердительной интонацией.

— Нет,— отозвался Люббе.

Ветерок изумления пробежал по залу. Как же так? Ведь рейхстаг подожгли большевики — в империи это знает каждый ребенок.

— Но вы были коммунистом?

Люббе впервые поднял голову.

— Я был самостоятельным коммунистом,— самодовольно произнес он.— Москва мне не указ. Я руководствовался собственными идеями.

Жалкий Герострат из Лейдена! Это в самом деле твои идеи, Маринус? Тебе их никто не подсказывал? Например, тот добрый

господин, который в Потсдаме посадил тебя к себе в автомобиль, когда ты, бедный странник, тащился по дороге? Он подарил тебе пару ботинок и познакомил тебя со столькими замечательными людьми в форме и с такими яркими значками, что у тебя закружилась голова, твоя бедная голова? Вот она снова упала на грудь... Не внушены ли эти идеи кем-либо из твоих немецких друзей, которые позвали тебя на январь в Берлин, обещая работу? Почему ты так тщательно прятал от своих голландских товарищей их письма, хотя обычно похвалялся каждой запиской? Это действительно были твои идеи?

— Не изложите ли вы их нам, обвиняемый?

Люббе молчит.

— Расскажите о вашей поездке в Советский Союз.

Люббе там никогда не был. Как ни старался следователь — пресловутый Фогт,— факт оставался фактом: Люббе так никогда и не добрался до Советского Союза. Напрасно он сфотографировался на открытке, парень, мечтавший попасть в газеты, напрасно намалевал звездочку над головой и увековечил свое имя в хвастливой подписи — не успел он открыть торговлю своим изображением, как в Вестфалии его забрали и с позором вернули домой: у него не было разрешения на продажу почтовых открыток. Он узнает ее, эту старую бумажку, которую председатель вытащил из судебного дела,— этот образчик мальчишеского тщеславия, которому судьи со свастикой придают исключительное политическое значение; он узнает себя в зеркале своих неудач и, повесив голову, молчит. Будто три фразы, которые он только что произнес, были для него непосильным бременем, под тяжестью которого у него согнулся хребет и склонилась голова: он снова впадает в свое животное онемение.

Лейпцигский процесс — драма, Лейпцигский процесс — спектакль, а поджигатель, застигнутый на месте преступления, не знает роли. Он не отвечает на вопросы; он оставил в дураках председателя суда, и искушенный юрист, перебирая листы обвинительного акта, бормочет какой-то монолог в сумрак понурого зала. Председатель напоминает Люббе его попытки выступить в политике. «Вы ведь считали себя прирожденным народным трибуном, как тут написано; год назад вы произнесли мятежную речь на митинге бастующих шоферов в Гааге». Только — фашистскую, господин председатель, направленную против местных коммунистов: у Гамзы в руках — нотариально заверенная фотокопия с их письменного протеста. Умышленная небрежность, с какой нацисты смешивают в одну кучу последователей Ленина и таких вот опустившихся индивидуумов, его бесит; он сидит как на иголках, его так

и подмывает вмешаться в ход процесса, язык так и чешется. Разве это дело адвоката — молчать, как рыба, и слушать, как репортер?

Это все одна и та же песенка,— жалкая жизнь Маринуса ван дер Люббе, поджигателя. Пусть он перепробовал свои силы в девяти профессиях, пусть обошел в своих странствиях порядочную часть Европы — это все та же песенка, старая песня о человеке с маленькой душой, который хотел большой славы, ярмарочная песенка о сыне перекупщика. Отец его бросил, мать умерла, позаботилась о нем сестренка. Кем же ты будешь, брат? Проповедником: он — первый человек в деревне. Но бедность материальная и бедность духа помешали этому. Пошел он в каменщики, но известь брызнула ему в лицо — теперь он смотрит на жизнь подслеповатыми глазами. Отец пил, а сына преследуют призраки; может быть, поэтому он нигде не осел, что-то гнало его с места на место. Одни ищут в мире счастье, другие — любовь. Люббе искал славу. Спорт вошел в моду: Кале — Дувр, переплывем большую воду между Францией и Англией! Маринус ван дер Люббе, на тебя смотрит Европа! Но он не переплыл — у него было слабое сердце, и товарищи посмеялись над ним. Никогда они не признавали, что Маринусу ван дер Люббе принадлежит первое место, что он — прирожденный вожак. Он вступил в партию и ушел из нее, почувствовав, что его недостаточно уважают; нет, ни разу не удалось переступить границу молодой страны рабочих этому человеку с душой мелкого лавочника. Зато в нем приняли участие немецкие господа в автомобиле, господа в высоких сапогах, с роскошными значками,— об этих господах не говорит председатель лейпцигского суда,— господа, с шумной бодростью похлопывающие по плечу, господа, обожающие простой народ; они-то сразу поняли, что Маринус ван дер Люббе способен на великие дела. Отец пил, а сына преследуют призраки. Он боится женщин и подчиняется мужчинам, которые умеют приказывать так, что от наслаждения мурашки пробегают по спине, мужчинам, которые не стыдятся разделить с бедным малым стол и ложе. Об этом не говорит председатель лейпцигского суда, нет, об этом не упоминается. Но это — все та же песенка, жалкая жизнь Маринуса ван дер Люббе, поджигателя, старая песня о человеке с маленькой душой, который хотел большой славы. Судьба-калека наигрывает на визгливой гармошке эту всем надоевшую уличную песенку, эту балладу о парне, который хотел попасть в газеты и действительно попал в них, эту ярмарочную песнь о Герострате из Лейдена.

Вот он стоит здесь и клонит лицо с низким лбом, с упрямыми глазами, с незакрывающимся ртом. Челюсть отвисла, и замороченная голова падает на грудь. Уж не спит ли он стоя? Молчит и не дает ответа, когда председатель пространно расспрашивает его —

откуда появились в его фамилии две точечки над «ü», где им, собственно, не положено быть, как выяснилось в голландском посольстве. Один из следователей стал отвечать вместо допрашиваемого. Пока он информировал суд о расследовании, предпринятом для выяснения тайны этих незаконных точек, быстро вошел судебный служитель и положил на зеленый стол перед трибуналом телеграмму. Председатель вскрыл ее и счел нужным огласить ее содержание. Обер-лейтенант штурмовых отрядов Карл Гейнес, начальник полиции в Бреслау, с великим огорчением узнавший, что иностранная пресса упоминает его имя в постыдной связи с пожаром рейхстага, категорически отвергает эти гнусные и бессмысленные подозрения. С двадцать первого февраля до первого марта он жил в Глейвитце, в Верхнесилезском доме, и множество людей могут подтвердить, что видели его там в эти дни.

Немецкой публике явно не по себе. Начальник полиции, разумеется, прав. Начальство всегда право. Но какие же мы переживаем тяжелые времена в империи, если даже начальник полиции вынужден собирать свидетельства своего алиби и доказательства, что он не поджигатель. Нет, тут видна рука евреев!

И вдруг раздается смех, срывающийся, громкий, неуместный смех. Это смеется ван дер Люббе. Он не считается ни с какими условностями, хохочет, и смех его словно скачет обнаженный среди одетых людей.

— Над чем вы смеетесь, обвиняемый? — с угрозой спрашивает председатель.

— Над процессом! — выдавливает из себя Люббе.

Голова его подпрыгивает, как у куклы, сотрясаясь от смеха. Но вопреки общеизвестному факту о заразительности смеха ни один человек в переполненном зале суда не присоединяется к нему.

— Это уже слишком! — кричит выведенный из себя председатель.— Где доктор?!

БОГАТЫРЬ

Сегодня по делу о поджоге рейхстага отвечает Георгий Димитров, один из восьми детей македонского рабочего, по профессии печатник, бывший депутат болгарского парламента, политический эмигрант, доживающий в изгнании десятый год. Документы у него не в порядке, и на родине он оставил много несведенных счетов. Как говорится, подозрительная фигура.

Председатель суда поднял блестящую лысую голову, похожую на чашу, из каких пили вино бурши.

— Димитров, в Болгарии был выдан ордер на ваш арест. Вы были приговорены к пожизненной каторге, а затем, дополнитель-

но, к смертной казни. Хотите вы что-нибудь сказать по этому поводу?

— Нет,— небрежно ответил Димитров.— Меня это не интересует.

В порядке вещей — стоять прямо, когда с вами разговаривает начальство, особенно в Германии, и Димитров держался прямо. Но это раздражало председателя верховного суда доктора Бюнгера. Не вина председателя, что он лыс, и нет никакой заслуги обвиняемого в том, что его голова обросла львиной гривой. Но это раздражало председателя верховного суда. Все в этом молодце с Балкан раздражало доктора Бюнгера: неуместный рост, недозволенный размах плеч, отнюдь не дрожащий голос. Тучи собираются над гривастой головой обвиняемого, а он нарочно держится прямо, словно вызывая молнию, чтобы принять ее на себя.

— Расскажите нам, Димитров, как было дело со взрывом софийского собора.

— Этот взрыв организовало болгарское фашистское правительство, чтобы получить возможность преследовать коммунистов,— отчетливо, на весь зал, отвечает Димитров.— В других местах это тоже практикуется.

Какая дерзость! Немецкая публика онемела.

— Обвиняемый! — взревел председатель.— Известно ли вам вообще, для чего вы здесь?

— Для того, чтобы защищать коммунизм и самого себя,— просто ответил Димитров.

Его уверенность приводила в бешенство. Несчастный Бюнгер! Вчера — блуждать в густом люббевском тумане, сегодня — пробивать лбом стену убеждений болгарина...

— Когда горел софийский собор, я был в Москве,— объяснил Димитров.— К тому времени я уже полтора года жил за границей как политический эмигрант. Я был осужден за восстание в 1923 году, а никак не за взрыв в софийском соборе, происшедший в 1925 году. Даже болгарское фашистское правительство не подозревало меня в этом преступлении, а уж оно-то очень меня не любит. Только следователь по моему делу, господин советник Фогт, просто-напросто пришил мне и берлинский рейхстаг и софийский собор.

— Я вам запрещаю, обвиняемый, оскорблять наших судебных чиновников.

— Это он меня оскорбил,— неожиданно вскричал Димитров так, что задребезжали оконные стекла и на столе подскочил крест, на котором приносили присягу свидетели. Обвиняемый стоит, указывая пальцем на одного из господ за зеленым столом.— Не выслушав ни единого моего слова,— отчитывает он следователя, тыча

пальцем в воздух,— вы в первый же день опубликовали в газетах официальное сообщение, что я поджег рейхстаг. Опубликовали вы это или нет? Говорите!

— Это неслыханно!

Роли переменились, и обвиняемый допрашивает следователя. Вы слышите его, товарищи юристы? По нему видно, что его отец бился с турками за свободу. Это род, трижды закаленный: жестокой землей, жестокой историей, жестокой бедностью, род, который не запугаешь. Марсель Вийяр, французский адвокат, вспомнил, как накануне митинга в парижском зале Ваграм он хотел обратить внимание матери Димитрова, отправившейся в путь, чтобы будить совесть людей, на особо важные пункты ее речи. Но старушка в платочке зажала руками уши перед переводчиком: «Нет, оставьте меня. Я сама знаю». Она отроду не стояла на трибуне, но спокойно вышла навстречу двадцати тысячам французов, на языке которых не знала ни слова, и рассказала им правду о своем сыне,— и рабочие себя не помнили от энтузиазма. Да, и логичный француз, и искушенный американец, многое повидавший на своем веку, и Гамза, поседевший в судебных сечах,— все они горят восхищением перед Димитровым Бесстрашным.

— Я требую, чтобы советник Фогт так же публично опроверг в газетах то, в чем он меня тогда безосновательно обвинил,— бушует он.

— Возьмите себя в руки, обвиняемый, или я лишу вас слова.

— Вы тоже не смогли бы держать себя в руках, господин председатель, если бы были так же невиновны, как я, и прожили бы в камере пять месяцев в кандалах. Это немного нарушает кровообращение. Не удивляйтесь, что у меня нет терпения. Я вынужден защищаться сам, раз вы не допустили к защите ни одного из адвокатов, которым я предоставил все полномочия.

— Мы не могли вам этого разрешить потому, что ваши документы не в порядке,— ответил председатель нудно, как человек, которому уже надоело повторять одно и то же.

— Хорошо, и судите меня за то, что не в порядке мои документы, а не за пустой вымысел. Я так же разложил костер в рейхстаге, как и вы, господин председатель.

— Я прикажу вас вывести, обвиняемый!

— Рейхстаг могли поджечь только политические безумцы или провокаторы. Меня не было в Берлине, когда он горел. Об этом пожаре я узнал из утренних газет в поезде, шедшем из Мюнхена в Берлин. Отдавая себе полный отчет в своих словах, я публично заявляю, ссылаясь на свою честь коммуниста, что не имею ничего общего с этим бессмысленным преступлением. Я не авантюрист, а коммунист по убеждениям и по дисциплине, а террор как метод

борьбы осуждает вся моя партия. Более полугода безо всяких оснований мы сидим в тюрьме — мои болгарские товарищи и я,— из них пять месяцев в кандалах! Так вы не содержите даже самых подлых грабителей и убийц. Это — нарушение тюремных правил,— кричал Димитров, размахивая какой-то бумагой.— Господин председатель, мы жалуемся на плохое обращение!

Следователь Фогт презрительно улыбнулся.

— Когда я спрашивал обвиняемого о женщинах, которые его навещали, он кинулся на меня с кулаками,— бросил он.

— Что вы на это скажете, обвиняемый?

Димитров повернул голову, и следом за ним повернулась стража. Это — опасный человек. Здесь стерегут каждое его движение. Гамза увидел упрямый профиль под непокорной гривой, выпуклый глаз, сверкающий гневом, лицо, налившееся кровью. Он силач, и его боятся.

— По какому праву,— загремел он так, что у публики зазвенело в ушах,— советник Фогт копается в моих личных делах! Какое ему до них дело? С какой стати я должен это сносить?!

— Послушайте, Димитров,— недовольно сказал председатель.— Не разыгрывайте перед нами комедию. У вас достаточно судебной практики еще по Болгарии. Пора бы вам знать, что перед следователем не может быть ничего личного. Вы это сами понимаете.

Димитров поглядел в глаза председателю.

— В моем деле следователь был не нужен,— выговорил он громко, чтобы все слышали.— Господин председатель, мы с вами оба знаем, в чем моя вина. Я признаю учение Ленина, Советский Союз и Сталина, а этого в Германии сегодня не прощают.

— Уведите его,— сухо сказал председатель.

В дверях Димитров остановился.

— Если будете зачитывать вместо моих ответов протоколы следователя — они недействительны! — бросил он в зал.— Ни одного из них я не подписал, господин председатель. Предупреждаю вас!

И увели Димитрова, защитника горных пастухов, защитника черноморских грузчиков, горняков Перника, табачниц, батрачек на розовых плантациях, рабочих в каменоломнях и на виноградниках. Говорите после этого, что нет больше богатырских песен! Пойдите навстречу солнцу, в утреннюю страну, в славянские земли,— там они звучат до сих пор. Всякий, у кого были легкие, дышал полной грудью — так после этой бури освежился воздух в душном зале суда.

— Этот не нуждается в адвокате,— сказали в один голос американец и француз.

Гамза молчал. «Когда человек прав и не знает страха, как все тогда просто,— подумалось ему.— Он победит или падет, но это уже не имеет отношения к делу. Идею нельзя убить». Странная восторженность охватила Гамзу, и он был очень счастлив, хотя лично не имел для этого никакого повода.

ШИЛЛЕРОВСКИЙ ГЕРОЙ

Злосчастный Лейпцигский процесс! Откуда он только свалился на голову председателя верховного суда! Вся торжественность заседаний пошла насмарку. Голландец бастует, болгарин мечет громы; из Люббе председатель клещами вытаскивает каждое слово, Димитров не дает слова сказать председателю; Люббе низводит судебную драму до фарса, Димитров превращает скамью подсудимых в трибуну для пропаганды пагубных марксистских идей; голландец — мучителен, болгарин — опасен; только при допросе Эрнста Торглера свободно вздохнул председатель вместе со всеми судьями. Какое спокойствие, какая благопристойность после несдержанности балканца! С немцем, принадлежащим к культурной нации, приятно иметь дело.

До того как Эрнста Торглера выбрали депутатом рейхстага, он стоял за прилавком, и оба эти занятия благоприятно сказываются на его манерах. Он вежлив, обходит острые углы, знает, что и как следует сказать. И он умеет говорить, умеет растрогать своей речью.

— Я невиновен,— заявил он.— Я — жертва рокового недоразумения, которое безусловно будет выяснено. Я твердо в это верю, и моя вера придает мне силы. Именно возмущение этим неслыханным преступлением привело меня на другой день после пожара в берлинское полицейское управление. Меня никто не приглашал, я отправился туда сам, чтобы оградить себя от подозрений, которые промелькнули в печати,— будто пожар рейхстага каким-то образом связан со мной. Эта ложь невыразимо болезненно задела меня. Я пролил кровь за Германию, я был солдатом во время мировой войны, господин председатель, и получил тяжелое ранение в битве на Сомме.

Судебный служитель вызвал в коридор адвоката Торглера. Вернувшись, доктор Зак объяснил: приехала мать Торглера. Разрешит ли ей председатель присутствовать при разборе дела? Председатель разрешил, в публике произошло тихое движение — люди уступали дорогу скромной старой женщине. Пулеметы кинооператоров нацелились на нее, а чувствительный Торглер отвернулся,

чтобы смахнуть слезу. Публика заметила это — такие вещи ей нравятся.

— Моя мать,— продолжал Торглер,— с молодости признавала социалистическое учение и воспитала меня в его благородных принципах. Я вышел из бедной семьи, я сын стекольщика и горжусь своим пролетарским происхождением. Почти двадцать лет я бескорыстно защищал интересы немецкого народа, и ничего я так страстно не желаю, как того, чтобы мне и в дальнейшем было дозволено защищать их в рамках закона, которого я никогда не преступал. Закон для меня священен.

— Прямо по Шиллеру,— шепнул язвительный Марсель Вийяр.

— Он полон предрассудков легальных социалистов. На немцев это хорошо действует,— ответил Гамза тем же тоном.

— Только это ему не поможет,— заметил Хэйс.

Да, обвиняемый полагается на справедливость имперского суда и верит, что в конце концов истина восторжествует, даже если в полицейском управлении ему не удалось разъяснить недоразумение и он был арестован.

— Куда бежал Кенен, не знаете? — внезапно спросил государственный обвинитель.

— К сожалению, не имею представления, господин прокурор,— вежливо ответил Торглер.

Суд ценит его изысканную, хотя и несколько растянутую манеру речи. Благодаря Торглеру допрос протекает действительно достойно, так, как это и подобает в верховном суде. Работать с таким обвиняемым одно удовольствие, и он, без сомнения, будет осужден без особого труда.

Дела Торглера плохи. Они с депутатом Кененом в день пожара последними выходили из рейхстага, засидевшись в комнате коммунистической фракции до вечера.

— Что вы там так долго делали?

У них была пропасть работы перед выборами. Торглер ждал телефонного звонка писателя Биркенхауэра, с которым ему надо было договориться о встрече, а Кенен ждал Торглера; Кенен ворчал, что ждать пришлось долго, и рассказывал анекдоты.

Все это хорошо, но председателю суда хотелось бы узнать, зачем обвиняемый Торглер пришел в тот понедельник в рейхстаг с двумя портфелями и что в них было? По дороге его встретила соседка и подивилась, как туго набиты портфели. Он прошел вплотную мимо нее, но был так чем-то поглощен, что даже не поздоровался.

Слабенькая, зимняя улыбка засветилась на истощенном лице Торглера. Отблеск старых времен, которые ушли безвозвратно.

Всегда по субботам и понедельникам, объясняет бывший депутат, он ходил в рейхстаг с двумя портфелями: в одном были материалы коммунистической фракции, а в другом — газеты. Он покупал все, сколько их выходило, и не успокаивался, пока не прочитывал от корки до корки. Действительно, они занимали довольно много места и сильно оттягивали портфели. Однако он выдумал особый способ, как их располагать, и ему удавалось вместить в портфель все берлинские газеты. С удовольствием педанта Торглер показывает прозрачными руками, как он это делал. И улыбается своей слабой улыбкой, тоскливой, как северные зори.

Так; но не может ли обвиняемый теперь рассказать нам, по какой причине они с Кененом велели принести свои шубы из гардероба рейхстага к себе в комнату? Конечно, он может это сделать. Это совсем просто. Гардероб закрывается в восемь часов. Когда он, Торглер, задерживался в рейхстаге позже восьми,— а это случалось часто,— он брал свое пальто наверх, чтобы не задерживать служителей. Он поступил как обычно и совсем не думал, что один из тех ничтожных поступков, какие мы совершаем в день бесконечное множество, будет когда-нибудь рассматриваться под увеличительным стеклом. Как только замедленная съемка судебного разбирательства начинает разлагать повседневную жизнь на отдельные движения, они приобретают чудовищное значение и свидетельствуют против допрашиваемого.

— Следовательно, вы признаете, что задержались в рейхстаге дольше восьми часов?

Да, задержался. Торглер этого не отрицает, это случалось и раньше, когда у него бывало много работы; а в тот вечер он ждал звонка Биркенхауэра.

— В котором часу он позвонил? Сколько было минут девятого и через какие ворота вы прошли, когда покидали рейхстаг?

Если бы Торглер мог знать, какое значение приобретет каждая секунда в его состязании со следователем! Он засекал бы время, как легкоатлет на стадионе. Часовой заметил огонь в четверть десятого. Но ведь несчастный Торглер уже за добрый час до этого унес ноги от рокового места! Он считает, что ушел приблизительно в десять минут девятого. Точно он этого не может сказать. Обычно человек не отмечает по минутам каждый свой шаг.

— Но вы спешили, как на экспресс! Один свидетель видел, как вы выскользнули из рейхстага с подозрительной поспешностью.

Это было ошибочное впечатление. Господин свидетель ошибается. Наоборот. Обвиняемый помнит это, как сегодня. Фрейлейн Рем, его секретарша, довольно объемистая и неповоротливая особа, которая выходила из рейхстага вместе с ним и с депутатом

Кененом, страдает закупоркой вен в ногах, и из-за нее они вынуждены были идти очень медленно. Они проводили ее к станции подземки и только после этого прибавили шагу и направились в ресторан Ашингера, у станции «Фридрихсштрассе», и сели там за стол немногим позже половины девятого.

Прекрасно. Иностранные юристы обменялись оживленными взглядами. Торглер не знает, куда девался Кенен. А он уехал в Париж, затем в Лондон, дружище. И рассказал международной следственной комиссии слово в слово то же самое, что и ты. Вот в руках Гамзы копия протокольной записи его показаний. Такие копии получили все иностранные адвокаты, Брэнтинг добросовестно разослал материалы в адреса всех членов международной следственной комиссии. И немецкое подполье тоже действует с поразительной четкостью. Каждый день Гамза получает в отеле с утренней почтой листовки, прокламации, программу судебного разбирательства на этот день. Безыменные товарищи, доставлявшие эту контрабанду, рисковали жизнью.

Торглер, сидевший в тюрьме в Германии, и Кенен, находящийся за границей на свободе, показывают до мелочей одно и то же, не имея возможности сговориться. Это совпадение свидетельствует в пользу Торглера, подтверждая правдивость его слов, и может сослужить ему хорошую службу на суде. Надо ковать железо, пока горячо! В перерыве Гамза с американским юристом встали и пошли к доктору Заку.

Однако добраться до защитника Торглера было не так-то легко. Нацисты, видимо, встревоженные отвагой, с какой вел себя Димитров, усилили и без того большие строгости. Юристам пришлось несколько раз удостоверять свою личность, много раз объяснять, чего они хотят, и предъявлять пропуска, прежде чем их ввели в комнату адвокатов, такую же хмурую от старинных деревянных панелей и цветных витражей, как и зал суда.

Когда наши друзья вошли в эту комнату, группа куривших и шумно разговаривавших мужчин расступилась и открыла Торглера, сидящего у стены. Он обратил на вошедших тоскующие глаза и, будто стыдясь, снова отвел их в сторону. Вероятно, он принял пришедших за назойливых журналистов. Он сидел и отдыхал. Отдыхал, как человек, измученный непосильным трудом. Его вялость и изжелта-бледное лицо, характерные для людей, мало бывающих на воздухе, с первого же взгляда отличали его от остальных мужчин, брызжущих полнокровным здоровьем. Недалеко от Торглера томился красочный, как бубновый король, конвойный. Его взгляд, свойственный всем сторожам, как бы говорил: «Все это мне уже знакомо. Э-эх, скука!» Болгар здесь не было. С Торгле-

ром, с немцем, обращались, видимо, несколько приличнее, чем с болгарскими «керосинщиками».

Доктор Зак принял обоих друзей с выражением оскорбленного самолюбия. Ценные доказательства? Но мы в них не нуждаемся! Дело Торглера в голове доктора Зака, оно ему совершенно ясно, и он хорошо знает, на чем основывать защиту. Материал, который ему предлагают оба адвоката, может разве лишь повредить. Гамза знал уже, каково вести переговоры с доктором Заком.

Но не лучше ли все же узнать суждение клиента об этом?

— Торглер,— громко произнес Зак, будто обращаясь к тупице школьнику или к человеку, пораженному глухотой,— вот господа из международной комиссии беспокоятся, что я недостаточно добросовестно буду вас защищать.— В веселом тоне, каким были сказаны эти слова, трепетала угроза.

Торглер посмотрел на своего адвоката с боязливой улыбкой. Гамза долго ее не забудет. Не так смотрит клиент на своего адвоката, если верит ему. Так разбитая параличом старуха покорно улыбается злой невестке, в руках которой она целиком находится: только бы не рассердить.

— Вы располагаете всеми полномочиями, господин доктор, а следовательно, и полным моим доверием,— ответил заключенный в своей изысканной манере, так, чтобы никого не задеть, и в то же время его острые глаза будто ощупывали пришельцев. «Ты — провокатор? Или друг?» — спрашивали эти глаза. Ах, эти глаза людей, рот которых замкнут, вопрошающие глаза заключенных! Выразительные взгляды той поры, когда фильм был еще немым, но все же понятным!

— Господа коллеги предлагают мне материал из Лондона,— продолжал Зак, не давая кому-либо из друзей вставить слово,— и я, без сомнения, выразил вашу мысль, Торглер, отказавшись от него. Господа, я не столь равнодушен к своим обязанностям, как вы этого опасаетесь. Я был по этому делу в Лондоне и имел сомнительное удовольствие ужинать с доктором Брэнтингом. Ну-с, я выслушал от него столько *sottises* [1] в духе Коричневой книги, что возможность использования для защиты каких-либо из так называемых лондонских документов для меня совершенно исключается.

— Мы можем их сами огласить,— отозвались оба иностранных адвоката.

На лбу Зака вздулись жилы.

— Пожалуйста. Но в этом случае я откажусь от защиты,— взъярился он.

---

[1] Глупостей *(франц.)*.

Торглер ужаснулся, кинулся умасливать Зака: он сердечно благодарит обоих господ за добрые намерения, но он знает, что его дело в самых лучших руках, и просит доктора Зака действовать от его имени, как тот сочтет нужным.

— Сожалею, что мы зря вас потревожили,— сказал ему Гамза на прощание.— Впрочем, вы прекрасно держитесь.

— Вы производите на суд весьма благоприятное впечатление,— добавил Хэйс.

Торглер скорбно улыбнулся своей зимней улыбкой, едва тронувшей его исхудавшее лицо, и вдруг решительно поднял к ним глаза.

— Если б только меня не угнетала забота о дочери... Она больна,— многозначительно произнес он, пристально глядя в глаза обоих юристов.— Лучше всего было бы отправить ребенка куда-нибудь в деревню, к родным, тогда, по крайней мере, жена могла бы сюда приехать,— добавил он как бы между прочим, косясь на доктора Зака.

Страшна та страна, где защитник — одновременно тюремщик подзащитного. Страшна такая страна.

— Да мы вскоре перенесем процесс в Берлин,— бодро бросил Торглеру доктор Зак и с нескрываемым удовлетворением выпроводил нежеланных гостей.

После заседания Гамза подождал мать Торглера и о чем-то с ней поговорил.

ОЧКИ

Кабинет глазного врача помещался в первом этаже, чтобы больным, передвигающимся ощупью, легче было добираться. Окно выходило в сад. Нам нужна надежда — нам, в глазах которых меркнет свет. Дай нам, боже, чистое сердце, чтобы смыть серо-желтые блестки, пляшущие то по кучам снежно-белого белья, о котором так заботятся старушки, то по сверкающей белизне бумажного листа, на котором дедушка собирается писать письмо внуку ко дню рождения. Дай нам, о господи, душу спокойную и терпеливую, чтобы не смутили нас набатный колокол пульса и молнии, сверкающие перед нашими глазами, не возвещая ничего хорошего. Глазной врач — властитель тьмы и света, и не диво, что ожидание его принимает библейский характер и напоминает рождественский пост. В приемной глазного врача не читают. Здесь тоскливо смотрят на зелень сада, здесь верят в скальпель врача, который снимет бельмо, когда оно созреет, верят в очки; здесь не хотят примириться с судьбой, может быть, темной до самой смер-

ти. Сколько старых людей, сколько их! Пенсионеры с Виноград встречаются здесь с малостранскими бабушками.

И эта изящная быстрая дама, которая сейчас прошла через раздвинутый занавес врачебной тайны, немолода. Но от нее приятно пахнет духами, лицо не броско подкрашено, ее одежда и манера речи — светские и резко отличаются от старушечьего характера приемной.

— Господин доктор, я слепну,— сказала она.— Глаза мои съел готический петит. Это страшный шрифт.

— Вы читаете его с детства?

— Неделю,— быстро возразила дама.— Этого вполне достаточно.

Врач усмехнулся:

— Ну, посмотрим!

Он ввел даму в темную каморку, сел перед ней, взял волшебное зеркальце и стал читать в ее глазах. Он прибавил свету и направил маленький рефлектор — или как это называется? — будто на самое дно зрачка.

— Почему вы дергаетесь? Это же не больно! — И доктор молча и внимательно исследовал глазное дно.

Потом они снова вышли на свет божий, в белый кабинет. Врач поставил даму перед таблицей с рядами уменьшающихся букв и попросил ее читать.

Ах, если бы таблица могла помнить все опасения и надежды людей, читавших ее буковки! Удивительно, как еще не погнулись рожки всех этих «У» и «Г»! Если б человеческие чувства могли стать зримыми в кабинете глазного врача, если бы возникли они в образе бабочек — стало бы видно, как бьется о таблицу неповоротливый «бражник»-раздумье, а прекрасный «адмирал»-радость кружится вокруг него, поднимаясь все выше и выше, как реет множество забот-«монашек», веселые голубые мотыльки-улыбки порхают повсюду.

Но что я говорю — в чистом воздухе пахнет дезинфекцией, и буквы вырисовываются твердыми и ясными линиями. Чем дальше отступает дама, тем легче ей разбирать буквы, даже самые маленькие в нижнем ряду.

— Глаза здоровы,— объявил врач,— только рука коротка. Если держать газеты вот так,— он отодвинул газету на значительное расстояние,— ведь прочли бы тогда, правда?

Конечно. С легкостью.

Врач заверил пациентку, что это — простая дальнозоркость, появляющаяся обычно после сорока пяти лет, написал рецепт для очков и отдал ей с улыбкой.

— Шрифт здесь ни при чем. Не вините его.

Дряхленький оптик, витрина которого — само сверкание дневного света, сдул пыль со шлифованного стекла, дохнул на очки в костяной оправе кремового цвета, протер их кусочком замши и с веселой вежливостью подал даме эмблему старости — бабушкины очки. Нелла закинула волосы за уши, оседлала очками нос и превратилась в маленькую озабоченную совушку. Пусть там врач толкует что хочет — не будь Лейпцигского процесса, она, по меньшей мере, еще год читала бы без очков! Но очки очень к лицу даме. И дряхленький оптик грациозным движением, как бы танцуя менуэт, вручил ей вдобавок к приятному сюрпризу из Иены еще и красный кожаный футляр с крышкой. Крышка пружинила, как хлопушка, которой Неллин прадед, в халате и феске, бил на стене мух. Как состарилась она за четырнадцать дней отсутствия Гамзы! Она буквально высохла от тревоги. Ночью арестовали советских журналистов — скоро ли доберутся до чешских? Дело в том, что Гамза, не имея возможности защищать на суде обвиняемых, начал писать в «Красное пламя» судебные отчеты из Лейпцига. Нелла хорошо об этом знала, все его материалы проходили через ее руки. Недавно из зала суда удалили одного из юристов за то, что он писал в газеты; дойдет ли черед до Гамзы? Что с ним будет? И как это она его отпустила! Она просматривала все имперские газеты, какие только могла достать, и на душе у нее становилось скверно от этого гангстерского камуфляжа в виде готического шрифта пивнушек — она заболевала от этого куриной слепотой.

Но читать в очках — одно удовольствие. Буквы перестали подозрительно подмигивать, теперь они смотрят прямо в глаза; слова, страдавшие размягчением позвоночника, выпрямили спину, предложения теперь не шатаются по распутице бумажного листа, а стройными рядами двигаются по выровнявшейся странице. Все чисто и четко. Хаос исчез, снова все заняло свои места. Я не говорю, что Нелла находит в газетах утешение, но, по крайней мере, новости можно воспринимать с ясной головой, а это уже немало. Кто додумался до того, как шлифовать оптическое стекло? Кому первому пришла в голову мысль соединить дужкой стекла-двойняшки и зацепить их проволокой за уши? Благословен тот, кто снабдил нас вторыми глазами и не допустил, чтобы нас прежде времени оттеснили от жизни и выбросили на свалку. Хвала изобретателю бабушкиных очков! Нелла не знает о нем ничего,— а как прекрасно было бы учиться сейчас, на старости лет, когда детям она уже не нужна! Каким восхитительным был бы божий мир, если бы только не эти ландскнехты...

С улицы позвонили, и Нелла в сумерках пошла отворять.

О господи! Вот радость!

— Слава богу, ты! — воскликнула она.— Но что это за девочка? — Гамза легонько подтолкнул ее к двери.

— Нелла, я привез тебе гостью. Иди сюда, Берточка, я покажу тебе, где можно вымыть руки. Пальтишко повесим сюда, вот так, а рюкзак отнесем в бабушкину комнату. Как следует прополощи горло, в поезде можно подхватить заразу. (Нелла не могла прийти в себя от удивления. Оказывается, муж хорошо запомнил, как обращаться с детьми! Но разве он когда-нибудь заботился так о Еленке или о Стане?) Придется тебе, Нелла, дать нам основательно поужинать,— продолжал по-немецки Гамза,— мы очень голодны, мы сегодня прошли порядочный путь. Берта шагает, как взрослая. Это — наша племянница Берта, помнишь? А это твоя тетя!

— Здравствуй, Берта, будь здесь как дома,— произнесла пани Гамзова с такой сердечностью, на какую только была способна, и взяла девочку за руку, не выказав ни тени удивления — за долгие годы она привыкла ко многому.

Девочка в платье цветочками согнула коленку и сделала трогательный детский книксен — с таким усердием, что ее косичка подскочила кверху.

— Здравствуйте, тетя,— гортанно поздоровалась она по-немецки.

Это была красивая, здоровая девчушка, за которой дома, видимо, хорошо ухаживали, а Нелла любила детей. Но я не отрицаю — после стольких страхов ей было бы приятнее провести первый вечер с мужем наедине. Гамза обращался к маленькой гостье с бережной ласковостью и старался ее развеселить. Видимо, какое-то несчастье случилось с семьей незнакомого ребенка. Хотя Гамза тщательно обходил в разговоре эту тему, Нелла все тотчас почувствовала и настроила свою душу так, как это было нужно любимому мужу. Подавив первый прилив неприязни, какую возбуждают нежданные гости у хозяек, она постаралась превзойти Гамзу в ласковом отношении к ребенку.

— Не было печали,— сказала за дверью Барборка.— Поглядите!

Она показывала глазами на пол.

— Вон как исцарапала пол! У ней, видите ли, ботинки с шипами. Уж и разуться не могла!

— Барборка, вы всегда что-нибудь выдумаете!

— Мне все равно,— брюзгливо отвечала та, пожимая плечами.— Не мое добро.

Нелла и Барборка вместе застилали постель для Берты в комнате прабабушки.

— Я и говорю,— снова завела Барборка, взбивая подушку.— Везет этой комнате на гордых людей.

Нелла не ответила. Только чуть быстрее задвигались ее тонкие пальцы, застегивавшие пуговицы пододеяльника.

— Говорю это я девчонке — не пускай, мол, воду сильной струей, перекрутишь кран в ванной. А она стоит, как бревно, и ни гугу в ответ. Вишь, от горшка два вершка, а воображает!

— Она не могла вам ответить, она не понимает по-чешски.

— Так зачем же ее сюда привезли? Пану доктору тоже такое может взбрести в голову, что...

Нелла покраснела.

— Это племянница мужа,— с усилием произнесла Нелла, зная, что говорит ложь, и чувствуя, что только раззадорит этим Барборку.

Так и есть!

— Вон как,— язвительно проговорила служанка.— Стало быть, у вас есть немецкая родня? Вот здорово! Двадцать семь лет живу в доме и ничего такого не знала!

— Ну, кажется, все готово, Барборка.— И Нелла встала.

— Готово-то готово.— Барборка заняла боевую позицию.— Но я вам прямо скажу, перед немкой я плясать не стану. Тут уж много перебывало, даже негритянка у нас жила, и для негритянки я делала все. А для немки и пальцем не шевельну. Когда мы с покойницей старой пани, с вашей матушкой, жили в Карловых Варах, немецкие мальчишки швыряли в нас камнями. Вот взгляните,— она откинула волосы,— до сих пор метка осталась.

— Не все немцы такие,— возразила Нелла.— Несправедливо так говорить, Барборка.

— Это вы так думаете. А изменники в Брно? Делают вид, что съехались на слет «Сокола», а сами хотели от нас отложиться.

Барборка, видимо, имела в виду процесс «Фольксшпорта».

— Вы и об этом знаете, Барборка? — поразилась Нелла.

— Я знаю все! — победно заявила Барборка.— Я читаю всю судебную рубрику. Смотрите, как бы ваша немка не сорвала жалюзи, вот эту, на роликах. Спокойной ночи.

Да, Берте надо пораньше лечь спать, она устала после прогулки. Мы посидим возле тебя, девочка, пока ты не уснешь.

Гамза был до глубины души благородный человек. Нелла знала, каков он. Но разве сидел он когда-нибудь так у постели собственных детей? Ему всегда было некогда...

Хорошо, когда в доме твоем спит ребенок. На волнах его легкого дыхания мысль твоя улетает к древним воспоминаниям, ко временам Вифлеема. Родной дом становится вдвойне родным, когда в нем спокойно дышит ребенок, и Нелла размечталась о внуке

Мите, в сон которого вплетаются гудки каспийских пароходов с Волги. Как запутанна жизнь! Внук играет с татарскими детишками, а в комнате прабабушки спит чужая немецкая девочка. Она розовая и дышит, как цветок. Гамза и Нелла на цыпочках выбрались из комнаты.

Теперь они остались вдвоем, и Гамза поверил Нелле, взяв с нее строгое обещание молчать, чья это дочь и почему он перевел ее через германскую границу.— Законным путем? — Гамза расхохотался, как мальчишка. Он выглядел молодо — приключение его освежило. По тебе, Нелла, до сих пор видно, что твой отец был надворным советником. Всякая нелояльность тебя коробит. Долго бы пришлось бедняжке Берте ждать паспорта! Нет, не следовало привлекать *их* внимание именно к семье Берты. Если б ты только видела его, Нелла, этого несчастного человека, измученного заключением, человека, которому грозит смерть,— как он дрожал за своего ребенка, как просил глазами, как старался намекнуть за спиной собственного адвоката! Гамза уже не добьется права защищать четырех товарищей, это ясно. Зак и суд решили не подпускать к процессу никого из иностранных юристов. И Гамза рад, что мог хотя бы таким образом немного помочь одному из ложно обвиненных. Такой пустяк... Как он это сделал? А очень просто. Они с Бертой вышли из берлинского экспресса, он купил билеты на почтовый, потом несколько станций протащились в пригородном поезде, а недалеко от границы живет один мельник, немецкий коммунист, тот уже на этом деле собаку съел, он и провел нас лесом в Чехию — Нелла знает эту местность по лыжным экскурсиям. Берта попросту совершила прогулку со своим дядей, она гордилась тем, что уже такая большая, и все ей очень понравилось. Завтра Гамза отведет девочку к ее настоящим родственникам, которые живут в Праге.

— Но в вас могли стрелять! — ужаснулась Нелла.

— Там не было ни одной живой души. Только стайка бабочек-капустниц пролетела над пограничным камнем — им-то все равно, в республике они или в «рейхе». Нелла, как там красиво, в горах! Солнце, и вереск, и такой прозрачный воздух, видно далеко-далеко... Нам надо вместе съездить куда-нибудь,— сердечно промолвил Гамза, и у Неллы, бог весть отчего, глаза наполнились слезами. Что это ей напоминало? Что же это напоминало? Какую последнюю прогулку?

— Ты взволнована,— сказал Гамза.— Мне стыдно. Так глупо встревожил тебя этим завещанием. С моей стороны это было идиотством. В Германии мы были в полной безопасности.

— Я знаю,— начала Нелла, незаметно пряча новые очки под газету.— Я знаю. А как же арест советских журналистов?

Гамза поднял глаза к ней.

— Нелла,— перебил он, и голос его был горяч, как в молодости.— Я должен тебе кое в чем признаться. В Лейпциге я влюбился, как мальчишка.

У Неллы Гамзовой взрослый сын, у которого роман с артисткой; где-то далеко живет ее замужняя дочь и внучонок, Нелла уже старая, ей скоро пятьдесят лет. Она старая, но возраст не спасает от безумств, и газеты, отодвинутые ею, зашелестели — так дрожали ее руки.

— Я без памяти влюбился в Димитрова! — воскликнул Гамза и встал.— Если бы ты слыхала его, Нелла! Какое мужество! Герой. Это не фраза. В первый раз в жизни я собственными глазами увидел настоящего героя,— с энтузиазмом говорил он, быстро шагая по комнате.— Мало где найдется такой темперамент и вместе с тем такая трезвость. Умен, как черт, и, конечно, борется за жизнь. Но не в этом дело,— вслух размышлял Гамза, остановившись перед женой.— Знаешь, абсолютная убежденность в том, что человек живет для правды,— вот что придает невиданную отвагу.

Нелла смотрела, как пылает Гамза, и слова, которыми она хотела осторожно убедить его теперь-то уж никуда не ездить, сгорели на ее губах.

«У меня изумительный муж,— подумала она.— Покоя с ним нет, но я не променяю его ни на кого на свете. Я сделаю все, все...»

Что ты сделаешь, бедная Нелла? Только окажешь тысячу мелких женских услуг...

Берта пообедала, и мы ждем Гамзу — с чем-то он явится от родственников девочки? Нелла старается, чтобы Берте не было скучно, а так как в доме уже нет игрушек, она вытащила откуда-то открытки с видами разных мест, где она когда-то побывала, и подает их девочке одну за другой. Берте понравилось голубое озеро с зеленым островом, на котором стоит церковка.

— Возьми себе эту картинку, если она тебе нравится,— сказала Нелла.— Это Блед. В той церковке есть колокол, и кто в тот колокол позвонит и при этом загадает желание, у того это желание исполнится.

— Ах! — мечтательно воскликнула Берта.— Ах, я знаю, что бы я загадала!

Бедняжка! Наверное, она загадала бы, чтобы выпустили на свободу ее папу...

Берта обняла Неллу за шею и сообщила ей на ухо с детски таинственным видом:

— Тетя, знаешь, что я пожелаю, когда зазвоню в колокол? Угадай! Чтоб меня приняли в «гитлеровскую молодежь»!

Нелла высвободила голову.

— Нет, не может быть!

— Все, все девочки в «гитлеровской молодежи»,— жалобно протянула Берта, ее свежий ротик скривился, и впервые за все время, что она гостила у Гамзы, она готовилась заплакать.— И у всех одинаковые блузки, и юбочки, и ленты, и все они ходят в походы со знаменем. Но меня тоже туда возьмут! Вот спорим, тетя,— я позвоню в колокол, и меня возьмут!

В эту минуту вошла Барборка с подносом, на котором грудой лежали ножи и вилки, хмурая, как туча, она с демонстративным пренебрежением принялась сбрасывать приборы в ящик, подняв адский грохот. Барборка будто хотела сказать: «Я делаю только свою работу, и больше ничего». Счастье, что Барборка не понимает по-немецки! Счастье! Если б она поняла,— о господи, уж тут-то она бы наговорила Нелле много неприятного.

«ЭТО МОЙ ПРОЦЕСС»

Скорей, скорей, поторопим процесс, не то главный обвиняемый, чего доброго, умрет с голоду. Но в этом не будет вины тюремной администрации. Пусть иностранные журналисты сами в этом убедятся. Пусть они отведают золотисто-поджаристый тюремный шницель — у нас у самих при виде его текут слюнки. Но капризный Люббе даже не дотронулся до него. Он не пригубил шоколада, а мог бы, право, быть благодарен за него после обычной бурды. Он не сорвал ни одной ягодинки с грозди винограда, а ведь во фруктах витамины! Они освежили бы человека, который будет приговорен к смерти. Не стыдно ли вам, Люббе, а еще — молодой. У меня в ваши годы постоянно был волчий аппетит. Господин медицинский советник вчера осмотрел больного, простукал и прослушал его и предложил сделать то же самое английскому коллеге. Правда, от заключенного из-за его добровольных постов остались только кожа да кости, но на иссохшем теле вы не увидите ни одного синяка, который свидетельствовал бы о плохом обращении, ни следа уколов, о которых распускают страшные басни. Апатия Маринуса — только результат его упрямой голодовки. Судебный эксперт, украшенный свастикой, объявляет, что обвиняемый в здравом уме и полностью может отвечать за свои действия. Не поддается на уговоры — ничего не поделаешь! Попробуем искусственное питание. Наша безусловная человеческая обязан-

ность — до тех пор поддерживать в нем жизнь, пока его можно будет наконец казнить.

Раз он уже признался, этот человек, схваченный с поличным, к чему он тогда тянет и портит кровь председателю суда, который и так чувствует себя очень неважно? Упорное давление *сверху* и дерзкие, косые взгляды из-за границы — верховный суд постоянно между двух огней. Путь государственного прокурора тоже не усыпан розами. В поте лица состряпал он обвинение, впряг в одну повозку голландца, сыновей древнего балканского народа и, как записано в протоколе, большевика Торглера; и вот теперь, когда ее выпустили на манеж суда, эта международная упряжка разбегается в разные стороны. Ну ладно, болгарин — тертый калач, он прошел огонь и воду. Святоша Торглер тоже не сегодня родился. Но этот болван Люббе! Что ему стоит показать пальцем хотя бы на одного из четырех бледных людей, сидящих на скамье подсудимых, и заявить: «Вот он!» Что ему стоит это сделать, ведь его-то песенка уже спета, он и так пойдет под топор. Так нет — уперся, как осел, и ни с места. Торглера, говорит, и в глаза не видел, сроду ничего о нем не слыхал, а о болгарах тем более.

— Люббе, кто же вам тогда помогал?

— Никто,— гордо отвечает Герострат из Лейдена своим слабым голосом.— Я сам.

Позади зеленого стола, под свастикой, стоит раскрашенная доска. Она огромна, как все в вызывающем великолепии гитлеровской Германии. На доске зеленой краской изображен план рейхстага, а красной — путь поджигателя по лабиринтам коридоров, залов и кабинетов. Председатель суда берет слово, а судебный чиновник — указку, немного длиннее тех, которыми пользуются на уроках географии, и публика вспомнила школьные годы. Довольно напрягали мы слух при допросах. У нас есть глаза, и мы, сыновья и дочери киновека, хотим смотреть. Правда, указку, скользящую по пестрому плану, не сравнишь с образами на экране. И все же возможность видеть освежает.

Вот главная лестница, а вот решетка, через которую якобы перелез Люббе, здесь он продавил двойную раму, и вот мы с поджигателем уже в продолговатом четырехугольнике ресторана. Первый красный кружок — остановка.

Сколько насмешек выслушал Гамза, сколько намучился он, когда приходила его очередь растапливать печь в студенческой комнатушке, где они жили втроем во времена скудной юности! Не так-то просто развести огонь; «Народный страж» — да, он горел ярким пламенем, но ни одна лучинка от него не загоралась, как бы страстно ни желал человек покончить со всем этим и снова сесть за книги. Это были огнеупорные поленья. Под ледяным

дыханием обуглившаяся бумага рассыпалась, печка чихала, в ее зияющей пасти вновь наставала тьма, и приходилось начинать все сначала. Ну конечно, что́ можно ждать от интеллигента! Гамза с детства был неловок, и Станислав унаследовал от него эту черту. Но даже Барборка — разве она не проявляет временами ярой враждебности ко всем членам семьи за то, что американские печи не желают растапливаться? Нет, развести огонь вовсе не так просто! Но, конечно, патентованные зажигалки для немецких хозяек, которыми вооружился Люббе, без сомнения, первого сорта, как и все изделия в империи фюрера, а сорвать, смять и поджечь суконную портьеру в депутатской столовой было, видимо, делом секунды. Жаркая искра упала на портьеру — и вон, смотри, огонек уже дразнится языком, ого! Взлетело целое пламя, и Люббе бежит сломя голову, будто у него земля горит под ногами. Красная нить — путь поджигателя — тянется в зал, вьется запутанными коридорами, указка докладчика ползет за ней. Никто из зрителей не может постичь молниеносной быстроты находчивого поджигателя, который сидит тут на скамье подсудимых с таким видом, будто он и до пяти сосчитать не умеет. Для чего существуют скатерти в ресторане? Для чего войлок и пакля, которыми подбиты телефонные будки? Все годится, все мгновенно вспыхивает и жарко горит в огнеопасной атмосфере рейхстага. Просто интересно — до этого Люббе никогда так не везло. Робкие огоньки, которые он пытался раздуть в Нейкельне и в старой берлинской ратуше, сейчас же угасали, как в годы молодости угасали лучинки в печке Гамзы. Ах этот Люббе, этот Люббе! Кто бы мог ожидать такой прыти от бедняги, который сидит тут мокрой курицей! Огненный клубок скачет по лестнице в депутатский гардероб, катится по всем помещениям первого этажа, и за ним гонится вездесущий Люббе, ни дать ни взять — Люцифер революции. На что ни посмотрит — все занимается огнем, за что ни заденет — все разгорается ярче, на что ни дунет — все вспыхивает пламенем. Прямо как в песне любимого учителя фюрера о сверхчеловеке: «Пламень — что схватывает моя рука, пепел — все то, что она бросает». Но не будем кощунствовать. Красная гидра поднимает голову даже под куполом рейхстага — пять, десять, бессчетное количество хищных голов облизывают огненными языками потолок и пышут искрами, смрадным дымом, грозя мерзостью запустения мирному немецкому народу. (Герру Гемппу, начальнику берлинских пожарных, плохо будет в роли святого Георгия. Трудно ему будет подавить большевистского змия. Пожарные машины приехали поздно. Почему штурмовики не дали знать вовремя? Не спрашивай, не спрашивай, это опасно. Герр Гемпп тоже был слишком любопытен, и теперь он за решеткой.) Огненный шар

долетел до большого зала заседаний и поразил рейхстаг в самое сердце. Взвейся выше, мое пламя, взвейся выше! Герострат из Лейдена сорвал с себя одежду и бросил на растопку свой единственный пиджак, так что теперь уже никогда никто из судей не сможет установить, как был одет подозрительный человек, которого свидетели-«очевидцы» видели за несколько часов до пожара то с Торглером, то с болгарами. Платье его сгорело, и охрана схватила его возле главного зала полунагим. Только «чудом» сохранились его документы.

Указка докладчика закончила свою погоню за красным клубком по лабиринту рейхстага. Такое огромное каменное здание, а горело, как стог соломы! Огромное каменное здание — и такое ничтожество. Возможно ли это? Люббе, вам никто не помогал?

Во время доклада голова ван дер Люббе, тяжелая, как подгнивший бутон, свешивалась на грудь. Теперь он ее поднимает.

— Никто. Я сам.

Поверьте, председатель суда желал бы этого от всего сердца. Он не злой человек, примерный супруг и отец, он мудро управляет своим имуществом и до смерти боится большевиков — они ведь пожирают маленьких детей и живут в грехе с бестиями, у которых атрофировалось всякое чувство женственности и которые всех встречных пристреливают из револьвера, направленного в рот. Председатель суда — добрый немец и ненавидит варварскую страну, откуда родом Димитров, этот славянский горлопан. Димитров подставлял председателю суда подножки, пока тот плясал на канате, и Бюнгер не видит никаких причин церемониться с Димитровым и его шайкой. Однако здесь есть загвоздка, господа. Да и не одна, а много; в обвинении — солидные трещины. Каким бы там ни был председатель суда Бюнгер, но он знает параграфы и не потерпит в своей работе накладок. Судебная ошибка, конечно, может случиться, отчего же. Только она должна быть как следует подкреплена доказательствами и обоснована. А здесь? Что делать с этим скудным материалом? Ведь тут дыра на дыре. Все разваливается в руках. Димитров легко докажет свое алиби. В ту роковую ночь его не было в Берлине. Он ехал в спальном вагоне мюнхенского экспресса, и дама, с которой он разговаривал в коридоре вагона, подтвердит это. Торглер ссылается на свидетельские показания двух официантов Ашингеровского ресторана, которые могут подтвердить, что он был в ресторане за час до пожара. Попов даже предъявил использованный билет в кино, означенный днем и часом пожара.

Ох, если б добрый немецкий господь бог помог доказать, будто голландец поджег один! Были бы волки сыты и овцы целы, а профессиональная репутация председателя суда — без пятнышка.

Красный ручеек — путь поджигателя — так славно протекает по геометрическому ландшафту плана. Не портьте, пожалуйста, мои идеальные построения, я добрый немец. Не трогайте мои схемы! Но где там! Судебные эксперты никак не могут успокоиться. Непоседы несчастные!

Один из очевидцев пожара, молодой лейтенант жандармерии, показал, что над горевшим председательским креслом в главном зале заседаний он увидел пламя, принявшее форму органа. Да, да, множество огненных язычков, похожих на органные трубки. Лейтенанта никак нельзя было заставить отклониться от этой версии.

Директор берлинского научного центра по изучению средств борьбы с пожарами, кичившийся докторским званием, произвел опыт. Он велел своим сотрудникам поджечь кресло в главном зале заседаний испытанной уже зажигалкой, которой пользовался Люббе. В течение двадцати минут люди с примерной терпеливостью пытались это сделать. Дубовое сооружение не загоралось. Тогда под него положили кинопленку и подожгли. Она, конечно, сгорела дотла, но кресло и на этот раз не занялось. Только искусственная кожа, которой оно было обтянуто, начала тлеть; понадобился бы, однако, добрый час, чтобы от нее загорелся твердый дуб спинки и сиденья.

Деревянные панели и мебель большого зала заседаний, объявляет эксперт, обладают, правда, горючими свойствами, но сделаны из трудновоспламеняющихся сортов дерева. Чтобы все это запылало таким пламенем, какое увидел свидетель в зале заседаний, нужны были хорошо рассчитанная и систематическая подготовка, на какую вряд ли был способен Люббе, больше времени, чем он имел в своем распоряжении, находясь в охраняемом здании, и, совершенно очевидно, больше людей.

Другой специалист, наиболее компетентный в этом деле, тайный советник и профессор термодинамики в Высшей технической школе, согласен с господином директором противопожарного центра в том, что пожар в пленарном зале по своему характеру был искусственного происхождения. Профессор высказал мнение, что для разжигания огня такой интенсивности и таких размеров надо было использовать не менее двадцати килограммов бензина, бензола или керосина. Но просто разлить горючее было бы недостаточно. Надо было еще обложить место пожара хлопчатой бумагой, смоченной в упомянутом горючем. Но в таком случае преступник издавал бы сильный запах.

Государственный обвинитель насторожился.

— Господин привратник, когда вы открывали Торглеру ворота рейхстага номер пять, не обратили ли вы внимания на какой-нибудь странный запах, шедший от него?

Игра с огнем

Старик привратник страдальчески улыбается в замешательстве. Стыдно ему даже мысленно обнюхивать господина, которого он хорошо знал и всегда учтиво приветствовал. Все господа депутаты были *его,* безразлично, от имени какой партии они выступали; речи их так прекрасно звучали под величественным сводом купола. Все они были *его* и приумножали достоинство и славу *его* рейхстага. Когда-то он отряхивал пыль с кресла самого кайзера Вильгельма, а тут такое несчастье! Сколько слез пролила его жена! Проклятые чужестранцы! Немец никогда такого не сделает. Нет, привратник ничего не заметил, когда господин депутат Торглер выходил из рейхстага в начале девятого часа. Ни бензином, ни керосином от него не пахло.

— А от Люббе, господин старший сторож?

— Тоже нет.

— И даже осколка какой-либо посуды из-под горючего не нашлось? — добавляет председатель суда.

— Да, кроме того,— заметил директор противопожарного центра,— если бы большой зал был пропитан таким количеством бензина, в нем вскоре скопились бы пары, взрыв которых нанес бы тяжелое увечье поджигателю, как только тот зажег бы огонь.

— Господа, не стоит ломать над этим голову. Дело тут не в бензине и не в керосине. Это — устаревшие средства,— с легким пренебрежением заговорил третий специалист, химик из Галле.— У меня есть формула,— победно продолжал он.— Однако мне не хочется публично оглашать ее. Поймите меня. Я анализировал остатки сгоревшего всеми возможными способами, пока не нашел, мне кажется, правильный путь. Я обнаружил следы жидкости, которая через определенное время вспыхивает сама собой, если она перед этим соприкасалась с каким-нибудь воспламеняющимся веществом. Тут только что господин лейтенант рассказывал нам о языках пламени, похожих на трубки органа. Он подметил верно. Горящие частички долго еще носятся в воздухе над огнем, возникшим от самовоспламеняющейся жидкости, и обрисовывают в своеобразном обманчивом зареве очертания предмета, который уже, собственно, сгорел. Если господин председатель велит освободить зал,— молодой химик так и рвется в бой,— я позволю себе показать суду небольшой опыт на месте.

Оставим это на другой раз. Председателя суда больше интересует, какое количество упомянутой жидкости требуется для поджога большого зала.

— Примерно четыре литра.

— Можно ли,— ухватился за это государственный прокурор,— пронести такое количество в двух портфелях?

— Безусловно,— ответил эксперт, не подумав, в какой ужас

поверг он Торглера. Что ему до судьбы какого-то отдельного человека! Он весь пылает, возбужденный своим открытием. Жидкость без цвета и без запаха, и ее сравнительно легко добыть. Портьеры, мебель, панели, ковер в большом зале — все без исключения было обработано самовоспламеняющейся жидкостью. На всех остатках сгоревшей мебели эксперт нашел химические следы этого горючего. По его мнению, исключено, чтобы такую систематическую и тщательную подготовку мог провести один человек.

— Разрешите задать вопрос,— раздался голос Димитрова. Весь зал обратился к нему. Как только он открывает рот, публика ждет чего-то интересного.

— Возможно ли,— спрашивает он,— эффективно обработать материал жидкостью, о которой сейчас идет речь, за двадцать четыре часа до пожара?

Смелый вопрос! Гамза затаил дыхание.

— Исключено,— ответил химик.— Исключено.

Димитров и бровью не повел. Но лица иностранных юристов прояснились, а сердце Гамзы забилось в безумной радости. Молодец Димитров! Публике не измерить той драматической крутизны, с которой он мог сорваться. Он перепрыгнул через пропасть и выиграл в этот момент жизнь. Молодец Димитров! Ни в день, предшествующий пожару, ни в роковую ночь его не было в Берлине. И он не мог подготовить пожар, как это только что подтвердил специалист.

Однако все три эксперта сходятся на том, что голландец поджег не один, что огонь разжигало больше людей, и это раздражает Люббе. Он так заботливо выбирал в лавке свои зажигалки! Он не позволит посягать на свои заслуги.

— Чего они болтают,— обиженно протестует он.— Их-то при этом не было, а я был. Только я могу все знать.

— Так говорите же, раз знаете,— вдруг взорвался Димитров.— Кто вас подговорил? Что вы молчите, как бессловесное животное? Почему вы их покрываете, этих негодяев?

— Димитров, я велю вас вывести! — взвыл председатель, будто его прижгли раскаленным железом. Боже, сжалься над ним, неужели придется искать других виновных! Ведь уже и его голова неуверенно держится на плечах! Боже, сжалься над ним!

Люббе склонил свою низколобую голову, и его незакрывающиеся губы жалобно скривились.

— Это мой процесс! — вскрикнул он и расплакался.— Что вы все время у меня его отнимаете?

И это лицо меланхолика, покрытое тенью голодовки, это уродливое лицо стало вдвойне страшно под шутовским колпаком, нахлобученным на него неизвестными преступниками.

Да, Гамза не исполнил невысказанного желания жены и не остался дома. Передав привезенную девочку ее родным, а практику — Клацелу, он снова выехал в Берлин, город сгоревшего рейхстага, куда временно перенесли процесс, чтоб можно было на месте допросить кое-кого. Не может Гамза пропустить допрос такого редкого свидетеля, как премьер-министр Геринг!

Диктатор Германии стоит спиной к Гамзе, широко расставив ноги в сапогах, блеск которых гипнотизирует: каждая нога — будто столб, будто два столба видит публика, орущая в воинственном опьянении свое «хайль». Огромных размеров галифе вздуваются. Пояс — это экватор на шаре живота. Короткие толстые руки Геринг упер в бока жестом бойкой торговки. Он отвечает высокому, строгому, как мысль, человеку, которого стерегут два солдата. Господи, как же это получилось? Димитров со скамьи подсудимых допрашивает премьера Геринга! И вот, слово за слово, Димитров позволил себе вопрос: по какой причине полицейские чиновники вообще не расследовали, у кого Люббе жил и с кем он встречался за последние два дня до пожара. Этот вопрос, бог знает почему, так возмутил всемогущего свидетеля, что он, вспыхнув, раскричался. Поджигателей надо искать только среди коммунистов! Среди этих врожденных преступников, этой садистской сволочи, у них всегда было растленное мировоззрение!

Димитров, охраняемый с обеих сторон, подал голос:

— Известно ли господину премьер-министру, что партия, имеющая, по вашему утверждению, растленное мировоззрение, правит одной шестой частью мира?

— К сожалению,— хмуро бросил Геринг.

— А знает ли господин премьер-министр, что та экономическая система, какую осуществляет эта партия в Советском Союзе, вывела бы весь мир из нынешней нищеты и безработицы?

Геринг и немецкая публика рассмеялись от всего сердца.

— Отдает ли себе отчет господин премьер-министр в том, что заказы Советского Союза обеспечивают работу сотням тысяч немецких рабочих?

— Русские платят векселями,— перебил Геринг и захохотал.— Я, поверьте, предпочитаю наличные. Потому что с этими русаками никогда не знаешь...

— Советский Союз,— спокойно возразил Димитров,— находится в дипломатических отношениях с Германией. Известно ли это господину премьеру?

Геринг так и взвился.

— Ах вы мерзавец! Бродяга! Горлопан! Этот наглый иностранный сброд околачивается тут, поджигает наш рейхстаг и еще имеет дерзость меня поучать! Вы негодяй, и ваше место — на виселице!

Председатель суда несчастен. Господин премьер-министр не отдает себе отчета в собственных словах. Конечно, он солдат, он несдержан в выражениях, но на суде так не говорят. За нашим процессом следит весь мир!

— Димитров, я запретил вам проводить коммунистическую пропаганду. Не удивляйтесь теперь, что господин свидетель так ослеплен негодованием.

— Наоборот, я очень доволен ответами господина премьер-министра,— весело бросает Димитров.— Однако, господин премьер, вы как будто побаиваетесь моих вопросов?

Геринг откачнулся всей своей тушей, но сейчас же, как бык, нагнул голову и угрожающе двинулся вперед.

— Я боюсь? — прохрипел он.— Мне вас бояться? Что вы себе разрешаете? Вон! Увести этого паршивого коммуниста! — рычал он в припадке ярости, и конвойные обступили обвиняемого.

— Свидетель не имеет права удалять меня! — крикнул Димитров.

— А ну-ка, выведите его, в самом деле! — не помня себя, гаркнул председатель суда.

Какая дерзость! Какой срам!

Премьер-министр погрозил кулаком вслед обвиняемому.

— Подождите, выйдете из-под охраны суда, тогда поговорим!

Тишина спустилась, как занавес, на переполненный зал,— неловкая тишина, какая бывает, когда человек в стремительном порыве обнажит перед всеми свои сокровенные мысли. *Ein prächtiger Kerl dieser Goering* [1], да вот беда — не следит за своим языком. К сожалению, премьер-министр компрометирует себя. Это чувствовали даже самые страстные поклонники свастики, из тех, кто рукоплескал Герингу, когда тот поносил коммунистов и смеялся над Димитровым, прославляющим Советский Союз.

Гамза был свидетелем, как грудь с грудью схватились эти двое — пламенный и трезвый Димитров с бешеным и спесивым Герингом. Он видел человека ясной мысли, который силой своего духа, не сломленного арестантскими кандалами, загоняет в тупик распоясавшегося Калибана. Было бы истинным удовольствием следить за борьбой Давида и Голиафа, если бы Гамзу не гипнотизировали эти безупречно начищенные сапоги. Там, где прошли они, не растет трава. Дикие слухи ходили о грубости и распущен-

[1] Замечательный парень этот Геринг *(нем.)*.

ности прусского премьера. Гамза им не верил. Сплетни всегда преувеличивают. Как бы не так! На этот раз сплетни бледнели перед действительностью. Геринг превосходил все слухи. Гамза, старый вояка, обстрелянный в судебных битвах, таращил глаза на господина премьера с изумлением ребенка, впервые оказавшегося в зоопарке. Что сейчас сделает медведь? Куда обернется? Больно ли ему оттого, что его ужалила в нос пчела? Конечно, больно. Вот он крутится волчком, молотит лапами, не помня себя от ярости. А что, если медведь вдруг вылезет за ров? Разорвет нас? «Подождите, выйдете из-под охраны суда». Слышали, товарищи адвокаты, как он проговорился? Значит, и Геринг думает, что Димитров выиграет процесс? Да что вы, Геринг ведь не думает. Геринг действует по приливам крови к голове — совершенно в духе учения фюрера об инстинктах.

Только до господина премьера не дошла неловкость этого момента. Он отбушевал, ему стало легче, и теперь, с выражением какой-то людоедской бодрости, со всем превосходством старого солдафона над инфантильными штафирками, он говорит:

— До чего бы мы докатились, господа, если б нянчились с такими фруктами, как это делаете вы? Если бы не я и не мои смелые меры, мы б тут сегодня не сидели. Давно уж обо всех нас не было бы ни слуху ни духу.

И он в стандартных высокопарных выражениях принялся рассказывать, как еще до пожара в его руки попала убедительная улика исключительного значения — план коммунистического вооруженного восстания, согласно которому коммунисты собирались переодеться национал-социалистами и в таком-де виде совершать насилия, жечь дома, схватывать и пытать первых встречных, брать женщин и детей заложниками — словом, коммунисты, видите ли, собирались хозяйничать в точности так, как впоследствии это сделали подлинные эсэсовцы и штурмовики, которым он, Геринг, выносит сейчас публичную благодарность за то, что они спасли Германию.

Жаль, нет здесь Димитрова! Он, без сомнения, захотел бы, чтобы Геринг предъявил этот разоблачающий документ. Никто из судей не решается потребовать этого, адвокат Торглера даже рта не раскрыл, а красноречивый свидетель продолжает пылить и сыпать песком в глаза судей. Гамзе знакома была эта порода людей по его практике. Чтобы сохранить правдоподобие, эти люди излагают события так, как они в действительности происходили, но ответственность за них приписывают кому-нибудь другому, а сами, как говорится на воровском жаргоне, *«смываются»*.

Затем Геринг принялся пространно рассказывать, как он узнал о пожаре. Сначала премьер-министр предположил, что

виной всему была простая неосторожность, и только миновав Бранденбургские ворота, спеша на место происшествия, он услышал, как кто-то крикнул: «Подожгли!» У него прояснилось в голове: глас народа — глас божий; с глаз его будто пелена спала, и он в одно мгновение понял (приближенные фюрера вообще судят по наитию), что это преступление совершила коммунистическая партия. Слава богу, что в тот вечер, по прихоти судьбы, все были в Берлине — фюрер, Геббельс, Геринг, короче, весь тот узкий круг лиц, которые работают с предусмотрительностью провидения. Ведь легко могло случиться и так, что их не было бы на месте: шла последняя неделя перед выборами.

В то время Гитлер с энергией, достойной усерднейшего ученика Бенито Муссолини, кружил над Германией в своем самолете. Он летал из Франкфурта в Мюнхен, из Лейпцига в Бреслау, из Гамбурга в Кенигсберг; каждый вечер он был на новом месте и всюду говорил, говорил, говорил. Но у Гамзы дома есть копия плана предвыборной кампании Гитлера. В нем можно по порядку прочитать даты и названия городов, и из расписания поездок явствует, что фюрер оставил себе свободные дни от 25 до 27 января (день пожара рейхстага). Немцы поистине основательный народ, и под чертой в плане было замечено, что, возможно, 25 и 26 января тоже будут выступления. Теперь нам ясно видно, что к чему. 27 января выпало. В этот день ни фюрер, ни его приближенные не двигались из Берлина, и, хотя обычно они на части разрывались, в этот вечер у них, всем на удивление, не было ни одного митинга.

Зато и на месте происшествия они очутились первыми. Что бы делал без них растревоженный Берлин? Только они сошлись на месте преступления, рассказывает Геринг, как сразу по гигантским размерам пожара поняли, что здесь замешана целая толпа поджигателей.

— И не просто поджигателей, а лиц, прекрасно ориентирующихся в здании,— повышенным голосом объявляет премьер-министр и председатель рейхстага Герман Геринг, и его водянистые глаза на отекшем лице, устремившиеся на бывшего депутата Торглера, наводят ужас.

— Этот голландский болван,— добавил премьер-министр в своей оригинальной манере,— носился по лабиринту рейхстага, как вспугнутый заяц, и попал нам прямо в руки. А остальные умники, которые знают рейхстаг, как собственный дом, *смотали удочки.* И нам известно, каким путем,— разгорячился он, увлеченный собственным красноречием.— Они могли скрыться только подземным ходом, который соединяет рейхстаг с моим дворцом. Ход ведет в общую котельную центрального отопления, а там перелезть через стену и добраться до Шпрее — один пустяк.

И почему здесь нет Димитрова? Он выразил бы удивление по поводу той небрежности, с какой охранялся дворец самого министра внутренних дел, верховного властителя всей имперской полиции. И как только эти злодеи сумели обмануть пресловутую бдительность штурмовых отрядов господина министра, охраняющих днем и ночью его резиденцию? Все это загадка и, верно, останется загадкой в царстве сказок Гофмана.

А может быть, загадку эту объяснит другой высокопоставленный свидетель, молодой человек с мечтательным взглядом, который в эту минуту при свете двух свечей приносит на черном распятии присягу — не говорить ничего, кроме чистой правды? Девять судей в тогах цвета крови, перед которыми он стоит, и цепь откормленных, лоснящихся полицейских, похожих друг на друга, как фабричные куклы, и отделяющих свидетеля от публики, чтоб никто его не обидел, подчеркивают драгоценную хрупкость этого человека, одетого в простой штатский костюм. Как только он вошел, иностранные журналисты тотчас подметили, что он хромает. Чего только не заметят газетные писаки! Однако прихрамывающая походка у этого денди — лишь дополнительный штрих в его обаянии. Она придает ему горделивую небрежность. Что ж, хромал ведь и Байрон!

— Чтобы предупредить какое-либо недоразумение,— учтиво промолвил председатель суда,— я разрешу себе напомнить вам, господин министр, что нам вовсе не нужно, чтобы вы оправдывались в обвинениях, предъявленных вам Коричневой книгой. Мы все знаем, что следует думать об этом пасквиле, состряпанном продажными политическими подонками. Нам нужно только ваше свидетельское показание, которое поможет нам разобрать сложный случай, а свидетельское показание из уст, столь компетентных, как ваши, господин министр, будет для нас особенно ценным, тем более что вы сами являетесь членом рейхстага и в совершенстве разбираетесь как в политических и психологических взаимоотношениях, царивших в рейхстаге, так и в его топографии. Мы будем вам искренне благодарны, господин министр, за ваше показание.

Ах, этот Геббельс! Он похож на пай-мальчика: зачесанные волосы, галстук бабочкой и сияющие невинные глаза. Где это Гамза видел такой же выразительный взгляд? Сейчас он принял выражение меланхолической скорби — его оскорбляет низость клеветников.

Руководящие работники партии съехались в Берлин для участия в политическом совещании, какое бывает подчас необходимым, чтобы все национал-социалисты придерживались единой линии в выборной кампании, и, право, не могли предполагать, что

условленный понедельник станет днем подобного национального несчастья.

Геббельс обращает проникновенный взгляд своих прекрасных глаз на судей, и хотя председатель и предупредил его весьма настоятельно, чтобы он не касался Коричневой книги, защищается от ее обвинений спокойным, уравновешенным, несколько снисходительным тоном человека, который может только усмехнуться в ответ на жалкую глупость — будто это он измыслил план, как поджечь рейхстаг. Никто не был так поражен вестью о пожаре, как Геббельс. У него в это время ужинал фюрер, и разговор за столом, как обычно, был живой и сердечный. Вдруг хозяина вызвали к телефону. Звонил доктор Ханфштенгель, руководитель отдела иностранной печати, и сообщил, что горит рейхстаг. «Бросьте, пожалуйста,— оборвал его Геббельс,— оставьте ваши плоские шутки»,— и повесил трубку. Он ни на минуту не поверил этому известию. Министр пропаганды был уверен, что это — утка. Дело в том, что совесть его была нечиста, рассказывает о себе Геббельс, и глаза его так и играют. Но не потому, конечно, что он глубокой ночью состряпал тайный план поджога рейхстага (немецкая публика смеется), нет, такого удовольствия он не доставит Коричневой книге. Но недавно он сам подшутил над любезным Ханфштенгелем, распустив сенсационные слухи об одной кинозвезде. (Господа ведь тоже иногда шутят, и кто упрекнет их за это — при такой-то напряженной государственной деятельности?) Поэтому он принял звонок за отместку и вернулся к столу, не сказав о разговоре фюреру.

Свидетель разрешит себе сделать примечание. Коричневой книге не нравится даже посещение фюрером доктора Геббельса, оно кажется ей подозрительным, а между тем все объясняется чрезвычайно просто. У фюрера в то время не было в Берлине частной квартиры. Наезжая ненадолго в столицу, он останавливался в отеле, где происходили и политические совещания, а после работы отдыхал у домашнего очага доктора Геббельса.

Однако вскоре снова позвонил телефон, руководитель отдела иностранной печати уверял, что он сидит в доме напротив рейхстага и видит в окно рейхстаг, объятый пламенем. Ханфштенгель и в самом деле жил у премьер-министра Геринга, чей дворец стоит напротив рейхстага. У свидетеля пропало желание смеяться; на него свалилась тяжкая обязанность осведомить фюрера об этом несчастье. Адольф Гитлер тоже сначала не поверил вести. Они сели в машину и с бешеной скоростью помчались к рейхстагу. У вторых ворот к ним подошел Геринг и в страшном волнении сообщил, что это — политическая диверсия и что один из преступников, какой-то голландский коммунист, уже арестован.

Гибким, убеждающим баритоном, способным на всевозможные модуляции — от мягкой иронии до юношеского энтузиазма и священного гнева,— говорил Геббельс о Хорсте Весселе, герое и мученике, которого якобы застрелили коммунисты, из чего он с логичностью, эластичной, как стальная пружина, выводит, что они же подожгли и рейхстаг!

Он выражается изысканным немецким языком с патетическим придыханием на букве «t», с глубокими оттенками звуков «ä», «ö», «ü» — сразу узнаешь бывшего литератора. Некогда он пописывал романы, не нашедшие сбыта. Тогда он бросил беллетристику и взялся за политику, которая столь полно компенсировала его за первую жизненную неудачу. Ах, оставьте, здесь тоже замешано провидение. Если бы еврейские критики хвалили романы Геббельса, если бы рисунки Гитлера увидели свет — что сталось бы с Германией? Кто взял бы ее под защиту? И как выглядела бы теперь история? Сам добрый немецкий господь бог устроил так, что сохранил обоих художников для империи.

Геббельс и Геринг — небо и земля. Геринг завораживал блеском сапог, Геббельс завораживает взглядом. Но почему они так знакомы Гамзе, эти сияющие черные глаза? Никак не вспомнить. Геринг — бочка с порохом — взрывался по первому же поводу. Он весь как на ладони. Геббельс — гладкий, как угорь, и неуязвимый.

К неудовольствию многих, на это заседание пришлось допустить Димитрова. Он опять начал задавать свои неуместные вопросы, например, совершенно излишне спросил, кто мог убить Розу Люксембург и Карла Либкнехта, на что Геббельс, усмехаясь, бросил: «Не начать ли нам лучше с Адама и Евы? В то время фюрер был еще солдатом. Ослепнув после контузии, он лежал в военном госпитале». Пораженный таким странным сопоставлением фактов, доктор Бюнгер предоставил слишком любезному свидетелю право решать, не лучше ли вообще воздержаться от ответов на подобные вопросы, которые ни в малейшей степени не связаны с пожаром рейхстага, а преследуют совершенно иную цель — протаскивать красную пропаганду.

— Ах, оставьте его, господин председатель,— пренебрежительно ответил министр,— мне доводилось давать отпор и не таким противникам, как этот провинциальный коммунистический агитаторишка. Прошу вас,— обернулся он с улыбкой к Димитрову; и в этот момент Гамза вспомнил: многоженец-аферист крупного масштаба, чей процесс наделал столько шума в Праге,— вот у кого были такие же чарующие глаза. Только глаза Геббельса еще прекраснее.

Вот они снова горят священным гневом, когда он вторично обращается к скамье подсудимых и называет Торглера, этого волка в овечьей шкуре, одним из главных поджигателей. Нет, он, Геббельс, никогда с Торглером не разговаривал, но он много лет весьма внимательно слушал выступления Торглера в рейхстаге и осмеливается утверждать, что примиряющие речи, на которые Торглер теперь ссылается, при помощи которых он якобы пытался разрешить спор с национал-социалистами добром, считая, что можно спокойно дискутировать о политических убеждениях,— эти благородные речи, говорит Геббельс, и глаза его пылают, не что иное, как только ширма, призванная замаскировать те насилия, которые коммунисты всегда допускали и допускают. По мнению его, Геббельса, этот человек способен на все.

Министр пропаганды, почти незаметно припадая на укороченную ногу, обутую в ортопедический башмак, ушел как победитель, провожаемый нацистским приветствием восторженной публики и застывшими шеренгами полицейских, а процесс, ползущий, как улитка, не сдвинулся ни на пядь.

Действие этой книги пойдет дальше событий, связанных с пожаром немецкого рейхстага, и у меня нет времени демонстрировать перед читателем процессию свидетелей, которые проходили через судебный зал по вызову неутомимого государственного прокурора. Шествуя за хоругвью со свастикой, они распевали псалмы, каким их обучал суфлер, пресловутый следственный судья Фогт. Свидетели хорошо спелись, а то, что несколько раз прозвучали фальшивые ноты, ничего не меняет в общем благочестивом их хоре.

Все наемники этого крестового похода были людьми, одаренными буйной фантазией. Некоторые из них отличались даже способностью видеть на сверхдальнем расстоянии. Так, один официант, по фамилии Хельмер, обслуживал Димитрова накануне пожара в берлинском ресторане «Баварский двор», то есть как раз тогда, когда злоумышленник, будто нарочно, находился в настоящей Баварии, в Мюнхене; тот же сверхзоркий факир видел, как в его подвальчике Люббе распивал пиво с болгарами прошлым летом, в то самое время, когда голландец в действительности был у себя на родине: разбив стекла в лейденской ратуше, он отсиживал свой срок в гаагской тюрьме. Отличился и другой берлинский свидетель: вместе с женой и служанкой они якобы наблюдали в бинокль, прямо из окна в окно, за Поповым, явившимся на сборище каких-то заговорщиков. У этих людей был, видимо, волшебный бинокль, потому что свидетели ухитрились разглядеть болгарского студента на огромном расстоянии: Попов в ту пору жил в Советском Союзе.

Происходили странные и таинственные вещи. За несколько дней до пожара во дворце премьер-министра появилось привидение. В подземном ходе слышны были шаги. Боязливый привратник налепил на двери тоненькие полоски бумаги, желая убедиться в том, что слух его не обманывает, и — смотри-ка! — на другое утро полоски были порваны. Привратник доложил об этом случае коменданту дворца Скранновитцу, спрашивая, что ему делать. «То же самое, что и делали,— буркнул Скранновитц,— продолжайте наблюдение». И что бы вы думали? Почти каждое утро полоски на дверях были порваны. Как объяснить такое явление в охраняемом дворце? Странные творились вещи... Другой участник крестового похода, пруссак, носящий фамилию славянского происхождения, Карване, видел собственными глазами и слышал собственными ушами, как оживленно беседовали болгарский сапожник, не знающий немецкого языка, с немецким депутатом, не умеющим слова сказать по-болгарски. На них, без сомнения, снизошел дух святой во образе языков пламени, и они вели беседу на латыни поджигателей. Ведьма, с которой не поздоровался в скверике Эрнст Торглер, прожгла своим глазом бабы-яги бычью кожу двух портфелей, которые он нес под мышкой, и обнаружила в них банку с горючим: оно вспыхнуло перед глазами колдуньи. Грабитель, напавший на человека из-за двадцати пяти серебряных монет, с глубоким моральным возмущением отверг тысячу двести марок, предложенных ему депутатом за поджог рейхстага. Да, да, вот какие творились чудеса! Этого проходимца привезли из острога для того, чтобы он возложил правую руку на Евангелие, чтобы поднял к присяге два перста — так же, как Герман Геринг, как Иозеф Геббельс,— и дал свидетельское показание против обвиняемого. Именно в том и заключается восхитительная стихийность нацизма, что энтузиазм к «священному» делу вовлекает в единый крестовый поход членов правительства вместе с карманником, фальшивомонетчиком и контрабандистом; они идут рядышком, нога в ногу. Говорите после этого, что нацизм не народен!

Однако на суде были и другие люди: их привезли из мест, обнесенных колючей проволокой, по которой проходит смертоносный ток. Привезли их, связанных чуть ли не в узел. Люди из-за колючей проволоки выглядели как мученики. Им сулили золотые горы, обещали свободу в награду за то, что они пропоют перед судом песни, сложенные теми, кто насыщал их вздохами и поил слезами. Но эти свидетели заупрямились — у них не было слуха, они не стали петь. И хотя они едва держались на ногах, но галлюцинациями, подобно рыцарям крестового похода, они все же не страдали. Их речи — да, да, нет, нет — были те же, что и речи

богатыря Димитрова и героя Тельмана. То были немцы, свидетельствовавшие в пользу истины, они вернулись за колючую проволоку, по которой бежит смертоносный ток, и сегодня их, вероятно, уже нет в живых.

ПОСЛЕДНЕЕ ЗАСЕДАНИЕ

Веселого рождества, счастливого Нового года! Молодцеватый почтальон и проказник-трубочист желают вам всего наилучшего. Не удивляйтесь, что они спешат представиться, прежде чем хозяйки начнут тратить деньги, отложенные на праздник.

Лимоны лунного цвета и апельсины цвета заходящего солнца — каждое солнышко уложено на отдельную постельку из опилок, чтобы оно не пролежало бока,— отправились на север с полуострова в форме сапога, где топает Муссолини, и с полуострова в виде летящего дракона, из Испании, где народ выгнал короля и сам взялся управлять своими делами. Корабли, нагруженные богатством пяти частей света, доплыли до пристани, и вот гигантские краны подхватывают клювами тюки кофе, от которого проясняется в голове, и ящики с чаем, спрессованным желтыми руками,— чаем, от которого золотым цветом расцветают мысли; солнце Мельника, искрящиеся фонтаны шампанского, опьянение, спрятанное в бутылке персиковой настойки,— все это безумие, закупоренное пробкой, ждет не дождется конца старого года; самолет привез с Лазурного берега цветы для артистки, завернутые в вату, чтобы не простудились; крабы карабкаются из моря под стекла гастрономических магазинов; рыбы толпами нагрянули из садков в рыночные аквариумы, и вода в них так и журчит, так и журчит, как речи женщин с базарными сетками в руках; репродукторы разносят мелодии коляд, и маленькая близорукая барышня Казмарова, учительница чешского языка в пражской женской гимназии, прибавляет шагу. Целый год она копалась в книгах, оставив все на последний день! Что купить в подарок отцу? Хозяин не пьет, не курит, не читает того, что ему не нужно, картины не интересуют его, хороший костюм ему безразличен — весь год ходит в одном и том же галстуке,— вот был бы хороший клиент для фирмы «Яфета»! Все у него есть, и ничего ему не нужно.

За последним поворотом уже сверкает «вифлеем» — барышня Казмарова подъезжает к Улам; фирма «Яфета» одела манекены в витринах в норвежские спортивные костюмы. Ро Хойзлерова с мужем проводит сочельник в горах. «Девочка, а не поехать ли нам в Нехлебы, раз уж мы купили эту виллу?» В Нехлебы? И не подумаем. Там такая глушь. У графини тоже замок в Нехлебах,

а она все же уехала на Энгадин — почему же Ро не поехать на Шпиндл? Хойзлер только вздохнул. Когда тебе пошел шестой десяток, ты уже не решишься встать на лыжи. Молодые люди будут учить Руженку делать христианию, вечером она будет танцевать с прусскими офицерами, а когда они останутся наедине в своей спальне, она мгновенно заснет. *Счастливое супружество — пижамы от «Яфеты».* Лида Горынкова прошивала правый борт рождественского комплекта и заработала на этом порядочно сверхурочных. Но не бойтесь! Хозяин их вернет. Куда еще отправиться улецким невестам выбирать приданое, как не на базар «Яфеты»? Ах, эти миленькие алюминиевые сковородочки! Будто из серебра. Вот попробуй, какая она легонькая. Жених, чтоб доставить Лидке удовольствие, берет сковородку. С женщиной надо иметь терпение. Сильный и высокий, он стоит с этой игрушкой в руке и неопределенно улыбается. При выборе приданого мужчине отводится второстепенная роль. Гаек — хороший человек. У него приличный оклад слесаря-механика и честные синие глаза. Он добряк, будет возить детскую колясочку. Но в эту розовую кружку с ландышами Лида по-настоящему влюблена. «Будешь из нее пить кофе»,— сказала она. И отложила кружку в сторону — натюрморт из кухонных принадлежностей пополняется новыми деталями. «Уж лучше пиво»,— отозвался жених, и продавщица засмеялась. Но невеста даже не оглянулась. С маленькой морщинкой сосредоточенности на лбу стоит она и колеблется — какую же выбрать ступку: глиняную или медную? Ведь это на всю жизнь! То перец, то ваниль, пестик отбивает барабанную дробь,— в Лиде столько еще нерастраченной силы! — а блестящая ступка звенит, как свадебные колокола. Два парня покинули ее,— они были сорвиголовы, а этот — настоящий барашек. Помолвка уже объявлена в церкви, слава богу, теперь-то дело прочно. У Лиды будет кухонька — как птичья клетка, занавесочки — как сахар, комнатка — как игрушка. На фабрику она ходит по необходимости, но только для семейного уюта сотворены ее руки. Она провела ладонью по шершавой терке, посмотрела на свет через дырочки дуршлага, попробовала веничек для сбивания белка — господи, а мясорубка? Жених с невестой обменялись взглядами. Жизнь дорога. Потянем ли? «Бери»,— спокойным басом сказал жених. Как раз мясорубка — инструмент посложнее, это почти мужское дело, и невеста покраснела от радости. Вот какой у нее парень — действительно ее любит! Она уложила покупки в бельевую корзинку, скрипящую новизной, помолвленные взялись по обе стороны за ручки. Знакомые бросают влюбленным шуточки. Лида бойко им отвечает, голову — кверху, красивую грудь — вперед, навстречу ветру, от губ их подымается жаркое дыхание — так

шагают они по ароматному морозцу вдвоем в будущее. Веселого рождества, счастливого Нового года! В календаре на чумазом трубочисте — белоснежный колпак. Молодцеватый почтальон на журнальной обложке приносит вам в сумке одни только крупные выигрыши. Ах, это было бы очень кстати! Станя, ты опять за авансом? Хоть бы написал трогательный святочный рассказ! Сколько беготни, пока составишь рождественский номер! Елепка с Тоником и Митей будут, конечно, в Горьком,— вспомнят ли они вообще, что наступил сочельник? Знала бы это старая пани Витова! В гробу перевернулась бы. И когда вернется Гамза из Лейпцига? Есть на свете другие интересы, кроме блюда съедобных улиток, сверточка под елкой да ветки омелы на лампе,— Нелла это знает, Нелла ничего не говорит, Нелла кивнула с улыбкой, когда Станислав объявил, что в сочельник он придет немного позднее. И все же ее охватывает тоска по старым обычаям и стремление влиться в толпу закутанных людей, которые вот уже столько дней по всем тропкам направляются к «вифлеему», нагруженные покупками и связанными елочками. Пани Гамзова оставила Барборку следить за тестом, поднимающимся под белой тряпочкой, скрыла от нее по понятным причинам, куда идет, и отправилась в Крч к прабабушке, чтобы привезти ее на праздник домой.

Старушка погрузилась в нескончаемое раздумье. Приглашение невыразимо озаботило ее. Что-то должно измениться. И чего только они опять хотят? Каждая перемена — сверхчеловеческое усилие. И она сидела, устремив взгляд в пустоту; долго молчала и, прежде чем ответить, несколько раз откашлялась. Пани советнице и учительнице будет очень жаль, если прабабушка не останется на праздник! Предполагается общий ужин. Пан контролер обещал что-нибудь сыграть, и он тоже обидится, если «госпожа министерша» уедет. У прабабушки нет даже приличной шляпы. Не поедет же она в платке, как *какая-нибудь!*

— Знаешь что, Неллинька, привези мне булку сюда,— прабабушка отроду не называла рождественский пирог иначе как булкой. Нелла помнит, как еще ребенком она очень этому удивлялась.— Рыбы я не хочу, в ней кости, ешьте сами,— враждебно продолжала старуха.— Вот какое-нибудь там яблочко мне можешь привезти,— тон ее стал нежным,— и апельсины, только, знаешь, те, сладкие, мессинские, и фунтик конфет, и торт — какой у вас будет торт, финиковый? Да смотри, чтобы Бара опять не передержала его, как прошлый раз,— злобно оборвала себя старуха и насупилась.— Паштет делаете? — строго добавила она.

Нелла начала ей что-то рассказывать о Стане, но прабабка перебила:

— А крем?

Тут вдруг на Неллу напала такая растроганность, что слезы выступили у нее на глазах.

— Бабушка, поедем со мной, мне будет грустно...

Старуха не слушала.

— Привези паштет и крем сюда,— распорядилась она,— а я останусь здесь. Я уж отъездилась.

Что было Нелле делать? Она обещала все привезти, простилась и направилась к выходу.

Прабабка окликнула ее в дверях:

— Послушай-ка, поди сюда. Привезешь паштет — не разворачивай его при учительнице и советнице. Подожди, пока уберутся из комнаты. Поняла?

Слава в вышних богу, на земле мир и в человецех благоволение! Немецкие хозяйки довязали последнюю пару белых чулок, кампания зимней помощи закончилась с огромным успехом. Особенно отличалась «гитлеровская молодежь». Гамзе пришлось немало приложить труда, чтобы спастись от жестяных кружек, которыми потрясали перед его носом здоровенные парни с внушительным кинжалом на боку или чистенькие девочки с косичками, в курточках, которые так очаровали маленькую Берту. Слава в вышних богу, на земле мир и в человецех благоволение! В лейпцигских садоводствах вызванивают колокола, сделанные целиком из белых гиацинтов; портреты фюрера увиты еловой хвоей, о которой поется в народной песне, особо близкой сердцам его соплеменников; а правительство Геринга, учитывая присущую немцам поэтическую приверженность к семейным праздникам, приложило все усилия, чтобы закончилось неуютное дело, чтобы верховный суд вынес по Лейпцигскому процессу приговор накануне сочельника.

Государственный обвинитель уже составил проект приговора, в котором он требовал смерти голландца и голову Торглера, когда доктор Зак, крестоносный адвокат коммуниста, засучил рукава и принялся омывать в одной и той же воде и своего клиента, и трех нацистских депутатов, свидетельствовавших против него. У них были добрые намерения. Они просто ошиблись. Один видел Торглера с Люббе, другой — с Поповым, третий с Таневым. А на самом деле это был коммунист Кайзер, заключенный ныне в концлагерь: это он беседовал с Торглером в комнате отдыха рейхстага. Психологическая ошибка. Это бывает. Пусть никто не удивляется нацистским депутатам: они были взволнованы и полны желания сделать все, чтобы объяснить этот случай. Что же касается свидетелей — заведомых преступников, то их показания, ложь которых била в нос, доктор Зак с возмущением отвел и горячо всту-

пился за своего невинного подзащитного. Торглер — человек, прямо болезненно чувствительный в вопросах чести.

— Этот глупец,— буквально сказал его защитник,— бежит прямиком в полицию, хотя он невинен, как ягненок, или, вернее, именно поэтому. Он торопится реабилитировать себя, он слишком добросовестен, он не выносит и тени подозрений — и вот своим педантизмом он вызывает страшную путаницу, за которую сейчас горько расплачивается. Господа, судите строго, но судите справедливо. Торглер — порядочный человек, за что я руку даю на отсечение. У него не было ни фальшивого паспорта, ни нелегальной квартиры, что вообще стало похвальной привычкой господ из его партии, и, как видите, он не собирался бежать. Я осмеливаюсь утверждать,— Зак риторически возвысил голос,— что Эрнст Торглер стал коммунистом по недосмотру.

Гамза случайно взглянул на Димитрова. Тот неподвижно сидел, скрестив руки, и мерил Зака взглядом, от которого становится жарко.

— Если бы не чинуша-головотяп, отказавший в свое время Торглеру в стипендии,— продолжал адвокат,— благодаря чему одаренный юноша вынужден был подрабатывать продажей красных газет,— если бы не это прискорбное обстоятельство, господа, я ручаюсь, что сегодня Торглер был бы убежденным национал-социалистом. Всеми склонностями своей души он бессознательно тяготеет к нашему благородному учению.

Да он просто позорит Торглера! Слышал бы это товарищ Вийяр! Его здесь уже нет, как нет здесь Дечева и Григорова,— нацисты выслали их за границу за то, что они слишком энергично протестовали против лжесвидетелей. Но, ради бога, что ответит на все это Торглер? Ничего. Ровно ничего. С тех пор как государственный обвинитель потребовал его смерти, несчастный сидит ни жив ни мертв.

Доктор Зак действовал как истый немец. Он представил суду наглядно составленную таблицу, на которой рассчитал и изобразил каждую минуту действий и местонахождения своего подзащитного в час преступления.

— Я не принял,— победоносно объявляет доктор Зак,— доказательств, якобы свидетельствующих в пользу Торглера, которые мне навязывали господа из лондонского лжесуда. Торглеру нет нужды связываться с бежавшими изменниками, чтобы доказать свою невиновность. За это меня обстреливали позорящими телеграммами. Будто я предаю своего клиента. И все же им не удалось омрачить идеальных отношений, установившихся между мной и моим подзащитным. Я защищаю не Торглера-коммуниста, я защищаю Торглера-человека, который является белой вороной

среди красных воронов.— Адвокат с энтузиазмом вылил бочку грязи, в которой полоскал своего клиента, на его политическую партию.— Он невиновен,— торжественно возвысил голос Зак,— и только потому, что я в это свято верю, я взял на себя его защиту. Он невиновен, и вы, господа судьи, несомненно, распознаете и справедливо отделите зерно от плевел, а порядочного человека от коммунистических индивидуумов.

Есть ли что сказать Торглеру? Человеку, который поднимал в рейхстаге голос от имени Коммунистической партии Германии? Депутату Торглеру, оплеванному собственным защитником с головы до ног? Он бледен, как полотно. Губы и голос его дрожат. Он благодарит господина председателя. Он скажет позднее.

И встал Димитров, чтобы защищать самого себя, и в старинном зале воцарилась тишина, как в церкви.

— Чем быть обязанным жизнью такой защите, как Зака,— сказал он,— я предпочел бы смертный приговор. Мой высший закон — Коминтерн; мне важно быть чистым перед ним. Но этим я никоим образом не умаляю значения имперского суда. Он воплощает общественный строй сегодняшней Германии, и я говорил перед ним правду. В ходе процесса меня часто упрекали в том, что я вел коммунистическую пропаганду. Да, вел, не отрицаю. Вы обвинили меня в преступлении, которого я не совершал, и вашими стараниями мне была предоставлена трибуна, какая мне никогда и не снилась. Я получил возможность говорить, обращаясь ко всему миру. За границей давно известно, что мы невиновны. Даже мои политические противники в Болгарии не сомневаются в нашей невиновности, как они вам и отписали черным по белому, когда вы их запросили. Но мне важно, чтобы и каждый немецкий рабочий, каждый крестьянин и мелкий служащий знали то, что давно уже ясно их товарищам за рубежом: мы четверо невиновны. И — что еще более важно — коммунистическая партия пальцем не шевельнула для свершения бессмысленного и разнузданного преступления, которое принесло уже столько зла и несчастья. Она строго осуждает его.

— Это к делу не относится,— сказал председатель.

— Вы оскорбляли в нашем лице идею коммунизма. В моем лице вы оскорбляли и болгарский народ. Господин государственный обвинитель, немецкие государственные деятели и нацистские журналисты поносили меня, называя темным балканцем и болгарским варваром. Да, моя родина отстала в материальной цивилизации. Но я думаю, что народ, который сквозь пять веков порабощения пронес свое духовное богатство, язык, письменность, национальные песни, национальные обычаи и национальную

гордость,— не темный. Что же касается варварства... Да, болгарский фашизм — варварство, но ведь варварство и всякий фашизм.

Нацисты в зале онемели.

— Прошу без оскорблений! — перебил его председатель.— Говорите по существу.

— Господа судьи, мы — Торглер, Димитров, Танев и Попов, очутившиеся перед вами на скамье подсудимых,— мы не должники, а кредиторы. Я прошу, чтобы верховный имперский суд принял это к сведению. Нас унизили неслыханными подозрениями; мы были брошены в тюрьму и закованы; с нами обращались, как с уголовными преступниками, а не как с политическими заключенными. Нас лишили года жизни, и не в человеческой власти вернуть нам его. Даже оправдательный приговор не вернет нам вычеркнутого года жизни. Если бы вы дали нам столько золота, сколько весим мы сами,— а я знаю, вы этого не сделаете (смех среди немецкой публики),— то все равно не вознаградили бы за наши страдания. Не шутка, когда дело идет о жизни невинного человека! Уже от одной этой мысли можно голову потерять. К счастью, я не из робких, и я не отчаивался. Это потому, что даже в одиночке я не чувствовал себя покинутым и одиноким. Товарищи во всем мире были убеждены в справедливости нашего дела. Это поддерживает, придает силы и укрепляет мужество. Они не дали мне пасть духом, и я благодарю их.

— Обращайтесь к суду, а не к публике,— прервал Димитрова председатель.

— Нам был нанесен ущерб, господа судьи, и мы предъявляем свои требования. Во-первых, обвиняемые Торглер, Димитров, Танев и Попов должны быть оправданы потому, что доказана их невиновность, а никоим образом не из-за недостатка улик. Во-вторых, все вы заметили,— тут Димитров указал на Люббе, голова которого свесилась на грудь, как у сломанной куклы,— как вел себя этот несчастный слабоумный, когда государственный обвинитель потребовал его казни. Он продолжал клевать носом, как делает это и сейчас. Слова обвинителя ничуть не взволновали его. Может быть, он даже не сообразил, о чем идет речь. Я требую, чтобы было ясно сказано, что ван дер Люббе был орудием в руках неизвестных преступников. В-третьих...

— Нет нужды нумеровать все это,— нервно кинул председатель.

— Мы требуем, чтобы начались наконец розыски преступников там, где они могут найтись, а не там, где их нет. И в заключение мы требуем самым настоятельным образом, чтобы люди, которые умышленно запутывали дело и указывали на ложный

след, были привлечены к ответственности и понесли примерное наказание, ибо это — в интересах справедливости.

Здорово он им все высказал! Юнак Димитров! Где те времена, когда Гамза хотел его защищать? Как будто Димитрову это было нужно! Алиби у него давно в кармане — другой вел бы себя тише воды ниже травы, чтобы в последнюю минуту не поссориться с сильными мира сего. Но Димитров об этом и не помышляет и бьет направо и налево,— он-то знает, хорошо знает, за что! Богатырь Димитров! Когда Гамза был гимназистиком, он очень жалел, что не жил во времена гуситских бурь. Молчи, вот они, вековые тучи, заряженные отрицательной и положительной идеей; вот они собираются друг против друга на фиолетовом небосклоне — скоро ли блеснет молния? В воздухе пахло озоном, и Гамза был снова молод; раствориться в душе героя — это подобно самой возвышенной любви. Прекрасна неустрашимость! Идейная непримиримость чиста, как стерильный скальпель хирурга.

В одном ряду, тихо, как в храме, сидят пять женщин. Не важно, в одежду какого века они одеты. Их род стар, их род древен — так и все дела людские гораздо старше, чем это думают торопливые современники. Быть может, это — Ниобея, а может быть — Мать, стоявшая под распятием. Кедровое дерево креста оковали скобами — вышел рогатый крест, свастика, и она нагоняет ужас на двух матерей. Если бы они заговорили — они не поняли бы друг друга. Но обе пели своим сыновьям колыбельную на родном языке, когда те были маленькие, и тоска этих сестер по несчастью одна и та же. Не важно, что на одной из них — помятая шляпка, какие носят старые женщины из предместья столицы империи, а другая покрыта платком пилигримок, пришедших издалека. Горняки Перника, грузчики Черноморья, рабочие каменоломен, работницы табачных фабрик и розовых плантаций собрали между собой дань, которую надо было положить к ногам царя, чтобы он выпустил из болгарской страны Парашкеву Димитрову; тремя крестиками она подписала много бумаг, необходимых для отъезда, в семьдесят два года впервые села в поезд и отправилась в путь — убеждать людей доброй воли, что сын ее невиновен. (Помнишь, Гамза, мать Энди и Роя, мадонну негритянского народа? Один и тот же гнет во всех пяти частях света!) Мать Димитрова приехала из Софии, сестра — из Москвы. Обе дали свидетельские показания перед лондонским судом справедливых, советовались с известными юристами, обращались с речами к международному рабочему классу, будоражили совесть мира. Они сделали все, что было в человеческих силах. Теперь им остается только сложить руки на коленях и ждать, сосредоточившись на своей любви. С тех пор как люди начали судиться,— а люди судятся уже

века,— вот так ждут приговора матери, жены и сестры обвиняемых, и сердца их замирают в тревоге. Тянутся минуты, а женщины старятся на годы. Черноокая подруга Танева готова вскочить, подвинуть вперед стрелку на циферблате! Но госпожа Торглер задержала бы ее руку: кто знает, не лучше ли, чтобы часы остановились; кто знает, какая злая весть войдет через раздвинутый занавес...

Суд — драма, суд — спектакль, и все явления идут по порядку. Только кинооператоры не считаются с порядком, всюду они лезут со своими лентами и «пулеметами». Они расставили свои аппараты в засаде, перед самой скамьей подсудимых, будто собрались всех их расстрелять на месте, как только их снова введут в зал после перерыва, в течение которого совещался суд.

Именем империи!

Девять судей в пурпурных тогах, трое защитников в черных мантиях, полицейские, гости-дипломаты, журналистская братия — встал весь зал; и встали подсудимые: тщедушный человек с гладко прилизанными волосами, исхудавший до неузнаваемости, смертельно перепуганный; богатырь с хмурым выражением лица и его темноокие соотечественники. Как следует рассмотрите их напоследок, этих невольных действующих лиц стольких сенсаций. Вы привыкли к ним, как к кинозвездам, вы — дети необузданного века, может быть, вы их не увидите до смерти. Даже кайзер Вильгельм, воинственно-красочный, стоит и разглядывает их со стены. Только голландца, поломанную куклу, конвойным пришлось держать под мышки.

Именем империи!

Бывший депутат рейхстага от коммунистической партии Эрнст Торглер оправдан.

Болгарский подданный Георгий Димитров оправдан.

Болгарский подданный Блаже Попов оправдан.

Болгарский подданный Константин Танев оправдан.

Голландский подданный Маринус ван дер Люббе виновен в государственной измене, связанной с поджогом, совершенным с целью провокации мятежа, и приговаривается к смертной казни и к вечному лишению чести.

Фотоаппараты защелкали, затрещали кинопулеметы, и несчастный Герострат из Лейдена, который так жаждал славы, был увековечен в последний раз. Но никому уже не удалось поймать в объектив его уродливое лицо. Виден был только клок спутанных волос — голова его снова упала на грудь.

— Бедняга,— жалела его Нелла.— Его смерть — у них на совести.

Она разрезала рождественское яблоко. И кто бы мог поду-

мать — такое красивое яблоко, а внутри червивое. Нелла незаметно отложила его к кучке ореховой скорлупы. К счастью, она не была суеверной, как покойница мамочка.

— Это Димитров отвоевал всем свободу,— рассказывал Гамза, хмуро отхлебывая из бокала традиционный пунш. (Он не совсем доволен,— подумала Нелла.— Наверное, его все же сердит, что ему не пришлось защищать товарищей.) — Ведь процесс направлял он! — засмеялся Гамза.— Слышала бы ты, как он допрашивал лжесвидетелей! Карване врал так, что пыль столбом стояла,— будто он видел, как Торглер разговаривал в рейхстаге с Поповым. «На каком языке?» — только и спросил Димитров, и с коронным свидетелем было покончено. Но именно для таких классических, само собой разумеющихся деталей требуется больше всего смекалки, Димитров всегда попадал не в бровь, а в глаз. А особенно Геннингсдорф! Как они там ни крутились, Димитров все же заставил их наконец расследовать, у кого жил Люббе последние два дня до пожара.

— *Bei den Nazi*[1], я знаю,— вмешалась Нелла.— Удивительно, что от Люббе добились этого признания. Ну, зато сегодня у Димитровых и у Торглеров замечательный сочельник. Трудно себе даже представить, что это такое — отвоевать жизнь и снова быть на свободе.

— Ошибаешься,— укоризненно отозвался Гамза. На лице у него проступили жесткие черточки.— Они под охранным арестом. Доктор Зак сам потребовал его для своего клиента.

— Как под арестом, когда они освобождены?

— Да нет же! — вскипел Гамза, будто Нелла была в этом повинна.— Говорю тебе — все четверо по-прежнему сидят.

Корнелия Гамзова, урожденная Витова, дочь юриста и жена юриста, всплеснула руками. Как же это возможно?

— А чего тут невозможного? В Третьей империи все возможно. Даром, что ли, их фюрер — сверхчеловек?

Нелла опечалилась. Она обладала живой фантазией и так горячо переживала за этих четырех, как только можно переживать за людей, которых ты никогда в жизни не видел. И еще ей было жаль, что сочельник для Гамзы испорчен. Но что поделаешь, своя рубашка все-таки ближе к телу. «Слава богу, ты уже дома»,— подумала она про себя с тем инстинктивным, уютным чувством человека, который, свернувшись клубочком в постели, слушает, как за спущенной занавеской во тьме шумит дождь и хозяйничает непогода. Мы — дома, у себя в республике, а здесь с нами не может случиться ничего подобного.

---

[1] У нацистов *(нем.)*.

ВСТРЕЧА ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ

На фоне синего неба рдели малиновые яблочки, в воздухе пахло сладостью успокоения; стоял сентябрь, и в прозрачной дали было видно, как извилистой тропкой спускается с горы человек, как кружит в вышине ястреб; из улецких садов ясно различимы даже вершины елей на зеленых склонах.

Лида сидела под желтой, струящей свет березой и вязала Штепанеку на зиму красный свитерок. Ребенок играл у ее ног. Это время дня она любила больше всего. Повесит, бывало, на место блестящий половник и вычищенный дуршлаг, покроет ящик с углем и начищенную плиту газетой «Улецкий вестник», дважды повернет ключ, запирая на замок все хозяйственные заботы дня,— и поехали с колясочкой встречать папу! Оборки покрывальца трепещут, а Лида толкает колясочку; покрывальце — голубое, и каждый понимает, что мама везет мальчика. Что там папа! Он ей не так уж и нужен, главное — у нее есть мальчик, и она может им похвастаться. Колясочка быстро спускается с холма Заторжанки, проезжает домики, похожие на кубики, и подкатывается к асфальтированной площади около фабричных зданий — ишь как постукивают колеса! На пути Штепанека садовники подстригают голые деревья, и, пока он спит, кусты роняют цветы ему на одеяльце. Вдруг с ветки падает яблочко-гнилушка, шлепается в коляску — ребенок просыпается и, смеясь, протягивает к нему ручонки. Как бежит время! Как оно летит! Патентованная колясочка Штепанека, купленная на базаре «Яфета», уже проехала четыре времени года, и из подвижной колыбельки стала спортивным возком с сиденьем. Но и этого парнишке мало, и он выкручивается из-под ремня, привязывающего его к коляске,— гулять, гулять! Вот он уже на ножках, уже бегает, как большой, папа купил ему полосатый мяч, и мальчик переваливается вдогонку за игрушкой, как маленький медвежонок. Смотри не убеги от мамочки! А то нашлепаю. Отец на парня не надышится. Лиде приходится его удерживать, чтобы он не выбрасывал деньги на игрушки. Положим, это лучше, чем оставлять их в пивной. Еще бы! В солнечном саду, ожидая фабричной сирены, беседуют молодые матери певучим говором колыбельных песен, порой то одна, то другая качнет колясочку, окрикнет ребенка; вагонетки подвесной дороги, нагруженные шпулями и гигантскими веретенами, медленно проползают над головами; Штепанек слышит, как подвесная дорога говорит: «Хэхх, хэхх, хэхх». Теперь вырабатывают один палаточный брезент и лямки из грубого холста — знаете, их столько наткали, что ими можно обернуть земной шар,— это, говорят, для походных коек. А вы слышали — шестнадцатый цех переходит на *противо-*

газы? Мало ли что говорят! Наговорить можно что угодно, думает Лида, и сурово, по-крестьянски поджимает губы. Когда не было работы — люди роптали, теперь работа есть, а им опять неладно, выдумывают всякое. Ну вас совсем! Главное — есть работа. Главное — дело идет. Даже в саду слышно, как вздрагивает и дышит фабрика в горном воздухе, пахнущем орехом и свежей аппретурой.

— Ах ты безобразник! — воскликнула Лида и бросилась за Штепанеком. Что ж, раз мать заговорилась,— молодой человек отправился в поход. Почувствовав мать за спиной, малыш прибавил шагу и посыпал что есть силы. Перед ним, прямо к мостовой, катился полосатый мяч. Какой-то человек расставил руки и поймал беглеца.

— Стой, ты, футболист,— проговорил он.— Как бы не было худа.

Он нагнулся за мячом и передал игрушку и ребенка матери.

Она так испугалась, что даже забыла поблагодарить, схватила парнишку, шлепнула его как следует, посадила на руку и быстро, с гневной решимостью матерей, пустилась было обратно. Штепанек громко расплакался.

— Не плачь, м о л о д е ц [1],— пробасил незнакомец.— Я бы на твоем месте постыдился, мужчины не ревут.

Штепанек выкатил на него глазенки и замолчал.

Это был высокий загорелый мужчина с обнаженной шеей, в пиджаке и майке, с бритой, иссиня-черной, как мак, головой. Не видно было, чтобы он спешил; свобода движений и что-то неуловимо-экзотическое в его облике сообщали ему огромное превосходство над услужливыми казмаровцами, спешащими по делам с портфелями по улецкому асфальту. Он был нездешний, это сразу бросалось в глаза. «Моряк»,— пришло Лиде в голову. Она остановилась, не спуская ребенка с рук, и только теперь поблагодарила.

Он махнул рукой — пустяки, мол,— и показал на мальчика:

— То-то тебе радость от такого сынишки, Лидушка,— сказал он неожиданно.

И когда лицо чужеземца дрогнуло в улыбке, в нем прогляну ло что-то знакомое, давно забытое; времена молодости, Первое мая, и Лида вскрикнула:

— Францек! Господи, Францек, откуда? Говорили, ты в России!

— Еще в воскресенье я разгуливал по Невскому. И знаешь, Лидка, что самое забавное,— он засмеялся так непринужденно,

---

[1] Слова, выделенные в тексте книги разрядкой, даны в оригинале по-русски. — *Ред.*

будто бы только вчера они пожелали друг другу доброй ночи у заторжанской калитки.— Если бы Казмар знал, что я прилетел сюда на его самолете!

— На казмаровском самолете?

— Ну да, на самолете фирмы «Яфета»; разве ты не знаешь, от вас недавно отправлялась экскурсия в Советский Союз. Так вот, один из экскурсантов заболел тифом и остался в ленинградской больнице. Место в самолете освободилось, они меня и захватили, как земляка. Бумаги мои были в порядке, потому что я как раз ждал самолета на Або.

— А где это, Францек?

— В Финляндии. Но эта оказия меня больше устраивала. А что, думаю, не заглянуть ли на денек в Улы, посмотреть, такая ли все еще Лидушка красавица? — пошутил он, как принято шутить с девушками, насмешливо косясь на нее.

— Ты по-прежнему насмехаешься над людьми? — вспыхнув, отрезала Лидка.

— Конечно, я не стал хвастать перед казмаровцами, что я здесь когда-то работал и что меня тогда выперли. К счастью, Улы — проходной двор, здесь люди быстро меняются. Ни одна душа меня не узнала. Они и не подозревали, какую паршивую овцу везут.

— Это удачно вышло,— немного неуверенно сказала Лида, поправив волосы свободной рукой. Как назло, она надела сегодня самые плохие туфли.

А это был Францек Антенна, это был он, герой того давнего Первого мая. От него исходило молодое беспокойство, от которого за годы семейной жизни Лида уже отвыкла. Но теперь, когда Францек стоял рядом, ее вновь охватила жаркая тревога. Она чувствовала себя почему-то пристыженной: просидела-де за печкой, а Францек тем временем повидал свет.

— Скажи мне вот что,— обратилась она к Францеку,— разве тебе не понравилось в России, почему ты вернулся?

— Понравилось, очень понравилось. Баку — чудесный город, шумный такой, я такие люблю. Нефтяники и моряки. Представляешь, как там весело! Я работал на одном нефтеочистительном заводе, они там называют нефть «черное золото». И женщины там красивые, вот такие,— Францек с видом понимающего человека поднял руки высоко перед грудью.— Только теперь меня ждет дело в другом месте.

Лида минуту колебалась. Но потом все же не выдержала.

— Об Ондржее ничего не слыхал? — спросила она будто ненароком.

Францек покачал головой.

— Я звал его тогда в Ташкент, там было хорошо, там мы отъелись после здешней нищеты, и он писал, что приедет, но вот приехал ли он...— Франсек пожал плечами.— Я потом уехал, с человеком ведь легко разминуться. А что, старая любовь не ржавеет, Лидушка? — поддразнил он ее.

— У меня хороший муж,— просто сказала Лида.— Он не пьет, не курит, в карты не играет, последний грош приносит домой. Он такой добряк, такой добряк! Я не могу жаловаться,— она посмотрела на горы, посиневшие на фоне блекнувшего неба, и слезы наполнили ее глаза.— А ты? — спросила она с легким усилием.— Женат?

Он громко, басовито рассмеялся.

— Я! И не думал. Это не про меня — слушаться жены и нянчить детей. «З а х о ч у — п о л ю б л ю, з а х о ч у — р а з л ю б л ю». Мы не признаем никакой команды, кроме военной,— правильно, м о л о д е ц? — сказал он, обращаясь к Штепанеку, который, обхватив обеими руками свой полосатый мяч, сидел в колясочке, похожий на святого младенца с земным шаром.

— Я вот все смотрю на тебя,— оглядела его Лида,— в чем же ты переменился? Да, где твой чуб? Ты, бывало, так головой вскидывал — чисто вороной; тебе это шло.

— Девочка, в армии бывают вши.

— Ты был в армии?

— Только иду, девушка. В Интербригаду.— Молодцевато повернувшись на каблуке, он пошел рядом с нею. Лида медленно везла колясочку.— Поэтому я еду в Париж и потом дальше. Мы отправляемся в поход на одного парня, зовут его, почти как меня,— Франко, вот мне везет, а? Как утопленнику. Франко — это бандит из Африки, хочет украсть у испанцев республику.

Лиде представилась жгучая брюнетка с высоким гребнем, с красным маком за ухом — вот она отвязывает у пояса желтый цветастый платок с бахромой... И хотя у Лиды не было ни малейших прав на Франсека, она все же почувствовала ревность.

— И охота тебе? В такую даль... И что это вы, мужчины, никак покоя не найдете?

Он показал подбородком на мальчика в коляске:

— Ты, Лидушка, любишь его?

Лида удивленно посмотрела на Франсека.

— А то как же? Ведь он мой!

— Ну, вот видишь, а мы идем на войну как раз ради твоего парнишки.

— Не дури мне голову...

— И не думаю. Тут уж не до шуток. Если мы сегодня сложим руки и будем сидеть, извиняюсь за выражение, на заднице да спо-

койно смотреть на эту заваруху, смотреть, как Франко сбрасывает бомбы на *испанских* детишек, тогда завтра эти бомбы полетят на твоего Штепанека, за это я ручаюсь.

Лида судорожно сжала ручку коляски.

— Ты думаешь, будет война? — голос ее упал.— Мой педавно тоже об этом говорил.

— Да ведь она уже идет,— ответил Францек.— В прошлом году в Африке... Бедняги абиссинцы — духовые ружья против юнкерсов! А в этом году она пришла уже в Европу.

— К счастью, она далеко,— не удержалась Лида.

Францек взорвался.

— Черта с два! Земля — шар. Не знаю, как ты этого не поймешь. В Советском Союзе это соображает любая татарка, а там есть старухи, которые только сейчас учатся читать и писать.

Он взял из коляски мяч и, не замедляя шага, принялся беспокойно перебрасывать его из руки в руку.

— Смотри-ка, Лида,— он остановился перед ней.— Вот видишь, зеленая полоска бежит здесь сверху вниз? И с каждой стороны у нее есть соседка: одна — красная, другая — желтая, а рядом с этой — синяя, и так далее; но наверху и внизу все они сходятся в одной точке. Все связано друг с другом на этом пестром земном шаре. Сколько бы красок тут ни было — это все тот же шар. И не будет покоя, покуда рабочие всего мира не объединятся, попомни мои слова — не будет!

Штепанек крутился под ремнями и протягивал ручонки, требуя свой мяч, и Францеку пришлось вернуть его владельцу.

Черные птицы всполошились, рассеялись по небосклону, с придорожных деревьев посыпались желтые листья: завыла улецкая сирена. Сначала она издала хриплый свист, потом подняла свой визгливый голос над стеклянными кубами корпусов, внутри которых стало видно, как задвигались черные кучки людей; визг сирены подымался над казмаровским небоскребом, над казмаровской каменоломней, над горами и долами, сирена воем рвала воздух. Она плакала, причитала, грозила, выла, предупреждала, заполняя все небо до самого леса, дышащего предвечерней сыростью.

— Давненько я тебя не слышал,— обратился Францек к улецкой сирене.— Вот она, волшебная дудочка «Незмара», под которую все пляшут в Улах.— Он принялся вспоминать о красивых белых пароходах Каспия, груженных хлопком и нефтью, как они дают гудки перед причалом.

Штепанек схватился рукой за свою шейку: «Бедная илена хлипит»,— и разразился плачем.

— Он боится ее крика, бедняжечка, он еще стольких вещей

боится! Он еще не понимает, почему отец рад, когда возвращается с завода.

— А как, работы здесь хватает?

— Теперь опять стало хватать. Сам видишь, сколько народу валит. А почему ты спрашиваешь, Францек?

И Лида подумала: может, он взялся за ум и попробует устроиться здесь?

— Что ж, попробовать всегда стоит,— отвечает Францек.— Может, кто-нибудь и завербуется в Испанию.

— Только не мой! — вскрикнула Лида, будто Францек ударил ее по больному месту.— За это я ручаюсь! Куда ему, нашему папке! Вот глупости-то! Женатый человек...

— Не бойся, Лидушка, я его у тебя не забираю,— с горькой улыбкой бросил Францек и распрощался.

— Заходи к нам! — крикнула она ему вслед.— Гаеки в Заторжанке, не забудь!

Но Францек только махнул рукой в ту сторону, где солнышко закатывается за горы, и толпа людей, валивших с фабрики, разделила их. Шли рабочие в кепках, закуривая на ходу, шли девчата, само здоровье и веселье,— теперь они уже матери,— шла казмаровская молодежь, уже другая, не та, что прежде, а любовь на свете все такая же, неизменная; люди текли, как полая вода, и унесли Францека с его смелым лицом, опаленным солнцем, более горячим, чем то, которое светит в Улах. Он исчез, и осталась за ним только бороздка в толпе, только узенькая стежка в девичьи годы. Ах, Францек, Францек! Если бы только он тогда захотел! Но Лиде с коляской надо лавировать в толпе и хорошенько смотреть, чтобы не проворонить папку. Что делать, для нас уже миновали годы безумств... Францек отроду был горячая голова — стоит ли принимать всерьез его страшные речи?

Маленькая семья шагает в тишине садов. В Заторжанке ко многим фруктовым деревьям приставлена лесенка, под ней — корзинка, трепещут ветки, склонившиеся от тяжести плодов. Папа помог Лиде втащить коляску в гору; ах, он такой добряк! Но почему никогда не достается нам тот, настоящий, самый желанный?

Только солнце закатилось за горы — и вот уже чувствуется, как лето целуется с зимой, недаром все сливы запотели. Как бы Штепанек не простыл! Кухня у Лиды в порядке, как и совесть. Огонь сейчас же будет разведен.

— Да, слушай, папа,— говорит она, озабоченно наморщив лоб,— завтра не забудь снять сливы. У соседей уже снимали.

Настают холода, и приятно будет гнать сливовицу и варить рябиновку. Обе так хорошо согревают молчаливыми зимними вечерами.

АЛИНА

Алина — женщина многих фамилий, и потому умнее будет не называть ни одной из них — переменила девять профессий: играла на провинциальной сцене, снималась в фильмах в качестве статистки, была натурщицей, а начав толстеть, обнаружила в себе художественную жилку и занялась шитьем голенастых кукол (их ненавидел Станя), смешных зверюшек и разных талисманчиков на счастье; предприимчивая Алина торговала косметическими средствами, привезенными из Америки, куда она уехала от своего второго супруга, директора Кунеша, со своим третьим мужем, инженером (они вместе строили там железную дорогу); в свободное время Алина флиртовала с индейцами и писала об этом занятные репортажи в чешские газеты, чтобы в Праге о ней не забыли; эта пресловутая Алина теперь — владелица фотоателье, где встречаются все самые знаменитые *кунштыри* [1] (ее выражение). Алина выдохнула дым, отложила папиросу и, опираясь полной холеной рукой с модным браслетом на мраморный столик кафе, проводила насмешливым взглядом Станю и Тихую, которые поздоровались с компанией и, уклонившись от приглашения, вместе вышли из кафе.

— Прямо голубочки,— сказала она, подражая простонародной манере речи,— ей-богу, как два голубка! Только дудки — никто не выдержит такого бега *на длинную дистанцию.*

— А ну-ка, вмешайся, Алина,— поддразнили ее за столом.— Тебе это — раз плюнуть. Покажи свое искусство.

Алина наморщила нос.

— Они еще не созрели,— отозвалась Алина тоном знатока и задумалась. Она следила за любовными делишками всей артистической Праги: кто кем интересуется, кто за кем начинает ухаживать, кто с кем дружит, кто кому надоел. Она сделала призванием своей жизни — разводить старые и сводить новые пары. Чем чаще в последнее время ей не удавались собственные интрижки, тем успешнее она занималась чужими; как и все мастера, она облекает свое искусство покровом непроницаемой таинственности.

— И вообще,— продолжает она,— этот случай меня не интересует. Кельнер, еще виски!

Вскоре после этого Станя, придя к Власте, застал у нее не более и не менее, как самое Алину с фотоаппаратом. Она явилась, чтобы заснять кадры из личной жизни актрисы для иллюстрированного журнала. *«Элегантная и простая, пани Власта Тихая встретила нас в своей уютной квартире».* (Круглый столик, тор-

[1] Художники (искаж. *нем.* «Künstler»).

шер.) *«Наша знаменитая драматическая актриса нежно ухаживает за своими цветами».* (Власта с лейкой, грациозный наклон головы, скромный воротничок.) *«Трагедийные актрисы тоже бывают веселыми».* (Власта в профиль, дразнит прутиком рассерженного попугая, тоже в профиль.) Короче, тот, кто просматривает иллюстрированные журналы, живо представит себе эти снимки.

— А раз уж вы, к счастью, здесь, доктор,— решила Алина,— подсаживайтесь-ка вот сюда к пани Тихой, я вас щелкну вдвоем. Вы ведь тоже принадлежите ей.

«Как попугай и фуксии — благодарю»,— подумал Станя.

— Да что же вы важничаете,— наседала на него Алина.— Это нехорошо с вашей стороны по отношению к Власте. Если хотите знать, я вас уже поймала, отдельно. Слушайте, вы страшно фотогеничны.

— Иди сниматься в кино вместо меня,— улыбнулась Власта. Про себя она знала, что не подходит для съемок, и это было ее больное место. Ах, это несчастное «Свадебное путешествие»!

Визит расстроил обоих любовников, но Алине это было в высшей степени безразлично, и со свойственной ей непринужденностью она угощала Станю Властиными конфетами («Подсластите-ка себе жизнь, дорогуша!») и Властиной можжевеловой настойкой («Пейте, доктор, пейте, чтоб настроение поднялось. Скажите, вы всегда такой серьезный?»).

Все в этой женщине было противно Станиславу: ее огромный бюст, ее жадные, знающие губы, то, что она называет его «доктор», что она разыгрывает хозяйку в квартире Власты. Куда она ни вотрется, сейчас же начинает кому-нибудь покровительствовать! И что это Власте в голову пришло — пообещать Алине от имени обоих (даже не спросила Станю!) прийти после спектакля в «Розовую шляпку», куда та их горячо приглашала; там будет вся ее компания. Когда Алина наконец поднялась, Станислав опрометью бросился за шубой почтенной дамы и еще в комнате с нескрываемым удовольствием помог ей одеться.

Алина была не дура.

— Ух, как он спешит,— ехидно улыбнулась она,— спешит скорей меня спровадить. Ну, не буду мешать доктору. *Счастливо оставаться,* будьте здоровы.

После ее ухода в комнате остался запах духов, такой же назойливый, как и эта женщина. Станя подошел к окну и открыл его.

— Перестань,— тянула его за рукав актриса, хохоча за спиной Стани, как уличный мальчишка.— Она увидит тебя с набережной! Станя! Не дури. Ты ужасен!

— И буду ужаспым,— заявил Станя, с глубоким убеждением.— Власта, ради самого создателя, где ты с ней познакомилась?

— Ну, эту все знают,— смеялась Власта.— Что ты хочешь — реклама. Но ты обошелся с ней жестоко. Этого нельзя делать. Алина сильна.

— Такая дура-то?

— Где бы и с кем бы она ни была знакома — во все лезет, а язык! От меня мокрого места не останется,— сказала Власта. И добавила уже серьезно: — Зачем наживать себе врагов?

Станя уже знал эти Властины «премудрости» и, где мог, искоренял их. Они пробуждали в нем неясные опасения.

— Прости, но это значит, что любая сплетница может держать тебя в руках.

Артистка обиделась:

— И держит! Думай обо мне что хочешь. Я бы хотела, чтобы ты провел хоть одну неделю в театре, увидел бы тогда, что это за качели и как надо смотреть в оба, чтоб тебя с них не сбросили! Ты — ребенок. Ни о чем понятия не имеешь. Я ведь тоже не касаюсь твоей библиотеки. А если не хочешь идти в «Розовую шляпку», скажи прямо, я отправлюсь одна, и дело с концом.

— Тебе со мной уже скучно, да? — с несчастным видом проговорил Станя.

Артистка прижала ладони к вискам.

— Не говори так! Нельзя же так говорить! — повторяла она, шагая по комнате и морщась, как от физической боли.— Боже мой, Станя, что мне с тобой делать! Ты был бы чудесный парень, если бы не был такой нелепый. Нет, нет, не сейчас, мне уже пора идти, смотри, сколько времени,— уже половина, а сегодня первый выход мой. В театр приходишь взвинченной...

«А все эта проклятая баба»,— подумал Станя.

В «Розовой шляпке» за Алининым столом сошлось обывательское общество. Исключение составляли два живописца, которые в общем мало обращали внимания на всю компанию, интересуясь главным образом танцами с местными барышнями, как, впрочем, и присутствовавший здесь редактор Влах, коллега Стани по «Утренней газете». Молодые щеголи робели в присутствии актрисы. Ученически правильным чешским языком, в котором им было тесно, как в неразношенных ботинках, они спрашивали, что хорошего репетирует сейчас пани Тихая и в какой новой роли они будут иметь счастье ее увидеть. Алина вмешалась в этот разговор.

— Женщины отдельно, мужчины отдельно — не годится, не годится,— хлопотала она.— Сидим, как в деревенской церкви. Ну, такова уж похвальная привычка чехов. Франта, ты же большой поклонник Власты Тихой.

Рослый мужчина в расцвете лет, полный, но не обрюзгший, в хорошо сшитом костюме, с самоуверенными манерами, медленно улыбаясь, показал великолепные зубы и, спросив разрешения, пересел к актрисе. Как у всех полных людей, у него были ленивые, под тяжелыми веками, глаза; от некоторых шуток актрисы они вспыхивали, как две сигары во время затяжки. Он сидел чуть-чуть позади Тихой, и актриса, разговаривая, поворачивала к нему свою очаровательную головку. Рядом с этим человеком, походившим на глыбу, Власта выглядела как изящная статуэтка.

Фамилия Кунеш ничего не говорила Стане, и он спросил коллегу из «Утренней газеты», кто это.

— Да бывший муж Алины. Спиртозаводчик. Заседает также в правлении Большого театра, разве вы не знаете? А вон та дама в черном,— Алина как раз дает ей прикурить,— это его теперешняя жена.

— И они часто так встречаются? — по-детски спросил Станя.

— Конечно,— ответил редактор Влах, удивленный невинностью вопроса, и добавил с улыбкой: — Алина давно простила ему свою собственную измену.

«И надо мне было сюда соваться»,— подумал Станя. Этот снобизм был ему противен. Расходиться — так уж навсегда: в открытой враждебности есть, по крайней мере, хирургическая чистота. Впрочем, ее, конечно, нечего искать в барах. Вокруг залитого вином столика Алины лепятся все эти затасканные, перепутанные отношения; кто захочет их распутать — испачкает руки.

И отчего все принуждают себя делать вещи, не доставляющие им никакого удовольствия! Будто бы наперед уговорились: сегодня будем веселиться,— а веселья-то, несмотря на выпитое, нет как нет. Власта смеется с директором Кунешем — никогда, даже на сцене, Станя не слыхал, чтоб она так искусственно смеялась. Пани Кунешова восторженно заявляет, что не тронется отсюда до утра,— а сама, подавляя зевоту, украдкой следит за своим мужем и артисткой. Не бойтесь, пани Кунешова! Что может быть общего у Власты с этим старым хрычом! Алина, видимо, от разочарования пьет, как губка. Говорят, она была красивой (трудно поверить!), пока не отправилась в Америку, а вернулась развалиной, но наглой развалиной! Что это Власте в голову пришло — пить на брудершафт с этой особой! Станислав не мог смотреть, как целуются две женщины: это зрелище как-то физически оскорбляло его. Но ничего не поделаешь, Станя, угроза нависла и над тобой! Алина уже стоит над ним с рюмкой в руке, безобразно пьяная, предлагая ему брудершафт. Станя еще не успел ничего сказать, как в тот же момент она влепляет ему поцелуй, вызвав взрыв шумного веселья у всей компании и мучительное замешательство

молодого человека. Кто еще немного соображает, тот чувствует себя неловко рядом с теми, кому вино уже бросилось в голову!

— Станя, мальчик ты хорошенький! — орет на весь зал Алина.— Ты не хочешь иметь со мной дела, потому что я наклюкалась? Плюнь, это случается и в лучших семьях. Ах, бросьте его! Он же настоящий *пай-мальчик!* У него чудная *детская комната,* а мы тут все — грубияны! Я знаю, твоя маменька воспитывала вас по-барски, в таких семьях нельзя говорить: «У меня гусиная кожа», в таких семьях надо говорить: «У меня лебединая кожа»!

Станя невольно засмеялся.

— Видишь, как тебе это идет,— ликовала Алина,— у тебя такие хищные зубы! (Артистка каталась со смеху.) Станя, мальчик ты прехорошенький, попробуй-ка со мной, я тебя позабавлю. Не пожалеешь!

А ведь она, видимо, вовсе и не была такой развратной, как притворялась; и это было отвратительнее всего.

— Сударыня, не сердитесь,— сказал ей Станя прямо в лицо, так как она повисла у него на шее,— но вы мне совершенно не нравитесь.

Алина ко многому привыкла; чтобы не портить настроения, она первая присоединялась к тем, кто высмеивал ее. Но это было уж слишком. Погоди, ты у меня еще попляшешь!

ПОЛОСА НЕУДАЧ

Влах, редактор культурного отдела «Утренней газеты», просил Станю зайти, когда тот понесет свою статью в набор. Станислав, как внештатный сотрудник, обязан был сдавать свои рукописи в редакцию. Но с театральными рецензиями в газетах всегда спешка, Станя сдавал статьи в последнюю минуту, Влаха в редакции никогда не было — такова уж особенность всех редакторов культурных отделов,— и потому Станислав всегда проходил прямо в помещение, где было душно от запаха свинца, и там, среди наборщиков, пробегающих с набранными полосами, под гул и сотрясения невидимых машин, отдавал рукопись прямо метранпажу Клусачеку. Метранпаж Клусачек, в своем фаустовском халате, с шилом для литер в руке постоянно сердился на всю редакцию, не исключая и внештатных сотрудников. Каждый из этих господ пишет, что вздумается, им-то что, а вот как Клусачеку втиснуть все это в одну полосу? Но все же это чудо ему каждый раз удавалось, и Влах читал критические статьи Стани уже сверстанными — если он их вообще читал. В редакции Стане давно доверяли. Но если

Игра с огнем

вас вызывают для разговора,— вряд ли это означает, что вам хотят сообщить о повышении гонорара, что Станя, надо признаться, искренне приветствовал бы. В последнее время у него было много хлопот, и он, напряженный и ожидающий, вошел в редакторский кабинет, украшенный фотографиями приятелей Влаха по кутежам. В кресле, около письменного стола, сидела незваная молодая посетительница — явление, характерное для всех редакций. Влах довольно холодно попросил ее на время перейти в соседнее помещение (то есть в коридор), так как у них с коллегой будет совещание. Молодая дама послушалась, хотя и неохотно.

Влах с любезностью хозяина дома (совершенно не тот Влах, что в кафе) предложил Стане кресло и сигарету, закурил сам и сделал долгую, хорошо рассчитанную затяжку. Гамза, конечно, располагает свободой критики в своей театральной рубрике. Влах далек от того, чтобы вмешиваться. Он только хочет по-дружески предупредить коллегу. Он особо подчеркивает, что то, о чем пойдет речь, не является его, Влаха, личным мнением, ему было только поручено передать мнение пана главного редактора.

То, что «старик» превратился вдруг в «пана главного редактора», не предвещало ничего хорошего. Станя с напряжением, несколько скрашенным злорадством — как это Влах выкрутится из своего запутанного предисловия,— ожидал, что из всего этого наконец получится.

Пан главный редактор также весьма ценит критическую деятельность доктора Гамзы и уважает ее. Однако он все же вынужден попросить Гамзу хорошо взвесить то, на что уже многие читатели обращали внимание в своих письмах в редакцию: не слишком ли часто появляется в театральных статьях «Утренней газеты» имя Власты Тихой?

— Ну, это уж слишком,— вскочил Станислав.— Что ж мне, молчать о ней, если она играет?

— Но когда она не играет,— тонко заметил Влах,— критик нашей газеты постоянно спрашивает, почему ей не дали такой-то и такой-то роли, и правление театра уже задумывается над этим. Недавно мне позвонил их секретарь...

— Правление театра! Сказали бы лучше — депутат Мацоун,— вспылил Станислав.— Давайте говорить начистоту. Вы намекаете на «Женщину с моря», правда ведь? Эту роль дали Ковальской, потому что вмешался Мацоун. Ладно. Такие вещи в театре случаются. Это грустно, но мы не дети. Если бы Ковальская была стоящей актрисой, если бы ее игра что-то дала искусству, я первый признал бы это, невзирая на неприятную подоплеку и на прочие... товарищеские отношения. Но ведь она провалила пьесу! И это в унисон твердят газеты. За исключением «Зеленого

листка», конечно. Читали вы все эти статьи? Видели вы Ковальскую?

— Я не хожу на такие пьесы,— улыбнулся Влах.— Послушайте, друг мой. Вы напрасно волнуетесь. От вас ведь ничего другого не хотят, только чтоб вы немножко умерили свои симпатии — вы знаете к кому...

Станислав усмехнулся про себя. Не упрекала ли его еще позавчера Власта в том, что каждый на его месте пропагандировал бы ее, а Станя, когда ему в ней что-нибудь не нравится, пишет и об этом, будто она ему чужая?

— ...и, короче, сохранили бы декорум,— договорил Влах.

— Какой там декорум,— разозлился Станя,— критик говорит открыто то, что думает.

— Ну, и иногда перебарщивает,— улыбнулся Влах.— Сами понимаете, для нашей газеты этого не требуется.

— Пожалуйста,— ответил Станя,— я немедленно отказываюсь от сотрудничества.

— Ну, ну, зачем же так, с бухты-барахты! Перед тем как есть, кашу остужают,— успокаивал его Влах.— Подумайте об этом. У вас обязательство до конца месяца, и заявление об отказе вам надо подать письменно.

— И подам письменно,— возразил Станя.— Счастливо оставаться.

Он собрался и ушел. Дома без рассуждения написал письмо главному редактору и сейчас же отправил его по почте. Сделав это, он почувствовал облегчение, как после бури. Ничего, пусть что-то и разбилось. Зато воздух стал чистый.

В тот вечер он не нашел в себе мужества рассказать Власте о своем уходе из редакции. Какой-то странный стыд мешал ему сделать это. «Из-за тебя меня выкинули» — так, что ли, должен был он сказать? Она достаточно быстро узнает об этом! Он рыцарски молчал; но в каждом человеке остается зернышко ребячества, и Станя очень нуждался в том, чтобы Власта его приласкала и побаловала за то, о чем она и знать-то не могла, а у Власты, как нарочно, в тот раз снова был неласковый день. (В последнее время таких дней стало больше, она не позволяла Стане дотрагиваться до себя даже тогда, когда не было никаких премьер.) Артистка приняла Станю за баррикадой цветов, искрясь злым весельем.

— Как она красива,— произнес Станя, чтоб начать разговор, и коснулся расцветшей ветки азалии.

— Это — от Кунеша,— вызывающе бросила Власта.— Надеюсь, тебя это не задевает.— Последнюю фразу она сказала с таким раздражением, что Станя удивленно взглянул на нее.

— Если б меня это задевало, я давно бы сошел с ума с твоим театром.

— Ты не ревнив,— едко возразила Власта.— Тем лучше, я тоже не ревнива. Только, пожалуйста, оставь мою руку. Я этого не выношу.

Она была такая странная и чужая, что Станя спросил:

— Что-нибудь случилось?

Власта вперила в него свои совиные глаза.

— Дело в том, что я знаю все,— сказала она.

— От кого? — удивился Станя.— Ты разговаривала с Влахом?

— С Влахом? — обиженно повторила Власта.— Нет, дорогой мой, я знаю все из первоисточника. К твоему сведению, у меня была Алина. Вот почему ты не хотел, чтобы я с ней встречалась!

— При чем тут Алина? — удивился Станислав.

— Ты еще спрашиваешь? — крикнула вне себя актриса.— То, что ты любишь показать характер, это я знаю давно...

— Власта!

— Но что ты такой лицемер, я все же не предполагала. И главное — что у тебя такой жалкий вкус. Если б еще это была молоденькая девчонка,— я поняла бы, но такая старая безобразная баба!..

— А ну, ну, выкладывай! — подстегивал ее Станя, который начал соображать, в чем дело.— Что она тебе наговорила?

— Сегодня утром прилетела ко мне вся сияющая,— дескать, все же *«затащила его к себе в постель»* — это ее слова — и надеется, что меня это не заденет, и я, конечно, сказала ей, что ни капельки не заденет,— одним духом проговорила Власта и вдруг разразилась безутешными слезами.

Ах, эти женщины! Эти женщины! Посмеяться бы только — да какой смех, когда тебя охватывает бешенство!

— Да я на нее в суд подам! — вскипел Станислав.

Власта подскочила как ужаленная.

— Ты с ума сошел! Вот он, весь ты. Ради бога, прошу тебя, не будь смешным.

— Так чего же ты хочешь? — спросил Станислав.

Власта не выносила прямых вопросов и вместо ответа обхватила Станю за шею; но тут, к несчастью, вспомнила:

— Постой, постой, а что это ты сначала сказал о Влахе?

Делать нечего, пришлось выложить все, что произошло в редакции. Актриса была убита решением Стани.

— Но ты не должен был этого делать! Ты дал себя спровоцировать! Все это, без сомнения, можно было как-нибудь уладить. Это же совершенная глупость! Что теперь будет? Теперь там засядет какая-нибудь креатура Ковальской,— упрекала она Станю.

— Ну вот! Ко всему прочему меня же и ругают! — вздохнул Станя.— Милая Власта! Царская служба — тяжкая служба.

— Но ты ни к чему не относишься серьезно,— сетовала актриса.

— Ты думаешь? — ответил Станислав.

МИТЯ ПУТЕШЕСТВУЕТ

— Я не поеду из Горького,— объявил Митя, и губы его задрожали.— Я должен сторожить нефтехранилище.

И он упорно смотрел матери в глаза, ожидая ответа, как делал всегда, когда что-нибудь выдумывал. Конечно, такого утверждения он не сделал бы в детском саду! Вася и Таня посмеялись бы над ним.

Электростанция автозавода, где служил Тоник, работала на нефти, которую привозили из Астрахани водой; нефть перекачивали из танкера по трубам в хранилище. Около этого гигантского белого резервуара недвижимо, как памятник, стоял красноармеец с винтовкой. Его темный силуэт на фоне солнечного неба был хорошо виден издалека. Это был славный воин, и Митя не знал более благородного занятия, чем стоять на страже с оружием в руках и охранять нефтехранилище, куда ребят даже не подпускают.

А обычно Митя был капитаном самого большого парохода на Волге и одновременно гудком. Он так гудел, что мама зажимала уши, когда вечером вела его домой из детского сада.

Теперь Митя — машинист. Он сидит у окна вагона, держит ремень, с помощью которого опускают стекло, и, управляя паровозом, везет папу с мамой в Прагу. Что-то поделывают без Мити кролики в живом уголке! Один серебристый кролик, бывало, как завидит Митю, так прядет ушами. Зверек уже знал его, знал, что Митя ему приносит капустку, и бегал за ним, как собачка. Хоть бы этого серебристенького взяли с собой.

На память о детском саде Митя получил красивую яхту с флажком. Ему ее подарили товарищи, с которыми он лепил львов и верблюдов из цветного пластилина, ухаживал за живыми зверьками, поливал горошек, пел и танцевал в хороводе под баян. Вася выдолбил остов из кусочка дерева, из которого делают плоты, Петя морил это дерево, чтобы оно не пропускало воды, а Сережа смолил киль и борта; Николенька красил готовое судно, а Таня кроила паруса под руководством своего папы — рабочего на автозаводе, который служил матросом во время мировой войны; нитки она продела в петли, прикрепила паруса, и их можно было по-настоящему убирать. В довершение всего у корабля был самый настоя-

щий руль. Отец с Митей испытывали яхту в последний день перед отъездом, и она прекрасно плавала. Мама осторожно уложила подарок рядом с папиной готовальней в чемодан, облепленный круглыми и треугольными картинками, которые не позволяют отдирать — даже если уголок сам отлепляется,— а то нашлепают по рукам! Скршиванеки влезли в огромный, как для великанов, вагон, в котором было душно и темно от решетчатых ставен на окнах,— и поехали. Митю очень забавляло, что из сиденья на ночь делают постели. Папа вспрыгнул на второй этаж, протянул руки, мама подала ему Митю, и Митя оказался высоко-высоко, как на нефтехранилище. Но скоро ему пришлось опять слезать вниз к маме, а то ночью, во сне, он мог свалиться.

И они ехали и ехали по необъятной русской земле: зеленели всходы, была весна, и березки стояли такие светленькие... Они видели, как дымят заводы, как маршируют красноармейцы, видели плотников на стройках и детей, идущих в школу, и мальчиков в косоворотках, пасущих пестрых коров, и комсомолку за трактором, а иногда по проселочной дороге, прямой, как черта под папиной линейкой, тащилась телега — у лошадки над шеей была дуга, и лошадь тащила телегу прямо в небо. А Митя был машинистом и вел паровоз. Ехали да ехали и наконец приехали к таким воротам с серпом и молотом, на которых было написано: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Митя не умел еще читать, но эту надпись узнавал сразу, как знакомую картинку. Здесь Скршиванекам предстояло пересесть в другой поезд. Папа сказал: «Елена, граница»,— и мама надела Мите пальто, хотя Митя брыкался и кричал, что ему будет жарко. Папа ничего не сказал, он пропустил маму вперед, она сошла, и он подал ей из вагона сначала Митю, потом чемодан, облепленный картинками, которые не разрешают соскребывать ноготком, даже если у них отлепляется уголок, и еще один чемодан. К большой радости Мити, мама не смотрела в его сторону, и он побежал по шпалам за веселым ветерком. Красный флаг трепетал, на границе было хорошо, как в деревне, светлые березы махали ветками, каждый листочек тоже хотел убежать, но тут папа поймал сынишку, и не спрашивайте, пожалуйста, как досталось проказнику! Но Митя не плакал, он боролся с папой, только папа победил.

Когда новый поезд тронулся, Елена и Тоник стали рядом у окна, держа в руках ребенка, чтобы и он видел, и смотрели назад — на деревянный домик у леса, на красный флаг над светлой березовой рощей. Они оглядывались на свой медовый месяц, на отвагу и трепет молодых начинаний, когда Тоник с циркулем, а Еленка со стетоскопом отправились в новый мир, помогать перестраивать старинное купеческое гнездо в соцгород. Спасибо, спасибо! Хорошо там было. Правда, товарищ! И они пожали руки за Митиной спи-

ной, будто снова клялись в верности. Поезд медленно проехал воротами, через которые они проезжали когда-то вдвоем, а теперь везут с собой сына, и пограничная станция скрылась из виду.

— Митенька,— сказала тогда мама,— никогда не забывай, где ты родился. В самой отважной стране на свете. И сам всегда будь отважным, ладно?

Она держала его у окна и, разговаривая, дышала ему на затылок. Мите было немножко щекотно, и он повернулся, посмотрел маме в лицо — не смеется ли она, ведь она так любила смеяться. Но мама смотрела на него сверху серьезными глазами. Мите это понравилось. Он задумчиво вздохнул, потянулся от смущения и сказал:

— Ага.

По поезду ходил военный, но уже не красноармеец, а польский солдат, он копался в чемоданах пассажиров. К удивлению Мити, мама сама заранее открыла чемодан, облепленный картинками, которые нельзя соскребывать. Солдат отвернул мамин докторский халат, открыл папину готовальню — сердечко Мити так и екнуло: что, если он заберет корабль? Но солдат налепил на чемодан новую бумажку, между круглой картинкой и треугольной, которые нельзя соскребывать, отдал честь и ушел. Когда опять остались в купе, мама высунула уголок какой-то книжки из глубокого кармана своего дождевика, глазами показала отцу на книгу, опять ее спрятала и улыбнулась. Что здесь было смешного? Большие иногда такие чудаки!

Папа посмотрел на часы, завел их и переставил стрелки на два часа назад. Когда на автозаводе в Горьком гудок гудит полдень — у бабушки в Праге еще только десять часов утра, и дети в школе вынимают бутерброды на завтрак. Но это еще что, а вот когда у нас ночь и Митя должен ложиться спать,— тогда в Австралии утро, и дети как раз идут в школу. Все потому, что земля крутится вокруг солнышка; но этого Митя как следует не понимал.

А поезд ехал и ехал и выговаривал вместе с Еленкой: прерия-пампа-пустошь-степь. Прерия-пампа-пустошь-степь. Стаи птиц снимались с места и взлетали в воздух, табуны коней разбегались при виде поезда, кое-где в одиночестве размышлял аист. Он и в самом деле стоял на одной ноге, как в Митиной книжке с картинками. Как будто потерял одну калошу. Недавно прошли весенние ливни, польская река выступила из берегов и затопила луга по обеим сторонам насыпи; верхушки ольх и верб, как кустики, возвышались над гладью воды. Мама рассказывала Мите о всемирном потопе, о зверях, спасшихся в Ноевом ковчеге, а папа — о том, как инженеры и рабочие укрощают большую воду, чтобы она не вредила людям, а работала бы, раз уж в ней такая сила.

— А большая вода не сердится? — спрашивал Митя.

— Не сердится,— сказал отец,— воде это не трудно.

Он оглянулся с жестом, хорошо уже знакомым Еленке, нашел картонную коробку из-под печенья и вытащил нож, свой чудотворный нож, при помощи которого он уже столько раз вскрывал скорлупу познания для своего маленького сына, и вырезал, согнул из толстого картона турбину с лопастями. Он надел ее на палец и дал повертеть Мите. Тоник так любил играть! Он не выносил безделья, беспрерывно что-то мастерил, что-то изображал. И удивительно, где бы он ни был, везде он тотчас находил материал для своих моделей. Однажды он соорудил Мите парашют из шелкового платка Еленки. Обоих бы наказать по заслугам. Только оставь вас одних... Еленка сердилась лишь для видимости, а сама-то гордилась обоими своими мальчишками, и они, бездельники, хорошо это знали. Она никак не могла дождаться, когда приедет домой и «представит» родителям Митю. «Я все ожидаю чего-то радостного»,— говаривала она Тонику. Он любил ее за это, за ее ясные глаза, которыми она смотрела на мир. «Это — божий дар»,— сказал он ей как-то. «Ну, нет — всего лишь правильный обмен веществ»,— отвечала Елена. Она любила кощунствовать; несмотря на материнство и диплом врача, в ней осталось что-то от школьницы-выпускницы. Нет, она не страдала сентиментальностью и сама была удивлена тем, как тронул ее первый чешский проводник, который прошел по вагону со своим свистком и фонариком и по-чешски спросил у них билеты.

Позади остались города, Горький из белого камня, Москва со своими церковными маковками, с Лениным в стеклянном гробу; позади — путь Наполеонова бегства, позади — Брест-Литовск конца мировой войны, позади — день, полный травы, болот, разливов, позади — галаптная Варшава. Ночью переехали две богатырские реки, экспресс прогрохотал во тьме над Вислой и Одрой, мостовые конструкции прогудели над спящими пассажирами, утром их разбудила заря катовицких домен. За ночь земля уменьшилась, простор сжался, горизонт сомкнулся теснее, оброс горами, все измельчилось, всюду даль стала ближе, и — вот, Митя, мы и дома, в Чехословацкой республике.

Мальчик, прижав к стеклу нос, смотрел в пасмурное утро.

— Зачем у них здесь эти виселицы, зачем? — спрашивал он.

Родители улыбнулись.

— Да это не виселицы, это подъемные башни.— И отец стал ему рассказывать, как горняки в клетках спускаются в шахты и рубают уголь. Митя прервал его:

— Этот барашек пасется в Чехословакии?

Мать кивнула, и Митя обрадовался — барашек ему понравился, и он немедленно забеспокоился о нем:

— А что, если барашек забежит в Польшу? Как бы его в *Катовицах* не обидели!

Это название почему-то пугало Митю. И всю дорогу у него был полон рот хлопот с границами. Как узнаю́т, что мы уже в другой стране, если вокруг нее нет забора? И если не видно ни солдат, ни флагов? Всюду трава зеленая, небо, голубое или серое, коровки пестрые, везде на домиках — крыши, а у людей нос между глаз, и везде маленьким мальчикам скучно в поезде. И Митя начинал потягиваться и вертеться, убегал в коридор, заглядывал в чужие купе — особенно когда пассажиры ели, будто он был голоден,— обязательно желал съесть кусок шоколаду, упавший на грязный пол, мешал разговаривать родителям и добросовестно старался где-нибудь прищемить себе пальцы,— словом, действовал в точности так, как и все порядочные маленькие мальчики в поездах. Мать пыталась привлечь его внимание к окну. «Митя, аэроплан!» Отец показывал ему на фюзеляже самолета государственные цвета.

— Он летит над Чехословакией? — снова заволновался Митя.

— Да,— весело сказала мама.— Знаешь, Митя, когда мы здесь проезжали в последний раз, ты еще прятался в капустке.

— И вам без меня было скучно? — спросил Митя и удивился, почему папа с мамой смеются.

К полудню погода разгулялась, Чехия цвела, была весна, Еленка не могла от окна глаз оторвать. Боже, какое здесь все кроткое и милое! Вот речка — курица вброд перейдет, вот долинка с леском, ее всю заполнили несколько скаутских палаток, вот маленькие синие горы на горизонте —они никого не давят, и как близок путь от станции к станции по мягко-волнистой земле! Где они, астрономические дали русской равнины? Крестьяне, будто сошедшие с картин Алеша, ходят пешком друг к другу в гости из деревни в деревню. Сколько извилистых дорог и тропинок пересекают слегка изрезанную местность — здесь, у подножия древних замков, густо жили и люди и деревья. Еленка увидела то, чего не видела никогда раньше, пока жила здесь,— увидела край, издавна обрабатываемый и культивируемый, любимую землю Отца родины, утеху Манеса. Россия — земля-мать, Чехия — девушка. Черешни стояли в девичьей фате и смотрели из-за заборов миллионами цветочков, пчелы святого Прокопа летели к ним, яблони чешских братьев-садовников путешествовали вдоль дорог, по всей Чехии, как процессия подружек на свадьбе, тянулись цветущие сливы, а поезд напевал одну за другой все весенние школьные песенки. Интернационал был для Еленки святыней; но когда возвращаешься на родину, тебя хватает за душу. Ян Амос Коменский в шапочке, напоминающей букву «о», смотрел с первых спичечных коробок, купленных на родине, и зачарованный экспресс будто мчался

по Бабушкиной долине, хотя мы и знаем, что туда не проложена железная дорога.

— Вот! Вот! — вскрикнула Еленка.— Митя, видишь ту красную крышу? — Она показала из окна мчащегося поезда на нехлебский деревянный дом, выглянувший из-за деревьев.— Там жила мама, когда была маленькой,— сказала она с трепетом, которого и сама не ожидала.

Прежде чем Митя сообразил, в чем дело, Нехлебы скрылись.

— Вон в этом маленьком красивом кремле? — с интересом спросил он, показывая раскрашенный игрушечный деревянный замок в саду начальника станции, выстроенный будто для лилипутов. Митя сам был мал, и ему нравилось все маленькое. Но прежде чем он договорил, и замок пропал из виду.

Митя задумчиво вздохнул и вдруг ни с того ни с сего браво спросил:

— Папа! А если бы на рельсах был кит, а против него ехал бы паровоз,— как ты думаешь, кто бы победил, кит или паровоз?

— Никто,— ответил отец, к большому разочарованию Мити.— Паровоз переехал бы кита, но и сам бы сошел с рельсов.

— И глупым был бы кит, если б полез на рельсы,— заметила мать, а таких обидных намеков Митя не любил.

— Постой! Не трогай меня,— сказал он, откидывая головку, хотя мать и не думала его трогать.— Папа, а вот если бы кто-нибудь из них мог победить — кит или паровоз,— то ты за кого бы был?

Перед самой Прагой Еленка умыла Мите лицо и руки, хотя он и упирался и, подобно всем порядочным маленьким мальчикам, отстаивал свое право быть грязным. Она пристегнула ему чистый воротничок, чтобы он был красивый, когда в первый раз в жизни покажется дедушке, пригладила щеткой ему хохолок так, как, по ее мнению, ему больше было к лицу,— короче, произвела ряд безрассудных действий, свойственных всем тщеславным маменькам, над которыми она так смеялась, когда была еще дерзкой молодой девчонкой. Ну что ж, времена меняются, а с ними — и люди. Митя в самом деле стал как кукла.

— И ты думаешь, что довезешь его в таком виде до вокзала? — бросил Тоник, оглядев сына, чистого, как стеклышко.— Вот это я называю оптимизмом.

— А ты погоди,— лукаво ответила Еленка. И принялась рассказывать сыну старинную легенду о том, как Хрудош возмутился против власти женщин. Это очень понравилось Мите. К общему удивлению, он не захотел ни пить (и облиться), ни есть (и накрошить на пальтишко), ни кататься на ногах по вагону (и измазаться, как трубочист). Он сидел, как прикованный, и слушал не

шевелясь. Зато у Еленки пол так и горел под ногами. Последние полчаса невыносимы. Мысленно вы уже обнимаетесь с дорогими вам людьми,— сколько лет не виделись! — говорите им взволнованные слова, какие в действительности никогда бы не произнесли. Вас охватывает глупое опасение, что, пока вы едете, они уйдут с вокзала, где тщетно ждут вас и куда вы, видно, никогда не доберетесь, и вообще, как бы все куда-нибудь не исчезло. Все становится вдруг таким ненастоящим. Душой вы уже в Праге, а телом — в предместье, перед Высочанами. Что этот поезд делает? Могучий Бивой давно уже связал кабана, Горимир на своем коне Шемике соскочил с вышеградской скалы и переплыл Влтаву, только поезд — ни с места, стоит и не трогается! Тут уж нестерпимо хочется открыть двери, выскочить наружу и побежать подталкивать паровоз. Но поезд, с ехидством, свойственным всем поездам, которые непременно уезжают из-под носа, когда опоздаешь на одну минуту, но зато совершенно не торопятся, когда ты сидишь как на иголках, все никак не раскачается, никак не тронется. У Еленки уже иссякает запас легенд, а у Мити — терпение. Наконец! Слава богу! Звоните во все колокола! Поезд дернулся, двинулся и пошел. Он проехал мимо строек, труб, лесов, балконов, неприглядной изнанки города, проехал мимо пожарной стены доходного дома. На этой стене были нарисованы двое детей сверхчеловеческого роста: синий полосатый мальчик и розовая полосатая девочка, совершенно счастливые, идут купаться в купальных костюмах фирмы *«Казмар — «Яфета» — Готовое платье»*.

— Ой, какие хорошенькие! — вскрикнул Митя, высунулся из открытого окна, и — пожалуйста — в глаз влетел уголек. Митя, конечно, в рев.

Мало есть вещей, более мучительных для врача, чем необходимость лечить членов собственной семьи. Митя шумел, кричал: «Мама, я ослепну!» — и не давал дотронуться до себя, Еленка покрикивала на него гораздо нетерпеливее, чем на своих маленьких пациентов в заводской горьковской больнице. Сын плакал, и у нее слегка дрожала рука, пока она не овладела собой. Ну, вывернула нижнее веко проворным движением и выловила уголек. Роговица — хорошая, ничего не будет, в худшем случае — воспаление слизистой. Но когда они выходили из вагона, вместо мальчика-куколки Елена тащила за руку заплаканное, чумазое и обезображенное дитя с опухшим, кроваво-красным глазом. Оправдались слова Тоника! Как бы ребеночек не опозорил родителей! Еленка уже смотрела на это юмористически.

— Главное — вы уже здесь! —И Нелла стиснула в объятиях дочь с такой же горячностью, с какой встречала ее самое в Нехлебах старая пани Витова.

ВТОРЖЕНИЕ СКРШИВАНЕКОВ

Скршиванеки с ребенком и чемоданами вторглись в стршешовицкую квартиру Гамзы, нарушив издавна установившиеся порядки, заполонили ее, привели в негодование Барборку, а Станислава окончательно лишили душевного спокойствия. Что ж, приехавшие с чужбины — такие знаменитости! Где они только не побывали! Чего только не видели и не пережили! Новости, одна удивительнее другой, сыплются, как из мешка; в открытые двери, вместе с приехавшими, к стыду того, кто все эти годы неподвижно сидел за печкой, ворвался свежий ветер нового времени. Они все понимали лучше нашего и с такой уверенностью высказывали свое мнение! Да иначе и быть не могло. Позади у них осталась огромная, необозримая страна, которой бедняга Станислав и в глаза не видал; это она придавала им чувство невероятного превосходства и собственного достоинства. Можно было подумать, что Скршиванеки арендовали ее. Вот они и важничали.

Пестрая узбекская тюбетейка валяется на письменном столе Стани — как она попала сюда? В столовой он хотел сесть на стул — и чуть не сломал Митину яхту. Осторожней! То-то наделал бы шуму!

— Да оставь ты его в покое,— говорит Нелла своей дочери, с извинениями убирающей игрушки, и гладит внука по головке.— Я его и разглядеть не успела как следует. Правда, Митенька?

Приехавшие столько лет жили, не заботясь о собственном гнезде, вот мы и даем им место здесь — они нам дороже всего на свете. Барборка разводит огонь в плите обрывками русских газет, которые, словно письмо в зеркале, никто не может прочесть, а Митя спрашивает у Неллы:

— Бабушка, ты умеешь читать?

Ведь у Али́ бабушка не умела. Она только еще училась грамоте. Днем она ходила к папе на завод, а вечером — в татарскую школу в кремль. Дома мальчики помогали ей учить уроки.

Нелла засмеялась в ответ на слова внука:

— Конечно, умею, плутишка.

— Ну так прочитай вот это,— строго сказал Митя, открыл свою книжку с картинками и стишками и сунул ее Нелле в руки точь-в-точь так, как это делали братья Али́, когда они проверяли свою бабушку.

Русский алфавит — вот оно что! Нелла понапрасну надела очки. Она еле читала по складам.

— Вот видишь, и не умеешь,— торжествующе объявил Митя и вызвал всеобщий восторг. Молодец! Он хорош уж тем, что существует на свете. Гамза взял из рук жены книгу и начал вслух

плавно читать по-русски детские стишки. И бабушка и дед наперебой старались завоевать расположение внука. Станислав никогда бы не поверил, что отец так любит детей.

— Дядя,— спросил Митя,— а ты ходишь в т и р?

— Что это такое — т и р?

— Ну, стрелять.— Митя удивлен, что в Праге такие непонятливые люди.

— Нет, братец. Хватит с меня и того, что я отбывал воинскую повинность.

— А у папы на автозаводе в обеденный перерыв рабочие ходили в т и р.

Сестра угощает Станю икрой — подарком заводской больницы, но Станя даже не глядит. Зять наливает ему водки,— к сожалению, Станя не пьет. Ну, папироской, быть может, не погнушаешься? Непривычный сухой дым, отравивший квартиру, вызывает у Стани кашель. По правде говоря, не нравятся ему сигареты с мундштуком. А знаешь, почему они такие длинные? Морозы. Русские морозы. Чтобы удобнее было держать рукой в перчатке. Зятю что! Советский Союз он знает как пять своих пальцев. О чем бы ни спросил Гамза — он обо всем осведомлен, этот герой пятилетки. Очевидно, она не была бы выполнена без супругов Скршиванеков. Куда там Стане до таких знаменитостей! Он сидел за печкой, держась за Властины юбки. Зятю при жизни поставили памятник в московском сквере — это старая история, Елена писала об этом давным-давно,— и чего мать снова радуется? Станислава эти похвалы приводят в мучительное замешательство. Раньше ему как воздух нужно было согласие в семье, он заботился о нем больше других, но сейчас Станя не мог радоваться вместе со всеми. Как он ни старался, их радость его не трогала, сердце его застыло. Станислав, нежно относившийся к прабабушке, когда она уже всем стала в тягость, сейчас был настроен против сестры, потому что Скршиванеки, как нарочно, приехали в трудную для него минуту. Во всякой семье, даже самой дружной, родные братья и сестры всегда соперничают друг с другом. Может, тут сказываются воспоминания детских лет, когда Еленка и Станя устраивали нечто подобное олимпийским состязаниям и бегали наперегонки. Счастье переменчиво у детей Гамзы. Вот сейчас *«лидирует»* Еленка. А это всегда чувствует только «побежденный».

Одна из прелестей жизни — рассказывать внимательным слушателям о пережитом, и Еленка предалась этому удовольствию от всей души. Кто лучше матери умеет слушать своих детей, кто лучше стариков выслушает молодежь, когда она, пространствовав по свету, возвращается в покинутое гнездо? У Еленки не возникало ощущения, что она хвастается; она понимала, что мать отожде-

ствляет себя с ней так же, как она себя с Митей, а отец жадно поглощает вести из Советского Союза. Еленка не знала, с чего начать. Она рассказывала отцу о том, как уверены в себе советские рабочие. Они очень скромны, не рисуются, и у них непоколебимое чувство собственного достоинства. («Счастливые люди,— с горечью подумал Станислав.— А если парень не нравится девушке? Разве это не оскорбляет его достоинства? Человек ведь гораздо сложнее, чем думает Еленка, уж слишком она все упрощает».) Рабочий, изготовляющий там самый ничтожный винтик, знает, что это совершенно необходимо и что он создает историю вместе со всеми, в этом все дело. Господи, что она несет! («Елена! Мне ни к чему твои прописные истины!») Ну-ка, попробуй позаимствовать у нее эту невинную радость: она сейчас рассказывает матери о киргизках и о том, как в соцгороде их приучали к чистоплотности. Сделали такой опыт. Дали киргизкам коммунальный домик. Киргизки переехали, перепачкали все, что было возможно, бросили дом в таком виде, как будто там черт воевал, и ушли к Тонику на работу. Вечером вернулись — домик, как игрушечка, все на своем месте. И киргизки все это опять в одну минуту перемазали и расшвыряли, не дай бог. Но им нарочно никто ничего не говорил, не сердился, не напоминал. И никаких лекций по гигиене, ни-ни. Это было бы преждевременно. Только и дела было, что убирать за ними. Тянулось это довольно долго, примерно около месяца. А в один прекрасный день вернулись эти милые киргизки с завода, а дома у них тот же хлев, какой был перед уходом. Они были совершенно озадачены. Сначала они ругались, потом принялись советоваться. И вдруг — это надо было видеть! — все собрались — и в кооператив за мылом, и к соседкам за щетками. С тех пор...

Боже, какое дело Стане до Елениных киргизок? Его интересовала только одна женщина — Власта, из-за нее одной у него было столько забот. Ему все время кажется, что Власта нисколько не огорчилась, когда он отказался прийти сегодня к ней, так как должен был по настоянию матери провести вечер со Скршиванеками. А что получилось? Скука и мученье.

Тоник заметил, что Станислав упорно молчит, в то время как Елена упивается обществом родных, и постарался перевести разговор на другую тему:

— Ну, а что нового в театре? Я слыхал, что вы теперь лучший театральный критик.

— Вы слышали, вероятно, от мамы,— ответил Станислав со страдальческой улыбкой,— для нее мы все — знаменитости. Да, да, серьезно. Не будем об этом говорить. Я уже бросил рецензии. Бессмысленное занятие.

«Милостыня!» — подумал он, как мальчик, и почувствовал

себя еще более чужим среди этих людей, разгоряченных водкой. Он физически ощущал, что весь похолодел. Теперь уже нельзя подняться и сказать: «Извините, мне нужно быть в театре». Больше уже было не нужно.

Нелла выручила сына, спросив, не болит ли у него голова. Сейчас она, по-видимому, сожалела, что удержала его дома. Воспользовавшись предлогом, он взял у Елены порошок, простился со всеми и вскоре после Мити ушел к себе в комнату. Елена проводила его взглядом.

— Что со Станей? — спросила она, когда за ним захлопнулась дверь.— Мы его чем-нибудь обидели?

Гамза только рукой махнул.

— Это целая история,— шепнула мать.— Не говори при отце. Его это сердит.

И пока Тоник рассказывал Гамзе, с каким пытливым интересом советские рабочие изучают технику — рабочий класс в Советском Союзе *моложе нашего,— да, они ведут себя как чудесные дети*, но скоро нас перегонят,— Нелла поверяла Еленке все, о чем она догадывалась и что слышала о Стане и Тихой. Станислав об этом не упоминал никогда. Он очень удивился бы, узнав, что матери все известно.

— Разумеется, она для него стара,— закончила Нелла.

— Кто из нас не заблуждался! — весело бросила Еленка, вспомнив свою глупую улецкую историю с Карелом Выкоукалом.— Это пройдет.

Ей было особенно приятно, что мать разговаривала с ней, как с равной. Во времена девичества этого не было, о нет! Даже после того как Елена стала врачом, действительно знающим все житейские тайны. Мать признала ее по-настоящему взрослой только с тех пор, как родился Митя. Теперь они как сестры, у обеих есть дети. И о ком им беседовать, как не о сыновьях? О Стане, о Мите, о новом доме. Еленка только теперь вьет гнездо. Какое счастье, что Нелле удалось найти квартиру в том же доме, через коридор. Высмотрела все-таки! Старик доктор — почтенный, пожилой человек, живший напротив,— получив пенсию, благоразумно перебрался в деревню. Еленка пришла в восторг оттого, как красиво мать обставила квартиру мебелью и картинами, взятыми из Нехлеб. Картина, изображающая охотника и лисицу, висела в приемной — ружейный ствол на ней и до сих пор дымится, а на снегу по-прежнему истекает кровью лиса. Дочь хвалила, а Нелла краснела от ее похвал. Девочка смягчилась, сделавшись матерью. Она стала душевнее. Еленка торопится как можно скорее начать прием в кабинете старого врача: она будет лечить детей из поселка безработных и маленьких пациентов с бржевновских крутых ступенчатых

улочек. Она любила свою профессию врача и чувствовала в себе столько сил! Особенно ей хотелось помочь профилактикой. Она многому научилась в Советском Союзе, и у нее уже есть план, который она предложит отделу социального обеспечения. А Нелла будет с Митей,— если бы она могла таким путем избавиться от конторы! Целые дни проводила бы с Митей. Ведь дом мало-помалу теряет свой уют, если в нем нет ребенка.

Елена насмешливо посмотрела на нее.

— Ты еще пожалеешь, мама. Митя — сущий бесенок!

— Ты ужасно напоминаешь нехлебскую бабушку,— перебила ее Нелла.

Они давно не видались, а после долгой разлуки в человеке бросается в глаза то главное, чего раньше ты не замечал из-за чрезмерной близости и что становится опять неуловимым, когда вновь к нему привыкнешь. Как странно: если Нелла начинала разбирать Еленку так, как это любят делать женщины,— черточку за черточкой: нос, глаза, рот,— то ничего напоминающего старую пани Витову в лице дочери не было. Но сходство обнаруживалось в манере смеяться, в выражении лица, в интонации и быстрой походке, в проворстве, в энергичной хватке, с какой Еленка бралась за всякое дело, ну, словом, в том огоньке, который горит в человеке. Ну, вылитая покойница! И Барборка это приметила, она уже примирилась с приехавшими. Чем старше становится Барборка, тем упорнее она сопротивляется всяким новшествам и год от году все строже командует Неллой. Но это золотой человек. А прабабушка! Еленка засмеялась. Когда они прощались перед отъездом, Еленке пришлось сдерживаться, чтобы не распустить нюни. Эта разлука казалась ей похоронами. А прабабушка-то! Я простилась с ней навеки, а она живет себе да живет. Она способна поспорить с самой смертью. Еленке это нравилось. Интересно, что она скажет, когда я приведу к ней Митю?

Жизнь шла вперед, открываясь во всем своем многообразии. Это было такое приятное ощущение! Они говорили о самых обыденных вещах, стряпали и шили за этими разговорами. Гамза называл эти разговоры где-то пойманным словом *штуковка,* значение которого для него осталось навсегда темным. Но то, о чем они говорили, было не так уж важно. Все эти разговоры питались живыми соками, их окружал майский воздух, и они распускались соцветиями слов. Пускай рассуждали о том, где достать в Стршешовицах овощи для Мити, но как у песенки есть мелодия, так и в этих простых словах заключался еще и другой смысл. Для дочери это значило: «Я наконец дома», для матери: «Слава богу, вы опять здесь. Слава богу, вы все со мной». Гамза в шутку назвал это «системой наседки».

— А я не говорила тебе, Еленка, сколько хлопот доставил мне отец с этим Лейпцигским процессом? Натерпелась я за него страху.

— Ну, Димитров у нас, в Советском Союзе,— ответила Елена, вставая, и перешла из женского уголка к отцу и Тонику.— Это дело дало осечку, не так ли, папа?

Мужчины были поглощены своей беседой.

— ...то, что ты получил место на «Аэровке», это очень показательно,— услышала Еленка слова отца.— Как только что-нибудь готовится, безработицы как не бывало. Ты что, девочка?

Стоило только Гамзе заговорить с Еленкой, как голос у него смягчился. Да, дочка у него удалась! И для Еленки отец был настоящим героем. Правда, папа приходил в ярость, когда у него не ладилось дело с запонкой от воротничка или когда он засовывал куда-нибудь книгу. Горячность отца всегда немного смешила Еленку, немного мучила, и она старалась не думать об этом. Но зато как спокоен и чуть насмешлив был он, когда однажды под вечер к ним пришли жандармы с сыщиком и, к досаде и испугу мамы, стали рыться в ящиках стола Гамзы. Это спокойствие очень нравилось Еленке еще в детстве. Однажды — она тогда ходила в школу — папа должен был уехать, как говорили, в Остраву, но не смог проститься с детьми. Когда она пришла в класс, девочки пристали к ней: «Твоего папу посадили? У нас об этом говорили дома». Еленка вышла из себя: «Неправда! Мой папа не может сделать ничего плохого!» — и рассорилась с подругами. Дралась она всегда отлично. Случайно обе стороны были правы: Гамзу присудили тогда к тюремному заключению за агитацию во время остравской стачки. Сейчас он должен был подробно рассказать дочери о Лейпцигском процессе и о безвинных подсудимых. С медицинской точки зрения ее интересовал и ван дер Люббе. Судя по тому, что она тогда читала о нем — о его апатии, односложных ответах, и судя по его характерно опущенной голове на фотографиях, которые ей пришлось видеть,— у него, очевидно, был хронический энцефалит. Таких хроников на свете больше, чем полагают. Известно также, что больные энцефалитом обладают преступными наклонностями. Но это ведь заочный диагноз. Только догадка. Во всяком случае, на снимках он производил впечатление тяжело больного.

— Это дело давнее,— сказал Гамза.— Нацистские судебные эксперты признали его вполне вменяемым... Но и у нас сторонники Гитлера тоже начинают нагло поднимать головы. Немец Конрад Петушок отлично оперился. И прекрасно подходит для чешских колбасников. Что ты хочешь — борьба с большевизмом.

Последний вагон пражского трамвая со свойственным ему настойчивым звоном ушел в стршешовицкое депо — это звук, к которому Еленка еще только привыкает, как к одному из голосов

родины; в тишине майской ночи было отчетливо слышно, как часы в Градчанах пробили два; родители и дети встали, желая друг другу доброй ночи. Отец и дочь стояли рядом; Нелла, прибирая какие-то мелочи, на миг увидела профиль Гамзы с седой гривой волос и Еленку в расцвете молодости и женственности, и снова ее поразило сходство дочери с отцом. Будто две капли воды! И Нелле было хорошо в этом круговороте любви, который не позволяет состариться живым и исчезнуть умершим.

Гамза снова повторил Еленке, что она очень его порадовала книжкой, которую благополучно провезла через бековскую Польшу, такую придирчивую к печатному слову. Это была Коричневая книга в карманном издании, переплетенная в безобидную обложку «Германа и Доротеи» и во времена Лейпцигского процесса контрабандой перевезенная через границу. Еленка получила ее от одного пациента, немецкого эмигранта, которому удалось бежать в Советский Союз; он слышал о Гамзе.

— Еленка, ты, конечно, видишь, как я рад вам,— добавил отец,— но жаль, что вы не смогли остаться в Союзе. Неладно у нас. Становится жарко.

— Тише, мама услышит,— вполголоса предупредила Еленка.— Зачем ее тревожить?

ЗАПЕРТАЯ ДВЕРЬ

Трудное время наступило для Стани. Куда он ни сунется — всюду как пятое колесо у телеги. К театру, как и к вину, можно пристраститься, и жизнь без него кажется пустой. Станя тосковал без торжественной атмосферы премьер, но ни за что не пошел бы в театр, не желая встречаться с бывшими коллегами по первому балкону. Недоставало ему и воркотни Клусачека, и запаха свинцовых литер. Тот, кого печатали и больше уже не печатают, чувствует себя вычеркнутым из жизни. «Но мне все нипочем, если у меня есть Власта!» Почему же ему казалось, что он потерял право бывать у нее в это отчаянное время, когда ему внезапно зажали рот? Когда новости о театре он с плохо скрываемой завистью человека, оставшегося за бортом жизни, узнавал лишь от актрисы?! Ну что за глупости! Разве не бренчали у него в кармане ключи от квартиры Власты? Власта осталась и принадлежала ему, он мог делать с ней все что захочет. Он мог припасть к ней искаженным му́кой лицом, открыть перед ней свою боль и избавиться от этой муки, ведь Власта до смерти любила всякие излияния. Да, а после этого в ней снова воскресала хитрая, расчетливая женщина, которая ни за что не упустит своих самых ничтожных интересов.

Власта — это Власта, и она целиком принадлежала ему. Но Стане было необходимо убеждаться в этом постоянно, чаще, чем это ее устраивало. Она устала, жаловалась Власта, когда он поджидал ее у театра перед артистическим входом, и отсылала его домой. Измучилась, как собака, объявила Власта и на этот раз в субботу вечером, она способна свалиться и заснуть как убитая и проспать все воскресное утро. Какая там загородная прогулка! Встанет, запрется дома одна со своей Электрой. Когда Марженка уходит, в квартире такая райская тишина. Кто это поймет лучше Стани? Так она, значит, получила все-таки роль Электры! И вскоре после Антигоны! В последнее время она не могла жаловаться на театр.

В один из по-настоящему хороших воскресных дней все, у кого были здоровые ноги, выбрались из Праги. Город превратился в убежище для инвалидов, старух и изломанных жизнью существ. Огромный, притихший проспект Белькреди внушал мысли о самоубийстве. Стоял душный, жаркий день — когда горничная соскребает головки у спичек и пьет отраву, потому что ее солдат пошел танцевать с другой; можно поручиться, что в такой ужасный день во Влтаве тонет не одна восторженная учительница, осмелившаяся на большее, чем ей позволяет служебное положение. Станя бросился бы спасать их последним, так ему все опостылело. Он собирался было остаться днем дома, быть прилежным, как Власта, и писать свою работу о Пиранделло. Но живость Еленина сына, достойная всяческого восхищения, выжила Станислава из дома в кафе, а удушающая скука — из кафе в кино. Подвальный полумрак приятно освежил Станю. Шел американский детективный фильм, один из тех, которые показывают в мертвом сезоне; но возможность перенестись хотя бы часа на два к чужим людям, в другую часть света, все-таки разгоняет тоску. Ничего не поделаешь. Властичка, на экране все получается складно, не то, что на подмостках, именуемых жизнью! Власта Тихая судила о кинофильмах строго; она не любила считать, сколько молодых актрис из Большого театра снимается в кино. Власта была на ножах с кино, а у Стани был зуб на Власту. Из-за чего, спрашивается? Из-за того, что и в воскресенье она трудится, не покладая рук? Добавим, что это некрасиво со стороны Стани, он и сам это сознавал.

Когда он вышел из маленького кинотеатра, он оказался как будто на другом конце Сен-Готардского туннеля, в новом климате. Под небесным сводом, окрашенным в неестественный синий цвет дуговыми лампами, Прага приняла феерический вид. От Влтавы и парков на белые и лиловые улицы тянуло сыростью; лучи заходящего солнца, смешиваясь с голубоватыми лучами восходящего месяца, залили город волшебным, нереальным светом. Казалось,

что вы идете не по Праге, а по улицам на какой-то картине. В зеленоватом сумраке под тропической листвой каштанов, вторично зацветших в электрическом сиянии, стаканы с пивом на розовых столиках в кафе отсвечивали магическим янтарем. Красив, слишком красив был этот вечерний отдыхающий город. Станислав решил, что хватит Власте работать. Его не смутило, что она не ответила на телефонный звонок; она всегда выключает телефон, когда репетирует,— это нам известно; и он поехал к ней, с намерением пригласить поужинать на свежем воздухе. Вереница запыленных автомобилей возвращалась в Прагу по Уезду. Из окна трамвая Станя заметил в одной из машин Алину в спортивном костюме. Поскорее отвернуться. Куда черт не может попасть сам, он посылает бабу! Власты не будет дома! Алина всегда приносила ему несчастье.

Так нет же, Власта была дома! За шторами горел свет, он видел это с набережной. Власта его не обманывает, только пусть он ей не мешает. Она ни с кем не уехала гулять тайком от Стани. (Эта мысль, хотя он сам себе не признается, отравила ему все воскресенье.) Он поднялся на второй этаж и сперва вежливо позвонил. Совсем как гимназистка, которая идет за автографом. Не напрасно ли он сделал это? Власта боялась таких мужчин, которые всовывают ногу в щель, стоит только приоткрыть двери. Она была глубоко убеждена, что ее когда-нибудь убьют. Только этот страх и заставил ее выйти замуж за Хойзлера, и она никогда не открывала двери сама. Бог весть почему, Станя вспомнил свое первое посещение и испытующий взгляд Марженки через глазок в двери, улыбнулся и позвонил, как условлено. Даже и этому Власта не верит? В квартире словно шевелится кто-то, прислушивается, затаив дыхание. Могильная тишина. Настороженно, лукаво смотрела на него закрытая равнодушная дверь. Кнопка звонка была вся в бесчисленных прикосновениях невидимых пальцев; почтовый ящик как будто еще хранил в себе шорох брошенных в него писем и сейчас постукивал ими на полутемной лестнице. «Не делай этого! — предостерег Станю какой-то внутренний голос, желающий ему добра,— не делай!» Но Станя не послушался и попробовал открыть дверь своим ключом, как он делал это столько раз. В замке что-то мешало. «Брось! — предупреждал все тот же голос.— Брось, пока не поздно!» Но кому охота уйти ни с чем? Человек всегда стремится закончить начатое. Станя в ярости нажал... дзинь! В передней до глупости легко упал на пол ключ. Станя вошел, и ему стало стыдно, как мальчишке. «Беги, спасайся со всех ног,— снова зашептал ему тот же голос,— все еще можно спасти».

Вдруг в переднюю проскользнула Власта.

— Кто там? — спросила она удивительно тихо для перепуганной женщины.

Как будто она не знала!

— Я,— глупо выдохнул Станя — черт его знает почему! — тоже шепотом. Это заразительно. Почему он смутился при виде белья, выглядывающего из-под халатика? Как будто он никогда не видал ее полуодетой!

— Ты репетировала, извини,— остановился он, смешавшись, и наклонился за упавшим ключом. И вдруг выпрямился во весь рост.— Поедем со мной ужинать на остров,— пригласил он ее умышленно громко. Но приглашение звучало недружелюбно.

— Отлично... вот это идея... Превосходно,— заикалась Власта. И хотя она стояла в полумраке передней, Стане показалось, что она мечется из стороны в сторону.— Чудесно. Знаешь что? Подожди меня в кафе художников. Я буду там через десять минут.

Станя посмотрел на нее. Почему не здесь? Он глядел на нее в упор, и огонек смертельной вражды перескочил от него к актрисе.

— Оденься, а я подожду,— предложил он ей с адским спокойствием — бог весть откуда оно берется — и как ни в чем не бывало сделал шаг к двери комнаты. Власта преградила ему дорогу.

— Послушай,— попробовала она обезоружить его своим ангельским голоском и при этом ужалила взглядом.— На самом деле, разумнее...

Станя отстранил ее с недоброй усмешкой, постучал, да, вежливо постучал в дверь и вошел в комнату, в которой был в свое первое посещение,— в комнату трофеев и скальпов. От лент, венков, портретов драматургов и от сувениров, памяток о путешествиях на него повеяло сгустком всех любовных свиданий, которые заканчивались в соседней комнате. Там, рядом, в комнате Стани перед зеркалом стоял человек; он отнял руки от галстука и обернулся. Надолго, как символ ужаса, останется в памяти Стани человек перед зеркалом.

— А, старый знакомый, старый знакомый,— доброжелательно бросил Кунеш Стане, медленно идя ему навстречу.— Как поживаете, дружище?

— А как вы, пан директор? Что поделывает ваша супруга? Как детки?

Удар попал в цель: и без того румяное лицо Кунеша побагровело. Актриса прошла через комнату, чтобы переодеться для ужина втроем.

Кунеш закурил солидную сигару, Станя задорную сигарету. Каждый — соответственно своему положению в обществе и возрасту. Атмосфера сгущалась; дышать становилось трудно. Стряхи-

вать пепел в одну пепельницу с этим человеком! Станислав бросил окурок и, глядя на Кунеша с той же недоброй усмешкой, стискивая край столика, решительно сказал:

— Знаете что, пан директор, будет лучше, если вы отсюда сейчас же уйдете. Нам с Властой нужно переговорить с глазу на глаз.

Кунеш удивленно поднял брови.

— Н-да... довольно странная идея,— с трудом выдавил он, медленно наливаясь яростью, преодолевающей вежливость, которая вросла в плоть и кровь.— На каком основании...

— А вот на таком,— бросил Станя.— Мы двое — вольные люди, а вы — отец семейства.

Последние слова он произнес неподражаемым тоном, как могут говорить только молодые люди. Как будто вас не может постигнуть бóльшая неприятность, чем быть отцом семейства!

— Как вы смеете!— загремел Кунеш классическими словами ссоры.— Это... это хулиганство!

Власта, притаившаяся, как мышонок, навострив уши, вовремя вмешалась.

— Ты пошляк, Станя,— сказала она.— Пан директор, я в отчаянии.

Вместо страха перед общественным мнением, вместо вечной боязни Власты поссориться с нужным человеком в ней сверкало обычно подавляемое торжество самки, за которую дерутся два соперника.

— Уходите,— повторил Станя, перебив Власту,— и живо! Или я за себя не отвечаю!

Власта бросила на Кунеша молящий, заклинающий взгляд. «Мы понимаем друг друга,— говорил этот взгляд.— Не обращайте внимания на этого безумца. Потолкуем после. Оставьте его, это ниже вашего достоинства». Многозначительно глядя на Кунеша, она молча протянула ему руку. Кунеш поклонился Власте, как в старинных салонных пьесах, где герой говорит: «Ваша воля для меня закон»,— и, не глядя на Станю, вышел из комнаты. Власта хотела выскользнуть вслед за ним в переднюю, но Станя не пустил ее.

— Оставайся здесь! — Он грубо рванул ее за руку и посадил в кресло.

Власта молча сжалась. Глаза у нее сделались грустными, удивленными, как у Миньоны, она сразу сделалась маленькой и хрупкой, как те индианки, которых в цирке втискивают в корзину. Оба слышали, как за Кунешем захлопнулась входная дверь. Станислав ждал, когда актриса расплачется или начнет торопливо упрекать его. Но Власта взвизгнула и начала хохотать: правда, хохот ее

звучал вначале несколько истерично, но он быстро перешел в невинный шаловливый смех.

— Итак, мы с этим как будто благополучно покончили,— произнесла она, захлебываясь от смеха.— Ты, Станя, проделал это гениально. А помнишь, как в прошлый раз ты выгнал Алину?

Смех этот трусливо забегал вперед, юлил, льнул к нему, в нем звучал страх. И не без оснований: Станя даже не улыбнулся.

— Власта,— спросил он, как судья,— с ним ты тоже смеялась надо мной?

— Ах, ты ничего не понимаешь,— набросилась на него Власта.— Это вообще не то, что ты думаешь. Он совсем не так ко мне относится. За минуту до твоего прихода он говорил со мной, как отец...

— Власта, если бы мне не было стыдно, я бы тебя ударил.

— Какой ты ребенок! Что мне с тобой делать? Ты вообще не понимаешь...

— Все понимаю. Протекция и «презренный металл». Но я, Власта, так не играю.

Он встал и, не обращая внимания на то, что актриса продолжала усмехаться, вышел, и его юное лицо было серьезно, как перед смертью.

ОСЛИК ТЫ ЭТАКИЙ!

Утром в совершенном смятении от Гамзы прибежали за Еленкой: иди скорей, никак не можем разбудить Станю. Счастье еще, что она не ушла в больницу страховой кассы.

Станислав лежал навзничь, запрокинув голову, бледный, и глубоко дышал. Дышал так, что шевелилось одеяло. Мать, которая обычно будила детей постукиванием по лбу, на этот раз никак не могла добудиться взрослого сына.

— Станя, Станя,— повторяла она, беспомощно дергая его за руку,— не глупи, Станя, слышишь? Это я.

Но рука безжизненно падала. Какое дело Станиславу до матери?

Как будто повернули выключатель и осветился забытый уголок жизни, куда не заглядывали много лет, и Еленка увидела, как она будит мертвую нехлебскую бабушку. Хуже ничего нет — лечить в собственной семье.

Грудное дыхание, слабый пульс, ноги посинели.

— Он вчера принимал что-нибудь? Не знаешь?

Гамза опередил жену и, нахмурившись, как туча, молча подал дочери пустой пузырек из-под лекарства. Снотворное. Ну конечно!

Елена сама написала Станиславу рецепт, когда он пожаловался на бессонницу. Пятнадцать капель перед сном. И так этим злоупотребить!

— Ярослав,— ни с того ни с сего произнесла Нелла имя брата, когда-то застрелившегося из-за девушки. Раньше она никогда не упоминала о нем при детях, боясь, как бы они не вздумали последовать его примеру. Теперь она могла назвать его!

— Я так и знала,— всхлипывала она в полном отчаянии,— что у нас стрясется что-нибудь такое... всегда этого боялась...

— Что теперь рассуждать! — твердо возразила Еленка.— Засучи-ка ему рукав.

Затянув ремешок вокруг этой незнакомой руки, которая тотчас же вздулась, и нагнетая баллончиком воздух, Еленка измеряла кровяное давление. Мать внимательно следила то за ней, то за шкалой жизни: девяносто... девяносто...— что это означает? Но Еленка, ничего не сказав, высвободила руку Стани, которому было все равно, что с ним делают, и пошла прокипятить шприц для укола.

— Вызови «скорую помощь»,— попросила она отца,— дома его нельзя оставить. Нужно в клинику. Придется спускать мочу, дать стрихнин, а у меня его здесь нет. Митя, беги к Барборке, не вертись под ногами. Что, Тоник уже ушел на завод?

Мать на некоторое время осталась одна с сыном. Он был жив и дышал, глубоко и медленно дышал. Одеяло приподнималось на груди, как будто дышала женщина. Девичий нос и обнаженная шея делали его совсем юным. Мать заботливо прикрыла Станю до подбородка. Она брала то одну, то другую холодную руку сына в свои пылающие ладони, старалась передать ему хоть частицу своего тепла. Но сыну это было глубоко-глубоко безразлично. Душа матери обливалась кровью. «Что же ты со мной сделал, Станя,— смотрела она на него.— Как ты мог так предать меня?»

Но Станислав был выше всех горестей и суеты, он был безжалостен к людям, которые хлопотали и сокрушались возле него, неумолим в своей сосредоточенности под сомкнутыми веками.

«Я знаю больше тебя,— уверяло молодое презрительное лицо.— И мне ничего, ничего не нужно».

«Скажи, что я упустила из виду? Разве я не носила тебя на руках? Не берегла пуще глаза? Я ни разу тебя не ударила. Я сидела у твоей кроватки, чтобы тебе не приснился дурной сон, и ты засыпал после этого, как в раю. *Месяц ясный, боюсь.* Ах, боже, боже!»

«Видишь, как я беззащитен,— уверяло спящее лицо.— Беззащитен и наг. У ежика есть иголки, у осы — жало, у змеи — ядовитые зубы. А у плюща — присоски. Но есть человеческие души,

которым нечем защищаться. Почему ты, мамочка, не дала мне более твердой души! Молчи, ты сама такая же».

«Только один-единственный раз,— защищалась Нелла,— я тебя предала. Но это было так давно... И я не ушла от отца из-за той случайной девушки. Ведь у тебя был хороший домашний очаг, достаточно чистый воздух над головой, и если несколько раз...»

«Любовь,— отвечало юное, смертельно серьезное лицо.— Но ведь мне уже ничего, ничего не нужно».

«Я должна была окружить тебя вниманием в последнее время. Ты рано возвращался домой и сидел один у себя в комнате. Но как я могла проникнуть в твои тайны, если ты не заговаривал о них сам? А Митя такой славненький! Я так давно его не видала! Да, я забыла, что надо подумать и о тебе».

«Не в том дело,— пренебрежительно говорило погруженное в себя строгое, юное лицо.— Зачем придумывать оправдания, которые ничего не значат? Загадка в другом».

И тут мать с содроганием поняла выражение его лица. Это был взрослый сын Неллы; когда-то он появился на свет, как и все. Но новорожденный, которому так радовались, был вовсе не так доволен. Зачем вы меня звали, казалось, укоряли его глаза, сосредоточенные на чем-то своем. Оставьте меня в покое, не будите меня...

А затем в квартиру вошли санитары с носилками, здоровенные парни, привыкшие ко всему; они без стеснения топали и шаркали ногами, громко произносили будничные слова. «Возьми его так»,— говорили они о Стане, как о мертвеце, ловко положили его на носилки, пристегнули ремнями, прикрыли; Барборка распахнула настежь обе половинки входных дверей, и Станю пронесли, как покойника, мимо стоявших стеной любопытных, которые уже столпились вокруг автомобиля с красным крестом и занавесками. Хроника происшествий. Покушение на самоубийство. Позор. Гамза, как всякий порядочный человек, от души ненавидел такие сенсации. Ну и задал бы он этому мальчишке, если бы не страх за него!

Еленка, проходя за носилками через переднюю мимо отца, впервые после своего приезда заметила, что он уже старик. Такой скорбный, убитый вид. Почему-то его даже больше жаль, чем мать.

— Заприте же двери,— сказал он Барборке и ушел в дальнюю комнату.

Станислава засунули, словно неодушевленный предмет, в автомобиль, мать и сестра сели в машину рядом с ним, захлопнули дверцы и уехали. И как это ни было жестоко, установленный порядок жизни коснулся интимного горя и удивительно успокоил. Мы сделали все, что могли. Гамза взял свой потертый портфель и ушел на заседание суда.

— Вы что-то осунулись,— заметил ему коллега,— вы здоровы?

— Здоров,— упрямо ответил Гамза.

Всю жизнь он заботился о множестве людей, о собственных детях заботиться ему было некогда. Покушение на самоубийство бросает упрек всем близким, заставляет их уйти в себя, и они испытывают угрызения совести, доводящие почти до сумасшествия. Гамза, скажи, положа руку на сердце, разве ты в молодости не увлекался? «Если вы разойдетесь, я убью себя»,— помнишь, Гамза? Несчастный Станя! Тогда он был ребенком. Но даже став взрослым, он сохранил эту детскую искренность... Такую штуку выкинуть из-за женщины!

Когда Гамза днем зашел в клинику, на парня страшно было смотреть. Теперь уже вечер, а он все еще без сознания.

— Но сердце у него хорошее,— уверяла Елена.— Дело не делается так быстро, как хотелось бы. Надо потерпеть.

Легко ей говорить! Она не склонялась над постелью Стани, как плакучая ива над могилой, не ходила перед дверью его палаты — четыре шага сюда, четыре обратно,— как старый лев, тоскующий в клетке. Она на самом деле могла помочь брату — родители завидовали ей. Она хлопотала о кислороде и инъекциях стрихнина, отмеривала лекарства, глядя на часы; совещалась со своими коллегами в белых халатах. В атмосфере, пропитанной запахом лекарств, неприятной для непривычных людей и означающей для них одни только болезни, Елена чувствовала себя как рыба в воде. А мы, Нелла, здесь лишние. Станя, маленький Станя, которому так необходимы были согласие и мир в семье, который когда-то тянул к себе за пальцы двух неразумных, рассорившихся людей, сейчас, когда они в полном единодушии склонялись над ним, отвернулся от них, не желая иметь с ними дело. Спал и спал.

Мать и сестра останутся у него на ночь. Отец в конце концов ушел, чувствуя себя самым бесполезным человеком на свете.

Но у клиники Гамзу ждал Тоник, который проводил его до дому, пригласил к себе, позаботился о нем по-своему, неназойливо. С Тоником никогда не было тяжело; он чувствовал, когда можно заговорить, когда остановиться, о чем следует промолчать. Он осиротел в детстве и, как большинство людей, выросших без родителей, питал слабость к родственному участию и был очень привязан к семье Гамзы. Особенно он полюбил Неллу, еще в Горьком. Она казалась ему такой нежной, чуткой, осмотрительной, полной противоположностью тому, что болтают в анекдотах о тещах. И старого льва Гамзу он уважал и сейчас очень его жалел, не показывая, однако, своих чувств.

Где бы ни жил Тоник, он немедленно превращал любую комнату в мастерскую. И здесь случилось то же самое. В комнате

стоял самый обыкновенный канцелярский письменный стол, оставшийся после старой нехлебской владелицы, и только модель самолета указывала на то, что это стол инженера. (Карандаши Тоник запирал от сына.) Но когда он выдвинул ящики, чтобы достать собственного изделия консервный нож и открыть банку, средний ящик письменного стола, где прежняя его хозяйка хранила свои зеленые и черные разлинованные бухгалтерские книги, поддался с трудом: внутри что-то загромыхало — ящик был полон винтов, напильников, французских ключей и бог весть какого инструмента и металлических деталей, в которых адвокат ничего не понимал. Тоник, не удовлетворяясь своей конструкторской работой на заводе, мастерил дома собственными руками всевозможные забавные вещички. Он отдыхал за этим, как другой отдыхает за веселой книгой. В эти дни он щеголял чеканными монограммами. Еленка уже получила одну, Нелла тоже, третья готовилась для Барборки.

— Она тебя любит за то, что ты ей все чинишь.

— Я ее тоже. Хорошая женщина. Особенно я ценю, что она приняла меня в семью как родного. Я ведь знаю, что для нее это было не так-то просто.

Они разговаривали, чтобы не молчать, а между тем оба думали только об одном. Елена пообещала, что, если что-нибудь изменится — к лучшему или худшему,— она позвонит по телефону до полуночи. Аппарат был у нее в приемной, и они не могли пропустить звонок.

— Как Митя? — вспомнил Гамза.

— Спит, как сурок. Барборка легла с ним в комнате вместо Елены.

— Мы разогнали всю твою семью,— горько заметил Гамза.

Это ничего. Тоник погасил яркий свет, зажег маленькую лампочку. Он положил перед ней белый лоскуточек, и на столике сразу стало светлее. Он открыл консервы, вынул печенье и сварил в комнате черный кофе. Все это, разумеется, пустяки, но они создавали иллюзию домашнего уюта. Как, вероятно, страшно было в пустой квартире напротив — у Гамзы! Тоник всю свою юность провел у чужих людей, а бездомные особенно любят уют. Где бы Тоник ни жил — а он изъездил, по крайней мере, полмира,— он всюду устраивал у себя мастерскую, всюду импровизировал домашний уют, хотя бы с помощью любимых открыток, приколотых кнопками к шкафу или спинке кровати в меблированной комнате, и всевозможных, собственноручно сделанных безделушек. Он столярничал и слесарничал, не чурался ремесла электромонтера, умел истопить печь, постелить постель, сварить обед, выстирать белье — все, как студенты в общежитии или художники в ателье.

— Скажи,— спросил Гамза в полумраке,— ты когда-нибудь думал о самоубийстве?

— Я? — удивился Тоник. Здоровяк с бритой головой вдруг стал удивительно похож на растерявшегося школьника.— Нет, что-то не припомню. Никогда времени на это не было. И кроме того, я недостаточно подкован в философии,— добавил он, словно в оправдание.

— Какая там философия — своеволие! — заволновался Гамза и принялся беспокойно ходить по комнате.— Когда травится женщина — еще понятно. На то она и глупая женщина. Но мужчина!

— Почему же вы думаете, что он сделал это умышленно? — возразил Тоник (хотя тоже был убежден в этом).— Это, скорее, произошло по неосторожности.

— А,— отозвался Гамза, с презрением отвергая все утешения, и махнул рукой, словно перечеркивая этот разговор. Он остановился перед моделью самолета.

— Вооружаемся?

— Вооружаемся,— подтвердил Тоник.— Акции заводов Шкоды повышаются. Казмар переходит на противогазы и парашютный шелк, слыхал? Как ты на это смотришь? По-твоему, война будет?

— Если Франция и Англия по-прежнему будут галантны с этими гангстерами...— сказал Гамза, пожимая плечами.— Политика уступок — самый неудачный способ! Более мудрый уступает, а нахал все прибирает к рукам. Ну, а Лига наций, этот труп, палец о палец не ударит. Разумеется, ось — это защита от большевизма, и под этой вывеской можно позволить себе любую выходку. Пожалуйста, вот тебе Абиссиния, Рейнская область, Испания...

— Республиканцы сражаются блестяще,— замечает Тоник.

— Сражаются. Люди там за идею гибнут,— с горечью произносит Гамза, возвращаясь в круг своих мучительных мыслей,— а здесь здоровый молодой человек ни с того ни с сего...

Послышался телефонный звонок, Гамза бросился к аппарату. Он слушал, его мрачное лицо разгладилось и помолодело. И если бы он даже не сказал ни слова, Тоник понял бы — пришли добрые вести. Дыхание, говорят, стало чаще и уже не такое глубокое. Это хороший признак. Оно возвращается к нормальному ритму. Разве раньше поверил бы Гамза, что его наэлектризует радостью новость, что его взрослый сын зевает и откашливается? Станислав даже бормочет что-то. Его пока еще нельзя понять, но Елена надеется, что он очень скоро придет в полное сознание. Ну, слава богу! И от радости они забыли в эту минуту о грядущей войне.

— Не волнуйся, Тоник, и спасибо тебе. Спи как следует, доброй ночи.

Как подобная хроника происшествий разносится по городу — неизвестно.

Ведь никто из Скршиванеков или из семьи Гамзы не обмолвился ни единым словом об истории со Станей, да и на самом деле хвалиться нечем. И Барборка, всегда готовая сложить голову за честь семьи, твердила любопытным кумушкам в лавке то же самое, что сказали Мите и что Гамза написал в письме в библиотеку: Станислав заболел плевритом. Уважают ли доктора врачебную тайну и не осмеливаются ли болтать лишнее сестры Красного Креста? Как бы то ни было, по у Алины оказалась разветвленная осведомительная агентура. На следующее же утро, вся в слезах, она прилетела в больницу с букетом роз и непременно хотела попасть к больному, уверяя, что хорошо с ним знакома.

Но Еленка встала перед дверью, и надо было видеть, как она гнала Алину вместе с ее розами! Больной не переносит их аромата, а разговоры его утомляют. Пусть пани извинит. И верно. Станя говорит еще очень медленно, язык у него заплетается, как у пьяного, он упорно спотыкается на первом слоге, а мы будем показывать его женщинам.

— Да и вообще вредно,— заметила Еленка матери,— чествовать его цветами как героя за глупость, которую он выкинул. Я не стала бы зря подслащивать ему болезнь, чтобы неповадно было повторить эту штуку.

Мать смотрела на это совсем, совсем по-другому. Сердце ее болело о Стане, о том, что он лежит, безучастный ко всему, и глядит в окно потухшими глазами. Спасибо науке за стрихнин, он спас Станю. Но выздоравливающий человек жив не одними инъекциями. Впрочем, их отменили, больной поправлялся на глазах. *Еленка вернулась к своим пациентам и забегала к брату только мимоходом.*

Пока он лежал в клинике, дома на его имя приходили счета, зеленые жироприказы и напоминания. Кажется, что и поставщица тонкого женского белья, и цветочница, и парфюмер, и торговец галантереей имели тайных агентов и боялись, что их должник умрет и они потеряют свои денежки. Это, конечно, были не бог весть какие суммы из «Блеска и нищеты куртизанок»! В Праге у нас все гораздо скромнее. Но они были, безусловно, не по карману библиотечному служащему, и, кто знает, не надломился ли Станя под их бременем, прежде чем окончательно упасть,— рассуждала Нелла, в отчаянии подсчитывала, как все это оплатить до возвращения сына домой. Она, конечно, не заикнулась ему об этом ни единым словом. У нее были для него более серьезные новости. Она долго колебалась, выбирая, подходящую минуту, и однажды,

в сумерки, когда Станислав отдыхал и, по-видимому, находился в хорошем настроении, она отважилась заговорить.

— Станя, когда тебе было еще плохо,— начала как бы между прочим, не сводя глаз с вязанья, чтобы не смущать сына своим взглядом,— к тебе сюда несколько раз звонила пани Тихая.

Хотя Станислав молчал до сих пор, теперь он словно умышленно отмалчивался.

— К чему она старается,— сказал он наконец неприятно деланным тоном.— Ведь я больше не театральный критик.

— Она о тебе очень беспокоилась,— робко заметила Нелла.— Она была в полном отчаянии.

— Это она умеет,— произнес Станя с напускным спокойствием.— Это ее профессия. Не утруждай себя этим, мама.

— Она спрашивала, нельзя ли повидаться с тобой.

Матери казалось, что она слышит, как стучит сердце в исхудавшей груди сына.

— Нет, благодарю,— ответил он, тяжело дыша.— Я не люблю драматических сцен.

— Если она опять позвонит, что ей сказать?

— Ничего,— сказал Станислав ледяным тоном.— Не говори с ней. Повесь трубку, и все.

Станя отвернулся к стене и закрыл глаза.

«Пока он в клинике, еще ничего,— с тоской подумала мать,— но что будет потом?»

Она хотела, чтобы он взял отпуск по болезни и уехал в деревню. Станислав, к ее удивлению, не стал спорить.

После болезни он сильно переменился. Казалось, розовый свет, освещавший изнутри лицо Стани, погасили и заменили более тусклым и мрачным. В манерах юноши исчезло все девичье, он стал довольно вялым молодым человеком, с задумчивой складкой на переносице.

Перед отъездом Станислав зашел к Еленке проститься, поблагодарить ее и извиниться за свою выходку и за доставленные сестре хлопоты.

— Ты обратился не по адресу,— холодно ответила Еленка.— Дело не во мне. Да понимаешь ли ты, безумец, что ты сделал с отцом и матерью? Посмотри на них! За эти несколько дней они превратились в стариков.

Станислав был огорошен ее нападением. Он ждал, что она ответит: «Об этом не стоит говорить, я рада, что все хорошо кончилось»,— и тому подобное.

А сестра напала на него, засучив рукава, напоминая бабушку из Нехлеб.

— В такую минуту,— заметил упавшим голосом Станя,— человек не думает ни о ком. Ему решительно все равно.

— Я бы родить тебя заставила,— запальчиво вырвалось у Еленки, и Станислав невольно рассмеялся. Она засмеялась вместе с ним, но не сдалась.— Ты бы посмотрел, какое это трудное дело — произвести на свет новое существо. А сколько у матери забот, пока она этого ребенка вынянчит! Нет, и не думай, что я тебя так просто отпущу. Я должна отчитать тебя за маму, она тебе этого никогда не скажет. Всю жизнь она на тебя надышаться не могла, а что получилось? Тебе двадцать пятый год, ты уже старик, смею тебе заметить. Ты на самом деле стар для таких выходок. Покушаться очертя голову на свою жизнь,— добавила она, и недобрый огонек зажегся в ее глазах,— это привилегия детей из «лучших семейств».

Станислав поморщился, как от фальшивого звука.

— Ну ладно, перестань. И не подгоняй личные дела под социалистическую мерку. Не превращайся в наставницу, это мне противно.

— Третьего дня,— продолжала Еленка,— меня вызвали в Бржевнов к одному человеку. Кельнер повесился. Знаешь почему? У него была саркома, рак кишечника. Это ужасные болезни. И вообще подобные заболевания брюшной полости... Это сложные, затяжные болезни, и лечить их мы еще не умеем. В безнадежных случаях таких больных выписывают из больницы, даже монахини не берутся за ними ухаживать. Он умирал в течение полугода, в одной комнате с женой и пятью детьми. Он отравил всем жизнь. Потому что рак кишечника — это последнее дело... это страшная болезнь. Когда дети были в школе, а жена ушла за покупками, он повесился на бельевой веревке, оставив записку: «Прощайте, освобождаю место для детей». Это, конечно, совсем другое дело! Когда я вспомнила о тебе, Станя, мне стало очень стыдно!

Станислав упрямо молчал. Они сидели у окна, из сада на них веяло ароматом цветов. Чайные розы и красные гвоздики, золотой дождь, акации и ночные фиалки приносили свой запах откуда-то из Стрнадовского садоводства. Благоухание цветов, которые освежает садовник, слегка опрыскивая водой, лилось в комнату, изгоняя больничные запахи приемной, волнуя выздоравливающего, напоминая ему театр и любовь. Еленка белела в сумраке, такая суровая в своем накрахмаленном халате. Она походила на статую справедливости. Куда девалась гибкая, тонкая девушка?

— Послушай,— напомнил ей брат,— ты ведь не всегда была такая... не смотрела сверху вниз. У тебя тоже были разные передряги... скажем, с любовью. У меня, по крайней мере, было такое впечатление... тогда, когда ты должна была уехать в Татры.

— Ну, боже мой,— спокойно усмехнулась она, как усмехаются при воспоминании о давно забытой шутке.— И все-таки умирать мне не хотелось никогда, нет, нет! Я цеплялась за жизнь изо всех сил. Зачем спешить, Станя? Нас всех это ждет.

— Ты будешь жить сто лет, как прабабушка,— поддразнил ее Станя.

— Рада бы! Но такого позора, как с этим снотворным, ты мне больше не устраивай... Обещаешь? — потребовала Еленка, заглядывая ему в глаза.— Здоровый человек так чудесно создан,— произнесла она почти просительно.— Грешно его ломать, как игрушку. Ты знаешь, что я не католичка,— договорила она совсем тихо,— но когда самоубийц не хотят погребать в освященной земле, в этом есть какой-то смысл!

— Даже таких, как тот, больной раком?

— Тот имел право.

— Ну, будем надеяться, что нас обоих схоронят в освященной земле,— закончил Станислав и простился с Еленой. И еще добавил, уходя: — Так ты полагаешь, что мне не нужно стыдиться того, что я не умер? Я все время чувствую себя совершенно опозоренным.

— Ослик ты этакий!

ПРАГА СТАНИ

Она никогда не показывала своего истинного лица. На сцене — там она раскрывала душу, а ты держал в объятиях только оболочку. Она меняла свои личины у тебя на глазах и лгала, лгала,— боже, как она умела лгать! Может быть, потому ты никогда и не насыщался игрой, что она постоянно от тебя ускользала. Не станем говорить о разнице в годах (по правде говоря, разница эта была больше, чем предполагал Станя), не станем говорить, что она стара, если это была любовь... но кто сумеет объяснить все это сплетникам в кафе?

Возвратившись из отпуска в Прагу, Станислав избегал, как чумы, всех своих вечерних знакомых. Дома никто даже отдаленным намеком не напоминал ему о недавней прогулке в вечность. Он вычеркнул актрису из жизни, ходил в библиотеку и был здоров.

Если бы только в Клементинуме не было такого множества ниш и закоулков, где могут притаиться призраки! Она поминутно выбегала к нему откуда-то из-за книжных полок, играла с ним в прятки. Она подходила к нему и провожала его в тишине библиотеки, шла с ним по коридору мимо застекленных читален, где за

столиками сидели чинные, безукоризненно причесанные молодые люди, как будто никому из них никогда не взъерошивали волос в любовной игре. Здесь он бегал к телефону по вызову Власты, когда за ним приходил пан Гачек. Но теперь Станислав оставался глух к звонкам жизни и, не оборачиваясь, говорил: «Скажите, что я ушел». Записки, написанные крупным размашистым почерком актрис, привыкших подписывать наискось фотографии, он возвращал нераспечатанными. Как видите, Станя ни в чем не уступал, упрямый, как все Гамзы. В театр он не ходил, газет не читал и, отводя глаза от афиш, с которых кричало на углах обжигающее имя, шел скорее домой.

Сколько он исходил в это терпкое, ясное время года! Хорошо бродить по городу ранней осенью, и каждый день после обеда Станислав отправлялся в новый конец Праги, боясь встретиться со своей собственной тоской на улицах, по которым он проходил вчера. И, как склеротик, ощущающий больным местом сквозняк через три двери, он мгновенно по боли в сердце узнавал места, даже не помня их: вот здесь, у этой витрины с кораллами, мы, должно быть, когда-то стояли вместе,— отчего бы иначе мне было так больно? А вот там высятся ряды нусельских домов среди незастроенных пустырей — это адская мука вспоминать,— но когда же, когда я их видел? Может быть, из автомобиля, когда мы отправлялись в один из редких уикэндов. Как безумный, Станя разъезжал по Праге, от одной конечной остановки трамвая до другой, от Кобылис до Грдлоржез, от Стршешовиц до Высочан, от Глубочеп до Глоубетина. Ему была необходима перемена мест, как иному — водка. Из-за одной грешной, ничтожной женщины, груди которой ты прятал в своей ладони! Боже, если бы выскочить из своей оскверненной оболочки, стать вон тем старичком в одежде, отвердевшей, как латы, от грязи, который копошится в отбросах на Маниах! Стать одним из этих мальчишек, которые, взобравшись на укрепления за Карловом, с криком бегают взад и вперед и искренне верят, что они индейцы,— так же, как их матери уверены в своей правоте, когда они спорят где-нибудь на галерее! Это было самое странное в людях: они всерьез верили всему, что говорили и делали, словно никогда на свете не существовало Власты Тихой. В этом заключалось невыразимое облегчение; и Станислав, приходя в себя от неудачной любви, начинал прислушиваться к горю и радостям незаметных, простых жителей Праги. Он садился где-нибудь в Бранике на скамейку у водохранилища, люди шли с автобусов, до Стани долетали обрывки разговоров, мимо него поднимались по лестнице люди всех поколений.

— ...и проторчали мы там целый час,— смеялись школьники.— Ребята, вот это была штука...

— ...ты разве его не заметила? Жгучий брюнет, красный галстук,— с благоговейной серьезностью уверяла одна швея другую.

— Теперь он играет за Браник. Левый инсайд. Его переквалифицировали,— сообщал звучным басом молодой человек другому в кожаной куртке.

Некоторые шагали сразу через две ступеньки и говорили о какой-то лотерее.

— Может, тебе выпадет...

— Выпадет, да только дождичек...

Потом прошли двое рабочих с холодильников или пивоварни, споря о чем-то.

— Так ведь ты мог устроить, чтобы фура была,— упрекал один.

— Я не люблю допросов,— отвечал второй.

— Я говорю: «Какой вы интеллигент?» — объяснял трамвайный кондуктор полицейскому.— Скрипка, очки, а норовит зайцем проехать...

— Нас было девять...

— Нас — одиннадцать, но теперь трудно иметь столько детей,— заметила женщина, сопровождавшая мать с ребенком.— Кветушка, покажи, как делают часики! Ах, какая умница девочка...

Наконец к лестнице подковыляли старичок и старушка с чемоданчиком.

— Но ей там лучше,— решила бабка и поставила чемодан на землю.— Замучилась она здесь...

— А похороны ей устроили как полагается,— похвалился дед.— Ничего не скажешь. Что это у вас, пани, упало?..

— А это чешуйка от карпа, ношу ее в кошельке, чтобы деньги водились, да вот не водятся что-то,— рассмеялась женщина в бумажном свитере, поднимая растрепанную голову.

Нет, они не были красивы, со своими неудачными носами, довольно низменными интересами. Но они решительно ничего не знали о Власте Тихой. И за это Станя их любил.

В каждом пражском квартале своя атмосфера, свой особый запах, своя выразительность, и каждый связан с особыми ощущениями. В Бранике на свежем воздухе от лесопилки на реке пахнет шумавским лесом, от рыбаков — смолой и влтавской водой, от баб-огородниц — ботвой и сельдереем. Предприимчивые и жадные до жизни, они встают в четыре часа утра, багровыми руками накладывают в тележки кирпичную морковь, смуглый лук, кочаны красной капусты, кудрявую савойскую капусту, голубоватую, как жесть, покрытую сизым налетом инея в этот ранний час, и в десятке юбок, в шерстяном платке, напульсниках и в вязаном

шарфе из синельки с победоносным грохотом едут будить Большую Прагу и завоевывать Угольный рынок. Мужчины, обветренные и охрипшие от переклички с перевозчиком на том берегу и с плотовщиками, закалены здесь рубкой льда и охотой на выдр. Нищенские жилища — наполовину фургоны странствующих комедиантов, наполовину вытащенные из воды корабли, с камнями на крыше, чтобы ее не снесло ветром; в бржевновских песках воплощена ненависть; в Михле, у газового завода, эти жилища говорят о покорности, а тут, у Влтавы, еще теплится кое-какая надежда. Здесь у каждого есть свой садик величиною с ладонь, где растут подсолнечники, поворачивающие свои головы вслед за дневным светилом. Все это делает солнце; здесь, над рекой, благоухает озон.

Но как только поезд проходит через вышеградский туннель, прощайте, ультрафиолетовые лучи! Горное солнце превращается в канцелярскую лампу. Сутулые ученые мужи и писцы в очках, преданные всей душою документам, актам и столбцам цифр, толпами ходят в центре города. Дым стелется в котловине, не имея силы подняться вверх под гнетом тумана, и пражские акации запорошены сажей.

Повсюду: в садах у крепостных стен, карабкаясь вверх на вышеградскую скалу, на летненский склон, на Богдалец, Жижков и по злиховским холмам — всего не перечесть! — Прага хватает тебя мозолистыми руками рабочих районов. Уличек со ступеньками в Праге, как лагун в Венеции. Она сбегает с холмов и через реку любуется сама на себя.

Станислав воспринимал Прагу как чудесное живое существо с позвоночником — рекой, сердцем — Староместской площадью, головой — Градом; Прага смотрит зелеными глазами обсерватории, слегка опьяненная опием маковок в стиле барокко, которые усыпляют ее болезни, вздымает к сероватому небу пальцы башен, башенок и труб, взволнованно дышит хрупкой готической грудной клеткой центра города, а люди, как капельки крови, текут по артериям улиц и капиллярам переулков, добегая до мускулистых конечностей. В предместьях Прага выбросила на свалку свое средневековое одеяние, набрала в легкие деревенского воздуха, схватила вместо жезла кирку и в развевающейся юбке, сметая перед собой в кучу отбросы, бежит по полю в клубах пыли мимо кладбищ, через футбольные площадки и склоны — приюты убогой любви. Она поглотила поселки, лесочки и деревушки и бог весть где остановится. Трамвайный кондуктор называет остановки на Пштроске, на Пальмовке, на Фолиманке, а ведь и сам не понимает, что говорит. Кудрявые виноградники, задумчивые романтические сады, постоялые дворы для вымерших почтальонов сократились до названия улиц на блестящих табличках.

Город — загадочная картинка. Деревня пашет, боронит и сеет, косит и жнет, окучивает, полет и убирает богатый урожай прямо у вас на глазах. Год за годом она повторяет на вращающейся сцене горизонта четыре действия своей великолепной драмы труда. А в городе все делается тайком. Сапожника, забивавшего с самого раннего утра перед своей мастерской гвозди в подметки, кожевника, дубившего кожи на улице своего цеха, колесника, почти задушенного удавом пневматических шин, ремесленников и их цехи город посадил за вибрирующие фабричные стены, а ты, бездельник, прогуливающийся вдоль заборов, получишь у растущей промышленности разве только отбросы, вроде химических запахов да фабричного дыма. Ты видишь только синие, серые, коричнево-фиолетовые страусовые перья султанов, вьющихся над трубами, как военные знамена, в сигналы которых ты не посвящен. Город — это тайна.

Странствуя, Станя очутился на узких крутых улицах в приходе святого Аполлинария. На первый взгляд — это идиллический уголок. Его коренные обитатели с пивными кружками, с ключами и молитвенниками в руках сходятся на углу и стоят, разговаривая, как добрые соседи. Но если бы метрики забытого прихода обрели голос и начали рассказывать, романам не было бы конца, жалобы невенчанных матерей и плач маленьких пражан разносились бы над холмом и долетали бы вниз к Альбертову, неуместно нарушая священную тишину ученых учреждений. Станя шел мимо красного дома, о котором поют в пражских песенках (ужасно уродливая постройка, похожая не то на вокзал, не то на подделку под английский замок); потом мимо Катержинок, вдоль высокой стены, которая ограждает больные души от нескромных взоров; от родильного дома мимо дома умалишенных к анатомичке — с пригорка только один шаг, только шаг от колыбели до анатомического стола. («Я почти лежал на нем»,— приходит в голову Станиславу.) Это небольшой участок Праги, а сколько драм разыгрывается здесь! Что о них знают? Ничего. Город сохраняет тайну за стенами клиник. Подвальное окно замазано голубоватыми белилами, чтобы нельзя было увидеть *холодильник*, как цинично называет морг медичка Елена. Едва ощутимый запах дезинфекции в воздухе, обласканном заходящим солнцем, а на мостовой чирикают пражские воробьи: «Пиши! Пиши! Пиши!»

Из боковых дверей судебного морга вышел небрежно одетый толстяк, с пивной кружкой в руке, мрачный и солидный. Он напоминал пана Гачека из Клементинума.

— Вы кого-нибудь ищете? — многозначительно осведомился он у Стани как местный житель, имеющий на это право, и забренчал мелочью в кармане.— Что вам здесь надо?

— Ничего,— сказал Станя, как мальчик, и, набравшись духу, поспешил удрать подальше отсюда. Умирать ему уже не хотелось. Нет, нет! У него другие заботы. В голове у него засела Прага, она гнала его с места на место, не давая покоя.

Прага звучала у него в ушах всеми своими плотинами, всеми колоколами, рассерженными шмелями моторов, плеском шагов, гулом голосов, тем самым отдаленным гулом, который шумит в раковине «морское эхо», и островками тишины (вдруг одиноко зазвенит смех, высокий, обжигающий девичий смех); в ушах Стани шуршала серая лента мостовых, и город, подгоняемый жаждой наживы и зрелищ, убыстрял свой бег и нетерпеливо переступал с ноги на ногу, ожидая свидания; в ушах Стани били пражские часы, начиная от лоретанских колокольчиков до Вышеграда и святой Людмилы и дальше, дозванивая кукареканьем петуха на староместских башенных часах; для Стани играли в церквах трехрегистровые органы; перед ним проходили пражские фабрики, Прага металась в нем виттовой пляской машин, грохотала стройками, варила асфальт, гасила известь, месила бетон, просеивала влтавский песок, Прага пела в нем светлым сопрано над рекой, звенела детским колокольчиком красного трамвая, разносилась в нем пронзительными голосами мальчишек на Жижкове. «Пиши, Станя»,— покрикивала команда маленьких Станиславов, гоняющихся за круглым мячом, который никак не остановить. «Пиши, дружище!»

«А если я не справлюсь? — возражал Станя.— Я боюсь».

«Пустяки! — топотали в Карлине ломовые лошади гирями подкованных копыт,— не беда, только тронься с места!» И эти кони были сверхъестественной величины. Быть может, один убежал с крыши Национального театра, а другой с памятника святому Вацлаву. Они топали, как ожившие статуи, но Станя понимал каждый удар их копыт. «Разве ты не слышишь,— говорили они,— как чудесно пахнет солодом, соломенной сечкой и аммиаком? Так когда-то пахло по всей Праге. Пойди в Крч, спроси у бабушки, та еще помнит нашу славу. И твоя мать, милый юноша, еще маленькой девочкой ездила на копке и горько плакала в тот день, когда разукрашенные лентами лошадки, запряженные в зеленые, увитые цветами вагоны, проехали на прощанье в последний раз по городу. Это было во времена императора! Вся знать — господа в цилиндрах и дамы с траурным крепом на шляпах — ездила в фиакрах на резиновых шинах в свете газовых бабочек до появления пана Кршижика с его дуговыми фонарями, которые слепят глаза. Газ был здоровей для зрения, что бы там ни говорили, молодой человек, что бы там ни делали».

Так доведите меня, кони, до пристани в Карлине!

Ломовые кони, кивая головами, продолжали усердно топать, но их уже нельзя было понять. Грузовой бьюик, воплощенное землетрясение, заглушил их топот, и кони остановились перед кузницей на пустынной набережной. В глубине кузницы, мрачной, как мастерская самого Вулкана, пылал горн. Два огненных языка, золотых, как петушиные перья, пламенели в глубине пещеры, заостряясь и извиваясь, и слышались звонкие удары железа о железо. Ломовой извозчик, крохотный, как фигурка в «вертепе», выпряг этих сверхъестественно огромных коней, один из которых, возможно, носил в седле святого Вацлава, а другой, быть может, вез когда-то либушиных послов в Стадице. Станислав рассматривал все, удивляясь району, где еще живы старые времена Праги. Где же река? Ее засыпали. Где пароходы? Время их взяло. Где пристань? Она передвинулась к вокзалу на другой конец моста. Бывшее ложе реки было завалено железным ломом, старыми ящиками, привокзальные пакгаузы на одном берегу и дома на другом отвернулись от холодной ложбины, где паровозный дым перемешался с запахами болот. Это был забытый богом угол. Станя шел и в конце концов только чутьем набрел на воду. В глубине под лысыми берегами стояла отвратительная вода, затянутая ряской, зеленая, как старая медь.

«Я не та парадная река с картинки, как там, дальше,— шептала стоячая вода и зеленела от зависти.— Я не играю симфоний Сметаны у каждой плотины, но я — тоже Влтава, незаконная Влтава. Меня отстранили. Меня называют мертвым рукавом. Но я жива и дышу мириадами своих бактерий и насылаю их на город, который хочет и меня засыпать. Какие там русалки и водяные! У меня живут тиф и паралич — смотри, не случайно здесь помещается контора пражского крематория. И ты разве не видишь, что здесь бывают убийства?»

Станя окинул взглядом этот обездоленный уголок Праги. Ни одна девушка не прошла этим путем, здесь, как ни странно, не играли мальчишки, хотя в школе уже кончились уроки,— улица была словно бездетна. Упаковщики транспортных фирм заколачивали ящики с товарами, зашивали их в джутовую мешковину и отправляли в железнодорожные склады по ту сторону речного ложа. Когда пробьет шесть, они остановят тачки, воткнут иглы в мешковину, отложат молотки и гвозди и уйдут с работы; когда кузнец зальет свой горн и на пустынной набережной станет совсем темно, убийца стукнет по голове ограбленного и сбросит его в сточную трубу; затем он пройдет с пустынной набережной через какой-нибудь проходной двор к оживленному *Королевскому* проспекту и затеряется в городе. А если ворота на *Прибрежной* улице заперты, убийца пройдет по мосту под виадуком на Манины

и исчезнет среди свалок, куда сползаются старые проститутки, окончившие свою карьеру.

Районы, по которым Станя ходил днем, являлись ему во сне как живые, только в более таинственном свете. Хмурые становились более призрачными, привлекательные — еще более очаровательными, как в волшебном фонаре. Фигуры, как в лупе, четко выступали на фоне каменных стен, как голуби и кошки на пражских крышах, каждый квартал находил и посылал за Станей своего genium loci[1]. Он узнавал их с закрытыми глазами, этих пражан, которые подходили к изголовью его постели и запрещали Власте провести с ним хоть один вечер наедине. Он узнавал просто по запаху, чьи они посланцы и откуда приходят.

Он чувствовал тоскливый на солнце, осенний запах орешника, которым и весной благоухает Королевский заповедник, и вот по каштановой аллее, усыпанной пятнами света, медленно приближаются две дамы. Одна высокая, другая пониже ростом, у обеих белокурые с проседью волосы, светлые, как пар на солнце,— две дамы, которые следят за собой, настоящие дамы под вуалью с мушками и в нитяных перчатках. Их юбки доходят до зашнурованных, старательно начищенных ботинок. Сухие листья шуршат под ногами. Сколько им может быть лет? Помни, у дам нет возраста. Когда-то, во времена экипажей, обе дамы прогуливались по Королевскому заповеднику у радужного фонтана, одна под розовым, другая под голубым, цвета лаванды, зонтиком. Сейчас их заменил дождевой зонт, хотя светит солнце, и дамы встречаются у клумбы с гортензиями подле серебряного пруда, обсаженного плакучими ивами. Лебеди, шеи которых изогнуты знаком вопроса, бронзово-зеленые и синие утки плывут по гладкому зеркалу вод, и за ними веером разбегаются две волны.

— Поздно,— сказала старшая, вынимая из-за пояса холодно блеснувшие часики на черном шнурке. Младшая открывает твердый кожаный ридикюль со старомодным замочком и тщетно ищет в нем пакетик с хлебными крошками для уток.

— Совершенно о них позабыла,— вздохнула она. Она все больше колеблется. Ей трудно решиться на что-нибудь.

— Леонтина,— робко обращается она к старшей сестре,— ты не могла бы купить для них крендель?

— Тебе лишь бы сорить деньгами!

Утки шлепают крыльями по воде и выходят на берег к перилам из березы, к перильцам из альбома для стихов.

— Придется вам потерпеть,— обращается к уткам младшая, как к детям.— До завтра.

---

[1] Духа местности *(лат.)*.

— Завтра! — презрительно бросила ей высокая, и Станислав видит, что и дамы под вуалью способны сердиться.— Ты так капризна! Завтра ты, наверное, сюда не придешь. Завтра воскресенье, любая торговка может пойти в Стромовку.

Запах свежего сельдерея врывается в нежное благоухание орешника, локоть в бумажном свитере и багровая рука с четырехугольными обломанными ногтями, запачканными землей, заслоняют даму в боа.

— Поглядите-ка на нее, на эту чиновную спесь. Худы как щепка, ущипнуть не за что, а тоже важничают,— подбоченясь, говорит густым басом неестественно толстая в своих десяти юбках огородница, и оба призрака Королевского заповедника исчезают в аллее, желтеющей веерами листьев и разбросанными пятнами солнечного света. Баба с рынка прочно заняла их место. Она села у корзинки под зонтом и взялась за ножичек.

— Хотите кое-что узнать, молодой человек? — спросила она таинственно.— Скажу вам по секрету, мое золотое дитятко, что они — голь перекатная... Вы знаете, у меня два домишки в Нуслях, и не какие-нибудь, а четырехэтажные. И дочка вышла за доктора.

Вдруг здесь же оказывается служитель из судебного морга с пивной кружкой в руке и презрительно качает головой над Станиславом.

— Охота вам разговаривать с этакими бабами! Неужели не нашлось помоложе? Сейчас, кажись, вы побаиваетесь женщин? А? Вы просто спятили — да можно ли так относиться к этому? Надули бы вы ее сами, вам было бы легче, и с ней бы *поквитались*. Все мы там будем, так что ж из этого? Надо пользоваться тем, что нам дано. Все мы живем только раз. Нельзя быть таким *привередой*. Вот я, к примеру, обслуживаю *холодильник* — лед, уксус и все прочее,— а я не теряю вкуса к пивцу и свиной грудинке. У меня старуха, дети, кролики — мы чудесно живем рядом с мертвецами. Привычка.

— Вставьте меня в роман, проказник вы этакий! Не пожалеете,— подмигнул Стане вршовицкий железнодорожник в шапке набекрень, из квартала Эдем.— Пивных у нас, что грибов после дождя. Приходите, перебросимся в картишки. *Наш брат* никогда никого не огорчает, мы живем для людей, умеем с ними ладить. Приходите-ка поплясать на Марьянку, я закружу там всех красивых девчат с Вальдески. Господи! Мы тоже кое-что значим, нас ожидает пенсия. Казенный уголь и скидка на проезд. А если старуха моя ворчит, найдем себе получше.

— Боже,— сказал Станя, совершенно сбитый с толку,— королевский город, а сколько в нем швейков.— Но ведь Прага

не только номера по порядку и численность населения. Что же такое Прага?

— Это ты узнаешь по звездам,— пробормотал, проходя мимо Станислава, странный человек с бородкой, слегка сутулый от пышно накрахмаленных брыжей вокруг шеи; следовавший за ним юноша нес какой-то неуклюжий металлический сектор на подставке. Под темно-синим небом, какое бывает под вечер, среди розового сада, стояло здание с тремя куполами, похожее на мечеть. Они собирались расположиться в нем с этим неудобным хламом. Человек с бородкой поднял голову, на лице у него заблестел золотой нос, и Станя понял: ах, вот это кто! Тихо Браге пришел со своим секстантом наблюдать за небесным сводом из Штефаниковой обсерватории. Станислав совсем не удивился этому, околдованный июньским вечером. В сырой, свежескошенной траве благоухали розы, на небе цвета индиго стояла звезда. Двое влюбленных, прижавшись друг к другу так крепко, что у Стани занялся дух, шли спиной к нему вниз к вышке. Он не видел лица женщины, но по боли в сердце узнал Власту и хотел догнать ее. Тут у него над головой повернулся купол обсерватории, и в щель, напоминающую бойницу, на Прагу, как пушечное жерло, нацелился объектив телескопа, установленного на петршинской скале. Человек с золотым носом поднялся по приставной лестнице, Станя следом за ним приложился к окуляру: луч месяца, ударившись о шпиль Тынского храма, зазвенел металлом, и сердце Иржи Подебрадского, погребенное под главным алтарем, начало биться — Станислав так хорошо все это видел издали. Чернели Град и собор; по небу плыла луна, ребенок в бледно-фиолетовом челноке засмеялся и протянул ручки к апельсинам. По небу плыла луна, на Страговском стадионе атлет метал диск, несметные толпы пражских юношей с восторгом смотрели на него. Вдруг между ними протиснулся продавец воздушных шаров и протянул палец вверх, показывая, что улетел шарик. Кондитерша в чепце взвешивала муку, медная чаша выскользнула у нее из рук, и Прага вздрогнула во сне. Полная луна спряталась в облако, домовладелец сел на постели, черная рука тянулась к его часам на ночном столике. Поперек луны раскинулось прозрачное облако, молодая девушка примеряла миртовый венок перед бледно-зеленым, как вода, зеркалом, луна таяла, по синей Влтаве плыла пасхальная льдина, причастие в отроческой церквушке святого Георгия засветилось, и его окружило сияние, сияние... «А главное — сияние»,— сказал Тихо Браге голосом Стани, и Станислав проснулся в неизъяснимом блаженстве.

После этой ночи он начал писать свои «Пражские новеллы» и, хотя делал вид, будто интересуется тем, что говорят о нем в би-

блиотеке и дома, думал только о своих новеллах. Он отдался им с таким же увлечением и такой же скрытностью, как некогда отдавался своей любви к Власте.

Ничего не поделаешь, Станя отроду был немного ушиблен.

ЖУЧОК

Барышня Казмарова привычным движением хотела остановить звонок будильника, но, к ее удивлению, оказалось, что она не может повернуть голову влево. Болезнь была не опасная, но причинявшая неудобства. Она мешала причесываться, но больше всего барышня Казмарова боялась насмешить своих учениц, появившись в классе со свернутой на сторону шеей. Из-за неестественного положения головы она почувствовала давно побежденную внутреннюю дрожь, как в то время, когда она еще не стала любимицей класса, которую задаривают букетиками подснежников, и походила на необстреляпную дебютантку, оступающуюся на сцене от ужаса, что ее освищут. Учениц за партами было так много, а на кафедре, как у позорного столба, отданная на растерзание своре юных насмешливых глаз,— одинокая учительница. Прическа, кожа на лице, где, как назло, выскочил противный прыщик, бантик под подбородком, повязанный несколько криво,— ничто от них не скроется. Мальчики не так внимательны. Когда Ева Казмарова преподавала в Костелецком реальном училище, ей не приходилось так следить за собой, как в Пражской женской гимназии. Но зато как приходилось ей смотреть за мальчишками! Она тряслась от страха, что они изуродуют друг друга. Ева смертельно боялась распущенности учеников. Однажды, когда она дежурила, во время перемены передрались третьеклассники. Фачек и Медулан — оба ужасные забияки. Они так вцепились друг в друга, что не слышали, как она к ним подошла. Маленькая учительница кричала, грозила, даже удивительно, как она не заплакала,— в конце концов она была вынуждена обратиться за помощью в инспекторскую; до сих пор ей мерещится эта драка. Смотреть за мальчиками все-таки должен мужчина. С девочками справиться легче. Слава богу, она теперь преподает в гимназии имени Божены Немцовой. А главное — это в Праге, в столице, где так приятно затеряться. У Евы Казмаровой, дочери улецкого короля, не было никаких данных для наследной принцессы, которые как-то сами собой подразумеваются,— ни роста, ни изысканных нарядов, ни склонности к беспечной жизни. Нет, она спряталась за свои очки, покинув Улы, где каждый камень напоминал ей несчастную любовь к Розенштаму, она отказала всем женихам, которые готовы были же-

ниться на ней лишь ради злосчастных отцовских денег,— от отца ей ничего не нужно. Она живет одна, маленькая учительница не от мира сего, в дождевом плаще и беретике, добросовестно работающая в школе. У каждого живого существа — собственная судьба, и дело только в том, чтобы найти свое место в жизни. Беспощадная быстрота, с которой отец в Улах пропускает людей через фабрику и выбрасывает вон, погубила бы ее. Она на своем месте в размеренной правильности расписания, за книгой, погруженная в родную литературу, в ласковом мире чешских «будителей», среди молодежи. Казмарова — человек доброжелательный и живет в мире со всеми. Только бы к ней не обратились с одним. Только бы у нее не спросила новая сослуживица: «А вы не родственница улецкому Казмару?» Она каждым нервом уже заранее ждет: вот сейчас спросят; она готова провалиться сквозь землю от такого вопроса. Ева хотела что-то значить сама по себе, а не быть тенью своего отца, который угнетал ее всю жизнь.

Маленькой Казмаровой, в очках и клеенчатом дождевом плаще, девочки дали прозвище «Жучок». Ученицы ее любили. Ну хотя бы за интересный предмет — чешский язык; кроме того, молодежь сразу чувствует, кто из педагогов только зря показывает свою власть, а кто желает ученицам добра. Жучок стояла горой за свой четвертый класс. Если иногда у какой-нибудь ученицы случались недоразумения с кем-либо из преподавателей, классная руководительница Казмарова всегда старалась покончить дело миром.

Например, история с этой Бартошовой. Бартошова — бедовая, способная, но непоседливая девочка. Она усваивала урок быстрее других учениц, на лету схватывала суть, первая подавала классные работы, а потом всем мешала. Дня не проходило без замечаний. В классном журнале красовались записи: «Смеялась неизвестно чему. Отпускала во время урока неуместные замечания. Послала Аусобской перевод латинского текста. Пускала по классу солнечных зайчиков. По собственному признанию, спрятала в кафедру котенка служителя». Она — зачинщица истории с майскими жуками, когда четвертый класс выпустил в комнате для рисования тридцать два живых майских жука, и один из них упал в тушь, испачкав рисунок Новаковой Милославы и блузку учительницы, исправлявшей его в это время; зачинщицей этой глупой шалости была тоже Бартошова. Она получила за это нагоняй от директора. Коллеги Евы Казмаровой жаловались, что Бартошова вредно действует на класс. На этот раз Жучок попробовала подойти к ней по-другому: «Бросьте шалости, Бартошова. Разве вы, такая способная девочка, не можете заняться чем-нибудь поумнее? Перестаньте шалить! Это плохо кончится. Подтянитесь! Я желаю вам добра».

Учительница рисования не могла забыть историю с жуками и поэтому снизила Бартошовой отличную отметку. Чем незначительнее предмет, тем важнее считает его учитель и тем усерднее старается выставить его с выгодной стороны — это старая истина. Но черт дернул именно учительницу рисования найти у Бартошовой коммунистическую листовку. Она помчалась с ней прямо к директору и категорически потребовала созвать экстренное собрание педагогического совета, чтобы он утвердил ее предложение об исключении ученицы, которая позорит репутацию учебного заведения и за которую преподавательница рисования не может и не хочет нести ответственность. На заседании педагогического совета она еще раз повторила свои доводы.

Тут вмешалась Жучок. Маленькая Ева Казмарова попросила сослуживицу потерпеть до конца учебного года. На следующий год той не придется брать на себя ответственность за Бартошову; с пятого класса уроки рисования не обязательны, и ученица бросит их посещать, так как она не способна к этому предмету.

Ответственность за девочку берет на себя она, Казмарова, ее классная руководительница. Она не хочет потерять лучшую ученицу; коллеги — преподавательницы латинского языка и математики — конечно, согласятся с ней. Казмарова считает неразумным удалять из учебного заведения самых одаренных учениц, с которыми в переходном возрасте часто бывает немало трудностей, это известно любому педагогу. Бартошова — незаурядная девочка. Она поступила по-детски неблагоразумно. С нее хватит строгого напоминания, что ученикам, по существующим правилам, не разрешается приносить в школу политическую литературу.

Маленькая Казмарова, взяв на себя это дело, выиграла его. Она обошла перед заседанием отдельных членов педагогического совета и уговаривала их до тех пор, пока те не пообещали голосовать против исключения.

Это была победа, и грустная когда-то «принцесса» готова была запеть. Ей стало весело, как в то время, когда она сама училась в средней школе и приносила домой хорошие отметки, а отец говорил ей: «Умница, жаль, что ты не мальчишка!»

Когда на следующий день она вошла в четвертый класс, ученицы встретили ее аплодисментами. Жучок переполошилась. Боже, откуда они все узнали? Как они смеют! Она им ни словечка не проронила. Бартошова не могла узнать от нее ни о том, что ей грозит, ни о том, кто ее спас. Но в школе, как в театре, всегда все известно, бог весть откуда, но известно.

— Садитесь,— с напускной холодностью сказала барышня Казмарова и невольно радостно покраснела. Она разрумянилась, начав урок срывающимся голосом, как запыхавшийся человек, при-

бежавший с добрыми вестями. Такая атмосфера симпатии воодушевит хоть кого! С тех пор к «Казмарке» в классе стали относиться по-особенному, как относятся только в женских школах. Девочки начали «бегать» за ней. Узнали, где она живет, с кем она ходит, какой цвет любит, ссорились, кому нести тетрадки с сочинениями к ней на квартиру; в каждом слове, произнесенном не по учебнику, старались найти другой, тайный смысл. Без очков она была бы красавицей, уверяли они друг друга; некоторые даже утверждали, что очки ей идут. Барышня Казмарова находила на кафедре то пучки пасхальной вербы в словацком кувшине, то простодушные подснежники или весенние первоцветы. Эти цветы в плоских корзинках ей преподносили действительно ради нее самой, а не как улецкой «наследной принцессе», которая получает их только из-за своего высокого сана. С благодарностью в сердце она приносила их домой и, конечно, относилась к ним заботливее, чем Власта Тихая к цветам, полученным после премьеры. Всякому человеку нужна ласка. Маленькая Ева Казмарова расцветала в атмосфере дружеских чувств, которые питал к ней четвертый класс.

Но сегодня, когда она пришла в школу с неприятной мышечной болью в шее и повернулась к доске, чтобы написать примеры женского рода, в классе за ее спиной послышался подозрительный шум. «Наверно, у меня стоптаны каблуки»,— подумала Ева, чувствуя мучительную боль. Только с трудом она смогла повернуть голову влево; разумеется, на партах у окна уже шумели. Пока она была хозяйкой положения — она играла классом, как ей нравилось. Но стоит классу на миг почувствовать неуверенность педагога, как он сразу выходит из повиновения. И тогда класс не знает жалости. Еве это было известно. Выходить из себя и кричать — бесполезно, наоборот, это сейчас же вызовет отпор. По опыту своей многолетней работы она знала, что лучше принять другие меры. Лучше всего сделать вид, что ты в отличном настроении, постараться проникнуться им на самом деле, успокоить класс чем-нибудь занятным. И барышня Казмарова перешла от грамматического примера из повести «Бабушка» к легенде о страданиях ее автора — Божены Немцовой.

Некоторые люди, преувеличивая свою нужду и болезни, беспокоятся и хнычут, а поэтесса заговаривала свои страдания скромным гусиным пером. Из безотрадного пражского жилья она перенеслась в волшебную Бабушкину долину,—кто из девочек там был? Три? Мало, мы должны устроить туда экскурсию всем классом...

— Да, да,— закричали девочки.

...а вы обратили внимание, Калоусова, как на этом красивом памятнике зрячая Барунка ведет остальных детей? Там есть и обе собаки — как их звали? Султан и Тирл, хорошо, Новотная. В жиз-

ни люди были жестоки с Боженой Немцовой, австрийское правительство преследовало ее мужа, ее отвергли дамы из общества, друзья покинули. Но она населила Бабушкину долину одними светлыми существами.

А что вы знаете о черном солдате Викторки? Девочки замолчали и слушали, навострив уши в ожидании, когда же она заговорит о возлюбленных Божены Немцовой. Это было бы для них самым интересным. Но это не для школьных уроков и к легенде не относится. Ева с бóльшей охотой рисовала перед своими девочками мужественную женщину, возлагающую терновый венец на гроб Гавличка, с просветленным сердцем едущую в облаках пыли на телеге за словацкими сказками. Поэтесса во времена почтовых карет знала эту волшебно-прекрасную страну гораздо основательнее, чем современные пражане, которые едут туда на лето в «стреле» или в «татре». Дело не в темпах жизни, не в современных сумасшедших скоростях, а в сосредоточенной любви, с какой любящие всматриваются в глубину любимых глаз. Маленькая Казмарова в своем педагогическом рвении повышает голос и поднимает больную голову; сведенная шея, как от электрического тепла, выпрямляется в лучах, идущих от благородного образа Божены Немцовой. Ева неохотно смотрится в зеркало. Но она с удовольствием слушает то, что говорит,— есть у нее такая слабость! — и упивается звуком собственного голоса. Она победила себя и четвертый класс. Он слушает ее, затаив дыхание.

Раздался звонок, она вышла из класса, девочки с обычным шумом тотчас же высыпали в коридор. Она направилась в учительскую и вдруг услыхала за собой громкий голос, Ева его сразу узнала:

— Вот так *здорово! Казмарка заболталась и провела время попусту!*

Барышня Казмарова невольно быстро обернулась, и у нее вдруг страшно заболела сведенная шея.

Конечно, это Бартошова. Да, Бартошова, которую Ева выручила, когда началась история с листовкой, и спасла от исключения, сообщала какой-то посторонней девочке из другого класса, где Ева не преподает, что *Казмарка заболталась и провела время попусту!* У маленькой барышни Казмаровой на миг перехватило дух, и она остановилась, точно перед ней разверзся пол в коридоре между учительской и четвертым классом, куда она с чистым сердцем ходит каждый день,— она чуть не провалилась в эту пустоту — в извечную пропасть между учителем и учеником. Она как-то испугалась за Бартошову, сразу заторопилась прочь от нее, такая крохотная, среди долговязых горластых девчонок. Лишь бы Бартошова не заметила, что ее подслушала учительница! В протокол я не

занесу, конечно! Не запишу же в классном журнале, что я выжила из ума, что я *заболталась и провела время попусту!* Мы такими же были в молодости, так же радовались, когда педагог, заговорившись, забывал задать урок к следующему разу. Чем мы были лучше? С каким учителем этого не случается! Но Бартошова сказала это именно о ней! Всякая другая девочка о всякой другой учительнице, пожалуйста, но не о ней! Обычное дело, если речь идет о нас... Ох, как болит эта шея! И все пережитое Евой прежде, ее несчастная любовь, то, что она никогда не выйдет замуж и у нее не будет детей, то, что она непривлекательная старая дева, которую знаменитый отец угнетает всю жизнь,— все предстало перед ней в эту горькую минуту, и она почувствовала себя одинокой на белом свете. У Бартошовой, у этой бойкой на язык девочки, не было, конечно, злого умысла — все дело в том, что сиротливая барышня Казмарова требовала от своих учениц гораздо больше, чем они от нее.

ЭТО ЖЕ РАДИ РЕСПУБЛИКИ!

Казмар, улецкий Хозяин, вернулся из африканской экспедиции на своем юнкерсе, на своей знаменитой «Стрекозе». На аэродроме он выслушал множество приветственных речей и теперь проезжает вместе с сияющей супругой по разукрашенному городу. За ним едут господа из штаба и оба его биографа: Кашпар, долгие годы с успехом ведающий отделением рекламы после недоброй памяти Колушека, и франтоватый кинооператор Антош в берете и пестром полосатом шарфе. Летчик Аморт, как ни устал он от полета, остался еще на аэродроме со своей молодой женой. Он хочет дождаться осмотра самолета. «Стрекоза» — серьезная соперница пани Амортовой. Она то и дело уносит летчика от жены, даже дома не идет она у него из головы. Но сейчас, честное слово, они оба заслуживают отдыха — и Аморт и «Стрекоза». Достаточно они налетались по свету.

Первоначально возвращение предполагалось на Первое мая. Так хорошо было бы объединить оба торжества — праздник труда и приезд Хозяина. Но экспедицию постигла неудача. Над Бенгази лопнул шатун, и мотор вышел из строя. Аморт спланировал и сделал вынужденную посадку. Если бы не присутствие духа у летчика, улечане сегодня вряд ли могли бы приветствовать текстильного короля. Казмар был вне себя из-за этой задержки. Долгонько им пришлось ждать, пока достали новый мотор! Вот и вышло так, что пунктуальный Хозяин опоздал почти на три недели и застал свои любимые Улы во всей их майской красе.

Директор Выкоукал отпустил рабочих на целый день. На улицы высыпали все цехи со своими эмблемами в виде шпулек, челноков, веретен, наперстков и ножниц — весь город был поднят на ноги. И когда Хозяин подъехал к площади, поднялось такое ликование, что он был вынужден встать в своем лимузине, чтобы его видели в самых отдаленных рядах, и проехал, выпрямившись, без шляпы, сквозь ветер флагов и метель цветов,— такую устроили ему овацию. Бабушки поднимали над головой грудных ребят, чтобы показать им улецкого короля.

— Друзья,— произнес он с трибуны,— я объездил мир и снова убедился, что миллионы людей еще ходят раздетыми. Одевать нагих — одна из семи заповедей милосердия. Перед нами стоят огромные задачи. Я полагаюсь на вас. Никто не заботился о несчастных абиссинцах при черном короле. Потом за этих бедняг вступился Муссолини — шапки долой перед этим просвещенным человеком! — он принес в Абиссинию свет цивилизации. Он строит дороги, шоссе, заставляет делать прививки против эпидемий, а мы, друзья улечане, оденем абиссинцев. Платье делает человека, а абиссинцы такие же люди, как мы. Было бы весьма прискорбно,— гремел Хозяин,— если бы мы не имели права прикрыть их наготу одеждой «Яфеты».

Оратор внушительно умолк, и в наступившей тишине послышался задумчивый детский голосок:

— Дедушка, а у абиссинцев тоже есть колени?

— Ну конечно! Сейчас ты должен вести себя тихо,— прошептал старый Горынек и, протянув руку из своей коляски, погладил внука по щечке. Потом снова приставил ладонь к уху и стал внимательно смотреть на Казмара.

С тех пор как горел тринадцатый цех и Горынек пострадал от ожогов, поврежденная нога у него так и не зажила. Старик не мог ходить; но Лидке приходилось довозить его, по крайней мере, до первого двора, где инвалида ждал радушный прием. Ну и старик этот Горынек! Настоящая живая история! Чего он только не насмотрелся на своем веку! Он помнил Улы в ту пору, когда ночной сторож обходил деревню и трубил в рог каждые четверть часа — в те времена, голубчик, радио еще не давало сигналов. Он помнил деда Казмара и как тот ходил к еврею с куском материи за спиной, тратя полдня на дорогу до Драхова, помнил и бабушку Казмара и как та ела терн, чтобы было больше слюны смачивать пряжу, которую она пряла веретеном. Да, и он видел собственными глазами, как Хозяин вскочил на велосипед и догонял венский скорый поезд, когда была объявлена мобилизация и началась мировая война. Горынек помнил начинающего Казмара и ни за что не пропускал ни одного торжества. Как-никак, а его сын Штепка

заведует магазином Казмара в Каире, у него там тоже есть свой пай!

— На Дальнем Востоке для военных нужд, а также в Испании, где идет гражданская война,— продолжал между тем Хозяин,— требуется огромное количество текстильных товаров. В любой части земного шара люди явно нуждаются в обновлении этого рода ценностей. Следовательно, друзья, нужно работать не покладая рук.

«Что же стало с Францеком? — размышляла Лидка, опираясь на тележку отца и держа за руку сынишку.— Жив ли еще он?»

— Миру требуется сукно — мы его наткем,— говорил Хозяин,— рубашки — мы их сошьем, носки — мы их свяжем, марля и бинты — мы их тоже дадим...

— Франко? *Фашистам?* — откликается чей-то простодушный голос, и голова соседа Палека быстро прячется среди других. Такой вопрос может стоить места. Казмар на лету подхватывает:

— Кто заказывает, тот и получает,— улыбнулся он энергично прищуренными глазами.— Заказчик — вот наш хозяин. Нам в Улах политикой заниматься некогда. У нас не болтают языком, а работают, и этим мы гораздо больше помогаем нашему миролюбивому государству, чем господа провокаторы, которые понапрасну только портят нам репутацию за границей. Да здравствует наша любимая Чехословацкая республика! Да здравствует труд! Да здравствует мир! Через экспорт к благосостоянию! Ура!

Взрыв криков взлетел к синему небу. Штепанек размахивал трехцветным флажком, а Лидка сосредоточенно думала: «Но я не хотела бы шить рубашки для врагов Францека Антенны». И сурово, по-крестьянски, поджимала губы. Когда люди начали расходиться с площади, она схватила ручки коляски, чтобы везти отца, но вдруг вспыхнула и застыла на месте. Казмар сошел с трибуны, словно портрет из рамы, и направился прямо к колясочке Горынека.

— Сердечный привет от вашего сына,— сказал он, наклоняясь к старику, и пожал ему руку.— Я разговаривал с ним в Каире. Ему там недурно живется. Дело в магазине идет. Он делает честь и вам и нам. Побольше бы таких, как он, пионеров экспорта. Это ваш внук?

— Славный мальчуган,— заметила улецкая королева, приласкав ребенка.

— В мать,— улыбнулся Кашпар, биограф Хозяина и заведующий отделом рекламы.

«Он смеется, как *покойный* Колушек»,— приходит в голову Лидке.

— Что за хулиган кричал там сзади, вы не знаете? — спрашивает как бы между прочим Кашпар у Лидки.

Лидка еще суровее поджала губы.

— Не знаю. Откуда мне теперь знать,— ответила она. (Ишь ты, так я и побегу тебе докладывать, что это был сосед Палек.) — Я ведь не хожу больше на фабрику.

— И хорошо делаете,— одобрил Казмар.— Когда муж работает, долг жены — заниматься детьми.

Королевская чета улыбнулась семейству и отошла, обращаясь то и дело к знакомым рабочим и мастерам.

После торжества Хозяин обедал в вилле с участниками экспедиции и с господами из штаба. Приехал нисколько не изменившийся с возрастом главный директор Выкоукал, правая рука Казмара, все такой же загорелый, только на голом черепе у него теперь торчат белые волосики вместо белокурых. Приехал и его сын Карел, расплывшийся красавец. Старику все же удалось образумить сына, женить на богатой и устроить заведующим красильным цехом в Улах. Пришел и старший врач Розенштам, постаревший за один мартовский день, когда он, настроив радио на Вену, чтобы послушать симфонию Малера, услыхал вместо нее фашистскую песню «Хорст Вессель». Небольшим ростом, своим выразительным треугольным лицом, нервной жестикуляцией он резко выделялся за столом среди остальных гостей, угловато-самоуверенных и по-казмаровски хладнокровных. Из дам присутствовала одна хозяйка дома, как всегда томная и любезная, сегодня более, чем обычно, оживленная радостью свидания с мужем. Она все-таки немного напугалась за него после той аварии в Бенгази. Но «двужильный» только улыбался энергично прищуренными глазами: мороз крапиве не страшен. А что же учительница Ева, не приедет повидать отца?

— Она ведь преподает,— объяснила мачеха,— а при ее добросовестности... Бедная Ева — такая педантка! Никогда в жизни я не понимала этого.

Во всем был Хозяин счастлив, только с детьми ему не повезло.

К обеду, само собой разумеется, был приглашен и летчик Аморт, но он отвертелся. Хочет отдохнуть от старика, сказал он своей молодой жене. Это не человек, а машина какая-то!

За обедом Казмар был в приподнятом настроении. В Италии он очень выгодно приобрел по клирингу партию искусственного хлопка, значительно более дешевого, чем натуральный. Кроме того, он подписал два выгодных договора на военные поставки с итальянским командованием в Абиссинии и с губернатором Ливии. Хозяин вернулся загорелый, обветренный и помолодевший, полный новых планов, начинаний, воодушевленный тем, как в Италии

строят новую империю. Дуче приказал вывесить во всех гимнастических залах карты старой римской империи, чтобы у мальчиков из фашистской организации «Балила» великая цель была перед глазами.

— Как у «гитлеровской молодежи»,— говорил Карел Выкоукал.— Недавно я был в Дрездене...

— Вот дерьмо! — в Казмаре сказался человек из народа. Хозяин не любил Карела, а не только «гитлеровскую молодежь».— Видеть не могу этих мальчишек в белых чулках! — воскликнул он.— Зато там, в Италии, превосходные ребята, настоящие древние римляне.

— Всякая сила — зло,— устало произнес Розенштам.

— Зло? Благословение божие, если она в руках хорошего человека! Если бы у нас, в наших цивилизованных странах, были такие превосходные шоссе, какие построили итальянцы в Африке вдоль моря, вплоть до египетской границы!

Автострады, которым Хозяин завидует. С величайшим любопытством осматривал он итальянские ирригационные работы в Ливии и работы по осушению понтийских болот в метрополии. Он стоял в Риме на Форо Муссолини, на этом лучшем стадионе мира. Это их Голодная стена из каррарского мрамора. Этим, по словам Хозяина, думают разрешить кризис!

— Боюсь,— простодушно заметил Розенштам,— что значительно радикальнее кризис разрешили на итальянских военных заводах.

— Вы не любите Италии. А сами похожи на итальянца,— шутя заметила хозяйка дома, пытаясь перевести разговор на более безобидные темы.— Не угодно ли мороженого?

— Не скрою, что, когда всю жизнь имеешь дело с искалеченными людьми,— говорит хирург, не ответив на ее улыбку улыбкой,— без особого удовольствия смотришь на итальянские самолеты в испанском небе.

— Там и русские есть,— резко заметил на это Хозяин.— О них вы ничего не говорите.

— У нас здесь вербуют в Интернациональную бригаду, собирают деньги на красную Испанию, и подкупленные социалисты натравливают нас на Франко, я только удивляюсь, как правительство все это терпит,— недовольно сказал главный директор Выкоукал.— Мы когда-нибудь жестоко поплатимся за это кокетство с большевизмом. Выкрик рабочего сегодня утром очень характерен. И кто его только подучил?

Главный директор в упор посмотрел на врача злыми синими глазами.

«А ведь он меня ненавидит»,— пришло в голову Розенштаму.

— Горсточка безответственных людей, которые совсем не любят нашу страну,— вырвалось у Выкоукала. И Розенштам понимает: евреи.— Ничего удивительного, если Гитлер раздражен.

— Из вас никто не был в Праге, когда там вспыхнули антинемецкие беспорядки? — спросил Хозяин.

Когда? Какие беспорядки? Улечане переглянулись. Ничего ведь не было. Они, конечно, знали бы о беспорядках. И если бы даже в газетах о них не писали, так сотни людей ежедневно ездят в Прагу из Ул,— они-то молчать не стали бы. Это утка. В Чехословакии, пока Хозяин путешествовал, все было спокойно.

— Мы прочли об этом в итальянских газетах,— припомнил Кашпар,— примерно в середине апреля.

— Великогерманская пропаганда,— бросил молодой Выкоукал.

— Теперь вы видите, как позорят нас эти болтуны,— горячился Хозяин.— Я говорил с уполномоченным «И. Г. Фарбениндустри» в Милане. Он сказал, что ему следовало бы съездить в Прагу, но что он не решается. Будто бы на пражских улицах нельзя заговорить по-немецки без того, чтобы не получить затрещину. Мы несем из-за этих небылиц огромные убытки.

— И все же мы всегда находим общий язык в Союзе крупных предпринимателей,— веско сказал директор Выкоукал.— Эти немцы в личных отношениях очень порядочные люди, как, например, Фрауенберг, Мадер, Линдт. Кризис их задел так же, как и нас.

— Нет, они всегда были мне противны,— вмешался Хозяин.— Я еще помню, как в Вене, когда я был бедным странствующим подмастерьем, на всех углах были наклеены оскорбительные для нас надписи. Они делали из чехов дураков. Впрочем, это сейчас не важно, мы все на одном корабле, и волей-неволей с ними надо ладить.

— Во что бы то ни стало,— с готовностью подтвердил старый Выкоукал.

Розенштам поднял голову.

— А если они не захотят? — бросил он с вызовом.

— Ну, мы проявим к ним искреннюю благожелательность,— резко ответил директор Выкоукал.— Для этого, разумеется, нам не нужны злорадные скептики, которым доставляет особое удовольствие все портить.— И он посмотрел на Розенштама.— Сегодня, отбросив предрассудки, мы должны вести разумную позитивную политику. Нам следовало вести ее уже давно. Соседа себе искать, соседа, как подсказывает здравый смысл. Ах, эта наша несчастная внешняя политика! Принципиально заключать пакты с теми государствами, которые не граничат с нами непосредствен-

но. Франция и Англия далеко, а теперь эта самоубийственная идея насчет России! Упаси нас боже от помощи большевиков! Что бы тут началось!

Хозяйка дома побледнела.

— Что бы они тут натворили! — с тоской в голосе воскликнул Карел Выкоукал, как человек, который, очевидно, не в первый раз слышит эти разговоры.

Но старый Выкоукал разошелся.

— Если бы я выбирал из двух зол меньшее,— он решительно посмотрел на сидящих за столом,— то мне был бы милее Гитлер.

— Мне тоже,— сказала хозяйка дома.

Розенштам взглянул на нее с удивлением. Директор Выкоукал перехватил этот взгляд.

— Чего нам его бояться? — добавил он вызывающе.

«А ты, еврей, боишься»,— подумал о себе Розенштам. И действительно он боится. Он чувствует *его* у себя за спиной. Далеко ли австрийская граница от наших Ул? Розенштама преследует картина, которую он видел в марте, когда в ветер и слякоть возвращался из Драхова от пациента, заболевшего острым аппендицитом: молчаливая армия людей украдкой, ночью, при искусственном освещении, бесшумно возводила военные укрепления. Врач становился все более одиноким среди старых друзей из улецкого штаба. Это началось с того самого вечера, когда венское радио вместо симфонии Малера передало песню «Хорст Вессель». Что я им сделал? Ведь они всегда знали, что я еврей, и прежде не придавали этому значения. Но, может быть, сегодняшняя мнительность — всего-навсего припадок ипохондрии? Может быть, все это ему только показалось?

— Ни Гитлера, ни большевиков! — горячо воскликнул Хозяин.— Мы здесь сумеем сами навести порядок. Не понимаю, господа, отчего вы все так раскисли?

— Потому что вас так долго не было дома, Хозяин,— юлил перед ним биограф.

Казмар сидел со своими гостями перед огромным окном во всю стену. В окно заглядывали неровные уступы предгорья, тот край, где не родится хлеб и берут свое начало реки. Вилла стояла на пригорке у леса, и Хозяин видел кирпичный завод и лесопилку, вагонетки канатной дороги, повисшие в воздухе, кучки красных кубиков среди кудрявых деревьев, вдали белела усадьба образцово-показательной фермы. Куда ни взглянешь — парки, железнодорожный путь, новый вокзал,— все принадлежало ему до самого гребня леса, где, как пасть с выбитыми зубами, зияла каменоломня. На месте крохотной ткацкой, с которой Казмар начинал дело, стоит торговая академия, и река Улечка — сколько бед она натво-

рила своими весенними паводками! — давно усмирена. Улечанам уже нет надобности уходить в Австрию на копку свеклы или запрягать клячу в тележку и ездить с мутовками по ярмаркам. Они больше не записываются у заморских агентов и не эмигрируют в трюме за океан. Им хорошо живется и дома — Хозяин всех прокормит. В годы кризиса у нас, в Улах, мой милый, было несколько получше, чем в Америке, где безработные торговали яблоками перед нью-йоркской биржей. И какие бы козни ни строили нам немцы, мы, в Улах, все опять одолеем! Несомненной беззаботностью дышал край, где Казмар родился, вырос, пробил себе дорогу, край, который он любил и который он преобразил своей счастливой идеей и настойчивой волей. Свою связь с Улами он особенно сильно ощущал каждый раз, когда возвращался домой из своих путешествий. Казмар не ломал себе головы над карлсбадскими требованиями Генлейна, как те, кто оставался в удушливой атмосфере республики. Он проветрился в полетах над облаками и переполнен всевозможными планами.

— Посмотрите, господа, что тут у меня есть для вас,— сказал он за черным кофе. Он вынул свой знаменитый блокнот и провел рукой по упруго шелестящим краям, как картежник по колоде карт.— Калькуляция автострады. Я ошалел от нее в Риме. Мы построим магистраль от Хеб до Большого Бочкова. Года через два она будет готова, если за дело возьмемся мы, а не эти копуши из Праги. Одновременно мы создадим акционерную компанию, получим ссуду, а проценты выплатит государство. Пойдемте обсудим это сейчас же,— поднял Казмар гостей, надел пасторские очки и повел штаб в свой рабочий кабинет.

— Не угодно ли! Вот он всегда так,— пожаловалась хозяйка дома врачу и биографу, когда они с ней попрощались.— Не заглянет и домой, опять за работу.

Но муж возвращается к пани Казмаровой вечером, они рано ложатся, и жена, после стольких недель беспокойства, засыпает в его объятиях, очень усталая. Теперь, слава богу, он принадлежит ей. С ним решительно ничего не случилось. Он рядом, и даже большевики не могут ее обидеть, пока с ней Казмар. С ним она чувствует себя в полной безопасности.

На ночном столике со стороны Казмара стоял телефон, к которому ничего не стоило протянуть руку. Нерв телефонного провода и ночью связывает Хозяина с цехами. Пани Казмарова ненавидела маленький черный аппарат, как надоедливого человека. Иногда она тайком от мужа выключала телефон, сделала так и сегодня. Хоть на одну ночь пусть его оставят в покое! Она потушила свет, и они заснули. Среди ночи ей показалось, что за оградой скрипят чьи-то шаги и что кто-то открывает калитку. «Вероятно, это

подвыпивший шофер пришел из пивной»,— подумала она недовольно и опять погрузилась в сон, убаюканная мелким горным дождем.

Шофер Казмара должен был подать машину в шесть часов утра. Но в туманном горном утре об автомобиле ни слуху ни духу. Все неподвижно. Казмар ругается последними словами. Сам он был очень точен, и ничто так не сердило его, как опоздание.

Тут в холл вбежала заплаканная жена шофера.

— Он призван! — кричала она.— Мобилизация! Милостивый пан, разве вы не знаете? В полночь старый Лаймр принес ему повестку, и он тотчас же собрал свой *ранец*. Война будет, война! — И снова заплакала.

Сначала Казмар почувствовал себя неслыханно оскорбленным. Узнать такую новость от жены шофера!

— Не могли мне ночью сообщить об этом, мерзавцы!

Пани Казмарова, конечно, пришла в ужас оттого, что будет война. Но еще больше в эту минуту она страшилась гнева мужа и побежала в спальню включить телефон, чтобы Казмар ни в чем ее не обвинил. Когда она вернулась вниз, Казмар уже сидел за рулем студебеккера, и машина выезжала со двора на дорогу.

Он растолкал пилота. Люди еле успевали отскочить в сторону с дороги, когда они вдвоем мчались к аэродрому.

Аморт, похудевший, мрачный, не завтракавший, молчал в углу автомобиля. В нем точно все оборвалось. Казмар буквально оттащил его от жены; и к тому же эта весть о мобилизации. Тени тополей в клубах тумана мелькали, как дурной сон. Крестьяне вели в Улы зарегистрированных лошадей, и они тянулись караваном по шоссе, как тени. Мобилизация! Мобилизация!

— Пока доберемся до аэродрома, туман рассеется,— заметил Казмар.

Пилот промолчал.

А кони шли и шли. Будет, будет война... Маленькие лохматые венгерские лошадки и битюги, грохочущие тяжелыми подковами, усердно шагали по дороге и сердили Казмара своей медлительностью. Иногда какая-нибудь лошадь останавливалась и срывала листочек, другой с дерева; порядок нарушался, и погонщик с проклятиями гнал ее на место, лошадь становилась на дыбы и танцевала перед автомобилем. Человек за рулем и перегревшийся мотор нетерпеливо дрожали. В Прагу! В Прагу! Мобилизация! Будет объявлен мораторий! Банки задержат вклады. Казмар расстрелял бы эту скотину и людей, которые бестолково топтались перед ним посреди дороги в тумане. Мобилизация! Мобилизация! Военные поставки. Когда-то он догонял венский скорый поезд на велосипеде. Времена меняются. Сегодня он сделает это на самолете.

На аэродроме все еще горел маяк. Такой туман. Свет от вращающегося прожектора расплывался в нем, как клякса на промокательной бумаге.

Оба вышли из машины — Казмар торопливо, Аморт неохотно — и захлопнули за собой дверцы.

Дежурный, приложив руку к шапке с галуном, отрапортовал Хозяину, что пять летчиков с грузовых самолетов призваны на военную службу и уже уехали.

«Скорей, пока у меня не забрали Аморта вместе с «юнкерсом»,— подумал Казмар.

Но пилот тоже был смущен:

— А если я тем временем получу повестку о мобилизации?

— Вы бы уже получили ее! В полдень будем обратно. Ну так живей, живей, темпы!

Где веселый, ветреный аэродром? Обычно он похож на огромное футбольное поле. Равнина, радующая простором, прозрачный воздух над ней, ветер и солнце. Конус и флаг на контрольной вышке почти беспрерывно полощутся под напором ветра. Ветер словно приносит самолеты из-за гор, через которые перелетает, и с морей, у которых он побывал. Тогда аэродром благоухает озоном далеких стран, все вокруг дышит предприимчивостью. Но сегодня поле лежало в тумане, как спущенный пруд. Слегка попахивало бензином, немного болотом. Пилот остановился. Три человека, такие крохотные на этом гигантском аэродроме, почти терялись в тумане.

— Пар как из корыта,— говорит Аморт.— Я еще не спятил. Я не пойду на это.

Казмар, не слушая его, мерным шагом направился к ангарам. Испарения бензина — это благоухание самолетных стай — сгущались. Аморт всегда их любил. Они всегда тянули его к себе, всегда возбуждали, но сегодня были противны. «Опять,— подумал пилот,— опять!» Вчера утром он стартовал в Венеции.

Самолеты на шасси наставили носы к выходу, и казалось, что они, как орудия, нацеливаются на подошедших. Здесь стоял «юнкерс» Аморта «Стрекоза». Пилот перелетел на «Стрекозе» через Альпы, Мессинский и Сицилийский проливы, через синее Средиземное море в Африку, они пролетели вместе над североафриканским побережьем, и все это без радиста, по карте и компасу, этакому старому горшку, и вместе благополучно вернулись обратно. «Стрекоза» слушается его, как живая. Он вел ее быстрым взглядом, ясной головой, чуткими руками, энергичной ногой. Он ощущал ее положение всем своим существом, всегда знал, удачно ли сядет машина. Он сросся со «Стрекозой», как душа с телом. Они жили вместе над облаками, заряженными электричеством; они

вместе искали просвета в небе, если им случалось заблудиться в горных туманах; однажды они чуть не погибли. К счастью, раненая «Стрекоза» в последний миг дала об этом знать и спланировала. Они видывали виды и доверяли друг другу. Но сегодня «Стрекоза» была словно чужая. Она казалась огромной и отталкивающе-безобразной, похожей на саранчу с выпученными глазами. Казмар подошел к дверцам. И в профиль «Стрекоза» походила скорее на хищную щуку, чем на стрекозу, которая взлетит и будет своим серебряным трепетным блеском в воздухе манить мальчиков стать пилотами, как когда-то другие самолеты завлекали маленького Аморта. Да, он стал летчиком, его желание исполнилось! Но все можно испортить! Он провел со «Стрекозой» в странствиях три месяца, и пока с него хватит. Ему нужно как следует отоспаться, отдохнуть и прийти в себя, и тогда ему опять захочется взлететь в воздух на «Стрекозе». Он не в силах ни видеть ее, ни обонять запах бензина.

— Машина заправлена?

Да, все сделано, такой он добросовестный болван.

— Не разрешается этого,— вырвалось у Аморта угрюмо.— А кто считает, что в этакой американской прачечной,— показывает он рукой на мглу,— я соглашусь стартовать, тот пусть и летит.

Жаль, что Казмар не научился сам управлять самолетом, как Муссолини, перед которым он преклоняется. Не пришлось бы слушать эти дерзости. Он очень рассердился, но подавил свою ярость.

— Пока выводят машину из ангара,— сказал он сдавленным голосом,— туман рассеется.

— Кому, как не мне, знать эту *живописную котловину*,— ответил пилот и не тронулся с места.

Зато у Казмара, улецкого короля, чесались руки, и, хотя он был уже не молод, он помог рабочим толкать машину.

Помощь, быть может, и невелика. Но людям это приятно.

— Будь я на вашем месте, Хозяин,— шепчет ему один опытный механик,— я бы сегодня не полетел. Мы-то знаем, что творит туман в Улах. Вы скорей попали бы в Прагу на машине.

— Вот будет у нас автострада,— оборвал его Казмар.— Аморт, что я вам говорил? Солнышко.

— Кто его видит, тот пусть и стартует,— отрезал летчик,— а я что-то ничего не вижу. Почему всегда я? Да и вообще пилот имеет право отказаться от полета, если неважно себя чувствует.

У Казмара надулись жилы на лбу.

— Мобилизация,— рявкнул он,— не понимаете вы, что ли?

Аморт нервно вздрогнул от его окрика и был готов заплакать, но ему тотчас же стало стыдно.

— После двенадцати тысяч километров, которые я налетал, любой пилот одуреет,— заметил он подавленно.

Казмар мгновенно спохватился.

— Любой, но не вы,— возразил он с признательностью и выпятил грудь, точно гордясь пилотом.— Я же знаю, кто такой Аморт.

Казмар дружески обнял его за плечи и, не обращая внимания на то, как летчик упирается всем телом, незаметно подвел к «Стрекозе».

— Сто крон за километр, и едем! — с жаром воскликнул он и подтолкнул пилота к лесенке. Но Аморт остановился на первой ступеньке.

— Мне очень жаль,— сказал он холодно,— но вы сначала заказали бы погоду получше.

У Казмара снова вздулись жилы на лбу.

— А родина! — прогремел он так, что зазвенело в ушах у рабочих.— Для вас она ничего не значит? Дело идет о высших интересах, я не обязан вам рассказывать о своих военных обязательствах. Над Альпами пролететь в тумане вам ничего не стоило, а тут такой кусочек — до Праги! Это же ради республики!

Аморт окинул его юным, робким, серьезным взглядом, взбежал по лесенке и молча сел в свою кабину.

Мотор оглушительно взревел, лопасти винта начали вращаться, и все присутствующие на аэродроме увидели в расплывающемся свете прожекторов, как «Стрекоза» катится и отрывается от земли.

КУДА ЗАКАТИЛОСЬ ЯБЛОКО ОТ ЯБЛОНИ

Сегодня у барышни Казмаровой в пятом классе в десять утра был урок чешского языка.

На учительской лестнице она встретила сторожиху. Та смущенно остановилась, уступила дорогу, посмотрела барышне Казмаровой вслед, словно удивляясь, что она тут. Но ведь школы не закрыты? Люди в смятении от мобилизации. В трамвае только об этом и говорили. Женщины везли сумки, набитые всякими продуктами, рассказывали, что торговцы уже придерживают товары. Конечно, через месяц станут продавать втридорога. Мужчины называли призывные возрасты, говорили, что мы занимаем границу, потому что немец хочет вторгнуться в нашу страну. Но все это только слухи, разговоры втихомолку; объявлений о мобилизации нигде не было расклеено.

Большая перемена, шумная как всегда, разливалась журчащими потоками по всем этажам, наполняя школу гомоном святоч-

ной ярмарки, в этом звонком гуле высоко взлетали отдельные смеющиеся голоса — все, все, как всегда. Счастливая молодость! Барышня Казмарова торопливо пробежала по коридору к учительской; как и все преподаватели, она старалась избегать приветствий учениц, в ответ торопливо кивая головой. Бартошова, заметив ее, изменилась в лице и явно испугалась. Все пятиклассницы уступали дорогу своей классной руководительнице. Как будто у них нечиста совесть. Что там они опять натворили? Ева проскользнула в учительскую, и как только вошла, все сразу замолкли. Барышню Казмарову встретила мертвая тишина. Коллеги смотрели на нее, как ей показалось, с испуганным недоумением, точно они даже и не ждали ее сегодня. «*Фашистка я,* что ли, какая, в чем дело? — думает Ева.— Или вы все с ума сошли из-за этой мобилизации?» Законоучитель встал и, внимательно глядя на Еву, решительно пошел ей навстречу. Тут из кабинета директора открылась дверь, и секретарь пригласил доктора Казмарову войти.

Директор указал ей на кресло и подождал, пока она сядет.

— Коллега, я знаю, как вы добросовестны. Но то, что вы пришли даже сегодня...

— Ну, само собой разумеется,— ответила Ева удивленно.— Все педагоги пришли, пока их не призвали. Занятия ведь продолжаются? — стала допытываться она.

— У вас дома нет радио?

— Нет,— сказала Ева, немного пристыженная тем, что опять запоздала.— Было какое-нибудь распоряжение? Все ведь здесь?

— Вы не получали телеграммы из дому?

— Получила, господин директор, еще вчера. Отец благополучно вернулся.

Директор озабоченно посмотрел на нее.

— Вас вызывали по телефону из Ул...

— Приглашение? — перебила Ева нетерпеливо. Все, что связано с отцом, ее раздражает. Даже и в школе ее преследует его имя.— И зачем они вас, пан директор, утруждают? Ведь я написала матери, что до воскресенья не могу. А сейчас такое время...

Раздался звонок, и директор медленно, как-то неохотно встал.

— Коллега, я даю вам отпуск на неделю. Ваш отец... авиационная катастрофа. Примите выражение моего искреннего...

Но Ева вздрогнула и не притронулась к его руке.

— Где? — произнесла она слабым голосом, словно ей не хватало воздуха от ужаса.— Не может быть! Где папа?

— В Улах,— ответил директор.

Да, теперь он лежит перед ней здесь, в улецкой часовне,— никогда уж он не пройдет, прямой, без шапки, по висячему мостику между застекленными кубами зданий, никогда. Сколько угодно можно разыскивать его автоматическим сигналом во всех пятидесяти пяти фабричных корпусах, Хозяин не откликнется больше. Хозяин недвижим. Какое ему дело до распри между народами и государствами, из-за которых столько забот у людей, он предстал перед божьим судом. И на что будет он осужден? Он оставил после себя большое дело. Его трудолюбие было образцовым, а его жестокость беспримерна. Тише, тише, мертвых поминают только добром! Он уже не узнает, что немцы нас испугались, что мобилизация отменена. Вот видишь, ты слишком поторопился. Поторопился — и не построишь уже автострады от Хеб до Бочкова. Но как будто все еще что-то высматривают глаза с энергичными морщинками на осунувшемся лице, которое Розенштам так заботливо подправил именитому покойнику. Шрам, как молния, наискосок рассекает лицо сверху донизу. Глаза необыкновенно жуткие, выпученные от ужаса при падении, они как будто хотели осветить свой собственный конец, эти неумолимые глаза. Они так и остались полуоткрытыми. Он и спал так же. Это знала его вдова. Даже врачу не удалось до конца сомкнуть его веки. И благочестивые пожилые женщины в своих монашеских платках, напоминающие деву Марию и святую Людмилу, объясняли в Улах, почему не могут закрыться глаза Казмара. Это знамение, что не будет покоя его душе и после смерти. На совести у него молодой Аморт.

Да, еще одно мертвое тело лежит в часовне, но Ева забыла о нем в эту минуту, она не в силах отвести глаза от отцовского лица. Это ее отец, и никогда он ей не скажет больше своим глуховатым, сдавленным голосом: «Умница, жаль, что ты не мальчишка!» И дочь поникла в слезах. Никогда больше не дрогнут искривленные губы, и он не упрекнет ее в дезертирстве,— если ушла с фабрики, так почему, по крайней мере, не преподает в его школах! Папочка, прости, я не верила в твои теории. Но тебя я любила, любила. А он лежит, вытянувшись во всю длину, что-то высматривая своими настороженными глазами и разоблачая ее половинчатую правду. «Умница, признайся по чистой совести: я был слишком значительным человеком. И потому ты ушла с моего пути». Мертвые, они заглядывают нам в душу. Великан со дня рождения угнетал крошку Еву своим именем. А она хотела чего-нибудь стоить и сама по себе. Этим она гордилась, да, гордилась. Поставила на своем и гордилась. Мертвые умеют перевернуть нашу душу. Зависть и гордость. Она не упрекала отца, не раскаивалась. Теперь все уже поздно. Больше никогда...

По каменному полу прозвучали чьи-то шаги, цветы зашелестели рядом с Евой. Оглянулась, не мачеха ли это? Но шаги направляются в сторону. Рядом с гробом Казмара стоял другой, Ева не думала о нем. К тому гробу подошла женщина. Молодая, в черном платье, с непокрытой головой, в руках у нее корзина цветов. Она поставила ее на пол, преклонила колена, перекрестила мертвого летчика, постояла с убитым видом, потом начала устилать гроб цветами. Она делала это с такой осторожностью, точно прикасаясь к больному, с такой заботливостью, точно верила, что принесет ему пользу.

— Еще несколько розочек в изголовье,— рассуждает она вполголоса,— вот так... чтобы тебе лучше спалось. Мы не думали об этом, когда вместе рыхлили для них землю, правда, Еничек?

Вся скорбь, которая, словно камень, угнетала молчанием дочь Казмара, выливалась из уст женщины певучими словами колыбельной песни. Она думала вслух, как делают женщины из простонародья.

— Еничек,— говорила она,— я знала, я так просила тебя. Злосчастный туман...— И она заплакала.— Не надо было слушать его, не надо. Что ему! Ведь он жил достаточно. А ты, Енда...

Ева Казмарова ужаснулась. Она шевельнулась, чтобы подойти к вдове летчика, но в эту минуту между ними пролез Кашпар. Он осматривал погруженную в полумрак часовню, прежде чем у гроба станет первый почетный караул из молодежи Казмара и к покойникам откроется публичный доступ. Он поспешно зашептал что-то молодой женщине, охваченной горем, указывая глазами на барышню Казмарову... «Его дочь»,— слышит та. Но вдову это не тронуло.

— А я жена Аморта,— ответила она.

— Уходите, уходите, пани, вы ему не поможете. Не плачьте, мы о вас позаботимся.

Он попробовал ее увести.

Молодая женщина вырвалась и действительно перестала плакать. Она выпрямилась с пустой корзинкой в руках, глаза ее злобно сверкнули.

— На это мне наплевать, на ваши деньги, слышите? — закричала она, как будто они были не в часовне, и снова залилась слезами.— Верните мне Енду! Мы так любили друг друга...

Страшно было услышать такие слова, а дочери Казмара тем более. Когда она слышала те же слова? Откуда она знала это? Жилистые мужские ноги, кровавые полосы вдоль ободранных голеней, это живое мясо, дергающееся в чудовищной судороге,— обгоревший Горынек. Отец запер его в пылающей прядильне, чтобы спасти склад с хлопком, он опустил за ним противопожарный

занавес. Наверное, он не знал, что там кто-то остался. Он же не думал, что они оба погибнут, не стал бы, конечно, уговаривать пилота, если бы тот наотрез отказался лететь?

О том, что летчик отказывался, в один голос говорили по всем Улам. Это засвидетельствовали в протоколе все до единого: дежурный по аэродрому и механик, все рабочие, кончая самым младшим, помогавшим выводить машину из ангара. И что Хозяин уговаривал Аморта, как мог,— и ласково, и кричал, и льстил ему, обещал и грозил; и это говорили о Казмаре — теперь его больше не боялись. Аморт все время возражал, указывая на туман. Но не поддался Хозяину, даже когда тот предложил ему большие деньги за полет до Праги. Аморт уступил только тогда, когда Казмар сказал, что это нужно республике, и беспрекословно сел за руль.

У «юнкерсов» нет прибора, показывающего положение самолета по отношению к земле, так что в тумане пилот не знает, на какой высоте он летит. Аморт боялся тумана. За поездку в Африку он столько времени провел в воздухе, что нервы у него сдали. Не рассчитав, он взял слишком большой угол подъема, чтобы поскорей подняться над туманом, машина начала запрокидываться. Она потеряла скорость, мотор отказал, и самолет разбился. Знатоки восстановили всю картину катастрофы, и летчики, которые учатся на каждом несчастном случае, разнесли о ней весть по свету. Разве «юнкерс» — машина?! Кто летает на трехмоторном «дугласе», тот и слушать не станет об этом «гробе». Напрасно в нем искать кабину радиста — они летали не по радиопеленгу, а по компасу, этакому старому горшку. У «юнкерсов» нет автоматического пилота, этого нерва самолета, отсутствует пульт управления, где так удобно делать вычисления. Этот *гроб* имел одинарное управление, разве так летают за море? И после этого удивляются, что у пилота сдали нервы. Аморт облетел все североафриканское побережье один. Он благополучно вернулся из Африки и разбился у места своего рождения. Ему, конечно, нужно было как следует отдохнуть. Пилот имеет право отменить полет, если плохо себя чувствует. Прочитайте-ка коллективный договор. Но какие там в Улах коллективные договоры! Торговые — это верно, здесь их уважают!

Тяжело было барышне Казмаровой, когда она добралась до истины. Всего полностью, как вам рассказываю я, Еве не говорили. Розенштам щадил в ней дочь Казмара, директор Выкоукал — наследницу «Яфеты». Но ей достаточно было увидеть и услышать вдову Аморта. Даже смерть не кончила счетов Евы с отцом.

Двойные похороны были страшны и торжественны. Люди с хуторов, запасшиеся съестным, целыми семьями начали сходиться уже с вечера и, переночевав у родственников, на рассвете, хотя

похороны были назначены только на полдень, расположились табором по сторонам улецкого шоссе, по которому должна была следовать процессия на лесное кладбище. Люди держались за места, не желая пропустить зрелища, пришли оплакать Хозяина. Это был жестокий человек, но у женщин с гор в то время были покорные сердца. Каков бы он ни был, он давал их мужьям хлеб, преобразил край своим предприятием и сделался легендарным героем. Ему не удалось смежить веки, но глаза его больше ничего не высматривают. Над ним заколотили крышку, на черный гроб положили тяжелый венок — вдвоем не унести, на венке радуют взгляд трехцветные ленты нашего флага. Не говорил ли Кашпар по улецкому радио, что великий покойник стал первой жертвой нашей мобилизации, то есть тех самых великолепных маневров, которые возбудили уважение к нам у нашего соседа? Пусть говорят как угодно, мы не настолько глупы. Лишь бы немец испугался, а мужчины вернулись домой. Но посмотрите туда, на этот венок из белых роз и *сиреневых лент,* как это красиво! Это гроб Аморта. Еве его не забыть. Целые товарные поезда с венками прибывают в Улы; автомобильные парки вырастают на всех улицах и площадях. Я не знаю господ министров торговли и промышленности, ни членов дипломатического корпуса, которые сидят на трибуне во дворе заводоуправления, где совершается траурный обряд, ни этих представителей от учреждений и корпораций. Дама с блокнотом, еще достаточно бойкая для своих лет, бывшая обозревательница мод, а теперь театральная рецензентка, расскажет вам все это вместо меня. Ее специальность — спектакли, и она, наверное, трогательнее, чем я, опишет вам траурное сукно и флер улечан, оплакивающих Казмара, и скорбный желтый свет фонарей средь бела дня. Она с глубоким волнением выслушает все эти утомительные нескончаемые речи, чтобы поместить их затем в газете «Народный страж», и умудрится заметить слезы даже на тех глазах, которые остались сухими. А я ручаюсь за старого Горынека. Он сидел в своей коляске и плакал от всего сердца. Лидка стояла над ним, как туча, и сурово, по-крестьянски, поджимала губы. Если бы здесь был Францек Антенна, он кощунственно насмехался бы над торжественными похоронами человека, который отнял мужа у жены.

В последнюю минуту на трибуну с гостями поднялась красивая дама, обратившая на себя всеобщее внимание. Многие перестали смотреть на трех женщин в глубоком трауре и перевели взгляд на высокую красавицу. Черный цвет выгодно подчеркивает совершенство ее талии в превосходно сшитом и превосходно облегающем ее костюме, под которым скрывается небольшая красивая грудь в замечательном бюстгальтере; нежная белая кожа соблаз-

нительно просвечивает из-под черной *ажурной* блузки; ожерелье из крупных камней вокруг шеи — *просто* и вместе с тем *оригинально;* волосы цвета платины красиво оттеняет *пикантная* шляпка с вуалеткой, тень от которой придает загадочное выражение глазам с жесткими веерами ресниц. С виноватой улыбкой дама усаживается возле надутого старикашки, похожего на лягушачьего короля. Он, очевидно, ожидал ее и, судя по недовольному выражению лица, сердился, что она явилась так поздно. Но ее нежное, искусно подкрашенное личико, окруженное длинными локонами, само объяснило, почему она опоздала. Дамам из дипломатического корпуса, поскольку они вообще обратили на нее внимание, показалось, что ее завивка чересчур свежа, костюм слишком нов и что она некстати для печального обряда надушилась. Но мужчины так испорчены, что с явным удовольствием смотрят на красивую женщину даже в такие минуты, и Ро это прекрасно понимает. Наконец-то справедливость восторжествовала! Ро на трибуне, на которую когда-то в день Первого мая искоса поглядывала снизу бедная *отвергнутая* девушка. Теперь она сидит здесь в своем *скромном* трауре от Хорста, где она некогда была манекенщей, и *присутствует.*

Но где Карел, чтобы показаться ему? Ради него только и затеяла она всю эту скучную историю: кому охота ехать на похороны постороннего человека, который тебе глубоко безразличен? Инженер Карел Выкоукал, заведующий улецким красильным цехом, должен ведь быть на погребении Казмара? Спрашивать она не хотела. И тщетно искала его глазами.

Обряд погребения затянулся до самого вечера, потом, пока гости разъезжались, им разносили прохладительные напитки. Наследники попросили извинения, и гостей вместо них в здании клуба принимал главный директор Выкоукал с супругой. Ну, нельзя сказать, чтобы это было очень *шикарно:* Ружена видывала и не такие буфеты; да и общество очень *смешанное.* Дипломатический корпус уехал сейчас же после печального обряда, и на Ружену напало беспокойство, что опять знатные люди там, где ее нет. Это беспокойство преследовало Ро всю жизнь; все получается, как назло, не так. А тут коллега мужа, дожевывая бутерброды, представил ей большого толстого человека средних лет, с равнодушным выражением лица и водянистыми глазами: инженер Выкоукал. Неужели это Карел? Рассказывайте! Карел таинственный, как актер на экране, с лицом, искаженным страстью, владыка ее дней и ночей, любовник, из-за которого она хотела спрыгнуть на ходу с поезда? Вот дуреха-то! А может быть, она уже видела его на похоронах? Ни за что бы не узнала! Где его обветренная, загорелая худоба спортсмена и любовника, блестящие, как у

скакуна, глаза, крепко сжатые губы с соответствующей дозой благородной суровости, которая покоряет женщин? Все добродушно округлилось и заплыло жирком, как и подобает хорошо упитанному женатому человеку. На юном когда-то Кареле скроенный по косой воротник увеличился номеров на пять — это она угадывает с первого взгляда. И то, что Карел опустился, придает Ружене уверенности.

— Вы меня не узнаете? — спрашивает она с улыбкой.

— Ай-ай-ай, Руженка,— говорит он с лукавым добродушием (будто не мог вспомнить ее фамилию),— откуда вы взялись? Не угодно ли рюмочку ликеру?

— Я ведь теперь Хойзлерова,— говорит Ружа с достоинством маркизы из Нуслей,— жена Хойзлера, пражского адвоката «Яфеты»,— напоминает она ему.

— Серьезно? — спрашивает Карел с добродушным безразличием.— Представьте, я этого даже не подозревал. Не угодно ли вам чего-нибудь сладкого?

— Рюмочку горького, будьте так любезны.

И на это она положила жизнь! Назло этому дуралею выйти за старика, *сделать партию!* Думала этим бог весть как ослепить Карела, а он ничего и не подозревал. Карел нередко врал, отрекаясь при ней от Еленки Гамзовой. Но сейчас этот безразличный тон был вполне искренним. Его нисколько не интересовало, что стало с девушкой, которую он бросил, как старую перчатку. Ружа посмотрела на его руку, когда он протягивал ей рюмку с ликером. Частенько наливала ей вино худощавая смуглая мужская рука с длинными пальцами, которая сводила с ума маникюршу Ружу. Рука располнела, побелела, стала пухлой, как у женщины. Такие руки бывают у пасторов.

— А вы пополнели,— уронила Ружа с женской мстительностью.— Я бы вас не узнала. Настоящая дынька, настоящая дынька...

Ничего более обидного не могла сказать женщина женщине, которая следит за своей фигурой. Но не мужчине! Для Карела это, очевидно, было не важно.

— Это от спокойной жизни,— рассмеялся он.— Разрешите познакомить вас с моей женой.

Скромная, приветливая дама не так красива и не так изысканно одета, как Ружа, но она обладает спокойной непринужденностью человека, который всюду чувствует себя дома, и ему не приходится думать о том, что надо сейчас сказать и сделать. Спокойно улыбаясь, она говорила с Руженой об обычных вещах. Но Ро вдруг почувствовала, что ее волосы слишком светлы, завивка слишком свежа, шляпка, пожалуй, действительно чересчур *ориги-*

нальна, и когда Хойзлер подошел к их группе, она ухватилась за него, как утопающий за соломинку.

— Густичек,— сказала она демонстративно,— ты не устал? Ты должен поберечься! Завтра у тебя здесь еще очень много работы.

«Что-то опять натворила,— подумал он,— уж очень ласкова».

Ружа выпила горькую настойку и добавила:

— Ведь мы познакомились с моим мужем в Улах. Не так ли, Густик? Целый роман...

— Карел,— проговорила осторожно молодая пани Выкоукалова и покосилась на часы,— мне пора домой.

— Пойдем,— очень охотно согласился Карел.— Вы нас извините? Принц дома уже кричит.

И они бросают Ружу с этой старой жабой, не впускают ее в свою жизнь. И она осталась одна, такая униженная, готовая на все — даже на месть.

— Ты же мог подняться, когда я тебе давала знать,— зашипела она на Хойзлера почти с ненавистью.— На что это похоже? Мы опять останемся последними.

Барышня Казмарова хотела уехать тотчас же после похорон, но мачеха со слезами удержала ее.

— У тебя нет сердца, Ева! Тебе все равно, что я осталась после него совсем одна. В эти тяжкие минуты вся семья должна быть вместе. А нас так мало, к сожалению.

«Я не виновата, что вы не родили сына»,— с горечью подумала Ева. Она не очень любила мачеху. Но и не чувствовала к ней вражды. Ей всегда казалось, что эта женщина на самом деле любит отца.

— И потом,— несколько робко добавила пани Казмарова, она знает свою падчерицу,— нужно же выяснить с наследством.

Маленькая барышня Казмарова сдвинула очки на лоб и с упреком посмотрела на мачеху.

— Как ты можешь говорить об этом через четыре дня после его смерти,— упрекнула она ее.

— Не я, а директор Выкоукал.

— Какое мне дело до него! Оставьте меня в покое,— объявила Ева.— Я ничего не хочу.

Мачеха пристально посмотрела на нее.

— Не рассуждай, как ребенок,— напомнила она.— Представь себе эти огромные предприятия. Несем мы ответственность за людей или нет?

— Это верно,— горячо согласилась Ева.

Все собрались в первом корпусе — небоскребе главной дирекции — в зале заседаний совета правления. (Что это такое, собст-

венно говоря, совет правления? Ева слыхала это выражение еще в детстве, но никогда, даже став взрослой, не пыталась раскрыть его смысл. Настолько противны и далеки ей эти дела. Совет правления заседал всегда по средам вечером, а мачеха каждый раз волновалась, что отец опять не поужинает, и оставляла ему в американском холодильнике вкусно приготовленный салат, а наутро находила его нетронутым. Вот все, что доктор философии Ева Казмарова знала о совете правления, а сейчас она дрожит перед господами с вечными перьями и блокнотами в верхних карманах пиджаков, точно им предстоит ее экзаменовать, а она к этому не приготовилась.) Обе женщины вошли в этот зал впервые в жизни. Все еще красивая вдова Казмара («Она, конечно, выйдет замуж, и из-за этого начнутся недоразумения»,— подумал главный директор Выкоукал) уселась за зеленым столом по правую руку от Выкоукала, а наследная принцесса, эта оборванная учительница,— слева от него. Кругом на стенах висели карты пяти частей света. Магазины «Яфеты» были обозначены на них красными кружочками. Со стены проницательно и смело смотрел энергичными, слегка прищуренными глазами покойный улецкий король. Литография с его изображением точь-в-точь такой же величины, как портрет президента республики, висевший напротив.

Главный директор Выкоукал учтиво и сердечно приветствовал обеих дам и высказал им свое глубокое сожаление по поводу того, что только причина столь горестная, как несчастье, постигшее Улы и даже всю республику, впервые привела их сюда. «Но вместе с тем,— добавил он,— нас утешает сознание, что люди, самые дорогие сердцу Хозяина, конечно, будут первыми в его бессмертном завещании и продолжат традиции Казмара, священные для всех нас». Следуя им, по примеру Хозяина, директор Выкоукал экономит дорогое время всех присутствующих и просит доктора Хойзлера взять слово и разъяснить юридические основы наследования. Хорошо, если дамы ознакомятся с ними до опубликования соответствующего нотариального документа. Если бы они обратились к нотариусу сами, по своему почину, они понесли бы лишние расходы. («Лучше уж положить эти денежки в карман Хойзлера»,— подумал Розенштам. Он видел, что эта парочка в сговоре.)

Вместо ответа адвокат Хойзлер начал с вопроса, не знает ли кто-нибудь из присутствующих о каком-либо последнем распоряжении умершего. Пусть это будет просто последняя воля, письменно выраженная, или завещание, заверенное у нотариуса.

— Не знаю,— немедленно отзывается Ева,— отец никогда не думал о смерти. И мы тоже,— добавила она, сдерживая слезы.

— Мы просмотрели в правлении переписку покойного,—

заявил старый Выкоукал,— и при том идеальном порядке, в котором он ее содержал, невозможно пропустить что бы то ни было.

— На руках у меня ничего нет,— сказала пани Казмарова рассудительно.— Но муж несколько раз говорил о том, что ему хотелось бы оставить виллу мне — это было его пожелание.

Ева удивленно посмотрела на мачеху. Она предполагала, что та, удрученная отцовской смертью, даже и не вспомнит о материальных интересах. А она вон как деятельна...

— Ну, это разумеется,— вмешалась Ева, точно стыдясь за мачеху.— Само собой, вилла твоя. Зачем она мне? В Улах я не живу. А если вздумаю сюда приехать повидаться, так ты же меня не прогонишь,— добавила она, нервно засмеявшись.

Медное лицо директора Выкоукала смотрело неодобрительно. На кой черт ему знать какие-то интимные женские дрязги из-за дома. Интересно, что будет с предприятием.

Адвокат Хойзлер тоже недовольно смотрел жабьими глазами на барышню Казмарову, которая с самого начала внесла беспорядок в юридические понятия; и он попытался объяснить ей, что согласно параграфу такому-то и такому-то закона о наследовании ей как единственному ребенку завещателя причитается три четверти наследства, а мачехе — одна четверть.

Ева едва слушала его.

— Ну так мы с мамочкой разделим все поровну,— заметила она между прочим.— Обо мне не беспокойтесь. Я после отца не хочу получить ни гроша.

Все посмотрели на нее.

— Я пришла сюда только для того, чтобы заявить об этом,— добавила она, вспыхнув до ушей.

— А тебе как бы хотелось? — отчужденно начала пани Казмарова, которой кое-что в этом деле не нравилось. Но доктор Хойзлер перебил ее.

— То есть денег в собственном смысле слова,— произнес он с деликатной усмешкой,— даже и не существует. Разве какая-нибудь сотня тысяч на текущие расходы, так они ничего не значат. Речь идет о недвижимом имуществе и об акциях. Ведь вам, надеюсь, известно, доктор, что «Яфета» — акционерная компания.

— Да,— нерешительно, как школьница, ответила Ева. Она и понятия об этом не имела. Никогда в жизни ее это не интересовало.— Деньги или акции,— рассуждала она вслух,— не все ли равно в конце концов. Отдайте мои акции рабочим, вот и все.

Выкоукалы, отец и сын, переглянулись. Старик прикинулся рассерженным, молодой сочувственно улыбнулся. Доктор Хойзлер подпер подбородок рукой, поставил локоть на колено и наклонился к барышне Казмаровой.

— Каким рабочим? — спросил он с той заботливостью, какую мы проявляем в разговоре с тупыми людьми.— Это — вы извините меня — понятие туманное. Будьте так любезны, объясните нам поточнее.

Ева вспыхнула. Она почувствовала, что кажется им очень глупой, и это ее рассердило.

— Тем, кто здесь работает,— ответила она немного раздраженно.— По-моему, это ясно. Я здесь не работаю и никогда не работала, так почему же я должна что-то получить отсюда?

Дело принимало опасный оборот.

— Но позволь,— вмешалась мачеха,— если ты так думаешь...

— Да, именно так,— подтвердила маленькая барышня Казмарова в очках.— Я давно все обдумала. Не сочтите это каким-то минутным капризом. Доктор Розенштам, помните, как я вам однажды сказала — это было как раз Первого мая,— что я знаю, как поступить, если отец вдруг умрет? Я думала именно *об этом.*

Врач уже не помнил. Наследная принцесса всегда помнила лучше то, что они говорили друг другу. Но он подтвердил ее слова — хотя бы из вежливости.

— Вы коммунистка? — спросил ее главный директор Выкоукал таким тоном, в котором уже заранее звучало «да», и глаза у него потемнели от злости.

— Я не состою ни в какой политической партии,— ответила она.— У меня нет к этому склонности. Понимаете, бывать на собраниях, и прочее... я, наверное, не стала бы их посещать. Но такое решение мне подсказывает здравый смысл. Не понимаю, чему вы так удивляетесь. Если рабочие работают здесь, почему им не могут принадлежать и акции?

— Мы здесь тоже работаем,— произнес Выкоукал почти скорбно.— И, вероятно, больше, чем они. После гудка рабочий останавливает мотор, и поминай как звали. А у нас голова полна забот круглые сутки. Мы сидим здесь до ночи, наши семьи нас вообще не видят.

Его сын Карел равнодушно смотрел перед собой.

— Это и я скажу,— вмешалась пани Казмарова.— Папочка надрывался здесь в тысячу раз больше, чем самый последний рабочий, это правда.— И она расплакалась.— Вот бы ты его обрадовала, нечего сказать.

Барышня Казмарова холодно посмотрела на нее.

— Но я его и не упрекаю ни одним словом,— сказала она только.

Она не станет вспоминать ни о Горынеке, которого дочь возит в коляске, ни об убитом Аморте. Все равно никто не признает его вины. Казмар — ее отец, а мертвых поминают только добром.

К чему разбираться в чужих грехах и брать на душу то, чего мы не делали?

— Знаете, дамы, мы, конечно, столкуемся,— миролюбиво произнес директор Выкоукал.— Вы, доктор, в будущем не захотите возиться с заводами, у вас другие интересы, я понимаю. Решить все это ровным счетом ничего не стоит. Доктор Хойзлер как юрист поддержит меня. Мы покупаем у вас эти акции — пани Казмарова, доктор Розенштам, вы ведь ему доверяете...

Розенштам иронически поднял брови на треугольном лице.

— Я предпочел бы наличные деньги, а не бумаги,— бросил он.

— ...доктор Хойзлер, мой сын, я, безусловно, любой из акционеров, а вы с этими деньгами можете сделать все, что вам угодно. Это уж ваше дело. Убытка вы не потерпите, мы, разумеется, уплатим за бумаги не по нарицательной стоимости, а по курсу дня.

Хойзлер дружески наклонил к ней голову.

— Если вы опасаетесь пошлин на наследство, у меня есть знакомый советник в налоговом управлении. Мы подадим просьбу в Министерство финансов — нам разрешат уплатить пошлины в рассрочку.

Ева пришла в смятение. До сих пор она никогда не слышала ни о каких пошлинах на наследство и «нарицательные» знает только в грамматике. Она видела, что ее втягивают в какие-то сложные дела, в которых она ничего не смыслит и которые ей неприятны, и она волей-неволей все больше в них запутывается.

Совершенно убитая, она продолжала говорить:

— Зачем я стану продавать акции, если я хочу их подарить? И почему я не имею права дарить их кому захочу, если вы сами говорите, что они мои?

— Да потому, милая барышня,— произнес доктор Хойзлер с тонкой победоносной улыбкой, точно восхищаясь ловкостью, с которой состряпано дельце,— что бумаги именные. Вам понятно, что это значит?

— Нет,— упрямо твердила Ева. Она вообще больше не стыдится своего невежества.

— В данном случае это означает,— стал объяснять ей адвокат,— что акции не могут свободно переходить из рук в руки, как прочие ценные бумаги, продаваемые и покупаемые на бирже. Акции записаны на фамилии семейств, основавших «Яфету», и только с согласия общего собрания всех акционеров они могут быть переписаны на лиц с другой фамилией. Сам покойник выбрал такую юридическую форму, и надо сказать, поступил очень остроумно.

— В противном случае, к нам проникли бы ненадежные элементы,— добавил директор Выкоукал, глаза которого все больше

и больше темпели,— надо быть сумасшедшим, чтобы допустить это. Все сейчас же пойдет прахом! Хозяин в гробу перевернется.

— Так вот как обстоит дело,— вздохнула Ева.— Благодарю вас, господа. Я все обдумаю и завтра скажу вам.

Она пригласила Розенштама, старого друга, посоветоваться. Врач за те годы, что они знакомы, доставил барышне Казмаровой немало горьких минут своей иронией. Несмотря на это, он — единственный человек, которому она доверяла в улецком штабе.

— Итак, Донья Кихота,— обратился он к ней,— вы бились отважно, с открытым забралом. Никто так не смеет нападать на этих старых лицемеров! Вы сразу опрокинули все их расчеты. Почему же вы раньше не посоветовались со мной?

— Я знаю, что я очень бестолкова!..

— Вы очень хорошо выглядите,— сказал Розенштам, переменив тему разговора, чтобы ободрить Еву. Мучительная рана ее несчастной любви за годы жизни в Праге зажила, и он смело может говорить с барышней Казмаровой.— Вам идет черный цвет. Я вовсе не хочу сказать этим, что мне приятно видеть вас в трауре. Хозяин не имел права устраивать нам такие сюрпризы. Я, как мальчишка, рыдал над ним. Но он был не из тех, кто умирает на своей постели, не правда ли?

— Если бы не было Аморта,— прошептала Ева.— Если бы разбился только отец, это, по крайней мере, было бы горе, ничем не омраченное.

— Понимаю. Но в этом разбираться не стоит. Этим никому не поможешь. Большинство летчиков умирает тоже не своей смертью. Знаете, мне кажется,— задумчиво произнес Розенштам (он сидел лицом к свету, и Еве при взгляде на него пришло в голову: «А ведь он старик!»),— мне кажется, что с Хозяином кончилась целая эра.

— Нет, не кончилась,— перебила его Ева,— вы сегодня могли видеть, что ее продолжают.

— Ну, они просто лишь грубы, а он был силен.

— Так что же вы посоветуете?

— Чтобы вы никак не следовали моим советам,— повернул он разговор чисто по-розенштамовски.— То есть я постараюсь как можно скорее продать свои акции.

— А почему?

— Так. Я когда-нибудь это вам скажу,— вскользь заметил Розенштам и принялся горячо уговаривать барышню Казмарову ни за что не выпускать акций из своих рук. Не сдавать позиций. Ведь барышня Казмарова как владелица стольких акций может иметь большое влияние на управление предприятиями. И если Розенштам не уверен, что ей удастся провести какие-нибудь по-

трясающие мир реформы, то она может хотя бы помешать кое-чему плохому.

— Ни за что на свете,— заупрямилась Ева,— как можно дальше от всего этого. Мне противно, я ничего не понимаю в делах и не хочу ими заниматься.

— Это очень удобная точка зрения,— заметил Розенштам.

— Все равно в совете они меня перекричат. И надуют. Я это понимаю.

— Не бойтесь,— успокоил ее Розенштам.— Если вы им продадите все свои акции, они тоже вас надуют. Вы разве не обратили внимания, как подыгрывают друг другу Выкоукал и Хойзлер?

— Кое-чего я все-таки добьюсь,— говорит Ева.— Я уже все разделила: треть Горынеку, треть жене Аморта (надеюсь, что она примет) и треть на ясли.

— Так,— заметил Розенштам.— А если вы решили все это заранее, зачем вы советуетесь?

Ева впервые после смерти отца засмеялась.

— Девочка,— сердечно повторил Розенштам,— повторяю вам: помните о себе. Не будьте блаженной. Жалованье у учителей тощее. Помните о черном дне! Нас ждут тяжелые времена, деньги вам пригодятся. Положитесь на меня, у меня хорошее еврейское чутье.

— Слышать не могу, когда вы так противно говорите о себе,— запротестовала барышня Казмарова.— У вас, в Улах, что-нибудь случилось? Почему вы мне ничего не скажете?

— Пока ничего.

— А война,— неуверенно старается убедить себя Ева Казмарова,— войны, вероятно, не будет?

— На этой неделе не будет наверняка,— серьезно ответил Розенштам и погладил Еву по голове.— Евочка, завидую вам и вашим *детским* мыслям,— сказал он.

СТОЯЛО УДИВИТЕЛЬНОЕ ЛЕТО

— Что ты там поешь, Митя? — спросила Нелла Гамзова из соседней комнаты.

Стоял жаркий день, какие бывают в начале июня, все окна были открыты настежь. У Еленки в приемной сидели пациенты, и Митя остался на попечении Неллы.

Он прибежал к бабушке, стал перед ней и запел:

Стоят часовые
На чешской границе,
И Адольфу Гитлеру
К нам не пробиться...

Он пел во все горло задорным детским голоском, и Нелла засмеялась:

— Откуда ты это взял, Митя?

— У старичка на углу. Сколько денег ему давали! А потом пришел полицейский и увел его. Это мы с мальчиками так поем,— одним духом выпалил Митя и, налегая еще задорней на уличный мотив, продолжал бросать бесстрашные вызовы Адольфу Гитлеру, пока не завершил их словами:

Мы тебя ударим в лоб,
Поскорей загоним в гроб,
Сочиняй там свой приказ,
Не достанешь ты до нас!..

Тут произошло нечто ужасное, неописуемое. В коридор между обеими квартирами из Еленкиной приемной выскочил пациент и поднял крик. Нелла Гамзова сначала подумала, что это какой-то помешанный.

— Это провокация! — кричал тот по-немецки.— Так вот чему вы учите своих детей! Я никому не позволю поносить Адольфа Гитлера!

Митя мигом оказался в коридоре,— что там такое? За ним прибежала перепуганная Нелла; отстранив мальчика, она загородила его своим телом, чтобы этот человек не обидел ее внука. На шум вышла Елена в белом докторском халате.

— Для нас он не фюрер,— спокойно возразила она,— мы живем в Чехословацкой республике. Пожалуйста,— Еленка показала взбешенному пациенту на приемную, откуда уже выглядывали любопытные лица.— Погуляй с Митей, мама,— шепнула она тихонько матери, проходя мимо нее. Но Митя стоял как вкопанный. Не желал тронуться с места и разъяренный пациент.

— Не позволю! — вопил он.— Безобразие! Полиция запретила эту песню!

Вышел из своего кабинета и Гамза. Он взял большой рукой Митю за ручку, и мальчуган вцепился в нее, как клещами. Все-таки он только ребенок, и ему стало страшно. Но он ни за что не хотел уступить поля боя, показать себя трусливым, как заяц.

— Мой внук в моей квартире будет петь, что ему вздумается,— решительно произнес Гамза.— Он дома. Какое вы имеете право распоряжаться здесь? Откуда вы взялись?

— Вам-то какое дело! Вы меня еще попомните! — завопил человек вне себя от ярости, вернулся в приемную за шляпой и ушел.

— Иди, иди, жалуйся,— неласково проводила его вся приемная.— Тебя никто не держит. Убирайся в свой *хайм!* [1]

[1] Дом (от *нем.* Heim); здесь: Германию.

Митя не выпускал руку Гамзы. Молодчина дедушка! Пришел на подмогу. Митя был в восторге.

— Дедушка,— воскликнул он задорно,— если будет война, мы победим?

Но на этот раз дед не улыбнулся, как всегда, своему любимцу. Он серьезно посмотрел на него.

— Мы победим,— сказал он,— потому что мы правы. Мы не хотим ничего чужого, но и своего никому не отдадим. Но одними песенками, Митя, ничего не добьешься. Победа дается с большим трудом. Мы должны быть, Митя, очень стойкими и преданными.

Митя,— ведь он еще был маленький,— смотрит снизу вверх на подбородок высокого дедушки и все мотает себе на ус.

— А у немцев жестяные танки,— отзывается он через минуту.

— Нет,— безжалостно возражает Митин папа. Он только что вернулся с завода и моет руки.— У них все из настоящего материала. Они вооружены до зубов. Я не понимаю,— обращается он к взрослым,— откуда берутся такие дурацкие слухи? Запомни, Митя: хороший солдат никогда не преуменьшает силы своего врага. Ты понимаешь меня, надеюсь?

— Да оставь ты его в покое,— тихо, но неприязненно заметила Нелла. Ее удивляло, как это молодые родители могут разрушать тот сказочный мир, в котором живет ребенок.

— Да,— кивает Митя разочарованно. Половины он не понял, но отлично почувствовал, что взрослые всегда портят всякое удовольствие. Чехословакия — Германия — это как «Спартак» — «Славия», спортивные клубы, а Митя болел за Чехословакию. Он нисколько не боялся, что ее обидят немцы. Но он очень опасался позорного поражения. Он тяжело вздыхал от всех этих забот. И сейчас же утешился.

— А у нас танки еще лучше, чем у немцев, и нам на помощь придут красноармейцы, и французы, и англичане,— объявил он громогласно и помчался куда-то, только пятки засверкали.

Он носится повсюду что есть духу, вытаращив глазенки, чтобы ничего не упустить из того, что должен видеть каждый порядочный мальчик: как гонят коней во время майской мобилизации, как проходят солдаты и едет тяжелая артиллерия, пулеметы и танки. Митя разбирается в оружии куда лучше, чем бабушка. Он спрашивает у нее, какая разница между автоматом и пулеметом, а она всегда все путает. Из-за этого Митя стал так непочтителен к бабушке, что мама должна была даже однажды прикрикнуть на него. Потом маршировали «сокольские» отряды и «братья славя-

не». Смотреть на них Митя отправился с Барборкой. Он вернулся совершенно осипший от приветственных возгласов.

В конце учебного года, который нынче несколько сокращен по случаю всеобщего слета «соколов», секретарь сообщил барышне Казмаровой, что ее спрашивает какой-то господин. Он ждет ее в приемной. Родители гимназисток недостаточно внимательны. Классная воспитательница Казмарова принимает посетителей по пятницам с девяти до десяти. Они могут прочесть это в расписании, вывешенном около учительской, а в перемены она просила бы оставить ее в покое. Покой ей и в самом деле необходим. Смерть отца подействовала на нее удручающе. И гнетущая политическая обстановка также не прибавляет желания жить. Отложив завтрак, Ева взяла записную книжку и вышла к посетителю.

Мнимый отец какой-то пятиклассницы поспешил ей навстречу и, улыбнувшись, превратился из седого незнакомца в Розенштама. Ей снова пришло в голову, что он постарел. Но он, как всегда, подтянут. Его подвижное смуглое лицо, строгий английский костюм резко отличаются от торжественно спокойного Яна Амоса Коменского в шапочке, портрет которого висит на выбеленной стене приемной. Как это не похоже на Розенштама — прийти к Еве в школу! За все годы, что она преподает, он никогда этого не делал.

— Как вы здесь очутились?

— Не мог удержаться, чтобы не прийти проститься с барышней Казмаровой перед отъездом из Европы,— ответил он, и морщинки в углах глаз заиграли от сдержанной улыбки. Он направляется в Сидней.

Ева была поражена.

— Что это вам вздумалось? С Выкоукалом не поладили?

Упаси боже! Расстались самыми лучшими друзьями. Выкоукал доволен, что избавился в совете правления от Розенштама, и купил у него все акции.

— Каким чудом вы вспомнили обо мне?

Розенштам посмотрел в противоположный угол, где математичка Грубая терзала какую-то и без того опечаленную мамашу, и вместо ответа обратился к Еве с просьбой. Днем у него много всяких дел перед отъездом. Но не пойдет ли Ева вечером послушать вместе с ним «Мою родину» на прощанье? Это доставит ему истинное удовольствие. Билеты уже есть. У Розенштама всегда на все были билеты.

Немного взволнованная, Ева села рядом с Розенштамом, и пока собиралась публика, пока люди развертывали программы и настраивались скрипки, в предконцертном шелесте и шуме ей представился другой зал, не так ярко освещенный, как этот, не так

роскошно отделанный — переполненное помещение Городского клуба, женщины в беретах, натянутых на уши, и мужчины, которые едят бутерброды с колбасой прямо с бумажки.

— Розенштам, вы помните, где мы сидели в последний раз вот так же вместе?

У Розенштама память насчет совместных похождений короче, чем у Евы Казмаровой. Но на этот раз он вспомнил.

— В драховском Городском клубе. Выступал Гамза. Идиллические времена!

Ева наклонила к нему голову и хотела о чем-то спросить; но дирижер поднял свою палочку, и они умолкли — стали слушать, как арфы возводят замок. Бесшумно растут и тянутся ввысь его стены, но это не реальность, а видение. Они слушали, и им казалось, что эта музыка существует испокон века, она звучала раньше, чем появился на свет композитор; он только первый услышал и открыл ее нам; все плотины на Влтаве играют мелодии Сметаны. Не убегай, прекрасная река! Розенштам не стремится к морю. Ему так полюбились пресные воды приветливой Чехии! Еще немного, и она станет для него потерянным раем. Они слушали оба — барышня Казмарова, которой не повезло в любви, и бывший насмешник Розенштам. К чему пустые слова? Музыка лучше расскажет обо всем. О том, как тоскует околдованная душа в человеческом теле — душа эта — чудесная свирель Шарки! Плененная дева, ведь у тебя разорвется сердце! Разве важно, под каким именем мы значимся в полицейской повестке? Зачем рассматривать друг друга в профиль? Музыка сломала преграды жалкого «я» — застенчивость Евы и иронию Розенштама; все мелкие свойства личности, все малодушное уносит музыка, и они вновь стали невинными и цельными, как в первый день творения. Скромная барышня Казмарова подняла голову и набрала в легкие воздух для глубокого вздоха. Как распрямляет человека музыка, та музыка, под которую мы шагаем, как божьи воины Жижки. У насмешника в глазах стояли слезы.

— Тяжело,— глухо сказал он, когда они вышли, еще разгоряченные музыкой, в прохладную темноту,— тяжело мне будет расстаться с этой прекрасной страной.

— Почему же вы уезжаете? — тихо начала Ева.— Впрочем, если вам неприятно, не будем говорить об этом.

— Ева, и вы еще спрашиваете? Я — еврей.

— Ну так что же? — воскликнула барышня Казмарова.— Разве мы в Германии?

— Пока нет,— ответил Розенштам,— пока нет...

У барышни Казмаровой захватило дух. Но только на миг. Когда она вдумалась в его ответ, ей все стало ясно. И так грустно,

так ужасающе грустно было жалеть Розенштама, на суд которого она отдала себя когда-то.

«Бедняга,— подумала она с состраданием,— у страха глаза велики».

Станислав и Нелла сидели на трибуне страговского стадиона с двумя юными каталонцами, гостями Гамзы, и смотрели на вольные движения «соколов».

Вопреки всему Станислав был счастлив. Он отослал вчера издателю гранки своих «Пражских новелл». Книга выйдет осенью, в самое лучшее время года, когда день становится короче и люди от солнца возвращаются к абажурам и книгам. Боже, Станя не мог поверить этому счастью! Скорей бы уж осень. Еще только конец июля. Стапя не дождется! Когда он после некоторого перерыва перечитал новеллы в наборе как работу постороннего человека, они показались ему лучше, чем в исчерканной рукописи, которую он слишком уж много правил. Цикл открывался новеллой, рисующей раннее утро, когда на улице видны расклейщик афиш и разносчица газет, затем шли новеллы о жизни Праги в дневные часы; Станя показывал характерные фигуры, в которых воплощается дух различных пражских кварталов.

В пространство, опоясанное живым кольцом зрителей, влились несчетные тысячи людей; они разошлись по полю и заполнили весь стадион. Разница в общественном положении осталась в раздевалках, все стояли в классических костюмах гимнастов, солнце освещало обнаженные руки и головы. Спортсмены одинаковы — один точь-в-точь как другой, словно две капли воды, все равны меж собою. В рядах пылающих восторгом зрителей сидят и стоят их отцы и матери, жены, дети, братья, родственники, земляки. Каждый ищет глазами своих. Но тщетно! Их не найти. Они неразличимы, как колосья в поле пшеницы. Расстояние уничтожило индивидуальные черты, частные заботы, хлопоты, любовь, честолюбие, печали — все тонет в массе. Тут нет ни Вацлава Бечки, подмастерья столяра из Кралуп, ни доктора Нейвирта из министерства иностранных дел, ни Иожки Невыела, крестьянина с Ганы, ни шахтера Штепана Голомбека из Орловой — есть только гигантское тело, точное, как машина, подвижное, как рысь, сильное, как античное божество. От взмаха рук по стадиону шелестит ветер; гимнасты делают поворот — и ярче сверкает солнце, отраженное белыми трико; они раскинули руки — через их барьер никто не пройдет. «Войско мира,— пришло в голову Станиславу,— идеальная нация». Как чудесно стоять в этой громаде рядов! И как все истинно прекрасное, зрелище встает перед вашими глазами с такой убедительностью, что никто не помнит ни о напря-

жении мышц, которое понадобилось употребить каждой светло-голубой черточке живой схемы, ни о труде, затраченном на выучку, ни о том, как сложно было собрать всех сюда, ни о головоломной трудности выступлений на стадионе. Гимнасты и зрители — те и другие на своем месте и гипнотизируют друг друга. И без того обстановка на празднике Гуса в этом году приподнятая, но массы людей еще больше наэлектризовываются. Мы едины в своем сопротивлении. Мы не сдались и не сдадимся. И поэтому мы все-таки собрались на наш слет.

Теперь выступают женщины: линии мягче, движения, наклоны и повороты напоминают танец. Они выполняют упражнения с булавами и платочками; а потом бесчисленные колонны мужчин и женщин начинают ритмично наступать друг на друга, ряды их переплетаются, они будто ткут ковер жизни. Нелле казалось,— она, пожалуй, постыдилась бы об этом сказать вслух так вычурно,— что это похоже на богослужение. Она сидит рядом с любимым сыном, который едва не погиб (но теперь все в порядке, мать это знает), и, сложив руки на коленях, смотрит восторженно, и бог весть почему при виде этой массы людей на глазах у нее навертываются слезы. На слете играет музыка, яркое голубое небо встает над трехцветными развевающимися знаменами и над стадионом, увенчанным кольцом зрителей. От такой красоты бросало в жар. Зрители хорошо чувствовали, что наступает наивысший миг, что все, пожалуй, даже слишком красиво... и вдруг где-то вдали будто затрещал мотоцикл. О нет, это застрекотал самолет в ясном небе над головой у Неллы. Она подняла глаза — эскадрилья самолетов блестела высоко в воздухе; они кружились над стадионом. Неллу охватило глупое блаженство — она почувствовала себя легкой, готовой взлететь ввысь. Кто-то притронулся к ее рукаву.

— Это ничего? — спросила юная каталонка, с робкой улыбкой показывая вверх на самолеты. Она схватила дорожную сумку и хотела встать.

Нелла удержала ее за руку.

— Это наши,— успокоил девушку Станислав.— Опасности нет.

Но девушка все еще беспокойно оглядывалась на окружающих, точно друзья казались ей слишком легкомысленными.

— И мы в самом деле можем остаться здесь? — допытывалась она.

Только после того как ее спутник на родном языке ласково поговорил с ней, она успокоилась и села.

Мать и сын пришли в себя от наваждения, и слет их уже не радовал. Красота, за которой кроется угроза. Подаренная минута. Они оба хорошо это знали.

Стане вздумалось посмотреть на зрителей на противоположной стороне стадиона. Их насыпано там, как маку. Они похожи на пестрые крупинки на шоколадных плитках, которые ему дарили в детстве. Все слилось в серо-коричневую ткань с разноцветными узелками — так малы люди. Если бы кто-нибудь начал стрелять по ним из пулемета, пришло в голову Стане, то он даже не увидел бы, кого убивает. Уже отсюда почти нельзя различить, что это люди. Так о какой жалости может быть речь! А с самолета мир кажется пустым, без единой живой души. Современная война ведется издалека. Человек не пачкает руки в крови. Он убивает по расчетам, на далеком расстоянии. Но стрелять в чучела, проходя военное обучение в армии, было мучительно. Стане от этого делалось жутко. Чучело из папье-маше до ужаса походило на настоящего человека.

«Если я погибну, выполнив свою работу,— вдруг подумал Станя с удивительным спокойствием и облегчением человека, закончившего свои дела,— после меня кое-что останется. Счастье, что я дописал «Пражские новеллы». Буду я жив или нет, они выйдут осенью (и Власта увидит, что я тоже кое на что способен)».

На следующий день пани Гамзова с молодой каталонкой отправились в один из пражских магазинов Казмара заказать походные постели, марлю и гигроскопическую вату. Республиканцы так нуждаются в перевязочном материале! «Яфета», как обычно, сообщала миру изображениями и словами соответствующие моменту указания и советы.

Над стеклянным домом бежали светящиеся буквы:

Осторожность — мать мудрости. Вы хотите заснуть вечером спокойно? Купите противогаз «Яфета».

Всем безукоризненно впору противогаз «Яфета».

Имеет совершенный фильтр — противогаз «Яфета».

Легко дышать — в противогазе «Яфета».

Осторожность — мать мудрости! Никто не едет в отпуск без противогаза «Яфета». С рыболовными снастями покупайте противогазовую маску «Яфета». Помните о своих возлюбленных! На складе маски всех размеров.

Мамочка, купи мне ко дню получения аттестата противогаз «Яфета»!

Абсолютная безопасность! Простое обращение! «Казмар — Маски — «Яфета»!

Даже Лидка Гаекова не устояла против рекламы: она одела Штепанека и, так же как когда-то покупала ему беретик, пошла в улецкий универмаг купить ему противогаз. Они долго выбирали, пока напали на то, что нужно,— у Штепанека была еще маленькая головка. Воинственным жестом мальчик перекинул сумку с

маской через плечо, очень гордый тем, что он — как большие. Вернувшись с мамой домой, он ничего не сказал и на минуту исчез.

Лидка сидела за шитьем. Штепанек подкрался к ней на цыпочках: он любил пугать мамочку. Она, как всегда, сделала вид, что не слышит. Только когда скрипнула половица у самого стола, Лидка подняла голову и вскрикнула. Это была не игра, на этот раз она непритворно перепугалась. Перед ней вместо ребенка стоял небольшой слоненок с чудовищным хоботом и квадратными глазами, как у отвратительного насекомого; только башмачки у него были, как у Штепанека.

«Если мы позволим Франко сбрасывать бомбы на испанских детей,— завтра бомбы посыплются на твоего Штепанека»,— прозвучал у нее в ушах молодой басок, и от страха она набросилась на ребенка:

— Сними сейчас же! Слышишь? Видеть тебя не хочу в этой штуке. Еще сломаешь что-нибудь.

Стояло удивительное лето, боже, какое это было удивительное лето! Люди узнавали из газет и по радио все что угодно, только не то, что их интересовало. Они могли услыхать, что Ганди опять объявил голодовку, что Пикар вылетел в стратосферу, что японцы изобрели «живую торпеду» — человека, который взрывается и взлетает на воздух вместе с пароходом, и тому подобные новости. Но о единственно важном — будет ли война, о своей судьбе — они не знали решительно ничего и только гадали. Немец хоть и испугался нас, но дело все-таки неладно. Ни Лидка Гаекова в Улах, ни Барборка у Гамзы в Праге не занимались международной политикой. Но они хорошо ее чувствовали.

О том, что нечто готовится, можно было догадаться хотя бы по тому, что Барборка, Нелла, Митя, Лидка, Штепанек сделались *населением*. Пока ничего не происходило, они были просто жильцы в разных квартирах, у каждого на чердаке валялось что попало, и никакие пожарные не стали бы преследовать Лидку Гаекову за то, что она посмела бросить на чердак волосяной матрасик из старой колясочки Штепанека, никто не предписывал бы Барборке класть перед дверью мешочек с песком и тому подобные глупости. Это нас не спасет! Барборка выказывала полнейшее неуважение к этим приказам и раздражала Неллу своим упрямством, зажигая газ и включая свет именно во время пробных затемнений. Точно летом день недостаточно долог, точно она не может разогреть суп пораньше! В конце концов наверх пришел полицейский и пригрозил штрафом. Следили бы лучше за немцами,— дело было бы вернее! Вон в Хебе генлейновцы хотели взорвать школу, принадлежащую Чешской матице. Барборка знает об этом от зятя, который сообщил ей, что там нашли адскую машину. Зять торго-

вал в табачной лавчонке в Хебе, и немцы выбили у него все стекла. Вы думаете, им за это попало? Ничуть! Так-таки ничего и не было. Когда мальчишки в белых чулках, с этими свистульками, безобразничали в Хебе, плевали на наших жандармов, те и пальцем не шевельнули, будто так и надо. Как же это возможно? Скажите, как же это возможно? Нет чтобы Генлейну по рукам дать, они еще его и под свою охрану взяли, когда тот перед выборами ездил агитировать. Впереди — машина с жандармами, позади — машина с жандармами, между ними — его ординарцы, то-то он покатался! Лает на республику, а люди только руками разводят: что случилось, почему полиция и не думает заткнуть ему глотку, а преследует *население*? Да, дело что-то неладно.

На протяжении лета — никто не знает даже, когда и как это случилось,— мы вдруг оказались виноватыми во всем. Точно республика была классом недорослей, нас наставляли все, кому не лень. Адольф Гитлер, пугало класса, взбесившийся учитель, от воплей которого дребезжали оконные стекла и трепетали ученики, давал нам уроки истории и географии и ставил отметки за поведение. Глинковские гардисты получали пятерку, а Чехия и Моравия — по единице, и наше поведение то и дело обсуждалось на конференциях. Профессор французского языка не знал, что с нами делать. Он нерешительно потирал руки жестом Пилата и твердил одно и то же: «Soyez sages, voyons! Soyez sages!» — «Ведите себя прилично и благоразумно!» Инспектор Репсимен, лорд-наблюдатель, тоже был недоволен результатами. Нас усадили на последнюю скамейку, политиканы издевались над нашим самолюбием, и мы никогда не знали — а вдруг мы опять в чем-нибудь проштрафимся! Как ужасно было чувствовать себя виноватым неизвестно в чем, напрасно ломать голову в догадках о своем преступлении. Гитлер утверждал, что на нашей территории — советские аэродромы, хотя никогда у нас не было ни единого. Гитлер вопил, что мы притесняем немцев — а ведь в парламенте у них были свои депутаты, как и у нас; если они не ходили туда, то опять же виноватыми оказывались мы. В каждом местечке на территории со смешанным населением у них были свои школы, в чешской Праге — немецкий университет и немецкий театр, и все-таки мы их якобы притесняли. Мы должны были отвечать за все. Мы были виноваты в том, что не проявили достаточной благодарности, когда в мае фюрер хотел осчастливить Чехословакию своей оккупацией — чехи испокон веку были неотесанны — и выслали навстречу ему не депутацию с цветами, а солдат с пулеметами. Весной англичане нас поддерживали, летом они уже сожалели об этом! У Гитлера был сильный воздушный флот; его ненависть к Советскому Союзу показалась им все же каким ни на есть

ручательством за доброе старое время. Все банки уведомляли, что они предпочитают видеть на небе Европы свастику, а не восходящую с востока звезду. Конрад Генлейн, дескать, симпатичный малый, и если мы возьмемся за ум, мы с ним безусловно поладим, заявил председатель разъевшейся аграрной партии, а главный директор «Яфеты» Выкоукал, как известно, немедленно ему стал подтягивать. Чем богаче человек, тем терпимее он к Гитлеру.

Главное дело — не раздражать его. Ходите на цыпочках, авось он посмотрит сквозь пальцы на наше житье-бытье. Авось простит, что мы появились на свет. Только чтобы никаких инцидентов, слышите? Только никаких инцидентов! Тревожное время всегда называется каким-нибудь иностранным словом. Время, когда у нас не было работы и мы ничего не могли купить, называлось *кризисом*. Теперь, когда мы ежеминутно ждем, что нас призовут к оружию, нам угрожают *инцидентами*. Говоря попросту, это означает драку с немцами. Однако слово *инцидент* пахнет высокой политикой, и в этом-то заключается его ужас. Это слово шло из кругов, где обмениваются нотами на французском языке и где решают вопросы войны и мира. Фюрер объявил, что он не потерпит, если хоть один волосок упадет с головы судетского немца,— значит, осторожность, или дело кончится плохо. Если ты схватишь за руку немца, который поджигает крышу над твоей головой,— это *инцидент*, и помни, Вашек, на твоей совести мировая война. В радиоприемнике спрятался буйный помешанный: он не говорит, а орет во всю глотку, даже удивительно, как аппарат выдерживает, он так кипятится и брызжет слюной, что волшебный ящичек моргает светящимся глазом; этот сумасшедший страдает манией величия; он ежеминутно совещается с любимым немецким господом богом, и только попробуйте ему возразить, он немедленно снимет телефонную трубку и отдаст приказ стереть Прагу с лица земли. Однако о нависшей угрозе нельзя говорить вслух, пусть население сохраняет спокойствие и порядок.

Но давать такие советы могут те, кто сам не сталкивался с немцами. Лидка Гаекова ездила в воскресенье к своей тетке за салом — она запасалась, как и все. Сын тетки, письмоносец в соседнем полунемецком городке, лежал в постели. Он вывихнул ногу, когда выскакивал из почты через окно, спасаясь от немцев. Генлейновцы ворвались на почту, сбили у него с головы форменную фуражку, схватили заведующего и принялись его раздевать, даже собирались выжечь сигаретой свастику у него на спине. Лидкин двоюродный брат оставил у них в руках свою куртку и выпрыгнул из окна, а потом кое-как доковылял до казарм. Теперь почта уже освобождена, ее охраняют солдаты, завтра он пойдет на работу. «Не ходи,— уговаривала его Лидка,— убьют». Но

письмоносец сказал, что это его долг, он давал присягу. Мужчины хотя и приготовились к самому ужасному, но все же вполне уверены, что Чехословакия выиграет дело. Если дойдет до столкновения, за нас и французы — у нас с ними договор, и русские, и англичане. Нам поможет Красная Армия, но, понятно, сперва мы сами должны не ударить в грязь лицом! Молчите, ведь пока ничего не случилось! Очень печально, если в конце концов не сумеют договориться. Все, кто имел дело с литомержицкими немцами и видел, как они ухаживают за своими садиками, считали их такими порядочными, трудолюбивыми людьми! Или взять этих шумавских *дядюшек с трубками*,— мы ведь с ними столько раз сплавляли лес! А теперь в них точно бес вселился.

Боже, какое это было удивительное лето! Свидетели прежних войн высматривали, скоро ли на небе появится комета. Показалась же перед первой мировой войной комета Галлея! Старики толковали об этом между собой, Ева Казмарова сама не раз слышала. (Отпуск она проводила в деревне, где жители подрабатывали низкой бус,— и не захотела ехать в Улы.) И как-то, возвращаясь домой затемно, она вдруг увидела, как небо прочертил яркий зеленый метеор. Если задумать желание, когда падает звезда, оно исполнится. «Чтоб не было войны!» — загадала Ева. А метеор остановился в воздухе, повернул и поплыл крошечной зеленой звездочкой по направлению к столице. Он летел так высоко, что не было слышно гудения мотора. «Совсем с ума сошла! — подумала Ева.— Не узнала самолета».

Ро Хойзлерова вернулась с моря, чтобы провести конец лета в нехлебской вилле, и иногда с мужем ездила на паккарде в горы; там, на крутых поворотах шоссе, им то и дело попадались навстречу военные грузовики. Дозревала рябина; в горах было полно солдат. Они что-то вымеривали с помощью веревок и реек; Ро видела, как они поят лошадей, моются до пояса сами, что-то варят в котелках, спят, подложив руки под голову. Они кричали вслед автомобилю что-то насмешливо-веселое; красивая дама высовывалась из машины и махала им перчаткой: «Хорошенько нас охраняйте, солдатики! Нас и наши виллы!» Она выискивала глазами офицеров помоложе. Армия создает такую *волнительную* для женщины атмосферу. В Нехлебах у Ро нынче было веселее, чем в прошлом году.

Однажды в конце каникул, когда день стал короче и Еленка, у которой кончался отпуск, уже собиралась отвезти Митю в Прагу к папе, в поздний августовский вечер Барборка с таинственным видом вызвала Неллу из-за стола. «Пойдите посмотрите, что там такое».

Нелла пошла.

Они жили в Южной Чехии — снимали небольшой домик. Кухня выходила на север.

— *Хотела бы я знать, что это такое? — сказала Барборка, указывая из окна на небо.*

Обе женщины высунулись в темень звездной почи. Пахло соломой, коровами, ботвой — сельскими запахами Чехии. От орешника уже веяло осенним тоскливым запахом. Под сливой, как заведенный, трещал сверчок.

— Видите? Опять,— отозвалась Барборка.

Небо на горизонте осветилось каким-то лихорадочным отблеском, затрепетало и угасло.

— Там ведь Прага,— вполголоса сказала Нелла так, как говорят впотьмах.

— Ну да,— поддакнула Барборка так же тихо.

Они обе смотрели в августовскую почь, точно ждали ответа от звезд. «Что нас ожидает? — думали обе.— Что принесет нам осень?» Все было неподвижно, только сверчок без устали вел свою песню. И вдруг, вместо ответа, небо опять трескуче затрепетало и осветилось так ярко, что стал виден черный силуэт одинокого дерева на горизонте, раздался грохот, и вокруг все задрожало.

— Прагу бомбят! — воскликнули обе женщины в один голос.

Кто-то позади них засмеялся.

— Барборка, вы-то ведь из деревни? — насмешливо сказала Еленка, подошла к ним и обняла обеих за талию, точно желая рассеять наваждение.— Это же молния!

Обе слегка смутились.

— Все на этом просто помешались,— заметила Барборка.

— Рановато, Барборка. Пока еще не началось.

— Так, значит, ты тоже смотрела? — съязвила Нелла по адресу дочери.

Еленка редко теряла голову, сдерживая всех. Нелла очень полагалась на нее. Но бывают минуты, когда именно спокойствие дочери раздражало впечатлительную мать. Хотя Нелла Гамзова никому ничего не говорила, все эти политические тревоги заставляли ее мучиться страхом за Станю. Она цепенела при мысли, что вот-вот на углах расклеят объявления о мобилизации его года. Она знала женственную натуру сына. Какой из него солдат, если он так похож на Неллу; он писал кровью сердца — как жила всю жизнь Нелла. С покушением на самоубийство обошлось благополучно, он образумился, нашел радость в работе,— неужели ему придется теперь убивать людей и самому подставлять лоб под пули? Нет, это невозможно себе представить. Когда Станя ходил в школу и она утюжила ему праздничную курточку и белоснежный воротничок ко дню 28 октября, сколько раз она говорила

себе: «Слава богу, вам лучше живется, чем нам. Вам уже не нужно лицемерить, как нам в школе во время праздников в честь императора, вы растете в более счастливые времена». Более счастливые времена! Какая насмешка! И я могла жить с таким легким сердцем. Теперь ей казалось даже, что она накликала войну тем, что так долго в нее не верила.

РОДИНА

Встречаясь в семье, никогда не говорят: «Я тебя люблю. Ты мне дороже всего на свете. Я не могу без тебя жить»,— и тому подобные фразы из романов. Каждый занимается своим делом, все сходятся за столом, говорят об обычных вещах или просто спорят о пустяках. Но если в семье кто-нибудь заболеет, если кому-нибудь плохо, даже самый шумливый и тот ходит на цыпочках и еще в дверях, не успев повесить шапку на гвоздь, спрашивает с замирающим сердцем: «Ну как? Что? Какая температура?» И у него щемит сердце от страха и любви.

Еленка, Тоник, Станислав, Гамза должны были думать о работе — у Гамзы именно сейчас было особенно много дела, помимо адвокатской практики. Но Нелла, если она не была нужна в конторе, сидела дома, не отходя от приемника, который заменял ей пресловутый старинный очаг. Она как бы измеряла температуру тяжело больной родины, считала пульс. Он бился то с лихорадочной быстротой, то еле-еле, нитевидно.

Нас еще не бомбили, а мы чувствовали себя как в осажденном городе, под барабанный бой нюрнбергского радио. Адольф Гитлер запугивал Чехию. Но самое тяжелое было не это. Гораздо страшнее был тон, каким он говорил о республике, словно об уличном сброде, неслыханно нагло отзывался о главе государства. Старушки в Крчи не верили собственным ушам, а ведь любая из них девочкой ходила в немецкую школу и до сих пор не забыла этого «единственно надежного языка». И старушкам в Крчи хотелось узнать, почему люди, встречаясь, спрашивают друг у друга, будет ли война. Они слушали и качали головой. В старой Австрии это было бы невозможно. Конечно, и при императоре люди убивали друг друга, но хоть какие-то приличия соблюдались.

— Он говорит о нас, словно мы не люди,— разрыдалась Лидка Гаекова. Как не расплакаться от такого унижения!

— Не хнычь,— рассердился на нее муж.— Не доставляй ему этого удовольствия. Он только того и добивается.

Муж Лидки был прав, муж всегда прав, на то он и глава семьи. Лидка смотрела на него глазами, полными слез, и сурово,

по-деревенски, поджимала губы. Она стискивала кулаки и грозила радиоприемнику, точно человеку.

— Погоди же ты,— твердила она,— это тебе даром не пройдет.

Лидка уже поняла, что Гаеку придется идти в армию. Она выстирала ему белье и напекла пирожков из самой лучшей муки. Но сделала все это незаметно, не говоря ему ни слова, чтобы зря не бередить рану.

Конраду Генлейну, гражданину Чехословацкой республики, собиравшемуся отторгнуть от нее своих соплеменников заодно с территорией, устроили торжественную встречу на съезде нацистов в Нюрнберге. Множество обывателей толпилось перед гостиницей, где он остановился, и приглашало его подойти к окну такими «милыми» стишками:

Lieber Konrad, sei so nett,
Zeige dich am Fensterbrett [1].

— Кто его туда пустил? —возмущался Станислав.— Как этого прохвоста до сих пор не арестовали?

— Я бы его к стенке поставил,— говорил Тоник.— В Советском Союзе этакую мразь сумели бы вовремя обезвредить.

— За решетку его надо посадить,— вторила ему Нелла Гамзова.— Но только не смертная казнь...— она закрыла лицо руками,— это ужасно...

— Мы погибнем от собственной гуманности,— иронически заметила Еленка.

Станислав приходил в смятение от всего этого. Родина, конечно, гуманна, но всему есть предел. Что у нас творится? До каких пор мы будем терпеть у себя эту дрянь? Где у правительства глаза? В этом таилась какая-то закавыка, какое-то недомыслие, роковая ошибка. Те, кто никогда не думал о политике, бились теперь над этой мучительной загадкой, как муха о стекло. Почему мы так снисходительны к этим изменникам?

— Министр внутренних дел — аграрник,— коротко уронил Гамза.— Он куда охотнее арестует Готвальда, чем Геплейна.

— Все правые боятся прихода Красной Армии,— сказала Еленка,— а поэтому — *«Нация превыше всего»* и — давайте онемечиваться.

— Знаешь, как о них говорят у нас на заводе? — вспомнил Тоник.— *«Деньги превыше всего»*.

По Аэровке ходит анекдот. Собралось руководство партии *«Нация превыше всего»* обсудить — к кому присоединиться. Директор Выкоукал из Ул, крупнейший капиталист, вынул из кар-

[1] Дорогой Конрад, будь так мил, покажись нам в окошко *(нем.)*.

мана тысячную бумажку и показал всем присутствующим. «Смотрите, господа,— сказал он.— Если придет Сталин, ее у нас отберут. Если придет Гитлер, она останется у нас. Так за кого же мы?» И все единогласно решили стать на сторону Гитлера.

Но Станислав не очень-то верил в такие низменные побуждения. У отца и Тоника, которые о них говорили, по мнению Стани, сказывалась партийная ограниченность.

— Вы все сводите к экономике,— возражал он.— Разве ты не допускаешь, папа, что и среди правых есть порядочные люди, которые не думают о своем личном обогащении и которым действительно дорога республика, и они стараются ее спасти, как умеют? Не одни же это негодяи. Ведь могут быть также и люди, которые политически ошибаются.

— А сегодня ошибаться нельзя,— взъелся на него Гамза.— Сейчас не время для такой роскоши.— Он встал и сердито заходил по комнате.— Уже на Лейпцигском процессе,— остановился он перед Станей,— нацисты раскрыли свои карты. (Станя беспокойно пересел на другой стул. Отец слишком часто упоминает о Лейпцигском процессе, и Станиславу при этом всегда как-то не по себе, как вообще детям, когда родители повторяют одно и то же.) Еще тогда весь мир убедился, что они обманщики. И консервативные английские газеты писали тогда об этом совершенно открыто. Сегодня же этот старый дурень (он имел в виду Чемберлена) идет у них на поводу. Дай черту ноготок, он потребует с локоток! Это же известные шантажисты.

— Да,— согласился Станя,— но я ведь не утверждаю...

Гамза не стал слушать его дальше, взял шляпу и ушел. Станя — хороший мальчик, жаждет справедливости, но в такое ответственное время до таких ли тонкостей? Простые люди понимали Гамзу куда лучше. В них была цельность. Они верили: случись что — и Красная Армия поможет. Гамзе было легче среди рабочих Колбенки, чем дома. Партийные агитаторы все время были наготове. Приходилось объяснять события, следить, чтобы люди не вешали носа, и раздувать искру сопротивления.

«Папе легко говорить! — думал Станислав.— Когда начнется война, его не заберут в армию. Но все это пусть решают другие, а мне лучше позаботиться о корректуре, пока меня не призвали».

Бог весть в который раз он садился за верстку «Пражских новелл». Сегодня он и глядеть не хотел на то, что писал год назад с таким вдохновением и что так понравилось ему в гранках. Все это милые пустячки, просто срам. Они совершенно бессмысленны. Одна из первых новелл называлась «Освещенные окна». Ну и что ж, что в Праге когда-то освещали окна за белыми занавесками в уютном гнездышке молодоженов, что из того, что влюбленные

переживали медовый месяц; разве в спальне у них кричал и хрипел Гитлер из волшебного ящичка? Между двумя поцелуями слышали ли они призывы на помощь, доносившиеся из пограничных районов Чехии? Теперь личной жизни не существовало. Изменились и пражские виды. Днем и ночью над Прагой висит мучительная фата-моргана пограничных гор. Прекрасная Чехия, моя Чехия! Карта детских лет оживала перед глазами: зеленая внутри и темная в гористой части по краям — такова страна, имеющая вид дракона, в которой пастушки с картин Алеша в школьной хрестоматии разводили костры. Выступы Ашский, Фридландский, Шлюкновский... Станя бросал корректуру и шел к матери, сидящей у радио.

— Что? Как?

Дело было плохо.

Наши союзники — Англия и Франция — сами нам советуют уступить соседу пограничные районы, горы, свои естественные рубежи. Уступить Судеты вместе с укреплениями, защищающими нас от вражеского нашествия, с дорогами и шоссе, разорвать транспортную связь и разрушить стратегическую сеть дорог, уступить немцам истоки чешских рек, богатства водной энергии, чудодейственные целебные горячие источники, радий и железную руду, мировые курорты и цветущие города, крупную текстильную и стекольную промышленность. А если кому-нибудь из чехов не понравится в Третьей империи, они могут выселиться.

Рабочие, которым Гамза сообщил это, оцепенели.

И это нам советуют наши союзники?

Да. Английский и французский премьер-министры — Чемберлен и Даладье. Но коммунисты обеих стран за нас. И Советский Союз смотрит на дело совсем иначе, чем французские и английские реакционные круги. В СССР считают, что это было бы самоубийством. Надеются, что мы не согласимся.

Да здравствует Сталин! Да здравствует Советский Союз!

— Районы, на которые зарится Гитлер,— продолжал Гамза,— испокон веков были связаны с нашей страной, как конечности с телом. Но Франция и Англия не считаются с такими пустяками. Они, видите ли, пекутся о мире во всем мире и считают, что значительно укрепят его, если еще больше усилят милитаристскую Германию. (Среди собравшихся рабочих послышался злобный смех.) И поэтому союзники рекомендуют нам добровольно согласиться на ампутацию ног, на которых мы стоим, и рук, которыми мы обороняемся, а после этого-де все успокоится.

— Пусть фюрер пришлет к нам из Третьей империи колясочку для инвалидов,— крикнул кто-то,— у них в Германии есть патент!

Но эта шутка висельника никого не рассмешила.

— Иисусе Христе, да ведь мы изойдем кровью,— запричитал чей-то женский голос.

— Он нас с шерстью проглотит,— послышался мужской бас.

— Уж не сошли ли все с ума?

— Войны не было, мы пока ее не проигрывали!

— Правительство все равно не согласится,— произнес кто-то более рассудительный.— И прежде всего президент.

— Не может!

— Не посмеет!

— То-то к нам лорд Ренсимен рыбку приехал ловить!

— Он к этому способен, как осел к музыке.

— Вот это я понимаю — чужое раздавать!

Возбуждение было невероятное. Бунтовало естественное человеческое чувство справедливости. Чехословакия маленькая, а Третья империя — после присоединения Австрии — огромная; что, если ей захочется стать еще больше? Почему они зарятся именно на наши земли? И почему за нас должны решать господин Чемберлен и господин Даладье, люди, которых мы отродясь не видали, которые у нас не были и которых мы о том не просили? Мы ни в чем не виноваты, не мы подняли этот шум с генлейновцами. Почему же именно мы должны испить эту чашу?

— Ну, на кого господь бог глянет, тому и все святые помогут,— произнес какой-то старик.

— Вот тебе и вся высшая политика,— сказал шутник, состривший перед этим насчет колясочки для инвалидов, и горько усмехнулся.

— Это знаменитое британское равновесие,— заметил кто-то более сведущий.

— Не хотят отдать колонии немцам, вот и продают нас.

— Своя рубашка ближе к телу.

— Но мы не позволим собой торговать!

— Не позволим обкорнать республику!

Однако правительство тоже не согласилось на эти условия, и народ облегченно вздохнул — в той мере, в какой это возможно для народа, в стране которого угнездился дракон. Переговоры продолжались. Но все мы знаем из сказок, каково разговаривать с драконом, задумавшим получить королевскую дочь.

На следующее утро из кооператива прибежала перепуганная насмерть Барборка и шепотом, как рассказывают страшные истории, сообщила Нелле о таинственном ночном визите в Град. (Град расположен по соседству со Стршешовицами, и здесь его жизнью интересуются запросто, как жизнью соседа.) В изложении Барборки это ни дать ни взять нападение Черной Руки. В самую темь,

далеко за полночь, перед Градом остановились две черные машины, а в них сидело по черному господину. Им, мол, нужно поговорить с господином президентом, и немедленно. «Что вы выдумали,— ответил им часовой,— сейчас ночь, и президент спит». Но господа стояли на своем, вынь да положь им президента, а не то Прагу в эту же ночь будут бомбить; назвались эти гости французским и английским послами. Даже документы им доставать не пришлось — часовой признал их в лицо. Что же оставалось делать? Разбудили президента — *и теперь, говорят, все отдают немцам.*

— Полно глупости болтать,— накинулся на Барборку Станислав,— кто поверит бабьим сплетням?

Не помня себя, он выскочил из дому, но, когда приехал в библиотеку, его коллеги сообщили ему то же самое не в романтическом, а в более реальном изложении.

Гамза и Тоник так и не вернулись с утра домой — это был дурной признак. Уже темнело. В старину, когда наступали тяжелые времена, бабушки вязали чулки и рассказывали внучатам сказки. Нелла Гамзова сидела у радио.

Зеленый кошачий глазок волшебного ящичка светился в сумраке; внутри что-то потрескивало; и она с сердцем, сжимающимся от горя, измеряла температуру и считала пульс смертельно больной родины.

Наконец это случилось. Беда пришла. Не нужно было и сидеть у радиоприемника. О ней на весь квартал кричал громкоговоритель.

Чехословацкое правительство согласилось на все условия, предложенные союзниками — Францией и Англией,— отдало Третьей империи горы. Мы капитулируем. Иного выхода мы не видим. Ведь Франция, наш первый союзник, обязанная по договору оказать нам помощь в случае нападения, предупредила: если вы не подчинитесь требованию вашего соседа и если из-за этого вспыхнет война, мы будем считать вас нарушителями мира и не поможем вам. Вы останетесь одни.

Нелла, как все неврастеники, сначала подумала, что она, быть может, ослышалась. Как, мы нарушители мира? Ну, это уж слишком! Ведь это же предательство?!

— Нас уже продали! — громко, на всю комнату вырвалось у Барборки.

Еленка осматривала последнего пациента. Часы приема у дочери были для Неллы святы — матери вообще набожно чтут работу своих взрослых детей. Когда Еленка принимала больных, Нелла никогда не позволяла себе даже постучать в дверь, не то что войти. Но сейчас она ворвалась к Еленке вместе с Митей, в этот ужасный миг не посчиталась ни с чем. Впрочем, пациент, забыв о своей

болезни, надел пиджак, Еленка тем временем сбросила с себя медицинский халат. Все заторопились, сами не зная куда.

Вошел Станислав, бледный как смерть.

— Это вторая Белая гора,— вздохнул он.

— А кто дал им право? — раскричалась Еленка.— Это же дело парламента, правда?

Нелла опустилась на первый попавшийся стул.

— Я рада,— проговорила она с ледяной улыбкой, так странно, что сын и дочь посмотрели на нее удивленно,— я рада, что мамочка умерла. Какая она счастливая, что не дождалась этого.

Нелла — человек мягкий. Но если она ожесточилась, с ней происходило что-то ужасное. Еленка склонилась над ней.

— Ты что же, хочешь нас покинуть, мама? Это не годится. В такое время ты будешь нужна нам, как никогда,— сказала она, и эти слова подействовали, словно волшебная палочка, воскресили мать.

— Бабушка, что с тобой? — допытывался Митя.— Уже началась война?

И Нелла Гамзова, мать, которая все это время трепетала за сына, ответила внуку:

— Золотой мой мальчик! Есть вещи гораздо хуже войны.

И снова мама разговаривала с дядей, а бабушка с Барборкой, и никто не замечал Мити. И он пришел в полное недоумение.

— Что хуже войны? — допытывался он и дергал бабушку за юбку.— Что хуже?

— Рабство, хорошенько это запомни, детка,— ответила ему Барборка,— но только я немцам служить не стану, наперед вам говорю.

И, заплакав от гнева, выбежала вон.

— Но мы ведь не проиграли? — волновался Митя.

— Не проиграли,— подтвердила мама,— а кто не проиграл, не может и сдаться; Митя, побереги здесь бабушку,— лукаво приказала она ребенку.— Мне нужно сходить к папе.

И Еленка быстро исчезла. Станислав тоже пропал.

Из всех домов, как по команде, выскакивали люди, словно над их головой загорелась крыша или разверзлась земля под ногами, присоединялись друг к другу, потому что всех постигло одно бедствие, и, гневно жестикулируя, стремительно неслись куда-то — спасать республику. Как именно — никто не знал; но спокойно усидеть в одиночестве было невозможно, всех гнала вон из дому неудержимая потребность двигаться, ходить, протестовать против того, что случилось, требовать ответа.

Катастрофа разбила в щепы моральные основы, на которых мы строили нашу жизнь: святость обязательств и доверие к дан-

ному слову. Договор о союзе, как только он оказался неподходящим для их лавочки, выбросили в мусорную яму. О Франция, любовь наших поэтов! А мы-то восторгались ею, распевая «Марсельезу»,— безумцы! — мы верили ей, были ей верны, все принимали за чистую монету. И вот все пошло прахом, все осмеяно. Елисейские поля стали джунглями — от этого повеяло таким ужасом, словно земной шар соскочил со своей оси. Правым признали шантажиста, а виновником объявлена жертва.

Боже милосердный, чем мы перед тобой провинились?

Когда-то у Лидки Горынковой милый отправился странствовать по свету, и это привело ее в отчаяние. Старого Горынека заперли в горящей прядильне — кто опишет этот ужас, эти муки? Нелла Гамзова собиралась на увеселительную прогулку с матерью и нашла ее мертвой. У барышни Казмаровой отец погиб при авиационной катастрофе, вдобавок на его совести была молодая жизнь. Станислав задумал умереть, когда узнал, что любимая женщина его обманывает. Какое ребячество в сравнении с этим предательством! Что значит и несчастная любовь, и муки отдельного человека, и неожиданная смерть в семье, и превратности суровой жизни по сравнению с этой бездной отчаяния! Они тонут в ней, как капли в морской пучине. Будто плотина прорвалась за нашей границей и вода хлынула с гор, грозя затопить республику.

Людей поразил общий удар, их объединило общее негодование. Они сбивались в гневные толпы и рвались к восстанию, требуя ответа! Все нуждались в свежем воздухе, все задыхались дома. И Нелла с внуком тоже вышла, сначала в садик, перед домом, а потом за ворота; она взяла мальчика за руку, и они отправились, как все, к Граду.

— Народ точно взбесился,— заметил Хойзлер жене и рассказал ей о беспорядках на Вацлавской площади.

Он кое-как добрался до дому окольным путем. Радоваться бы должны, что все кончилось миром.

— Не начали бы грабить,— ужаснулась Ро и пошла искать ключи.— Где опять эта Фанча?

Фанча исчезла.

А Даша?

И ее не было. Супруги Хойзлер остались в бубенечской вилле одни. И шофер, и семья садовника — все разбежались.

В Град! В Град!

Народ валил вверх по Нерудовой улице к Градчанской площади. Шли по Лоретанской, шли со стороны Опыша и от Прашного моста; подходили все новые и новые люди — толпа перед Градом становилась все гуще. Народный гнев накалял воздух; над воротами в стиле барокко боролись два гиганта; в темноте

у подножия Града окаменевшим прибоем молчала Прага. Люди кричали: «Позор!», «Измена!» — старались прорваться в Град. Но ворота были на запоре. Это озлобило толпу. Ворота трясли с таким же упорством, с каким горняцкие жены рвутся к шахте, где случился обвал и где остались засыпанными их мужья и дети. Взламывая ворота, люди рвались к сердцу республики, постигнутой катастрофой.

«Град наш!» — слышались крики.

Через поломанные решетки народ, как полая вода, устремился во все четыре двора. Охрана покинула их. У кого подымется рука стрелять в народ, когда у самого от этого несчастья кровью обливается сердце!

Барборка тоже помогала брать приступом Град. К тому времени, когда туда добралась Нелла с Митей, вход с Градчанской площади уже открыли настежь, решетки сломали, люди кишели во дворах замка, как в универмаге.

Главный поток устремился через ворота в третий двор.

Гудящая толпа напоминала осиное гнездо. Самая большая сутолока была перед канцелярией президента. В полумраке, словно асфальт в черном котле, двигалась и бурлила толпа отчаявшихся людей. Глухой ропот шел из ее глубины. Время от времени, как сигнальная ракета, над ней взлетал выкрик:

— А-зо-о-ор е-ра-а-ану-у!

Митя вздрагивал, как от ударов, прибавлял шагу, продирался вперед и тащил за собой бабушку. Она волей-неволей следовала за ним, боясь отпустить его от себя.

— Позор Берапу! — кричали люди.

Митя думал, что там, впереди, за всеми этими воротниками, рукавами и спинами, на дворе стоит настоящий живой баран, которого он вот-вот увидит. Он не понимал, зачем там оказался баран, ему очень хотелось узнать, что же с ним сделают, и он проталкивался вперед изо всех сил. Нелла боялась, что Митя потеряется или его затопчут. А что, если сейчас нечаянно опрокинут высоченный обелиск, который так бессмысленно и грозно торчит здесь, и он повалится и задавит Митю?

Волнения за доверенного ей внука, с которым она так неосмотрительно выбежала вечером на улицу,— иначе она не могла поступить,— на время отвлекли ее от измены Франции. Именно в этом разгадка, почему люди не сходят с ума, когда на них обрушивается такое безграничное несчастье; несмотря ни на что, обычная жизнь продолжается, ежеминутно требует чего-нибудь от человека и спасает его от неизбежного заболевания. Наконец Нелла вместе с Митей пристроилась на ступеньках собора святого Вита и прислонилась к стене. Ей удалось уговорить мальчика, что

оттуда им будет лучше видно. И вдруг сверху ей бросился в глаза огромный чехословацкий флаг, который какие-то люди принесли с собой и держали очень странно — горизонтально, как балдахин. Может быть, они боялись, что его порвут в этой толчее?

— Да здравствует генерал Сыровы! — кричали люди.— Мы... хотим... генерала Сыровы! Мы хотим... военное правительство!

Народу, который не хотел сдаваться, такое правительство казалось единственным спасением.

Генерал Сыровы, герой Зборова (так, по крайней мере, утверждали), с черной повязкой на одном глазу, напоминал Жижку с картины Брожика, и народ в дни своего крестного пути воспылал великой верой в него. Год назад генерал Сыровы ехал верхом перед гробом Масарика; теперь все верили, что он так же храбро поведет и войну. Это уважаемый старец, он не обманет. *Ну, Сыровы, он — наш!*

На балкон вышел этакий толстый дядюшка, лицо которого было плохо видно, и стал уговаривать людей разойтись по домам, он их призовет, когда понадобится.

Но кто мог думать о сне?

Маленький сухощавый человек, стоявший впереди Мити, поднял кулак.

— Оружия! — закричал он, и несколько мужчин крикнули вслед за ним:

— Оружия, мы за него платили!

Митя понял это по-своему. Вырвав свою руку из рук бабушки, он закричал во все горло:

— Оружия, мы за него колотили!

Нелла схватила его сзади за курточку.

— Где правительство? — роптали люди и напирали на замок. Толпа гудела, как вешние воды; в ней пробуждались старинные воспоминания о дефенестрации.

— Где они? Куда попрятались? — взвизгнул пронзительный женский голос; к нему грозно присоединился мужской:

— Долой капитулянтов! Выкидывайте их вон!

Поток всколыхнулся и забурлил, вот-вот полая вода хлынет в здание. Тут несколько человек громко запели «Где родина моя». Толпа замерла, как околдованная. Даже те, кто кричал яростней других, обнажили головы, повернулись лицом в ту сторону, откуда послышалось пение, и застыли. Боже, сколько раз мы справляли годовщину 28 октября! Никто не смел шевельнуть даже рукой, чтобы достать платок. Так и стояли и пели в полумраке, и кое у кого в фантастическом освещении текли по лицу слезы.

На дворе Града оцепенели толпы людей; с двух сторон их теснили стены храма святого Вита, над ними висел небесный свод с

бесчисленными звездами; и мужчины, так чудно́ державшие знамя, как балдахин, слегка раскачивали его из стороны в сторону, точно творили заклинание. Все было как в театре или во сне, почти нереально. Но гимн отзвучал, и люди пришли в себя. Нет, народ не позволил себя усыпить.

— Военное правительство! Хотим бороться!

Нелла весь сентябрь трепетала за своего сына-солдата.

— Бороться — кричала она теперь со всеми, сжимая Митину ручонку.— Бороться!

Мите вздумалось посмотреть на бабушку снизу, и ему странно было видеть, как открывает рот и кричит бабушка из его обыкновенной жизни, бабушка, посылавшая его вымыть руки или сделать что-нибудь подобное.

На балконе замка появился высокий стройный человек в штатском. Нелла его не знала. Может быть, это председатель Совета министров Годжа? Он перегнулся через перила и заговорил так сердечно и непринужденно, как человек, привыкший выступать перед публикой.

— Добрые люди, вы меня знаете. Вы ведь знаете, что я не желаю вам зла.

— Это Гашлер,— зашептали вокруг Неллы.

Действительно, его все знают, вся республика распевает его градчанские и старопражские песенки. Но как попал эстрадный певец на балкон президентской канцелярии? Все смешалось. Никто ничему не удивлялся. Вон там, у статуи святого Георгия, стояла заплаканная Власта Тихая, из-за которой Нелла чуть не потеряла сына, теперь она — пани Кунешова. Зажженная спичка на мгновение озарила лицо Власты, и Нелла увидела, как та нервно закурила сигарету; но как только погас огонек, она тотчас забыла об актрисе. Здесь собрались продавцы, продавщицы и швеи, малозаметные в городе люди, мелкие торговцы и служащие; они позакрывали магазины, опустили железные шторы и, переполненные роковой новостью, выбежали на улицы. Интеллигенция — студенты, учительницы — терялась в этой толпе. Это та самая Большая Прага, у которой такие разные интересы днем. Люди, конечно, мало что знали об античной трагедии. Гашлер, любимый поэт пражских улиц, певец и патриот, военные песни которого когда-то помогали бороться с Австрией, попытался говорить искренне взволнованным голосом с публикой, которая его любила и которая шла за ним.

— Война при таких обстоятельствах была бы самоубийством! — бросил он в толпу.

А рты открылись и закричали в один голос:

— Самоубийства! Хотим самоубийства! — загремело между

Градом и храмом святого Вита. Это шоферы и поварята, официанты, модистки и учителя; это нация, готовая на самопожертвование, давала обет погибнуть. Ведь они любили свободу. Мурашки пробегали по спинам.

— А где президент? — раздался чей-то сердитый голос.— Почему он не показывается?

— Вы его не звали,— ответил генерал Сыровы, которого опять вытребовали на балкон, и ушел в таинственное нутро Града.

Кто там был в эту страшную ночь? Направо от балкона, в освещенном окне этажом выше, за занавеской появился чей-то силуэт. Человек, первно потирая руки, точно убеждаясь в своей твердости и требуя ее от остальных, поклонился. Некоторые громко с ним поздоровались; но тут же начали свистеть и кричать. Легкая тень человека отошла от окна. Он исчез.

Митя, спотыкаясь, плелся совсем сонный. Нелла то ли донесла, то ли доволокла его до дому, сама падая от усталости.

Митю раздевали в постели, мама сняла с него один башмачок, папа — другой. Большие мальчики разуваются сами, но у него не хватило воли поднять голову. «Я не сплю»,— протестовал он. И вдруг, точно кто его пощекотал, он тихонько засмеялся. Перед глазами у него возникло гигантское белое нефтехранилище, и около него темным силуэтом на солнце — часовой с винтовкой. Митя отлично видел его, как в волшебном фонаре.

— Знаешь, папа,— сказал он с закрытыми глазами и протянул руку,— нам на помощь придут красноармейцы!

И Митя блаженно заснул.

НАРОД С ЗАВОДОВ И ФАБРИК

На следующее утро рабочие Колбенки прекратили работу. Она просто валилась из рук. Люди, стоявшие у фрезера, у гидравлического пресса или револьверного станка, не находили себе места. У печей сказали: *«На Гитлера работать не станем»;* у станков собралась сходка, а там пошло и пошло. Начали, конечно, литейщики — тот, кто имеет дело с огнем и металлом, шутить не любит. Забастовала сернистая сталь, а следом и кузница; оттуда стачка перекатилась в токарную; стоило остановиться одному цеху, как к нему тотчас же присоединялись остальные. Вышли из цехов и кузнецы, и конструкторы, и шлифовальщики, и столяры, и механики. У модельной перед ними заперли дверь. Сначала там ничего и слышать не хотели. Но потом пошла и модельная. Пришли все к центральному поворотному кругу, а председатель заводского комитета не согласился с рабочими.

— Куда полетели? — сказал он.— С ума вы, что ли, сошли?

Начальник смены не хотел выдать ключи от главных ворот.

— Плюньте вы на политику,— уговаривал он,— все равно вы ничего не знаете.

— Ключ будет здесь,— ответили ему,— или мы взломаем ворота. Да и ночные смены на работу не выйдут, ручаемся. Пускай мартены гаснут, нам теперь все равно.

Ключ сразу нашелся, все тронулись дальше. Если металлисты задумали что, их никакое начальство не остановит.

Привратник выглянул из своего окошечка.

— Не ходите,— закричал он вслед им,— не валяйте дурака! На Балабенке вас жандармы ждут.

Он покривил душой. Их хотели вернуть. Но не так-то легко провести рабочих. Аэровка, где в конструкторском отделе работал Тоник, вышла вместе с Колбенкой, присоединился и завод Симепса; рабочие выровняли шаг и отправились по Королевскому проспекту — обычным путем своих первомайских демонстраций, по огромной артерии, которая проходит по трем рабочим районам и связывает Высочаны, Либень и Карлин, эти руки Большой Праги, с ее историческим сердцем — Старым Местом.

Поредел дым на Арфе; там тоже бросили работу. Кочегарка столицы и лакокрасочные заводы, выдыхающие резкие химические запахи и разноцветный дым,— Тебеска и Шмолковна — оставили работу, выключили станки и стали. На ноги поднялась вся Арфа, а за ней следом Глоубетин, Филипка — ухо мира, Тунгсрамка — глаза Праги, Сапа — миллионы кубиков мыла — все вышли на улицу. Чешско-моравский машиностроительный завод в Либени, этот гигантский, как мамонт, родильный дом машин, как и братская Колбенка, перестал метаться в судорогах и кричать; там наступила тишина. Мужчины высыпали из цехов, женщины — из домов, фабрики и рабочие кварталы отправились в поход к сердцу республики — к парламенту. По пути к ним присоединились более мелкие предприятия; и все это текло к классическому месту сражений, на Балабенку. Трамваи давно перестали ходить. Королевский проспект был переполнен. Люди останавливались и смотрели вслед шествию.

Хочешь республику отстоять —
нечего на тротуаре стоять! [1]

Мелкие торговцы опускали шторы, запирали лавочки и тоже присоединялись к рабочим. И старая бабка, вышедшая с мелочью

[1] Перевод стихов на этой и следующих страницах Н. Бялосинской.— *Ред.*

Игра с огнем

в лавочку за дрожжами, тоже присоединилась к ним. Учащиеся из общежития порывались было пойти со всеми. Но двери заперли на замок. Все ученики торчали у окон — голова к голове.

Рабочие шли. Они все думали одинаково и знали, чего хотят. Свергнуть правительство, которое сдалось без боя, и защитить республику, если на нее нападет Гитлер. Родная страна не была для них ласковой матерью. Она была для них скорее вроде мачехи из сказок о Золотой прялке или о Золушке. Она прятала куски получше для своих любимчиков, сынков крупных землевладельцев, и отталкивала безземельных. Во времена безработицы у многих не было крова над головой. Они жили в каменоломнях, в заброшенных речных судах, в старых вагонах. Отец родины когда-то дал своим беднякам построить Голодную стену. А мать-республика не слишком ломала себе голову над тем, как им помочь. Вместо работы она отделывалась нищенской подачкой. На нее нельзя было ни жить, ни умереть. До сих пор в память об этих тощих годах существуют поселки «Нужда» и «На крейцер». Но как бы то ни было, кровь — не вода, мать — это мать, это была их родина, и сейчас ей угрожала опасность. Владельцы шахт и металлургических комбинатов, сахарных и винокуренных заводов испугались и отступили. Обездоленные же, гнувшие на них спину, осмелились защищать родную страну.

Дайте оружие! Наше оно!
Мы платим сполна за него давно!

У Дома инвалидов встретился военный грузовик, солдаты, сидевшие в нем, приветственно махали: «Мы с вами! С народом!»

И поселки «Нужда» и «На крейцер» тянулись на помощь республике, которая когда-то стреляла по ним, когда они объявили, что не хотят умирать с голоду.

Годжу долой!
Власть капитулянтов долой!
Не отдадим страну
Немецкому пачкуну!
Ура — генералу Сыровы!
Ура — Союзу Советов!

Один из организаторов демонстрации быстро шел вдоль процессии.

— Товарищи, не призывайте генерала Сыровы — он же фашист!

Но одноглазый герой воплощал всякое военное правительство, и люди не хотели ничего слушать.

Они шли. Их были десятки тысяч, ими двигала единая воля: не сдадимся! Они — это Готвальдово войско труда — не требовали себе формы, как «соколы». Шли и, несмотря на измену Франции, верили: когда мы будем обороняться, то не останемся одни — Россия поможет. У коммунистов это было политическим убеждением, у остальных — традиционной верой в великого брата, в Россию. Шли мимо редакции «Руде право» — там их приветствовали из окон; и пока одни еще только подходили к карлинскому виадуку, другие уже достигли Староместской площади.

Там есть доска в память двадцати одного казненного чешского дворянина. А сколько их навеки покинуло страну после белогорского несчастья! Эмигрировали целые роды; их имущество досталось чужеземцам; те, кто остался, перешли на сторону врага; мы оказались народом без аристократии. Может быть, потому в Чехии рабочие и интеллигенты ближе друг к другу, что у всех у нас прадеды были малоземельными крестьянами, а прабабушки — знахарками. Барин не барин,— а чехи, сопротивляясь врагу, сумеют договориться.

Существует закон: когда заседает парламент, люди не смеют собираться в толпу на расстоянии километра в окружности. Так, по крайней мере, говорится. Но что делать охране, если вся кровь с окраин прихлынула к сердцу города? Берега шли навстречу друг другу, дымный северо-восток спускался с холмов, а Смихов, старый черный Смихов угля, локомотивов, стекла, пива и спирта, перешел через Влтаву и валил по набережным вместе со злиховской Шкодовкой и иноницкой Вальтровкой. Мужчины, которые выделывают оружие и моторы, рельсы и мосты, вагоны и самолеты, прорвали полицейский кордон, как нитку, смели часовых и осадили площадь Смѐтаны. С рабочими из Подскалья тоже шутки были плохи. Подольские обжигальщики извести, браницкие пивовары, водопроводчики, холодильщики и панкрацкая Зброевка стояли от площади Кршижовников до самого Национального театра. Всех и не перечесть, многих я не назвала. Это был бы длинный список заводов. Без этой армии труда, которая явилась к парламенту исполнить свой воинский долг, Прага не ездила бы, не летала, не отапливалась, не освещалась бы и вскоре осталась бы без пищи.

— Вот видите,— сказал Гамза умеренному социалисту, одному из тех справедливых, с кем коммунисты встретились в роковые дни сентября на совещании, чтобы решить, как спасти государство.— А вы не верили, что мы за ночь организуем всеобщую забастовку. Из-за каких-нибудь пустяков они бы не стали бастовать.

Но сейчас, когда дело касается жизни и смерти республики, идут все.

И это были рабочие из четырех различных политических партий.

Дайте оружие! Наше оно!
Мы платим сполна за него давно!
Лучше стоя примем смерть,
чем на коленях жить и терпеть!
Годжу долой! Власть капитулянтов долой!

Жаль, что Тоник не слышал Готвальда, когда тот вышел на балкон парламента и первый объявил, что правительство подало в отставку. По воле народа создается новое правительство, опирающееся на армию. Советский Союз с нами. Стойте на своем, не сдавайтесь! Жаль, что Тоник не видел, как обнимаются былые политические противники! В первый раз за все эти годы коммунисты, хотя и находятся в оппозиции, объединились со всеми людьми доброй воли из коалиционных партий. Все благородные силы страны стали единым фронтом, откинув прочь политические разногласия.

Из Высочан Тонику было дальше идти до парламента, чем Станиславу из Клементинума. Тоник еще шел мимо редакции «Руде право», когда на балкон парламента вышел второй человек с взволнованным лицом.

— Вы знаете, кто я! — воскликнул он.— Я — Рашин, когда-то на моего отца покушался коммунист. Но я говорю вам: сегодня было бы грешно вспоминать о том, что нас разделяет. Мы должны оберегать то, что́ нас объединяет. Это любовь к республике и общий враг. Через единство — к победе!

У Стани от восторга забегали мурашки по спине. «Res publica» — «общее дело». Она, республика, жила вокруг него, в этих сотнях тысяч людей на площади, готовых отдать свою жизнь, лишь бы спасти свое государство. Живая, мечущаяся, кричащая республика могла задавить Станю; а на небе вырисовывалось старое чешское королевство. За рекой на холме стояли Град и собор святого Вита. «А ведь я *вижу идею* государства»,— подумал Станислав, словно в бреду; мановением чьей-то руки перед ним открылась с детства знакомая величественная панорама Градчан, которую он видел ежедневно, но сейчас она ошеломила его, как будто он увидел Градчаны впервые, в новой для него связи, с этими толпами мужчин и женщин перед парламентом. «А ведь я до сих пор вообще не знал Праги»,— сказал он себе. И вдруг заторопился домой.

Люди вынесли на руках генерала Сыровы, символ обороноспособности, представители десяти политических партий под руководством Готвальда уехали в Град, и торжествующее ликование было так велико, что можно было какое-то время почти не думать

о том, что опасность не только не миновала, а, наоборот, увеличилась.

Родина, которую пинками гнали из Нюрнберга в Берхтесгаден, а из Берхтесгадена в Лондон, теперь очутилась в Готесберге, во вражеском гнезде, где мы отродясь не были, но унылое название которого — Божья гора — точно намекало на гору Елеонскую. Там из-за нас торговались два человека, которых мы и в глаза не видели: человек со свастикой на рукаве и старый министр Чемберлен с дождевым зонтиком. Дай черту с ноготок, он потребует с локоток! Шантажист, почуяв английскую уступчивость, не преминул стать еще нахальнее и, угрожающе глядя из-под пряди на лбу, потребовал еще больше. Барышники не договорились, и британец улетел ни с чем.

В этот вечер в Праге только и разговору было, что ночью начнется бомбардировка.

Ро, приехавшая за покупками (она достала себе *мягкий драп* на пальто, *сукно* на костюмчик, *крепдешин* на комбине и еще кое-что — она вовсе не хочет остаться голой, когда начнется война и станет туго с мануфактурой), снова отправилась, на этот раз с Хойзлером, в нехлебскую виллу. Нелла сожалела теперь, что виллу продали. Будь она у них, можно было бы отправить туда Митю с Барборкой. Гамза не пришел еще в себя после утренних событий. У нас военное правительство, которого требовал народ, и знаете, к чему это привело? В Карлин пришла утром полиция и приостановила печатание «Руде право». Пришлось полдня потратить на телефонные звонки и беготню, пока сняли запрещение.

Станя сидел у себя в комнате, дымил, как фабричная труба, наливал себе черный кофе из хромого прабабушкиного кофейника и, стараясь изо всех сил сосредоточиться, писал. Какой смысл сидеть сложа руки у радио, слушать гнетущие сообщения и бесконечно спорить о них, как Тоник с Еленкой? Мать следит, мать знает, когда его вызвать. А его назначение в том, чтобы писать. Он должен облечь в какую-то форму раскаленную человеческую лаву, пока она еще не остыла в его памяти, рассказать, как она сбегала с пригорков и берегов к парламенту. Он должен написать об этой живой республике между парламентом и Градом. Что за «Пражские новеллы» без народа с фабрик! Он постоянно возвращался в мыслях к Готесбергу, хотя и запрещал себе думать об этом; но чаще, чем обычно, по улице, сотрясая окна, проезжали грузовики. Потом Станя разошелся и стал писать наперегонки со временем.

По радио раздались позывные — аккорды арфы, которые подает Вышеград. Они давно пропитали сентябрь тоской.

«Слушайте, слушайте!»

Всякий чех, слушавший в эту минуту радио, а слушали его

все,— до смерти будет помнить эту вступительную фразу. Она ничего не говорила, решительно ничего. Но она как бы пропускала через вас ток высокого напряжения.

«Слушайте, слушайте! Важное сообщение».

И снова военные марши.

Если Гитлер играет на наших первах, то зачем делать это нашему радио? К черту музыку, мы хотим слышать точные слова! Никто в эти дни не выносил музыки. Нелла хорошо знала, что значит, когда играют военные марши.

Всем своим существом Нелла была сторонницей мира. Она не говорила об этом, не писала, но жила этим. У нее был любимый муж, дети, внук. Ее удел был уделом женщины на земле, и она не тосковала о другом. Всем своим существом она чувствовала, как прекрасна человеческая жизнь, окруженная любовью, несмотря на все тревоги, с которыми мы подчас встречаемся. Ее лоно породило новую жизнь, ее рукам были доверены маленькие дети, вот тут у нее на глазах произошло незаметное чудо, превращающее невинное дитя, пасущее барашков, в цветущего взрослого человека. В сына-солдата! И теперь он будет шагать под эту музыку, музыку... хоть бы уж скорее что-нибудь сказали!

«Слушайте, слушайте!»

Она была уже не так молода и знала, что такое война. Три года был Гамза на фронте. Эта мясорубка, эта тоска, клещами стискивающая сердце, когда нет писем полевой почты,— неужели она должна пережить это снова из-за сына?

«Президент республики как верховный главнокомандующий вооруженных сил Чехословакии объявляет всеобщую мобилизацию».

— Дай-то, боже,— тихо произнесла Нелла и тотчас ужаснулась своим словам. Этим она как будто сама отдавала Станю в объятия опасности. Родители встали и пошли к сыну.

— Станя,— начала мать осторожно, таким тоном, каким будила его, бывало, по утрам в библиотеку,— Станя...

— Мобилизация? Хорошо. Сейчас иду,— словно пробуждаясь от сна, ответил Станя и оторвался от работы.

Он отложил перо и сигарету, положил на свою рукопись пестрый камень из Нехлеб, который служил ему с детских лет вместо пресс-папье, и бросился к дверям.

Гамза мягко напомнил ему адрес призывного пункта, Нелла холодными, дрожащими руками перебирала вещи сына. Тоник, подданный Соединенных Штатов Америки, не подлежал призыву и как будто стыдился этого. Он во что бы то ни стало хотел помочь Нелле. Станислав остановил обоих.

— Ничего не надо! — сказал он победоносно, как маленький

мальчик, который козыряет свой сметливостью перед большими.— У меня уже все запаковано. Вот, пожалуйста.

Он открыл шкаф, извлек оттуда набитый рюкзак и водрузил его на стол.

В соседней комнате радио еще передавало по-словацки сообщение о мобилизации.

— Когда это ты успел, Станя? Так быстро!

— Еще вчера,— признался Станислав.— Меня все время беспокоила мысль, что в случае чего я не сумею быстро собраться. Так я сделал это заранее, а потом, по крайней мере, мог писать.

Он стал спиной к столу и надел на себя один ремень.

А семья?

Подожди, надо захватить что-нибудь из еды. Будь благоразумен, об этом же объявили. Возьми этот свитер, он будет тебе впору. Гигроскопическую вату! Сейчас принесу из приемной. Тоник совал ему сигареты в нагрудный карман. Они готовы были отдать ему последнее. И эти обыденные мелочи снимали патетику расставания. Ни у кого не было времени подумать о том, что Станя, быть может, никогда не вернется.

— Папа, прошу тебя,— сказал он скороговоркой, когда они на минуту остались одни, скороговоркой, потому что стыдился.— Прости мне... эту глупость со снотворным.

До сих пор ни отец, ни сын ни разу об этом не заикнулись.

Гамза на миг крепко прижал его к себе.

— Молчи. Ты мой мальчик.— И ласково и неловко взъерошил ему волосы.

Впервые в жизни Станислав, к своему удивлению, заметил, что у отца в глазах стоят слезы.

Тоник помог ему надеть мешок на спину, и Станя, со своим девичьим носом и светлыми волосами, стал перед матерью. Она не плакала, улыбалась, улыбалась, чтобы у него не было тяжело на душе,— страшно было видеть эту улыбку. Неллину военную улыбку. Станя ее не знал, он был еще мал тогда — во время мировой войны. А когда Гамза был в Лейпциге, Станислав опять-таки не обращал внимания ни на кого из домашних.

Еленка нахмурилась, как всегда, когда сдерживала волнение. Одна только Барборка расплакалась, но постаралась поскорей скрыть эти слезы.

— У тебя пальцы в чернилах,— крикнула она на прощанье Станиславу, когда он торопливо жал ей руку,— смотри, как бы тебе за это в армии не влетело!

Барборка тоже помнила старую Австрию.

Станю это насмешило. Он рассмеялся молодым смехом и так и вышел из дому.

Отец и мать проводили его по садику, до ворот, прошли немного по улице. Но они не могли быть ему полезны, и сын исчез в темноте.

По радио еще не кончили сообщения о мобилизации по-украински, а в ночной тишине уже было слышно, как, лязгая металлом, поворачиваются в замках ключи и через слабо освещенные ворота на улицу выходят торопливым шагом мужчины.

— Папа,— в слезах говорила Лидка своим певучим, убаюкивающим улецким говором.— Я помогу тебе донести чемоданчик на станцию.

Она не называла своего мужа иначе, как «папа», и сейчас вложила всю свою нежность в слово «чемоданчик».

— Останься дома,— погладил ее по щеке муж,— Штепанек может испугаться, если тебя не будет рядом.

Станиславу повезло. Перед стоянкой такси ему удалось поймать машину, он вскочил в нее, назвал вокзал, и они поехали. У Прашного моста им подал знак мужчина с чемоданчиком. Едва он прикоснулся к подножке, как тотчас же, будто оттого, что он стал на нее, всюду в городе погас свет. У Стани возникло ощущение, как в детстве под Новый год, что время надело другой костюм. Точно он прыгал с мостков в воду, из одной стихии в другую... Они поехали. Прошлое в интимном кругу настольной лампы, когда Станя мог сам решать свою судьбу, кончилось, а в том необозримом и неясном будущем, которое еще только предстоит ему и которое надвигается, он уже не принадлежал себе. Встречный военный грузовик мчался из города по Хотковскому шоссе; никто не знал, что в нем везут: пушки или людей. Солдаты в темноте не кричали, не пели, металл и человеческая масса составляли единый сплав. Казалось, надвигается война. Не станут ли немцы бомбардировать Прагу, чтобы помешать мобилизации? Знает ли об этом население? Но не это заботило Станю, его дело — добраться до Вильсонова вокзала... и они ехали. Он, вероятно, боялся бы, но мысль, что он уже не принадлежит себе, приносила ему необыкновенное облегчение.

И все воспринималось, как будто он нырнул в воду; те, кто шли и ехали, совсем не разговаривали, точно вся их энергия была направлена на то, чтобы не опоздать. Пока Станислав добирался до центра, пешеходы с чемоданчиками и с мешками за спиной множились на улицах, как во сне. Темные громады домов и лохматые деревья парков, экзотические в потемках, точно порождали одних мужчин с чемоданчиками. Когда такси подъехало к вокзалу, они двигались уже сплошным потоком, и вместо одного Станислава из автомобиля вышли трое новобранцев.

От Стршешовиц до вокзала немалый конец.

— Сколько с меня?

Шофер махнул рукой.

— Ничего. Сегодня бесплатно.

И повернул, чтобы подвезти новых.

Перед Станиславом в набитый людьми вокзал вошли два парня в дождевиках поверх замасленных комбинезонов: они ушли прямо с ночной смены.

«Как же не победить с таким замечательным народом! — подумал Стаця.— Мы никогда не любили военных парадов. Нет, мы не играли в солдатики. Зато, когда становится туго...»

КАЛЕКА

Не успел Гамза войти в комнату, где все сидели у радиоприемника, как Митя осыпал его упреками:

— Вот видишь, дедушка! Они уже взяли Снежку! А ты говорил...

Еленка дернула Митю за рукав.

— Оставь дедушку в покое! — прикрикнула она.

Мальчик удивленно посмотрел на мать. Такой он маму не видел никогда.

— Ведь это же правда,— продолжал он настаивать.— Дедушка говорил, что мы не хотим ничего брать у немцев, но и своего добровольно не отдадим!

И в самом деле, что ответить детям на вопрос, как же мы все-таки это допустили?

— Митя, если ты не замолчишь,— вмешался отец,—то выйдешь из комнаты!

Митя смотрел на папу, на маму и не мог понять, в чем он провинился.

Нет, в дни после Мюнхена измученные взрослые были неласковы с детьми и несправедливы к ним. Всех переполняла ненависть; и так как теперь ничего нельзя было поделать с главной бедой, они взрывались от любого пустяка.

— Мы, конечно, возьмем Снежку обратно,— ответил Мите дедушка.

Но Митя опустил подбородок на грудь, заложил руки за спину, остановился и задумался.

— Знаю я! — произнес он, словно умудренный горьким опытом человек.— Это детям так говорят.

Даже Митя больше никому не верил.

— Ну зачем вы это слушаете? — рассердился Гамза и стремительно выключил радио.— Только себя терзать. Бессмыслица.

Но повсюду целыми семьями люди сидели у приемников, не отходя ни на минуту, словно в коридоре перед операционной, куда не смеет войти никто из близких, и слушали, как коновалы ампутировали республику. Это было общее горе, но у каждого находился еще особенно любимый край, о котором он горевал лично.

Мите, как вы уже слышали, больше всего забот причиняла Снежка, потому что это самая высокая гора в Чехии, а мальчики обожают всякие рекорды.

А старый Горынек, Лидкин отец, огорчался больше всего из-за Карловых Вар. Вода, бьющая из земли, там такая горячая, что в ней яйцо сваривается вкрутую,— это ему всегда чрезвычайно нравилось. И то, как гончая собака обожглась в ней, когда королевская дружина преследовала оленя,— у Выкоукалов в передней висела такая зеленая олеография, изображавшая историю возникновения Карловых Вар. Горынек ни разу не бывал в Карловых Варах. Где там, это такой дорогой курорт, только для магараджи или еще для английского короля. Но теперь старик, сидя у радио и положив больную ногу на скамеечку, плакал: «Так, значит, у нас отняли Карловы Вары!»

Ева Казмарова горше всего оплакивала истоки Сметановой Влтавы и Ештед Каролины Светлой! Махово озеро! Немцы отторгли много мест, связанных с культурной историей Чехии.

Нелле Гамзовой представлялся край ее юных лет, горы в снегу, Гавелская сторожка, прогулка на лыжах, когда Еленка, маленькая девочка, спасла ее, замерзающую. Отчего я не погибла тогда! Счастливая мамочка, она умерла!.. Да, Нехлебы теперь у самой границы.

Гамзе все время представлялся осенний день, равнина, поросшая вереском, и вьющаяся над ней стайка белых бабочек, день, когда он переходил границу с маленькой Бертой Торглер.

— Знаешь ли ты,— угрюмо спросил Гамза (тяжело ему это говорить),— что Торглер теперь в гитлеровской партии? Заправским нацистом стал, конечно. Как мы тогда боялись защиты Зака... И вот, изволь, я оказался прав. Кое-кому концентрационный лагерь все-таки вправил мозги. А мы, безумцы, мы-то надеялись на левую Германию!

Уж если Гамза пал духом,— дело действительно дрянь. Но когда люди по-настоящему любят друг друга, стоит одному заблудиться в потемках, как другой тотчас зажигает карманный фонарик.

— А что с Тельманом? — напомнила Нелла.— Не думай о Торглере, думай о Димитрове.— Это имя всегда действует на Гамзу как возбуждающее средство.— Знаешь что,— посоветовала она

мужу с глазу на глаз.— Поехал бы ты, Петр, в Советский Союз — здесь тебе делать нечего.

Она посмотрела на него с нежностью и тревогой, о которой предпочитала молчать.

— Если пошлет партия,— сказал Гамза,— поеду. А так — останусь. Люди здесь еще понадобятся.

Митя вбежал в комнату,—он искал свой мяч и не мог его найти.

— Опять этот проклятый Гитлер утащил мое *барахлишко,*— бормотал он про себя.

Правда, невесело было на душе у Неллы и Гамзы. Но, глядя на Митю, они не могли удержаться от улыбки.

— Гитлер все заберет, разве ты не знаешь? — горячился Митя.— Пани Гоушкова сказала, что он нам ничего не оставит.

Пани Гоушкова — это сестра Барборки, бежавшая с мужем и сыном из Хеб. Они живут пока у Гамзы, им некуда деться, и Митя с ними очень подружился. Он всегда радовался новым людям. Счастье, что сын пани Гоушковой умел управлять автомобилем и вывез своих родителей в этакой старой таратайке. Немцы побили бы ее камнями. О том, чтобы в этой панике сесть в поезд, нечего было и думать. Люди уезжали на ступеньках, на крышах, на буферах — железнодорожное начальство не дало достаточно составов. Но пусть население сохраняет спокойствие и порядок! Эвакуация будет проведена организованно. Если бы вы только знали, что вытворяли владельцы автомобилей! Драли, сколько вздумается. Семья отдавала последнее за машину, а потом не получала ее — более богатый заплатил больше. Где ночь мобилизации, когда такси возили людей бесплатно? Где эта ночь?

Вместо героических подвигов, к которым готовился Станислав, он играл с солдатами, днем — в футбол, вечером — в карты. В городке, где стояла их часть, жил старый легионер, когда-то служивший во Франции. Услыхав о Мюнхене, он взял топор, положил на чурбан все свои ордена и медали и разбил их вдребезги. Люди плакали, люди приходили в ярость, творилось что-то ужасное.

Представьте себе народ, который напряг нервы, как струны, в решимости защищать свои права, а Европа открывает окно и опрокидывает на него ведро с мусором мирных договоров. Чешский лев отряхнулся и, опозоренный, заполз к себе в берлогу. Как это случилось, как же это могло случиться? Почему не созвали парламент? Почему Лига наций не шевельнула пальцем, когда к ней обратился в Женеве наш защитник Литвинов? Для чего тогда существует Лига наций? Почему англичане и французы не пригласили в Мюнхен третьего союзника Чехословакии — Советский Союз? А при чем тут Муссолини? Почему — объясните, ради бога,— в

Мюнхене фигурировали вместо наших представителей какие-то нули? Почему? Так знайте же, нас туда вообще не позвали!

Впервые с сотворения мира войну выиграли, попросту говоря, глоткой. Адольф-разбойник свистнул — и пограничные столбы закачались; Адольф-крысолов заиграл — и Франция с Англией заплясали под его дудочку и пали перед ним ниц. Европа сошла с ума. Во всех французских и британских богатых домах после мюнхенских похорон облегченно вздохнули от радости по поводу наступившего вечного мира. А француз и англичанин, нарушившие свое слово, с триумфом возвратились к себе домой, овеянные славой, гордые тем, что не потеряли ничего, ни единой пяди. Они поставили крест на нашей республике; но после этого у англичан все-таки заговорило христианское «человеколюбие»! Маленькая, никому не известная страна, название которой так трудно произнести, образцово, точно в хрестоматии, пожертвовала собой ради блага человечества. Англичане должны что-нибудь предпринять для этого достойного уважения, несчастного трудолюбивого народа, который так живописен в костюмах из «Проданной невесты». Англичане организовали благотворительный сбор в нашу пользу и, нужно сказать, не поскупились. Одна леди пожертвовала даже серебряный чайный прибор. Это не шутка, об этом сообщало наше радио.

— Я,— сказала Лидка,— я бы этой бабе ее чайником голову проломила. (Это лучше всего показывает, как примитивны славяне.)

Гаек уже вернулся, только разговора с ним никакого не получилось. Его поезд пришел утром, но он весь день болтался где-то по трактирам в Зтрацене, стыдясь идти домой. Он ждал, пока стемнеет, чтобы не видали соседи.

— Демобилизовали нас, значит,— сказал он и тяжело опустил на землю черный солдатский чемоданчик.— Вот у тебя, мама, и радость, верно?

Лидка обняла его и заплакала. Так в Чехии на этот раз встречали мужчин.

Чемодан стоял в комнате, как гроб.

От Гаека разило *водкой*.

— Пусть столяр станет к своему верстаку, а крестьянин — к плугу,— бормотал он угрюмо,— и наши новые границы хорошо будут защищены. Хотя у нас только что отобрали Бржецлав, немцы, мол, туда ни ногой, но только до тех пор, пока население соблюдает спокойствие и порядок. Разве для того мы требовали генерала Сыровы? — крикнул он вдруг и стукнул кулаком по столу так, что подскочила посуда. Лидка вздрогнула и расплакалась навзрыд.

— Тихо! — грозно приказал муж и поднял тяжелый кулак.— Спокойствие и порядок, говорят тебе, и не перечь мне!

Лидка окаменела. Разве это папа? Они ведь всегда жили, как две горлинки! Она отроду не видала его пьяным и испугалась за него. А он вдруг ни с того ни с сего начал смеяться.

— Чертов танкист! — захохотал он, точно видел кого-то перед собой.— Прихожу я, смотрю — парень с этаким длиннющим шестом в руках, на шест нацеплена корзина, а из нее конь ест. Это он коня так кормил издали — боялся к нему подойти. Парня отправили не в ту часть, к которой он был приписан, попал он в кавалерию, а к лошади-то и подойти не умеет. Ну, такая война — это одно шутовство. Проклятая баба, что же ты не смеешься? Что нос повесила и грустишь, как ольшанский пруд?

— Не шуми, Штепанек спит.

— Провались ты вместе с мальчишкой,— проворчал муж и как был — в грязных сапогах — повалился на постель (папа — всегда такой аккуратный!).— Мне весь свет не мил,— простонал он, зарылся головой в подушки и отвернулся к стене.

Боже, какой кошмар — эта вторая республика!

«Бедняга,— подумала Лидка, чувствуя себя ужасно сиротливо.— А каково мне? И мальчик за что страдать должен?»

Нужно было на ком-нибудь сорвать злость! Никогда люди так не оскорбляли друг друга, как в начале второй республики, когда побежденные солдаты возвращались с войны, которой они не проигрывали и тем не менее проиграли. У нас стряслось неслыханное, беспримерное в истории несчастье, второго такого не найдешь в прошлом. Люди потеряли голову, пали духом. Во время мобилизации мы хорошо относились друг к другу, во время второй республики — озлобились. Мы жалили друг друга в отчаянии, что нас все бросили, что все нами пренебрегают. Мы стыдились, что верили Франции, стыдились перед Советским Союзом, что не дали отпора врагу, стыдились смотреть друг другу в глаза. У народа, который пережил такую несправедливость и которому Европа нанесла такой удар в спину, точно сломался позвоночник, и он согнулся. Эпидемия ненависти отравила ослабевшую страну. Имя настоящего виновника— этого антихриста, которому нас продали,— уже не смели произносить вслух. И люди сваливали вину друг на друга и указывали пальцем на соседа. Кто-нибудь должен был за все ответить.

— Во всем виноваты коммунисты,— намеренно громко сказала в магазине при Нелле одна дама.— Если бы они не дразнили беспрестанно Москвой, мы бы в нынешнем году поехали в Шпиндл, как всегда. Немцы бы нам все разрешили.

Она не обращалась прямо к Нелле, но говорила очень гром-

ко, глядя ей в лицо. Жена Гамзы поняла. Но спросить было нельзя.

— Вы думаете? — заметила она только и подняла голову.— Ну, когда-нибудь все выяснится.

Ко дню поминовения усопших вернулся Станислав Гамза, разочарованный солдат. Он не узнал любимого города. В тусклом свете пасмурного ноябрьского дня Прага показалась ему убогой, некрасивой, запущенной, как брошенная женщина, которая забыла умыться и причесаться, охваченная апатией. Ветер гнал пыль и облетевшие листья, и люди брели по улицам как-то бесцельно. Торопиться было больше незачем. Площадь перед парламентом, где Станя пережил такое волнение, была пустынна. По ней медленно и важно плыли две фигуры отставных чиновников, но на их строгих лицах не было заметно следов отчаяния.

— Я всегда говорил, что именно так вот и будет,— довольным тоном сказал один.

Станислав не слышал, о чем они говорили. Но он мог бы побиться об заклад, что о конце республики. Отставные авторитеты запоздало злорадствовали по поводу того, что дело, в котором они не участвовали, провалилось. Вся слизь, труха, гниль в дни политического ненастья выползала на свет божий дождевиками, паразитическими лишайниками и плесенью. Отставные майоры австрийской армии и бывшие имперские советники снова попали в почет благодаря своим похвалам старому времени и знанию немецкого языка.

Какая счастливица госпожа майорша: она знает немецкий язык с детства! Ро Хойзлеровой приходится теперь наверстывать то, что она упустила в свое время. Чтобы не отставать от века, она брала уроки немецкого языка у майорши. И пани майорша очень полюбила *«ihr junges Frauerl, immer frisch und munter»* [1]. Ружа и вправду ожила. Впервые за этот омерзительный год она по-настоящему оценила жизнь. Ро была счастлива, что ее так благополучно миновала опасность смерти от бомбы или ядовитого газа. Пани Хойзлерова велела снять с окон темные шторы, которые так уродовали квартиру, и поспешно отдала сшить из военных запасов миленький синий демисезонный костюмчик и вечерний туалет. Она говорила о Судетах, как все приличные люди. Но она была не настолько глупа, чтобы ломать себе голову насчет такой дыры, как Либерец, если сама она живет в Праге. Нехлебы у нее не отобрали — это самое главное. Чего ради ей жалеть республику своих девичьих лет? Ничего хорошего Ро от нее не видела — одно горе из-за несчастной любви и неудачного за-

[1] Молодую дамочку, всегда свежую, всегда бодрую *(диалект. нем.)*.

мужества. У Ро Хойзлеровой только теперь открылись глаза, и она поняла, что во всех ее злоключениях виноваты большевики и жидо-масоны. Из-за них ее бросил Карел Выкоукал. Наконец-то они *разоблачены,* так им и надо!

Когда Станя перечитал свою последнюю новеллу, написанную в ночь мобилизации, перед тем как уйти с перепачканными в чернилах пальцами прямо в армию, ему показалось, что рукопись сохранила жар патриотизма тех дней, такой юношеской решимостью веяло от ее страниц. Можно было прийти в ужас от того, с чем мы за это время примирились, как мы постарели, зачахли, приспособились. Насколько мы были счастливее тогда, в дни опасности! Где наша драгоценная энергия? Она вся ушла на войну мышей и лягушек! У нас остались только горы, железнодорожные узлы да еще характер — это уже хуже.

Станя взял новеллу и помчался в издательство.

— Книга уже в печати?

— Нет, сверстана...

— Вот и прекрасно.— И Станя подал издателю свою последнюю пражскую новеллу.— Я охотно добавил бы ее к остальным,— сказал он.— Надеюсь, что она подойдет. Совсем коротенькая.

Издатель просмотрел рукопись новеллы о всеобщей забастовке, погладил подбородок, скептически усмехнулся:

— Это трудно, книга уже сверстана.

— Пан издатель, сделайте это для меня. Мне это крайне важно. Знаете почему? Надо показать людям, какими мы были... еще шесть недель назад. Влить в них хоть немного бодрости. Пусть очнутся от этой депрессии.

— Этого не пропустят.— И издатель назвал ему книги и фильмы, запрещенные за последнее время.— А если книгу конфискуют, тогда что? Какой в этом смысл? — добавил он недовольно.

Станислав побагровел от бешенства.

— Ну так я забираю рукопись. Или она выйдет полностью, или вообще не выйдет.

— Не забудьте, что вы подписали с нами договор.

— У меня отец — адвокат. Я посоветуюсь с ним. Всего хорошего!

Так погибла первая книга Стани, которой он жил целый год, выходу которой он заранее, как ребенок, радовался и твердо верил, что она появится в свет к двадцатой годовщине республики.

— Если бы вы только видели,— рассказывал Тоник дома,— как у нас мертво на заводе. Все военные заказы приостановлены. Пусть мне не говорят, что правительство собирается защищать нынешние границы.

Они сморщились, как шагреневая кожа! Искалеченная страна лежит под сапогом Гитлера, не в силах подняться, и Геринг хохочет над ней, держась за брюхо. Со своим марионеточным правительством она пыталась разыгрывать государство, тогда как все куклы зажаты в кулак фигляра Гулливера. Да разве только один Гитлер — и польский Бек, и венгерский Хорти получили все, что потребовали, стоило только моргнуть глазом.

Потоки беженцев стекались со всех сторон от границ в центр страны, а как их прокормить? И где им найти работу? В экономических трудностях повинны одни только работающие женщины. Скажите им спасибо за свои несчастья, земляки из Карвина, Моста и Кошиц. Кормиться за счет своих мужей эти бесстыдницы, видите ли, не могут, а вырывать последний кусок хлеба изо рта у беженцев — на это у них совести хватает. Вон всех замужних с работы! Как не стыдно дочери Казмара, этой богачке, объедать республику! Хотя барышня Казмарова не замужем и уже отказалась от наследства, кто станет вникать в такие подробности, когда над Чехией нависли тучи? Еву опозорили в газетах; земский школьный совет приходит в изумление от ее имени. Долой этих амазонок, лишенных женской чуткости! Это они довели республику до продажи с молотка! Дайте в руки врачихам почтенный кухонный нож вместо скальпеля, гоните конторщиц и учительниц к плите, а Гонзу за печь, и в землях святого Вацлава опять воцарится благоденствие. Восстановим старинные обычаи. Спите со своими женами и ешьте свинину с капустой, поручает передать нам через Берана Третья империя, никто не покушается на ваши национальные обычаи, ведь вы наш бодрый, старательный народ. Трудитесь, ходите в церковь, если это вас развлекает, несите вклады в наши Кампелички,— но только, пожалуйста, не лезьте в политику. Видите, до чего она вас довела?

— Но ведь с этим нельзя мириться. Нужно что-то предпринять,— стремительно говорит Власта Тихая Станиславу своим низким грудным голосом (Станислав уже давно не слыхал его) и пристально смотрит на него своими глазищами. Не важно, что Станю когда-то пугал в закоулках Клементинума призрак актрисы. А теперь как ни в чем не бывало она наяву пришла к нему в библиотеку и сидела на стуле возле письменного стола, как всякая другая посетительница, и весь трагизм любви куда-то исчез. Мы пережили столько исторических потрясений! Естественно, что в трудное время старые друзья, когда им становилось не по себе, отыскивали друг друга.

— Как же тебя не уволили, ведь ты теперь замужем? — спросил Станислав.

— Уволили,— ответила Власта,— но опять пригласили. Руки коротки. Как они, скажи на милость, составят репертуар без меня! Хоть театр закрывай.

После мюнхенских дней чувство собственного достоинства у чехов несколько пошатнулось. Но Станислав убедился, что у Власты оно живо по-прежнему.

— Подумай, какую пакость мы теперь будем ставить! — пожаловалась она.— Сейчас репетируем одну комедию на современную тему — подумай только, как скоро! — чехи в ней умнеют и устраивают торжественную встречу королю, а женщины — все до одной круглые дуры. Но я заболею перед генеральной репетицией. В такой пьесе ни за что не буду выступать.

«Дай бог, чтобы она сдержала слово»,— подумал Станя.

— А ты читал, как некий набожный писатель пришел в полный восторг от того, что нас постигло; в этом-де перст божий, нас-де давно следовало наказать за наши грехи, в будущем нас ждут еще худшие кары, мы прокляты,— и за все это благодарение богу.

— Ну, он — исключение,— ответил Станя,— писатели-то как раз держатся.

— Да это видно хотя бы по тому, как им достается в газетах,— согласилась Власта.— Вот поэтому-то я к тебе и пришла. У меня были рабочие и студенты и просили, чтобы я устроила вечер декламации — вернее, вечер сопротивления. Показать, что мы не примирились. И если кое-кто сдался, то мы не сдались. Словом, мы должны пустить струю свежего воздуха, чтобы люди заживо не задохлись. Ты ведь, Станя, тоже кое-что написал... дай мне.

Станя покраснел, как девчонка.

— Откуда ты знаешь? — удивился он.

— В театре все знают. Когда можно прислать?

Вступительное слово на вечере произнес адвокат Гамза.

Политические собрания были запрещены, но тем не менее Гамза публично выступил с речью на этой «вечеринке», которая для отвода глаз властям, чтобы те не прислали своего наблюдателя, именуется встречей любителей чешской словесности. Блюстителя закона здесь и посадить было бы некуда. Все переполнено, яблоку упасть негде.

— Прежде всего, друзья,— начал Гамза,— не верьте, что весь мир от нас отвернулся. Это ложь, и нам твердят ее намеренно, чтобы мы, отчаявшись, бросились в объятия своему соседу. Но с тех пор как стоит мир, еще не бывало, чтобы голубок полюбил удава, а барашек — мясника (неистовые рукоплескания), и с нами этого тоже не случится. Кто был и остается противником Мюнхена? Все коммунистические партии мира с Советским Союзом во

главе,— право, это не так уж мало. Все истинные демократы в Европе и в Америке. Против Мюнхена голосовали английские рабочие, британский народ в защиту Чехословакии устраивал демонстрации протеста.

Не верьте тому, что Мюнхен — наша вторая Белая гора. И это нам твердят умышленно, чтобы мы опустили головы и сидели сложа руки: наша пассивность и отказ от борьбы были бы, конечно, на руку врагу. К чему не переставая оплакивать Судеты? Этим мы себе не поможем. У нас есть Бескиды, есть Карпаты, у нас есть где обороняться, нам не следует демобилизовываться. Речь идет еще об одном фронте — о твердости духа, о том, чтобы бороться с пораженчеством. Никакой Белой горы нет, не бойтесь, ждать еще триста лет нам не придется. Сегодня у истории иные темпы, сегодня она летит. Это не конец, а начало. Война придет, и в ней столкнутся два мира, два мировоззрения, которые делят человечество на два лагеря, две точки зрения, взаимно исключающие друг друга; вера в насилие и неравенство рас — и вера в равноправие и братство народов. Европа вторично очутилась на распутье и снова идет по ложному пути. Она снова оказалась в тупике половинчатых реформ и отсрочек. Проблему безработицы решали то выдачей пособий, то — стрельбой по толпам голодных, вместо того чтобы вырвать зло с корнем и изменить самые основы экономики. Теперь поджигатели рейхстага раздувают пожар мировой войны, а остальные государства не тушат его общими силами, а подбрасывают в огонь полено за поленом,— правда, из чужого сарая,— и пожар все разгорается. Только когда искра попадет на их собственную крышу, у них откроются глаза, они откажутся от этой страусовой политики и прозреют. Враг сам откроет им глаза и наставит их на путь истинный. Жаль, что так поздно! Жаль усилий. В один прекрасный день многие поймут, что заблуждались, и повернут в другую сторону. Не вечно будет Даладье во Франции и Чемберлен в Англии! Правительства уходят — народы остаются. И французы с их славными революционными традициями, и англичане, кичливые своими гражданскими свободами, откажутся прислуживать надутому самозванцу, который кичится перед самим господом богом. Не бойтесь его временной силы. Ни одно дерево не дорастет до неба. Вспомните Наполеона! Я не убежден, что в ближайшие дни путь наш будет устлан розами. Нет. Наоборот. Мы должны закалиться. Нас ждут трудные времена. Но мы переживем их, если будем едины. Не допустите, чтобы на чешских лугах и в чешских лесах зеленела зависть, эта сорная трава в нашем народе. Не слушайте клеветы и не клевещите сами! Храните свой святой гнев про себя — вы сами знаете, для чего! Не давайте народу расколоться, это только

на руку нацистам, которые держатся старого правила: «Разделяй и властвуй». Обещайте остаться верными родине.

Зал разразился рукоплесканиями.

— Нужно ясно сказать: мы, коммунисты, готвальдовцы, как и весь чешский народ, всегда и при всех условиях стояли за сопротивление. Мы полагались на нашу армию, на наши военные укрепления, на тридцать советских дивизий, которые стояли на румынской границе, готовые прийти нам на помощь. Мы все заодно в своей любви к республике и в вере в нее. Как это говаривал старый Коллар? «Пути могут быть различны, но воля у всех у нас едина».

— Как меняются времена,— шепнула Еленка Стане.— Наш папа и «будители».

Станислав не слышал ее, взволнованный тем, что Власта Тихая будет читать его прозу.

— Надо напрячь волю и продержаться до зари. Надвигается гроза, еще немного — и грянет гром, от которого рухнет старый мир. Вот почему старый мир собственников и капитала так сопротивляется. Он не хочет умирать. Сейчас наступил не конец, а начало. И из этого всемирного потопа республика воспрянет прекраснее, чем была, омытая живой водой, юная, как в первый день творения. Я это вижу, друзья, я это ясно вижу. Какая это будет радость!..

«Что с ним творится! — думала Нелла, глядя на мужа и вслушиваясь в звуки его голоса.— Его точно подменили. Мы все озлобились от этого несчастья. А он нашел в себе больше любви и доброты, чем раньше».

Да, как цветок нуждается в свете, так и человеку нужна надежда. И все люди, собравшиеся в зале, трезвые, полные горечи, скептические чехи, с трудом выдержавшие испытания последнего времени, столько раз разочарованные, ожесточенные горем и изверившиеся, оттаивали, смягчались и оживали. И не только впечатлительная молодежь. Пожилые медлительные рабочие с суровыми лицами и их озабоченные жены вдруг убедились, что они никогда не переставали верить в лучшие времена. Пускай Тихая вела себя как ей угодно в личной жизни, но стоило актрисе взойти на подмостки — и она оказалась другим человеком, сильным и чистым. Она читала стихи так, ну точно так, как читали бы их вы, если бы ваш язык повиновался вашему чувству. За нее не приходилось краснеть, на сцене она никогда не ломалась. И когда она читала стихи, они были видны со всех сторон, как скульптура. Они пели, как мелодичный поток, бегущий с оплакиваемых гор, которые снова вернутся к нам. Она читала стихи боли, веры и мужества и рассказывала правдивую новеллу Стани о том, как

живая вода народа стояла перед парламентом. Станислав и много других молодых поэтов были счастливы в этот вечер. Среди публики была и Ева Казмарова; принимая во всем живое участие, она то плакала, то рукоплескала или делала то и другое вместе. Домой она вернулась совершенно измученная, но готовая мужественно встретить то, что ждет ее завтра.

Доктор Ева Казмарова была на дурном счету в земском школьном совете. Когда-то она помогла в трудную минуту ученице, у которой нашли коммунистическую листовку, и коллега, учительница рисования, не преминула в надлежащее время донести об этом. Хотя увольнения и отставки касались только замужних преподавательниц, Ева получила неоплаченный отпуск. Ее место займет беженец из Судет; и вот наступил последний урок. Бартошова от имени всего класса поднесла ей на прощанье букет красных гвоздик.

Жучок едва сдержала слезы при виде цветов.

— Дети,— сказала она,— я думала довести вас до выпускных экзаменов. Мне очень тяжело прощаться с вами. Вам даже трудно себе это представить. Вы молоды, вся жизнь у вас впереди. А у меня не было никого, кроме вас.

«И зачем мы ее злили?» — казнились девочки.

— Вы опять вернетесь,— закричали они наперебой.

— Я тоже на это надеюсь,— просто сказала барышня Казмарова и добавила несколько наставительно: — Мы не были бы женщинами, если бы не надеялись. Как хорошо говорится о матери, ожидающей ребенка: она в надежде...

Что? Что? Девочки навострили уши. Такие дела их, естественно, занимали. «Я испугалась, подумала, что Жук ждет ребенка»,— рассказывала потом одна озорница. Но в этот момент все расчувствовались.

— Женщина — носительница жизни, она обращена к будущему, самый удел ее на земле учит ее верить в лучшее будущее. Когда в Чехии было очень плохо, женщины всегда питали надежды, думая о народе. Мы никогда об этом не забудем. Ни вы, ни я. Прощайте, девочки, до свидания.

— До свидания в лучшие времена,— закричал класс.

Они подошли к кафедре попрощаться еще и лично. Когда к Еве приблизилась Бартошова, Жучок погладила ее по голове и не удержалась, чтобы не заметить:

— Ну так как? «Казмарка опять заболталась и провела время попусту?»

Бартошова покраснела до ушей.

— Молчи,— сказала барышня Казмарова,— я тебя любила. Приходи же ко мне, если тебе что-нибудь понадобится.

Она держалась геройски, хотя сама еще не знала, что с ней будет. «Милая девочка,— говорил ей Розенштам после смерти отца,— нас ждут тяжкие времена, помните о черных днях!»

Но Ева не помнила.

ЧТО ТЕПЕРЬ?

В первой половине марта пани Ро Хойзлерова уехала с горничной на несколько дней в Нехлебы. В этой вилле все делается будто назло. То вода замерзнет, то мотор испортится, то кипятильник не работает, а паркет и мебель в парадных комнатах, если звать к себе гостей на пасху, тоже придется ремонтировать. Пани Ро осталась недовольна всем. Не лежит у нее сердце к этому забытому богом медвежьему углу. Но что же делать? Ро хотела было на святках, как обычно, поехать в Шпиндл,— Хойзлеры не получили пропуска. Она даже поверить не хотела, что немцы не соглашаются пропустить через новую границу двух таких смиренных чехов, как супруги Хойзлер, и ругала за это Густава. Ни за что не умеет взяться. Утешилась тем, что в феврале они поедут на Ривьеру, так им не выдали паспортов. И все Густав виноват. Он такой разиня. Ему хорошо, ходит себе преспокойно в Праге в суд и в контору, а она торчи тут одна в эту мартовскую слякоть с девчонкой и шофером. Ну, днем она наблюдает за мастерами. Люди растащат у вас крышу над головой, если за ними не следить. А вечером что? Вязанье джемперов, кроссворды и патефон ей уже осточертели.

Нелла Гамзова сортировала утром в конторе почту и записывала в реестр содержание писем, даты и день судебного заседания. Шестнадцатого у Гамзы «казмаровский день» — она подчеркнула число и часы красным карандашом. «Казмаровским днем» в суде называются процессы между работающими у Казмара и дирекцией «Яфеты»; дела подбирают и слушают сразу в одно какое-нибудь утро — Гамза всегда ходит сам защищать рабочих. Когда Нелла закончила с деловой перепиской, ей попался небольшой светло-голубой конверт, надписанный ученическим почерком и адресованный ей. Желтоватые судебные документы кажутся старыми и брюзгливыми, и письмецо среди них выглядит нелепо. Она разрезала конверт, развернула письмо и прочитала:

Всемогущий боже, благослови и спаси нас от всякого зла!

Эта молитва должна быть разослана по всему свету. На десятый день после отсылки молитвы в доме случится радость. Эта цепь начата два года тому назад и должна обойти по всему свету в течение четырех лет. Не рви ее, если не хочешь несчастья. В этом пророчестве — правда. Перепиши ее

за девять дней, все исполнится. Шахта Сенсиера обвалилась потому, что ее хозяин не отнесся серьезно к молитве. Раус потерял сына оттого, что порвал цепь.

Не забудь и пошли ее девяти лицам до девятого дня, потому что, если разорвешь ее, у Вас случится несчастье.

Нелла не была суеверна, как покойница мамочка. Она разорвала письмо пополам и еще раз пополам и с давним отвращением ко всему анонимному бросила клочки в корзину. Глупцы! Как будто и без того несчастий мало! Глупцы и негодяи! Еще и угрожать! Ей казалось это каким-то моральным вымогательством. Кто теперь станет думать о таких пустяках? Говорить об этой глупости не стоило, но у Неллы уже столько дней нервы были натянуты как струна. Люди переносили мюнхенское горе, как хроническую болезнь, временами она резко обострялась, заботы постепенно переходили в тревогу. Что, например, произошло третьего дня, в воскресенье? Нелла поднимала утром штору, но именно в этот раз болезнь так дала себя знать, что Нелла резко дернула за шнурок, и штора с грохотом рухнула сначала на подоконник, а потом на пол,— Нелла едва успела отскочить в сторону. Что ты делаешь, Нелла? Тебя не ушибло? Какое там ушибло — ты только взгляни! В нескольких шагах, через дорогу напротив, в слуховом окне виллы колыхался огромный красный флаг с высматривающим глазом в центре. Флаг злобно глядел в окна зигзагообразным зрачком, упрямым черным крестом с загнутыми концами. Почему? Что происходит? Да это у немцев праздник фронтовиков. Неужели, Нелла, ты действительно никогда не видела наяву флага со *свастикой?* Серьезно? Серьезно: в Лейпциге я с тобой не была и мимо немецкого посольства не хожу. Ладно. Флаги в понедельник сняли. Но тут с таинственным видом пришла Барборка и заявила, что ей очень хотелось бы знать, почему немка напротив устроила генеральную уборку и выколачивает волосяные матрацы и тюфяк совсем не вовремя, до пасхи вроде еще далеко. В немецкой гимназии тоже уборка,— Барборка узнала об этом от Петров — они живут напротив,— там ночью из классов вытащили на двор все парты, и их засыпало снегом. Лучше бы Барборка не беспокоилась и прекратила эту слежку за немцами. Немка покупает к обеду говядину и морковь, а Барборка тотчас же видит в этом бог весть какой признак. Лучше бы не пугала! Вся Прага говорит о том, что будто бы немцы избили в Брно чешскую полицию — вот это куда хуже. Но из Брно приехал какой-то человек и уверял, что там все спокойно. По Праге опять шныряют «влайкары», проникают в квартиры левых, и пока мужья на работе, а дома только жены, они взламывают замки и уносят подозрительные книги, а заодно и кое-что из

вещей. Воруют. Но к Гамзам никто не приходил. Должно быть, просто болтовня. Наговорят с три короба! Станя, впрочем, сам был свидетелем, как на Вацлавской площади толпа молодежи, очевидно подкупленной, выкрикивала антисемитские лозунги и требовала нюрнбергских законов. Но мало кто поддался на эту провокацию, и затея с треском провалилась. У нас-то еще что! Но вот в Словакии! Людацкая Словакия причиняет нам много хлопот. Гаха сместил эту спевшуюся троицу: Тисо, Дурчанского и Маху. Это чудо из чудес!

— Такой энергии я от него не ожидала,— заявила Еленка.

— Интересно, почему Гитлер сам его предупредил о них,— сказал Тоник.— В этом опять-таки есть какая-то закавыка.

— *Они* всегда сперва разыгрывают благородную комедию,— сказал Гамза.— Фюрер еще спровоцирует Гаху, подождите.

И действительно. В тот вторник, когда Неллу так расстроило пустяковое бледно-голубое письмо, Словакия отделилась от нас и провозгласила себя самостоятельным государством.

— Скорее всего, все это делается и готовится с ведома нашего же правительства,— горько замечают рабочие Колбенки,— а а там, смотришь, и отделились. Каждый дурак такое бы сумел сделать.

В этот же день в советском посольстве праздновался юбилей Шевченко. Но Нелла так горевала о Словакии, что не чувствовала в себе сил переодеваться, причесываться и заплаканной идти на люди. Маленькая республика распалась надвое, и сердце Неллы разрывалось от боли. В час смертельной опасности на нас напал брат-поляк и содрал с нас кожу живьем. А теперь словаки. Немчура обступает со всех сторон, как стены склепа, осталось только глаза закрыть. И словак бросается за гвоздями для нашего гроба, едва только Гитлер мигнет. Немецкие фашисты, те сумели объединиться от Балтики до Рейна. Как они теперь, должно быть, смеются над нами! Как потирает руки их фюрер, радуясь, что посеял между нами раздор. Они уже похоронили нас. И как презирают. В самое тяжелое время брат идет на брата и предает его. Мир охвачен эпидемией предательства. Когда же придет конец этим черным вестям? Нелла чувствовала себя древней, как Сивилла, которая все помнит. Оставьте меня с Митей, мне не до общества.

Но хитрая Еленка знала, как на нее подействовать.

— Мама, ты просто боишься, что тебя увидят шпики Берана, когда ты будешь входить в советское посольство.

Это замечание решило дело. Нелла позволила себя уговорить, оделась и пошла.

На границе Виноград и Жижкова стоит вилла «Тереза» в стиле ампир — гостеприимное советское посольство.

Гамзы помнили ее с первого дня, и то, как они в ней веселились по-студенчески, чувствуя себя там как рыба в воде. Они бывали в вилле «Тереза» задолго до того, как первая республика юридически признала Советский Союз. За это «Народный страж» и другие газеты напали на Гамзу, а он смеялся над их бранью. Все деятели чешской культуры, кто был молод духом и неподкупен — группа левых поэтов, архитекторы-пуристы, «дикие» художники и радикальные политические деятели,— весь авангард пражской интеллигенции собирался на чай в виллу «Тереза» и проводил там веселые дружеские вечера. Когда сегодня супруги Гамза прошли через мокрый садик мимо двух ампирных статуй и вступили в переднюю, куда доносился горьковатый аромат чая и оживленный гул голосов, когда сдали пальто знакомому гардеробщику в русской рубашке, который беспрестанно улыбался своими монгольскими глазами (послы меняются — «домовые» остаются), и, пожав руку хозяину и хозяйке, вошли в соседнюю комнату, где уже сидели старые друзья, казалось, что жизнь повернула вспять, как турникет, и они вступили в беззаботные дни молодости. Как будто не было Гитлера с наполеоновским клоком волос на лбу, ни лживого лица Берана, а только Ленин с головой мудреца и Сталин с лукавой усмешкой и живым решительным взглядом смотрели со стены на шумное общество. Потом все стихло, дамы уселись; плавно полились украинские стихи, целуясь в рифмах и обнимаясь с мелодией песни; Тоник с Еленкой, послушав их, опять повторяли словечки своего медового месяца. В России зима? Север? Сибирские морозы? Кто это сказал? Таким полным человечности теплом веяло от русских в вилле «Тереза», и люди, окоченевшие от забот, оттаивали здесь и молодели. Тут были гостеприимны, просты, равны, полны достоинства и веселья; здесь никто никого не предавал — счастливые люди. В мозгу, чуть затуманенном водкой, в золотистом свете чая, Мюнхен и оторженная Словакия уплывали куда-то далеко-далеко и не так угнетали. Знаете, как бывает, когда дети пришли в гости и хотят остаться в гостях навсегда? «Боже, если бы не нужно было идти домой»,— подумала, как старуха, Нелла Гамзова. Они сидели в угловой комнате с несколькими друзьями Гамзы и вспоминали тех, кто когда-то сюда ходил и кого теперь здесь не хватает. Сколько товарищей уехало после Мюнхена за границу! И, конечно, один за другим в эти годы отпадали пражские немцы. Один из писателей, когда-то левый, расстался со своей женой, дочерью раввина (какая это была любовь! — они поженились против воли обеих семей), а сегодня он стал советником нацистского посольства.

Нелла сидела против двери в большую гостиную, где гости, стоявшие группами, болтали и смеялись в облаках дыма. Никто не спешил домой. Из виллы «Тереза» никому не хотелось уходить, особенно теперь. Здесь, как в освещенной каюте парохода, уверенно плывущего во мраке политических бурь, вам на короткое время становилось хорошо. А вот и редактор Худоба, Нелла его сегодня еще не видела. Правда, он только что с работы. Но едва он подходил к спокойно разговаривающим группам людей, как разговор обрывался, смех замолкал, точно заткнутый пробкой, навстречу ему поднимались вопросительные и серьезные лица. Точно фонарщик шел по улице и гасил фонарь за фонарем.

Худоба принес вечерние телефонные сообщения.

— Вы знаете, что немцы занимают Моравскую Остраву? Гитлеровская армия.

— А как наш гарнизон, держится?

— Боже мой! Опять новый район. Который же по счету?

— Десятый, по крайней мере.

— У Фридека, говорят, идут бои.

— Гаха будто бы уехал в Берлин.

— Как и Тисо.

— Утка!

— Все это, безусловно, связано одно с другим.

— Становится опасно. Ты бы попробовал скрыться,— сказал Худоба Гамзе.

Все забеспокоились, гости начали прощаться. Нелле пришло в голову: вилла «Тереза» — несколько десятков квадратных метров в центре Праги — это ведь советская территория. Она слыхала, что территория посольства неприкосновенна. Никто бы не мог здесь напасть на Гамзу. Ей хотелось попросить: «Оставьте его здесь! Он такой упрямый! Наверняка устроит что-нибудь. Прошу вас, оставьте его здесь».

Но мысль эта показалась ей фантастической, детской — Нелла побоялась, что ей достанется за это от Гамзы, и она не посмела утруждать просьбой, побоялась высказать вслух свое желание. Странно, что даже в минуты большой опасности продолжают действовать общественные условности. Нелла попрощалась с хозяевами, как все, пожала руки, как все, даже улыбнулась своей страдальческой улыбкой первой мировой войны. Они прошли по садику мимо двух чугунных статуй, которые влажно блестели в потемках, и райские врата захлопнулись. Через забор склонялись голые ветви плакучей ивы, растущей на неприкосновенной советской земле. Они снова оказались среди негостеприимной жизни. Боже, какой стоял холод! Люди шли, инстинктивно тесней прижимаясь друг к другу, чтобы согреться. Тоник взял Елепку под

руку, Нелла — Гамзу и крепко вцепилась в него. Он был тут, жив и здоров. Худоба шел вместе с ними и уговаривал адвоката уехать в деревню.

— Пойдем куда-нибудь, выпьем черного кофе, там обсудим,— оттягивал разговор Гамза.— Что ты делаешь, Нелла, куда ты? — удивился он, заметив, что она свернула по направлению к Жижкову.

— В контору,— произнесла она недружелюбно.— Там нужно *навести порядок.*

Еленка всегда противодействовала тревогам матери. На этот раз она сказала:

— Мама права. Я тем временем *займусь* квартирой.

Итак, желание Неллы Гамзовой не возвращаться домой подольше осуществилось самым странным образом.

Ночью закрытая контора имела призрачный вид. Стулья стояли, тупо растопырив ножки; слабо светила лампочка под потолком, и все-таки можно было пересчитать каждую шишечку и каждую складочку на старых, ободранных кожаных креслах; пепельницы с окурками вызывали отвращение и грусть, как в харчевне; на столе актовые книги с загнутыми углами, из корзины для бумаги торчал обрывок противного бледно-голубого письма — разорванная цепь счастья. На корешках энциклопедии Отто, унаследованной Неллой после отца, неподвижные крылатые фигуры, которых она так боялась в детстве, снова походили на ангелов смерти. («Напрасно я пила водку, я ведь ее не переношу,— говорила она себе,— вот и лезет в голову всякая чушь».)

Без клиентов в приемной, без помощника Клацела, который то и дело подходит с актами к письменному столу Гамзы, без трескотни ундервуда, а также без тряпки и метелки пани Гашковой, которая придет сюда рано утром проветривать и убирать, в конторе было жутко. Как только люди уходят отсюда, духи бумаг, насквозь пропитанные застарелым табачным дымом, наполняют воздух безутешным отчаянием; полки ревматически потрескивают; в потухших печах что-то стучит. Полная противоположность блестящему обществу, откуда супруги только что вернулись. Но Нелла Гамзова даже не пикнула. Она подобрала вечернее платье, стала на колени перед печкой и встряхнула коробку спичек, готовясь поджечь бумаги.

— Ну так, подавай,— только и сказала она.

Она произнесла это так недружелюбно, как будто Гамза был виноват, что немцы в Остраве. Но это происходило оттого, что она принуждала себя к деловитости, чтобы зря не говорить и не расплакаться. Они оба знали это. Да и как не знать после стольких лет.

Господи! Бумаги, бумаги-то сколько! Куда ни поглядишь, за что ни хватишься, что ни коснешь — всюду бумага, и пыль с нее летит тучами, хотя ежедневно здесь наводит чистоту пани Гашкова. Процессы рабочих, политические процессы, тяжбы с Казмаром, процессы партийной печати. Что вы хотите? Гамза — адвокат-коммунист.

Петр мог ворчать из-за мелочей. Но едва приближалась опасность, как на него находил азарт. С бесшабашным выражением уличного мальчишки он окинул взглядом контору, посмотрел на жену.

— Тебе, пожалуй, будет тяжело,— заметил он.— Если жечь все, к чему могут придраться, чего доброго, получится второй пожар рейхстага.

Нелла Гамзова, стоявшая в своем вечернем платье на коленях у печки, поспешно поднялась.

— Да... вот именно,— сказала она и ткнула пальцем в Гамзу.— Материалы Лейпцигского процесса. Это хуже всего, верно? Подожди, я знаю, где они лежат.

Она бросилась в библиотеку, но Гамза притащил ей охапку старых антифашистских листовок и карикатуры на Гитлера.

— Посмотри, девочка. Это вот сожги, а то мы спрячем. Это такой ценный исторический материал — у меня там весь Лондонский процесс, все... лишиться их мне не хотелось бы.

Нелла вышла из себя от его неблагоразумия.

— Когда ты уезжал в Лейпциг,— сказала она твердо,— ты оставил завещание. А теперь вдруг... такое легкомыслие.

— Хорошо, я напишу еще одно завещание, если тебе так хочется,— рассердился на нее Гамза, и Нелла пришла в отчаяние.

— Ну что мне с тобой делать?

Она предложила спрятать ценный материал в чуланчик, где лежит пылесос и всякий хлам. Бумаги она засунула бы за шкаф.

— Да ты в своем уме? Там станут рыться прежде всего. Никаких тайников. Детективные романы учат прятать на видном месте. Никому и в голову не придет их тут искать.

Материал Лондонского процесса пока спокойно полежит в одной куче с макулатурой, а завтра Гамза перевезет его в какое-нибудь укромное местечко, вне подозрений, лучше всего к какой-нибудь пожилой женщине, там никто не станет его искать. Это уж он устроит. С этим материалом время терпит, а вот адресную книгу следует уничтожить, чтобы никого не провалить. И список телефонов — тоже.

Гамза перепачкался, как трубочист, белая грива волос упала ему на глаза, он усердно передавал жене, стоящей на коленях

у печки, пачки бумаг «к исполнению». Нелла подбрасывала, смотрела, как пылает, чернеет, свертывается, рассыпается в огне бумага. Мелькнуло в голове: «Наверно, это мне только снится». Возможно ли, чтобы два взрослых человека играли в прятки в своем собственном доме? Кто сошел с ума: мы или весь мир? Но чем больше она сжигала, тем спокойнее становилось у нее на душе. Работа действует умиротворяюще. Вот так они и хозяйничали вместе.

— Нелла, помнишь, как меня выбросили из земского комитета и мы с тобой устраивали контору? Ведь мы тогда тоже были здесь ночью,— вспомнил Гамза.

Нет, этого лучше было бы не припоминать. Нелла сдерживалась, чтобы не заплакать, а теперь начала всхлипывать.

— Погоди,— нежно упрашивал ее Гамза.— Тут у тебя сажа. Молчи, не плачь, все опять будет хорошо. И даже гораздо лучше. Только терпение. Главное — не бояться. Ты не боишься, не правда ли?

— Вообще-то нет,— ответила Нелла и подняла на него глаза, полные слез.— А то еще беду накличешь,— проговорила она.— Вот ни капельки не боюсь.

— Ты у меня золотая девочка.— Гамза привлек к себе жену и, хотя они были не молоды, долго не отпускал ее от себя.

— Ты негодный,— сказала ему Нелла чисто по-женски и поправила волосы.— Вот увидит нас пани Гашкова.

Они вернулись домой только во втором часу, но Станислав, который уже знал от Еленки о Моравской Остраве, до сих пор не погасил света и ждал их.

— Ты бы уехал, папа,— сразу начал он, увидев отца.

Гамза улыбнулся.

— Очень вам благодарен, что все вы меня выпроваживаете. Но сначала мы выспимся, а утром посмотрим. Спокойной ночи.

Станислав долго не мог уснуть и ворочался на кушетке. Ему снилось, что он попал в какую-то шахту, выложенную белыми изразцами; собственно, это не шахта, а подземная железная дорога. Станю даже не удивляет, что в Праге метро и по этой железной дороге проезжают переполненные вагоны. Станиславу надо их считать, он следит за ними с таким мучительным вниманием, что не может заснуть. Каждый раз, когда проезжает вагон, раздается звонок; звонок звонит настойчиво, и Станя вдруг понимает, что это дребезжит телефон. Почему так рано? Скупой рассвет, самый грустный час для неврастеников. Он встал, стуча зубами; в коридорчике, не умолкая, дребезжал телефон, так что мороз подирал по коже. Когда Станя поднял трубку, он заметил, что у немцев, живущих напротив, все окна освещены, как на рождество.

— Говорит Алина,— произнес торопливый женский голос.— Немецкая армия идет на Прагу, через час она будет здесь. Защищаться нельзя, иначе придется плохо. Не сердитесь на меня,— к сожалению, это правда.

В телефоне икнуло, вероятно, женщина всхлипнула, и, прежде чем Станя спросонок успел спросить, откуда это она взяла, та повесила трубку.

У Станислава так тряслись неуверенные, окоченевшие пальцы, что он никак не мог повесить трубку.

«Дай бог, чтобы это была неправда»,— подумал он, сердясь, как всякий человек, на вестницу несчастья. Во всем, что было рокового в жизни Стани, участвовала эта баба, эта сводня. Может быть, она подшучивает надо мной? Но он хорошо знал, что это не так. Такими вещами не шутят даже Алины. Оставалась жалкая надежда, что эта взбалмошная женщина, как всегда, услышала где-нибудь нечто подобное и, не долго думая... Но Острава! Будить отца? Дать ему еще несколько минут поспать? Теперь это все равно. Нет. Станя всю жизнь будет упрекать себя, если отец замешкается.

В то время как Станя стучал в дверь к родителям, опять раздался телефонный звонок. Теперь телефон звонил не умолкая. В одну минуту вся семья была на ногах. Известие подтверждалось и по радио: оно все время призывало солдат уступить превосходящим силам немцев и спокойно позволить разоружить себя, потому что президент Гаха отдал нас под покровительство райха и о нас уже позаботились. Сдать винтовки, револьверы, автоматы... казалось, было слышно, как звякает оружие, когда его бросают в кучу, а перед глазами стояли батареи орудий и ряды танков...

— Говорят, сегодня ночью исчезли какие-то военные самолеты,— принесла Барборка с улицы.

Стояла ненастная погода. Город, где столько обнаженных садов под низким небесным сводом, в часы своего падения походил на костлявого седого старика с косматыми бровями, которые угрожающе нахмурены. Но на улицах пока не происходило решительно ничего особенного. И в это утро шли женщины с бидончиками для молока и несли из булочной рогалики, вставали ученики, чтобы пойти в школу. Дети даже не подозревали, как они помогают взрослым в это призрачное утро тем, что те должны заботиться о них. Из-за плохой погоды Еленка закутала Митю до ушей и проводила его до самых ворот детского сада, хотя раньше он ходил туда один. Он был оскорблен и всячески старался отделаться от провожающей его матери. То, что его отвели в детский сад, как маленького, ему неприятно не меньше, чем то, что немцы зани-

мают Прагу. Ведь если никакой войны не было, значит, мы ее и не проиграли?

Люди не поддавались панике, как в тот раз, когда ждали бомбардировки Праги. И это не была тоска о горах после Мюнхена. Каждый наносимый нам удар вызывал другой оттенок в чувствах, которыми отвечал на него народ. Он не бушевал, как после Берхтесгадена. Нет. Это... было как удар грома. Все окаменели. Уснули в республике, пробудились — ее больше нет. За ночь нашу страну под наркозом оскопили — вот какое было ощущение.

Ах, Нелла знала, почему от звука проезжающего мотоцикла, с этими частыми очередями выхлопов, у нее издавна тоскливо замирало сердце в предчувствии несчастья. Так вот почему! То был не безобидный пан Мразек на красной «индиане», а три мотоциклиста в холодных, гладких резиновых плащах; ветер гнал перед ними снег наискосок через дорогу. К нам шла новая зима. По шоссе от Белой горы, мимо окон Гамзы, на Прагу надвигалась беда. Три мотоциклиста не походили на тех гордых победителей, какими они представлялись. Всю ночь с ними бежала непогода; они ехали медленно, трусливо озираясь, ежеминутно ожидая, что их вот-вот пристукнут из-за угла. В чешских землях готовится большевистское восстание, они пришли подавить его и спасти народ, который обратился к ним за помощью через президента Гаху. Начальники им это все точно растолковали в приказе, а что скажет начальник, то для немца свято.

Но никто не стрелял по напуганным мотоциклистам, никто из чехов их не приветствовал, никто не проявлял благодарности, никто о них не заботился. Люди шли по своим делам и не замечали их. За мотоциклистами вползли танки на своих гусеницах-удавах, и эту колонну движущихся крепостей уже действительно трудно было бы не заметить, тем более что они ехали по правой стороне, а мы привыкли ездить по левой, и на Хотковском шоссе то и дело возникала сутолока и образовывались пробки; полицейским — регулировщикам уличного движения, беднягам, волей-неволей пришлось иметь с ними дело, но прохожие, толкущиеся на тротуарах, эти известные ротозеи, крестники Влтавы, без которых не обойдется ни одно уличное происшествие — будь то павшая почтовая лошадь или чайка, прилетевшая на реку,— попросту их не замечали; не знаю, как это случилось, но когда немцы вошли в Прагу, пражане проходили мимо немецких танков, как мимо пустого места. К Граду ехала немецкая артиллерия, каждый, конечно, знает, как такие пушки грохочут по мостовой и как от этого дребезжат оконные стекла. Но ни одна живая душа их не видела. Пражане, очевидно, оглохли, никто из них не оглядывался на немецкие орудия. Разумеется, так Барборка и доставит вам эту

радость — остановится и будет глазеть вслед, разинув рот,— *дождайтесь*... Маленькая барышня Казмарова, в запотевших очках спешила на Винограды на частный урок и столкнулась с маршрующими флейтистами. Она свернула в боковую улицу и переждала, когда они пройдут. Три франтоватых прусских офицера, громко разговаривая, остановились перед театром, как раз когда Власта шла в полдень на репетицию. Она и бровью не повела. С отсутствующим лицом, глядя перед собой своими совиными глазищами, она шла навстречу им, как будто лейтенанты были из воздуха. «Молчим и презираем, молчим и презираем»,— звучали в ее душе стихи любимого поэта. Но плакать? Нет, такой радости вы от нас не дождетесь. Никто не сказал народу, как держаться, когда немцы придут в Прагу. Право, на это не было времени. Но рабочие с Колбенки, и Станислав Гамза, и бабы на рынке вели себя совершенно одинаково: не видим, не слышим, не знаем. Президент Гаха отдал нас под покровительство Третьей империи, даже не спросившись у нас, как и фюрер у него не спрашивал. Премного ему благодарны. Народ отвернулся от него, и он остался в дураках. «Народный страж» мог сколько угодно писать о государственной прозорливости Гахи и о нашей сватовацлавской традиции — на Вацлаваке, назову по-простецки, не было и ноги чехов, когда армия райха шла по городу церемониальным маршем. Пражские уличные мальчишки не торчали на тротуарах главных проспектов, а армия, любая армия для мальчишек — это искушение! Если, быть может, кто-нибудь из них и порывался посмотреть, мама дергала его за рукав, а папа показывал палку, и у мальчика пропадала всякая охота глазеть. И когда красивые пражские девушки высыпали толпой с фабрик и из продуктовых магазинов на улицы, которые стали похожи на военный лагерь — столько было немецкой солдатни,— то они не желали и глядеть на немцев. Чехи — пренеприятный народ. Взглянешь на чеха, а он свертывается, как ежик в клубок; стоит к нему обратиться с чем-нибудь, как сейчас же он спрячется в свою раковину, как улитка, и никогда ты не узнаешь, что он, собственно, думает. Вот и изволь с ними поладить после этого.

Но будем справедливы. Правда, по большей части это были немки, которые сберегли честь старой германской области «Чехия и Моравия»; все эти дамочки (как, например, соседка Гамзы) сейчас же нацепили свастику на пальто и, безумно вытаращив глаза над огромными букетами, изнемогали от желания приветствовать героев и предлагали им в своих квартирах образцово убранные комнаты, предпочитая, однако, поручиков из авиационных частей. Но и среди чешек кое-где находилась черная овца или белая ворона (смотря по тому, с какой стороны на это глядеть), короче

говоря, симпатичная особа, мгновенно почуявшая тонким женским инстинктом, как должна вести себя с покровителями хозяйка, у которой любвеобильное сердце.

В живописном пограничном местечке Унброт (Нехлебы) к вилле, которая в этом захолустье выглядела вполне прилично, свернуло авто с немецкими офицерами. Маленькая горничная, заикаясь, прибежала к хозяйке:

— Царица небесная, что нам делать, милостивая пани, к нам на постой идут швабы с нашивками!

Ро ответила:

— Дурочка, что ж ты их не пустила? — и вышла, такая стройная, на крыльцо, где покойница старая пани Витова встречала когда-то детей в семейном фордике.

«Ein Prachtstück!» [1] — подумал офицер и бегло окинул взглядом, от высокой груди до стройных лодыжек, фигуру этой женщины, обтянутую спортивным джемпером. У офицера были ясные холодные глаза, прямой нос, один из тех заносчивых носов, которые их владельцы любят показывать в профиль, вздернутая верхняя губа, властная осанка. Этот высокий вояка был одет в зимнюю форму стального *защитного* цвета, сшитую точно по модели, великолепно напечатанной на роскошном титуле *«Рейхсвера»*. У него *внушительный* вид, и он это знал. Он произвел на Ружену именно то впечатление, какое хотел произвести. Он весьма учтиво на безукоризненном чешском языке объяснил ей, что в гарнизонном городке нельзя получить приличной квартиры и что для нескольких офицеров из высшего командного состава требуется ночлег.

Ро не сводила с него глаз.

— *O, bitte, bitte* [2],— произнесла она высоким приятным голосом «для клиентов», каким она уже давно не говорила после замужества.— Сделайте одолжение, войдите. Какое счастливое совпадение. Мы как раз отремонтировали дом, и für die Herrschaften [3] у нас места достаточно. Мой муж, как нарочно, в Праге.

— *Das nenne ich Gastfreundlich zu sein* [4],— одобрительно сказал офицер и вошел в дом.— Вы курите, сударыня?

Чины высшего командного состава оказались действительно очаровательными. Без разговоров они оставили владелице дома «ее бывшую девичью комнатку», и вечером за вином, сидя во главе стола с шестью мужчинами в мундирах германской армии, по-

---

[1] Хороша штучка! *(нем.)*

[2] О, пожалуйста, пожалуйста *(нем.)*.

[3] Для господ *(нем.)*.

[4] Вот это называется гостеприимство *(нем.)*.

веселевшая Ро Хойзлерова почувствовала наконец, что великосветские люди там, где она. (Вот как она вознаграждена за то, что не поленилась переписать девять раз цепь счастья!)

Ненастье не проходило. Вечером начались такой ураган и метелица, что просто ужас, как будто окоченевшие немцы привезли с собой в Прагу новую зиму. Нелла всячески отгораживалась от безрадостной жизни. Митю уложили спать; но взрослым ложиться не хотелось, хотя все после бессонной ночи слонялись как привидения. Они сидели вокруг волшебного ящичка с зеленым глазом и ловили то, что говорил мир об их несчастье. Нового было пока мало; короткие сообщения, к тому же неясные из-за атмосферных помех: безразличие Франции, досада Москвы. Бесконечно курили, разгоняли сон черным кофе из пузатого хромоногого кофейника Неллиной прабабушки; временами кто-нибудь вставал и, нервно зевая, становился спиной к печке. Всех пробирала внутренняя дрожь; Станя с Неллой — более чуткая половина семьи — упорно кашляли, точно они ночью наглотались дыма, когда жгли бумаги.

— Вечера у семейной лампы,— иронически бросила Еленка.— Нам не остается больше ничего другого, как страшные рассказы у семейного очага.

Едва она успела это произнести, как раздался звонок.

По телу Неллы пробежал электрический ток: гестапо. Пришли за Гамзой. Кто же еще может быть? В первый вечер никто не смел выйти из дому.

— Это я, Барборка! — Она пошла к соседям в нижний этаж и, выбитая из колеи сегодняшними событиями, забыла ключ от квартиры.— Значит, он у нас уже здесь,— сообщила она.

— Да кто?

— Ну этот разбойник. Он уже в Граде.

Гамза свистнул.

— Черт возьми, как ему не терпится! Хозяин ведь еще и вернуться не успел...

— Гаха и в Берлин не поспел, когда немцы занимали Остраву.

— Говорят, на Нерудовой улице машину-то у Гитлера занесло,— рассказывала Барборка с некоторым оттенком ужаса.— В гору въехать не могла по этим сугробам. Знамение это, Град его принять не хочет.

— Жаль, что не разбился! — пылко воскликнула Нелла.— Представьте себе такое счастье! Ах, в каких зверей нас превратили! Раньше я никому никогда не желала смерти.

— Наломать себе здесь бока в первый же вечер,— говорит Еленка, употребляя крепкие выражения нехлебской бабушки.—

Игра с огнем

Честное слово, я посовестилась бы все-таки. Приехала бы... ну хоть через недельку.

Они шутили с юмором висельников; а вьюга завывала в печной трубе, как на любительском спектакле. У Станислава все еще сохранялось ощущение чего-то нереального, как будто он все воспринимал под наркозом, от которого оцепенели все чувства. Ради бога, скажите, возможно ли сегодня, в двадцатом веке, чтобы какому-то злобному фантазеру с нашивками на рукаве ради какой-то свастики в кружочке взбрело в голову сделать несчастным целый народ?

— Знаете, что будет ужасно,— пришло в голову Тонику, и он беспокойно встал,— если он вдруг возьмется за ум и удовлетворится нами. Потом, конечно...

— Что ты выдумываешь? — рассердился Гамза.— Это не конец, это начало.

— Не беспокойся,— добавила Еленка.— Это психопат, описанный в учебнике.

Но и на самом деле было что-то пугающее в мысли, что мы отданы на милость бандиту, который теперь хозяйничает в пяти минутах от нас, в Граде.

— А по-моему, вам бы перебраться подальше куда от дома,— посоветовала Гамзе Барборка, которая считала близость Гитлера в местных масштабах опасным соседством, словно из цирка на Летне сбежал тигр и бродил теперь по Стршешовицам.

— Ну,— сказал Гамза,— я не Рем, чтобы Гитлер соизволил меня застрелить собственноручно.

— Мне такие шуточки совсем не по душе,— заметила Нелла.

— Вот что, папа, можно подумать, что ты в жизни никогда не сидел,— напрямик сказала Еленка.— Сажали тебя при первой республике, к тому дело идет и сейчас. Признавайся, что это было бы ни к чему.

— Я не хотел бы,— ответил Гамза,— пока у меня не закончены кое-какие дела. Да, представьте себе! Теперь поговорим серьезно. За мною наверняка придут, на этот счет у меня нет никаких иллюзий. Правда, не сейчас, не в первую очередь. Не такая уж я важная птица. А тем временем я скроюсь... не говорю, за границу.

— Ночевал бы ты где-нибудь в другом месте с завтрашнего дня,— посоветовала ему Нелла.

— Это можно. А что ты им скажешь? — спросил он чуть насмешливо.

— Что ты старый гуляка и я не знаю, где ты шляешься. И в контору лучше пока не показывайся. Там, как на пражском мосту. Там всякий может...

— Так или иначе, завтра с утра меня там не будет, у меня «казмаровский день».

— Ты думаешь, суд состоится?

— Ну конечно, ведь все идет своим чередом.

На следующее утро в жижковской конторе, где вечно хлопали двери, воцарилась необычная тишина, и помощник Гамзы Клацел с Неллой говорили, что у чехов перед лицом общего врага пропала всякая охота заводить кляузы. Несчастная женщина! Вошла и сразу заплакала. Вчера, когда немцы начали ездить по правой стороне улицы, они сбили ее мужа, фабричного сторожа, возвращавшегося на велосипеде домой после ночного дежурства. Переехали ему обе ноги. Пришлось отправить прямо на операционный стол. В больнице врач сказал ей, что он останется калекой. У них четверо детей. Что делать? Кто выплатит им вспомоществование за увечье? «Знаете, жаловаться на рейхсвер — дело трудное». Но Клацел пообещал сделать все возможное, а пока женщине оказали денежную помощь.

Нелла достукивала на своем ундервуде заявление пострадавшего сторожа, когда в канцелярию вошел человек в потертом, но тщательно вычищенном черном зимнем пальто, галантно снял шляпу, низко поклонился и спросил доктора Гамзу.

— Он на заседании суда,— ответил Клацел.— Что вам угодно? Я его замещаю.

Господин со сморщенным лицом и с мягким пушком вместо волос на голом шишковатом черепе учтиво подошел к письменному столу. Он держал шляпу обеими руками, точно в церкви. Нелле показалось, что он смотрит через плечо Клацела в реестровую книгу.

— Мне нужно поговорить с доктором лично,— ответил он сдержанно.— Он будет здесь после полудня? В четыре? Хорошо. Я зайду, с вашего разрешения. Премного благодарен. Нижайшее почтение.

Он говорил по-чешски, по-видимому, это был настоящий чех, по произношению ведь сразу видно. Но почему, когда он проходил мимо груды макулатуры, где до сих пор лежал материал заседаний международной следственной комиссии, у Неллы возникло такое чувство, будто посетитель идет около мины, и если он ее зацепит, то взорвется вся контора? К счастью, он спокойно прошел мимо кучи старой бумаги и с низким поклоном вышел из комнаты.

— Н-да,— буркнул Клацел, когда за посетителем захлопнулась дверь на лестницу.— Мы ждем Гамзу ровно в четыре, так-то так. Но, Нелла, мне что-то не нравится этот тип... Хотя... такой, конечно, мог спросить Гамзу, чтобы *выкачать* из него деньги.

— Нет, нет,— перебила Нелла и схватилась за шляпу.— Когда у нас в прошлый раз в доме был обыск, *шпик* был так же галантен, разговаривая со мной в передней. Съезжу-ка я к Петру в суд.

— Погоди минутку, чтобы не встретиться с этим субъектом внизу,— посоветовал ей Клацел.

«Больше Петр в конторе не появится,— подумала Нелла, пылая решимостью, и сбежала по лестнице.— Отпуск по болезни — и в деревню. Например, в Черновице, откуда Барборка родом».

Такси не было, в них ездили господа с нашивками.

Площадка трамвая была переполнена немецкими солдатами. Они громко разговаривали — чего им стесняться. Сегодня они больше не были озабочены и ничего уже не боялись. Никто их и пальцем не тронул, они нажрались и напились до отвала, им так понравилось в этой богатой стране. Они хохотали гортанным смехом — где бы ни заговорил немец, его сразу можно узнать по смеху. Все солдаты были подпоясаны ремнем с выбитым на пряжке лозунгом: «С нами бог». Немка с завитыми волосами (откуда они только взялись, эти женщины?) объясняла серьезным голосом своему сынку (у всех мальчишки — это ужасно!), что означает солдатский лозунг «Gott mit uns» [1]. Нелла всегда любила детей, всех детей. Но теперь, когда немецкий карапуз открыл ротик и сказал «Mutti», ей стало тошно, она с удивлением почувствовала, боясь признаться самой себе, что она его ненавидит. Ребенок не был виноват в том, кто его родители, она не позволила бы себе обидеть его, но она ненавидела его от души. Что вы с нами сделали? И как, почему мы не выходим толпой на улицу, не кричим, сжав кулаки, не протестуем против всего этого? Уж лучше бы нас расстреляли...

Однако она не теряла самообладания ни на минуту, отлично понимая, что происходит. Она стояла молча в вагоне пражского трамвая, приличная, хорошо одетая, в вагоне, гудящем от немецкого говора, держалась рукой в перчатке за кожаную петлю, чтобы не упасть, и ехала из Жижкова на Карлову площадь в суд по рабочим делам предупредить Гамзу.

Только когда она проходила мимо какого-то авто в знакомое здание суда, привычно пахнущее табаком, печами и пылью, стертой мокрой тряпкой, когда она увидела ожидающих, которые, как всегда, сидели на скамейках или прохаживались по широкому коридору, ее вдруг охватили сомнения. «Что же я ему скажу? Тебя спрашивал в конторе какой-то тип, который нам не понравился». И это все? Ей придется вызвать Гамзу с заседания, чтобы сказать: «Я за тебя боюсь, я ужасно за тебя боюсь». Ведь ей достанется от него — и поделом. Страх всегда накликает несчастье. Она расте-

[1] «С нами бог» *(нем.)*.

рянно плелась по сводчатому коридору, где отдавался каждый ее шаг, мимо людей на скамейках, которые на нее смотрели, к залу заседаний, номер которого ей был известен, раздумывая, не послать ли за Гамзой служителя или подождать перерыва,— и вдруг двери отворились, и Гамза вышел, будто по вызову. Впрочем, он был не один. Возле него шагал тот самый учтивый человек в потертом, но тщательно вычищенном черном зимнем пальто и прикидывался деликатным.

Гамза, как всегда, когда волновался, казался веселым.

— Я должен кое-что объяснить в полиции,— сказал он торопливо.— Я скоро вернусь.

Нелла кивнула, взяла его за руку и улыбнулась ему, улыбнулась той же улыбкой, какой она провожала его в Лейпциг.

Учтивый человек подвел Гамзу к авто, в котором ожидали двое, все сели и уехали по направлению к Спаленой улице.

Нелла твердила про себя, как безумная:

«Это, может быть, не гестапо. Может быть, все-таки не гестапо».

Представлялись удары ногой в дверь, взломанные замки и потом мертвая тишина... Что теперь? За кем придут раньше? За Еленкой? За Клацелом? За Станей?

Когда она свернула у Новоместской башни, она увидела, что на доске в память молодых патриотов наклеено какое-то объявление, около которого толпился народ. Два молодых парня в спецовках только что отделились от группы людей и пошли рядом.

— Ну, так знаешь, что теперь у нас здесь? — произнес один певучим пражским говором.— *Протекторат.*

— Так-то так,— медленно процедил второй.— А тем, кто рад, недолго радоваться.

Они широко шагали по пражской мостовой, спокойные и уверенные в себе, ничем не замечательные парни, и взволнованная худощавая дама, обгоняя их, почувствовала, несмотря на всю свою тоску, что какая-то сила поднимает ее голову и распрямляет ей плечи...

ПЕРЕВОД Т. АКСЕЛЬ И В. ЧЕШИХИНОЙ

ЗОЛОТАЯ ИСКРА

Стояла осень рокового тысяча девятьсот тридцать восьмого года.

На Зеленом мысу, над Черным морем, гуляли молодой человек и девушка. Был воскресный день сентября, одного из самых прекрасных месяцев в Грузии; будто завороженная, шла пара по знаменитому Ботаническому саду. Батумский воздух! Воздух Зеленого мыса! Горы дают ему свежесть, море — влажность, юг — прозрачность; он мягок, как грузинский шелк, и напоен ароматом цветов, пряностей и смол всех частей света. Буйно и пышно цветут здесь прекрасные чужеземные растения, каждое в кругу своих сородичей. То, что в Чехии мы видим в оранжереях, в цветочных горшках, цвело здесь, в Ботаническом саду, под открытым небом, достигая естественных размеров. Взгляните вон на ту волшебную рощицу красных и белых камелий! Или на огромную магнолию, которая второй раз в этом году развернула свои бело-розовые бутоны! То, что мы покупаем в аптеке или в колониальной лавке в сушеном и обработанном виде, растет и зеленеет здесь: кофе и какао, камфара и перец. На деревцах с темно-зеленой шаровидной кроной, с блестящими, точно лакированными листьями висели дозревающие апельсины и лимоны. Кое-где на отдельные веточки надеты бумажные мешочки, на которых стоят какие-то даты,— это ведут наблюдения ученые с опытной станции.

Кето, молодая спутница Ондржея, наклонилась над густым кустиком — он немного напоминал чернику — и сорвала цветочек.

— Посмотри,— сказала она несколько таинственно, точно показывая драгоценный камень, и подняла на Ондржея удлиненные грузинские глаза с изогнутыми ресницами.— Вот так цветет чай.

Это был почти прозрачный цветок в виде белой звездочки с желтой сердцевиной. Он напоминал жасмин в льготском садике. У Ондржея кольнуло сердце. Нет, в Чехии он не так хорош. В мире повсюду есть такие нежные белые цветы, которые как будто боятся прикосновения. Только здесь, в Аджарии, в стране, куда Язон отправился когда-то на поиски золотого руна, все более ярко — небо, облака, вино, цветы, девушки. Юная Кето была прекрасна, словно только что созданная ваятелем,— с венком кос на небольшой голове и маленькой упругой грудью.

Она вынула из какого-то японского плода крупные зерна, будто сделанные из полированного красного дерева, и, что-то объясняя, подала одно из них Ондржею. Но он слушал не слова, а ее голос и, взяв Кето за узкую смуглую, огрубевшую от работы руку в коротком черном рукавчике, оглянулся и хотел привлечь девушку к себе, но как раз в этот момент мимо прошел кто-то из санатория. Сейчас, перед обедом, люди шли на Зеленый мыс поодиночке, а после полудня сюда повалят толпы из розовых домов под пальмами, где живут рабочие нефтеперегонного завода. Сюда приедут провести праздничный день и колхозники, и рабочие с батумских чайных фабрик, и моряки из порта. К сожалению, Ондржей и Кето не были одни в этом раю, где прямо как на дрожжах тянулась вверх бамбуковая роща и где гигантские листья банана вздымались от самой земли. Наверно, из них-то и сделали себе Адам и Ева одежды, когда Змей открыл им глаза и они застыдились друг друга.

— Это *тунг*,— продолжала разрумянившаяся Кето.— Из него добывают масло, а из масла вырабатывают лак для самолетов.

Ондржею представился серебристый самолет в воздухе. Сколько отсюда лететь до Праги? Боже, откуда взялась эта тревога в такой торжественный день, когда он приехал к любимой девушке отпраздновать благополучное окончание экзаменов! Теперь ему можно бы и не стыдиться Станислава Гамзы — Ондржей стал инженером-текстильщиком, да еще выучился без отрыва от производства. Вот так-то! Правда, он и раньше нисколечко не робел перед ним, но тогда он был еще глуп...

— Вот это драцены,— объясняла Ондржею неутомимая спутница.— Из них вьют прочные веревки.

Пальмам Ондржей не удивлялся. Он видел их и раньше. Он смотрел на светлые стволы эвкалиптов — они тянулись вверх чуть не до самого неба. И хотя Кето была высокая девушка, рядом с ними она казалась крохотной куколкой, затерявшейся в первобытном лесу. Эти добрые деревья высушили батумские трясины и изгнали из окрестностей малярию. Малярия была у дедушки Кето — да, она это помнит: к вечеру у него обычно начиналась лихорадка.

Лицо делалось желто-зеленым, зубы стучали,— дедушку закутывали в самое теплое одеяло. Кето, как всякому ребенку, было постоянно жарко, она завидовала, что дедушке холодно от лихорадки. Ну что взять с ребенка!

А от эвкалиптов шел такой сложный лекарственный запах, как будто ты вдыхаешь в клинике по горловым болезням пары ароматического масла от кашля; эфирные масла чужеземных хвойных деревьев сгущались в южном воздухе, и он, казалось, был насыщен невыразимо тонкими духами с одуряюще сладким запахом.

— Что это за духи у тебя, Кето? Запах восхитительный, но немного резок,— сказал Ондржей, зная, что грузины и армяне любят духи.

Кето засмеялась.

— У меня нет никаких духов.

— Не могут же так пахнуть цветы!

Они сошли с тропинки в высокую траву. И в самом деле! Австралийское дерево — душистая маслина с восковыми цветами, напоминающими тюльпаны,— влекло своим соблазнительным ароматом. И Ондржей с Кето обнялись под этим деревом и поцеловались — они любили друг друга, а волшебный сад, в котором как будто была поймана в ловушку вечная весна, своей буйной красотой еще больше усиливал волнение любви.

— Если бы я жил здесь, в Батуми,— заметил Ондржей и чуть улыбнулся,— я, вероятно, стал бы ужасным лентяем. Что это такое? Дышишь себе и дышишь, ничего тебе не хочется, разве только влюбленно мечтать... Как вы работаете в своем колхозе?

— Нам даже и в голову не приходит бездельничать,— ответила Кето.— С чаем, знаешь, работы хватает — окапывать, собирать... Да и с мандаринами шутки плохи — серебристый клещ разведется. Надо опрыскивать деревья купоросом и...

— Все равно это рай,— продолжал Ондржей.— У меня от здешнего воздуха голова кружится.

— Ты устал с дороги, отдохни,— ласково произнесла Кето и, когда они сели на бамбуковую скамейку, показала на свое плечо, предлагая Ондржею положить голову. Но ведь Ондржей был мужчина, к чему еще эти нежности!

— Ты чем-то опечален? — допытывалась чуткая девушка.— Наверно, переутомился во время экзаменов, да?

— Нет, мне дали на фабрике отпуск на три недели.

— Знаю, знаю: сама сдавала на агронома,— оживленно вспоминала девушка,— только и мысли что о последнем экзамене, как это будет замечательно! А потом разочарование: и это все? Сначала я даже заскучала...

— Брось, какая там скука! — невольно вырвалось у Ондржея, и он потянулся.— Я так рад, что все позади... Меня беспокоят дела в Чехии, Кето.

Она посмотрела на него серьезными, понимающими, прекрасными глазами.

— Генацвале,— произнесла она тихо и погладила его по руке. «Дорогой» — означает это слово по-грузински.— Генацвале,— повторила она.— Шени чириме: твое горе возьму себе.— И добавила по-чешски: — Миленький.

Пытаясь говорить по-чешски (они говорили между собой по-русски), Кето издавала какие-то птичьи звуки, которые смешили и вместе с тем умиляли Ондржея.

— Кето! — воскликнул он с жаром.— Если бы ты только знала, как я тебя люблю! Не только за красоту, но и за твое золотое сердце. Да ведь ты сама все знаешь. Сегодня я был бы счастливейшим человеком в мире, если бы дома...— Ондржей, взволнованный, поднялся.— Того и гляди, проглотит Гитлер!

Кето вскочила на ноги, на упругие ноги наездницы, в гневе обнажив тесно посаженные зубы, и принялась поносить фашизм, прибегнув к богатому запасу чрезвычайно замысловатых проклятий, имеющихся в грузинском языке,— они так и посыпались из ее уст. Никто не узнал бы в ней ни вежливого, образованного агронома, ни милой, нежной девушки, только что сидевшей с Ондржеем.

— Пусть только попробует,— добавила Кето, блеснув глазами.— Получит по заслугам.

Ондржей при таких вспышках смотрел на Кето словно бы со стороны. Как был он сдержан, рассудителен, трезв рядом со вспыльчивой Кето. Все было не так просто, как ей казалось.

— Смотри,— издалека начал он спокойным, наставительным тоном, к которому привык в Советском Союзе, где люди, помогая друг другу, готовы каждого поддержать советом, и широким жестом обвел вокруг.— Вот мимозы — здесь это большие деревья, а у себя на родине я видел только их окоченевшие веточки в цветочных корзинах. Мне никогда не приходило в голову подарить цветы девушке.

Кето метнула на Ондржея косой взгляд.

— У тебя там кто-нибудь есть? — перебила она его.

— Ты объявишь кровную месть, да? — поддразнил ее Ондржей.

— Это была мерзость — кровная месть,— с отвращением сказала Кето.— Но зачем меня этим дразнить, ты же хорошо знаешь, что у нас ее давно не существует. Я спрашиваю, нет ли у тебя жены в Чехословакии?

— Послушай, Кето...

— Поклянись, что у тебя там никого нет.

— Ого-го, ведь я в Советской России... седьмой год.

— Поклянись, что там у тебя нет любимой женщины!

Ондржею это показалось чересчур напыщенным. А чехи к этому не склонны.

— Не могу,— продолжал он подсмеиваться над Кето.— Я люблю одну чешку. Свою мать.

Кето рассмеялась.

— Молчи, разве ты не знаешь, что ты — моя радость? Ты — моя золотая искорка. И я только хотел сказать, что Чехия...

— Да, я перебила тебя, извини.

— ...Чехия, такая забитая, измученная, маленькая страна.

— Маленькая?..— разочарованно повторила Кето.— Мы уже однажды говорили об этом. Вы нисколько не меньше нас. Тебе этого мало? Грузия большая-пребольшая! Чтобы попасть из Тбилиси ко мне в Батуми, ты ехал целую ночь в скором поезде.

— Но у нас такое неудачное географическое положение,— сказал Ондржей, сжимая голову руками.— Чехи с детства, с уроков истории, помнят о немцах: немцы, немцы, испокон веку немцы, и так всю жизнь!

— Это как у нас с персами,— сочувственно перебила Кето.— И русские цари хотели насильно сделать нас русскими и поглотить — буржуи всегда так. И видишь, мы не поддались. И сейчас у нас хорошо! Ондржей, я не боюсь... ничего на свете,— порывисто воскликнула она и задержала обе его руки в своих сильных горячих руках.— Если на вас нападут эти проклятые... что ж, вы их прогоните.

— В том-то и дело, что они хотят уговорить нас «по-хорошему»... в том-то и весь ужас.

Лицо Кето теперь выражало лукавство, как всегда, когда она сообщала политические новости.

— Ты слыхал,— произнесла она таинственно,— наши перебрасывают войска к румынской границе? Ради вас.

— Дай-то бог,— вздохнул Ондржей.— Но в Чехословакии многие боятся Красной Армии.

— Что ты!

— Ну конечно! Ее боятся чешские мещане да словацкие попы. Кето, я хочу тебе объяснить кое-что. Ты знаешь, было время, еще у Казмара, когда я тоже отмахивался от большевиков.

Кето в упор посмотрела на него и рассмеялась.

— Тебе смешно,— сказал он.— Ты родилась при Советской власти, окончила советскую школу, тебе кажется, что все само

собой понятно. А нас ведь всегда воспитывали в страхе перед большевиками. Мамаша их боялась, в школе учили их бояться, а у Казмара — и говорить нечего!

— Но ты рабочий,— заметила Кето.— Разве вас не воспитывали агитаторы-коммунисты?

— В Улы проникнуть им было не так-то легко,— усмехнулся Ондржей.— Да, был там у меня один дружок, большевик, мы его звали Францек Антенна, это был необыкновенный человек. Только благодаря ему я и отправился в Советский Союз, когда не смог получить работу у себя дома.

— А где он сейчас? — живо спросила Кето.— Я бы охотно познакомилась с ним. Ну какой он молодчина, что послал ко мне сюда Ондржея! Как его зовут? Францек? Странное имя. Ну, да все равно. Я хотела бы его поблагодарить.

— Есть за что! Экое сокровище! Не знаю, где Францек сейчас. Когда я попал в Ташкент, его там уже не было. Он сроду был непоседа. Заодно и для меня дорожку протаптывал. Хороший был парень. Только тогда, в Улах, я его не слишком высоко ставил, прямо тебе скажу. И лишь когда Казмар вышвырнул меня, в моей тупой башке кое-что прояснилось. Боже! Вот это был урок!

— А здесь, у нас? — нетерпеливо спросила Кето, поглядев вокруг с той юной гордостью советских граждан, какую с трудом могут себе представить люди, живущие в других странах, где каждый сам по себе.

— Кето, было бы ужасно, если бы Германия напала на Советский Союз. Представь себе, что они начнут бомбить все, что здесь выстроено с такими нечеловеческими усилиями.

Кето невольно отступила. И это все, что Ондржей может сказать?

— Не понимаю, что вы за люди,— холодно произнесла она.— И почему тебе приходят в голову самые мрачные мысли?

— Потому что я чех,— нетерпеливо отозвался Ондржей.— История уже столько раз нас учила...

— Но кто же делает историю? Люди! — красноречиво парировала Кето.— А ты прежде времени трясешься, как осиновый лист! Не понимаю, амханаго [1]. Это нехорошо, ты не смеешь, дорогой мой,— произнесла она уже более мягко, подхватила Ондржея под руку и прижалась к нему, словно желая этим прикосновением передать ему хотя бы немного своей веры.— Все хорошо, все хорошо кончится, и я тебя совсем, совсем переделаю...

— Ты моя золотая искорка!..

---

[1] Товарищ *(груз.)*.

Они вышли из волшебного сада и направились к колхозу. Внизу на дороге стоял грузовик, а на нем — группа крепких девушек, докрасна опаленных солнцем; светлые волосы, вздернутые носы, развитая грудь — все показывало, что это русские; напрягая гибкие, мускулистые тела, девушки сбрасывали шлак в выбоины — ремонтировали дорогу. Кето поздоровалась с ними, как со знакомыми, и через открытую калитку повела Ондржея на плантацию. Не был ли кто-нибудь из этих молодых колхозниц в тбилисском цирке, когда познакомились Ондржей и Кето? Он уже не помнил, тогда всех сразу затмила Кето.

Старик мусульманин в чалме болотного цвета, голый до пояса, обгоревший на солнце, как африканец, прямо у калитки колол дрова. Подле него сидел какой-то очень гостеприимный пес — он даже не тявкнул на незнакомцев.

— Охотничий,— пояснила Кето.

Спускаясь по пологому склону, они прошли всю чайную плантацию. Над рядами плотных, как овчина, округлой формы темно-зеленых кустов со светлыми молодыми листиками, с теми волшебными листиками, которые после сушки благоухают в напитке золотистого или бронзового цвета и освежают голову уставшему после трудового дня рабочему, когда он готовится вечером к экзамену,— стоял теплый и влажный, как в оранжерее, воздух.

— Если бы не чай, ничему бы я не научился,— засмеялся Ондржей.

— Дураку он не помог бы,— ответила Кето.

Нужно ждать три года, чтобы на четвертый год чайный куст дал урожай: три года, как в сказках и песнях. Но терпение оплачивается сторицей. В чайном колхозе уборка урожая идет с мая по ноябрь. В семье Кето Таганидзе все хорошо работали, много зарабатывали на трудодни. У них был собственный небольшой плодовый сад около домика над обрывом. Сад не был огорожен — в него мог зайти кто угодно. Кето пошла к матери за угощением, а отец предложил Ондржею сесть у стола под деревом.

Он держался так же прямо, как и его дочь. Это было даже удивительно для людей, которые столько времени проводили на плантации, согнувшись над кустиками чая. У него было такое же, как у Кето, серьезное спокойствие во взгляде и движениях. Правда, он был сдержаннее ее, насколько может быть мужчина сдержаннее женщины, а пожилой человек сдержаннее юной девушки. Это был невысокий сухощавый крепкий грузин лет за сорок, с орлиным носом, в рабочей кепке — такую когда-то носил Ленин. Ондржей знал от Кето, что отец вместе с ней учился на сельскохозяйственных курсах. Вот смех-то: отец и дочь — одноклассники.

Мужчины уселись в зеленом полумраке под яблонями за самодельный стол.

— Здесь потише, чем у вас на кархане? [1]

И крестьянин посмотрел вокруг со спокойной улыбкой хозяина дома.

Ондржей согласился.

— Но я не мог бы жить без шума, это для меня как музыка.

— А мы привыкли к тишине. Вы ткете только шелк?

— Исключительно. Пришлось переучиваться после хлопка. В Ташкенте был только хлопок. Я слежу за машинами.

Ондржей прикусил язык. Поздновато спохватился—опять взяла верх старая скверная привычка, так и вертится на языке: я, я, я. Сколько раз женщины на фабрике смеялись над ним. В Советской России привыкли говорить: мы. О себе здесь не распространяются.

— А это хорошо,— одобрил хозяин,— что грузинский шелк снова в почете.

— Во вторую пятилетку,— сказал Ондржей,— о нем действительно вспомнили.— И он назвал число веретен и шелкоткацких станков в стране.— Было бы очень жалко... такая старая культура...— добавил он.

— Еще бы,— согласился отец.— На что нам китайский или индийский шелк? У нас есть свой. Угощайтесь, амханаго,— предложил он гостю.

Он посмотрел вверх на виноградную лозу и поискал в кармане ножик. Но в праздничном костюме его не оказалось, и тогда Ондржей с детской радостью городского человека сам протянул руку, приподнял виноградную гроздь (она висела у него прямо над головой) и срезал ее с зеленого стебля своим старым ножом из золингенской стали, который подарил ему когда-то в детстве покойный отец. Это была редкостная по величине гроздь с огромными красно-фиолетовыми виноградинами. Они прямо таяли на губах, пересохших от жажды. Виноград благоухал, благоухал сказочно, точно в плодах сохранился еще весь аромат цветов.

Виноград вился здесь прямо по деревьям. Кривые черные лозы с вырезанными, узорчатыми пятиугольными листьями переплетались с ветками персиков, груш и еще каких-то незнакомых Ондржею плодовых деревьев, образуя такой густой свод, что не было видно неба. Как хорошо отдохнуть здесь после экзаменационной страды! Какой приятный холодок после ходьбы по полуденному зною! Здесь пахло зеленью и тем близким, родным, чуть прелым запахом сухих веточек, знакомым Ондржею с детских лет, когда он взбирался на деревья в Льготке, продираясь через сучья до са-

[1] Фабрике *(груз.)*.

мой верхушки. Да, я укрылся здесь, в этом раю. А в Чехии? Что происходит в Чехии? Ради бога, что с Чехословакией?

Пусть это был самый приятный обед, который они запивали домашним вином; зеленые побеги винограда закрывали небосвод, в золотистой дымке вина словно прятались все тревоги,— но там, в мире, где блещет горизонт, нависла туча. Ондржей не видел ее, не говорил о ней, но ни на минуту не забывал о ее существовании. Рано или поздно ему все равно придется покинуть зеленое затишье, где было так сладостно с румяной черноволосой Кето и ее гостеприимными родителями. Тогда разразится буря в горах, дождь с градом прольется над маленькой далекой страной. Но ведь она была не слишком добра к Ондржею? Она даже не дала ему работы! Ведь она его выгнала!

— Аллаверды! — чокнулся хозяин и поднял стаканчик.— За здоровье нашего гостя, новоиспеченного инженера Андрея Вячеславовича Урбана, который начинал с работы у станка! Да здравствует Чехословакия!

— Свободная Чехословакия! — воскликнула Кето.

— Да здравствует Грузия! — ответил Ондржей тостом на тост хозяев и их прекрасной дочери.

Тогда все четверо залпом выпили вино до дна, и им стало весело. От водки — надо вам сказать — у человека отнимаются ноги, если только он не северянин и вообще не здоровяк, как русские. Но вино, грузинское вино, набрасывает на мир лишь прелестное, нежное, прозрачное покрывало, подобное тому, которое развевалось во время танца красавицы Тамары.

Все хвалили вино, и повеселевший хозяин пустился в разговор.

— Лоза,— пояснил он,— дает десять предметов: виноград, виноградный сок, вино, чихирь, засахаренный виноград,— загибал он один за другим пальцы на правой руке, чтобы ничего не забыть, и перешел к левой: — Изюм, корзины из прутьев лозы, плетень из них же, корм для овец и топливо, когда лоза отслужила свой век.

— Вино поддерживает жизнь,— весело заметила мать Кето.— Поэтому так долго живут люди на Кавказе.

— За твое здоровье, Кето,— сказал Ондржей,— живи до ста лет!

— Что же, в сто лет я буду еще совсем молодая! — задорно воскликнула Кето.— У нас тут есть один рекордсмен — ему сто сорок пять стукнуло, а он недавно женился.

И она рассмеялась.

Кето было немногим больше двадцати, и ей все казалось смешным. Молодость и вино смеялись в ней!

У Ондржея звенели в голове цикады, туча отступала все дальше, но по-прежнему все еще маячила где-то.

Они ели шашлык из баранины, сладкий пирог с изюмом, и теперь на столе появилась корзинка редкостных фруктов, как дар земли обетованной. Свежий инжир, коричневато-зеленый снаружи, розоватый внутри, упругий, когда его откусываешь, словно у плода есть мускулы; он наполнен несметным числом зернышек, мелких, как икринки; пузатые, точно бутылки, груши; персики с очаровательным румянцем на бархатистой кожице; мускатный виноград и еще какие-то совсем уж удивительные плоды. Ондржей их не знал и с любопытством попробовал.

— Осторожней, не сломай зубы!

Формой плод напоминал сливу, цветом — мушмулу, кожурой — миндаль, мякотью — апельсины. Но какой же он был ароматный! Ондржей наслаждался этим южным запахом, как будто чуточку ненатуральным, как и все в Аджарии — плоды, деревья, цветы, Кето.

— Скажите, что это такое?

Плод-загадка.

— Гибрид,— сказали отец и дочь в один голос.— Помесь. Сколько лет мы с ним возились, пока удалось вывести.

Кето надкусила персик, и оса, которая кружилась над корзинкой с фруктами, устремилась к девушке.

— У тебя сладкая кровь! — подсмеивался Ондржей над Кето.— Оставь осу в покое. Если ты не будешь обращать на нее внимания, она тебя не тронет. В Улах была кондитерша...

Кето его не слушала, всецело поглощенная сражением с осой. Она фехтовала с ней отчаянно и чем больше от нее отбивалась, тем свирепее нападала оса. Но Кето уловила подходящий момент. Она вдруг оставила осу в покое, следя за ней только взглядом. В зрачках Кето промелькнуло выражение жестокости, неизвестное до сих пор Ондржею. Она выжидала. И вдруг, с такой же естественностью, с какой ласточка хватает на лету муху, а ястреб падает на крапивника, схватила осу, прижала ее голым кулаком к столу и раздавила.

— Она тебя не ужалила?

— Теперь будет спокойно!

Ондржею припомнился рассказ Кето о том, как летними лунными ночами, дождавшись, когда родители уснут, она крадучись выходила из дому, садилась на коня и уезжала в горы послушать, как *«поют»* волки — это ей страшно нравилось. Можно ли представить себе подобное пристрастие у чешской девушки? Как все непривычно в этой дикой, чужой девчонке! Именно это и влекло к ней Ондржея.

После обеда они вышли в мандариновый садик. Отсюда уже было видно небо, и на нем не белело ни облачка. Над темной

блестящей зеленью мандариновых деревьев опо сверкало синей эмалью. Посаженные на склоне деревца как будто весело танцевали. Всюду через каждые пять-шесть плодовых деревьев росло одно хвойное. Зачем? Нарочно — для защиты от ветра. Еловые ветви, растущие от самой земли, сдерживают порывы ветра и не дают опасть незрелым мандаринам.

— Ага, буферное государство! — мрачно пошутил Ондржей.

Здесь было так хорошо, как в детстве. Мандарины, еще не спелые, но уже достигшие своей обычной величины, выглядывали из-под листвы, такие же блестящие, такого же цвета, что и она. Они напоминали плоские резиновые мячики, свежевыкрашенные зеленой масляной краской. Деревца были усыпаны плодами. Господи, оказывается, природа — настоящая фабрика, если работать не жалея сил.

Родители Кето вспоминали старое время и нисколько о нем не горевали. Да и о чем горевать! На месте чудесного сада, по которому они сейчас шли, провожая Ондржея, когда-то лежал голый склон. Дедушке Кето (тому, что болел малярией) принадлежало небольшое каменистое поле. Он нагружал на осла мешки с землей и гнал его в горы. Бабушка на собственных плечах таскала наверх корзины с землей получше. Но ветер и вода каждый год уносили почву, и все приходилось начинать сызнова. Они работали не покладая рук, а что у них было? Ничего, кроме горя и нужды. А сегодня над Батуми зеленеют возделанные горные склоны и все расцветает под руками колхозников. За время Советской власти они научились хозяйничать! Таганидзе с Ондржеем шли по тропке, поросшей травой, мимо высоких кустов георгин, и хозяин подсчитывал, сколько выручит колхоз в этом году за чай и мандарины, сколько сдаст государству, сколько средств поступит в семенной фонд и сколько получит каждый колхозник.

— Так вы же набобы! — дразнил его Ондржей, осмелевший после вина.—Вы богатые плантаторы! А сколько получает бедный колхоз, где почва действительно бесплодна?

Старик только улыбнулся.

— Бесплодной почвы не существует,— ответил он с усмешкой в лукаво прищуренных глазах.— На каждой что-нибудь да родится. Нужно только понять, что именно. В этом вся штука. А зачем у нас ученые? Колхоз запрашивает сельскохозяйственный институт, а оттуда советуют, что лучше выращивать. Так что, товарищ, не беспокойтесь.

Одаренный фруктами, Ондржей возвращался с Кето на электричке в Батуми.

Портовый город чудесно расположен между горами и морем. Своими стенами и крышами, спускающимися уступами к морю,

своими садами и плантациями он подобен розово-зеленому ожерелью на гигантской груди Кавказа.

Солнце садилось, когда влюбленные вышли из переполненного вагона на набережную. С моря повеяло свежим воздухом, насыщенным йодом. Они шли по пальмовой аллее; под пальмами вдоль белой улицы двумя бесконечными лентами тянулись газоны с цветами, красными, как пламя; сюда устремлялись празднично одетые красивые стройные люди. На мужчинах и женщинах были по большей части темные костюмы. Южные народы любят черный цвет, вероятно, по контрасту с великолепной пестротой природы, окружающей их с малых лет.

Было еще совсем светло. Синели горы, на море проступили лиловые пятна водорослей. И темные кипарисы с остроконечными вершинами, и белые башенки со шпилями, и балкончики, и пальмы на набережной — все четко вырисовывалось на будто стеклянном, зеленовато-синем небе над зеленовато-синим морем.

Туча Ондржея вообще исчезла. Над горами паслись только золотые и розовые барашки. Боже, как это прекрасно! Влюбленные шли, прижавшись друг к другу, как все юные существа после захода солнца. Ондржей и Кето хотели сойти к самому морю, где не так людно. Они шли, крепко обнявшись, а когда перед ними неожиданно открылся вид на город, подковой поднимающийся вверх по склону, остановились и даже отстранились друг от друга и посмотрели на пейзаж влюбленными глазами.

— Итальянцы, кажется, говорят: «Увидеть Неаполь — и умереть...» Как это нелепо, Кето, да? Я лучше сказал бы...

— Видеть Батуми — и жить!

Она подхватила его слова, «освободила душеньку из чистилища». Да, так говорится в Чехии, когда одна и та же мысль вдруг приходит в голову двоим одновременно. Это выражение очень нравилось Кето, хотя она училась в советской школе и не очень ясно представляла себе чистилище... И потому, что здесь, на усеянном галькой пляже, как раз в это время было мало народу, Ондржей положил портфель и фрукты на пестрые камушки, раскрыл объятия старым, как мир, движением, и они стали целоваться, целоваться так, как это умеют делать двое молодых людей в прекрасный вечер.

Ведь людям всегда хочется жить. Но, может быть, никогда им так сильно не хотелось жить, как именно в эту волшебную и жестокую осень тридцать восьмого года, когда желтые дни и голубые ночи, полные огромных блестящих звезд, как бы показывали миллионам людей в разных концах земли, как прекрасен мир, как люди по своей собственной воле уродуют его и чего они лишатся, если начнут взаимное истребление. И, даже не сговариваясь, они

ощущали совершенно одинаково эту подаренную им красоту расставания: и Станя — в Праге, и Нелла Гамзова — в деревенском домике, и Ондржей — в Грузии.

— Кето, когда мы увидимся?

Она стояла на перроне перед ночным поездом в своем нарядном черном платьице, помятом от объятий, лицо девушки белело, как роза.

— Теперь очередь за мной,— сказала она, поднимая на него свои прекрасные серьезные глаза.— Как только будет можно, я приеду в Тбилиси. Скорее всего, через неделю.

«А застанешь ли ты меня там?» — подумал Ондржей, но ничего не сказал.

Не сговариваясь, они не произнесли больше ни одного слова о войне. Люди стремились поймать хоть кусочек счастья и жили, жили, закрыв глаза, как будто никогда не должно было случиться то, чего все боялись и от чего все пытались отгородиться веселыми обыденными разговорами.

— Приезжай,— ответил Ондржей, улыбаясь девушке из окна вагона.— Пойдем вместе в цирк. Как тогда.

Поезд тронулся. Кето неподвижно стояла на перроне, вся в черном; только платье слегка приподнималось на груди да белело лицо, на котором чернели глаза, продолговатые, как на иконах. Потом все расплылось, стерлось, слилось, и поезд отошел от станции в безвестное будущее.

РАЗОРВАННЫЙ ШЕЛК

Старый Тифлис — это розовые каменные домики, сплошные деревянные галереи, резные, как кружево; он поднимается вверх на гору, как Вифлеем в «вертепе». Белые каменные здания в центре, как будто освещенные вспышкой магния, построены уже при Советской власти. Социализм очистил прекрасный восточный город от наносов грязи, провел водопровод, осветил электричеством, озеленил, привел в порядок крутые берега мутной Куры, превратил опасную свалку гниющих отбросов с тучами мух в красивую белую набережную под тенью пальм.

Тбилиси, бывший Тифлис, лежит в предгорьях Кавказа, величественного массива, девятью цепями гор связавшего Черное и Каспийское моря. Горный воздух пахнет озоном, как после электрического разряда. Прометеева искра вспыхивает в нем. Древний таинственный край овеян легендами и сказаниями. Говорят, что Кавказ был колыбелью человечества. Будто бы Прометей, прикованный потом богами к подножью Кавказских гор, принес людям

огонь с неба. Он дал огонь кузнецам, чтобы они ковали доброе оружие на зверя и для защиты от врага, орудия труда, необходимые для жизни; художникам и ученым он дал огонь, чтобы они лучше видели; он принес огонь для очагов и факелы для путников. Но боги не хотели, чтобы люди стали равны им. И они жестоко покарали Прометея, приковав его к скале и послав к нему орла. Да что боги: царская Россия не хотела, чтобы рабочие стали равноправны с дворянами и князьями, с купцами и фабрикантами.

Вот средневековая твердыня Метехи над бледно-голубым серным источником в татарском квартале у шоссе, по которому в старину ездили в Персию, неподалеку от мечети, где поет муэдзин, напротив городских бань: старых кирпичных и построенных при Советской власти мраморных. Ныне пустой замок высится на скале как памятник старины.

Из окон цеха, порученного попечениям Ондржея, был виден каменный тбилисский цирк, похожий на гигантскую корону. Его крыша, выглядывающая из-за платанов фабричного сада, казалось, была близко-близко — рукой подать, но попробуйте добраться туда пешком! Пришлось бы идти вверх, вниз и снова вверх! Кавказская земля прогибается в этом месте на крутых берегах необузданной реки Куры, несущей свои мутные воды из Турции. Город Тбилиси стоит в котловине, и его дома с террасами, верандами и галереями, как везде на юге, взбираются вверх по склонам гор. Едучи на работу в переполненном трамвае, увешанном черными гроздьями армянских и грузинских мальчишек, Ондржей замечал, что многие из кривых улочек, мимо которых он проезжает, упираются в горный склон. Точь-в-точь как на Жижкове, каким он запомнился Ондржею с детских лет. Только здесь все несколько повыше. Можно ли сравнивать Жижковский холм и гору Давида! Земля и небо.

На горе Давида зеленеет сад вокруг белого дома с террасами — нового клуба, где танцуют и откуда так хорошо смотреть, сидя за стаканчиком вина, на раскинувшийся внизу сияющий огнями Тбилиси, который словно светится тысячами электрических глаз,— не так ли, Кето? Пьяпящая южная толпа шумит под тамарисками на многолюдном проспекте Руставели; почти перпендикулярно к этому прекрасному белому проспекту театров, гостиниц и правительственных зданий светится до глубокой ночи линия фуникулера, ведущего на гору Давида. Петршинская канатная дорога по сравнению с ним — детская игрушка. В Чехии — Ондржей сейчас беспрестанно вспоминал родину,— в Чехии все было такое крохотное, как в карманном издании. Когда едешь на восток, земля растет, небо ширится, горизонт безгранично расступается — и предприятий и построек в необозримой Советской стране становится все больше и больше. Нельзя и сравнивать тбилисский камен-

ный цирк с цирком из брезентовых полотнищ на площади против Дома инвалидов в Праге!

Грузины страстно любят цирк. Стоит ли говорить, что публику всюду привлекает возможность поглазеть на укрощенных львов, умных слонов, тюленей, играющих на свирели, на танцующих змей, забавных обезьян? Кто не засмеется над выходками клоуна? У кого не замирает дух при виде головоломных упражнений на высоко подвешенной трапеции и страшных сальто-мортале? Кого не привлекают гибкие акробаты, которые своим опасным искусством уподобляются полубогам? Кого не волнует атмосфера пыльного манежа, пропахшего хищниками и лошадьми? Никто ее так не ценит, как кавказцы, прирожденные наездники, бесстрашно скачущие по горным тропам. И кроме того, это древнее пристрастие к цирку, может быть, идет еще со времен гладиаторских игр. Ведь улицы, по которым Ондржей Урбан обычно ездит на шелкоткацкую фабрику, в политехнический институт, на футбол, в зоологический сад, таят под своим асфальтом древний-предревний, покрытый глубочайшими колеями перекресток мировых путей.

Однажды, вскоре после того как Ондржей с хорошей рекомендацией приехал из Ташкента в Тбилиси (из-за ташкентского тропического климата, замечательно способствующего росту хлопка, но опасного для здоровья уроженца «картофельного края»), в начале пребывания в Грузии,— Ондржей тогда еще не привык к здешнему образу жизни, у него не было друзей, и он не знал, куда девать время по воскресеньям,— он осматривал город и встретил грузинские похороны. В открытом, высоко поднятом гробу торжественно несли старика, несли почти стоймя, так что казалось, будто покойник движется сам. Ондржей вошел с процессией в церковь, где волнами плыл упоительный дым ладана. Перед алтарем стояли закутанные в шали стройные старухи в черном, с крючковатыми носами, почти касающимися подбородка; они осеняли себя широким православным крестом и кланялись чуть не до земли, разгибались и снова стояли совершенно прямо. Священник, старый, сухонький, невероятно маленький, горбился под тяжестью шитого серебром облачения, под бременем золотой митры, украшенной драгоценными каменьями. Ондржею показалось, что он попал в учебник истории и что книга захлопнулась за ним,— настолько этот мир был иным. Древняя Византия смотрела с икон миндалевидными глазами узколицых святых на чешского рабочего, привыкшего стоять за станком с электрическим мотором. А ну их, и глядеть-то страшно! Ондржей вышел из золоченой каморки на дневной свет, а вслед ему неслись православные церковные песнопения и запах ладана; у церковки, окруженной кипарисами, была высокая тонкая колоколенка, точь-в-точь такая же, как магометан-

ский минарет, откуда кричит муэдзин в татарском квартале. Столько древних народов уже прошло через Тбилиси! Изрядное время, около трехсот лет, пробыли здесь арабы, и не известно еще, не подмешали ли они капельку восточного обаяния в кровь благородного грузинского народа. Первое время Ондржей ходил, потеряв голову от красоты обитателей юга. Какие здесь женщины! Стройные и гордые, потому что носили в горы тяжести на темени и оттого должны были держаться прямо; работница идет величаво, будто королева; как умеет грузинка посмотреть своими дивными, загадочными, немного грустными глазами! Когда в Закавказье вторглись монгольские орды Чингисхана, его воины, говорят, избивали цепами всех грузинских младенцев. И глаза грузинок словно таят в тени ресниц тысячелетнюю скорбь. Нелепость. Нынешние грузинки веселы, как вино. Не так ли, Кето?

Ондржей и Кето познакомились в цирке. Из Батуми в Тбилиси приехала экскурсия комсомольцев; они ввалились в цирк в последнюю минуту. Как всегда в таких случаях, молодежь с шумом торопливо рассаживалась по местам, все смеялись, аплодировали, девушки обменивались шутливыми замечаниями. Впереди Ондржея села угольно-черная, живая, как искра, девушка; она болтала со своими более светлыми соседками, то и дело поворачивая к какой-нибудь из них свою красивую, точеную, обвитую косой головку с маленькими ушками и чистым профилем. Ондржею захотелось поцеловать девушку в смуглый желобок на шее, над которым даже от легкого дыхания шевелились пушистые тонкие волосы. Она разговаривала по-русски, но по манере говорить и акценту Ондржей решил, что это грузинка или армянка.

На трапеции работали не слишком искусные гимнасты. Брюнетка возмутилась:

— Да что они показывают! Любой физкультурник сделает то же самое в сто раз лучше.

— «Соколы» тоже,— нарочно громко сказал Ондржей.

Черноволосая девушка блеснула глазами, сверкнули белые зубы, она оглянулась, несколько раздраженная тем, что кто-то вмешивается в разговор. Этого-то и добивался Ондржей: он хотел увидеть лицо девушки. Оно было так же красиво, как и ее профиль, даже когда она хмурилась.

— Да вы, г р а ж д а н о ч к а, наверно, не знаете, что такое «Сокол»,— добавил он, как бы извиняясь.

Девушка ошеломила его.

— «Сокол»? Это еще в царское время было такое гимнастическое общество,— бросила она через плечо.

Ондржей изумился.

— В то время? В Грузии? Вы это серьезно? И оно называлось «Сокол»?

— Правда. Нам говорила об этом наш инструктор физкультуры.

На манеж выбежали великолепные арабские кони, в бархатных чепраках, с раскачивающимися на головах султанами. Наездница в коротенькой юбочке вскочила на самого красивого скакуна. Она ехала стоя, балансировала, раскинув руки, словно окрыленная, в центре звезды из светло-серых коней в яблоках. Наездница сразу же привлекла к себе внимание, околдовала всех, и щелканье бича, подобное выстрелам, прервало болтовню.

Завязать в антракте знакомство уже ничего не стоило; чех с грузинкой заговорили о старых чешских учителях гимнастики, разбросанных по всей России и занесенных ветром даже в Тифлис, как тогда неправильно называли город Тбилиси, Ондржей принялся рассказывать красивой девушке, какое большое значение имело для чехов Сокольское общество в Австро-Венгрии: оно помогало нам противостоять немцам, которые нас угнетали.

— Ну вот,— подхватила девушка.— Ваша буржуазия основала «Сокол», чтобы противостоять немецкой буржуазии, а грузинская — русской. Всюду одна и та же песенка.

Чертовская девчонка! Для нее все было просто! Ондржей, выдумщик по характеру, любивший помудрствовать, завидовал простоте и решительности мнений комсомолок, тому, как они умеют легко разрубать все узлы. Все-таки жизнь сложнее, бывают такие переплеты...

Прядение и ткачество издревле было женским ремеслом, и текстильщик Ондржей Урбан жил в окружении работниц. Километры белоснежной пряжи наматывались на шпули, насаженные на вращающиеся веретена, перед смуглыми лицами узбекских прядильщиц; нежная тонкая ручка грузинки натягивала в Тбилиси шелковую основу; ткали черноокие украинки, круглолицые русские, чернобровые армянки, узкоглазые азербайджанки; женщины с кожей различных оттенков — от цвета кедрового дерева до цвета оливы и розы — чередовались вокруг Урбана, опуская к машинам, которые они обслуживали, глаза различной формы. Но в Ташкенте, как и в Тбилиси, Ленин с острой бородкой наклонялся на плакате, под ним летело знамя, и он обращался к женщинам, говорящим на разных языках,— на языке Интернационала. И Сталин с живым, решительным выражением лица, лукаво прищурившись, с улыбкой глядел на цех, и ему было точно известно, почему все идет под гору в старой Европе, где безработного Ондржея вытолкали за ворота, и почему в стране трудящихся ткача могли сразу же взять на фабрику. Ондржей не голодал, не должен был больше

обивать пороги, он не был, как у себя на родине, в республике, бездельником, грязью на подошве, мусором, он снова стал человеком. Миновало то, что дома так мучило и унижало его. Он трудился, зарабатывал себе на хлеб, мог доказать свое уменье работать.

И все-таки поначалу ему приходилось совсем не легко; пожалуй, у него было даже тяжело на сердце, как в то время, когда мать увезла его, маленького мальчика, из Льготки в Прагу. Есть непоседы, которые быстро осваиваются и всюду чувствуют себя как дома. Куда Ондржею до них! Он был деревенский житель по характеру — неповоротливый, недоверчивый, основательный,— такому человеку нужно время, чтобы пустить корни на новой почве. Он — родом из «картофельного края», а под солнцем Узбекистана вызревает хлопок.

В самом деле, тот самый хлопчатник, засушенная веточка которого с плодом, похожим на лопнувший каштан, висела в застекленном ящичке, какие делают для коллекций бабочек, в улецкой канцелярии, позади прилизанной головы Колушека, здесь был живой, настоящий, он весело зеленел на плантации, цвел розовым цветом, созревал; коробочки лопались и топорщились серебром на неподвижном тропическом небосклоне, пока их не всасывало изогнутое жерло электрической хлопкоуборочной машины — огромного передвижного механизма, тут же, на плантации, очищающего хлопок от семян. И смуглые узбеки в тюбетейках всех цветов радуги везли спрессованный хлопок с поля прямо на фабрику. Здесь не были страшны никакие Казмары. Серебристое сокровище — хлопок — принадлежало смуглым людям, которые его выращивали и убирали, пряли, ткали и красили. Социализм и экзотика, словно лучи двух прожекторов, скрестившись, поймали бывшего казмаровского ученика. Ослепленный тропическим солнцем, он вначале ходил, беспрестанно всему удивляясь. Чего тебе еще надо — ведь так хорошо странствовать по свету, чтобы проверить себя, проехать по чужим краям, которые ты видел только в игре теней на полотне экрана, и повстречать предметы, о которых рассказывал покойный отец и которые ты видел на картинках в Библии. Ондржей радостно, прямо по-детски рассмеялся, увидав впервые верблюда трех волхвов: это древнее мудрое животное тащило арбу с бочкой, заменяя лошадь, а рядом шел крестьянин в тюрбане, как в сказках из «Тысячи и одной ночи», и оба двигались в безграничной стране по ровному шоссе, уходящему прямо к горизонту. Его обогнал монгол на мотоцикле, и он тоже несся прямо в небо — не разобьет ли он себе голову об этот неподвижный эмалевый свод? В ослепительном сиянии неба и в необъятном просторе земли было что-то тоскливое. Ондржея преследовало глупое ощущение, что Азия его проглотит. Непривычный климат, невиданная прежде аз-

бука, чужая речь, вавилонское смешение языков, постоянно напряженное внимание, чтобы понять, чего хотят от него на фабрике,— это было слишком много сразу, и потому в сознании Ондржея все путалось. Знойная духота свинцовой шапкой сжимала голову, и он, обливаясь потом, слыша все точно во сне, двигался как автомат. Но несмотря на это, Ондржей делал все правильно. Только бы знать, что я вернусь когда-нибудь к себе на родину! Он страдал от тоски по маленькой прохладной стране, где воздух насыщен запахом смолы, где текут певучие ручейки, которые мерещились ему по ночам, когда у него пересыхало горло, губы казались засыпанными песком, и он не мог спать. Он тосковал о маленькой прохладной стране, обрекшей его почти на голодную смерть. Но туда возвратилась Нелла Гамзова, там была мать, отцовская могила под ивой на Маречковом кладбище, ольшаник, куда он хаживал с Лидкой, Влтава, Градчаны, Национальный театр, там говорили по-чешски.

Но грохот машин всюду одинаков, в их шуме всегда слышится «Интернационал», хотя чешский рабочий Ондржей Урбан вначале различал в бурном концерте труда голос только «своих» машин. Всюду на свете одинаково летает челнок на ткацком станке; в Ташкенте у тебя та же работа, что и в Улах, и тот, кто знает ее принципы, уже с первого взгляда поймет небольшие различия. Поэтому рабочие договариваются скорее, чем ученые люди,— они могут наглядно показать, что требуется. В грохоте станков все равно не слышно даже собственных слов. И бердо и уток знает всякая ткачиха. Кто же их не знает! Даже эта старуха бухарка с длинными косами, которая подписывалась тремя крестиками и тем не менее замечательно ткала сложные узоры восточных ковров!

Пока фабрика работала, Ондржей чувствовал себя на коне. Но едва станки замолкали и девушки кончали работу, ему начинало казаться, что он среди них самый младший. Разумеется, он не показывал виду и ходил, подражая походке Францека Антенны, вел себя молодецки. Но скажу вам по секрету, только не распространяйте дальше,— Урбан вначале побаивался бойких комсомолок. Он невероятно коверкал русский язык, не умел писать, да и в политике был подкован плоховато. Он, как мальчишка, посматривал на новый мир через частокол чертовски трудного русского алфавита.

К счастью, молодые люди умеют разговаривать глазами и читать улыбки; сразу догадываешься, что две девушки, сидящие за столом напротив, говорят о тебе. Ондржей заботился о своей внешности, а девушки замечают это сразу. Всегда у него были при себе расческа и зеркальце, он тщательно снимал со спецовки пушинки хлопка и, прежде чем войти в фабричную столовую, причесывался. Скрывая робость, он вел себя как мужчина, желающий произвести

впечатление. Лукавые комсомолки заметили это. Они не были так жеманны, как улецкие девицы на выданье; те ни за что на свете не начали бы знакомства первые, а ждали бы, когда парень подойдет сам; но уж если он присоединялся к ним, они поспешно начинали соображать, за кем из них он будет ухаживать. Когда комсомолки чем-нибудь интересовались, они просто подходили и спрашивали.

Кудрявая курносая прядильщица пересекла зал и остановилась перед Ондржеем.

— Разрешите спросить, гражданин,— начала она,— вы из Чехословакии?

— Так.

— Чудесный зефирчик,— заметила она.

Она взяла рукав рубашки Ондржея, пощупала материю с видом знатока и с женским любопытством стала рассматривать полоску.

— У нас тоже будет такой. Даже лучше. У вас рабочие любят красиво одеваться, правда?

— Только не на что! — с горечью вырвалось у Ондржея.— Это старая рубашка. Теперь у них нет даже на еду,— он показал пальцем на свой рот.— Они без работы. Понимаете? Кризис.

— У нас его никогда не будет,— сказала девушка.— Здесь всегда, всегда есть работа! У нас работал один чехословак, Черный,— шаловливо произнесла она фамилию на русский лад.

Ондржей жестом остановил ее.

— Такой большой? — показал он рукой довольно высоко над своей головой и тут же втянул щеки и провел по ним большим и средним пальцем сверху вниз, чтобы показать худобу.— Такой сухой? Антенна. Мы звали его Франтек Антенна. Работал...— У Ондржея выскочило слово из головы, и он показал, как погружают руки в воду, и медленно поднял их, словно вынимал что-то тяжелое, поднимал из котла пропитанный влагой кусок материи. Он хотел наглядно показать: красильщик.— Куда отъехал Франтек, не знаете?

Прядильщица пожала плечами.

— Говорили — в Баку. Хороший был парень. Он танцевал с нами, декламировал, пел, вел себя по-свойски... Но такой уж был это человек — он нигде не мог долго усидеть.

— Франтек, наверно, сразу же заговорил по-русски,— произнес Ондржей несколько ревниво.

— Да и по-узбекски тоже,— засмеялась девушка.— Фатима, скажи! Он с первого слова понимал каждого.

Смуглая узбечка в тюбетейке улыбнулась, показав белые, как сахар, зубы, и утвердительно кивнула.

— Жаль, что я не застал его здесь! — вздохнул Ондржей.— Ну, что ж поделаешь!

И движением головы, которое когда-то давно, еще казаровским учеником, подсмотрел именно у Франтека Антенны, он откинул прядь волос со лба.

Обе девушки внимательно посмотрели на Ондржея.

— Почему вы носите такие длинные волосы? — спросила разговорчивая прядильщица.— Ведь вам, должно быть, очень жарко. Все мужчины здесь стригутся наголо. Франтек в первый же день остригся.

Не мог же Ондржей признаться: потому что мне это больше идет! Позволить так учить себя! Но он не остался в долгу у девчонки.

— А сами вы что же, г р а ж д а н о ч к а? — спросил он и, прикоснувшись к живым девичьим пальчикам, показал пальцами, как стригут ножницы: — Вы же не позволите остричь себя наголо?

— В е р н о! П р а в и л ь н о! — засмеялся басом один из комсомольцев.— Попалась, Шура!

Довольный своей победой, Ондржей поступил опрометчиво.

— Позвольте мне тоже спросить,— обратился он к девушкам.

Он показал подбородком на висевший над шахматным столиком портрет какого-то бородатого человека, у которого был широкий черный галстук на шее. Ондржею показалось, что он где-то уже видел его. Одеждой он напоминал Яна Неруду на картинке в школьной хрестоматии.

— М а й с т е р п о ш а х м а т ы? — спросил он.

Девушки переглянулись. Они не поняли. Шура спросила:

— Гражданин, вы что, близорукий?

— Нисколько! — вырвалось у Ондржея.— То есть н е м н о ж к о,— забормотал он.

Он увидел, что попал впросак.

— Ах, вот в чем дело...— протянула кудрявая прядильщица.

По тону было понятно, что она очень мало верит в близорукость Ондржея.

Тут к ним присоединилась совсем молоденькая узбечка: она что-то укоризненно затараторила, обращаясь к обеим девушкам постарше и как бы заступаясь за Ондржея. Она взяла его за руку и с детской горячностью потащила к портрету. Не отпуская эту большую мужскую руку, девушка, будто на уроке письма, стала водить указательным пальцем Ондржея по надписи под стеклом и прочитала:

— Карл Маркс. Повторяй за мной: Карл Маркс. Вы разве не учили о нем в школе? Не беспокойся, все догонишь,— сказала она.— Дедушка этого тоже не знал.

Да, на этот раз Ондржей опозорился.

И вот Ондржею уже кажутся сном первые шаги в Ташкенте, когда комсомолки взяли его в работу и стали учить читать по слогам «Правду». Господи, как он лез из кожи, чтобы не осрамиться перед девчонками. Но когда он писал, постоянно путал «б» и «д». Он всегда выводил верхний хвостик не в ту сторону. Но сейчас он уж хорошо знает русский язык! Трудно даже представить себе, что возможно было такое забавное недоразумение, когда женщина, мывшая фабричную лестницу, чуть не шлепнула его тряпкой, потому что он крикнул механику Лысенко «По́зор!» вместо «Осторожней!»; тот засмотрелся на какой-то физкультурный плакат на противоположной стене и, не глядя себе под ноги, едва не опрокинул ведро. В то время Ондржей, конечно, не подозревал, что слово «позор» означает по-русски «стыд», а разозленная уборщица приняла восклицание на свой счет. Все кажется теперь сном: тоска, забавные приключения и потом серьезная болезнь. Ондржей был на волосок от смерти — он заболел менингитом. Его удалось вылечить в Ташкенте при помощи инъекций и других средств, так что болезнь прошла бесследно, но Ондржею посоветовали жить в более умеренном климате.

Под кавказским небом Ондржей окончательно поправился, обосновался в Грузии, сросся с карханой в Тбилиси и теперь вдыхает южный горный воздух и характерный запах шелковых коконов, которые перед размоткой опускают в горячую воду.

Когда-то давно, еще во времена Византийской империи, два миссионера вернулись из Китая в Царьград. Они отряхнули пыль с сандалий, постучали полыми бамбуковыми посохами, и перед императором Юстинианом высыпалась горсточка каких-то зернышек, похожих на мак. Зернышки были живые, дышали, хотя и незаметно для всех. Это были яички невзрачной, в серовато-грязном наряде, ночной бабочки. Но у этого скромного ночного мотылька — чудесные дети. Его гусеницы прядут нить. Два монаха принесли в Византию с далекого Востока богатство большее, чем глыба золота, которую каждый из них мог бы унести на своих плечах.

Гладкая и блестящая пряжа, тонкая и шелковистая, как косы русалок, золотистая, как волосы принцессы Одуванчик,— неужели это отвердевшая слюна безобразных гусениц, невероятно прожорливых? На шелководческой ферме выращивают целые леса тутового дерева — шелковицы для гусениц шелкопряда, прежде чем они примутся за работу, за удивительную таинственную работу в лаборатории природы. Как ловко обматывают гусеницы вокруг себя двойную коконную нить! Какой у них опыт! Это древние-предревние китайские прядильщицы, много-много старше, чем те три

пряхи судьбы и все сказочные пряхи. Ведь кокон — это тот самый орех, в котором феи послали Золушке бальное платье.

Я знаю вас, феи. Вереница работниц, аллеи машин. Природа запутала свою чудесную работу, и над шелком приходится немало потрудиться, прежде чем он увидит свет. Коконы запаривают в горячей воде, и тогда кончик шелковой нити отделяется, продевается в стеклянный глазок, несколько нитей скручиваются в одну и наматываются на мотовило,— словом, не так-то просто получить моток шелка-сырца.

Нити для основы скручиваются иначе, чем для утка. Они еще липкие после работы гусениц, их нужно очистить от клея. При запарке коконов по цеху разносится характерный запах. Ондржей любил этот запах. А если шелк должен быть особенно белым и мягким, он вдобавок пропускается через серную камеру. Отбеленная пряжа хрустит в руках, как снег под ногами.

Шелк наэлектризован, будто девичьи волосы, шелк нежен, как девичья кожа, шелк шевелится, шумит, шуршит и поет. У каждого вида волокна свой характер. Лен — это го́рец, шерсть — крестьянка, хлопок — барышня. Шелк, такой нежный на ощупь, блестящий, как вино или влюбленные глаза, шелк — это обольстительница-авантюристка с далекого Востока. Куда только она не проникала! Из империи сына Солнца в страну турецкого Полумесяца; она побывала в гареме султана, в розовых садах персидского шаха, у венецианского дожа, при дворе французского короля. Она видела торжественные богослужения и пышные коронации, придворный блеск, аристократическую заносчивость, альковы куртизанок, грацию пасторалей, чванство заморских купцов. История драгоценной ткани, прохладной летом и греющей в зимний холод, тонкой, прочной и эластичной, тесно связана с историей классов. С упадком рыцарства шелк перебрался из замков в города; революции вздымались и спадали, засыпа́я в тихих заводях буржуазного быта; дорогая ткань исчезала из богатых покоев, на шелковой обивке которых были вытканы эпизоды из античной мифологии, и уселась в кринолине цветочками на полосатое канапе, к кексам и кофе.

Состоятельным человеком с двойным подбородком, с молитвенником в руках шелк шелестел, направляясь в церковь под звон колоколов к поздней обедне, и давал деньги в рост. Куда девалась обольстительная авантюристка с далекого Востока? Худощавая, как мальчик, и раскрашенная по парижской моде, она стала манекенщицей на выставках мод и танцевала в барах. Во время первой мировой войны нравы стали свободнее, и она сбросила нижние юбки, подрезала верхнюю и манила прозрачными чулками и бельем, розовым, как девичья кожа.

Но здесь, в стране утренней звезды, были другие заботы. Интервенция угрожала молодому рабочему государству со всех сторон; солдатское сукно из грубой крапивной пряжи, потом рабочие блузы совсем вытеснили шелк. Он доживал свой век в церковных облачениях, его донашивала старая буржуазия и нэпманши. До нежного ли шелка было мозолистым рукам первых двух пятилеток, черным от угля и жестким от металла! Но в третью пятилетку жизнь стала легче, электрическая энергия, оживив главнейшие артерии страны, проникла в тончайшие ее капилляры, пришло время подумать о маленьких радостях жизни. Застучали моторы, вращая веретена, челноки выскочили из «коробочек» и забегали через гладкую основу. Потоки белого муслина стекают с навоев, словно вода с запруд, и целое черное море тафты волнуется в сепараторах закавказских красилен. Армянские и грузинские красавицы, как вообще все южанки, любят черный шелк, может быть, по контрасту с пышной пестротой природы, которая их окружает. А летом весь Тбилиси надевает белое. Азербайджанки, украшающие деревянные галереи гирляндами красного перца и нанизанными на нитки цветами шафрана, предпочитают более яркие краски. Они носят на иссиня-черных волосах платки цвета подсолнуха, а на плечах — ярко-лиловые шали, подчеркивающие оливковую смуглость восточных лиц. На весь Советский Союз ткут и красят в Тбилиси пламенный шелк для пионерских галстуков. Спрос на них все время растет. Шелк стал народным и весело развевается на свежем ветру.

Ондржей прилепился сердцем к своей кархане, раскинувшейся в солнечном саду на берегу речки Вере, и не дал бы ее в обиду. Что из того, что в Кутаиси построили новые текстильные комбинаты. Он чуть-чуть завидовал им. Ведь здесь прежде была старая табачная фабрика, которую превратили в шелкоткацкую. Но она работает — и как! Двести процентов плана! Ондржей приехал в Тбилиси, когда фабрику еще только пускали, он помогал ей сделать первые шаги, видел, как растут аллеи станков. Сколько их было на его попечении! Некоторое время он работал подручным, пока не освоился с производством шелка, потом стал помощником мастера. Ондржей обслуживал сорок станков, на которых работало десять ткачих. Он распределял работу и следил, чтобы станки были в порядке. И они его слушались! У мужчины как-никак побольше силы, чем у женщины, ему легче наладить механизм, который закапризничал, и заставить станки работать без брака.

Ондржею удалось кое-что сделать для повышения производительности труда. Взять хотя бы эту неуклюжую возню с навоем. Однажды, когда понадобилось отмотать основу и Нина позвала Ондржея на помощь, ему пришло в голову, что нужно какое-то

приспособление, чтобы было легче вращать и тормозить навой по мере надобности. Но как? Каким образом? Ондржей долго бился, отвергая одну за другой всевозможные идеи. Наконец ему пришло в голову укрепить навой на подставках с шарикоподшипниками так, чтобы сновальщица могла поворачивать его, как ей нужно. Может быть, следует вообще создать более практичный сновальный станок? Он знал его как свои пять пальцев, ведь он сам когда-то у Казмара, будучи учеником, помогал Галачихе, когда она протягивала основу через бердо. Он долго пробовал, пока ему не удалось поместить гири сразу же за зевом у листов; гири можно было переставлять по желанию сновальщицы. Она сама будет подавать нити, и одна рабочая единица отпадет. Он подал рационализаторское предложение; товарищ, который умел чертить, помог ему. С бьющимся сердцем сидели они на заседании, где должно было все решиться. Что скажут об этом специалисты? Предложение было принято, и Ондржей почувствовал себя наверху блаженства.

— Зайдите поговорить после смены,— сказала ему Софья Александровна, директор фабрики, своим низким внушительным голосом.

Софья Александровна, по национальности армянка, высокая сильная женщина, казавшаяся старше своих сорока пяти лет, с узким восточным лицом, большим носом и маленькими руками и ногами, происходила из тифлисской дворянской семьи. Но ее родители были революционерами. Отец еще в царское время сидел как политический в крепости Метехи одновременно с Кецховели, другом Сталина, и Софья Александровна гордилась этим. Было известно, что студенткой она принимала участие в Октябрьской революции в Петрограде, видела и слышала самого Ленина, когда он выступал на Втором историческом съезде Советов в актовом зале Смольного. Своим воинственным характером Софья Александровна мало походила на женщину; но когда она вспоминала эти события, ее узкие зоркие глаза наполнялись слезами. В старой Европе с трудом могут представить себе то чувство благоговения, с каким относилась к новой шелкоткацкой фабрике Софья Александровна. Ее послала сюда партия, и она берегла доверенное ей дитя пуще глаза. Софья Александровна была чрезвычайно энергична. Когда она проходила мимо вас своим тяжелым военным шагом, вы почти слышали скрип кожаной офицерской портупеи и вспоминали, что во время гражданской войны заряженный револьвер был, вероятно, для нее привычным спутником, как сейчас — остро отточенный язык. Дело свое она знала.

«Что же я натворил, за что она вызывает меня к себе на расправу?» — подумал Ондржей, когда Софья Александровна пригла-

сила его в свой кабинет. В нем ожил рефлекс, воспитанный Казмаром: к начальству человека зовут для нагоняя, больше ни за чем.

В кабинете Софьи Александровны было сильно накурено. Она дымила, как труба. В облаках дыма вырисовывался ее орлиный нос, крутой, как хребты Кавказа. Позади нее на стене висел хороший, слегка пожелтевший от времени портрет молодого Сталина. Софья Александровна предложила Ондржею сесть, протянула ему папиросы, а когда он поблагодарил, сказав, что не курит, закурила сама.

— Ну вот что,— сказала она.— Когда вы начнете учиться? Фабрика хотела бы сделать из вас инженера-текстильщика. Я рекомендовала послать в текстильный институт двух работниц и вас.

Смущенный Ондржей вспыхнул от радости.

— А... вы не ошибаетесь? — пробормотал он.— Вы думаете, что я справлюсь, Софья Александровна?

Та рассердилась.

— Отвечайте прямо: хотите вы учиться или нет? Никто не оторвет вам голову, если у вас нет такого желания. И ваше место у вас тоже никто не отнимет.

— Я бы с охотой — да еще какой — пошел учиться,— признался Ондржей.— Только я не очень в себе уверен.

— Если вы чего-нибудь не поймете, помогут другие. А вы им поможете в свою очередь. Идет?

И для Ондржея настали годы такого труда, какой и не снился студентам — они ведь начинают все с самого начала, проходят весь курс исподволь, ступеньку за ступенькой, чтобы не переутомиться, и посещают лекции, где все объясняют профессора. Рабочие должны были работать и одновременно учиться. Они занимались заочно. Текстильный институт, тбилисский филиал московского, снабжал учащихся учебными заданиями, которые сдавались раз в неделю, по понедельникам, и после этого учащиеся получали новые задания.

Трудно представить себе, какое количество работы можно выполнить за один день — и на фабрике, и сидя за учебником, и сколько знаний вмещается в одну человеческую голову! Вначале у Ондржея было ощущение, что голова у него буквально пухнет от всех сведений, которыми он наполнил ее. Он почти удивлялся, что шляпа, привезенная им еще из Чехословакии, не стала ему мала. Голова была тяжелая, как набитый дорожный мешок, и болела. Существует не только тренировка мускулов, нужно тренировать и мозг. Самое трудное для рабочего — привыкнуть учиться. Не повторять слово в слово, как граммофонная пластинка,

а понять и запомнить самое основное и уметь выразить своими словами, и тогда дело пойдет на лад.

Ведь Ондржей с пятнадцати лет жил среди текстильных машин; собственными руками он бросал на весы тюки прессованного хлопка и кормил ими колючую чесальную машину, эту обжору, которая перерабатывает за день стог сырья; стоя у чесальной машины, он следил за тем, чтобы бесконечная красивая белая лента правильно укладывалась в тазы. Он сполна освоил казмаровскую школу, стоя в вихре хлопковых пушинок под стук машин и проклятия мастеров. Вот она, старая «мюль-машина» еще из мастерской Тиры, эти двойные салазки, что ездили по рельсам навстречу друг другу, с фыркающими веретенами. Это сельфактор, который прядет на четыре фазы. На страницах учебников называлось величественнее, по-ученому, но на скверной бумаге станки лежали перед Ондржеем как мертвые, один только скелет. Однако волков бояться — в лес не ходить. К счастью Ондржея, из схемы вырастала «живая» машина. При виде старого станка, ткавшего полотно, приговаривая: «На сахар, на кофе, на сахар, на кофе...» — и возле этого тяжелого, для выделки парусины, который рассуждал: «Не сегодня, а завтра, не сегодня, а завтра...» — ему сразу делалось веселей. Ну, для третьей пятилетки эти станки не подойдут! Быстроходные револьверные станки лучше. И в жаккардах Ондржей тоже разбирался, почему бы нет! Уже в восемнадцать лет он работал не хуже опытного мастера: он продергивал соответственно узору внизу подъемные шнуры сложной машины, подобной башенке, в призму перфорированных карт, находящихся на верху остроумного жаккардового станка, на котором можно создавать неограниченное число рисунков на ткани. Сейчас в Тбилиси ткали на жаккардах зефир для сорочек советским молодым людям, которым опротивели вышедшие из моды косоворотки. В Советском Союзе уважали бы изобретателя Жаккарда. Его бы тоже послали учиться в институт. Никому не пришло бы в голову бросить его в реку за то, что он изобрел свою машину. «Постойте, как же назывался тот город, где он жил? Лион, ага... Лионский дом шелков на Вацлавской площади... там я встретил безработного шлихтовальщика из Находа, он играл на пиле, и пила плакала. Ведь лионские ткачи первыми начали бастовать на мануфактурах».

— Нина, когда это было — в семнадцатом или в восемнадцатом столетии?

Сновальщица Нина знала даты и имена и любила историю, эти сказки для взрослых. Ольга, как большинство женщин, живее интересовалась материалом, волокном, переплетением нитей, тканью, а не конструкцией машин, хотя и работала на них очень

ловко и проворно. Ондржей любил механику и конструкции машин; заглянуть в нутро машины, добраться до ее суставов — вот это было ему по душе. Но начертательную геометрию дружно проклинали все трое.

Они собирались для совместных занятий в небольшом зальчике клуба и помогали друг другу, как умели. Ондржей — девушкам в расчетах, Ольга же очень хорошо делала обводку на чертежах.

Если не нужно было чертить, а погода была хорошая, они садились в фуникулер и с тетрадками поднимались на гору Давида, где в будни было безлюдно, и Тбилиси — прекрасный, как искушение дьявола, город — лежал у их ног. Там они занимались, вдыхая аромат персидской сирени. В Тбилиси мягкий климат. Осень и весна протягивают друг другу длинные теплые руки через узенькую зимнюю стенку, которую едва успевает запорошить снегом. На горе Давида день еще длится, когда на долину ложится тень и розовые каменные домики лиловеют над желтой рекой Курой, которая под вечер становится зеленоватой, и здания, построенные при Советской власти, все еще выделяются в сумерках своей белизной.

В вечерний час на горе Давида Ондржею вспоминались его прогулки на вершину Жижковского холма вместе со Станиславом Гамзой. Говорят: счастливые детские годы... Это неправда! Ондржей не хотел бы снова стать маленьким. Его детство было омрачено бедностью и заботами об овдовевшей матери, которая не умела жить и безропотно сносила обиды. Мать угнетала мальчика беспомощным унынием бедняков, и он долго не доверял людям, пряча свое недоверие под личиной гордого одиночества; его юность растоптал Казмар.

Но Ондржей отправился в страну трудящихся и там выпрямился, поднял голову, ему вернули человеческое достоинство. Старая большевичка взялась за него и засадила за книги. От некрасивых серовато-желтых чертежей словно исходил какой-то свет, и вещи, известные Ондржею только по опыту, только частично, и как бы на ощупь, как слепому, делались прозрачными и шли ему навстречу. Из первобытного хаоса в голове возникал свет. Любимый Ондржеем свет механики и динамики, оживленный электрической искрой.

Если бы в Улах товарищ сказал Ондржею: «Ондржей, ты будешь работать на фабрике, где привратник в юбке, а директор — баба, и эта женская фабрика сделает из тебя инженера-текстильщика»,— Ондржей сочувственно постукал бы приятеля пальцем по лбу: «Братец, да в своем ли ты уме?» Если бы несколько лет назад кто-нибудь в Чехословакии произнес в присутствии Ондр-

жея название города — Тбилиси, Ондржей рассеянно спросил бы: «А где это? Сроду о нем не слыхивал!» А сейчас Ондржей здесь как у себя дома. Он сжился с прекрасным восточным городом, который рос у него на глазах; он застал Тбилиси в то время, когда тот сбрасывал с себя запыленные татарские чувяки и надевал сапоги, непромокаемые сапоги, чтобы привести реку в порядок. Ондржей еще помнил берег Куры, почти отвесный, заваленный мусором; а сейчас по красивой белой набережной прогуливаются парочки; набережная строилась днем и ночью, прожекторы ночных смен ярко, как солнце, освещали ее; Ондржей обходил бетономешалки на проспекте Руставели, полном асфальтового дыма, и высаживал с молодежной бригадой деревца на голой горе Давида и в садике вокруг фабрики.

Ткать — какое это чудесное мирное занятие!

После множества страданий и унижений безработицы он собирался счастливо жить со своей милой в городе шелка, охраняемом горами и течением ласковых горячих источников. Ведь Тбилиси по-грузински значит «теплый источник», и об основании этого города на Кавказе рассказывают историю, сходную с легендой о Карловых Варах в Чехии, которые сейчас нацисты хотят отторгнуть от нее вместе с пограничными горами.

Почему это так мучило Ондржея? Что значила для него маленькая, холодная, такая далекая страна? Она ощутимо дала понять, что его руки ей не нужны и что она не считается с ним. Почему же ему так больно за нее, как за самого себя? Граница, колючая, будто заградительная проволока, не выходила у него из головы, и так тяжко лежал у него на сердце пограничный камень. Ондржей немного стыдился, что он живет здесь этой волшебной осенью, укрывшись на Кавказе, и только издали наблюдает, как на другом конце Европы, у дождливых Альп, без нас решается наша судьба. Как там, над пропастью, головокружительно качаются весы политики! Ондржей цепенел при мысли, что Чехословакия, страна кристальных горных источников, упадет с них и расколется на куски. Если мы не уступим, отступятся ли они? Будет или не будет война? Можно с ума сойти от этой растягивающейся политической гармоники. Все-таки мы не сдадимся! Ни за что на свете! Это был бы конец республики. Чудовище Гитлер!

— Взять ружье да застрелить его! — пылко воскликнула маленькая шестнадцатилетняя подсобница.

Это была сущая пигалица, но вид у нее был очень решительный, и девушки засмеялись.

— Ну, куда тебе! Разве что в парке культуры застрелишь фанерного Гитлера!

В парке культуры и отдыха на лужайке стояли фанерные политические карикатуры в рост человека и среди них Гитлер, с диким вихром над глазами и щеточкой усов над широко разинутым ртом, выкрикивающий угрозы по радио.

— Это дело рук не только Гитлера,— холодно заметила Софья Александровна.

— Но и глупца Чемберлена и жалкого Даладье,— добавил Ондржей.

— И вашего правительства тоже,— резко досказала Софья Александровна, глядя в упор на Ондржея.— У вас там плохое правительство, Андрей Вячеславович, оно плохо знает своих друзей.

Ондржей в самом деле не остался в одиночестве со своей тревогой за родную страну. Все принимали близко к сердцу события в Чехословакии. Сочувствие проявлялось на страницах «Известий» и «Правды», смотрело на вас с плакатов, говорило по радио, оживало на собраниях. Ондржей никогда не забудет митинга протеста против готовящегося отторжения от Чехословакии ее пограничных районов. Разумеется, было страшно, страшно видеть на карте знакомый-презнакомый, узкий, вытянутый контур нашей республики, уже зажатый между странами, захваченными оголтелым фашизмом, как раковой опухолью, страшно было видеть Чехословакию вместе с Австрией, Испанией и Абиссинией. Но нужно смотреть правде в глаза и протестовать против беззакония. Протестовал комсомол, протестовали фабрики, протестовали ближайшие к Тбилиси колхозы. И Ондржей выступал на митингах как чех, позабыв свою робость, бил тревогу, изливал сердце. Он и раньше любил Советский Союз, где ему дали работу, где просветили его, где он нашел любовь, но сейчас он любил его вдвойне. Он понял: рабочее государство, большее, чем одна часть света,— это защита угнетенных, совесть мира.

А потом последовали удар за ударом. Туча, которая заслоняла от Ондржея то упоительное воскресенье на Зеленом мысу, сгустилась, разразилась громом, и новости посыпались градом.

«Под давлением французской и английской реакции чехословацкое правительство уступило бесстыдным требованиям немецких фашистов». Ондржей переводил это по-своему: предательство! Значит, у нас уже сдались! Нет, напротив! «Сто тысяч рабочих под руководством Клемента Готвальда горячо протестуют против капитуляции,— читал Ондржей телеграммы ТАСС по дороге на фабрику.— Буржуазное правительство сметено. Власть перешла в руки военного правительства».

Ондржею врезалась в память одна минута. Он стоял с монтером и конструктором в новом, только что отстроенном здании цеха; оно было пусто, и в нем еще пахло, как на всех новостройках,

сыростью, к которой примешивался запах запаренного шелка, пропитывающий все цехи. Был ясный день второй половины сентября, шел десятый час. В цехе размещали новые станки. Ондржей держал в руках чертеж и отступал перед утренним солнцем, которое освещало бумагу. Как мостик, переброшенный с солнца на землю, косой луч света, полный бархатистых, кружащихся в воздухе пылинок, ложился на пол перед Ондржеем. За окном из-за зеленых деревьев выглядывал белый купол цирка.

— Насадить еще пусковой эксцентрик,— сказал Ондржей.

Ваня насадил, и стук молотка прозвучал в пустом помещении, как колокол на вокзале.

Маленькая подсобница просунула голову в дверь.

— Андрей Вячеславович здесь? — спросила она, уже направляясь к нему.— Телеграмма, Андрей Вячеславович!

Ондржей знал, в чем дело, еще даже не распечатав телеграммы. Его военный поручитель Гамза сообщал, что призывается год Ондржея. Ондржей должен лично явиться в чехословацкое посольство в Москве.

Какую-то долю секунды еще существовали освещенный солнцем цех, запах извести и шелка, нетерпеливое ожидание Кето, которая должна была приехать в субботу вечером, новые станки и сноп косых солнечных лучей; и вдруг вся жизнь Ондржея, налаженная с таким трудом, закончилась и рухнула, и он полностью переключился на подготовку к отъезду.

Он ехал с востока на запад, к Черному морю, и перед ним возникал милый образ Кето. Ондржей надеялся, что еще увидит ее, настоящую, живую. В Сухуми он высунулся из окна вагона и проглядел все глаза, стараясь не пропустить момента, когда к нему подбежит девушка с косой, обвитой вокруг небольшой головы. Но Кето не было. Ондржей слишком поздно дал телеграмму, в которой просил приехать в Сухуми попрощаться, и Кето, очевидно, опоздала. Дальше Ондржей ехал, увозя с собой несказанную тоску и ощущение пустоты и призрачности, которые охватывают человека, если не состоялась долгожданная встреча. Справа Кавказские горы, слева море. Он прощался с волшебным краем. «На войну, на войну»,— выстукивали колеса свою старую дорожную песню. Который раз приходится Ондржею томиться в поездах!

Его визави, человек с набитым портфелем, видимо, совсем не интересовался мелькавшими за окном видами. Он положил на портфель четвертушку бумаги и стал что-то писать; иногда он поднимал голову, смотрел перед собой и думал, потом снова усердно принимался писать огрызком карандаша в негнущихся пальцах. Вероятно, партийный работник.

Как древний рай из Библии с картинками, лежала позади тихая Аджария с детскими мандариновыми садами. Поезд шел с юга на север, от гор к степям, которые сверкали пятнами солончаков; проехали перламутровое Азовское море. В Ростове нахлынули пассажиры. Теплый, густой, возбуждающий воздух промышленного города вытеснил кристально чистый горный озон.

Три дня и три ночи длится путь из Тбилиси в Москву. До слуха путников долетали такие тревожные известия, что темнело в глазах, будто вам в глаз попал уголек, когда вы высунулись на ходу из окна вагона. Как же, собственно, обстоят дела? Франция объявила частичную мобилизацию. Но Чемберлен сказал, что не позволит втянуть Британскую империю в войну из-за такой маленькой, никому не известной страны, как Чехословакия.

Ондржей никогда не забудет Харькова в роковом сентябре. Поезд долго не мог подойти к огромному шумному вокзалу и застрял в путанице путей. Ждать пришлось из-за воинских транспортов. «Всюду одни солдаты. Эшелон за эшелоном идет на запад, ко Львову и румынской границе»,— намекали пассажиры в вагоне. Для великой рабочей державы, в пределах которой не заходит солнце, мы не были маленьким, никому не известным государством. Здесь знали, что мы, чехи,— мужественный демократический народ, которому нужно прийти на помощь. «Смерть фашизму! Да здравствует свободная Чехословакия!» — написали красноармейцы на воинском составе. Ондржей видел, как в вагоне встречного поезда смеялись, хмурились, сыпали шутками, спали, курили. На него пахнуло дымком махорки, затрепетали звуки гармоники, скорый тронулся. Ондржей еще некоторое время жил этим последним впечатлением. Мы не одиноки, товарищи! Советский Союз не даст нас в обиду! «Нам на помощь, нам на помощь!» — поезд торопился, поезд пел свою старую дорожную песню, и у призванного на войну солдата становилось веселей на душе. Ондржей заговорил со своим соседом — с гражданином, который так усердно писал что-то. Слово за слово, и когда человек услыхал, что Ондржей из Чехословакии, сказал:

— Ваш Готвальд — х о р о ш и й ч е л о в е к.

Значит, нас знают. И это обрадовало Ондржея, на сердце у него потеплело.

Он проезжал Украину, где воздух благоухает так же, как у нас на Гане, близкую родную страну, гигантскую советскую Моравию. Яблони обступили белые и бледно-голубые хатки, женщины, повязанные платками так же, как в Улах, смотрели вслед поезду. Высокие гребни лесов, шуба страны, охраняли огромные колхозные пашни со скирдами, большими, как дом; оставалось только удивляться — где же люди, которые обрабатывают эти поля? Поезд

поглощал километр за километром, но нигде не было ни души. Только тракторы! Земли вокруг было столько, что вы начинали понимать: не только огонь и вода, но и земля — стихия!

Зеленые озими и лиловые пашни чередовались однообразно до одури, и солдату, который ехал призываться, казалось, что дороге нет конца, что пройдет целая вечность, пока поезд доберется до Москвы, и что Ондржея привлекут за опоздание к ответственности.

Воздух, веющий из окна, становился все прохладнее, приветливая Украина побледнела и исчезла за горизонтом. Навстречу поезду бежали целыми отрядами белые стволы берез в золотых париках. «На север, на север, к осени»,— стучал поезд, вечный поезд Ондржея.

Ондржей вышел на Курском вокзале и затерялся крохотной капелькой крови в артериях Москвы.

Когда он наконец вынырнул на улице Герцена и оказался в не слишком гостеприимном, как ему показалось, особнячке чехословацкого посольства, он был бледен как смерть. От холода и усталости, а главное, от новостей, от той ошеломляющей новости, которую он уже узнал из «Правды» и которой все-таки не хотелось верить. Стоя навытяжку с документами в руках, он представился как унтер-офицер Ондржей Урбан, военнообязанный, год которого призван по мобилизации.

Чехословацкий офицер, сидевший за письменным столом, оглянулся.

— Эх, бедняга! — воскликнул он.— Возвращайтесь туда, откуда приехали. Все кончено. Войны не будет, и завтра немцы отбирают у нас горы.

Ондржею показалось, что офицер взбешен до слез. Значит, Ондржей может вернуться к Кето. А как я погляжу ей в глаза? А Софье Александровне? Это позор. И Красная Армия уже готова была поддержать нас. Он возвратится на фабрику, от которой оторвался с такой болью. Опять три дня и три ночи в пути — и он в прекрасной, как золотое облако, стране, он вернется к своей искорке. Но что-то перевернулось в его душе. И то, что раньше казалось Ондржею немыслимой радостью, он ощутил как непоправимое несчастье.

— Значит, нас оставили в дураках,— пробормотал он, еле шевеля бледными губами, и, пошатываясь, вышел в приемную.

Кажется, он разговаривал сам с собой, как пьяный, он был слишком потрясен. Какой-то загорелый обрусевший чех догнал его на лестнице. Он заметил волнение Ондржея.

— Ну, дружище,— сказал он,— ну, друг мой. Ведь не все еще потеряно. Только не вешать головы. Мы еще повоюем!

ГОСТИ

Ночью, после ареста Гамзы, в Стршешовице явились гости. Только перепившийся человек и гестапо могут звонить с такой остервенелой настойчивостью. Будто во втором часу ночи людям не нужно ни минуты, чтобы проснуться, встать, накинуть что-нибудь на плечи и, пошатываясь спросонья, добраться до входной двери. Станислав опередил мать и открыл дверь. Сколько же тевтонов в кожаных куртках ввалилось в квартиру как воплощение непогоды и мрака! Так, они уже у нас в доме! Накануне, под вечер, опечатали жижковскую контору, арестовали Клацела. Нелла изо всех сил старалась побороть лихорадочную дрожь, вызванную испугом, холодом, тем, что ее подняли с постели среди ночи. Ей плохо это удавалось.

Ты помнишь эту дрожь, Нелла? Как раз здесь, в передней, где один из оккупантов показывает тебе документы уполномоченного германской государственной тайной полиции, именно здесь, у окна, стоял молодой человек, еврей-медик. Губы у него дрожали, с неестественной торопливостью он открывал портфель, рылся в нем трясущимися пальцами и наконец извлек картинку с танцующими чертиками. Он, этот первый вестник несчастья, приехал из Берлина, где сгорел рейхстаг. Он дрожал так же, как ты, и так же старался пересилить озноб, вызванный страхом перед тевтонами. Уже тогда у тебя сдали нервы, уже тогда.

— Где ваш муж?

Нелла Гамзова изумилась. Они еще спрашивают!

— Вероятно, это вам известно лучше, чем мне! Вчера в полдень он был арестован.

— А за что? — стремительно накинулся на нее другой гестаповец.

— Я тоже хотела бы это знать,— возразила она.— Наверно, по ошибке, и это должно выясниться.

— У нас не бывает ошибок. Откройте письменный стол.

— К сожалению, у меня нет ключей.

Гестаповец молча, с удовольствием, точно бросая козырную карту, вынул из кармана и швырнул на стол связку ключей Гамзы. Да, это были его ключи, ключи Петра. Нелла сразу же узнала их по колечку, которое плохо сходилось,— она всегда сердилась, что оно рвет подкладку. Но Гамза ни за что на свете не соглашался заменить его другим. Нет, она не поверила бы, что когда-нибудь почувствует такую нежность к старым ключам на колечке, которое рвет карманы. Гестаповцы взяли у нее Гамзу, он в их власти. Зачем же они ищут его дома? К чему эта комедия? Зачем они лгут даже без всякой нужды?

Станислав стоял, прислонясь к книжной полке, позади гестаповца, развалившегося в отцовском кресле, и, точно завзятый игрок, напряженно следил за азартной игрой. Длинные пальцы с шулерской ловкостью перебирали и отбрасывали отцовские бумаги. Как мог понять их немец? Правда, к его услугам был чешский шпик, который стоял здесь же рядом. Чего они искали? Материалы Лейпцигского процесса? Они исчезли. Помощник Гамзы Клацел успел припрятать их раньше, чем его арестовали в жижковской конторе. Станя «чистил» отцовский письменный стол в ночь на пятнадцатое марта. Он ведь до сих пор кашляет от дыма сожженных бумаг! Он выгреб их из стола столько, что, возможно, получил бы от отца нагоняй за свою чрезмерную осторожность.

Гестаповец взял из стола один только заграничный паспорт Гамзы. Стане и в голову не пришло спрятать его. Промах. Но ведь это законный документ? Боже, как были наивны эти Гамзы!

— Оставьте его мне,— попросила Нелла.— Там фотография мужа. Другой у меня нет.

Гестаповец расхохотался ей прямо в лицо.

— По крайней мере, вы когда-нибудь придете за ней к нам,— пошутил он и сунул паспорт в карман на груди.

Реальность ли это вообще? Не сон ли? Чужие мужчины вдруг оказались в спальне Неллы и что-то там ищут. А что — не говорят. Так бывает только в кошмарном сновиденье. Спущенные шторы, искусственный свет, тени, которые отбрасывает ночник,— все это производит вдвойне чудовищное впечатление. Гестаповцы толкутся вокруг раскрытой постели, где ямка в подушке еще хранит тепло головы, пылающей от забот, а на судорожно смятом одеяле лежит отпечаток поспешности, с которой оно было отброшено. Они шарят под периной, вытаскивают с невероятным грохотом (потому что не знают, в чем секрет) ящик кушетки, отгибают ковер, идут к комоду. Они вторгаются в интимную жизнь хозяйки, и ей остается только молча наблюдать. Она не дрожит больше. Ее сковало странное оцепенение. Над всем высится, как хмурый брандмауэр, страх за Гамзу; и Нелла видит все подробности, все, что происходит на ее глазах: то, как чужой мужчина открыл настежь шкаф и на свет появилась белая идиллия постельного белья, переложенного лавандой и резедой (какое же это было ребячество!); на эту стародавнюю картину она смотрит холодно, как в бинокль на сцену, точно все это происходит не с ней, а с другой, равнодушной, вымышленной особой. При этом в голове Неллы проносятся необычайно яркие подробности, неожиданные ассоциации.

«Мы с Митей видели обезьян в зоологическом саду. Они играли такой захлопывающейся дверкой — обезьяны с треском закрывали ее десятки раз». Именно так гестаповцы выдвигают и задви-

гают ящики. Еленка называет это некоординированными движениями. (У Скршиванеков, наверно, уже проснулись от этого грохота. Как Митя?) Гестаповцы в ярости, что ничего не нашли. Их выводят из себя самые невинные, обиходные предметы, необходимые в жизни. (Боже, как была прекрасна эта жизнь!) Они были бы очень рады сенсационной находке. Произвести впечатление, нагнать страху — это они умеют. Сколько же они получили за Гамзу? У них наверняка бывают премии. Они ненавидят нас и за то, что мы не дали им повода придраться. «И как им не стыдно залезать в чужие ящики,— вдруг по-детски подумала Нелла Гамзова.— Да осыпь меня золотом, я и тогда бы не согласилась. Сейчас он роется в моем белье... точно меня раздевают нацисты... да, мы сдались на их милость... спасибо государственной прозорливости президента Гахи. И еще... ему очень к лицу оказался коричневый военный мундир. И об этом в «Народном страже» написал подлец редактор! Как люди умеют приспосабливаться! И это — чех! Когда-нибудь его повесят. Тоник прав. Но тем временем Гамза может тысячу раз погибнуть. Если бы только он был дома! Часы, чулки и все остальное — пустяки».

— Это семейная переписка,— вдруг сказала Нелла и встала.

Нелла думала, что во время обыска будет неуязвима. Но едва гестаповец коснулся мамочкиных писем, посланий, полных любви и упреков (старая пани из Нехлеб писала толстым вечным пером, доставшимся ей после отца, энергичным крючковатым почерком — мамочка ужасно грязно писала...), в эту минуту внутри Неллы все дрогнуло, будто память о матери могла быть запачкана или осквернена кощунственными руками.

— Семейная переписка.— И Нелла подошла к гестаповцу.— Ничего другого в них нет. Честное слово.

Гестаповец сделал вид, что не слышит. Пальцами, поросшими рыжей шерстью, нарочно медленно, как показалось Нелле, чтобы подразнить ее, он развязал выцветшую сиреневую ленточку, которой была стянута пожелтевшая пачка писем. Он перелистал письма с ловкостью завзятого картежника... и подал их Нелле с омерзительно-любезной улыбкой. Это им нравится! Играть с нами, как кошка с мышью. Держать нас в кулаке. Они на коне. Им хорошо, а нам жутко... И все-таки я не хотела бы оказаться на его месте ни за что на свете. Еленка, врач, входит в дом и приносит помощь и утешение. А они — ужас и несчастье. Да разве это жизнь? Нет, не хотела бы я быть в их шкуре.

— У вас тяжелые обязанности,— произнесла она с непостижимой иронией, когда гестаповец снял с себя не только кожаную куртку, но и пиджак, встал огромными сапожищами на стул в коридоре и принялся подавать другому чемоданы, лыжи и всевоз-

можный хлам, уложенный на шкафах. Отовсюду летит пыль и садится на голову. Гестаповец засучил рукава рубашки, и маленькая худенькая Нелла снизу с ужасом рассматривает бычью шею и вздувшиеся мускулы на голых руках. «Боже, как он, вероятно, умеет бить!» Лучше не вспоминать о Гамзе.

— Что здесь такое?

Он вертел в пальцах металлический цилиндрик, выкрашенный в защитный цвет.

Нелла не знала. Загадочный предмет излучал неопределенный страх. Как он попал к нам? Может быть, они сами подбросили его сюда?

— А, это фильтр от противогаза,— звучным голосом пояснил Станя.

Серая тесьма путается, и гестаповец уже тянет из самого верхнего ящика ворох невзрачных серо-зеленых мешков с противогазовыми масками. Как неожиданно они вынырнули... до сих пор от них веет мюнхенской трагедией.

— Вы были солдатом?

Станислав подтвердил.

— Ну, теперь вам, чехам, войны бояться нечего,— похвалился гестаповец.

Мать и сын промолчали.

В квартире царил полный хаос. Маленький мирок, который Нелла устраивала с такой любовью, словно по мановению руки превратился в свалку. Разрушать — дело нехитрое.

Семейные шкафы под пальцами оккупантов вывернули внутренности и извергли клочья серого ватина, лоскутки, оставшиеся на заплаты после шитья, китовый ус и всякий старый хлам. Станислав впервые в жизни увидал вещи, о существовании которых даже не подозревал, потому что сроду не участвовал в предпраздничной генеральной уборке. Фантастически крохотное крестильное одеяльце семьи Витов и чепчик с кулак; какие-то почерневшие котильонные безделушки, завернутые в гофрированную бумагу; кольцо для салфетки с монограммой старой нехлебской хозяйки; прабабушкин корсет, который она надевала шестнадцати лет, когда выходила замуж, и анютины глазки с ее черной соломенной шляпы, какие носили пожилые дамы. Случайные образчики наслоений разных эпох показывали, как оккупанты пробирались по семейной хронике,— через предметы, напоминающие деревянный дом в Нехлебах, через прабабушкины домашние вещи. Кое-что из них осталось в доме Гамзы, после того как Еленка с Неллой несколько лет назад увезли ее в Крч, где старушка живет и поныне. Появились на свет предметы, попадающие в почет раз в году; чугунная подставка для рождественской елки, подсвечники; уже отслужившие

вещи выползали из углов, смешные и трогательные в своей допотопной неуклюжести. Смотри-ка, «Мазепа»! Он еще жив! Станя не видел его добрых двадцать лет. Бог весть почему, дети Гамзы окрестили так плоскую, похожую на флягу, грелку для ног, которую употребляли, когда кто-нибудь заболевал и стучал зубами в постели. На «Мазепе» была теперь более светлая жестяная заплатка — грелка прохудилась и была запаяна. Ночной гость осторожно отвинтил крышку плоской бутылки, прищурил глаз, а другим пытливо заглянул внутрь. Он думал, может быть, что в «Мазепе» припрятали порох? Что ищет гестапо? Оружие? Тайный радиопередатчик? Спрятанного человека?

— Глядите же! — предложила рассвирепевшая Барборка, когда стали перебирать платья на плечиках, и сама стремительно схватила полу теплого пальто Стани.— Никакого пугала там нет! Ищите пугала где-нибудь в другом месте!

Станислав и Нелла старались взглядом подать ей знак, чтобы она замолчала. Ведь все-таки гестаповцев сопровождал чешский шпик. Но Барборка отлично понимала, где надо остановиться! Она нарочно прикидывалась дурочкой.

— Зачем отставлять, красить стены, что ли, будем? — громко спрашивала она, когда гестаповцы отодвигали в столовой мебель и заглядывали за нее.

Резные украшения на буфете дразнили нацистов. Они сковырнули резьбу ножом... черта с два!.. Накрошили щепок, бросили и отправились дальше.

Они топали по квартире, как лошади, показывая нам, что они хозяева. У Барборки в кухне они совали нос во все плошки, она сама разворачивала перед ними пакетики, лишь бы они не трогали их своими лапами. Провалиться бы им в преисподнюю! Но они ничего не унесли, а этого Барборка очень боялась. Тогда, в марте, в Чехии было всего вдоволь, немцы сытые, товаров сколько угодно, у гестаповцев не было повода забрать что-нибудь, как потом объясняла Барборка. Только у нас и искать поживы! Вина, золота, сберегательной книжки в семье Гамзы не было. Вот у покойной пани Витовой дом был поставлен по-другому.

Когда гестаповцы наконец убрались, Барборка посмотрела на *вирвал*[1] в квартире, всплеснула руками над этим *вирчофтом*[2] и произнесла с величайшим убеждением:

— Право слово, в доме после гестапо хуже, чем после ремонта!

Она хотела прибрать в кабинете Гамзы, но, наткнувшись на опечатанную дверь, залилась слезами.

---

[1] Разгром (искаж. *нем.* der Wirrwarr).

[2] Хозяйством (искаж. *нем.* die Wirtschaft).

— Такой добряк,— говорила она, плача.— Такой добряк,— повторяла она.— Мухи не обидел.

Эта характеристика никак не подходила к воинственному Гамзе. Но Барборка этими словами давала понять, что она сочувствует хозяину и любит его.

«Гости» начали отчаянно звонить напротив к Скршиванекам.

Проснувшийся Митя спросонья спросил Тоника хриплым голосом:

— Папа, это воры?

— Что ты выдумываешь,— успокаивала его мать.— Спи, Митенька, спи.

— Ну так разбойники?

— Перестань, Митя, и засыпай поскорей!

— Мама, дедушка пришел? Пусть зайдет ко мне!

— Когда ты завтра проснешься, я надеюсь, он будет здесь.

— Вот и хорошо! — сонно произнес Митя, прижался щекой к подушке и примостился поудобней.

— Разбойники,— бормотал он с закрытыми глазами,— не стали бы звонить.

И моментально заснул — к счастью.

— Вы врач? — спросил гестаповец у Тоника.

— Моя жена — доктор медицины.

— Этого я не позволил бы своей жене,— пошутил гестаповец,— хозяйке дома нужно держать в руках поварешку, а не какие-то там пинцеты. Не правда ли, милостивая пани?

Еленка улыбнулась.

— А я, пожалуй, могу пригодиться на тот случай, если вы заболеете.

Другой гестаповец удивленно поднял на нее глаза от телефонной книжки, где он просматривал записанные в нее телефоны.

— Исключено. Некогда нам болеть,— сказал он, важно надувшись.— Откуда здесь эти деньги?

Он подбросил и поймал монету.

На подносике с цветными карандашами валялась пятидесятикопеечная монета. Скршиванек даже не знал о ней.

— Это еще из Советского Союза,— сказал он спокойно.— Я работал там как специалист с группой американских инженеров. Я подданный Соединенных Штатов и, признаться, несколько удивлен вашим визитом.

Он открыл стол и показал документы. Гестаповец немного смутился — насколько вообще можно смутить гестаповца — и покровительственно посмотрел вокруг.

— Неважно вы живете,— сказал он,— неужели покойная республика не могла предоставить вам квартиру получше?

— Мы довольны и этой,— ответила Еленка.

— Однако эти чехи,— со спесивым презрением продолжал гестаповец, не слушая ее,— не умеют ценить выдающихся специалистов. Такой драгоценный человек, как вы... Кем вы сейчас работаете?

— Конструктором авиационных моторов.

— Вот видите. Знаете, что вы имели бы у нас в Германии? Собственную виллу и автомобиль, это ваше священное право,— горячился гестаповец.— Загляните к нам через неделю, мы потолкуем. Способные люди сделают здесь блестящую карьеру.

Он написал свой телефон и адрес, вырвал листок из блокнота, подал Тонику, и они простились.

— Представляю, как ты полетишь туда,— бросила Еленка.

— Они с удовольствием вытянули бы из меня сведения о Советском Союзе, совершенно ясно.

— Тебе придется скрыться... но более ловко, чем папе.

— Я приму меры.

— А это,— возбужденно произнесла Еленка и взяла листок с адресом гестапо,— прямо в печь.

Она чуть было так и не поступила, но в это время гестаповец вернулся — забыл карандаш. Старый полицейский трюк.

Он строго посмотрел на обоих супругов и ушел.

ГАМЗА

В гнусной педантичности тюремного режима для Гамзы не было ничего нового. Из адвокатской практики он знал наизусть этот медлительный, отсталый мир параш и гремящих средневековых ключей, арестантов в круглых шапочках — людей, которые постоянно что-то ремонтируют в здании и стараются при этом незаметно выпросить сигарету. По делам клиентов Гамзе то и дело приходилось бывать в Панкраце. Его не удивляла тюремная обстановка, как Еленку не ужасала больница. А впрочем, он и сам еще во времена Первой республики сидел в Остраве. Его приговорили к тюремному заключению за подстрекательство к бунту. Он уже пережил восприятие времени, хорошо известное заключенным. *Вчера* — то, что осталось на воле, что было до ареста. *Сегодня* — то, что существует в камере, за решеткой,— невыразительные, бесцветные дни, один как другой, складываются, будто доски в штабель, в неизменную безликую действительность, которая лежит неподвижной глыбой. И *завтра* — то, что ждет тебя на воле, когда тебя выпустят. На воле, где жизнь движется, меняется, где ходят женщины, бегут трамваи, светит солнце. Гамза знал даже Моабит-

скую тюрьму, еще по Лейпцигскому процессу, часть которого происходила в Берлине и который теперь повторился в меньшем масштабе в его деле.

Нацисты обвинили Гамзу в том, что он участвовал в заговоре «Ring gegen Deutschland» [1]. Он, конечно, охотно изолировал бы и обезвредил нацистскую Германию. Но о существовании этой немецкой нелегальной организации Гамза не имел ни малейшего понятия. Он узнал о ней только на допросе. Это была пустая выдумка, явная глупость. Даже германские юристы вынуждены были признать это и вынести оправдательный приговор. С гестапо это случалось часто: обвинение ложное, но наткнулись действительно на своего противника. Или же: на того, кто им неугоден, возводится ложное обвинение, и человека упрятывают подальше. У Гамзы не было иллюзий на этот счет. Он мог не сомневаться, что причиной его ареста был Лейпцигский процесс. Удивляла только поспешность. Он рассчитывал, что его арестуют позднее. Чешская полиция явно старалась выслужиться перед гестапо.

Судебное разбирательство по делу Гамзы было прекращено, берлинский защитник, порядочный человек, относился благожелательно к оправданному, а Гамза был доволен как юрист, потому что справедливость восторжествовала. Однако после этого его посадили в поезд и вместо Праги отправили в концентрационный лагерь. И такие случаи были уже известны Гамзе по опыту Лейпцигского процесса, и он не удивился.

Было ясно, что он окажется в совершенно ином мире, чем строго пунктуальный мир Моабита. Заключение по приговору суда имеет свои старые традиции. Даже самый решительный государственный переворот не в силах искоренить их. Те же *надзиратели* и *коридорные,* те же переклички и рапорты в камерах, та же классическая клейка пакетиков, те же ключи и параши. Заключение может иметь для осужденного и просто неважный конец — казнь. Но пока дело дойдет до головы, ты будешь жить спокойно, подчиняясь режиму, установленному еще во времена Марии-Терезии и Фридриха Великого, когда человечество научилось бюрократическим порядкам и самозабвенно подчинилось им. Моабитская тюрьма даже при нацистских порядках, несмотря на голод и клопов, оставалась частью государственного аппарата. У осужденных есть свой жизненный распорядок, и они подчиняются ему. А в концентрационном лагере не знаешь ни дня, ни часа. И в фашистской тюрьме осужденные могут угадать течение жизни, рассчитать вероятность предстоящих событий. В концлагере рассчитать ничего нельзя. Ты никогда не знаешь, чем ошарашит тебя эсэсовец или

[1] «Окружение Германии» *(нем.)*.

твой *капо*. А им нравится ошарашивать, они изощряются в этом. Да и чем стали бы они развлекаться при такой отравляющей душу, бесцельной службе, когда надо сторожить людей, согнанных в лагерь бог весть откуда и бог весть зачем.

Гамза многое знал о концентрационных лагерях от беглецов из фашистской Германии, после тридцать третьего года нахлынувших в Чехословакию, и из выступлений немцев-антифашистов в печати. И как всякий, кто должен столкнуться с чем-нибудь, о чем слышал и читал, Гамза представлял себе все в высшей степени страшным. Он был готов к тому, что немедленно столкнется с публичными истязаниями, со стонами и убийствами, и заранее собирал все душевные силы, чтобы устоять перед ожидающими его ужасами. Но разница между слышанным и тем, что переживаешь сам, безмерна. Гамза думал, что увидит обезображенные трупы, но не ждал такого.

У строящегося здания стояла повозка, нагруженная большими тюками прессованного сена, в повозку было впряжено несколько пар людей в полосатой одежде, на козлах сидел возчик с бичом. Он взмахнул им, дернул вожжи, причмокнул, подгоняя упряжку, люди поднатужились — и повозка тронулась с места. Никто из остальных *хефтлингов* [1] не обратил на это никакого внимания. Их это не удивило. Они продолжали копать землю. Мимо ехала обыкновенная фура с кладью, вместо лошадей ее везли люди, а такой же, как и они, человек сидел на козлах и лихо щелках бичом. Чувство человеческого достоинства у Гамзы было развито сильнее, чем сострадание; он сгорал от унижения за этих запряженных людей. А возчик смеялся, что-то покрикивал гортанным голосом и хлестал «лошадок»; они наклонили бритые головы, согнули полосатые спины и бежали рысью, пошатываясь на тонких ногах, обутых в деревянные башмаки. Так, будто нарочно, воз проехал мимо Гамзы, как видение, как образ жизни, поставленной вверх ногами, как аллегорическая колесница фашизма.

Много, много позднее Гамза шел утром из блока на *аппель* [2] и заметил на колючей проволоке скорченного человека, который, сойдя с ума, прыгнул на нее. Его убило током, и для него все кончилось. Много, много позднее Гамза вынужден был стоять на *аппельплаце* [3] в очереди — смотреть расстрелянного. Он должен был, согласно приказу, стать к нему лицом и внимательно изучать его — для острастки; иначе Гамзе пришлось бы шагнуть назад, в очередь, простоять несколько часов и снова подойти и посмотреть.

---

[1] Заключенных (от *нем.* der Häftling).
[2] Здесь: перекличка (от *нем.* der Appel).
[3] Площадке для переклички (от *нем.* der Appelplatz).

Но ни один убитый в *лагере* не потряс Гамзу так, как в первый день эти живые люди, запряженные в повозку с кучером на козлах...

— Что там такое? Нечего глазеть по сторонам, погляди лучше на меня,— произнес чей-то шутливо-настойчивый голос.— Я ведь покрасивей, верно?

Это сказал человек, копавший землю рядом. Гамза быстро оглядел его с головы до ног. На него смотрело простоватое лицо с плутовской улыбкой. Оно улыбалось Гамзе всеми морщинками.

— Ну, работай, не стой, Ганс смотрит. Надоест ему глядеть, тогда и отдохнешь. Чем меньше будешь здесь замечать, тем лучше для тебя. Понятно? Моя хата с краю — ничего не знаю. Ты здесь недавно, да?

— Прибыл в среду с транспортом.

— Оно и видно. Жить тут можно. Человек ко всему привыкает.

У него тоже был красный треугольник политического.

— К этому мы не имеем права привыкать,— строго заметил Гамза.

— Иди ты, дед-всезнайка! Я вовсе этого не думаю. У кого душа стойкая, того с толку не собьешь. Держи лопату пониже. Так надорвешься.

Копая землю, Гамза с непривычки очень утомился. Тяжелый инструмент не слушался, руки стали какими-то чужими. Он стеснялся своей неловкости перед человеком, одинаково хорошо владевшим и мотыгой и киркой. Обращение «дед» тоже немного удивило Гамзу. Неужели он так постарел за три месяца тюрьмы? Несмотря на выбитые при допросе зубы, несмотря на голодный паек, который способствует тому, что ты иной раз скорее мечтаешь, чем связно мыслишь, Гамза чувствовал, что он молод, непримирим и вместе с товарищами готов к борьбе в ожидании лучших дней. У Димитрова все кончилось замечательно, и со мной все будет хорошо. И в лагере Гамзе посчастливилось, потому что он в первый же день попал в одну команду с таким веселым, спокойным и опытным парнем, как Штепка.

— Вольно, ребята,— сказал Штепка,— Ганс отправляется в трактир.— Он проводил глазами невысокого, но коренастого капо с зеленым треугольником уголовника.— У него там в будочке для инструмента — фляжка со шнапсом. Отдохни, дед, и ты, долговязый, тоже. Хватит пока, поработайте с прохладцей, для виду.

— А что такое мы роем? — спросил долговязый человек с унылым лошадиным лицом, сосед Гамзы с другой стороны, тоже новичок. Он помолчал немножко, но не вытерпел.— Большая могила? — неуверенно снова спросил он, растерянно улыбаясь, как

будто чувствовал, что его высмеют, и как бы втайне надеясь на эту насмешку.

— Эх ты, голова! Это же садик для господина *крупнфира*[1],— ответил Штепка, произнося чужое слово так, будто оно происходит от слова «крупный».— Ты знаешь, что он начальство над Гитлей?[2] Потому что Гитля — просто *фира*[3], а Штамниц — *крупнфира*.

Долговязый боязливо посмотрел вокруг водянистыми голубыми глазами.

— Такие глупые шутки могут стоить нам жизни,— хмуро произнес он и торопливо ухватился за мотыгу.

— Я ничего и не сказал,— злил его Штепка,— говорю, что есть. Копал я на шоссе у Казмара, теперь копаю в садике господина фон Штамница.

— Позвольте, приятель, это все-таки не одно и то же,— раздосадованно перебил долговязый.— Казмар был все-таки чех!

— Один черт! — отрезал Штепка и схватил лопату.— Но «Эс комт дртаг» — придет день. Нажми-ка, ребята, Ганс идет из трактира.

«Вот как? Он работал у Казмара»? — сказал себе Гамза. А какие хмурые, темные люди жили там когда-то, каждый сам по себе. Не зря партия поработала среди улечан. Как удивительно, что давным-давно, в том беспредельном *вчера* — на воле,— в то время Гамза еще мог, как вельможа, сесть на «двойку» и доехать до самой Карловой площади,— именно когда в суде у него был казмаровский день, Гамзу арестовали. Чем этот Штепка напоминает ему Тоника? Обоим около тридцати. Да. Но в остальном они не похожи — ни внешне, ни внутренне. Тоник был потише, в его мягком обращении с людьми был оттенок задумчивости, он редко шутил, а Штепка — беспрестанно. Но они оба создавали вокруг себя атмосферу ясного, действенного, надежного дружелюбия, которое поддерживает человека, когда он делает первые шаги по неизведанной земле, и поднимает его дух.

У Штепки, как у ребенка, была счастливая особенность: он отстранял от себя тяжелые впечатления, которые понапрасну грязнят воображение и сокрушают сердце, и старался уберечь от них и других людей. Он инстинктивно оберегал свое душевное здоровье и даже на гнусный *лагерь* смотрел чистыми глазами, потому что ни на миг не сомневался, что выберется отсюда и что уж тогда-то жить на свете будет лучше. Счастливый характер и политическая сознательность встретились и тесно переплелись в нем; веселый

---

[1] Группенфюрера (искаж. *нем.* der Gruppenführer).
[2] Гитля — искаж. Гитлер.
[3] Фюрер (искаж. *нем.* der Führer).

человек — наилучший социалист. И Штепка уже намеренно развивал в себе этот врожденный дар и словно излучал вокруг хорошее настроение. Солнечный характер осушал болото уныния и истреблял бактерии страха.

Штепка был по-народному сметлив, практичен, он чутьем улавливал многое из того, на что интеллигент поначалу не обращал внимания и до чего додумывался значительно позже.

— Пригнись ты немножко, тебя, как Эйфелеву башню, со всех сторон видать,— поучал Штепка верзилу с унылым лошадиным лицом, преподавателя средней школы, которому всякий норовил дать зуботычину.— Здесь лучше быть маленьким, невзрачным, но и ходячим несчастьем выглядеть тоже ни к чему. Эдак ты сам напрашиваешься на затрещину, ведь ты их знаешь. Перестань думать об одном себе, вспомни лучше про жену, про детей, подумай, как это будет хорошо, когда ты вернешься к своим в республику.

— Этого никогда не случится,— вздохнул долговязый.— Самообман. Вы, приятель, просто так уговариваете себя, чтобы выдержать.

— Не все такие слюнтяи, как ты,— ответил раздосадованный Штепка и перестал с ним разговаривать.

Узнав, кто такой Гамза (Штепка быстро узнавал все лагерные новости), он подошел к нему и лукаво засмеялся всеми своими морщинками.

— Ну что, адвокат бедняков?— сказал он.— Можешь открывать свою контору. Ступай сполосни миску, твой помощник ждет тебя в умывалке.

Гамза обрадовался и в то же время ужаснулся.

— И Клацел здесь?

— Беги, увидишь.

Гамза всегда любил Клацела. Разумеется, любил буднично, как человека, с которым ежедневно встречаешься. Они дружно работали в жижковской конторе. Но чтобы просиять такой радостью при виде голого, как колено, черепа своего помощника, в полосатом, будто у клоуна, одеянии,— этого он, честное слово, от себя не ожидал. Оба были растроганы свиданием, ни тот, ни другой не сказал, как жалко они выглядят, они даже рассмеялись от радости.

— Ну вот, значит, опять посчастливилось встретиться. Вот так штука!

У Клацела была сигарета, и они отправились за угол выкурить ее вместе.

И в концлагере бывают минуты счастья. Но этого никто из живущих в беспредельном *вчера* и *завтра* никогда не поймет. Точно

так же, как никому из них не понять силы дружбы, связывающей заключенных. Об этом знают только *хефтлинги.*

Миновала бурная годовщина двадцать восьмого октября, первая после оккупации, и показала, что чехи не смирились. Ян Оплетал, студент, раненный во время демонстрации, скончался, и тысячи студентов и студенток демонстративно отправились на его похороны, снова открыто показывая, что они не сдадутся. Когда их начала теснить немецкая полиция, чехи, водители грузовиков, спасали незнакомых студентов, забирая их в машины и развозя окольными путями по домам. Настала ночь, когда гестапо устроило облаву на студентов во всей Праге, когда перепуганные девушки выскакивали из окон нижних этажей и в одних пижамах бежали по улицам, когда эсэсовцы опустошали целые студенческие общежития. Девятерых молодых людей, членов студенческого комитета, казнили в Рузыни; высшие учебные заведения были закрыты.

Зато ворота концентрационного лагеря, всегда строго охраняемые, распахнулись, и через них, при гипнотизирующем свете прожекторов, между вышками с пулеметами, провели толпу студентов, схваченных нацистами, этими возлюбленными смерти, обожающими эффекты в духе средневековых баллад. Ноябрьской ночью юношей погнали рысью от вокзала, и если эсэсовцы не орали, отдавая приказы, если не свистели плетки, то зловеще щелкали предохранители револьверов в темноте. Юноши, перепуганные до последней степени, казались школьниками, собравшимися на прогулку.

— Где мы? — спрашивали они, построившись перед входом в первый барак.— Где мы?

Мимо шел длинный сутулый человек в полосатой одежде.

— Это Ораниенбург, берлинская бойня,— произнес он по-чешски с какой-то мрачной гордостью.

Он боялся, и это никого не удивляло, но он даже не пытался скрыть этого. Он сеял вокруг бациллы страха, как заразу. Долговязый был раньше учителем математики и любил пугать учеников.

Студентам остригли волосы, которые так нравились девушкам, отняли имена и одежду, бросили взамен *зебры* и номера. Когда студентов спрашивали, кому послать в случае смерти «ценности», сердце у них сжималось. Они были молоды, им хотелось жить! Все давали адрес своей матери.

Между взволнованными студентами незаметно появился пожилой заключенный; среди криков и поспешного перебрасывания узелков и одежды, в судорожной сверхъестественной суматохе, которую нарочно устраивали в *лагерях*, чтобы застращать новичков, от его спокойного лица повеяло миром; он спросил неторопливо:

— Как поживает Прага?

Студент философского факультета Божек, молодой коммунист из Костуфры, поднял глаза и узнал Гамзу.

— Были демонстрации. Дважды,— тихо ответил он.— Можно здесь выдержать?

— Сам понимаешь, вы в *лагере*. Будет тяжело. Но выдержать необходимо.

— Ребята, это Гамза,— сообщил Божек товарищам.— Он выступал на студенческих митингах.

Узнали Гамзу и другие. Кто не знал, тому объяснили. Это здóрово.

Юношей уже одели в полосатые лохмотья, как шутов, и они подтрунивали друг над другом:

— Тебе идет! Прямо хоть в цирк!

— Вот так маскарад перчаточников.

— Тебе бы подрасти малость, Вашек, для этого мундира!

— Смотри, чтобы на тебе трико не лопнуло!

Там, где есть чехи, родичи Швейка, жить весело, пускай и нечего жрать.

У молодых людей настроение меняется быстро. Тем более у молодежи, выброшенной из родного дома на холод, за проволоку, по которой пущен смертоносный ток, туда, где над головой свистят плетки, над ухом щелкают затворы, а желудки стиснуты голодной судорогой. Вначале студенты были склонны то к меланхолии, то к необоснованным надеждам.

Гамза и Клацел, пока лагерное начальство не чинило препятствий, заходили к студентам ежедневно хоть на минутку, чтобы приободрить их.

Студенты коротко рассказали о большой демонстрации молодежи пятнадцатого ноября, когда к ним приехал Франк, злой, как черт, из-за похорон Оплетала, и его шофер бил студенток плеткой по лицу.

— Ноябрь — вообще тяжелый месяц,— вздохнул один из молодых людей.— День поминовения усопших, Белая гора...

— Ты ошибаешься,— возразил Гамза.— А как же седьмое ноября? Именно оно и поможет тебе выбраться отсюда.

Ученики Неедлы, конечно, знали, что значит Октябрьская революция, и не раз праздновали ее годовщину. Но большинство студентов, выросших в Первой республике, даже и не вспоминали об этой дате. У них были другие заботы.

— Будем ли дома к святкам? Как вы думаете? — расспрашивал Гамзу белокурый Миржинка, студент первого курса юридического факультета, единственный сын и баловень родителей. Ему было девятнадцать лет.

Гамза улыбнулся. Чуть-чуть печально. Ребенок, еще совсем ребенок.

— Я бы вам, ребята, всего охотнее пообещал, что вас уже ждет поезд и скоро повезет домой. На радость вашим матерям и девушкам. Но ничего не поделаешь, в этом году мы будем праздновать сочельник вместе, в Германии.

— Подумаешь,— нервно нахмурился Божек, которому было стыдно перед Гамзой за своих ребячливых товарищей.— Лишь бы все хорошо кончилось.

— Они потерпят поражение. Мы выиграем. Но работать надо будет до седьмого пота.

— Как вы думаете, когда все это кончится? — снова хныкал Миржинка.— Меньше чем через год?

Гамза был строгий человек. Не кривил душой. И все же он поддерживал надежду.

— Ребята, когда-нибудь для вас откроется высшая школа, ведь вы хотите стать образованными людьми. Подлинно образованный человек исходит из реальной действительности, а не из упований на бога. Меньше года — это иллюзия. В руках нацистов Рур, Австрия, мы, Польша; Франция и пальцем не шевельнула...

— Но объявила войну...

— ...прогрессивным людям в своей собственной стране,— резко заметил Гамза.— Их (он имел в виду нацистов) она оставила в покое. Французским рантье свастика всегда будет милее, чем звезда, серп и молот, британским колонизаторам — тоже. Но мировая драма только начинается. Главный герой — Советский Союз еще не выступил на сцену...

— Я знаю! А как же пакт о ненападении? — ныл Миржинка.

Этот вопрос вносил смятение и в более ясные головы, чем у Миржинки.

— Чешская буржуазия,— сурово возразил Гамза,— отвергла помощь Советского Союза, сдалась на милость врага, не хотела бороться и вдруг теперь обижается на страну, которой грозит опасность и у которой нет союзников, обижается за то, что та старается выиграть время. Вы доживете до того часа, когда пойдет в бой Красная Армия. И вспомните мои слова.

«А почему бы и тебе не дождаться его, товарищ Гамза?» — вертелось у Божека на языке. Но он постеснялся сказать это. Лейпцигский процесс. Нет, не нужно, Гамза сам о нем никогда не говорил, и Божек промолчал. Он очень уважал Гамзу и во всем брал пример с него.

Гамза не обладал таким превосходным чувством юмора, как Штепка. Он не веселил людей шуткой. Но он нес им знание, а с ним утешение и внутреннюю свободу в рабстве. Он был строг, и

все же студенты любили его и верили ему. Вначале они искали у Гамзы пустой надежды, но он говорил им чистую правду. Учил их видеть суть явлений, и молодые люди открывали для себя новые просторы за пределами проволочной изгороди концентрационного лагеря.

«Эта война,— доказывал Гамза,— есть историческое столкновение двух экономических систем, двух мировоззрений — империализма и социализма, двух пониманий мира, которые разделяют человечество не столько по государственному устройству, сколько по общественному строю, столкновение двух взаимно исключающих сознаний — пропаганды насилия, неравенства рас с верой в равноправие и сотрудничество народов». Политические убеждения юношей Первой республики носили различные оттенки, но все студенты были гражданами демократической страны — сердца Европы,— этого у них нельзя было отнять,— и они чувствовали, сознавали и понимали, на чьей стороне правда и где их место в бою.

Гамза выдавал на почте посылки из дому и учил молодежь делиться со студентами из польского блока. Вместе с Клацелом он тайком посредничал при этом. Один за всех и все за одного; украсть у товарища картофелину позорно, это ставит тебя вне коллектива. Голод не оправдывает таких поступков. Гамза сочувствовал юношам больше, чем давал понять. Он стал как-то мягче, помолодел, общаясь с ними. Но он никогда не подавал и виду, что ему ужасно жаль их искалеченной молодости. Он не поддерживал тоски, укреплял стойкость духа и разжигал в юношах пламя сопротивления, в котором выкуется оружие, когда придет время. Нет, из Гамзы никогда не получился бы ни добрый дядюшка, ни куманек: он был большевиком. Он чувствовал ответственность за это молодое поколение республики, как будто ему кто-то доверил его, и он заботился как мог, чтобы ребята не опустились в неволе и не стали волками в джунглях.

Был там один эсэсовец, тоже молодой. Его прозвали «Барышней». У него была привычка ударом ноги вышибать из рук голодных парней миску с порцией похлебки. Просто так, из желания поразбойничать, показать свою ловкость. Пьяные эсэсовцы врывались к спящим студентам после полуночи и приказывали поднимать головой стол или под угрозой наказания заставляли их катиться кубарем от вокзала до ворот лагеря на протяжении нескольких километров. Голова кружилась, ты поднимался грязный, униженный. Именно об этом думал Гамза, делая все, чтоб ребята сохранили присутствие духа и в этих нечеловеческих условиях, чтоб они не согнулись, не отчаялись, не позволили разрушить ни твердыню души, ни прочную стену коллектива, чтоб не позволили отнять у себя надежду и веру в счастливый исход.

Эта книга не ставит себе целью перечислить все пинки, тумаки и удары, которые омрачали жизнь, уродовали и убивали невинных людей только за то, что они говорили не на языке нацистов, только за то, что их форма носа и черепа не соответствовала предписанию господ «высшей расы», придуманному для того, чтобы было удобнее грабить людей; не будем описывать зверства, какие позволяли себе животные, спущенные с цепи, в нацистских джунглях,— они неописуемы,— не станем измерять колодцы пролитой мучениками крови. Ведь мы не измерили бы и не подсчитали бы всех страданий, мы утонули бы в слезах. Цель этой книги заключается в ином: она изображает достойный удивления мир, который утверждает веру в человека и говорит о человечестве. Голодные узники, добывавшие себе пропитание на свалках, несмотря на все унижения, несправедливость, стремление фашистов оглупить и оболванить людей, несмотря на все опасности и ужасы, сохраняли ясную голову, свет в душе, видели цель перед собой, удерживали дружескую преданность и, как в эстафете, передавали друг другу жезл свободы. Гамза был одним из них, и Божек еще расскажет о нем.

ЧТО С ПАПОЙ?

Митя вернулся из школы «взвинченный». Барборка и бабушка попытались узнать, в чем дело. Но чем настойчивее они расспрашивали, тем больше замыкался мальчик. Нет, ни за что он не скажет, что с ним случилось. За обедом он дерзил и так мерзко отвечал бабушке, что Еленка напустилась на него:

— И тебе не стыдно, Митя? У бабушки дедушка в Ораниенбурге, а ты ее обижаешь.

— Он и мой дедушка,— не сдавался Митя.

Нелла, как ни было ей грустно, улыбнулась хитрому внучонку.

— И папа у меня в Америке.

Еленка строго посмотрела на сына.

— Это не дает тебе никакого права грубить бабушке. Бабушка — моя мать, и я не позволю обижать ее. Выйди вон из-за стола.

— Ну, оставь его,— тихо сказала пани Гамзова.

Еленка сделала вид, что не слышит.

— У нас в семье есть и другие грубые люди,— пробормотал Митя, встал и вышел из комнаты.

— Кого он имел в виду? — спросила удивленная Нелла.

— Пусть думает о ком хочет, дерзостей я ему не спущу.

— Ты слишком строга с ним. Что это за детство у ребенка!

В семье Гамзы было невесело. В доме отсутствовали двое мужчин, и Митя рос своевольным мальчишкой. Ну что ж, строптивость

в ребенке, живущем в протекторате, может быть, и неплохая черта характера, но в школе она почти не проявлялась, а дома от нее страдали без вины виноватые. Бабушка Гамзова питала слабость к мальчику, все ему прощала. А у Еленки для него оставалось мало времени. «Это ошибка,— подумала она,— я должна что-то предпринять».

Но Митя сам после обеда явился к матери.

— Мама, мне нужно поговорить с тобой с глазу на глаз,— хмуро произнес он свою любимую фразу.

— Сейчас у меня прием, потом визиты. В семь, Митя, хорошо?

Митя предстал перед матерью ровно в семь, с последним ударом часов, суровый, как судья. Он сел на стул возле письменного стола, где иногда сиживали пациенты Еленки во время предварительного опроса, и уставился на нее серьезными темными глазами.

— Мама,— начал он без обиняков по привычке детей Гамзы,— что вы сделали с папой?

«Ага»,— подумала Еленка. Она знала, что этот вопрос когда-нибудь возникнет.

— Ничего, Митя,— ответила она спокойно.— Решительно ничего.

— А почему он уехал в Америку?

— Мы думали, что так будет лучше.

Именно такой ответ и был Мите не по душе. Это были ничего не объясняющие слова, которые обожают взрослые.

— Ты знаешь, что сказали мне ребята в школе? — Он посмотрел на мать горящими глазами, как будто хотел спалить ее душу.— Что вы разошлись! — бросил он, точно швырнул гранату в комнату.

Но мать не испугалась.

— Я удивляюсь мальчикам, которым, точно каким-то сплетницам, нечего больше делать, и они интересуются чужой жизнью. Но раз уж они заговорили, так это правда. Да, мы разошлись.

Митю всего передернуло, будто он обжегся.

— Почему же вы даже не спросили меня? — завопил он.— Тебе это все равно? Неужели ты ни капельки не любила папу и так спокойно говоришь об этом?

— Было кое-что похуже, Митя. Когда нацисты пришли в Прагу и когда нам изменили Франция и Англия, а главное, наше собственное правительство...

— А это не измена? И какая! — вскочил Митя.— Вон Стейнеры и Ружички уехали с детьми. Почему он бросил нас здесь? Он поступил с нами просто по-свински.

Еленка рассердилась.

— Ну, хватит,— сказала она и встала.— Или ты будешь говорить о своем отце с уважением, или я перестану с тобой разговаривать. Папа не сбежал, а уехал потому, что он американский подданный. У него был оформленный по всем правилам паспорт. Заруби это себе на носу и не болтай больше глупостей.

— Ты всегда его защищаешь! — воскликнул Митя.— Я знаю, что он чем-то тебя обидел, а ты такой *лыцарь*, что не позволяешь думать о нем плохо.

— Что же он мог мне сделать? — спросила удивленная Еленка.

— Ну, я вовсе не такой маленький, как ты считаешь. Я знаю, почему люди разводятся. Я скажу тебе, мама, жизнь у меня испорчена. Я уже никому не верю.

Печально слышать такое признание из детских уст. Еленка ничего не ответила и задумчиво посмотрела на сына. Казалось, она что-то взвешивает. Что важнее — вернуть ребенку чистоту представлений о родителях и радость первых шагов по жизни или же соблюсти чрезмерную осторожность и оставить его во власти испорченного воображения? «В конце концов Митя уже большой мальчик, и если что-либо случится со мной...»

Она пересела на диван и притянула к себе сына.

— Митя,— сказала она другим, задушевным голосом,— ты хочешь, чтобы опять была республика?

Митя окинул мать взглядом, прижался к ней и вспыхнул.

— Ты еще спрашиваешь! Еще бы нет. Она будет, да?

— Будет, и даже лучше, чем была. И ее-то уж мы не позволим уничтожить. Но республика не свалится с неба. Для этого нужно кое-что сделать...

Митя многозначительно подмигнул.

— Слушать *Кромержиж*, да?

Мать улыбнулась.

— Этого мало. Словом, папа должен был уехать, чтобы иметь возможность работать. Чем меньше ты станешь о нем спрашивать, тем лучше сделаешь. И не думай о папе ничего дурного. Тебя это зря тяготило бы, а его бы ты очень обидел.

Митя вздохнул, точно у него гора с плеч свалилась.

Он заерзал и подсел поближе к матери.

— Мама, знаешь что?

Мать повернула к нему голову. Он увидел над собой ее глаза: радужная оболочка разбегалась маленькими золотисто-коричневыми веерами вокруг крохотных, как точка, зрачков.

— Что, мой дорогой? — И она погладила его по голове, по темным, густым, сухим, наэлектризованным волосам. «Как хорошо, что у меня такой мальчуган»,— подумала она с нежностью.

— Знаешь, что со мной на днях случилось? — продолжал Митя таинственно.— Мы с ребятами возвращались с футбола, а перед нами шел человек — ну точь-в-точь мой папа. Так же держит плечи, та же походка, ну все...

Рука, игравшая с Митиными волосами, замерла. Светло-коричневые веера в маминых глазах вдруг пропали, их проглотили расширившиеся зрачки. У мамы стали совсем черные глаза. Она спокойно улыбнулась.

— Ну,— сказала она снисходительно,— ты обогнал его, и это оказался какой-то совсем незнакомый человек. Откуда же здесь взяться папе?

— Я вовсе его не обгонял,— возразил сконфуженный, по-детски точный Митя.— Он вошел в дом, я так и не видал его в лицо.

— И в следующий раз не делай этого.

— Мама, я не смогу вытерпеть. Я знаю, что папа в Америке,— ведь он писал мне из Чикаго. Но если я увижу человека, похожего на папу, я должен пойти за ним, это ты напрасно так говоришь.

Мать рассердилась.

— Неправда, не должен. На то ты и человек, чтобы держать себя в руках. Пойми, что дедушка Гамза — известный коммунист, что за нами следят.

— Хорошо,— строптиво согласился Митя.— Но что же тут такого, если я пойду за кем-нибудь, раз папа в Америке?

«Ах, боже»,— подумала Еленка. Она пытливо посмотрела на своего маленького, логично рассуждающего сына. В то же время этим взглядом она как бы что-то взвешивала.

— Послушай, Митя, мы ведем войну против фашистов, тайную войну. А на войне каждый солдат должен соблюдать строгую дисциплину. И ты — тоже!

Мите эти слова понравились. А то, что мама поставила его на одну доску с собой, просто привело его в восторг.

— Теперь дай мне слово, что ты ни за кем чужим бегать не будешь, чтобы понапрасну не привлекать внимания. Это военный приказ. В воскресенье мы, может быть, вместе поедем на прогулку и поговорим об этом еще. Идет?

— Идет.

— О том, что мы сегодня здесь с тобой говорили,— добавила Еленка,— ни гугу, ни единой душе.

— И даже бабушке? — мигом спросил Митя.

— Да. Бабушка и так уже много испытала, и мы должны ее беречь. Это только понапрасну ее взволнует.

— И Стане не говорить тоже,— горячо добавил Митя,— и Барборке.

— Главное, не надо говорить мальчикам в школе! Ну, просто никому, никому на свете. Я посмотрю, умеешь ли ты молчать.

— У меня вовсе не такой длинный язык,— сказал мальчик и преданно посмотрел матери в глаза.— Честное слово. Вот моя рука.

ГРЯЗНЫЙ ДЕНЬ

Нелла в забрызганных грязью туфлях позвонила у ворот бубенечской виллы Хойзлера. Она долго и старательно, как делают просительницы, вытирала ноги на коврике перед дверью.

«Здесь хоть не придется подниматься по лестнице»,— подумала она устало. Вилла была двухэтажная.

Уже в передней на нее повеяло беззаботным комфортом. Батареи центрального отопления мирно дышали за изящными металлическими решетками. Здесь жили прекрасно — в тепле! Сейчас, когда не достанешь ни кокса, ни угля! Как обогрело бы окоченевшую душу тепло, если бы оно было добыто честным путем, если бы Нелла пришла сюда просто с дружеским визитом к порядочным людям!

Смазливая горничная в наколке, белой, как сахар, и в похрустывающем, как ледок, накрахмаленном передничке (откуда они берут мыло?) вежливо указала посетительнице, как пройти. Нелла очутилась в просторном холле, куда выходило несколько светлых, прекрасно натопленных комнат без дверей. Из угловой комнаты с громовым лаем навстречу Нелле выскочила овчарка. Она вылетела, как дикая, сбивая ковры лапами. Из эркера появилась стройная дама.

— Рольф, nieder! [1]

Ро стояла уже рядом с собакой и выхоленной рукой держала ее за ошейник.

— Untersteh dich! Sollst dich schämen, pfui! [2]

Овчарка с виноватым видом поглядывала на нее и тяжело дышала.

— Она не понимает по-чешски,— выразительно пояснила Ро и улыбнулась, словно извиняясь.— Из Дессау. Gelt, Ролли? Brav, brav, schön brav sein [3]. Не бойтесь, пани Гамзова, она не укусит.

Но для верности Ро все же придержала пса за ошейник, нажимая свободной рукой кнопку звонка.

---

[1] Лежать! *(нем.)*

[2] Не сметь! Стыдись, фу! *(нем.)*

[3] Не правда ли? Будь умницей *(нем.)*.

— Уведите собаку, она мешает,— приказала хозяйка горничной.— Потом поправьте ковры.

— Ну, иди, иди, Рольфик,— спокойно сказала девушка почешски. И овчарка пошла за ней как ягненок.

Хозяйка дома изменила голос и любезным тоном «для клиентов» пригласила посетительницу сесть в одно из низеньких кресли, поставленных вдоль стен эркера. Она усадила Неллу напротив себя, поближе к свету. На круглом столике с двойной доской лежали свежие газеты и, как ни странно, «Заратустра» Ницше. Из-под книги выглядывали забытые кем-то зеленые и красные жетоны. Высокий фикус с кожистыми листьями заслонял другое окно. Обе женщины сидели в той самой угловой комнате, где когда-то артистка Тихая, изгнанная хозяйка дома, разучивала роль Кристин, дочери Лавранса. Только теперь в «магорке» Власты были сняты двери — в светском доме тишина никому не была нужна для работы. Ро, причесывавшая свои волосы цвета платины так же, как дамы из Германии, которым очень понравилось у нас, и нацепившая большие розовые серьги в виде цветов, такая стройная в своем джерсé цвета *резеды* и *альтрос* [1], сейчас чувствовала себя счастливой и щебетала, перескакивая с одного на другое.

— Милая, дорогая пани Гамзова, что скажете хорошенького?

Впрочем, Ро не ждала ответа. Она не давала Нелле даже раскрыть рта.

— Какая для меня честь, что вы вдруг вспомнили обо мне,— сказала она чуточку язвительно.— Ай-яй-яй! Что же такое у вас с глазом? — воскликнула она соболезнующим тоном, увидав безобразное, воспаленное от ячменя веко на бледном, постаревшем лице Неллы.— Не смотрел ли глазок, куда не следовало? Нет, кроме шуток... ведь ваша дочка — врач... что думает на этот счет Елена? Она такая способная! Она ведь вернулась из России?

Сердце у Неллы екнуло.

— Давно...— ответила она, не показывая виду.— Ячмень, говорят, от недостатка витаминов... Пустяки, пройдет. Я хотела бы, пани Хойзлер, только попросить вас...

— Бедняжечка, как вы похудели! От вас просто половина осталась! Нет, серьезно, пани Гамзова, если бы вы не предупредили меня по телефону, я ни за что бы не узнала вас.

— У меня так много забот,— начала Нелла,— мой муж...

— Но я удивляюсь Елене, куда она смотрит,— болтала Ро, совсем не слушая Неллу.— Она прописала вам что-нибудь для

[1] Цвет увядшей розы (от *нем.* Altrose).

возбуждения аппетита? Вы хорошо кушаете? Да вы ведь из тех дам, которые чем угодно пожертвуют, лишь бы сохранить линию,— шутливо погрозила Ро пальчиком Нелле,— а впоследствии все это дает себя знать. Вы должны позаботиться о себе, дорогуша, питаться как следует, окрепнуть...

Нелла смотрела на нее, пораженная. Разве она не знает, что мы ужинаем картошкой и запиваем горячей бурдой? Она и знать этого не желает! Неужели она настолько бездушна или глупа? Вероятно, и то и другое вместе.

— ...худая шейка должна пополнеть,— продолжала трещать Ро,— ведь это слишком старит вас, дорогая, к чему? Вы еще такая интересная дама. Чем я могу быть вам полезна? Какао, кофе, чаю? — предлагала она, словно за прилавком.— Скажите же, что вы больше любите? Может быть, какао, нет? Оно всего питательнее.

Нелла, несмотря на свой возраст, покраснела.

— Вы слишком любезны,— сказала она,— но я не задержу вас и десяти минут. Только выслушайте меня. Вы помните, может быть, пани Хойзлер...

— ...как вы меня, еще девочкой, возили в Нехлебы,— подхватила Ружена,— richtig [1], моя милая, добрая пани Гамзова. Как же мне не помнить, ведь в этом нет ничего зазорного теперь, когда счастье вам изменило. Я вижу, точно наяву, сказочный фисташковый крем; ничем подобным, конечно, я не могу вас угостить — война. Но, моя милая, добрая пани Гамзова, вы, вероятно, не будете настолько горды, вы не откажетесь от скромного угощения, которое я осмелюсь вам предложить. Вы серьезно меня обидите. Даша!

По комнате запорхала горничная в белой наколке. Не могла же Нелла в ее присутствии объяснить Ружене, зачем она пришла сюда. Она сидела как на иголках во время этого вынужденного визита. А что, если придет какой-нибудь немец и вообще нельзя будет поговорить о своем деле?

Чтобы девушка могла накрыть стол, Ро взяла с него «Народного стража» с огромным портретом Гитлера в полевой форме.

— Красавчик, а? — заметила она, любуясь, прежде чем отложить газету, потом схватила новенькую книгу, которая, казалось, только что вышла из типографии, и ни одна живая душа не успела ее открыть. На темно-зеленом переплете блеснули золотые буквы: «Also sprach Zarathustra» [2].

Ро повертела книгу Ницше в руках и постучала по переплету.

---

[1] Верно *(нем.)*.

[2] «Так говорил Заратустра» *(нем.)*.

— Может быть, вы читали, пани Гамзова? — Нелла нарочно отрицательно покачала головой.— Замечательный роман, почитайте. От всей души рекомендую.

Сколько всякого добра поставила на стол горничная! Нелла не верила собственным глазам. Двести с лишком граммов сливочного масла, янтарный мед, ананасовый джем. Блюдо розовой ветчины... вот бы дать ломтик Мите, мальчик бы прямо облизывался. А тут в глубокой серебряной чаше... нет, этого, конечно, не может быть, в протекторате это только снится чехам, когда они идут спать на голодный желудок... взбитые сливки! Не какой-то там эрзац из искусственного белка, нет, самые настоящие взбитые сливки! Такие густые, что в них стоит ложка! А чешские дети, подумать только, получают снятое молоко, синее, как синька! Печенье благоухало африканской ванилью, от какао шел душистый пар, сахар искрился в хрустальной сахарнице, наполненной с верхом,— пани Ро, красивой приятельнице немецких офицеров, не было нужды экономить. Целых двести пятьдесят граммов масла! Нелла, сама не замечая этого, все время поглядывала на него, не в силах отвести глаза. Похрустывали «миньонки» из белой пшеничной муки, в батареях центрального отопления мирно побулькивала вода, в епископских хлебцах были сочные и сладкие коринки. Покоренная Греция, со свастикой на вершине Олимпа, завоеванный Крит, оккупированная Дания, оттиснувшая свою королевскую корону на куске масла, маленькая Голландия, засыпанная бомбами и затопленная морем, и ее огромные колонии, и наша разграбленная родная страна принесли свои щедрые дары на стол пани Ро, сидевшей, закинув ногу на ногу в шелковых паутинках, с сигаретой, привезенной летчиками, сияя платиновой прической и гостеприимной улыбкой. Она встряхнула корзиночку с поджаренной тоненькими ломтиками картошкой и *непринужденно* предложила:

— Вам не нравится? Привет из Парижа. Совсем свежий, только что прилетел оттуда на самолете.

Поджаренный картофель, закуска маленьких парижских кабачков, где Нелла с Гамзой завтракали вместе с рабочими и мидинетками! Свежее парижское утро, мелодично кричит торговка, предлагающая зеленый горошек и креветок, которые она везет в ручной тележке по уличке, заселенной студентами. Такие далекие годы! Так давно! Воспоминания о днях молодости, сохранившиеся где-то в глубине памяти, волнуют, как канувшая в воду звезда. Но Нелле не до этого! Она давно научилась подавлять свои чувства, пробиваясь в нацистские берлоги к Гамзе, и она говорит умышленно громко:

— Наверно, и это чудесное платье из Парижа?

Она уже поняла, что нужно дать бывшей Ружене Урбановой вдосталь похвастаться. Может быть, после этого с ней удастся поговорить.

— Да, вы угадали. В Париже сейчас можно купить что угодно. Мои знакомые летают туда очень часто. Ведь это так недалеко, всего каких-нибудь три часа. Вам что-нибудь нужно? Я устрою.

— Нужно,— перебила пани Гамзова с неожиданной энергией.— Вы такая влиятельная молодая дама...

— Ну, это уж не так плохо,— произносит польщенная Ро.— А что бы вы хотели — белье или чулки?

— Видите ли, пани Хойзлер. Моего мужа... вы, вероятно, помните его... судили по политическому делу. Сейчас это случается, не правда ли? И он был оправдан. Он не виновен.

— Поздравляю,— вскочила Ро,— мы должны выпить по этому поводу!

— Но произошло следующее. Его увезли будто бы ради его личной безопасности — для меня это совсем непонятно — в концентрационный лагерь в Ораниенбург. Он находится там больше года вместе со своим помощником Клацелом.

Ро медленно поставила на стол бутылку контушовки, не раскупорив. Весь ее пыл угас.

— Ага,— бросила она, притворяясь глубокомысленной.— Ага... Знаете что, дорогая,— продолжала Ро, медленно стряхивая пепел с сигареты выхоленными пальцами.— Сегодня нужно соблюдать благоразумие. А доктор Гамза, если я не ошибаюсь, был довольно-таки беспокойной птичкой. Я права? Я не хотела бы касаться больного места,— заметила она игриво, погрозив Нелле пальцем,— но, вероятно, у доктора Гамзы на совести найдутся кое-какие грешки.

Нелла посмотрела на нее в упор.

— Имперский суд признал его невиновным и освободил,— повторила она.

— Но я кое-чем порадую вас, пани Гамзова. У меня есть сведения из достоверного источника, что о заключенных в концентрационных лагерях образцово заботятся. Не придавайте значения шушуканью по этому поводу — все это пустые слухи. Они живут там в чистоте — насчет гигиены немцы всегда отличались; тех, кто работает, хорошо кормят, заключенные находятся в прекрасной местности, на свежем воздухе. Им там живется лучше, чем нам с вами, поверьте! По крайней мере, им ничего не приходится доставать.

Нелла усмехнулась уголком рта.

— Я бы все-таки предпочла видеть его дома. Пани Хойзлер, вы прелестная молодая дама, столько влиятельных лиц в восхи-

Жизнь против смерти

щении от вас. Вам, наверно, удалось бы выручить моего мужа. Только одной вам.

Ро не устояла перед этой атакой на тщеславие.

— Погодите,— сказала она, важно прищурив глаза.— Погодите. У меня есть одна идея. В среду будет прием в Чернинском дворце,— сказала она с кичливой откровенностью,— там я встречусь кое с кем — естественно, я не могу здесь назвать имя. Ну... посмотрим, что удастся сделать.

Нелла встала, поблагодарив.

— Но вы совсем ничего не скушали,— сокрушалась Ро.— Позаботьтесь хоть немножко и о себе, разве можно думать только о муже. Посмотрите на меня: я тоже соломенная вдова. Муж уже вторую неделю в Улах, он там разбирается в каких-то запутанных юридических вопросах вместе с тройхендером фон Мархе. Это разумный немец, и хорошо, что его туда пригласили, без него не обойдутся, ведь было бы очень жаль такое предприятие! Вы думаете, я не соскучилась по мужу? Но человек должен научиться пересиливать себя.

Постаревшая маленькая Нелла, в поношенном черном платье, с ячменем на бледном лице, слушала поучения высокой пани Ро в джерсе цвета *резеды* и *альтрос*, добытом в Париже, и не знала, как поскорей уйти.

— И берегите себя, дорогая,— попрощалась с ней ее покровительница Ро и похлопала Неллу по плечу с бойкой развязностью полковой дамочки.— После войны, вот увидите, как мы здорово заживем.

Нелла подняла на нее глаза.

— Я тоже на это надеюсь,— ответила она просто.

Но Ро, вероятно, совсем не поняла этой двусмысленности.

Едва ворота бубенечской виллы захлопнулись за Неллой, как она торопливо зашагала, словно спасаясь от самой себя. «И зачем я туда вообще ходила! Ведь это позор, такой позор!» Она просто физически ощущала на себе грязь хойзлеровского зачумленного притона. Она защищалась от самой себя, как будто заразилась какими-то враждебными идеями. Что сказал бы Гамза о ее визите? Но едва только она подумала о его спасении, как сразу будто окаменела. Больше или меньше унижений, не все ли равно, лишь бы помочь Гамзе! Но будет умнее, если она скроет все это от своих детей. Ей попало бы, если бы они узнали, у кого она была. Станя сказал бы: «Ну и придумала, она еще донесет на тебя». А Еленка, строгая Еленка...

Вот что делает нечистая совесть с человеком! Когда Нелла возвращалась домой по тихой уличке возле Дейвицкого вокзала, ей померещилось, что молодая женщина, к которой только что по-

дошел человек в черных очках и нежно взял ее под руку, похожа на Еленку. То есть на ней было точно такое же, как у Еленки, пальто, перешитое из старого плаща Неллы, потому что негде было достать другой материи. Сейчас оба шли впереди Неллы, прижимаясь друг к другу. Человек в черных очках наклонялся к молодой женщине, одетой в пальтишко, необычайно похожее на Еленино, и говорил что-то, по-видимому, любовное. Она внимательно слушала и держала его за руку, как будто не довольствуясь тем, что он поддерживал ее. Ну, просто исключено, чтобы Еленка могла так льнуть к постороннему человеку. Даже и к Тонику она никогда открыто не проявляла нежности. Она была слишком сдержанна в своих чувствах. Ростом Еленка много выше. Впрочем, рядом с таким высоким человеком... Нелла обогнала парочку. В ушах у нее прозвучал знакомый альт, знакомый смех ударил по барабанным перепонкам. Это была Елена. Еленка со своим острым личиком, в пальто, полученном от Неллы... для того чтобы понравиться своему поклоннику. Заметила она мать или нет, увлекшись своим любовником? Нелла не сделала даже попытки убедиться в этом. Не в силах справиться с охватившим ее волнением, она так же прибавила шагу, как незадолго перед тем, выйдя из разбойничьего притона Ро, и заторопилась, словно затравленная, прочь от ошеломившей ее парочки.

Еленка, строгая Еленка! Так вот как в действительности обстоит дело. А мы-то думаем, что знаем своих детей! Этот развод с Тоником... был ведь для виду, ведь они сойдутся после войны? Сколько народу разводится теперь по политическим соображениям! Почему же тогда Еленка не уехала с Тоником в Америку? Жена должна последовать за мужем. А Митю они могли бы оставить у бабушки. Она сумела бы воспитать его не хуже... пожалуй, даже лучше, чем легкомысленная дочь. У Неллы, потрясенной неожиданной встречей, в первый момент было такое ощущение, что Митя находится в недостойных руках. А как он льнул к матери, как радовался воскресным загородным прогулкам. Она возила его на такси... ребенок еще избалуется, уже совсем некритически нападала Нелла в душе на Еленку. (Она совершенно позабыла о фордике давно прошедших времен.)

Еленка вернулась домой довольно скоро, что даже удивило Неллу. Она ожидала ее гораздо позднее после этого гнусного любовного свидания. Часто бывает, что если ты сердишься на кого-нибудь, тебя все в нем раздражает.

Пани Гамзова, казалось, еще больше возненавидела Еленку за то, что та пришла вовремя. Она кое-как сдерживалась весь вечер, чтобы не взорваться. Потом Митя ушел спать, Станя — писать, Еленка тоже поднялась из-за стола, пожелав спокойной

ночи. Но мать, посмотрев из-под очков, оторвалась от штопки и остановила дочь:

— Елена, кто был тот человек, с которым я сегодня тебя видела?

Еленка легкомысленно тряхнула кудрями.

— А, один поклонник. Скажи, пожалуйста, мама, как ты туда попала? Где ты была?

Значит, она узнала Неллу. И сейчас же давай расспрашивать сама. Как это похоже на Елену. Пани Гамзова решила, что не заикнется своим детям о визите к Ро. Но раздражение взяло верх.

— У Ружены Хойзлер,— сердито сказала она,— по поводу папы. Я была у одной легкомысленной женщины,— сурово произнесла мать,— а другую встретила. И как не стыдно тебе, Елена, Тоник этого не заслужил.

К удивлению Неллы, Елена совсем не обиделась.

— Но, мама,— сказала она со спокойным превосходством,— нельзя же требовать, чтобы в мои годы я жила монахиней. Ты же не думаешь так всерьез.

Нелла смотрела на нее в полном изумлении. Так вот какая она, Еленка! Ее мудрая, неприступная дочь, благоразумная Еленка, которой она так гордилась! Матери охраняют пуще своего глаза супружество своих дочерей. И супружество Еленки с Тоником было такое чистое, хорошее, верное. Они никогда не ссорились, никогда ничего не скрывали, ни в чем не подозревали друг друга, жили шаловливо, как два восьмиклассника. Они распространяли вокруг себя атмосферу молодости и чистоты. И вот все уничтожили нацисты! Как они изуродовали семью Неллы! Гамза в концентрационном лагере, Тоник за океаном, приходится жить в вечном страхе перед гестапо, бесполезные просьбы, бесконечная усталость от их бесполезности, лестницы, лестницы, лестницы. И теперь вдобавок еще эта грязь. Нынешний день был грязен вдвойне. Нелла закрыла лицо руками.

— Боже, как это ужасно! — горестно воскликнула она.— Что ты скажешь Тонику, когда он вернется? Как ты посмотришь ему в глаза?

Еленка улыбнулась.

— Только никаких трагедий, мама, а мы уж договоримся. Не беспокойся. Тоник в Чикаго тоже живет не монахом. И ты не преследуй меня, мама, из-за этих поклонников. Я совершеннолетняя, и твое беспокойство бесполезно. Я скажу тебе откровенно: я не могу прожить без мужчины. В конце концов гестапо это позволяет. И даже поощряет.

На такую циничную откровенность Нелле нечего было возразить.

— Хорошую радость доставила бы ты отцу,— ответила она с горечью и снова взялась за иглу.

Легкая усмешка появилась в уголках рта у Еленки. Она хотела было что-то сказать, но не произнесла ни слова. Посмотрела на мать, отвернулась и молча вышла из комнаты.

Вечером в шикарной холостяцкой квартире Ро сказала Курту:

— Курт, у меня к тебе просьба.

— Ай-яй-яй, уже? — заметил Курт.— Не слишком ли скоро? Опять чулочки?

— Нет, это будет возвышенная просьба. Ты не мог бы помочь мне выручить одного заключенного из концлагеря? Это пожилой человек, старое знакомство.

— У тебя с ним было что-нибудь?

— Aber woher denn? [1] Ведь он мне в отцы годится.

— Ты же работаешь со старичками,— пошутил Курт, намекая на мужа Ружены.

— Брось шутить. Поможешь ему?

— Милочка, ты, как мне кажется, путаешь вермахт и гестапо. С гестапо я не хочу связываться. Даже сам der schöne Adolf [2] побаивается гестапо. Твой протеже не еврей?

— Нет.

— Поляк?

— Нет.

— Цыган?

— Нет. Чех.

— Тоже глупо. Надеюсь, не коммунист?

— Коммунистов ведь у нас теперь не существует.

Курт рассмеялся.

— Du bist suss! [3]

В постели они забыли об этом разговоре.

ДАЙ МНЕ ЗНАТЬ

Нелла уже очень давно не получала вестей от Гамзы. Раньше открытки приходили каждые две недели. Клацел тоже не давал знать о себе. Она побежала в гестапо к комиссару, который вел дело Гамзы. Может быть, из Ораниенбурга запрещено писать?

---

[1] Ну откуда ты это взял? *(нем.)*

[2] Прекрасный Адольф *(нем.)*.

[3] Ты очаровательна! *(нем.)*

(Да разве ей скажут, даже если это и так? В этих делах пани Гамзова была неисправимо наивна.) Гразл потянулся за своим письменным столом и скорчил серьезную мину человека с характером.

— Напротив, мы сами следим, чтобы заключенные регулярно писали. Зачем понапрасну беспокоить родственников?

Когда Гамзу арестовали и к Нелле в дом пришли с обыском, у нее строго спросили, где ее муж. И тут же у гестаповцев оказались ключи от письменного стола Гамзы, взятые из его кармана. И тогда и сейчас было одно и то же чудовищное лицемерие. Но для кого разыгрывалась эта вероломная комедия?

А затем, словно на смех, пришла открытка, так перепугавшая Неллу. Разве это почерк Гамзы, боже мой! Разве это его четкий, экономный, энергичный почерк! Он писал, как первоклассник, огромными раскоряками, они расползались во все стороны, словно ноги на льду. Он писал левой рукой, промелькнула догадка у Неллы. А что с правой? Он, конечно, ни словом не упомянул об этом. Значит, это сделали они.

«Моя дорогая,— писал он,— благодарю тебя за все. Я здоров. Надеюсь на детей и на брата Иосифа. *Гамза*».

Брат Иосиф — это Сталин. Гамза надеется на Советский Союз. Нелла это поняла. Но «благодарю тебя за все» звучит как прощание, вдруг с ужасом подумала она. И Нелла тут же стала уговаривать себя. Он не благодарит, как раньше, за посылку и письма, потому что для него было бы трудно и слишком долго все это писать. Но что же у него с рукой?

Она положила роковую открытку в сумочку и поехала к Анне Клацеловой.

До войны Нелла знала эту молодую женщину только по фотографии на письменном столе Клацела. Но с той поры, как гестапо арестовало Гамзу, забрало его помощника и опечатало жижковскую контору, Анна Клацелова стала для Неллы одним из самых близких людей на свете. Одинаковая судьба постигла обеих женщин, одна и та же боязнь соединила их, стремление действовать поддерживало обеих — все это очень сближает людей. Обе ломали голову, как спасти мужей, и тщетно.

Но тем, что они советовались, постоянно говорили о своих мужьях, ни на минуту не переставали думать о них, делали что могли, чтобы, по крайней мере, облегчить их участь,— именно всем этим они помогали себе и спасали друг друга от отчаяния бездеятельности. Посылки с продуктами, собранными с необыкновенной изобретательностью, поддерживали узников точно так же, как и женщин, готовых пожертвовать ради мужа последним куском. Ах, почта, почта! Источник радости! Когда-то в юности мы получали

любовные записочки. Но разве можно сравнивать их с открытками из концлагеря! Когда бы ни получила открытку одна из приятельниц, она несла ее к своей подруге по несчастью, и они вместе обстоятельно изучали письмо, вкладывая в каждое слово тайный смысл. Открытки были написаны условным языком по-немецки, с ограниченным количеством слов, с оглядкой на цензуру. Однако, когда письмо оказывалось в руках, женщины воскресали, как будто они издалека обменивались рукопожатием со своими мужьями.

Но сегодняшняя открытка, с трудом исписанная детскими каракулями, эта страшная открытка...

Нелла позвонила в квартиру Клацелов на Жижкове. Топоча ножонками, к двери подбежал маленький сынишка Клацела. Он еле-еле доставал до ручки.

— Где мама?

— Мама плачет,— серьезно ответил мальчик.— Потому что у папы разбили очки. Но я починю их! — добавил он сам себе в утешенье.

В передней пахло отвратительным, проникающим во все закоулки запахом дезинфекции, чем-то необычным и враждебным. Нелла пошла за ребенком в комнату. Ужасная вонь усилилась, она исходила от бумаг и вещей, разбросанных по столу: маленькая комнатка потемнела от них, как в пасмурный день. Нелла была настолько взволнована, что даже не заметила убитую горем Анну, сидящую неподвижно у стола с каким-то пальто на коленях. Анна встала, пальто свалилось на пол. Если бы это не было в квартире Клацела, Нелла не сразу бы узнала свою приятельницу.

— Смотри, что мне прислали,— сказала Анна, поднимая пальто и показывая на стол.— О, они аккуратные люди! — всхлипнула она и бросилась Нелле на шею.

Нелла увидела разбитые очки, носовой платок в ржавых пятнах, туго свернутый в засохший и отвердевший, как жесть, комочек; мужской костюм, тот самый серый костюм, который она видела на Клацеле в день ареста Гамзы...

— Но это еще не значит...

Анна Клацелова протянула руку и молча подала бумажку.

«Ehemann am Herzschlag gestorben» [1],— было написано там.

— Ему было тридцать пять лет,— всхлипывала Анна.— У него никогда ничего не было с сердцем.

После этого она спросила о Гамзе.

У Неллы не хватило духу показать вдове открытку от Гамзы, эту жалкую, с трудом написанную открытку. Как бы там ни было,

[1] Супруг скончался от разрыва сердца *(нем.)*.

Клацел погиб, а Гамза пока жив. Нелле стало как-то стыдно перед вдовой за свое счастье.

Ах, счастье! С этого времени у нее не было ни минуты покоя. Она слышала от студентов, которые постепенно возвращались, что Гамза и Клацел всегда ходили вместе, что оба они раздавали почту; что же, такая служба не очень обременительна, но она ведет за собой тайную слежку и рождает зависть. Нелла знала, что судьбы обоих мужчин с самого начала тесно переплелись. О, боже, она знала, что час пробьет. Ждать пришлось недолго — Нелла тоже получила извещение:

«Ehemann durch Selbstmord geendet» [1].

— Это неправда! — воскликнула Нелла.— Это ложь! Он не наложил бы на себя руки. Нет, Гамза этого не сделал бы...

Станислав, болезненно напуганный всем происходящим, багрово покраснел от стыда. В юности, когда на земле еще царил мир, он покушался на самоубийство...

— Наглая ложь. Папа этого ни за что бы не сделал,— сказала Еленка.— Звери. Но не вечно они будут править.

— От этого ему уже не станет легче,— с непереносимой скорбью произнесла Нелла.

Она впала в апатию. Она не хотела ничего ни видеть, ни слышать, ни знать. Всякое проявление жизни ее оскорбляло. Елена поневоле ходила в амбулаторию при страховой кассе и с визитами по больным, а Станислав — в Клементинум, иначе семье не на что было бы жить. Они продолжали слушать Москву и Лондон и иногда страстно спорили. Нелле казалось, что дети недостаточно горюют о Гамзе. А Митя был так шумлив. Нелла Гамзова, Митина заступница перед строгой матерью, его адвокат в делах, заслуживающих наказания, как подтрунивал над ней Гамза,— возможно, что он когда-то действительно жил здесь и смеялся,— сейчас, после смерти мужа — не выносила внука. Она пряла и пряла черную нить своих дум, и ее раздражали маленькие лапки, которые порой забирались в траурную пряжу. Молодой футболист топал в коридоре, она всюду натыкалась на него в обители скорби. Неизменно звонкий голос мальчика казался ей бесчувственным. Нелла переносила только присутствие Анны Клацеловой, своей сестры по несчастью. Она отгораживалась от семьи стеной враждебного молчания. Никто так не горевал о Гамзе, как она. Она ревниво оберегала свое первенство в праве на горе. Дети не умеют даже представить себе ее скорбь. У них другие интересы. Семья стала меньше на два человека — не было Топика и Гамзы, и оставшиеся поселились в одной квартире, приемная Елены с отдельным

[1] Супруг покончил с собой *(нем.)*.

входом находилась теперь по соседству с жилой комнатой и отделялась от нее только двойной дверью. Нелла терпеливо ожидала, когда все уйдут из дому после обеда — Елена к больным (или на свидание), Митя к товарищам, а Станя либо в кафе, либо еще куда-нибудь,— и ей никто не станет мешать. Она хотела быть одна с Гамзой.

Был день поминовения усопших, и Нелла уселась за письменный стол, огромный конторский письменный стол, оставшийся после старой пани Витовой и увезенный из Нехлеб. Когда Скршиванеки вернулись из Горького, столом пользовался Тоник, и поэтому ящики выдвигались с трудом, громыхали наложенными в них винтиками, напильниками, французскими ключами, всевозможными инструментами и металлическими деталями, в которых семья адвоката ничего не понимала. Тоник уехал, а письменный стол вернулся к Нелле. Приводя в порядок содержимое ящиков, она искала памятки о Гамзе. Они попадались редко... Гестапо забрало из дома и из конторы всю его юридическую переписку и личные документы.

Дубовый стол, уже с червоточиной, уподоблялся семейному памятнику. Чего только не найдешь в нем? Дагерротип прабабушки, хозяйки мясной лавки, решительной женщины, когда-то укротившей быка на радлицких склонах, и ее молитвенник, набранный готическим шрифтом, куда она, как хорошая хозяйка, записывала на первой страничке цены на мясо и даты рождения своих девяти детей; бархатная сумочка с серебряным тиснением, а в ней монетка, которую получил дедушка от крестного отца на крестинах; горсть кораллов с их характерным запахом, гремящих в коробочке из ракушек,— бог весть кому принадлежали эти кораллы с разорвавшейся нитки, и среди них — молочный детский зуб; альбом мамочкиных семейных фотографий, такой толстый, что ящик с ним еле задвигался; и письма,— боже, сколько писем, перевязанных зелеными и сиреневыми ленточками, написали друг другу отец и мать до женитьбы, хотя оба жили в Праге и никто не мешал им видеться. Какой-то любитель снял их во время свадьбы на лестнице у монастыря Кармелитов; вот миртовая веточка в обеденной карточке ресторатора Шлехты из Королевского заповедника; свадебные фотографии родителей, приглашения на свадьбу родителей... Нелле с Гамзой далеко до них! Кому бы они стали сообщать о своем трансильванском браке. Он вызывал лишь возмущение. Зачем им нужны были фотографии, если они всегда могли видеть друг друга? У Гамзы не было склонности к сентиментальному хламу. Он писал лишь в случае необходимости, когда его вынуждало к этому непреодолимое расстояние. Пачечка розовых открыток полевой почты и открытки из концент-

рационного лагеря — вот все, что осталось от Гамзы в дедовском письменном столе. Он ускользает из семейной хроники в будущее. Нет, нет, он не встретится с мамочкой, Нелла знала, что и после смерти каждый из них останется в разных мирах. Нужно не двигаться, надо тихо сидеть в час, когда являются тени, так тихо, как будто и тебя уже не стало. Малейший шорох их спугивает. И так странно, что Гамза тоже уже среди них. Она помнила его молодым, на заре любви, когда она еще была пани Адамовской и им нужно было таить свою любовь. Умершие любят скрываться. Но в этом молодом возлюбленном проступали черты Гамзы последних лет жизни в Стршешовице, когда он так привязался к ней, точно чувствуя свой близкий конец. «Может быть, я что-то упустила»,— подумала Нелла, и ей вспомнилось, как один из студентов советовал попытаться перевести Гамзу в Бухенвальд, где будто бы было лучше. Легко сказать — перевести, но Еленка на это не согласилась. Не отрывайте его от коллектива, сказала она. Папа, наверно, уже нашел там единомышленников. А когда нелегальным путем пришла записка: «Становится жарко. Они будут беспощадны ко всем, кто был в партии»,— разве Нелла не кинулась тут же к Ружене Хойзлер? Разве мало она обивала пороги канцелярии вместе с Анной Клацеловой? Гестаповцы брали вино и сигареты, но никто не помог. Или я все же чего-то не успела сделать? Эта мысль выбрасывала ее из кресла, гнала по комнате, в которой пробуждались спящие шорохи, и Нелла снова и снова обегала заколдованный круг по вытертому ковру, опять возвращалась к своей бесплодной работе за раскрытый письменный стол, над которым когда-то старая пани Витова склоняла свою взлохмаченную голову в свете лампы с зеленым абажуром. На стекло книжного шкафа падало пятно света. Нелла смотрела на него, уронив руки на колени,— должны же мы куда-то смотреть, пока у нас есть глаза. Где-то далеко в глубине, за стеклом, перед ней явился, точно в волшебном фонаре, почти осязаемый, так что она даже испугалась, маленький крутой Кршивоклат, выступивший рельефно, как в стереоскопе, в странном нереальном освещении, Кршивоклат, где они тайно прогуливались в то время, когда она еще носила фамилию Адамовской. Она бродила с Гамзой по лесам, сидела под деревьями трактирчика в долине, где в будни не было ни души, и бог весть почему ей вздумалось однажды в вечерний час, когда после захода солнца на некоторое время, словно на прощанье, становится так удивительно ясно, завести разговор о возможности загробного существования. Гамза отрицал его: «Нелла, Нелла, жизнь на земле — блаженство». В тот раз, о чем бы ни говорилось, она возвращалась к одному. «Я умру первая, я знаю это,— с некоторой гордостью объявила Нелла (да, она всю

жизнь верила в это),— и если после смерти существует что-либо, я дам тебе знать».— «Но если это буду я,— озорным тоном отвечал Гамза,— радуйся, Нелла, я явлюсь попугать тебя». «Если бы явился! Я была бы счастлива»,— вслух произносит Нелла, уставившись в одну точку в темном книжном шкафу, где исчез Кршивоклат. И в комнате стоит тишина. У этой тишины есть и другое свойство. Она полна таинственных шорохов; в сумрачной комнате кто-то незримо присутствует, затаив дыхание. Нелла напрягала все свои душевные силы, будто протягивая кому-то, перегруженному сверх меры, обе руки, чтобы помочь перебраться через глубокую канаву... Доберешься сюда, ко мне? Тут послышалось отдаленное постукивание. И тишина. Нелла задрожала всем телом. Ничего, это был старый ревматический стол, у него что-то потрескивало в суставах. Она настороженно прислушалась, чтобы удостовериться, не постучат ли снова. Нелла, Нелла, разве так трещит мебель? И снова стук, более настойчивый; пани Гамзова замерла в кресле: явное ритмичное постукивание. «Не сошла ли я с ума? Галлюцинация». Тут в дверь стукнули в третий раз, еще более настойчиво. Нелла вскочила. Из Еленкиной приемной медленно, с какой-то жуткой осторожностью открывались двойные двери. Пани Гамзова вскрикнула.

— Бабушка, это я,— окликнул ее Митя и быстро подошел к ней.— Ты испугалась? Ты не сердишься на меня?

Нелла вместо ответа крепко схватила внука, прижалась к нему и впервые за все это время разразилась слезами.

Она плакала не только о Гамзе, она оплакивала свои заблуждения, плакала потому, что ей стало так легко с земным Митей в объятиях, да, она плакала, плакала потому, что нас тянет к живым, если даже мы и не хотим этого.

Митя несколько раз растерянно оглянулся.

— Я ведь к тебе привел кое-кого,— сказал он,— нас послала мама...

Из полумрака выступил изможденный молодой человек и вошел в круг света, падающего от лампы. Лицо у него было худое, желтое, голова обрита. Ах, Нелла уже знала их, студентов из Ораниенбурга.

— Я Божек,— сказал он,— и был в лагере вместе с товарищем Гамзой. Третьего дня вернулся. Но я могу прийти в другой раз, если сегодня...

— Нет, нет.— Нелла задержала его с необычайной живостью и уже усаживала рядом с собой.— Я всегда так рада, когда слышу о нем от кого-нибудь, кто жил с ним. Мне нужно так много узнать. Митенька, беги к себе.

Но Мите не хотелось уходить. Он стоял как вкопанный.

— У него был прекрасный дедушка,— оглянулся Божек на Митю.— Если бы вы знали, кем стал для нас товарищ Гамза! Я уже говорил об этом доктору Скршиванковой. Даже в той ненормальной обстановке он был таким обыкновенным, знаете, нормальным, человечным. И при этом он приоткрывал нам будущее. От него мы узнали, почему на нашу долю выпали эти испытания. Он верил в свет с Востока и в будущую республику, которая будет лучше прежней.

— Я знаю,— ответила с тихой, скорбной гордостью жена Гамзы.— Я знаю. Все студенты, которые были у нас, говорили об этом. Какой он был опорой и утешением для них. И неправда, что он сам...

— Конечно, неправда. С ним расправились за Лейпцигский процесс. Этого ему не забыли.

— Но они же давно знали об этом,— заметила Нелла, загадка его смерти мучила ее.— Вероятно, был какой-нибудь непосредственный повод...

— Гамза и Клацел прятали у себя деньги для новых *хефтлингов,* чтобы новички, голодные, как и все в лагере, могли коечто купить в ларьке. Никто не имел права держать при себе больше сорока марок мелочью. Ну, а один из неопытных *цугангов* [1] заплатил бумажкой в пятьдесят марок...

Нелла закрыла лицо руками. Из-за такого пустяка!

— А что рука? Что у него случилось с рукой? — спросила она страдальчески робко.

Она вдруг заметила, что Митя не ушел, а стоит и слушает, и рассердилась:

— Я уже сказала тебе, Митя, уходи!

Божек не сказал Нелле того, что доверил ее дочери,— что Гамзу подвесили за руки и вывихнули правую. Он не признался Нелле и в том, что видел Гамзу в последний раз у стены барака перед казнью, когда два эсэсовца избивали его. Зачем описывать такие муки исстрадавшейся женщине? Божек сделал нечто другое. Он встал, обнял Митю за плечи, подвел его к свету и попросил:

— Пани Гамзова, нельзя ли Мите остаться? Пожалуйста, разрешите ему побыть здесь. Он уже большой мальчик. (Митя вспыхнул от смущения и восторга.) Пусть он послушает, как умер его дедушка — истинный поборник справедливости. За то, что защищал Димитрова и коммунистическую партию.

Митя вытянулся, как солдат, и не сводил глаз с Божека.

---

[1] Вновь прибывших (от *нем.* der Zugang).

— Когда у нас опять будет республика и мы закончим образование,— добавил Божек,— мы будем учить этому девушек и юношей в школах. Пусть знают, какие необыкновенные люди были у нас.

Нелла с болью в сердце смотрела на этих двух мальчиков — на своего, еще маленького, и на чужого, взрослого.

«Ты все-таки дал мне знать,— пришло ей в голову.— Вот она, жизнь вечная».

Но она еще много раз впадала в старые ошибки, ибо все мы грешники.

И ПОКРЫВАЛО ЦВЕТОЧКАМИ

Если происходит историческое событие, люди навсегда запоминают, где они были, что делали и какая была погода в час, когда их застигла новость.

Ондржей и Кето возвращались с прогулки по развалинам крепости Гори под жгучим горным солнцем, голодные и измученные жаждой.

Когда-то неприступная крепость составляла единое целое с горой, потрескавшейся и морщинистой, как слоновая кожа. В Закавказье сохранилось много таких старинных укреплений на голых скалах над ревущей рекой. Во время монгольских, арабских, персидских и турецких набегов часто не хватало времени на то, чтобы сменить меч на плуг.

Долина Куры кудрявилась зеленью колхозных фруктовых садов. Ряды скошенного машиной хлеба убегали вдаль, сливаясь на горизонте. По склонам вились виноградники. Окрестности мирно дремали под полуденным солнцем, казались идиллией. Горы, приобретающие в сумерки несколько суровый вид, походили сейчас на табун отдыхающих гигантских коней. Июньское солнце стояло над скалами; они дышали жаром, словно печь.

Белые дома, построенные при Советской власти в новом Гори у подножия крепости, даже и в тени казавшиеся освещенными магнием, сейчас ослепительно сияли в лучах солнца. Перед домиком, где родился Сталин, пестрой толпой теснились экскурсии школьников, комсомольцев, рабочих, колхозников. И беспрестанно проезжали военные машины — в Гори находился гарнизон. Был жаркий воскресный день, когда все отправляются за город.

Ондржей и Кето встретились в Гори, а вечером девушка должна была вернуться в Тбилиси, побыть там денек-другой у сестры и купить приданое. Они получают квартиру — прекрасную комнату в одном из вновь построенных домов против зоологического

сада,— по крайней мере, Кето не будет так скучать о деревне. Колхоз уже обещал отпраздновать их свадьбу по старинным кавказским обычаям, а после этого прощания Кето поступит на тбилисскую шелкоткацкую фабрику. Кето, как всякая невеста, целиком отдалась устройству нового хозяйства. Ондржей никогда бы не подумал, что она такая.

— Лампочки из молочного стекла, розоватые... знаешь, такие, как мы видели на проспекте Руставели? Зажжешь — и у тебя в комнате цветут магнолии.

О каждой тарелочке, подсмеивался Ондржей, она рассказывает сказки из «Тысячи и одной ночи». Но он с удовольствием слушал эти сказки — он ведь очень, очень любил Кето. Они устраивали свою жизнь весело, как молодая пара, которая хорошо зарабатывает, и Кето добавляла к этому склонность южан к прелестям жизни.

— Комнату я велю расписать цветочками,— говорила она своему милому по дороге от крепости к городу.— И покрывала тоже будут цветочками.

Вдруг в праздничном небе гулко загремел громкоговоритель, голос диктора разнесся в кристально чистом горном воздухе и объявил горам и долинам, что сейчас выступит Молотов.

Жених и невеста остановились и стали слушать.

Горное эхо подхватывало последние слоги и примешивало их к произносимой дальше речи, так что Ондржей вначале не все понимал. «Война, война»,— повторял голос и, кажется, назвал Наполеона и Гитлера. Народный комиссар рассказывает по радио о международной обстановке. Ну конечно же, война французов и англичан с Гитлером. Но боже мой, что он говорит? Киев?.. Житомир? Потом какой-то город, названия которого Ондржей не разобрал... Севастополь... Налеты немецкой авиации, бомбардировка? И вдруг прямо в лицо Ондржею загремело: «Нападение на нашу страну...»

Он посмотрел, как отразится эта новость на лице Кето, а оно болезненно исказилось от ужаса. Девушка взглянула на Ондржея, словно не узнавая его, всхлипнула и помчалась с горы к домику, где родился Сталин; Ондржей побежал за ней. «Но это просто удивительно,— в замешательстве подумал он,— что я, обыкновенный человек, узнаю такую новость в Советском Союзе». И вдруг — так бывает, когда в темноте неожиданно повернут выключатель,— его озарила мысль. «А ведь это же... это значит, что в Чехословакии опять будет республика, если в войне примет участие Советский Союз. Сумасшедший Гитлер! Напасть на такого серьезного противника!..» Ондржей стоял перед репродуктором среди гневно молчащих мужчин и плачущих женщин и как будто подсчитывал,

сколько еще нужно ждать и надеяться чехам. Он лелеял эту надежду в душе. Кето не плакала. Она только очень побледнела. Смуглый румянец исчез с ее щек, из розовой она превратилась в чайную розу. Черты лица стали тверже. У нее блеснули глаза и зубы.

— Фашисты получат по заслугам,— сказала Кето Ондржею. (Кажется, когда-то она уже говорила это?) И засобиралась домой — захотелось поскорей к своим, в колхоз. Она была там секретарем комсомольской организации, да и вообще...

Едва Молотов кончил свою речь, как заворчали заведенные моторы, стали подъезжать всевозможные автомашины, экскурсионные автобусы, открытые грузовики, люди набивались в них и стремглав мчались в машинах на свои предприятия, обгоняя пешеходов, которые толпами валили к железнодорожной станции.

Кето не позволила уговорить себя. Что ей делать у сестры в Тбилиси? Уж не покупать ли приданое? Война! Кето пока еще не работает на тбилисской фабрике, но у Ондржея там все время работы по горло, а она состоит на учете в своей колхозной организации и должна быть там как можно скорее. Из Гори до Батуми ближе, чем до Тбилиси. Ондржей знал несговорчивость Кето, а ведь сейчас она права. Она всегда обгоняла Ондржея в своих решениях и иной раз стыдилась категоричности своих слов и поступков. У вокзала, в спешке, Кето, даже не попрощавшись, спрыгнула с машины, и у нее, кажется, подвернулась нога. Обычно она двигалась легко, как газель. Именно по этому неловкому прыжку Ондржей почувствовал, что Кето переживает все тяжелее, чем это кажется, и сердце у него болезненно забилось от жалости и любви, когда он смотрел, как она идет прихрамывая. Он даже собирался крикнуть, чтобы ее подождали, но в эту минуту она перестала хромать и пошла своей обычной походкой — это он еще видел,— а потом скрылась в толпе.

Впервые с тех пор, как они сблизились, он не проводил ее. Ондржей уезжал с ощущением, что уже однажды пережил разлуку с Кето. Да, это было осенью тридцать восьмого года, когда он впервые был с Кето в раю Зеленого мыса. Мрачные тучи сгущались тогда на горизонте; сегодня из них ударила молния.

Нацисты выбрали для нападения воскресный день несомненно нарочно, рассчитывая на то, что все учреждения закрыты, заводы стоят, администрация отдыхает; в жаркое летнее воскресенье города пустеют, рабочие и служащие уезжают на массовки в разные стороны. Лови их, лови капельки радужного фонтана всех цветов кожи этой страны! Отыскивай красные и желтые бусины с разорванного шнура на опаленной солнцем груди лета! Куда они закатились? В траву, в мох, в горный сосняк, под кайму палаток, в

озеро, в реку, в море? Вытаскивай голых людей из купален! Буди загипнотизированных солнцем! Вызывай на берег пловцов из воды и экскурсантов с пароходов! Бей в барабан сбор молодежи на всех спортивных стадионах Советского Союза! Выпроваживай зрителей из кино и музеев! Бегай за отцами, которые отправились с детьми на прогулку, за дядюшками, ушедшими в гости, разыскивай людей на танцевальных площадках и у аттракционов в парках культуры и отдыха, попробуй найти влюбленных, которых черти носят неведомо где! В воскресенье никого не найдешь ни на работе, ни дома — желая развлечься, все разъехались кто куда. Лето — время отпусков у рабочих, время курортов и целебных источников; идет июнь, прекраснейший из месяцев, волшебный в горах, блаженный у моря. Зачинщики молниеносной войны потому и выбрали жаркое летнее воскресенье, чтобы ошеломить внезапностью удара, чтобы вызвать наибольшую панику и выиграть преимущество во времени.

Однако жители рабочего государства уже видывали виды. У них было нечто такое, чего никогда не снилось Гитлеру и его бандитам. То, что не продается и не покупается ни на какую, самую устойчивую валюту. То, чего даже нельзя отнять у убитого, потому что он передал это дальше, живым, то, о чем не забывает партия. Они несли в себе сознание своей справедливой борьбы со старым миром, свой революционный опыт. Отцы и матери пережили все сами, у детей этот опыт вошел в плоть и кровь. Не зря дети ходили в советскую школу, а молодежь — на заводы. Молотов призывал всех — от Белостока до Владивостока, от Урала до Кавказа, от Белого моря до Черного, на берегу которого Кето выращивает чай,— и всюду, вероятно, происходило то же самое, что видел и переживал Ондржей. Перед военкоматами уже стояли очереди призывников. Ворота заводов и фабрик открывались, и ежеминутно туда проскальзывало по нескольку вернувшихся с экскурсии человек, напоминая своим движением шарики рассыпавшейся ртути, которые бегут быстро-быстро, чтобы слиться с текучей, неуловимой, монолитной гладью живого серебра.

Действительно, Ондржей не поверил бы, что еще сегодня вдохнет знакомый запах распаренных шелковых коконов, который не выветрит в ткацком цехе никакая субботняя уборка, что он окажется на старой фабрике в душный воскресный день. Замужние работницы оставались дома — они провожали мужей в армию. Но собрались все комсомолки и, прежде чем Софья Александровна начала свою речь, стали у станков, готовые приступить к работе.

Ударница Нина первая включила рубильник, в воздухе щелкнуло, зазвенело, станок стукнул, пол вздрогнул, челноки выстре-

лили по основе — и цех заработал, дребезжащие вздрагивания перешли в ритмичное пульсирование.

Маленькая подсобница, которая в тридцать восьмом году собиралась расстрелять Гитлера, сейчас уже опытная ткачиха, обслуживающая четыре станка, выбежала в тот конец цеха, где на стене висели портреты Ленина и Сталина, и крикнула звонким голосом, привычным к перекличке в горах:

— Темпы, девушки, темпы, фронту понадобятся наши веретена и станки, наша работа, наш парашютный шелк. Все для фронта!

Девушки дружно подхватили призыв, и грохот машин перекрыл их голоса.

ПОСЛЕДНЯЯ ИНЪЕКЦИЯ

Станислав и Еленка часто спорили. Их объединяла общая ненависть к нацистам, которые забрали у них страну, убили отца и отняли свободу. Но они расходились в своих политических симпатиях. Станя предпочитал слушать Лондон, Еленка — Москву. Елена всем своим существом стояла на стороне Советского Союза, в надежде на него она черпала силы, он был ее второй родиной. Утонченный Станя питал слабость к зеленому, туманному острову, обтекаемому теплым Гольфстримом. Конечно, Станя тоже любил русских и, как каждый порядочный чех, полагался на славянскую солидарность. Но когда Советский Союз заключил с Германией пакт о ненападении, Станислав принял это как тяжелый удар. Он побелел, словно полотно, и чуть не умер у радиоприемника, у этого проклятого колдовского ящичка с зеленым кошачьим глазом.

— А что же делать, если Советский Союз один против нацистов,— защищала Елена Советы,— и нужно выиграть время?..

— Как это один? А Англия и Франция что же?

— Станя, неужели ты еще веришь им после всего, что они устроили с нами в Мюнхене? Англия только и ждет, чтобы нацисты пустили кровь Советскому Союзу. Поэтому она и пальцем не шевельнула ради Польши. Чтобы немцы продвинулись как можно дальше на восток.

Но Станя не верил Еленке, Станя защищал Финляндию, а Еленка доказывала, что маннергеймовская Финляндия — это немецкий плацдарм для нападения на Ленинград.

Словом, они спорили.

Зато, когда немцы напали на Советский Союз, Станя в душе просил у него прощения и безоговорочно перешел на сторону русских. В нем с новой силой вспыхнула страстная надежда на освобождение. Но всякий раз, когда немцы занимали русский город,

он впадал в отчаяние. О Харькове он сокрушался, как будто взяли Брно. Еленка вела себя гораздо спокойнее.

— Станя, сразу видно, что ты никогда там не был,— говорила она брату.— В Советском Союзе всегда такое ощущение: пусть попробует недоброжелатель сунуться... он получит такую взбучку, что век не забудет. Это ощущение создают природа, строительство, люди... ты, наверно, почувствовал бы то же самое, что и я. Знаешь, как говорят: из двух равных по силе бойцов побеждает тот, у кого мораль выше. У русских мораль выше. Они знают, за что воюют. И это очень важно.

Еленка непоколебимо верила в счастливый исход войны.

С тех пор как началась война с русскими, Нелла трепетала за Еленку. В Прагу прибыл Гейдрих на кровавое сватовацлавское торжество со всеми ужасами осадного положения. Что сказал бы Гамза, доживи он до этого времени, узнай он, кто явился в Прагу вместе с этим полуночным чудищем: Торглер. Можно ли было этому поверить? Да, приехал Торглер, один из обвиняемых на Лейпцигском процессе. Он сопровождал Гейдриха в качестве советника по рабочим делам.

С Еленкой ничего не случилось, она принимала больных у себя дома, ходила в амбулаторию при страховой кассе и по вызовам, и только охота устраивать загородные прогулки с Митей во время осадного положения у нее пропала. Несмотря на все ужасные события, происходившие в Чехии, люди жили обычной жизнью, своими скромными радостями и заботами.

В начале мая взволнованная Нелла вошла к дочери.

— Елена, представь себе, сейчас позвонили из Крчи и предлагают немедленно взять оттуда прабабушку. Вермахт забирает приют для престарелых под военный госпиталь. Сказали, что все нужно сделать в течение трех часов.

— Вот как загорелось! — заметила Еленка.— Но это хороший признак, мама, если им нужны лазареты.

— Ты во всем видишь хорошие признаки. А на чем мы ее повезем? Машину так быстро не достанешь. Бабушке, при ее дряхлости, не под силу будет пересаживаться с автобуса на трамвай. Это просто немыслимо.

Еленка бросилась через Красный Крест доставать машину «скорой помощи»...

— И таким старикам покоя не дают,— говорила Барборка.— Хотела бы я знать, когда они начнут чешских покойников с Ольшан выкидывать... Приготовить, что ли, подушки, на которых спал хозяин?

Нелла тяжело вздохнула. Вместо любимого мужа ей возвращают выжившую из ума бабушку.

Барборка и прабабушка когда-то были на ножах. Но с тех пор столько воды утекло, ведь это было еще до войны. Кому охота разжигать старинную распрю! К нам пришла немчура, и нужно держаться всем вместе. Немцы выгнали прабабушку, и Барборка приняла ее так же сердечно, как беженцев из Судет.

— Добро пожаловать,— сказала она,— милости просим опять домой.

Но старуха, которую поддерживали с двух сторон Еленка и Станислав, прошла мимо Барборки как истукан и ничего не ответила. Напрасно старались обратить ее внимание на Барборку. Прабабушка совсем оглохла, она плохо видела, бедняжка. Ходьба стала для нее тяжелым трудом. Говорить ей было утомительно. Но тем не менее Барборка обиделась.

К встрече старухи она испекла сдобную булку, а каждая хозяйка знает, чего стоило в эти голодные годы наколдовать из жалких запасов приличное печенье. Старуха ковырнула булку, отодвинула тарелочку и объявила:

— Как подошва. Какая недотепа это пекла?

— Обмакни, бабушка, в кофе, булка и размягчится. Понимаешь, сейчас не достать ни яиц, ни масла.

Прабабка и знать ничего не хотела.

— Отрава, да и только,— нахмурилась она.— Опять Бара чего-нибудь подмешала?

Это было невероятно! Старуха не заметила, что за время ее отсутствия в доме не стало двух мужчин — Скршиванека и Гамзы,— ни единым словечком о них не обмолвилась. Попросту забыла об их существовании. Митю она называла «Станичка», думала, что Станя все еще маленький, хотя увозил ее из Крчи взрослый Станислав. Люди и времена путались у нее в голове, но своей ненависти к Барборке она не забыла. Как только прабабушка очутилась в старой обстановке, без своих сверстников и сверстниц из Крчи, ее мысль начала вращаться вокруг Барборки и прясть черную нить ужасных историй о ее кознях. Эта Бара выгнала ее из Крчи, чтобы совсем здесь обобрать, украсть дырявую соломенную шляпу (которую Нелла давно сожгла), запрятать очки, сломать палку. Бара — продувная бестия! Прабабушка высказывалась вслух, разговаривала сама с собой. Барборка это услыхала, и пошло, и пошло. Ее добрые намерения разлетелись, как карточный домик. Вернулись прежние времена вражды, полной упрямства, сведения счетов, злобы и бессмыслицы. Это были мелочи по сравнению с ударом, нанесенным Нелле смертью Гамзы, это были мелочи по сравнению с огромным народным бедствием. Но никто не поверит, как такие уколы могут отравить самое глубокое горе. Боже, какое это было мучение! Прабабушка взяла да и рассерди-

лась на что-то! И какую штуку выкинула, запершись у себя. И надо же было оставить ключ в дверях!

Прабабушка спала и не открыла Нелле, принесшей ей завтрак. Конечно, случалось, что старуха дремала все утро. Но на этот раз прабабушка не вышла к обеду, как к ней ни стучались. Она заперлась на ключ, чтобы не могла пробраться Бара. Нелла и Стаця никак не могли войти к прабабушке. Так и не достучавшись, они вынуждены были попросить швейцара взломать дверь.

Швейцар Галик приступил к работе с обычным профессиональным спокойствием. Он осмотрел замок и взялся за работу в присутствии восхищенного Мити, не слушая того, что говорилось у него за спиной. Еленки еще не было дома. Галик молча пилил, ломал, пыхтел и пробовал: еще держится, черт ее дери! Глухие удары, треск, дверь трясется. Судьба опять ломится в дом. Ведь там, за этими запертыми дверями... Трах! И двери распахнулись. Митя кинулся в комнату.

— Нечего тебе там делать! — закричала Барборка, схватила Митю за плечо и вытащила упирающегося мальчика вон.

Старуха, наверно, померла, и Митя только понапрасну испугается.

Но скрытое от нас оказывается иным, чем мы предполагаем.

Нелла со Станей вошли через взломанную дверь и, к своему удивлению, нашли на пустой постели только полосатый матрас. Все перины были разбросаны в страшном беспорядке по комнате. Прабабушка постлала себе на полу. Она не подняла растрепанную белую голову со сбившихся подушек. Но она смотрела. Было непривычно видеть на полу ее большое желтое лицо со светлыми глазами. Она сказала:

— Почему вы не дали мне есть? Я голодна.

Упала? Нет, она не расшиблась. Бабушка, бабушка, что ты сделала? Они не могли поставить ее на ноги даже втроем. Она хуже лошади, прости господи! Она ни с места. Но — господи, прости нас! — кто знает, какие мы сами будем, когда нам пойдет девятый десяток!

— Тоже придумали,— жаловалась прабабушка с полу,— поставить гроб на окно. Мимо проходила похоронная процессия, и мне все время совали в окно гроб.

— Когда мерещатся похороны, это значит к свадьбе,— возразил швейцар Галик.— Да вы, бабушка, возьмите меня попросту за шею, ничего, не стесняйтесь. Обнимемся.— И с помощью Станислава ему удалось перенести старуху на чистую постель.

— Сразу видно, что стелил пан Галик,— выдумала прабабушка, радуясь, что ей мягко.

Она почувствовала детское доверие к швейцару. Неллинька

со Станичкой были так взволнованы, суетились и все время предлагали прабабушке сделать что-нибудь неприятное. То пусть она проглотит таблетку, которая не идет в горло, то пусть позволит умыть себя, а от воды только ревматизм бывает. А пан Галик никого не огорчит.

— Это были не похороны, а свадьба,— радовалась вслух прабабушка.— Это был вовсе не гроб! Это была невеста, сказал пан Галик,— бормотала она в постели.

Теперь, когда она очутилась в тепле и безопасности и Неллинька напоила ее горячим чаем, у прабабушки порозовели щеки и развязался язык.

— Я пришла к себе в комнату,— рассказывала она с непривычной общительностью.— Гляжу — стоит другая мебель. Сверху черная, внизу белая. Подхожу к постели, смотрю — а она без перины, только такие три горсточки скверных перьев или кудели, даже и не помню теперь. Это Бара подменила мне перины. Ты всегда ее защищаешь, Неллинька, ты же ничего не видишь. Вечером, когда вы спите, Бара открывает дверь отмычкой и щиплет перья. Всю ночь перья пересыпает,— сообщала прабабушка с тайным ужасом, точно видела Парку за работой.

Нелла, ожидая возвращения Еленки из амбулатории, поставила старухе термометр. Температура была немного повышена.

— Для нее было бы лучше тридцать девять,— сказала Еленка матери.— Такая низкая температура не соответствует диагнозу. Это значит, что организм плохо сопротивляется.

Еленка выслушала и выстукала прабабушку с той же профессиональной обстоятельностью, с какой швейцар открывал запертую дверь, и установила, что у старухи левосторонняя пневмония. Попросту говоря, воспаление левого легкого. В таком возрасте... Елена не отличалась склонностью к пессимизму, но дело, вероятно, кончится плохо. Ну, сделаем что возможно. И Еленка принялась кипятить шприц. Впрыснем бабушке пульмохин, а на ночь она получит камфару.

— Елена, какое это было лекарство, им еще в Лондоне победили гриппозную эпидемию? — напомнил Станя.

— Пенициллин, препарат из плесени, это чудодейственное средство, но здесь у нас его нет.

— От старости не вылечишься,— проворчала Барборка.— И охота вам мучить старого человека.

Нелла робко присоединилась к ней. Бабушка отроду не знала, что такое врачебная помощь. Она лечилась травками, мазями. Не испугается ли она инъекций? Стоит ли ее мучить?

Елена не отвечала. Она терпеть не могла, когда ей мешали работать.

— И что с этим газом делается,— заметила она, устремив взгляд на стерилизатор, над которым вилась слабенькая струйка пара.— Целая вечность! Горит, как поминальная свечка.

Что поделаешь, война.

Каждый раз происходила одна и та же церемония.

— Кто там? — спрашивала прабабушка с постели.

Она плохо видела, плохо слышала, но каким-то шестым чувством улавливала присутствие людей в своей комнате. Она сразу же чувствовала, что кто-то вошел в дверь.

— Это я,— с невинным видом отвечала Еленка, пряча за спиной опасный инструмент.— Хочу посмотреть тебя, бабушка, хорошо ли ты себя ведешь? Как нога? Не беспокоит? Покажи ножку.

— Как бы не продуло,— отговаривается прабабушка.

— Я только посмотрю.

— Ой, ко мне идет Колючка,— отвечает на это прабабушка.

Она называла Еленку «Колючкой». Но все же была довольна, что правнучка так о ней заботится.

— Девочка,— говорит она и, чтобы ее не тронули, незаметно тянет на себя перину,— не надо сегодня, лучше завтра.

— Сегодня в последний раз, серьезно,— обещает Еленка, и лицо у нее такое правдивое. Эти доктора здорово умеют обманывать.— Завтра я не стану тебя больше беспокоить. Мама, мажь йодом,— добавляет она тихо.

— Еленка, осторожней! У меня ведь толстая кожа. Девочка, потихоньку!

И тут врачиха вонзает иглу с неумолимой внезапностью... к счастью, бабушка этого не видит. Нелла, которая светит Еленке, каждый раз отводит глаза.

Еленка не сдавалась. Приходилось будить прабабушку утром, перед уходом Елены в амбулаторию; она забегала к старухе со своим грозным шприцем на минутку в полдень, и даже вечером не давала ей покою. Прабабушка не могла спастись от укола, даже если спала.

Старушка была слаба, как муха, не могла донести ложку до рта, нужно было ее кормить, нужно было поить через стеклянную трубку. Питье продолжалось часами. После каждого глотка больная отдыхала, чтобы перевести дух. Внутри у нее что-то клокотало, хрипело, как в испорченном органе. Если бы можно было немножко подышать за нее, чтобы она тем временем отдохнула! Боже, какой это был труд — жить! Долго ли это тянется? Восемь дней? Только? Нелла была готова поклясться, что целый месяц.

Каждый раз утром, когда Нелла будила больную для инъекции, она просто боялась подойти к постели. Старуха с виду спала очень крепко. По ночам она беспокоилась, ей поминутно было что-

нибудь нужно, а сейчас — как бездыханная. Чужой заострившийся нос, провалившийся рот, седые волоски на подбородке, белые волосы — она лежала желтая, как будто у нее в головах мигала уже свечка. Нелла касается холодной восковой руки — рука неподвижна. Нелла обращается к ней, Нелла зовет... никакого движения, тело погружено в безмолвие небытия. И вдруг Нелла замечает, что больная смотрит. Молча смотрит огромными, как у совы, глазами. Как будто глядит прямо в душу... Нелла каждый раз пугается. Что там увидела бабушка? Искреннее желание облегчить муки, да. Это, конечно, так. Желание помочь, насколько хватает сил. Но не смотрят ли эти совиные глаза еще глубже? Во мрак, на самое дно души? Там светится, как неугасимая лампада, огонек надежды, что придет конец, что однажды все-таки — господи! — придет конец этим напрасным, бессмысленным мучениям больной и сиделки.

Прабабка слаба, как муха, прабабка тяжела, как камень. Как будто поднимаешь мертвое тело. Но это мертвое тело стонало при каждом прикосновении, оно было исколото, покрыто пролежнями, болело, и Нелла боялась уронить его. Она возилась со старухой одна — Станиславу и Елене нужно было ходить на работу, а Барборка к бабке ни за что даже не притронется. Да и прабабушка не потерпела бы ее около себя! Бара сбросила ее с постели... Разве ты ничего не знаешь, что же ты ни о чем не заботишься?.. Из-за нее прабабушка и больна, прабабушка ведь отроду никогда не болела.

Сколько лет уже слушает Нелла эти глупости? Долго ли еще будет слушать? Гамзу, красивого, здорового, умного, любимого Гамзу, замучили нацисты. До последней минуты он страдал в одиночестве, Нелла даже пальцем не могла двинуть для него. Не могла послужить ему перед смертью. А здесь кому-то, кто даже и не живет уже, кто только существует, она сто раз в день прикрывает неподвижную руку, чтобы не дуло... откуда могло бы дуть? Стоит весна, жарко, небо пышет зноем, можно упасть в обморок от этой духоты.

Но Нелла не падала и была наготове днем и ночью, как в молодости, когда у нее плакали дети в колыбели. С тех пор прошла целая жизнь. И один из этих беспомощных младенцев, к которому она вставала по ночам, теперь решает и распоряжается. К врачу устремляются души отчаявшихся, он имеет власть над ними, несет ответственность. Еленка прибегала домой, окрыленная своим долгом врача, указывала, что и как сделать, и снова спешила к другим. Она заботилась не только о своей семье. Ей было вверено множество других судеб. (И еще, наверно, она встречалась со своим любовником.) Нелла не высовывала носа из дому и, стиснув

зубы, задерживая дыхание от отвращения, переносила капризы больной и зловоние в ее комнате.

Бедняжка прабабушка внадала в детство, и Нелла беспрестанно на нее стирала. Это было бедствие! Ваты нет, марли нет, клеенки нет, мыла нет, ничего нет — война.

— Не берите у меня мыльного порошка. Он для моего белья,— упрямо сказала Барборка и взяла его у Неллы из рук.

Нелла пошла повесить белье на террасу. Было ветрено.

— Барборка, скажите, пожалуйста, куда вы дели прищепки?

— Они там, где всегда,— отрезала Барборка.— Кто ищет, тот найдет.

— Не задерживайте меня, уже десять, бабушке надо дать дигиланид.

— Ну и возни с этой бабкой! Что хотите делайте, все равно старуху не спасете.

— Барборка, ведь вы так хорошо к ней отнеслись, когда немцы выгнали ее из Крчи.

— Что было, то прошло,— проворчала Барборка и повернулась к Нелле спиной.— Может, с бабкой в «козу» играть заставите? Дожидайтесь!

Еленка осматривала прабабушку каждый раз с напряженным вниманием. Но так долго, как сегодня, она еще не выслушивала больную. Трудно удержать старуху в сидячем положении, как этого требует Еленка, чтобы можно было простукать. Боже, какая тяжесть! Неподвижная старуха, как великан, а Нелла рядом с ней — пичужка. Честное слово, бессонница и недоедание человеку сил не придают! Счастье, что сегодня в полдень дома был Станя и помогал матери. Нелле стало дурно, и она чуть не уронила бабушку. Что делает эта Еленка? Слушает, слушает, не может наслушаться. Как долго! Не слышны ли хрипы и в правом легком? Ведь Еленка считала это возможным, она не раз говорила об этом матери. Наверно, бабушке стало хуже. Воспаление перешло, видно, и на другое легкое, как с самого начала опасалась Еленка.

Наконец Еленка подняла разрумянившееся лицо и растрепанные кудри от широкой спины старухи.

— Можешь одеть бабушку, мама,— говорит она тихо, но победоносно.— Воспаление пошло на убыль.

— Серьезно?! — воскликнул Станислав и просиял.

— Прекрасно рассасывается. Вот как хорошо, что мы не сдались. Я не хочу очень обнадеживать, но думаю, что самое худшее уже позади. Конечно, воспаление рассасываться будет долго.

Прабабушка после основательного обследования всегда принимала корамин. У Неллы так затряслись руки, что пипетка, при помощи которой она отсчитывала капли, звякнула о стекло.

— А сейчас,— повысила Еленка голос, чтобы он достиг слуха глухой,— прабабушка получит чашечку очень крепкого кофе. Натурального, мама!

Нелла, ничего не сказав, встала, как машина, и пошла исполнять распоряжение дочери.

Полкило кофе она хранила под замком, как драгоценность. В двойной упаковке и в жестянке, чтобы не выдохся аромат. Чтобы и зернышка не пропало даром. Нелла спрятала кофе к тому времени, когда Гамза вернется из концентрационного лагеря.

И вот Нелла наливает кофе, благоухающие пары поднимаются от драгоценного напитка, точно заколдованные арабским волшебником, в них является живой, веселый Гамза, глаза у него сверкают, он курит сигарету над чашкой великолепного мокко перед помолодевшей Неллой в прекрасный весенний вечер, на террасе, полной цветов, именно там, где теперь сушатся прабабушкины простыни.

— Вы бы лучше сами выпили кофе,— заворчала Барборка.— Вы просто засыпаете на ходу. На кого вы похожи? Но ваша врачиха этого не замечает. Ей до этого нет дела!

— До чего бы она дошла, если бы должна была заботиться еще и о здоровых,— заметила Нелла с кривой усмешкой.— Хватит с нас и больных.

Она готова была расплакаться. Даже Барборка перечит, хоть бы она помолчала, хоть бы не подливала масла в огонь! Нелла, ослабевшая от недосыпания, стала чувствительна к упрекам.

Она сполоснула ложку, вытерла тряпочкой блестящий поднос и поставила на него чашку благоухающего кофе. В кухню забежал Митя.

— Как прабабушка? — спросил он. И схватил при этом кусочек сахару.

— Положи! — прикрикнула на него Барборка.— Это не для тебя. Помни, Митя, у нас все лакомые кусочки только для одной прабабушки.

Нелла сделала вид, что не слышит.

— Ей лучше, Митя,— ответила она мальчику с внешним спокойствием.— Гораздо лучше. Пожалуйста, пропусти меня.

Митя пытливо посмотрел на нее, задрав нос.

— Ты недовольна? Ты на меня сердишься?

Нелла вышла из себя.

— Дай дорогу, Митя, ведь я могу тебя обварить.

Но Митя не трогался с места.

— А когда умрет прабабушка? — спросил он своим, как всегда, звонким бесчувственным голоском — бесчувственным потому,

что за детским вопросом не было никакого опыта. Барборка рассмеялась.

— Ну, она еще всех нас переживет.

— И меня? — удивился Митя.

Нелла с подносом в руках вспылила.

— Будет конец этой отвратительной болтовне? Пропустишь ты меня или нет?

Митя почувствовал напряженную атмосферу и именно поэтому, следуя детской манере, стал дразнить бабушку еще больше.

— Когда она умрет, когда? — приставал он, путаясь под ногами у Неллы.

Пани Гамзова не ответила ему ни слова. С каким-то коварством она неожиданно поставила поднос с кофе на буфет, размахнулась и впервые в жизни шлепнула внука.

Митя заикнулся от удивления и выбежал вон.

За что она наказала его? За свои тайные мысли? За то, что ее желание не исполнилось? По силе своего разочарования она поняла, как велика была ее надежда на скорый конец. Надежда, что придет конец переворачиванию полумертвого тела, и простыням, и зачумленному воздуху, и призрачному вставанию по ночам, и всему этому беспорядку в хозяйстве, что она впустит в чистую комнату в оба окна свежий воздух, что наконец сможет повалиться в постель и спать, спать, спать.

У нее было только одно желание — спать, и она вошла, как призрак, в веселую, праздничную атмосферу около выздоравливающей прабабушки. Еленка и Станислав были там и кричали изо всех сил, чтобы старуха поняла их.

— Уже несут награду,— закричала Еленка особенным голосом, для глухой, показывая на мать, появившуюся в дверях. Она пошла ей навстречу, взяла поднос с кофе.— Все-таки ты, бабушка, заслужила! Ты держалась молодцом. Вот так легкие! Бабушка, за всю свою практику я не встречала таких отличных легких. И сердце у тебя, как у двадцатилетней,— захлебывалась Еленка от радости, что хорошо делает свое дело и что прабабушка поправляется. Все стало наоборот: врач был благодарен пациентке.

— Ну, еще бы,— скромно отвечала польщенная прабабушка.— Женщины в Крчи всегда говорили, что я молодо выгляжу.

— Погоди, бабушка, вот будет торжество,— воскликнул Станислав,— когда в газетах напечатают, что тебе сто лет!

— Я не хотела бы долго жить,— грустно отозвалась Нелла.— Нет, не хотела бы.

Она не сумела порадоваться с остальными. Она произнесла это так отчужденно. Ее дети посмотрели на нее.

— А я хотела бы,— тихо и как-то строго сказала Еленка.— Сто лет. Несмотря ни на что, мама. Сейчас живется плохо, но погоди, увидишь, как хорошо будет потом.

«Без Гамзы»,— горько подумалось Нелле.

— Так сегодня, бабушка,— повысила Еленка голос и встала, чтобы проститься,— это была по-настоящему последняя инъекция. Я больше не стану тебя мучить.

— И кто это тебе поверит, Колючка! — любовно произнесла прабабушка. И потянула кофе через стеклянную трубку.— Такого кофе я еще не пила,— радовалась она.— Его варил пан Галик.

НИКОГДА НЕ ЗНАЕШЬ, ЧТО НА УМЕ У ЕЛЕНЫ

В эту ночь Нелла и прабабушка быстро уснули. Они крепко спали до самого утра. Неллу разбудил только Митя, который бушевал в коридоре.

— Что же это такое, мама? Ведь я проспал из-за тебя! — кричал он с оттенком обиды в голосе.— Мама! Где мама?!

— Тише! Прабабушка еще спит. Спокойно ступай в школу, Митя. Маму, наверно, срочно вызвали к пациенту.

Но неужели никто не слыхал звонка или телефона? Ведь Станя спит так чутко! Чуть что звякнет ночью, хотя бы даже заведенный будильник, он думает, что опять идут гестаповцы.

Но будильник у Еленки не заведен, и кушетка не постлана. Значит, Елена не ночевала дома.

А не говорила ли она вчера, куда идет? Трое взволнованных людей тщетно пытали друг друга. Будто Еленка когда-нибудь говорит об этом! Она ушла, как всегда, вечером, после приема на дому, по-видимому к больным, и не вернулась до сих пор. Барборка и Нелла показывают нетронутый ужин Елены. Станя довольно долго не ложился и писал, но он не слышал, чтобы кто-нибудь отпирал дверь. Он думал, что сестра давно дома.

Сколько сотен тысяч семей во времена протектората вот так же с тоской искали своих близких. Люди разыскивали друг друга, как в кошмарном сне.

Но с Еленкой дело обстояло несколько по-другому. Есть еще искра надежды! Елена не ночевала дома как раз в тот день, когда в бабушкиной болезни наступил перелом к лучшему, так что Елена могла с чистой совестью задержаться где-то в городе. Вероятно, отправилась покутить. Будем надеяться. Ей захотелось встряхнуться. Что в этом удивительного? Она молода, живет одна столько месяцев. Наверно, какие-нибудь любовные интрижки. Дай-то

бог! Нелла вспомнила встречу с Еленкой, идущей под руку с посторонним человеком. За это мучительное воспоминание, которого мать стыдилась и о котором никогда не говорила сыну, она ухватилась сейчас, словно утопающий за соломинку.

Да, у Стани тоже создалось впечатление, что Елена ходит к кому-то на свидания, признался он. Однако, судя по его удрученному тону, он совсем не был уверен, что не произошло несчастья.

Но мать хотела надеяться, мать слышала не тон, а только слова.

— Вот! Она и не скрывала этого от меня. Однажды мы с ней даже поссорились. По-видимому, после кутежа она отправилась прямо в свою амбулаторию. Никогда не знаешь, что на уме у Елены. Я позвоню туда,— сказала Нелла, подбодренная надеждой.

— Неллинька, я голодна,— напомнила прабабушка.

Боже! Нелла совершенно забыла о существовании бабушки, хотя за минуту до этого как-то связывала ее выздоровление с исчезновением Еленки. Скорей, скорей привести больную в порядок. Умыть, припудрить, лекарства, все. Что, если вдруг придет Еленка? Нелла с радостью сто раз в день будет приподнимать тяжеленную старуху, с радостью будет дышать смрадным воздухом и слушать с утра до вечера бабушкины бредни, только бы вернулась Еленка, ах, если бы она вернулась! Пусть она порадуется, что прабабушке хорошо, что она ее вылечила! И как только я могла вчера так грешно...

В амбулатории никто не подошел к телефону, а Станиславу пора было на службу. Он позвонит из Клементинума.

Станислав до сих пор ходил в бывшую иезуитскую коллегию через ворота в стиле барокко под черно-золотым орлом, в этот городок пешеходов в центре полной движения Праги. Каждое утро он видел на задумчивом дворе статую пражского студента,— к сожалению, только статую! — и обсерватория, выглядывающая своей зеленой шапкой из-за библиотеки, ежедневно здоровалась с ним. Он обходил в Клементинуме Рудольфов звездный глобус с созвездиями в виде животных: дельфина, скорпиона, козерога, лебедя, видел на полках пергаментные Библии в переплетах из тисненой свиной кожи с чеканными застежками. Вышеградский кодекс, Пассиональ аббатисы Кунгуты, Седлецкие Антифоны, разрисованные и раскрашенные с таким необычайным искусством,— рукописные драгоценности, свидетели многовековой чешской культуры, пока еще лежали в витринах. Но они в немецких руках. Если нацисты вспомнят о них, они могут тайком перепродать их куда вздумается. Они закрыли у нас высшую школу, перехватали чешских студентов, в университетской читальне увиливают от фронта разные папенькины сынки в германской военной форме.

Их вид, даже за стеклянной перегородкой, претил Стане. Чешские служащие до сих пор выдавали книги читателям-чехам. Но начальство было немецкое, и радоваться было нечему.

Станислав, в общем, не мог пожаловаться на немцев, служащих библиотеки. Одни были холодны и корректны, другие бодро шутили и пытались завязать дружбу. Они не понимали или не хотели понимать того, что угнетает чехов, и старались преодолеть их неприязнь. Но чехи не поддавались. Они ограничивались необходимыми служебными отношениями. Один из немцев, толстенький пражский старожил с румяными щеками и коротким носом, который казался еще короче из-за круглых очков, Франц Шварц, историк искусства, очень симпатизировал молодому Гамзе. Именно сегодня, когда Станя, едва успев снять пальто в раздевалке, хотел подойти к телефону, попавшийся навстречу Шварц остановил его.

— Herr Kollege, ich habe eine Bitte an Sie zu richten [1],— сказал он по-немецки на мягком австрийском наречии, унаследованном от родителей.— Я хотел бы издать сборник о красотах города Праги. Очерки, стихи и безукоризненные репродукции. Не напишете ли вы статеечку?

«Об этом старинном германском городе»,— усмехнулся про себя Станислав.

— Я плохо знаю немецкий,— ответил он уклончиво.

Полное лицо Шварца расцвело, как роза, от ласковой улыбки, доброжелательной к человечеству.

— Какие пустяки! Я бы тщательно перевел, коллега. Ведь мы оба любим Прагу.

Он был любезен по-венски. Не носил свастики. Но что еще за сотрудничество! Что толку от этого?

— А если Прага больше не кажется мне прекрасной? — ответил Станислав.— Извините, но я больше ничего не пишу.

— Доктора Гамзу к телефону!

Сегодня не голос актрисы, возмущенной театральной критикой, звал молодого улыбающегося Станю. Какими детскими пустяками они тогда занимались! Озабоченный Станислав вздрогнул, когда услыхал, кто его опередил и кто его позвал к телефону. Точно кто-то читал его мысли на расстоянии.

— Это говорят из амбулатории страховой кассы,— произнес ровный баритон.— Не можете ли вы сказать, когда придет ваша сестра?

Станю как будто ударили в грудь.

— К сожалению, не имею понятия.

---

[1] Коллега, я хотел бы обратиться к Вам с просьбой *(нем.)*.

Это, должно быть, был хороший знакомый Елены, раз он знает о Стане и о том, где он служит. Он, вероятно, не хотел вызывать Елену по домашнему телефону.

— Здесь ее уже ждет очередь пациентов, и теперь мы не знаем, что с ними делать. С ней ничего не случилось? Она здорова? — настаивал голос.

— Не имею понятия,— резко повторил Станислав.— Вчера вечером она ушла из дому и до сих пор еще не вернулась.

Трубку тотчас же повесили.

«А что, если это звонил не друг, а гестаповский шпион?» Станислав уселся на свое место чуть живой. С тех пор как арестовали отца, он с болезненной подозрительностью видел в каждом человеке тайного соглядатая. Не выдал ли он нечаянно по телефону чего-нибудь такого, что может повредить Еленке? Станислав не имел представления о том, чем занимается сестра. Ему об этом она никогда не говорила. Но у него всегда было ощущение, что она занимается чем-то опасным. Или в самом деле этот телефонный звонок был из обычной амбулатории, которая при нынешней нужде во врачах разыскивала свою сотрудницу? Как бы то ни было, а искорка материнской надежды целиком затоптана. Но Станя ни на миг не разделял этой надежды...

Что он делал в это утро, он не помнил. Все валилось у него из рук.

В двадцать пять минут первого, когда выдача книг почти закончилась, явилась какая-то девочка-подросток и попросила «Лабиринт света». Черт ее сюда принес! Станислав хотел в короткий обеденный перерыв съездить ненадолго домой (он не делал этого раньше), чтобы узнать, нет ли каких новостей, и, во всяком случае, хоть перекинуться несколькими словами с матерью, которая, вероятно, в ужасном состоянии. А теперь его задерживает эта девчонка! Черт бы ее побрал! Станя мигом нашел книгу, но, вытаскивая ее, в спешке и раздражении уронил с полки несколько книг.

Неприметная девочка в пальтишке неопределенного цвета, какие носили в те времена, и в берете, натянутом на уши, терпеливо и участливо ждала. Когда он подал абонементную карточку, чтобы девочка написала свою фамилию и адрес, она, беря карандаш у Стани, спросила тихо и четко:

— Вы доктор Станислав Гамза?

Удивленный Станислав подтвердил.

— Елену вчера вечером арестовали,— сказала девочка, не поднимая глаз, и продолжала заполнять карточку.— Близкий вам человек велел передать, чтобы ваша мать с мальчиком немедленно уехали куда-нибудь подальше.

— Елена? — прошептал Станислав, смешавшись.

— Пусть они уедут из Праги! И как можно скорей,— повторила девочка, взяла книжку, поблагодарила и, внешне не проявляя ни малейшей поспешности, вдруг исчезла. Расплылась в воздухе. Если бы у Стани не осталась в руках абонементная карточка, он бы поклялся, что у него галлюцинации.

НОВОСТЬ

У локомотива, который увозил Неллу с Митей из Праги, на груди была огромная, гордо выпяченная буква «V» — Victoria — победа. Хотя немцы и были разбиты под Москвой, они стоят под Ленинградом, подступают к Волге и к Кавказу, и их пропаганда хвастается и кричит как помешанная. Крохотные «v», противное отродье большой, кишели на окнах поезда и заслоняли вид на чешскую землю. Вместо стекла в одном выбитом окне была фиолетовая бумага. В купе стоял полумрак.

Туда вошла крестьянка с девочкой. Ребенок сел, завертелся, заболтал ножонками, посмотрел вокруг и пожаловался:

— Мама, мне здесь не нравится.

— Правда, нам тоже не нравится,— засмеялись пассажиры.

На станции у Лабы стояли французские вагоны с перечеркнутыми мелом надписями «Нанси — Тур». У немцев в руках половина Франции, Австрия, Чехословакия, Польша, Югославия, Греция, Норвегия, Дания, Бельгия, Голландия. Гитлеровский удав проглотил одно за другим маленькие мирные государства. Но и у голубок есть клювики и коготки. А не станет ли плохо удаву от неумеренного обжорства? Жителей порабощенных стран больше, чем немецких граждан.

«Rede nicht, der Feind horcht mit» [1],— говорила красивая табличка на стене купе.

А в уборной кто-то не очень грамотно написал карандашом вкривь и вкось: «Смерть Гитлеру, смерть фашистам!»

В Черновицах, в прелестной маленькой деревушке в горах, на родине Барборки в Восточной Чехии, спокойно. Никто не обратит внимания на худенькую даму с мальчиком, которые выехали из города на свежий воздух. Пражские жители приезжали сюда с детьми на каникулы, и на троицын день их будет здесь видимо-невидимо. Сколько народу выезжает теперь из Праги в деревню за продуктами!

Но едва Нелла распаковала свой чемодан, куда она впопыхах совала вещи как попало, едва привела их в порядок в горенке, по-

[1] Не болтай, враг подслушивает *(нем.)*.

груженной в темно-зеленый сумрак от ломоносов и бальзаминов на окошечках, едва с облегчением вышла, не покрыв голову, в предвечернюю тишину сада, как ей уже кивала через забор какая-то приветливая соседка.

— Приехали к нам, в укромный уголок? — закричала она точно в лесу.— И правильно сделали.

Нелла оцепенела. Ведь она же не говорила об этом ни одной живой душе. Даже Барборкиной сестре. И Митя, наверно, ничего не говорил.

— Да нет,— ответила она спокойно.— У внука кашель, и ему нужно переменить климат.

— Побыть здесь всем полезно,— отвечала на это разговорчивая соседка.— Лишь бы было что есть. Все равно больше года не протянется, ведь мы не выдержим,— заключила она, следуя своей собственной логике.

Муж приветливой соседки сидел на лавочке перед домом и курил трубку.

— От Москвы-то их погнали в три шеи! — воскликнул он.

Черновицкие жители привыкли аукаться через речку и через забор говорили, как будто в горах. Это вам не осторожная Прага!

К соседке приковыляла старушка и таинственно сообщила:

— Смотрите, пани, как начнут летать самолеты с синими фонариками, немцы отсюда уберутся. У них такой знак условный. Тогда у этого негодяя загорится земля под ногами.

Но земля пока не горела, самолеты с синими фонариками не показывались, а немцы прорвали фронт на Украине, Еленка арестована.

Как неожиданно исполнилось грешное желание Неллы избавиться от тяготившей ее бабушки! Четыре стены душной комнаты больной рухнули, и Нелла очутилась под ярко-голубым майским небосводом. Вместо бабушкиных перин перед ней только облака да птицы, не признающие границ, злополучных границ, которые уже принесли столько горя людям. Озон, свет, простор, как головокружительное видение свободы, обнимают ошеломленную Неллу и ребенка, гоняющегося за бабочками. Так опьяняюще много места в зеленом океане трав с розовой пеной лугового прибоя. Трудно поверить в такой благодатный майский день, что на свете существуют подвалы для допросов, тюрьмы с решетками на окнах и газовые камеры. Но кто знает, тот знает, и тому не до смеха. И чешская земля упоенно торопится цвести, не оглядываясь на ломаный крест, под уродливым знаком которого она очутилась, и, используя все свои благоухающие соки, изо всех своих подземных сил, не спеша, но плавно, по закону движения солнца, созревает для

сенокоса и жатвы. Последние дни кукует кукушка в лесу. Прошла троица, на пороге лето.

Взбудораженная Прага походила на перегретый котел, в котором день и ночь тайком клокотали полудостоверные, полуфантастические слухи. А громкоговорители трубили что есть мочи о том, сколько тонн потопил германский флот и как побеждает германская армия на всех фронтах, сражаясь за Европу. В Праге все напоминало о нашем национальном несчастье. На каждом углу вы встречали коричневые фигуры в сапогах, и черные — с черепом на рукаве, и молодежь с ножом на боку, и марширующих флейтистов — проклятых крысоловов, которые губят польских и советских детей. Гамзы, живущие в Стршешовицах, первые увидели нацистский сюрприз. Грязная тряпка со свастикой развевалась поблизости, над Градом, и нацистские часовые вертелись, как куклы в паноптикуме, под истерический рев команд. Грязная тряпка со свастикой развевалась над Градом, и мириады ее размножившегося потомства проносились на господских авто по ведущей из Града автостраде, приходилось отскакивать в сторону, чтобы вас не сбили. Немцы расположились в отобранных у евреев виллах, и Нелла встречала в магазинах дам с высокими прическами, одетых в костюмы защитного цвета; они прямо с наслаждением, на виду у всех, обстоятельно набирали товары на продовольственные карточки. Их пайки были гораздо больше, чем у чехов! Они благосклонно, с достоинством получали их и, казалось, не сомневались в том, что чехи, разумеется, должны быть счастливы, что удостоились чести. Есть вещи, к которым человек не привыкнет, если даже они окружают его в течение трех лет.

Но здесь, в Черновицах, на родине Барборки, в глухом уголке Чехии, где Нелла собиралась, но не успела спрятать Гамзу, здесь, на далеких проселочных дорогах, люди со свастикой не попадались навстречу.

Был сверкающий май, и Нелла бродила с Митей и его новыми товарищами по лесам. Вместо гортанной немецкой речи на вырубках слышался золотисто-коричневый альт диких пчел, вьющихся вокруг лиловато-розового кипрея, та песня солнца, под которую благоухают деревья, прогретые до самой сердцевины; вместо потрескивания, свиста и завываний обезумевшего радио Неллу сейчас провожает только стеклянный звон родничков среди зарослей таволги. Это песенка милой сердцу прохладной влаги, мелодия задумчивого края. «Вот видишь,— поет она вдове,— вот видишь. Сколько ты исходила, сколько добивалась, хлопотала, по скольким ступенькам поднялась, сколько унижений ты приняла, а мужа у тебя так и нет, а муж у тебя погиб. Ради дочери ты не можешь двинуть и пальцем, ты должна жить здесь, в волшебном одиноче-

Жизнь против смерти

стве мая, и, кто знает, она, быть может, скоро к тебе вернется. Брось ветру свои заботы, пусть он развеет их, кинь их в воду, пусть уплывут они вместе с ней, отдай их птицам, чтобы они унесли их на крыльях. Высокие ели отбрасывают тени на мою воду, на водичку из глубин земли, но ни одно дерево не растет до неба». «Ни одно дерево не дорастает до неба, все тленно в этом мире, один бог вечен»,— монотонно пел родничок. Прекрасный мир усыплял, как наркоз. Нелла ходила, пьяная от воздуха, озаренная солнцем, оглушенная тишиной.

Стаця не писал, послушать иностранное радио было негде — у Неллы не было для этого достаточно близких знакомых. Ей казалось, что она уже долгие месяцы живет в Черновицах. А ведь она не прожила здесь и недели. Они приехали в пятницу перед тропцыным днем, а сегодня — среда. Чудесный, немного душный день в конце мая склонялся к вечеру.

Сегодня под утро Нелле приснился странный сон. Она шла по Пршикопам ровно в полдень, на тротуарах было множество народу, и вдруг она встретила Гамзу в светлом весеннем костюме. Он шел быстро, как юноша, солнце светило ему прямо в лицо, он курил сигарету, улыбался ласково.

«Не показывайся здесь,— испугалась Нелла,— это для тебя опасно»,— и хотела спрятать его куда-то в подворотню. Но он шел дальше как ни в чем не бывало. «Разве ты не знаешь, что в Праге революция? — спросил он весело.— Нас ждут трудные времена, но все кончится хорошо».

Отзвуки сна, отзвуки подсознательного, которое определяет содержание сна, были отрадны и, затихая, продолжали звучать наяву, в мире, полном света. Нелла Гамзова выздоравливала в уединении на лоне весенней природы, и вместе с силами у нее росла надежда. Ведь между Гамзой и Еленкой неизмеримая разница. Гамза, один из защитников на Лейпцигском процессе, был обречен на смерть, как только попал в руки нацистов. Вспомни, что уже в то время, когда он впервые поехал в Берлин, он написал завещание, помнишь? Теперь Нелла понимала это ясно. А Елена? Простой врач, с утра до вечера занятый своей практикой. Правда, она жила в Советском Союзе; она дочь Гамзы и бывшая жена подданного Соединенных Штатов, который уехал за океан... но все это в гестапо давно известно. Если ее не тронули осенью, после приезда Гейдриха, справившего кровавое пиршество в день святого Вацлава, когда схватили столько коммунистов, то почему же за ней пришли только теперь? Наверное, она поплатилась за свои легкомысленные любовные увлечения, бедная девочка! Но она умна и сохраняет присутствие духа... Когда в семье Гамзы возникали какие-либо трудности, кто умел с ними справиться? Еленка. Нелла так

верила в благоразумие Елены и ее счастливую звезду! Она шла сейчас за мальчиками по дремучему лесу со странной надеждой, что все очень скоро выяснится.

Высоко над головой в темных кронах вопросительно чирикнула незнакомая птичка. Лесные колокольчики стояли недвижно, их темно-голубые, погруженные в раздумье глубокие чашечки, казалось, напряженно ожидали чего-то. В глазах незабудок у ручья под покровом трав, в мохнатых лапах пихт, в бесчисленных белых звездочках таволги — повсюду разлито такое же вопрошающее ожидание. Пролетел комар, пронзительно пища, словно тоже спрашивая, что-то будет.

Мошкара танцевала в нагретом воздухе; пряно пахло мятой; шиповник вдоль железной дороги засветил свои розовые сигналы и ждал. В лампионах красного боярышника, в ярко-розовых смолках, над красно-фиолетовыми полями клевера, над всей округой вплоть до деревни под розовыми черепичными крышами трепетало нетерпеливое ожидание. Таково торжественное пришествие лета.

Откуда-то издалека, по завиткам шоссе, в солнечном свете затрещал мотоцикл. Треск то усиливался, то затихал на поворотах; вдруг мотоцикл резко затормозил, и Нелла невольно прибавила шагу, подгоняемая все тем же блаженным предчувствием, что все скоро выяснится, что она найдет сегодня дома, в светелке, темной от розмаринов, на столе, источенном червями, условную открытку от Станислава: «Зуб не болит, я здоров». Это значит: Елена вернулась, приезжай с Митей. А может быть, даже телеграмму? Ведь хозяин, Барборкин зять, едва заметив Неллу, издали закивал ей из сада.

— Вы уже знаете? Его подстрелили,— закричал он через забор, точно в лесу.— Сейчас эту новость привезли железнодорожники из Праги.

Железнодорожники были деревенской газетой.

Что? Кого? Ясно — Гитлера. Нелла потащила хозяина в дом.

— Он убит? — спрашивала она вне себя, и счастье, кровожадное счастье, о каком раньше никогда не мечтала мирная Нелла Гамзова, охватило ее с ног до головы. Это будет удар по гитлеровскому фронту в России! Может быть, это конец войны? Это счастье, счастье!

— Еще жив пока, лежит в Буловке. Но если есть какая-нибудь справедливость на свете...

Нелла удивилась.

— Как попал Гитлер в Буловку?

— Да нет, Гейдрих, эта сволочь. Протектор. В него бросили, говорят, бомбу.

Нелла почувствовала безграничное разочарование.

— Говорят, немцы сами это подстроили,— сказала подошедшая хозяйка.— Франк терпеть его не мог. Сейчас будет править он и все свалит на нас.

«Вполне возможное дело, ведь подожгли же они рейхстаг»,— с ужасом подумала Нелла. От мысли о Еленке у нее подкосились ноги. Но она сейчас же выпрямилась и кинулась разыскивать внука.

— Митя! — закричала она так, что все мальчики оглянулись на нее.— Где ты вечно пропадаешь? Только и знай, что ищи тебя! — И она крепко вцепилась в плечо Мити, как будто в эту минуту его отнимали у нее.

Митя стоял с мальчиками около сына железнодорожника, они обсуждали последнюю новость. Он оглянулся на бабушку — глаза у него блестели.

— Ну и ловко получилось,— сказал он.— Представь себе... Бомбу бросили в машину на полном ходу... Вот это герои. И их не поймали. Они скрылись.

В БУЗУЛУКЕ

— Вопрос не в том, будет ли разбит Гитлер, а в том, когда он будет разбит. В славной битве под Москвой Красная Армия разрушила легенду о непобедимости нацистских орд.

Чехословацкие воины, офицеры и рядовые, собравшиеся в длинном, узком зале кинотеатра в Бузулуке, ловили каждое слово оратора.

Это был крепкий человек лет сорока с лишним, темноволосый, голубоглазый, как большинство чехов. Он стоял, свободно выпрямившись. Было видно, что он чувствует себя на трибуне как дома. Широкий лоб, студенческая шевелюра, что-то юношеское в посадке головы, здоровый цвет лица ганацких крестьян, резкая складка у переносицы — результат беспрестанных размышлений. Эта складка как бы сосредоточивала в себе сознание ответственности за множество человеческих поступков.

— Борьба советского народа и Красной Армии очень тесно связана с национально-освободительным движением чехов и словаков...

Ондржей Урбан, одетый в военную форму, жадно слушал Клемента Готвальда, не спуская с него глаз. Он очень гордился тем, что познакомился с ним еще вчера. Ондржей возвращался в казармы с другими солдатами после того, как они украсили кинотеатр. Товарищ Готвальд остановил их и заговорил с ними. Он спраши-

вал, откуда они, кем были раньше, как им живется в армии, а когда Матула сказал, что он слесарь-механик из Пршерова, Готвальд весело сообщил, что они земляки, оба из Моравии.

Он улыбался.

Это был спокойный, приветливый человек. Ондржею вспомнился покойный отец, когда тот при первых звездах выходил из мастерской, стоял после ужина на крыльце, посасывал трубку из вишневого дерева и рассудительно толковал с соседями. Кто бы сказал про улыбающегося Готвальда, что он такой боевой человек!

— Товарищ Готвальд,— ни с того ни с сего спросил смелый Людек о том, что втайне тревожило всех в казармах.— Правда ли, что после обучения мы должны уехать в Тегеран, как поляки Андерса?

Готвальд покосился на него. Нахмурился. Складка у переносицы стала еще глубже. Очевидно, этот вопрос пришелся ему не по душе.

— Место армии — на фронте,— сказал он строго.— Это понятно. Как вы думаете на этот счет, ребята?

— Из России до Моравии будет ближе,— чистосердечно сказал Матула.

— Мы не хотим существовать только для виду,— запротестовал Пепик с Жижкова.— Мы хотим драться с фашистом. Для того сюда и собрались.

— Откуда все время берутся эти слухи об Иране? — загорячился Ондржей.— Ребята волнуются...

— Не беспокойтесь,— ответил Готвальд,— бить фашистов вы пойдете. Раз вы солдаты,— значит, вам придется воевать. Но не между собой,— воскликнул он полушутливо и поднял указательный палец. Он заметил, что среди солдат, столпившихся вокруг него, что-то слишком оживленно.— Что у вас там, ребята, вышло?

— Да опять Ярда с Иожо спорят. Они в одном минометном расчете учатся, и при каждом перекуре Ярда попрекает товарища «словацким государством».

— Как будто я дома на печи валялся, когда его немцы состряпали,— отозвался вспыльчивый Иожо, красивый чернявый солдат.— Я давно за горами был, а ты все еще торчал в Праге да провозглашал славу Нейрату.

— Никто не провозглашал! — обиделся Ярда.— У чехов упрямая голова и твердый характер. А вы что? Куда ветер дует...

— Зачем же попрекать друг друга, когда нужно воевать вместе,— рассудил Готвальд.— У них Тисо и Тука, у нас — Гаха и Моравец.

Солдаты дружно захохотали...

В эту минуту к Готвальду поспешно подошел стройный человек с очень выпуклыми живыми глазами — депутат Копецкий, тоже гость из Москвы.

— Клема, покушение на Гейдриха!

В чехословацких казармах новость произвела впечатление разорвавшейся бомбы. Она разлетелась среди чехословаков с быстротой молнии. Волнение было огромное. Вчерашнее известие еще и сегодня электризовало солдатское собрание.

— Нападением на Гейдриха,— сказал оратор,— наш народ дал всему миру явное доказательство, что он несокрушим, что воля его не сломлена и что он питает непримиримую ненависть к оккупантам. Ровно восемь месяцев тому назад Гейдрих приехал в Прагу, чтобы по приказу Гитлера поставить на колени сопротивляющийся чешский народ. Пятьсот чешских патриотов он предал публичной казни, и еще тысячи по его распоряжению убиты тайно. И вот через восемь месяцев этот кровавый палач умерщвлен чешской рукой. В этой восьмимесячной борьбе победил наш народ.

Готвальд обращался к взволнованному собранию. По его лицу было видно, что он тщательно обдумывает каждое слово. Он старался говорить четко, конкретно, доступно, убедительно; он старался, чтобы его речь крепко врезалась в память, чтобы солдаты в своих действиях следовали его словам. Он говорил о единстве движения Сопротивления за границей и на родине, и все слушали его в напряженной тишине, опасаясь упустить хоть один звук.

— Движение Сопротивления за границей,— говорил Готвальд,— есть только часть освободительной борьбы. Вся суть борьбы и смысл ее в освобождении родины. Движение Сопротивления за границей выполнит свою задачу только в том случае, если оно будет действовать в полном идейном, политическом и тактическом согласии с движением Сопротивления на родине. Основной тактический и политический принцип движения — самое широкое национальное единство, в котором нет места только предателям. Пусть это будут чехи, словаки или подкарпатские украинцы — для борьбы за свободу родины нам понадобится каждый честный гражданин, каждая честная гражданка без различия политических убеждений и вероисповедания, только бы человек был чистосердечно предан республике...

Вот именно так! Сказано слово, которое все проясняет! По залу пробежал вздох облегчения. Сказано то самое, в чем необходимо было убедить людей, временно потерявших родину: слова о неразрывной связи с землей отцов и о собственном единстве. Сделать это было не так-то просто.

В далеких степях, где чернеют на горизонте уральские леса, раскинулся безвестный городок Бузулук. Ночью и днем здесь дует ветер, раздражающий первы, и несет песок из степи. Каменные казармы и учебные плацы расположены за городом под крутым берегом реки Самарки. Сюда из монастыря в Оранках прибыло ядро будущей воинской части, сюда съезжались чехи и словаки со всех концов обширной Советской страны, чтобы стать здесь солдатами; из Москвы и Ворошиловграда, из Ташкента, Алма-Аты и Фрунзе ехали сюда чешские политические эмигранты и чешские переселенцы. Все жили в одних казармах, подчиняясь единой военной дисциплине, проходили военное обучение под руководством чешских командиров, одинаково питались, одинаково учились и вместе шагали в ногу по бесконечной бузулукской улице мимо деревянных домиков с кружевной резьбой на фасадах, мимо мужчин в синих вышитых косоворотках и женщин, повязанных платочками. Чешские солдаты оглашали пыльный воздух походными песнями, звуками барабанов и духовых инструментов, стрельбой, трепетными звуками утренней и вечерней зори. Они носили одинаковую форму; и когда сейчас они сидели и стояли, набившись в узкий зал с нарисованными коринфскими колоннами на стенах, украшенных советскими и чехословацкими государственными флагами, они казались однородной массой, как всякое солдатское собрание. Но это казалось только на первый взгляд, издали. Все было гораздо сложнее. Обратите только внимание, как различны сосредоточенные лица людей в солдатской форме.

Женщины выделялись кудрями, округлостью щек и большей живостью лица. Это не были мужеподобные женщины, безгрудые амазонки — в армию их привела любовь к родной стране. Чешские и словацкие девушки надели военную форму так же, как тысячи советских гражданок; молодые матери отдали своих детей на попечение женщин постарше и пошли со своими мужьями, братьями и отцами.

В лирические минуты перед вечерней зорей вид этих молодых женщин в военной форме пробуждал тоску в душе Ондржея. Ему все вспоминалась Кето. Война их разлучила — девушка ушла воевать раньше. Кето, золотая искорка, была более решительна: пока Ондржей раскачался, Кето была уже далеко. В первом же порыве энтузиазма она записалась на курсы медицинских сестер и уехала с санитарным поездом на фронт. Ондржей, услыхав воззвание, с которым наш московский центр обратился к чехословакам, живущим в Советском Союзе, явился в районный военкомат в Тбилиси, а затем уехал в Бузулук, чтобы вступить в армию.

Трудно было бы сформировать чехословацкую часть, если бы Клемент Готвальд не сзывал чехословацких эмигрантов из самых

отдаленных мест бескрайней страны — из Ташкента и Алма-Аты, Самарканда, Ворошиловграда, Свердловска, отовсюду, где они работали,— в колхозах и на заводах; теперь их приглашали участвовать в Великой Отечественной войне. Вот этот кудрявый черноглазый пятидесятилетний человек, сидящий в президиуме между подвижным Вацлавом Копецким и Властимилом Бореком, который вел протокол исторического собрания, депутат Кроснарж, секретарь Межрабпома, мог бы порассказать кое-что о том, как он разъезжал из города в город по безграничной стране и агитировал. Отправились в армию и чешские переселенцы из Фрунзе, из высокогорной Киргизии, чуть ли не от индийской границы. Эти чехи живут в Азии двадцатый год. Они приехали из колонии Интергельпо вместе с взрослыми уже детьми.

Здесь были видны простые лица рабочих и лица интеллигентов; чехи и словаки, загоревшие во время работы в колхозах; характерные лица подкарпатских украинцев; но больше всего бросалась в глаза разница в возрасте. Тут были не только люди призывного возраста, на юных лицах которых жизнь еще не успела оставить своих следов, но и люди, прошедшие через многие испытания. Здесь сидели солдаты, воевавшие в первую мировую войну, товарищи, обстрелянные в боях, и рядом с ними — восторженные юнцы без всякого воинского опыта; здесь очутились и пожилые, почтенные люди, которые никогда в жизни не держали в руках оружия и которым и во сне не снилось, что они когда-нибудь пойдут воевать, да еще в Советском Союзе.

Эти люди покинули родину по разным причинам. Одни — по решению руководства партии. Вон там Врбенский, Гарус — депутаты-коммунисты в военной форме, знакомые друг с другом еще до московской эмиграции, даже до того, как заседали в Национальном собрании в те черные дни, когда вместе с Готвальдом они всячески протестовали против Мюнхена,— они знали друг друга еще по Карлину, это были старые кадры. Депутат Грушка явился в Чехословацкую бригаду с двумя юными сыновьями. Он уже однажды воевал в Советской стране, пошел в Красную Армию как пленный австрийский подданный и участвовал в обороне Царицына, нынешнего Сталинграда, на который как раз сейчас наступают нацисты. Здесь, в Бузулуке, Грушка начал все сызнова и таскал на спине миномет.

Беспартийные тянулись в Россию, чувствуя отвращение к германизации и по традиции славян веря в русских. Другие бежали просто потому, что хотели сохранить свою жизнь, спасались от расистских нацистских законов. Взять хотя бы друга Ондржея — Людека, который иногда так страшно кричит во сне. Он

исчез из Моравской Остравы четырнадцатого марта вечером, немедленно, как только туда ворвались нацисты.

Все это происходило три года назад, и люди стали другими, пожив в Советском Союзе. Но были и такие, кто оставался в плену старых предрассудков, крепко держался за них и, услыхав о приезде Готвальда, опасался, что тот едет «большевизировать» их. В чем заключалось таинственное зло «большевизации», собственно, никто не знал; эти люди боялись, что их как-то насильственно перекрасят или отделят от остальных. Теперь, когда они услыхали, что Готвальд подчеркивает значение широкого национального фронта, с души у них свалился камень. Никто не отстраняет их от патриотического дела — наоборот, только приветствует.

— И коммунисты,— говорил Клемент Готвальд,— пусть будут самыми дисциплинированными во время обучения и самыми отважными под огнем...

Когда он проникновенно заговорил о верности нашему ближайшему и самому надежному союзнику — Советскому Союзу, Ондржею показалось, что Готвальд высказывает самые заветные его мысли. Урбан чувствовал себя советским гражданином, сжился со страной рабочих и крестьян. Еще бы не любить ее! Он нашел здесь работу, любовь и хлеб, нашел утраченную волю к жизни, и его надломленная вера в человека срослась здесь, как привитое дерево, и распрямилась. Боже, подумать только, что в дни зеленой юности Казмар со своим хвастовством и фальшивой демократичностью был моим героем!.. А потом он вышвырнул нас на мостовую. Как нас обманывали и как злоупотребляли нашим доверием!

— Кто злобствует и интригует против Советского Союза,— гремел Готвальд с молниями во взоре под тучами бровей,— тот злейший враг народа...

Отец Ондржея — легионер, трагическая фигура. Ондржей с горьким сожалением здесь, в Бузулуке, где легионеры оставили по себе такую печальную память, вспоминал покойного отца. Они убивали большевиков и разрушили мост через реку Самарку. Здешние старики еще помнят эти дни. И им понравилось, что нынешние чехословаки собственными руками восстановили разрушенный мост.

Папа, бедняга, слесарь из неизвестной Льготки, тоже был из народа, хотел народной республики и... с оружием в руках выступил против нее. Так господа сбили его с толку, так злоупотребили его доверием. В течение двух лет после войны легионеров не отпускали на родину, задерживали на территории России, чтобы помочь интервентам, и натравливали на большевиков... которые

сейчас спасают нашу родину. Покойный отец любил ее от всей души! Вот куда это ведет, если солдаты не знают, что делают. У каждого солдата в голове должна быть полная ясность, чтобы он видел, в чем дело, чтобы его не продали, чтобы он знал, за кем он идет и за какое будущее он сражается.

Готвальд, с сосредоточенной складкой у переносицы, сознавая ответственность выступления, сумел прекрасно все это рассказать солдатам. Он говорил с ними спокойно и понятно, разъясняя принцип, согласно которому мы будем управлять свободной родиной после войны. Народ сам решит, как урегулировать социальные, политические и национальные вопросы в будущей республике, как наладить международные отношения. Ондржей слушал, затаив дыхание, и голос оратора, и содержание речи, и ее интонации — все звало его на родину. Вернусь в Чехию, там будет работа! Поедем вместе, Кето, да? Ты будешь учить людей, как лучше жить. (Только бы с ней ничего не случилось. Удастся ли нам счастливо встретиться? Увижу ли я маму? Может быть, немцы ее не тронули?) Когда Ондржей, через много лет, снова очутился среди чехов, родная речь пробудила в нем давно забытые воспоминания. Они вставали, выскакивали и разбегались по тропинкам нервов из песчаного Бузулука на льготский склон, благоухающий мятой. Они взбирались на мальчишеский наблюдательный пункт — на иву у Маречкова кладбища — и с любовью оглядывали знакомый пейзаж с оградами лесов, флажками дыма и заплатами полей. Заплаты исчезнут с нищенской юбки, люди подадут друг другу руки через межу, хлеба заселят землю, как огромное войско мира. Готвальд — это, пожалуй, король Ячменек из сказаний, когда-нибудь вместе с ним в Чехию придет золотой век. Решительно, он божий воин.

— Пройдя военное обучение, вы поедете на фронт,— говорит Готвальд офицерам и рядовым.— Наш первый отдельный чехословацкий батальон докажет, что он достоин своих гуситских предков, и снова прославит старинный гуситский призыв: неприятелей не бойтесь, не глядите, что их много, бейте их, никого не щадя. Во главе со славной Красной Армией, с героическими советскими партизанами в неприятельском тылу и с помощью надежного подполья дома вы освободите родину. Пусть каждый из вас будет крепок, как камень, и весь народ — несокрушим, как чешский гранит. Ярость обезумевшего врага разобьется о прочное, стойкое единство нашего народа на родине и за границей. Надейтесь, выдержите — и победа будет за нами!..

Раздались бурные единодушные аплодисменты, точно хлопали не ладони, а взлетающие крылья, так что бузулукский кино-

театр чуть не развалился. Офицеры и солдаты встали, как один, воздавая почет гостю, который воплощал в своем лице родину, и овациям не было конца.

ВЫШЕ ГОЛОВУ!

В замке камеры загремел ключ, средневековый ключ. Разговор разом умолк, три узницы вскочили на ноги. В дверях показалась надзирательница с листом бумаги в руке. Две узницы смертельно побледнели, третья порозовела от волнения.

— Скршиванкова Елена, herunter! Alles mit! Sofort! [1]

Перепуганные женщины уставились на Елену. Но Елена словно повеселела. Волнуясь, она всегда выглядела веселей, эту черту она унаследовала от отца.

Быстро одеваясь, Елена старалась сохранить самообладание, но руки у нее дрожали. Как часто в последние дни она внутренне готовилась к этому моменту и все же не верила, что он наступит. Не верилось ей и сейчас, но пальцы плохо слушались, и вещи валились из рук. Мильча нагнулась и подала Елене упавший платок, Галачиха сказала нежно:

— Погоди, дочка,— и подтянула на юбке Елены незастегнутую «молнию».

Как будто сейчас важны такие мелочи! Все трое отлично понимали, что означает этот вечерний вызов из камеры в дни осадного положения. Но, как утопающий за соломинку, они цеплялись за всякие мелочи, потому что иначе можно было сойти с ума. Они старались занять внимание Елены обыденными пустяками и вызвать у нее и у себя ощущение, что она все еще живет, как все другие, а *этого* как бы не существует. И сама Елена тоже ни слова не говорила об *этом*. Есть такой неписаный закон у заключенных: те, кому предстоит *это,* скромно молчат... Да и времени не было разговаривать.

— Los! Los! [2] — кричала надзирательница из коридора.

Елена торопливо обняла Галачиху, потом Мильчу. Она почувствовала, как судорожно вздрагивает девушка, вот-вот прорвутся с трудом сдерживаемые рыдания. И эта слабость товарища помогла Елене справиться с собой.

— Молчи,— сказала она с материнским превосходством.— Не мучайся, в конце концов все обойдется. Прощайте!

Но Мильча прижалась к ней, словно не желая отпускать.

---

[1] Собирайся! С вещами! Быстро! *(нем.)*

[2] Скорей! Скорей! *(нем.)*

— Willst du mitgehen?[1] — зашипела на нее надзирательница. Девушка не понимала по-немецки. Елена оттолкнула ее и выбежала в коридор. Не хватало еще, чтобы они взяли и Мильчу!

Дверь камеры захлопнулась, и Елена очутилась в коридоре, как птенец, выпавший из гнезда. Как сжились за это недолгое время три обитательницы камеры, как они полюбили друг друга! Кто не сидел в гитлеровских тюрьмах, тот не знает, как крепка взаимная привязанность заключенных. Уже не будет больше Елена возвращаться с допросов к Галачихе, старая работница и Мильча не будут больше заботиться о ней. А она, Елена, уже не принесет им вестей из «четырехсотки», ничего не расскажет им.

Надзирательница в безобразной эсэсовской фуражке вела Елену вниз по лестнице. А лестница здесь не такая, как все лестницы,— тюремная! На каждом этаже пролет затянут металлической сеткой, чтобы отчаявшийся узник не вздумал броситься вниз и сломать себе шею. Но Елена не помышляла о самоубийстве. К чему? Она никого не выдала, держала язык за зубами, а теперь ее уже ни о чем не будут спрашивать...

По этой лестнице вздохов заключенные возвращаются поздно ночью с допросов во дворце Печека. Тюремные ступени словно покрыты тысячами незримых следов: что ни след, то боль, что ни ступень, то тоска. А впрочем, нет, эти ступени знали и веселую, бодрую походку *коридорного,* спешившего с доброй вестью о том, что Красная Армия гонит гитлеровцев от Москвы, и торопливые шаги выпущенного на волю человека. Ну, Елену-то не выпустят, нечего и думать, ведь она дочь Гамзы, несколько лет работала в горьковской больнице, ее уличили в том, что вместе с группой врачей она пыталась передавать витамины политическим заключенным, лечила подпольщиков; кроме того, она систематически переводила и распространяла советские военные сводки... Собственно говоря, можно было обойтись и без этих улик, ведь после покушения на Гейдриха оккупанты беспощадно казнили чехов, а коммунистов — в первую очередь.

О, господи, сколько народу в нижнем коридоре! Похоже на толпу беженцев. И все одни мужчины. Елена стояла у стены, положив свой узелок у ног, и ждала. Где-то впереди гортанный голос выкрикивал фамилии. Во времена безработицы люди вот так же толпились около биржи труда, а сейчас стоят здесь в очереди за смертью... Все это связано одно с другим, тесно связано!

Стоял долгий день военного лета, солнце еще не село, в выбеленном вестибюле было светло. В этом тоскливом предвечернем

[1] И ты хочешь с ней? *(нем.)*

освещении Елена не различала фигур, она видела лишь лица людей, изнуренные голодом, пожелтевшие от тюремной жизни, изувеченные кулаками гестаповцев, отражавшие волнение и страх перед тем, что случится в ближайшие несколько минут.

Гортанный голос, коверкающий чешские фамилии, продолжал раздаваться под белыми сводами, над черной толпой заключенных:

— Аусобский Генрих!

На Аусобском уже не было темных очков, которые он носил, живя на нелегальном положении. Их разбили еще на первом допросе. Но он не вешал курчавой головы. Да, да, это был связной Индра Аусобский, которому Елена вручала свои переводы с русского. Но в нем был воплощен Рой из штата Алабама, один из американских юношей, приговоренных к смерти. Он словно сошел со старой фотографии, которую Елена берегла еще девочкой. Образ невинно осужденного негра Роя ожил в этом человеке. «Сколько тогда мне было лет? Четырнадцать, не больше. Когда я в тот день бежала на почту с телеграммами протеста, это были протесты против моей собственной смерти». Все это связано, тесно связано! Словно мощный прожектор с необыкновенной яркостью осветил вдруг в сознании Елены все прошедшее, настоящее и будущее.

Позади Аусобского показалась голова надзирателя. Аусобский как-то неестественно выпрямился, и Елена потеряла его из виду.

Затем были названы имена Кудея, Соларжика, Мразека, Япека — всех арестованных членов их разгромленного национального комитета. За спиной каждого появлялся надзиратель, что-то делал, и вызванных уводили прочь.

Стоя у стены, Елена напрягала слух и, волнуясь, гадала, скоро ли назовут ее имя. «Только бы не уронить честь отца! Как хорошо, что нас не будут вешать, виселицы я боюсь. А в расстреле есть что-то хирургическое... Бедная мама! Ее жизнь начинается и кончается семьей, ей будет очень тяжело».

Сколько раз Елена мысленно писала матери горячее прощальное письмо: так, мол, и так, мамочка, я тебя очень, очень люблю, а если я и была иногда резка, то это только от застенчивости. Мне бы не хотелось, мама, чтобы ты думала, что у тебя была легкомысленная дочь. Пойми, это было необходимо для отвода глаз. Наше дело мы скрывали и от тебя, ведь ты робка... Только бы правильно был воспитан мой Митя, теперь, когда в живых остается лишь слабая половина нашей семьи. Но нет, Митя вырастет настоящим человеком, а Тоник...

На дворе взревел автомобильный мотор, и этот звук ударил по нервам заключенных. Послышался громкий лай овчарки. За-

ключенных выстраивали для отправки, слышались шаги, скрип высоких сапог и стук их по каменным плитам.

— Los! Los!

Елена хотела было пожать Индре руку — теперь можно не скрывать, что они знают друг друга,— но он с улыбкой оглядел себя сверху донизу и пожал плечами; руки у него были связаны за спиной. Вот откуда эта неестественная поза! Так вот, значит, что делали с ними там, впереди! Их связали, как помешанных в смирительных рубашках, как бандитов; их гонят, как скот на бойню... В «четырехсотке» Елена не раз видела страшно избитых людей, слышала вопли, которые гестаповцам не всегда удавалось заглушить ревом мощных репродукторов, разносивших по всем этажам дворца Печека фривольные мелодии, но ничто не произвело на Елену столь гнетущего впечатления, как эти связанные за спиной руки — воплощение бессилия. Бессилия? Так нет же! Голова-то свободна!

— И все-таки они проиграют! — сказал Аусобский, и лицо у него было такое же оживленное, как у Елены, когда она прощалась в камере. Мужчин погнали во двор.

— Los! Los!

Гестаповцы торопили заключенных, торопились сами, словно бес в них вселился. Они как будто старались убежать от самих себя, нечистая совесть подгоняла их. На лай овчарки начальника тюрьмы отозвались все тюремные псы. Толпа обреченных мужчин вышла во двор, эсэсовцы загнали людей в автобусы и увезли. В белом коридоре вдруг стало пусто и тихо. Время словно остановилось.

Елену не вызвали — в чем же дело? Ее отделили от колонны смертников. Что это значит? Может быть, ее снова повезут на допрос? Но зачем тогда ее вызвали с вещами? Или надзирательница ошиблась? Может быть, по счастливой случайности о Елене забыли и она еще вернется в камеру, к Галачихе и Мильче, проживет еще целую ночь и день, а за это время мало ли что может случиться? Покушение на Гейдриха тоже было как гром среди ясного неба. Разве не принесла Женя сегодня днем весть о восстании в Праге? Говорят, что кто-то из *хаусарбейтеров* прочел об этом в немецких газетах, которые шли на растопку. Правда, Женя не отличалась трезвостью взглядов и всегда была склонна к фантастическим версиям типа «одна пани сказала». Разумом Елена ясно сознавала свое положение, но ее бьющееся сердце, ее работающие легкие — весь организм молодой женщины просто инстинктивно не допускал возможности близкой смерти. Ведь именно сейчас Елена живет так напряженно, живет каждой клеточкой своего существа. Надежды сплетались с воспоминаниями: вот,

например, эти девять негритянских юношей времен ее детства, они ведь все-таки не были казнены! Весь мир возмутился тогда против подготовки узаконенного убийства в Скоттсборо. Да и Лейпцигский процесс благополучно кончился... ведь верно, отец? Елена все время мысленно обращалась к отцу, словно он был тут, рядом с ней.

И вдруг у Елены замерло сердце. «Анка Шебестова! Вот уж не думала я, что испугаюсь тебя, как смерти!»

Надзирательницы выводили узниц, передавали их в руки эсэсовцев, а это значит, всему конец. Нет, нет, я уже стою прямо. Нельзя вселять отчаяние в души товарищей. Это я только на минуточку пошатнулась, только на минуточку меня смутила пустая надежда на спасение. А Анка Шебестова, молодая работница и верная подруга Елены, вошла торжественная, сосредоточенная, спокойная, строгая. В мае у нее должна была быть свадьба, а сейчас она идет на смерть. Каких только узниц здесь нет: пожилые женщины, девушки, у которых вся жизнь была впереди, теперь она обрывается. Есть здесь матери — бог весть, что теперь станется с их детьми,— есть жены революционеров, скрывшихся в подполье или за границу, жены арестованных и вдовы казненных, работницы, учительницы, продавщицы, сестры Красного Креста и старые поборницы женских прав. Вон ту полную седую женщину в молодости называли «Орлеанской девой». Она боролась за женское образование, отстаивала избирательные права женщин. Когда-то ее высмеивали, теперь она идет на смерть за то, что отказалась подписать от имени чешских женщин верноподданническое обращение к империи. Ага, здесь и «тетя Чистая», самоотверженная патриотка, работавшая в мастерской химической чистки. Через ее посредство и с помощью еще одной связной Елена получала русские тексты для переводов.

Среди заключенных были и совсем отсталые женщины, попавшие сюда по странной игре случая, которую так любит гестапо. Вот эту тугоухую бабку, безземельную крестьянку из Радлиц, Елена не раз видела на прогулках в тюремном дворе. Бабка сидела за то, что незаконно продала из-под полы несколько литров молока женщине с целым выводком детей, а соседка донесла на нее. Когда среди заключенных разнеслась весть о покушении на Гейдриха, бабка усиленно допытывалась, кто такой *«Геринк»* и что с ним такое приключилось. Она, мол, знала одного Геринка, ювелира со Спаленой улицы,— может, это он? Теперь ее расстреляют за «одобрение покушения на германского протектора».

Была тут и молодая цыганка. Она тоже совершенно не понимала, что происходит вокруг. Когда ее вывели из камеры, она засмеялась, радуясь, что ее теперь выпустят.

Но большинство узниц были сознательными патриотками. Все эти мамаши, тетушки, кумы, такие простые и будничные, охотно толковавшие о хлебе насущном,— это был проданный и связанный по рукам и ногам чешский народ, который, несмотря ни на что, словом и делом сопротивлялся чужеземцам, хотел изгнать их, рвался к свободе. Правда, представления о свободе были разные. «Соколки», «маффистки», патриотки старого закала мечтали о прежней республике, которую для них олицетворяли Масарик на коне, легионеры в Граде и Промысловый банк у Прашной браны. Коммунистам было ясно, что после войны от старых представлений не останется камня на камне, и они готовились, засучив рукава, строить новый мир. Но всех узниц объединяла общая ненависть к захватчикам и надежда на освобождение, которое принесет Красная Армия. А сейчас они шли умирать.

Погодите, подруги! Мужчинам связали руки, а нам нет — значит, это только отправка в концлагерь. То, что раньше считалось бедой, сейчас показалось удачей. О, господи, как легко стало при мысли, что предстоит поездка в лагерь, а не расстрел. Пусть даже на сопроводительном документе стоят роковые буквы «R. U.» («Rückkehr unerwünscht»), пусть даже там, в Германии или в Польше, Елену ждет смерть! Но во-первых, это не сейчас, и это самое главное, а во-вторых, еще не раз, быть может, тебе повезет и ты избежишь смерти. В концлагерь тебя отправят поездом — а мало ли что может случиться в дороге. Известно, как часты на железных дорогах диверсии, крушения. Тоник с Войтой занимались этим... Что, если и наш поезд потерпит крушение! Поезд сходит с рельс, паника, и я исчезаю... Или, например, воздушный налет. Разве несколько дней назад не было большого налета на Пльзень? Погибнуть от бомбы или увечья не страшно, это отличная смерть по сравнению с казнью. Да и зачем обязательно гибнуть? Можно быть раненой и пролежать в больнице до тех пор, пока русские погонят немцев из Керчи и Севастополя, как погнали их уже от Москвы. Жизнь каждой из узниц гитлеровской тюрьмы Панкрац связана прочными нитями с продвижением Красной Армии. Только бы выиграть время! Каждый лишний день — это благо. Жить можно и в концентрационном лагере, и там можно дождаться свободы. Подумать только! Дожить до победы! Голова кружится при мысли об этом...

Женщинам не связали рук. А так как в каждом живом человеке в минуты волнения и страха теплится искорка надежды, эта искорка сейчас вспыхнула и разгорелась пламенем. Общее настроение захватило и Елену. Она нахмурилась и рассердилась на себя. К чему? Такая неуравновешенность только ослабляет человека. Скорей бы уж гестаповцы взялись за дело и всему пришел бы

конец. Елена ждала в тюремном коридоре всего-навсего полчаса. Последние ее минуты. Но именно эти минуты, как ни странно, показались ей вечностью.

Наконец узниц загнали в *«Зеленый Антон»,* туда же вскочили эсэсовцы с револьверами в руках, дверцы захлопнулись, и машина помчалась. На улице все еще было светло,— долгий день, летнее время,— но в закрытой машине царил полумрак. Через затянутую решеткой отдушину нельзя было разглядеть, где они едут. Но определить направление было возможно. Прижатые друг к другу женщины напрягали слух и каждой мышцей своих измученных тел воспринимали эту езду. Они уже знали привычный толчок при выезде из тюремных ворот на улицу, знали звук перевода скоростей, знали короткий гул, когда машина проезжала под Нусельским виадуком. Сейчас их везли под гору знакомым маршрутом, которым обычно возили на допрос. Вильсонов и Масариков вокзалы расположены недалеко от дворца Печека, так что если машина не переедет через мост — значит, мы спасены, подруги! Ну а если мост, тогда мы едем в Кобылисы.

Узницы знали, что переезд через мост решает все. Но ни одна из них не произнесла вслух ни слова.

Рядом с Еленкой сидела Тоничка Северинова, молодая женщина, впервые готовившаяся стать матерью. Ее недавно арестовали на вокзале, где она пыталась передать в вагон кусок хлеба пленному русскому солдату. Тоничка прижалась к Елене. Прижалась не только потому, что в машине было тесно, но и потому, что ей было страшно и тянуло к близкому человеку. А машина мчалась и мчалась, свернула направо и все не останавливалась. Гладкая мостовая вдруг кончилась, заключенных тряхнуло. Тоничка ухватилась за руку Елены.

— Ему это не повредит? — спросила она, думая о будущем ребенке, и этот вопрос показался Елене безумным.

— Не повредит! — тихо успокоила она Тоничку и улыбнулась ей, собрав все силы, улыбнулась той самой «военной улыбкой», которой улыбалась когда-то своему мужу ее мать Нелла. Как будто теперь это не все равно!

Машина с шумом прошла по мосту... «Очевидно, это мост на Штванице, девчонкой я ездила туда играть в теннис... Для мамы это будет страшный удар... Интересно, видны ли отсюда Градчаны? — Елена старалась, но никак не могла вспомнить.— Как это я раньше не обращала внимания!»

Словно в ответ на ее мысли в темной машине раздалось пение. Женщины запели «Где родина моя». Словно порыв ветра ворвался в сердце Елены. Серебряный ветер, пронизанный солнцем, дождем и благоуханием родной земли, увлек Елену с собой, и она запела

вместе со всеми. Вначале в голосах узниц отражались неуверенность и страх. Но мелодия ширилась, становилась сильнее и чище, узницы пели, и с них, как увядшие листья с веток, опадали боязнь, страдание и тоска. Словно свет и воздух ворвались вместе с гимном в этот гроб на колесах. Елене казалось, что песня зрительно ощутима.

Шум воды в лугах зеленых,
гул лесов на горных склонах,
птичий свист в садах весной —
всюду словно рай земной![1]

Внутреннему взору Елены представилась картина, которую она — в те годы счастливая жена и мать — видела, возвращаясь с Тоником и Митей на родину после нескольких лет разлуки. Весенняя земля цвела, яблони стояли в девичьей фате, миллионы цветов виднелись за оградами, и на эти цветы слетались пчелы святого Прокопа. Яблони, выращенные чешскими братьями-садоводами, как веселые подружки, выстроились вдоль дорог по всей Чехии вперемежку с цветущими черешнями.

А переполненная машина мчалась по Голешовицкой набережной мимо боен, и обреченные женщины пели в ней «Где родина моя». Как когда-то Елена пела в школе, как пел Митя и будут петь его дети, как поют чехословацкие солдаты в степях Бузулука и на меловых берегах Великобритании — в разных концах света, по обе стороны креста, на котором гитлеровцы распяли чешский народ. Узницы пели, и перед ними, как наяву, вставало прекрасное лицо родины — черные брови лесов, голубые глаза озер, львиная грива желтеющих нив и тонкие жилки дорог и тропинок, где встречается человек с человеком, милая с милым, край, где природа укрощена и приручена трудолюбивым народом, край, украшенный трудом поколений, зеленая Чехия, белые города, красные трубы на фоне синих гор. Эти горы снова станут нашими! Нашими станут истоки рек, все вернется в руки твои, чешский народ!

Это чешские края,
Это родина моя.

Любимая мелодия, близкая сердцу, но слишком трогательная, вызывающая слезы умиления. «Не плачь, мама, не плачь, слезами нам не поможешь...»

Елена всю жизнь стыдилась слез. Мы сражались, подруги, и мы умрем как солдаты. Не уговариваясь, даже не переглянувшись, Анка с Еленой и «тетя Чистая», кончив «Над Татрами», запели:

Вставай, проклятьем заклейменный!..

---

[1] Перевод М. Зенкевича.

Машина еще раз с грохотом проехала по мосту,— какой это — Тройский или Либеньский? — и помчалась по другому берегу Влтавы. Казалось, в этом пении слышится грозный шум толпы перед Зимним дворцом в Петрограде, вопли жен рабочих после страшного взрыва динамитного завода в Болевке, поступь шахтеров в Мосте и возгласы возмущенного народа перед парламентом, когда буржуазное правительство отдало Гитлеру пограничные горы, речь Готвальда с парламентского балкона... «Тоник, Тоник, тогда мы были вместе... Хорошо, что сейчас тебя нет со мной!» Вспомнилась Елене и забастовка нехлебских ткачей. Тогда застрелили Франтишку Поланскую... Как хорошо знала Елена эту женщину, ее валик для плетения кружев, ласточек, что прилетали к ней каждый год, гиацинтовые луковицы, которые она хранила в погребе... в них дремала весна. Капитал спустил на Поланскую полицейских, а на нас — *гитлеровцев*. Все это связано, все это тесно связано!..

Шофер переключил скорость, машина накренилась на повороте... уж не в Либени ли мы, недалеко от Буловки?.. Перекресток, звенит трамвай... На шоссе выбегает неизвестный с каким-то предметом в руке, останавливает черную машину Гейдриха. Другой неизвестный бросает бомбу... Молодцы! Наверно, они хорошо натренировались. Итак, мы едем по той самой дороге, где было совершено покушение? Трудно угадать вот так, вслепую. Бог знает, куда нас везут, но, судя по тому, как вдруг взъярились эсэсовцы...

Никто не даст нам избавленья...

— Halt's Maul! [1] — ревет эсэсовец и вскакивает, как ужаленный.— Shweigen! Sonst schiesse ich! [2]

— Стреляйте! — как во сне говорит Еленка.— По крайней мере, сразу отделаюсь.

На нее обрушивается кулак гестаповца. Но эта расправа — как масло в огонь: женщины поют еще смелее и громче. Мать неродившегося ребенка, которая только что так боялась за него, поет со всеми. Что остается делать эсэсовцам? Они обязаны довезти узниц живыми на место казни.

Ход машины стал мягким, тяжелым и беззвучным, ее резиновые шины катились теперь по немощеной дороге. В закрытом кузове посветлело, в щели проник свежий загородный воздух. Цыганка жадно вдыхала его, раздувая красивые ноздри. «Теперь скоро выпустят»,— думала она. Она не понимала ни по-чешски, ни по-немецки и все еще не догадывалась, куда их везут. Никто из попутчиц не станет объяснять ей это, боже упаси!

---

[1] Заткнитесь! *(нем.)*

[2] Молчать! Не то застрелю! *(нем.)*

Теперь они, наверно, проезжают мимо зеленых домиков и небольших садоводств, которых так много в предместьях Праги. Елена любила эти места, где кончается город и начинаются новостройки, стадионы и кладбища. Она не знала точно, где находится стрельбище в Кобылисах, ей в жизни не приходилось бывать там, да и зачем? Но «тетя Чистая», жительница Либени, услышав, как машина поехала по немощеной дороге, тотчас сказала: «Мы уже почти на месте».

Это есть наш последний
И решительный бой,
С Интернационалом
Воспрянет род людской!

Звуки песни вылетали из мчавшейся машины, проносились над розовыми палисадниками предместья Дяблице, бились в наглухо закрытые окна.

— Опять везут коммунистов,— говорили люди в домиках, стоя у тщательно затемненных окон.— Коммунисты всегда поют перед казнью. Боже, и когда придет конец этим убийствам!

Ежедневно, на рассвете и вечером, перед заходом солнца, через Дяблице проносились дьявольские кортежи смерти: впереди в открытых машинах команда гестаповских палачей, за ними полицейские машины с обреченными. Эти кортежи пугали жителей предместья перед сном и будили их на рассвете. А по ночам грузовые машины увозили в крематорий безмолвный груз. С шести вечера до шести утра жителям Дяблице было строжайше запрещено выходить на улицу, все окна должны были быть закрыты и тщательно затемнены, подходить к ним было нельзя. Однажды гитлеровский солдат выстрелил в окно, заметив тень за занавеской. Но жители предместья нашли выход: они выбрали наиболее удобно расположенный домик из тех, что стояли на косогоре, вынули черепицу в крыше и, забираясь на чердак еще до захода солнца, смотрели в это отверстие. Видно было далеко, вплоть до того места, где сейчас на лесистом горном склоне расправил свои белые плечи большой березовый крест. Территория стрельбища была обнесена каменной стеной, огорожена колючей проволокой и охранялась часовыми. Но люди, тайком глядевшие сквозь дыру в крыше, все-таки видели, что там происходит. И тот, кто видел, уже не мог сомкнуть глаз. Рев запущенных моторов, ружейные залпы и пение расстреливаемых страшным призраком врывались в жизнь обитателей уютного предместья, и многие его жительницы еще долго после осадного положения ходили к невропатологам.

Машина, в которой находилась Елена, все ехала, и узницы пели до тех пор, пока шофер не затормозил. Последние ворота.

У всех обреченных на минуту замерло сердце. Конвойный эсэсовец высунулся, сердито крикнул часовому какой-то номер или пароль — нацисты орут и друг на друга,— и машина снова тронулась. Она повернула налево, проехала еще немного и окончательно остановилась.

— Alles heraus! [1]

Какой бесконечно долгой была эта поездка! И как она быстро кончилась! А где же наши мужчины, что с ними?

Узницы вышли из машины, которая остановилась на площадке, похожей на стоянку автобусов,— на месте, огороженном колючей проволокой и покрытом лужами дегтя.

Елена увидела небо над головой и глубоко вдохнула свежий вечерний воздух. Стоял июнь, чудесный месяц в Чехии, время, когда весна и лето словно соединяются в поцелуе и губы их окрашены земляничным соком. Запахи чешской земли проникали к Елене через изгородь из колючей проволоки. Лужайки издалека посылали ей благоухание цветов, леса источали аромат смолы, нагретые солнцем нивы дышали хлебом, с огородов и из садиков доносился запах укропа, жасмина и роз. За облупившимися каменными заборами благоухала бузина, а на перекрестках — горькая черемуха. О, запах родины! «А ты, Станя, когда-то хотел лишить себя жизни, дурачок! Слава богу, ты еще остаешься с мамой. Что бы она делала совсем одна!.. А где же наши мужчины, куда их дели? Живы они или уже... Зачем так ревут моторы, ведь автобусы стоят? Почему шоферы не выключат их? Едут обратно, что ли?»

Где-то в стороне от стоянки щелкали негромкие сухие выстрелы, а порой слышались целые очереди из автоматов. Наверно, солдаты упражняются в стрельбе, на то ведь и стрельбище. В сознании Елены эти звуки не ассоциировались с казнью. Противный запах синтетических смазочных масел, разлитых по земле, смешивался с ароматом земли и осквернял его. За вереницей пестрых ревущих автобусов Елена увидела нечто тихое, прекрасное, незабываемое. За колючей проволокой тянулось поле молодой свеклы, посаженной рядами в иссиня-коричневой земле. За полем на пригорке кудрявился лиственный лес. Кто сказал, что свекольные поля неприглядны с виду? Елена готова была всю жизнь глядеть на это свекольное поле и не насмотрелась бы. Хорошо бы побежать по нему, как дитя или жеребенок, ни о чем не думать и бежать!.. Справа от поля виднелся поселок — группа белых и светло-желтых домиков с красными и серыми крышами. Домики жались друг к другу, над ними торчала какая-то башенка. Люди в этих домах могут, когда им вздумается, пойти из комнаты в кухню, растопить

[1] Вылезай! *(нем.)*

плиту, сварить кашу детям, зажечь лампу, сесть рядом с Митей,— помочь ему сделать урок по арифметике, выйти из дому, сесть на трамвай, поехать в город, пойти там вдвоем в кино... Они ведут сказочную жизнь, которую Елена уже даже не может представить себе...

Узниц построили в шеренги и по узкой дороге повели в сторону от стоянки автобусов. Дорога заворачивала за деревянный сарай, похожий на кегельбан. По сторонам лежали какие-то длинные ящики. «К чему они здесь?» — подумала Елена.

Вот и небольшой двор, с трех сторон окруженный насыпью и немного похожий на дно высохшего пруда. О, господи, сколько здесь солдат против нас, женщин. Как им не стыдно! Проходя мимо, Елена нарочно поглядела в глаза одному из них. У солдата были зеленые глаза без ресниц, какие бывают у рыжих людей. Он уклонился от взгляда Елены, и глаза его забегали.

От солдат пахло кожей, капустой и водкой. Верю, что вам пришлось подкрепиться для такого дела. Не хотела бы я быть на их месте. Пахло здесь и еще чем-то: Елена не узнала острого запаха крови, ведь в операционных ее тотчас смывают. Вот и санитары в белых, забрызганных кровью резиновых халатах... Ага, на это резины хватает!

— Мне... мне дурно,— прошептала беременная Тоничка Северинова, та, что подала кусок хлеба русскому пленному. И пошатнулась.

«Может быть, для тебя было бы лучше потерять сознание»,— подумала Елена, но она не могла оставаться пассивной и крепко подхватила подругу под руку.

— Тебе ничего не сделают, пока не родится ребенок, они не имеют права, слышишь? Они только хотят припугнуть тебя, не поддавайся!

Елена не верила тому, что говорит, но это помогло Тоничке. А кроме того, помогло и самой Елене. Когда поддерживаешь слабого, уговариваешь его не бояться, хотя боишься сам, тебе становится легче, ты забываешь о собственной судьбе. В камере, когда пришли за Еленой, у нее все валилось из рук и подкашивались ноги, но потом она начала ободрять Мильчу. Так и сейчас она шла твердо, и сердце у нее не трепетало. Она видела «тетю Чистую», та держалась естественно, как всегда, видела седовласую «Орлеанскую деву», шагавшую, словно женщина-рыцарь. Елена посмотрела на величественную Анну — Анна не вешала головы, она отважно и насмешливо глядела на убийц, и от этого прибавилось мужества и у Елены.

Вся обстановка этого стрельбища времен Фридриха Великого, насыпи, и «кегельбан» (очевидно, крытые тиры), и тот факт, что

узницы сейчас станут живыми мишенями для множества вооруженных тупиц, у которых на форменных пряжках выгравирован девиз «С нами бог!» — все это было не только жестоко и гнусно, все это было, кроме того, невыразимо дико, нелепо, мучительно глупо. Столько чудес совершает современная наука, например в области хирургии, и неужели наряду с этим в двадцатом веке возможен вот такой дурацкий дворик?! (Елена даже про себя не называла его местом казни.) Мучить и убивать людей — как это несовременно! С этим варварством будет покончено, черт возьми, но мы его еще застали...

Тоничка Северинова держалась за Елену.

— Видишь эти ящики? — прошептала она.

— Не смотри туда,— сказала Елена спокойным тоном, каким разговаривала с пациентами.— Выше голову, гляди на небо!

После захода солнца западная сторона неба была красной, словно кровоточащая рана. Но вверху над головой уже прояснился серебристо-зеленый, ясный, глубокий и высокий, изумительно спокойный и прекрасный небосвод. По нему безмятежно плыли несколько легких золотисто-серых облачков.

— В какой стороне от нас Град? — тихо спросила «Орлеанская дева».

Пронзительный крик вдруг потряс воздух. Испугались даже ко всему привычные узницы дворца Печека, вздрогнули вооруженные солдаты. На середину замкнутого насыпями дворика, как на сцену, выбежала дикая темная фигура и, словно затравленный зверь, заметалась по кругу, визжа высоким, резким, нечеловеческим голосом. Это была цыганка. Когда ее привели во дворик, она почуяла запах крови, увидела солдат с винтовками, вдруг поняла все, прорвалась через цепь конвойных и кинулась бежать, обезумев от страха.

Но бежать было некуда — она была в ловушке. Несколько солдат, топоча сапогами, бросились вслед, схватили ее и потащили обратно в шеренгу, чтобы она ждала там, пока прокурор прочтет приговор и передаст его для исполнения офицеру эсэсовской команды. Цыганка упиралась, и ее, всю сжавшуюся, волокли по хрустящему песку.

Умирать тяжело даже за идею. Но идея придает смысл твоей смерти и вооружает тебя мужеством. Идея — это оружие и щит. А каково вот этому существу, целиком объятому животным страхом? Какое отношение могла иметь эта бедняга к одобрению покушения на Гейдриха, к заговору против Германской империи и к государственной измене? При чем же тут она? Наверно, понадобилась для круглого счета. На каждый день установлено определенное количество жертв.

Цыганка умолкла в руках конвойных и лишь громко и быстро дышала, поводя блестящими глазами. Она притихла, и все поняли, что она сдалась. Гестаповские офицеры с надменными, безразличными лицами докуривали сигареты и о чем-то совещались. Цыганка вдруг согнулась быстрым кошачьим движением, укусила за руку одного из конвойных, выскользнула из рук другого и снова, на этот раз молча, кинулась бежать, страшно дергаясь всем телом, чтобы удержать равновесие (руки у нее были связаны за спиной). Она вбежала прямо в группу эсэсовских офицеров. Один из них, не моргнув глазом, выхватил револьвер и, сделав недовольную мину, выстрелил цыганке в затылок. Звук был совсем негромкий, словно треснул расколотый орех. Цыганка неловко споткнулась, наклонилась как-то вбок и упала ничком, раскинув ноги. Елена невольно сделала движение, чтобы подбежать к ней и оказать первую помощь. Такова уж сила профессиональной привычки. Да что врач! Разве найдется в Праге человек, который не подбежал бы к упавшему пешеходу, чтобы помочь ему подняться? Елену удержали, а цыганку убрали люди в белых халатах. Так убирают вещь, не имеющую человеческого подобия, ее унесли вниз головой к тем длинным ящикам, что стояли за «кегельбаном».

Весь этот эпизод разыгрался так быстро, что бегство и вопли цыганки ошеломили женщин даже больше, чем ее смерть.

Прокурор, лысый, потеющий пожилой чиновник со свастикой на отвороте черного сюртука,— среди палачей в военной форме он был единственным штатским,— стал в углу двора, возле шеренги окруженных конвоем узниц и против стоящих «смирно» солдат команды исполнения, и «именем Германской империи» начал читать сперва по-немецки, а потом на скверном чешском языке фамилии приговоренных.

— Мы не признаем Германской империи! — прозвенел кристально твердый голос Анны.— Мы вас сюда не звали и не хотим вас слушать! Да здравствует Чехословацкая республика!

— Да здравствует Чехословакия! — раздалось из шеренги, и эти высокие женские голоса здесь, перед лицом вооруженных мужчин, прозвучали как ликование.

— Да здравствует Советский Союз!

— Да здравствует Красная Армия!

Ах, читатель, читатель! Теперь нам нетрудно провозглашать все это. Сегодня гестаповцы не ведут нас под пули, сегодня никто не заглушает наших возгласов дьявольским ревом моторов... О чем вдруг напомнили Елене эти моторы? А, это было давно, в Улах. Первого мая там вышел на трибуну молодой рабочий и стал говорить правду... но оркестр грянул что было мочи. По приказу эсэсовского офицера взревели моторы... Солдаты с ружьями подо-

шли совсем близко, этого Елена не ожидала. Но не все ли равно... Елена сорвала тряпку, которой кто-то пытался завязать ей глаза, и отбросила ее далеко в сторону — этим движением она словно освобождалась от всего окружающего. Она уже не видела идиотских фигурок времен Фридриха Великого, которые целятся в мишени и воображают себя солдатами... Елена подняла голову к ясному небу, где мерцала первая звезда. Перед глазами у нее вспыхнула молния, и Елена обрела сверкающий мир, где нет ни войн, ни казней. Она упала куда-то в пустоту, но чешская земля подхватила ее, и сознание Елены угасло.

ОНА ХОТЕЛА ЖИТЬ СТО ЛЕТ

Против своего обыкновения, Митя не остановился у садовой калитки и не позвал оттуда бабушку, как делал иной раз, когда ему было что-нибудь нужно. С решительным выражением лица, покрытого капельками пота, он подошел вплотную к Нелле, занятой шитьем.

— Бабушка,— спросил он таким настойчивым тоном, как будто Нелле предстояло быть судьей в неоконченном споре между ним и другими детьми,— в Чехии еще много других Скршиванеков?

Все это время сердце у Неллы было словно в тисках. Сейчас она почувствовала, что эти тиски способны причинить жестокую боль.

— Много,— ответила она тихо.— Зачем тебе это нужно знать, Митя?

— Значит, другая женщина тоже может быть Еленой Скршиванковой? — приставал Митя.— И тоже может быть доктором,— уговаривал он сам себя наставительным тоном, подслушанным у взрослых, когда те успокаивают детей.

Нелла отбросила шитье.

— Что случилось? Говори! — закричала она на мальчугана.

— Это вовсе не доказывает, что это моя мама,— договорил Митя голосом, свидетельствующим, что он не сдается.— Ребята сказали, что по радио...

Нелла вскочила. Перед глазами поплыли фиолетовые круги, они взлетали, подпрыгивали, сливались в какую-то мутную пелену... Было бы хорошо уступить этим кругам в пелене, отрешиться от мира и потерять сознание. Если бы хоть на миг она пожелала этого, она упала бы в обморок. Но она не хотела. Какая-то мысль, которая никак ей не давалась и превращалась в ужасающую боль, притягивала ее, как свинец, к земле. И из этих фиолетовых кру-

гов, из этой пелены, словно обрубок дерева с жалкими листочками из тумана, выступало некое повеленье, и Нелла ухватилась за него.

— Почему ты так стиснула мне руку? — где-то в отдалении пищал Митя.— Бабушка, это не правда? Скажи!..

«Ведь Еленку арестовали до введения осадного положения, его законы к ней не относятся»,— как безумная повторяла про себя Нелла заклинание, которым уже несколько дней заговаривала свою тоску и страх, сидя в отдаленной деревушке, куда почта только вечером приносит газеты со списками казненных. На ночь люди механически перебирали фамилии и после этого не могли заснуть. Если кто-нибудь проезжал по улице в ночной тишине, страх поднимал голову, и Нелла прислушивалась: за Митей едет гестапо! Сейчас она крепко держала внука за руку, чтобы он не потерялся, он был доверен ей, она должна была охранять его, не имела права падать в обморок. Вслух она твердила ребенку, точно помешанная:

— Это невозможно, ведь ее же арестовали перед осадным положением, Еленки оно не касается.

— Конечно, нет, конечно, нет, пани,— сочувственно поддакивала ей сестра Барборки.— Ну мало ли что болтают дети. Неизвестно еще, что он там слышал. Вы бы лучше шли играть,— с упреком обратилась она к Мите,— и не совались в дела, которые вас не касаются.

Митя выпрямился.

— Между прочим, очень касаются! Во-первых, это моя мама, во-вторых...

— Иди вымой руки,— сурово сказала Нелла, потащила мальчика в комнату и заперла за собой дверь.

Она цепенела от страха при мысли, что мальчик сболтнет что-нибудь лишнее и потом это разнесется по деревне. Сестра Барборки — порядочная женщина, хорошая чешка, но женщина, и притом болтливая. Чехи начинали бояться друг друга. Страну объял страх. Никто не знал, на кого падет жребий. Это было страшное время. Кто не жил тогда в Чехии, тот не представляет себе этого.

В первую минуту Нелла в ужасе готова была помчаться в деревню, чтобы где-нибудь обо всем расспросить, позвонить по телефону, поставить на ноги Прагу, но затем решила молчать, чтобы напрасно не привлекать внимания к себе и Мите, и подождать газет. Можете себе вообразить, каково было это ожидание!

Когда-то, давным-давно, в прежней жизни, в столовую деревянного дома, полного солнца, вошла красивая четырнадцатилетняя девочка. Она не остановилась в дверях, как иногда делали дети Гамзы. Нет, она подошла вплотную к Нелле, посмотрела на нее

Митиными глазами и произнесла: «Мама, иди наверх, бабушка умерла». Неужели дети у нас в семье всегда будут вестниками смерти? Нет, это неправда, невозможно! Нелла тогда тоже не поверила. То был удар грома среди ясного неба, ведь они только что вернулись после веселой прогулки с мамочкой, это была боль, глубокая боль, но такая цельная, хорошая боль, такая естественная скорбь. Дети растут и становятся взрослыми, родители старятся и умирают. Но сейчас... боже мой, сейчас! Дочь — раньше матери! Кого-нибудь другого, из тех, о ком рассказывали, могло, конечно, постигнуть такое немыслимое несчастье, прошлой осенью они очень часто случались. Но Еленка! Еленка — это моя Еленка, ее не касается осадное положение! Нелла, а как же Гамза? Тебе недостаточно даже его смерти, чтобы ты убедилась, на что способны нацисты? Гамза — это совсем другое, после Лейпцигского процесса, они мстили ему за Лейпцигский процесс, а Еленка? Моя молодая, веселая, красивая Еленка, полная жизни! Когда мы видели ее в последний раз у постели прабабушки (нет, не в последний раз, а перед самым арестом), она говорила, что хочет дожить до ста лет.

Под вечер, еще до прихода газет, без предупреждения приехал Станислав, бледный как смерть. Едва Нелла приметила знакомый серый костюм, увидела, что Станя идет вдоль забора к калитке, как поняла: это конец.

Станислав приготовился к тому, что застанет мать в ужасном состоянии. Он привез с собой успокоительные и тонизирующие средства, которые ему были известны от Еленки,— гистепс и корамин,— их удалось достать только по знакомству, потому что лекарств во время войны почти не было. Но мать вышла ему навстречу, заставив себя выпрямиться, зловеще спокойная. Она заглянула в лицо Стане, все поняла и медленно кивнула, глаза ее остановились на его сумке.

— Ты останешься здесь ночевать? — спросила она с неласковой деловитостью вместо приветствия.

Станислав подтвердил, что переночует. Он заторопился войти в дом, чтобы они могли без свидетелей упасть друг другу в объятия и выплакаться, чтобы поскорей миновала первая минута. Но мать загородила дорогу и не захотела впустить его в комнату.

— Прежде всего сообщи о своем приезде,— сказала она строго.— О каждом ночующем нужно заявлять немедленно. Иначе знаешь что получится?

— Нас всех бы расстреляли, да, бабушка? — добавил Митя приветливым детским голосом, не стесняясь слов, потому что не представлял себе, что кроется за ними.

Нелле вдруг пришла в голову ужасная мысль.

— А у тебя вообще-то есть с собой документы? — спросила она не помня себя.

Станислав только слабо улыбнулся.

— Без них я сюда не попал бы. На вокзале была одна проверка, в поезде проверяли дважды. Не могу ли я хоть раздеться, умыться?

— После,— неумолимо сказала Нелла.

Она превратилась в какого-то недоступного, злого человека — чужого, жестокого, энергичного.

Она взяла Станю под руку, как жандарм, который арестовал преступника, не как мать, ищущая у взрослого сына поддержки в горе, и повела его, запыленного с дороги, с сумкой и с пальто в руках, к сельской управе. Там уже было закрыто. Все равно! На квартиру к секретарю! А если его не будет дома, то и в трактир за ним. «Посмотрела бы я, как он не примет от тебя заявления, когда дело идет о жизни». В мирной Нелле как будто вдруг воскресла энергия покойной старой пани Витовой. Ведь она боролась за своего последнего ребенка! Она раздраженно застучала в двери заросшего зеленью домика, до которого довел ее Митя. Он знал всю деревню и дружил с сыном секретаря Франтиком.

Сперва секретарь до смерти перепугался, подумав, что за ним идет гестапо. Потом, поняв свою ошибку, поздоровался со Станей, просиял, встал из-за стола, охотно взял ключ от канцелярии, пригласил туда Неллу с сыном и тотчас заполнил бланк для прописки и поставил печать. Он нисколько не удивился, что они так спешат с пропиской, а когда Станя стал извиняться, что они вечером не дают ему покоя, он сказал:

— Вы прекрасно сделали! Ведь нынче все нарочно подстроено так, чтобы убить побольше чехов.

Они пошли домой, а Митя, по привычке, бежал немного впереди. Он проворно нагнулся, вытащил из-под калитки газету, которую туда засунула для бабушки соседка — продавщица из табачной лавочки, и побежал с листом в дальний конец сада, подальше от взрослых. Он не заглянул прежде всего на четвертую страницу, как делал всегда,— спорт сегодня вообще его не интересовал. Митя был не настолько мал и не настолько глуп, как, возможно, думали взрослые. Сегодня он искал в газете кое-что другое, прямо на первой странице.

Солнце зашло; но черный список был еще отчетливо виден в последних лучах. Вблизи на светлом небе вырисовывались темно-зеленые листья ореха. Митя был один в глухом уголке сада, среди затихающей равнины, как на берегу моря. Только глупые кузнечики что есть мочи стрекотали в цветущих лугах, как будто решительно ничего не случилось. Или они прятались в трещинах коры

на деревьях? Им-то было безразлично, правда?! Они стрекотали и стрекотали, словно точили тысячи крохотных кос, и на Митю в приступе горя напало яростное желание растоптать невидимых, кощунственно издевающихся над его горем кузнечиков. Он встал, отбросив страшную газету, и принялся, желая отомстить им, осматривать старый орех со всех сторон. Ветви слегка шевелились, как вытянутые руки с растопыренными пальцами, над головой Мити...

Ореховые ветки превратились в тяжелые застывшие лапы засыпанных снегом горных елей; и повсюду вокруг утомленной Неллы лежал голубоватый снег.

— Еленка была тогда немного постарше Мити,— ровным голосом рассказывала Нелла Станиславу, глядя через открытое окно в сад на внука в синих трусиках, на его темную мальчишескую голову под ореховым деревом,— она следила, чтобы он никуда не убежал, чтобы его никто не отнял.

А в памяти Неллы стояла девочка с умными, живыми глазами; щеки у нее разрумянились от мороза; на ней было непромокаемое пальто, на голове вязаная шапочка с веселым помпоном, как бубенчик; девочка поднимала Неллу руками в перчатках, помогая ей встать на ноги.

— Она не позволила мне уснуть, иначе я замерзла бы,— все тем же горестным, ровным голосом продолжала Нелла.— Это тогда, у Гавелской сторожки, помнишь? Когда началась метель и мы вас потеряли, Еленка вывела меня из лесу, одна я бы заблудилась. Ей не было даже двенадцати лет, а она спасла мне жизнь.

— Что же остается говорить мне! — воскликнул Станислав.— Я никогда не перестану стыдиться той истории со снотворным. Хотя сегодня было бы лучше, если бы меня уже не было.

Мать положила руку, дрожащую, как лист, на правую руку сына.

— Станя,— произнесла она голосом, который, казалось, кровоточил. Он кровоточил, но и свидетельствовал о том, что, несмотря на смертельный удар, Нелла живет, связанная со всем живым, что осталось у нее на земле.

— Нет, нет, я ничего. Прости. Мы доставили тебе немало огорчений, это правда, мама. Если бы ты знала, как мне тогда от нее попало за тебя!

Он видел Еленку в докторском халате, словно живую, слышал ее альт, ее смех, ее резкие замечания, и упреки, и шутки, которыми она поддерживала выздоравливающего самоубийцу, когда он пришел к ней попрощаться в такой же необыкновенный, чудесный июньский вечер, как и сейчас. Что и говорить, Еленка была всегда энергична и красноречива. Но именно ее необычный задушевный

тон звучал у него сейчас в ушах — она в конце концов сказала ему с упреком: «Станя, человек так чудесно создан... и было бы грешно его ломать...»

У Стани не хватило духу повторить матери слова, получившие теперь такой щемящий сердце смысл, и он закрыл руками лицо, немного напоминающее девичье.

Нелла говорила все так же ровно в белый сумрак, не спуская глаз с темной головки и синих трусиков под орехом:

— Папы уже нет, Еленки уже нет, и бог весть где кончит свои дни Тоник. Его мы тоже никогда не увидим. Горы у нас отняли... Гавелская сторожка оказалась в Германии, а Еленкины детские лыжи...— как раз при этом пустяке у Неллы дрогнул голос,— в прошлом году мы сожгли на рождество. Митя никогда уже не будет на них кататься. Он сам принес их нам; мальчику, вероятно, было трудно сделать это, но он хотел собственноручно расколоть их, чтобы они не достались немецким сборщикам. Еленка тогда им так гордилась.

— Митя — чудесный мальчик,— заметил Станя, желая утешить мать; но она не уступила.

— Я дрожу за него день и ночь,— сказала она Стане глухо,— это мучение. Я вообще не знаю, что сейчас делать. Оставаться здесь? Увезти его куда-нибудь еще? И ты,— она не хотела прямо сказать Стане, как она за него боится.— Ты в Праге тоже один.

— С Барборкой и с прабабушкой, не забудь,— проговорил Станя, печально улыбаясь, потому что хорошо ее понимал; а может быть, он вспомнил что-нибудь о старушках.— Представь себе, мама,— сказал он,— что еще прабабушке взбрело в голову. Что Барборка — это ты. Она называет ее «Неллинька» и спокойно позволяет ей все делать для себя.

— Станя, от этого с ума можно сойти! Девяностолетнюю вылечила, а сама... Красивая, молодая, способная... скольким людям могла еще помочь Еленка! Я знаю, что прабабушка даже ни разу не спросила о ней...— злобно добавила Нелла, не давая Стане вставить слово.— Ну что ж, главное — прабабушка у нас осталась,— произнесла она с едкой горечью, с той бессмысленной злобой, которая, когда Нелла была молодой женщиной, удивляла ее в матери, и стремительно встала.

Гневным движением она схватила свитерок для Мити, и они пошли за мальчиком в сад.

Они попробовали заговорить с ним, как всегда:

— Иди ужинать, Митя.

Митя уже не гонялся за невидимыми кузнечиками. Он лежал на животе под орехом, подперев подбородок руками, обратив лицо к темнеющим окрестностям. Митя выглядел странно, мальчик не

двигался, не насвистывал, не шумел. Он даже не оглянулся. Ответил, не поднимая головы:

— Я не хочу есть.

— Встань, Митенька, уже роса. Поздно, пора домой.

— Я лучше останусь здесь.

— Иди же,— подошел к нему Станислав,— и не мучь бабушку.

Он слегка прикоснулся к плечу Мити. Тот строптиво отстранился. Но вдруг по-мальчишески порывисто вскочил на ноги, чуть не задев Станислава по лицу.

— Дядя, не могу ли я поговорить с тобой с глазу на глаз?

— Пожалуйста,— ответил Станислав. И сердце у него замерло — что будет?

Они вместе ушли в комнату. Нелла задержалась в саду, среди приятной свежести, у благоухающих жасминов, под первыми звездами на зеленоватом небе; очарование июньского вечера вдвойне напоминало ей о загубленной молодости Елены и причиняло отчаянную боль.

— Почему ты сегодня приехал, дядя?

Митя стоял, расставив ноги, перед высоким дядей, заложив руки за спину, и рассматривал его, как следователь на допросе, при слабом свете лампочки.

— Да просто так, посмотреть на вас.— И Станислав слегка погладил мальчика по темной красивой голове, похожей на сестрину.

Митя ощетинился.

— Только не гладь! — крикнул он угрожающе.— Терпеть не могу, когда меня трогают. Что с мамой?

У Станислава не хватило духу сказать мальчику все напрямик.

— А что с ней может быть? — ответил он уклончиво.— Ведь ты знаешь, она в Панкраце.

— Так,— проговорил Митя. Глаза его горели, голос стал сиплым от возмущения и сдерживаемых слез.— Ну так вот, я спросил тебя, чтобы проверить. Смотрите, как вы лжете! — Он швырнул на стол газету, которую прятал за спиной, ударил по ней кулаком.— Но я отомщу за маму!

— Замолчи! Ради бога тише! — зашикал на него Станислав, потом подошел к окну, закрыл и завесил темной шторой.— Ведь разнесется по всей деревне.

— Тише, тише, тише,— съязвил Митя.— Я ничего другого от вас не слыхал с тех пор, как немцы пришли в Прагу... И вот, пожалуйста... результаты. Нет уже ни мамы, ни папы. Почему мы не остались в Горьком? — всхлипнул мальчик, и в памяти его возникло огромное белое нефтехранилище, а рядом с ним черный на

солнце силуэт часового с ружьем.— Почему мы не остались в Горьком, зачем мы сюда полезли...

— В России еще труднее. Там тоже немцы, и вдобавок идет война.

— Хорошо! Но русские, по крайней мере, борются. И победят,— проговорил Митя вызывающе.— Ты, может быть, думаешь, что они не победят? — напал он на дядю, хотя тот ничего подобного не утверждал.— Мама бы тебе показала! Такой мамы, какая была у меня, нет ни у одного мальчика. Но мы с папой отомстим,— договорил он уже тише,— не бойся.

— Послушай, Митя. Ты все-таки уже большой мальчик. Именно поэтому я хотел поговорить с тобой с глазу на глаз.

— Неправда, дядя, это я хотел говорить с тобой с глазу на глаз,— упрямо возразил Митя.

— Словом, хорошо, что мы поговорим друг с другом без бабушки, как мужчина с мужчиной. Ты должен ее беречь, Митя, быть ее защитником, а не прибавлять ей лишних забот. Ты же не хочешь, чтобы с ней тоже что-нибудь случилось?

— И с тобой, да? — улыбнулся Митя.

— Да,— просто ответил Станислав и этим совершенно обезоружил Митю.— Я так хотел бы дождаться свободы!

— Я тоже! Дядя, я тоже,— восторженно выдохнул Митя. Он подошел к Стане и, как песик, потерся мордочкой о его рукав.— Знаешь,— шепнул он,— мы с мальчиками учимся стрелять. Этого никто не знает. Но ты никому не говори.

Станя опять забеспокоился.

— Послушай, Митя, уж не прячешь ли ты где-нибудь оружие? Сейчас осадное положение. За хранение оружия осуждают на смерть.

Митя смутился.

— Духовое ружье,— признался он. Он подвел дядю к шкафу и показал.

— Больше ничего? Говори без утайки!

Митя преданно посмотрел Станиславу в глаза.

— Нет, честное слово.

— И вот что еще я хотел напомнить тебе, Митя. Как ты знаешь, Германия воюет с Соединенными Штатами, и не стоит говорить где-нибудь, что папа у тебя живет в Америке.

Митя искоса поглядел на дядю.

— В Америке? Да, правда, в Америке,— произнес он, точно проснувшись.— О папе я вообще не говорю,— сказал он отчужденно.— Я обещал маме. Знал бы ты, как я умею молчать.

— Правильно. Это первое условие: держать язык за зубами.

Митя опять как-то искоса взглянул на дядю, проглотил слюну и ничего не сказал.

Когда Станя уехал и Нелла с тяжелым сердцем возвращалась с вокзала, на шоссе ее догнал пожилой человек, сошедший с пражского поезда. Он шел тяжелым, размашистым шагом человека, целый день проводящего на ногах, слегка расставлял руки, как люди, привыкшие к физическому труду. У него было худое загорелое строгое лицо с энергичными складками около рта и ласковые печальные глаза; жесткие черные волосы с проседью были коротко подстрижены. В правой руке он нес полуоткрытую сумку, набитую инструментами. Постоянно настороженная, Нелла уже на станции заметила, что старый рабочий присматривается к ней. Ей показалось, что она где-то его видела.

— Я долго не мог вспомнить, кто вы такая,— сказал он,— но теперь знаю. Вы стучали на машинке у Гамзы в конторе. Верно?

Теперь Нелла всегда пугалась, если кто-нибудь произносил ее фамилию. Но в то же время радовалась, что люди вспоминают Гамзу. Она ответила с оттенком печальной гордости:

— Да, я жена Гамзы.

— Мы с ним проводили стачку на железной дороге в двадцать девятом году, помните?

— Это было так давно,— вздохнула Нелла.— Как сон! Конторы уже нет, мой муж...

— Золотой был человек,— заметил рабочий.— Вечная ему память. Ну, они выбирают лучших... В прошлом году осенью у меня расстреляли сына в Кобылисах...

Нелла удивленно посмотрела на него — как это он может произносить такие слова так спокойно — и слегка пошатнулась.

— А у меня дочь,— шепнула она.

— Мы о ней, о Еленке-то, знаем,— с нежностью проговорил старый рабочий, употребив множественное число, что удивило Неллу.— Это героиня!

Неллу очень тронули эти слова, невыносимые слова, и в то же время они ее раздражали.

— Ах, боже,— всхлипнула она,— лучше бы она жила!

— Моя жена говорит то же самое. Знаете, он был у нас один. Однако если бы все так думали, далеко бы мы не уехали.

— Вы верите, что это не напрасные жертвы? — горячо воскликнула Нелла.

— А как же иначе. Что было, того нет, чего нет, то будет. Иосиф не даст нас в обиду.

В эту минуту от канавы вернулся Митя, где он что-то рассматривал. Он взглянул снизу вверх на чужого человека, на его

кадык, который двигался на худой шее, потом опустил глаза и притронулся к выглядывающему из сумки инструменту.

— Французский ключ? — спросил он, как взрослый мужчина, специалист своего дела.

— Французский. Вот как ты здорово разбираешься. Это ваш? — мягко обратился рабочий к Нелле.— У вас хоть есть утешение.

ВЫ НЕ БОИТЕСЬ?

В воскресенье вечером, когда Станя возвращался от матери и от Мити в Прагу, битком набитый поезд не пропустили к Центральному вокзалу. У пассажиров еще раз проверили документы и высадили в Либени. На Центральном вокзале тяжело пыхтел другой поезд, торжественный, страшный. Люди с черепом на рукаве везли мертвого Гейдриха в Берлин. Он любил смерть и теперь был в ее власти. Из уст чехов не вырвалось ни одного вздоха сожаления. Люди говорили: «Помер уже? Давно пора!» Гнев угнетенного и истребляемого народа был страшен. Он сгущался над Прагой, как грозовая туча. И нацистская влюбленность в смерть вспыхивала с новой силой при виде мертвого шефа убийц, напряженная траурная атмосфера снова неистово требовала крови. Воздух был мертвенно неподвижен. Свинцовая духота кошмаром нависала над затемненной Прагой. Может быть, и в самом деле над двумя полюсами, заряженными положительно и отрицательно гневом, проскочила искра и разразилась гроза, какой уже давно не помнили жители Праги.

Станя только-только сошел с поезда в Либени, когда поднялся такой невиданный в нашем умеренном климате вихрь, что люди хватались друг за друга, чтобы устоять на ногах; горячая весенняя пыль столбами кружилась в порывах ветра, как огромная подвижная колоннада; блеснула, рассекая тучи, молния, башни и крыши затемненного города осветились голубоватым огнем, и грянул такой гром, будто небесный свод был из камня и вдруг обрушился.

— И небо-то на него гневается,— заметила Барборка по адресу Гейдриха. Всю жизнь она с наслаждением примечала подобные знамения. Барборка напомнила молодому Гамзе, который вернулся домой, мокрый до костей, непогоду пятнадцатого марта, когда немцы пришли в Прагу и Гитлер приехал в Град.

Барборка слышала от соседок множество волнующих новостей. Например, о Либени. Вы только подумайте, гестапо забрало там всех пятнадцатилетних девчонок. Спятили, что ли, фашисты? Арестовать детей! Ну какое дело этим девчуркам до покушения?

Матери хотели отправиться вместе с ними, так нет, не позволили. Подумайте, каково им было, когда увозили дочерей. Господи Иисусе, что им там сделают?

Однако девочкам ничего не сделали. Какой-то человек даже подбодрял их по-чешски. Но девочек заставляли делать странные вещи. В помещении гестапо у стены стоял велосипед. Пусть каждая проведет велосипед по комнате и опять поставит на место. Зачем это? Девочки отворачивались, робели, смеялись от смущения, им было стыдно, когда гестаповцы освещали их ярким светом и внимательно разглядывали, точно раздевали глазами. Некоторые из школьниц умели ездить на велосипеде, но этого от них не требовалось. Другие умели хотя бы обращаться с ним, научившись этому у отца или у брата. Но сейчас велосипед падал у них из рук. Были и такие, кому впервые в жизни пришлось прикоснуться к неустойчивой дребезжащей машине на резиновых шинах, и их охватывал ужас: а вдруг они уронят велосипед, разобьют его, что тогда? Как их накажет гестапо? Чех рассердился.

— Бегите вон туда, за ширму, если вы такие дуры и смущаетесь. Никто не будет на вас смотреть.

И он перевел велосипед туда.

Девочки одна за другой входили за ширму, как заходят у врача, чтобы раздеться, и водили велосипед. Вспыхнул еще более яркий свет, какой-то страшный глаз смотрел на девочек между створками ширмы, как дуло пушки, каждый раз что-то шумело, и школьницы догадались, что их снимают для кино.

Девочкам велели молчать и пригрозили, что за болтовню о том, где они были и что с ними происходило, им опять придется прийти сюда, и отпустили по домам. Но дети рассказали все родителям, матери по секрету сообщили соседкам, тетки — кумам, и новость моментально стала известна всем в Стршешовицах, в том числе и Барборке, которая, естественно, тоже не оставила ее при себе.

Велосипеды покушавшихся! На таком уехал один из участников покушения, и велосипед вместе с велосипедистом бесследно исчез. Другой спасся тоже. Но он бежал на своих двоих, бросив дамский велосипед, на котором приехал, у забора, неподалеку от рокового поворота. Ондржей Урбан, бывший рабочий Казмара, ныне солдат Чехословацкой бригады в Бузулуке, вероятно, был бы очень удивлен, увидав, что выставлено на Вацлавской площади в витрине стеклянного дома «Казмар — «Яфета» — Готовое платье». Там стоял дамский велосипед со старенькой предохранительной сеткой на заднем колесе; на велосипеде торчала кукла в светлом прорезиненном плаще, в плоской шапочке, с повязкой поперек лица — подобие неизвестного велосипедиста. В ногах лежали два портфеля. Кто их опознает? Кто недосчитался кое-каких предметов, забытых

на месте преступления? Кто бы мог более подробно сообщить о пятнадцатилетней девочке, которая увела по направлению к Людмилиному проспекту мужской велосипед одного из участников покушения, ушедшего пешком в сторону Тройского моста? Кто поможет разыскать неизвестных злоумышленников? Этот человек получит награду — десять миллионов крон. Деньги будут выплачены наличными.

— Хоть сто миллионов, а я бы ни за что на свете не донесла, если бы и знала,— объявила Барборка Стане.

Она тоже побывала на Вацлавской площади, как и вся Прага. Барборка стояла перед казмаровской витриной в молчаливом созерцании. Она разглядывала черные ободья велосипеда, красный руль и светлый плащ на манекене с таким же восхищением и интересом, с каким Станя рассматривал советское оружие на антисоветской выставке, куда приказали пойти всем служащим библиотеки. Нацисты были глупы и совсем не понимали чехов. Ну, само собой разумеется, жители Праги целый день толпились перед витриной на Вацлавской площади, с любопытством крестников Влтавы, вошедшим в поговорку. Точно они отродясь не видывали велосипедов, плащей и портфелей. Но никто не опознал эти вещи (моя хата с краю — ничего не знаю), никто не заявил, что они ему известны. Ни один человек из миллиона жителей Праги не захотел получить королевскую награду. Фантом в прорезиненном плаще и силуэт страшного велосипеда промелькнули навязчивой идеей во всех кино бывшей республики. Бесполезно. Напрасно полицейские ходили по квартирам и показывали снимки, им не повезло нигде. Неизвестные как сквозь землю провалились.

А тот, второй велосипед, что не успели захватить и руль которого был тогда липок от крови, иногда снился одной либеньской девушке, Индржишке Новаковой. Она кричала после этого во тьме ночи.

Когда-то давно, после измены Власты, Станислав бродил по Праге, сжигаемый любовью, и отводил глаза от театральных афиш, на которых его приводило в смятение имя актрисы. «Сумасшедший, чего я тогда боялся! Какой я был младенец!» Красные объявления с черными списками казненных еще издали кричат теперь на каждом углу. Станислав Гамза мог прочесть на них имя своей сестры. Оно исчезло, сменившись сотнями других. Еще влажные кровавые плакаты с черными столбцами имен расклеивались каждый день на рассвете. Скоро для них не хватит пражских стен. С газетных полос и из витрин — отовсюду смотрела на Станю узкая, украшенная крепом голова птицеящера, с дубовыми листьями из тевтонского доисторического леса на петлицах. Гейдрих умер. Тяжело раненный, перед смертью он лежал в Буловке. Приговоры

sondergericht'a[1] подписывали Франк и Далюге. Это же ясно! И тем не менее все, кто жил в Чехии в то невообразимое время, чувствовали, подобно Стане, что мертвый Гейдрих и в июне продолжает посылать на смерть милых сердцу людей. Он гипнотизировал Станю своими змеиными глазами. Действительно, не слишком вдохновляюще на каждом шагу встречать убийцу своей сестры в грохоте улиц, где громкоговоритель вопит, что *вермахт* наступает в России и побеждает в Африке. И все-таки Станя чувствовал себя на улицах в относительной безопасности. Капелькой воды плыл он в потоке неизвестных прохожих и терялся в толпе.

И в библиотеке все сошло хорошо. По-видимому, немецкие коллеги Стани не жаждали чешской крови. Когда он пришел на работу в первый раз после того, что случилось с Еленкой, одни, вероятно, из осторожности, стали сторониться молодого Гамзы, другие словно стеснялись. Входя в служебную раздевалку, он ощущал вокруг себя не враждебность, а скорее смущение. Но, вероятно, он все это выдумал; может быть, они даже не знали о Еленке. Немцы, естественно, не следили за именами казненных с таким болезненным интересом, как чехи. Впрочем, чешские и немецкие служащие почти не общались. Только Шварц, для которого Станя отказался написать статью о Праге в немецкий альманах, знал о казни Еленки наверняка.

В перерыве, когда большинство служащих ушло обедать, Шварц с первой попавшейся книгой в руках приблизился к письменному столу Стани.

— Коллега,— сказал он,— от души вам сочувствую. Я осуждаю то, что допускает часть моего народа. Поверьте, не все немцы таковы.

Это были опасные слова, и Станислав сделал вид, что не расслышал их. Он только печально улыбнулся.

«Не все таковы! Часть моего народа! А что ты делаешь против этого?» — горячо возразил Станя в душе. И вдруг ему пришло в голову: «А что сделал я сам? Во время осенней мобилизации я как солдат готовился встретить нацистов, это правда. Но с той поры, как нас распустили по домам, я палец о палец не ударил, чтобы не допустить всех этих чудовищных злодеяний, которые происходили у нас после капитуляции. Я мучился, вот и все. А сейчас только и жду, когда за мной придут, потому что я ношу фамилию Гамза».

Отца арестовали в суде, за Станиславом могут прийти в библиотеку. Могут арестовать где угодно. Он нигде не был в безопасности, даже в тихом Клементинуме, где все дышало историей. Но

---

[1] Чрезвычайного трибунала *(нем.)*.

в старинной библиотеке стояла тишина, оживленная присутствием спокойных людей, перед которыми нужно было сдерживать себя, и это хорошо действовало на Станю. На службе он не смел явно проявлять свою нервозность, как иносказательно называют страх, вынужден был подавлять ее усилием воли, и страх действительно отступал. Он прятался где-то в глубине души, как сторожевой пес на привязи. Ночью же, когда Станя спускал его с цепи, страх выскакивал, начинал выть и бегать. Станя уже знал это. Он боялся своего собственного страха больше, чем прихода гестапо.

Вот пока было необходимо сдерживаться перед кем-нибудь, Станя чувствовал себя хорошо. Но дома! Рядом с опечатанным кабинетом Еленки, где как будто еще звучали шаги гестаповцев; у невменяемой прабабушки, которая в самую ясную погоду твердила одно и то же: «Закрой ногу, дует»,— и однообразно, до тошноты то и дело рассказывала все ту же страшную небылицу о какой-то неизвестной женщине, которая по ночам высыпает пух из ее перины. Счастливая прабабушка! Она боялась только за свои перины! Страхи Стани были похуже. Запрет появляться вечером на улице слишком рано загонял Станю домой, в душную комнату, обезображенную затемненным окном, которое не разрешалось открывать по вечерам. Он жил словно в мрачном чулане, и ему мерещились всевозможные ужасы. Обе старухи ложились спать вместе с курами, и бесконечными ночами Станислав оставался одинодинешенек. С бьющимся сердцем прислушивался он ко всякому шороху, доносившемуся снаружи, и сох от тоски, ожидая, скоро ли за ним придут. Едва заслышав в отдалении автомобиль, он ждал, напрягая все нервы, не остановится ли машина где-нибудь поблизости, и если шум мотора смолкал, ноги Стани подкашивались, и он был готов отдать душу богу. Всякий звонок в передней пробегал дрожью у него по телу, словно смертоносный ток. Во время чрезвычайного положения никто не знал, когда пробьет его час. Тем более человек, носящий фамилию Гамза. Отец погиб, погибла сестра, и в библиотеку пришла неприметная девочка предупредить о маленьком Мите... а тогда еще не было чрезвычайного положения. Тем более сейчас. Видимо, все Гамзы обречены на смерть, как и другие семьи расстрелянных; этому уже никто не удивится. А он торчит тут, как привязанный к немощной прабабушке (больных старше шестидесяти лет было запрещено принимать в больницы протектората, переполненные солдатами), не может шевельнуться и ждет смерти, как ягненок на бойне. Иногда он даже желал, чтобы это случилось скорей. Пусть приходят, пусть возьмут и уничтожат, лишь бы только скорей все кончилось. Любимой женщины у него нет, писать он не в состоянии... да и о чем писать?

Если писать чистосердечно, то ведь его просто повесят. Жить было не для чего.

А потом оказывалось, что звонили не гестаповцы, а соседка из квартиры напротив, пришедшая за ключом от чердака, брюзглизый мужской голос принадлежал человеку, проверявшему газовый счетчик... и Станя каждый раз смущался и приходил в какое-то нелепо-веселое настроение. Он заходил к Барборке в кухню и заводил с ней разговор. Ведь она знала его вот таким, совсем крохотным.

— Барборка,— спрашивал он достаточно прозрачно,— ты тоже плохо спишь?

— Ну, какое там... сплю как убитая. Конечно, за день-то напляшешься. Мне ведь не двадцать лет.

— Тяжело тебе с прабабушкой, правда? С твоей стороны, Барборка, это большая жертва. Но нужно, чтобы мать с Митей еще пожили некоторое время в деревне.

Барборка отмахнулась — Станя может и не объяснять.

— Пускай себе остаются! Хозяйке повсюду бы мерещилась Еленка.— У Барборки чуть дрогнул голос.— А с бабкой я уж как-нибудь управлюсь,— закончила она твердо.— Ты мне только помогай по утрам. Главное — перевернуть ее. Но сейчас она не такая тяжелая, как раньше, от нее и половины не осталось. По правде сказать, Станя, я всегда ее ругала, да и как не ругать — старуха сущая ведьма, а сейчас словно блаженная, бедняжка, и речи у нее — как у малого ребенка. Только и слышишь: «Неллинька, Неллинька...» Никак не может сообразить, что это я.

— А тебя это не сердит?

— Ну вот еще. Пусть зовет хоть Корнелией, хоть Симфонией (Станя улыбнулся) — была бы ее душенька спокойна. Я уж который раз говорю себе: как хорошо, что нам бабку из Крчи вернули. Целый день только и дела, что на нее стирать — вот и не думается. Если бы только еды хватало.

Станя удивленно посмотрел на старую работницу. «Да, да, в этом все дело — *чтобы не думалось*». Барборка занималась повседневными домашними хлопотами, ей было не до страхов. Заботясь о других, она не думала о себе. Шуточное ли дело — жить в такой опасной семье. Ее могли забрать заодно с ними.

— Барборка, а ты не боишься у нас жить?

Барборка презрительно засмеялась.

— Чему быть, того не миновать,— ответила она.— Да кто станет ломать себе голову над этим. Все равно война скоро кончится.

Гитлеровцы наступают в России как шальные, захватили Крым, скоро падет Севастополь, это совершенно ясно, фон Паулюс рвется к сердцу Донбасса, Роммель побеждает в Ливии; океан от

Бенгальского залива до австралийского побережья во власти японцев, которые топят английские и американские военные корабли. А здесь эта неугомонная старуха в пражской кухне спокойно утверждает: скоро конец. Барборка, нам еще придется подождать! Лишь бы дожить до этого времени!

— Вот что здесь написано,— возразила Барборка и вытащила из сумки с карточками листок плохой бумаги. Она протянула его Стане. Фиолетовые буквы, отпечатанные на стеклографе, совсем расплылись.

«Кровавой власти убийцы Гитлера приходит конец...»

— Кто это тебе дал? — переполошился Станя.

— Да швейцар,— спокойно ответила Барборка.— Нашел в почтовом ящике. Пустяки.

— Это листовка, за нее полагается смерть,— воскликнул Станя вне себя,— нелегальная листовка... или провокация. Сжечь... ну, в два счета.

Он хотел бросить бумажку в огонь, но был не настолько ловок, чтобы быстро открыть дверцу плиты. Барборка выхватила у него из рук листовку.

— Сейчас... дай только прочту,— сказала она, с важным видом насаживая очки на нос и заправляя дужки за уши. Станя чувствовал себя как на иголках.— Я хотела прочесть как следует,— говорила Барборка,— да как раз чистила картошку. Думаю: вот только поставлю картошку. А тут бабке что-то понадобилось. Ну, я и забыла.

Она читала медленно, шевеля губами, отчаянно медленно. Станя думал, что он с ума сойдет. Но ему было стыдно прерывать старуху. Барборка дочитала листовку, бросила ее в плиту и захлопнула дверцу.

— Видишь, им скоро конец,— обернулась Барборка к Стане. Она взглянула на него и всплеснула руками.

— На кого ты похож! Краше в гроб кладут. Кости да кожа, и белый как полотно. Станя, видно, мне опять придется съездить в гости.

— Вот как! Выкинь из головы! Посмей только, Барборка! — рассердился он.— И денег у меня все равно нет ни гроша.

— Пустяки. Я тебе одолжу.

— Ни за что на свете!

Барборка один раз во время чрезвычайного положения уже ездила к знакомым за город. Она вернулась значительно толще, чем уехала. На живот она привязала себе свинину, за пазуху положила два комка масла, в подол зашила мак и соль. Возвратилась она сияющая, как после победоносного похода. Таинственно вызвав Станю от прабабушки, она с гордостью показала ему свои

трофеи. Но Станя вовсе не вдохновился ее отважным предприятием. Он не проявил никакой благодарности за хлопоты, наоборот, еще сердито выругался. Что за выдумка! Сейчас, во время чрезвычайного положения! Что, если бы она попалась! Стоит ли жертвовать жизнью за два кило свинины?

— А что, не поймали ведь! Ты только попробуй. Силы прибавится.

Барборка явно находила азартное удовольствие в занятиях контрабандой, ей нравилось дурачить нацистов. А у Стани от страха кусок становился поперек горла. Что, если придут с обыском и найдут мак?

— Не беспокойся, он у меня упрятан в надежном местечке. А если и найдут, так стянут и слова о нем не скажут. Они ищут парашютистов, а вовсе не мак.

Откуда взялась эта легенда, никто не знает. Но сейчас вся Прага потихоньку рассказывала, что на Гейдриха покушались парашютисты из Англии. Лучше бы они не делали этого, добавляли люди. Посмотрите, какие ужасы творятся вокруг.

Станислав, чтобы хоть ненадолго вырваться из гнетущей атмосферы, поехал купаться в Браник. Переменить, переменить место! Переключив свою внутреннюю тревогу на внешнее движение, ты успокаиваешься.

Цвели акации, Станины пражские акации; одуряющий запах стоял даже в затемненном трамвайном вагоне, окна которого были замазаны темно-синей краской, безобразной, как цвет бумаги, в которую завертывают головки сахара. К счастью, несколько оконных рам было опущено из-за жары. Станислав примостился у одного из окошек полупустого вагона и не спускал глаз с Влтавы. Ему пришлось надеть темные очки для защиты глаз от яркого солнца и медных его отблесков на лазурной глади реки; а на другом берегу на пологих холмах раскинулась Прага, прекрасная до слез; мимо Стани проплывали окрашенные в нежные тона каменные стены, позеленевшая бронза и черепица, омытая дождем, выгоревшая от солнца, закопченная сажей, овеянная вечерними туманами над градчанскими садами и парками.

Сорвем с Градчан грязную тряпку со свастикой, провозгласил Готвальд в Москве. И вот флаг у нацистов сполз до половины флагштока — в знак траура по Гейдриху. Трамвай миновал музей Смѐтаны над поющей водой у плотины, и Станя вспомнил, как Еленка с матерью ходили сюда утром по воскресеньям на лекции профессора Неедлы и возвращались после них празднично просветленные. Еленки уже нет, Неедлы — в Москве (он так обнадеживающе говорил на Всеславянском съезде), а эта верба у скамейки Новотного и по сей день расчесывает свои зеленые во-

лосы, слегка заслоняя вид на реку. «Какой это город,— в тысячный раз думал Станислав,— какой город! Эти продуманные пропорции! Это созвучие веков!» Романские стены, готические шпили, тонкие витые украшения в стиле барокко на куполах перекликались между собой в музыкальном аккорде точно так же, как скаты дворцовых крыш и кудрявые сады, поднимающиеся по склонам. В королевской Праге нет ничего ни потрясающего, ни ничтожного. Она возвышенна и человечна, она прекрасна, она очаровательна. Она как раз созвучна этому крутому, но невысокому холму, составляющему единое целое с Градом, с собором святого Вита и с этой глубоко задумавшейся мелодичной рекой. Своды моста перекинулись через Влтаву в ритме совершенных метрических стихов, святые шествуют над речной гладью; на берегу выступают прелестные старинные мельницы; продолговатые острова раскинулись по Влтаве, как плавучие букеты. Прага неизданных чешских новелл опять обращалась к Стане. «Ты — город городов,— говорил он себе.— Быть может, я погибну, как сестра, пусть только останется в живых и говорит по чешски этот город».

После того как Станя пересел у Национального театра, овеянного атмосферой, которую не удалось уничтожить даже в дни «гейдрихиады», тем непередаваемым чешским общественным духом, который непонятен ни одному иностранцу, атмосферой, созданной гением Сметаны, балладой о пожаре театра и легендой о том, как народ снова построил свой сгоревший театр; после того как Станя надышался благоуханием акаций и лип, доносящимся со Славянского острова, когда семнадцатый номер трамвая проехал мимо ограбленного памятника Палацкому (немцы сняли фигуру историка и хотели переплавить изваяния муз на пушки); после того как Станя миновал бывшее Подскали,— почувствовалось, что Влтава стала другой — более народной, более могучей, рекой рыбаков, рабочих с водокачек и холодильников, промышленной и спортивной Влтавой, охраняемой шпалерами тополей, деревом пивоваров.

Смихов и Злихов на другом берегу мощно дышали своими прокопченными и произвесткованными легкими. Заводские трубы стояли рядами, подобные гигантским органам, и играли они нацистам и для их войны... Как тут не чертыхаться? Дымы вились в свете солнца, как белая вата, как сизый бархат и опаловый шелк. Они поднимались из заводских труб, точно дыхание множества людей, как никому не понятные мысли. Станя, бог весть почему, вспомнил, как когда-то друг его юности Ондржей Урбан рассказывал ему, что со дна фабричной трубы даже днем на небе видны звезды. Удивительное дело, колдовство... «Трубы... звезды... крас-

ные звезды...» — безотчетно думал Станя. Вероятно, он даже задремал, разморенный солнцем,— результат бессонницы и страхов по ночам. Трамвай свернул ненадолго с набережной на неинтересные подольские улицы. Станя снял очки и, отвернувшись от окна, окинул взглядом вагон.

Огненные вопросительные знаки и красные точки заплясали у него перед глазами после яркого солнца. Наконец глаза приспособились к полумраку в вагоне, и Станислав заметил напротив себя приятное девичье лицо, остановившее его внимание; оно показалось ему знакомым. «Где же я ее видел? В какой-то тяжелый момент. Ага, в тот день, после ареста Елены. Эта девушка пришла в библиотеку предупредить, чтобы мы увезли Митю». Тогда она была в берете, натянутом на уши, и в потертом пальто неопределенного цвета. Сегодня, в ясный погожий день, который больше подходил для народного гулянья, чем для массовых казней, и девочка сбросила с себя невзрачную оболочку. У нее были густые кудри, она сидела с непокрытой головой, в узкой застиранной белой блузке, рядом с каким-то пожилым человеком. Это была скромная, но милая девушка, и Станя уже собирался поклониться ей. Но тут взглядом она дала ему понять, что они незнакомы. «Жива, на свободе, вот и хорошо!» Станя не стал здороваться, и они продолжали путь как незнакомые люди. В Бранике она вышла из вагона. Одновременно с ней встал с места и пожилой человек. Он был худой, небритый, глаза у него были сонные, будто он не выспался. Станислав посмотрел, как они вместе поднялись по браницким лестницам и исчезли в потоке прохожих. Трамвай привез Станю на «Млинек».

Когда-то, еще в дни Первой республики, молодой Карел Выкоукал ездил со стройной Руженой Урбановой, теперешней пани Хойзлеровой, в эти народные купальни, и ее тогда мучило, что «Млинек» недостаточно *светское* место.

Здесь было, как и прежде, полно народу. Крестники Влтавы любят воду и солнце, и даже чрезвычайное положение не мешает им.

Вода, вода, живая вода! Даже если ты не захочешь, она смоет твои черные мысли и обновит тебе душу. Ты ныряешь во Влтаву стариком, а выходишь из воды юношей; свои заботы ты оставил вместе с платьем на берегу; ты чувствуешь себя освеженным, твой организм возрождается, кровь кипит под гладкой кожей, тело, сильное и легкое, радостно подчиняется твоей воле, твоя душа светится то золотом, то серебром, сверкает лазурью и бирюзой, отражая игру солнца в воде. Лица у всех купальщиков принимают одинаковое глуповато-счастливое выражение. Все весело и беспечно улыбаются на солнышке. Взрослые мужчины на

«Млинеке» впадают в детство и резвятся и брызгаются, как мальчишки.

Но масса неподвижных тел, загорающих на песке и лежащих в разных позах, как убитые, была противна Стане. Нет, идти на купальные мостки ему не хотелось. Он нанял у перевоза лодочку, лег в ней навзничь и, лениво взмахивая веслами, чтобы его не снесло течением, стал вдыхать воздух Влтавы. Над рекой пахло солнцем, озоном, ультрафиолетовыми лучами; примешивался резкий запах смолы от лодки и дыхание жасмина и укропа из браницких садов. Ароматы плыли над рекой как напоминание о земле, особенно же сильно благоухала лесопилка. И как благоухала! Как вырубки в горах в жаркий полдень — древесными соками и смолой, эфирными маслами и скипидаром, здесь благоухала здоровьем сама земля, древесина, лесные воспоминания,— от браницкой лесопилки пахло Шумавой. Немцы рубили темные ели, юные лиственницы, мужественные буки в дремучих пограничных лесах, сплавляли лес по Влтаве, истоки которой они отрезали у нас и забрали себе. Душа горных деревьев жила на реке Сметаны. И лесопилка скрипела зубами, жаловалась, содрогалась, грозила. Збраславский берег откликался ей металлическим эхом откуда-то от злиховских фабрик, грохотом железной дороги, гудками локомотивов под баррандовской скалой.

В детстве у Стани была такая раскладная книжка, состоявшая из картонных страниц с наклеенными на них картинками. Она называлась «Наш транспорт». Право, точно так же, как в ней, по-детски детально выглядит баррандовский берег. Вот важный крошечный поезд, пыхтя, как трубка, с шумом мчится во весь опор по путям над рекой и пускает клубы дыма; над ним по извивающейся дороге несется автомобиль к киностудии; ярусом ниже железной дороги, у самой Влтавы, по Збраславскому шоссе бегут навстречу поезду тяжелые грузовики, и все трясется вокруг. А вот, клянусь честью, и влтавский пароходик, идущий прямо в Хухле, комический пароходик из идиллических загородных прогулок Стани с Властой. Он «бороздит воды», как говорится в морских романах. Вертятся колеса, вода брызжет под ударами плиц и пенится, сзади тянутся, расходясь в разные стороны, две длинные волны. Видно, как они бегут по гладкой поверхности. На «Млинеке» их уже поджидают купальщики. Лодочки и пловцы направляются к ним — покачаться.

Пароходик прошел, волны улеглись, люди возвращаются к берегу. Только вон там, над водой, виднеется одинокая женская голова... она похожа на зайца в своем платочке — на макушке торчат два кончика, точно уши. Не слишком ли понадеялась купальщица на свои силы? Не заплыла ли она чересчур далеко?

По-видимому, хотела отдохнуть на острове против «Млинека». Не перехватило ли у нее дыхание? Может быть, она уже захлебывается?

Взмахнув несколько раз веслами, Станя очутился около нее.

— Хватайтесь! — закричал он. Но он мог бы и не делать этого. Утопающий хватается за соломинку, не то что за лодку. Купальщица уцепилась обнаженными руками за борт и теперь спокойно отдыхала. Она слегка улыбалась, еле переводя дух. А Станя не мог опомниться от изумления. Так вот какая еще существует опасность, кроме гестапо, подумалось ему. Здоровый молодой человек может погибнуть даже и не от руки нацистов. Странное дело — убедившись в этом, он как-то воспрянул духом.

— Я ведь всегда плавала вполне прилично,— оправдывалась девушка в красном платочке с торчащими концами. Течение заносило ее ноги под лодку.— Но сегодня я немного устала, что ли.

— Отдохните,— любезно сказал Станя, который под влиянием воздуха и солнца стал как-то энергичнее.— Взбирайтесь вот сюда, я вас подвезу.— И он помог девушке влезть в лодку.

Девушка благополучно вскарабкалась, челнок покачнулся; вода лилась с нее ручьями как с русалки. Она уселась на носу лодки, скрестив стройные ноги, развязала намокший платочек. Встряхнув влажными кудрями, поправила их над лбом и улыбнулась чуть виновато. Станя только теперь разглядел ее как следует.

— Боже, это вы!

Сколько раз он вспоминал девочку, пришедшую однажды в библиотеку предупредить его, но девочка бесследно исчезла. А сегодня он встречает ее уже во второй раз. Как нарочно! Станя оглянулся по сторонам — они были одни на середине реки.

— Как я рад,— сказал он искренне.— Я, по крайней мере, хоть здесь смогу поблагодарить вас за то, что в тот раз вы...

— Не будем говорить об этом,— перебила она его поспешно.— Мы познакомились здесь, на «Млинеке», так?

— Понимаю,— ответил Станя.

Некоторое время он греб молча. Он не повез ее ни к острову, ни к купальным мосткам. Они ехали посередине реки, где никто не мог их подслушать. Лодочка плыла, весла шлепали по воде, и присутствие девушки завершало летний пейзаж над рекой. Это была не девочка-подросток, как когда-то показалось Стане в библиотеке, а молодая женщина; у нее были длинные тонкие ноги и высокая грудь под мокрым купальным костюмом, прилипшим к телу. Станя нахмурился и продолжал грести.

— Но мне бы хотелось спросить вас кое о чем,— сказал он.— Может быть, вы знаете что-нибудь о Еленке? О моей сестре,

которой уже нет в живых. Понимаете, что значило бы это для нас? Ведь мы даже не знаем, как это случилось, где ее арестовали, ничего. Все произошло совершенно внезапно.

Девушка слегка откинула голову, по ее глазам было видно, что она обдумывает и запоминает каждое произнесенное Станей слово. Видимо, у нее был навык в этом. Небольшие искрящиеся голубые глаза светились изнутри, не отражая света извне,— по крайней мере, так показалось Стане.

— К сожалению, я не знала вашей сестры,— ответила она искренне и вместе с тем сдержанно,— я не посвящена в эту историю. Я слышала только, что ее арестовали где-то на Виноградах у больного, который жил там в одной семье под чужим именем и тяжело заболел. Ему стало плохо, вызвали Еленку, Еленка прибежала.

— Я прямо вижу ее,— растроганно заметил Станя.

— Гестаповцы пришли за этим человеком, а заодно забрали с собой и Еленку. При исполнении обязанностей врача. Мне жаль,— добавила девушка от души,— что я не была знакома с ней. Все говорят, что она была таким чудесным человеком. Говорят, это была веселая и мужественная женщина, которую все любили. Ее называли солнышком.

Станя слушал молча и смотрел перед собой, опустив весла в воду вдоль лодки.

— Будьте так добры,— произнесла девушка с ласковой осторожностью, как будто она будила Станю от сна, и посмотрела так выразительно, словно собиралась просить прощения за то, что скажет сейчас.— Не повернете ли вы к мосткам? Подвезите немножко, а там уж я доплыву.

— Я больше ни о чем не стану вас спрашивать,— торопливо пообещал Станя.— Погодите еще немножко. Если бы вы знали, как я одинок в это страшное время.

— Одинок? — протянула девушка.— У нас ведь столько хороших людей.

— Но сейчас все боятся друг друга.— Станя наклонился к девушке.— Прошу вас, скажите мне правду: вы тоже испытываете такой ужас? Вероятно, стыдно, что я, мужчина, признаюсь в этом вам, но я сейчас испытываю животный страх,— произнес он тихо, с абсолютной, почти невозможной прямотой, свойственной детям Гамзы.— Каждый автомобиль... каждый звонок... Глотаю снотворное и не сплю. Это настоящий психоз.

Девичьи голубые глаза при этих словах стали печальны.

— Вот этого-то они и добиваются,— упрекнула она Станю и добавила просительно: — Не доставляйте же им этой радости.

Нужно бороться с этим в себе. Ведь не поддается же весь народ меланхолии. Иначе нацисты давно бы с нами разделались.

Станя пожал плечами, опустил руки на колени и уставился в пространство.

— Осторожно, весло! — воскликнула девушка.

Она пересела к Стане, засунула весло в уключину — и они стали грести вместе: она одним, Станя — другим. Они просто гладили воду.

— Как хорошо было бы...— вздохнул Станя.

Девушка испуганно посмотрела на него.

— Я сперва их тоже очень боялась, когда они пришли в Прагу,— принялась она утешать Станю.— Но еще больше они меня злили. От страха есть только одно лекарство: нужно делать что-нибудь против них.

— Сейчас, в такое время? Это было бы безумием.

— Почему? — спросила она тонким, серебристым голоском.— Они хватают как невинных людей, так и тех, кто почему-либо на подозрении. Так что же? — тряхнула она головой.— Если кое-кто и *провалится* (при этом неожиданном жаргонном словечке возникла какая-то сложная, неясная для Стани атмосфера, напоминающая о Еленке), так, по крайней мере, человек хоть будет знать, за что умирает...

Станя отрицательно замотал головой.

— Зачем уговаривать себя. У нас здесь нет сил бороться с ними.

— Неправда.

— Наоборот, мы им еще помогаем. Посмотрите вон туда, на Злихов, как он жужжит. Мы работаем на них изо всех сил.

Его слова, видимо, задели девушку. Она чуточку отодвинулась, и ее почти высохшие волосы точно ощетинились.

— Не беспокойтесь,— сказала она обиженно.— Чешские рабочие не очень-то надрываются на работе. А когда немецкий самолет потерпит аварию, потому что выскочил винтик, когда на русском фронте не взорвется бомба, сделанная на Шкодовке, когда у нас сойдет с рельсов поезд со снарядами, то все это не попадет в газеты. Вы в самом деле ничего не знаете о таких случаях? И не слыхали даже о том, что некоторые чехи хватаются за револьвер, когда к ним приходят гестаповцы? Извините, я разговариваю действительно с молодым Гамзой?

Станя покраснел до корней волос.

— Именно в этом все дело. Ведь я говорю вам об этом самом,— залепетал он.— У меня нет того мужества, которое было у отца и у сестры. Я в мать. У меня ее нервы. В этом отношении наша семья была расколота на две половины. Мы с Еленой

любили друг друга по-настоящему. Но она никогда ни во что меня не посвящала, зная, что я стал бы ее отговаривать и что от меня не будет проку. Да, да, она была совершенно права. Ведь мне стыдно перед отцом и Еленой, что я еще хожу по белу свету. А я когда-то покушался на самоубийство... из-за пустяков, сегодня я это сознаю... Но мне не удалось,— добавил он виновато.— И особенно странно то, что сейчас мне не хватает смелости даже на самоубийство.

Девушка всплеснула руками.

— Только этого недоставало! И это говорите вы. Такой здоровый, способный человек. Станя, вы нужны народу. Нас так мало. Каждого человека жаль. Вы извините, если я осмелюсь сказать вам кое-что? Вы слишком много носитесь с собой. Если бы вы получили задание, вам пришлось бы сосредоточиться на нем, чтобы выполнить его, и не осталось бы времени копаться в себе.

— Задание? Что еще за задание? Я живу не в Советском Союзе и не в Англии, чтобы стать солдатом, а что делать здесь? С тайным радиопередатчиком я обращаться не умею.

У Стани было какое-то неясное, обывательское представление, будто вся подпольная работа заключается в тайных радиопередачах.

— Будите надежду в людях,— тихо произнесла девушка.— Это сейчас так же необходимо, как воздух. В этом можно убедиться, глядя на вас.

Станислав вспомнил Барборку и нелегальную листовку. Ему показалось тогда, что она написана преувеличенно напыщенным стилем, судя по тому, что он успел в волнении прочесть, пробегая листовку глазами. А на Барборку листовка подействовала. Барборка ссылалась на нее. Да, листовка поддерживала веру Барборки в хороший конец и помогала ей жить.

— Не вечно будет осадное положение,— говорила девушка.— И нацисты не будут здесь вечно. Вспомните Гейдриха. С каким торжеством он приехал сюда в день святого Вацлава, а что от него осталось!

— Но это стоило крови! И сколько ее еще прольется!

— Но в конце концов эти сволочи полетят к черту. Всему приходит конец. Советы выиграют войну, после победы русских под Москвой это ведь понятно каждому ребенку, все будет хорошо и у нас. Вы должны были бы написать об этом. Я знаю, что вы можете прекрасно писать.

— Кто вам сказал?

Станислав зажмурился от солнца, уже низко опустившегося над водой.

— Гестапо, кто же еще,— рассердилась девушка.— Нет, серьезно, пока гестапо не взяло вас на заметку, вы бы пригодились... (От нее опять повеяло той самой таинственной атмосферой, которая одновременно и пугала и притягивала Станислава.)

Лицо у него несколько прояснилось при упоминании о том, что гестаповцы им еще не интересуются.

Голубые глаза это заметили, и серебристый голосок добавил будто невзначай:

— С мальчиком, я думаю, тогда была напрасная тревога. Ну что ж, за городом сейчас чудесно, пусть поживет там пока, чтобы не волноваться за него, а после отмены осадного положения вернется... Итак, мы знакомы по «Млинеку»,— весело добавила девушка на прощание.— В пятницу же в половине седьмого мы встретимся у скамейки Новотного. Я пока не стану морочить вам голову насчет рукописи. (Она заметила, что Станя облегченно вздохнул.) Тем временем я узнаю, что от вас потребуется, в пятницу мы все обсудим. А в случае чего я приду в библиотеку, чтобы вернуть книгу.

— Вы настоящий ангел. Вас ведь зовут Андела Пехова? Я запомнил ваше имя по абонементной карточке. Извините, а это ваше настоящее имя?

Девушка засмеялась.

— Об этом не спрашивают. Но меня зовут так по-настоящему. Мне не выбрали бы такой глупой клички. Да она и не нужна. Я не играю никакой роли. В общем, я самая обыкновенная ассистентка у зубного врача доктора Томека на Мысликовой улице. Если вам понадобится что-нибудь мне сообщить, у вас может ни с того ни с сего заболеть зуб. Я сама впускаю пациентов.

МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ

Вацлав вернулся с завода после дневной смены и сейчас вместе с Блаженой покрывал мебель лаком. Сколько им пришлось экономить и искать, пока они ее достали! Перед войной у них не хватало денег, а во время войны стало трудно купить все необходимое; одно горе с приданым, если вздумают пожениться вальцовщик и машинистка. Но все налаживается, раз в семье царит любовь. Мать Блажены освободила для молодых комнатку в шахтерском домике, который стоял на склоне, засаженном плодовыми садами, и из окон сквозь кудрявые кроны деревьев был такой чудесный вид на церковь святой Маркеты, где Вацлав и Блажена обвенчались третьего дня. Миртовый венок, еще свежий, висел на раме горняцкой иконы с изображенными на черном стекле святыми

в алых и лазоревых одеждах; с другой стороны Блажена засунула за икону вербу, освященную в вербное воскресенье, и нацепила на веточку уже увядший теперь венок, оставшийся после праздника тела господня. Она была набожна и любила наслаждаться красотой мира под открытым небом во время крестного хода с облаками ладана, колыхающимся балдахином, с цветочными лепестками, которые разбрасывают по дороге одетые в белое и розовое подружки невесты, с огоньками свечей, музыкой и колокольным звоном. Свадьба вышла прекрасная, несмотря на нынешние тяжелые времена, и старый священник Штембера (Блажена ходила к нему еще школьницей, когда учила катехизис), перед тем как соединить руки жениха и невесты и обменять кольца, произнес незабываемые слова о любви и верности.

Как блестят новенькие обручальные кольца на смуглой руке Блажены и на огромной руке силача вальцовщика, занятого сейчас такой смешной работой с кисточкой, намоченной в бледно-зеленом лаке. Это высокий парень, у него уверенные и точные движения человека, работающего на металлургическом заводе и привычного к обращению с огнем и металлом, он мог поднять Блажену на воздух, как перышко. Комнатка была для него тесновата, но зато какая это была миленькая комнатка! От розовых занавесок, которые Блажена окрасила краской «радуга», и светло-зеленой мебели комнатка тоже станет похожа на садик. Жаль только, что к розовым занавескам не подходят шторы для затемнения!

Был довольно душный вечер, в комнатке резко пахло скипидаром, олифой и новой материей (хотя Блажена вместе с матерью отбеливала покрывала в садике),— короче говоря, такой свежестью и новизной, как должно пахнуть у молодоженов. Они то целовались, то работали, и при этом Вацлав рассказывал кладненские новости.

— Так вот, мельник Горак с семьей и все Стршибрные сидят в тюрьме в Кладно, об этом сказала Пепику из нашей бригады жена одного надзирателя.

— Бедняги,— посочувствовала Блажена (она ведь их всех знала).— Сколько невинных людей! Скажи на милость, как может знать старый мельник, что делает его племянник в Англии! А что Пепик Горак вернулся и что он парашютист, так я вовсе этому не верю...

— А если даже и так,— сказал Вацлав,— то он не настолько глуп, чтобы ночевать у родственников и показываться в деревне, где он родился и где его все знают, это само собой понятно.

— Слава богу, что у нас уже был этот обыск,— с облегчением вздохнула Блажена.— Ну и праздник тела господня полу-

чился в этом году! Хорошо еще, что все это свалилось нам на голову до нашей свадьбы... Представь себе, если бы гестаповцы заявились третьего дня. И я скажу, что лучше бы парашютисты оставили этот подарочек при себе. Одна гадина не стоит стольких человеческих жизней.

— Ну, это совсем не плохо, что его уже нет,— ответил Вацлав.— Но парашютисты могли бы подождать и более подходящего времени — когда русские погонят немцев. И у нас тогда здесь было бы другое положение.

— А я все ломаю себе голову,— сказала Блажена,— кто же это мог донести в гестапо. Оба парня Горака исчезли еще в тридцать девятом году, и хоть бы кто словечком обмолвился, а тут вдруг...

— Денежки, голубушка, денежки,— процедил Вацлав, жестом показывая, как пересчитывают деньги.— Не забывай, что была назначена награда — и какая!

— Нет! — с досадой воскликнула Блажена и отбросила кисточку, которую держала в руках.— Из лидицких никто не мог. Совесть никому не позволит. Мы здесь всегда ладили...

— Например, католики и социал-демократы, а? — лукаво заметил Вацлав. Он выждал, когда Блажена на минутку перестала работать, и притянул к себе ее красивую темную голову.— Может, хватит? Политура как лед. К завтрашнему дню все подсохнет, и буфет у тебя заблестит, как зеркало.

— Я немножко еще проветрю — здесь пахнет, как у мебельщика.

Блажена потушила свет, подняла штору и открыла окно. Она сделала это осторожно, чтобы не повредить вишневую веточку, которая тянулась в комнату. Она отвела веточку, как волосы со лба любимого человека; веточка упруго согнулась, листья доверчиво зашелестели; поток ночной свежести, пропитанной запахом жасмина, укропа и роз, хлынул в комнату. Вацлав подошел к окну вслед за Блаженой, обнял ее за талию, и они оба высунулись наружу, где стояла тихая темная ночь.

— Сколько звезд!

Они говорили шепотом, чуть дыша, чтобы никого не разбудить. Час до полуночи стоит двух после полуночи,— говаривал отец Блажены, углекоп. У него завтра утренняя смена, мама встанет за сеном для коровы, бабушка, у которой болят суставы от ревматизма, чутко дремлет. Зато четырнадцатилетняя Вена спит как убитая. Через некоторое время глаза привыкли к мраку, теперь можно было различить не только искрящийся Млечный Путь, но и предметы на темной земле; воздушные округлые очертания деревьев, угловатые, плотные силуэты крыш, купол церкви,

туманный графитовый блеск пруда. Шахтерская деревушка спала, как в божьей ладони, под крылом холмов. Поблизости от промышленных городов — и все же укрытая от всего мира. О горнах металлургических заводов, о запахе угля, как в соседнем Кладно, нет и помина.

— Чувствуешь, как пахнет сеном?

— Здесь как в раю,— приглушенно произнес Вацлав. (Не часто мужчина скажет такое слово!)

Вацлав был родом из Буштеграда и жил здесь с молодой женой всего три дня. Рядом с ним дышала волшебным воздухом июньской ночи Блажена. Приятный холодок освежал ее юную голову, молодое мужское тело излучало жаркие токи в ночную тьму. В душе Блажены словно пробивалось множество юных, нежных, живых корешков, которыми, через любовь к Вацлаву, она еще только начинала врастать в прелесть мира, где существуют жасмины и розы в садиках, и жасмины звезд на небе, и таинственное бытие родной деревушки с ее яблоневыми ветвями, с человеческим трудом, с ее сердцем — церковью, с ее школой (когда-нибудь Блажена станет посылать туда своих детей, как две капли воды похожих на Вацлава,— ах, как крепко она будет любить их). Ей словно открывалась взаимосвязь всего сущего на земле, но выразить это она не умела, ощущала только, как душа ее ширится, как в ней поднимается что-то похожее на стихи или молитву без слов, прославляющую жизнь.

— Иди,— сказал Вацлав, бесшумно закрывая окно, и поднял ее, как перышко...

Счастливые молодые супруги крепко уснули и знать не знали, что делается на белом свете.

Сквозь сон Блажена услыхала яростный собачий лай под окном. Лаял Брок. Что творится с собакой? Лай не прекращался, и Вацлав встал, не зажигая света, пошел узнать, в чем дело. Тут отчаянно застучали в дверь. К бешеному лаю Брока присоединились громкие крики, на крыльце затопали; кто-то сапогом ударил в дверь, чья-то рука внезапно зажгла свет, и комната вдруг наполнилась солдатами. Блажена подняла голову с подушки, ничего не соображая; потом она сердито, с негодованием натянула одеяло на голову и отвернулась лицом к стене. Это ей только привиделось, это только страшный сон. Обыск ведь у нас уже давным-давно был.

Солдатские руки сдернули с Блажены одеяло. Она перепугалась и ужасно смутилась, оказавшись перед мужчинами в ночной рубашке цветочками, спрыгнула на пол, ухватилась за образок божьей матери, который она с детства носила на цепочке на шее, и накинула халат.

— Не волнуйся, Вацлав! — крикнула она мужу.

Молодой вальцовщик, увидав, как эти прохвосты обращаются с его женой, покраснел, на лбу у него надулась жила, он сжал кулаки и был готов уже броситься на солдата, сдернувшего одеяло с его Блаженки. Она ужаснулась, что Вацлав что-нибудь натворит, и тогда ему несдобровать.

— Ничего, ничего, не волнуйся! — крикнула она мужу, стараясь говорить спокойно и уже одним тоном голоса показать пришельцам, что она не боится и не знает за собой ничего дурного.— Сейчас все выяснится.

— Alles wird erklärt werden,— ехидно усмехнувшись, перевел солдатам человек с одутловатым лицом, одетый в штатское. Он расставил ноги, поднял брови и обратился к молодоженам по-чешски с отвратительным судетским акцентом:

— Вы, конечно, знаете, что случилось, в чем вы провинились?

— А что такое мы сделали?— спросил Вацлав.

В ответ солдат наградил его таким ударом приклада, что у вальцовщика посыпались искры из глаз.

Блажена со свистом втянула в себя воздух сквозь зубы и закрыла лицо руками.

— После узнаешь,— как-то странно ухмыльнулся штатский.— Собирайтесь и будьте готовы отбыть. Даю вам десять минут. Пойдете на допрос в местное *школьное здание*. Деньги, драгоценности *возьмите с собой*,— добавил он с напыщенной небрежностью,— мы здесь сторожить не собираемся. Где у вас сберегательные книжки?

А солдат уже рылся в ящиках.

— Где спрятано продовольствие?

В комнатке Блажены не было и сухой корки — Блажена готовила у матери.

И в душе она пожелала грубияну прилипнуть своим поганым мундиром к буфету, только что покрытому лаком.

Беря пальто из шкафа, стоявшего в простенке между окнами, Блажена заметила, что у соседей напротив горит свет и в открытое окно солдаты выкидывают белье на дорогу. «Грабят»,— подумала она, употребив именно это слово, и страх поколений, извечный страх чехов перед угрозой, нависшей со стороны Бранденбурга, охватил ее.

Их всех уже выводили из дому: Вацлава и Блажену, молодых возлюбленных, которые так недавно вместе любовались звездами, шахтера-отца и озабоченную мать, сестренку Вену, четырнадцатилетнюю девочку, стучавшую зубами от страха, и ревматическую бабушку, у которой отнялись ноги. Но она должна была идти со всеми. Солдаты посадили ее на стул и вынесли из дому. Когда эта

удивительная процессия переступила порог, Брок как-то непривычно завыл, захлебнулся ужасным лаем и прыгнул прямо в лицо одному из солдат. Раздался короткий выстрел; женщины вскрикнули; лапы у пса обмякли, он сполз набок, и его громкий, сердитый бас сменился жалобным, прерывистым визгом, который ослабевал, по мере того как все удалялись от родного домика, и, наконец, смолк.

— Брочек,— заплакала Венинка.— Мой золотой Брочек!

Взбудораженных людей, как скот на продажу, погнали на площадь. Полуодетые, оглушенные ударами в дверь, накинув на себя что попало, люди шли, ничего не понимая спросонок, и все еще словно не верили, словно их еще не преследовали кошмары. В призрачном свете начинающегося утра они с грустью узнавали друг друга, соседка украдкой кивала соседке. Дети вслух сообщали: «Мамочка, Франтик тоже здесь». Мужчины мрачно молчали. Молодые и старые, взрослые и дети, матери с новорожденными младенцами на руках, прихрамывающие старухи и беззубые старики были собраны здесь со всей деревни, вместе со старостой и священником,— немцы никого не забыли, в домах не осталось ни единой живой души. Только те, кто работал на металлургическом заводе в ночной смене, пока еще не вернулись.

— Женщины и дети — в школу! Мужчины останутся здесь!

Этого Блажена страшно испугалась. «Как так? Мы пойдем на допрос не вместе? Ведь Вацлаву сказали...» Она обхватила его шею обеими руками: «Я без тебя не пойду». Но солдат снова пригрозил прикладом. Солдаты, будто в них вселился дьявол, кидались в толпу, отрывали близких друг от друга, разлучали семьи. Собаки подняли лай, коровы мычали, перепуганная домашняя птица с диким клохтаньем носилась в воздухе. Это было что-то ужасное! Впрочем, все быстро кончилось, и беззащитные женщины с детьми остались одни во власти солдат.

У двери в школу стоял солдат с чемоданом. Когда женщины входили, он отбирал у них драгоценности. Он не вел никаких записей. Женщины не получали на руки ничего.

Драгоценности бедняков! Семейные сувениры и памятки о путешествиях, красочная хроника, отмечающая праздники, когда жизнь переливается всеми красками, свадьбы и крестины. Человек не любит расставаться даже с кронами, заработанными тяжким трудом. Но в конце концов все монеты одинаковы, они побывали в стольких равнодушных руках; придет время, когда эти жалкие протекторатные деньги ничего не будут стоить. Зато драгоценности! У каждой есть своя индивидуальность, как у людей. Голубоглазый перстенек любовно смотрит ласковым взглядом милого; у круглой старинной брошки облик покойной тетки, которая

в сочельник закалывала ею воротничок под подбородком; гремящие розовые кораллы, которые так удивительно пахнут чужими странами, рассказывают о дядюшке — пароходном коке, много раз объехавшем вокруг света. Вот эту черную божью матерь ченстоховскую когда-то привез маленькой Блаженке отец после съезда шахтеров в Польше. Мать повесила девочке на шею медальончик на цепочке, чтобы чудотворная божья матерь хранила дочку от всякого зла. Теперь эсэсовец сорвал у Блажены еще хранящую теплоту тела цепочку, бросил в чемодан, снял с пальца обручальное кольцо. Даже кольцо отнял он у Блажены! Было так тяжко расставаться с колечком, полученным от Вацлава. Такое новенькое, такое дорогое сердцу, без пятнышка, такое любимое. На внутренней стороне кольца была выгравирована дата: «7 июня 1942 г.». Блажена носила кольцо ровно три дня. Оно ударилось о дешевенькие сувениры — сокровища деревенских женщин — и зазвенело полновесным золотом.

Да что тут говорить о женщинах — отобрали драгоценности и у детей. Вена Малекова получила от крестного в день первого причастия старинные серебряные часы-луковицу... подавай их сюда! Но и это еще не все. Поверите ли, солдаты не стыдились брать крохотные крестильные сережки у несмышленых девчушек, которые не умели еще ходить! Сережки были как блошки; матери сами сразу же отстегивали их, чтобы поганая рука не коснулась ребенка, чтобы не разорвала, упаси боже, ушка. Но руки матерей, огрубевшие от работы, тряслись, и дело шло недостаточно быстро; маленькие дети раскричались. Школа, где раньше пели школьники, сотрясалась от плача. Что скажут отцы, если услышат детский плач? Где наши мужчины? Что с ними?

Господи, какая это была ночь! Никто не мог уснуть от возбуждения. И даже бессловесная скотина волновалась. Гоготанье гусей и жалобное мычанье коров оглашали воздух.

Светает, скоро утро. Кто накормит Пеструху, кто подстелет ей свежей соломы? Корова привыкла к чистоте, словно барышня. Под окнами школы расхаживают часовые. Скоро ли? Прошла целая вечность! Все знают, что такой допрос — тяжелая вещь, и у тех, кто припрятывал кур для продажи из-под полы и утаивал муку, душа уходит в пятки. Но когда-нибудь должно же выясниться это чудовищное недоразумение! Уже светало, начинался день. Дети могли бы остаться прямо в школе.

— Будут ли сегодня уроки...

— Конечно, нет. Ведь у детей глаза слипаются...

— Посмотрите-ка на него, уснул, бедненький...

— Ну и детство у этих ребятишек! В их годы мы озоровали,

— А я больше всего рада тому, что мои сейчас при мне, как бы там ни было, поверьте. Оставить их одних — да я от страха высохну.

— Постойте! Едут!

Несколько грузовиков с непромокаемым брезентовым верхом и желтыми слюдяными окошечками остановилось перед школой.

— Auf! Auf! — заревел эсэсовец.— Los! Los! Марш!

Женщин погнали из школы вниз по лестнице, и не успела Блажена опомниться, как сидела под брезентовым верхом в военной машине. Допроса так и не было. У лестницы валялись детские колясочки. Бабушку еле посадили в машину — сама она не могла в нее влезть. В грузовик вскочили эсэсовцы, и он тронулся, провожаемый, словно проклятиями, отчаянным собачьим воем.

Отъезд переполошил всех лидицких собак, которые всеми силами старались защитить своих хозяев, увозимых неведомо куда. В собак стали стрелять солдаты,— в аду не могло быть хуже. Вена вспомнила Брока, ее худое детское тельце содрогалось от рыданий, она тряслась как в лихорадке. Блажена с матерью дергала брезент, желая видеть, что делается снаружи, звала на помощь, женщины кричали вместе с ними. Пока все находились в старой школе, куда они ходили в молодости, куда посылали детей, пока они были в хорошо известной и близкой им обстановке и пока они чувствовали под ногами родную почву, у них еще кое-как хватало сил сдерживаться и сохранять спокойствие. А теперь... грузовик увозил их, кого они дозовутся? Услышат ли их мужья? Узнают ли они, что их жен и детей увозят? Где, где вы? Отогнув уголок брезента, женщины заметили на площади две гигантские бочки... что же это может быть? Для чего их здесь поставили? Может быть, солдаты собираются пьянствовать, но на пиво что-то не похоже. Господи боже, а зачем выставлена мебель? Господи помилуй, да это колясочка нашей Руженки, вот эта, белая, конечно, она. Гронековой показалось, что она узнала свою новую швейную машину «Зингер». Грузовик мчался по деревне в сторону Буштеграда, и всюду, во всех домах возились солдаты и выбрасывали, как мешки с мякиной, перины и одежду. Точно с вещами у людей не связывались живые воспоминания, целые семейные истории. Прелестная, милая, чистенькая деревня стала неузнаваема, превратилась в разбойничье становище. Ни одного знакомого лица! Чужие погонщики гнали мычащий скот за пригорок. Коровы кидались с перепугу куда попало, гуси гоготали под мышками у грабителей. Какие-то парни в мундирах и касках тащили со двора Гораков в сад соломенные маты, с того самого злополучного двора, где все началось еще в праздник тела господня. Блажена вдруг стремительно отдернула руку матери, которая вместе с ней придерживала

брезент, и изо всех сил стала оттягивать толстую материю, пытаясь высунуть голову наружу.

— Вацлав! — закричала Блажена.— Папочка! Нас увозят. Слышите!

Все женщины присоединились к ней, и каждая принялась звать своего.

Да, они стояли там, во дворе Гораков, у сарая, лицом к стене, под охраной солдат с автоматами. Но никто из мужчин не отозвался, не оглянулся — грузовик пронесся мимо.

Вацлав это был или нет? Третий от края, высокий, стройный, с кудрявой головой. Он, он! Но Блажена не была в этом уверена. Не успела она рассмотреть этих двенадцать — или сколько их там было человек, как машина уже промчалась мимо. И эта схваченная на лету картина была жутко неподвижна и нема. Конечно, если бы кто-нибудь из стоявших у стены шевельнулся, солдаты всадили бы ему пулю в затылок. Возможно, никто из них даже и не слыхал, как мы кричали под брезентовым верхом.

Блажена еще долго ломала себе голову над этим, сидя на соломе в помещении спортзала кладненского общества «Сокол» и глядя в непривычно высокое окно, по которому снаружи струился безутешный дождь. Всех мучила жажда и голод — мутная баланда, которую бог знает как давно ро́здали в омерзительных мисках надзирательницы, не насытила ни взрослых, ни детей. Хорошо еще, что мать Блажены в последнюю минуту захватила с собой початый каравай хлеба. У кормящих матерей от волнения пропало молоко, и грудные дети, будя друг друга, отчаянно кричали в грязных пеленках. Постирать пеленки было негде, негде было выкупать детей, негде умыться. Женщины в смертельном ужасе обливались потом, одежда прилипала к телу; ощущение грязи, голод и сонливость угнетающе действовали на арестованных, в душном помещении трудно было думать. Но никто ни о чем не спрашивал. Допроса так и не было. Женщин то и дело пересчитывали и переписывали вместе с детьми.

Уже второй день их держали взаперти в полном неведении. Блажена с матерью сидели в Кладно, в получасе езды от родной деревни, но не имели понятия, что с ней произошло. Блажена все еще не знала, что содержали в себе две огромные бочки, поставленные немцами на площади, какую жидкость из них выцедили и разнесли по домам, притащили и в милую комнатку Блажены, где она вместе с Вацлавом третьего дня вечером покрывала мебель светло-зеленым лаком. Никто не сказал Блажене, зачем люди в касках перетаскивали соломенные маты в сад со двора Гораков. Никто не объяснил ей, что соломенные маты, прислоненные к стене,

необыкновенно удобны. Пули застревают в соломе и не отскакивают от стены обратно в стрелка.

Блажена узнала все, но не сразу. Все требует времени. Все требует времени, а пока Блажена молилась в душе, чтобы бог как можно скорей благополучно вернул ее домой, к отцу и Вацлаву,— молилась, не подозревая, что Лидице, притулившиеся в долине, как в божьей ладони, вознеслись к небу и на огненных крыльях облетели весь мир, оцепеневший от ужаса.

— Мамочка,— говорит Веноушек Суходолец медленно, рассудительным тоном первоклассника,— пойдем-ка домой, тут нечего делать. Тут очень противно.

Соседки добродушно улыбнулись, хотя им было не до смеха. Устами младенца и юродивых глаголет истина, честное слово.

К вечеру под окнами затопало, загремело, забренчало, и в зал ввалилось не меньше шести десятков вооруженных эсэсовцев. На головах у них были стальные каски, на петлицах «молнии», в руках автоматы. Женщины вытаращили глаза. Дети разинули рты и замолчали. Солдаты гигантского роста промаршировали по залу и построились вдоль стен вокруг женщин, сидящих на соломе с детьми. Один из эсэсовцев выступил вперед и обратился к узницам с краткой повелительной речью:

— Вы хорошо знаете, что совершили преступление против Германии. (Все та же старая песня!) Мы отвезем вас в рабочий лагерь. Придется долго ехать в поезде. Дети могут устать от такой поездки. Мы посадим их в автомашины, и они будут ожидать вас в лагере.

— А это правда? — в отчаянии закричал высокий женский голос.

— Честное слово,— сказал начальник и даже бровью не повел.— Mein Ehrenwort. Для детей так будет лучше. Те, кого я сейчас назову, пусть приготовятся и выйдут вперед.

Он взял список, и на руке у него блеснул перстень, украшенный черепом; глядя из-под стальной каски, надвинутой на брови, эсэсовец начал горестную перекличку:

— Брейха Иозеф...

Пепичек Брейха! Его отец работал с Вацлавом на заводе «Польдинка». Чудесный пятилетний, подстриженный в скобочку мальчуган с глазенками, как вишни, единственный сын. Брейхова так его берегла!

Он сжал кулачки и закричал:

— Никуда я не пойду! Не хочу!

И мальчик, заливаясь слезами, кинулся к матери и спрятал голову у нее в коленях. Он плакал так, что, глядя на него, заплакали и остальные дети. Матери уговаривали их, боясь, что рассер-

женные солдаты обидят детишек. При виде этих верзил рядом с такими малышами становилось жутко. Марженка Гулакова отчаянно кричала на весь зал:

— Какая же ты мама, если меня отдаешь!

— И как только бог все это терпит! — крестилась бабушка Блажены.

Здесь сидели матери и жены шахтеров и металлургов, жены людей, которые из поколения в поколение боролись со стихиями — с огнем, землей и металлом. Эти женщины помнили катастрофы в шахтах, помнили локауты и забастовки. Эти женщины не отличались словоохотливостью. Деревенский образ жизни в глухом приходе приучил их к крестьянскому спокойствию, а религия научила покорно нести свой крест. Ах, боже, боже мой, ведь и семью Блажены ожидала та же душераздирающая минута прощания. В горле стоял ком, пока они ждали, когда дойдет очередь до Вены, и они переживали снова и снова вместе с каждой матерью, отдающей своего ребенка, боль расставания. Ведь они знали всех детей с пеленок, видели, как они копошатся в пыли вместе с лидицкими цыплятами; трудно сказать, кого они больше жалели: малышей, которые еще ничего, бедняжки, не понимали, или школьников, которые уже во всем хорошо разбираются. Плохо будет Вене — она соединяет в себе чувствительность ребенка с разумом взрослого человека, для нее разлука тяжелей, чем для других.

— Фрюхауфова Венцеслава...

Вышла девочка-подросток, худенькая, хорошенькая, глаза у нее сверкали, как черные алмазы. Длинные ресницы были черны, как уголь, который добывал ее отец. У многих детей из шахтерской деревни были такие необыкновенно темные глаза и смуглые лица, точно закопченные пламенем плавильных печей и домен.

— Вена уже большая,— зашептала мать.— Она выдержит дорогу в поезде, пусть ее оставят с нами. Скажи ему об этом.

Блажена повторила слова матери по-немецки. Эсэсовец холодно взглянул на нее.

— Только с шестнадцати лет,— сказал он.— Следующий.

И мать подошла к Вене и сунула ей ломтик лидицкого хлеба на дорогу. Хорошо, что она захватила его позавчера ночью, несмотря на суматоху. Она делилась хлебом с соседками, и у нее ничего не осталось. Это был последний кусочек.

— Не падай духом, Венушка,— сказала мать, стараясь казаться спокойной, чтобы не волновать ребенка.— Мы скоро приедем.

К удивлению, Вена не заплакала. На худом нежном личике играл каждый мускул, но девочка не хотела причинять горе матери.

— Я буду смотреть за маленькими,— вздохнула она не без гордости.— Прощай, мамочка.

И вдруг по-детски стремительно она подскочила к бабушке, обняла ее за шею и прошептала на ухо:

— Как ты думаешь, быть может, Брочек только ранен и останется жив, а?

— Ну, конечно, золотая моя девочка,— ответила бабушка.

Дети под конвоем солдат длинной вереницей вышли из школы.

БУНТ АННЫ УРБАНОВОЙ

— Какая-то женщина с кошелкой хочет вас видеть, пани,— невнятно сказала Ружене Хойзлеровой новая горничная. Голос у горничной был хриплый, словно она только что плакала.

«Наверно, Курт прислал свинину»,— решила Ро, вышла в переднюю и смутилась. Там стояла мать.

«Зачем она тут? — подумала раздраженная таким непорядком Ро.— Ведь я вчера посылала шофера отвезти ей муку. Чего же ей еще нужно?»

Анна Урбанова, привратница в доме на Жижкове, никогда не приходила к дочери без приглашения. Так уж было заведено. У Руженки много светских обязанностей, в доме всегда полно гостей. Анна сама чувствовала, что ей не место в этом шикарном особняке. Приглашения были редки, но тем значительнее был каждый визит для Анны. Собираясь в гости к дочери, она надевала праздничное черное платье с вышивкой на воротнике и брошь с уральским сердоликом, которую ей привез из России муж-легионер. На святую Анну будет вот уже двадцать два года, как он лежит на Маречковом кладбище близ Льготки.

Но что за вид был у матери сегодня! Простоволосая, запыхавшаяся, бог весть во что одетая,— видно, натянула первое, что попалось под руку! В таком виде она не появлялась даже у себя в доме, когда разносила по квартирам продовольственные карточки. Ро быстро втащила мать к себе в комнату и осторожно прикрыла дверь.

— В чем дело, мама? Постойте-ка, у вас тут висят *лохмы,* — она заправила ей за ухо прядь седых волос.— Что случилось, почему вы пришли? Какая-нибудь неприятность?

— Ты еще спрашиваешь? — всхлипнула Анна Урбанова.— Ты слышала радио?

Она села на стул и горько заплакала. Ей пришлось так долго сдерживаться, пока она ехала в трамвае с Жижкова на Бубенеч, и теперь слезы прорвались со всей силой.

— Целую деревню!..— причитала она.— Целую деревню сгубили. Всех мужчин перестреляли, все дома пожгли. Деревню сровняли с землей. И название-то надо забыть...— Анна вдруг подняла лицо, оно было искажено от гнева.— Да еще хвалятся этим!

Ружена сидела как на иголках.

— Не поднимайте здесь шума из-за этого, мама,— прошипела она.— Знаете, чем это нынче может кончиться? У вас там были знакомые, что ли?

Анна Урбанова слабо покачала головой. Нет, не было. Обессилев от слез, она с горестным удивлением глядела на красавицу дочь, которой всегда так гордилась.

— Люди там были, Руженка, люди! Всех мужчин постреляли, у матерей детишек отняли, женщин угнали в неволю...

— Да меня-то вы за что упрекаете! — рассердилась Ро, хотя Анна не произнесла ни слова упрека, только жаловалась.— Зачем вы пришли ко мне с этими разговорами? Я тут при чем? Вы думаете, убить германского протектора — это пустяки? Что бы сталось с Германией, если бы она спускала такие штуки? А тем более во время войны. А эти люди — где у них голова? Выдали бы убийц — и никто бы их не тронул. Предупреждал же министр Моравец...

— А кто ему верит, иуде? — неожиданно отрезала Анна Урбанова.— Что ты говоришь-то, дочка! Ослепла ты, что ли, не видишь, что творится кругом, где настоящие убийцы? Я вот старая глупая баба, в жизни не интересовалась политикой, ты меня знаешь, я со всеми старалась ладить... Но это... это неслыханное злодейство!..

Ро встала, нахмурясь.

— Вам что-нибудь надо, мама? — свысока спросила она.— Мне некогда.

Мать не пошевелилась. Она сидела и, словно остолбенев, глядела на дочь. И это ее Руженка! Руженка, которую она водила за ручку и учила говорить. Руженка, которой она гордилась, потому что та стала важной дамой.

Анна провела рукой по лбу, на глазах ее стояли слезы.

— Подумать только! — сказала она.— А ведь ты была совсем не злая девочка. Только так, похвальбушка. Откуда все это у тебя, Ружена? Что с тобой сделали? С тех пор как ты досталась этой сволочи Выкоукалу...

Ружена передернула плечами и криво усмехнулась.

На этот счет она была довольно обидчива.

— Вы еще начните от сотворения мира, мамаша,— произнесла она с презрительной улыбкой.

Мать искоса, чуть опасливо оглядела ее. Она плохо поняла, что сказала дочь, и чувствовала только насмешку над тем, что так потрясло ее. Встав, она несмело подошла к Ружене. Анне все еще

казалось, что девчонка не в себе, что она болтает сдуру и сгоряча. Надо ее привести в себя, образумить.

— Руженка,— начала она ласково, взяв дочь за руку.— Да ведь это я. Я все же тебе мать, а ты мне дочка. Я тебе добра желаю, поверь. Да что ты глядишь, как чужая?.. Не гуляй ты с ними. Не гуляй! — Анна перешла на шепот.— Сама знаешь, с кем. Брось это, послушайся матери, ведь ты чешка. Ведь они...

Ружена вырвала руку.

— Позвольте... Я сама себе хозяйка и могу встречаться с теми, кто *мне импонирует*. Не вмешивайтесь в мою *приватную* жизнь, мамаша. Жалко, Густава нет дома, он бы вас отчитал!

Они стояли друг против друга, старуха и молодая дама, изящно одетая хозяйка бубенечского особняка и жижковская привратница в ситцевом платье. Анна Урбанова выпрямилась.

— Так это правда,— в упор спросила она дочь дрожащим голосом,— что вы оба перекинулись к немцам? У вас немецкие карточки? Вчера встречаю Барборку, что служит у Гамзы, и она мне выкладывает это. Я ей чуть глаза не выцарапала.

Ро вдруг рассмеялась.

— Невозможная вы, мамаша! Нет, нет, не спорьте, вы же ничего не понимаете. Получили вы вчера муку и сахар? Надеюсь, шофер не украл? Получили, ну вот, видите! А где, вы думаете, я достала эти продукты? Не по чешским же нищенским карточкам! Что я, сумасшедшая! Стану отказываться от всего,— и вы тоже... Не дурите, мама, скажите лучше, что вам надо, и...

— И проваливайте, верно? — резко докончила мать.

Быстрым движением она выхватила из кошелки два кулька и швырнула их на пол. Из одного посыпалась мука, другой захрустел, упав на паркет.

— Жратвой ты меня не купишь! — вне себя крикнула Анна.— Жратва и тряпки — не все, это уж я поняла при немцах! Если хочешь знать, я затем и пришла, чтобы бросить тебе вот это. На, возьми, жри сама, лопни от обжорства. А я лучше с голоду сдохну, но ты меня тут не увидишь!

Взволнованная, она искала свою кошелку.

Ро с подчеркнутым хладнокровием нагнулась за кульками и убрала их в шкаф.

— Я еще вам пригожусь, когда после войны Гитлер будет выселять чехов в Сибирь,— проронила она.

Анна Урбанова остановилась и подбоченилась.

— Что ж, там я где-нибудь встречу Ондржичка,— бросила она в лицо дочери.— Хорошо он сделал, что уехал отсюда. Знай же, что я с ним заодно! Русские победят, об этом все говорят в один голос. А ты меня еще вспомнишь, да поздно будет!

Ружена улыбнулась с коварной приветливостью, показав все свои зубы.

— Погодите-ка, мамаша, а что, если я где-нибудь расскажу все, что вы тут сейчас наговорили?

Анна Урбанова остановилась, словно ее ударили ножом в спину. Но она не испугалась, а только тяжело вздохнула.

— Беги, беги, доноси на меня, гестаповка! Я потеряла дочь, хуже мне уж не будет.

Она схватила кошелку и хлопнула дверью.

Ро была очень *нервирована*. Она вызвала по телефону горничную снизу, чтобы та пришла с совком и метелкой — убрать с паркета просыпавшуюся муку и сахар.

Горничная недавно поступила в дом и еще плохо знала хозяев. Собирая с полу мусор, она подняла к Ро заплаканные глаза и спросила:

— Простите, пани, что я вас беспокою: не помните вы, как называется эта деревня? Литице или Лидице?

Ро заткнула уши обеими руками.

— Идите вы все к черту! — крикнула она и выскочила из комнаты.

СТАЛИНГРАД В ПРАГЕ

Митин класс читал на уроках немецкого языка журнал «Wir lernen deutsch» [1]. Представьте себе, что это гнусное изданьице поместило статью, в которой прославлялась река Волга. Нацисты расхваливали Волгу необычайно. Дескать, это самая большая, самая длинная, самая рыбная европейская река, на ее берегах издавна жили немцы Поволжья; Волга — это древний путь из Восточной Европы в Азию (в таких статейках всегда пишут о древних торговых путях!), и новая Европа будет счастлива, когда победоносные войска фюрера займут осажденный Сталинград — что является вопросом лишь нескольких дней, если не часов,— когда они достигнут берегов Каспийского моря и гордо водрузят на них непобедимое, украшенное свастикой знамя Германии. Третья империя усовершенствует сеть каналов, соединяющих восточноевропейские реки, и наши соотечественники повезут по Волге нефть и лес, осетров и зерно,— словом, урожай и богатства этой плодородной страны, с благословения не только немецкого, но и русского населения, которое любовно величает эту реку «Mütterlein Wolga» [2].

---

[1] «Мы изучаем немецкий язык» *(нем.)*.

[2] «Матушка Волга» *(нем.)*.

Эта статья превосходила все остальное! Наглецы! Пусть немцы пишут об отце Рейне — пожалуйста, мы не собираемся отнимать его у них. Но когда печатают слово «Волга» готическим шрифтом и называют «Mütterlein Wolga», можно лопнуть от злости. Все мальчики пришли в негодование от этой статьи. Но больше всех негодовал Митя. Он знал Волгу, потому что родился на ее берегах, он имел на нее как бы старинные права. Ведь в детстве он был капитаном одного из белых каспийских пароходов, плавал на полу в комнате и так громко гудел, подражая пароходной сирене, что мама затыкала уши. У Мити сохранились только бессвязные воспоминания о городе Горьком, но они были прекрасны и таинственны, как картинки в волшебном фонаре. Серебристый кролик с лоснящейся шкуркой шевелил ушами, когда в детском саду Митя кормил его; Али с раскосыми глазами держал книжку стишков, показывая картинки своей бабушке-татарке, и строго экзаменовал ее по чтению; перед Митей выплывала невиданно прекрасная забытая парусная яхта с тонкими сложными снастями и настоящим рулем, яхта, которую ему подарили на прощание Вася, Петя, Сережа, Николенька и Таня. Где эта яхта, куда она запропала? Что с ней случилось? Дома Мите никто не сказал, что ее унесли гестаповцы под предлогом, будто это какая-то подозрительная модель.

В Горьком у Мити были папа и мама, как и у других детей, и они были чудесными товарищами. Папа и мама были молоды, и жизнь бежала молодо и весело. Бабушка Гамзова, хотя она и хорошая, все портит своей боязливостью, так что Митя скрывает от нее кое-что из своих похождений. Например, он не говорит ей, что слушает у дяди Станислава Москву и Лондон, вместо того чтобы готовить уроки. Швейцар пан Галик по распоряжению оккупационных властей обошел все квартиры, где были радиоприемники, и взял с каждого владельца подписку, в которой стояло: «Мне известно, что слушание иностранных радиопередач карается штрафом, а иногда — и смертью». Но они с дядей Станиславом пускали радио совсем тихо и в конце концов приладили стрелку так, что она всегда показывала Прагу. Узнай об этом бабушка, она, наверное, померла бы со страху! Она была ужасно напугана после того, что произошло с мамой. Вот мама — другое дело! Ей были бы смешны эти страхи, она бы не боялась! Мите вспоминается станция с аркой, на которой видны звезда, серп и молот, мама у вагонного окна держит Митю на руках, дышит в затылок, и Мите немного щекотно, а она говорит: «Митенька, никогда не забывай, где ты родился. В самой отважной стране на свете». Об этом ему не нужно было напоминать, картинки сами появлялись

в волшебном фонаре. Черный силуэт красноармейца с ружьем у белого нефтехранилища Митя видит каждый раз, когда ему становится страшно за Сталинград.

Сталинград приносил Мите много забот. Как раз в то время, когда только что начались занятия в школе и Митя после отмены чрезвычайного положения вернулся с бабушкой в Прагу, немцы начали наступление. Гитлер отдал приказ: «Stalingrad muss um jeden Preis erobert werden»[1]. Но разве мог сдаться этот город? Митя воспринимал события как личную борьбу между Сталиным и Гитлером. Насколько позволял ему футбол и другие игры с мальчиками, он жил в непрестанном волнении. Он рассказывал в кухне Барборке о положении в Африке и на Волге и утешал сам себя:

— Ленинград тоже держится, и Москва, а как им приходилось туго!

— Ну да,— отвечала на это Барборка.— Шуму было много, а получился пшик. В магазине одна пани, у которой родственник служил в чехословацкой армии, сказала мне, что русские нарочно заманили немца до самой Волги, а потом как погонят в шею...

— На ОПС[2] меня не поймать,— строго заметил Митя.— Нарочно русские немца туда, конечно, не заманивали. Это болтовня. Но дело непременно кончится либо котлом, либо клещами.

Митя, подражая дяде Станиславу, сравнивал и обсуждал новости и внимательно следил, чтобы не проговориться бабушке, что он слушает «Кромержиж». В конце осени ему стоило больших усилий удержать язык за зубами — новости просто жгли его. Но Митя умел молчать и не о таких вещах. Если бы только бабушка знала!

Однажды (в опустевших витринах уже начинали выставлять жалких Микулашей военного времени и облезлых чертенят) Митя ворвался к Нелле, как дикий. Она так и села с перепугу. После истории с Еленой она то и дело пугалась.

— Бабушка,— кричал Митя,— бабушка, какой подарок! Прочитай вот это.

И он в восторге швырнул на стол газету.

Митя называл плохие новости «пилюлями», а хорошие — «подарками».

В «Народном страже» стояло:

«Из Главной ставки фюрера:
Наша доблестная армия, окруженная в Сталинграде, оказывает упорное сопротивление контратаками на отдельных участках».

---

[1] Сталинград должен быть взят любой ценой *(нем.)*.
[2] ОПС — одна пани сказала.

Жизнь против смерти

Как! Ведь еще вчера, судя по газетам, гитлеровцы геройски наступали. Три месяца назад нам не давали покоя громкоговорители, оравшие на пражских улицах, что Сталинград готов пасть в любую минуту! Точно удары дубинки по голове. И вот! Пожалуйста! Из наступающих захватчики вдруг превратились в окруженных!

«Может быть, мы все-таки кое-как переживем этот первый сочельник без Еленки»,— подумала Нелла. Как бы радовалась Еленка! Вот был бы для нее подарок на елку! В этом году в сочельник в семье Гамзы за стол сядет еще на два человека меньше. Прабабушка скончалась осенью. Она никогда не упоминала имени Еленки, но в последнюю ночь перед смертью громко разговаривала с ней.

— Руженка,— сказал в полдень накануне Нового года доктор Хойзлер своей молодой жене,— я не хотел бы портить тебе настроение... но ты, вероятно, уже слышала эту печальную новость?

— Не достал икры? Как это на тебя похоже!

— Наш молодой друг Курт пал под Сталинградом.

Ро вынимала из шкафа с серебром чашки для бульона и приборы к новогоднему ужину. Горничную у нее взяли по тотальной мобилизации, и теперь пани Ро была вынуждена делать все сама. Когда она заехала к матери и попросила ее вести хозяйство, та отказалась. Ноги ее не будет в доме Хойзлеров.

— Жаль его,— заметила Ро, звякая вилочками и ножами,— он был парень хоть куда. А что фон Хемпке? Придет?

— Придет. От него-то я и узнал.

Ро взяла кусок замши и принялась начищать новогоднее серебро.

— Так как же с икрой, Густав? — спросила она неумолимо.

Второго февраля артистка Власта Тихая, как обычно, пришла в театр с небольшим опозданием. Нужно быть в уборной в шесть, а она явилась в половине седьмого. Она вошла в театр через служебный ход. Привратник постучал ей в окошечко.

— Пани Тихая! Пани Тихая! — высунул он голову ей вслед.— Сегодня мы не играем. Запрещено. Только что из министерства сообщили. Театр закрыт.

Обернувшись, Власта окаменела, как соляной столп. Привратник с удовольствием наблюдал за ее изумлением.

— Траур по Сталинграду. Сталинград в руках русских,— подняв брови и наморщив лоб, произнес он грудным басом. Даже

гестапо не могло бы придраться к такому серьезному и достойному выражению скорби. Но народу со швейковскими традициями все понятно.

Какой восторг! Сердце у Тихой забилось. Она наклонилась к привратнику.

— Пан Знаменачек,— произнесла она растроганным голосом влюбленной девушки,— вы как-то тут жаловались, что не можете достать ни капельки сливовицы. Я вам принесу!

И Власта вылетела из театра, точно ее сдунул февральский ветер.

— Придет весна, придет красна,— приговаривала она весело, как ребенок — считалку, мчась почти вприпрыжку. Февральский дождь брызгал ей в лицо, поги в безобразных, неуклюжих белых валенках (она радовалась, что достала хоть такие) утопали в грязи запущенной Праги. Затемненный город был неприветлив, но разве захочется сейчас домой! Как всегда, чтобы привести мысли в порядок, Власте было необходимо движение. Она мчалась против ветра, подставляя ему грудь, набирая в легкие свежий влажный воздух, и жаждала поделиться новостью с друзьями. Жаль, что поблизости нет никого из надежных коллег! Не могла же она останавливать на улице незнакомых людей! Но ей очень хотелось сделать это.

Какая-то воинская часть перешла мост и свернула на набережную. Солдаты больше не пели «Wir fahren gegen England» [1]. Они топали молча, позвякивая в темноте оружием.

— Глядите, они идут побеждать на всех фронтах — «за Европу»,— заметил во мраке чей-то насмешливый голос.

Власта не переносила *вермахта* и поэтому свернула в боковую улицу. За углом она налетела со всего размаху на прохожего, который шел навстречу. Он зажег электрический фонарик. Это оказался Станислав Гамза.

— Станя, я тебя не убила?

— Ну что ты! В данном случае — нет,— засмеялся молодой Гамза, когда-то пытавшийся покончить с собой из-за актрисы.— Но что произошло, Власта,— по-ребячьи приоткрыл он рот,— что ты здесь делаешь? Ты бежишь из театра? А я только что собрался посмотреть на тебя.

— Тебе не повезло,— сказала Власта со своей обычной резкостью.— Прикрыли нашу лавочку.

Она была маленького роста, и ей пришлось встать на цыпочки, чтобы без церемоний обнять Станю за шею и шепнуть ему:

---

[1] «Мы идем против Англии» *(нем.)*.

— У них траур по Сталинграду. Он наш.

— Чудесно! Власта, ты золото, спасибо тебе,— произнес Станя с такой восторженной благодарностью, как будто актриса сама защищала Сталинград; и хотя с тех пор, как они разошлись, он при случайных встречах всегда чувствовал некоторое смущение, сегодня он схватил Власту за руку и крепко пожал ее.

— Через месяц все кончится,— радовалась актриса.

— Ну, Власта, через годик... и то еще будем очень и очень довольны. Но все равно хорошо. Прекрасно. До свидания! Будь здорова.

Станя помахал шляпой и зашагал дальше. Он необыкновенно обрадовался этой важной новости. Она несла его как на крыльях. Станя летел со всех ног. Что скажет Андела! Вдруг он остановился. Спектакля в театре не будет. Как же я дам знать Анделе? Ведь я ее не увижу. Они условились встретиться в буфете во время антракта. У Анделы какое-то дело за городом, и она не может вовремя попасть в театр. Он должен был сообщить ей, все ли благополучно. Да. Вагон, в котором везли «яйца», ушел с товарным поездом в Бероун. Конечно, с опозданием, как вообще сейчас ходят поезда. Станя расхаживал за Вышеградским вокзалом и курил в ожидании, когда пройдет этот вагон. Он делал вид, что пришел на свидание, никак не может дождаться своей возлюбленной и ломает себе голову, что же с ней случилось. К счастью, все обошлось хорошо: Станя дождался вагона, а теперь — Сталинград. Эта новость все озарила радостью.

Новость о Сталинграде преобразила чехов. Всякому известно, как бывают недовольны жители Праги, если в театре в последнюю минуту изменяется программа! А сегодня все уходили спокойно, не бранились, подавляли улыбку. Никто даже не потребовал обратно денег, никто не обратился в кассу — это что-нибудь да значит для такого практичного народа, как чехи. Нет, будем справедливы! Была еще одна такая же ночь, когда водители такси везли призывников, не беря с них ни крейцера, когда люди были ласковы друг с другом и не думали о деньгах,— ночь мобилизации. Тогда еще Станя не знал, что его обманули, посылая в армию, что собственное правительство отнимет у него оружие и отдаст врагу. И что жалкие остатки чешского оружия придется закапывать в землю, прятать в пещерах и по чуланам у старых бабок, с риском для жизни провозить под углем и картошкой, как сегодня эти «яйца». К счастью, вагон проследовал куда нужно, задание выполнено, но вот Анделы нигде нет. В котором часу бывает антракт? Смотря по тому, когда меняют декорации на сцене. Приблизительно около половины девятого. Догадается ли подождать его Андела?

Станя решил, что он к этому времени вернется к театру, а пока, чтобы не бродить зря, обосновался в кафе напротив. Увидать Анделу из окна он не мог — на окнах было затемнение. На февральском ветру дико плясал и хлопал траурный флаг и скрипело древко. Оккупанты, видимо, совсем потеряли голову, если позакрывали театры и объявили траур. Раньше они все-таки держали в секрете свои военные неудачи. Но торжественно гремящий громкоговоритель убеждал посетителей кафе, сидящих за суррогатным кофе с сахарином и за чаем из шиповника, что немецкие герои, защищавшие до последнего издыхания каждую пядь земли под Сталинградом, будут отомщены, что мы идем к блестящей победе и что Германия, пока ее ведет гений Адольфа Гитлера, непобедима. Люди заслоняли газетами насмешливо улыбающиеся лица от шпиков, которыми кишело кафе, болтали о пустяках, а Станя думал, что сегодня ночью у него невыносимо разболится зуб, и тогда можно будет прямо с утра отправиться к зубному врачу, где работает Андела,— если только она не придет сегодня вечером,— и сообщить ей повость.

В кафе она не зашла. У театра ее тоже не было. Станя обошел кругом все здание и теперь ждал трамвая на остановке, где было ветрено, с ощущением, что не испытал настоящей радости по поводу Сталинграда, потому что не мог, пока она не остыла, разделить ее с Анделой.

У каждого человека жизнь непременно делится на настоящие и ненастоящие минуты. Время, проведенное дома с матерью, которую Станя нежно любил, но от которой беспрестанно приходилось что-то скрывать, оберегая ее, как и время, проведенное с подростком Митей,— конечно, не было настоящей жизнью, это была просто видимость жизни. И работа в библиотеке закрытого университета тоже была только жалким прозябанием до тех пор, пока однажды в старый Клементинум не пробралась тихая, как галлюцинация, неприметная девушка, которая тут же и исчезла. Но в самое тяжелое время, когда участь, угрожавшая народу, нависала над головой Стани, точно брезентовый верх машины, везущей человека к месту казни, девичья рука приподняла покров, и в просвете между тучами он увидел лазурь. Хотя с Анделой у Стани были связаны воспоминания о самых трудных испытаниях, выпавших на долю семьи Гамзы, все же от свидания к свиданию ему жилось все легче и легче. Он отдавал в девичьи руки отчет о своих поступках. Они были незначительны и, будь он один, были бы бессмысленны. Встречаясь с Анделой, Станя нащупал электрическую сеть подполья, раскинутую по родной стране, попавшей в беду, и сознание, что он включен в эту сеть, придавало ему новую энергию. Когда случается несчастье с человеком, для

него нет ничего пагубнее, чем оставаться пассивным зрителем своей судьбы и не сопротивляться ей. Стане больше не приходилось стыдиться перед отцом и сестрой за то, что он не хотел понять их, пока они были живы. Когда он писал стихи и статьи для подполья, передавая затем рукописи Анделе, когда он прохаживался, как сегодня днем, у вокзала, чтобы доложить ей об этом вечером, он напряженно готовился к тем единственно настоящим минутам, которые необходимы человеку. Его жизнь сосредоточивалась вокруг коротких встреч с Анделой. А что, если бы Стане пришлось иметь дело с неприветливой пожилой женщиной? Конечно, он работал бы во имя освобождения родины и все равно точно выполнял бы задания и являлся бы на условленные свидания — с этим не шутят. Но то, что его посвятила в дело ласковая, задумчивая девушка, давало ему силы жить, принесло такое огромное счастье! Только бы с ней ничего не случилось!

Он прохаживался под унылой фиолетовой лампой, охваченный лихорадочным беспокойством, стараясь обойти неизбежных немецких солдат, которые торчат на каждой трамвайной остановке. Ледяная сырость, веявшая от черной Влтавы, которая текла где-то глубоко внизу, усиливала ощущение неприветливой тьмы. При каждом порыве ветра траурный флаг бился о древко и навертывался на него. Неожиданно рядом со Станей на остановке откуда-то появилась худенькая фигурка. Ветер трепал ее волосы, выбившиеся из-под шапочки.

— Это вы, доктор? — окликнула Станю Андела.

Радость с новой силой вспыхнула в душе Стани.

— Вы тоже ждете двадцатый номер? Его так долго нет. Знаете что, пойдемте до следующей остановки, здесь очень ветрено.

Станя взял Анделу под руку, и они пошли по набережной. Андела оглянулась, придерживая шапочку. Он тихо сообщил ей, что все благополучно, и она молча прижала его руку к себе. Все понятно, хватит, она удовлетворена сообщением и передаст кому следует. Но, возможно, это пожатие говорило и о другом, в чем Станя не был окончательно уверен. Они шли рядом, и сырая темнота отступала перед ними; теперь стало лучше видно дорогу. Это все Андела, Андела! Из ее муфточки идет тепло, в ее следах вырастают цветы. Станя, не выпуская руки Анделы, свернул в садик около небольшого павильона, в котором когда-то стоял памятник австрийскому императору Францу-Иосифу, пока Первая республика не изгнала его оттуда. Андела знала о памятнике только по рассказам родителей, ведь ей было лет двадцать. За павильоном Станя остановился.

— Ты уже знаешь об этом, да? — лихорадочно прошептал он.— Сталинград.

Андела быстро, молодым и гибким движеньем подняла голову и тут же восторженно подтвердила, что ей все известно; и как будто это разумелось само собой, они прижались друг к другу и обменялись продолжительным поцелуем. Никогда до этого Станя не осмеливался прикоснуться к Анделе. Они были вдвоем в пустынном садике, где гулял ветер. И вражеское затемнение превратилось в пьянящую темноту.

Лицо Стани щекотал меховой воротник девушки, овеянный запахом озона, Андела нервно искала платочек. Потом прижала его к глазам.

— Ну нет,— сказала она тихо, точно ребенок, уговаривая себя,— сейчас мы еще не смеем плакать. Я спрячу слезы до прихода русских, Станя, тогда я буду плакать от радости целый день.

— Я тебя очень люблю,— отвечал Станя и снова привлек ее к себе.— Андела, ты выйдешь за меня замуж?

Андела вздохнула.

— Станя, сегодня такой счастливый день, такой... Я тоже думала уже об этом. Да. Да. Как только кончится война.

Станя удивился.

— Почему после войны? — спросил он отчужденно.— Почему не сейчас? Зачем ждать?

— Если бы речь шла только обо мне,— произнесла Андела лукаво, и по голосу ее можно было догадаться даже в темноте, что она улыбается,— мы завтра же сыграли бы свадьбу. Но, видишь ли, Станя, это помешало бы нашей работе. Наше дело требует свободы действий... понимаешь?

Станислав понял. Андела была связной, проверяла, нет ли опасности, водила подпольщиков на свидания и уводила с квартир, которым угрожала опасность, в более надежные. Именно тогда, во время «гейдрихиады», когда они встретились в трамвае, она провожала в Годковички одного подпольщика, этого невыспавшегося, обросшего человека.

— Покажется странным,— добавила Андела,— что новобрачная появляется на улице все время с разными мужчинами.

— Да разве не все равно? — заметил Станя.

— Нет,— возразила Андела.— Это будет бросаться в глаза. Пока я не замужем, я свободна. А если мы будем женаты и если кого-нибудь из нас выследят, то непременно арестуют обоих, а мы не имеем права *проваливаться* оба сразу.

— Я за тебя все время волнуюсь,— сказал Станя.— Почему сегодня ты так долго не приходила?

— Опоздал поезд.

Но она не похвасталась Стане тем, что с ней случилось по дороге. Она должна была проводить одного человека через лес от конечной трамвайной остановки за Прагой до лесной сторожки, но ее спутник вдруг остановился и заявил, что не пойдет дальше, потому что там будто бы немцы. Он бежал из Германии от тотальной мобилизации. У него помутилось в голове, и он потерял самообладание. Этого Андела никак не ожидала. Что было делать с помешанным? «Беги что есть духу,— набросилась на него Андела,— потому что иначе тебя убьют». Она схватила его за руку, и он отлично добежал рысью до самой сторожки. Хорошо, что по пути они никого не встретили! Задание было выполнено, она передала человека кому следовало. Ей пришлось предупредить, что он немного не в своем уме. Но зачем этим тревожить Станю? Андела без надобности не говорила Стане о том, что она делает.

— Мы не имеем права бояться друг за друга,— убеждала она его с серьезностью молодой девушки.— Любовь не смеет мешать... тому, главному.

— Дурочка,— сказал Станя,— ты мне не мешаешь, а помогаешь. Моя золотая.

О свадьбе они больше не говорили, этого не хотела Андела.

БЫЛ МОРОЗ

Был мороз, лютый украинский мороз — тридцать пять градусов ниже нуля. Близ деревни Руда залегли солдаты. Место было ровное, открытое, ветер дул со всех сторон, но приходилось лежать не шевелясь и ждать сигнала к атаке. А танков все не было и не было. Фрицы как пить дать сидят в теплых хатах и обжираются награбленным, бандиты!

Несмотря на рукавицы, мороз кусал пальцы, хватал за мочки ушей под ушанкой, щипал нос, обжигал легкие. Даже зубы ныли от стужи. Дыхание вырывалось изо рта таким густым паром, что казалось, его можно резать ножом. Кругом было тихо (отдаленную канонаду Ондржей не принимал в расчет, она всегда слышна на фронте!), и весь промерзший до костей мир словно бы навеки окоченел и застыл под властью зимы. Ондржею пришлось призвать на помощь все свои воспоминания о весне, чтобы поверить, что вон та суковатая яблоня, на которой сидит наблюдатель с биноклем, когда-нибудь покроется бело-розовыми цветами и на них прилетят пчелы, а скованная земля обмякнет, зазеленеет и заволнуется всходами. «Придет весна, придет солнце, снова будет ясный май»,— вспомнилась Ондржею старая песенка, которую тон-

кими голосами пели школьники в Льготке. Бог весть из какого уголка памяти вытянул он эту совсем не военную песню.

Ондржей вдруг невыразимо затосковал по Чехии. Еще осенью, когда они в темноте форсировали Днепр, перейдя с левого берега на правый по понтонному мосту, который советские саперы навели ночью и опять с виртуозной быстротой разобрали к утру, чтобы днем его не разбомбили немцы,— еще тогда сосновый лес под Лютежем, где на берегу широкой реки закрепилась рота Ондржея, чем-то напомнил ему родину. Он и Людек копали землянку, лопатами срезая с сыроватой, пахнущей плесенью лесной земли кустики брусники, синеватый, чуть пожелтевший от октябрьских ночных заморозков вереск и листья земляники. И Ондржею казалось, что он откапывает из глубин памяти, заполненной благоуханными эвкалиптами Зеленого мыса, кусочки Ул, кусочки Нехлеб, кусочки родной Льготки. Война оторвала его от Грузии, и больше он не вернется туда; вся эта красота терзала бы ему сердце, всюду бы ему мерещилась Кето. С того дня, как Ондржей узнал, что весь транспорт раненых, который сопровождала Кето, погиб при воздушном налете, он решил пробиться на родину вместе с товарищами и остаться там. Ведь из дому его выгнала безработица, а после войны рабочие руки будут нарасхват. Только смотрите не отмерзайте, проклятые руки! Автоматчику нужны ловкие и гибкие пальцы, верный глаз, ясная голова.

Эх, выпить бы кружку горячего чаю да съесть хороший ломоть черного украинского хлеба с салом, хоть бы внутри согреться! Водка уже давно перестала действовать, ведь автоматчики добрые полсуток ждут на морозе не пивши, не евши. Даже самокрутку нельзя свернуть, нельзя даже перекинуться словом с товарищем и в разговоре убить время. В белых маскировочных халатах недвижно лежа на снегу, надо ждать, не выдавая себя даже шорохом. Ну что ж они, наши танкисты? Вечность, что ли, ждать их? В чем там дело?.. Ну да, снег. Вон сколько его навалило. А по сугробам трудно проехать, они и ползут, как черепахи. Скорей бы в атаку! Бездействие раздражало Ондржея.

Война — это не только кипение боя, стрельба и кровь, как, наверно, думают неискушенные штатские, например Нелла Гамзова. (Что-то с ней? Жива ли?) Война — это вечная, затяжная, утомительная, требующая выдержки подготовка и изнурительное, бесконечное ожидание. И важно, как ты справляешься с собой, как ты выдерживаешь ожидание, чтобы оно тебя не замучило, чтобы ты его одолел. В часы кажущегося бездействия солдату вспоминаются слова, слышанные от политработника. Солдат хватается за них, пересказывает их себе по-своему, подбадривает себя. Вот и это ожидание в стужу, здесь, на подступах к занесен-

ной снегом Руде, далеко от родины, в канун Нового года, каждой секундой приближает Ондржея к чехословацкой границе. Мы пробились от Харькова до Киева, пробьемся и от Киева до Праги! Другого пути нет. Главное, не поддаться унынию, сохранить ясность и силу духа перед атакой.

Ондржей побывал в сражении под Соколовом и в боях за Киев, он был уже обстрелян и научился держать себя в руках перед боем. Паника заразительна. Но, к счастью, передаются также и выдержка и хладнокровие, а насчет этого красноармейцы молодцы. Ондржей вспомнил советских бойцов — истребителей танков. Как спокойно готовили они с вечера свои бутылки с горючей смесью — словно школьник, укладывающий тетрадки в ранец. А обстановка была тяжелая, все знали это. Но советские бойцы всей своей повадкой вселяли в окружающих выдержку и уверенность. Ондржею вспомнился курносый красноармеец в пилотке, со шрамом на лбу, державший бутылку с горючей смесью так, словно это была бутылка пива, и бросивший через плечо товарищу:

— Ну, что? Пусть только сунутся, посмотрим. Это им выйдет боком.

Он сказал это не заносчиво, а с уверенностью человека, который знает, что его дело правое, что нужно бить, истреблять и гнать фашистов, им нечего делать в его измученной, но не потерявшей надежды родной стране.

Сейчас Ондржей не вспоминает о маленьких трупах, которые он собственными руками вытаскивал из колодца,— четырнадцать детей, брошенных туда немцами. Он не вспоминает о вытянувшихся телах, которые раскачивались, как жуткие поломанные куклы с головой набок,— Ондржей видел этих повешенных на перилах какого-то балкона в Киеве. Не вспоминает он даже своих погибших соотечественников. Близ разбитой снарядами церквушки на взятой штурмом деревенской площади трупы эти, уже окоченевшие, лежали вперемежку с убитыми советскими солдатами. Воображение послушно Ондржею, и оно избегает сейчас картин смерти и всего, что могло бы вызвать упадок духа.

Где-то вдалеке грохочут орудия. На фоне этой отдаленной канонады в памяти Ондржея звучит высокий голос скрипки, исполняющий для него прекрасную, чистую мелодию. Внезапно и непроизвольно вспомнился ему этот необычный эпизод фронтовой жизни. Дело было где-то под Харьковом, в разбитом здании школы. Четверо пожилых мужчин в смокингах и белых манишках, резко выделявшихся среди защитного обмундирования солдат, хрупкие, как статуэтки, сидели в обычных для квартета позах. Над их головами взлетали ракеты ночного фронта, а они, водя

смычками по своим звучным инструментам, виртуозно, с душой, исполняли для солдат чарующую мелодию. Первая скрипка жалобно и прекрасно пела, подобно серебряному женскому сопрано, вторая откликалась ей вместе с альтом, виолончель вливала в эту мелодию что-то глубокое, мечтательное и трепетное, как темно-синие волны Черного моря. В звуках этой светлой музыки живая Кето вставала перед Ондржеем. Как бы на волнах мелодии, ко всем солдатам прилетали их жены и любимые, еще более прекрасные в разлуке. Музыка словно брала близких за руку и вела их невредимыми по переднему краю.

Музыканты играли, солдаты слушали, душа в них пела, в радужных далях открывалась им зеленеющая Чехия, Прага в голубоватой дымке, Град и собор, моравские золотые нивы короля Ячменька, горные тропы разбойников Яношика, виноградники приветливой Словакии... Да, есть за что воевать: за радость жизни, за нашу родину! Если солдат не умеет мечтать, он плохой солдат и проигрывает сражение. Чем прекраснее мечты солдата, тем яростнее он за них бьется. Тот, кто безгранично любит жизнь, умеет и умереть за нее. «Придет время, когда человек человеку перестанет быть волком...— пели скрипки.— Не будет войн... Человек — благородное существо, у него необъятная душа, она вместит всю красу мира, ведь человек сам ее создает...» Об этом говорила музыка, и сейчас, с каждой секундой ожидания, мерзнущий Ондржей все же приближается по радужному мосту звуков к этому грядущему миру.

Все это было под Харьковом. Известный ленинградский квартет приехал на фронт, в чехословацкий батальон. Музыканты исполняли Дворжака, Чайковского, Бетховена. Они играли так же сосредоточенно и мастерски, как будто выступали в московском Колонном зале, где завитки розоватых и бледно-желтых мраморных колонн усиливают резонанс. А здесь вдалеке гремели орудия; видимо, от этого виртуозы играли для воинов с еще большим подъемом и имели громадный успех.

Солдаты, как известно, не ангелы. Они ругаются и сквернословят так, что не приведи бог, грубовато прохаживаются насчет женщин (если только поблизости нет медсестер или связисток, которых они стесняются) и на переднем крае, безусловно, одеты не с иголочки. Но эти люди, живущие в пыли и грязи ради того, чтобы отстоять идею, именно эти люди, постоянно пребывающие на рубеже жизни и смерти, очень восприимчивы к музыке. Дома, в своей тбилисской комнатке, Ондржей едва ли включил бы радио, зная, что будут исполняться какие-то неудобоваримые «мажоры» и «бемоли». Но музыка приехала к солдатам и здесь, на фронте, стала для них освежающим душем, тонизирующим средством.

Музыка укрепляла веру, открывала человеку неведомые красоты его собственной души, как рука, стирая пыль с картины, открывает всю свежесть красок. Музыка была прекрасна, человек становился счастливым, и ощущение этого счастья делало его сильнее. Но как объяснить все это музыкантам? Слова так неуклюжи по сравнению со звуками.

Когда исполнители после концерта подошли к солдатам, их окружила толпа восторженных слушателей, прежде всего, конечно, девушки.

— Хоть прикоснуться к ним! — шутила веселая Анка.

— Вы даже в смокингах к нам приехали и в лаковых туфлях! В нашу-то грязь! — весело и немного растроганно сказала первому скрипачу радистка Марта.

Ондржей взглянул вниз, на пол. Блестящие полуботинки пожилого скрипача казались смехотворно маленькими рядом с солдатскими валенками.

— Это, видите ли, *наша* военная форма,— улыбаясь, сказал скрипач и добавил, коснувшись смычка: — Он тоже стреляет.

...В полевом телефоне послышался голос связистки:

— Я «Дуб», я «Дуб». Вызываю «Липу», вызываю «Липу».

«Липа» откликнулась, и «Дуб» доложил: «Коробки уже здесь». Командир бросил наушники связисту, сжал пистолет и приготовился отдать команду. Наблюдатель на яблоне схватил бинокль и впился взглядом в деревню напротив. Безликая, белая, в голубовато-серых тенях, равнина как будто еще больше окоченела, стала еще неподвижней. Залегшие под косогором автоматчики дрожали от нетерпеливого ожидания. Перед ними — заснеженное поле, за полем — деревня. Прищуренными глазами солдаты глядели из-под заиндевевших бровей на крайние избы в снеговых шапках. Откуда-то появилась спугнутая ворона и с карканьем, махая крыльями, полетела, черная, какая-то старомодная, над белым полем. В морозном воздухе Ондржей различил отдаленный гул. Солдаты переглянулись, Ондржей нащупал предохранитель ручной гранаты, сердце у него забилось чаще. Гул все близился и перешел в металлический рев. Идут! Наши идут! Конец ожиданию. Началось!

К танкам Ондржей относился по-сыновнему, как к движущемуся кусочку родины. Один танк иной раз подбадривает больше, чем целая рота солдат, пришедшая на подмогу.

Танки, похожие на корабли в снегу, медленно и осторожно двигались по сугробам. Автоматчики опередили их.

Фрицы в деревне, видимо, не ждали атаки, они не предполагали, что противник сможет подстеречь их на открытом месте в такую стужу. Но у чехословацких воинов не застыли ни руки, ни

сердца. Еще до команды «пли!» наблюдатель на яблоне увидел нечто невероятное: маленькая фигурка далеко в поле бросилась к немецкому «фердинанду», взмахнув рукой, швырнула что-то и отскочила.

Черный дым и красное пламя взметнулись из «фердинанда», разнесся грохот взрыва. У Ондржея камень свалился с сердца: попал, слава богу, попал! Поразил одну из уязвимых точек этого чудища, кинул гранату так, как нас учили в Новохоперске. Куда именно попал — черт его знает, не было времени смотреть, ну ладно, не так важно, главное, что «фердинанд» угроблен, ради этого стоило испытать такой страх! Ф-фу... Ондржей перевел дух.

— С дистанции пятнадцать метров попасть в танк! — удивлялись потом товарищи при разборе операции.— Как это ты умудрился?

Ондржей смущенно оглянулся. «Влетит мне, наверно, за то, что я выбежал раньше, чем было велено открыть огонь»,— подумал он.

— Нам приказали занять Руду. Что мне было делать? — сказал он, как бы оправдываясь.— Ну, я взял гранату и пошел.

Он ничего не сказал о том, какой ужас перед этим чудовищем напал на него, когда над ним вознеслась орудийная башня с длинным стволом и Ондржей вблизи увидел лица немцев, сперва удивленные, потом яростные. Есть ли на свете герои с такими железными нервами, что они вообще не знают страха? Или все герои так же упорно, как Ондржей, во имя того, чему они беззаветно преданны, превозмогают страх и не считаются с собственной участью? Ондржею очень хотелось получить ответ на этот вопрос, но он никогда не отважился бы спросить, опасаясь, что его сочтут трусом.

Нашему подразделению удалось тогда отрезать вражескую пехоту от танков и взять Руду лобовой атакой. У фрицев были теплые хаты, награбленное продовольствие, численное превосходство, и все же они не устояли против голодных, невыспавшихся людей, которые провели пятнадцать часов на крепком украинском морозе.

— Это потому, что с нами вся наша страна,— заметил Володя, молодой советский боец с голубыми, как незабудки, мечтательными девическими глазами. Русские солдаты расположились в школе, в полсотне метров от чехословаков, и русый Володя с веселым темноволосым Николаем зашли к соседям.— С нами вся наша страна, а фрицы тут наедине со своей нечистой совестью. А это плохой союзник.

— Уж не думаешь ли ты, что нацистов мучает совесть? — с чешской рассудительностью возразил Ондржей юному Володе, и в тоне его прозвучало превосходство старшего.

— Ну как же, у них есть и еще союзники,— засмеялся другой красноармеец.— Румынские и венгерские фашисты да Голубая дивизия. Но после Сталинграда эти союзники только и глядят, как бы смыться.

— Боятся конца, п р о к л я т ы е,— с юношеской серьезностью продолжал Володя.— Не хотел бы я быть в их шкуре. Всюду их окружает ненависть, они дышат ею, а это похуже мороза. От любви человек расцветает.

— Что верно, то верно — человек от любви расцветает,— восторженно подтвердил словак Иожо.— Куда ни придешь, всюду тебя готовы носить на руках. Детей в одеяльцах кладут на пол, а нас, грязных, чумазых, на кровать. Помните, ребята, село Веселое? Вот уж где все было съедено подчистую! Немцы там побили всю скотину, всю птицу до последнего куренка. А эти люди нам все-таки принесли что могли: черные лепешки, мед, семечки. Сами недоедали... Звезды с неба для нас готовы были достать! Ну и народ здесь, прямо сказка,— восхищенно добавил он свое излюбленное русское выражение.

— Вы первые из всех славян присоединились к нам,— сердечно сказал Володя.— Не удивляйтесь, что вас здесь любят.

— Мы идем вместе с вами, по тем самым сражаемся за себя,— отозвался Ондржей.

— Знаешь, как говорил командир в лесу над Днепром,— вспомнил Людек: — «За Киев — это значит и за Прагу».

— И за Братиславу! — сказал словак Иожо.

— Злата Прага,— мечтательно произнес Володя.— Хотел бы я побывать там!

— Она, правда, не золотая,— поправил Ондржей, в нем снова заговорила чешская педантичность,— а серая и черная от копоти и дыма. Но я бы не променял ее ни на какой город в мире.

— А я бы не променял Киев,— быстро сказал Володя.— Но я туда не вернусь. Буду работать в другом месте.

Его старший товарищ промолчал.

Володя не любил рассказывать о том, что у него погибла вся семья, но в его взводе об этом знали. Отец Володи, старый коммунист, пал под Сталинградом, дедушку, мать и двух младших сестер убили фашисты, как только пришли в Киев. Они согнали коммунистов и евреев за город, в Бабий Яр, заставили их раздеться донага и сотнями расстреливали, сбрасывая трупы в яму. Володя по чистой случайности избег этой кровавой расправы — в ночь, когда гестапо проводило массовые аресты, его не было в

городе. Потом он ушел к партизанам, а позднее попал и в армию. Армия стала ему семьей и домом,— ведь у него не осталось ни одного близкого человека. Кроме того, военная служба нравилась юноше: ведь это значило, что он уже по-настоящему взрослый. Володе было всего восемнадцать лет, и он был тоненький, как девушка. Вся рота любила его, солдаты воспитывали юношу и заботились о нем, как о родном сыне, обращались с ним подчеркнуто серьезно.

— Кем ты будешь после войны, Володя? — спросил Ондржей.

Володя покраснел, и это выглядело странно для солдата. Он опустил глаза и принялся неловко свертывать самокрутку, хотя ему совсем не хотелось курить.

— Смотря по тому... кто потребуется,— неуверенно и как-то виновато сказал он.— Главное, мне нужно учиться.

— Володя будет поэтом, вы разве не знаете? — сказал его старший товарищ добродушным покровительственным тоном.— Он уже теперь сочиняет стихи. Да какие складные! Володя, прочитай-ка им это:

Вставайте, ребята, пора в поход,
Много еще работы...

Но Володя не захотел читать.

— Да не-ет,— тянул он и хмурился от застенчивости.— Это не настоящие стихи. Когда будет мир, поэты не станут больше писать таких стихов, которые... вроде как барабанный бой. Я хотел бы сочинять тихие стихи... Знаешь, про голубоватые украинские хаты, про облачка на небе, про девушек и цветущие каштаны на Крещатике, про влюбленных — в общем, про всех счастливых...

Недели через две Ондржей встретил Володю под Жашковом. Ондржей собственными глазами видел эту операцию и участвовал в ней.

Володин командир с автоматчиками перебирался через замерзшее озерцо на труднопроходимом участке, близ украинской речки Горный Тикич. Легко представить, каково идти с полной выкладкой по льду. С того берега по ним били гитлеровцы. Нашим оставалось пока только смотреть, ничего не предпринимая: если открыть огонь по немцам, то можно попасть и в своих — такой извилистой была линия берега. Красноармейцы шли на сближение с нами под градом пуль. Фрицы, разумеется, взяли советского командира на мушку. Вот он пошатнулся и замедлил шаг: ранен в ногу. Ондржей увидел, как сзади выбежал молодой солдат, ловко, как кошка, подскочил к офицеру, заслонил его своим телом и стал двигаться вперед, прикрывая командира. Этот солдат

был Володя. Ондржей сразу узнал его бледное, почти девическое лицо, когда каска упала с головы Володи.

Потом Ондржей увидел, как юноша упал, раненный несколькими пулями. Командир с трудом нагнулся, расстегнул пояс, привязал им Володю к себе и едва дотащил его до берега.

Все трое потом встретились в полевом лазарете,— Ондржею осколком гранаты оцарапало лицо, советский офицер был ранен в ногу. Он еле доковылял до носилок, на которых лежал бледный как мел Володя.

— Володя,— сказал он, нагибаясь к умирающему,— Володенька, ты слышишь меня?

Но у Володи уже не было сил посмотреть на него или улыбнуться. Он прикрыл глаза, как усталый человек, закончивший свою работу.

Так восемнадцатилетний Володя написал кровью на льду свои последние «тихие стихи». Товарищи плакали, опуская его в могилу. И это были хорошие слезы, после них рождались новые подвиги.

КАК БЛАЖЕНА ПЕРЕСТАЛА ВЕРИТЬ В БОГА

Блажена жила второй год в Равенсбрюкском концентрационном лагере. В ней нельзя было узнать прежнюю цветущую молодую женщину, полную любви. Ее изменили не только *хефтлинговский* полосатый, как зебра, *кринолин* и неуклюжие деревянные башмаки, в которых она вначале еле двигалась, не только гладко зачесанные волосы, как полагалось заключенным женщинам будто бы из гигиенических соображений (на самом же деле для того, чтобы узницы выглядели как можно безобразнее и не казались привлекательнее надзирательниц с лошадиными лицами, ходивших в эсэсовских фуражках). Дело было даже не в землисто-желтом цвете лица и не в худобе. Перемена была глубже, она произошла во всем ее существе.

Прежде Блажена была верующей. Ее простая женская душа жила в полном согласии с христианскими праздниками рождества и воскресения, врожденная доброта — с учением о любви к ближнему. Блажену очаровывала поэзия католического календаря, этот венок ежегодных праздничных обрядов, проникнутых в деревне такой задушевной прелестью. Она и бабушка по-прежнему ходили к рождественской заутрене, хотя вместо восковой свечи дорогу им освещал уже электрический фонарик; старинные песнопения трогали ее так же, как стихи в школе; озаренная огнями церковь и полуночное церковное пение влекли ее, как ми-

стерия; потом приходила весна с поющими ручейками; в страстную пятницу, когда колокольный звон достигал самого Рима, она весело смеялась с детьми на маленьком шахтерском кладбище около церкви святой Маркеты, а в страстную субботу шла по деревне с праздничным крестным ходом в честь воскресения Христова. Она с малых лет привыкла проводить время под открытым небом, на солнце, шалить с козлятами, носиться, как жеребенок, по скошенным лугам, а когда на жнивье становилось ветрено, пускать вместе с мальчишками змея и посылать ему «письма» в вышину. О, боже! Вместо веселого дымка, пахнущего картошкой, которая печется в золе костра, сейчас к ней доносится ужасный сладковатый чад из равенсбрюкского крематория, а если ветер чужой стороны по ошибке и принесет заключенным через высокую стену какой-нибудь из ласковых деревенских запахов — дыхание скошенного луга, аромат смолы,— тем хуже, тем хуже. Он томит тоской о вольном чешском крае, о лидицкой долине, о всех милых и близких, от которых оторвали Блажену. Когда она училась в школе, то возила Вену к матери в поле. Мать давала ребенку грудь и опять шла работать, а Блажена охраняла сестричку в холодке под ольхой и орешником и веточкой отгоняла мух, чтобы они не кусали девочку. Чтобы ее никто не ужалил! Где-то теперь Вена? Она написала одну открытку из Польши — и с тех пор ничего. А Вацлав с отцом даже и не написали ни разу. И родители Вацлава, которые жили в Буштеграде и иногда писали Блажене, не обмолвились о нем ни словечком. Он как сквозь землю провалился. Но Блажена надеялась, что отец и Вацлав находятся тоже где-нибудь в Польше.

Уже тогда, когда лидицкие матери поняли безбожную ложь, которой им так хотелось верить, будто дети, увезенные на грузовиках, будут ждать их в лагере, а между тем о детях не было ни слуху ни духу, словно их вообще не существовало,— уже тогда в душе Блажены что-то надломилось, и она, пересиливая себя, читала «Отче наш» бесконечное число раз, не имея сил уснуть от усталости в первую ночь на тюфяке в *штубе* [1]. «Остави нам долги наши...» — но ведь мы ничего не должны! — «...яко же и мы оставляем должникам нашим...» — нет, Блажена ничего не прощала нацистам, не могла и не хотела простить. И как глух и равнодушен был бог там, в беспредельной вышине, если не внимал отчаянному плачу невинных и позволял совершать грехи, вопиющие к небу!

Больше всего она жалела бабушку. Если молодая Блажена так страдала оттого, что ее вырвали из родной почвы, что же говорить о старушке! Это несчастье ее подкосило. Ей не оставили

[1] Здесь: барак (от *нем.* die Stube — комната).

даже горстки родной земли, которая могла бы ее подбодрить в *лагере,* отняли последний кусочек Лидице. Ее поселили не в бараке с лидицкими соседками, а отправили в лазарет со старыми *штрикеринками* [1], и ни Блажена, ни мать не имели права навещать ее.

А бабушка не могла даже вязать, руки у нее болели, она не в состоянии была работать, и поэтому ей почти не давали есть. Да ей ничего и не хотелось. Она сидела у окна, смотрела на унылые бараки и проволоку, погибая от тоски и слабости. Блажена знала, что бабушке плохо. Как-то она убежала в обеденный перерыв из пошивочной мастерской в лазарет, к бабушкиному бараку. Бабушка сидела у окна. Блажена стояла вблизи, они видели и слышали друг друга, но их разделяли многочисленные запоры и чужой произвол, и они не могли обняться. Дома Блажена помогала бабушке, а здесь не могла подать ей даже воды. Бабушка, заметив внучку, тихонько заплакала. Сердце разрывается, когда видишь слезы старого человека.

— Помоги мне, помоги, Блаженка,— звала она.— Я так хотела бы умереть дома.

А Блаженка стояла тут же, сердце у нее щемило от жалости и любви, но она ничего, решительно ничего не могла сделать. Такое бессилие может довести до отчаяния. Она не могла и пальцем двинуть ради бабушки. Блажена сказала ей что-то нежное, поспешно пообещала прийти еще и тут же должна была убежать обратно в пошивочную. Она влетела туда в самую последнюю минуту. В спешке черная вьющаяся прядь выбилась у нее из предписанной *хефтлинговской* прически и упала ей на лоб.

— Bist du denn eine Jüdin, daβ du so kraus bist? [2] — закаркала одна из надзирательниц мастерской по прозвищу «Ворона», в ярости ударив по лицу измученную и расстроенную женщину.

С этим ударом Блажена почувствовала, как в ней стремительно рушится и падает что-то, давно уже подмытое и надломленное,— вероятно, воздушные храмы религии, и вдруг ей стало с беспощадной жестокостью ясно: бога нет.

Вечером бабушка скончалась, а с ней ушла и девичья наивная вера Блажены.

Бабушка умерла, избежала газовой камеры. Газовая камера угрожала матери Блажены. Мать слабела, чахла, преждевременно старела, волосы у нее поседели, возникла опасность, что ее отправят в газовую камеру, как большинство седых женщин. Но подумайте только, что сделала Зденка, чешский врач, когда мать

---

[1] Вязальщицами (от *нем.* stricken — вязать).

[2] Разве ты еврейка, что такая кудрявая? *(нем.)*

Блажены попала с тяжелым гриппом в лазарет. Зденка подкрасила ей волосы; мать стала опять черноволосой, как в молодости. Если бы об этой проделке догадались, это могло бы стоить Зденке жизни, тем более что она была известная коммунистка, ее отец открыто выступал в Москве, и за ней, конечно, очень следили. Но такие штуки она проделывала ежедневно, как бы между прочим. Своей незаметной отвагой, умом, приветливым спокойствием, за которым таилась непреодолимая энергия, источника которой Блажена пока еще не видела, Зденка сумела завоевать авторитет даже у нацистского лагерного начальства, а узницы называли ее «ангелом-хранителем». Конечно, это был не тот ангел-хранитель, которого изображают на олеографиях расписным красавцем с гусиными крыльями и вешают над красиво застланными постелями. Это была сознательная молодая женщина с дезинфицированными инструментами в руках и с научно обоснованной верой в лучший мир. Галачиха и Мильча, две заключенные из Панкраца, с которыми Блажена часто встречалась во время *фрайштунда* [1], единодушно утверждали, что Зденка напоминает им другую докторшу — Елену Скршиванкову, с которой они жили в одной камере и которой до сих пор не забыли. Еленку расстреляли в Кобылисах. Вечная ей память! Как и Зденка, она была ласкова с людьми, весела, всегда могла придумать, как помочь человеку; она тоже была коммунистка. Откуда коммунисты берут эту настойчивость, эту отвагу? Зденка не побоялась рискнуть жизнью ради неизвестной женщины, жены шахтера из Лидиц, и Блаженка боготворила ее за это.

Мать, однако, нуждалась не только в окраске волос — необходимо было поставить ее на ноги. Каждый лимон, который дойдет до лагеря, прятать для больной из Лидиц! Ей нужны витамины. Связные разнесли по лагерю тайный приказ Зденки, и множество людей протянуло руку помощи. Один присылал лимон, другой банку сгущенного молока, третий — какао, четвертый — плиточку шоколада, пятый — кусочек сахара... сколько всего нашлось в голодном лагере, когда Зденка сумела волшебной палочкой открыть в людях источники доброй воли и свести их в единое русло. В лагере были норвежки, которые получали обильные посылки через Красный Крест и делились ими с подругами по лагерю, подружки, в свою очередь, передавали продукты дальше; многие узницы, например Мильча, ходили работать к Сименсу, а там шел бойкий обменный торг среди попавших под *тотальную мобилизацию* рабочих всех национальностей (у Сименса был настоящий Вавилон), а тот, кто не работал у Сименса и не получал

[1] Перерыва (от *нем.* die Freistunde).

посылок из дому, делился с больной из Лидиц хотя бы воскресным пайком маргарина. И мать Блажены действительно выздоровела, спаслась от газовой камеры и благополучно вернулась в барак к дочери. Какая радость! Тогда Блажена всем существом поняла, какая чудотворная сила таится в солидарности. Не одна Зденка, а весь коллектив спас мать Блажены.

Концентрационный лагерь окружала проволока, по которой был пущен смертоносный ток. Но через некоторое время Блажена, словно у нее глаза привыкли к темноте, начала распознавать другую, невидимую сеть проводов. Они не убивали, они побуждали к хорошим поступкам и мужественным подвигам; они несли надежду выжить. В эту подпольную сеть проводов включилась вся возможная антифашистская энергия. А ее источником всегда была коммунистка.

Удивительная жизнь, полная противоречий! Франция позорно предала нас в тридцать восьмом году, бросила нашу страну на растерзание нацистам и вместе со старым правительством Первой республики помогла уготовить для Блажены лидицкую судьбу. И вот из этой проклинаемой нами Франции в Равенсбрюк попала молодая перчаточница, входившая в организацию «Jeunes filles de France» [1], и первая дала Блажене в руки большевистскую библию — «Историю ВКП(б)». Француженка пронесла книгу в лагерь в крохотном подпольном издании, напоминающем форматом наши старинные шпалички, с маскирующим титульным листом: «Стихи Виктора Гюго».

Ева Казмарова, учительница средней школы, знающая французский язык, вкратце излагала содержание, а Блажена записывала его на узеньких полосках бумаги, на которые наматывались нитки в пошивочной мастерской,— это были буквально «мотки». Иногда в переводе оказывались пропуски. Это бывало в тех случаях, когда в мастерскую неожиданно врывалась Ворона или особенно опасный эсэсовец, недоросль Франц, и переводчице приходилось глотать записку. Над этим потом смеялись во время перерыва, если заключенные были одни. Вообще же иногда они смеялись только для того, чтобы казалось, будто они болтают глупости. Они гуляли по двору разрозненными группами, разбившись по национальностям, а Ева или Густа говорили немного громче обычного: они учили других. Регулярно на прогулках, а иногда и по воскресеньям в блоке узницы изучали «Историю ВКП(б)».

Гиммлер, властелин всех застенков в «новой Европе», был когда-то учителем математики. Но он не сумел подсчитать, что вместе с Гейдрихом основал столько же нелегальных школ ком-

[1] «Девушка Франции» *(франц.)*.

мунизма, сколько существовало концентрационных лагерей. В руки людей, принадлежавших к старым кадрам, людей стойких, как гранит, крепких духом, прекрасных, опытных политических работников, умеющих влиять на окружающих, попадали мягкие, наивные, неопытные новички. Опытные политработники помогали им и формировали их сознание. А те влюблялись в своих учителей, в благородство их деятельности и поэтому шли за ними. Нацисты загоняли в ворота между пулеметными башнями узников несознательных, как жертвенные ягнята, а в лагере узники становились сознательными бойцами. Как ни удивительно, но в Равенсбрюке горизонт Блажены стал шире, хотя она жила за высокой стеной. Она видела гораздо больше, чем в Лидице, где ее, хотя она и была на свободе, связывали мелкие домашние заботы. Из деревенской «соседки» она превратилась в товарища, и ей стал интересен весь мир! И когда-нибудь она станет его переделывать. Да, станет! Чтобы не было больше фашизма и войн!

СОЛНЦЕ ЛАГЕРЯ

Доктора Зденку, обритую наголо, с громадными глазами человека, перенесшего сыпной тиф, перевели в концлагерь Равенсбрюк из Освенцима. Впервые появившись в Равенсбрюке, она сказала другим заключенным:

— Это же не лагерь, девочки, это санаторий!

В Биркенау узниц гоняли на разборку развалин — три часа ходьбы туда и обратно — и заставляли на обратном пути нести по кирпичу в каждой руке. Это была совершенно бесцельная работа, сизифов труд, который убивает своей бессмысленностью не только тело, но и душу человека. Узницы ходили в деревянных голландских башмаках. Зденка не привыкла к такой обуви, на ногах у нее образовались большие кровавые мозоли, причинявшие адскую боль. Известно, что повреждения наружных тканей всегда болезненнее внутренних. Но, вернувшись в лагерь, нужно было пройти бодрым шагом сквозь строй эсэсовцев. Зденка всем своим существом сознавала: хромать нельзя, я должна выжить! Превозмогая нестерпимую боль, она пробегала мимо эсэсовцев, которые стояли наготове, держа в руках палки с загнутым концом. Этим крюком они зацепляли и выволакивали узниц, которые хромали или вообще выглядели слишком усталыми после работы. Таких сразу же отправляли в газовую камеру.

Девушки, однако, сговорились ни за что не идти в газовую камеру. Они поднимут восстание! Это, наверно, звучит смешно в их беспомощном положении. Ясно, что живыми они после этого

не останутся, эсэсовцы их перестреляют. Но лучше пасть в неравном бою, чем дать задушить себя газом.

Когда транспорт проезжал через Берлин, женщины стали друг другу на плечи, устроили живую лестницу, чтобы та, которая взобралась наверх, могла выглянуть из вагона и описать остальным развалины ненавистного города. Каково же было их разочарование — Берлин был цел. А они еще в 1942 году вообразили, что он разрушен бомбами.

Началась *тотальная мобилизация:* нужно было лечить выбывших из строя рабов, и гитлеровцы вернули Здену в лазарет. Там она работала под началом главного врача, эсэсовца Трайте, стяжавшего мрачную известность стерилизацией цыганских девочек. Там же работал тупица Ганс, за два года получивший диплом «врача военного времени». Здена всему его обучала, и он целиком зависел от нее. Здене приходилось работать под надзором старшей сестры — злобной немки, которая неотступно следила за чешской докторшей и смертельно ее ненавидела. У старшей сестры были лесбийские наклонности, и вдобавок она еще влюбилась в Трайте и ревновала его к Зденке. Немка ненавидела стойкую и недоступную красавицу медичку за ее обширные медицинские познания, неприступность и моральную неуязвимость, которую эта чешка настойчиво вырабатывала в себе. Словом, старшая сестра была помехой тем уловкам, к которым прибегали Здена и Ганка, спасая жизнь заключенным.

Ганка, правая рука Здены, ее ассистентка и переводчица с шести языков, умела ловко заговаривать зубы. Сколько узниц она выручила своим находчивым переводом, помогая докторше! Кроме того, она артистически орудовала термометром. А это была опасная игра. Посвящена в нее была только Здена. Она и Ганка вместе прибыли из Освенцима, а кто прошел Освенцим, у того закаленные нервы.

Прибегает к Ганке Блажена из чешско-французского барака: Софи, ту перчаточницу, что тайно привезла в лагерь «Историю ВКП(б)», посылают в *арбейтслагер* [1]. Софи слаба, она там не выживет. Староста барака передает Здене, что надо не допустить отправки Софи, надо устроить ее в лазарет.

Легко сказать, а какую болезнь у нее найти? Ладно, посмотрим.

Пускай сейчас же скажется больной.

Софи сказалась больной, когда была уже включена в список. Ее привела надзирательница, а это сильно затрудняет дело.

Началась обычная процедура. Француженка легла на койку.

---

[1] Рабочий лагерь (от *нем.* der Arbeitslager).

Ганка поставила ей градусник. Oberschwester[1] сидела рядом за столиком, наблюдала и записывала.

Ну, температуру смастерили приличную: тридцать девять и шесть. Старшая сестра, правда, следила, как ястреб, но не догадалась, что у Ганки был не один градусник, а два. Если бы это было замечено, Зденка и Ганка тотчас вылетели бы из лазарета.

Один градусник был для общего употребления и показывал действительную температуру. Другой — для «особых случаев» — всегда показывал тридцать девять и шесть. Ганка с ловкостью фокусника подменила его, вытащив из рукава.

— На что жалуетесь?

Француженка ответила, что у нее колет в спине и болит голова.

— Нестерпимая боль в спине и в груди,— переводила Ганка.— При каждом вздохе режет, как ножом. Дышать нет сил. Просто задыхаюсь. Голова разламывается, ничего не вижу, все кружится перед глазами.

Еще бы, а как же иначе при такой температуре!

Здена поставила диагноз:

— Плеврит в тяжелой форме. Уложите ее на койку. Постельный режим.

Снова примчалась надзирательница, злая, как фурия, и заорала: француженку она не отдаст, француженка уже внесена в список — значит, не хватит одного номера, и с нее, с надзирательницы, спросят. А что она скажет? Нет, так не годится, пускай проверит главный врач.

Этого еще не хватало!

Старшая сестра с удовольствием направилась за проклятым Трайте. И все началось сначала.

— Nachmessen![2]

Ганка снова «намерила» тридцать девять и шесть.

Трайте взял пациентку за руку и вынул часы. Первое испытание. Ведь пульс должен соответствовать температуре. Софи обмерла от страха и побледнела как смерть. На счастье, с перепугу и пульс у нее участился.

— Ausziehen![3]

Сейчас произойдет катастрофа. Стоит Трайте выслушать пациентку,— и все пропало. Ведь в легких у девушки как назло никаких хрипов. Зденка смотрела на худую обнаженную спину француженки и со страхом ждала, когда Трайте приложит к ней

---

[1] Старшая сестра *(нем.)*.
[2] Измерить снова! *(нем.)*
[3] Раздеться! *(нем.)*

ухо. Бывало, в школьные времена, Здена, не зная урока, «гипнотизировала» учителя, чтобы он ее не вызвал. Так же и сейчас она с предельным напряжением воли мысленно твердила ненавистному Трайте: «Ты, скот, не будешь ее выслушивать! Ты, скот, не будешь ее выслушивать! Ты, скот, не будешь ее выслушивать!»

Трайте с отвращением взглянул на девушку, напоминающую скелет, и, не притрагиваясь к ней, приказал:

— Anziehen! [1]

Надзирательница вычеркнула фамилию француженки из списка. Софи, Ганка и Зденка были спасены. Но после таких случаев появляется слабость в ногах, словно человек прошел бог весть сколько километров по пути в вечность...

Старшей сестре не удавалось уличить Зденку в обманах, но она неустанно следила за ней и продолжала смертельно ненавидеть.

— Знаете, *Штенка*,— сказала она однажды, помахав какой-то бумагой.— Вами интересуется пражское гестапо. Wenn jemand aus dem Lager hinauskommt, Sie werden es sicher nicht sein — если кто-нибудь и выйдет из этого лагеря, то, во всяком случае, не вы.

— Das ist mir herzlich egal! — Мне это совершенно безразлично! — ответила Зденка.

Это не была поза, с помощью которой гордый человек защищается от врага. В словах Зденки была доля правды. Она свыклась с мыслью, что ее рано или поздно убьют. Так человек на свободе, зная, что он когда-нибудь умрет, не думает каждый день об этом. Он рассчитывает на жизнь, а не на смерть. У Зденки это не было покорностью судьбе, она хотела жить, жить, несмотря ни на что. И именно поэтому она не намерена была робеть перед смертью, уступить ей, подчиниться. Тот, кто сумел однажды превозмочь страх смерти, чувствует себя свободным — вот что определяло отважное поведение Зденки.

Когда врач-эсэсовец Трайте решил заняться «научными экспериментами» и придумал идиотский, вредный и гнусный метод — лечить тиф клизмами из мочи беременных женщин, он разделил тифозных больных на две группы — обычную и экспериментальную. Экспериментальных велено было лечить клизмами, не применяя никаких лекарств, чтобы Трайте мог проверить свой метод. Но результатов не было видно: Трайте не знал, что Зденка тайком саботировала его метод и лечила всех тифозных обычными, проверенными медициной способами. Какие еще могут быть эксперименты над женщинами, которые и без того дышат на ладан! У одной из подопытных как раз наступил кризис. Зденка впрыснула ей глюкозу. Как назло в этот момент вошла старшая

[1] Одеться! *(нем.)*

сестра и тотчас побежала за главным врачом. Трайте пришел, и громы обрушились на голову Зденки.

Но она не склонила головы и не стала отпираться. Она выпрямилась во весь рост перед Трайте:

— Герр доктор, получая звание врача, я дала клятву никогда не пренебрегать необходимой помощью больному человеку. Эта женщина умерла бы, не окажи я ей такую помощь.

— *Quatsch!* [1] — ответил Трайте словечком, которое лучше всего выражало циничное отношение нацистов ко всему на свете.— Подождите, вы еще за это поплатитесь!

Трайте перестал разговаривать с ней, не замечал ее, не приказывал ей помогать ему, хотя она была превосходная ассистентка и нередко заканчивала операции за него; сам он был далеко не блестящим медиком.

Тупица Ганс, который не мог обойтись без Здены, посмеивался:

— Ну, *Штенка,* наказали вы себя, можете радоваться! Знаете, куда вас теперь переведут? В инфекционное отделение!

— Вот повезло! — воскликнула Зденa.— Герр доктор, это же замечательно! Вы даже не представляете себе, как я рада. Инфекционные болезни меня страшно интересуют, я уже давно втайне мечтала заняться ими...

Оттого, видимо, что Зденa показала себя такой неустрашимой, вокруг всей этой истории не стали поднимать шума, и чешка осталась в лазарете.

Стоять на своем, если ты прав, не сдаваться — это была отцовская школа. Отец подбадривал народ, выступая по московскому радио, его сын-музыкант своим творчеством поднимал дух чехословацких солдат, а дочь сохраняла жизнь коллективу заключенных. Она не только лечила болезни, но и духовно врачевала людей. Когда на тайном собрании узниц заходила речь о чем-нибудь принципиально важном, мнение Зденки бывало решающим. Нередко случалось, что узница, впадая в отчаяние, бежала к Зденке. Молодой врач, она была постоянно окружена людьми, постоянно занималась чужими судьбами, словно у нее не было своей собственной. О себе она никогда не говорила.

Она ни с кем не поделилась своим горем, никому не сказала, что она пережила за одну ночь, когда уже здесь, в Равенсбрюке, узнала о смерти мужа, доктора Недведа, вместе с которым была в лагере Биркенау. Они оба заболели сыпным тифом, и Недвед умер. Еще накануне он предупреждал товарища: «Не ходи, лежи. Если при тифе рано встать, можно схватить воспаление легких».

---

[1] Вздор! *(нем. жарг.)*

Но сам молодой врач не последовал собственному совету, преждевременно встал, чтобы помочь другим, и уже на следующий день его не стало.

Не всегда супружеская жизнь складывается так, как мечтают жених и невеста на заре своего счастья. Но этот брак был по-настоящему счастливым. Прекрасная молодая пара, оба врачи, полное взаимопонимание, любимая дочурка, дружба обеих семей, Недведов и Неедлы... Нет, никто не знал, какую ночь пережила Зденa Недведова. Но утром она явилась в лазарет, как всегда чисто вымытая, в белоснежном халате; она даже улыбалась. Заключенные называли ее «солнцем лагеря».

В ней была какая-то духовная неуязвимость, и Зденка старалась воспитать ее и у других заключенных. Первым условием была чистота тела. У Здены был на этот счет опыт: пока люди моются, у них все в порядке, перестают мыться — наступает моральный упадок. Коммунистки выдвинули лозунг: «Будьте чистоплотны, будьте опрятны, не опускайтесь! Пусть тюремщики видят, что они не сумели заставить нас пасть духом, что они не согнули нас».

Блажена, которая дома выглядела как куколка, у которой в комнате не было ни пылинки, восторженно пропагандировала эту идею.

Впрочем, среди чешских женщин это было нетрудно. Чешки были выносливы и опрятны, они привыкли и дома мыться холодной водой, стирать, прибирать, проветривать комнаты, чинить свои вещи. Труднее было с изнеженными француженками. Эти южанки боялись холодной воды и о каждом пятнышке, которое появлялось у них на коже, говорили возвышенно и туманно: «Авитаминоз!» Конечно, в лагере был авитаминоз, но при чем тут грязь? Вши — бич лагеря — досаждали и опрятным людям, не говоря уж о тех, кто всячески избегал холодной воды, если не было теплой.

Однажды вечером Зденка зашла в чешский барак повидать пожилых женщин. Для тех очень много значило, когда молодежь проявляла к ним внимание, а особенно Зденка, «солнце лагеря». Зденка появилась в белоснежном халате, рослая, приветливая, веселая, ослепительно чистая, и улыбнулась женщинам, которые, распахнув окна настежь, разложили одеяла и истребляли в них вшей.

— Как поживаете, женщины, что делаете?

— Сама видишь,— отозвалась языкастая Галачиха,— давим *авитаминоз!*

Бывали и трагические случаи. Милада, настоящий, хороший человек, тоже когда-то жила в счастливом супружестве. Ее мужа казнили во время «гейдрихиады». Милада знала об этом и сумела справиться со своим горем. У нее было двое детей, надо было

жить для них. В Равенсбрюк приходили открытки, написанные детскими каракулями, и, как струйки живой воды, освежали душу молодой матери. Она держалась мужественно, не опускала рук.

Но однажды в чешском бараке появилась новенькая, неискушенный «*цуганг*», этакая сентиментальная бабенка, не знающая неписаных лагерных законов. В лагере не полагается спрашивать друг друга: за что вы сюда попали? Заключенные говорят только о том, что вот опять сократили хлебный паек, о том, какую новую глупость изрекла свирепая Ворона, о положении на фронте. Но никто никогда не рассказывает о чужих домашних делах и даже не намекает на них. Об этом в лагере полагается молчать. Таков неписаный лагерный закон. А эта баба, как увидела Миладу, кинулась к ней и давай обниматься и хныкать:

— Милада, дорогая Милада, боже, как я тебя жалела! Муж у тебя погиб... а теперь вот и бедняжки дети...

Милада обомлела.

— Что с детьми?

— Золотце мое несчастное, ты и не знаешь? Увезли их, увезли в неволю, никто не знает куда...

Ошеломленная Милада потеряла голову. И побежала к Зденке. Куда же еще, как не к этой врачевательнице душ?

— Зденка, ты все знаешь, к тебе сходятся все вести. Ты прямой человек, скажи мне всю правду,— умоляла она.— Я должна ее знать. Слышала ты что-нибудь о моих детях? Что с ними? Я все снесу, только, ради бога, скажи правду!

Зденка знала, что, к несчастью, все это действительно так. Но достаточно было взглянуть на Миладу, чтобы понять, что эту женщину убьет та правда, которой она так жаждет. «А что, если бы то же случилось с моей Ганичкой?» — подумала Зденка. Что было делать? Зденка умела все выложить в глаза своему начальнику — эсэсовцу, но у нее не хватило духу сказать правду отчаявшейся Миладе. Разве может доктор заявить тяжелобольному: «Ты умрешь»? Больного это убьет. И Зденка прибегла к последнему средству, которое действовало, когда не удавались все попытки ободрить отчаявшегося человека,— она перестала утешать Миладу и прикрикнула:

— Дура ты, Милада, вот что! Вот уж не думала. Ты что, меня не знаешь? Веришь ты мне? Пришла какая-то безмозглая болтушка с глупыми слухами, а ты уж и поверила. Я на тебя сердита, честное слово! Не понимаешь ты, что ли, что это просто дурища, жадная до сенсаций, ей хочется показать, что она много знает, а ты поддаешься на это. Ведь дети пишут тебе, дурная! Так не давай сбить себя с толку, возьмись за ум!

Дети и в самом деле писали Миладе, только это были чужие дети, которым дедушка и бабушка диктовали письма, чтобы сохранить дочери обретенное с таким трудом душевное равновесие.

— Кому же ты веришь, Милада, мне или этой болтушке? Вот я еще поговорю с ней!

— Тебе! — плакала Милада.

Зденка ее так отчитала, что она наконец перестала сомневаться.

Но как только Милада ушла, Зденку охватил невыразимый страх за собственную дочь. А вдруг и меня также обманывают родные и я не знаю об этом? Тетя, у которой жила девочка, прислала однажды Зденке фотографию Ганички. Как она выросла, какая стала хорошенькая, ясноглазая! Зденка глаз не могла отвести от карточки. Но держать у себя больше суток полученную фотографию не разрешалось, надо было сдать ее в канцелярию лагеря. Таковы были лагерные порядки: немцы всячески старались ущемить и унизить заключенных. Одна из узниц — все они готовы были исполнить любое желание Здены,— молодая художница, наспех и с риском попасться, перерисовала эту фотографию. Сходство получилось не полное, но все же девочка была похожа, и Зденка тайком радовалась, глядя на нее. А сейчас ее пугала эта немного чужая Ганичка. Что, если с ней случилось то же, что с Миладиными детьми?

Вот как одна глупая, болтливая баба может испортить бодрое настроение! С этим надо кончать! Зденка еще в тот же вечер зашла в чешский барак и строго поговорила с новенькой. Та даже не пикнула в ответ.

А Зденка с тех пор завела такой порядок: каждого новичка в лагере в первый же день предупреждали: «Этой темы не касайся. Особенно при лидицких женщинах».

МОЛОДОСТЬ МИРА

Советские девушки, медсестры, захваченные немцами во время помощи раненым на поле боя или в разбомбленных санитарных поездах, держались в лагере сплоченной группой, подобно гранитной скале, о которую бессильно разбивался мутный нацистский прибой. Когда их привезли, эсэсовцы для острастки заставили голодных девушек выстоять сутки у стены. Но молодые советские гражданки не дали запугать себя; когда они впервые появились среди других заключенных, под глазами у них виднелись темные круги после мучительных суток, проведенных на ногах, без минуты сна, но строевая выправка не исчезла. Это были рос-

лые, крепкие и гордые девушки, здоровые телом и твердые духом. С узницами других национальностей они вначале вели себя очень сдержанно. Видно было, что они пришли из другого мира и намерены сохранить его для себя и здесь, в лагере.

Зденка немедля попросила, чтобы русские, как опытные медсестры, были прикомандированы к лазарету. Она с полным основанием указывала на то, что в лазарете работы по горло, а персонала очень мало. Когда за день на прием приходило сто пятьдесят пациентов, Зденка и Ганка говорили друг другу: «Что это сегодня никого нет?» — потому что они привыкли к трем сотням пациентов в день. Но лагерное начальство предпочло отправить большинство советских квалифицированных медсестер на работу в пошивочную.

Пошивочная находилась в самом центре лагеря, огороженного колючей проволокой и обнесенного высокой стеной с пулеметными башнями. Блажена, Ева, Галачиха и другие узницы шили там обмундирование для эсэсовцев и арестантскую одежду. Работали они у конвейера.

— Как в Улах, ей-богу, как в Улах! — смеялась Галачиха.— Прости меня, Евочка, «Яфета» была тоже хорошим концлагерем.

— Но оттуда хоть можно было вылететь,— возразила Ева несколько обиженно. Для нее было тягостно всякое напоминание о том, что она имела отношение к фирме «Казмар — «Яфета» — Готовое платье».

— Я знаю, девочка, знаю, что ты не того поля ягода,— примирительно сказала Галачиха своим певучим, убаюкивающим улецким говором.— А то бы ты сюда не попала.

Советские медсестры быстро научились шить, и работа могла бы идти у них как по маслу, но вот беда: каждую минуту в машинах что-нибудь да ломалось, и из-за этого приходилось останавливать весь конвейер.

Ворона ругалась, кричала, что эти дикари не умеют даже с машиной обращаться. Ворона каркала, что это саботаж и она разделается с виновными. Но ни крик, ни побои не помогали.

— Ну что, что вы хотите? — энергично возражала по-русски красивая девушка с миндалевидными глазами и венком черных кос на небольшой античной головке.— Ну, испортилась. У вас плохие машины. Нужен ремонт. Где механик?

Приходил немец-механик и возился так долго, как только мог, он тоже был политический.

Советские девушки саботировали молча, последовательно, непоколебимо и неуловимо, сохраняя внутреннее спокойствие.

Они не страдали нервными расстройствами, как другие узницы лагеря. «Классические организмы»,—говорила о них Зденка. Русские не болели и не знали недомоганий. Они или были здоровы, или быстро умирали. У нас в городах вы у каждого человека найдете туберкулезную инфекцию, и это дает ему частичный иммунитет. А не знающие болезней легкие русских и украинок, едва в них попадала бацилла туберкулеза, были обречены: болезнь протекала скоротечно, как у грудных детей,— через шесть недель девушка умирала. Надо было во что бы то ни стало восполнить чем-то недостаток питания. Чешки на тайном собрании решили, что каждая возьмет шефство над одной из русских девушек. В чешском бараке были уже прочно закреплены позиции: Блажена стала *старостой,* Галачиха — *старшей дежурной.* Они, как говорилось в лагере, *«организовывали»* хлеб и маргарин для советских подруг, а когда этому мешал контроль, потихоньку делились с ними собственными порциями.

Блажена выбрала себе красавицу с миндалевидными глазами. Девушку звали Кето. У них на Кавказе это излюбленное имя.

— Ты не украинка?

— Нет, грузинка. Из Батуми на Черном море. Из Аджарии.

— Там, наверно, красиво?

— Еще как! После войны приедешь, Блажена, ко мне в гости. Нарвешь себе винограду, персиков, мандаринов...

— У вас растут мандарины?

— Да. Пойдем вместе на Зеленый мыс, там, знаешь, есть замечательный ботанический сад над морем. Цветут магнолии, миндаль, персидская сирень и всякие тропические растения. У тебя голова закружится от ароматов. У нас вечная весна.

— Ишь ты! — сказала Галачиха.— А говорят, что в России всегда мороз.

— Да уж пробрал он этих проклятых, так им и надо! — вспыхнула вдруг Кето, сверкнув глазами.— Досталось им в первую же зиму! Ты читала «Войну и мир»?

Ева Казмарова знала эту книгу и находила в ней моральную опору, когда гитлеровцы напали на Советский Союз. Ведь в романе Толстого рассказано, как прискорбно завершился наполеоновский поход в Россию.

— Вот! — воскликнула Кето.— Так будет с каждым, кто посмеет вторгнуться в нашу страну. Фрицам не забыть Сталинграда! Нам, конечно, трудно,— англичане так долго не открывают второго фронта. Но в конце концов мы погоним фрицев до самого Равенсбрюка. Вот увидишь, наши еще придут!

— Да только когда? — вздохнула Ева Казмарова.

— Уж скорей бы! — сказала Галачиха.

— Все будет,— успокаивала их Кето.— Чехи страшно нетерпеливы, это я уже заметила.

— Не удивляйся, Кето, ведь наша родина порабощена.

— А что же вы не защищались тогда, в тридцать восьмом году? Тридцать наших дивизий стояли на западной границе, готовые в любой момент прийти вам на помощь. Да ведь и у вас уже была проведена мобилизация!

«Как она все о нас знает!» — подумала Ева Казмарова. При разговорах Кето с Блаженой Ева и Ганка обычно помогали подругам объясняться. Но грузинка удивительно быстро стала понимать по-чешски, а Блажена, в свою очередь, училась у нее русскому языку.

— Когда наших солдат распустили по домам, мой парень вернулся такой злой и несчастный, что я уж думала, он меня разлюбил,— вспоминала Блажена.— Ведь весь наш народ хотел защищаться, но у нас было плохое правительство.

— Господа боялись большевиков больше, чем того, чубатого,— вставила языкастая Галачиха.

— Я тогда всего этого не понимала, да и не интересовалась,— честно созналась Блажена.— И это была ошибка, большая моя ошибка. Наша судьба зависит от каждого из нас, теперь я это знаю. Ты добровольно пошла на войну?

— Все наши комсомолки записались на курсы медсестер. Кончили — и на фронт!

До войны Кето не была медсестрой. Она работала агрономом в колхозе, выращивала чай и мандарины, сажала защитные насаждения, делала опыты с гибридами, скрещивала разные породы фруктовых деревьев. Но со всем этим могут справиться и пожилые женщины, решила Кето и уехала на фронт с санитарной частью. В полевом лазарете работы было выше головы, там и не вспомнишь о доме, некогда. А здесь, в лагере, нечего делать и на сердце тоска... Тоска по морю, по горам, по ясному аджарскому небу, по всей светлой советской жизни...

Значит, и девушкам-героям бывает грустно? И они не стесняются признаться в этом? Блажена почувствовала, что Кето стала ей гораздо ближе после этого разговора.

— Я, знаешь ли, из небольшого селения близ Кладно,— начала она.— Называется Лидице. Живем мы в долинке, в стороне от главной дороги, никто нашу деревню не знает, ничего в ней особенного нет, но я ее страшно люблю. Есть там такой запущенный садик между нашим и старостиным домом. Там мы встречались с мужем до свадьбы. У меня и сейчас этот садик перед глазами! Цвели в нем бузина и боярышник, алый, как будто под лучами заката. А жасмину там было что звезд на небе! Перед сном я часто

представляю себе наши Лидице. Сущий рай! Сама понимаешь, Кето, родные места!

В глазах Евы Казмаровой, за очками с разбитым левым стеклом (шуточка эсэсовского сопляка Франца), появилось беспокойное выражение. Галачиха тоже насторожилась. Читателю уже известно, что по инициативе Зденки каждую новоприбывшую чешку еще в канцелярии предупреждали: здесь, в лагере, есть женщины из Лидиц, ничего им не говорить! Ведь Блажена и представления не имела, что радиостанции разнесли по всему миру весть о Лидицах, что Лидице теперь известны не меньше, чем Прага, что советские газеты поместили об этой деревне большие статьи, а английские шахтеры назвали именем Лидице свой поселок и в знак рабочей солидарности устроили сбор средств в пользу лидицких жертв, что и в Америке Рузвельта несколько поселков переименованы в Лидице. Не знала Блажена и того, какой ценой оплачена слава ее родной деревни.

Так что же, вспомнит Кето о судьбе Лидиц или нет? Только бы она не сказала лишнего при Блажене! Но в Советском Союзе много таких деревень. Так или иначе, но Кето сделала вид, что ничего не знает.

— Пойдем,— сказала она.— Будешь учить стихи. Самое лучшее стихотворение о Кавказе. А потом ты мне прочтешь чешские стихи... Я очень, очень люблю Лермонтова.

И над вершинами Кавказа
Изгнанник рая пролетал:
Под ним Казбек, как грань алмаза,
Снегами вечными сиял...

Кето декламировала с таким пафосом, на который не отважилась бы стеснительная Блажена. Но в молодой грузинке этот пафос совсем не казался неестественным. Она была исполнена восторга, умела проявить его и заразить им более сдержанных чешек.

— Сейчас, правда, над Кавказом летают не демоны, а самолеты,— с улыбкой сказала Кето уже обычным голосом, переводя дыхание после декламации.— Наши «ильюшины» летают, «мессершмиттов» мы уже прогнали. Но все равно, Лермонтов — мой любимый поэт. Когда мне грустно, я всегда вспоминаю стихи, это помогает. Ну, а теперь ты, Блажена!

Блажена подняла к ней глаза, полные слез. Это не были слезы горя, в лагере она никогда не плакала, не могла. Даже когда умерла бабушка. Нет, это были слезы умиления.

— Вот странно! — воскликнула она.— Мы с тобой из таких разных мест — и так похожи. Иной раз, когда я подумаю о том,

что же стало с моим мужем, отцом и сестренкой, когда вспомню, что они далеко и я не в силах им помочь... и придумать ничего не могу... тогда я тоже твержу про себя стихи. Наверно, чтобы убедиться, что я не помешалась, что я еще в своем уме...

— Верно,— согласилась Кето.— Правильно. Стихи очищают душу. Но ты мне тоже прочти какое-нибудь стихотворение, я от тебя не отстану.

Блаженой овладела чешская стеснительность.

— Лучше завтра, ладно? — уговаривала она.— Завтра на прогулке. Обязательно!

— До завтра меня могут расстрелять, и я ничего не услышу! — воскликнула Кето с горьким юмором.— Ну ладно, раз ты ломаешься, я сама прочту тебе чешские стихи!

Женщины удивленно уставились на нее. Кето начала по-чешски:

Был поздний вечер, первый май,
Вечерний май, любви пора,
Из-под смолистого шатра,
Воркуя, горлинка звала.

Кето произносила стихи Махи с непривычной для чешского слуха интонацией — вроде попугая,— но чешкам и это понравилось, они удивлялись и радовались.

— Кто тебя научил? — изумилась Блажена.

— Это ты ее научила, Ева, а? — спросила Галачиха.

— Нет, честное слово, не я!

Кето улыбалась, и губы на ее узком восточном лице были похожи на полумесяц.

— Угадайте кто!

— Ганка?

— Нет!

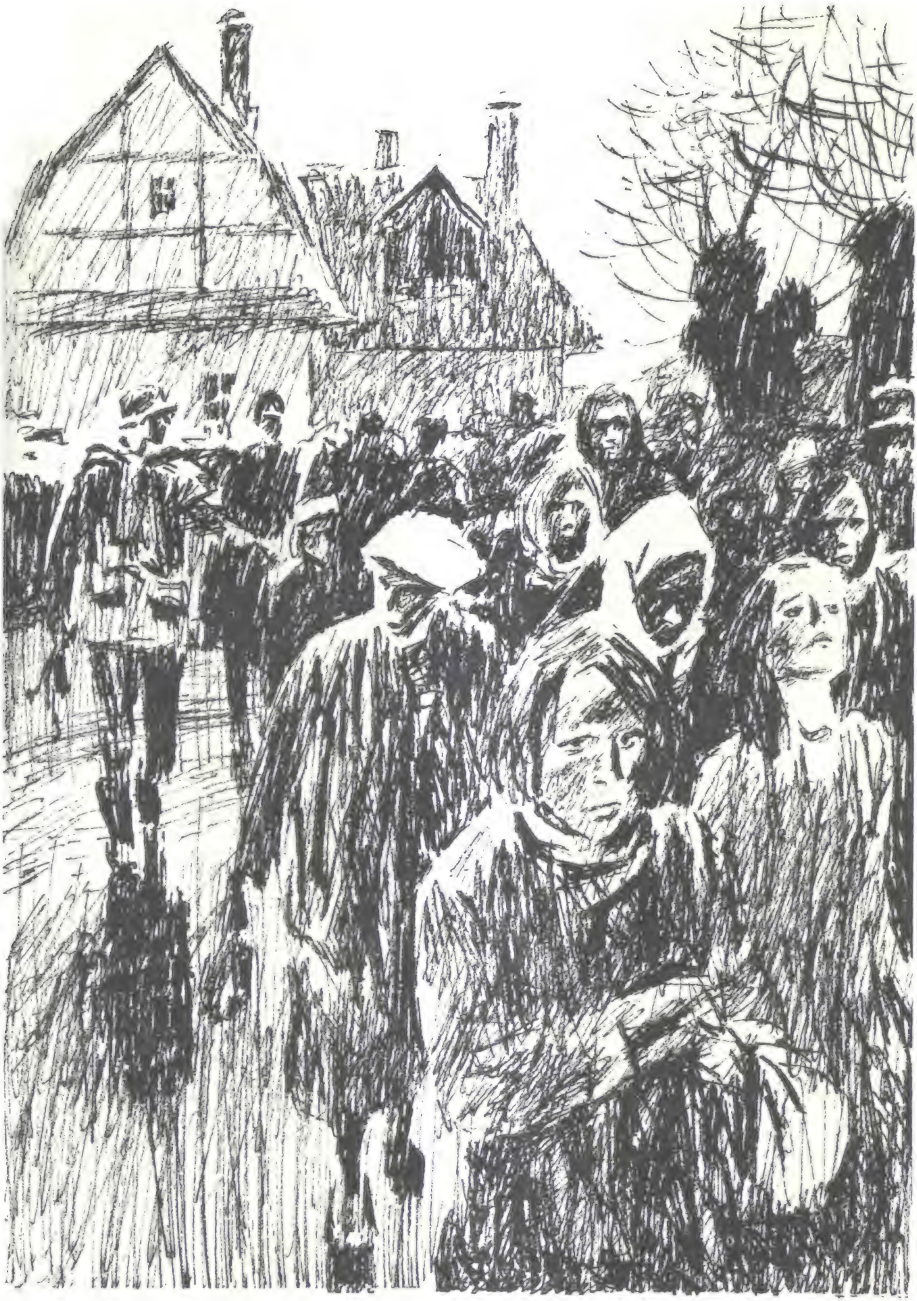
— А я знаю, Мильча! — воскликнула Ева Казмарова.— Наверняка Мильча. И не ради Махи, а потому, что в его стихах говорится о любви!

Кето лукаво сощурила глаза и улыбнулась торжествующе и загадочно.

— Знайте же, что этим стихам меня научила не чешка, а чех.

— Чех? Из нашего лагеря? Разве тут есть мужчины?

— Нет, он жил у нас в Грузии,— вдруг смутилась Кето и покраснела так, словно она была только застенчивой девушкой, а не воином, не смелой медсестрой, которая выносила из-под огня раненых и была награждена орденом.— Он работал на шелкоткацкой фабрике в Тбилиси,— добавила она деланно безразличным тоном.



Жизнь против смерти

— Что же тут удивляться,— сказала Галачиха.— Словно в России не было чехов! Вот и от нас, из Ул, во время кризиса один такой поехал в Россию искать работу. Ондржей его звали, Ондржичек... А как фамилия, хоть убей не вспомню. В этом чертовом лагере всю память отшибет. Да и давно это было. Хороший такой парень, вступился за меня, когда меня выгнали, ну и полетел вместе со мной. Гамза, отец покойной Елены, высудил нам тогда у «Яфеты» выходное пособие. Ондржей обещал написать из России, как там и что... но, сами знаете, обещать-то нетрудно... Да и зачем ему я, старая баба. Но я ему желала счастья, хороший был паренек. Ну, а как твой чех, что с ним сталось? Ты знаешь о нем что-нибудь?

В глазах Кето мелькнул лукавый огонек. Она открыла рот, словно собираясь что-то сказать, но промолчала, и лицо ее стало серьезным. Она покачала головой.

— Нет, не знаю,— сказала она, сощурившись и глядя вдаль. В тоне ее не было ни уверенности, ни грусти, и Блажена, которая ничего не знала о своем Вацлаве, не поверила ей — у Блажены на такие дела был верный нюх. Нет, не может быть, что Кето ничего не знает о своем чехе! Но заключенные никогда ни о чем не спрашивали друг друга.

На следующий день Блажене пришлось сдержать обещание, данное молодой грузинке,— она прочла свои любимые стихи: «Море» Волькера.

— Это понравилось бы югославкам! — воскликнула Ганка.— Давайте позовем их. И знаете что, устроим-ка соревнование, кто больше вспомнит стихов. Наши девушки в этом деле не из последних.

— Можно позвать и полек.

— Только осторожно. Среди них еще немало ясновельможных пани.

— А не наживем мы себе неприятностей?

— Почему же? Мы будем читать стихи на ходу, во время прогулки.

— Только смотри, не очень громко. Не увлекайся, с тобой это бывает.

— Есть не увлекаться!

И вот к вечеру в лагере зазвучали стихи Лермонтова и Шевченко, Волькера, Неруды и Мицкевича. Старый Коллар и молодой Маяковский вдохнули новые силы в заключенных.

По колючей проволоке, вырисовывающейся черными узловатыми линиями на фоне бледнеющего вечернего неба, циркулирует смертоносный ток — только коснись! Рыльца пулеметов торчат из высоченных угловых башен. Четвероногие псы в будках и двуно-

гие, со свастикой, в казармах — начеку. Огненный дым валит и валит из труб крематория как непрестанное напоминание о смерти. А по двору лагеря прохаживаются маленькие женские фигурки — чешки, русские, украинки, грузинка, польки, сербки, словенки. Все эти женщины молодо повторяют — каждая на родном языке — марш Маяковского: «Левой, левой, левой!» — и шагают в такт этого марша. Эй, ты, старая фашистка-смерть, не одолеть тебе молодости мира!

ДОМИК У ЛЕСА

— Наконец-то ты, папка! — прошептала Лидка Гаекова. Она тихо и осторожно отодвинула засов — то ли чтобы не разбудить маленького Штепанека, то ли из опасения перед какой-то угрозой, которая может таиться за поворотом лесной дороги. Горный ветер растрепал Лидкины волосы. Дождь лил как из ведра, в Улах ни огонька, в Заторжанке темно, как в мешке. В сенцы ворвалась сырость августовской непогоды и шум реки Улечки.

Муж вернулся не один, он пропустил вперед высокого, худого промокшего человека с чемоданчиком и запер за ним дверь.

— Веду тебе гостя, мамочка,— сказал он.— Дай-ка нам заморить червячка и чего-нибудь согреться. Гостю постели в каморке. А ты сушись, Ярда. Располагайся как дома.

Заросший человек шагнул вперед, притопнул каблуком и, выставив носок, размашистым движением снял перед Лидкой кепку и низко поклонился — как герой из фильма «Ла палома» [1], приветствующий сеньориту. С кепки потекло на пол, она была мокрая, хоть выжми. Гость улыбнулся, сверкнув белыми зубами,— переднего зуба у него не хватало,— и извинился, что он такой грязный.

— Как бы не наследить в комнате,— сказал он и, нагнувшись, тщательно вытер тряпкой пол и свои грязные сапоги. Видно было, что он умеет расположить к себе хозяйку. Потом гость выпрямился, тряхнул головой, словно отбрасывая со лба упрямую прядь — хотя его седые волосы слиплись,— и взглянул на Лидку темными, чуть воспаленными глазами. Лидке вдруг показалось, что она где-то видела этого человека.

— Кто это? — тихо спросила она мужа, когда они столкнулись у входа в каморку.

— Ярда Чигарж, свой человек. При нем можешь говорить свободно.

Когда Лидка вошла в кухню, гость, в рубашке с засученными рукавами, выжимал над раковиной кепку, а его пиджак, повешен-

[1] «Голубка» *(исп.)*.

ный на спинку стула, сушился у плиты. Видно было, что незнакомец привык ночевать в разных местах и всюду чувствовал себя как дома. Чемоданчик и пальто он взял с собой в кухню, наверно для того, чтобы все вещи были у него под рукой.

Гаек пошел показать ему каморку.

— В случае чего,— сказал он,— имей в виду — окно выходит прямо в лес.

Затемнение, на которое в начале войны так ворчала Лидка,— иногда очень удобная вещь. Никто снаружи не видит, что делается в доме, никто не сует носа в наши дела. А сидеть в непогоду с завешенным окном, при огне, даже очень уютно. Лидка поджарила ветчину. Гаек вынул бутылку сливовицы. Гнать фруктовую водку было строго запрещено, но в каждом улецком доме гнали ее из заторжанских слив. Гость ел с аппетитом, пил умеренно и расспрашивал о положении на фабрике «Яфеты».

Но и Лидка была любопытна.

— А вы тут бывали прежде? — спросила она, потому что гость ей все время кого-то напоминал.

— Это не важно,— отрезал Гаек и продолжал начатый разговор.— Так вот, Казмар разбился с самолетом в дни майской мобилизации, погнался, видишь ли, за выгодной сделкой в Прагу. А осенью тридцать девятого, как только началась война с Польшей, нам уже прислали *тройхендера*.

— Не забудь,— по-супружески наставительно напомнила Лидка,— что генеральный директор Выкоукал сам написал об этом в Берлин. На «Яфете» *тройхендера* даже и не полагалось. Ведь там был только один еврей-акционер — доктор Розенштам, да и тот еще до оккупации уехал в Австралию. Но Выкоукал, конечно, чтобы подлизаться...

— Ну, ясно. В таких случаях говорилось: спасаем, мол, чешские фирмы...— сухо заметил гость и высоко поднял брови.— Мошна, товарищи, мошна — вот для них единственная мерка! За деньги эти иуды продадут и народ. Но черта с два им это поможет. Теперь мы не дадим себя обмануть, как при Первой республике.

Он снова вскинул седую голову, словно отбрасывая со лба упрямую прядь. Лидка взглянула на него с горячим одобрением.

— Не дадим! — решительно повторила она и покраснела. Это сделало ее моложе и красивее, почти что девушкой.

— Ишь ты, как моя мамочка расхрабрилась! — улыбнулся Гаек.

— Ну еще бы,— быстро возразила Лидка.— Я всегда говорю: девушки, держите меня, а то я глаза выцарапаю тому, кто треплется о новой Европе и насчет того, что мы, мол, должны помочь

победе Германии. Ну, Мархе — тот немец, а ведь Выкоукал — чех! Проклятая война! Сколько горя хватили мы с этими налетами!

Смуглой рукой она быстро смахнула слезу. Гаек кинул взгляд на жену и вернулся к главному вопросу.

— Когда же к нам придет Красная Армия, как ты думаешь? — спросил он гостя.— В Венгрию они уже пришли, в Польшу тоже...

— Что в Польшу! И в Словакию,— перебила Лидка и обратилась к гостю: — Вы слышали? — таинственно прошептала она.— Ходит тут к нам один коробейник, так он рассказывал, что в Словакии в лесах русских, как грибов после дождя. Они там при луне падают прямо с неба.

Гость улыбнулся, как улыбаются ребенку.

— Освобождение близится, это факт,— сказал он серьезно.— Но нужно помогать и здесь, внутри страны. Вы же знаете, что говорят наши из Москвы? Партизанское движение, саботаж — вот что необходимо на местах. В Словакии все уже кипит, как в котле, а у вас здесь, на самой словацкой границе, «Яфета» работает на полный ход,— добавил он укоризненно.

— Неправда! — воскликнула Лидка и сурово, по-деревенски, поджала губы.— Побывали бы вы у нас в пошивочном, увидели бы, как то и дело ломаются иглы и рвется нитка, когда мы шьем мундиры эсэсовским пугалам. Я бы и совсем бросила работу, да не пускают. А в ткацкой сколько браку — поминутно то бердо застрянет, то челнок соскочит.

— Каждая оторванная пуговица — на пользу дела,— подтвердил гость.— Это их злит, и то хорошо. Но, как я уже сказал, товарищ Гаек, главное внимание надо уделить резиновому заводу. У вас там делают резиновые шины. Резина — это обувь моторизованной армии. Надо взяться за дело так, чтобы *вермахт* босиком ходил. Тогда они не тронутся с места.

Лидка одобрительно засмеялась.

— Слышишь, папка?

— Нам это ясно,— сказал Гаек.— Убеждаем всех, кого можем. Здесь среди беспартийных много хороших людей, большинство терпеть не может гитлеровцев. Но бывают и трудные случаи. Казмаровщина еще жива. Поверишь ли, нашлись такие, что говорят: «Контроль — он все видит. Да и сигаретами не вы нас угощаете».

— Что ж,— неожиданно усмехнулся гость и молодо вскинул седую голову.— Можно и сигареты брать и брак делать. Хозяйка,— обратился он чуть лукаво к Лидке,— в резиновый цех скоро поступит один рабочий, *мастер на все руки*, не пустите ли вы его к себе на квартиру?

— Ну, конечно,— ответила Лидка,— пускай живет у нас в каморке. Как ты думаешь, папка? Здесь его никто не увидит, мы вон где живем, совсем на отлете.

— Дело не в этом,— с невинным видом возразил гость.— Он будет прописан по всем правилам. Так я этого Буреша пришлю... Ну, спасибо.

Он встал, шагнул вперед, пристукнул каблуком и, выставив носок, поклонился хозяйке и пожелал ей покойной ночи. Но Лидке не хотелось спать, ее тянуло еще поговорить. Она взглянула на гостя. Он стоял перед ней, долговязый, худой, поседевший, и улыбался темными, немного воспаленными глазами.

— Ага, теперь знаю! — воскликнула она.— А я-то все думаю — кого вы напоминаете? Смекнула! Вы, случайно, не сродни Франтишеку Черному, что работал у нас в красильне? С тех пор прошло уже немало лет, я тогда была еще не замужем. Потом он уехал добровольцем в Испанию. У нас его звали тогда Францек Антенна. Очень вы на него похожи. Может, вы ему дядя или старший брат?

— Это к делу не относится. Зачем ты допытываешься? — рассердился Гаек.— Нам какое дело? Он Ярда Чигарж, и баста. Покойной ночи, Ярда.

— Ты, может, еще скажешь, что я когда-нибудь лишнее сболтнула?

— Чего нет, того не скажу. Могила,— удовлетворенно сказал муж.— Будто и не баба.

Бородатый незнакомец улыбнулся Лидке, и она заметила, что у него не хватает переднего зуба.

— Что ж, Лидушка,— сказал он.— Мужа твоего он так и не сманил в Интербригаду, этот чертов Францек. Ох и боялась она тогда за тебя, Гаек!

— А вы откуда знаете? — вмешалась Лидка слегка обиженно и вместе с тем ехидно. Ей уже стало ясно, кто у нее в гостях.

— А Францек все мне рассказывал, я его знал как свои пять пальцев. Мы ведь вместе служили в Испании, в батальоне «Димитров». Он был убит под Фуэнте Овехуна, когда нас атаковали мавры.

— Они, наверно, страшные! — содрогнулась Лидка.

— Большой город этот Фуэнте? — спросил Гаек.

— Какое там, дыра! Фуэнте по-испански значит «источник». Каждый второй поселок там Фуэнте. Понимаешь, там каждый источник на счету. Испания страшно сухая страна, только социализм по-настоящему ее оросит. Да, там непочатый край работы! Бойцы нашей Интербригады больше всего страдали от жары и жажды. На счастье, Францек прежде работал красильщиком и привык к жаре.

— Вы об этом Францеке знаете больше, чем о себе,— насмешливо сказала Лидка.

— А ты, Лидушка, смышленая, как я посмотрю! По правде сказать, я уж и сам не разберусь, кто я такой: тот ли, убитый, или этот, живой...

Лидка засмеялась.

— О, господи, Фран... то есть Ярда, ты все такой же шутник, как и прежде. С тобой не заскучаешь, счастливый у тебя характер, честное слово!

Серьезный Гаек стоял у двери, словно немного смущенный тем, что не умеет он быть таким же весельчаком.

— Без шутки нельзя, если даже гроша нет в кармане,— задорно ответил Францек.— Такие уж мы, чешские парни!

Тонкие морщинки бороздили его худое лицо, когда он смеялся. А зуба-то не хватает! И эти неспокойные глаза! Он моложе моего Гаека. Сколько Францеку может быть лет? Не больше тридцати пяти. А весь седой. Лиду это тронуло.

— Ты, видно, хватил горя в жизни, а? — произнесла она певучим, убаюкивающим говором.

Но Францек не дал настроить себя на сентиментальный лад.

— Э-э,— важно пробасил он.— Уж ежели я вытерпел визит мадам Осуской, так уж теперь я все выдержу! Эта барыня приехала в наш лагерь во Франции, привезла нам сухари и говорит: «Отныне я вам мать родная, а вы мои сыночки». Ладно, крапиву мороз не проймет. А у вас тут, сдается мне, тоже было несладко.

— Ярда,— живо отозвалась Лидка,— как часто я тебя вспоминала.

Гаек беспокойно оглянулся на жену, словно огорчаясь и удивляясь тому, что она говорит. Но Лидка не смутилась.

— Помнишь, Ярда, как мы увиделись в последний раз? Еще до войны? Штепанек побежал за мячом, чуть не попал под машину, ты его ухватил. Тогда я тебя тоже не узнала. Ты как раз приехал из Советского Союза и собирался в Испанию. Я охала — что ты там будешь делать, думала, зря ты все это затеял. А ты сказал: «Лидка, если мы будем спокойно смотреть, как Франко сбрасывает бомбы на испанских детишек, тогда завтра эти бомбы полетят... на чешских малышей».

Лидка твердо помнила, что Францек тогда сказал: «...на твоего Штепанека». Именно эти слова врезались ей в память, но сейчас ей трудно было произнести имя сына в такой страшной фразе. Она бросила взгляд на дверь, за которой, ровно дыша, спал ее Штепанек.

— Я тогда испугалась, но не поверила. Ну, думаю, Францек наговорит! А вечером мой Гаек, когда я ему рассказала,— пом-

нишь, папка? — задумался и говорит: «Мамочка, в этом есть доля правды».

Лицо Гаека прояснилось, а Лидка вдруг нахмурилась.

— Ты и не знаешь, Ярда,— продолжала она, и голос у нее сорвался,— ведь мой отец погиб при последнем налете.

— Горынек погиб? Да что ты! Очень мне тебя, Лидушка, жалко,— сочувственно сказал Франтек и пожал ей руку.— Так и вижу его перед собой: ходит от машины к машине с масленкой в руке. Он казался мне всегда этаким старательным старым машинным лекарем... Жалко его, хороший был человек.

— А какой терпеливый! — всхлипнула Лидка.— Сколько он мучился со своей ногой. Помнишь, какие он получил ожоги, когда случился пожар в тринадцатом цехе? Так нога у него и не зажила... Наши жили рядом с фабрикой, и он не успел уйти в подвал, ноги не держали...

Лидка отвернулась и закрыла лицо руками.

— Ну ничего, мамочка, ничего,— утешал Гаек, нерешительно трогая ее за плечо.— Ты ведь всегда была молодцом. Сам понимаешь, Ярда, отец,— добавил он как бы в оправдание.

Но Лидка оплакивала не только отца. Она, вероятно, оплакивала и свою молодость. Случайность свела ее под одной крышей с Франтеком, но совсем не так, как Лидке когда-то грезилось, и эта встреча ее расстроила. Быть может, она вспомнила и Ондржея, но не решалась спросить о нем при муже. Все это, однако, была лишь минутная слабость, и Лидка уже подняла голову и сурово, по-деревенски, поджала губы, когда Гаек настойчиво напомнил обоим, чтобы они ни одной душе на свете не проговорились, что прежде знали друг друга.

— Само собой разумеется!

— За кого ты меня принимаешь, папка!

Быть может, Гаек и сам не хотел вспоминать о старом Лидкином знакомстве. Откуда ей знать Чигаржа? Пустяки! Ведь он никогда не бывал в Улах!

— Все равно я тут не засижусь, спозаранку смоюсь,— сказал Франтек.— Я ведь как мачта для антенны: слишком уж заметен отовсюду. К завтраку меня, Лидушка, не жди, я буду уже за горами. Спасибо вам за стол и кров, а Буреша я вам скоро пришлю.

— Только с паролем! — напомнил Гаек.

— Правильно, с паролем! — Франтек поднял голову и задумался.— Пароль будет такой: «Времена меняются, а с ними и люди»,— сказал он лукаво.— Запомните?

— А как же! «Времена меняются, а с ними и люди». Прямо про нас сказано,— улыбнулась бывшая Лидка Горынкова.

Штепанек, сынишка Гаека, очень привязался к новому жильцу, Бурешу. Это был действительно мастер на все руки. Всегда что-нибудь мастерил для Штепанека и его приятелей: то сделает тележку и лодочку из спичечных коробков, то соорудит из старой картонки турбину с лопастями, а из разных лоскутов, что остались от маминого шитья, самолет. Крылья у самолета были из китового уса и тряпочек, фюзеляж из пробок, скрепленных булавками, а пропеллер из маминых деревянных вязальных спиц. Замечательный был самолет, вот-вот полетит, как настоящий!

— Обращаться с ребятами вы умеете! — одобрительно сказала Бурешу Лидка.— А у вас есть дети?

— Нету, пани Гаекова, я старый холостяк.

— Чего нет, то может быть,— пошутила Лидка.— Кончится война — женитесь.

— Едва ли, я человек больной. У меня было кровохарканье.

— Да что вы! Вот бы не сказала! — певучим, убаюкивающим говором начала Лидка, желая утешить жильца.— А на вид вы как райское яблочко.

— Да червивое. Работа в резиновом цеху мне вредна, ядовитые испарения... Ну, пойду подышу свежим воздухом, пока не зашло солнце.

На фабрике Буреша тоже любили. Он был приветлив с людьми и хотя, как *тотально мобилизованный*, не отличался усердием, мастер и *«веркшуцезцы»* [1], женам которых Буреш чинил всякую мелочь, а детишкам сооружал на ручье водяные мельницы, не обижали его. Никому и в голову не приходило связывать его имя с авариями, участившимися в последнее время в цехе вулканизации. Недоброкачественное военное сырье, черт его побери!

Лидка мысленно усмехалась, слушая разговоры о плохом сырье. Но и она не знала самого главного — таких вещей женщинам не говорят.

Однажды после работы Гаек и Буреш взяли удочки и отправились ловить форель. Лесным ущельем, вверх по течению горной реки Улечки, они шли в сторону каменоломни. В Улах, у плотины, Улечка выглядит такой тихой, а около ольшаника, куда ходят гулять влюбленные, даже идиллической. Но выше по течению, в ущелье, это стремительная, хоть и неглубокая речка. Среди скал и леса мчит она свои еще не отравленные фабричными стоками воды, и в ней резвится пятнистая форель.

---

[1] Здесь: гитлеровская военизированная охрана промышленных предприятий (от *нем.* der Werkschutz).

За поворотом ущелья открылся вид на железнодорожное полотно, вьющееся по скалистому склону. Скала заслоняла поворот. Здесь сливались два ущелья: по одному текла речка, по другому — горный ручей. Крутой склон, заросший коровяком и репейником, спускался от железнодорожного полотна до самого русла Улечки.

Гаек и Буреш уселись на берегу и забросили удочки с блесной в прозрачную воду.

— Вот там, пожалуй, подошло бы,— сказал Гаек, кивнув на железнодорожное полотно.

Прозрачная тишина стояла на дороге, словно там никогда не ходили поезда, словно они не наполняли улецкую ночь бряцанием буферов и ритмичным стуком колес. Днем все выглядит иначе. Мотылек вспорхнул над блестящими рельсами и полетел в кусты. В лесу закричала сойка. Буреш огляпулся, вынул блокнот и карандаш и бегло набросал план местности. Видно было, что это дело ему не в новинку. Место уединенное и, стало быть, подходящее. Охраны тут никакой.

— И ночью тоже?

— И ночью. Мы проверяли.

— А как далеко до каменоломни?

— Четверть часа ходу.

— Это тоже хорошо. А материала у них хватит?

Гаек усмехнулся.

— Будь покоен! Там все время рвут скалы. А теперь пойдемка отсюда, скоро поезд.

Это был обычный рабочий поезд из Ул до Зтраценой. Пыхтя, он бежал среди скал и леса. Горное эхо умножало это пыхтение и повторяло стук колес на стыках. Паровичок долго допевал в лесной долине свою песню: «Скучен путь странника бездомного, скучен путь странника бездомного...»

Вместе с товарищами из каменоломен и шахт Буреш «отрабатывал» туннель или мост. Он провел уже несколько таких операций. Особенно выгодно «отработать» туннель — образуется громадный завал. Восстанавливать взорванный туннель — долго, технически очень сложно, восстановить мост — куда скорее. Но теперь немцы крепко охраняют мосты и туннели. Однако Буреш послан в Улы с заданием — значит, он его выполнит, это ясно. Бурешу больше по нраву не разрушать, а делать хорошие вещи, которые помогали бы людям жить: например, моторы, чтобы люди могли ездить или летать. Но вместо этого он теперь скитается, как бездомный странник, и вместе с рабочими взрывает военные эшелоны, чтобы все поскорей кончилось. И Буреш добросовестно исполняет свои обязанности, хотя они и не радуют его.

— Гляди-ка,— сказал Гаек и нагнулся за подосиновиком.— То-то жена обрадуется!

— И у тебя будет одной отговоркой больше. Ведь можем же мы ходить в лес за грибами.

В лесу около пещеры они встретились с рабочим из каменоломни и с путевым обходчиком, все выяснили и обо всем договорились. Буреш изложил свой план, путевой обходчик обещал точно узнать, когда пойдет *их* поезд. Пепик из каменоломни принесет «материал». Коммунисты тайком сходились в горной лесной чаще, как сходились столетия назад «чешские братья». Но в продолговатом пакете, который припес Пепик, явно лежала не Библия.

И вот настала ночь, когда должен был пройти *их* поезд.

Так или иначе (кто из миролюбивых чехов любит разрушать? Никто) — но зайдет солнце, и побледнеет небо, и на нем резко выступят очертания улецких гор; еще немного — и все утонет во мраке и неизбежно настанет *эта ночь*. И ты пойдешь, потому что ты обещал, потому что это твои товарищи, потому что ты знаешь, что это нужно, и не изменишь своему долгу. Это надо сделать, ведь другие шли и на большее, они жертвовали всем, ты же хорошо знаешь, что одна женщина пожертвовала даже жизнью. Но сейчас речь идет не о смерти, все кончится хорошо, завтра в это время мы облегченно вздохнем, сознавая, что все уже позади. А сейчас надо думать не о последствиях, а лишь о самом задании, чтобы точно выполнить его. Буреша, когда он брался за подобное дело, всегда охватывала легкая лихорадка нетерпения; в такие минуты человек оживленно и охотно болтает о пустяках с непосвященными, прежде чем улизнуть от них.

После дневной смены Буреш, как обычно, отправился погулять в лес; все уже знали, что он чахоточный и ему надо дышать свежим воздухом. Гаек пошел через Заторжанку, чтобы их не видели вместе. Около пещеры они встретились с Пепиком из каменоломни. План действий был ясен. Заряд с детонатором, шнур и батарейка с запалом были уже готовы. Все трое хорошо знали поворот — самое подходящее место на линии: здесь рельсы проходят над обрывом. Буреш заранее внимательно осмотрел этот поворот. Впрочем, обходчик доведет их, этой ночью он свободен.

Буреш, Гаек и Пепик, нервничая, сидели внизу, в лесу, и, борясь с желанием закурить, ждали, пока пройдет последний местный пассажирский поезд — «для гуляк», как его называют. Едва он исчез за поворотом, как Буреш и Пепик вслед за обходчиком перешли по камням мелкую Улечку и стали взбираться на насыпь.

Около часу ночи пройдет *их поезд*: два вагона с немецкой охраной сразу же за локомотивом и два в хвосте поезда с замаскированными пулеметами, в остальных вагонах — боеприпасы. За

час надо управиться. Гаек сторожит внизу: если появится опасность со стороны леса, он закричит диким голубем.

Высокие лопухи на берегу Улечки были холодны, как лягушка; пихты и рябины, за которые хватались Буреш с Пепиком, смыкались и, казалось, не хотели пропустить человека. Ведь ночью и деревья спят. Чем выше над пропастью взбирались по скалам Буреш и его товарищ, тем становилось теплее. Ползли они очень осторожно, и все же Бурешу казалось, что каждый шелест куста, каждый шорох покатившегося камня, словно через усилитель, разносится в прозрачном горном воздухе. Это потому, что темно: когда глаза не видят, слух и осязание обостряются, как у слепца.

Буреш нащупал гладкий металл рельса. Глаза его уже привыкли к темноте, кроме того, на высокой насыпи было светлее, чем внизу, в ущелье. Рельсы тускло поблескивали в свете звезд. Здесь, высоко над обрывом, Буреш вдруг почувствовал себя совсем незащищенным и словно выставленным напоказ. Впереди и сзади — рельсы, по которым весь день бегут поезда... Нет, у меня не кружится голова, у меня никогда не было головокружений!

Они взялись за дело. Буреш выгреб щебень из-под того рельса над обрывом, что с краю на повороте, Пепик подал ему шашку взрывчатки с заправленным детонатором. Буреш заложил шашку под рельс и привязал ее проволокой. Потом прикрепил провод к батарее и размотал его, отступая по колее в сторону Ул, пока не дошел до контакта, который Пепик укрепил тем временем на рельсе в нескольких метрах от заряда. Буреш включил этот контакт в цепь и, прежде чем вернуться и замкнуть ее на детонаторе, проверил, есть ли ток. Для этого Пепик прижал контакт, а Буреш языком коснулся обнаженного кончика провода. Язык слегка защипало — значит, ток есть. Теперь можно прикрепить провод к детонатору, и все готово. Передние колеса паровоза коснутся контакта и...

На насыпи пока было тихо, светили звезды, внизу шумела Улечка. Зародыш катастрофы, чудодейственно скрытый в небольших неподвижных предметах, ждет своего срока. Примчится надменный поезд с грузом смерти и сам нажмет роковой контакт...

Где-то в кустах застрекотал кузнечик. Нет, это еще не станционный сигнал. Работа шла быстро, без осложнений, как-то совсем будничпо. И все же, когда они вновь очутились внизу, у леса, Пепик вздохнул.

— Фу, даже мутит от всего этого!

Бурешу тоже было знакомо это гнетущее ощущение. В сердце как-то пусто, в голове ни одной мысли. Он поднял глаза на темную громаду горы, и ему показалось, что все это сон, что он никогда не был там, наверху. Он взглянул еще выше, на летнее небо, усыпанное звездами, и вдохнул свежий чистый воздух. Такая ночь, такая

чудесная ночь, а мы тут... О боже, скорей бы мир, скорей бы взяться за человеческую работу!

— Ни души,— сказал внизу Гаек.— Смывайтесь!

На улецкой станции задребезжал звонок — сигнал о приближении поезда. *Их* поезда! Товарищи бросились в лес. Колокольчик на станции мелодично звонил, и этот звук разносился в ясной ночи по горному краю, сливаясь с шумом реки. Но Буреш уже ничего не слышал. Он со всех ног бежал все глубже в лес, и, хотя очень спешил, ему казалось, что взрыва почему-то слишком долго нет. В чем дело? Все еще тихо! Отчаяние охватило Буреша. Неужели не вышло?

Буреш уже влез в открытое окно своей каморки, выходившее в сторону леса, все еще мучаясь сомнением, не сорвалось ли дело. Вдруг что-то больно ударило его в уши, стиснуло горло, сжало легкие. Раздался оглушительный взрыв, за ним — металлический грохот: это локомотив и тендер рухнули с откоса, увлекая за собой вагоны. Стекла в закрытых окнах домика дрогнули и, звеня, посыпались. Штепанек вскрикнул в постели — осколок стекла оцарапал ему лицо. В Заторжанке залаяли и завыли собаки. Взревели фабричные гудки — сигнал тревоги! Сколько раз уже подавали они такой сигнал! Люди думали, что это опять воздушный налет. Алое зарево разлилось над темными лесами, слышались частые взрывы, словно вылетали пробки из бутылей адского шампанского. Грозные языки пламени метнулись в небо и разлетелись, как кровавые бичи. Осколки гранат сыпались во все стороны. Еще бы, ручные гранаты! С ними нужно обращаться осторожно, как с яйцами, они не терпят даже резкого толчка, что уж говорить о смертельном прыжке в пропасть! На дне ущелья все это, видимо, вспыхнуло. Оно и понятно: горячий уголь из локомотива зажег снарядные ящики, и они начали взрываться один за другим. Хорошо еще, что в этом ущелье никто не живет. В Улечке, говорят, убило всю форель. То, что начал огонь, довершила вода. Невзорвавшиеся боеприпасы лежат на дне реки. Ни один снаряд из этого эшелона не попадет на восток.

Когда через несколько дней старик коробейник шел из Ядлины в Улы, он чуть ли не у самой драховской лесной сторожки поднял во мху блестящий коричневый осколок гранаты.

НЕУЖЕЛИ ТЫ ВЕРИШЬ ЭТОЙ СКАЗКЕ?

Однажды Митя, размахивая ранцем, возвращался из школы. На углу, когда он уже сказал приятелям: «Пока, ребята!» — и повернул к дому, к нему подошел какой-то странный человек.

— Не вы ли Скршиванек-младший? — спросил тип, пристально глядя на Митю.

— Я,— коротко ответил Митя, даже не остановившись, отчасти потому, что немного смутился, да еще потому, что этот тип с шишковатой головой и мышиными глазками страшно ему не понравился.

Но тип увязался за Митей.

— Я вас сразу узнал, вы очень похожи на папашу,— вкрадчиво продолжал он.— Я и маменьку вашу знал, интересная была дама, жаль ее. Бедный вы мальчик, сиротская ваша жизнь.

Сиротская? Мите еще никогда не приходило в голову, что он сирота. Сироты — это те, про кого поется в народных песнях, напечатанных в хрестоматиях. А он просто Митя.

Все молодое, чистое и смелое, что было в мальчике, инстинктивно протестовало против этого назойливого, вкрадчивого сочувствия.

— Это мое дело,— отрубил он своей излюбленной мальчишеской фразой и прибавил шагу.

Но незнакомец не отставал.

— Вам бы, наверно, хотелось видеть папашу? — заметил он.

У Мити екнуло сердце. Вот она, опасность! Мальчик чувствовал, что незнакомец внимательно смотрит на него. Но Митя не был похож на бабушку, он не любил отступать и предпочитал нападать сам. Остановившись, он засмеялся прямо в лицо противному человечку и сказал:

— Да как же его увидишь? Разве что по телевизору. Да и то нельзя,— торопливо поправился мальчик,— заграничное радио нам запрещено, а мой родитель, видите ли, в Америке.

Почему Митя употребил такое слово — родитель,— он и сам не знал. Он только чувствовал, что смех его звучит фальшиво, что он переигрывает и именно на этой ошибке его можно поймать. Его вдруг охватила лихорадочная радость от сознания, что его мозг работает сейчас с удесятеренной силой и ему удается думать сразу обо всем.

— А папаша тебе пишет?

— Как же он может писать, если война? — буркнул Митя и опять зашагал.— До войны пришло одно письмо из Чикаго. И почему вам все это так интересно? — добавил он, снова переходя в атаку.

— Не удивляйся, мальчик, я старый друг твоего отца, мы вместе работали на Аэровке. Золотой был человек, всегда заодно с рабочими. У меня даже есть его фотография на память — хорошая, правда?

И он протянул Мите фотографию.

Митя смотрел на карточку, а незнакомец на Митю. Он просто впился в Митю мышиными глазками. Веки мальчика нервно дрогнули, он чуть покраснел и усмехнулся.

— Да ведь это не папа. Ничего подобного,— сказал он, возвращая фотографию.— Вы его, видно, перепутали с Радецким.

— С кем? — быстро переспросил незнакомец.

— Не знаю, кем он был. Какой-то австрийский генерал или еще кто-то. Барборка всегда так говорит, когда кто-нибудь здорово напутает.

— Ах ты, маленький зубоскал! — сказал человек, пряча злобу под наигранной шутливостью.— Так знай же,— торжественно и поучительно продолжал он,— что эту фотографию дала мне твоя бабушка.

Но на эту удочку Митя тоже не клюнул.

— Ну да, бабушка, как же,— холодно возразил он,— у нас нет ни одной папиной фотографии.

— Вот это замечательно! А почему?

— Мы разорвали их в клочки,— со смаком сказал Митя.— Мы на него сердиты. Уехал, бросил нас здесь...

— А вам тут не нравится? — тотчас привязался к слову незнакомый человек.

— Нет, почему же... Но будь я взрослый и будь у меня сын, я бы его не бросил, уверяю вас. Мы живем в Чехии, а он в Америке, какое нам до него дело... Всего хорошего!

Митя сам удивлялся тому, как он сумел все это придумать и наврать, и ему совсем не было стыдно за эту ложь — наоборот, он сразу смекнул, что это за тип,— в таких делах у чешских школьников уже был некоторый опыт. Когда гитлеровцы оккупировали Прагу, около школ стали прогуливаться приветливые господа; они охотно заговаривали с детьми: «А что́, мальчик, говорит твой папа насчет того, что Гитлер захватил нашу республику?», «Не помнишь ли, девочка, что вчера передавало московское радио? У меня, как назло, не было времени послушать». Или: «Молодцы эти парашютисты, здорово Гейдриха отделали. Дома у вас их тоже небось хвалят?»

Эти потрепанные «добрые дяди» вслух говорили все, чего не смел сказать простой чех, а когда ребенок, проникшись доверием к человеку, который обратился к нему на родном языке, выбалтывал что-нибудь лишнее, за отцом в ту же ночь приходили гестаповцы. «Добрые дяди» получали по полсотни крон за донос. Родители стали предостерегать своих детей, и дети в протекторате привыкли отвечать: «Наш папа не интересуется политикой».

Случай с Митей был сложнее, но материнская выучка сказалась и тут. Мальчик возвратился домой в приподнятом, боевом

настроении, торжествуя, что ответил на атаку атакой и вел себя правильно. Однако дело на этом не кончилось,— это было только начало. Как же поступить, к кому обратиться за помощью, ничего не выдав? Бабушке и не заикнешься: она все равно не даст совета, только зря ее расстроишь. Митя совершенно так же, как когда-то в детстве его мать Елена, терпеть не мог паники и переполоха и всегда боролся с ними. Мозг его, возбужденный опасным единоборством, напряженно работал, как говорится в детективных романах. После некоторого раздумья Митя постучал к Станиславу.

— Можно поговорить с тобой с глазу на глаз, дядя?

Станислав покосился на ручные часы, лежавшие на столе.

— Только быстро,— сказал он.— Я скоро ухожу.

Митя сразу взял быка за рога — так, по крайней мере, ему казалось.

— Дядя,— сказал он,— если я получу в школе похвальный лист, ты дашь мне за это немного деньжат?

Станислав не удержался от улыбки, хоть и знал, что это непедагогично. Ну и продувной мальчишка!

— Еще неизвестно, получишь ли ты похвальный лист. И будут ли у меня к тому времени деньги — тоже не ручаюсь.

— Тогда знаешь что,— предложил Митя,— дай-ка ты мне эти деньги сейчас, а когда я получу похвальный лист, мы будем квиты.

— Ишь ты какой делец! — пошутил Станислав и насторожился.— Сколько ж тебе надо?

Митя подошел ближе.

— Не знаешь ли, сколько стоит билет в Улы? Третьим классом туда и обратно? Двадцать монет с гаком у меня есть, но этого не хватит. Мне не хочется у тебя просить, да, понимаешь, суббота, и все наши ребята...

— Да, твоих денег не хватит. А кто туда едет?

— Видишь ли, дядя, я не могу сказать всего. Я дал честное слово. А кстати, нет ли у тебя расписания поездов? Дело не ждет.

— Ну вот что, хватит! — рассердился Станислав.— Или ты мне немедленно скажешь, в чем дело, или не получишь от меня ни гроша.

— Дело в том, что ко мне пристал на улице *шпик*...— И Митя, не переводя дыхания, с жаром рассказал всю историю, в которой, по его мнению, он вел себя геройски.— Вот видишь, какое опасное положение,— закончил он не без упрека.— Они охотятся за папой.

— Ну, до папы им не добраться,— спокойно возразил Станислав.— Ты правильно ответил этому типу: с папой мы, мол, расстались. Больше ничего не оставалось делать. Но при чем тут билет в Улы, хотел бы я знать? — сказал он уже строже и снова с нетерпением покосился на часы.

Митя взглянул на него как-то сочувственно.

— Дядя Станислав,— сказал он с недетской снисходительностью.— Неужели ты веришь этой сказке про Америку?

Станислав резко обернулся.

— О чем ты говоришь, Митя?

Мальчик поднял на него свои правдивые детские глаза и сказал совсем тихо:

— Но ведь папа здесь.

Станислав вскочил с места.

— Кто внушил тебе такой вздор? — сердито обрушился он на мальчика.

— Не пугайся, дядя. Папа живет под другой фамилией,— успокоил племянник рассерженного дядю.— Помнишь, как бабушка однажды удивлялась, что мы с мамой делаем такие далекие прогулки? Это мы ходили к папе в гости.

— Вот так здорово! — вскричал Станислав, хватаясь за голову.— И куда же?

— Тебе ни к чему это знать,— тоненьким голоском отрезал Митя,— потому что его там уже нет. Когда *это* случилось с мамой (в семье Гамзы, как по уговору, никогда не говорили «когда ее казнили» или «когда ее расстреляли гитлеровцы», а всегда только «когда это случилось») и мы осенью вернулись в Прагу, я однажды зашел туда, где жил папа, но та пани сказала, что он уехал неизвестно куда.

— Какая пани?

— Очень хорошая. У которой он жил. Я тогда боялся, не забрали ли его...

Станислав злился в душе. Подумать только, что выделывает этот мальчишка у нас за спиной! А мы-то думали, что держим его под присмотром!

— Уж не собираешься ли ты поехать к нему в Улы? — хмуро спросил он.

Теперь вскочил с места Митя.

— Собрался и поеду! — упрямо воскликнул он и шагнул к двери.— Хотя бы и зайцем, если хочешь знать! И ничего мне от тебя не надо. Зря я тебе все рассказал, я ведь давал маме слово. Поделом мне за это! Пусти, мне надо предупредить папу. Уж я сумею туда добраться.

Станислав крепко держал вырывающегося Митю. Он понял, что не следует раздражать мальчика.

— Наделал бы ты там дел! — сказал он веско.— Провалил бы и отца и себя. Это же против правил конспирации, понимаешь, Митя? Они за нами следят, это ясно. Члены нашей семьи навели бы их на след. Предупредить папу должен связной.

Митя широко раскрыл глаза. Он понял дядины доводы и согласился с ним. Слова «конспирация», «связной» зачаровывали его, они звучали так таинственно, так по-взрослому! И хотя все это было серьезное и совсем не веселое дело, сильно тревожившее Митю, все же оно отзывалось приключением и чем-то напоминало детективные романы.

— Сейчас я ухожу,— сказал Станислав, подходя к гардеробу.— Слушай меня внимательно, Митя. Я не обещаю тебе бог весть чего, но приложу все усилия, чтобы папе как можно скорее сообщили, что в гестапо снова вспомнили о нем.

— И пусть ему расскажут об этом *шпике* и о фотографии,— вставил Митя.

— Ладно. Но для этого мне надо знать две вещи. Во-первых,— Станислав загнул палец на руке,— под какой фамилией он теперь живет?

— Антонин Буреш,— не без колебания ответил Митя.

Станислав поглядел в пространство, и на лице у него появилось то выражение, какое бывает у людей, когда они стараются хорошенько запомнить что-нибудь.

— Во-вторых,— продолжал он, загибая другой палец,— действительно ли он в Улах? Ты это наверняка знаешь?

— Наверняка.

— От кого?

— От одного из наших ребят в школе. Погоди, не хмурься. Он и представления не имеет, в чем дело. Дело было так. В наш класс в этом году поступил новый ученик, Ирка Гавранек. Его родители переехали из Ул в Прагу. Раз как-то мы с ребятами строили туннель в старой трубе, хотели пролезть через нее. Ирка Гавранек и говорит: «Это еще пустяки! Видели бы вы, какую плотину мы с Тондой Бурешем соорудили на ручье близ Улечки!» Я как услышал это имя, так и обалдел. Спрашиваю Ирку: «Что это за мальчишка?» А он смеется: какой там мальчишка, он, мол, уже взрослый, ему лет сорок, не меньше. Но это не важно, он такой свойский, мы с ним даже были на «ты». Я незаметно расспросил Ирку обо всем, и все сходится: среднего роста, коренастый, круглолицый, с бородкой,— папа теперь отпустил бородку,— ну все тютелька в тютельку. И что для ребят всегда устраивает всякие штуки — это тоже на него похоже...

— Вот и зря, это с его стороны промах,— прервал Станислав Митю.— Подпольщик должен отказаться от своих привычек. Но Улы велики, где же он живет?

— Не знаю, об этом неудобно было расспрашивать. Но работает он в резиновом цеху.

— Ну, так вот что, Митя. Я тебе ничего не обещаю, но сде-

лаю все, чтобы отца предупредили. А ты оставайся дома и не вздумай выкинуть какую-нибудь глупость.

— Не выкину. Спасибо, дядя.

Но через мгновение, охваченный детским недоверием к взрослым, Митя вдруг кинулся вслед за Станиславом.

— А может, ты просто так сказал, чтоб отвязаться?

Станислав строго поглядел на него.

— Я был бы тогда настоящим негодяем, Митя.

Вечером Станислав встретился с Анделой. Ее не удивило, что Тоник на родине, а не за морем,— она знала об этом. Ведь именно Буреш послал ее тогда предупредить, чтобы Митю увезли из Праги. Но она ничего не сказала об этом Стане, даже после того, как они сблизились,— зачем ему лишнее беспокойство! Чем меньше человек знает, тем для него и для дела лучше. Жених и невеста посовещались, и в тот же вечер один из надежных железнодорожников ночным поездом отправился в Улы предупредить своих людей в резиновом цеху.

Там он узнал, что Буреша уже нет в Улах. После той ночи, когда немецкий эшелон с боеприпасами взлетел на воздух, в Улах начались повальные аресты, и Буреш исчез. Может быть, он перешел границу и присоединился к повстанцам в Словакии. А может быть, попался. Неизвестно. Семья, в которой он жил, тоже, говорят, скрылась. Когда гестаповцы пришли за ними, домик у леса был уже пуст.

АВТОБУСЫ КРАСНОГО КРЕСТА

Никто не прислушивается с таким волнением к зову весны, как заключенные. Их волнует каждый порыв южного ветра, колеблющий светомаскировку на окнах, их трогает самая чахлая травка, пробивающаяся среди камней. Узницы, весь путь которых по жалкому лагерному двору был ограничен расстоянием от барака до пошивочной, вдыхая запахи весны, грезили о великом будущем и предавались смелым надеждам. Люди, лишенные свободы, замечают вещи, мимо которых они равнодушно пройдут в обычной жизни. Узники одновременно и апатичнее и восприимчивее свободных людей. Сырость, собачий холод или адская жара — все это как-то подходит к тюремной обстановке. Зато весной... весной каждое живое существо предъявляет свое право на счастье. Даже у старой Галачихи в Равенсбрюке было такое чувство; что же говорить о молодых — Блажене, Мильче и Кето!

Мильче не так-то плохо! Ее водят работать на завод Сименса, и ей удается видеть много интересного. На заводе работают муж-

чины всех национальностей, там говорят на французском, польском, сербском, норвежском, голландском языках — Вавилон, да и только! Рабочие постоянно сообщают друг другу то подлинные, то фантастические новости с фронта, и Мильча приносит их в лагерь, а иногда, кроме новостей, еще и что-нибудь съестное. Она нравится одному бельгийцу, и тот тайком подсовывает Мильче шоколад, подарил ей круглое зеркальце и расческу. Боже, как не хочется уходить вечером обратно за колючую проволоку, в то время как *«тотальники»* ведут своих девушек развлекаться!

— Ах, девушки,— вздохнула Мильча,— знали бы вы, что я сегодня видела! Вот была красота!

— Ну что, говори.

— Шли мы...— начала Мильча таинственным тоном, каким рассказывают детям сказку, в которой будет много неожиданностей.— Шли мы мимо одного дома, и там было освещено окно. Понимаешь, как раз перед самыми сумерками. В окно видна маленькая стеклянная люстра, и занавесочки колышутся, а хозяйка в розовой блузке ходит по комнате. Все как на ладони! На стенах висят картины, часы, книжная полка, а на столе постелена белая скатерть, и на ней — цветы в голубой вазе...

— Нашла чему умиляться! — сурово сказала Блажена.— Кто знает, из какого дома они унесли все это, уморив хозяев в газовой камере.

— Скоро все это у них разнесут в щепы,— согласилась Галачиха.— Теперь уж недолго ждать.

— Оставьте вы ее,— примирительно заметила Ева Казмарова.— Она ведь у нас молоденькая и еще дурочка, верно, Мильча?

Мильча зарделась.

— Да я только так,— сказала она виновато.— Наверно, приятно жить в такой комнате. Я себе этого уже и представить не могу.

— Будут и у нас снова комнаты,— вмешалась Кето.— Еще лучше, чем были. Все будет. Но чехи — нетерпеливый народ, я их знаю.

Грохот и гудки проезжающих поездов — ах, как хорошо они были слышны в лагере Равенсбрюк! Этот шум был теперь тоже иной, весенний. Когда же мы наконец сядем в поезд и поедем домой? Уже третью весну встречает Блажена в лагере! Но нынче что-то меньше проходит поездов, и идут они осторожнее, чем прежде.

Когда Блажена работала в ночную смену, ей страшно хотелось, чтобы была воздушная тревога. Мать, правда, волновалась,— ведь она в бараке, а дочь в цеху, не лишиться бы дочери! Рев сирен наэлектризовал Блажену. Уу-у, уу-у! Свобода не поет соловьи-

ным голосом, это Блажена уже знала. Рев сирен был хриплым предрассветным петушиным пением. Уу-у, уу-у! Узницы нарочно прикидывались перепуганными, чтобы усилить панику среди нацисток. Эсэсовки безумно боялись налетов. Избить изголодавшуюся, слабую, как муха, узницу — на это у них хватало духу, а вот перед советскими летчиками они пасовали. Всюду сразу тушили свет — и прощай тюремная дисциплина! Узницы кидались к окнам, распахивали рамы, свежий воздух лесов и озер проникал в барак, как привет издалека, и девушки жадно вдыхали этот воздух, высунувшись из окон и слушая гул самолетов. Высоко над их головами проносились вестники свободы.

Работа на заводе шла с перебоями. Третья империя разваливалась. Русские вошли в Братиславу. Девочки, они уже в Вене! Осаждают Баутцен! Идут на Берлин! Мильча с восторгом приносила всё новые вести. Дисциплина на заводе трещала, как лед на мекленбургских озерах, и Мильча сейчас занималась тем, что из отходов металла вытачивала игрушки для детей мастеров. Наступила весна, у Блажены были именины, Кето подарила ей платочек, полученный в обмен на ломоть хлеба. Незадолго до пасхи узницы устроили в бараке генеральную уборку и, когда белили стены в бараке, припрятали немного мела, чтобы перед самым праздником начистить свои башмаки на деревянной подошве. Была весна, но лагерное начальство стало свирепее, власть тьмы не хотела сдаваться: еще в страстной четверг в газовую камеру отправили семнадцать обессилевших женщин.

Крематорий в Равенсбрюке работал с полной нагрузкой; запах горелых костей, кожи, волос разносился далеко по округе, смешиваясь с весенними ароматами, напоминавшими о далях, о надеждах и их свершениях...

Было утро страстной пятницы. Из окна цеха Мильча вдруг увидела великолепный автобус кремового цвета. Он приближался, громадный, новый и ослепительный на фоне серых красок и пятен камуфляжа. Да не один, а несколько! При виде их вспоминались беззаботные туристы в Альпах, комфортабельные международные отели, безупречная чистота.

— Да ведь это Красный Крест, девчата! Видите белые флажки? Неужто уже мир?

Женщины бросили работу и устремились к окнам. Было на что поглядеть. На радиаторах автобусов развевались белые флажки, и шли эти машины в сторону лагеря. В кабине сидели шоферы в скромной синей униформе и медсестры в шапочках и ослепительно белых халатах. Видны были удобные сиденья, обтянутые светлой кожей. Автобусы были пусты.

Можете себе представить, как шла работа в цехе все утро?

Узницы чувствовали себя как на иголках. В полдень в цех вошла Ворона со списком в руке и что-то сказала мастеру. Он остановил машины, чтобы не было лишнего шума. Ворона стала вызывать узниц по номерам. В проход между станками выходили одни норвежки.

Ворона отвела их в контору, там выстроила в ряд и приказала:

— Поднимите юбки выше колен.

Женщины подняли длинные безобразные арестантские платья, и Ворона, переходя от одной к другой, отступала на шаг, прищурясь осматривала ноги, потом ощупывала их — нет ли отеков.

Узницы были в замешательстве. Одним из приемов лагерной системы, направленной на то, чтобы постоянно чем-нибудь мучить или изводить узников, было вечное секретничанье. Заключенным никогда не объясняли, что с ними делают и почему. Можно было только догадываться. Что сейчас выгоднее — оказаться больной или здоровой? Здоровой, здоровой, лишь бы не быть слабой и ненужной, ведь таких отправляют в газовую камеру! Правда, «нордическую расу» не истребляют в газовой камере... Но кто же нужен Красному Кресту? Больные или здоровые? Отбор был как-то связан с кремовыми автобусами, все чувствовали это, и в лагере нарастало возбуждение.

Норвежки вернулись в цех к концу смены, потом ушли на медицинский осмотр и вскоре, раскрасневшиеся от радости, прибежали взять *efekty* [1] и попрощаться. Были они хорошие подруги, всегда щедро делились с другими узницами посылками Красного Креста. Как же не порадоваться, что они едут домой! Это хороший признак,— видно, конец близок. Как же не порадоваться за норвежек... А нас вы оставите здесь?

Полупустые автобусы Красного Креста стояли у ворот лагеря, в них уселись счастливые норвежки, но все равно там еще оставалось много свободных мест. Из-за проволочной ограды выглядывали женские лица — одно изможденнее другого. Доктор Зденка тщетно пыталась поговорить с представителем Красного Креста. Не о себе, конечно: она бы все равно не оставила своих больных, а о том, что ведь в лагере много женщин, которые вполне транспортабельны: чешки, русские, украинки, югославки, польки, француженки. Жаль каждое неиспользованное место в автобусе. Бог весть что может случиться в лагере в последние дни его существования. Подумать только, эти машины ехали сюда, в такую даль, и уезжают полупустые! Но представитель Красного Креста не спрашивал мнения врачей, он имел дело только с эсэсовской комендатурой.

---

[1] Вещи *(лат.)*.

Водители уже запустили моторы. Машины, казалось, вздрагивали от нетерпения. Представитель Красного Креста стоял у одного из автобусов. Он уже собирался войти в машину, как вдруг сильно закашлялся: весенний ветер бросил ему в лицо клубы едкого черного дыма.

— Это из крематория,— быстро сказала в автобусе норвежская коммунистка и подошла к двери.— Увезите отсюда как можно больше женщин,— настойчиво продолжала она.— Спасите им жизнь! Здесь умирают не столько от болезней, сколько в газовой камере.

Представитель Красного Креста поднял брови и недовольно поморщился.

— Мне очень жаль,— сказал он.— Но у меня определенные инструкции: мне поручено увезти отсюда только подданных норвежского короля.

— И это Международный Красный Крест!

Лучи заходящего солнца отразились на лакированных кузовах автобусов, словно на водной глади, моторы торжествующе взревели, и чистенькие машины, одна удобнее другой, тронулись, полупустые, в путь, напоминая о беззаботном, веселом туризме. Скоро они скрылись из виду. А может быть, их вовсе и не было? Может быть, все это только пригрезилось заключенным?

Светлые полупустые автобусы уехали, а из крематория попрежнему валил черный дым...

СПРОШУ У КЕТО...

Через два дня после отъезда норвежек, когда узницы уже спали, в барак неожиданно ворвались эсэсовцы.

— Auf! Auf! Sofort! Alles mit!

Что случилось? Что еще? И где Мильча уже слышала этот крик? Ах да, в тюрьме Панкрац, когда палачи пришли за Еленой в дни осадного положения. У Мильчи осталось мучительное воспоминание, она была очень привязана к Елене и не могла до сих пор забыть ее. Теперь, после трех лет жизни в лагере, Мильча стала опытнее. «Alles mit!» ее ошеломило — так вызывают для отправки. Каждая перемена в жизни заключенного таит для него опасность.

Уже много дней за горизонтом бушевала канонада. Люди, живущие в мире и довольстве, боятся орудийной пальбы. Но для заключенных она звучала как музыка. Русские девушки ходили словно завороженные: наши, наши! Они узнавали орудия по звуку; кроме них, никто не имел фронтового опыта, и Блажена все время спрашивала у Кето:

— Как ты думаешь, далеко еще ваши?

— Это тяжелые орудия; может быть, они бьют по Берлину,— отвечала Кето.

В ту ночь, когда их внезапно разбудили, канонада усилилась.

— Нас угоняют подальше от русских,— пробормотала Галачиха.

А мы дождемся их тут! Узницы вцепились в койки и не хотели вставать. Несколько дней назад Блажена совещалась об этом со Зденкой: идти или не идти, когда настанут последние дни лагеря? Не идти, если будет возможность выбирать, решила Зденка. Пусть нам даже грозит смерть,— лучше умереть политическим узником, чем погибнуть среди немецких беженцев.

Но *хефтлинги* предполагают, а эсэсовцы располагают. Власть гитлеровцев в лагере была еще слишком сильна. А озлобление из-за неудач и страх перед Красной Армией делали их еще неистовее. Молокосос Франц, тот самый эсэсовец, который однажды в цехе так рванул из рук Блажены коробку с аккуратно сложенными заготовками, что они рассыпались по полу и пришлось собирать их по всему цеху, а надзирательница еще и прибила за это Блажену,— этот выродок сорвал с Блажены одеяло, столкнул ее с кровати и подошел к Мильче. Auf! Auf! Весь барак уже поднялся. Спросонья узницы почти не разговаривали.

Блажена тщетно протестовала от имени всего барака.

Заключенных выгнали на *аппельплац*. Вот где была толкучка. Прожекторы уже не светили: эсэсовцы боялись советских пикировщиков.

Начальник лагеря произнес краткую речь. По техническим причинам лагерь, мол, временно эвакуируется. (Другими словами: немцев преследуют по пятам, они удирают — чудесно!) Больные остаются в лазарете, врачебная помощь им обеспечена, и они могут ни о чем не беспокоиться. Сохраняйте образцовую дисциплину, мы еще встретимся. Для тревоги нет никаких оснований. На фронте мы по-прежнему хозяева положения. Германия непобедима. *Хайль гитля!*

Ворота лагеря распахнулись, и две тысячи женщин под конвоем солдат вышли в темноту мекленбургской ночи. Ночью их сюда пригнали, ночью и угоняют... что могли бы сделать убийцы без покрова темноты? Бог знает куда вели узниц, этого им никогда не говорят. А если и скажут, то соврут... А Кето с нами? Да, она здесь. Советские медсестры шли строем, в ногу, как всегда, образовав в толпе сомкнутую группу. Главное — не отставать от других и скрывать усталость. Боже упаси показать ее! Ведь ты, мама, очень бодро шагаешь! Блажена и Мильча незаметно поддерживали мать с обеих сторон. Мать мы не дадим в обиду — что из того, что

ее не взяли красивые автобусы Красного Креста! Блажена обязательно доставит мать домой, даже если придется нести ее на руках, ведь она должна увидеться с Веной и с отцом, а Блажена — с Вацлавом. Кто знает, может быть, в этот полуночный час лидицкие мужчины тоже шагают где-нибудь вместе со своим эвакуированным лагерем. А может быть, их уже освободили русские. Блажена была уверена, что отец и Вацлав сидят в одном из концлагерей Польши. Там, видимо, неважно, оттуда и вестей никаких не приходит, ни словечка. Но Вацлав молод и крепок, у него веселые глаза и плотно сжатые губы... Хорошо бы идти вместе с ним сейчас, этой весенней ночью, ведь темнота создана для влюбленных...

Блажена тянула за собой мать и чувствовала, что у нее самой кружится голова от непривычного свежего воздуха, пропитанного апрельскими запахами древесного сока, смолы и влагой мекленбургских озер. Ева Казмарова говорит, что, судя по звездам, их ведут на север, а уж Ева-то знает, она была учительницей.

Глаза постепенно привыкали к темноте. На открытых местах было гораздо светлее, на горизонте густо темнели леса. Боже, как у нас в Чехии, совсем как у нас, только местность тут ровная, как тарелка, и песок вместо угля. Вот такое же звездное небо раскинулось над Шверином и над Лидицами. Говорят, Лидице сгорели, эту весть принесла одна новенькая из Праги. Но Зденка сказала Блажене и другим, что новенькая заговаривается, она не совсем в своем уме, и отчитала болтунью. Впрочем, сообщение не произвело особого впечатления на лидицких женщин. Ну что ж, если даже и так... Тем, у кого сгорел дом, построят новый. Все равно мы сейчас живем, как цыгане. Только бы всем счастливо встретиться дома!

Чешки и француженки, польки, русские и украинки — все вспоминали сейчас своих близких, шагая в потемках. Если бы мысли были видимы, если бы они излучались во мраке, какие толпы мужчин и детей со всех концов континента появились бы здесь! Пришли бы смуглые мужчины с правильными чертами лица из сладостной Франции, где голубое небо над кудрявыми виноградниками прозрачно и мысль человека легка от вина; с мужчинами были бы дети, порой похожие на маленьких сатиров. Пришли бы поляки — у них широко расставленные глаза и обвисшие усы... Вместе с сердечными, добродушными, обветренными великанами из Советского Союза бежали бы русские девочки с косичками, чернобровые украиночки и смуглые грузинские дети; были бы там и мальчуганы с черными как уголь глазами, и детские головки цвета спелой ржи, потому что в этой необозримой стране вы найдете всякие оттенки кожи, и все люди живут там в дружбе. С берегов задумчивых чешских рек прибежали бы загорелые девочки — таких рисуют

на пасхальных открытках с подснежниками и утенком. И все они похожи на Венушку.

Колонна впереди вдруг остановилась. Блажена, дремавшая на ходу с открытыми глазами, очнулась и в полумраке увидела на шоссе, совсем близко от себя, не призрачных, а настоящих, живых детей. Крестьянки с ранцами за плечами вели их за руки, отец, увешанный узлами, ехал на велосипеде и придерживал малыша, сидевшего впереди на раме. Мальчонка постарше гнал корову, а в телеге на груде перин и одеял восседали мамаша и бабушка. Изможденная лошаденка тащила телегу по асфальтовому шоссе. Это была не одна семья. По дороге тянулась целая вереница людей. Они шли в потемках, тащили свои пожитки, молча и тяжело дыша, лишь дети иногда приставали к взрослым с вопросами. Да, да, вот так же шли наши беженцы из Крконош, с Крушных гор, с Шумавы, когда Германия отняла у нас эти горные края. Все повторяется, за все приходит возмездие, есть справедливость на свете. Но как вам понравится: мать Блажены, которую угнали из разграбленных Лидиц, оторвали от мужа и дочери, три года продержали в лагере, сейчас, при виде немецких беженцев, вздохнула:

— Бедняжки! — и потащилась дальше на своих больных ногах.

— Может быть, теперь они образумятся,— резко сказала Блажена.— Это пойдет им на пользу.

Горизонт озарялся вспышками залпов, гремела канонада, по ночному шоссе проносились машины с немецкими офицерами и их семьями. Автомобили мчались, не зажигая фар, не подавая сигналов. Берегись, прочь с дороги, не то попадешь под машину. Было что-то властное и вместе с тем паническое в этой гонке. Армейские грузовики, переполненные солдатами, ехали почти сплошной вереницей. Колонну узниц из Равенсбрюка оттеснили с дороги, пришлось идти по полям и опушкам. Кто-то упал в давке, на кого-то наступили, взвизгнула женщина, выругался мужчина, захлопали выстрелы. Никто не знал, что делается на противоположном конце колонны.

На перекрестке заключенных разделили на несколько групп. Группа Блажены двинулась по главному шоссе на Шверин.

А Кето с нами? С нами. Блажена видела с краю, на несколько рядов впереди, маленькую античную голову, обвитую косами.

Светало, с лугов потянуло холодом, послышался первый птичий щебет, женщины стали кашлять — их легкие отвыкли от свежего воздуха. Колонна военных грузовиков наконец проехала, и заключенные, конвоируемые эсэсовцами, вернулись на шоссе. Вдруг у кого-то под ногами звякнуло, и солдатская каска с металлическим дребезжаньем покатилась в канаву.

— Смотрите-ка, кастрюля! — воскликнула Галачиха.— Видно, немец потерял, спасаясь от русских. Бегут со всех ног!

Это Ева Казмарова, как старушка, еле волочившая ноги, споткнулась о солдатскую каску, валявшуюся на дороге. На счастье, она не упала, соседки подхватили ее.

— Filez, filez [1]...— сказала за ее спиной французская коммунистка, та, что тайком пронесла в лагерь «Историю ВКП(б)».— C'est rudement dangereux de rester sur la place. Voyons, marchez! [2]

— Марш, марш, Софи права! — беспрестанно на ходу повторяла Галачиха и тащила за собой Еву. Старая работница не понимала слов француженки, но по ее предостерегающему тону уловила их смысл.

Галачиха и физически и морально легче переносила жизнь в лагере, чем более молодая Ева Казмарова, бывшая «печальная принцесса», склонная к меланхолии. Жизненный путь Галачихи не был устлан розами, доля ей выпала тяжкая, она с детства сама добывала хлеб, и особенно трудно ей приходилось в годы кризиса. У старой работницы было достаточно горького опыта, она знала «господ», как знают врага, умела обойтись с ними с простонародной хитрецой, ладила и с надзирательницами. По мере сил она помогала Еве, которая своей неловкостью раздражала лагерное начальство. Больше того: Галачиха утешала Еву, когда та падала духом или очень слабела физически. Сейчас Галачиха подбадривала ее, как когда-то своих племянников.

— Шагай, доченька, шагай, всему бывает конец, только у бублика его нет,—приговаривала она певучим улецким говором.—Три года мы выдержали, выдержим и еще два-три дня. Немцам уже совсем худо приходится.

Была весна, цвели цветы на лужайках, на светлой песчаной почве зеленели всходы и темнели сосновые леса... Как прекрасна была бы Германия без нацистов! Но много ли радости узницам от этого привольного пейзажа, пока их гонят под конвоем? При взгляде на высокое весеннее небо кружится голова, люди двигаются по равнине, как заведенные машины. Капризное апрельское небо то проясняется, то снова затягивается тучками, зной и холод чередуются, как в балладе «Загоржево ложе». Но ни солнце, ни весенний ветер не радуют сейчас узниц. Когда светит солнце, его лучи бьют в глаза, и от этого шумит в ушах и кружится голова. Горит опаленная солнцем кожа, от голода и усталости иссякают последние силы. А когда поднимается ветер, резкий ветер приморских равнин, который гуляет на просторе, дует так, что чуть не

---

[1] Пошли, пошли... *(франц.)*

[2] Здесь опасно останавливаться. Ну, вперед! *(франц.)*

валит с ног. В глаза, в нос, в уши набиваются пыль и песок, во рту пересыхает, и жажда становится еще острее.

В провинции Мекленбург встречаются маленькие озера, кажется, что это далекое море Ганновера то там, то здесь показывает свой зеленый глаз. Блажена и Мильча, едва завидев воду, выбегали вперед, жадно освежали пересохшие, жесткие от пыли и песка губы, набирали воды в миски и несли ее Галачихе и матери, но доносили не больше половины — вода в спешке расплескивалась.

В свежем, чистом воздухе раздался звонкий выстрел, такой подходящий к этим лесам, полям и солнечному свету, напоминающий об охоте... Кто же из заключенных отстал и свалился? Передние прибавили шагу, словно их подстегнули, они шумно дышали, как загнанные звери, их легкие захлебывались от свежего воздуха, ноги были стерты и натружены. Но узники шли, шли, шли...

Наконец вблизи полуразрушенного городка эсэсовцы объявили привал. Узницы расположились на лужайке; женщины вытянули ноги и глядели на тощие пакетики с остатками еды, которую выдали вчера вечером в лагере. С тех пор им не давали ничего. Изнуренные люди отдыхали молча, тупо.

Вдруг мимо Блажены, как-то смешно и жалко пригибаясь, пробежали эсэсовцы и со всех ног помчались к ближайшему строению. Что случилось? Блажена замерла на месте. С высокого весеннего неба вдруг что-то обрушилось. Мотора не было слышно, видимо самолет спикировал. Блажену обдало ветром от крыльев. С бреющего полета застрочил пулемет — словно разом заработала вся лагерная пошивочная. Блажена инстинктивно бросилась ничком на землю. Она увидела, что группа разбежалась и девушки машут самолету белыми платками. Все это было бы даже забавно, если бы не было так страшно. Но вот мотор оглушительно взревел, и самолет снова взмыл в небо.

— Что это было? — спросила мать Блажены, ни жива ни мертва от страха.

— Американские пикировщики,— ответила Ева Казмарова.— Я заметила белую звезду.

— А почему они в нас стреляют? — спросила Галачиха.

— Говорят, неподалеку какой-то аэродром.

— Я спрошу у Кето,— вставая, сказала Блажена.

Но она тщетно искала подругу. Кето и всех других советских девушек и след простыл: они бежали при первом же переполохе. И почему мы не поступили так же?!

Эсэсовцы вернулись из трактира, где они укрывались, и погнали колонну дальше.

Мать Блажены не в силах была подняться.

— Иди, иди, Блаженка, обо мне не думай, лучше оставь меня.

Чтобы мать, которую Зденка спасла от газовой камеры, погибла теперь, у самой цели? Она настолько исхудала, что Блажена и Мильча могли бы нести ее на руках, но нести старых и больных было запрещено. Известно, что из этого получалось.

— Молчите, тетя,— неумолимо сказала Мильча, подражая манере Зденки подбадривать отчаявшихся.— И не возражайте. Вы отлично можете идти!

— Оставьте вы меня в покое! — воскликнула старуха со злобой обессилевшего человека.— Бегите сами, вы молодые.

— Так-то ты относишься к отцу и к Венушке! — с укором проговорила Блажена.

— Э-э, бог весть где им пришел конец,— апатично отозвалась мать. Это безразличие больше всего перепугало Блажену.

— Ну, ладно,— решительно сказала она.— Я тоже никуда не пойду. Останусь с тобой, пусть нас пристрелят обеих.

Эти сердитые слова подействовали на мать, словно подстегнули ее. Старуху с трудом подняли на ноги, она встала и пошла.

ЖИВАЯ СОЛОМА

— Сберегли ли наши мою перину? — размышляла вслух Галачиха.— Невестка — порядочная неряха. Не сгноила бы ее где-нибудь в погребе. Я уже сейчас, как маленькая, радуюсь чистой постели...

Голодные и холодные, они снова ночевали на голой земле, покрывшись грубыми одеялами, в сарае, на окраине какого-то городка.

— Видно, уж не спать нам в постелях,— безнадежно сказала Ева.

— И не стыдно тебе так говорить, дочка? Ты ведь молоденькая. Я тебе вот что скажу: я старая баба — и то не хотела бы сложить свои кости в райхе. Нет, нет, ни за что! Как это говорила Кето?.. «Все будет!»

Но когда и как? Ох, уж это бесцельное странствование! Когда узницы устраивали тайный сговор, саботировали, это было смертельно опасно, но имело смысл, это приближало свободу. А сейчас?..

Мать Блажены мучилась из-за больной ноги и стонала. Блажене не спалось от голода. От горсточки крупы и кусочка шоколада, который им тайком сунули повстречавшиеся французские рабочие, давно не осталось ни крошки. Блажена наконец задремала, но мать потянула ее за рукав:

— Блажена, Блажена!

Дочь что-то недовольно проворчала, повернулась на другой бок и нечаянно задела Мильчу.

— Женщины, скорей! Налет!

Здесь не было сирены, которая предупредила бы пленников, а эсэсовцы о них не заботились.

В ночном небе ревели самолеты, грозно нарастал гул, и вот уже над самой головой возник грохот, наводивший особенный ужас, потому что это было во тьме и в чужом, незнакомом краю. Согнувшиеся фигуры, спотыкаясь, бежали к лесу, в темноте сбивали друг друга с ног, вставали и бежали дальше.

— Подождите меня! — как ребенок родителям, кричала Ева Казмарова, догоняя лидицких женщин.

— Чешки, где вы, чешки? Держитесь вместе! — кричала Блажена, ухватив мать за руку. На всех языках слышались такие же призывы:

— Venez vite, vite. Où êtes-vous, vous autres Françaises? [1]

— Польки, где польки?

Словно сговорившись, соотечественницы собирались в группы. В минуту смятения и страха дети вспомнили о матери-родине, в минуту беды каждый тянулся к землякам.

Одна грохочущая волна пронеслась, надвигалась другая. Бомбардировщики ревели так, словно на небе был вокзал и скорые поезда ревели прямо у вас над головой. Судя по грохоту, это были очень тяжелые машины. «Как только они вообще удерживаются в воздухе? — ужаснулась Блажена.— А ведь летят прямо на нас!» Это был вполне понятный страх человека, который еще сегодня днем пережил налет пикировщиков. В ужасе Блажена бежала все дальше и изо всех сил тащила за собой мать. Вместе с Мильчей они добежали до опушки леса и, пораженные, увидали свет.

«С ума я схожу, что ли? Или все это мне мерещится?» — подумала Блажена.

Высоко в небе появилось множество продолговатых желтых факелов. Это были ракеты, подобно светящимся каплям неподвижно повисшие в воздухе. Вдруг горизонт лихорадочно дрогнул, здания городка, через который недавно проходила колонна заключенных, осветились, и в разных местах вырвались разноцветные языки пламени и заклубился сердитый дым. Слышался треск, свист и грохот. Женщины, все, как одна, повалились в траву. Земля сотрясалась, небо гремело, воздух дрожал, и женщины вздрагивали от взрывных волн, от холода и страха.

Потом они очутились в каком-то сарае. Как они туда добежали, Блажена не помнила. Крыша над головой показалась ей в этот

[1] Идите скорей, скорей. Где вы, остальные француженки? *(франц.)*

миг спасением. Из темного деревенского строения на нее пахнуло миром и домом. Здесь стоял привычный, знакомый запах соломы. Блажена хотела было зарыться в нее и устроить там уголок для матери, но вдруг нащупала что-то живое и вскрикнула бы, не пройди она школу концлагеря, где люди привыкают подавлять в себе удивление и испуг.

Пискнул ребенок.

Оказалось, что солома дышит, что это живая солома — в нее зарылось несколько худеньких девочек. Они тряслись как осиновый лист и не могли или не хотели произнести ни слова. Когда одна из женщин приблизилась к ним, они съежились и уклонились от прикосновения. Какая-то девочка даже хотела выбежать из сарая, но Блажена вовремя поймала ее. Вспышки залпов озаряли сарай через полуоткрытые ворота. В их свете Блажена разглядела девочку: настоящая «чумичка», зеленовато-бледная, худенькая, волосы черные как смоль, громадные глаза.

— Похожа на нашу Венушку, такой же она была маленькая, верно? — прошептала мать Блажены.

— Не бойтесь нас, доченьки, не бойтесь, мы вас не обидим,— певучим, убаюкивающим улецким говором успокаивала детей Галачиха.

Но дети не понимали по-чешски. Однако они догадались по тону, что эта женщина не собирается обидеть их. Девочки начали подталкивать друг друга и перешептываться на странном языке — это не был ни польский, ни немецкий, ни русский, ни даже французский... Уж в этих-то языках узницы Равенсбрюка сумели бы разобраться. На каком же диалекте щебетала эта детвора?

— Еврейский жаргон! — догадалась Ева Казмарова.

Ах, боже, дети, дети, чужие дети! И лидицкие женщины вытащили для них свои последние корки из неприкосновенного запаса и гладили девочек, утешая их. Блажена с матерью взяли к себе ту, что пыталась удрать, и положили ее рядом с собой на соломе. Матери из Лидиц суеверно думали: вот я помогу этим ребятишкам, а кто-нибудь и моим поможет. Может, и они встретят где-нибудь добрых людей. И как всегда бывает, когда человек в опасности заботится о более слабом, женщины сами становились сильнее духом.

Бомбардировщики с ревом улетели, налет кончился; женщины и дети в переполненном сарае засыпали под отдаленный грохот орудий, который за годы войны стал уже как бы частью природы.

Едва все уснули, как кто-то зашевелился наверху, на сеновале, и соломенная труха посыпалась прямо в полуоткрытые рты спящих. «Чумичка» чуть не подавилась спросонья, пришлось ее похлопать по спине. Мать Блажены раскашлялась от пыли и долго

не могла успокоиться. Опять это, конечно, Мильча! Никак не может угомониться, несмотря на нечеловеческую усталость. Обнаружив в сарае лестницу, она и другие девушки залезли под крышу, на сеновал,— там, мол, лучше выспишься, а тем, кто внизу, будет просторнее. Но едва они там устроились, как Мильча уже снова полезла вниз. Темно, как в могиле, еще свалится и сломает себе ногу, что тогда делать?

В Блажене росло чувство ответственности за всю группу, хотя никто не поручал ей этих женщин и детей. Ей нужно заботиться не только о матери, но и обо всех остальных.

Блажена ухватила за плечо Мильчу, ощупью пробиравшуюся к выходу, так же как прежде ловила убегавшую «чумичку».

— Ты куда?

— Напиться. Во дворе должен быть колодец. Пусти, я умираю от жажды! Я и вам принесу.

— По эсэсовцам соскучилась?

— Сейчас они не станут нас искать,— сказала Галачиха.— Им своя шкура дороже. Они все попрятались да с перепугу наложили в...

В этот момент кто-то с топотом промчался мимо сарая. Пуля со свистом ударила в стену... Блажена оттащила Мильчу от выхода, и они обе зарылись в солому. Спрятать голову! Совсем рядом застучали свинцовые капли опасного дождя. В кого стреляют? В них, в притаившихся *хефтлингов*? Едва ли! Просто где-то поблизости завязалась перестрелка, и пули щелкали по сараю. «Видно, мы на линии фронта»,— подумала Блажена. В тишине, наступившей после налета, хлопали короткие, сухие выстрелы, словно кто-то щелкал орехи.

— Это ничего,— шептала Галачиха Еве, лежавшей рядом с ней под одним одеялом — свое Ева потеряла во время налета.— Не так страшно, ведь стреляют только из винтовок.

— Ты бесподобна, Галачиха,— сказала бывшая «печальная принцесса», прижалась к старой работнице и засмеялась чуть-чуть истерически.

Но перестрелка кончилась, и все заснули как убитые.

Они спали, спали и спали, и никто за ними не приходил. Наконец полуденное солнце разбудило женщин. Они очутились в покинутой крестьянской усадьбе. Ни души вокруг, ничего съестного, никакой живности. Нашелся, однако, размоченный в воде черствый хлеб, высохший сыр, проросшая картошка, кадка с заплесневевшими остатками капусты. Женщины кое-как поели и покормили детей. Девочки были страшно грязные и худые — кости да кожа. Блажена торжествующе извлекла кусок суррогатного мыла,

который *организовала* еще в лагере во время пасхальной уборки, и хотела помыть «чумичку» около колодца.

Подумать только, как испугалась девочка! Увидев мыло, она отскочила в сторону как ужаленная, взвизгнула, будто ее хотели резать, вцепилась себе в волосы и с плачем, подпрыгивая, словно бежала по колючкам, в ужасе заметалась по двору. Ее с трудом поймали. Несчастный ребенок все время в бегах, чего же удивляться? Другие девочки тоже забеспокоились.

— Видно, испугалась, что ее отправят в газовую камеру,— решила Галачиха. Мать Блажены молча кивнула, и лицо у нее словно окаменело. Она глядела вдаль, на горизонт, где дымились развалины и торчала ветряная мельница с отбитым крылом. Както там моя Венушка? И тут же нагнулась к «чумичке» и стала ласково уговаривать ее. Но та и слышать не хотела о мыле. Она даже не подпустила к себе Блажену и сама умылась одной водой.

ЛАГЕРЬ В ЛЕСУ

Женщины освежились у колодца, вымыли измученные ноги, постирали свое тряпье, вычесали из волос стебельки соломы и сена, потом, посовещавшись и даже поспорив — вспыльчивая Мильча сцепилась с Блаженой,— снова вместе с детьми тронулись в путь. Шли на север.

Что говорить, всем хотелось бы сделать крутой поворот, как предлагала Мильча, и идти прочь от мекленбургских озер, в сторону Берлина — Дрездена — Праги. Но разум подсказывал им, что там они натолкнутся на фронт, через который не сумеют перейти, ведь у них нет военного опыта советских девушек. Поэтому они продолжали путь в ту же сторону, куда шли все немецкие беженцы, которые направлялись в более безопасные места, на Шверин. Шоссе было снова запружено потоками беженцев, пришлось идти по полям и лесным опушкам, надо было остерегаться эсэсовцев. И куда они все вдруг подевались?

Сколько было вокруг брошенного оружия, разбитых орудий и танков! Тут было на что посмотреть. Впервые в жизни Блажена увидела разбитый немецкий танк. Он лежал на боку, выставив орудие, и был похож на окоченевшего доисторического ящера. Розовые солнечные блики играли на лягушечьих пятнах камуфляжа. Бывшие узницы обошли танк и прибавили шагу, словно приняли подкрепляющее лекарство. Да, куда приятней идти по этакой *Siegesallee* [1], усеянной обломками. Даже ноги меньше болят! Пер-

[1] Аллее побед *(нем.)*.

вый разбитый танк женщины осмотрели с любопытством, на десятый уже не обратили внимания.

Лес кончился, пришлось идти по открытому месту, и это вызвало неприятное чувство, похожее на ощущение наготы. Поток людей на дороге остановился, у деревни возник затор. Какой-то беженец, малорослый, изможденный старик немец, нагнулся и поднял в канаве солдатский ремень с надписью на пряжке «С нами бог»,— кто-то потерял его в спешке. Ремень нынче ценная вещь... Старик подержал его в руке, поглядел и вдруг, обозлившись, отшвырнул далеко от себя.

Блажена заметила злобный взгляд, который бросил на старика парень в мешковатой деревенской куртке. Где я видела эти злые волчьи глаза? Дорога впереди освободилась, и поток людей двинулся дальше. Блажена схватила Мильчу за руку.

— Погоди, пусть они пройдут.

Это был Франц из лагеря! Тот самый Франц, мучитель Блажены, мальчишка-эсэсовец, который недавно согнал ее с постели. Вот почему нигде не видно эсэсовцев! Так вот что они устроили: сняли с себя френчи с черепами на петлицах, переоделись в штатское платье и, как в мутную воду, ушли в поток беженцев. Что ж, это хороший признак. Отличный! Они боятся русских. А может быть, уже объявлено перемирие? Нет, ведь вдали все еще слышна канонада.

А здесь, в поле, стоят орудия без прислуги. Они вдруг приняли скромный и достойный вид, стали похожи на исторические памятники во дворе какого-нибудь замка. О боже, ведь каждый человек чувствует всем своим существом, что войпа не для нынешних людей, что война — это пережиток!

— Смотрите, лошадь!

Женщины, слабые, как мухи, окружили эту гору мяса.

Лошадь на войне? Ну, я понимаю, в романах Ирасека или на картинках Алеша, но сейчас, в век механизации?! Никак не думала Ева Казмарова, что в современной войне увидит павших лошадей.

— Наверно, этот конь был в обозе.

— Или тащил орудие.

— Тоже сказала! Теперь лошади их не возят.

— А может, он деревенский и убит при налете?

— Такой или этакий, а гуляш мы из него сделаем! — объявила практичная Галачиха и арестантской ложкой с отточенными краями принялась свежевать конину.

Если бы несколько лет назад кто-нибудь предсказал «наследной принцессе» из Ул: намалюют тебе, Ева, белый крест на спине, чтобы всякий видел, что ты арестантка, и в таком виде ты,

словно пугало, станешь где-то в Мекленбурге отгонять в поле ворон от дохлой лошади, и ветер будет гулять в лохмотьях уродливейшего платья, которое тебе выдали в лагере из вещей евреек, отправленных в газовую камеру, и ты будешь острым краем тюремной ложки жадно кромсать куски красноватой конины и чувствовать, как во рту набегает холодная слюна,— Ева Казмарова ответила бы: «Вы с ума сошли!» И все же это было явью, и «печальная принцесса», сидя у цыганского костра, развеселилась так, как редко веселилась в своей жизни.

Мимо прошли двое небритых мужчин в полосатой арестантской одежде, прислушались к разговору у костра, замедлили шаг и остановились.

— Хотите гуляша из конины? — предложила им мать Блажены.

Опи поблагодарили по-польски и переглянулись.

— Пани чешки? Почему же вы не идете к своим? — сказал младший и показал пальцем назад, в сторону леса.— Там целый лагерь чехов из Саксенгаузена.

— Где? Где? Далеко ли это, добрые люди, скажите!

Поляки ответили, что совсем близко, показали направление и пошли дальше.

Поднялась радостная суматоха. Женщины вставали, торопливо отряхивали свою жалкую одежду, смахивали пыль с дырявых ботинок. Блажена быстро умылась в озерце, ее мать поправила платочек на «чумичке». Мильча вынула красный гребешок и зеркальце, подаренные бельгийцем, послюнила и подровняла брови и устремилась в лес.

— Тебя только туда и посылать, шальная! — остановила ее Галачиха.— Спокойно, женщины! Вы подождете тут, а мы с Блаженой пойдем посмотрим, что и как. А потом вернемся к вам. Может быть, все это один обман.

Женщины согласились — осторожность нужна во всем.

— Еще неизвестно, примут ли нас там,— робко добавила Ева Казмарова.

Галачиха и Блажена отправились в лес. Блажене вдруг послышались глухие удары, словно рубят дерево. Нет, это ее собственное сердце билось в исхудалом теле от волнения и надежды. Вдруг она встретится здесь с Вацлавом? Кто знает, что может случиться в нынешние смутные времена? Ведь возможны и счастливые случайности, да, счастливые! Кто сказал, что Вацлав в Польше? Никто! А кстати, еврейские девочки тоже были из лагеря в Польше, и вот перевезли же их сюда, в Германию!

В лесу по-весеннему трогательно пахло молодой зеленью, и к этому живому аромату примешивался запах гари — весь при-

фронтовой край был прокопчен дымом костров и пожаров. Среди редеющих сосновых стволов уже слышался отдаленный говор и возгласы. Блажена и Галачиха вышли на опушку, стало светлее, и они увидели зеленоватые палатки и множество мужчин в полосатой одежде. Это было похоже на живую картинку. Люди занимались самыми разными делами: носили воду, стирали белье, подкидывали хворост в бледное при дневном свете пламя костров, заглядывали в котелки, играли в карты, спали, полуоткрыв рот и закинув руки за голову, отдыхали, лежа на боку, размышляли покуривая, загорали, мечтали...

Женщины осторожно подошли.

— Погоди-ка, друг,— услыхали они рядом мужской голос, говоривший по-чешски.— Тут сделай вот так, видишь, тут надо отпустить...

Мужчины ставили палатку.

Блажена настолько ожесточилась за годы лагерного рабства, что ни разу не плакала все это время, но от случайно услышанных сейчас самых простых слов на глазах у нее вдруг навернулись слезы. Неужто мы в самом деле вернемся когда-нибудь домой и будем жить на воле и наслаждаться буднями?

Мужчины украдкой наблюдали за женщинами. Они давно заметили, что из лесу вышли две старухи, похожие на тени, и, пока эти старухи неуверенно шли по краю лагеря, словно колеблясь, где же остановиться, стали видны большие намалеванные известкой кресты на истрепанных женских платьях. Эти кресты, как мишени, белели на спинах женщин.

Блажена и Галачиха остановились наконец около трех мужчин, которые пекли черные лепешки на железном листе. От лепешек шел аппетитный запах. Давно не бритые мужчины казались такими истощенными, словно они только что встали со смертного ложа. У одного из них рука была подвязана пестрым платком. Тот, что пек лепешки, немного измазал себе лицо мукой, и это придавало ему какой-то домашний вид. Все трое с интересом смотрели на подошедших женщин. Блажена надеялась на уменье Галачихи разговаривать с людьми. Пусть она начинает. Но старая работница вдруг смутилась: ей не хотелось просить. Обеим стало вдруг стыдно, и они сами не знали почему. Уж не потому ли, что у них такой жалкий вид? Блажена первая пришла в себя после замешательства и волнения и произнесла фразу, которую приготовила еще по дороге:

— Мы политические заключенные из Равенсбрюка и пришли спросить у вас от имени остальных чешек, нельзя ли нам присоединиться к вашему лагерю.

— Почему бы и нет? Погодите, я схожу за кем-нибудь из начальства,— живо откликнулся человек с рукой на перевязи и, лавируя между кострами и палатками, исчез из виду.

Вот как они тут все наладили: палатки, руководство! Это был большой, многолюдный, хорошо организованный лагерь. Блажене он внушал робость и детское почтение. Наверняка можно будет сразу узнать, нет ли здесь вальцовщика Вацлава Ланера с буштеградской Польдинки, жителя деревни Лидице. Но у Блажены не хватало духу спросить об этом: она боялась услыхать дурные известия.

— Откуда у вас такая прекрасная плита? — спросила Галачиха, с интересом разглядывая железный лист на костре.

— Дверца от немецкого танка — он приказал долго жить... угощайтесь пышками из первосортной крупчатки, только что поджарили на свежем свином сале!

И «повар» протянул им пригорелые, пропахшие дымом черные лепешки. Но до чего ж они были вкусны!

Тем временем вернулся человек с рукой на перевязи. С ним шли двое пожилых мужчин, похожие на героев из сказки о толстом и длинном.

У длинного было лицо сельского мудреца, изборожденное морщинами, исхудавшее от голода. Он быстро подошел к женщинам. В его глубоко посаженных глазах заметно было волнение.

— Вы из Равенсбрюка? Там была моя жена. Она не с вами? Ее зовут Мария Запотоцкая. Что с ней? — Он чуть заикался — это придавало его речи необыкновенную, очень человечную простоту — и вопросительно глядел на женщин.

— Как же не знать, она хороший товарищ,— оживилась Галачиха.— Ей приходили посылки из дому, она с нами всем делилась, готова была душу отдать за других! Вы не беспокойтесь, она здорова, но с нами не пошла, Зденка пристроила ее в лазарете.

— Сколько же вас? — спросил другой мужчина, широкоплечий, горбоносый, с живым, энергичным взглядом выпуклых глаз,

Блажена вытянулась в струнку и отрапортовала:

— Сорок чешских женщин и десять еврейских детей.

— Дети-то не из нашего лагеря,— добавила Галачиха,— мы их нашли в сарае, во время бомбежки, ну и взяли, бедняжек, с собой.

— Правильно сделали,— сказал Запотоцкий.— Ведите всех сюда. И в следующий раз,— из-под густых бровей он лукаво взглянул на Блажену,— когда будешь обращаться к нам за чем-нибудь, можешь не держать руки по швам, как в концлагере. У нас это не обязательно.

«Что значит скверная привычка рапортовать»,— подумала Блажена и покраснела. Они обменялись рукопожатием.

И вот чешки пришли в лес и привели детей. Что за встреча была! Сбежался весь лагерь, все окружили женщин и, сквозь улыбки и слезы, наперебой расспрашивали о своих близких. У Доланского и Билека жены тоже были в Равенсбрюке, Запотоцкому хотелось услышать новые подробности о своей жене.

— А как наш отец? — спросила мать Блажены, ободренная и повеселевшая после такой встречи.— Нет ли среди вас мужчин из Лидиц? Мы тут почти все лидицкие.

Из Лидиц? На мгновение настала такая тишина, о какой говорят: «Тихий ангел пролетел», но это заметили только Мильча, Галачиха и Ева. Проницательные глаза Запотоцкого многое видели в жизни — людскую нужду и злобу господ, штыки полицейских, сапоги гестаповцев и тюремные стены — и на все умели бесстрашно смотреть в упор. Но сейчас в его глазах мелькнули сочувствие и смущение.

— В Саксенгаузене их с нами не было,— сдержанно ответил он, помолчав, и тепло заговорил о том, что лидицкие ему, собственно говоря, соседи. Ведь он старожил Кладно. Потом он пригласил женщин отдохнуть, привести себя в порядок и подкрепиться. «Что тут есть — все ваше. Свои люди — сочтемся».

Мужчины лесного лагеря от души обрадовались соотечественницам, а узнав, что они из Лидиц, готовы были достать для них звезды с неба. Один пек восхитительно пахнущие лепешки, другой подавал их гостям, третий поддерживал огонь в костре, четвертый кипятил чай, пятый побежал за сахарином, шестой принес лучшие одеяла и попоны, чтобы землячкам было удобнее отдыхать,— словом, они сделали все, что могли, и оживленно беседовали с женщинами. Все были растроганы; то один, то другой отворачивался, чтобы никто не подсмотрел, как он смахивает набежавшую слезу.

— Кто бы мог такое подумать о мужчинах,— шепнула Галачихе мать Блажены, прикрывая рот рукой, чтобы другие не слышали, и, улыбаясь доброй старческой улыбкой, добавила: — Ейбогу, они жалостливее нас, женщин.

Только она это сказала,— и пожалуйте! — расплакалась Ева Казмарова. Сколько Ева ни поправляла на глазах очки с разбитым левым стеклом (память об эсэсовце Франце), ничто не помогло. Ева не справилась с собой, очки пришлось снять, и она уткнулась в плечо Галачихе.

— О чем ты плачешь, дурная? Что с тобой?

Ведь Ева была не из Лидиц, и никто из ее близких не сидел в тюрьме.

— Я...— всхлипывала Ева,— я... уже совсем забыла, что есть хорошие мужчины, которые не орут, не дерутся и не стреляют. Вы так заботитесь о нас...

— А вы о нас разве не заботитесь? — сказали мужчины, ибо женщины, как только немного освоились, сразу же взялись за иголки и нитки и стали чинить одежду обитателям лагеря.

Блажена сидела под сосной, держа на коленях чье-то пальто, и ставила заплату, с нежностью глядя на грубую ткань мужской одежды. А буду ли я когда-нибудь чинить одежду Вацлаву? «Чумичка» спряталась с детьми в палатке, им там очень понравилось, было уютно и таинственно, а мать Блажены зашивала их платьица, дырявые, как решето, и при каждом стежке вспоминала свою младшую дочку. «Венушка моя золотая,— твердила она про себя, хотя в жизни не называла ее так.— Венушка, моя хорошая, это тебе я зашиваю платьице, для меня ты все еще маленькая. А ведь ты почти невеста».

Небритые мужчины уходили и через некоторое время возвращались приодетые и немного поцарапанные после бритья тупыми бритвами; они привели себя в порядок ради такого случая. Все были такие худые и тонкие, словно и скелет у них отощал под высохшей кожей. Бритые, они казались болезненными юношами. Ну, а женщины... что и говорить, лагерь не красит. Иначе, как «лидицкие бабки», они себя и не называли.

— Вот и неправда! — уговаривал Блажену желтолицый паренек в полосатой одежде.— Вы, наоборот, выглядите очень молодо. Больше сорока пяти вам никак не дашь.

Сидевшая над шитьем Блажена усмехнулась.

— А как вы думаете, сколько мне? Двадцать четыре!

— Молчи, дочка, молчи,— утешала ее Галачиха.— Будем дома — расцветешь, как роза.

Она вдруг спохватилась, опустила глаза, словно почувствовала угрызения совести, и, чтобы скрыть тягостное смущение, еще энергичнее заработала иглой.

Мильча, сытая и здоровая, под защитой мужчин, присутствие которых необычайно возбуждало ее, во всеуслышание расхваливала отличное устройство лагеря и удивлялась, откуда они все это достали.

— Палатки побросали немецкие войска, когда удирали. А за продуктами мы ходим в соседнюю деревню.

Галачиха подняла голову.

— А не могли бы вы там *организовать* флаг?

— Скажешь тоже! Это со свастикой-то?

— Подумаешь, свастика! Ее спороть можно,— возразила практичная Галачиха.— Белая материя есть, вот хоть мой

передник, а синяя... нет ли у кого спецовки? Ну так найдется в деревне.

И, расположившись на молодом вереске, лидицкие женщины принялись шить трехцветный флаг Чехословацкой республики.

— Белый цвет сверху, а красный снизу или наоборот? — со вздохом спросила мать Блажены.— Никак не вспомню, честное слово. Семь лет его не видела. С того года, как был сокольский слет.

И вот мужчины подняли флаг на сосновом шесте. Флаг затрепетал на ветру, солнце отразилось на его белом поле, вспыхнул красный цвет, и задумчиво улыбнулся синий. Знаете ли вы, люди, когда ходите теперь по празднично разукрашенным проспектам, не замечая флагов, потому что их так много, целые аллеи флагов,— знаете ли вы, что означает для узника, попавшего на чужбину, снова увидеть флаг отчизны? Вы, дети, машущие маленькими флажками, запомните, что этот флаг, отец всех флагов, был тяжел, ибо был пропитан слезами и кровью.

Но кровь превращается в зарю, а слезы — в облака. Блажена и Мильча глядели в высокое изменчивое весеннее небо, на родной флаг, развевающийся на темном фоне сосен. Мильча вспоминала Елену и ее последние слова о том, что все хорошо кончится, Блажена думала о Вацлаве, об отце, о Кето, вспоминала, как за колючей проволокой лагеря, под дулами пулеметов встречалась с молодой грузинкой и они читали наперебой друг другу чешские и русские стихи, упражняли память, чтобы не отупеть от ужасов и страданий, чтобы сохранить ясную голову.

Бей, стяг, о древко, это жребий твой.
Две чаши полные подъемлю заодно,
в них белое и красное вино,
два цвета, два огня...

Вечернее небо за темными соснами побледнело и стало перламутровым. Мужчины наносили хвороста, развели большой лагерный костер. От сырого валежника шел смолистый дым, сухие веточки потрескивали в огне, пламя гудело и поднималось к небу, излучая благотворное тепло. Это было доброе, земное пламя, оно горело под присмотром людей и им на пользу, оно не походило на сумасшедший огонь с неба, который разгоняет и истребляет все живое. Это был огонь дружбы. Обитатели лагеря полукругом расселись на одеялах — лидицким женщинам были отведены лучшие места у самого огня — и стали слушать высокого исхудавшего человека, что стоял возле костра. На фоне тревожно пылающего пламени лица оратора не было видно, но слова его понимали все, он говорил неторопливо и отчетливо, вкладывая в сердца собравших-

ся то, чем полно было его сердце и что он хотел передать им. Старый рабочий, вожак революционного Кладно, делегат исторического Первого съезда Коминтерна в Москве в 1920 году, человек, лично знавший Ленина, опытный профсоюзный деятель и депутат парламента от коммунистов Кладненского края, Антонин Запотоцкий, шесть лет проведший в концлагере Саксенгаузен, обращался к бывшим *хефтлингам.*

— Нас бросали в тюрьмы, над нами издевались, нас мучили,— говорил он.— Но мы не пали духом, и это главное. Мы не утратили веры в правоту своего дела. Мы знали, что Красная Армия победит, ибо она сражается за правду, вот почему мы и в тюрьме не опускали рук. Мы сопротивлялись нацистским поработителям, вели подрывную работу, организовывали саботаж. Сейчас мы выходим из камер, из подполья и концлагерей и вступаем в новую жизнь. Сбываются слова Яна Амоса Коменского: «Снова станешь ты хозяином судьбы своей, народ чешский!» Свободными людьми возвращаемся мы на свободную родину. Своим трудом мы создадим новую народную республику. Основа для этого созидания — наша нерушимая дружба с Советским Союзом. Но лишь усилиями наших собственных рук и ума, с помощью разумной организации и крепкой дисциплины завершим мы строительство нашей республики. От того, как мы будем работать, зависит и наше будущее. Кончается период саботажа, начинается созидательный труд, и это возлагает на нас особую ответственность. Новая жизнь будет такой, какой мы ее построим!

Люди слушали, стараясь не шелохнуться, не пропустить ни одного слова. Когда оратор делал паузу, за него как бы говорил чехословацкий флаг. Этот флаг реял над костром, и отблески огня играли на полотнище, превращая его цвета в цвета гвоздики, снега и неба. Флаг развевался и хлопал на ветру. Блестящие в темноте, взволнованные глаза на исхудалых лицах слушателей были с восторгом устремлены на оратора. Еве Казмаровой, изучавшей некогда историю, казалось, что она попала на лесное богослужение «чешских братьев».

«Боже,— думала растроганная Блажена,— как долго слушали мы на аппельплацах злобные окрики *лагерлайтра*[1]... Неужели действительно вот этот мудрый, твердый и отечески ласковый человек говорит с нами по-чешски? Не сон ли это?»

— Я ущипнула себя за руку, чтобы проверить, не сон ли я вижу! — сказала ей тихо Галачиха, словно угадав мысли Блажены.

У всех было одинаковое чувство, все ощущали себя сплоченным коллективом. Мужчины хотели было устроить отдельный

[1] Начальник концлагеря (от *нем.* der Lagerleiter).

женский лагерь, где было бы больше удобств и никто не стеснял бы женщин.

— Чепуха! — возразил на это один из руководителей лагеря, энергичный, горбоносый Водичка.— Вы останетесь с нами. Вам будет веселее и нам тоже. Мы знаем, как себя вести, никто вас и пальцем не тронет.

Для женщин устроили постели в палатках. Женщины обрадовались — среди мужчин они чувствовали себя в большей безопасности.

Было начало мая. На заре трясогузки и зяблики распелись в кронах деревьев над спящим лагерем и разбудили Блажену. Разбудили ее и весна, и цветение леса. Это было удивительно: цветов нигде не видно, но в воздухе носятся облачка цветочной пыльцы, и ты ясно чувствуешь, что в лесу что-то происходит — он благоухает хвоей и озоном, весной, морем, безграничными надеждами...

С утра весело задымили костры, лагерь поднялся на ноги, каждая группа взялась за работу, порученную ей руководителями. Все здоровые пусть работают, иначе начнутся нелады — опытный Запотоцкий хорошо знал людей.

Часть мужчин отправилась за провизией в соседнюю деревню. Блажена, растопив плиту, сделанную из дверцы танка, подбрасывала поленья и пекла лепешки. Прежде всего покормили детей. Золотистая божья коровка села «чумичке» на руку. Она вытянула изувеченную, тонкую, как палочка, руку с вытатуированным номером и стояла неподвижно, чтобы букашка не улетела, а мать Блажены учила девочку песенке: *Божья коровка, улети на небо...*

Вдруг откуда ни возьмись из леса выехал офицер на белом коне. Молодой, как весна; автомат на ремне; звезда на фуражке. Всадник остановился, глядя на эту массу людей,— что они тут делают?

— Да ведь это русский! Красная Армия пришла! — воскликнул кто-то за спиной Блажены.

В лагере поднялся такой шум, такое ликование, что под всадником заплясал встревоженный конь. А конь этот, наверно, уж видывал виды. Счастье всадника, что он оставался на коне, а то его просто задушили бы в объятиях. Обитатели лагеря обнимали друг друга и кричали от радости. Блажена взяла «чумичку» на руки и показала ей советского воина.

— Его ты запомни на всю жизнь! — говорила она, и слезы текли у нее по щекам.

Из толпы вышел высокий худой человек с лицом сельского мудреца — Антонин Запотоцкий, руководитель лесного лагеря. За

ним шли еще двое: смуглый, как цыган, Доланский и горбоносый энергичный Водичка. Они жестами попросили своих соотечественников замолчать, но тишина улеглась не сразу. Люди сами наводили порядок, и в конце концов стало тихо.

— Мы — чехи, политические заключенные,— сдерживая волнение, сказал по-русски Антонин Запотоцкий,— приветствуем победоносную Красную Армию — освободительницу. Да здравствует Красная Армия!

Весенний лес дрогнул, но уже не от грохота орудий, а от приветственных возгласов счастливых людей. Ликованию не было конца, рукоплескания шумели, как пьянящий весенний дождь, после которого все зеленеет и радуется и в воздухе разливается упоительная свежесть. Как приятно ее вдыхать! О, запах свободы! Сколько радости, боже, сколько счастья! Здесь, в этом майском лесу, пела сама весна народов.

— Вы свободны, братья,— сказал советский офицер и сделал широкий жест, такой широкий, как сама матушка Русь.— Будущее перед вами. Все, что вам нужно, вы получите. Это ваши дети? — обратился он к женщинам и погладил по голове «чумичку».

— Нет, мы их подобрали по дороге.

— Ну, конечно, чехи! — сказал растроганный офицер, хлестнул коня и ускакал.

Вскоре пришли красноармейцы. Люди добрые, чего они только с собой не принесли! Чехи не верили своим глазам! Неужели все для нас, и никто этого у нас не отнимет? Мешки муки, ящики сахара, чай, соль, пачки папирос, консервы... А кроме того, еще и живность: солдаты несли под мышкой живых гусей, гнали коров и привязывали их к кольям у палаток — все это ваше. Лагерь выглядел в это утро, как деревенская пирушка в престольный праздник.

В ведрах булькала манная каша, в котлах варились гуси, из советского обоза пришли повара и с профессиональной ловкостью свежевали, рубили и делили туши.

Да, друзья мои, вот это был гуляш! Не то что из дохлой кобылы!

— Смотрите не набрасывайтесь на еду,— предупреждал Запотоцкий, поспевавший всюду.— И не забывайте запивать чаем. Мы хотим отправить вас домой здоровыми.

Советское командование прислало чехам не только поваров, но и радиотехников. В лагере было установлено радио, принесли в подарок пишущую машинку, и в тот же день вышел первый номер стенной газеты «Возрождение». Блажена печатала заметки.

С наслаждением она стучала на пишущей машинке и одновременно присматривала за гусем в котле.

Да, конечно, никто не захочет вечно жить в лесу... но такой чудесный майский день никогда не повторится, так бывает только раз в жизни!

ДА, МЫ ЗНАЛИ

Тем временем женщины в равенсбрюкском лазарете переживали трагические минуты.

Два дня и две ночи русские обстреливали Берлин из тяжелых орудий. Канонада доносилась до лагеря, сотрясая воздух; окна звенели, словно лязгая зубами; с потолка сыпалась штукатурка. Над всем этим висел грохот авиации. Кругом горели заводы, подожженные бомбами, но на лагерь не упало ни одной.

В лагере все пошло кувырком. В кухне толклись свиньи, пригнанные сюда из хлева; спущенные с цепи собаки бегали среди пьяных эсэсовцев и остервенело лаяли на огонь. В свете бенгальских огней пожара снова появились прекрасные кремовые автобусы Красного Креста. Долго ли они еще будут искушать нас? Вокруг лагеря бушевали пожары и трещали выстрелы; покрасневшими от дыма глазами узницы глядели из-за ограды на красивые светлые машины. Но пустые автобусы, не останавливаясь, обогнули лагерь и исчезли.

— Как привидение в театре,— заметила острая на язык Ганка.

На другой день женщины из лазарета увидели, как немецкая подрывная команда с клещами и другими инструментами разматывает провода, закрепляет их на стене, под окнами кухни, и что-то там прилаживает. Эсэсовцы минируют лагерь! Эта весть молниеносно разнеслась среди заключенных.

Что было делать женщинам? Никто из них ничего не понимает в таком деле. Они дали знать об этом в соседний мужской лагерь и, как обычно, отправились спать.

— Когда взлетим на воздух, смотрите не перепугайтесь, девушки,— сказала на прощанье неисправимая Ганка.

И, привычные ко всему, женщины уснули.

Утром они проснулись, протерли глаза.

— Эй, девочки! Мы живы!

Кругом стояла тишина. Немцы исчезли.

Выяснилось, что один из заключенных мужского лагеря перерезал электропроводку к детонаторам и тем предотвратил катастрофу. Моторы не работали, света не было, водопровод бездействовал. Для лазарета с полутора тысячами больных остаться без воды — последнее дело.

У доктора Зденки, которую заключенные выбрали начальником лагеря, хлопот был полон рот, и она не знала, за что взяться раньше.

Была среди заключенных маленькая женщина с большими зелеными глазами итальянки, в которых отражалось почти детское удивление окружающим миром. Ее звали Густина Фучикова. Густа не переносила вида крови. Но ей пришлось увидеть собственного мужа, окровавленного после страшного гестаповского допроса во дворце Печека. И все же Густа не стала уговаривать Фучика облегчить свою участь изменой. Она боялась вида крови, и все же не проронила ни слова, когда и ее избили в кровь. Густа, собственно говоря, была трусиха — женщина с обостренным воображением, с чувствительной нервной системой. Но идея, в которую она верила, овладела ею и как бы берегла ее тело. Тоненькая Густа за все время ни разу не побывала в лазарете у Зденки, не хворала, не жаловалась и, как Зденка, молча переносила страдания.

Она знала, что дела Фучика плохи, догадывалась, что ему не выйти живым из тюрьмы. Но человек никогда не теряет надежды. Конечно, Густину тянуло домой, но что поделаешь, если она всей душой привязалась к товарищам по лагерю? Здесь она может принести пользу, а что толку будет от нее на шоссе? С другой стороны, ей очень хотелось узнать все о судьбе Юлиуса. Густа приготовилась покинуть лагерь с ближайшей колонной, им уже раздавали пакеты еды на дорогу, но она вдруг передумала, убежала к Зденке в лазарет, влезла на «третий этаж» — так называли самые верхние нары — и притаилась там. Что она ответит Трайте, если он придет выгонять ее? Сказать, что на нее напала страшная слабость и она не в силах идти? Но Трайте возразит: если у вас слабость и головокружение, как же вы смогли взобраться на верхнюю койку? Густа готова была нарочно упасть с койки и сломать себе ногу, лишь бы остаться с подругами в лазарете.

Но Трайте не пришел. В лагере его уже больше не видели... Он появился только позднее — на скамье подсудимых в Гамбурге, и Густе посчастливилось.

Она впряглась в тележку, которой пользовались для вывозки трупов из лазарета, и два дня с утра до вечера возила воду для больных — от колодца в свинарнике к котлу для варки пищи. Маленькая немка, работавшая на кухне, поддалась гитлеровской пропаганде и дрожала от страха перед русскими, а слабенькой Густе надежда на приход русских придавала небывалую силу. И она все возила и возила воду.

Изо всех углов лагеря, бог весть из каких закоулков, подобно летучим мышам, пробужденным весенней уборкой, вылезали *латы*. Этим польским словом в лагере называли заключенных,

ходивших с зеленым или черным треугольником: воровок, мошенниц, проституток, убийц. Таких сейчас было много в Равенсбрюке — в последнее время их свезли из других лагерей и тюрем, оказавшихся в прифронтовой полосе. Латы нагрянули, как саранча, грозя уничтожить продовольственные запасы лагеря. А запасы были скудные — счастье еще, что удалось обнаружить посылки Красного Креста, которые эсэсовцы припрятали от заключенных, но не успели увезти.

Паек получит только тот, кто работает, объявили новые руководители лагеря. Многие латы скрепя сердце подчинились такому порядку. Другие решили, что это глупо, и начали грабить вещевые склады. А на складах хранилось множество ценностей, принадлежавших тысячам казненных и заключенных женщин всех наций. В дорогих шубах, увешанные колье и серьгами, нанизав перстни на пальцы, латы, как гранд-дамы, продефилировали к выходу. Но просчитались: в воротах их задержала охрана и вернула обратно — никто не был вправе разворовывать военные трофеи.

Как-то раз Густа вышла за ворота и видит: к лагерю подъехала машина с немецким офицером в зеленом френче. Только этого не хватало! Густа подошла к машине и как ни в чем не бывало осведомилась у гитлеровца, с невинным видом глядя на него большими глазами:

— Не знаете ли случайно, Красная Армия уже здесь?

— Was? — рявкнул офицер в зеленой форме, и лицо его тоже позеленело. Он дал газ, и был таков.

В штаб лагеря пришли четыре русские девушки, оставшиеся в лазарете.

— Выдайте нам четыре кулька соли.

— Соли? Зачем вам соль?

— Пойдем на разведку, поглядеть, где наши. А если встретим эсэсовцев, засыплем им глаза солью.

— Что ж, соли у нас хватит, сходите, желаем успеха.

Девушки вернулись счастливые, оживленные, глаза сияют.

— Видели наших!

Женщины построили триумфальную арку, разукрасили ее хвоей и красными лентами, сшили советский флаг, укрепили его на арке.

Лагерь ждал, радовался, сгорал от нетерпения. Ждал, ждал, ждал... Напряжение сменилось разочарованием, опасениями. Что же это такое, никто не идет...

И вдруг, как-то совсем незаметно, в лагере появился красноармеец на велосипеде. Подъехал он совсем не с той стороны, откуда ждали русских. Так часто бывает. Представляете себе, как бросились к нему узницы! Все советские воины, возвещавшие сво-

боду заключенным концлагерей, подвергались опасности быть задушенными в объятиях. Красноармеец только повторял:

— Другие тоже придут. Нас много.

Наверно, у них будут раненые, решила Зденка и вместе с другими женщинами принялась за работу. Они продезинфицировали операционную, простерилизовали инструменты, приготовили палаты и койки со свежим бельем, мыли, стирали, терли, чистили и убирали, так что под конец все засверкало чистотой. Еще бы, для таких гостей.

Приехал советский командир, и ему устроили горячую встречу, показали лагерь, склады, привели в лазарет. Там все было в образцовом порядке. Зденка сияла.

— Товарищ командир, все готово для приема раненых. Операционная, перевязочный материал, койки, медикаменты.

Офицер, поклонившись, поблагодарил и улыбнулся:

— Мы очень тронуты вашим вниманием. Но у нас нет раненых.

Узницам было почти обидно, что им не удалось показать себя.

— Разрешите пригласить вас на чашку чая, товарищ командир.

— Спасибо, мы сыты и не хотим уменьшать ваши запасы.

— Тогда у нас к вам есть одна просьба, товарищ командир. Только вы уж не откажите,— вмешалась Ганка.

Она переглянулась со Зденкой, и обе произнесли в один голос:

— Посидите, пожалуйста, вон в том черном кресле.

Советский офицер сел.

В этом кресле сиживал начальник лагеря гитлеровец Синкрам, когда решал, кого из женщин отправить в газовую камеру. Отсюда он росчерком пера посылал людей на смерть. И вот сейчас здесь сидел не гитлеровский палач, а участливый человек с добрым лицом. Он расспрашивал узниц о том, что им пришлось вынести, о своих страданиях и заботах он и не вспомнил и просто, по-человечески беседовал с ними. Женщины глядели на него, наглядеться не могли, им все не верилось, что сбылась мечта, которой они тешились в тяжелые времена. Они еле сдерживали слезы.

— Разрешите задать вопрос, товарищ командир,— сказала Зденка.— Вы знали, что в Равенсбрюке находятся политические заключенные?

Советский офицер утвердительно кивнул.

— Да, мы знали.

— Ни одна бомба не была сброшена на наш лагерь. Это сознательно или счастливая случайность?

Командир улыбнулся, молча расстегнул планшетку, висевшую

у него на поясе, вынул из нее карту и разложил на столе. Женщины увидели тщательно очерченные красные прямоугольники.

— Вот. У нас на карте был план лагеря.

Поговорив с женщинами, командир встал и пожал руку начальнику лагеря Здене.

— Я вижу, у вас тут все в образцовом порядке. Поддерживайте его и дальше, а дня через два мы пришлем сюда гарнизон. Только одно пожелание: не ходите больше в арестантской одежде. Вы же свободные граждане. На складах одежды хватит!

ВСЕ ПУТИ ВЕДУТ В УЛЫ

Когда-то, еще при Первой республике, юный Ондржей Урбан навсегда покинул Улы. Глубоко потрясенный унизительным увольнением с фабрики Казмара, он сидел в вагоне местного поезда, упрямо не открывая глаз, пока мерный ход поезда и свисток локомотива не возвестили ему, что Улы скрылись за поворотом, и клялся, что в жизни не увидит этого ненавистного места. Вот уж не снилось и не грезилось ему, что он вернется сюда, да еще на танке и с автоматом в руках. Но сейчас Ондржей не удивлялся этому. Из Бузулука он уже прошел далеко за Остраву, шел в пургу и в распутицу, шел в мороз и в жару, шагал по пескам, в пыли бесконечных равнин и перебирался через горы и реки. Он видел множество стран и людей, руин, пожаров и трупов, он был свидетелем страшной подлости, доброты, самоотверженности и скромного героизма, он избежал стольких опасностей и набрался такого опыта, что уже ничему не удивлялся. Самая буйная фантазия автора авантюрных романов не создаст такой невероятной обстановки, в какую попадали «люди на перепутье» в эти годы, на рубеже двух эпох.

Взять хотя бы к примеру друга Ондржея — Людека, того, что иногда кричит во сне. Приходится трясти его как следует — кричать, мол, у нас не полагается. На счастье, это бывает с ним редко. Так вот, чего только не приключалось с нашим Людеком.

Налегке, в чем был, он вместе с товарищем бежал из Остравы в тот роковой мартовский вечер, когда туда неожиданно вступили войска Третьей империи. Некоторое время Людек и Бедржих прожили в Кракове, а когда началась германо-польская война, они поспешили дальше на восток, чтобы через пограничную реку Сан перебраться в Советский Союз.

Шли они обросшие, оборванные, босые, обувь буквально сваливалась у них с ног: ведь они брели уже целый месяц. В светлый октябрьский полдень за редеющим лесом мелькнула вода. Уж не это ли желанная пограничная река? Окаймленная тополями дорога

делала поворот. Оба приятеля миновали его и обомлели: прямо перед ними разлеглась на траве группа немецких солдат. Столько времени удавалось нашим беженцам избегать фашистов, столько времени шли они лесами и кормились у добрых людей и вдруг попали прямо во вражьи лапы. Отступать было поздно, солдаты их заметили и поманили к себе, то ли приветливо, то ли коварно... Что будешь делать? Не голыми же руками сопротивляться вооруженным людям! Бежать бессмысленно — солдаты поднимут стрельбу. Людек и Бедржих нерешительно подошли. Солдаты стали расспрашивать, кто они и откуда, забавлялись смущением чехов и их ломаным немецким языком, но не сердились — видно, были в хорошем настроении и навеселе. Вдруг один из них, худой и высокий, сказал:

— Jetzt gibt's Wettschießen! [1]

Они привязали Людека и Бедржиха к стволу тополя и чернильным карандашом по светлой коре дерева навели над их головами круги. Состязание заключалось в том, чтобы попасть в круг, не задевая пленников. Можете себе представить, каково было молодым чехам! Людек закрыл глаза и тупо ждал смерти. Грянул первый выстрел, звук его ошеломил привязанных, потряс до глубины души. Пуля никого не задела. Только труха от тонкой коры и увядающие осенние листья посыпались с тополя. Один лист упал за воротник Людеку, в холодном поту от смертельного страха, юноша почувствовал влажное прикосновение этого листка. Смешанный запах пороха и брызнувшего древесного сока был нестерпим, от него делалось дурно, у Людека подкашивались ноги. Грянул второй выстрел. Пуля опять впилась в дерево. Мучители были хорошие стрелки!

Вдруг где-то сзади гортанный голос прокричал по-немецки:

— Gulaschküche! [2]

Солдаты, забыв о потехе, побежали к приехавшей полевой кухне. Людек и Бедржих остались стоять привязанные к тополям. Низенький бледный рыжеволосый солдат отделился от группы и подошел к пленникам. «Идет добить нас»,— подумал Людек. Бледное лицо солдата вблизи показалось ему особенно злым. Но солдат, не сказав ни слова, отвязал их и отвернулся. Людек и Бедржих поспешили скрыться.

С тех пор Людек иногда кричит ночью. Сам этот эпизод ему больше не снится, мучительно уже одно ощущение пережитого ужаса. А он парень не робкого десятка. Вместе с Ондржеем Людек пережил бои под Соколовом, Киевом, Белой Церковью, побы-

---

[1] А теперь начнется стрелковое состязание! *(нем.)*

[2] Походная кухня *(нем. воен. жарг.)*.

вал в аду Дуклы, прошел с боями Поляну, Остраву. Но там он уже был с оружием в руках и знал, за что сражается. Нет ничего страшнее, чем находиться в неизвестности и быть безоружным.

Или вспомним историю старой украинки — это же сказочный подвиг.

В украинской деревне, занятой немцами, в белой мазанке под соломенной крышей жила старуха Марфа Андреевна. Муж у нее был на фронте, сыновья и дочери в партизанах. Старушка жила одиноко в хатке, подсолнечники цвели под ее окном, поросенок похрюкивал в хлеву, куры рылись в садике. Пришли фрицы, перебили кур, зарезали поросенка и из озорства посшибали головки подсолнечников. А потом и о хате и о старушке думать позабыли. Маленькая тесная хатка им была не нужна, никто из начальства в ней не поселился. Солдаты были расквартированы в школе, а офицеры — в колхозных домах.

Зашла к Марфе Андреевне соседка Евгения Филипповна занять немного закваски, оглядела маленькую, свежевыбеленную кухоньку и одобрительно качнула головой.

— Ишь как поторопилась, Марфа Андреевна. До праздника еще месяц, а она уж и хату выбелила. Хорошо, чистенько!

— Печь у меня дымила, закоптила всю кухню,— проворчала Марфа Андреевна.— Я этого не люблю.

Время шло, Марфа Андреевна все хозяйничала одна в своей хатке. Прошло два года под немецкими оккупантами. Советские войска освободили Киевщину, в деревню вместе с красноармейцами пришел взвод Ондржея. Очищая деревню от эсэсовцев, они зашли и к Марфе Андреевне. Старушка просияла. Постучав в глухую стену кухоньки, она позвала:

— Дети, дети, выходите на свет божий! Не бойтесь! Теперь можно. Наши победили, пришла свобода.

Она отодвинула сундук и через отверстие в стене вытащила съежившегося парня, а за ним упирающуюся девушку. Брат и сестра сначала не хотели выходить. И вот они молча стоят перед солдатами, грязные, растрепанные, лица у них желтые. Парень, как завороженный, глядит в окно. Девушка заслонилась от света, словно у нее светобоязнь. Они сделали несколько шагов, шатаясь из стороны в сторону, как выведенные из шахты на свет божий шахтерские лошадки старых времен. Счастье еще, что они не ослепли! Да и чему удивляться — два года не видели солнечного света. Марфа Андреевна замуровала их.

Дело было так. Нацисты везли детей политических заключенных из Словакии на Украину. На транзитной станции, когда все спали, двенадцатилетний Штепан Бородач и его сестра, четырнадцатилетняя Каролина, сбежали из эшелона. Гитлеровцы убили их

родителей, и дети чувствовали, что их ждет та же участь. Они долго плутали в потемках по незнакомому краю, а к утру, замерзшие и испуганные, зашли в первую попавшуюся хату близ леса. Это была хата Марфы Андреевны. И старуха не выдала их, она укрыла беглецов — чужих детей.

— Сделаю для вас каморку, только смотрите, сидите там тихо. Чтобы о вас не было ни слуху ни духу!

Старушка все обдумала и взялась за работу. Работая по ночам, чтобы никто не увидел, она перегородила кухню стенкой. Кухня от этого стала меньше, но не изменилась с виду: Марфа Андреевна ее заново выбелила и развесила по стенам одежду, как прежде. Даже зашедшая к ней соседка ничего не заметила.

Два года жили брат с сестрой в темноте за перегородкой. Только ночью старуха ненадолго выпускала их в садик. Каждый день она осторожно отодвигала сундук и давала детям поесть, делясь с ними тем немногим, что можно было достать в разграбленной оккупантами деревне. Если бы какой-нибудь фриц дознался об этом тайнике, знаете, что грозило Марфе Андреевне? Виселица! Но она пошла на этот риск ради чужих детей, чей язык она плохо понимала, и сделала это просто и естественно, совсем не думая о том, что поступает как героиня. Муж ее был на фронте, сыновья и дочери в партизанах, а Марфа Андреевна благодаря своей смекалке вырвала из рук нацистов этих детей.

— Одного я боялась,— с юмором рассказывала она Ондржею и Иожо.— Того и гляди, дети не поместятся в тайничке. Пришлось бы опять перекладывать стенку. Известное дело: растут без поливки. Пришла ко мне ребенком, а теперь, поглядите — невеста,— прибавила она, кивнув на Каролину.

После того как девушка умылась, причесалась, она порозовела и стала очень хороша. Иожо не сводил с нее глаз. Он заговорил с земляками по-словацки, был весел, пылок, речист, и постепенно брат с сестрой тоже оживились. Первым пришел в себя Штепан, с Каролиной было труднее. Сначала она была словно не в себе: то часами молчит, то, захлебываясь, говорит что-то несвязное и беспричинно смеется. Что-то случилось с ней в тот трудный переломный период, когда девочка превращается в девушку, как раз в то время, когда она была замурована и отрезана от людей вместе с маленьким братом.

Брат и сестра не расставались ни на минуту. Четырнадцатилетний паренек был в восторге от воинов, которые их освободили, и немедля попросился в армию, чтобы отомстить за родителей. Сестра не хотела отстать от него.

Сейчас Каролина, в составе роты Ондржея, вместе с ним приближается к Улам. Она жена Иожо. Она смела, спокойна, уравно-

вешенна, и у нее осталась только привычка моргать после той боязни света, которая была у нее в первые дни освобождения. Иожо считает, что это только прибавляет ей прелести.

Была весна, ветреный день, неприветливая весна в предгорьях, «где кончает расти хлеб и берут свое начало реки», как говорили об улецком крае; это значило, что тут начинаются горы. Но это — если идти со стороны Ганацкой равнины. А чехословацкие части в составе Четвертого Украинского фронта подошли к Улам с востока, где горная цепь переходит в улецкую долину. Слава богу, эти злополучные горы уже остались позади. А то советские солдаты даже сердились: горы, горы, кругом горы! «У вас в Чехословакии всюду одни горы? — укоризненно спросил Николай Ондржея.— Когда же мы попадем на ровное место?» Ах, летние гости, сидящие на террасе горного отеля за чашкой кофе, хорошо вам любоваться живописным ландшафтом под звуки легкой музыки! Эта восхитительная предвечерняя панорама, эти чарующие силуэты гор, эти прелестные виды, словно на открытках «Привет из Словакии»,— сколько они стоили крови! Нет, Ондржей никогда не будет альпинистом! Гора — это подлая штука. Каждая вершина в военное время превращается в «высоту такую-то». А если приказано занять «высоту такую-то» и удержать ее, то приказ должен быть выполнен — вот наше правило!

Ох, уж эта высота 694, мы ее до смерти не забудем! Ондржей брал ее с моторизованной пехотой. Видно, не для танков создал господь бог эту лысую гору с обрывистыми склонами. Но как быть командиру? Высоту занять нужно. Пешком солдатам туда никак не забраться. Немцы открыли по высоте ураганный огонь, простреливали каждую пядь. Танки скользили на крутых склонах, тормоза не помогали, машины срывались, катились под гору, с треском ломая горные ели, и застревали в лесу, под горой. Сколько людей при этом погибло, сколько машин вышло из строя! Танк Ондржея все же вскарабкался вместе с другими. Автоматчики соскочили и рассыпались цепью. Пока танки, казавшиеся невероятными на такой вышине, целиком связали противника, пулеметчики как одержимые палили по фрицам.

Шестьдесят человек удержали высоту 694, в трех километрах от Дуклы! Когда политработник Грушка по телефону сообщил об этом в штаб, там сначала не хотели верить. Награждали живых и павших прямо на поле боя. Ондржей тоже получил ленточку в дополнение к своей Золотой Звезде.

Когда тебе вручают награду чуть ли не в разгар боя, это бодрит, воодушевляет. Но что бы вы думали? После Дуклы пришло ледяное письмо из Лондона: «Даже смерть на поле брани — не основание для награды, коль скоро командование не запросило на

это разрешения лондонского министерства национальной обороны». Штаб корпуса даже не огласил этого послания перед личным составом частей, чтобы напрасно не волновать солдат. Но факт все же стал известен и озлобил многих. Господа в Лондоне, что сидят там в министерстве, холодны, как собачий нос. Им-то легко разводить канцелярщину. Что они знают о войне? В школе они читали отрывки из Гомера, а вот на новую Илиаду Великой Отечественной войны закрывают глаза, она им не по нутру. Воины Красной Армии тащили на руках разобранные по частям орудия на вершины Карпатских гор, куда не пройдет ни конь, ни машина, и там снова собирали их с виртуозной быстротой, чтобы застать противника врасплох и обстрелять с неожиданных позиций. Когда советские войска с боями перешли границу и соединились с партизанами, целые деревни провожали их в горы, показывали им старые Яношиковы тропы и помогали переправлять оружие. Каждой старушке хотелось нести хотя бы винтик, каждому мальчишке — по меньшей мере пулемет. Слабых приходилось возвращать домой, чтобы они не мешали. Танкист Ясёк, сын чеха-шахтера из Донбасса, покинувшего Остраву в годы безработицы, юноша Ясёк, воспитанный советской школой, первым пересек чехословацкую границу, прорвался сквозь огневую завесу и сгорел в своем танке. Но какое дело лондонским манекенам до людей, которые буквально сгорали за идею! Господа из министерства, сидя за морем, больше заботились о том, чтобы охладить революционный пыл чехов. Они отказывались признать воинские звания ветеранов интербригад, полученные на фронтах в Испании, не признавали военного училища в Бузулуке и в хуторе Веселом. Ты мог сражаться под Соколовом, за Киев, под Жашковом, под Белой Церковью и на Дукле, ты даже можешь носить на груди Золотую Звезду Героя Советского Союза — все равно это не поможет твоему производству в офицеры, если у тебя нет аттестата зрелости. А ведь в Чехословацком корпусе, действовавшем на Восточном фронте, так не хватало офицерских кадров!

— Мне очень жаль, ребята,— сказал командир части унтерофицерам, которых представлял к офицерскому званию (среди них был и Ондржей),— но Лондон не утвердил вашего производства.

Ну и черт с ним! В этой войне не на жизнь, а на смерть Ондржей уже давно утратил личное честолюбие. Победа — вот главное! А потом, после войны, мы все повернем по-своему.

Ондржею очень хотелось поскорей увидеть Улы без Казмара. Сжимая автомат, он зорко вглядывался в хвойный лес, обрамляющий горную дорогу, следил за поворотами шоссе. Не попасть бы в засаду! Германская армия поспешно отступала на

запад, есть сведения, что она уже за Пшеровом, но ведь известно, что обезумевшие от неудач эсэсовцы способны на отчаянные выходки.

Чехословацкая танковая часть приближалась к Улам с востока, со стороны Пасек, куда юный Ондржей Урбан когда-то ездил в охотничий домик Казмара — заказывать доски для первомайской трибуны. Теперь там разместился советский штаб. Но тогда Ондржей не доехал туда: по зову фабричного гудка он выскочил из сельского автобуса, переполненного крестьянками,— на фабрике горел тринадцатый цех. Пожар в тринадцатом! Сколько о нем было разговоров в Улах! Перед войной от события до события проходило много будничных дней. У людей было много времени, чтобы подробно обсудить всякое происшествие, полюбоваться им на просторе со всех сторон. Одна сенсация не громоздилась на другую. А на войне Ондржей увидел столько пожаров, что дым и обгоревшие развалины стали для него частью любого пейзажа. «Человек ко всему привыкает»,— говорила мать. Жива ли она? Не случилось ли с нею чего-нибудь? Дай бог, чтобы она была жива, дай бог увидеть ее невредимой, ведь это единственный человек, который будет рад возвращению Ондржея. Скорей бы уж попасть в Прагу! От Ул до Праги — это видно на карте — совсем близко. Гораздо ближе, чем из Бузулука в Улы. Как-то там поживает Лидка? Вышла ли замуж? Конечно, вышла, ведь она такая красивая девушка. И человек она хороший... вот только несознательная. Ну, Ондржей ведь и сам-то тогда был не лучше. Сколько возился с ним Францек! И если бы Казмар не выгнал Ондржея так безжалостно из-за Галачихи... Да, Ондржей сурово обошелся с Лидкой: оставил ее и ушел странствовать по белу свету. Но как он, безработный, мог жениться?.. И вдруг, словно электрический ток, Ондржея пронизала мысль: смерть Кето — это кара ему за Лидку. Ладно, не дури, лучше внимательней гляди на дорогу!

Немцы, видимо, торопливо и беспорядочно отступали по узкому шоссе. Вывороченные дорожные и телеграфные столбы свидетельствовали об этом. Но разрушать, как и в Словакии, за собой каждый мостик, даже через крохотные канавки,— на это противник все же находил время. Старое бетонированное шоссе, проложенное еще Казмаром, было разбито тяжелыми грузовыми машинами. Приходилось ехать очень осторожно, проверяя, не заминирована ли дорога.

Вот они выехали из леса. Горное шоссе спиралью спускалось вниз. По сторонам тянулись маленькие поля картофеля и потоптанной ржи. Скоро ли поворот, откуда видны Улы? Ондржеем овладело нетерпение. Что поделаешь: где бы ни работал рабочий, он всегда оставит там частицу своего сердца.

И вот внизу в хмуром свете пасмурного утра показался городок в долине. Ондржей был разочарован. Улы его молодости были больше, куда больше. Теперь, после того как он увидел крупные советские промышленные центры, воспоминание об Улах не соответствовало действительности. Городок лежал в долине, маленький, изувеченный налетами, и издалека казался мертвым. Небоскреб обрушился, фабричные трубы не дымили, да и немного их уцелело. И зачем только американцы бомбили Улы накануне германской капитуляции? Ведь Красная Армия уже в Берлине, вот-вот конец войне. Улы имели характерный вид разбомбленного города. Открытый рот с выбитыми зубами. Конечно, они пострадали не так, как, например, Харьков, но все же.

Сорванная жестяная табличка с уродливым протекторатным названием городка «Bienenstok» — «Улы» валялась в канаве. Кто-то перечеркнул мелом немецкое название. Двое штатских, с ружьями за спиной, как у охотников, охраняли въезд в город. Заметив приближающийся танк, они спрятались за деревьями, обломанными во время воздушного налета. Наверно, решили, что это немецкое подкрепление. Танк медленно приближался, бойцы стояли с автоматами наизготовку. Штатские патрульные, узнав флаг и звезду, вытянулись в струнку, лица у них из строгих и напряженных стали радостно-удивленными.

— *Ать здравствуе Красна Армада!* — кричали они изо всех сил, протягивая руки к замедляющему ход танку.

— Да здравствует! — крикнул Ондржей, а бойцы на танке приветственно замахали руками.— Да здравствует Чехословакия!.. Ребята, говорят, вы очистили Улы от немцев?

— Я понимаю все, что он говорит. Каждое слово! — изумленно сказал младший патрульный своему товарищу.

Лицо старшего стало серьезным.

— На вокзале еще дерутся,— ответил он.— Там дела плохи...

— А как туда ближе проехать?

— Проезжайте через Заторжанку. Пало, покажи им дорогу.

Пало вскочил на танк.

Бедная Заторжанка! Когда много лет назад Ондржей впервые шел по этому зеленому поселку, отыскивая полоумного рабочего Мишкержика, улечане, стоя на лесенках, в шелестящих кронах деревьев собирали сливы. Это было похоже на картинку «Четыре времени года». Но война порвала все картинки. Сейчас фруктовые сады в Улах могли бы уже цвести, в них жужжали бы пчелы. Но кроны деревьев изуродованы воздушными налетами, молодая листва сморщилась и увяла от дыхания огня. В Заторжанке пахло пожарищем. Кирпичные домики, напоминавшие детские кубики, уже не были как две капли воды похожи один на другой — война

разметала их. Они даже не походили больше на кубики. Провалившиеся крыши, закопченные стены, выбитые окна... Уцелели лишь фасады — характерный вид пожарища. Иные домики просто рухнули, и от них не осталось камня на камне, они превратились в жалкие груды развалин. Нигде не было видно белья, развешанного на веревках, не играли дети, женщины не выходили, как бывало, на улицу, чтобы взять у разносчика блестящий каравай и белую бутылку молока. То, что начал воздушный налет, довершил пожар. Жители разрушенного рабочего поселка перебрались в другое место, и Заторжанка стала безлюдной. Под гусеницами танка хрустели осколки стекла. Пало показывал дорогу, автоматчики осматривали развалины — не прячется ли там кто-нибудь.

На косогоре у шоссе вдруг появилась женщина в платке, какие носят жительницы гор. Она бежала, плача и заламывая руки, концы платка развевались, как черные крылья.

— Убивают женщин с детьми! Выгнали их из лесу, ведут расстреливать! — вне себя кричала она, подбегая к танку.— Христом богом молю, помогите, солдатики, спасите!

— Едем туда, мамаша, едем! — отозвался Пало.— Минута — и мы на вокзале.

Отчаянно жестикулируя, женщина кинулась навстречу танку, едва не угодила под него.

— На лесное кладбище езжайте, на кладбище! Наших туда согнали. К самой могиле Казмара. Я убежала... Только скорей, а то будет поздно!

— Ты ее знаешь? — спросил Ондржей.

— Как не знать! — ответил Пало.— Старая Выскочилова, честная женщина. Заворачивайте на кладбище!

Танк повернул на Драховское шоссе.

— В тот день, когда взлетел на воздух немецкий эшелон с боеприпасами,— ох, и взрыв же был, даже в Драхове дрожали стекла! — в Улах начались повальные аресты,— рассказывал Пало.— Женщины не стали ждать, пока за ними придут, забрали детей и ушли в лес, к мужчинам. Да только гестаповцы добрались, видно, и туда.

Лесное кладбище было недалеко от Заторжанки. Танк остановился в хвойном лесу. Автоматчики соскочили на землю, Пало повел их. Переходя от ели к ели, они подкрались к задней стене кладбища и беззвучно вскарабкались на нее.

Около могилы Казмара действительно стояли женщины и дети — жалкая понурая группа под мелким дождем на фоне монументального мавзолея. Удивительно, как в минуты напряжения, когда обострено внимание, человек замечает совсем ненужные пустяки: около мавзолея, на большой клумбе, росли незабудки;

окропленные дождем, они казались особенно яркими под темными пихтами и поразили Ондржея своей неуместной красотой.

Эсэсовцы выстраивали в ряды женщин с детьми на руках, словно собирались их фотографировать. Еще несколько эсэсовцев стояли, сгрудившись у мавзолея, спиной к Ондржею, и о чем-то ожесточенно спорили. Теперь между ними то и дело вспыхивали яростные ссоры, они часто препирались, дисциплина падала, постоянно давала себя знать нервозность людей, потерявших почву под ногами. О чем они там спорят: расстреливать или не расстреливать или с какой дистанции и из чего? Не все ли равно! Чехи на кладбищенской стене подняли автоматы, навели их на раздраженно жестикулирующую группу и открыли огонь. Тра-та-та-та! Осторожно, ребята, не попадите в своих!

Услыхав выстрелы, женщины перепугались, они решили, что уже начался расстрел. Одна из них, маленькая, темноволосая, выбежала на клумбу с незабудками и заслонила своего сына.

— Он маленький, он жить хочет! — отчаянно закричала она.

— Женщины, это наши! — упоенно закричал Пало и побежал к ним со своим охотничьим ружьем в руках, но вдруг как подкошенный с размаху сел на землю и повалился на бок.

Эсэсовцы у мавзолея, бросив свои жертвы, побежали на подмогу остальным, стреляя на ходу. Один эсэсовец отшвырнул автомат, перелез через ограду и исчез в лесу, Людек кинулся за ним вдогонку.

На кладбище разыгрался бой. Топча незабудки, солдаты перепрыгивали через могилу пилота Аморта. Противники гонялись друг за другом вокруг мавзолея. Это было похоже на игру в прятки. Чей-то ребенок прерывисто засмеялся.

— На землю! Ложись! — изо всех сил закричал мужской голос женщинам, которые вместе с детьми жались сейчас к кладбищенской стене. Как они попали туда, они и сами не знали. «Тра-та-та» — стучали автоматы. Долговязый эсэсовец взмахнул руками и растянулся среди незабудок; каска свалилась у него с головы. Другой сел на потоптанную траву, опустил голову и медленно повалился ничком. Еще один залез на мавзолей, но его сбили оттуда. Иожо был ранен в руку. В воздухе, пронизанном мелким дождем, разнесся запах пороха, словно на охоте. Ворота вдруг загрохотали, распахнулись, и на кладбище въехал танк. Увидев его, уцелевшие эсэсовцы подняли руки и сдались.

Женщины и дети все еще стояли остолбенев в углу у стены, точно им привиделся страшный сон.

— Можете идти по домам,— сказал им Ондржей.

В наступившей после перестрелки тишине кто-то с облегчением вздохнул. Женщины не послушались Ондржея. Некоторые

бросились к раненым, утешая их своим певучим, убаюкивающим улецким говором, другие рвали незабудки и прикрепляли их солдатам на каски. Пало был жив, но не мог подняться на ноги. Невысокая черноволосая женщина, та, что так дико кричала, закрывая собою сына, наклонилась над раненым, сняла с себя платок и крепко и ловко перевязала ему ногу, чтобы он не потерял слишком много крови.

— Никак в себя не приду,— говорила другая женщина, хватаясь за голову.— Ведь всех нас сейчас уже не было бы в живых! А дети-то, дети! Как только нам отблагодарить вас, солдатики? Даже пригласить вас некуда, дома наши разбомбили.

— Ну и черт с ними, с домами! — воскликнула невысокая брюнетка, словно пьяная от радости.— Дома построим новые, еще получше. Узнать бы только, что с нашим папкой, и больше мне ничего не надо... Смотрите, вы там забыли еще одну дудку,— шутливо обратилась она к солдатам, которые собирали оружие, и показала глазами на автомат, брошенный у стены удравшим эсэсовцем. Сынишка этой женщины уже тянулся к автомату: мальчики ведь не могут равнодушно видеть оружие. Энергичная мать оттолкнула его и, опасаясь за сына, сама схватила автомат.

— Возьмите,— сказала она командиру, подавая ему оружие. При этом она взглянула ему в лицо своими темными, как вишни, глазами и сурово, по-крестьянски, поджала губы.

— Пан офицер,— спросила она застенчиво,— не Урбан ли вы?

— Да, вы угадали, я Ондржей Урбан. Но только не офицер,— добавил он, улыбаясь.— А как теперь твоя фамилия, Лидушка?

Они пожали друг другу руки.

— Ты меня узнал? — спросила она взволнованно.

— Не сразу. Только когда ты заговорила... Господи, как я рад! Всю дорогу я столько думал...

— И я тебя узнала не сразу. Еще бы, столько лет прошло.

Так вот какая теперь Лидка... Постарела, стала крепче, полнее, на переносице залегла морщинка — видно, немало пережила, хоть и не покидала родного края. Материнство и подполье сделали ее энергичнее, на лице Лиды отражалось какое-то внутреннее пробуждение. Да, она многое испытала и поняла за эти годы.

— Вот уж не думал я, когда работал в шестнадцатом цехе на автоматах, что ты подашь мне *такой* автомат,— смущенно пошутил Ондржей, как это бывает при встрече с близким человеком после многолетней разлуки.

— Времена меняются, а с ними и люди,— сказала Лидка, пытаясь этими словами скрыть свое волнение.

— Наоборот! — возразил Ондржей (он всегда любил поучать).— Люди изменяют времена, Лидушка.

Он вскочил на танк, как когда-то на поезд, и уехал с солдатами.

— А мы-то хороши: даже незабудок ему не дали! — с упреком сказала Лидка Штепанеку, и они отправились искать отца.

Ондржей и Людек прогуливались по Улам. Ондржей шел как во сне, ему не верилось, что он снова здесь. Улецкие рабочие и партизаны при поддержке танкистов успешно выбили гитлеровцев с вокзала, чешский батальон разместился в бывшем общежитии казмаровской молодежи, и солдаты разбрелись по городу. Улы оказались меньше, чем представлял себе Ондржей, и были сильно повреждены бомбежкой, местами выгорели. Но и в пыли развалин, и в чаду пожарищ Ондржей чувствовал запахи текстиля и гор, и эти запахи, как ни странно, вдруг напомнили ему Неллу Гамзову; когда-то, приехав юношей в Улы, он часто думал о ней. Сейчас он как бы шел по следам своих воспоминаний, чувствовал себя словно во сне.

На площади, куда в былые годы съезжались на телегах целые деревни наниматься к Казмару, сейчас стояли пятнистые грузовики и забрызганные грязью танки. Крышки люков открывались, закопченные воины в комбинезонах лезли под гусеницы, что-то проверяли, выстукивали, чистили, исправляли. В воздухе стоял острый, заманчивый запах бензина. Танкисты шутливо перекликались с улецкими девушками, чьи песенки и певучий говор скрашивали суровую горную весну. Мальчуганы полукругом стояли возле солдат, ожидая случая подать какой-нибудь инструмент или хотя бы прикоснуться к видавшему виды танку, потрогать его пальцем.

Красные флаги реяли на площади, порядком пострадавшей от бомбежек. Не перевернулся ли в гробу Хозяин? О нет, он лежит там тихо, совсем тихо, с тех самых пор, как погиб в авиационной катастрофе во время мобилизации, торопясь в Прагу за военными заказами. Погиб сам и погубил пилота Аморта. Никто о Казмаре теперь и слышать не хочет, никто его не вспоминает, былой хозяин мертв, и ничто его не воскресит. Улецкие фабричные сирены, которые столько раз возвещали воздушную тревогу, пропели у нас заупокойную всем *селфмэдмэнам* [1]. Сильная личность мертва, народ вечен...

Разрушен небоскреб дирекции, где когда-то Колушек с безупречным пробором насмешливо принял юного ученика Ондржея Урбана. Крыши на здании нет, перекрытия обрушились, все помещения второго этажа видны как на ладони. И на полуразвалившейся стене — Ондржей не поверил собственным глазам! — уцелела

[1] Люди, которые сами сделали свою карьеру (от *англ.* selfmademan).

треснувшая витринка с веточкой хлопка, похожего на лопнувший каштан, из которого торчит вата. Шестнадцатый цех, где Ондржей работал до отъезда, полностью разрушен. Металлический остов корпуса раскололся, и часть его вздыбилась, как чудовищный конь. Но другие корпуса мало повреждены. Революционный Национальный комитет уже объявил, что вечером в городском клубе созывается собрание всех жителей города: обсудим, как наладить производство.

На собрание пришли рабочие с красными звездочками на кепках и с повязками Революционной гвардии на рукавах; еще утром эти мужчины и юноши с боем брали вокзал. Пришли партизаны из лесов и люди с уединенных хуторов. Пришли крестьянки в широких юбках и пестрых платочках и простоволосые фабричные девушки, пришли пожилые женщины в монашеских платках — девы Марии и святые Людмилы. Ондржей, Людек, Иожо с перевязанной рукой и Каролина в военной форме сели за стол рядом с Лидкой — рабочие пригласили их на это собрание.

Вошли двое мужчин с блокнотами и вечными перьями в нагрудных карманах, типичные казмаровские служащие. Они не показывались на улицах города, пока там было «жарко», а сейчас явились на собрание и искали места, где присесть. Проходя мимо Ондржея, один умышленно громко сказал другому:

— А что тут надо этим солдатам?

Негодование вместе с удивлением и досадой поднялось в душе Ондржея. Такое же чувство он испытал в молодости, когда был изгнан Казмаром за то, что вступился за Галачиху. Подумать только: пройти Соколово и Киев, Руду, Белую Церковь, Жашков, дукельский ад, Поляну и Остраву и... *«что тут надо этим солдатам?»!*

Ондржей овладел собой, однако не смолчал.

— Я бывший улецкий рабочий,— сказал он.— И меня, естественно, интересует, что будет с фабрикой. Мы, солдаты, сражались за новую республику, и эта борьба еще не кончена. Поэтому мы хотим знать, что делается в республике, и вместе со всеми решать ее дела. От этого права мы не отступимся. Мы — народная армия, сударь!

— Да ведь я ничего, ничего...— испугался спесивый господинчик, побледнел и вместе со своим спутником поспешил к другому столу.

— Правильно ответил, молодчина! — пробасил высокий человек, пробираясь между столов к президиуму.— Вот это дело, Ондржей! Теперь ты мне нравишься! — добавил он, коснувшись плеча Ондржея.

Ондржей с удивлением оглянулся и выскочил из-за стола.

— Францек, бродяга, вот так встреча! Откуда ты, дружище?

Никогда прежде Ондржей и Франтек не обнимались. Но после стольких лет разлуки не обошлось без крепких объятий. Друзья широко улыбались, отступали, чтобы лучше видеть друг друга, и хлопали один другого по плечу.

— Э-э, что там, все пути ведут в Улы... хоть иной раз и бывают окольные,— проронил Франтек со свойственным ему суховатым юмором и по-актерски высоко поднял брови, чуть ли не до самых седых волос.— Я тут орудую уже довольно давно, да только втихую, зато ты прибыл со славой. Потому-то мы и пригласили тебя на это собрание. Когда собрание кончится, подожди нас, мы готовим на тебя покушение.

Лидка смеялась своими темными, как вишни, глазами — видно, она была посвящена в затею Франтека. Но как только началось собрание, она стала серьезной и благоговейно уставилась на президиум, где председательствовал ее «папка», глава Революционного Национального комитета. Какое счастье, что с ним ничего не случилось! Лидка обегала все Улы, искала мужа среди раненых в больнице, в тревоге зашла даже в мертвецкую, но «папки» нигде не было. А Гаека перепугали какие-то тетки, сказав, что эсэсовцы расстреляли Лиду вместе со Штепанеком на лесном кладбище. Гаек как сумасшедший кинулся туда. Там его успокоили наши часовые, сообщив, что солдаты пришли вовремя и все обошлось благополучно. У Гаека отлегло от сердца. Так они гонялись друг за другом, словно играя в жмурки, и наконец столкнулись около восемнадцатого цеха.

— И ты думаешь, он сказал что-нибудь, Ондржей? Нет! Он только пожал мне руку, да так сильно, что я вскрикнула «ой!», погладил Штепку по голове и побежал в цех осматривать станки, какие там еще годятся. Вот ведь работяга, другого такого днем с огнем не сыщешь,— рассказывала Лидка.— И не трус. Знаешь, он с товарищами взрывал тот поезд с боеприпасами...

Лидка очень гордилась Гаеком, а кроме того, в ней, видимо, говорило невинное женское желание показать парню, который ее когда-то бросил, какой у нее хороший муж.

Собрание открыл Гаек. Он сердечно поблагодарил чехословацких солдат за спасение улецких женщин и детей от верной смерти. Говорил он горячо, от души, голос у него срывался — ведь там, на лесном кладбище, были и его жена с сыном.

Все присутствующие встали и захлопали. От имени солдат с кратким ответом выступил Ондржей.

— Благодарите не нас, а Красную Армию,— сказал он.— Она нас обучила, она нас вооружила, не будь ее, не было бы и нас. Мы от нее получили не только первоклассное оружие. Мы прониклись духом тех, кто дал нам это оружие, духом свободы и человеческой

дружбы. Да здравствует Советский Союз! Да здравствует свободная Чехословакия!

Весь зал снова поднялся, и рукоплесканиям не было конца.

Потом перешли к практическим делам.

— Теперь, когда мы, слава богу, избавились от *тройхендера* фон Мархе...— начал Франтек («А что с ним, собственно, сталось? Уехал! Вот это не дело! — заволновалось собрание.— Что ж вы его не стерегли? Не надо было отпускать!»).— Легко сказать — не отпускайте! Вы сами знаете, что он уехал по торговым делам еще две недели назад. Зато мы задержали генерального директора Выкоукала с сыном («Вот это правильно! Очень правильно! Это он пригласил сюда Мархе. Позор!») и еще десяток коллаборантов. «Яфета» подлежит национализации. Управлять производством будет временный фабричный комитет.— Франтек прочитал по алфавиту список выдвинутых в этот комитет: Анна Амортова, вдова летчика, прядильщица, Вацлав Гаек, наладчик, и так далее. Собрание единодушно утвердило список, воздержались от голосования только те надутые господа, что пренебрежительно отозвались об Ондржее.

Франтеку Антенне не пришлось долго агитировать за то, чтобы поскорей пустить фабрику в ход. Рабочим нужен заработок, республике — одежда, люди ходят в обносках, как Золушка, а запасы сырья на фабрике есть. Не надо забывать и об экспорте, товарищи! Разграбленной, экономически ослабленной республике понадобится иностранная валюта.

— Работать начнем в самое ближайшее время,— заявил Гаек.— Разрушенные цехи отстроим заново, это ясно. Но разрушенное нас пока что не интересует. Надо немедленно начать ремонт таких зданий и машин, которые можно сейчас же ввести в строй, и так сгруппировать их, чтобы сразу же наладить производство. Сделать это можно, но понадобится много рабочих рук, Улам одним не справиться. Мы призываем на помощь весь край. Призываем людей с хуторов, из отдаленных селений. Призываем трудящихся Драхова, Чумпелички, Зтраценой, всех освобожденных городов и сел...

— Пленные немцы пусть тоже работают!—раздались возгласы.

— Ого! — воскликнула Лидка, сверкнув глазами.— Вот теперь будет людям работы!

— Подумать только,— мечтательно сказал Ондржей,— в свое время я уехал за границу потому, что дома не мог найти работы!.. Лидка,— произнес он тихо и слегка отодвинулся от всей компании,— ты тогда сердилась на меня?

— Я была несчастна,— просто ответила Лида.— Я ведь любила тебя, Ондржичек. Но ты даже не писал... А сам знаешь, на одном человеке свет клином не сошелся.

— Твой муж — отличный парень, Лидушка. И мальчуган у тебя чудесный.

Лида подняла голову.

— Нашего папку,— сказала она, обхватив руками колено,— я ни на кого на свете не променяю. Прежде я думала, что он какой-то такой... ну, тихоня, домосед. Но видел бы ты его, Ондра, во время протектората! Какой он был смелый и стойкий! Я у него многому научилась. Я всегда как-то больше думала о себе, а он меня переделал. Когда два человека вместе переживут столько, сколько мы, то уж, скажу тебе, союз у них прочный.

— Я слышал, что и ты работала в подполье?

Лидка смущенно засмеялась.

— Вот тоже скажешь! Я всего лишь укрывала людей, которые потом взорвали тот поезд. Это все равно, что ничего. Ну, а как ты, Ондра? — переменила она разговор.— Есть у тебя жена и дети в Советском Союзе?

Ондржей покачал головой.

— Нету,— коротко ответил он.— У меня миллионы товарищей, в нашей роте и батальоне мы одна семья, но лично я одинок, совсем одинок.

Странное смущение мешало ему заговорить о погибшей Кето. Он не сумел бы объяснить Лидке, как горячо любит Кето... да и зачем объяснять? Это ни к чему, и было бы даже неделикатно по отношению к Лидке. Ему казалось нестерпимо мучительным рассказывать о смерти Кето. О больших несчастьях не говорят.

К столу вместе с Гаеком подошел Францек, все еще полный ораторского оживления. Обняв Ондржея за плечи, он наклонился к нему.

— Ну что,— сказал он,— не говорил ли я тебе когда-то, что Улы станут нашими? И разговор этот, собственно, был не так уж давно.

— Нет, ты тогда сказал иначе,— поправил его Ондржей, отличавшийся превосходной памятью.— Дело было так. Вы надо мной смеялись, что я работаю как вол, а я тебе сказал,— и страшно этого стеснялся! — что я люблю работу. А ты в ответ: «Эх, братец, и я бы ее любил, кабы все это было наше».

— А теперь и я буду ее любить,— сказал Францек.— Повешу ружье на гвоздик... и снова пойду в цех. Там настоящая жизнь, там все кипит. А ты, Ондра, когда отвоюешься, возвращайся к нам в Улы. Ладно? Обязательно! Ты нам тут нужен до зарезу. Что скажешь, Гаек? Мы знаем, что ты умеешь работать. А политические взгляды,— поддразнил друга Францек,— ты тоже, кажется, немного изменил с тех пор, как горячо вступался за Казмара.

Ондржей громко рассмеялся.

— Ну и глуп же я тогда был! — сам удивился он.— Сейчас даже представить себе не могу, честное слово! Уж не знаю, Францек, как и благодарить тебя за то, что ты мне тогда помог уехать в Советский Союз.

— Не благодари, а то сегодня из-за сплошных благодарностей мы не успеем поговорить о деле. Лучше обещай мне, что после войны сядешь в первый же поезд на Улы и...

— Нет, не обещаю! — шутливо возразил Ондржей.— А что, если я вдруг приеду сюда автобусом? А как ко всему этому относится вдова Казмара? Что с ней вообще сталось?

— Она в Лондоне,— сказала Лидка.

— Лондон нам еще будет ставить палки в колеса, ребята, поверьте мне, стреляному воробью. Не хочу сейчас распространяться, но у нас на этот счет уже есть кое-какой опыт.

Францек нахмурился.

— Так вот что, Ондра,— сказал он уже недовольно и с упреком,— ты не уклоняйся от ответа, не ломайся и не строй из себя примадонну... Скажи прямо, приедешь?

— Если буду жив, приеду! — весело воскликнул Ондржей и пожал руку Францеку, Гаеку и Лиде.

Ондржей был очень рад, что его так зовут в Улы. Когда хорошие люди говорят тебе, что ты нужен дома, это очень, очень воодушевляет...

КОГДА ЖЕ ЭТО НАЧНЕТСЯ?

В конце апреля в Праге распространилась весть, что Красная Армия уже вступила в Брно. Однажды днем Станислав Гамза ехал в переполненном трамвае. Несмотря на давку, пассажиры не ворчали и не ссорились, весь вагон был в радужном настроении. На исхудавших лицах играла улыбка, которая говорила: «Братислава и Брно наши, очередь за Прагой». «Двойка» остановилась на углу Спаленой улицы и Национального проспекта. Прижатый на площадке Станя увидел в окно, что на Перштине столпились прохожие. Гестаповец вел какого-то человека. Арестованный вдруг вырвался и побежал к трамваю. Гестаповец выхватил револьвер.

— Беги, не бойся,— раздались голоса, и беглец, несмотря на то что на подножках трамвая гроздьями висели люди, с невероятной быстротой оказался в битком набитом вагоне. Несколько рук подхватило его и втянуло на площадку, Станя тотчас же втолкнул его внутрь, плотная масса людей в вагоне расступилась, приняла беглеца, снова сомкнулась, и трамвай уехал...

На следующий день Барборка вернулась с рынка взбудораженная.

— Принесла вам все деньги обратно! — воскликнула она и вывернула наизнанку перед Неллой свою потертую, видавшую виды рыночную сумку. Кредитки посыпались, как бумажный хлам, тусклые протекторатные кроны покатились по столу. Одна монета упала на пол, но бережливая Барборка впервые в жизни не нагнулась за нею.— Не берут немецких денег,— объявила она.— Лавочник сказал: «Оставьте этот хлам себе, какой от него толк. Подождем, пока опять будут чешские кроны».

— Это хороший признак, Барборка!

— Я и сама вижу, что у них все пошло прахом,— отрезала Барборка.— Но на какие же деньги мы хлеб покупать будем, хотела бы я знать,— озабоченно продолжала она.

— Подумаешь! — пренебрежительно заметил Митя.— Денек можно посидеть и без хлеба.

Барборка подбоченилась.

— Уж ты-то молчи, болтун! Коли не будет хлеба, ты всех нас съешь с потрохами!

Митя рос как на дрожжах, он уже перерос Неллу. Просто беда с его волчьим аппетитом. Сколько раз бабушке приходилось, сославшись на боли в желудке, ничего не есть, лишь бы с грехом пополам накормить Митю.

Прага была полна слухов. Франк, говорят, послал генерала Клецанду и министра протекторатного правительства Грубого куда-то в Мюнхен вести переговоры с американским штабом. Каждую минуту может быть провозглашена независимая Чехия. Нет, нет, Ружена, это не бабьи сплетни, а истинная правда. Это известие не с потолка, оно получено Хойзлером из надежного источника, прямо из Чернинского дворца (Хойзлер был юрисконсультом у некоторых видных особ).

Однако Ро нервничала и сердилась.

— А что, если сюда явятся большевики? — зашипела она на мужа.— Выпьют у меня весь одеколон, отнимут у нас оба дома, оберут до нитки. Посмотрю я тогда, что ты будешь делать!

— Не будь ребенком, Руженка,— успокаивал ее Хойзлер.— Как они попадут сюда? Ты же знаешь, что из Хеб до Праги ближе, чем из Брно и Опавы. Американцы вот-вот будут здесь.

Ро еще с лета, с тех пор как войска союзников высадились во Франции, учила английский язык. Но на душе у нее было неспокойно. Как раз на их доме был налеплен пугающий плакат: красная лапа протянулась к Граду, где обитает набожный президент

Жизнь против смерти

Гаха, весьма учтивый и *шармантный* старичок, который иногда устраивал приемы и, несмотря на государственные заботы, умел оценить красоту молодых дам. Подпись на плакате гласила: «Erfaßt sie dich, gehst du zu Grunde!» [1] Какая-то дерзкая рука приписала под этим: «Мы в Граде не живем, нам не страшно». О, эти ужасные невидимые руки! И на баррандовском утесе, и в подольской каменоломне на обрыве они вывели громадную, издалека заметную надпись: «Смерть фашистским оккупантам!» И как это люди могут быть такими кровожадными! Супругов Хойзлер гитлеровцы ничем не обидели.

— Все надо уладить по-хорошему,— проникновенно сказал Хойзлер. Теперь он часто бывал в умиленном настроении.— Мы миролюбивый народ, мы как голуби, такова наша историческая традиция. Я тоже за социализм, но разумный. Все должно развиваться постепенно, ведь обо всем можно договориться, к чему хватать друг друга за горло?

Но Хойзлера никто не слушал, кроме его супруги, да и та наполовину пропускала его сентенции мимо ушей. Ружена тщетно ломала голову: как же это она, такая практичная и знающая жизнь женщина, в чем-то промахнулась и попала впросак? О ее немецких дружках ничего не слышно, они пали где-то на фронтах в России и в Африке, нацистские семейства потихоньку выбираются из Праги, и вокруг Ро как-то сразу все опустело, она очутилась вдруг на виду. Особняк в Бубенече был велик, и в нем становилось жутко.

У глупых женщин интуиция развита лучше, чем у глупых мужчин. И пока старый шут Хойзлер уверял себя и свою Руженку, что все пройдет так же гладко, как в 1918 году, Ро жила в тревоге и чувствовала, что почва колеблется у нее под ногами.

— Только бы первого мая не было беспорядков! — тревожилась она.— Теперь это может стоить жизни!

Но первого мая ничего не произошло.

Потом настал день, когда в газетах появился портрет Гитлера в черной рамке и сообщение, что фюрер трагически покинул свой верный народ и взял с собой в свадебное путешествие в Валгаллу свою Еву. Подумать только! Такую утонченную женщину, как пани Ро, не может не тронуть столь романтическая любовь. Вот видишь, Густав, а говорили, что он импотент!

— Легко отделался,— высказалась Барборка.— Сперва сулил сделать из своей Германии цветущий сад, потом превратил ее в груды развалин и, наконец, выскользнул из петли. Э, что виселица! В клетку надо было его посадить и показывать, как дикого зверя!..

---

[1] Попадешь в эти лапы — пропал! *(нем.)*

Шесть лет назад, в роковом марте 1939 года, Нелла в душе горячо жалела, что Гитлер не сломал себе шею, когда его автомашину занесло по пути в пражский Град. Когда же она впервые услышала о покушении на Гейдриха, то очень огорчилась, что покушались не на Гитлера. А сейчас эта мерзкая смерть пришла слишком поздно. Она воспринималась с удовлетворением, но лишь как один из признаков краха фашизма. На фоне общего стремительного хода событий кому важен сейчас этот сенсационный эпизод? Красная Армия уже вступила в Берлин, и пражане дрожали от нетерпения — когда же начнется и у нас? В том, что оккупации подходит конец, были уверены все, гитлеровцы тоже к этому готовились. Разве сам Франк не заявил, что, если ему придется уйти из Праги, он громко хлопнет дверью?

В феврале, после того ненужного налета, когда, как говорят, американские летчики спутали Прагу с Дрезденом, Станислав и Андела помогали на спасательных работах. Они остановились перед разбомбленным монастырем «На Слованах». Больше всего пострадала церковь, она походила на торс с обрубками вместо рук.

— Что колокольня! — тихо сказала Андела.— Колокольню отстроят снова. А вот люди... Убитого не воскресишь. Помнишь ту девочку?

Старый бенедиктинский монастырь тоже показался Станиславу изувеченным одноруким существом, и, не будь молодому человеку стыдно перед Анделой, он расплакался бы, глядя на это увечье. Его очень тревожила мысль, что теперь, в последние дни, нацисты могут разрушить Прагу. Разрушить прекрасный Тынский храм с шариками на шпилях, похожими на яблоки, зажатые в кончиках пальцев, отрубить обсерватории голову в зеленом колпаке, сломать арфу мостов над Сметановой Влтавой. Обрушится Карлов мост, и процессия сомнамбулоподобных святых утонет в реке, рухнут стены кафедрального собора святого Вита, и от них останутся лишь обломки, над которыми будут кружить чайки. Будут разбиты старинные водосточные трубы, умерщвлена отроческая церквушка святого Иржи и смешная, веселая «Эйфелева башня», сгорят кудри Праги — малостранские сады и зелень бровей над слуховыми окнами, будут выколоты сотни тысяч глаз, которыми глядят на свет человечьи жилища, будет изувечен, обезображен чудесный облик этого города!

Правда, часы на всех колокольнях — от храмов Людмилы и Штефана до самого Страгова — уже отбивают последний час протектората. Но куранты Лореты все еще вызванивают под окнами Франка... И как, собственно, все это произойдет? «Дурак я, что

тогда, после мобилизации, сдал оружие. Надо было не сдавать, надо было всем нам взбунтоваться, как взбунтовался гарнизон Фридека».

Однажды вечером Станя ушел из дому. Матери он сказал, что идет на ночное дежурство по противовоздушной обороне. Вернулся он уже на рассвете, злой и усталый, в грязной обуви, и утром на всех огрызался. Ничто так не портит настроения, как неудача. Станя встретился со своей группой у «Звезды», к одиннадцати часам вечера они были на условленном месте и ждали, что им сбросят оружие. Всю ночь лирик Станя поднимал свой девичий нос к весенним облакам и ждал, когда же свалится с неба желанное оружие. Но оружия не бросили ни в прошлый раз, ни теперь. Это уже вторая попытка. А ведь воздушная тревога была, выли пражские сирены, самолеты прилетели с запада и осветили Прагу люстрой ракет, которые гроздью желтых шаров повисли над Вршовицами и Высочанами. Самолеты покружили над городом и улетели, не сбросив ни одного патрона. А в Словакии и Моравии русские сбросили так много оружия! Что ж делает с нами Лондон! Ведь все было твердо условлено, у нас есть с ними связь! Разыгрывают они нас, что ли? Сейчас не время для этого, сегодня не первое апреля, а третье мая, и эсэсовцы ходят увешанные оружием, как рождественская елка игрушками. Не брать же мне у Мити его монтекристо...

А от этого мальчугана нет покоя. Все дядя да дядя, когда же начнется? Не дает прохода!

В школе не было занятий, и Митя надоедал всем дома. То и дело он, запыхавшись, прибегал с улицы, чтобы объявить свежую новость. Около Дейвицкого вокзала он встретил колонну людей, похожих на тени. На спинах у них были узлы, на головах солдатские кепи, одежда — штатская и вся в лохмотьях. Это французские военнопленные, они едут домой. Значит, уже начинается! Митя поджидал и другие транспорты и все глядел, нет ли в них отца, о котором ничего не было известно с тех самых пор, как железнодорожник, ездивший в Улы, сообщил, что Антонин Буреш исчез. Митя носил в карманах сахар и сухари, подавал их пленным, шагавшим с краю шеренги, и исчезал. Мальчишка неуловим, как ветер. А сейчас убегали даже заключенные.

Бабушка дрожала за Митю во время налетов. Эх, знала бы она, что вчера, когда Митя был в Стромовке и упражнялся с приятелями в тире, им пришлось поспешно залечь, потому что американские истребители спикировали на локомотив. Этакие маленькие самолеты, назойливые, как комары. Побомбили изрядно!

Каждое утро в одиннадцать часов начиналась воздушная тревога. Женщины ворчали: «И обеда не сваришь, прилетели бы в

час дня!» Нелла каждый день ссорилась с Барборкой, которая не хотела уходить из уютной кухни в подвал. Разве Барборка забыла о жертвах бомбежки в среду на великий пост и в вербное воскресенье?! Но Барборка упорствовала, ссылаясь на важные причины: у нее еще не готовы кнедлики, как раз доваривается картошка и может пригореть соус. Тихая Нелла Гамзова громко сердилась и изо всех своих слабых сил выталкивала Барборку за дверь. Митя тем временем убегал на чердак, чтобы воочию убедиться, действительно ли много самолетов летит с запада — как сообщало местное радио на волне четыреста пятнадцать метров,— и глазом знатока определить, истребители это или бомбовозы, летающие крепости или пикирующие бомбардировщики. Барборка, когда Нелле наконец удалось выставить ее из квартиры, тоже бежала на чердак и, высунув голову из слухового окна, осведомлялась: «Бомбят?» Только после этого она накидывалась на мальчика: «Ты зачем сюда залез?»

Во время налетов пражане вели себя довольно легкомысленно, демонстрируя хотя бы этим — пока ничего другого не сделаешь — свои политические симпатии и молчаливо презирая нацистов, которые были научены событиями в Германии и панически боялись бомбежек.

В убежищах люди сидели как на иголках. Даже самые робкие и напуганные мечтали: «Скорей бы началось!» Счастье приближается, и не хватает терпения ждать. Путешественнику, возвращающемуся домой из Центральной Африки, самым долгим кажется последний час в поезде, на перегоне Здице — Прага. Просто вечность! Будущая мать на исходе девятого месяца думает, что ребенок, который ворочается у нее под сердцем, никогда уже не родится. Да, это будет больно, да, это будет мучительно, я знаю, и все же скорей бы это началось!

В пятницу Нелла, задумавшись, шла по Стршешовицам и вспомнила Гамзу и Елену. Память о них неотступно преследовала ее в эти таинственные майские дни. В воздухе витала надежда на счастливый исход, а в сердце Неллы шевелилась тревога о сыне и о внуке. Нет, лучше не думать об этом. Нелла вышла на проспект Белькреди, где было оживленно и шумно, как во время крестного хода, и чуть не наткнулась на табуретку, выставленную на тротуар. На табуретке стояла девушка в передничке продавщицы. В одной руке у нее была банка с водой, сверкающая в лучах весеннего солнца, в другой большая веселая губка. Размашистыми движениями девушка смывала со стекла витрины надпись: «Bäckerei» [1].

---

[1] Пекарня *(нем.)*.

В памяти Неллы ярко запечатлелась эта картинка: в ней было больше пражской весны, чем в розовых облачках японских слив и коралловых гроздьях сирени, которые еще не распустились и не благоухали, а свисали почками над стршешовицкими заборами. Около девушки остановился чех-полицейский и с усмешкой поднял голову.

— Сегодня еще рано, барышня,— сказал он.

Девушка поглядела на него с высоты табурета.

— Будем мы вас спрашивать, рано или нет!

Полицейский отправился дальше, шагая, как на весенней прогулке. Все равно, вся Прага, вскарабкавшись на табуретки и стремянки, снимала, смывала, соскребала противные немецкие надписи. Было похоже, что город готовился к большому празднику под открытым небом.

Когда Нелла вернулась домой, Барборка сушила на балконе белую полоску чехословацкого флага.

— Сегодня стираем, завтра будем вешать,— повторила она распространенную в Праге тех дней шутку.

Вечером пришли сияющие Станя и Андела.

— Представь себе, мама, мы разоружили нацистскую свадьбу.

— Как так, что это еще за новый анекдот?

— Да нет, серьезно!

И молодые люди, смеясь, наперебой начали рассказывать, как в одном особняке, на Сантошке, собирались на свадьбу гости. Жених был гитлеровский офицер в мундире, с ним еще несколько военных. Группа чехов потребовала у них оружие. Новобрачный побледнел и согласился:

— Пожалуйста, только дайте расписку, чтобы я мог оправдаться перед начальством.

Ну и придумал, нечего сказать! Хорош вояка, который отдает оружие да еще просит письменно засвидетельствовать свой позор! Чехи подписались вымышленными фамилиями и ушли с оружием. Станя то и дело поглаживал карман, где лежал трофейный пистолет. Да, приуныла германская армия после падения Берлина.

«Есть ведь еще эсэсовцы и гестапо»,— опасливо подумала Нелла, однако ничего не сказала и только улыбнулась сыну, улыбнулась ему той улыбкой, какой провожала его — еще вместе с отцом — в памятную ночь мобилизации, семь лет назад, в роковом сентябре. Но молодые люди, стоящие сейчас перед ней так тесно бок о бок, даже не вздохнули о том, что было и прошло. Они улыбались друг другу и своему будущему. У Стани есть девушка и оружие — что же может случиться? К чему каркать, когда на Петршине, над Голодной стеной поют соловьи!

Да, начиналось все это легко, как приглашение к танцу.

УЖЕ НАЧАЛОСЬ!

Бац, трах! Что такое? Уже началось! Власта Тихая подбежала к окну. Нет, это не выстрел, просто из соседней зубной клиники выбросили на мостовую портрет Гитлера. Фюрер с остервенелой физиономией, чубом и щеточкой усов остался лежать на трамвайных рельсах посреди улицы. Актриса громко засмеялась.

Пробежал человек в штатском, с охотничьим ружьем за плечом, наступил на портрет, хрустнуло стекло. Другой, постарше, нагнулся и, вытащив портрет из рамы, старательно, с сердитой обстоятельностью чиновника разорвал его на несколько кусков. Из-за угла выбежал мужчина, подобрал уцелевшую раму и, как пес с костью, убежал в переулок. Во дворе слышались короткие, сухие удары, словно кто-то щелкал орехи... Должно быть, и впрямь стреляют!

А ведь все это весело, страшно весело! Власта, словно наэлектризованная, выбежала на улицу. Разве можно усидеть дома?

Из немецкой зубной клиники мужчины с повязками на рукаве выводили упиравшихся нацистов. Сестра в белом халате ревела белугой; один из немцев не хотел идти и поджал ноги, его волокли, взяв под руки... На соседней немецкой гимназии привратник поднял красный флаг, на котором еще заметен был круг от споротой свастики. Около домов сновали люди с искорками трехцветных розеток. (И откуда только взялось такое множество этих розеток? У Тихой тоже была розетка, бог весть когда она ее приколола.)

У всех ворот стояли женщины с детьми. Штепанская улица была похожа на деревенскую площадь. На тротуаре перед «Ямой» подростки развели костер и жгли на нем фашистский флаг со свастикой. Промчалась полицейская машина с чехословацким флажком; люди проводили ее ликующими кликами. А перед отелем «Алькрон» все еще стояли немецкие часовые. Все как-то перепуталось... Тихая поспешила туда, куда в минуту волнения спешит каждый истинный пражанин,— на Вацлавскую площадь.

Словно после долгой разлуки, увидела она опять знакомую площадь. Площадь раскрыла ей объятия, и слезы навернулись на глаза Власты. У актрисы всегда смех и слезы рядом. Да и как не расчувствоваться! Там, где по воскресеньям прогуливались немецкие офицеры, теперь вознеслась радуга чешских флагов. Свобода, свобода, прекраснейшая из жен... Люди, знали бы вы, какую великолепную программу подготовил национальный комитет Большого театра для первого дня республики!

На Вацлавской площади так людно, что яблоку негде упасть, все с трехцветными розетками — свастики исчезли из петлиц уже

несколько дней назад. Откуда-то из магазинов высыпали веселые, красивые девушки, настоящие пражанки, и звонко защебетали.

— Это Тихая из Большого! — сказала одна другой, показав на актрису.

Власта оглянулась, засмеялась от радости и расцеловалась с девушками.

— Пойдемте к гестапо! Расправимся с убийцами! — воскликнул в толпе мужской голос.

Тихая ухватила под руку рядом стоявших девушку и парня, и все отправились к гестапо.

И зачем еще здесь эти пятнистые жабы, увешанные пулеметными лентами, как рождественская елка игрушками? И *гитлерюгендовцы* с кривыми ножами. Теперь уже можно не делать вида, что не замечаешь их, можно смеяться им в лицо и ненавидеть их открыто. И как это мы так долго терпели, почему не сделали этого раньше?! Свобода, пусть еще связанная с риском, стоит того! Прага снова наша, хоть еще и не совсем...

Станислав Гамза в субботу ушел по телефонному вызову, не сказав куда. Митя тщетно просил дядю взять его с собой. Перед уходом Станислав товарищеским тоном сказал мальчику:

— Ты, Митя, охраняй здесь бабушку. Кругом живут нацисты, нельзя же двум беззащитным женщинам оставаться без мужчины. Не покидай их ни на минуту. Договорились?

Но Митя был не так глуп, чтобы не раскусить дядину хитрость. Он ухмыльнулся.

— Знаешь что, дядя, останься-ка здесь ты, а мне дай пистолет, и я пойду.

— Я приду тебя сменить,— сказал на прощанье дядя, захлопнул дверь перед носом Мити и был таков.

Митя, как говорят у них в классе, прямо-таки «опух с досады». Да разве для того он все время тренировался в тире, просадил там последнюю крону, чтобы сидеть дома около радио с двумя старыми женщинами? Нет уж, благодарю покорно!

Митя прислушался к радиопередаче и вдруг засмеялся.

Местное радио с полной серьезностью сообщало, что полицией строго-настрого запрещено снимать немецкие вывески и надписи... под угрозой конфискации тех торговых и ремесленных предприятий, где вывески окажутся снятыми. Спохватились, нечего сказать! «После драки кулаками машут!» — засмеялась Барборка. Немецкой вывески днем с огнем в Праге уже не найти, а трамвайные таблички с немецкими названиями извольте выуживать из Влтавы!

В окне квартиры Гамзы уже развевался тщательно выстиранный чехословацкий флаг. Флаг укреплял Митя, и эта форма участия в восстании на минуту его утешила. В пригородном районе

было тихо, не происходило никаких событий; лишь иногда слышался звук открываемой двери, люди выглядывали на улицу или в сад и прислушивались, что делается вокруг.

Во всех домах было включено радио. В эти дни пражане настраивались не на «Кромержиж», а на Прагу. Впервые за шесть лет оккупации они опять вслушивались в пражские радиопередачи с той же напряженной сосредоточенностью, как в роковом сентябре, когда смертельно занемогла их родина.

Утром Барборка принесла из очереди новость, что американцы будто бы уже в Рузыни.

— Опять ОПС,— отрезал Митя.— Ручаюсь, что придет Красная Армия.

— Почему ты так думаешь?— удивленно спросила Нелла.— Ах, как был бы рад этому твой покойный дедушка. Но русские еще далеко, мальчик,— добавила она со вздохом.

Митя знал это. Он часами простаивал перед картой и втыкал флажки в занятые города. Мальчик не сумел бы объяснить, почему он так уверен, что Красная Армия придет. Он просто видел ее своими глазами. Ему представлялось громадное белое нефтехранилище и около него темный силуэт на солнце — красноармеец, часовой с ружьем. Митя видел его так отчетливо, словно в волшебном фонаре. Ничто не могло изгладить из памяти Мити эту красочную картинку времен его жизни в Горьком, когда у него еще были папа и мама и они жили на берегу Волги. Но он стеснялся говорить об этом, чтобы бабушка не подумала, что он еще ребенок, и потому сказал несколько грубовато:

— Русаки нас выручат!

По радио заиграли чешский военный марш. Это был «Марш Двадцать восьмого полка» — тот самый, что передавали и в ночь мобилизации, в 1938 году.

— Наши! — ахнула Нелла и сжала Митину руку.— Слышишь?

— Вот это пражская музыка! — вставила Барборка.

— Ура-а! Я пошел к мальчикам! — крикнул Митя и выскочил в сад. Бабушка за ним. Из окна было слышно радио, оно все еще играло этот замечательный марш. Но вот в приемнике что-то захрипело, словно из-за минутной неисправности, потом на весь сад визгливый женский голос запел по-немецки арию из оперетты. Что случилось там, на радио? Поединок у микрофона? Слушатели замерли. Верите или нет, но Митя даже слышал по радио, как там, в студии, с грохотом падают стулья и раздаются выстрелы. Радио умолкло. Потом снова послышалось несколько тактов того же марша, и вдруг диктор заговорил с тревожной настойчивостью:

— Обращаемся к чешским полицейским, к чешскому правительственному войску, ко всем бывшим военнослужащим, у кого есть оружие! К нам на помощь! Призываем всех чехов! На помощь как можно скорее! Нацисты убивают нас! Вход в радиостудию с Бальбиновой улицы открыт.

Митя быстро нагнулся, набрал в карманы камней, перемахнул через забор и, презрев женские крики и все свои вынужденные обещания, стрелой помчался на помощь чешскому радио.

Ему повезло. Из стршешовицкого трамвайного депо как раз выехал трамвай, Митя вскочил на ходу (что всегда делал охотно) и уехал от бабушки. Просидеть все восстание дома, в безопасности,— как бы не так!

Трамвай, в который вскочил Митя, был особенный: в нем было полно вагоновожатых и кондукторш, билетов никто не брал, вагон мчался как бешеный, минуя все остановки, зато останавливался по требованию, когда вожатому энергично махали чехи, спешившие к Дому радио. Потом они снова ехали по тихим и даже сонным улицам, и Митя волновался: попадет ли он все-таки туда, где происходит главное? Неужели и впрямь началось восстание?

Какая-то кондукторша заметила Митю.

— Ты что тут делаешь, мальчик?

Известное дело — женщина!

Митя не сказал: «Еду на помощь чешскому радио»,— пожалуй, в последний момент его вернут домой. Он ответил сокрушенным тоном:

— Мы живем на Вацлаваке, боюсь, что родители будут беспокоиться.

— Уж и не знаю, как ты туда попадешь.

«Гитлеровская молодежь» и немецкие солдаты оцепили Вацлавскую площадь. К радио здесь не пробраться. Но можно было обойти сзади, за Музеем. Вместе со всеми Митя поспешил вверх по Житной улице. Он бежал по осколкам стекла и обрывкам портретов Гитлера и Гахи и, запыхавшись, на ходу смущенно спрашивал взрослых:

— А где же достать оружие?

Видимо, это был глупый, всем уже надоевший вопрос, потому что Митю не слушали и никто ему не отвечал, словно не желая тратить энергию. Люди спешили, и Митя тоже. Некоторые мужчины шли с ружьями, но большинство было безоружно. Митя немного удивился и почувствовал разочарование: пули почему-то не сыпались на него градом. Иногда, правда, что-то щелкало в стены, но это были сущие пустяки. Грузовики, переполненные людьми, с бешеной скоростью проносились по Корунному проспекту.

— Скажите, пожалуйста, где бы мне достать оружие?

Громадный детина с ружьем, возглавлявший группу мужчин, сердито смерил Митю взглядом.

— Не болтайся под ногами, птенец, беги-ка лучше к маме.

Митя не мог объяснить ему, что мамы у него нет, потому что ее казнили гитлеровцы. Это было бы похоже на похвальбу. Да ни у кого и времени не было с ним разговаривать, Митя понимал это. Но ему было досадно, что взрослые считают его ненужным, он почувствовал себя отверженным. Черт возьми, он ведь ростом выше бабушки. На лбу у него не написано, что ему только двенадцать лет! Опасаясь, что его, как «маленького», загонят куда-нибудь в убежище, Митя решил ничего больше не спрашивать. Сжимая в кармане свои камешки, он старался быть незаметным в толпе, которая уже повернула на Бальбинову улицу.

Вдруг Митя поскользнулся на чем-то мокром, липком и чуть не упал. Взглянув на мостовую, он увидел лужу крови. «У кого-то кровь пошла горлом»,— подумал сын врача. В первую минуту ему не пришло в голову, что алая лужа как-то связана с трещавшими рядом выстрелами. Время от времени слышался торопливый сплошной треск, как будто Барборка шила на машине. Это строчил пулемет.

В конце улицы Митя увидел здание из трех корпусов с круглой башней и на ней часы со стрелкой, отбитой пулями. Толпа полицейских и штатских окружала здание. Ага, вот она, радиостудия. Митя редко бывал на Виноградах, особенно на улицах за Национальным музеем, и плохо там ориентировался. Здание, которое он принял за радиостудию, было школой. Там, кажется, засела «гитлеровская молодежь». «Сволочи,— сказал кто-то,— слышите?» Из школы бил пулемет. Мите стало не страшно, а завидно, когда он услышал этот звук. Он нащупал в кармане камешки, свое единственное оружие. Но какой из них прок, ведь гитлеровцы внутри. Вдруг Митя увидел приближающуюся группу мужчин. Они гуськом делали перебежки в порядке, который резко отличался от восторженной неорганизованности остальных. Мужчины вбежали в подъезд высокого дома на Бальбиновой улице. Но и это была не радиостудия, а соседний пятиэтажный жилой дом. Вскоре с улицы стало видно, как мужчины перелезают по крыше на здание радио. «Вот это здорово, вот это называется по-настоящему взяться за дело»,— сказал себе Митя.

Подъехала машина с белыми флажками, полная полицейских, из нее вышел грузный неповоротливый старик.

— Да это Бинерт,— сказал кто-то рядом.

Грузный господин стал пробираться через толпу к входу в радиостудию. Рядом с ним шел полицейский с белым флажком.

— Не ходи туда! — кричали ему с улицы.— Там стреляют. Тебе там нечего делать.

И действительно, Бинерт вскоре вышел, сел в машину с белыми флажками, которую сторожила охрана, и уехал.

Рядом с Митей пожарные направили струи воды из шлангов в полуподвальный этаж облупленного дома с выбитыми оконными стеклами. Это был задний фасад здания радиостудии. В окнах, однако, не видно было ни пламени, ни даже дыма.

— Немцы там забились в подвал, как крысы, вот пожарники и выгоняют их оттуда,— сказал кто-то.

Откуда только люди все знают!

По радио снова раздался чешский марш. Из-за угла выбежал человек, он был вне себя от радости и крикнул, широко улыбаясь:

— Ведут!

Толпа бросилась на проспект Фоша, где находился главный вход в радиостудию. Митя еще успел увидеть последнего гитлеровца с поднятыми руками, которого выводили двое чешских полицейских. Потом все устремились на Вацлавскую площадь, где больше не было кордона. На углу площади и проспекта Фоша пришлось обходить перевернутый трамвайный вагон — первую пражскую баррикаду.

Митя поспел на готовое, ему так и не удалось принять участие в освобождении радиостудии. Это его угнетало. Люди толпились на Вацлавской площади, и Митя чувствовал, что все это не то. Из-за угла с Лютцовой улицы вышли трое юношей с трехцветными ленточками. Митя узнал одного из них, бледного, темноволосого,— это был студент Божек, который сидел вместе с дедушкой в ораниенбургском концлагере. Он до сих пор навещает иногда семью Гамзы.

Митя еще не успел решить, что лучше — подойти к Божеку или, наоборот, смыться, чтобы тот, чего доброго, не отправил Митю домой, как вдруг на глазах мальчика произошло невероятное происшествие. На Вацлавскую площадь вышел эсэсовец. Божек, как кошка, вцепился ему в горло, повалил и отнял оружие. Эсэсовец остался лежать, а Божек взял автомат, нацепил себе на шею патронные ленты, и все трое побежали вниз по площади. Митя, не раздумывая больше, помчался за ними. Так вот как это делается, вот как добывают оружие! Теперь ему все стало ясно.

На Водичковой улице слышно было, как кто-то хлопал бичом. Человек в светлом, издали заметном макинтоше вдруг неловко упал на тротуар близ углового дома. Шляпа свалилась у него с головы. «Споткнулся!» — подумал Митя и побежал помочь упавшему.

— Прижмись к стене! — крикнул чей-то голос.— Они на крыше.

Божек с трофейным автоматом ловким кошачьим движением проскочил к подъезду. Митя не помня себя бросился к стене. Он дрожал всем телом и страшно злился на себя за это. «Трус я, что ли?!» Митя вдруг понял, что хлопали выстрелы, а не бич, и что с крыши подстрелили человека в макинтоше. Он, Митя, тоже мог получить пулю. Он не подумал, видно, из скромности, что могут стрелять и в него.

Но вот стрельба прекратилась. То ли Божек наверху обезвредил эту сволочь, то ли у них кончились патроны.

Через минуту из дома вышел Божек с автоматом, недавно отнятым у эсэсовца, и еще с ружьем через плечо. Чехи ему горячо рукоплескали. Митя усерднее всех.

— Божек,— крикнул он.— Ярда, дай мне ружье! — И он завертелся около юноши, как голодный песик.— Одолжи, пока я достану себе другое. Я умею стрелять, мы с ребятами упражнялись в тире!

Божек только теперь заметил Митю.

— Ты зачем здесь? — строго спросил он.

— Не буду же я сидеть дома!

Что делать с мальчиком? Домой его не отправишь, а если и отправишь, так он снова удерет... Семья Гамзы, право, и так понесла большие потери, и жаль было бы этого смелого паренька.

— Погоди-ка, Митя, ты нам понадобишься. Пойдем!

Божек передал ружье взрослому товарищу и повел Митю в немецкую гимназию на Штепанской улице. Митя шел счастливый: Национальный комитет выдал ему незаряженное монтекристо (патронов для которого в самом деле не нашлось) и поручил караулить арестованных штатских немцев с женами и детьми, собранных на четвертом этаже в помещении седьмого класса. Божек позвонил Нелле Гамзовой, сообщил ей, где Митя, и посоветовал ни в коем случае не приходить за ним — этим она все испортит! — и не беспокоиться о мальчике.

Легко сказать, не беспокоиться! Нелла чувствовала себя, как квочка на берегу, когда ее утенок плывет через Влтаву. Но какое чудо, что наши сумели уберечь сердце связи — телефонную станцию и нервную систему проводов! Можно поговорить с людьми, которые живут на том берегу Влтавы, доверить мембране свои робкие вопросы и в гудящей трубке услышать слова одобрения.

Ро Хойзлерова стояла над раскрытыми чемоданами и прикидывала, брать ли с собой костюмчик из сурового итальянского шелка, подарок Фрица — бедняжка не вернулся из Тобрука. Погода как будто не совсем подходящая, да в Нехлебах и не придет-

ся особенно модничать. Но, с другой стороны, вдруг у них в вилле поселятся американские или русские офицеры, а Ружене будет нечего надеть? А кроме того, «зихр» есть «зихр» [1]. Вещи, которые останутся в Праге, могут и совсем пропасть. Босяки начинают безобразничать. Вчера Ро наблюдала на улице сцены, которые ей очень не понравились. Вот уже несколько дней семьи нацистов выезжают из бубенечских особняков. Все лучшее общество покидает Прагу. А так как в доме Хойзлеров муж был под башмаком у жены, то она решила, что они тоже уедут. В конце концов для чего же у нас вилла в Нехлебах? Там мы с тобой, старичок, отсидимся, а когда все уляжется, вернемся в Прагу. К тому времени здесь уже будет новая власть.

В комнату, не постучав, быстро вошел шофер. На нем не было солидной темно-синей униформы, которую он обычно надевал, когда возил своих хозяев. Ро Хойзлерова с таким трудом добыла дефицитную материю на эту униформу — в нынешнее-то военное время! Шофер был в грязных сапогах, измятой одежде и весь запыхался.

— Доктор, вы ведь на улицу не пойдете, одолжите мне свое ружье,— произнес он слегка нараспев, как говорят пражане.

Хойзлер струхнул.

— Ну, конечно, мой друг, ну, конечно...— забормотал он.— Ведь все мы чехи, не правда ли?

С такой же торопливой готовностью Хойзлер откликался, когда к нему приходили за пожертвованиями на *«винтерхильфе»* [2]. Он всегда боялся тех, у кого власть в руках.

Трясущимися руками он достал ключ, открыл нижний ящик книжного шкафа в кабинете и вынул из пахнущего кожей футляра великолепное охотничье ружье. Ружье было тщательно вычищено, смазано и находилось в отличном состоянии. Оно еще помнило веселые охоты с немецкими друзьями Хойзлера.

— Только берегите, пожалуйста, оптический прицел,— просительно добавил Хойзлер и заискивающе улыбнулся.— Чтобы не испортился. Жаль было бы такую вещь.

Человек в измятой одежде быстро перекинул ружье через плечо.

— И зачем вы только беспокоитесь,— вслух заметила Ро своему шоферу.— Американцы будут тут с минуты на минуту.

Шофер не ответил. Он стоял около Хойзлера.

— И патроны! — торопил он.

---

[1] Здесь: надежно (от *нем.* sicher).

[2] Зимняя помощь — так называлась ежегодная зимняя кампания сборов на гитлеровскую армию (от *нем.* die Winterhilfe).

Хойзлер боязливо оглянулся. Он увидел грязные рабочие сапоги на персидском ковре, крепкого мужчину в поношенном пальто, с ружьем за плечами, стоявшего посреди отделанного дубом кабинета, на фоне золотисто-розового будуара Ружены в стиле *луикенз,* разукрашенного фарфоровыми фигурками пастушек и почтальонов.

«Так вот как выглядит революция»,— мелькнуло в голове у Хойзлера.

— Пустите! — нетерпеливо сказал шофер, оттолкнул дрожащие руки Хойзлера, собрал темно-зеленые мешочки с патронами и, даже не поблагодарив, выбежал из комнаты.

Хойзлер подошел к окну.

— Теперь они вооружены,— сказал он задумчиво.— Что поделаешь, такое время. Но когда все это пройдет, кто отнимет у них оружие?

— Ты сглупил, что дал ему ружье,— накинулась на мужа Ро.— Ведь это ценная вещь, тысяч двадцать, не меньше. Почему ты не сказал, что оно в ремонте?.. Интересно знать, кто теперь повезет нас в Нехлебы?

Как бы в ответ на этот вопрос во дворе взревел автомобильный мотор.

Ро, бросив укладываться, как была, с сандалетой в руке, выбежала во двор, к гаражу. Машина разворачивалась перед открытыми настежь воротами. Ро с ужасом увидела, что в ее безупречный «мерседес» лезут такие же типы, как этот негодяй шофер.

— Вы никуда не поедете на нашем бензине! — прикрикнула она на шофера.— И я не хочу иметь неприятности из-за машины. Мы ее владельцы и отвечаем за нее.

Из окна машины высунулся человек в кепке.

— Об этом не беспокойтесь. Именем Национального комитета мы конфискуем вашу машину как имущество коллаборантов.

Другой человек прицепил к радиатору чехословацкий флажок, прыгнул в машину, захлопнул дверцу, и они умчались.

Ро стояла как громом пораженная.

Куда обратиться, кому пожаловаться? Полиция и та с ними заодно, вчера разрешила улице бесчинствовать... А с каким трудом Ро доставала сукно на эту униформу шофера! Этого человека я избавила от *тотальной мобилизации,* он давно бы уже погиб в разбомбленном Гамбурге, я ему спасла жизнь, и вот она, благодарность!.. А что это за страшное слово «коллаборанты»? Иностранное слово, и все же Ро поняла его и не хотела иметь с ним ничего общего. Это слово ее пугало.

— Ты не волнуйся, деточка,— успокаивал ее Хойзлер, но сам дрожал всем телом, и его апоплексическая физиономия побагро-

вела.— Это же просто грабеж! Но они все-таки вернут нам машину. А когда все это кончится, я притяну шофера к суду.

— Черта с два это тебе поможет! Машину поминай как звали, говорю тебе!

Ро подкрепила свои слова решительным жестом: швырнула сандалеты в чемоданчик, захлопнула крышку и повернула ключ.

— Куда ты? — робко осведомился Хойзлер.

— К маме, на Жижков. Здесь я не останусь, здесь страшно.

Хойзлер поднял на нее свои выцветшие глаза в красноватых жилках. Как он уже, однако, стар!

— Что ж, пойдем, если хочешь,— сказал он.

— А ты-то куда, вот еще! Весь жижковский дом переполошится, если ты придешь. Я — совсем другое дело, я там у себя дома.

Хойзлер уставился на нее, выпучив глаза старого лягушечьего короля. Вот она, Руженка, без которой он не мог жить, которой он дал все, что можно приобрести за деньги, от которой все сносил, лишь бы удержать ее возле себя. Когда-то она манила его своей вызывающей красотой. Сейчас он цеплялся за нее, как старый человек цепляется за молодого, полного сил и решимости.

— Руженка,— произнес он,— неужели ты меня сейчас бросишь?

Ружена вплотную подошла к нему. В ней кипели злоба и яд, копившиеся годами. Сейчас все это прорвалось.

— Всю жизнь ты мне испортил, старый черт! — бросила она ему в лицо.— Может, мне теперь еще и в тюрьму идти из-за тебя... подлый коллаборант? Не-ет, не такая я дура!

Она схватила чемоданчик и выбежала, хлопнув дверью.

Анна Урбанова не виделась с дочерью почти три года после той ужасной ссоры из-за Лидице. И когда в субботу днем к ней в кухоньку вползла промокшая фигура с чемоданчиком в руке, растрепанная и в нахлобученной шляпке, Анна едва узнала Ружену.

— Господи боже, на кого ты похожа, девочка!

— На улицах стреляют,— измученным голосом сказала Руженa.— Пустите меня к себе, маменька, мне плохо...

Она схватилась за угол стола, покрытого дырявой клеенкой, и, пошатываясь, прошла через кухню в комнату.

— Да ты не ранена ли? — ужаснулась мать, скидывая передник.— Я сбегаю за доктором.

— Не выдумывайте, это пройдет! — быстро возразила Ружена.

Она с трудом поставила чемоданчик на пол и ногой запихнула его под кровать. Потом сняла шляпку, разулась, не раздеваясь залезла под полосатое мамино одеяло и закрыла глаза со следами туши под ними.

Анна Урбанова суетилась, как перепуганная наседка.

— Вот видишь, дочка, вот видишь! — вздыхала она.— Знала бы ты, чего я тут про тебя наслушалась от соседок.

— Не пускайте сюда никого,— сказала Ружена, тревожно озираясь.— Мне нужен покой.

Но какой может быть покой в квартирке привратницы? Каждую минуту заходит кто-нибудь. С вокзала неподалеку слышны выстрелы.

Мать развела огонь, вскипятила чай, уговорила Ружену выпить.

— Выпей-ка тепленького, у тебя сразу прибавится сил. Ты простыла.

Она села на край кровати с чашкой горячего липового чая в руке и спросила шепотом:

— А муж-то твой где? Случилось с ним что?

— Не говорите мне о нем,— вспылила Ружена.— Слышать о нем не хочу.

Она отвернулась к стене и больше не разговаривала. Вокзал все время напоминал о себе металлическим грохотом и выстрелами. Кто знает, о чем думала Ружена в эту ночь с субботы на воскресенье, ночь, когда матери с детьми сидели в убежищах, а мужчины и смелые девушки строили баррикады. Ружена уснула только под утро. Ее разбудил шум и переполох во дворе, куда выходило окно. На дворе кто-то причитал, кто-то сердито говорил, что нельзя было выпускать ребенка на улицу, когда там стреляют. Какая-то женщина доказывала, что ребенка все равно не удержишь. Спор мужских и женских голосов был похож на спор Чувства с Разумом, они старались переубедить друг друга. Потом чей-то рассудительный бас сказал под самым окном:

— Не болтайте глупостей, ведь мы вчера осмотрели весь дом от подвала до чердака. Спросите вот хоть привратницу.

Анна Урбанова подтвердила и добавила, что с семи вечера дом был на замке.

— Это не важно, всегда кто-нибудь может пробраться! — крикнул пронзительный женский голос, и Ружене показалось, что он исполнен ненависти лично к ней. А впрочем, при чем тут она, если где-то ребенок попал под пули?

— Наверно, стреляли со стороны гаража, с пригорка,— снова вмешался рассудительный бас.— Туда мы тоже заглянем.

Мужчины разделились на группы и снова начали осмотр. Слышались шаги на лестнице, звонки или стук в двери. Обход начался сверху и длился долго, страшно долго. Ружене показалось, что прошла вечность. Наконец все-таки пришли и к ним. Шевельнулась дверная ручка, звякнул звоночек (еще дедушкин), такой,

какие бывают в лавке. Ружене было слышно все, что происходило рядом в кухоньке.

— Говорят, у вас со вчерашнего дня кто-то в гостях?

— Да это моя дочь. Она лежит, ей нездоровится. Переволновалась из-за стрельбы, хочет отдохнуть.

Но мужчины не посчитались с этим и вошли в комнату. Ружена чувствовала себя как в горячечном сне: ей показалось, что это те же люди, от которых она удрала из дома Хойзлера в Бубенече и которых потом со страхом встречала по всей Праге. Заметив ее чемоданчик и предполагая, что в нем оружие, они останавливали ее, но, увидев вместо ручных гранат дамские блузки и комбинации, махали рукой и отпускали презрительные шуточки. От своего особняка в Бубенече до кухоньки привратницы на Жижкове Ружена словно прошла сквозь строй позора. И вот они снова здесь! Она боялась их и все же, несмотря на испуг, досадовала, что она не напудрена и не накрашена. Оказаться перед мужчинами в таком виде — измятой, растрепанной, страшной! Но вошедших это, видимо, не интересовало.

— Удостоверение личности!

Один из мужчин тем временем осмотрел чемодан и шкаф. В кухоньку набились соседки и заглядывали в комнату.

— У меня... у меня его нет, я... его потеряла, когда бежала мимо радиостудии, там стреляли.

— Интересно! — недоверчиво сказали мужчины.— Чемодан цел, сумочка цела, а вот удостоверение личности она потеряла!

— Я чешка! — крикнула Ро и тотчас поняла, что зря так сказала: ведь об этом ее никто не спрашивал.

— Не верьте ей, суке! — послышались женские голоса, и соседки устремились в комнату.— Нацистка она, потаскуха этакая! Путалась с гестаповцами — поглядите, что от них получала!

Женщины кричали наперебой, выкидывая из чемодана французские блузки и итальянское шелковое белье.

— От нее и родная мать отреклась! Сколько из-за нее перестрадала!

— А теперь у себя прячет! — укоризненно сказал Анне один из мужчин, подняв глаза от Руженина надушенной сумочки, которую он тщательно рассматривал.

Анна плакала.

— Что мне было делать, не гнать же на улицу? Как-никак родная дочь. А я ведь одна как перст. Сын уже сколько лет в России, сейчас служит в чехословацкой армии, меня из-за него даже таскали в гестапо...

— У меня брат в Красной Армии, слышите? — закричала Ружена, хватаясь за последний козырь.— Брат вернется, он вас про-

учит! Чего вы ко мне привязываетесь, я буду жаловаться. Брат этого так не оставит!

— Не очень-то рассчитывайте на брата, ошибетесь, дамочка. Надевайте-ка пальто и ступайте с нами.

Ро побледнела как мел и истерически взвизгнула:

— Я че-шка! Я из народа! Я ничего не сделала! Я не виновата, что где-то подстрелили ребенка! Я тут ни при чем!

Какая-то разъяренная женщина закатила ей пощечину.

— Тебе все равно, что наших детей убивают, шлюха ты этакая!

— Я чешка, я чешка-а-а! Маменька, скажите же им! Я за чехов, эта ошибка, отпустите меня.

— А это что? — строго спросил один из мужчин, раскрыв перед ней надушенную сумочку из крокодиловой кожи (подарок Вилли, сувенир из Антверпена) и вынул из нее что-то.— Немецкие продуктовые карточки! Вы их забыли уничтожить.

— Продалась за жратву и тряпки. Тьфу!

— Верно говорил наш отец: отуреченный хуже турка.

— Иди, иди, потаскушка!

— Что же вы стоите, *митбюргерин*[1]. Марш, марш! Хотели к немцам — мы вас к ним и отведем.

И Ружену увели туда, где сидели арестованные нацисты.

ЛЮДИ С ЗАВОДОВ

Современные города уже не обносят крепостной стеной. Но вся Большая Прага окружена пролетарскими твердынями — фабриками и заводами. Шесть лет назад, в ужасном сентябре 1938 года, люди с заводов и фабрик по артериям улиц устремились к сердцу Праги — парламенту, окружили его и кричали: «Оружия! Мы за него платили!» Но оружие в конце концов увезли в Германию. Неделя за неделей шли из Чехословакии военные грузовики с тщательно укрытым грузом неизвестного назначения, маркированным непонятными буквами «W. H.»[2]. «Выдал Гаха»,— остроумно расшифровал народ. Народный юмор был неистребим. Пока не было другого оружия, чехи защищались хотя бы мрачными шутками...

«Дайте нам оружие, мы за него платили!» Но никто не дал народу оружия в дни Пражского восстания. Отряды рабочих захватывали врага у себя на заводах — их не пугали ни *веркшуцев-*

---

[1] Гражданка (от *нем.* die Mitbürgerin).

[2] Военное имущество германской армии (от *нем.* Wehrmacht Heersgerat).

цы, ни немецкие солдаты — и так доставали себе оружие. В мирное время пролетариат кормил, поил и одевал столицу, сейчас он вооружил ее.

Уже две недели напротив Вальтровки, на пригородной станции Иноницe, стоял в тупичке немецкий бронепоезд. Рабочие злились: зачем он тут торчит? Бронепоезд косился на них дулами пулеметов и дальнобойных орудий. Направит он орудия на нас, когда это начнется?

Иноницкая Вальтровка была на плохом счету у оккупантов. Завод бастовал уже в сорок первом году, и, хотя десять рабочих попали тогда в Маутхаузен, в последнее время саботаж развернулся на заводе вовсю. Поступал, например, заказ на тридцать авиационных моторов, но — хотите верьте, хотите нет — ни один мотор не выходил из цеха. Заместитель директора — чех, когда-то служивший майором в австрийской армии,— просто с ума сходил от ужаса и не рвал на себе волосы только потому, что был лыс. «Люди, вы меня губите! — стонал он.— Ну хоть один-единственный мотор соберите!»

Мотор собрали, но при испытании он развалился на части. На заводе ввели двенадцатичасовой рабочий день — рабочие проводили время за игрой в карты. У входа в цех они ставили мальчишку сторожить, не идет ли «Кот в сапогах» или «Лопоухая торпеда» — наиболее ярые *веркшуцевцы.*

Но теперь рабочие согнали *веркшуцевцев* в механический цех и, отобрав у них оружие, отвели в подвал, под замок. Тех, кто в субботу с утра не вышел на дежурство, арестовали дома. Привели и «Кота в сапогах», избитого соседками по дому за доносы в гестапо.

Совещаясь, рабочие Вальтровки поглядывали на бронепоезд. Бронепоезд был неподвижен. Как бы он не обстрелял завод! Для того мы тут и остались, чтобы беречь Вальтровку. Вальтровцы были связаны с моравскими партизанами: двое уехали туда еще в начале года, а недавно Ска́ла и Пернт тоже хотели уйти к ним, но партия дала указание: «Никуда не уезжайте, оставайтесь на заводе, берегите его!»

И вот бронепоезд, как туча, стоит над заводом, и никто не знает, разразится ли гроза. А что, если уговорить команду бронепоезда сдаться?

Скала и председатель революционного заводского комитета старый Пернт не поленились и пошли на вокзал. Немецкий язык они знали плохо, но все же изложили командиру поезда свое предложение.

— У нас на заводе много вооруженных людей,— врали они гитлеровцу.— Сдавайтесь, все равно всему конец. Вам ничего не будет.

Командир бронепоезда высокомерно ответил, что не ведет переговоров со штатскими и будет объясняться лишь с человеком в форме.

— Надо было послать к нему железнодорожника! — смеялись рабочие.

Положение, собственно, было не из веселых, но чешские рабочие не теряли юмора даже под угрозой пушек и пулеметов бронепоезда.

Тем временем на завод прибыл военный. Его прислали из центра. Он отправился на переговоры с командиром бронепоезда. Тот попросил время на размышление и обещал ответить к двум часам дня. Над заводом летали самолеты — малоприятное зрелище. Пробило час, пробило два, вот уже и четверть третьего, а бронепоезд все молчит. Военный снова отправился на вокзал и предложил сдаться. Командир бронепоезда ответил, что ему еще надо подумать, да и вообще — там видно будет. Рабочие потеряли терпение. Хватит с ним возиться!

Посоветовались с военным.

— Из дальнобойных орудий он нас обстрелять не может,— сказал военный.— Для этого ему надо было бы отъехать за холм. Позиция у него никудышная. Две сотни смельчаков с ним справятся.

На заводе таких людей была едва ли сотня, но это не важно. *Тотально мобилизованные* не вышли на работу, а многие другие рабочие разошлись, осталось крепкое ядро смелых людей, которым был по-настоящему дорог завод. Помня совет военного товарища, они пробрались на станцию и разобрали пути, чтобы бронепоезд не смог занять лучшую огневую позицию. Кочегар-чех, насильно мобилизованный на бронепоезд, тем временем снял вентили для пневматической подачи боеприпасов, так что экипаж уже не мог стрелять даже из пулеметов. Рабочие начали обстреливать поезд из своих ружьишек, отнятых у *веркшуцевцев*. (Когда все кончилось, они сказали себе, что им просто повезло.) Команда бронепоезда вывесила белое полотенце.

Вот это были трофеи — вы и представить себе не можете! Тяжелые и легкие пулеметы, ленты к ним, фаустпатроны, дальнобойные орудия, ручные гранаты, тринадцать тонн боеприпасов! Гитлеровцы, правда, заминировали один вагон, но рабочие авиазавода были не лыком шиты, и старый Пернт сразу смекнул, в чем дело. Трофейное оружие было передано чешским солдатам, и в четыре часа дня по радио сообщили, что рабочие Вальтровки разоружили бронепоезд.

Большие заводы обычно находятся вблизи железнодорожных станций, и в это время рабочие Чешско-моравского машинострои-

тельного в Либени тоже обыскивали немецкий санитарный транспорт.

— У вас боеприпасы в ранцах есть? — спрашивали они пленных немцев. Рыться в личных вещах солдат рабочие не хотели — как бы те не подумали, что их хотят обобрать.

— Ни одного патрона,— был ответ.— Мы не хотим воевать, нам бы домой!

Но осторожность не мешает, и Грубый для верности заглянул в товарный вагон, и там в первом попавшемся ранце среди белья он нащупал железные «яблочки» да еще пять револьверов. На память, мол!

Машиностроительному заводу в Либени приходилось нелегко. Там делали танки под постоянным надзором немецкой военной команды. Что гитлеровцы так стерегли свои танки — не удивительно, а вот что заместитель директора, чех, усердствовал до последнего момента, об этом не знаешь, что и думать... Глаз не смыкал, как сыч; даже по ночам ходил с фонариком и заглядывал внутрь танков, не спят ли в них рабочие. Ну, а те, конечно, спали. Сами посудите, какой бы чех стал торопиться делать танки для врагов Красной Армии и тем самым, как говорится, вить веревку на свою шею? Слабела дисциплина, слабело и крепление деталей в танках. Рабочим, однако, приходилось всячески изворачиваться. За неполадки сразу же обвиняли в саботаже, и на заводе — чуть что — появлялись гестаповцы.

Заводской сторож был заодно с рабочими. Из проходной в цехи была проведена сигнализация, предупреждающая о воздушном налете. Сторож нажимал кнопку, и на сигнальном табло в цехе загорались определенные цифры. Один ряд цифр означал воздушную тревогу, другой — начавшийся налет. С рабочими у сторожа было условлено: как только в проходной появляются гестаповцы, сторож нажимает сигналы в обратном порядке; в цехах тогда сразу знали, чем пахнет дело, и начинали работать «не покладая рук». Но гестаповцы тоже были не дураки. Они пробовали рукой станки и, если станок оказывался холодным, рабочего избивали. Не пощадили даже старика, который еле стоял на ногах.

На Либеньском заводе шпиков было хоть отбавляй. Однажды Грубый подсовывал под станки листовки, принесенные из спортивного клуба «Метеор». Не успел он еще пройти весь цех, а наверху, в дирекции, уже знали, что делается в цехе. Немало рабочих поплатилось за это жизнью. Да, трудновато было ребятам на Чешско-моравском машиностроительном. Но они не сдавались.

В дни восстания там собралась горстка отважных патриотов — всего человек тридцать вместе с ребятами с соседней Праговки. Рабочих на заводе стало меньше, американские самолеты

в вербное воскресенье наполовину разрушили завод. Ей-богу, трудно решить, какой завод раньше восстанавливать, когда настанет мир.

В пятницу вечером гитлеровцы срочно вывезли с завода всю готовую продукцию. Не осталось ни одного танка.

— Будет весьма печально,— сказал инженер Экснер,— если мы не сумеем собрать хоть один танк. Да поживей, ребята, время не ждет.

Все бросились по цехам искать детали.

Тут шестерым пришлось срочно уехать на грузовике на помощь радиостудии, и все они там погибли. Вскоре на завод пришли чешские полицейские из восьмого участка: у вас, говорят, есть оружие, пойдемте испробуем его на фашистской сволочи, что засела «У Грабов»; там, как дикие звери, свирепствовали *гитлерюгендовцы*; у них было орудие, да они еще вызвали на помощь германских штурмовиков; те пикировали на улицы Либени и убивали людей.

Над Балабенкой медленно двигались бронепоезда, на Кухиньке и на Пальмовке шла ожесточенная перестрелка. Из разных пунктов города зенитки обстреливали Либень со стороны Пражачки на Жижкове, от отеля «Страсбург», с Летны и Высочан. В такой «приятной» обстановке бригада монтажников спешно собирала танк.

Странные телефонные звонки беспокоили завод. Какая-то «Группа Людвик» передавала путаные указания «Натяните белые полотнища на крышах больниц и общественных зданий, чтобы их не бомбили американские союзники». Где рабочие возьмут столько белого полотна? Лучше бы вы раздобыли нам прицельную сетку для танка... Можете успокоиться, американцы так и не прилетели. Они нас навещают только в вербное воскресенье. Утром в субботу говорили, что американцы в Рузыни, днем — в Кладно, к вечеру — в Пльзени, а в воскресенье утром никто уже больше ничему не верил. Впрочем, указание о белых полотнищах вскоре было отменено. Вот и слушай их!

У рабочих Чешско-моравского машиностроительного не было ни военного опыта, ни боевого командира, до всего приходилось доходить своим умом.

Ох, уж этот командир! В понедельник к вечеру объявился какой-то майор и представился как Болек Кавалер, выслушал рапорт о положении дел и закурил сигарету. Когда от снаряда загорелась соседняя Праговка и вообще стало жарковато, командир попросил штатский костюм, оставил рабочим на память шинель и фуражку и испарился, не сказав никому ни слова. Ни Кавалера, ни костюма так больше и не увидели.

Рядом горела Праговка, а на Чешско-моравском машиностроительном наспех собирали два танка. Стрелять эти танки могли только очень неточно, потому что не хватало сеток для оптического прицела (это была засекреченная деталь),— главное, они двигались. Грохоту было много, орудие торчало, чего же еще надо? Вооруженные рабочие разъезжали на танке по Либени, нагоняя страх.

И представьте себе, эти два слабеньких танка, облепленные усталыми, измазанными копотью людьми, которым и в голову не приходило, что они герои, остановили целую немецкую танковую колонну. Гитлеровцы шли с севера на запад и хотели пробиться к американцам. Представляете, какие опустошения они могли бы еще произвести в Праге!

О том, чтобы пропустить их, не могло быть и речи. «Проезд закрыт».

Начались переговоры. Немецкое командование, разумеется, хотело разговаривать лишь с военными. Ну, а где взять военного, родить, что ли? Командир смылся, и даже простого полицейского не было под рукой. Объясняться пошел инженер Экснер.

На фоне бесконечной колонны немецких танков, своими торчащими вверх пушками напоминавшей стадо носорогов, стояли двое — пятнистый, как жаба, гитлеровец, опоясанный пулеметными лентами, и штатский парламентер. За баррикадой виднелись два наших танка.

Экснер, представитель рабочих, не растерялся.

— Если вы вздумаете сделать попытку проехать, мы вас не пустим, и вы пожалеете, что сунулись, господин офицер. Мы сильны, и нас много, а за нами Красная Армия.

Что, разве он был неправ? Хотя мы тогда еще не знали, что делается на склонах Крушных гор, все равно Красная Армия с самого начала стояла за нас, это Экснер сказал верно.

Услышав о Красной Армии, нацисты сразу образумились, немецкие танки дали задний ход и с грохотом, с ревом моторов и скрежетом гусениц стали разворачиваться, чтобы идти обратно.

Когда русый, синеглазый Карел Главса, председатель революционного заводского комитета завода Авиа, после утреннего совещания в механическом цехе, где распределяли обязанности, на минуту забежал домой перекусить, он услыхал призыв чешского радио о помощи и сказал себе: «Черт подери, какая же это горячая голова начала там заваруху? Ведь еще не время».

— Мама, каша еще горячая,— обратился Карел к жене, отодвигая тарелку.— Я не стану ждать, пока она остынет.

И побежал сломя голову на завод.

Многие рабочие в последний раз пообедали дома в субботу днем и с тех пор не возвращались с заводов.

Кашлик еще с вечера принял нужные меры: молодую жену, которая ждала ребенка, он отвез к матери в Саталице. Он очень любил Ярушку и опасался, что она станет уговаривать его не уходить из дому. Он бы все равно не поддался, но все же для них обоих лучше, чтобы жены в это время не было дома.

Местечко Чаковице, где находится завод Авиа, лежит севернее Праги, между двумя шоссе — на Мельник и на Терезин. В годы протектората оба эти шоссе приобрели мрачную славу: по одному из них возили осужденных на смерть на полигон в Кобылисы, по другому гестаповская «особая команда» ездила на расправу в Терезин. Это край зеленых равнин, где струится чистый воздух аэродрома в Кбелах. Там-то и разыгрались драматические события.

Завод Авиа был передовым предприятием: с первых дней существования протектората там действовала хорошо организованная подпольная группа антифашистов. Люди были разделены на тройки, которые даже не знали друг о друге и лишь иногда, случайно, ощупью, обнаруживали одна другую. С месяц назад к Карелу пришел товарищ из руководства партии. «Вот что,— сказал он,— о вашей работе нам известно. Вам пора наладить связь с профсоюзами, чтобы вас стало побольше. А ты, Карел, возьмешь на себя руководство всей организацией».

Карел отказывался. Не потому, что он боялся,— все равно он с самого начала принимал участие в подпольной борьбе,— но ведь какая ответственность! Карел не знал, как взяться за дело. «Завтра к утру решу»,— сказал он. Такой уж был характер у этого человека, ничего он не делал с маху, обо всем должен был сначала поразмыслить. Но уж если раскачается — не отступится ни за что. Утром Карел сказал, что согласен, и они начали готовиться.

В субботу, как только Карел вернулся на завод, пришла хорошая весть: гитлеровская военная охрана кирпичного завода в Пакомержице, где находился немецкий склад боеприпасов, состоявшая сплошь из австрийцев, через пожарных передала рабочему комитету завода Авиа, что готова сдаться, если ей дадут штатскую одежду. Вот это был подарочек для товарища Свозила, военного командира рабочей дружины Авиа! Расставив у себя часовых, дружинники отправились на кирпичный завод.

Пленные австрийцы отдали ключи, и Карел отпер склад. Это была просто сокровищница! Глядишь — и дыхание захватывает! В течение шести лет рабства чехи не держали винтовки в руках, изголодались, истосковались по оружию. Шесть лет без оружия! Сейчас мужчины упивались прикосновением к стали. Каждый тянулся пощупать оружие, каждому хотелось подержать его. Все сразу почувствовали себя уверенней. Но только так

не годится, ребята. Свозил начал наводить порядок. Оружие должно попасть в умелые руки, иначе от него не будет толку. Правда, большинство рабочих побывало в армии. Но за шесть лет можно и отвыкнуть, а кроме того, за это время появились новые образцы. Какой толк от пулемета или фаустпатрона, если не уметь с ними обращаться? Ладно, пленные австрийцы научат! И надо позаботиться, чтобы ружья не достались таким людям, которые отнесут их домой и спрячут под матрас. Вооружиться нужно до зарезу, каждый пистолет на счету. Ребята с Авиа поделились с рабочими Буловки, отвезли оружие и в Прагу.

Потом они поехали на помощь Летову. Этому заводу приходилось туго от многочисленной и отлично вооруженной немецкой команды. На других заводах команды сдавались, а эта прямотаки когтями вцепилась. Соединенными усилиями рабочих Авиа и Летова немцев выгнали с завода, но вскоре они снова вернулись. На Летове у них было отличное жилье и большие запасы продовольствия, с которыми им особенно не хотелось расставаться. Засели в бомбоубежище и не уходят ни в какую! Рабочие заняли нижний этаж, а противник перебрался в башню. С автоматами в руках рабочие осторожно ползли к винтовой лестнице. Откроешь люк — и бог весть что тебя там ждет...

Необстрелянные новички вначале просто боялись, хоть и старались не показать виду. Но потом они, как говорится, принюхались к пороху, и боевой дух у них поднялся. Товарищ Свозил был хороший командир и быстро научил их владеть оружием.

Боевая дружина с завода Авиа помогла не только Летову; повоевала она и под Ладви.

За полигоном, где нацисты расстреляли Елену Гамзову, тянется по склону холма чудесная Дяблицкая роща. В мирное время туда по воскресеньям отправлялись отдыхать семьи рабочих и трамвайщиков из Либени, Кобылис и Дяблиц; расставив бутылки с пивом, разложив крутые яйца, усаживались они с шитьем или газетой под веселыми лиственницами, строгими буками и светлыми березами. В траве копошились ребятишки с измазанными ежевикой мордочками... И вот теперь женщины с детьми, в страхе перед нацистами, устремились к этому лесу. Ясное дело: их привлекал туда чехословацкий флаг на наблюдательной вышке. Но это была хитрость гитлеровцев: занимая выгодную высоту, они нарочно подняли этот флаг, чтобы их там никто не трогал. Нацисты прятались в лесу, а несчастные женщины и дети бежали туда и попадали прямо под пули. Сколько крови там пролилось! У самой Дяблицкой рощи обрыв и каменоломня... Эх, лучше и не рассказывать! На Ладви фашисты творили свои кровавые дела, ох, и звери!

Услыхав о том, что происходит в Дяблицах, дружинники с Авиа поспешили на выручку женщинам. Гитлеровцы оборудовали пулеметное гнездо на скале, где стоит старый каменный стол и чугунный крест, и хорошо пристрелялись на местности. Как только парни с Авиа появились на опушке, пятерых из них скосила пулеметная очередь. Лойзика ранило в ногу. Зеленка взвалил его на плечи, как мешок, и потащил обратно к машине. Вдруг снова огонь.

— Пусти меня,— прошипел Лойзик.— Ложись в траву! Да сбрось же меня, осел!

Он боялся, что Зеленку подстрелят.

Зеленка положил товарища на землю, сам залег рядом. Когда стрельба прекратилась, он снова встал и, крякнув, взвалил раненого на плечи. Тот был тяжеленек — здоровый детина. И снова: тра-та-та! «Пусти меня!» Тра-та-та! «Оставь меня и сматывайся, дубина!» Так они и ругались все время. Лойзик бранил Зеленку, а тот поднимал Лойзика, нес его, опускал на землю, опять с трудом поднимал и наконец доставил в безопасное место.

Хотя наших ребят и оттеснили с Ладви, рук они не опустили. Выкатив вручную вагон, стоявший на заводской ветке, на железнодорожные пути, они прицепили его к маневровому паровозу и разъезжали, обстреливая гитлеровцев, а потом, подучившись, начали палить и из пушки по Кбелскому аэродрому. Своими боевыми действиями они сбили с толку нацистов; те решили, что на заводе Авиа гораздо больше восставших, чем их было на самом деле, и не отважились напасть на завод.

А тем временем господа из бывшей дирекции завода сидели во втором этаже, выпивали, резались в карты и пытались из окна руководить боевыми действиями рабочей дружины. Можно было бы посмеяться, если бы это не вызывало возмущения.

Корпуса цехов и ангары были в руках рабочих, которые расставили пулеметы на зеленом поле заводского аэродрома и оттуда вели огонь. Над заводом летал немецкий наблюдательный самолет «аист». Он сбросил связки гранат около котельной.

Перед тем как начать орудийный обстрел кбелских казарм, светловолосый председатель комитета распределил людей.

— Дети есть?

— Трое.

— Останешься здесь. А у тебя?

— Нету,— ответил Кашлик.— Только ожидаю.

— Тебя, значит, тоже не возьмем. Пойдут холостяки.

— Ну нет,— заупрямился Кашлик.— Уж вы меня не срамите. Не хочу краснеть перед будущим сыном.

— А если родится девчонка? — засмеялись товарищи.

— Та проживет и с матерью.

Кашлик пошел с холостяками — что с ним поделаешь! — и все твердил себе: «Хорошо, что Ярушка не знает, это могло бы ей повредить. И хорошо, что я ее не вижу. Всякое может случиться. Так-то лучше».

Дружина обстреляла из орудий кбелские казармы, завладела ими и через главные ворота устремилась к ангарам. Немецкий гарнизон наконец сдался, поставив условие, что ему будет разрешено покинуть Прагу. Но самолеты останутся тут! Ни одного винтика вы отсюда не унесете! Рабочие заняли аэродром, спасли для республики сотни самолетов и тут же, еще ночью, смертельно усталые, начали осматривать машины и приводить их в порядок. Ночью по радио было передано обращение: «Военные пилоты и механики! Срочно явитесь на аэродром в Кбелах!» И что вы думаете, много их пришло? Ни одного! Только утром, в половине восьмого, появилась одинокая фигура: какой-то кавалерист, выспавшись, пришел «принимать аэродром». Наши ребята его выставили.

Рабочие завода Авиа удержали кбелский аэродром, и, когда туда прибыло наше правительство, они вместе с советскими войсками проводили его как почетный эскорт до самого Града.

НЫНЧЕ-ТО ЧТО!

Нынче-то что! Теперь, когда мы уже знаем, чем все кончилось, легко вспоминать, как это было. А ведь тогда никто не знал, что будет через день, через час. Будущее Праги лежало в ее разрытых улицах с вывороченной брусчаткой и с железными прутьями, торчащими, как на стройке... Да, все это напоминало стройку, где еще только сносили старый небоскреб нацистской гордыни.

Если теперь, задним числом, подвергнуть строгой оценке разума все совершенные тогда отважные поступки и подвиги, трудно понять, как чехи набрасывались на вооруженных эсэсовцев, уничтожая их голыми руками, как останавливали и захватывали проезжавшие машины, как брали приступом бронепоезда и немецкие танки, как Станя, который видеть не мог крови, из револьвера, захваченного на немецкой свадьбе, убил солдата и взял его автомат, как Андела научилась на баррикаде бросать ручные гранаты...

И все это было потому, что Пражское восстание началось не 5 мая 1945 года, а 15 марта 1939 года, в ту самую минуту, когда первые гитлеровские мотоциклисты въехали в Прагу. С этого трагического дня пражане, как бы они ни были заняты будничными заботами о хлебе насущном и о детях, не стремились ни к чему

иному, не мечтали ни о чем ином, кроме изгнания чужеземцев. И когда пал Берлин — пробил час, и гнев народа, скрытно нараставший в течение шести лет, взметнулся и горячей лавой разлился по улицам.

В первый день по городу ходили самые отрадные вести. Захвачена радиостудия, хотя еще несколько раз за день она переходила из рук в руки; выпущены узники Панкрацкой тюрьмы (но от бомбы, которую гитлеровский летчик сбросил на взбунтовавшийся Панкрац, дрогнули окна даже на Штепанской улице). В руки чехов перешли почтамт и жижковская телефонная станция — слух и речь восставшего города. Гитлеровцам не удалось взорвать мосты через Влтаву, и кровь восстания беспрепятственно пульсирует в артериях Большой Праги. Люди с заводов удерживают свои рабочие твердыни, а синяя армия железнодорожников стала хозяином вокзалов. Дыхательные и двигательные центры прекрасного организма Праги невредимы, и город, крепко став обеими ногами на влтавских берегах, сильными руками строит баррикады. Голые это руки — им так не хватает оружия! Но руки умелые, проворные и работящие. Золотые руки!

Кто научил пражан всему этому, кто подсказал им, как действовать? Проснулись ли в них воспоминания о 1848 годе? Заговорил ли в кондукторах с Жижкова дух гуситских предков? Да, жижковы укрепления из повозок сродни баррикадам из поваленных трамваев, а гуситская палица — предтеча фаустпатрона.

В так называемые мирные времена чехи до невозможности будничны. Влюбленный в Прагу Станислав не раз изумлялся несоответствию между этим чудесным городом и прозаическими устремлениями его обитателей. Пражане — мужчины и женщины, рабочие и буржуа, жители центра и окраин — любили потолковать о еде и напитках. Правда, при протекторате не поговоришь вслух на улице о том, что передавало сегодня московское или лондонское радио и как далеко продвинулась Красная Армия. Но ведь и в годы Первой республики разговоры пражан сводились обычно к отбивной с капустой и кружке пива. Быть может, это потому, что наш трудолюбивый народ долгие годы жил впроголодь в своей богатой стране. При австро-венгерской монархии мы работали на «альпийские страны», при Первой республике — на чешских хозяев, при протекторате — на немецких господ. Каждый из нас глубоко понимал Конделика и Швейка, но вот пробил час, и из народа встало божье войско. Станислав сам уже однажды пережил это в дни мобилизации.

Сейчас Прага ощетинилась и, исполненная решимости, строила гуситские баррикады. Знаете вы, где была построена первая в Праге баррикада, еще до того, как радио призвало к баррикадной

борьбе? В субботу утром в районе Панкраца, перед Янечкарной, рабочие выкатили бочки из-под бензина и перегородили дорогу, увидев, что нацисты выезжают из Праги по Будейовицкому шоссе. Раздавались возгласы: «Немцы хотят удрать, не пустим их!» И, претворяя в дело слова Готвальда, рабочие выбежали из заводских ворот и разоружили эсэсовцев.

Прага своими руками разбирала мостовые, валила набок громадные фургоны: уставшие мужчины сами не знали, откуда у них берутся силы. Прага несла на баррикады железные прутья со строек и мусорные урны, ящики железных обрезков, котлы и старые ванны, выволакивала металлолом, который чехи должны были сдать, но не сдали на военные нужды Третьей империи. Рабочие с Чешско-моравского завода вытащили на либеньские баррикады станки, изувеченные бомбежкой, школы отдали парты, домашние хозяйки — старые железные печки. Жители Летны и Дейвиц рубили расцветающие каштаны. Барборка отдала каркас от зонтика и вместе с Неллой притащила на баррикаду старый письменный стол надворного советника Вита. Стол очень пригодился, в его ящики Нелла с Барборкой напихали все гайки, винтики, мотки проволоки и слесарные инструменты Тоника. Прага превратилась в тысячи упрямых укрепленных городков, и каждый из них твердил: «Они не пройдут!»

Баррикады были не только преградой для немецких танков, они имели громадное моральное значение. Их строили все — мужчины и женщины, дети и подростки, старики и старухи. Сражался каждый. Это поднимало дух. Как это было нужно!

В дождливое воскресенье по Праге пополз дым пожаров, послышались крики убиваемых детей. В районе Панкраца был когда-то трактир с красочным веселым названием «Зеленая лисица». По имени трактира стали называть и весь этот квартал, населенный мирными садоводами, разводившими клубнику. Трактир давно перестал существовать, на его месте построили школу, и теперь в этой школе квартировала эсэсовская команда. Через дорогу отсюда — Панкрацкое кладбище. Эсэсовцы были злы на жителей Панкраца за то, что те накануне, при взятии тюрьмы, вывели из строя немецкие танки. Гитлеровцы решили выместить злобу на невинных людях. Они выгнали из убежищ женщин, детей и стариков, заперли их в казарме и, проломив кладбищенскую стену — вести свои жертвы через главный вход они не рискнули,— выгнали пленников через этот пролом на кладбище и заставили их вырыть общую могилу — большую глубокую яму. Затем эсэсовцы принялись расстреливать людей и бросать их в эту яму. Недобитых засыпали землей. Трупов было столько, что они не поместились в яме, там и сям из нее торчали детские тела. Эсэсовцы лю-

бят порядок: *Alles glatt*[1]. Они пустили по мертвым и умирающим людям танк и выровняли поверхность.

Один мальчуган уцелел. Когда начался расстрел, мать в смертельном ужасе обняла правой рукой сына, левой—дочь, а младшего мальчика посадила на колени. Обомлевший от ужаса ребенок упал на землю, и трупы матери и двух других детей прикрыли его. Когда все кончилось, мальчик выполз. Первое время он не мог говорить.

Тому, кто потом видел истерзанные детские тела в панкрацкой прачечной, кто шел искать своих пропавших близких и находил их среди трупов в Михельской церкви, кто снимал со столбов людей, распятых эсэсовцами на Пражачке, а в Оленьем рву находил студентов с выколотыми глазами, кто оборонял либеньскую баррикаду, на которую наступали немецкие танки, гнавшие перед собой чешских женщин и детей, тому казалось, что уже никогда в жизни он не улыбнется. И он знал только одно: бить, бить, бить немцев! В Альжбетинской больнице лежал паренек, подорвавшийся на фаустпатроне, с которым он не умел обращаться; у парня лопнули обе барабанные перепонки. Он то и дело вскакивал с кровати с криком, что ему надо обратно в бой, в бой... Сиделки едва могли удержать его.

У наших парней были львиные сердца, но никакого военного опыта. Ударит в тебя пуля, а ты даже не знаешь, откуда она. Целишься в нациста на крыше, а другой нацист в это время стреляет тебе в спину. Кинешься с топором на эсэсовца, а он прострочит тебя из автомата. С топором потому, что у тебя нет ничего другого. В этом-то все горе! Голодная, затемненная Прага мечтала не о еде, не о питье, а об оружии. Сбросьте же нам его, ведь вы обещали! Помогите же нам, нас убивают, убивают, а вы так близко...

Появились два пронырливых американских «джипа», немцы их не тронули. Американцы приехали, поглядели и снова исчезли. Говорят, что это были журналисты. Могли и не приезжать!

Над Прагой, словно гигантские цирковые трапеции, раскачиваемые ветром, колебались на радиоволнах переговоры с Франком. Люди знали заранее: как только закончатся эти переговоры и начнется перемирие, Франк снова нарушит его, снова загремят орудия.

Настала ночь с понедельника на вторник, тревожная ночь.

Гитлеровцы неистовствовали. Днем они бомбили Вацлавскую площадь — ох, и грохоту было! У Мити даже мурашки бегали по спине. Он все еще сидел на пятом этаже в немецкой гимназии, ни на шаг не отходя от своих пленных. Страшно ему было очень, хоть он и не показывал этого. Мальчику все казалось, что бомбы летят именно на него — вернее, на тот дом, где он стоял на часах.

---

[1] Все должно быть гладко *(нем.)*.

По Праге разнеслась весть, что гитлеровцы, разузнав, в каких домах собраны пленные нацисты, освобождают их. Они якобы уже захватили школу в Либени. Митины пленные тоже явно надеялись на это. Они начали вставать, подходили к дверям, выглядывали в коридор, не идут ли к ним на выручку. Но суровый Митя стоял у дверей со своим незаряженным ружьем и никого не выпускал. Этого еще не хватало!

Если бы давно, в годы мира и спокойствия, кто-нибудь напророчил пражанам, что половина из них будет ночевать на баррикадах у перекрестков и около мостов, а другая половина пойдет спать в подвалы, они бы сказали: «Что за чушь!» А сейчас пражане уже привыкли к такой жизни и прочно обосновались в подвалах, принесли туда коврики и пледы. Яроушек Вах спал в корыте, Аленка в колясочке, совсем как дома, у детей были с собой игрушки, старик Вашата принес канарейку в клетке, Нелла — радиоприемник. Зеленый кошачий глазок светился в сыроватом полутемном подвале, вокруг сидели люди на складных стульях и в старомодных, уже не годных для квартир, креслах и слушали. Новости вечером в понедельник были невеселые: танки Шернера идут на Прагу.

В бомбоубежище Неллы появился старый человек в измятом дорогом костюме, небритый, с глазами навыкате. Никто его не знал, никогда его тут не видел.

— Все пропало,— сокрушенно вздохнув, громко сказал незнакомец, сел, понурив голову, и тупо уставился перед собой.— Немцы захватили казармы короля Иржи, Гибернский вокзал, Старомест-скую площадь. Это конец! Прага погибла!

В другом конце подвала послышались причитания женщин и детский плач. Нелла Гамзова подняла голову.

— Вздор! — сказала она нарочно громко, чтобы все слышали.— Германская армия сегодня капитулировала в Берлине. Это всем известно, об этом сообщали по радио. Все кончится благополучно через несколько часов. Кто здесь сеет панику?

Она встала и с фонариком подошла посмотреть на пришельца.

— А ведь вы не живете в этом доме, сударь! Разве у вас нет своего убежища?

Паникер уставился на нее глазами навыкате. Когда-то Нелла уже видела эти лягушачьи глаза. Но когда и где?

— Вам, может быть, неприятно, что я здесь? — осведомился незнакомец; тон у него был жалобный и учтивый.

— Да, очень неприятно, — неожиданно отрезала всегда вежливая и сдержанная Нелла, словно ее устами вдруг заговорила покойница мать — хозяйка деревянного нехлебского дома — или энергичная Елена.

В убежище кто-то засмеялся.

— Все тут были спокойны,— продолжала Нелла,— а появились вы — и началась паника. И совершенно напрасно!

Человек с глазами навыкате сказал, понизив голос, тоном, дававшим понять, что только они двое — интеллигентные люди, способны оценить обстановку:

— Да вы поймите, мадам, положение безнадежно.— Он закрыл лицо руками.— И зачем только мы начали это восстание. Нас всех перебьют. А ведь можно было...

— Вон отсюда! — вне себя от гнева закричала Нелла.— Мы не потерпим здесь провокаторов!

— Уже из третьего убежища...— растерянно пробормотал человек, схватился за голову и вышел.

— ...его выставляют,— договорила Барборка.— А чему удивляться... Здорово вы его отчитали, я даже не ожидала.

Только когда человек ушел, Нелла сообразила, кто это был: адвокат Хойзлер, знакомый давно минувших лет.

Немцы выставили Хойзлера из его особняка и устроили там пулеметное гнездо. «А мне куда деваться?» — *«Wohin sie wollen»* [1]. Один, без Ружены, Хойзлер блуждал потеряв голову. Кончилось тем, что чехи арестовали его.

Нелле удалось успокоить обитателей убежища, рассеять их опасения. Люди стали засыпать. Зато Нелла заразилась от Хойзлера боязнью, страшной боязнью. Она не хотела сознаваться себе в этом, но все еще дрожала за Станю, ушедшего на баррикады. Митя, думала она, сейчас в безопасности, он хорошо сделал, что удрал на помощь радиостудии. Сперва она, конечно, боялась за него, но потом, когда эсэсовцы заняли Град и Стршешовицкую больницу и начали зверствовать в Оленьем рву, Нелла была почти рада, что внук находится на том берегу Влтавы... Но вот сейчас, сейчас... Гитлеровцы в казармах короля Иржи Подебрада и на Масариковом вокзале... Нелла мысленно видела, как танки идут на Митю. А ведь он совсем еще ребенок!

Тем временем Митя стойко нес свою вахту около пленных нацистов в седьмом классе «Б» немецкой гимназии. Ремень незаряженного ружья резал ему плечо, вихрастая голова чесалась под каской, спина ныла от долгого стояния. Нос у мальчика был залеплен пластырем — пустяковая царапина, он получил ее в первую ночь, когда его вместе с одним пареньком, пятнадцатилетним Ладей, послали за патронами в Страковку на Кларове. Мальчики, затаив дыхание, пробирались по темной Праге, прижимаясь к стенам домов, откуда стреляли немцы. На минуту обоих страшно напугал звук капель, стекавших из водосточной трубы, но они не призна-

[1] Куда хотите *(нем.)*.

Жизнь против смерти

лись в этом друг другу. Пригибаясь, они перебежали Каменный мост, и когда благополучно добрались до противоположного берега (вот бы удивилась бабушка, если бы знала, что внук так близко), чешский патруль послал их обратно. «Что вы еще придумали! Кларов в руках немцев, попадете прямо под пули. Попробуйте достать патроны в казармах короля Иржи».

Казармы гудели, как улей. То и дело входили гвардейцы с повязками на руках и просто штатские, лица были сосредоточенные. Выходившие выглядели разочарованными.

Отряд был уже сформирован и готовился выступить. Митя и Ладя пробрались в канцелярию штаба, хоть их туда и не пускали. Там была уйма народу, дежурного офицера обступили со всех сторон, его даже не было видно за столом. Минула вечность, прежде чем очередь дошла до мальчиков. (В армии всегда приходится долго ждать.)

— Вот еще придумали! — сердито сказал офицер, когда Митя и Ладя наконец очутились перед ним.— Нет у меня для вас патронов. В других местах патроны еще нужнее, и то не даем — самим не хватает. И что за глупость — посылать сюда детей,— заметил он поручику, склонившемуся над ним с какими-то бумагами.— Кто их сюда впустил? Следующий!

Мальчики вышли как в воду опущенные.

На Пршикопе около казино шла перестрелка, Мите и Ладе пришлось сделать крюк — идти через Староместскую площадь. Огорченные неудачей, они уныло шагали в полной темноте. Митя вдруг споткнулся обо что-то упругое и мягкое, неподвижно лежавшее поперек тротуара. Надо было обойти это. Но Митя замер на месте, словно норовистый молодой конь, вставший на дыбы.

— Ты что? — прошептал Ладя, стараясь казаться безразличным.— Лежит себе и лежит. Пойдем.

Но Мите, терзавшемуся тем, что они не достали боеприпасов, пришло в голову, что на убитом может быть оружие и патроны. Пустая надежда: разве в эти дни оружие оставляли лежать на мостовой! «Хоть бы ручная граната, хоть бы патроны нашлись у него в кармане!» Мальчики торопливо обыскали труп. При этом они испытывали не столько страх перед опасностью, сколько отвращение, они сознавали, что совершают что-то недозволенное. А что, если мертвец вдруг схватит Митю за руку?

В карманах убитого ничего не нашлось, даже документов, и неизвестно было, чех он или немец,— просто мертвое тело. Темно было, как в погребе, дождь лил на мальчиков и на мертвеца. Ощупывая труп, Митя вдруг коснулся торчащей босой ноги и испуганно откинулся назад. При этом он резко дернул головой и сильно ударился о холодный металлический столб незажженного уличного

фонаря. У мальчика даже искры посыпались из глаз. Боль сразу отрезвила его.

«Что поделаешь,— думал он о мертвом на обратном пути,— восстание есть восстание. Но когда мы победим, надо будет устроить так, чтобы подобные вещи больше никогда не повторялись!»

В Национальном комитете Мите сделали перевязку, и он размышлял над вопросом, можно ли считать это боевым ранением. «Ты осел,— говорил он себе,— какое же это боевое ранение, коли ты расквасил себе нос о столб?..» Но другие, видя перевязанного Митю, могут подумать, что в него стреляли... или, по крайней мере, что пуля ударила в него рикошетом!

И вот Митя уже вторую ночь стоит на карауле со своим незаряженным монтекристо. В голове у него шумит, глаза смыкаются от усталости, иногда он пошатывается, но тотчас выпрямляется. Уйти с поста он не смеет, а внизу, видно, забыли о мальчиках: Ладя дежурит в коридоре, а Митя в классе, и никто не идет сменить их. Наверно, гвардейцы опять там выпивают, как вчера, когда пьяный командир махал заряженным револьвером перед носом у Мити и нес какую-то чушь: «Вечная слава вам, герои!..»

Вначале Митя испытывал почтение к любому участнику Пражского восстания, но постепенно он стал разбираться в людях и понял, что бывают не только такие, как Божек, кто кидается на эсэсовца, чтобы голыми руками обезоружить его, и не боится влезть на крышу, откуда стреляет враг. Нет, есть и пустомели, которые зря болтают и не прочь погреть руки у пламени, которым объята Прага. Митя видел, как люди пьянствовали, видел, как люди воровали. За три дня восстания Митя узнал больше, чем за три года жизни. Оказалось, что восстание — это не только пламя и взрывы, выстрелы, кровь и смерть, участник восстания испытывает еще и усталость и отвращение, и эти чувства нужно постоянно преодолевать в себе.

Вид спящих в классе людей заразительно действовал на Митю. Глаза у мальчика слипались, он изо всех сил таращил их и потехи ради поглядывал на светлые прямоугольники на стене — следы портретов Гитлера и Гахи. Ночь, однако, была невеселая. Иногда по улице проезжала машина, и вслед ей обязательно гремели выстрелы. Откуда-то, очевидно из немецкой клиники, доносились монотонные женские причитания: *«Ich bin hier allein. Alle sind tot. Ich bin hier allein. Alle sind tot»* [1]. Не ловушка ли это? Из немецкой зубной клиники, которую считали очищенной от нацистов, снова и снова раздавались выстрелы... Или это только казалось Мите? Да, он не смеет спать, он должен сторожить! Арестованные враги спят, но они хитры! У этого генлейновца в зеленой шляпе с белым шну-

[1] Я здесь одна. Все умерли *(нем.)*.

ром вместе с револьвером отняли и сигареты, и он уже несколько раз *категорически* требовал их вернуть... А вдруг он кинется на Митю, эдакий здоровый детина. Тогда Митя треснет его прикладом! А за дверью, в коридоре, сторожит Ладя. Немцы ведь не знают, что ружья у обоих мальчиков не заряжены...

Где-то в здании включили радиоприемник. Митя слышал, как наше радио приглашало в клиники доноров, призывало на помощь американских пикировщиков, вещало по-английски, по-русски, просило о помощи. Прага под угрозой, пять гитлеровских бронетанковых дивизий стянуты к Праге и окружают ее.

Нацисты, которых стерег Митя, делали вид, что спят, а сами потихоньку радовались...

Мите вдруг почудился красноармеец с винтовкой, темный силуэт у огромного белого нефтехранилища. Видение было отчетливо, как картинка в волшебном фонаре. Улыбка тронула губы мальчика, он слегка покачнулся, но тотчас выпрямился и уставился на арестованных нацистов. «Внимание! — сказал он себе.— Я обычно вижу это, когда засыпаю. Но я не должен спать и не усну... Подумать только, я уже стою в карауле, совсем как он!»

ЖИЗНЬ

Над баррикадой на Кладненском шоссе забрезжил тоскливый рассвет. Повеяло предутренним холодком, зябко зачирикали птицы, ветер прошелестел в листве деревьев. Горожанину, привыкшему бодрствовать лишь при исскуственном освещении, в такие минуты становится грустно. Станиславу Гамзе эта грусть была знакома еще и в мирные времена, а сейчас он ощутил ее с особой силой: ведь в дни восстания он почти не смыкал глаз.

Дни, не разделенные промежутками сна, сливались один с другим, прилипали, как платье на давно не мытом теле; все перепуталось в усталом мозгу Станислава. Вторник сегодня или среда? Вчера или позавчера погиб Шварц? Да, да, коллега Шварц, из университетской библиотеки, тот самый, у которого хватило смелости сочувственно пожать Стане руку, когда Елена погибла в дни «гейдрихиады», этот Шварц пал на баррикаде у Карлова моста. Значит, он все-таки по-настоящему любил Прагу! Он уже не услышал потрясающей вести о пожаре в Граде. Эта весть так ошеломила Станю, что он еще и сейчас не совсем пришел в себя, хотя, слава богу, сообщение оказалось ложным. Разве можно верить гитлеровцам?! И думать нечего! Германия вчера капитулировала, но маньяки в черных мундирах знать ничего не хотят и все еще неистовствуют. Сегодня их зенитки били с укреплений на Летне. В Бржевнове —

сущий ад. Гитлеровцы еще держатся у Оленьего рва и дальше — на виноградниках святого Вацлава до самого Кларова. Сердце Праги — Староместский рынок — горит, Панкрац зияет, как открытая рана.

Далеко за границей, откуда до нас доходят только радиоволны,— там уже мир. Вчера чешское радио из Америки сообщило, что весь Нью-Йорк веселится и танцует. Над Манхэттеном кружат самолеты и сбрасывают на город мириады белых конфетти. В ослепительном свете неоновых реклам «снег мира» падает на Бродвей, на реку Гудзон, на нью-йоркский порт. Огни вращающихся прожекторов озаряют статую Свободы, запорошенную «снегом мира», снегом мая. Об этом рассказала Станиславу Андела. Она принесла на баррикаду термосы с горячим чаем и сообщила все, что слышала по радио. Эх, дай-ка сюда чаю, а эту новость можешь оставить при себе, она только раздражает!

— Они там празднуют, а Праге тем временем будет крышка,— сухо заметил Рудла, сидя за железными прутьями, под защитой баррикады.— Слышите?

Со стороны здания кадетского корпуса бухали зенитки.

Весь мир радуется и забыл о нас. Из глубин памяти Станислава поднялись горькие воспоминания об унизительных судетских событиях, и всем своим существом он вновь ощутил одиночество чешского народа. Что сказал о нас в те дни Чемберлен: «К чему воевать из-за такой маленькой, никому не известной страны?» Он тоже тогда восхвалял мир, да еще как!

Станислав не сказал ни слова, он не хотел наводить уныние на товарищей, но Андела почувствовала, что он пал духом. Она всегда без слов понимала настроение своего друга. Девушка стала утешать его.

— Через несколько часов все будет кончено,— сказала она.

«С нами все будет кончено,— подумал Станя.— Американцы в Пльзени тоже, видно, танцуют, а русские еще далеко, где-то под Берлином и у Иглавы. И зачем только фантазирует Андела? К чему пустые утешения?»

— Сделай одолжение, иди спать,— раздраженно сказал он ей. И добавил пренебрежительно: — Какой здесь от тебя толк!

Тон у него был суровый, недружелюбный. Свое мужское превосходство Станя подчеркивал только потому, что боялся расплакаться от переутомления. Этого он не мог допустить.

Небо уже прояснилось перед восходом солнца и приняло мертвенно-бледный оттенок прозрачного воска, тревожный щебет птиц стал громче. На фоне этого птичьего переполоха вдруг странно загудел толстый железный прут в баррикаде. Загудел, как гигантский камертон. Дрогнуло все — бочки и булыжники словно под-

прыгнули на месте. Это не был воздушный налет, вибрация шла снизу, от земли, содрогание и железный гром приближались издалека, надвигались, как стальной смерч.

— Так я и говорил! — вскакивая, воскликнул Станя.— Танки Шернера!

— Ложись!— закричали ему.

Притихшую, апатичную баррикаду словно пронизал электрический ток. Люди схватились за оружие, готовять к бою. Металлический грохот близился, вызывая у Стани чисто физическое чувство страха. Но вместе с тем этот гром металла как-то заглушал и перекрывал в нем все личное. Наступил тот момент душевного напряжения, когда боевые лозунги по-настоящему живут в людях, проникают в их плоть и кровь, прежде чем снова вернуться в строчки букв на бумаге.

«За Прагу! — слышал Станя в веянии этой стальной бури.— За Прагу! Только через наши трупы!.. Если отец и Елена смогли, если смог Шварц,— значит, и я смогу...»

Со стороны Велеславина к баррикаде бежала Андела, против всех правил, совершенно не пригибаясь и размахивая руками.

«Пригнись!» — яростным жестом предостерег ее издалека Станя. Но Андела не обратила внимания.

— Разбирайте баррикаду, скорее! — возбужденно кричала она.— Русские едут! Красная Армия! Только что передали по радио.

Станя уже настолько внутренне подготовился умереть за Прагу, что не мог сразу переключиться.

— Знаем! — крикнул он в ответ.— Нас этим не проведешь! Во время восстания гитлеровцы однажды уже передавали по радио призыв разбирать баррикады. Чехи тогда не послушались.

Но вдруг дозорный закричал каким-то немыслимо высоким, срывающимся голосом:

— Они здесь! Ура!

И все выбежали из-за баррикады.

Навстречу им, из-за поворота Кладненского шоссе, казалось, выехал движущийся памятник — пирамида солдат, бронзовых от пыли. На башне танка развевалось красное знамя со звездой, с серпом и молотом. И Станя понял, это движется история! И Станя изумился: вот так сбываются сны. Счастье, когда оно неожиданно и огромно, в первое мгновение похоже на боль. Станя кинулся на шею первому попавшемуся красноармейцу, заплакал, как никогда еще не плакал в жизни, нисколько не стыдясь этого. Слишком сильно было потрясение — вместо надвигавшейся смерти к вам пришла кипучая жизнь и приняла вас в свои объятия...

Вблизи красноармейцы оказались вовсе не статуями. Это были

молодые, крепкие парни, овеянные ветрами и пороховым дымом, загорелые на солнце и смеющиеся. Как непохожи были эти лица на надменно замкнутые лица нацистских головорезов, как не похожа звездочка — эмблема освободителей — на черепа и скрещенные кости на петлицах гитлеровцев!

Станислав навсегда запомнил слова советского солдата, молодого, круглолицего, загорелого парня. Немного смущенный бурным приветствием Стани, солдат, улыбаясь, сказал:

— Мы торопились из Берлина.

От Берлина до Праги не близко и в мирное время. И за простыми словами советского бойца Станя увидел ожесточенное сопротивление шернеровских войск, увидел стремительный марш по Крушногорью, поистине трудному[1] для советских воинов, увидел зияющие противотанковые рвы и торчащие надолбы, каменные и земляные преграды, засеки и баррикады, взорванные мосты и заминированные горные тропы. Сколько красноармейцев пало там за Прагу! Чехи в первые минуты даже не подумали об этом; так пациенту не приходит в голову, что и доктор может заболеть. Русские казались им чудесно неуязвимыми. Есть чешская сказка о принце со звездой во лбу. Чародей посылает его на труднейшие дела, чтобы погубить принца, но тот преодолевает все препятствия и всюду является как освободитель. У русских тоже звездочка на шлемах. Они приехали и привезли с собой весну. Они приехали — и солнце взошло над Прагой, и засиял прекраснейший день.

«Ради такого счастья стоило пережить все эти страдания,— думал Станя.— Теперь я знаю, каково настоящее счастье. Я его вижу».

Советские танки, разукрашенные еловыми и березовыми ветками, входили в Прагу, а Станислав и Андела разбирали баррикаду и целовались в пьянящем запахе бензина.

Советские войска вступали в Прагу.

В Ирчанах, на шоссе, что ведет на Бенешов, в пять часов утра появился громадный восьмитонный грузовик с тридцатью советскими воинами. Солдаты, стоя, хором скандировали звучными голосами: «Рус, рус, рус!» — чтобы чехи в них не стреляли и не боялись их. После небольшого перерыва появилось несметное множество таких же восьмитонок. Старый рабочий с Янечкарни, Новак, в изумлении вытаращил глаза: под тяжестью богатырских машин дорога волновалась, как поверхность озера. Шоссе дрожало.

И тогда началось! Из учебного лагеря в Седлчанах, откуда еще позавчера вечером немецкие танки катились по Бенешовскому шоссе к Праге, сейчас, после капитуляции, эсэсовцы в панике

---

[1] Крушный — трудный, тяжкий *(чешск.)*.

устремились обратно, расспрашивая всех встречных, далеко ли американцы.

— Американцы вон там! — Чехи нарочно указали неверное направление, и эсэсовцы угодили прямо навстречу советским войскам.

Это надо было видеть! Советские танкисты не смотрели ни направо, ни налево, никому не уступали дороги, все сметали на своем пути: так они спешили. Гитлеровцев вместе с их машинами, переполненными награбленным добром, они сбрасывали в канаву и неудержимо мчались вперед, на помощь многострадальной Праге. Трофеи их не интересовали. Люди, живущие близ шоссе, ходили потом собирать в канавах задавленных кур, мешки с мукой, пачки табаку, консервы.

Шла Красная Армия. Она вступала в Прагу со стороны Кобылис, той тягостной для чехов дорогой, по которой в дни «гейдрихиады» с песней ехали на казнь осужденные патриоты, дорогой, по которой везли на смерть Елену Гамзову. Освободители проехали по памятному Тройскому мосту, где пали сорок защитников баррикады, вступили и со стороны Рузыни, где нацисты расстреливали чешских студентов, приближались по Кладненскому шоссе, по которому мчались гестаповцы и эсэсовцы, чтобы стереть с лица земли деревню Лидице. По этим следам народных бедствий шла теперь Красная Армия, стирая с карты чешской земли горе и страдания, создавая карту новых чувств. И даже Белая гора, издавна приносившая нам беду, теперь перестала быть пугалом истории.

Весна въезжала в Прагу на танках, и повсюду, где они появлялись, набухали почки и слышался радостный смех. Благоухание сирени и запах бензина, дым догорающих пожаров и пыль разбираемых баррикад — все это смешалось в пьянящем дыхании спасенного города. Каштаны в садах Малой Страны зажгли свои ветвистые люстры, кусты боярышника вывесили розовые фонарики, а люди на улицах Праги упивались весной мира. Все, кто мог, бежали приветствовать русских. Все, кто мог, протягивали им что-нибудь: букет сирени в подарок, ребенка — подержать на руках, листок бумаги, чтобы получить автограф. Чехи обнимали советских воинов.

Нелле вспомнилось страшное утро пятнадцатого марта тридцать девятого года, непогода, метель и гитлеровские мотоциклисты в скользких змеиных плащах, въезжающие в Прагу,— первые посланцы смерти. Город встретил их пустыми улицами, закрытыми окнами, ледяным безмолвием. А сейчас Прага ликует, шумит, поет, танцует, приветственно машет... Прага восстания и баррикад, еще дымящаяся пожарами, Прага с разрытой мостовой, но засыпанная

зеленью, политая слезами и кровью. Эх, дождаться бы этого дня Еленке и Гамзе!

— Глядите-ка, кто к нам приехал! Ах ты, противный мальчишка! — воскликнула взволнованная Барборка и бросилась к Мите, победоносно слезавшему с советского грузовика. Конечно, лучше было бы приехать на танке, но военная восьмитонка — это тоже здорово! Трофейная немецкая каска сползла мальчику на нос с налепленным пластырем. Едва Митины ноги коснулись земли, как он зашатался от усталости.

Был уже вечер. Нелла Гамзова выбежала в палисадник и вторично за сегодняшний день поблагодарила освободителей — на этот раз за то, что они привезли ей внука. Весь день она искала Митю по Праге, с ног сбилась, но так и не смогла разыскать!

— Хоть бы по телефону позвонил!

— Ничего, он хороший мальчик,— сказали русские и двинулись в Кларов, который Нелле утром, когда она шла в центр искать Митю, пришлось обходить стороной, потому что там еще шли бои и лилась кровь советских воинов.

Митя переживал удивительнейший день своей жизни. Для него настало славное время: красноармеец из Горького, карауливший нефтехранилище, советский солдат, навсегда запечатлевшийся в Митиной памяти яркой картинкой волшебного фонаря, этот солдат не подвел, он пришел на выручку в самый грозный час!

— Я так и думал, я так и знал! — повторял Митя советским танкистам, стоявшим около своих машин на Вацлавской площади, и рассказывал им, что родился в Советском Союзе на берегу Волги. Мама ему еще тогда говорила, что Советский Союз — самая отважная страна на свете. А как он, Митя Скршиванек, радовался сталинградской победе!

Когда выяснилось, что Митя говорит по-русски, он сразу стал популярен в толпе пражан. То и дело какая-нибудь юная чешка в белой блузке тащила его к себе вместо переводчика. Митя по возможности избегал этих девчонок и, откровенно говоря, в глубине души был немного удивлен: с какой стати русские герои так охотно беседуют с этими глупыми женщинами? Ему и другим мальчикам хотелось непременно поглядеть на советское вооружение, и солдаты охотно показывали им зенитку и миномет. Потом Митя катался верхом на русских лошадках в Ригровых садах и неожиданно смутился, заметив среди катающихся совсем маленьких детей и даже девчонок. Услышав, что русские готовятся к боевой операции где-то за Прагой, кажется в Мельнике, он тоже стал собираться с ними.

К вечеру советский офицер сказал ему:

— Мама тебя будет ждать к ужину. Беги-ка домой.

Митя опять изумился, что этот герой может думать о таких заурядных вещах, и энергично запротестовал. Под конец он всем изрядно надоел, солдаты дали ему гармонику, посадили в восьмитонку и отвезли домой.

Митя, не раздеваясь, свалился на постель и сутки проспал богатырским сном. Когда к вечеру он проснулся, глаза у него были еще припухшие после двухдневного бодрствования.

В дверь постучался человек с автоматом (звонок в эти дни испортился и бездействовал).

— Живет еще тут пани Гамзова?

— Папа! — воскликнул Митя и кинулся к отцу.— Ты сбрил бороду! А я вчера ездил с красноармейцами! Па-апа прие-ехал! — завопил он на весь дом.

Антонин Буреш снова стал гладко выбритым Тоником Скршиванеком. Митя сразу узнал отца. А вот отец, не будь он уверен в правильности адреса, не сразу узнал бы своего сына в этом рослом мальчике. В последний раз он видел его три года назад, еще с Еленой, на своей нелегальной квартире в Либени, незадолго до «гейдрихиады», перед тем как покинул Прагу. Да, дети растут и меняются.

— У него только сегодня такие припухшие глаза,— твердила Нелла, словно извиняясь перед Тоником, что сдает ему сына не в полном порядке.

Встреча с зятем после нескольких лет разлуки потрясла Неллу. Как она ему обрадовалась. Ведь она любила Тоника как сына. Но к радости примешивалась и грусть: рядом с Тоником ей все время виделась Елена. За время разлуки не стало двух членов семьи и произошло так много тяжелых событий, что Тоник и Нелла чувствовали: при первой встрече трудно говорить о самом главном. Поэтому они ухватились за мелочи.

— У вас звонок не действует,— сказал Тоник.— Дайте-ка я починю.

— Оставь, не сейчас. Пойди-ка поешь.

Но Тоник положил автомат в передней и пошел проверить пробки. Митя, который хвостом ходил за отцом и рассказывал ему все, что знал о красноармейцах и о восстании, куда-то исчез, и его не стало слышно. Вдруг грянул выстрел. Нелла упала в кресло, у нее подкосились ноги.

Не пострадал ли кто-нибудь? К счастью, никто. Пуля ударила в потолок, оставив там дырочку. Скршиванек по привычке оставил автомат на боевом взводе, а Митя не удержался от искушения подержать автомат в руке и рассматривал его так долго и подробно, что тот выстрелил «сам собой». В оправдание Мити надо сказать, что он привык иметь дело с незаряженными ружьями. И вот ему все-таки довелось выстрелить, хоть и после восстания.

Пришли Станислав и Анделa со Староместского рынка. Еще вчера днем русские ликвидировали там последних гитлеровцев. Станя и Анделa поражались бесстрашию советских воинов. На крыше углового дома было пулеметное гнездо. Советский автоматчик хладнокровно остановился на другой стороне улицы и обстрелял пулеметчика... Староместская ратуша сожжена и разрушена: нет ни башни, ни балкона. Но все это будет приведено в порядок, уверял Станя, а их свадьба с Анделой состоится на днях!..

Все сидели за столом и разговаривали до поздней ночи. Скршиванек рассказал, как он устроил свой отъезд в Америку. Прежде всего он официально продлил старый американский паспорт. В самом начале протектората, еще до того как Америка вступила в войну с Германией, гитлеровцы разрешали американским подданным отъезд в США. Правда, это стоило немалых неприятностей. Тоник усиленно хлопотал, чтобы немцы знали, что он рвется уехать... Да, да, Нелла помнит, как все было: Тоник купил себе в Пражском бюро путешествий билеты до Гамбурга и на пароход трансатлантической линии «Bluestar-line». Но с этим билетом и с паспортом Тоника уехал другой человек, а Тоник поселился у одной женщины в Либени. Елена и Митя иногда навещали его там...

Бабушка и Барборка принялись хвалить Митю за умение хранить тайну, хотя перед тем ему изрядно влетело от них за выстрел из автомата.

— Ну, а как же письмо из Чикаго? — поинтересовалась Нелла.

Очень просто: Тоник написал это письмо в Праге, а товарищ, который уехал с его паспортом, опустил его в Чикаго.

Митя рассказал о своем разговоре со шпиком, а Станислав и Анделa вспомнили, как мальчик хотел ехать в Улы предостеречь отца. Растроганный Скршиванек прижал к себе сына. Как хорошо, что мы снова вместе, не правда ли?

Тоник и двое рабочих с Вальтровки вернулись из партизанского отряда, действовавшего в Моравии; теперь он снова начнет конструировать авиамоторы для республики.

— Только пусть больше никогда не будет войны,— глубоко вздохнула Нелла.— Пусть всегда будет мир.

— Мир надо охранять,— заметил Тоник, а Станислав и Анделa, притулившиеся в углу дивана, с жаром поддержали его.

Митя не сводил глаз с отца, который был ему как-то непривычен, и ловил на лету все, что тот говорил.

— Глаза у него уже не опухшие,— заметила Нелла, кивнув на Митю.

— Вылитая Елена,— сказал Тоник.

Ему вспомнилось, как маленькому Мите попала в глаз сорин-

ка, когда они подъезжали к Праге, возвращаясь из Советского Союза, и как Елена принаряжала сына, чтобы похвалиться им дома перед своими. Это воспоминание взволновало Тоника. Он встал, отошел от стола и уставился в окно, хотя на улице было совсем темно. Прага блаженно спала под защитой Красной Армии.

— А Елена была похожа на отца,— сказала Нелла, ревниво оберегавшая память Гамзы.

— Папа, знаешь, что сказал Божек? — вспомнил Митя.— Что в школах будут учить про дедушку.

Но папа не знал, кто такой Божек, и пришлось объяснить ему все сначала, так что разговорам не было конца. Мите давно пора было спать, но как пошлешь в кровать мальчика, который бодрствовал все дни восстания — хоть и не выстрелил ни разу (об этом Митя умолчал) — и после стольких лет разлуки увиделся с отцом?

Ах, пражские встречи!

Представители шахтеров и металлургов в народном самоуправлении позаботились о том, чтобы в Бранденбург были посланы автобусы за женщинами из Лидиц. Блажена и ее землячки распрощались с обитателями лесного лагеря, поблагодарили всех — и русских и чехов,— сели в автобусы и отправились на родину. Но почему мужчины из Саксенгаузена прослезились, расставаясь с нами, неужто они нас так полюбили? Сердце Блажены сжималось от боязни, сердце Блажены наполнялось надеждой, а за окном автобуса бежали поля и леса, мелькали развалины и отрадные глазу цветущие лужайки. Автобусы пересекли границу у Цинвальда: большая часть пограничников была из Кладно. Но почему-то никто из них ничего не знал о лидицких мужчинах и детях; сколько лидичанки ни спрашивали, так они ничего и не узнали. Встречали их с музыкой, играли чешский гимн. К чему такая торжественность? Во время гимна некоторые кладненские пограничники почему-то отходили к лесу и возвращались с покрасневшими глазами. Наконец автобусы въехали в Кладно. На площади снова митинг и музыка. Блажена была сама не своя, она не могла устоять на месте, не могла удержаться от вопросов. Лидичанки нетерпеливо спрашивали наперебой: «Что, мужчины еще не приехали?», «А где они сидели, не знаете?», «А что с детьми?», «Что с детьми?», «Нет, мы не хотим оставаться в Кладно, мы хотим домой, в Лидице. Мужья нас и там найдут».

Наконец пришлось сказать женщинам, что мужей у них нет, детей нет, дома тоже нет, что Лидице больше не существуют. «Ваших детей мы разыскиваем в Польше и в Германии, но мужья никогда уже не вернутся домой. В Кладно для вас приготовлено жилье, идите отдыхайте с дороги».

Ошеломленные женщины с трудом осознавали, что все они,

сколько их тут есть,— вдовы, матери без сыновей, дочери без отцов, сестры без братьев, девушки без милых. Из жителей Лидиц нет в живых ни одного мужчины, остались только женщины, что стоят тут, на площади в Кладно, и ни за что не хотят отойти от автобусов, которые их везли, но не довезли до дому...

Отвезите нас в Лидице! Мы должны видеть Лидице, иначе мы не успокоимся. Как бы ни выглядела наша деревня, везите нас туда! Лидицким женщинам казалось, что только там, на месте, все выяснится окончательно.

Блажена ожидала, что увидит развалины, обломки, пожарища, на какие она насмотрелась во время «похода смерти», когда их эвакуировали из Равенсбрюка. Она заранее готовилась, чтобы не заплакать при виде развалин своего домика, где она узнала счастье разделенной любви. Но это были напрасные опасения.

Ничего подобного она не увидела. Не было ни развалин, ни обломков, ни руин. Не было никаких следов беспорядочного разрушения — не было вообще никаких признаков жизни. Там, где три года назад жили, дышали и любили люди, где они варили кашу детям, ставили лампу на стол, вешали на окна белые занавески и раздвигали их, глядя, не идет ли с работы муж, ныне там расстилалась лишь равнодушная нива, и над ней так же равнодушно пел жаворонок. Уж не ошибка ли это? Не завезли ли нас куда-нибудь не туда? И везли нас по другой дороге, почему? Потому что старая дорога засыпана. Да где же стояли наши дома? Где была площадь? Ее нетрудно найти, она должна быть рядом с прудом, который поблескивал около нее, подобно глазу. Но нацисты засыпали и пруд. Исчезло шахтерское кладбище, куда, бывало, в пятницу, на пасхальной неделе Блажена, потряхивая погремушкой, ходила гулять с детьми. Исчезла церковь святой Маркеты, где они венчались с Вацлавом. Исчезла школа, исчезли домики, исчезли вишневые садики, кусты боярышника и жасмина, исчезли все тропки, где люди встречались друг с другом. Лидице, вместе с мужчинами и детьми, словно ушли под землю, как сказочный город. О, нацисты были педантичны, они тщательно стерли с лица земли кровавое пятно Лидиц. Даже русло реки было изменено, чтобы никто не мог найти это место. Лидицкие женщины, читавшие в свое время Библию, сейчас на собственном опыте познали, каково было Лотовой жене, если она превратилась в соляной столп.

И некогда смиренная мать Блажены произнесла удивительные слова:

— Одно нам название — овцы! И вправду надо было убить этого Гейдриха или Гитлера. Было бы хоть за что страдать!

Это была боль, которую трудно себе представить, боль, которая вышла за пределы личного. И Блажена поняла, что в сладкие

дни свободы эта страшная боль должна превратиться в силу, которая станет благом для всех живых людей. Недостаточно построить новую деревню Лидице, похожую на старую... Но Вацлава-то мне никто не вернет!

Наплакавшись, Блажена заснула в чужой комнате, в Кладно. Ей казалось, что кровь стынет у нее в жилах и кто-то твердит ей: «Это потому, что в крови у тебя железо...» Лидице превратились в чехословацкий танк... Сквозь сон Блажена еще слышала, как по мощеному Кладненскому шоссе цокают копыта советской кавалерии. Блажене вдруг почудилось, что она, вместе с Кето и Софи, опоясывает всю землю лидицкой стеной, чтобы больше никогда ничего похожего не могло произойти с людьми...

Еще до того как лидичанки вернулись на родину, семнадцатого мая Ондржей Урбан в составе Чехословацкого армейского корпуса маршировал по празднично убранным, хотя и разбитым улицам Праги, переполненным ликующими людьми.

Для зрителей на улицах и в окнах домов военный парад — это нечто вроде живых картин, которые сами разворачиваются перед глазами. Никто не думает о том, скольких хлопот и волнений стоило, чтобы шеренги проходили стройно, одна за другой, чтобы равнение было образцовым и все блестело — от орудий до последней пуговицы. Участники парада немало волнуются даже в мирное время, что же говорить о сегодняшнем дне! Нет, никто в освобожденной Праге, как бы горячо ни встречала она своих воинов, не представляет себе, что значит для людей, вернувшихся с войны домой, этот торжественный марш по городу. Свершившиеся чаяния, достигнутая цель, осуществленная мечта, сбывшийся сон, счастливый конец, увенчавший дело!

Из Бузулука, городка, где дуют степные ветры и вдали виднеются темные уральские леса, с берегов реки Самарки, три года шел Ондржей и его товарищи, чтобы увидеть Прагу. Издалека в необъятном мире, затуманенном непогодой, затянутом дымом бомбежек, родная столица виднелась им, как силуэт Градчан в пророчествах Либуше. Изнурительные горные переходы, разлившиеся реки, фашистские зверства и произвол — все это стояло между Ондржеем и Прагой. Человек есть человек — когда слабеет тело, он падает духом; подчас Ондржею казалось, что зря он тешится и уговаривает себя, не видать ему Праги, он падет на пути к ней, как пали многие его однополчане. Но он стискивал зубы, никому не высказывал этих мыслей и даже, случалось, подбадривал товарищей, если те поддавались унынию. А что, если он дойдет, но застанет лишь развалины Праги! Еще в Моравии он слышал тревожный призыв пражан о помощи. Но сейчас чешская столица с облегчением вздохнула: она под защитой Красной Армии.

И вот Ондржей шагает по заново замощенным пражским улицам, где на перекрестках вновь уложена брусчатка из разобранных баррикад. Но не историческая Прашна брана, такая знакомая по фотографиям, а всего лишь заурядная витрина с треснувшим стеклом — витрина магазина «Казмар — «Яфета» — Готовое платье» на Целетной улице — надежно и ощутимо убедила Ондржея, что он не грезит, что он в Праге.

Нынче-то что! В военной форме он шагает на фланге своей роты, на груди у него звезда, впереди славное знамя, расшитое ветвями липы, знамя, за которым они шли от самого Бузулука. Сейчас есть чему радоваться. Но вот когда перед президентом и правительством пройдут наши ребята, все, сражавшиеся под Соколовом, под Киевом, под Белой Церковью, под Дуклой, все те, кто с боями прошел Моравию и Словакию, когда перестанут играть оркестры, умолкнут орудийные салюты и грохот танков, когда отзвучит последний приказ, когда все разойдутся, что будет тогда с тобою, Ондржей Урбан? Ты, правда, поедешь в Улы. Но это будет не сразу, и в этом как-то нет полной радости. Ондржей заранее боялся того момента, когда он осиротеет. Сейчас у него есть свой дом, который всюду с ним, куда бы он ни пошел, ни поехал, один и тот же — под Киевом и под Брно. У него есть Людек, Иожо и Каролина, коллектив, о котором постоянно нужно заботиться — и обо всей роте, и об отдельных людях. Но эти люди уже полны нетерпения: скорей бы разойтись по домам, скорей бы к женам, детям и любимым. А у Ондржея нет никого. С мамой он уже повидался, она, слава богу, жива, только ужасно, бедняжка, состарилась. Как она обрадовалась встрече с сыном после долгих лет разлуки! Жаль, что свидание было омрачено этой постыдной историей с Руженой. Пусть сидит, так ей и надо. Нет, о ней и думать-то не стоит.

Поход близился к концу. Из Бузулука они дошли до самого сердца Праги — до Староместской площади. Площадь была изуродована взрывами и пожаром, но сейчас она стала прекрасной, потому что ее заполняли люди. Первое, что увидел Ондржей, был памятник Яну Гусу. Снизу до самого верха, до величественной фигуры, венчающей памятник, он был облеплен девушками в национальных костюмах. Их стройные фигуры, раздувающиеся белые рукава, подобные сказочным голубицам над колыбелькой, яркие передники, сборчатые юбки и развевающиеся ленты — все это, казалось, вздымало в воздух и самый памятник, чтобы силой радости унести его в синее, покрытое белыми облаками небо. Внизу, на ступенях памятника, стояла группа рослых девушек — бойцов Красной Армии, прекрасных, как изваяния; казалось, они поддерживают своими плечами всю эту симфонию красок.

Рота Ондржея четко промаршировала мимо главной трибуны.

Около обгоревшей ратуши, лишенной башни и балкона, стоял президент республики, такой непривычный в военной форме и такой маленький рядом с советским послом. Ондржей знал Бенеша лишь по портретам и сейчас увидел его впервые в жизни. Когда президент был в Москве, главнокомандующий пригласил его навестить чехословацкую воинскую часть. Сами понимаете, как хотелось солдатам, чтобы у них побывал президент республики, за которую они сражались и проливали свою кровь. Но президент извинился и не принял приглашения. Не приехал он и на словацкий фронт, ни разу не побывал у чехословацких солдат Восточного фронта. Ребят это обижало. И сейчас они приветствовали президента как символ республики, но сердце их не лежало к нему.

Щеголяя выправкой, они дефилировали, держа равнение на главную трибуну и не меняя выражения лица, но мысленно здоровались с теми членами правительства, которых хорошо знали, которые приезжали к ним на фронт и беседовали с ними, относились к ним дружески и завоевали их любовь. Вот Готвальд, у него лоб студента. Как он хорошо все объяснил нам в Бузулуке! Сразу стало ясно, за что мы воюем и как устроим свою жизнь после войны. Это по его просьбе Сталин разрешил сформировать первое чехословацкое соединение. Уж будьте уверены, солдатам все известно! А вот строгий на вид Неедлы, профессор в очках, последний «будитель» и первый большевик среди чешской интеллигенции, ученый, который вел курс славистики в Московском университете, а когда понадобилось, пошел учить грамоте чешских детей, живших в Москве, чтобы они не забыли родной язык. Он читал лекции советским морякам, и чехословацким солдатам, и нашим девушкам на фронте, не знал страха, не боялся мороза и был неутомим. Жаль, что погиб его сын, талантливый музыкант. Его музыка прибавляла отваги нашим ребятам. Тяжело было хоронить Вита Неедлы в Дукле... Вот искрометный, вездесущий Копецкий, живой, как ртуть. Вот Фирлингер, глава правительства, надежный посол, который после мюнхенской катастрофы оставался на своем посту до последней минуты и снова занял его, как только стало возможно. Он тоже облегчил нам путь в Прагу.

Рота Ондржея обогнула памятник Гусу. Теперь они проходили совсем близко от машущих и ликующих девушек в советской военной форме. Ондржей вдруг увидел улыбающееся лицо одной из них и страшно перепугался. Так пугаются живые, когда во сне встречают умерших.

«Надо быть готовым к этому,— твердил он себе.— Еще не раз буду вот так встречать ее». Однажды это уже случилось в Остраве: какая-то советская девушка так походила на Кето, что Ондржей кинулся ей вслед, заглянул в лицо... и встретился с равнодуш-

ным взглядом. Конечно, не Кето! Да и откуда ей взяться? К чему пустые надежды!

Но эта бледная брюнетка в пилотке на небольшой античной голове сама издалека улыбалась Ондржею и махала рукой. Конечно, это просто в знак дружбы народов; она приветствует чехословацких солдат. А ведь как похожа на Кето! То же выражение лица, те же неуловимые черточки! Смеясь, она что-то кричит Ондржею... Эх, хоть бы другие девушки не шумели так, хоть бы на секунду умолк гром оркестра!

Ондржей прошел в полуметре от девушки, и марш унес его дальше. Не выбегать же из строя за пять минут до конца парада!

И потом, когда уже был дан приказ разойтись и настала та минута, которой заранее побаивался Ондржей, он все стоял среди гомона и смеха в толпе солдат и оглядывался, не видно ли той девушки, что так невероятно похожа на Кето. Надо убедиться, что это не она, и успокоиться. Ондржей деловито соображал, где бы разузнать поподробнее о советских медсестрах.

И вот тогда Кето тихо подошла к нему сзади, и он услышал свое имя, узнал ее характерное произношение:

— Ондржей!

Острое до боли ощущение счастья, такое же, как то, что неделю назад испытал Станислав на баррикаде, пронизало Ондржея. Ах, как прильнули друг к другу Кето и Ондржей! Словно вихрь бросил их в эти объятия!

Это была Кето, живая Кето! Они зашагали рядом. Она была молода и прекрасна в одежде воина, она улыбалась Ондржею и всем своим существом говорила: «Я жива, жива и хочу счастья!»

Вот какие неожиданности преподносит война! Одна бомба бросила Кето в руки гитлеровцев, другая помогла ей убежать из колонны смертников. После многих злоключений она со своими девушками добралась до наших войск под Берлином и вместе с ними пробилась в Прагу.

По воскрешенной Праге, полной пьянящих запахов акации, запахов битого кирпича и бензина советских танков, идут, крепко держась за руки, Ондржей и Кето, девушка с Зеленого мыса.

О чем же еще рассказывать? Разве это не самый счастливый конец? Разве это не самое счастливое начало? Ведь мир и верная любовь — это самое прекрасное в жизни, на них-то и стоит свет.

ПРИМЕЧАНИЯ

Роман «Люди на перепутье» («Lidé na křižovatce») вышел в 1937 году в издательстве «Книговна лидовых новин» и в ближайшие два года выдержал десять изданий. Одиннадцатое издание появилось сразу же после освобождения страны в 1945 году. С тех пор до настоящего времени роман неоднократно переиздается.

Буржуазная критика и литераторы либерального толка, единодушно признав выдающееся мастерство Пуймановой в изображении психологии героев, быта и общественной атмосферы, немало иронизовали по поводу стремления писательницы изображать фабричную жизнь, рабочие митинги и демонстрации. Так, рецензенты журналов «Критицки месечник» [1] и «Розгледы» [2] сочли излишними сцены рабочей забастовки, митинга в Драхове, первомайского празднества в Улах и вообще всей улецкой линии в романе. Оба критика подвергли сомнению и правдивость образа Ондржея. Обозреватель журнала «Критицки месечник» утверждал, что роман портит излишняя публицистичность и символика, прежде всего образ «Яфеты», а рецензент «Розгледов» еще более прямо сформулировал причину своего неудовольствия: он увидел в книге Пуймановой влияние советских производственных романов.

Коммунистическая критика сразу же высоко оценила роман Пуймановой и верно поняла его большое значение для развития чешской прогрессивной литературы. Поэт С.-К. Нейман в своей статье в «Творбе» [3] под знаменательным заголовком «Самый важный роман» характеризует «Людей на перепутье» как явление социалистического реализма.

Другая статья, в которой содержалась полная и глубокая оценка «Людей на перепутье», принадлежала перу критика-коммуниста Бедржиха Вацлавека [4]. Вацлавек видит в романе синтез предыдущего творчества писатель-

[1] «Kritický měsíčník», 1937, s. 39.
[2] «Rozhledy», 1937, s. 165.
[3] «Tvorba», 1937, č. 41.
[4] «Kritický měsíčník», 1940, č. 2, s. 65.

ницы — «поэтичности первой книги «Под крылышком» и иронии рассказов «Из городского сада». Эпическая широта и художественная законченность,— утверждал он,— даются Пуймановой благодаря ясному мировоззрению».

* * *

Стр. 24 *Легионер...* — Легионерами именовались солдаты и офицеры соединений — легионов, созданных в первую мировую войну из военнопленных чехов и словаков с целью борьбы на стороне Антанты.

Стр. 31 *Градчаны* — район Праги, где находится Град — пражский кремль.

Стр. 32 *Музей* — Национальный музей, величественное здание с куполом Пантеона; построен в 1885—1890 гг.

Стр. 38 *Платыз* — большой доходный дом в Праге.

Стр. 47 *...участь чешской столицы, свершились за границей.*— В октябре 1918 г. после объявления независимости Чехословакии, власть в стране захватила буржуазия, политические вожди которой во время войны находились в эмиграции.

Чешские братья — национально-религиозная община, возникшая в середине XV в. после разгрома радикальной части гуситов. Чешские братья проповедовали возвращение к простоте раннего христианства, непротивление злу, отвергали военную и государственную службу.

Стр. 52 *Пук* (или Добрый друг) — сказочное существо, действующее лицо в комедии В. Шекспира «Сон в летнюю ночь».

Гедда Габлер — героиня одноименной пьесы Г. Ибсена (1828—1906).

Стр. 53 «*Маленький Эйольф*» — пьеса Г. Ибсена.

Стр. 56 *Кашпарек* — комический персонаж чешского кукольного театра.

Стр. 59 *...черных с желтым флагах...*— Государственные флаги Австро-Венгрии.

Стр. 60... *где пистолеты генерала Габлера, где ружье старого Экдаля.*— Речь идет о персонажах пьес Г. Ибсена «Гедда Габлер» и «Дикая утка».

Большая Прага.— В 1920 г. к собственно Праге были присоединены тридцать восемь предместий; таким образом возникла Большая Прага.

Стр. 63 «*Тайны святого Вацлава*» — приключенческая серия, в которой легенда о святом Вацлаве, покровителе чешской земли, переплетается с эпизодами национально-освободительной борьбы чехов в новое время.

Стр. 94 «*Кача*» — сокращение по первым буквам слов «Крона чехословацкая»; слово «кача» по-чешски — «юла».

Стр. 96 *Двадцать восьмого октября 1918 г.*— день провозглашения национальной независимости Чехословакии.

Стр. 131 *...а то унесешь мой сон.*— По чешской примете, если зайти в гости и не посидеть, хозяину будет плохо спаться ночью.

Стр. 157 *Буффало Билл* — популярный герой американских приключенческих комиксов и фильмов.

Стр. 170 *Котце* — переулок в центре Праги, где сосредоточены лавчонки, в которых продавались удешевленные товары.

Родольфо Валентино — чрезвычайно популярный в 20-е годы голливудский киноактер.

Стр. 171 *Закон об охране республики* — был утвержден Национальным собранием Чехословакии 6 марта 1923 г. Опираясь на этот закон, правительство повело борьбу против коммунистов.

Стр. 208 *Сокол* — массовое спортивное объединение, основанное около 60-х годов прошлого века и связанное тогда с национально-освободительным движением.

Стр. 226 *Дуглас Фербенкс* — известный американский киноактер, игравший в приключенческих фильмах.

Стр. 239 *...тоном нусельской львицы...* — Нусле — окраинный район Праги.

Стр. 240 *Козина.*— Ян Козина — руководитель восстания крестьян Ходского края, казненный после разгрома восстания (1693 г.). По преданию, призрак Козины являлся убийцам, грозя отомщением. «*Псоглавцы*» (1884) — роман выдающегося чешского писателя А. Ирасека (1851—1930), посвященный восстанию хóдов; инсценировка этого романа пользовалась большим успехом в Чехословакии.

Стр. 251 *Катержинки.*— Имеется в виду крупнейшая психиатрическая лечебница в Праге.

Стр. 282 *...полуслепую Гедвику* — персонаж из драмы Г. Ибсена «Дикая утка».

Стр. 284 *Магорка* — палата в доме умалишенных (ч е ш с к.).

Кристин Лавранс — героиня одноименного романа известной норвежской писательницы Сигрид Унсет (1882—1951), «Кристин, дочь Лавранса».

Стр. 285 «*Лисистрата*» — комедия греческого драматурга Аристофана (ок. 446—385 гг. до н. э.).

Стр. 303 *...статью о романе Марселя Пруста «В поисках утраченного времени»...*— Оценка романа Пруста в статье Станислава близка к мыслям самой Пуймановой, выраженным в ее статье о Прусте (М. П у й м а н о в а. Слишком изощренное искусство.— «Přítomnost», 1929, № 4.).

Роман «Игра с огнем» («Hra s ohněm») вышел в 1948 году в издательстве «Книговна Свободных новин». Удостоен Государственной премии за этот год.

Судя по концовке «Людей на перепутье», Пуйманова предполагала продолжить повествование о своих героях. В 1938 году она намеревалась совершить вторую поездку в СССР. Видимо, писательница хотела собрать материал для того, чтобы проследить за судьбой своего героя в Советском

Союзе. Она предполагала посетить Кавказ и Ташкент, где разыгрывается действие глав, посвященных Ондржею в третьей части трилогии. Однако в беспокойной обстановке того времени, когда над Чехословакией нависла смертельная опасность, писательнице не удалось осуществить свои планы. Она вернулась к работе над романом сразу же после Освобождения, в 1945 году. Пуйманова утверждала, что она понимает заглавие романа и в буквальном (пожар рейхстага) и в переносном смысле. «Поджигатели рейхстага так долго играли с огнем, пока не подожгли мировую войну... А консервативная Европа молча терпела это...» [1] Пуйманова замечает, что мотив опасной игры с огнем повторяется и в изображении личной жизни героев— например, в любви Стани к Власте Тихой или в поведении Казмара накануне гибели. Пуйманова столь же тщательно собирала материал для своего второго романа, как и для первого. Она проштудировала материалы Лейпцигского процесса, с большой точностью использовала их в романе, повидалась с Георгием Димитровым, совершив для этой цели поездку в Болгарию, которая описана в книге «Славянский дневник» (1947). В романе отразились и многие личные впечатления писательницы.

Стр. 363 *Клементинум* — комплекс зданий Пражского университета, где находится библиотека.

Стр. 371 *Орглер, Борглер*?.. — Имеется в виду Торглер, один из обвиняемых по делу о поджоге рейхстага.

Стр. 377 *Нора* — героиня одноименной пьесы Г. Ибсена.

Стр. 378 *Ариэль* — добрый дух, сказочный персонаж из комедии Шекспира «Буря».

Стр. 380 *Анри Барбюс* — выдающийся французский писатель (1873—1935), автор антивоенного романа «Огонь» (1916), выступавший против милитаризма и фашизма.

Стр. 385 *Коричневая книга* — сборник материалов, разоблачающих истинных виновников поджога рейхстага — немецких фашистов.

Стр. 387 *Лондонский процесс* — заседания прогрессивных юристов, происходившие с 14 по 18 сентября 1933 г. в Лондоне и закончившиеся 4 октября в Париже. В ходе этих заседаний, на которых рассматривались материалы о поджоге рейхстага, были разоблачены действительные виновники поджога — германские нацисты.

Стр. 389 *Дейвице* — предместье Праги.

Стр. 390 *Конопиште* — деревня и замок в Чехии, принадлежавшие австрийскому эрцгерцогу Францу-Фердинанду, убийство которого в Сараеве послужило поводом для развязывания первой мировой войны.

Стр. 393 *Нейкельн* — рабочий пригород Берлина.

Стр. 397 *Восстание 1923 года.*— Народно-революционное восстание

---

[1] M. P u j m a n o v á. Vyznání a úvahy, Praha, 1959, s. 103.

в Болгарии в сентябре 1923 г. было жестоко подавлено фашистским правительством Цанкова, пришедшим к власти в результате коалиции реакционных партий. Г. Димитров и В. Коларов были в числе руководителей этого восстания.

Стр. 420 *Калибан* — свирепый дикарь, персонаж из пьесы Шекспира «Буря».

Стр. 428 По чешской примете, трубочисты приносят счастье.

Мельник — город в Чехословакии, известный производимыми там сортами вин.

Стр. 429 *Энгадин*, *Шпиндл* — зимние курорты в Судетских горах.

Стр. 449 «*Женщина с моря*» — драма Г. Ибсена.

Стр. 456 *Алеш Микулаш* (1852—1913) — выдающийся чешский художник.

Манес Иозеф (1820—1871) — выдающийся чешский художник-реалист.

Ян Амос Коменский (1592—1670) — знаменитый чешский философ, писатель и педагог.

Стр. 457 *Бабушкина долина* — местность, описанная выдающейся чешской писательницей Боженой Немцовой (1820—1862) в известной повести «Бабушка» (1855).

Стр. 458 *Бивой и Горимир* — герои чешских легенд; здесь упоминаются места в пригородах Праги, связанные с их именами.

Стр. 464 «*Аэровка*» — авиационный завод в Праге.

Конрад Петушок.— Имеется в виду Конрад Генлейн (по-немецки Hennlein — цыпленок), вождь так называемой судето-немецкой партии, которая, опираясь на финансовую и политическую поддержку из Берлина, помогла фашистской Германии расчленить и потом оккупировать Чехословакию.

Стр. 484 *Кршижик Франтишек* (1847—1941) — чешский физик, известный своим изобретением автоматических регуляторов дуговых ламп.

Стр. 485 *Стадице.*— Согласно древней легенде, царица Либуше избрала мужем пахаря из деревни Стадице — Пршемысла, дав начало династии чешских королей Пршемысловичей.

Сметана Бедржих (1824—1884) — великий чешский композитор; одно из наиболее известных его произведений — симфоническая поэма «Влтава».

Стр. 488 *Тихо Браге* (1546—1601) — знаменитый датский астроном. Долгое время жил в Праге, где и похоронен.

Иржи Подебрадский (1420—1471) — чешский король (1458—1471), добившийся легализации некоторых результатов гуситской революции.

Стр. 490 «*Будители*» — деятели чешского национального возрождения конца XVIII—начала XIX в.

Стр. 492, 493 *Барунка*, *Викторка* — персонажи из повести Б. Немцовой «Бабушка».

Карел Гавличек-Боровский (1821—1856) — известный чешский писатель и публицист, подвергавшийся преследованиям со стороны австрийского правительства за свою национально-освободительную деятельность.

Стр. 497 *Малер Густав* (1860—1911) — известный австрийский композитор.

Стр. 498 *Голодная стена* — построена в Праге в 1360 г. по приказу короля Карла IV, надеявшегося таким образом обеспечить работой неимущих.

Стр. 501 *Карлсбадские требования* — требования, принятые на съезде фашистской генлейновской партии в Карловых Варах (по-немецки Карлсбад) 24 апреля 1938 г. Главными пунктами этих требований было: предоставление территориальной и административной автономии Судетской области и пересмотр чехославацкой внешней политики по отношению к гитлеровской Германии.

Стр. 523 *Шарка* — персонаж из древних чешских сказаний.

Жижка Ян из Троцнова (1360—1424) — выдающийся гуситский полководец.

Стр. 527 *...дело все-таки неладно.*— В ответ на непрекращающиеся угрозы и провокации со стороны фашистской Германии чехословацкое правительство объявило 20 мая 1938 г. частичную мобилизацию, которая была вскоре отменена и под давлением англо-французских союзников, и в силу того, что гитлеровская Германия, не желавшая в тот момент вооруженного столкновения, дала заверения о своем желании мирно разрешить судетский конфликт.

Чешская матица — организации, ставящие своей целью пропаганду национальной культуры.

Стр. 528 *Глинковские гардисты* — фашистская организация в Словакии.

Инспектор Ренсимен.— Имеется в виду миссия во главе с лордом Ренсименом, направленная Великобританией в Чехословакию в августе 1938 г. с целью уговорить чехословацкое правительство удовлетворить требования генлейновцев.

Стр. 529 *...председатель... аграрной партии...*— Имеется в виду Беран, лидер одной из наиболее реакционных буржуазных партий в Чехословакии — партии аграриев, добивавшихся капитуляции Чехословакии.

Стр. 538 *...вторая Белая гора.* — 8 ноября 1620 г. протестантские силы Чехии потерпели решительный разгром в битве у Белой горы, после чего наступила католическая реакция и страна надолго потеряла свою независимость.

Стр. 540 *Беран.*— Игра слов: фамилия Берана, лидера аграрной партии, переводится как «баран».

Стр. 541 *Генерал Сыровы* — командующий чехословацким корпусом в России; подписал мюнхенскую капитуляцию 30 сентября 1938 г., по которой Судетская область отходила к гитлеровской Германии.

Брожик Вацлав (1851—1901) — чешский художник, мастер исторической живописи.

Дефенестрация — «выбрасывание из окон», способ расправы с предателями народных интересов, применявшийся в Чехии в гуситскую эпоху.

«Где родина моя»...— название чешской части гимна Чехословакии.

Стр. 542 *Гашлер Карел* (1877—1941) — чешский эстрадный певец и сочинитель песен.

Стр. 545 *Отец родины.*— Так называли короля Карла IV, при котором феодальная Чехия переживала подъем и стала центром Священной Римской империи, а сам Карл под именем Карла IV был избран ее императором (1346—1378).

Стр. 546 *...доска в память двадцати одного казненного чешского дворянина.*— Патриоты, казненные после поражения чехов в 1620 г. в битве у Белой горы.

Стр. 547 *Рашин Алисо* (1867—1923) — первый министр финансов Чехословацкой республики; погиб от выстрела анархиста; буржуазная пропаганда утверждала, что убийство совершено коммунистами.

Стр. 548 В Нюрнберге в сентябре 1938 г. состоялся съезд национал-социалистической партии Германии, на котором Гитлер выступил с грубыми оскорблениями и угрозами по адресу Чехословакии. В Берхтесгадене произошла встреча Чемберлена с Гитлером (15 сентября 1938 г.), в ходе которой Гитлер потребовал присоединения к Германии областей Чехословакии с немецким населением. 18—19 сентября в Лондоне состоялось совещание английских и французских представителей по вопросу о Чехословакии, на котором было принято решение добиваться принятия Чехословакией немецких требований. В Готесберге 21—23 сентября снова состоялась встреча Чемберлена и Гитлера, когда Гитлер выступил с новыми территориальными претензиями к Чехословакии.

Карлин — промышленный район Праги.

Стр. 549 Чехословацкое правительство, отвергнув готесбергские требования Гитлера, объявило мобилизацию.

Стр. 552 29—30 сентября 1938 г. в Мюнхене состоялась встреча представителей Великобритании, Франции, Италии и Германии, на которой и были приняты все требования Гитлера относительно расчленения Чехословакии.

Стр. 553 *Светлая Каролина* (1830—1899) — чешская писательница, ее произведения посвящены изображению жизни крестьян Ештедского края на севере Чехии.

Маха Карел Гинек (1810—1836) — выдающийся чешский поэт-романтик. Доксанское озеро, описанное в лучшем его произведении, поэме «Май», было названо «Маховым».

Стр. 554 21 сентября 1938 г. советский представитель в Лиге наций заявил о готовности Советского Союза выступить совместно с Францией в защиту Чехословакии.

Стр. 555 *«Проданная невеста»* — опера Б. Сметаны.

Стр. 556 *Вторая республика.*— Так называли Чехословакию после мюнхенского предательства. «Вторая республика» просуществовала до начала оккупации страны немецко-фашистскими войсками 15 марта 1939 г.

Стр. 559 Согласно предательскому мюнхенскому соглашению, панская Польша получила Тешинскую область Чехословакии, а хортистская Венгрия — Западную Украину и часть Словакии.

Кампеличка — сельскохозяйственное кредитное товарищество, находившееся под влиянием аграрной партии.

Стр. 562 *Ян Коллар* (1793—1852) — один из крупнейших деятелей национального возрождения в чешской и словацкой культуре, поэт, философ, публицист.

Стр. 565 «*Влайкары*».— Имеются в виду члены чешской фашистской организации «Влайка» («Флаг»).

Стр. 566 *Людацкая Словакия*.— Имеется в виду фашистская «народная» партия в Словакии.

Гаха Эмиль — марионеточный президент «Второй республики». *Тисо, Дурчанский, Маха* — словацкие фашистские политики, способствовали отколу Словакии и созданию «независимого Словацкого государства» под эгидой Гитлера.

Стр. 574 *Сватовацлавская традиция* — традиция святого Вацлава, чешского князя (X в.), которого реакционные историки превозносили за будто бы установленные им «реалистические отношения» с германской империей, вассалом которой он стал. О «сватовацлавской традиции» охотно распространялись чешские коллаборационисты.

* * *

Роман «Жизнь против смерти» («Život proti smrti») вышел в издательстве «Чехословацки списователь» и был удостоен Государственной премии за 1952 год.

Пуйманова вспоминала: «Роман «Жизнь против смерти» я писала с любовью и волнением. В прежнее время, когда писатель брал для своего произведения вымышленный сюжет и не справлялся с ним, его неудачи были в конце концов его личным делом, но в основу моей книги положены исторические события: период кажущегося невероятным сейчас «протектората», тайное и открытое сопротивление всего народа оккупантам; огромная моральная роль коммунистической партии в этой борьбе, победоносная роль Советского Союза, этой страны жизни, против нацистской смерти, невыразимое счастье свободы, которое принес нам приход Советской Армии. Все это не только мои личные воспоминания, все это хранится в памяти всего нашего народа, принадлежит всем, и я чувствовала, что обращаться с этими воспоминаниями нужно бережно, как со святыней» [1].

Пуйманова начала писать «Жизнь против смерти» сразу же по завершении «Игры с огнем». Работа над заключительной частью трилогии потребовала от нее еще более тщательной подготовки, чем две первые. Она совершила

[1] «Литературная газета», 6.VI.1953.

поездку в Советский Союз, побывала на Кавказе и на Украине, на местах боев, в которых участвовал Чехословацкий корпус, беседовала с участниками боевых действий и с военными специалистами, с узниками фашистских лагерей, многое почерпнула из рассказов Г. Фучиковой. Писательница не только познакомилась с материалами, касающимися чешского подпольного антифашистского Сопротивления в Институте истории КПЧ, но побеседовала со многими участниками Пражского восстания в мае 1945 года, она посещала пражские заводы и беседовала с рабочими, вспоминавшими о майских днях. Отдельные эпизоды восстания запечатлены в романе с полной фактической точностью.

Стр. 603 *Ян Неруда* (1834—1891) — выдающийся чешский писатель, поэт, прозаик и публицист.

Стр. 624 *Капо* — в гитлеровских концлагерях — младший надзиратель над политзаключенными, назначавшийся обычно из уголовников.

Стр. 628 *...бурная годовщина 28 ноября...*— В годовщину со дня образования республики 28 октября 1939 г. в Праге имели место демонстрации и столкновения с нацистской полицией. Похороны студента Яна Оплетала, смертельно раненного немецкими полицейскими (15 ноября 1939 г.), превратились в бурную студенческую демонстрацию. За этим последовали казни студенческих руководителей и массовая отправка студентов в концлагеря.

Стр. 629 *Костуфра* — коммунистическая студенческая фракция, существовавшая в Праге в 30-х годах.

Маскарад перчаточников — ежегодный бал-маскарад, устраиваемый рабочими-перчаточниками, отличавшийся эксцентрическими масками.

Франк — гитлеровский гаулейтер в Чехии.

Неедлы Зденек (1878—1962) — чешский философ, историк, деятель КПЧ, в послевоенной Чехословакии — президент Академии.

Стр. 634 *Кромержиж* — нелегальное радио.

Стр. 641 *Тройхендер* — доверенное лицо из нацистов, которому передавалось управление чешскими предприятиями.

Стр. 648 *...трансильванском браке...*— В Австро-Венгрии заключение вторичного брака разрешалось только в одной ее части — Трансильвании.

Стр. 649 *Кршивоклат* — замок и местечко в Чехии.

Стр. 657 *Гейдрих* — гитлеровский протектор Чехии и Моравии, прибыл в Прагу 28 сентября 1941 г.

Стр. 667 *Вышеградский кодекс... Седлецкие Антифоны* — памятники чешской средневековой письменности и изобразительного искусства.

Стр. 669 «*Лабиринт света*» (1623) — роман Я. А. Коменского.

Стр. 674 *Буловка* — больница в Праге.

Стр. 676 *...как поляки Андерса?*— В 1942 г. с разрешения Советского правительства на территории СССР была организована польская армия. Однако Лондонское эмигрантское правительство, проводя антисоветскую

политику, весной и летом 1942 г. перевело вооруженные силы под командованием генерала Андерса на Ближний Восток.

Нейрат — первый гитлеровский протектор Чехии и Моравии. *Тиссо и Тука* — словацкие сепаратисты фашистского толка, возглавившие так называемое Словацкое государство, провозглашенное 14 марта 1939 г. и находившееся в полной зависимости от гитлеровской Германии. *Моравец* — министр народного образования в марионеточном чешском правительстве при протекторате, с его именем связаны жестокие гонения против чешской культуры.

Стр. 679 *Интергельпо* — рабочая организация, существовавшая в Чехословакии в 20-х годах и помогавшая трудоустройству безработных.

Стр. 681 *Король Ячменек* — популярный в чешском фольклоре образ легендарного короля, защитника бедных и угнетенных.

Стр. 685 «*Четырехсотка*» — комната номер 400 для допроса подследственных во дворце Печека, где помещалось пражское гестапо.

Стр. 687 «*Маффистки*» — члены тайного буржуазно-националистического общества «Маффии», выступавшего в Австро-Венгрии за создание независимого чешского государства.

Стр. 688, 689 «*Где родина моя*» — чешская часть национального государственного гимна Чехословакии, «Над Татрами» — словацкая часть государственного гимна.

Стр. 690 ...*поступь шахтеров в Мосте*... — Имеется в виду большая забастовка горняков в Мостецком крае в 1932 г., во время которой Пуйманова посетила Мост вместе с группой прогрессивных писателей.

Стр. 708 *Далюге* — фашистский протектор Чехии и Моравии после смерти Гейдриха, вместе с Франком ввел чрезвычайное положение в стране.

Стр. 712 *Новотный Вацлав* (1869—1930) — видный чешский историк, знаток гуситской эпохи.

Стр. 713 *Национальный театр* — был построен на средства, собранные народом. Его открытие в 1881 г. было подлинным национальным праздником и большой победой в борьбе за национальную культуру, подавляющуюся Австро-Венгрией. Через два месяца после открытия театр сгорел, а в 1883 г. был отстроен снова. С этими событиями связано много легенд.

Палацкий Франтишек (1798—1876) — выдающийся чешский историк, просветитель-патриот, автор многотомной «Истории чешского народа», в которой содержится прогрессивная концепция чешской истории.

Стр. 746 *Яношик Юрай* (1688—1713) — легендарный словацкий герой, защитник бедного люда.

Стр. 755 «*Jeunes filles de France*» («Девушки Франции») — прогрессивная молодежная организация, созданная в 1936 г. героиней французского народа Даниэль Казановой. Организация принимала активное участие во французском Сопротивлении гитлеровским оккупантам.

Шпалички.— Так назывались книги на чешском языке, изданные за рубежом и тайно ввозившиеся в Чехию в XVII — начале XVIII в., в период страшных гонений австрийских властей на чешскую культуру.

Мотак — по-чешски: тайно переданная записка.

Стр. 768 Начало поэмы К.-Г. Махи «Май» (1836), перевод В. Луговского.

Стр. 769 *Волькер Иржи* (1900—1924) — выдающийся чешский революционный поэт. «Море» — одно из лучших стихотворений Волькера.

Стр. 774 *Мадам Осуская* — жена чехословацкого посла во Франции в предвоенные годы — Штефана Осуского, известного реакционера.

Стр. 794 «*Загоржево ложе*» — баллада чешского поэта К. Эрбена (1811—1870), в которой изображена картина адских мучений.

Стр. 807 Стихотворение Я. Неруды «Мой цвет красный и белый», перевод принадлежит В. Луговскому.

Стр. 835 Гарнизон Фридека после отмены сентябрьской мобилизации 1938 г. отказался сдать оружие и вопреки приказу оказал сопротивление фашистским оккупантам.

«*Звезда*» — дворец в Праге, памятник архитектуры XVI в.

Стр. 840 *Рузынь* — аэродром недалеко от Праги.

Стр. 842 *Бинерт* — министр внутренних дел в марионеточном правительстве при протекторате.

Стр. 860 ...*воспоминания о 1848 годе*...— Имеется в виду народное восстание в Праге в 1848 г., направленное против абсолютизма Габсбургов.

Конделик — герой романа чешского писателя Игната Германа (1854—1935) «Отец Конделик и жених Вейвара» (1898), юмористический тип «маленького человека».

И. Бернштейн

СОДЕРЖАНИЕ

И. Бернштейн. Светлый и мужественный талант 5
ЛЮДИ НА ПЕРЕПУТЬЕ. *Перевод Т. Аксель и Ю. Молочковского* 23
ИГРА С ОГНЕМ. *Перевод Н. Аросевой и В. Чешихиной* . . . 345
ЖИЗНЬ ПРОТИВ СМЕРТИ. *Перевод Т. Аксель и В. Чешихиной* 583
Примечания *И. Бернштейн* 883

БИБЛИОТЕКА ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
СЕРИЯ ТРЕТЬЯ
том 172

Мария Пуйманова
ЛЮДИ НА ПЕРЕПУТЬЕ
ИГРА С ОГНЕМ
ЖИЗНЬ
ПРОТИВ СМЕРТИ

*

Редактор
В. Мартемьянова
Оформление «Библиотеки»
Д. Бисти
Художественный редактор
Л. Калитовская
Технический редактор
О. Ярославцева
Корректор
Г. Ганапольская

*

Сдано в набор 2/III 1976 г. Подписано к печати 3/VI 1976 г. Бумага типогр. № 1. Формат 60×84¹/₁₆. 56 печ. л. 52,248 усл. печ. л. 58,276+1 вкл. +8 нак.=59,402 уч.-изд. л. Тираж 303 000 экз. Заказ 3946. Цена 2 р. 67 к.

Издательство
«Художественная литература»
Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

*

Ордена Трудового Красного Знамени Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова Союзполиграфпрома при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, М-54, Валовая, 28